

ЧАРЛЗ ДИККЕНС

КРОШКА ДОРРИТ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Крошка Доррит
Чарльз Диккенс

Аннотация
Чарлз Диккенс. Крошка Доррит
Книга первая «Бедность»
Глава I. Солнце и тень
Глава II. Попутчики
Глава III. Дома
Глава IV. Миссис Флинтуинч видит сон
Глава V. Семейные дела
Глава VI. Отец Маршалси
Глава VII. Дитя Маршалси
Глава VIII. Под замком
Глава IX. Маленькая мама
Глава X. О науке управлений
Глава XI. Выпущен на волю
Глава XII. Подворье «Разбитые сердца»
Глава XIII. Семейство патриарха
Глава XIV. Общество Крошки Доррит
Глава XV. Миссис Флинтуинч снова видит сон
Глава XVI. Ничья слабость
Глава XVII. Ничей соперник
Глава XVIII. Обожатель Крошки Доррит
Глава XIX. Поучения Отца Маршалси

Глава XX. В свете
Глава XXI. Недуг мистера Мердля
Глава XXII. Загадка
Глава XXIII. Машина в ходу
Глава XXIV. Предсказание судьбы
Глава XXV. Заговорщики и другие люди
Глава XXVI. Ничье состояние духа
Глава XXVII. Двадцать пять
Глава XXVIII. Исчезновение
Глава XXIX. Миссис Флинтуинч продолжает видеть сны
Глава XXX. Слово джентльмена
Глава XXXI. Благородная гордость
Глава XXXII. Опять предсказание будущего
Глава XXXIII. Болезнь миссис Мердль
Глава XXXIV. Полипняк
Глава XXXV. Что скрывалось на руке Крошки Доррит
Глава XXXVI. Маршалси – сирота
Книга вторая «Богатство»
Глава I. Попутчики
Глава II. Миссис Дженераль
Глава III. На дороге
Глава IV. Письмо Крошки Доррит
Глава V. Где-то что-то не клеится
Глава VI. Что-то где-то наладилось

Глава VII. Главным образом о персиках и призмах
Глава VIII. Вдовствующая миссис Гоуэн приходит к убеждению, что эти людишки ей не компания
Глава IX. Появление и исчезновение
Глава X. Сны миссис Флинтуинч запутываются
Глава XI. Письмо Крошки Доррит
Глава XII. Важное патриотическое совещание
Глава XIII. Эпидемия распространяется
Глава XIV. Совещание
Глава XV. Нет никаких препятствий к браку
Глава XVI. Успехи
Глава XVII. Исчез
Глава XVIII. Воздушный замок
Глава XIX. Крушение воздушного замка
Глава XX. Служит введением к следующей
Глава XXI. История самоистязания
Глава XXII. Кто проходит здесь так поздно?
Глава XXIII. Миссис Эффри дает условное обещание относительно своих снов
Глава XXIV. Вечер долгого дня
Глава XXV. Главный дворецкий слагает знаки своего достоинства
Глава XXVI. Следы урагана
Глава XXVII. Питомец Маршалси

Глава XXVIII. Враги в Маршалси
Глава XXIX. Друзья в Маршалси
Глава XXX. К развязке
Глава XXXI. Развязка
Глава XXXII. Скоро конец
Глава XXXIII. Близок конец!
Глава XXXIV. Конец

Аннотация

Двадцать с лишним лет назад неудачливый бизнесмен Уильям Доррит разорился, не смог вовремя расплатиться с кредиторами и угодил в долговую тюрьму Маршалси. Вместе с ним в тюрьму была вынуждена переселиться вся его семья – и там же, в Маршалси, родилась его младшая дочка Эми.

Именно на хрупкие плечики Эми, прозванной Крошкой за миниатюрное телосложение, в скором времени легла забота о всей семье. Стойко перенося все испытания, скромная девушка зарабатывает себе на жизнь честным трудом и пытается приглядывать за отцом, сестрой и братом. Крошка Доррит даже не догадывается, какой сюрприз готовит ей судьба…

Чарлз Диккенс
Крошка Доррит

© ООО «Издательство АСТ», 2025

* * *

Книга первая «Бедность»

Глава I. Солнце и тень

Однажды, лет тридцать назад, Марсель дремал под жгучими лучами солнца.

Жгучее солнце в жаркий августовский день было в те времена в южной Франции явлением столь же обыкновенным, как раньше или позднее. Всё в Марселе и вокруг этого города блестело под раскаленным ярким небом. Путешественник доходил до одурения при виде блестевших белых домов, блестевших белых стен, блестевших белых улиц, блестевших колей дороги, блестевших холмов с выжженной травой. Не блестели и не сверкали только виноградные лозы, сгибавшиеся под тяжестью гроздьев. Они трепетали, когда раскаленный воздух шевелил их поникшие листья.

Ветерок не рябил мутной воды гавани и прекрасного моря, расстилавшегося за ней. Линия, разделявшая два цвета, черный и голубой, указывала границу, за которую не переступало чистое море; оно покоилось так же неподвижно, как и отвратительная лужа гавани, никогда не смешиваясь с последней. Лодки без тентов обжигали руку; краска на кораблях, стоявших в гавани, вздувалась пузырями; раскаленные камни мосто-

вой в течение многих месяцев не охлаждались даже ночью. Индусы, русские, китайцы, испанцы, португальцы, англичане, французы, генуэзцы, неаполитанцы, венецианцы, греки, турки, потомки всех племен — строителей Вавилонской башни [1], явившиеся в Марсель по торговым делам, искали тени, старались укрыться куда-нибудь от голубого моря, резавшего глаза ослепительным блеском, и багряного неба, в котором сверкал огромный огненный алмаз. Глаза болели от нестерпимого блеска. Только обращаясь к далекому итальянскому берегу, они отдыхали на легком тумане, медленно поднимавшемся с моря, но больше им негде было отдохнуть. Пыльные дороги, убегая вдаль, блестели на склонах холмов, блестели в лощинах, блестели на бесконечной равнине. Пыльные виноградные лозы, обвивавшие стены домиков, и чахлые деревья вдоль дороги изнемогали в блеске земли и неба. Изнемогали лошади, тащившиеся внутрь страны, лениво позвякивая колокольчиками; изнемогали

[1] Сноски: 1

По библейской легенде, огромная башня, которую хотели построить потомки сыновей Ноя, чтобы достигнуть неба; Бог покарал строителей башни тем, что смешал их языки. Они перестали понимать друг друга, и усилия их не увенчались успехом. Легенда, рассказанная в Библии, отражает реакционное религиозное представление о происхождении языков. — *Здесь и далее примеч. пер.*

кучера, изредка пробуждавшиеся от дремоты; изнемогали усталые работники на полях. Все живое и растущее, кроме ящериц, быстро шмыгавших среди камней, и цикады, выводившей свою сухую трескучую песню, было подавлено блеском. Сама пыль побурела от жары, и в воздухе что-то дрожало, словно и он мучился от зноя.

Шторы, ставни, занавеси были спущены и закрыты, чтобы избавиться от блеска. Он врывался, подобно раскаленной стреле, во всякую щель или замочную скважину. Всего труднее ему было пробраться в церковь. Но, выйдя из полумрака колонн и арок, где лениво мерцали лампады и лениво двигались причудливые тени набожно дремавших, плевавших и молившихся стариков, вы окунались в огненную реку и выбивались из сил, стараясь добраться до ближайшей тени.

В таком-то виде Марсель жарился однажды на солнце, между тем как истомленные жители прятались в тени, и тишина нарушалась только слабым жужжанием голосов или лаем собак, случайным звоном нестройных колоколов или треском испорченных барабанов.

В то время была в Марселе омерзительная тюрьма. В одной из ее камер — помещении до того гнусном, что даже назойливый свет, заглянув

в него, тотчас отшатывался назад, — находились два человека. Кроме них тут была старая изрезанная скамья, прикрепленная к стене, с грубо вырезанной на ней шахматной доской, шашки, сделанные из старых пуговиц и костей, домино, два матраца и две-три бутылки из-под вина. Вот и все, что было в комнате, не считая крыс и других невидимых гадин в дополнение к двум видимым людям.

Комната слабо освещалась сквозь железную решетку, вделанную в большое окно, выходившее на лестницу, откуда можно было наблюдать за узниками. Окно образовало широкий каменный выступ фута в три или четыре высоты. На этом выступе помещался в настоящую минуту один из заключенных, полусидя, полулежа, подняв колени и упираясь ногами и плечами в противоположные стены оконной ниши. Клетки железной решетки были настолько широки, что он просунул в одну из них локоть и таким образом устроился очень удобно.

На всем лежал отпечаток тюрьмы. Тюремный воздух, тюремный свет, тюремная сырость, тюремные обитатели — все носило на себе следы заключения. Люди — чахлые и бледные, железо — ржавое, камень — липкий, дерево — гнилое,

воздух — удушливый, свет — тусклый. Подобно колодцу, подобно склепу, подобно могиле темница не знает о блеске, царящем снаружи; она сохранила бы свою спертую атмосферу даже среди благоуханий на островах Индийского океана.

Человек, лежавший на окне, вздрогнул от холода. Нетерпеливым движением он запахнул плотнее пальто и проворчал:

— Черт бы побрал это проклятое солнце: никогда не заглянет сюда!

Он ожидал обеда, поглядывая за решетку с выражением голодного зверя. Но глаза его, слишком близко расположенные друг от друга, отнюдь не имели такого благородного выражения, которое присуще царю зверей: они были скорее пронзительны, чем блестящи, — острые иглы со слишком малой поверхностью, чтобы хорошенько рассмотреть их. Выражение их оставалось почти неуловимым, они только искрились и моргали. Любой часовщик изготовил бы лучшую пару даже не для собственного употребления. Орлиный нос, довольно красивой формы, начинался слишком высоко между глазами — вероятно, настолько же выше обыкновенного уровня, насколько глаза помещались ближе друг к другу, чем у всех людей. Что касается остального, то

это был человек высокого роста, плотный, с тонкими губами, которые резко выделялись из-под больших усов, и с жесткими всклокоченными волосами неопределенного цвета с легким рыжим отливом. Рука, державшаяся за решетку (и усеянная подживающими царапинами), маленькая и пухлая, отличалась бы замечательной белизной, если б ее отмыть от тюремной грязи.

Другой узник лежал на каменном полу, закрывшись грубым коричневым пальто.

— Вставай, боров! — проворчал первый. — Не смей спать, когда я голоден.

— Мне все равно, господин, — ответил боров покорным и довольно веселым тоном, — могу и спать, могу и не спать, как вздумается. Мне все равно.

Говоря это, он встал, встряхнулся, почесался, накинул пальто на плечи, завязав рукава вокруг шеи (раньше он накрывался им, как одеялом), и уселся на пол, прислонившись к стене.

— Который час? — буркнул первый.

— Через сорок минут пробьет двенадцать. — Говоря это, узник на минуту приостановился и оглядел тюрьму, точно она могла сообщить ему о времени.

— Ты, ходячий хронометр, как ты узнаешь

время?

— Почем я знаю? Но мне всегда известно, который час и где я нахожусь. Меня привезли сюда ночью на лодке, но я знаю, где я. Вот посмотрите! Вот Марсельская гавань. — Он привстал на колени и стал чертить по полу своим загорелым пальцем. — Вот Тулон (там галеры), вот здесь Испания, а здесь будет Алжир. Теперь налево — Ницца. Еще левее — Генуя, Генуэзский мол и гавань. Карантин. Здесь город, террасы, заросшие белладонной. Здесь Портофино. Пересадка на Ливорно. Дальше — на Чивитавеккья. Дальше… тут нет места для Неаполя… — Он дошел до стены. — Все равно он там.

Он стоял на коленях, поглядывая на своего товарища по заключению веселыми для тюрьмы глазами. Это был загорелый, живой, юркий, хотя немного полноватый человечек: серьги в бурых ушах; белые зубы, сверкающие на смешном буром лице; черные как смоль волосы, спускавшиеся кудрями на бурую шею; рваная красная рубашка, расстегнутая на бурой груди; просторные матросские штаны, приличные башмаки, красная шапка, красный кушак, а за кушаком — нож.

— Теперь я отправлюсь из Неаполя тем же путем. Замечайте, господин! Чивитавеккья, Ли-

ворно, Порто-фино, Генуя, затем Ницца (вот она), Марсель, вы и я. Комната тюремщика вот здесь; где мой большой палец — ключи; а тут, у моего запястья, — национальная бритва — гильотина.

Другой узник внезапно плюнул на пол, и в глотке его точно забулькало что-то.

Немного погодя где-то внизу щелкнул замок и хлопнула дверь. Чьи-то медленные шаги раздались на лестнице; щебетанье нежного детского голоска сливалось с этим шумом. Появился тюремщик с корзиной, неся на руках трех-четырехлетнюю девочку, свою дочку.

— Как дела, господа? Изволите видеть, моя дочка вздумала поглядеть на отцовских птиц. Ну что ж, посмотри на птиц, милая, посмотри!

Он сам пытливо всматривался в этих птиц, особенно в меньшую, которая, по-видимому, внушала ему недоверие своей живостью.

— Я принес вам ваш хлеб, синьор Жан Батист, — сказал он (они все говорили по-французски, хотя маленький узник был итальянец), — и, знаете, посоветовал бы вам не играть.

— Вы, однако, не советуете этому господину? — сказал Жан Батист, улыбаясь и оскаливая зубы.

— Да господин-то выигрывает, — возразил тюремщик, бросив далеко не дружелюбный взгляд

на другого узника, — а вы проигрываете. Это большая разница. На вашу долю достается черствый хлеб, а ему — лионская колбаса, телятина в желе, белый хлеб, сыр, хорошее вино. Посмотри на птиц, милочка!

— Бедные птицы! — сказал ребенок.

Хорошенькое личико, озаренное божественным состраданием и робко заглядывавшее за решетку, казалось ликом ангела, сошедшего в темницу. Жан Батист встал и подошел поближе, точно притягиваемый неотразимой силой. Другая птица не тронулась с места — только нетерпеливо поглядывала на корзину.

— Ну, — сказал тюремщик, сажая девочку на подоконник, — она будет кормить птиц. Этот большой круглый хлеб — для синьора Жана Батиста. Надо его переломить, иначе он не пролезет сквозь решетку. Вот так ручная птица, целует руку девочке! Эта колбаса, завернутая в виноградный лист, — господину Риго. Эта телятина в душистом желе — господину Риго. И эти три ломтика белого хлеба — господину Риго. И этот сыр, и это вино, и этот табак, — все господину Риго. Счастливая птица!

Ребенок с очевидным страхом просунул все эти яства сквозь решетку в мягкую пухлую изящную

руку, не раз отдернув свою собственную и посматривая на узника, нахмурив лобик, с выражением не то боязни, не то гнева. Но девочка доверчиво вложила ломоть хлеба в смуглую шершавую руку Жана Батиста, с узловатыми пальцами (из ногтей которых вряд ли набралось бы достаточно материала для одного ногтя господина Риго), и когда заключенный поцеловал ее ручку, ласково погладила его лицо. Г-н Риго, ничуть не обидевшись этим различием в обращении, умасливал отца смехом, а дочери кивал всякий раз, когда она подавала ему что-нибудь. Получив свой обед, он устроился поудобнее на окне и немедленно с аппетитом принялся за еду.

Когда г-н Риго смеялся, в лице его происходила замечательная, но не особенно приятная перемена. Усы поднимались, а нос опускался самым зловещим образом.

— Вот, — сказал тюремщик, перевертывая и вытряхивая корзину, — я истратил все деньги, которые получил; здесь и счет, это дело кончено. Господин Риго! Президент намерен насладиться беседой с вами сегодня в час пополудни.

— Судить меня, а? — спросил Риго, остановившись с ножом в руке и куском во рту.

— Именно. Судить.

— А мне ничего не скажете новенького? — сказал Жан Батист, принявшийся было с удовольствием уписывать свой хлеб.

Тюремщик пожал плечами.

— Матерь божья! Неужели же мне тут век вековать, отец родной?

— А я почем знаю! — крикнул тюремщик, поворачиваясь к нему с чисто южной живостью и жестикулируя обеими руками и всеми пальцами, точно собираясь разорвать его в клочки. — Дружище, разве я могу сказать, сколько времени вы здесь просидите? Разве я знаю об этом, Жан Батист Кавалетто? Провалиться мне! Бывают здесь и такие арестанты, которые не очень-то торопятся на суд.

Говоря это, он искоса взглянул на г-на Риго, но тот уже принялся за свой обед, хотя, по-видимому, и не с таким аппетитом, как прежде.

— Прощайте, птицы! — сказал тюремщик, взяв на руки дочку и сопровождая каждое слово поцелуем.

— Прощайте, птицы! — повторила малютка.

Ее невинное личико ласково выглядывало из-за плеча отца, который спускался с лестницы, напевая ей детскую песенку:

Кто проходит здесь так поздно?

Это спутник Мажолэн.
Кто проходит здесь так поздно?
Смел и весел он всегда!

Жан Батист, прильнув к решетке, счел своим долгом подтянуть приятным, хотя несколько сиплым голосом:

Цвет всех рыцарей придворных,
Это спутник Мажолэн.
Цвет всех рыцарей придворных,
Смел и весел он всегда.

Тюремщик даже приостановился на лестнице, чтобы дать послушать песню дочурке, которая повторила припев. Затем головка ребенка скрылась, скрылась голова тюремщика, но детский голос звучал, пока не хлопнула дверь.

Г-н Риго, видя, что Жан Батист остается у решетки, прислушиваясь к замирающему эху (даже эхо звучало в тюрьме чуть слышно и как-то медленно распространялось в спертой атмосфере), напомнил пинком, что он может отправиться в свой темный угол. Маленький узник снова уселся на каменном полу, с беспечностью человека, привыкшего к жесткому ложу. Разложив перед собой три куска хлеба, он принялся за четвер-

тый с таким усердием, словно побился об заклад съесть все за один присест.

Быть может, он и поглядывал на лионскую колбасу и телятину в желе, но они недолго соблазняли его: г-н Риго живо расправился со своими яствами, несмотря на президента и суд, после чего вытер руки виноградным листом. Затем, хлебнув вина, взглянул на своего товарища, и усы его поднялись, а нос опустился.

— Хорош ли хлеб? — спросил он.

— Суховат немного, да у меня есть соус, — ответил Жан Батист, показывая свой нож.

— Какой соус?

— Я могу резать хлеб так — на манер дыни, или так — в виде яичницы, или так — как жареную рыбу, или так — в виде лионской колбасы, — сказал Жан Батист, наглядно поясняя свои слова и смиренно пережевывая хлеб.

— Держи! — крикнул г-н Риго. — Можешь допить. Можешь прикончить!

Подарок был не из щедрых, так как вина оставалось только на донышке, но синьор Кавалетто, вскочив на ноги, принял бутылку с благодарностью, опрокинул ее в рот и чмокнул губами.

— Поставь бутылку на место, — сказал Риго.

Жан Батист повиновался и приготовился

подать ему зажженную спичку, так как Риго свертывал папироски из маленьких бумажек, принесенных вместе с табаком.

— Вот, возьми одну.

— Тысячу благодарностей, господин! — ответил Жан Батист на родном языке, со свойственной его соотечественникам ласковой живостью.

Г-н Риго встал, закурил папироску, спрятал оставшийся табак и бумагу в боковой карман и растянулся во весь рост на скамье. Кавалетто уселся на полу, обхватив ноги обеими руками и покуривая папироску. По-видимому, глаза г-на Риго с каким-то беспокойством устремлялись к тому месту пола, где остановился большой палец Жана Батиста, когда тот рисовал план. Они так упорно направлялись к этой точке, что итальянец не раз с удивлением поглядывал на своего товарища и на пол.

— Подлая дыра! — проговорил г-н Риго после продолжительного молчания. — Посмотри, какой свет. Дневной свет! Да это свет прошлой недели, прошлого месяца, прошлого года! Такой слабый и тусклый!

Этот свет проходил сквозь четырехугольное отверстие в стене на лестнице, через которое нельзя было разглядеть и клочка неба.

— Кавалетто, — сказал г-н Риго, внезапно отрывая глаза от этого отверстия, на которое оба невольно устремили взгляд, — ты знаешь, что я джентльмен?

— Конечно, конечно!

— Давно ли мы здесь?

— Я — одиннадцать недель завтра в полночь. Вы — девять недель и три дня сегодня в пять часов.

— Делал ли я хоть что-нибудь за все это время? Брался ли я за щетку, расстилал ли тюфяк или свертывал его, убирал ли шашки и домино, словом — взялся ли хоть раз за какую-нибудь работу?

— Никогда!

— Пришло тебе хоть раз в голову, что я мог бы взяться за работу?

Жан Батист сделал несколько резких движений указательным пальцем правой руки, — это самый сильный жест отрицания у итальянцев.

— Нет! Ты с первого взгляда понял, что я джентльмен.

— Altro! [2] — ответил Жан Батист, зажмурившись и изо всех сил тряхнув головой. Это слово,

---

[2] Сноски: 2
От altroche — еще бы! *(итал.)*

которое на генуэзском жаргоне может выражать согласие и несогласие, утверждение и отрицание, насмешку, комплимент, шутку и десятки других эмоций, в данном случае равнялось нашим «вы совершенно правы».

— Ха-ха! Ты прав! Я джентльмен. Я проживу джентльменом и умру джентльменом. Моя цель — быть джентльменом. Это моя игра, и я, черт возьми, сыграю ее во что бы то ни стало!

Он привстал и сел, восклицая с торжествующим видом:

— Вот и я! Взгляните на меня! Заброшен судьбой в общество простого бродяги, ничтожного контрабандиста, беспаспортного, которого полиция забирает в кутузку за то, что он вздумал уступить свою лодку (как средство пробраться за границу) другим таким же беспаспортным бродягам, и он инстинктивно признает меня джентльменом — даже в этом месте, при этом освещении. Превосходно!

Снова усы поднялись, а нос опустился.

— Который час? — спросил он, причем лицо его покрылось страшной бледностью, не гармонировавшей с его весельем.

— Половина первого.

— Ладно. Скоро президент увидит пред собой

джентльмена. Что ж, сказать тебе или нет, в чем меня обвиняют? Если не скажу теперь, то никогда не скажу, потому что сюда не возвращусь: или меня освободят, или пошлют бриться. Ты знаешь, где у них спрятана бритва?

Синьор Кавалетто вынул папиросу изо рта и обнаружил гораздо больше смущения, чем можно было ожидать.

— Я, — г-н Риго встал и выпрямился при этих словах, — я джентльмен-космополит. У меня нет родины. Мой отец — швейцарец кантона Ваадт. Моя мать — француженка по крови, англичанка по рождению. Я сам родился в Бельгии. Я гражданин мира!

Его театральный вид, манера, с которой он стоял, упираясь рукой в бедро, драпируясь в складки своего плаща и обращаясь к стене, не глядя на своего товарища, показывали, что он говорит скорее для президента, перед которым ему предстояло явиться, чем для просвещения такой ничтожной особы, как Жан Батист Кавалетто.

— Мне тридцать пять лет. Я видел свет. Я жил здесь, я жил там, и везде я жил джентльменом. Все и всюду относились ко мне как к джентльмену. Быть может, вы упрекнете меня за то, что я жил своею хитростью, своим умом, но как же вы-то

живете: вы, юристы, вы, политики, вы, дельцы, вы, представители биржи?

Он говорил, то и дело вытягивая свою маленькую пухлую руку, точно это был свидетель его порядочности, уже не раз оказывавший ему услуги.

— Два года назад я приехал в Марсель. Я признаю, что был беден и болен. Когда вы, юристы, вы, политики, вы, дельцы, вы, представители биржи, заболеваете, вы тоже становитесь бедняками, если не успели сколотить капиталец на черный день. Я поселился в «Золотом кресте»; меня приютил господин Анри Баронно, хозяин гостиницы, старец лет шестидесяти пяти и весьма слабого здоровья. Я жил в его доме уже четвертый месяц, когда господин Баронно имел несчастье умереть, — несчастье, впрочем, довольно обыкновенное. Я тут ни при чем, подобного рода происшествия случаются весьма часто и без моей помощи.

Заметив, что Жан Батист докурил свою папироску до самых пальцев, г-н Риго великодушно бросил ему другую. Итальянец прикурил ее от окурка первой, посматривая искоса на товарища, который, по-видимому, едва замечал его, поглощенный своим делом.

— Господин Баронно оставил вдову. Ей было двадцать два года. Она славилась своей красотой и (это совсем другое дело) действительно была красива. Я остался жить в «Золотом кресте» и женился на госпоже Баронно. Не мне судить, соблюдено ли равенство в этом браке. Вот я перед вами, тюрьма наложила на меня свою гнусную печать, но, может быть, вы найдете, что я больше подходил к моей жене, чем ее первый муж.

Он хотел казаться красавцем, хотя не был им, и благовоспитанным человеком, хотя также не был им. У него было только фанфаронство и наглость, но и в этом случае, как и во многих других, беззастенчивое бахвальство может сойти за доказательство в глазах большинства.

— Как бы то ни было, я понравился госпоже Баронно. Надеюсь, что это не будет поставлено мне в вину?

Его вопросительный взгляд упал на Жана Батиста, который с живостью отрицательно замотал головой и забормотал свое «altro, altro, altro, altro» бесчисленное количество раз.

— Вскоре между нами пробежала черная кошка. Я горд! Ничего не скажу в защиту гордости, но я горд. Кроме того, у меня властолюбивый характер. Я не могу подчиняться; я должен гос-

подствовать. К несчастью, состояние госпожи Риго принадлежало ей лично. Такова была нелепая воля ее покойного мужа. А кроме того, что еще хуже, у нее были родственники. Когда родственники жены настраивают ее против мужа, который сознает себя джентльменом, который горд, который должен господствовать, то последствия оказываются неблагоприятными для семейного мира. Но был и еще источник раздоров между нами. Госпожа Риго, к несчастью, была немножко вульгарна. Я старался исправить ее манеры, приучить к хорошему тону; она (поддерживаемая своими родственниками) сердилась на меня за это. Между нами происходили ссоры, и благодаря сплетням все тех же родственников эти ссоры становились известными соседям и преувеличивались. Был пущен слух, что я обращаюсь с госпожой Риго жестоко. Быть может, кто-нибудь видел, что я ударил ее по лицу, но не больше. У меня легкая рука, и если я когда-нибудь поучал госпожу Риго таким способом, то делал это почти в шутку.

Если шутливость господина Риго отразилась в улыбке, осветившей его лицо в эту минуту, то родственники госпожи Риго вполне основательно могли бы предпочесть, чтобы он поучал

несчастную женщину более серьезно.

— Я чувствителен и смел. Я не ставлю себе в заслугу чувствительности и смелости, но таков уж мой характер. Если бы родственники госпожи Риго — я имею в виду мужчин — выступили против меня прямо, я бы сумел расправиться с ними. Они знали это и вели свои махинации втайне; в результате между мной и госпожой Риго возникали постоянные и тяжелые столкновения. Даже когда мне требовалась ничтожная сумма на мои личные расходы, я не мог получить ее без столкновения — я, в характере которого заложена потребность повелевать! Однажды вечером госпожа Риго и я гуляли весьма дружелюбно, могу сказать — подобно двум любовникам, по обрыву, свисавшему над морем. Злая звезда побудила госпожу Риго завести разговор о родственниках, мы стали рассуждать об этом предмете, и я доказывал, что она нарушает священный долг преданности мужу, подчиняясь злобе своих родственников и допуская их вмешиваться в наши отношения. Госпожа Риго возражала, я возражал. Госпожа Риго разгорячилась, и я разгорячился и стал говорить грубости. Сознаюсь в этом. Откровенность — одна из черт моего характера. Наконец, госпожа Риго в припадке бешенства,

которое я должен вечно оплакивать, бросилась на меня с неистовыми воплями (без сомнения, их-то и слышали издали), изорвала мою одежду, вырвала клочья моих волос, исцарапала мне руки и, наконец, бросилась с утеса и разбилась до смерти о камни. Таков ход событий, которые злоба обратила против меня, выдумав, будто я хотел добиться у госпожи Риго отречения от ее прав и, ввиду ее упорного отказа, бросился на нее и убил.

Он шагнул к окну, где лежали виноградные листья, взял два или три и остановился спиной к свету, вытирая ими свои руки.

— Ну, — сказал он после некоторого молчания, — что же ты скажешь на это?

— Отвратительно, — ответил маленький человечек, который между тем встал и, упершись рукой в стену, стал чистить нож о башмак.

— Что ты хочешь сказать?

Жан Батист молча продолжал чистить нож.

— Ты думаешь, что я неверно передал события?

— Altro! — возразил Жан Батист. На этот раз словечко имело смысл оправдания и значило: «О, вовсе нет!»

— Ну так что же?

— Судьи — такой пристрастный народ.

— Ну, — воскликнул Риго, с ругательством закидывая за плечо полу своего плаща, — пусть приговаривают к худшему!

— Вероятно, так и сделают, — пробормотал Жан Батист себе под нос, засовывая нож за пояс.

Ничего более не было сказано, хотя оба принялись расхаживать взад и вперед, причем, разумеется, то и дело сталкивались. Иногда г-н Риго приостанавливался, точно собираясь изложить дело в новом свете или отпустить какое-нибудь гневное замечание, но из этого ничего не выходило, так как синьор Кавалетто продолжал разгуливать взад и вперед довольно забавной рысцой, опустив глаза в землю.

Наконец звук отпирающейся двери заставил их обоих остановиться. Послышались голоса и шаги. Хлопнула дверь, голоса и шаги стали приближаться, и тюремщик медленно поднялся по лестнице в сопровождении взвода солдат.

— Ну, господин Риго, — сказал он, остановившись на минуту у решетки с ключами в руке, — пожалуйте!

— Под конвоем, как я вижу?

— Да, иначе, пожалуй, от вас и кусков не соберешь. Там собралась толпа, господин Риго, и,

кажется, не с дружескими целями.

Он прошел мимо окна и отомкнул низенькую дверь в углу камеры.

— Ну, выходите, — прибавил он, отворяя ее.

Вряд ли из всех оттенков белого цвета в подлунном мире найдется хоть один, который своей белизной сравнялся бы с бледностью лица г-на Риго в эту минуту. И вряд ли найдется выражение человеческого лица, подобное его выражению, где каждая черточка выдавала трепет сердца, пораженного ужасом. То и другое условно в сравнении со смертью, но глубокое различие существует между окончившейся борьбой и борьбой в момент ее самого отчаянного напряжения.

Он прикурил другую папироску от окурка своего товарища, крепко стиснул ее губами, надел мягкую шляпу с широкими полями, снова перекинул полу плаща через плечо и вышел из камеры в коридор, не обращая больше внимания на синьора Кавалетто. Что касается этого последнего, то его внимание было поглощено открытой дверью и коридором. Поводя глазами, он, как дикий зверь, выглядывал в открытую дверцу клетки, пока та не захлопнулась перед его носом.

Солдатами командовал офицер, высокий, бра-

вый и совершенно спокойный, куривший, держа свою обнаженную шпагу в руке. Он коротко приказал солдатам окружить господина Риго, с невозмутимым видом стал во главе отряда, скомандовал: «Марш!», и все с грохотом зашагали вниз по лестнице. Дверь хлопнула, ключ повернулся в замке, в тюрьме блеснул на минуту луч непривычного света и ворвалась непривычная струя свежего воздуха, которая растаяла вместе с тонким облачком дыма, оставленным сигарой офицера.

Тогда, оставшись в одиночестве, узник, словно нетерпеливая обезьяна или резвый медвежонок, вскарабкался на подоконник и, прильнув к решетке, принялся наблюдать, не отрывая глаз, за уходившими. Он стоял, уцепившись за брусья обеими руками, когда внезапный гул голосов достиг его слуха: крики, вопли, проклятия, угрозы, ругательства — все сливалось в нем, хотя (как в буре) слышался только бешеный рев.

Возбужденный этим шумом и еще более похожий на дикого зверя в клетке, узник соскочил с окна, обежал комнату, снова вскочил на окно, схватился за решетку, пытаясь потрясти ее, опять соскочил и обежал комнату, затем вскарабкался на окно и прислушался, не оставаясь ни минуты

в покое, пока гул не замер, мало-помалу удаляясь. Сколько пленников получше этого так же надрывали свое благородное сердце, и никто не думал о них (даже возлюбленная не знала об их страданиях), а великие короли и правители, бросившие их в тюрьму, разъезжали при блеске солнца, среди приветственных криков толпы, или мирно умирали в своих постелях, после громких дел и звонких слов, а учтивая история, еще более раболепная, чем их подданные, бальзамировала их.

Наконец Жан Батист, которому теперь можно было выбирать любой угол для спанья в пределах этих четырех стен, улегся на скамье, лицом кверху, скрестил руки на груди и заснул. Покорность судьбе, легкомыслие, добродушие, легкая и скоро проходящая возбужденность, всегдашняя готовность примириться с черствым хлебом и жестким камнем — во всем этом сказывался верный сын его страны.

Еще несколько времени все сияло и блестело под раскаленным небом, но вот солнце зашло в блеске багряных, зеленых, золотых лучей, и звезды зажглись на небе, а на земле, подражая им (как люди подражают доброте высших существ), заискрились светляки. Длинные пыльные дороги и бесконечные равнины успокоились, и глубокая

тишина воцарилась на море.

Глава II. Попутчики

— Не слыхали вчерашнего рева, сэр, а? Ничего не было слышно?

— Я ничего не слыхал.

— Ну, так значит, ничего и не было. Уж если этот народ примется шуметь, так, поверьте, слышно будет.

— Да это, я думаю, о всяком народе можно сказать.

— Да, но здешний народ всегда шумит. Они жить не могут без этого.

— Вы говорите о марсельцах?

— Я говорю о французах. Они всегда шумят. А Марсель… известно, что такое Марсель. Он пустил в свет самую бунтовскую песню [3], какая только была сочинена когда-нибудь. Им во что бы то ни стало требуется allons [4] и marchons [5]

---

[3] Сноски: 3
Имеется в виду «Марсельеза», национальный гимн Франции (1792); автор музыки и слов — французский офицер, поэт Руже де Лиль (1760–1836). Солдаты распевали ее, когда шли на Париж.

[4] Сноски: 4
Пойдемте *(фр.).*

[5] Сноски: 5
Марш *(фр.).*

к какой-нибудь цели: к победе, к смерти, в огонь — все равно куда.

Говоривший это — господин добродушно-величавого вида — неодобрительно посматривал на Марсель с парапета стены; приняв удобную позу, он засунул руку в карманы и, побрякивая деньгами, заключил свою речь коротким смехом.

— Да, allons и marchons. Лучше бы вы другим предоставили allons и marchons по своим законным делам, чем держать их в карантине.

— Да, это довольно скучно, — сказал другой. — Но сегодня нас выпустят.

— Сегодня выпустят! — повторил первый. — Да ведь это еще усиливает безобразие, если нас сегодня выпустят. Выпустят! Зачем же мы здесь сидели?

— Положим, без всякой основательной причины. Но так как мы явились с Востока, а Восток — гнездо чумы.

— Чумы! — подхватил первый. — Да я на это и жалуюсь. Я схватил чуму, как только попал сюда. Я, как человек в здравом рассудке, которого посадили в желтый дом, не могу вынести простого подозрения. Явился сюда здоровехонек, но заподозрили меня в чуме, и вот я зачумлен. Да, я зачумлен, я схватил чуму!

— Вы, однако, переносите ее молодцом, мистер Мигльс, — с улыбкой заметил его собеседник.

— Нет. Если бы вы знали настоящее положение вещей, то не сделали бы подобного замечания. Каждую ночь я просыпался, говоря себе: «Теперь я схватил болезнь, теперь она развилась, теперь я сижу в карантине из-за болезни, теперь эти молодцы добились своего». Да лучше бы меня проткнули булавкой и посадили в коробку с жуками, чем осудить на такое существование, какое я вел здесь.

— Полно, мистер Мигльс, довольно об этом, теперь все кончилось, — сказал веселый женский голос.

— Кончилось! — повторил мистер Мигльс, который, по-видимому, находился в том особом настроении духа (впрочем, вовсе не злостном), когда каждое лишнее слово, произнесенное кем бы то ни было, кажется новым оскорблением. — Кончилось! Да хоть бы и кончилось, почему же мне не говорить об этом?

Это миссис Мигльс говорила с мистером Мигльсом. Миссис Мигльс, подобно мистеру Мигльсу, была благообразна и здорова и обладала приятным английским лицом, которое лет пятьдесят пять любовалось счастливым семейным очагом,

так что носило на себе его светлый отпечаток.

— Полно, брось, отец, — сказала миссис Мигльс. — Посмотри-ка лучше на Милочку.

— На Милочку? — повторил мистер Мигльс прежним ворчливым тоном, но Милочка стояла за ним, трогала его за плечо, и мистер Мигльс немедленно от всей души простил Марселю все его грехи.

Милочка была красивая девушка лет двадцати, с роскошными каштановыми вьющимися волосами; милая девушка с открытым личиком и удивительными глазами: большими, нежными, ясными, так украшавшими ее хорошенькое лицо. Была она круглая, свежая, балованая, с ямочками и с выражением робкой застенчивости, усиливавшим прелесть и без того милой и привлекательной девушки.

— Я спрашиваю вас, — сказал мистер Мигльс в порыве откровенности, сделав шаг назад и притягивая дочку, — спрашиваю вас, так, просто, как человек, не чертовская ли бессмыслица посадить Милочку в карантин?

— Зато от этого даже карантин сделался приятным.

— Да, — сказал мистер Мигльс, — это, конечно, чего-нибудь да стоит. Очень обязан вам за это

замечание. Милочка, ты пошла бы с матерью да приготовилась к отъезду. Санитарный чиновник и целая куча каких-то негодяев в треуголках явились выпустить нас на волю, и мы, тюремные пташки, позавтракаем наконец как приличествует христианам, а там разлетимся кто куда… Тэттикорэм, ступай за барышней.

Эти последние слова относились к хорошенькой девушке с блестящими черными волосами и глазами, очень чистенько одетой, которая слегка присела и отправилась за миссис Мигльс и Милочкой. Они перешли голую, обожженную солнцем террасу и исчезли под белой, блестевшей на солнце аркой. Спутник мистера Мигльса, серьезный смуглый мужчина лет сорока, не сводил глаз с арки, пока мистер Мигльс не дотронулся до его плеча.

— Виноват, — сказал он, вздрогнув.

— Ничего, — ответил мистер Мигльс.

Они молча прошлись взад и вперед под тенью стены, стараясь дышать свежим морским ветерком, который уже достигал в семь часов утра высоты карантина. Спутник мистера Мигльса возобновил разговор.

— Могу я спросить, — сказал он, — имя…

— Тэттикорэм? — подхватил мистер Мигльс. —

Не имею понятия.

— Я думал, — продолжил первый, — что…

— Тэттикорэм? — снова подсказал мистер Мигльс.

— Благодарю вас… что Тэттикорэм — настоящее имя, и не раз удивлялся его странности.

— Видите ли, — сказал мистер Мигльс, — дело в том, что мы, миссис Мигльс и я, люди практические.

— Об этом вы часто упоминали в приятных и поучительных беседах, которые мы вели с вами, прогуливаясь по этим камням, — сказал его спутник, и легкая улыбка мелькнула на его серьезном смуглом лице.

— Практические люди. Так вот, однажды, пять или шесть лет назад, мы взяли Милочку в Церковь найденышей… вы слыхали о Госпитале найденышей в Лондоне? Это вроде Приюта найденышей в Париже.

— Я бывал там.

— Прекрасно! Итак, взяли мы с собой Милочку в церковь послушать музыку — как люди практические, мы поставили целью нашей жизни показывать Милочке все, что может доставить ей удовольствие, — как вдруг мать (я так называю обыкновенно миссис Мигльс) расплакалась до

того, что пришлось ее увести из церкви. «В чем дело, мать? — спрашиваю ее, когда она немножко успокоилась. — Ты напугала Милочку, душа моя». — «Да, я знаю, отец, — сказала она, — но это пришло мне в голову оттого, что я так люблю ее». — «Да что тебе такое пришло в голову, мать?» — «Ах, голубчик! — воскликнула мать, снова заливаясь слезами. — Когда я увидела этих детей, как они стоят рядами и взамен отца, которого никто из них не знал на земле, взывают к Великому Отцу на небесах, мне пришло в голову, приходит ли сюда какая-нибудь несчастная мать, смотрит ли на эти детские личики, ищет ли между ними бедного ребенка, которого она бросила в этот пустынный мир и который никогда не узнает ее любви, ее поцелуя, ее лица, ее голоса, даже ее имени». Это было вполне практично со стороны матери, и я ей так и сказал. Я сказал: «Мать, вот что я называю практичным, голубушка». — Собеседник кивнул с некоторым волнением. — На другой день я говорю ей: «Слушай, мать, я намерен сделать тебе предложение, которое, надеюсь, ты одобришь. Возьмем из этих детей девочку для Милочки. Мы люди практические. И если в ее характере обнаружатся какие-нибудь недостатки или вообще она не подойдет нам, мы будет знать,

чем это объяснить. Мы будем знать, какое огромное значение имеют влияния и впечатления, которых она не знала, не имея ни родителей, ни брата или сестры, никакой семьи, никакого дома». Вот каким манером мы добыли Тэттикорэм.

— А самое имя…

— Святой Георгий! — воскликнул мистер Мигльс. — Об имени-то я и забыл. Видите ли, в приюте она называлась Гарриет Педель — без сомнения, вымышленное имя. Ну вот, Гарриет превратилась в Гэтти, а потом в Тэтти; как люди практические, мы сообразили, что шуточное имя может оказать смягчающее и благотворное действие на ее характер, не правда ли? Что же до Педель, то об этой фамилии, разумеется, не могло быть и речи. Если есть что-нибудь безусловно невыносимое, образчик пошлого и нахального чванства — воплощение нашей английской привязанности к благоглупостям, оставленным всеми здравомыслящими людьми, — воплощение в сюртуке, жилете и с тростью в руках, так это педель. Давно вы не видали педелей?

— Довольно давно; я провел двадцать лет в Китае.

— В таком случае, — продолжил мистер Мигльс с воодушевлением, уставив указательный

палец в грудь собеседнику, — и не старайтесь увидеть. Всякий раз, как мне случится встретить педеля в воскресенье, на улице, во всем параде, во главе приютских детей, я должен отвернуться и бежать, иначе поколочу его. Ну-с, поэтому о фамилии Педель не могло быть и речи, а так как основателя приюта для найденышей звали Корэм, то мы и девочку назвали по фамилии этого доброго человека. Иногда звали ее Тэтти, иногда Корэм, а потом эти два имени слились, и теперь она Тэттикорэм.

— Ваша дочь, — сказал собеседник мистера Мигльса, после того как они прошлись молча по террасе и, остановившись на минуту взглянуть на море, возобновили свою прогулку, — насколько мне известно, ваше единственное дитя, мистер Мигльс. Могу ли я спросить — не из назойливого любопытства, а потому, что ваше общество доставило мне много удовольствия, и, прежде чем расстаться с вами, быть может навсегда, мне хотелось бы узнать вас покороче, — правильно ли я заключил из слов вашей супруги, что у вас были и другие дети?

— Нет-нет, — сказал мистер Мигльс, — не совсем правильно. Не другие дети. Другой ребенок.

— Простите, я, может быть, затронул слишком

тяжелую тему.

— Ничуть, — сказал мистер Мигльс. — Я становлюсь серьезным, вспоминая об этом, но не горюю, не чувствую себя несчастным. У Милочки была сестра (они были близнецами), которая умерла в таком возрасте, что мы едва могли видеть ее глаза (такие же, как у Милочки) из-за стола, когда она вставала на цыпочки.

— А, вот как!

— Да, и так как мы люди практические, то в конце концов у нас с миссис Мигльс явилось убеждение, которое вы, может быть, поймете, а может быть, и не поймете. Милочка и ее малютка сестра были так похожи друг на друга, что мы как-то не могли разделять их в мыслях со времени этого несчастья. Бесполезно было бы уверять нас, что наше дитя умерло в младенческом возрасте. Оно изменялось и вырастало вместе с изменениями и ростом ребенка, который остался у нас и никогда не разлучался с нами. По мере того как вырастала Милочка, вырастал и тот ребенок; по мере того как Милочка становилась взрослой и разумной, становилась взрослой и разумной ее сестра, в точно такой же степени. Убедить меня в том, что, переселившись в иной мир, я не встречу, по милости божией, дочери такой же, как

Милочка, — убедить меня в этом так же трудно, как в том, что сама Милочка не живое существо.

— Я понимаю вас, — тихо сказал его собеседник.

— Что до нее самой, — продолжил отец, — то, конечно, потеря своего живого портрета и подруги детских игр и раннее знакомство с тайной смерти, которая суждена всем нам, но не часто открывается ребенку, не могли не оказать известного влияния на ее характер. К тому же ее мать и я поженились уже в немолодом возрасте, и Милочка росла, так сказать, в атмосфере старости, хотя мы старались приспособиться к ней. Нам не раз советовали, когда она была не совсем здорова, как можно чаще менять для нее климат и воздух, особенно в этот период ее жизни, и доставлять ей всяческие развлечения. И так как теперь я не прикован к своему столу в банке (хотя в свое время знавал-таки нужду, оттого и женился на миссис Мигльс так поздно), то вот мы и рыскаем по свету. Оттого-то мы и встретились с вами на Ниле и глазели вместе с вами на пирамиды, на сфинксов, на пустыню и все прочее, и оттого-то Тэттикорэм сделается со временем путешествен-

ницей почище капитана Кука [6].

— От души благодарю вас, — сказал его собеседник, — за вашу откровенность.

— Не за что, — ответил мистер Мигльс, — я к вашим услугам. А теперь позвольте мне спросить вас, мистер Кленнэм: куда вы поедете?

— Право, не знаю. Я чувствую себя таким одиноким и чужим повсюду, что мне все равно, куда ни занесет случай.

— Мне крайне странно, простите мою смелость, что вы не отправитесь прямо в Лондон, — сказал мистер Мигльс тоном благодушного советника.

— Может быть, я и отправлюсь.

— Ага! Но не без цели же?

— У меня нет никаких целей! То есть, — он слегка покраснел, — почти никаких, которые бы я мог привести в исполнение в настоящее время. Подчинившись насилию, сломившись, но не согнувшись, я был прикован к делу, которое никогда не было мне по душе и о котором не спрашивали моего мнения; меня увезли на другой конец света еще несовершеннолетним, и я прожил в изгнании до смерти отца в прошлом

---

[6] Сноски: 6

Кук Джеймс (1728–1779) — английский мореплаватель; совершил три кругосветных путешествия, открыл ряд островов в Тихом океане и обследовал восточный берег Австралии.

году, принужденный вечно вертеть колесо, которое я ненавидел. Что же могло выйти из меня при таких условиях? Мои цели, планы, надежды? Все эти огни погасли раньше, чем я научился говорить.

— Зажгите их снова! — сказал мистер Мигльс.

— Да, легко сказать! Я сын суровых родителей, мистер Мигльс. Я единственный ребенок родителей, которые взвешивали, мерили и оценивали все на свете, для которых то, что не может быть взвешено, измерено и оценено, вовсе не существовало. Строгие люди, представители мрачной религии, которая вся заключалась в том, чтобы приносить в жертву чувства и симпатии, и без того недоступные для них, в расчете обеспечить этим свое благополучие. Суровые лица, неумолимая дисциплина, покаяние в этом мире и ужас в будущем; ни ласки, ни привета, пустота в запуганном сердце — вот мое детство, если только можно применить это слово к подобному началу жизни.

— Вот оно что! — сказал мистер Мигльс, крайне смущенный картиной, представлявшейся его воображению. — Суровое начало. Но оно прошло, и вы должны пользоваться всем, что остается для вас, как практический человек.

— Если бы все люди, которых обыкновенно называют практичными, были практичны на ваш лад…

— Да таковы они и есть.

— В самом деле?

— Да, я думаю, что так, — ответил мистер Мигльс после некоторого размышления. — А ведь иному ничего другого не остается, как быть практичным, и мы с миссис Мигльс именно таковы.

— Мой одинокий путь легче и не так безнадежен, как я ожидал, — сказал Кленнэм, пожимая ему руку, со своей серьезной улыбкой. — Довольно обо мне. Вот лодка!

Лодка была переполнена треуголками, к которым мистер Мигльс питал национальную антипатию. Обладатели этих треуголок высадились, поднялись в карантин, и вскоре все задержанные путешественники собрались вместе. Затем треуголки принялись возиться с огромным ворохом бумаг, вызывать поименно, подписывать, запечатывать, ставить штемпеля и кляксы, посыпать песочком — словом, развели такую жестокую пачкотню, в которой решительно ничего нельзя было разобрать. В конце концов все было сделано по правилам, и путешественникам была предоставлена возможность отправиться на все

четыре стороны.

На радостях они не обращали внимания на зной и блеск, а, переправившись через гавань в лодках, собрались в огромном отеле, куда солнце не могло проникнуть сквозь спущенные шторы и где голые каменные полы, высокие потолки и гулкие коридоры смягчали удушливую жару. Вскоре на большом столе в большой зале красовался роскошный завтрак, и карантинные невзгоды превратились в смутные воспоминания среди массы тонких блюд, южных фруктов, охлажденных вин, цветов из Генуи, снега с горных вершин и всех красок радуги, блиставших в зеркалах.

— Теперь я без всякой злобы вспоминаю об этих унылых стенах, — сказал мистер Мигльс. — Когда расстаешься с местом, то скоро забываешь о нем; я думаю, даже узник, выпущенный из тюрьмы, перестает злобствовать против нее.

Всего за столом было человек тридцать. Все разговаривали, разбившись на группы. Отец и мать Мигльс с дочкой сидели на одном конце стола; на противоположном помещались мистер Кленнэм, какой-то рослый француз с черными волосами и бородой, смуглого и страшного, чтобы не сказать — дьявольского вида, что не помешало ему оказаться самым кротким из людей, и красивая

молодая англичанка с гордыми и наблюдательными глазами. Она путешествовала одна и либо сама держалась в стороне от остального общества, либо общество избегало ее — этого никто бы не мог решить, кроме нее самой. Остальная публика представляла собой обычную смесь путешественников по делу и путешественников ради удовольствия: офицеры индийской службы, отправлявшиеся в отпуск; купцы, торговавшие с Грецией и Турцией; английский пастор в одежде, напоминавшей смирительную рубашку, совершавший свадебную поездку с молодой женой; пожилые англичане — отец и мать — с семейством, состоявшим из трех взрослых дочерей, которые вели путевой дневник, смущавший их родителей, старая глухая английская маменька с весьма взрослой дочкой, скитавшейся по свету в ожидании благополучного перехода в замужнее состояние.

Англичанка, державшаяся особняком, вмешалась в разговор, услыхав замечание мистера Мигльса.

— Так вы думаете, что узник может простить своей тюрьме? — спросила она медленно и выразительно.

— Это только мое предположение, мисс Уэд. Я

не возьмусь судить о чувствах узника. Мне никогда не приходилось сидеть в тюрьме.

— Мадемуазель думает, — сказал француз на своем родном языке, — что прощать не очень легко.

— Думаю.

Милочке пришлось перевести слова француза мистеру Мигльсу, так как он никогда не мог выучиться языку страны, по которой путешествовал.

— О, — сказал он. — Боже мой, но ведь это очень жаль!

— Что я недоверчива? — спросила мисс Уэд.

— Нет, не то. Не так выражено. Жаль, что вы думаете, что прощать нелегко.

— Мой личный опыт, — возразила она спокойно, — во многих отношениях уменьшил мою доверчивость. Это весьма естественно, я полагаю.

— Конечно, конечно. Но разве естественно хранить злобу? — весело спросил мистер Мигльс.

— Если бы мне пришлось томиться и чахнуть в каком-нибудь месте, я всегда ненавидела бы это место и желала бы сжечь его или разрушить до основания. Вот все, что я могу сказать.

— Сильно сказано, сэр, — заметил мистер Ми-

гльс, обращаясь к французу. Это тоже была одна из его привычек: обращаться к представителям всевозможных наций на английском диалекте, с полной уверенностью, что так или иначе они должны понять его. — Довольно жестокие чувства обнаруживает наша прекрасная соседка, не правда ли?

Французский джентльмен любезно спросил:

— Plait-il? [7]

На это мистер Мигльс с полным удовлетворением возразил:

— Вы совершенно правы. Я думаю то же самое.

Завтрак приближался к концу, и мистер Мигльс обратился к обществу с речью. Речь была довольно коротенькая, но прочувствованная. Суть ее заключалась в том, что вот случай свел их вместе и между ними царствовало доброе согласие, и теперь, когда они расстаются, быть может навсегда, им остается только распроститься и пожелать друг другу счастливого пути, выпив по бокалу шампанского. Так и сделали, а затем, пожав друг другу руки, расстались навсегда.

Одинокая молодая леди не прибавила ни слова к тому, что сказала раньше. Она встала вместе

---

[7] Сноски: 7
Как, что? *(фр.)*

с остальными, молча ушла в дальний угол комнаты и уселась на диван подле окна, глядя на воду, отражавшуюся серебристыми блестками на переплете оконной рамы. Она сидела спиной к остальным, словно надменно искала уединения. И все-таки трудно было сказать с уверенностью: она ли избегает общества или общество избегает ее.

Тень, падавшая на ее лицо, подобно вуали, гармонировала с характером ее красоты. Глядя на это спокойное и суровое лицо, черты которого рельефно выступали под темными дугами бровей, в рамке черных волос, вы невольно спрашивали себя, может ли оно принять какое-нибудь другое выражение. Невозможно было представить себе, что оно может смягчиться. Всякому казалось, что если только оно изменится, то станет еще мрачнее и презрительнее. Оно не смягчалось никакими любезными улыбками. Нельзя было назвать его открытым, но в нем не было никаких признаков притворства. «Я полагаюсь на себя и уверена в себе; до вашего мнения мне нет дела; я ничуть не интересуюсь вами, знать вас не хочу, гляжу на вас и слушаю вас совершенно равнодушно» — вот что было на нем написано. Это сказывалось в ее гордом взгляде, в ее раз-

дувающихся ноздрях, в ее красивом, но крепко стиснутом, почти жестоком рте. Если бы даже закрыть ее лицо, то самый поворот головы свидетельствовал бы о неукротимой натуре.

Милочка подошла к ней (семейство мистера Мигльса и мистер Кленнэм, которые одни оставались в комнате, заинтересовались ею) и остановилась, а когда леди оглянулась, робко спросила:

— Вы ожидаете кого-нибудь, кто должен вас встретить, мисс Уэд?

— Я? Нет.

— Папа посылает на почту. Посыльный может спросить, нет ли письма для вас.

— Благодарю. Я не жду писем.

— Мы боимся, — сказала Милочка робко и ласково, садясь подле нее, — что вы будете чувствовать себя одинокой, когда мы все разъедемся.

— В самом деле?

— Я не хочу сказать, — продолжила Милочка тоном оправдания, смущенная взглядом незнакомки, — что мы считаем себя подходящим обществом для вас или думаем, что вы нуждаетесь в нашем обществе.

— Я, кажется, не давала понять, что нуждаюсь в обществе.

— Нет, конечно. Но все-таки, — сказала Милочка, робко дотрагиваясь до ее руки, лежавшей на диване, — не может ли папа быть чем-нибудь вам полезен? Он был бы очень рад.

— Очень рад, — сказал мистер Мигльс, подходя к ним с женой и Кленнэмом. — Право, мне было бы очень приятно чем-нибудь услужить вам.

— Благодарю вас, — ответила она, — но мне ничего не нужно. Я предпочитаю идти своим путем, как мне вздумается.

— Да? — сказал мистер Мигльс, глядя на нее с некоторым смущением. — Однако у вас сильный характер.

— Я не привыкла к обществу молодых девушек и вряд ли сумею оценить его. Счастливого пути. Прощайте!

По-видимому, она не собиралась протягивать руку, но мистер Мигльс протянул свою, так что нельзя было отказаться от рукопожатия. Она положила свою руку в его совершенно безучастно, точно на диван.

— Прощайте! — сказал мистер Мигльс. — Это последнее прощание здесь, потому что мать и я уже простились с мистером Кленнэмом, и ему остается только проститься с Милочкой. Прощайте… Быть может, мы никогда не встретимся

больше.

— На нашем жизненном пути, — ответила она странным тоном, — мы встретимся со всеми, кому суждено встретиться с нами, и сделаем для них, как и они сделают для нас, все, что должно быть сделано.

Выражение, с которым были сказаны эти слова, заставило Милочку вздрогнуть. Казалось, под тем, что должно быть сделано, подразумевается непременно дурное. Девушка невольно прошептала: «О папа!» — и прижалась поближе к отцу. Это не ускользнуло от внимания говорившей.

— Ваша милая дочь, — сказала она, — содрогается при мысли об этом. Но, — продолжила она, пристально глядя на Милочку, — вы можете быть уверены, что уже вышли в путь те женщины и мужчины, которые должны столкнуться с вами и столкнутся. Да, без сомнения, столкнутся. Они могут находиться за сотни, тысячи миль от вас; могут находиться рядом с вами, могут явиться из грязнейших подонков этого города.

Она вышла из комнаты с ледяным поклоном и с каким-то усталым взглядом, старившим ее прекрасное лицо.

Ей пришлось пройти много лестниц и коридоров, прежде чем она добралась до своей комнаты,

помещавшейся в другом конце этого огромного дома. Проходя по галерее, в которой находилась ее комната, она услышала всхлипывания и гневное бормотанье. Дверь была открыта, и, заглянув в нее, она увидела служанку той барышни, с которой сейчас говорила, — девушку со странным прозвищем.

Она остановилась посмотреть на служанку. Мрачная страстная девушка. Ее густые черные волосы в беспорядке падали на разгоревшееся лицо, она рыдала, неистовствовала и безжалостно щипала себе шею.

— Себялюбивые животные, — говорила девушка, всхлипывая и тяжело дыша. — Даже не подумают обо мне. Бросили меня тут голодную и усталую и знать меня не хотят. Звери, черти, злодеи!

— Что с вами, бедная девочка?

Она оглянулась, отняв руки от своей шеи, исщипанной до синяков.

— Какое вам дело, что со мной! Это никому не интересно.

— О нет, мне жаль вас!

— Нисколько вам не жаль! — возразила девушка. — Вы рады. Сами знаете, что рады. Я только два раза была в таком виде, там, в карантине, и

оба раза вы приходили ко мне. Я боюсь вас.

— Боитесь меня?

— Да. Вы точно мой собственный гнев, моя злость, моя… ну, что бы ни было, я сама не знаю что. Но меня обижают, меня обижают, меня обижают! — Тут рыдания, слезы и самоистязания возобновились.

Незнакомка смотрела на нее с загадочной внимательной улыбкой. Странно было видеть бешенство этой девочки, судорожные движения ее тела, точно одержимого бесами.

— Я моложе ее на два или на три года, а должна ходить за ней, точно старшая; и ее всегда ласкают и называют малюткой! Я ненавижу это название. Я ненавижу ее. Они носятся с ней, балуют ее. Она только о себе и думает, а обо мне и знать не хочет, точно я палка или камень! — так говорила девушка.

— Вы должны терпеть.

— Я не хочу терпеть.

— Пусть они заботятся о себе и не думают о вас; вы не должны обращать на это внимания.

— Я хочу обращать внимание.

— Полно. Будьте благоразумны. Не забывайте о своем зависимом положении.

— Мне все равно. Я убегу! Я сделаю что-нибудь

скверное! Я не хочу выносить больше, я не могу выносить больше; я умру, если буду это выносить!

Посетительница стояла, приложив руку к груди и наблюдая за девушкой, как человек, страдающий какой-нибудь язвой, мог бы наблюдать за операцией над такой же язвой.

Девушка бесновалась и билась со всей силой молодости, кипевшей жизнью, но мало-помалу ее страстные восклицания превратились в тихий ропот, как будто она страдала от боли. Она опустилась на колени, потом прильнула к кровати, стащив с нее одеяло, отчасти для того, чтобы скрыть в нем свое пристыженное лицо и влажные волосы, отчасти, по-видимому, для того, чтобы прижать хоть что-нибудь к переполненной раскаянием груди.

— Уйдите от меня, уйдите от меня! Когда на меня это находит, я становлюсь сумасшедшей. Я знаю, что могла бы удержаться, если бы хорошенько постаралась, и иногда стараюсь и удерживаюсь, а иногда не хочу. Что я говорила! Я знаю, что я говорила: все это неправда. Они думают, что обо мне где-то заботятся и что мне ничего не нужно. Они всегда были добры ко мне. Я их люблю; никто бы не стал так ласкать такую

неблагодарную тварь. Ступайте, уходите, я боюсь вас! Я боюсь самой себя, когда на меня находит, и также боюсь вас. Уходите от меня, лучше я буду одна плакать и молиться!

День угасал, и знойная ночь опустилась над Марселем, а утренняя компания, расставшись, продолжила свой путь в разных направлениях. Так днем и ночью, при солнце и при звездах, взбираясь на пыльные холмы и плетясь по унылым равнинам, путешествуя по суше и по морю, встречаясь и сталкиваясь столь неожиданно и странно, и мы все, вечные странники, бредем по жизненному пути.

Глава III. Дома

Был воскресный вечер в Лондоне — мрачный, душный и пасмурный. Церковные колокола всевозможных тонов, звонкие и глухие, звучные и надтреснутые, быстрые и мерные, трезвонили как бешеные, вызывая трескучее, безобразное эхо. Меланхолические улицы, одетые копотью, точно трауром, нагоняли жестокое уныние на тех, кому приходилось любоваться ими из окон. На каждом перекрестке, на каждой улице, почти за каждым углом звонил, гудел, дребезжал какой-нибудь унылый колокол, точно чума царила в городе и телеги с трупами разъезжали по всем направлениям. Все, что могло бы доставить развлечение утомленному народу, было крепко заперто. Ни картин, ни редких животных, ни диковинных цветов и растений, никаких естественных или искусственных чудес Старого Света: на все наложено строжайшее табу, так что безобразным божкам Полинезии в Британском музее могло бы показаться, будто они вернулись на родину. Не на что взглянуть, кроме улиц, улиц, улиц. Негде подышать свежим воздухом, кроме улиц, улиц, улиц. Негде развеять хандру,

не на чем отвести душу. Изнуренному труженику оставалось только сравнивать однообразие седьмого дня с однообразием шести остальных дней недели, думать о том, как тошно ему живется, и выпутываться как знает, наилучшим или наихудшим способом, смотря по обстоятельствам.

В такую счастливую и благоприятную для размышлений о религии и морали минуту мистер Артур Кленнэм, только что прибывший из Марселя через Дувр, сидел у окна кофейни на Ледгейт-хилле. Десять тысяч почтенных домов окружали его и хмурились, поглядывая на улицы, словно в каждом из них обитали десять молодых людей из сказки, каждую ночь чернивших себе лицо и оплакивавших свои бедствия. Пятьдесят тысяч логовищ, где люди жили в такой атмосфере, что вода, поставленная в субботу вечером, портилась к утру воскресенья, окружали его. Тем не менее милорд, член парламента от этого округа, выражал свое изумление по поводу того, что они не могут спать в непосредственном соседстве с мясом, купленным у мясника на воскресный день. Тесные, закупоренные колодцы-дома, обитатели которых задыхались от недостатка воздуха, тянулись на целые мили по всем румбам компаса. Через весь город струилась вместо све-

жей речной воды зловонная мерзость сточных труб. Чего же еще недоставало миллиону человеческих существ, осужденных работать в этой Аркадии [8] шесть дней в неделю, от колыбели до могилы, чего еще нужно было им на седьмой день? Ничего, кроме строгой полиции, — это очевидно.

Мистер Артур Кленнэм сидел у окна кофейни на Ледгейт-хилле, считая удары соседнего колокола, невольно повторяя выбиваемый им мотив и спрашивая себя, сколько больных проводил колокол на тот свет в течение года. По мере того как приближался час, звон становился все быстрее и отчаяннее. За четверть часа он звучал внушительно и настойчиво, приглашая народ: «Идти в церковь, идти в церковь, идти в церковь!» За десять минут, убедившись, что прихожан мало, он уныло повторял: «Не идут, не идут, не идут». За пять минут, потеряв всякую надежду, он потрясал все соседние дома в течение трехсот секунд одним сплошным стоном отчаяния.

— Слава богу! — сказал Кленнэм, когда часы пробили и колокол умолк.

---

[8] Сноски: 8

Аркадия — легендарное место счастливой жизни (по имени древнегреческой области Аркадии, которая в поэзии изображалась, как счастливая страна). Диккенс употребляет это слово иронически.

Но эти звуки оживили в его памяти вереницу томительных воскресных дней, и эти воспоминания не исчезли с последним ударом колокола.

— Да простит Небо мне и тем, кто воспитывал меня, — произнес он. — Как я ненавидел этот день!

Вспомнилось ему тоскливое воскресенье детских лет, когда он сидел неподвижно, изнывая над ужасной книжкой, с первого шага огорошивавшей бедного ребенка вопросом: зачем он стремится к погибели? Вопрос праздного любопытства, на который он, ребенок в курточке и коротких штанишках, никогда не мог дать удовлетворительного ответа. Вспоминалось бесконечное воскресенье юношеского возраста, когда его мать, суровая лицом и неумолимая сердцем, целый день сидела над своей Библией в жестком голом деревянном переплете, с единственным украшением в виде цепи на наружной стороне и зловещими багряными пятнами на обрезе листов, как будто эта книга, одна из всех книг, была надежным оплотом против мягкости характера, естественных привязанностей, нежных разговоров. Вспоминалось мрачное воскресенье, немного позднее, когда он угрюмо и пасмурно коротал долго тянувшийся день с

горьким чувством обиды в сердце, так же чуждый благотворному учению Нового Завета, как любой язычник. Целый легион воскресных дней, полных бесполезной горечи и тоски, проходил перед ним.

— Прошу прощения, сэр, — сказал проворный лакей, вытирая стол. — Угодно вам посмотреть спальню?

— Да. Я только что собирался сделать это.

— Девушка, — крикнул лакей, — господин из дилижанса номер семь желает посмотреть комнату!

— Постойте! — сказал Кленнэм, вставая. — Я ответил машинально, сам не сознавая, что говорю. Я не буду ночевать здесь, пойду домой.

— Да, сэр? Девушка! Господин из дилижанса номер семь не ночует здесь, пойдет домой.

Он уселся на прежнее место, наблюдая, как умирает день, глядя на угрюмые дома, и ему казалось, что, если бы бесплотные души их прежних жильцов могли теперь взглянуть на них, то не на шутку порадовались бы своему избавлению из таких темниц. По временам чье-нибудь лицо появлялось за грязным стеклом и тотчас пропадало в сумраке, как будто достаточно насмотрелось на жизнь и спешило исчезнуть. Вскоре косые линии

дождя протянулись между окном кофейни и противоположными домами, и прохожие спешили укрыться в соседней крытой галерее, безнадежно поглядывая на небо, так как дождь становился все сильнее и крупнее. Появились мокрые зонтики, зашлепанные подолы и грязь. Зачем явилась грязь и откуда — никто не мог бы объяснить, но она явилась мгновенно, как собирается толпа, и в какие-нибудь пять минут забрызгала всех сынов и дочерей Адама. Показался ламповщик, и яркие языки пламени, вспыхивая один за другим, точно удивлялись, зачем им понадобилось освещать такую мрачную картину.

Мистер Артур Кленнэм надел шляпу, застегнул пальто и вышел на улицу. В деревне дождь вызывает тысячи свежих ароматов, и каждая капля его соединяется со светлым представлением о прекрасных формах жизни и ее развитии. В городе он усиливал только запах гнили, стекая нездоровыми тепловатыми мутными потоками по водосточным трубам.

Кленнэм перешел улицу у собора Святого Павла и спустился почти к самой воде по кривым извилистым улицам между рекой и Чипсайдом. Минуя то заплесневелый дом какого-нибудь забытого почтенного общества, то ряд освещенных

окон церкви без прихода, точно дожидавшейся, пока какой-нибудь предприимчивый Бельцони [9] откопает в архивах и восстановит ее историю, то безмолвные склады и верфи, то узкие улицы, спускавшиеся к реке, по углам которых виднелись на мокрых стенах билетики с надписью «найден утопленник», он добрался наконец до дома, который искал. Это был старый кирпичный дом, грязный до того, что казался совершенно черным, стоявший особняком в глубине двора. Перед ним на квадратной площадке росли два-три куста и клочья травы, настолько же жесткой, насколько окружавшая их решетка была ржавой. Дом был двухэтажный, с высокими узкими окнами. Много лет назад он собирался было покоситься набок, но был укреплен подпорками; эти гигантские костыли — излюбленное место для гимнастических упражнений уличных кошек, — изъеденные непогодой, закопченные дымом, поросшие мхом, казались теперь не особенно надежной опорой.

— Все по-старому, — сказал путешественник, остановившись и осмотревшись, — никаких перемен. Темно и уныло, как всегда. Свет в окне

[9] Сноски: 9

Бельцони Джованни Батиста (1778–1823) — итальянский археолог и путешественник, исследователь египетских древностей.

моей матери, кажется, ни разу не угасал с тех пор, как я дважды в год приезжал из школы домой и тащил свой чемодан через двор. Так, так, так…

Он подошел к двери с навесом, украшенным резьбой в виде узорчатых полотенец и детских головок с водянкой мозга, по образцу популярных когда-то орнаментов на памятниках, и ударил молотком. Вскоре послышались шаркающие шаги по каменному полу, и дверь отворил старик, тощий, сгорбленный, но с острыми глазами. Он приподнял свечу, которую держал в руке, чтобы помочь своим острым глазам, и сказал без малейших признаков волнения:

— А, мистер Артур! Наконец приехали. Входите.

Кленнэм вошел и затворил за собой дверь.

— Вы пополнели и окрепли, — сказал старик, поворачиваясь и снова подымая свечу, чтобы посмотреть на гостя, и покачивая голову, — но, по-моему, не похожи на своего отца, да и на мать не похожи.

— Как поживает матушка?

— Как всегда в последние годы. Сидит в своей комнате и вряд ли за пятнадцать лет выходила из нее пятнадцать раз.

Они вошли в скромную неуютную столовую.

Старик поставил свечку на стол и, поддерживая правый локоть левой рукой, принялся поглаживать свои пергаментные челюсти, глядя на приезжего. Тот протянул ему руку, но старик принял ее довольно холодно — по-видимому, предпочитал свои челюсти, к которым и вернулся при первой возможности.

— Вряд ли ваша матушка будет довольна, что вы являетесь домой в субботний день, Артур, — сказал он, укоризненно покачивая головой.

— Надеюсь, вы не намерены отправить меня обратно.

— О, я, я? Я не хозяин. Я бы этого не сделал. Я много лет стоял между вашей матерью и вашим отцом и не намерен становиться между вашей матерью и вами.

— Вы скажете ей, что я вернулся?

— Да, Артур, да. О, конечно! Я скажу ей, что вы вернулись. Подождите здесь, пожалуйста. Вы увидите, что комнаты не переменились.

Он достал другую свечу из буфета, зажег ее и, оставив первую свечу на столе, отправился исполнять просьбу Кленнэма. Это был маленький лысый старичок в черном сюртуке и жилете, коричневых брюках и длинных коричневых гетрах. По одежде его можно было принять и за при-

казчика, и за слугу, да он и на деле соединял эти две должности. На его платье не было никаких украшений, кроме часов на старой черной ленте, исчезавших в глубине кармана, над которым виднелся потемневший медный ключ. Голова его сидела на плечах криво, ходил он как-то боком, словно краб, будто явился на свет одновременно с домом и также нуждался в подпорках.

«Я готов прослезиться от этого приема, — подумал Кленнэм, когда он ушел. — Какая слабость! Я — который никогда не испытал ничего другого, никогда не ожидал ничего другого!»

Он не только был готов прослезиться, но и действительно прослезился. Это была минутная слабость. Он давно уже разочаровался, но все еще не мог отрешиться от надежды. Он отер глаза, взял свечу и осмотрел комнату. Старая мебель стояла на старых местах; «Казни египетские», потускневшие от копоти и мух — этих лондонских казней, — по-прежнему висели по стенам в рамках за стеклом. Был тут пустой ларец вроде гроба, со свинцовыми перегородками, был старый темный чулан, тоже пустой, да в нем никогда ничего и не бывало, кроме самого Артура, которого запирали сюда в наказание. В то время он склонен был считать этот чулан преддверием

того чистилища, которое сулила ему книга. Были тут и старые, топорной работы часы на буфете: они так злорадно поглядывали на него, когда он не знал урока, и так свирепо хрипели, точно предсказывая ему всевозможные бедствия, когда их заводили железным ключом раз в неделю… Но тут вернулся старик.

— Артур, я пойду вперед и посвечу вам.

Артур последовал за ним по лестнице, выложенной плитками, так же как и полутемная спальня, в которой пол был так неровен и выбит, что печка оказалась в яме. На черном диване вроде катафалка, с одной-единственной угловатой черной подушкой, напоминавшей плаху доброго старого времени, сидела мать Артура в одежде вдовы.

С его отцом они были в ссоре с тех пор, как он помнил себя. Сидеть смирно, среди глубокой тишины, робко поглядывая на их отвернувшиеся друг от друга лица, было самым мирным занятием его детства. Она наградила его ледяным поцелуем и протянула четыре пальца, обернутые шерстью. Поздоровавшись, он сел против нее за столиком. В камине, как всегда в течение пятнадцати лет, горел огонь, причем днем и ночью. На решетке стоял чайник, тоже как всегда в течение

пятнадцати лет. В затхлом воздухе комнаты стоял запах черной краски, испарявшейся из траурного платья вдовы в течение пятнадцати месяцев, и из дивана, напоминавшего катафалк, в течение пятнадцати лет.

— Вы расстались со своей прежней привычкой к деятельности, матушка?

— Мир сузился для меня до тесных пределов, Артур, — ответила она, оглядывая комнату. — Хорошо, что мое сердце никогда не лежало к его суете.

Старинное влияние ее присутствия и сурового строгого лица снова до того овладело сыном, что он почувствовал прежний детский трепет.

— Вы никогда не выходите из этой комнаты, матушка?

— По милости моего ревматизма и сопутствующей ему дряхлости или нервного расстройства — не в названии дело — я не могу теперь ходить. Я никогда не оставляю моей комнаты. Я не выходила за эту дверь… Сколько лет? — повернув голову, спросила она.

— К Рождеству будет двенадцать лет, — ответил хриплый голос из темного угла комнаты.

— Это Эффри? — спросил Артур, взглянув по направлению голоса.

Хриплый голос ответил, что да, Эффри; затем из темного угла в тускло освещенное пространство выступила фигура старухи, сделала знак приветствия рукой и снова исчезла в темноте.

— Я еще в силах, — продолжила миссис Кленнэм, указывая легким движением руки, обмотанной шерстью, на кресло на колесах, стоявшее перед письменным столом, — исполнять свои деловые обязанности и благодарю Бога за такую милость. Это великая милость. Но сегодня не время говорить о делах. Скверная погода, не правда ли?

— Да, матушка.

— Снег идет?

— Снег, матушка? Да ведь теперь еще только сентябрь.

— Для меня все времена года одинаковы, — возразила она с каким-то угрюмым вдохновением. — Я не знаю зимы и лета с тех пор, как сижу взаперти. Богу угодно было отстранить меня от всего этого.

Глядя на ее холодные серые глаза, холодные седые волосы, окаменевшее лицо, неподвижное, как складки ее траурного платья, невольно приходило в голову, что это отчуждение от времен года явилось естественным последствием

отчуждения от всяких волнений, изменяющих человеческую природу.

Перед ней на столике лежали две-три книги, носовой платок, очки в стальной оправе и старомодные массивные золотые часы с двойной крышкой. На этом последнем предмете остановились одновременно глаза матери и сына.

— Я вижу, матушка, что посылка, которую отправил вам после смерти отца, благополучно дошла.

— Как видишь.

— Отец больше всего беспокоился о том, чтобы эти часы были доставлены вам.

— Я сохраняю их на память о твоем отце.

— Он выразил это желание перед самой смертью, когда мог лишь дотронуться до них и произнести очень неясно: «Твоей матери». За минуту перед тем я думал, что он бредит, как и было в течение нескольких часов (кажется, он не испытывал страданий во время своей кратковременной болезни), как вдруг он повернулся на кровати и попытался открыть часы.

— А разве твой отец не был в бреду, когда пытался открыть часы?

— Нет, в эту минуту он был в полном сознании.

Миссис Кленнэм покачала головой, но выражалось ли этим участие к покойному или недоверие к словам сына — было не совсем ясно.

— По смерти отца я сам открыл их, думая, нет ли там какой-нибудь записки. Но там оказался только шелковый лоскуток, вышитый бисером, который вы, без сомнения, нашли между двумя крышками.

Миссис Кленнэм кивнула в знак согласия, затем сказала:

— Сегодня ни слова больше о делах. — Потом обернулась и прибавила: — Эффри, девять часов.

В ответ на это заявление старуха сняла все со столика, вышла из комнаты и живо вернулась с подносом, на котором стояло блюдо сухариков и свежий, пухлый, белый, симметричной формы кусок масла. Старик, стоявший у дверей в течение всего разговора и смотревший на мать, как смотрел раньше на сына, ушел и после долгого отсутствия тоже вернулся с подносом, на котором стояла начатая бутылка портвейна (по-видимому, он ходил за ней в погреб, так как сильно запыхался), лимон, сахарница с сахаром и ящичек с пряностями. Из этих материалов он изготовил с помощью чайника большой стакан горячей ароматной смеси, отвешивая и отмеривая все

с аптекарской точностью. В эту смесь миссис Кленнэм макала сухарики и кушала, между тем как Эффри намазывала другую порцию сухариков маслом. Когда немощная женщина съела все сухарики и выпила всю смесь, оба подноса были унесены, а книги, свеча, носовой платок, часы и очки снова появились на столе. Затем она надела очки и прочла вслух суровым, жестким, гневным голосом несколько страниц из книги, умоляя, чтобы враги ее (по тону и манере чтения видно было, что это именно ее враги) очутились на острие меча, были пожраны огнем, поражены чумой и проказой, чтобы кости их превратились в прах и чтобы они были истреблены все до единого. Пока она читала, годы, прожитые ее сыном, точно отпадали и расплывались, как сонные грезы, и прежний мрачный ужас, напутствовавший его ко сну в дни невинного детства, снова навис над ним.

Она закрыла книгу и некоторое время сидела, прикрыв лицо рукой. То же сделал старик, сохранявший все время одну и ту же позу; то же, по всей вероятности, сделала старуха в темном углу. Затем больная собралась спать.

— Покойной ночи, Артур. Эффри позаботится о тебе. Дотронься, только не жми: моя рука очень

чувствительна.

Он дотронулся до шерстяной повязки на ее руке (будь его мать окована медью, это не создало бы большей преграды между ними) и пошел вниз за стариком и старухой.

Последняя спросила его, когда они остались одни в мрачной столовой, не хочет ли он поужинать.

— Нет, Эффри, не хочу.

— А то я подам, — сказала Эффри. — В кладовой для нее куропатка назавтра, первая в нынешнем году; если хотите, я сейчас зажарю.

— Нет, я недавно обедал и не хочу есть.

— Так не хотите ли выпить чего-нибудь, Артур? — настаивала старуха. — У нее есть портвейн. Хотите, я подам. Скажу Иеремии, что вы велели подать.

Нет, он и этого не хотел.

— Если они запугали меня до смерти, — сказала старуха шепотом, наклонившись к нему, — так вам-то вовсе нечего пугаться. Половина состояния — ваша, вы знаете?

— Да, да.

— Так зачем же вам-то поддаваться страху? Ведь вы умный, Артур?

Он кивнул, видя, что ей хочется получить

утвердительный ответ.

— Так не поддавайтесь им. Она ужасно умна, и только умный посмеет сказать ей слово. Он тоже умен. О, он тоже умен, он и ее пробирает, когда захочет!

— Ваш муж?

— Разумеется. Я трясусь как лист, когда он начинает ее пробирать. Мой муж, Иеремия Флинтуинч, одолеет даже вашу мать. Он ли не умен после этого?

Его шаркающие шаги, раздавшиеся в эту минуту, заставили ее отскочить в противоположный угол комнаты. Эта рослая, дюжая, мускулистая женщина, которая в молодости могла бы записаться в гвардию, не возбудив ни малейшего подозрения, дрожала перед маленьким старичком с острыми глазками.

— Ну, Эффри, — сказал он, — ну, жена, что ж ты, а? Не можешь найти для мистера Артура что-нибудь перехватить?

Мистер Артур повторил, что не желает ничего перехватить.

— Очень хорошо, — сказал старик, — сделай же ему постель. Да пошевеливайся! — Его шея была так искривлена, что концы белого галстука постоянно болтались под ухом; его одутловатое

лицо было багрово от тех усилий, с какими он старался подавить свою природную грубость и энергию. Вообще он походил на человека, который вздумал повеситься, да так и остался в петле, полузадохнувшись после того, как чья-то рука вовремя перерезала веревку.

— Завтра вы будете браниться, Артур, вы и ваша матушка, — сказал Иеремия. — Вы бросили дело после смерти отца, она догадывается об этом, хотя мы не говорили ей: решили, что лучше вам самому объясниться с ней, и вряд ли ей это понравится.

— Я отказался от всего ради этого дела, — ответил Кленнэм, — а теперь пришла пора отказаться и от него.

— Хорошо! — воскликнул Иеремия, очевидно подразумевая под этим «скверно». — Очень хорошо! Только не ожидайте, что я стану между вами и вашей матерью, Артур. Я стоял между вашей матерью и вашим отцом, заслоняя то его, то ее и получая от обоих толчки и тычки; мне это надоело.

— Никто не будет просить вас, Иеремия, делать это для меня.

— Хорошо, рад слышать это, потому что, если бы вы и просили, я бы не взялся. Ну довольно,

как говорит ваша матушка, более чем довольно о делах для воскресенья. Эффри, женщина, нашла ты наконец все, что нужно?

Она все еще доставала из шкафа простыни и одеяла и, ответив: «Да, Иеремия», поспешила собрать их. Артур Кленнэм взял от нее часть вещей, пожелал старику спокойной ночи и отправился наверх за старухой.

Они взбирались по лестнице в затхлой атмосфере ветхого, почти нежилого дома в спальню, помещавшуюся под самой крышей. Запущенная и обшарпанная, как все остальные комнаты, она выглядела еще безобразнее и угрюмее, так как служила складом для поломанной мебели. Тут были неуклюжие старые стулья с прорванными сиденьями и совсем без сидений, дырявый облезлый ковер, колченогий стол, изувеченный платяной шкаф, каминный прибор, напоминавший скорее скелет каминного прибора, умывальник, выглядевший так, как будто целые века простоял под ливнем грязной мыльной воды, кровать с четырьмя голыми столбиками, заканчивавшимися остриями, точно в ожидании жильца, которому придет охота посадить себя на кол. Артур отворил длинное узкое окно и взглянул на старый черный лес закопченных труб, на старое багровое

зарево в небе, казавшееся ему когда-то только ночным отражением суровой обстановки, всюду представлявшейся его детскому воображению.

Он отвернулся, сел на подоконник и принялся наблюдать за Эффри Флинтуинч, делавшую постель.

— Эффри, вы еще не были замужем, когда я уезжал?

Она скривила рот, в знак отрицания покачала головой и стала надевать наволочку на подушку.

— Как же это случилось?

— Иеремия захотел, как же иначе, — ответила миссис Флинтуинч, зажав в зубах конец наволочки.

— Конечно, он сделал предложение, но как это вообще могло случиться? Я никак не ожидал, что кто-нибудь из вас захочет вступить в брак, и еще меньше, что поженитесь вы.

— Я тоже не думала, — сказала миссис Флинтуинч, натягивая наволочку.

— О том-то я и говорю. Когда же вы переменили свое мнение?

— Я никогда его не меняла, — сказала миссис Флинтуинч.

Уложив подушку на место и видя, что он все еще смотрит на нее, как будто дожидается ответа, она

сильно шлепнула рукой по подушке и сказала:

— Что же я могла сделать?

— Чтобы не выйти замуж?

— Ну да, — сказала миссис Флинтуинч, — мне тут нечего было делать. Я никогда не думала об этом. Да мне и не пришлось думать: он заставил меня, когда она взялась за это (а она за это взялась).

— Ну?

— Ну? — повторила миссис Флинтуинч. — Я сама это не раз говорила: «Ну?» Да что пользы толковать? Когда двое умных порешили на этом, что же оставалось мне делать? Ничего.

— Так это было желание матушки?

— Господь с вами, Артур! — воскликнула Эффри, по-прежнему вполголоса. — Если бы оба они не порешили, как бы могло это случиться? Иеремия никогда не ухаживал за мной, да ему бы и в голову не пришло, когда он столько лет командовал мной. Он просто сказал мне однажды: «Эффри, я хочу тебе что-то сказать: как тебе нравится фамилия Флинтуинч?» — «Как мне нравится?» — говорю я. «Да, — говорит, — потому что, — говорит, — тебе придется носить ее». — «Носить ее?» — говорю… И-е-ре-ми-я? О, он хитрец!

Миссис Флинтуинч постлала простыню, потом шерстяное одеяло, потом стеганое одеяло, как будто бы все было уже сказано.

— Ну? — снова сказал Артур.

— Ну? — повторила миссис Флинтуинч. — Что же я могла поделать? Он сказал мне: «Эффри, мы должны обвенчаться, и я тебе объясню почему. Ее здоровье слабеет, нам придется постоянно прислуживать ей в ее комнате, придется постоянно быть при ней, а кроме нас, тут никого не будет. И вообще это приличнее. Она согласна со мной, — говорит он, — поэтому в понедельник утром, в восемь часов, ты можешь надеть шляпку, и мы уладим дело». — Миссис Флинтуинч принялась подтыкать одеяло.

— Ну?

— Ну? — повторила миссис Флинтуинч. — Я то же думаю. Я часто сижу и говорю: «Ну?» Иеремия и говорит мне: «Насчет оглашения я распорядился две недели назад. Два уже было, в воскресенье будет третье; оттого я и назначил понедельник. Она сама поговорит с тобой — ты теперь приготовлена к этому, Эффри». В тот же самый день она заговорила со мной и говорит: «Я знаю, Эффри, что ты выходишь замуж за Флинтуинча. Я рада этому, как и ты сама. Это очень хорошо для тебя и

при теперешних обстоятельствах весьма кстати для меня. Он разумный человек, и надежный человек, и настойчивый человек, и благочестивый человек». Что же я могла сказать, когда уж до этого дошло. Да если бы… если бы они хотели удавить меня, а не обвенчать, — миссис Флинтуинч с большим трудом подбирала подходящие выражения, — и тогда бы я не могла сказать ни словечка против двух таких хитрецов.

— По правде сказать, я верю этому.

— Верьте, Артур, что это правда.

— Эффри, что это за девочка была сейчас в комнате моей матери?

— Девочка? — спросила миссис Флинтуинч довольно резким тоном.

— Ну да, я видел подле вас, в темном углу, какую-то девочку.

— О! Это Крошка Доррит. Это так, ничего особенного; это прихоть… ее прихоть. — Одной из особенностей Эффри Флинтуинч было то, что она никогда не называла миссис Кленнэм по имени. — Но есть и другие девушки, кроме этой. Вы, наверное, забыли свою милую? Наверно, давным-давно забыли.

— Я слишком страдал, когда матушка разлучила нас, чтобы забыть. Я очень хорошо помню ее.

— Завели вы другую?

— Нет.

— Ну так у меня хорошие вести для вас. Она теперь богата и вдова. Вы можете жениться на ней, если хотите.

— А откуда вы знаете это, Эффри?

— Эти умники говорили об этом между собой… Иеремия на лестнице! — И она мгновенно скрылась.

Миссис Флинтуинч вплела последнюю нить в ткань, которую деятельно ткал его ум, возрождая картину забытого детства. Безумие юной любви прокралось и в этот дом, любви, глубоко несчастной в своей безнадежности, словно дом был очарованным замком из сказки.

С неделю назад в Марселе личико молодой девушки, с которой ему жаль было расстаться, произвело на него необычайное впечатление, приобрело над ним какую-то нежную власть вследствие своего сходства, действительного или воображаемого, с тем первым лицом — лучезарным видением в сумраке его жизни. Он прислонился к косяку длинного узкого окна и, глядя на черный лес труб, погрузился в мечты. Все в жизни этого человека стремилось сделать из него мечтателя, хотя мало было в ней событий,

над которыми стоило бы думать.

Глава IV. Миссис Флинтуинч видит сон

Когда миссис Флинтуинч видела сны, она видела их с закрытыми глазами, не так, как сын ее старой госпожи. В эту ночь она видела удивительный по живости сон, совсем даже не похожий на сон, до такой степени он был реален во всех отношениях.

Вот как это случилось.

Спальня мистера и миссис Флинтуинч находилась в нескольких шагах от комнаты, в которой миссис Кленнэм столько лет провела безвыходно. Она помещалась несколько ниже этой комнаты, в пристройке, откуда вел крутой спуск на главную лестницу, как раз против двери миссис Кленнэм. Звук из одной комнаты в другую доходил с трудом, так как стены, двери и обшивка были тяжелыми и громоздкими, но сообщение между комнатами было удобно и легко в любом костюме, в любую погоду, в любой час ночи. Над изголовьем кровати, на расстоянии фута от ушей миссис Флинтуинч, висел колокольчик, от которого шла веревка в комнату миссис Кленнэм. Когда колокольчик звонил, Эффри срывалась с постели и являлась к больной, не успев еще

проснуться как следует.

Уложив свою барыню, засветив ночник и пожелав ей спокойной ночи, миссис Флинтуинч убралась в свою комнату, где все обстояло благополучно, только ее супруг и повелитель еще не вернулся. Он-то, супруг и повелитель — хотя не о нем последнем она думала, — был действующим лицом сна миссис Флинтуинч.

Ей грезилось, будто она проснулась, проспав несколько часов, и убедилась, что Иеремии все еще не было. Она взглянула на свечку и, измеряя время по способу короля Альфреда Великого, заключила по размерам сгоревшей части, что спала очень долго. Тогда она встала, закуталась в халат, надела башмаки и отправилась на лестницу посмотреть, куда девался Иеремия.

Это была крепкая деревянная лестница, и Эффри спустилась по ней без всяких несообразностей, свойственных снам. Она шла ощупью, держась за перила, так как свечка потухла. В уголке сеней, за боковой дверью, находился чуланчик с длинным узким окном вроде щели. В этой комнате, обыкновенно необитаемой, светился теперь огонь.

Миссис Флинтуинч прошла сени по холодным плитам и заглянула в полуоткрытую дверь. Она ожидала увидеть Иеремию, уснувшего или в

припадке, но он спокойно сидел за столом, бодрый и здоровый, как всегда. Но что это? Господи, помилуй!.. Миссис Флинтуинч слегка вскрикнула и чуть не упала в обморок.

Дело в том, что мистер Флинтуинч бодрствующий смотрел на мистера Флинтуинча спящего. Он сидел по одну сторону стола, не спуская глаз с самого себя, сидевшего по другую сторону и дремавшего, опустив голову на грудь. Бодрствующий Флинтуинч сидел лицом к своей жене, спящий Флинтуинч — в профиль. Бодрствующий Флинтуинч был оригинал, спящий Флинтуинч — его копия. Эффри, у которой голова решительно пошла кругом, различала их, как отличала бы осязаемый предмет от его отражения в зеркале.

Если бы у нее возникли сомнения, который из двух настоящий Иеремия, то они быстро рассеялись бы при виде его беспокойных ухваток. Он оглянулся, отыскивая какое-нибудь наступательное оружие, схватил щипцы для свечей, но вместо того, чтобы снять нагоревшую светильню, ткнул ими своего двойника, точно хотел проколоть его насквозь.

— Кто это? Что такое? — воскликнул тот, пробудившись.

Мистер Флинтуинч сделал движение щип-

цами, как будто хотел заткнуть глотку своему собеседнику, который протер глаза и сказал:

— Я забыл, где нахожусь.

— Вы проспали два часа, — проворчал Иеремия, взглянув на часы. — Вы говорили, что вам нужно только немножко вздремнуть.

— Я и вздремнул немножко, — сказал двойник.

— Теперь половина третьего, — проворчал Иеремия. — Где ваша шляпа? Где ваше пальто? Где ящик?

— Все тут, — сказал двойник, обматывая шею шарфом с сонливой небрежностью. — Постойте! Подержите-ка рукав, не этот, другой. Ха, я не так молод, как был когда-то. — Мистер Флинтуинч с яростной энергией натянул на него пальто. — Вы обещали мне еще стакан, после того как я вздремну.

— Пейте, — сказал Иеремия, — и подавитесь, хотел я сказать, но скажу только: и убирайтесь. — С этими словами он достал бутылку и налил стакан портвейна.

— Ее портвейн, я полагаю? — сказал двойник, смакуя вино, точно сидел на скамье подсудимых, имея в своем распоряжении сколько угодно досуга. — За ее здоровье!

Он хлебнул глоток.

— За ваше здоровье!

Еще глоток.

— За его здоровье!

Еще глоток.

— И за здоровье всех друзей, живущих вблизи собора Святого Павла! — Проговорив этот старинный тост, он допил стакан, поставил на стол и взялся за ящик. Ящик был железный и довольно удобно поместился у него под мышкой.

Иеремия, внимательно следивший за ним, попробовал, крепко ли он держит ящик, велел беречь его как зеницу ока, а затем, прокравшись на цыпочках по коридору, отворил дверь своему двойнику.

Эффри, стоя на лестнице, видела все до малейшего движения. Последовательность явлений в ее сне была до того жива и естественна, что она услышала, как хлопнула дверь, почувствовала, как пахнуло холодным ночным воздухом, и увидела звезды, мерцавшие на небе.

Но теперь наступила самая замечательная часть сновидения. Она так была напугана своим мужем, что не могла вернуться в комнату (хотя успела бы сделать это, пока он затворял дверь) и оставалась на лестнице. Поэтому он, поднимаясь со свечой в руке в спальню, наткнулся на нее. Он

изумился, но не сказал ни слова.

Он устремил на нее пристальный взгляд и продолжил подниматься; она, точно околдованная, отступала шаг за шагом. Так она пятилась задом, а он шел вперед, пока они не очутились в спальне. Тут он сразу схватил жену за горло и тряс до тех пор, пока лицо ее не почернело.

— Ну, Эффри, женщина, Эффри! — сказал мистер Флинтуинч. — Что такое тебе приснилось? Проснись, проснись! В чем дело?

— В чем… дело, Иеремия? — прохрипела миссис Флинтуинч, вытаращив глаза.

— Ну, Эффри, женщина, Эффри! Ты встала с постели во сне, милая моя. Я тоже заснул внизу, а проснувшись, нашел тебя на лестнице, закутанную в халат. У тебя был кошмар. Эффри, женщина, — продолжал мистер Флинтуинч с дружеской усмешкой на выразительном лице, — если тебе еще раз приснится что-нибудь подобное, то, стало быть, ты нуждаешься в лекарстве. И я закачу тебе хорошую порцию, старуха, ха-арошую порцию!

Миссис Флинтуинч поблагодарила его и улеглась в постель.

Глава V. Семейные дела

Когда городские часы в понедельник утром пробили девять, Иеремия Флинтуинч, с наружностью удавленника, подкатил миссис Кленнэм к высокой конторке. Когда она отперла ее и открыла крышку, Иеремия удалился: может быть, для того, чтобы повеситься как следует, — и в комнату вошел сын.

— Лучше ли вам сегодня, матушка?

Она покачала головой с тем же выражением мрачного наслаждения, с каким говорила вечером о погоде.

— Мне никогда не будет лучше. Хорошо, что я знаю это, Артур, и могу покориться судьбе.

Сидя перед высокой конторкой, положив обе руки на пюпитр, она точно играла на немом церковном органе. Так подумал ее сын (это была давнишняя мысль), усаживаясь на стул подле нее.

Она открыла два-три ящика, достала какие-то бумаги и, просмотрев, положила обратно. Ее суровое лицо всегда оставалось бесстрастным, не давая возможности наблюдателю проникнуть в мрачный лабиринт ее мыслей.

— Могу я говорить о наших делах, матушка? Вы ничего не имеете против делового разговора?

— Имею ли я что-нибудь против? Этот вопрос нужно предложить тебе. Год с лишним прошел после смерти твоего отца. С тех пор я к твоим услугам и жду, когда тебе будет угодно начать разговор.

— У меня было много дел перед отъездом, а затем я путешествовал, чтобы отдохнуть и развлечься.

Она обратила к нему лицо, точно не расслышав или не поняв его последних слов.

— Отдохнуть и развлечься…

Она обвела взглядом угрюмую комнату и, судя по движению губ, повторяла шепотом эти слова, точно призывая всю окружающую обстановку в свидетели того, как мало ей достается отдыха и развлечения.

— Кроме того, матушка, вы были единственной душеприказчицей и сами распоряжались и заведовали состоянием, так что для меня оставалось очень мало дел, а лучше сказать — вовсе не оставалось.

— Счета в порядке, — ответила она. — Они здесь. Все документы проверены и утверждены. Ты можешь проверить их, Артур, если хочешь,

хоть сейчас.

— Для меня совершенно достаточно знать, что дело покончено. Могу я продолжать?

— Почему же нет? — сказала она ледяным тоном.

— Матушка, обороты нашей фирмы уменьшаются с каждым годом, и дела постепенно клонятся к упадку. Мы никогда не пользовались особенным доверием, и сами не выказывали доверия, у нас мало клиентов, наши приемы устарели, мы страшно отстали. Мне незачем входить в подробности. Все это вы сами знаете, матушка.

— Я знаю, что ты хочешь сказать, — ответила она, как бы уточняя его слова.

— Даже этот старый дом, где мы находимся, — продолжил он, — может служить примером. В свое время, при моем отце в его ранние годы и при его дяде, это был деловой дом, кипевший жизнью. Теперь он превратился в какую-то нелепую аномалию, устаревшую и бесцельную. Все наши операции давно уже совершаются при посредстве комиссионеров, господ Ровингем, и хотя ваша опытность и энергия играли большую роль в контроле и управлении отцовскими делами, но то же самое могло бы быть, если бы вы жили в частном доме, не правда ли?

— Итак, — возразила она, не отвечая на его вопрос, — дом, который служит приютом твоей справедливо постигнутой болезнями и заслуженно удрученной горем матери, этот дом, по твоему мнению, никому не нужен, Артур?

— Я говорю только о деловых операциях.

— С какой целью?

— Сейчас объясню.

— Я вижу, в чем дело, — сказала она, устремив на него пристальный взгляд. — Но избави бог, чтобы я стала роптать. По грехам моим я заслуживаю горьких разочарований и принимаю их.

— Матушка, мне очень прискорбно слышать от вас такие речи, хотя я боялся, что вы станете…

— Ты знал, что стану. Ты знаешь меня, — перебила она.

Ее сын остановился на минуту. Вызвав в матери эту внезапную вспышку, он сам удивился этому.

— Ну, — сказала она, возвращаясь к прежнему бесстрастию, — продолжай, я послушаю.

— Вы предвидели, матушка, что я откажусь от дел. Я покончил с ними. Не смею советовать вам — вы, я вижу, намерены продолжать. Если бы я мог иметь какое-нибудь влияние на вас, то постарался бы смягчить ваше мнение обо мне, ваш приговор, вызванный разочарованием, которое я

вам причинил. Я напомнил бы вам, что, прожив полжизни, ни разу не выходил из вашей воли. Не скажу, что я душой и сердцем подчинялся вашим распоряжениям, не скажу, что эти сорок лет прожиты мной с пользой и удовольствием для себя самого или кого бы то ни было, но я покорился по привычке и прошу вас только не забывать этого.

Горе просителю — если бы такой нашелся или мог найтись, — которого судьба заставила бы обратить взор на неумолимое лицо за конторкой. Горе преступнику, чье помилование зависело бы от трибунала, в котором председательствовали эти суровые глаза. Большим подспорьем для этой непреклонной женщины служила ее мистическая религия, окутанная мраком и мглой, с молниями проклятий, мести и разрушения, прорезавшими черные тучи. «Отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим». Эта молитва казалась для нее лишенной смысла. «Истреби моих должников, Господи, иссуши их, раздави их, сделай, как сделала бы я сама, и я поклонюсь тебе» — вот нечестивая башня, которую она думала воздвигнуть до небес.

— Кончил ты, Артур, или намерен сказать еще что-нибудь? Кажется, больше говорить нечего. Ты был краток, но содержателен.

— Матушка, мне есть что сказать еще. То, что я хочу сказать, давно уже не дает мне покоя ни днем ни ночью. Но высказать это гораздо труднее. То, о чем я говорил, касается нас всех.

— Нас всех? Кто это «мы все»?

— Вы, я, мой покойный отец.

Она сняла руки с пюпитра, скрестила на груди и застыла в позе древней египетской статуи, устремив взгляд на огонь.

— Вы знали моего отца гораздо лучше, чем я его знал, его сдержанность со мной — дело ваших рук. Вы были гораздо сильнее его, матушка, и управляли им. Я знал это ребенком, как знаю теперь. Я знал, что ваше влияние заставило его отправиться в Китай и заниматься делами там, пока вы занимались ими здесь (хотя мне даже неизвестно, на каких именно условиях состоялась ваша разлука), и что по вашей же воле я оставался при вас до двадцати лет, а затем переехал к нему. Вы не обидитесь, что я вспоминаю об этом через двадцать лет?

— Я жду объяснения, зачем ты вспоминаешь об этом.

Он понизил голос и сказал с видимой неохотой и как бы против воли:

— Я хочу спросить вас, матушка, подозревали

ли вы…

При слове «подозревали» она быстро взглянула на сына и нахмурилась, потом снова уставилась на огонь, но морщина осталась на ее лбу, точно скульптор Древнего Египта нарочно вырезал ее на твердом граните.

— …что у него было какое-нибудь тайное воспоминание, камнем лежавшее на душе, возбуждавшее угрызения совести? Случалось вам замечать в его поведении что-нибудь, что могло бы внушить такую мысль, или говорить с ним об этом, или слышать от него что-нибудь подобное?

— Я не понимаю, какого рода тайну ты подозреваешь за своим отцом, — возразила она после некоторого молчания. — Ты говоришь так загадочно.

— Возможно, матушка, — сказал он шепотом, наклонившись к ней поближе, — возможно, он имел несчастье причинить кому-нибудь зло, оставшееся неисправленным.

Она гневно взглянула на него и откинулась на спинку кресла, но ничего не ответила.

— Я вполне сознаю, матушка, что если подобная мысль никогда не приходила вам в голову, то жестоко и противоестественно с моей стороны даже в интимном разговоре высказывать ее. Но

я не в силах отделаться от этой мысли. Ни время, ни перемены (и того и другого было достаточно) не могли заставить меня забыть ее. Вспомните, я жил с моим отцом. Вспомните, я видел его лицо, когда он отдал мне часы и просил переслать их вам как символ, значение которого вы понимаете. Вспомните, я видел его в последнюю минуту с пером в руке, которым он тщетно старался написать вам несколько слов. Чем темнее и мучительнее это смутное подозрение, тем сильнее обстоятельства, придающие ему вероятность в моих глазах. Ради бога, рассмотрим серьезно, нет ли зла, которое мы обязаны исправить. Никто не может решить этого, кроме вас, матушка.

По-прежнему прислонившись к спинке кресла, так что верхняя часть ее тела время от времени заставляла двигаться колеса, придавая ей вид мрачного, ускользающего призрака, она подняла руку, точно заслоняясь ладонью, и пристально посмотрела на сына, не произнося ни слова.

— В разгаре торговых операций, ради наживы (я начал говорить, матушка, и должен договорить до конца), кто-нибудь мог быть жестоко обманут, обижен, разорен. Вы были движущей силой всех этих операций до моего рождения, ваш дух руководил делами отца в течение двух десятилетий.

Вы можете успокоить мои сомнения, если только захотите помочь мне выяснить истину. Захотите ли вы, матушка?

Он остановился в надежде, что она ответит. Но ее крепко стиснутые губы были так же недвижимы, как седые волосы, разделенные на две пряди.

— Если можно восстановить чьи-либо права, если можно вознаградить кого-либо за несправедливость, сделаем это. Скажу более, матушка: если мои средства окажутся достаточными, позвольте сделать это мне. Я видел так мало радости от денег; они, насколько мне известно, принесли так мало спокойствия этому дому и всем, кто находится в связи с ним, что я ценю их меньше, чем кто-либо другой. Они доставят мне только тоску и горе, если я буду мучиться подозрением, что они омрачили последние минуты моего отца угрызениями совести и что они не принадлежали мне по правде и справедливости.

На обшитой панелями стене висел шнурок колокольчика в двух-трех ярдах от конторки. Быстрым и неожиданным движением ноги она откатила кресло к стене и сильно дернула за шнурок, продолжая заслоняться ладонью как щитом, точно он замахнулся на нее, а она готовилась

отразить удар.

В комнату вбежала девушка с испуганным лицом.

— Пошлите ко мне Флинтуинча.

Девушка исчезла, и почти в ту же минуту старик очутился на пороге.

— Ну что? Уж началась потасовка, началась? — сказал он холодным тоном, поглаживая себе челюсти. — Я так и думал. Я был уверен в этом!

— Флинтуинч, — сказала мать, — посмотрите на моего сына. Посмотрите на него.

— Ну, я смотрю на него, — сказал Флинтуинч.

Она вытянула руку, которой защищалась как щитом, и указала на предмет своего гнева.

— Почти в самый час своего возвращения, прежде чем грязь на сапогах его успела обсохнуть, он поносит своего отца перед своей матерью. Предлагает своей матери шпионить, выслеживать вместе с ним сделки отца за всю его жизнь! Намекает, что блага мира сего, которые мы собирали в поте лица, работая с утра до ночи, надрываясь, изнывая, отказывая себе во всем, что блага эти награблены нами, и спрашивает, кому их отдать в возмездие за обиды и несправедливость!

Хотя в словах ее звучало бешенство, но самообладание не изменило ей: она говорила даже

тише, чем обыкновенно, отчетливо произнося все слова.

— Возмездие! Да, конечно. Легко ему говорить о возмездии — ему, который только что приехал из чужих краев, где слонялся ради развлечения и удовольствия. Но пусть он посмотрит на меня в этой темнице, в этих оковах. Я терплю безропотно, потому что это возмездие предназначено мне за мои грехи. Возмездие! Разве его нет здесь, в этой комнате? Разве его не было здесь в течение пятнадцати лет?

Так сводила она счеты с Небесами, отмечая свои взносы, тщательно подводя итог и требуя соответственного вознаграждения. Она поражала только энергией и пафосом, которые вносила в этот торг. Тысячи людей, каждый по-своему, ежедневно заключают подобные сделки.

— Флинтуинч, дайте мне книгу!

Старик подал ей книгу. Она вложила два пальца между ее листами, закрыла над ними книгу и с угрозой протянула ее сыну.

— В старые времена, Артур, о которых говорится в этой книге, были благочестивые люди, взысканные милостью Господа, которые прокляли бы своих сыновей за меньший проступок, обрекли бы на гибель их, и целые племена, давшие им

приют, обрекли бы на гибель, на отлучение от Бога и людей, на истребление всех, вплоть до грудного младенца. Но я только скажу тебе, что если ты еще раз возобновишь этот разговор, то я отрекусь от тебя; я прогоню тебя из дому, так что лучше бы тебе было от колыбели не знать матери. Я навсегда откажусь видеть и слышать о тебе. И если после всего этого ты придешь в эту темную комнату взглянуть на мой труп, из него выступит кровь, если только я в силах буду сделать это, когда ты подойдешь ко мне!

Облегченная отчасти свирепостью этой угрозы, отчасти (как это ни чудовищно) сознанием исполненного религиозного долга, она протянула книгу старику и умолкла.

— Ну, — сказал Иеремия, — принимая во внимание, что я не намерен становиться между вами, позвольте мне спросить (так как меня призвали сюда как третье лицо), в чем дело?

— Спросите об этом, — ответил Артур, видя, что ему приходится говорить, — у моей матери. Все, что я говорил, было сказано только для нее.

— О, — возразил старик, — у вашей матери! Спросить у вашей матери. Ладно! Но ваша мать сказала, что вы заподозрили вашего отца. Это недостойно почтительного сына, Артур. Кого же

вы намерены заподозрить теперь?

— Довольно, — сказала миссис Кленнэм, повернувшись лицом к старику. — Оставим это!

— Хорошо, но постойте немножко, постойте немножко, — настаивал старик. — Посмотрим, в чем дело. Сказали вы Артуру, что он не должен оскорблять память отца? Не имеет права делать это? Не имеет никакого основания для этого?

— Я говорю ему это теперь.

— Ага! Именно! — подхватил старик. — Вы говорите ему это теперь. Вы не сказали ему этого раньше, а говорите теперь. Так-так! Это правильно. Вы знаете, я так долго стоял между вами и его отцом, что мне кажется, будто смерть ничего не изменила и я по-прежнему стою между вами Так вот я и хочу вывести дело начистоту. Артур, позвольте вам сказать, что вы не имеете ни права, ни оснований подозревать вашего отца.

Он взялся за спинку кресла и, продолжая бормотать что-то себе под нос, тихонько подкатил свою госпожу к конторке.

— Теперь, — сказал он, — чтобы не уйти, сделав только половину дела, и не возвращаться опять, когда вы покончите с другой половиной, и не путаться в ваши распри, сказал ли вам Артур, что он думает насчет торговых дел?

— Он отказался от них.

— Не передавая кому-нибудь другому, надеюсь?

Миссис Кленнэм взглянула на сына, который стоял, опершись о косяк окна. Он заметил ее взгляд и сказал:

— Моей матери, конечно. Она может поступить, как ей угодно.

— Если что-нибудь угодное, — ответила она после непродолжительной паузы, — может возникнуть для меня из горького разочарования в сыне, который, будучи во цвете лет, мог бы влить новую жизнь и силу в наши дела, увеличить их выгоды и значение, если что-нибудь угодное еще остается для меня, так это, конечно, повысить старого и верного слугу. Иеремия, капитан покидает корабль, но вы и я останемся на нем, хотя бы пришлось утонуть вместе с ним.

Иеремия, глаза которого блеснули, точно при виде денег, кинул быстрый взгляд на сына, как будто хотел сказать: «Вам я не обязан благодарностью; вы тут ни при чем», а затем сказал матери, что он благодарит ее и что Эффри благодарит ее; что он никогда не покинет ее и что Эффри никогда не покинет ее. В заключение он вынул часы из глубины кармана, объявив: «Одиннадцать,

пора вам есть устрицы!», и, переменив таким образом тему разговора, что, впрочем, не вызвало ни малейшей перемены в выражении его лица и в манерах, позвонил.

Но миссис Кленнэм, оскорбленная подозрением сына, вообразившего, будто возмездие, выпавшее ей на долю, недостаточно, решилась наложить на себя епитимию и отказалась есть устрицы! А они имели очень соблазнительный вид: восемь штук, симметрично разложенные кружком на белой тарелочке, на подносе, покрытом белой салфеткой, между французской булочкой с маслом и стаканчиком вина со льдом, но она отказалась наотрез и велела унести устрицы, без сомнения, записав этот поступок себе на приход в книгу вечности.

Устрицы подавала не Эффри, а девушка, уже являвшаяся на звон колокольчика, — та самая, которая была в этой комнате вчера вечером. Теперь, рассмотрев ее лучше, Артур убедился, что, благодаря миниатюрной фигурке, мелким чертам лица и простому скромному платью, она казалась гораздо моложе, чем была на самом деле. Девушке было по крайней мере года двадцать два, при беглом же взгляде ей можно было дать вдвое меньше. Не то чтобы лицо ее

сохранило детское выражение, напротив: на нем лежала печать заботы и тревоги, несвойственная даже ее настоящему возрасту, но она была так миниатюрна и хрупка, так тиха и бесшумна и так, очевидно, сознавала себя лишней в обществе этих трех суровых больших людей, что производила впечатление загнанного ребенка.

Миссис Кленнэм проявляла к ней участие — на свой лад, конечно: нечто колебавшееся между покровительством и гонением, между спрыскивавшем из лейки и гидравлическим прессом. Даже в минуту ее появления после звонка, когда мать так странно заслонилась рукой от сына, в глазах миссис Кленнэм мелькнуло что-то особенное при виде девушки. Как есть различные степени твердости — до самого твердого металла, как есть различные оттенки в черном цвете, так и суровое отношение миссис Кленнэм к Крошке Доррит отличалось от ее суровости к остальному человечеству.

Крошка Доррит принялась за шитье. Крошка Доррит была нанята с восьми до восьми часов. Пунктуально, минута в минуту, Крошка Доррит являлась; пунктуально, минута в минуту, Крошка Доррит исчезала. Что происходило с Крошкой Доррит в остальное время — оставалось тайной.

Другая черта характера Крошки Доррит. Кроме денежного вознаграждения, она пользовалась, согласно условию, столом, но терпеть не могла обедать в обществе и всегда старалась избежать этого. То ей нужно было окончить, то начать работу; эти отговорки, очевидно, делались с умыслом — не особенно хитрым, правда, так как ни от кого они не ускользали, — чтобы обедать одной. Если ей это удавалось, она радостно уносила кушанье, чтобы поесть где-нибудь в уединении, поставив тарелку на колени, или на сундук, или на пол, или, быть может, на каминную доску, так что ей приходилось стоять на цыпочках. Главной заботой Крошки Доррит было найти уединение и покой.

Нелегко было рассмотреть лицо Крошки Доррит: она была такая нелюдимка, пряталась со своим шитьем по таким укромным уголкам, так испуганно отскакивала, встретившись с кем-нибудь на лестнице! Но, кажется, у нее было бледное прозрачное личико, очень живое, хоть и не отличавшееся правильностью и красотой черт, исключая большие светло-карие глаза. Когда Крошка Доррит сидела за работой, вы видели изящную наклонившуюся головку, тонкий стан, пару деятельных, быстро двигавшихся ручек,

бедное платьице — очень бедное, если оно производило такое впечатление, несмотря на крайнюю чистоту и опрятность.

Этими общими и специальными сведениями о Крошке Доррит мистер Артур был обязан частью своим глазам, частью языку миссис Эффри. Если бы миссис Эффри могла выражать свою волю и желания, они, вероятно, оказались бы неблагоприятными для Крошки Доррит. Но так как «эти умники» — вечное пугало миссис Эффри, совершенно поглотившее ее волю, — согласились признать Крошку Доррит как существующий факт, то ей оставалось только последовать их примеру. Точно так же, если бы «умники» согласились зарезать Крошку Доррит и велели Эффри держать свечу, чтобы им было виднее, она, без сомнения, исполнила бы их приказание.

Поджаривая куропатку для больной и приготовляя говядину и пудинг для обеда, миссис Эффри в промежутках между этими занятиями сообщила вышеизложенные сведения, то и дело появляясь в комнате Артура, чтобы побудить его к сопротивлению. По-видимому, миссис Флинтуинч вбила себе в голову во что бы то ни стало столкнуть единственного сына с матерью.

В течение дня Артур обошел весь дом. Мрачное

впечатление производил он. Запущенные комнаты, из года в год приходившие в упадок, точно впали в тяжелую летаргию, из которой ничто не могло их вывести. Мебель, скудная и ветхая, скорее пряталась в комнатах, чем украшала их; во всем царил один и тот же тусклый оттенок — краски, какие были, давно выцвели, испарились, исчезли вместе с солнечными лучами: быть может перешли в траву и цветы, в бабочек, в драгоценные камни… Ни в одной комнате — от подвала до чердака — не было ровного пола; потолки оделись такими фантастическими узорами от пыли и копоти, что старухи могли бы предсказывать по ним судьбу лучше, чем по кофейной гуще; закопченные камины не обнаруживали никаких следов топки, кроме куч сажи, насыпавшейся из труб и поднимавшейся пыльными клубами, когда отворялась дверь. В комнате, когда-то служившей гостиной, сохранились два жалких зеркала в рамках с почерневшими фигурами с гирляндами цветов, но даже у этих фигур головы и ноги были обломаны; один купидон, похожий на гробовщика, ухитрился перевернуться вверх ногами, другой совсем отвалился. Кабинет покойного отца Артура Кленнэма, служивший в то же время конторой, так мало изменился, что

можно было подумать, будто покойник до сих пор невидимо хозяйничает в нем, как оставшаяся в живых жена хозяйничает наверху, а Иеремия Флинтуинч по-прежнему служит посредником между ними. Почерневший портрет в угрюмом безмолвии висел на стене, и глаза его пристально смотрели на сына, как смотрели в ту минуту, когда жизнь покидала их. Казалось, они требовали, чтобы он продолжал начатое дело, но, потеряв всякую надежду добиться толку от матери и не зная, как приняться за дело, сын потерял также всякую надежду на разъяснение тайны. Внизу, в погребах, как и наверху, в спальнях, старые, хорошо памятные ему предметы пострадали от времени и разрушения, но оставались на прежних местах; даже пустые пивные бочонки, серые от паутины, пустые бутылки, подернутые плесенью, и те не изменили своего положения. Тут же находилась комната, заваленная старыми счетными книгами, издававшими затхлый, тяжелый запах, точно их перерывали по ночам призраки прежних конторщиков.

Обед был подан в два часа на краешке стола, на измятой скатерти, — вообще очень мизерно. Артур обедал вместе с мистером Флинтуинчем, новым пайщиком. Мистер Флинтуинч сообщил

ему, что его матушка успокоилась и не станет упоминать об утреннем разговоре.

— Только не оскорбляйте память вашего отца, мистер Артур, — прибавил Иеремия, — раз навсегда, не делайте этого! Теперь мы покончили с этим предметом.

Мистер Флинтуинч уже прибрал и подмел свою каморку, вероятно желая ознаменовать этим свое вступление в новую должность. Он приступил к исправлению новых обязанностей, насытившись жареным мясом, подобрав ножом всю подливку со сковороды и основательно залив этот материал пивом. Подкрепившись таким образом, он засучил рукава и принялся за работу, а Артур, наблюдавший за его действиями, убедился как нельзя яснее, что портрет или могила отца были бы так же общительны, как этот субъект.

— Ну, Эффри, женщина, — сказал мистер Флинтуинч, когда она вошла в столовую, — ты еще не приготовила постели Артуру, когда я был наверху. Шевелись, живо!

Но мистер Артур находил этот дом таким угрюмым и мрачным и так мало имел охоты вторично быть свидетелем беспощадного осуждения врагов его матери (в числе которых мог оказаться и он сам) на конечную гибель в здешней и вечные му-

ки в будущей жизни, что предпочел поселиться в том самом кафе, где оставил свой багаж. Мистер Флинтуинч был весьма не прочь отделаться от него, а мать относилась равнодушно ко всему, что происходило вне стен ее комнаты, так что этот вопрос был улажен без всяких затруднений и столкновений. Условившись, когда приходить для сведения счетов, Артур оставил дом, в который вступил так недавно с тоской в сердце.

А Крошка Доррит?

Деловые посещения Артура продолжались в течение двух недель, ежедневно от десяти до шести, с перерывами для устриц и куропаток, которыми подкреплялась больная, меж тем как он освежался прогулкой. Крошка Доррит присутствовала при этих совещаниях, иногда занимаясь шитьем, иногда в качестве простой посетительницы, как в день его прибытия. Любопытство его возрастало по мере того, как он следил за ней, видел ее, размышлял о ней. Под влиянием своей господствующей идеи он даже стал подумывать, не имеет ли Крошка Доррит какого-либо отношения к ней. В конце концов он решился разузнать подробнее ее историю.

Глава VI. Отец Маршалси

Тридцать лет назад в нескольких шагах от церкви Святого Георгия, в предместье Саутворк, на левой стороне улицы, что идет к югу, стояла тюрьма Маршалси. Она стояла тут и раньше в течение многих лет, и позже в течение нескольких лет; теперь она уничтожена, и мир оттого не стал хуже.

Это была вытянутая в длину группа зданий казарменного типа; ветхие дома, ее составлявшие, вплотную прислонялись друг к другу, так что с одной стороны в них не было комнат. Ее окружал узкий мощеный двор, обнесенный высокой стеной, усаженной гвоздями.

Тесная душная тюрьма для неоплатных должников, она заключала в себе еще более тесную и еще более душную темницу для контрабандистов. Нарушители торговых законов, люди, уклонявшиеся от уплаты акцизных сборов и таможенных пошлин, присужденные к штрафу, которого не могли заплатить, сидели за железными дверями во внутренней тюрьме, состоявшей из двух казематов и глухого коридора, ярда в полтора шириной, примыкавшего к маленькому

кегельбану, где должники Маршалси находили утешение от своих горестей.

Предполагалось, что они сидели за железными дверями; в действительности же контрабандисты постоянно навещали должников (которые принимали их с распростертыми объятиями) за исключением тех торжественных случаев, когда какой-либо представитель какого-либо ведомства являлся производить какой-либо осмотр, цель которого оставалась неизвестной ему самому и всем остальным. В этих истинно британских случаях контрабандисты, если таковые случались, делали вид, что уходят в свои тесные камеры и глухой коридор, пока представитель ведомства делал вид, что исполняет свою обязанность, а затем возвращались к прежнему образу жизни.

Задолго до того дня, как солнце светило над Марселем в начале нашего рассказа, в тюрьму Маршалси поступил должник, к которому этот рассказ имеет некоторое отношение.

Это был весьма любезный и беспомощный джентльмен средних лет. Он должен был выйти из тюрьмы немедленно — иначе и быть не могло, потому что всякий должник, вступая в Маршалси, уверен, что выйдет из тюрьмы немедленно.

Он принес с собой портплед, но сомневался, стоит ли его распаковывать, так как был совершенно уверен («Они все в этом уверены», — говорил тюремщик, отпиравший ворота), что выйдет из тюрьмы немедленно.

Это был робкий, застенчивый человек благообразной, хотя несколько женственной наружности: с мягким голосом, кудрявыми волосами и беспокойными руками (в то время они были украшены перстнями), которые непрерывно дотрагивались до его дрожащих губ в первые полчаса пребывания в тюрьме. Больше всего он беспокоился о своей жене.

— Как вы думаете, сэр, — спросил он тюремщика, — она будет очень поражена, когда придет сюда завтра утром?

Привратник ответил, основываясь на своем опыте, что на этот счет разно бывает: на иных это сильно действует, иным — ничего. Большей частью — ничего. Главное дело — какой она породы, заметил он глубокомысленно, какой то есть у нее характер.

— Она очень деликатна и неопытна.

— Ну, это плохо, — сказал тюремщик.

— Она совсем не привыкла выходить из дому одна, — продолжил должник, — и я просто не

понимаю, как она доберется сюда.

— Может быть, возьмет извозчика, — предположил тюремщик.

— Может быть. — Беспокойные пальцы прикоснулись к дрожащим губам. — Надеюсь, что возьмет. Но она, пожалуй, не догадается.

— А то, может, — продолжил тюремщик, успокаивая должника с высоты своего деревянного табурета, как успокаивал бы беспомощного ребенка, — попросит брата или сестру проводить ее…

— У нее нет ни брата ни сестры.

— Племянницу, племянника, двоюродную сестру, слугу, молодую женщину, зеленщика… Не горюйте! Кто-нибудь да найдется, — сказал тюремщик, предупреждая возражение на свои догадки.

— Я боюсь… надеюсь, это не будет против правил, если она приведет сюда детей.

— Детей? — переспросил тюремщик. — Против правил? Что вы, бог с вами, у нас детям раздолье. Дети! Да их тут целая орава. Много ли у вас?

— Двое, — сказал должник, снова поднося беспокойную руку к дрожащим губам, и пошел в тюрьму.

Привратник проводил его глазами и заметил

про себя: «Двое, да ты третий, да жена твоя, готов прозакладывать крону, четвертая. Итого четверо младенцев. Да еще один, прозакладываю полкроны, явится. Итого пятеро. И я дам еще шесть пенсов тому, кто мне скажет, который из вас беспомощнее: ты или тот, что еще не родился».

Все эти замечания были совершенно справедливы. Она явилась на следующий день с трехлетним мальчуганом и двухлетней девочкой, и его предположения вполне оправдались.

— Что ж, вы взяли себе комнату, а? — спросил тюремщик должника спустя неделю или две.

— Да, очень хорошая комната.

— Обзавелись какою-нибудь мебелишкой?

— Да, сегодня носильщик принесет кое-что из мебели.

— Барыня и малыши будут с вами?

— Как же, мы, видите, не хотим расставаться даже на несколько недель.

— Даже на несколько недель, конечно, — возразил тюремщик и семь раз покачал головой, провожая глазами узника.

Дела последнего были крайне запутаны участием в каком-то предприятии (о котором он знал лишь одно: что вложил в него свои деньги), путаницей ассигновок и назначений, передаточными

записями то на того, то на другого, подозрениями в незаконном предпочтении кредиторов в одних случаях и таинственном исчезновении собственности в других, и так как сам должник менее, чем кто-либо, мог объяснить самый простой счет в этой груде путаницы, то оказалось решительно невозможным понять что-нибудь в его деле. Тщательные допросы и попытки согласовать его ответы, очные ставки с опытными практиками, искусившимися в хитростях банкротства и несостоятельности, только сгущали тьму…

В таких случаях беспокойные пальцы все бесполезнее и бесполезнее скользили по дрожащим губам, и самые опытные практики бросали дело как совершенно безнадежное.

— Выйдет? — говорил тюремщик. — Он никогда не выйдет отсюда. Разве уж сами кредиторы возьмут его за плечи да вытолкают.

Так прошло пять или шесть месяцев, когда однажды утром он прибежал к тюремщику, бледный и запыхавшийся, и сообщил, что жена его заболела.

— Можно было наперед сказать, что она заболеет, — заметил тюремщик.

— Мы решили, — сказал должник, — что она завтра поедет на дачу. Что мне делать? Господи,

что мне делать?

— Не терять времени на ломанье рук да кусанье пальцев, — ответил практичный тюремщик, взяв его за локоть, — а отправиться со мной.

Тюремщик повел его, дрожавшего всем телом и жалобно твердившего: «Что мне делать?» Пока беспокойные пальцы размазывали слезы по лицу, они взобрались по лестнице на чердак, остановились у какой-то двери, и тюремщик постучал в нее ручкой ключа.

— Войдите! — крикнул голос изнутри.

Отворив дверь, тюремщик вошел в грязную комнатку, где был очень плохой запах и где двое одутловатых субъектов с багровыми лицами и сиплыми голосами сидели за колченогим столом, играли в карты, курили трубки и пили водку.

— Доктор, — сказал тюремщик, — супруга этого джентльмена нуждается в вашей помощи, нельзя терять ни минуты.

Приятель доктора обретался в положительной степени одутловатости, хрипоты, багровости, карт, табака, грязи и водки; доктор — в сравнительной: был еще одутловатее, хриплее, багровее, карточнее, табачнее, грязнее и водочнее. Доктор имел невероятно оборванный вид в изодранной заплатанной матросской куртке с прорванными

локтями и с весьма скромным количеством пуговиц (он был в свое время опытным корабельным хирургом), в грязнейших белых брюках, какие когда-либо приходилось видеть смертному, в шлепанцах и без всяких признаков белья.

— Роды, — сказал доктор, — это по моей части. — С этими словами он взял гребень, лежавший на камине, и взъерошил себе волосы — по-видимому, это заменяло ему умывание, — достал какой-то замызганный ящик с инструментами и снадобья из буфета, где помещались чашки, блюдечки и каменный уголь, уткнул подбородок в засаленную тряпку, которой была обмотана его шея, и превратился в зловещее медицинское пугало.

Доктор и должник сбежали вниз по лестнице, предоставив тюремщику вернуться к воротам, и вошли в комнату должника. Все тюремные дамы уже знали о происшествии и собрались во дворе. Некоторые возились с двумя старшими детьми, другие выражали готовность ссудить больную чем можно из своих скудных запасов, третьи с величайшей словоохотливостью выражали свое сочувствие. Мужчины, чувствуя, что это дело не их ума, разошлись, чтобы не сказать попрятались по своим комнатам, причем некоторые,

высунувшись из окон, приветствовали доктора свистками, когда он проходил внизу, а другие обменивались саркастическими замечаниями по поводу общего возбуждения.

Был жаркий летний день; тюрьма превратилась в настоящее пекло. В комнатке должника находилась при больной миссис Бангем, поденщица, не принадлежавшая к числу заключенных (она уже отсидела свое), но служившая посредницей между ними и внешним миром.

Она вызвалась отгонять мух и вообще оказывать всяческую помощь больной. Стены и потолок комнаты почернели от мух. Миссис Бангем, дама опытная и находчивая, одной рукой обмахивала больную капустным листом, другой устраивала ловушки для мух из сахара с уксусом в банках, произнося в то же время сентенции ободряющего и утешающего свойства, подходящие к данному случаю.

— Мухи беспокоят вас, правда, голубушка? — говорила миссис Бангем. — Зато они отвлекают ваши мысли, а это вам полезно. В Маршалси ведь больше мух, чем на кладбище, в колониальной лавке, в вагонах для скота и на рынке. Что ж, может они посланы нам в утешение, только мы не знаем этого. Как вы себя чувствуете, милочка? Не

лучше? Да, милочка, так и должно быть: сначала будет хуже, а уж потом лучше, правда, милочка? Ведь вы сами знаете? Да, это верно. Подумать только, какой ангелочек родится в тюрьме! Как это мило. Правда, вы ведь рады этому? Да у нас спокон веку не было ничего подобного, милочка… Да что же вы плачете? Ай-ай-ай! — продолжала миссис Бангем, стараясь во что бы то ни стало развеселить больную. — Когда вам готовится такая слава, а мухи попадают в ловушки по полсотне разом, и все идет так хорошо! И ваш приятный супруг, — прибавила она, когда дверь отворилась, — является с доктором Гаггеджем. Теперь, мне кажется, все обстоит благополучно.

Фигура доктора Гаггеджа вряд ли могла внушить роженице мысль о благополучии, но, как бы то ни было, он и миссис Бангем завладели жалкой, беспомощной парой и применили те средства, какие можно было применить за неимением лучших. Доктор больше всего старался поддержать бодрость духа миссис Бангем — это была самая характерная черта в его медицинских приемах — например, таким образом:

— Миссис Бангем, — сказал он, не пробыв и двадцати минут в комнате больной, — сходите и принесите немного водки, иначе вам не вы-

держать.

— Благодарствуйте, сэр, но я обойдусь и так, — возразила миссис Бангем.

— Миссис Бангем, — заметил доктор, — я нахожусь при исполнении профессиональных обязанностей и не могу позволить каких бы то ни было обсуждений моих действий с вашей стороны! Ступайте и принесите водки, иначе я предвижу, что вы упадете в обморок!

— Я обязана повиноваться вам, сэр, — сказала миссис Бангем, вставая. — Да и вам бы не мешало хлебнуть глоточек; я думаю, что это будет полезно, потому что у вас совсем больной вид, сэр.

— Миссис Бангем, — возразил доктор, — не вам со мной возиться, а мне с вами. Сделайте одолжение, не хлопочите обо мне. Ваше дело — исполнять то, что вам говорят, отправиться и принести то, что я велел!

Миссис Бангем повиновалась, и доктор, заставив ее выпить, подкрепился и сам. Он повторял этот прием аккуратно через час, обращаясь с миссис Бангем очень решительно. Прошло три или четыре часа, мухи падали в ловушки сотнями, и наконец новая жизнь, почти такая же хрупкая, как их жизнь, затеплилась среди этих бесчисленных смертей.

— Премилая девчоночка, — сказал доктор, — маленькая, но хорошо сложенная. Эй, миссис Бангем, у вас очень подозрительный вид. Ступайте сейчас же, сударыня, и принесите еще водки, иначе вам не миновать истерики!

С этого момента перстни стали осыпаться с нерешительных пальцев должника, как листья с деревьев осенью. Ни одного не осталось в тот вечер, когда он опустил что-то звонкое в засаленную ладонь доктора. В то же время миссис Бангем часто отправлялась с поручениями в соседнее заведение, украшенное тремя золотыми шарами [10], где ее хорошо знали.

— Благодарю вас, — сказал доктор, — благодарю. Ваша супруга совершенно поправилась. Все идет как нельзя лучше.

— Я очень рад это слышать и очень благодарен вам, — сказал должник, — хотя я никогда не думал, что…

— Что у вас родится ребенок в таком месте? — продолжил доктор. — Э, сударь, что за важности! Немножко побольше простора — вот и все, чего нам здесь не хватает. Житье здесь покойное: никто к вам не лезет, нет молотка у дверей, которым

---

[10] Сноски: 10
Так обозначались вывески ростовщиков.

стучит кредитор так, что у человека душа уходит в пятки. Никто не приходит, не спрашивает, дома ли, не обещает дожидаться у дверей, пока его не примут. Никто не присылает сюда угрожающих писем насчет денег. Раздолье, сэр, раздолье! Я занимался практикой и дома, и за границей, и в военных походах на корабле и, поверьте, не запомню, чтобы мне приходилось когда-нибудь практиковать при таких спокойных условиях, как здесь. Народ везде неугомонный, все хлопочут, все куда-то торопятся, беспокоятся то о том, то о другом. Здесь ничего подобного, сэр! Мы все это пережили, все это проделали; мы попали на самое дно, нам некуда больше падать, и что же мы нашли? Спокойствие. Вот настоящее слово. Спокойствие!

Высказав этот краткий символ веры, доктор, который был старожилом в тюрьме, возбужденный более обыкновенного выпивкой и необычайным для него ощущением денег в кармане, вернулся к своему другу и товарищу по охриплости, одутловатости, багровости, картам, табаку, грязи и водке.

Должник был человек совсем иного рода, чем доктор, но уже начал подвигаться к той же точке по противоположной стороне круга. Совершенно

подавленный заключением в первое время, он вскоре стал находить в нем какое-то мрачное удовольствие. Он сидел под замком, но этот замок, не выпуская его из тюрьмы, не допускал к нему многих забот. Если бы это был человек, способный встретить лицом к лицу заботы и бороться с ними, то разбил бы свои цепи или свое сердце, но, оставаясь тем, чем был, только бессильно скользил по гладкому спуску, не сделав ни шагу вверх.

Избавившись от запутанных дел, в которых дюжина юристов не могла найти ни начала, ни конца, ни середины, он мало-помалу пришел к убеждению, что его жалкое убежище гораздо спокойнее, чем это казалось ему раньше. Он давно уже развязал свой портплед; его старшие дети постоянно играли на дворе, и всякий в тюрьме знал малютку и до некоторой степени считал ее своей собственностью.

— Я начинаю гордиться вами, — сказал ему однажды его друг-тюремщик. — Скоро вы будете старейшим из здешних обитателей. Без вас и вашей семьи Маршалси осиротеет.

Тюремщик действительно гордился им и отзывался о нем в самых лестных выражениях, разговаривая с новичками.

— Обратили ли вы внимание, — говорил

он, — на того господина, что вышел сейчас из комнаты?

Новичок, как водится, отвечал: «Да».

— Был настоящий джентльмен, превосходнейшего воспитания. Однажды был в гостях у самого директора, пробовал новое фортепиано. Играл ну просто на удивленье. А насчет языков… знает все на свете. Был у нас одно время француз, так, по моему мнению, он понимал по-французски лучше этого француза. Был итальянец, так он и его загонял в полминуты. Вы и в других тюрьмах встретите людей почтенных, не стану спорить, но если хотите видеть настоящего знатока по тем предметам, которые я назвал, пожалуйте в Маршалси.

Когда младшему ребенку исполнилось восемь лет, жена должника, давно уже прихварывавшая от наследственного недуга, а не вследствие заключения, к которому она относилась так же, как муж, поехала в деревню навестить свою бывшую няньку и там умерла. Он две недели не выходил из своей комнаты, и один помощник адвоката, попавший в тюрьму за долги, сочинил для него сочувственный адрес, под которым подписались все заключенные. Когда он снова появился среди публики, у него прибавилось седых волос (он

рано начал седеть), и тюремщик заметил, что его беспокойные руки снова стали прикасаться к дрожащим губам, как в первое время заключения. Но месяца через два он оправился, а тем временем дети по-прежнему играли на дворе, только в трауре.

С течением времени миссис Бангем, давнишняя посредница между заключенными и внешним миром, одряхлела и стала все чаще и чаще попадаться на улице в бессознательном состоянии, причем корзина с покупками оказывалась опрокинутой, а в сдаче не хватало нескольких пенсов. Тогда его сын, заняв должность миссис Бангем, стал исполнять поручения и сделался своим человеком в тюрьме и на улице.

Наступило время, когда и тюремщик ослабел. Грудь у него начала пухнуть, ноги трястись, его мучила одышка. Почтенный деревянный табурет его «доехал», как он выражался. Теперь он сидел в кресле с подушкой и часто в течение нескольких минут не мог отдышаться и отворить дверь. Когда эти припадки одолевали его, должник часто отворял за него дверь.

— Вы и я, — сказал тюремщик однажды зимним вечером, когда в привратницкой собралось много народа погреться у печки, — мы с вами

старейшие обитатели здесь. Я поступил сюда за семь лет до вас. Меня ненадолго хватит. Когда за мной в последний раз запрут двери, вы будете Отцом Маршалси.

На следующий день за тюремщиком были заперты двери этого мира, но слова его не были забыты, и с тех пор среди заключенных из поколения в поколение передавалось (поколение в Маршалси можно считать в среднем в три месяца), что старый оборванный должник с седыми волосами — Отец Маршалси.

Он гордился этим титулом. Если бы какой-нибудь мошенник вздумал оспаривать его, он был бы огорчен до слез этой попыткой отнять у него законные права. В нем замечали склонность преувеличивать число лет, проведенных им в тюрьме, так что собеседник обыкновенно вычитал несколько единиц из названной им цифры; он был тщеславен, как говорили быстро сменявшиеся поколения узников.

Все новички представлялись ему. Он очень пунктуально относился к этой церемонии. Шутники, пытавшиеся производить ее с преувеличенной торжественностью, не могли сокрушить его невозмутимое достоинство. Он принимал новоприбывших в своей бедной комнатке (зна-

комство на дворе, по его мнению, имело слишком случайный характер, не соответствовавший цели представления), с какой-то смиренной благосклонностью. «Милости просим в Маршалси», — говорил он им. Да, он отец этого местечка, так назвала его снисходительная публика. «И если двадцать с лишним лет пребывания здесь оправдывают этот титул, то я пользуюсь им по праву. На первый взгляд это место может показаться непривлекательным, но здесь вы найдете приятную компанию — конечно, смешанную, — с этим ничего не поделаешь, и очень хороший воздух».

Нередко к нему подсовывали под дверь ночью письма, в которых оказывались полкроны, крона, иногда даже полгинеи для «Отца Маршалси» с пожеланием всего хорошего от «товарища по заключению, который выходит на волю». Он принимал эти подарки как знак уважения со стороны поклонников, не делая из этого тайны. Иногда они подписывались шуточными именами, как, например: «Кирпич», «Кузнечный мех», «Старый простофиля», «Хитрец», «Мопс», «Человек из помойной ямы», но он находил это шутками дурного тона и всегда немножко обижался на них.

С течением времени, когда эта корреспон-

денция стала ослабевать, как будто со стороны корреспондентов требовалось слишком значительное усилие, на которое не все были способны в суете отъезда, он принял за правило провожать каждого выходившего должника, принадлежавшего к порядочному классу общества, до ворот и тут прощаться с ним. Этот последний, пожав руку старику, останавливался, завертывал что-то в бумажку и кричал:

— Послушайте!

Старик с удивлением оборачивался и спрашивал с улыбкой:

— Вы меня?

Видя, что тот подходит к нему, прибавлял отеческим тоном:

— Что-нибудь забыли? Чем могу служить?

— Я забыл оставить это, — отвечал уходивший, — для Отца Маршалси.

— Милостивый государь, — отвечал последний, — он бесконечно обязан вам!

Но до последнего времени рука старика, опустив монету в карман, оставалась в нем довольно долго, чтобы получка не слишком бросилась в глаза остальной публике.

Однажды он провожал таким образом довольно многочисленную компанию должников, случай-

но освобожденных вместе, и, возвращаясь назад, встретил одного обитателя бедного отделения, который был посажен неделю назад за какой-то ничтожный долг, расплатился в течение недели и теперь выходил на волю. Это был простой штукатур и уходил с женой и узелком в самом веселом настроении.

— Всего хорошего, сэр, — сказал он, проходя мимо.

— И вам того же, — благосклонно ответил Отец Маршалси.

Они отошли уже довольно далеко друг от друга, как вдруг штукатур крикнул:

— Послушайте, сэр! — и направился к старику. — Это немного, — сказал он, сунув ему в руку кучку полупенсовиков, — но от чистого сердца!

Никогда еще Отец Маршалси не получал подарков медью. Дети получали часто, и он знал, что эти получки идут в общую кассу, что на них покупается пища, которую он ест, и питье, которое он пьет, но оборванец, запачканный известкой и предлагавший ему медяки из рук в руки, — это было ново.

— Как вы смеете? — сказал он и залился слезами.

Штукатур повернул его к стене, чтобы другие

не могли видеть его лица, и в этом движении было столько деликатности, он извинялся так искренно и с таким раскаянием, что старик мог только пробормотать:

— Я знаю, что вы сделали это с хорошим намерением. Не будем больше говорить об этом.

— Бог с вами, сэр, — сказал штукатур, — я действительно сделал это с хорошим намерением. Но я надеюсь сделать для вас больше, чем другие.

— Что же вы хотите сделать? — спросил старик.

— Я навещу вас как-нибудь.

— Дайте мне эти деньги, — с жаром сказал старик, — я спрячу их и не стану тратить. Благодарю вас, благодарю. Мы увидимся с вами?

— Если только я проживу неделю, увидимся!

Они пожали друг другу руки и расстались.

В этот вечер, собравшись за ужином, заключенные удивлялись: что такое случилось с их отцом, почему он так долго гулял по потемневшему двору и казался таким пришибленным?

Глава VII. Дитя Маршалси

Младенец, чей первый глоток воздуха был отравлен водкой доктора Гаггеджа, передавался с рук на руки среди членов общежития, из поколения в поколение, подобно традиции, связанной с их общим отцом. В первый период ее существования эта передача происходила в буквальном и прозаическом смысле: почти каждый поступавший считал своей обязанностью понянчить девочку.

— По-настоящему, — сказал тюремщик, увидев ее впервые, — я должен быть ее крестным отцом.

Должник помялся с минуту и сказал:

— Быть может, вы не откажетесь и в действительности быть ее крестным отцом?

— О, я не откажусь, — возразил тюремщик, — если вы ничего не имеете против этого.

Итак, ее окрестили в воскресенье, когда тюремщику можно было отлучиться из тюрьмы; и тюремщик отправился в церковь Святого Георга, и стоял у купели, и давал обеты, клятвы и отречения без запинки, по его собственным словам.

После этого тюремщик стал относиться к ней как к своей собственности, независимо от официальных отношений. Когда она научилась ходить и говорить, он очень полюбил ее: купил маленькое креслице, поставил его у камина в сторожке, любил коротать с ней время и заманивал ее к себе дешевыми игрушками. Ребенок, со своей стороны, до того привязался к тюремщику, что постоянно забирался в его помещение по собственной охоте. Когда она засыпала в креслице перед каминной решеткой, он покрывал ее своим платком; когда же она играла, раздевая и одевая куклу, которая вскоре перестала походить на кукол внешнего мира, обнаруживая поразительное семейное сходство с миссис Бангем, он с нежностью смотрел на нее с высоты своего табурета. Заметив это, члены общежития решили, что тюремщик, хоть он и был холостяком, самой судьбой предназначен к семейной жизни, но тюремщик поблагодарил и сказал:

— Нет, с меня довольно видеть здесь чужих детей.

Трудно решить, в какой именно период своей жизни малютка стала замечать, что не все люди живут взаперти и не выходят за пределы тесного двора, окруженного высокой стеной, усаженной

гвоздями. Но она была еще очень, очень мала, когда заметила, что ей приходится выпускать руку отца, выходя за ворота, отворявшиеся большим ключом, и что его нога не смеет переступить черту, за которую свободно переходят ее маленькие ножки. Жалостные и сострадательные взгляды, которые она стала бросать на него, явились, быть может, результатом этого открытия.

Выражение жалости и сострадания, к которому примешивалось что-то вроде покровительства, когда она смотрела на него, всегда светилось в глазах этой дочери Маршалси в течение первых восьми лет ее жизни, сидела ли она подле своего друга тюремщика, или уходила в комнату отца, или гуляла по тюремному двору, — жалости и сострадания к своей беспризорной сестре, к своему ленивому брату, к высоким мрачным стенам, к томившейся среди них толпе, к тюремным детям, которые кричали и резвились, играли в прятки и устраивали «дом» у железной решетки внутренних ворот.

Задумчивая и сосредоточенная, сидела она летними вечерами у камина, глядя на небо сквозь решетку окна, пока сеть железных полос не начинала мерещиться ей всюду, так что и ее друг казался за решеткой.

— Мечтаешь о полях, — сказал однажды тюремщик, — да?

— Где они? — спросила она.

— Там… далеко, — сказал тюремщик, сделав неопределенный жест ключом. — Вон там.

— Кто-нибудь открывает и запирает их? Они под замком?

Тюремщик смутился:

— Ну, как тебе сказать… Вообще говоря, нет.

— Там хорошо, Боб?

Она называла его Боб по его собственному желанию и требованию.

— Чудесно. Там уйма цветов. Там лютики, и маргаритки, и… — Тюремщик остановился, так как его сведения по части цветов были очень ограниченны. — Одуванчики и всяческие игры.

— Там очень весело, Боб?

— Еще как! — сказал тюремщик.

— А отец бывал там когда-нибудь?

— Кхм… — поперхнулся тюремщик. — О да, бывал… иногда.

— Он горюет, что не может попасть туда теперь?

— Ну… не очень, — сказал тюремщик.

— И они тоже не горюют? — спросила она, глядя на скучающую толпу на дворе. — О, Боб, ты

наверно знаешь это?

На этом опасном месте Боб переменил тему разговора и повел речь о леденцах; это был его вечный и последний ресурс, когда он замечал, что его маленькая приятельница вдается в политические, социальные или теологические вопросы. Но этот разговор послужил поводом к целому ряду воскресных прогулок, предпринимавшихся оригинальными друзьями. Раз в две недели, в воскресенье, они с важностью выходили из привратницкой и направлялись куда-нибудь за город, на луга или в поля, заранее намеченные им: тут она рвала траву и цветы, а он курил свою трубку. Затем являлись на сцену чай, креветки, пиво и другие деликатесы, а там они возвращались домой рука об руку, если только она не засыпала от усталости на его плече.

В эти ранние дни ее детства тюремщик стал задумываться над вопросом, который стоил ему такой напряженной умственной работы, что он так и остался нерешенным до его смерти. Он решил завещать свои маленькие сбережения крестной дочери, но тут возник вопрос, как бы их закрепить таким образом, чтобы они непременно достались ей одной. Личный опыт по замочной части убедил его, что «закрепить» деньги сколь-

ко-нибудь прочно страшно трудно, а уходят они как нельзя легче. И вот он в течение многих лет предлагал этот мудреный вопрос каждому неоплатному должнику или вообще сведущему человеку.

— Предположим, — говорил он, толкая ключом в жилет сведущего человека, дабы подчеркнуть свои слова, — предположим, что некто захотел оставить свое состояние молодой женщине, и притом на таких условиях, чтобы никто, кроме нее, не мог тронуть ни полушки из этих денег, как ему закрепить их за ней?

— Завещать на ее имя, — отвечал сведущий человек со снисходительной улыбкой.

— Но позвольте, — возражал тюремщик. — Предположим, что у нее есть, скажем, брат, или сестра, или муж, который непременно попытается запустить лапу в ее имущество, как быть в таком случае?

— Если имущество завещано ей, то у них будет не больше законных прав на него, чем у вас, например, — возражал сведущий человек.

— Постойте, постойте, — говорил тюремщик. — Предположим, что у нее нежное сердце и что они приходят к ней и просят денег. Что же тут поделает ваш закон?

Глубочайшие знатоки, к которым обращался тюремщик с этим вопросом, не могли объяснить, что тут поделает закон. Таким-то образом тюремщик всю жизнь ломал голову над этой задачей и в конце концов умер не оставив завещания.

Но это случилось много времени спустя, когда его крестной дочери исполнилось уже шестнадцать лет. Первая половина этого периода уже прошла, когда ее жалостливые и сострадательные глаза увидели отца овдовевшим. С этого времени покровительственное выражение, мелькавшее в ее задумчивых глазах, дополнилось соответствующими действиями, и дитя Маршалси взяло на себя новые обязанности по отношению к отцу.

Сначала она могла только сидеть с ним, покинув свое более уютное местечко у каминной решетки, но мало-помалу ее общество сделалось настолько необходимым для него, что он огорчался, когда она уходила. Через эти маленькие ворота перешла она из детства в переполненный тревогами мир.

Что подсмотрел ее сострадательный взгляд в отце, брате, сестре, в заключенных? Какую долю печальной истины Богу угодно было открыть ей? Это остается в числе многих неразрешимых тайн. Довольно того, что ей было внушено свыше сде-

латься не тем, чем были остальные, отличаться от остальных и работать для остальных. Внушено свыше? Да. Если мы говорим о внушении свыше, вдохновляющем поэта или священника, то неужели мы не усмотрим его в сердце, которое любовь и самоотвержение побуждают в самой низкой доле выбирать самую низкую работу.

Без друзей, которые могли бы помочь ей или хоть навестить ее, не имея никого, кроме своего странного товарища, незнакомая с самыми элементарными правилами и обычаями вне тюремной жизни, вскормленная и воспитанная в социальных условиях, ненормальных даже сравнительно с самым ненормальным положением за стенами тюрьмы, с детства привыкшая пить из колодца с отравленной, нездоровой, зараженной водой, дочь Маршалси начала свою сознательную жизнь.

Сколько обид и разочарований, насмешек над молодостью и маленькой фигуркой (высказанных без злобы, шутя, но задевавших ее глубоко), горького сознания своих слабых детских сил, которых не хватало на самую простую работу, сколько усталости и беспомощности, сколько слез, пролитых тайком, досталось на ее долю, пока она не была признана полезной, даже необ-

ходимой. Это время наступило. Она заняла место старшей в семье, старшей во всех отношениях, кроме возраста, стала главой павшей фамилии и носила в своем сердце ее тревоги и позор.

В тринадцать лет она умела читать и вести счета, то есть записывать словами и цифрами, что требуется для их странного хозяйства, и подсчитывать, какой суммы не хватает на покупку всего необходимого. Она урывками посещала вечернюю школу в течение нескольких недель и урывками же посылала брата и сестру в школу в течение трех или четырех лет. Дома они ничему не учились, но она понимала, она знала лучше, чем кто-нибудь, что человек, опустившийся до положения Отца Маршалси, не может быть отцом для своих детей.

Скудные сведения, полученные в школе, она старалась пополнять собственными усилиями. В пестрой толпе заключенных оказался однажды учитель танцев. Ее сестре очень хотелось выучиться танцам, к которым она, по-видимому, обнаруживала способности. Тринадцати лет от роду дитя Маршалси явилось к учителю танцев с маленьким кошельком в руке и изложило свою скромную просьбу.

— С вашего позволения, сэр, я родилась здесь.

— О, вы та самая молодая леди, да? — спросил учитель танцев, оглядывая ее маленькую фигурку и поднятое к нему личико.

— Да, сэр.

— Чем же могу служить вам? — спросил учитель танцев.

— Мне ничем, сэр, благодарю вас, — робко ответила она, развязывая шнурки кошелька, — но, может быть, вы согласитесь учить мою сестру танцевать за небольшую…

— Дитя мое, я буду учить ее даром, — сказал учитель танцев, отстраняя кошелек. Это был добрейший из учителей танцев, когда-либо бывших под судом за долги, и он сдержал свое слово.

Сестра оказалась очень способной ученицей, и так как у него было много досуга (прошло десять недель, пока он поладил с кредиторами и мог вернуться к своим профессиональным обязанностям), то дело пошло замечательно успешно. Учитель танцев так гордился ею, ему так хотелось похвастаться ее успехами перед кружком избранных друзей из числа членов общежития, что в одно прекрасное утро, в шесть часов, он устроил придворный менуэт на дворе (комнаты были слишком тесны для этого), причем все фигуры и па исполнялись с таким старанием,

что учитель танцев, заменявший и музыканта, совсем изнемог. Успех этой первой попытки, приведшей к тому, что учитель танцев и после освобождения продолжал заниматься со своей ученицей, придал смелости бедной девочке. Она долго, в течение нескольких месяцев, дожидалась, не попадет ли к ним какая-нибудь швея. Наконец попала к ним модистка, и к ней-то она отправилась с просьбой.

— Извините, сударыня, — сказала она, робко заглянув в дверь к модистке, которая, рыдая, лежала на кровати, — но я родилась здесь.

По-видимому, все узнавали о ней тотчас по приходе в тюрьму; по крайней мере, модистка села на кровати, вытерла слезы и спросила, как спросил ее раньше танцмейстер:

— О, так вы дитя Маршалси, да?

— Да, сударыня.

— Жалею, что у меня ничего нет для вас, — сказала модистка, покачав головой.

— Я не за тем пришла, сударыня. Мне бы хотелось научиться шить.

— Хотелось бы научиться шить, — сказала модистка, — а вы видите меня? Много ли пользы принесло мне шитье?

— Тем, кто сюда попадает, ничто не принесло

пользы, — возразила девушка простодушно, — но я все-таки хочу научиться.

— Боюсь, что вы слишком слабенькая, — ответила модистка.

— Я, кажется, не очень слаба, сударыня.

— И притом вы очень, очень малы, — продолжила модистка.

— Да, я сама боюсь, что очень мала, — ответило дитя Маршалси и заплакало при мысли об этом недостатке, причинявшем ей столько огорчений. Модистка, женщина вовсе не злая и не бессердечная, но только не освоившаяся еще с положением неоплатной должницы, была тронута: она согласилась учить девочку, нашла в ней самую терпеливую и усердную ученицу и с течением времени сделала из нее хорошую швею.

С течением времени, и именно в эту пору, в характере Отца Маршалси проявилась новая черта. Чем более он утверждался в отцовском звании, чем более зависел от подачек своей вечно меняющейся семьи, тем сильнее цеплялся за свое захудалое дворянство. Руке, полчаса назад принимавшей полкроны от товарища по заключению, той же руке пришлось бы утирать слезы, которые брызнули бы из его глаз, если б он узнал, что его дочери добывают хлеб своим трудом, так

что первой и главной заботой его дочери было обеспечить благородную фикцию, будто все они ленивые нищие.

Ее сестра сделалась танцовщицей. Был у них дядя, разорившийся благодаря своему брату, Отцу Маршалси, и понимавший в делах не более этого последнего. Человек простой и смирный, он принял разорение как совершившийся факт. Сознание этого факта выразилось у него только в том, что с момента катастрофы он перестал умываться. В лучшие дни он был посредственный музыкант-любитель, а после разорения перебивался кое-как, играя на кларнете, таком же грязном, как он сам, в оркестре одного маленького театра. В этом самом театре его племянница сделалась танцовщицей, и он принял на себя роль ее покровителя и защитника так же, как принял бы болезнь, наследство, угощение, голод, — все, что угодно, кроме мыла.

Чтобы доставить возможность сестре зарабатывать несколько шиллингов в неделю, дитя Маршалси должно было пуститься на хитрости:

— Фанни не будет больше жить с нами, батюшка. Она будет проводить здесь большую часть дня, а жить у дяди.

— Ты удивляешь меня. Почему это?

— Дяде нельзя жить одному. За ним нужно ухаживать, присматривать.

— Ухаживать? Он почти все время проводит у нас. И ты, Эми, ухаживаешь и присматриваешь за ним гораздо усерднее, чем твоя сестра. Вы все слишком часто выходите.

Так он поддерживал декорум [11], делая вид, что ему неизвестно, зачем Эми уходит со двора.

— Но мы всегда рады, когда возвращаемся домой, правда, папа? Для Фанни же, не говоря о заботах и присмотре за дядей, вообще будет лучше не жить постоянно здесь. Ведь она не родилась здесь, как я.

— Конечно, Эми, конечно. Хотя я не вполне улавливаю твою мысль, но весьма естественно, что Фанни предпочитает жить на воле, да и ты тоже не любишь оставаться здесь. Да, милочка, ты, Фанни, дядя — вы сами по себе. Я не буду вам мешать, не беспокойтесь обо мне.

Труднейшей задачей для нее было вытащить из тюрьмы брата, избавить его от должности посыльного (наследство миссис Бангем) и от дурной компании. Ничему путному он не выучился в тюрьме, и Эми не могла найти для него другого

---

[11] Сноски: 11

В пер. с *лат.* — внешнее приличие, подобающая обстановка.

покровителя, кроме своего старого друга и крестного отца.

— Милый Боб, — сказала она, — что-то выйдет из бедного Типа? — Имя его было Эдуард, сокращенно — Тэд, превратившееся в тюрьме в Тип.

Тюремщик имел свое мнение насчет будущности бедного Типа. Желая предотвратить эту будущность, он даже заводил с ним речь, доказывая, что ему следовало бы оставить тюрьму и послужить отечеству. Но Тип поблагодарил и сказал, что ему нет дела до отечества.

— Ну, милочка, — сказал тюремщик своей крестнице, — надо что-нибудь сделать для него. Попробую-ка я поискать ему местечко по юридической части.

— Как бы это хорошо было, Боб!

С этого дня тюремщик обращался уже с двумя вопросами к сведущим людям, поступавшим в тюрьму. Относительно второго он действовал так настойчиво, что в конце концов для Типа нашлось местечко и двенадцать шиллингов в неделю в конторе одного адвоката в великом национальном палладиуме [12], именуемом королевским судом, в то время представлявшем собой

---

[12] Сноски: 12

Палладиум *(лат.)* — защита, оплот. У древних греков — статуя Афины Паллады, считавшаяся залогом общественной безопасности города.

одну из многочисленных неприступных твердынь, охранявших достоинство и благоденствие Альбиона, ныне же стертом с лица земли.

Тип проскучал в Клиффордс-Инн полгода, а затем приплелся обратно в Маршалси, засунув руки в карманы, и мимоходом объявил сестре, что больше не пойдет туда.

— Больше не пойдешь туда? — повторило бедное дитя Маршалси, для которого Тип был главным предметом забот и тревог.

— Я ужасно устал, — сказал Тип, — и бросил место.

Тип уставал от всего. Его маленькая вторая мать с помощью все того же верного друга помещала его последовательно в оптовый склад, к огороднику, к торговцу хмелем, снова в контору адвоката, к аукционисту, на пивоварню, к маклеру, снова в контору адвоката, в контору дилижансов, в контору транспортов, снова в контору адвоката, в мелочную лавку, на винокуренный завод, снова в контору адвоката, в лавку шерстяных товаров, в галантерейную лавку, на рыбный рынок, на фруктовый рынок, в доки, но везде он уставал, бросал места и возвращался к безделью Маршалси и наследству миссис Бангем. Казалось, он всюду тащил за собой стены тюрьмы

и продолжал влачить бесцельное, ленивое, бессмысленное существование в их тесных пределах в любом месте и при любой профессии, пока настоящая, неподвижная Маршалси не притягивала его обратно.

Тем не менее маленькое мужественное создание так настойчиво стремилось пристроить брата, что, пока он слонялся по разным местам, она сумела наскрести для него небольшую сумму, достаточную для переезда в Канаду. Так как он устал от бездельничанья и хотел покончить даже с этим, то весьма милостиво согласился на ее проект. Горько ей было расставаться с ним, но горечь смягчалась радостью и надеждой, что он вступит наконец на настоящий путь.

— Да благословит тебя Бог, Тип. Смотри не загордись, когда разбогатеешь, и приезжай повидать нас.

— Ладно, ладно! — сказал Тип и отправился.

Но не все дороги ведут в Канаду. В данном случае дорога привела его только до Ливерпуля. Отсюда он вернулся обратно спустя месяц в лохмотьях, без сапог и усталый более, чем когда-либо.

Снова пришлось обратиться к наследству миссис Бангем, а затем он сам нашел себе занятие, о

чем и объявил сестре.

— Эми, я нашел место.

— Серьезно, Тип?

— Будь покойна, теперь дело пойдет на лад. Тебе больше не придется хлопотать обо мне, старушка.

— Что же это за место, Тип?

— Ты знаешь Слинго?

— Которого называют купцом?

— Вот-вот. Он выходит отсюда в понедельник и обещал мне место.

— Чем же он торгует, Тип?

— Лошадьми. Будь покойна, Эми. Теперь дело пойдет на лад.

Она потеряла его из виду на несколько месяцев и только слышала о нем время от времени. Между членами общежития ходили слухи, будто его видели на аукционе в Мурфильде, где он покупал накладное серебро за настоящее и платил за него банковскими билетами, но эти слухи не достигали ее ушей. Однажды вечером, когда она работала, стоя у окна, чтобы воспользоваться тусклым светом сумерек, он отворил дверь и вошел в комнату.

Она поцеловала его и сказала «здравствуй», но расспрашивать побоялась. Он заметил ее испуг

и беспокойство и, по-видимому, почувствовал жалость:

— Боюсь, Эми, ты очень огорчишься на этот раз. Право, боюсь.

— Очень грустно слышать такие слова, Тип. Ты совсем вернулся?

— Ну… да.

— Я и думала, что это место окажется неподходящим, так что не особенно огорчаюсь на этот раз, Тип.

— А! Но это не все, случилось кое-что похуже.

— Хуже?

— Не смотри так испуганно. Да, Эми, хуже. Видишь ли, я вернулся, — не смотри же так испуганно! — не так, как прежде, не по своей воле. Я теперь сюда на житье.

— О, не говори, что ты арестован, Тип. Нет, нет!

— Мне и самому неприятно это говорить, — возразил он с неохотой, — да что ж делать, когда ты иначе не понимаешь. Приходится сказать. Меня посадили за долг в сорок фунтов.

В первый раз за все эти годы она согнулась под бременем горя. Всплеснув руками, она воскликнула, что это убьет отца, если только он узнает, и упала без чувств к ногам Типа.

Ему легче было привести ее в чувство, чем

ей убедить его, что отец Маршалси будет в отчаянии, если узнает истину. Тип решительно не мог понять и представить себе этого. Потребовались совместные усилия сестры и дяди, чтобы заставить его взглянуть на дело с такой точки зрения. Само по себе возвращение его не представляло ничего странного ввиду многочисленных прецедентов, нетрудно было придумать благовидное объяснение для отца, а остальные члены общежития, лучше понимавшие значение этого невинного обмана, добросовестно хранили тайну.

Вот жизнь и история дочери Маршалси до двадцати двух лет. Сохранив привязанность к жалкому двору и груде построек как к месту своего рождения и дому, она неслышно скользила в этих стенах, сознавая, что на нее указывают всякому новоприбывшему. Найдя работу в городе, она тщательно скрывала место своего жительства и старалась как можно незаметнее проскользнуть за железные ворота, вне которых ей ни разу еще не случалось ночевать. Ее природная робость еще усилилась вследствие необходимости скрываться, и ее легкие ножки и миниатюрная фигурка скользили по людным улицам, точно спеша исчезнуть куда-то.

Умудренная опытом в борьбе с житейской нуждой, она оставалась невинной во всем остальном, невинной среди тумана, сквозь который она видела отца, и тюрьму, и мутный поток жизни, кипевшей вокруг нее.

Вот жизнь и история Крошки Доррит до того момента, когда она возвращалась домой в пасмурный сентябрьский вечер, не замечая, что за ней следит мистер Артур Кленнэм. Такова жизнь и история Крошки Доррит до того момента, когда она свернула на Лондонский мост, перешла его, вернулась обратно, прошла мимо церкви Святого Георга, снова вернулась обратно и проскользнула в открытые наружные ворота Маршалси.

Глава VIII. Под замком

Артур Кленнэм стоял на улице, поджидая прохожего, чтобы узнать, что это за здание. Он пропустил несколько человек, лица которых не внушали ему доверия, и все еще стоял на улице, когда какой-то старик прошел мимо него и свернул в ворота.

Он часто спотыкался и плелся так тихо, с таким рассеянным видом, что шумные лондонские улицы вряд ли были вполне безопасным местом для его прогулок. Одет он был грязно и бедно: в потертом, когда-то синем, долгополом сюртуке, застегнутом наглухо, с бархатным воротником, от которого, впрочем, оставалась лишь бледная тень. Красная подкладка этой тени воротника высовывалась наружу, сливаясь на затылке с клочьями седых волос и порыжевшим галстуком с пряжкой, едва прикрытыми шляпой. На нем была грязнейшая потертая шляпа с изломанной тульей и помятыми полями. Из-под нее болтались концы носового платка, которым была повязана голова старика. Брюки его были так широки и длинны, а ноги так велики и неуклюжи, что он переступал как слон. Под мышкой он держал

старый футляр с каким-то духовым инструментом и в той же руке — пакетик из серой бумаги с нюхательным табаком, которым он услаждал свой бедный старый сизый нос в ту минуту, когда Артур Кленнэм взглянул на него.

К этому старику он решил обратиться и тронул его за плечо. Старик остановился и оглянулся с выражением человека, мысли которого далеко, и к тому же тугого на ухо.

— Скажите, пожалуйста, сэр, — сказал Артур, повторяя свой вопрос, — что это за место?

— А? Это место? — ответил старик, остановив руку с понюшкой табаку на полдороге к носу. — Это Маршалси, сэр.

— Долговая тюрьма?

— Сэр, — ответил старик с таким видом, как будто об этом и спрашивать не стоило, — долговая тюрьма.

Он повернулся и пошел дальше.

— Простите, — сказал Артур, останавливая его, — но мне хотелось бы, если позволите, предложить вам еще один вопрос. Всякий может сюда войти?

— Всякий может сюда войти, — подтвердил старик с ударением и прибавил в виде объяснения: — Но не всякий может отсюда выйти.

— Извините, я вас задержу еще на минутку. Вы хорошо знакомы с этим местом?

— Сэр, — ответил старик, стиснув в руке пакет с табаком и взглянув на Кленнэма, как будто этот вопрос был неприятен для него, — хорошо.

— Простите мою назойливость. Но я спрашиваю не из пустого любопытства, а с хорошей целью. Случалось ли вам слышать здесь фамилию Доррит?

— Моя фамилия Доррит, сэр, — объявил старик совершенно неожиданно.

Артур поклонился:

— Позвольте мне сказать вам несколько слов. Я совершенно не был подготовлен к вашему ответу, и надеюсь, что это обстоятельство послужит извинением моей смелости. Я недавно вернулся в Англию после продолжительной отлучки и встретил у моей матери, миссис Кленнэм, девушку, занимавшуюся шитьем, которую называли «Крошка Доррит». Я заинтересовался ею и желал бы узнать о ней подробнее. Я видел за минуту до того, как обратился к вам, что она прошла в эти ворота.

Старик пристально посмотрел на него.

— Вы моряк, сэр? — спросил он и, по-видимому, был несколько разочарован, когда его собеседник

покачал головой. — Нет, не моряк? Я предположил это по вашему загорелому лицу. Вы серьезно говорите?

— Совершенно серьезно, и убедительно прошу вас верить этому.

— Я очень мало знаю мир, сэр, — продолжил старик слабым, дрожащим голосом, — я прохожу по нему, как тень по солнечным часам. Недостойно человека обманывать меня — это было бы слишком легкое дело и слишком ничтожное, нечем было бы и похвастаться. Девушка, о которой вы говорите, дочь моего брата. Мой брат Уильям Доррит, я Фредерик. Вы говорите, что видели ее у вашей матери (я знаю, что ваша мать покровительствует ей), заинтересовались ею и пожелали знать, что она тут делает. Пойдемте, посмотрите.

Он пошел дальше, а Артур последовал за ним.

— Мой брат, — сказал старик, остановившись на лестнице и медленно повернув голову, — провел здесь несколько лет, и мы скрываем от него наши дела за стенами тюрьмы по причинам, о которых я не стану сейчас распространяться. Будьте добры, не говорите ему ничего такого, о чем мы не говорим. Вот. Пойдемте, посмотрите.

Артур последовал за ним по узкому коридо-

ру, в конце которого оказалась крепкая дверь, отворявшаяся изнутри. Они вошли в привратницкую — или сторожку, — а затем, через другую дверь с решеткой, во внутренний двор. Когда они проходили мимо тюремщика, старик медленно, неуклюже повернулся к нему, как бы представляя своего спутника. Тюремщик кивнул, и спутник прошел за стариком беспрепятственно.

Ночь была темная, лампы на дворе и свечи, мелькавшие в окнах за старыми занавесками, не делали ее светлее. Большая часть арестантов были внутри, лишь немногие оставались на дворе. Старик свернул направо и, войдя в третью или четвертую дверь, стал подниматься по лестнице.

— Здесь темновато, сэр, — сказал он, — но идите смело, вы ни на что не наткнетесь.

Он на минуту остановился перед дверью на втором этаже. Как только он отворил ее, посетитель увидел Крошку Доррит, и для него сразу стало ясно, почему она всегда старалась обедать в одиночестве.

Она принесла свой обед домой и разогревала его в камине для отца, который в поношенном сером халате и черной шапочке сидел за столом в ожидании ужина. Перед ним на чистой скатерти лежали ножик, вилка и ложка, стояли солонка,

перечница, стакан и оловянная кружка с пивом. Была тут и скляночка с кайенским перцем и немного пикулей на блюдечке.

Она вздрогнула, густо покраснела, потом побледнела. Посетитель скорее взглядом, чем легким движением руки, старался дать ей понять, что она может успокоиться и положиться на него.

— Этот господин, — сказал дядя, — мистер Кленнэм, сын друга Эми, встретился со мной на улице. Ему хотелось засвидетельствовать тебе свое почтение, но он не решался войти. Это мой брат Уильям, сэр.

— Надеюсь, — сказал Артур, не зная, с чего начать, — что мое уважение к вашей дочери может объяснить и оправдать мое желание познакомиться с вами, сэр.

— Мистер Кленнэм, — сказал старик, вставая и приподымая шапочку над головой, — вы оказываете мне честь. Милости просим, сэр. — Он низко поклонился. — Фредерик, дай стул. Прошу садиться, мистер Кленнэм.

Он снова надел шапочку и сел. Оттенок благосклонности и покровительства сквозил в его манерах. С такими же церемониями принимал он своих товарищей по заключению.

— Добро пожаловать в Маршалси, сэр. Я приветствовал многих джентльменов в этих стенах. Быть может, вам известно (моя дочь Эми могла случайно упомянуть об этом), что я Отец Маршалси.

— Я… да, я слыхал, — ответил Артур, пораженный этим заявлением.

— Вы знаете, конечно, что моя дочь Эми родилась здесь. Добрая девочка, сэр, милая девочка, мое утешение и опора. Эми, милочка, подай тарелку; мистер Артур извинит простоту наших нравов, вынужденную стесненными обстоятельствами. Быть может, сэр, вы сделаете мне честь…

— Благодарю вас, — произнес Артур, — я совершенно сыт.

Он был поражен манерами старика и его уверенностью, что дочь не скрывала их семейной истории.

Она налила ему стакан, пододвинула ближе к отцу предметы, стоявшие на столе, и села рядом с ним. Очевидно, по установившемуся у них обычаю, она отрезала кусок хлеба для себя и иногда прикасалась губами к стакану, но Артур заметил, что она расстроена и ничего не ела. Ее взгляд, остановившийся на отце с выражением удивления и гордости и в то же время стыда за него,

глубоко проник ему в сердце.

Отец Маршалси относился к своему брату с благодушием снисходительного человека: простоватый малый, пороха не выдумает.

— Фредерик, — сказал он, — ты сегодня ужинаешь у себя с Фанни, я знаю. Куда же девалась Фанни, Фредерик?

— Она гуляет с Типом.

— Тип, как вам, может быть, известно, мой сын, мистер Кленнэм. Он порядочный дикарь, и пристроить его было трудновато, но и знакомство его с миром, — он слегка вздохнул, пожал плечами и обвел глазами комнату, — совершилось при условиях довольно плачевных. Вы в первый раз здесь, сэр?

— В первый раз.

— Да, я, по всей вероятности, знал бы о вашем поступлении. Весьма редко случается, чтобы поступающий сюда мало-мальски порядочный человек не был мне представлен.

— Случалось, что моему брату представлялось до сорока-пятидесяти человек в день, — сказал Фредерик, и слабый луч гордости осветил его лицо.

— Да, — подтвердил Отец Маршалси, — случалось и больше. По воскресеньям в конце судебной

сессии бывает настоящее levee [13], настоящее levee. Эми, милочка, сегодня я целый день старался припомнить фамилию джентльмена из Кэмбервеля, которого познакомил со мной на Рождестве тот любезный торговец углем, что провел здесь шесть месяцев, помнишь?

— Я не помню его фамилии, батюшка.

— Фредерик, может быть, ты помнишь?

Фредерик вряд ли даже слышал фамилию. Без всякого сомнения, Фредерику менее, чем кому-либо на свете, можно было предлагать подобный вопрос с надеждой получить ответ.

— Я говорю о том джентльмене, — продолжил его брат, — который так деликатно совершил прекрасный поступок. Ха… кхе… Решительно не могу припомнить фамилию. Мистер Кленнэм, так как я случайно упомянул о прекрасном и деликатном поступке, то, может, вам интересно будет узнать, в чем он состоял.

— Очень интересно, — сказал Артур, отводя взгляд от бледного личика, на котором снова мелькнуло тревожное выражение.

— Этот поступок настолько великодушен и свидетельствует о таких прекрасных чувствах, что

---

[13] Сноски: 13

Утренний прием в спальне французских королей *(фр.)*.

я считаю долгом упоминать о нем при каждом удобном случае, не обращая внимания на личные чувства. Э… да… э… к чему скрывать этот факт… надо вам сказать, мистер Кленнэм, что здешние посетители считают иногда своим долгом предложить мне небольшое приношение… как Отцу этого места.

Видеть, как она дотронулась до его руки, точно желая остановить, как отвернула свое боязливое робкое личико, было грустное зрелище.

— Это делается, — продолжил он тихим ласковым тоном, волнуясь и по временам откашливаясь, — это делается… э… хм… в различной форме; обыкновенно… ха… в форме денег, и я должен сознаться, приношение… хм… почти всегда принимается. Джентльмен, о котором я говорю, был представлен мне, мистер Кленнэм, в выражениях, самых лестных для моих чувств, и держал себя не только весьма учтиво, но и… э… хм… с большим тактом.

Все это время он беспокойно скреб тарелку вилкой и ножом, хотя на ней уже ничего не оставалось.

— Из его слов можно заключить, что у него был сад, хотя он очень осторожно говорил об этом, зная, что сады… хм… недоступны для меня. Но

это выяснилось, когда я любовался прекрасным кустом герани, который он принес с собой из своей теплицы. Когда я восхищался роскошными красками цветка, он указал мне приклеенный к горшку билетик с надписью: «Для Отца Маршалси» — и предложил мне растение в подарок. Но это было… хм… не все. Прощаясь, он попросил меня снять с горшка билетик через полчаса. Я… кха… так и сделал и нашел под ним… э… хм… две гинеи. Уверяю вас, мистер Кленнэм, я получал… хм… приношения различного достоинства и в различной форме, и они всегда… кха… принимались, но ни одно из них не доставило мне такого удовольствия, как это… э… хм… это приношение.

Артур собирался ответить на эти слова, когда зазвенел звонок и чьи-то шаги послышались за дверью. Хорошенькая девушка, гораздо красивее и пышнее Крошки Доррит, хотя моложе с виду, остановилась в дверях, увидев незнакомца. Остановился и молодой человек, следовавший за ней.

— Мистер Кленнэм, Фанни. Моя старшая дочь и сын, мистер Кленнэм. Звонок извещает посетителей, что пора уходить, вот они и пришли проститься, но времени еще довольно, времени еще довольно. Девочки, мистер Кленнэм изви-

нит, если вы займетесь домашними делами. Он знает, конечно, что у меня только одна комната.

— Я только хотела взять от Эми мое чистое платье, папа, — ответила Фанни.

— А я — свой костюм, — сказал Тип.

Эми достала из комода два узелка и передала их брату и сестре. Кленнэм слышал, как Фанни спросила шепотом: «Ты починила и вычистила?» на что Эми ответила: «Да».

Он встал и окинул взглядом комнату. Голые стены были выкрашены в зеленый цвет — очевидно, неискусной рукой — и скудно украшены плохими картинками. На окне была занавеска, на полу — ковер; были тут и полки, вешалки и тому подобные предметы, собиравшиеся в течение многих лет. Комната была тесная, маленькая, скудно меблированная, камин дымил, но постоянные заботы и труды сделали ее чистой и даже в своем роде уютной.

Между тем звонок звонил не переставая, и дядя торопился уходить.

— Идем, идем, Фанни, — сказал он, забрав под мышку свой потертый футляр с кларнетом, — запирают, дитя, запирают!

Фанни простилась с отцом и выпорхнула из комнаты. Тип уже спускался с лестницы.

— Ну, мистер Кленнэм, — сказал дядя, оглянувшись на ходу, — запирают, сэр, запирают.

Мистеру Кленнэму надо было еще сделать два дела: во-первых, вручить свое приношение Отцу Маршалси, не оскорбив его дочери, во-вторых, объяснить ей хотя бы в двух словах, как он попал сюда.

— Позвольте мне, — сказал отец, — проводить вас по лестнице.

Крошка Доррит вышла из комнаты вслед за остальными, так что они оставались одни.

— Ни в коем случае, — ответил посетитель торопливо. — Позвольте мне…

«Клинк-клинк-клинк…»

— Мистер Кленнэм, — сказал отец, — я глубоко, глубоко…

Но посетитель стиснул его руку, чтобы заглушить звон монет, и поспешил на лестницу.

Он не заметил Крошки Доррит ни на лестнице, ни на дворе. Двое-трое запоздалых посетителей спешили к воротам. Следуя за ними, в дверях первого от ворот дома он увидел ее и поспешил к ней.

— Простите, — сказал он, — что я обращаюсь к вам здесь, простите, что я пришел сюда! Я следил за вами сегодня вечером. Я делал это,

желая оказать какую-нибудь услугу вам и вашему семейству. Вы знаете, какие отношения существуют между мной и моей матерью, и легко поймете, почему я не старался познакомиться с вами поближе в ее доме: боялся возбудить ее подозрительность или раздражение и повредить вам в ее мнении. Все, что я видел здесь, в этот короткий промежуток времени, усилило мое сердечное желание стать вашим другом. Я был бы вознагражден за многие разочарования, если бы мог рассчитывать на ваше доверие.

В первую минуту она была испугана, но, по-видимому, ободрилась, по мере того как он говорил.

— Вы очень добры, сэр. Вы очень внимательны ко мне. Но… но лучше бы вы не следили за мной.

Он понял ее волнение, вызванное воспоминанием об отце, оценил его и ничего не сказал.

— Миссис Кленнэм оказала мне большую услугу; я не знаю, что бы мы стали делать, если б не работа, которую она дает мне; с моей стороны было бы неблагодарностью таиться от нее. Я не могу сказать ничего больше, сэр. Я уверена, что вы хотите нам добра. Благодарю, благодарю вас!

— Позвольте мне предложить вам еще один вопрос. Давно ли вы знакомы с моей матерью?

— Два года, сэр.

Звонок перестал звонить.

— Каким образом вы познакомились с ней? Она прислала за вами сюда?

— Нет. Она даже не знает, что я живу здесь! У нас есть друг, у папы и у меня, бедный человек, рабочий, но лучший из друзей; я написала объявление, что ищу работы, шитья, и указала его адрес. А он распространял это объявление, где только мог, и таким образом миссис Кленнэм узнала обо мне и послала за мной. Сейчас запрут ворота, сэр!

Он был так тронут и взволнован состраданием к ней и глубоким интересом к ее рассказу, что не мог решиться уйти, но тишина, наступившая в тюрьме, показывала, что пора уходить. Сказав несколько ласковых слов на прощание, он пошел к воротам, меж тем как она поспешила назад, к отцу.

Но он задержался слишком долго. Ворота были уже заперты, привратницкая тоже. Он попробовал стучать, но тщетно, и пришел уже к неприятному убеждению, что ему придется провести здесь всю ночь, когда кто-то окликнул его.

— Попались, а? — сказал чей-то голос. — Теперь не попадете домой до утра. О! Это вы, мистер

Кленнэм?

Это был Тип. Они остановились и взглянули друг на друга под дождем, который начинал накрапывать.

— Да и вы тоже заперты, — сказал Артур.

— Я это знаю, — саркастически ответил Тип. — Верно. Только я заперт не так, как вы. Я тут оседлый житель, но моя сестра решила, что командир не должен знать об этом. Почему — не понимаю.

— Можно тут где-нибудь приютиться? — спросил Артур. — Что бы мне предпринять?

— Ступайте к Эми, она вас устроит, — сказал Тип, по обыкновению сваливая заботу на нее.

— Я скорей буду бродить здесь всю ночь, чем доставлять ей такое беспокойство.

— Вам незачем ходить здесь, если вы согласны заплатить за ночлег. Если согласны заплатить, вы можете устроиться в зале. Пойдемте, я вас проведу.

Когда они проходили по двору, Артур взглянул на окно комнаты, которую недавно оставил. В ней еще светился огонь.

— Да, сэр, — сказал Тип, заметив его взгляд. — Это комната командира. Она просидит с ним еще час, читая ему вчерашнюю газету или что-нибудь

в этом роде, а потом исчезнет неслышно, как маленький дух.

— Я вас не понимаю.

— Командир спит в своей комнате, а она нанимает комнату у тюремщика. Первый дом от ворот. В городе она бы нашла комнату вдвое лучше за вдвое меньшую плату, но она, бедняжка, ухаживает за командиром и днем и ночью.

Они вошли в таверну в конце тюрьмы, откуда только что разошлись посетители. Комната на нижнем этаже, где происходили эти собрания, была тем самым залом, о котором упоминал Тип. Трибуна председателя, оловянные кружки, стаканы, трубки, табачный пепел и дым еще напоминали о собрании.

Неопытный посетитель мог бы подумать, что все здесь принадлежат к числу заключенных: хозяин, половой, конторщица, мальчик, подававший пиво. Точно ли они принадлежали к числу заключенных — нельзя было решить, но у всех у них был какой-то похоронный вид. Находившийся тут же хозяин мелочной лавочки принимал к себе джентльменов на хлеба и сам помог сделать постель для Кленнэма. Он был когда-то портным и имел собственный фаэтон, о чем и сообщил посетителю. Он хвастался, будто горой стоит

за интересы членов общежития, и высказывал довольно смутные мысли насчет того, будто начальство прикарманивает «фонд», назначенный для заключенных. Он твердо верил в это и всегда обращался со своими туманными жалобами к новичкам, хотя решительно не мог объяснить, что это за «фонд» и каким образом мысль о нем попала ему в голову. Тем не менее он был совершенно убежден, что на его долю приходится из «фонда» три шиллинга девять пенсов в неделю и что начальство регулярно каждый понедельник похищает у него эту сумму. По-видимому, он для того и явился делать постель, чтобы не упустить случая сообщить об этом обстоятельстве. Облегчив свою душу и пригрозив (кажется, он всегда это делал, но никогда не приводил своей угрозы в исполнение) напечатать об этом в газетах и вывести начальство на чистую воду, он стал разговаривать о разных предметах со своими коллегами. По общему тону их разговора видно было, что они считают неплатеж долгов нормальным состоянием человечества, а уплату — случайным недугом.

Среди этой странной сцены, среди этих странных призраков, скользивших вокруг него, Артур Кленнэм точно грезил наяву. Тем временем Тип,

питавший самое почтительное удивление к залу и его прелестям, показывал ему кухню, где огонь разводился на средства членов общежития, котел для горячей воды, тоже заведенный на общие средства, и другие приспособления, приводившие к убеждению, что тот, кому хочется быть богатым, счастливым и мудрым, должен жить в Маршалси.

Наконец устроили постель из двух сдвинутых столов, и посетитель был предоставлен виндзорским стульям, председательской трибуне, пивной атмосфере, опилкам, окуркам, плевательницам и сну. Но этот последний долго-долго не являлся. Новизна обстановки, неожиданность положения, сознание, что он находится под замком, воспоминание о комнатке наверху, о двух братьях, а главное — о робком детском личике, в чертах которого он видел годы недоедания, быть может — голода, гнали сон от его глаз и делали его несчастным.

Странные, дикие мысли, неизменно связанные с тюрьмой, осаждали его подобно кошмару. Готовы ли гробы для тех заключенных, которым суждено умереть в тюрьме, где они делаются и как, где погребают должников, умирающих в тюрьме, как их выносят, какие церемонии

при этом соблюдаются; может ли неумолимый кредитор арестовать мертвое тело; есть ли возможность бежать из тюрьмы; может ли арестант взобраться на стену с помощью крюка и веревки и как ему спуститься на противоположную сторону; может ли он прокрасться по лестнице, проскользнуть в ворота и смешаться с толпой; что, если в тюрьме случится пожар, и что, если именно в эту ночь?

Эти непроизвольные порывы воображения были только рамкой для трех фигур, неотступно преследовавших его. То были: его отец с застывшим взглядом умирающего, пророчески схваченным на портрете; мать, поднимающая руку, чтобы отстранить его подозрения; Крошка Доррит, ухватившаяся за руку падшего отца, отвернув голову.

Что, если его мать имела основание, давно и хорошо известное ей, покровительствовать этой бедной девушке? Что, если узник, который теперь забылся сном, — да сохранит его Небо! — в великий судный день потребует у нее отчета в своем падении? Что, если действия ее и его отца послужили хотя бы отдаленной причиной, по милости которой седые головы этих двух братьев поникли так низко?

Странная мысль мелькнула в его мозгу. Не считала ли его мать свое продолжительное затворничество в тесной комнате возмездием за долгое заключение этого человека? «Да, я причастна к его бедствию. Но и я страдаю за него. Он погибает в своей тюрьме, я — в своей. Я расплатилась за свой грех».

Когда все другие мысли исчезли, эта одна овладела его душой. Когда он заснул, его мать явилась перед ним в своем кресле на колесиках, отражая его упреки этим оправданием. Когда он проснулся и вскочил в безотчетном ужасе, в ушах его еще звучали слова: «Он чахнет в своей тюрьме, я чахну в своей; неумолимое правосудие свершилось; кто может требовать от меня большего?»

Глава IX. Маленькая мама

Утренний свет не особенно торопился проникнуть в тюрьму и заглянуть в окна зала, а когда наконец явился, то не один, а с потоками дождя, за которые никто не был ему благодарен. Но беспристрастный юго-западный ветер не забывал на своем пути заглянуть даже в Маршалси. Он прогудел в колокольне Святого Георгия, опрокинул все ведра по соседству, пахнул в тюрьму саутворкским дымом и, ворвавшись в печные трубы, чуть не задушил тех членов общежития, которые успели уже развести огонь.

Артур Кленнэм вовсе не был расположен нежиться в постели, хотя его кровать представляла частное помещение, которого не касалась возня, начавшаяся в зале: выгребание золы, разведение огня под общественным котлом, наполнение этого спартанского сосуда под краном, подметание и посыпание опилками общей комнаты и другие приготовления. Обрадованный наступлением утра, хотя и не успев выспаться как следует, он встал, как только явилась возможность различать предметы, и два скучных часа бродил по двору в ожидании, пока отопрут

ворота.

Двор был так узок, и мрачные тучи неслись над ним так быстро, что, глядя на них, Кленнэм начинал чувствовать приступ морской болезни. Сеть косых полос дождя заслоняла от него центральную постройку, которую он посетил вчера, но оставляла сухое пространство под стеной, где он расхаживал взад и вперед среди хлопьев соломы, клочьев бумаги, остатков зелени и прочего мусора. Все кругом говорило о жалкой, нищенской жизни.

Ему не удалось даже забыть это тяжелое впечатление, взглянув на девушку, ради которой он пришел сюда. Быть может, она проскользнула к отцу, когда он случайно отвернулся, только ему не удалось ее видеть.

Ее брат, наверно, еще не вставал: по первому взгляду на него видно было, что он не скоро расстанется с постелью, хотя бы самой жесткой. Итак, Артур расхаживал взад и вперед, ожидая открытия ворот и раздумывая не столько о настоящем, сколько о возможности продолжать свои розыски в будущем.

Наконец отворилась привратницкая, и тюремщик появился на пороге, причесывая гребенкой волосы. С радостным чувством облегчения Клен-

нэм вышел через привратницкую на передний дворик, где встретился вчера с братом должника.

Тут уже толпился народ: неописуемого вида комиссионеры, посредники, посыльные Маршалси. Некоторые из них давно уже мокли под дождем в ожидании, пока отворятся ворота, другие, более аккуратные, являлись один за другим с пакетиками из серой бумаги, с ломтями хлеба, маслом, яйцами, молоком и тому подобными продуктами. Нищенский вид этих помощников нищеты представлял в своем роде редкое зрелище. Таких дырявых курток и брюк, таких заношенных пальто и шалей, таких искалеченных шапок и шляп, таких сапог и башмаков, зонтиков и тросточек не увидишь и в лавке старьевщика. Все они носили лохмотья с чужого плеча и, казалось, не имели даже собственной личности, а состояли из обрывков и лохмотьев чужой. Походка их отличалась своеобразным характером: они как-то крались у стен, точно постоянно направлялись к ростовщику. Откашливались они как люди, привыкшие дожидаться в передней или где-нибудь на лестнице ответа на письма, написанные разведенными чернилами и возбуждающие в получателях большое недоумение, не принося никакого удовольствия. Оглядываясь на незнакомца, они

встречали его голодными, пронзительными, пытливыми взглядами, точно стараясь решить вопрос, можно ли рассчитывать на его доброту и выжать из него что-нибудь. Застарелая нищета горбилась в их сутулых спинах, прихрамывала их нетвердыми ногами, застегивала, закалывала, заштопывала их платья, перетирала петлицы для пуговиц, выползала из их фигур обрывками грязных тесемок, изливалась в их отравленном спиртом дыхании.

Когда эти люди вошли в ворота и один из них обратился к Кленнэму с предложением своих услуг, последнему пришло в голову поговорить еще раз с Крошкой Доррит: она, наверно, успела оправиться от своего первого изумления и будет говорить свободнее. Он спросил у этого члена братства (который нес в руке две копченые селедки, а под мышкой — булку и сапожную щетку), нет ли где-нибудь поблизости кофейни. Субъект ответил утвердительно и провел его в кофейню, находившуюся не далее полета брошенного камня.

— Вы знаете мисс Доррит? — спросил Артур субъекта.

Субъект знал двух мисс Доррит: одна родилась в тюрьме… вот о ней-то и речь, о ней-то и речь.

Субъект давно знает ее, много лет. Другая мисс Доррит квартирует с дядей в том самом доме, где живет субъект.

Услыхав это, клиент решил отказаться от своего первоначального намерения дождаться в кофейне, пока Крошка Доррит выйдет из дому. Он поручил субъекту передать ей, что вчерашний посетитель ее отца просит позволить ему переговорить с ней в квартире дяди. Затем субъект подробнейшим образом растолковал ему, как добраться до дома, который был очень близко, и ушел, награжденный полкроной, а Кленнэм, поспешно допив кофе, побежал в жилище кларнетиста.

В этом доме была такая масса жильцов, что у дверного косяка торчал целый лес ручек от колокольчиков, как клавишей у органа. Не зная, которая из них принадлежит кларнетисту, он стоял в нерешительности, как вдруг из ближайшего окошка вылетел мячик от волана [14] и угодил ему прямехонько в шляпу. Тут он заметил на окне надпись: «Академия м-ра Криппльса» — и пониже: «Вечерние занятия»; из-за надписи выглядывал маленький бледнолицый мальчуган,

[14] Сноски: 14

Старинная игра, суть которой в перебрасывании деревянного или пробкового мяча через сетку.

державший в руке кусок хлеба с маслом и лопаточку от волана. Кленнэм бросил мячик обратно и спросил о Доррите.

— Доррит? — повторил бледнолицый мальчуган (это был сын мистера Криппльса). — Мистер Доррит? Третий колокольчик, дернуть раз.

По-видимому, ученики мистера Криппльса пользовались дверью вместо тетради, так как вся она была исчеркана карандашом. Многочисленные надписи: «Старый Доррит» и «Грязный Дик» свидетельствовали о склонности учеников мистера Криппльса к выпадам личного характера. Кленнэм имел время сделать все эти наблюдения, пока ему не отворил наконец сам старик.

— А, — сказал он, с трудом припоминая Артура, — вас заперли на ночь!

— Да, мистер Доррит! Я рассчитываю повидаться у вас с вашей племянницей.

— О! — сказал тот задумчиво. — Поговорить с ней не при отце. Правильно. Угодно подняться наверх и подождать ее?

— Благодарю вас.

Повернувшись так же медленно, как медленно обдумывал все виденное и слышанное, старик поплелся по узкой лестнице. Дом был очень тесен, с затхлой, тяжелой атмосферой. Маленькие

окна на лестнице выходили на задний двор, где виднелись веревки и шесты с развешанным бельем крайне невзрачного вида, как будто обитатели вздумали удить белье и выудили только никуда не годные лохмотья. В жалкой каморке на чердаке находился на колченогом столе неоконченный завтрак на двоих, состоявший из кофе и поджаренного хлеба.

В комнате никого не оказалось. Старик после некоторого размышления проворчал, что Фанни удрала, и отправился за ней в соседнюю комнату. Посетитель заметил, что она придерживала дверь изнутри. Когда дядя попытался отворить ее, она крикнула: «Нельзя, глупый», причем мелькнули чулки и фланель, и Кленнэм сообразил, что молодая леди еще не одета. Дядя, по-видимому, ничего не сообразивший, поплелся обратно, уселся и стал греть руки перед огнем — не потому, впрочем, что на самом деле было холодно, а просто так, без какой-нибудь определенной цели.

— Что вы думаете о моем брате, сэр? — спросил он, сообразив в конце концов, что делает, оставил печку в покое и достал с полки футляр с кларнетом.

— Мне было очень приятно, — сказал Артур, застигнутый врасплох, так как он думал о том

брате, который находился перед ним, — мне было очень приятно найти его здоровым и бодрым.

— А! — пробормотал старик — Да, да, да, да, да.

Артур недоумевал, зачем ему понадобился футляр с кларнетом. Но ему понадобился вовсе не футляр.

В конце концов он заметил, что это футляр, а не пакетик с нюхательным табаком (тоже лежавший на полке), положил его обратно, достал пакетик и угостился понюшкой. И в этом он был так же медлителен, неповоротлив и вял, как во всех своих действиях, хотя легкая дрожь удовольствия тронула его старческие дряхлые мускулы в уголках рта и глаз.

— Эми, мистер Кленнэм. Что вы о ней думаете?

— Она произвела на меня глубокое впечатление, мистер Доррит, и я много думал о ней.

— Мой брат совсем бы пропал без Эми, — сказал старик. — Мы все пропали бы без Эми. Она очень хорошая девушка. Она исполняет свой долг.

Артуру послышался в этих похвалах, как вчера в похвалах другого брата, равнодушный тон привычки, возбуждавший в нем глухое чувство протеста и негодования. Не то чтобы они скупились на похвалы или не чувствовали того, что она делала для них, но они так же легко привыкли к

этому, как и к остальным условиям своего существования. Хотя им каждый день представлялась возможность сравнивать ее с любым из них самих, тем не менее они, как ему казалось, считали ее положение совершенно нормальным и воображали, что ее роль в семье так же естественно принадлежит ей, как имя или возраст. Ему казалось, что в их глазах она вовсе не представляла чего-то необычайного для тюремной атмосферы, напротив — была ее принадлежностью, на которую они имели право рассчитывать.

Дядя снова принялся за свой завтрак — жевал хлеб, обмакивая его в кофе, забыв о своем госте, когда колокольчик позвонил в третий раз. Это, по его словам, была Эми, и он отправился впустить ее, что, впрочем, не помешало посетителю так ясно видеть перед собой его испачканные руки, грязное изможденное лицо и дряхлую фигуру, словно он все еще сидел на стуле.

Она явилась вслед за ним в своем всегдашнем скромном платье и со своей всегдашней боязливой манерой. Ее рот был чуть-чуть открыт, как будто сердце билось сильнее обыкновенного.

— Мистер Кленнэм, Эми, — сказал дядя, — дожидается тебя уже несколько времени.

— Я взял на себя смелость послать вам запис-

ку.

— Я получила ее, сэр.

— Вы не пойдете сегодня к моей матери? Кажется, нет, потому что назначенный час уже прошел.

— Сегодня не пойду, сэр. Сегодня меня не ждут там.

— Могу я пройтись с вами? Я мог бы поговорить с вами на ходу, не задерживая вас здесь и не стесняя вашего дяди.

Она выглядела смущенной, но все же согласилась. Он сделал вид, что отыскивает палку, чтобы дать ей время поправить растрепанную постель, ответить на нетерпеливый стук сестры в стенку и сказать несколько ласковых слов дяде. Затем он нашел палку, и они спустились с лестницы: она впереди, он за нею; дядя же стоял на пороге и, по всей вероятности, забыл о них раньше, чем они сошли вниз.

Ученики мистера Криппльса, собравшиеся тем временем в школу, бросили тузить друг друга книгами и сумками (их обычное утреннее развлечение) и уставились на незнакомца, который был в гостях у Грязного Дика. Они молча созерцали это зрелище, пока таинственный посетитель не отошел на значительное расстояние, а затем

разом подняли визг, сопровождавшийся градом камней и самыми выразительными танцами, словом, зарыли трубку мира с такими дикими церемониями, что если бы мистер Криппльс был начальником племени крипльуэев в полной военной татуировке, они не могли бы лучше поддержать честь своего наставника.

Под звуки этих приветствий мистер Артур Кленнэм предложил Крошке Доррит руку, и Крошка Доррит приняла ее.

— Не пройти ли нам по Железному мосту, — сказал он, — там не так шумно.

Крошка Доррит сказала «как хотите» и выразила надежду, что он «не обижается» на мальчиков мистера Криппльса, прибавив, что сама она училась в вечерней школе этого педагога. Он возразил совершенно искренно, что прощает мальчиков мистера Криппльса от всей души. Таким образом мистер Криппльс, сам того не зная, разбил лед между ними и послужил причиной их сближения.

Погода оставалась пасмурной, и на улицах стояла страшная грязь, хотя дождь закончился, когда они шли к Железному мосту. Его миниатюрная спутница казалась ему такой юной, что по временам он готов был обратиться к ней — не

только в мыслях, но и на словах — как к ребенку. Быть может, он казался ей настолько же старым, насколько она ему молодой.

— Мне было очень прискорбно слышать, сэр, что вас заперли в тюрьме на ночь. Это так неприятно.

— Это пустяки, — возразил он. — Мне устроили отличную постель.

— О да! — живо подхватила она. — Там, в буфете, отличные постели.

Он заметил, что этот буфет был в ее глазах великолепным рестораном.

— Я думаю, что там все очень дорого, — продолжила Крошка Доррит, — но отец говорил мне, что там можно получить прекрасный обед. И вино, — прибавила она робко.

— Вы там бывали?

— О нет, я заходила только в кухню за кипятком.

Нашлось же существо, отзывавшееся с благоговением о великолепии этого роскошного учреждения, отеля Маршалси!

— Я спрашивал вас вчера вечером, — сказал Кленнэм, — каким образом вы познакомились с моей матерью. Слыхали вы ее фамилию раньше, чем она обратилась к вам?

— Нет, сэр.

— Вы не думаете, что отец ваш слыхал о ней раньше?

— Нет, сэр.

Он заметил в ее глазах такое удивление (она, впрочем, тотчас опустила их, когда они встретились взглядами), что счел необходимым прибавить:

— У меня есть причина расспрашивать вас, хотя в настоящую минуту я не могу объяснить ее вам. Во всяком случае вы не должны думать, что она поведет к какому-либо беспокойству или неприятности для вас. Напротив. Итак, вы думаете, что фамилия Кленнэм всегда оставалась неизвестной вашему отцу?

— Да, сэр.

Он чувствовал по тону ее голоса, что ее робкий взгляд снова устремлен на него, и смотрел вперед, так как не хотел заставить ее сердце биться сильнее.

Так прошли они на Железный мост, казавшийся совершенной пустыней после шумных улиц. Ветер дул свирепо, буйными порывами, скользя по лужам и сдувая их мелким дождем в реку. Облака бешено неслись по свинцовому небу, дым и туман мчались за ними, темные воды реки стре-

мились по тому же направлению. Крошка Доррит казалась самым маленьким, самым спокойным и самым слабым созданием под небесами.

— Позвольте, я возьму извозчика, — сказал Артур Кленнэм, чуть не прибавив: «Бедное дитя».

Она поспешно отказалась, сказав, что для нее все равно — сыро или сухо: она привыкла выходить во всякую погоду. Он и сам это знал и еще больше жалел ее, представляя себе, как эта хрупкая фигурка пробирается ночью по мокрым темным шумным улицам.

— Вы так ласково говорили со мной вчера вечером, сэр, и так великодушно отнеслись к моему отцу, что я не могла не исполнить вашей просьбы, хотя бы для того, чтобы поблагодарить вас. Мне в особенности хотелось сказать вам… — Она остановилась в нерешимости, и слезы показались у нее на глазах.

— Сказать мне?..

— Что, я надеюсь, вы не будете осуждать моего отца. Не судите его, сэр, как вы судили бы тех, кто живет на воле. Он так долго жил в тюрьме. Я никогда не видала его на воле, но думаю, что с тех пор он сильно изменился.

— Поверьте мне, я и в мыслях не имел относиться к нему жестоко или несправедливо.

— Я не хочу сказать, — продолжила она с некоторой гордостью, как будто опасаясь, что ее могут заподозрить в желании осудить его, — что он должен стыдиться своих поступков или что я нахожу в них что-либо постыдное. Нужно только понять его. Я прошу вас не забывать, как сложилась его жизнь. Все, что он говорил, истинная правда. Все так и есть, как он рассказывал. Он пользуется большим уважением. Каждый, кто поступает к нам, рад его видеть. За ним ухаживают больше, чем за кем-либо другим. Сам директор не пользуется таким почетом.

Если существовала когда-нибудь невинная гордость, так это была гордость Крошки Доррит, когда она хвалила своего отца.

— Все говорят, что у него манеры истинного джентльмена. У нас никто не сравнится с ним, и все согласны, что он выше остальных. Ему делают подарки, так как знают, что он нуждается. Но никто не порицает его за то, что он, бедный, живет в такой нужде. Кто же, проведя четверть века в тюрьме, мог бы быть богатым?

Сколько любви в ее словах, сколько сострадания в сдерживаемых слезах, какая великая душа в ее хрупком теле!

— Если я скрываю, где живет мой отец, то во-

все не потому, что стыжусь его. Сохрани бог! Я не стыжусь и тюрьмы. Туда попадают вовсе не дурные люди. Я знала много добрых, честных, трудолюбивых людей, попавших туда только вследствие несчастья. Почти все они относятся друг к другу с большим участием. И с моей стороны было бы просто неблагодарностью забыть, что я провела там много спокойных приятных минут, что еще ребенком я нашла там верного любящего друга, что там я училась, работала и засыпала спокойным сном. Я думаю, что с моей стороны было бы малодушием и жестокостью, если бы после всего этого я не чувствовала бы хоть немного привязанности к этому месту.

Высказавшись от полноты своего великодушного сердца, она робко взглянула на своего нового друга и застенчиво прибавила:

— Я не рассчитывала говорить так много и никогда не говорила об этом раньше. Но, кажется, это лучше объяснит вам наше положение. Я сказала: напрасно вы следовали за мной, сэр. Я бы не сказала этого теперь, хотя вы можете подумать… Нет, я не скажу этого теперь… но я говорю так бестолково, что, боюсь, вы не поймете меня.

Он отвечал совершенно искренно, что вполне понимает ее, и старался, как мог, заслонить ее от

дождя и резкого ветра.

— Я надеюсь, вы позволите мне, — сказал он, — расспросить подробнее о вашем отце. У него много кредиторов?

— О, очень много.

— Я подразумеваю тех кредиторов, которые держат его в тюрьме.

— О да, очень много!

— Вы можете сказать мне — если не знаете, то я, конечно, могу навести справки в другом месте, — кто из них самый влиятельный?

Подумав немного, она отвечала, что часто слышала о мистере Тите Полипе как об очень влиятельном лице. Он комиссионер, или член совета, или поверенный, или что-то в этом роде. Он живет, кажется, на Гросвенор-стрит, или где-то там поблизости. Он очень важное лицо в министерстве околичностей. По-видимому, она с детства была подавлена величием этого могущественного мистера Тита Полипа на Гросвенор-стрит, или где-то там поблизости, и министерства околичностей.

«Не мешает повидать этого мистера Тита Полипа», — подумал Артур.

Его тайные намерения не укрылись от ее проницательности.

— Ах, — сказала Крошка Доррит, качая головой с выражением покорного отчаяния, — многие пытались освободить моего бедного отца, но совершенно безуспешно. Бесполезно и пробовать.

Она даже забыла о своей робости, предостерегая его от попытки спасти утонувший корабль, и смотрела прямо ему в глаза — обстоятельство, которое, в соединении с ее терпеливым личиком, хрупкой фигуркой, бедной одеждой, ветром и ливнем, ничуть не поколебало его намерения помочь ей.

— Если бы даже можно было сделать это, — продолжила она, — а этого невозможно сделать, то где будет жить отец и чем? Я часто думала, что такая перемена в его жизни была бы плохой услугой для него. Может, на воле он не будет пользоваться таким почетом, как в тюрьме; может, к нему станут относиться не так внимательно, может, он больше подходит для тюремной жизни.

Здесь в первый раз она не могла удержать слез, и ее маленькие худенькие ручки, которые он так часто видел за работой, задрожали.

— Он только огорчится, когда узнает, что я зарабатываю деньги и Фанни зарабатывает. Он так беспокоится о нас, хотя и беспомощен, сидя взаперти. Он такой добрый, добрый отец!

Артур дал ей успокоиться, прежде чем ответил. Впрочем, ему не пришлось долго ждать. Крошка Доррит не привыкла думать о себе или беспокоить своими огорчениями других. Он окинул взглядом лес городских кровель и труб, среди которых дым расползался тяжелыми клубами, хаос мачт на реке, хаос колоколен и шпилей на берегу, исчезавших в волнующемся тумане, и когда он затем взглянул на Крошку Доррит, она была так же спокойна, как за иголкой в доме его матери.

— Вы бы были рады, если бы вашего брата выпустили на свободу?

— О, очень, очень рада, сэр!

— Ну, будем надеяться, что это удастся устроить. Вы говорили мне вчера, что у вас есть друг.

— Его фамилия Плорниш, — сказала Крошка Доррит.

— А где живет Плорниш?

— Плорниш живет на подворье «Разбитые сердца». Он простой штукатур, — сказала Крошка Доррит, как бы предупреждая Артура не возлагать слишком больших надежд на социальное положение Плорниша. — Он живет в крайнем доме подворья «Разбитые сердца»; его имя обозначено на воротах.

Артур записал адрес и дал ей свой. Теперь он

узнал все, что ему требовалось в настоящую минуту. Ему хотелось только убедить ее, что она может рассчитывать на него.

— У вас есть один друг! — сказал он, пряча в карман записную книжку. — Возвращаясь домой… ведь вы пойдете теперь домой?

— Да, прямо домой.

— Возвращаясь домой, — его голос дрогнул, когда он произносил эти слова, — постарайтесь убедить себя, что у вас есть еще один друг. Я не стану давать обещаний и больше ничего не скажу.

— Вы очень добры ко мне, сэр. Я уверена в вашей искренности.

Они пошли обратно по жалким грязным улицам мимо бедных мелочных лавчонок, пробираясь сквозь толпу грязных разносчиков, столь обычных для бедных кварталов. Им не встретилось на пути ничего, что могло бы порадовать хоть одно из пяти человеческих чувств, но для Кленнэма это не было обыкновенной прогулкой под дождем, по грязи, среди уличного шума, так как на его руку опиралось маленькое хрупкое заботливое создание. Он думал о том, что она родилась и выросла среди этих сцен и до сих пор оставалась среди них, привыкшая к этой обста-

новке, хотя и не подходившая к ней; он думал о ее давнишнем знакомстве с грязнейшими подонками общества, о ее невинности, о ее вечной заботливости к другим, о ее молодости и детской наружности.

Они вышли на Хай-стрит, где находилась тюрьма, когда чей-то голос крикнул:

— Маленькая мама, маленькая мама!

Доррит остановилась и оглянулась. Какая-то странная фигура бежала к ним со всех ног, продолжая кричать: «Маленькая мама!», но споткнулась, упала и опрокинула в грязь корзинку с картофелем.

— О, Мэгги, — сказала Доррит, — какая ты неловкая!

Мэгги не ушиблась и тотчас вскочила и стала подбирать картофель, в чем помогли ей Крошка Доррит и Артур Кленнэм. Мэгги подобрала очень мало картофеля, но очень много грязи, но в конце концов весь картофель был собран и уложен в корзину. Затем Мэгги отерла шалью грязь со своего лица и дала возможность Кленнэму рассмотреть ее черты.

Она была лет двадцати восьми, ширококостная, с грубыми чертами лица, большими руками и ногами и совсем без волос. Ее большие глаза,

прозрачные и почти бесцветные, казались нечувствительными к свету и точно застывшими. Ее лицо выражало напряженное внимание, характерное для слепых, но она не была слепой, так как довольно хорошо видела одним глазом. Лицо ее нельзя было назвать безобразным, хотя от этого спасала ее только улыбка, добродушная улыбка, приятная и в то же время жалкая. Большой белый чепчик со множеством складок прикрывал безволосую голову Мэгги и не давал держаться на ней старой черной шляпке, которая болталась за ее плечами, как ребенок у цыганки. Только комиссия старьевщиков могла бы решить, из чего было сделано ее остальное платье: по виду оно более всего напоминало морские водоросли, перемешанные с гигантскими чайными листьями. В особенности ее шаль походила на хорошо вываренный чайный лист.

Артур Кленнэм взглянул на Доррит, как будто хотел сказать: «Можно спросить, кто это?» Доррит, руку которой схватила и принялась гладить Мэгги, ответила (они стояли в воротах, где рассыпался картофель):

— Это Мэгги, сэр.

— Мэгги, сэр, — повторила последняя. — Маленькая мама.

— Это внучка… — продолжила Доррит.

— Внучка… — повторила Мэгги.

— …моей старой няни, которая давно умерла. Сколько тебе лет, Мэгги?

— Десять, мама, — ответила та.

— Вы не можете себе представить, какая она добрая, сэр, — сказала Доррит с выражением бесконечной нежности.

— Какая она добрая, — повторила Мэгги самым выразительным тоном, относя это местоимение к маленькой маме.

— И какая умница, — продолжила Доррит. — Она исполняет поручения не хуже всякого другого. — Мэгги засмеялась. — И на нее можно положиться, как на Английский банк. — Мэгги засмеялась. — Она зарабатывает свой хлеб исключительно своим трудом. Исключительно своим трудом, сэр, — повторила Доррит торжествующим тоном. — Уверяю вас!

— Расскажите мне ее историю, — сказал Кленнэм.

— Слышишь, Мэгги, — ответила Доррит, взяв ее большие руки и слегка похлопывая их одна о другую, — господин, приехавший из чужих краев, желает знать твою историю.

— Мою историю! — воскликнула Мэгги. — Ма-

ленькая мама!

— Это она меня так называет, — сказала Доррит довольно сконфуженным топом, — она очень привязана ко мне. Ее старая бабушка была к ней не так добра, как следовало бы ей быть. Правда, Мэгги?

Мэгги покачала головой, сложила ладонь левой руки в виде чашки, сделала вид, что пьет, и сказала:

— Джин! — Затем принялась бить воображаемого ребенка, приговаривая: — Щеткой и кочергой.

— Когда Мэгги исполнилось десять, — продолжила Доррит, не спуская глаз с ее лица, — она заболела, сэр, и с тех пор уже не сделалась старше.

— Десять лет, — подтвердила Мэгги, кивнув головой. — Но какой чудесный госпиталь! Как там спокойно! Как там чудесно! Точно в раю!

— До тех пор она не знала покоя, — сказала Доррит шепотом, обращаясь к Кленнэму, — и не может забыть о госпитале.

— Какие там кровати! — воскликнула Мэгги. — Какой лимонад! Какие апельсины! Какой чудесный бульон и вино! Какие цыплята! О, вот бы где остаться навсегда!

— Мэгги оставалась там, пока было можно, — продолжила Доррит прежним тоном, точно рассказывала детскую сказку, тоном, предназначенным для ушей Мэгги, — а когда больше нельзя было оставаться, вышла оттуда. Но так как с тех пор она всегда оставалась десятилетней девочкой, сколько ни жила…

— Сколько ни жила, — подхватила Мэгги.

— И так как она была очень слаба, до того слаба, что, начав смеяться, не могла уже остановиться, что было очень грустно… — Лицо Мэгги внезапно омрачилось. — …то ее старая бабушка не знала, что с ней делать, и в течение нескольких лет обращалась с ней очень неласково. Наконец с течением времени Мэгги стала заботиться о своем воспитании, сделалась внимательной и прилежной, ей стали разрешать выходить на улицу, когда она хотела, и мало-помалу она научилась зарабатывать свой хлеб. И вот вся история Мэгги, известная ей самой!

А! Но Артур догадался бы, о чем не было упомянуто в этой истории, если бы даже не слыхал слов «маленькая мама», не видел руки, нежно поглаживавшей худенькую ручку, не заметил слез в бесцветных глазах, не подслушал всхлипываний, заглушаемых грубым смехом. Грязные

ворота под дождем и ветром и корзина с грязным картофелем никогда не казались ему вульгарной, грубой сценой, сколько раз он ни вспоминал о них впоследствии. Никогда, никогда!

Они были уже очень близко к цели своего странствия и вышли из-под ворот, чтобы окончить его. Ничем не могли они так обрадовать Мэгги, как, остановившись у мелочной лавки, послушать ее чтение. Она умела читать на свой лад: разбирала цифры, напечатанные жирным шрифтом в надписях цен, и успешно, хотя и не без затруднений, справлялась с филантропическими приглашениями: испытать смесь, или испытать семейную ваксу, или испытать ароматический черный чай, занимающий первое место в ряду цветочных чаев, вместе с различными предостережениями публики относительно подделок и примесей, допускаемых другими фирмами. Заметив краску удовольствия на лице Доррит, Кленнэм готов был продолжать это интересное чтение в окне мелочной лавки до тех пор, пока ветер и дождь не уймутся.

Наконец они прошли за ворота тюрьмы, и тут он простился с Крошкой Доррит. Всегда она была крошкой, но теперь, когда входила в привратницкую, она казалась ему особенно крошечной, — эта

маленькая мама с большой дочкой.

Дверь отворилась, птичка, вернувшаяся в клетку, проскользнула в нее, и дверь снова захлопнулась. Тогда только ушел и он.

Глава X. О науке управлений

Министерство околичностей было (как всем известно) важнейшее из министерств. Ни одно общественное дело не могло быть приведено в исполнение без одобрения министерства околичностей. Одинаково немыслимо было осуществить очевиднейшее право и уничтожить очевиднейшую несправедливость помимо министерства околичностей. Если бы был открыт новый пороховой заговор [15] за полчаса до взрыва, никто не осмелился бы спасти парламент без разрешения министерства околичностей, для чего потребовалось бы полбушеля [16] черновых бумаг, несколько мешков официальных предписаний и целый фамильный склеп безграмотной канцелярской переписки.

Это знаменитое учреждение выступило на сцену, когда государственные мужи открыли

---

[15] Сноски: 15

Заговор английских католиков в 1605 г., целью которого было взорвать весь парламент вместе с королем Яковом I. Был раскрыт, и участники его во главе с Гаем Фоксом казнены.

[16] Сноски: 16

Бушель — мера объема жидкостей и сыпучих веществ в системе англ. мер (1 б. = 36,4 дм^3).

единственно верный принцип трудного искусства управления. Оно первое усвоило себе этот светлый принцип и провело его с блистательным успехом во всех отраслях официальной деятельности. Что бы ни требовалось сделать, министерство околичностей прежде всех других официальных учреждений находило способ, как не делать этого.

Благодаря этой тонкой проницательности и такту, проявлявшимся неизменно во всех случаях благодаря гениальности, с какой этот принцип проводился на практике, министерство околичностей стало во главе всех правительственных учреждений.

Конечно, вопрос: как не делать этого? — всегда был важнейшим из вопросов для всех государственных учреждений и профессиональных политиков. Конечно, каждый новый премьер и каждое новое правительство, получив бразды правления обещанием сделать то-то и то-то, тотчас по достижении власти начинали напрягать все свои способности, чтобы не сделать этого. Конечно, с момента окончания выборов каждый джентльмен, бесновавшийся в избирательном собрании из-за того, что это не сделано; заклинавший друзей почтенного джентльмена,

представителя противной партии, объяснить ему, почему это не сделано; утверждавший, что это должно быть сделано; доказывавший, что благодаря его избранию это будет сделано, — конечно, каждый такой джентльмен с момента окончания выборов начинал размышлять, как не сделать этого. Конечно, прения в обеих палатах парламента в течение всей сессии неизменно стремились к одной цели: уяснить, как не делать этого. Все это верно, но министерство околичностей пошло еще дальше, ибо министерство околичностей регулярно, изо дня в день, пускало в ход удивительное, могущественное колесо государственного управления: как не делать этого; ибо министерство околичностей всегда готово было обрушиться на неблагоразумного радетеля об общественной пользе, который собирался сделать это или мог бы в силу какой-нибудь удивительной случайности ухитриться сделать это; обрушивалось на него и уничтожало его отношениями, разъяснениями и предписаниями. Благодаря этой национальной эффективности министерство околичностей вмешивалось решительно во все. Механики, естествоиспытатели, солдаты, моряки, просители, авторы воспоминаний, предъявители исков, предъявители

встречных исков, предъявители отводов к искам, работодатели, работоискатели, люди, не награжденные по заслугам, и люди, не наказанные за преступления, — все без разбора увязали в бумагах министерства околичностей.

Много людей пропадало в министерстве околичностей. Несчастливцы, добивавшиеся исправления несправедливостей, составители проектов всеобщего благополучия, пробравшиеся с великим трудом и муками сквозь другие министерства и, как водится, запуганные в одних, обойденные в других, обманутые в третьих, попадали в конце концов в министерство околичностей и больше уж не показывались на свет божий. Комиссии обрушивались на них, секретари составляли о них отношения, посыльные дергали их во все стороны, клерки записывали, отмечали, занумеровывали, регистрировали их, и они в конце концов исчезали неизвестно куда.

Словом, все дела страны проходили через министерство околичностей за исключением тех, которые увязали в нем, а этим последним имя было легион.

Иногда злостные люди нападали на министерство околичностей. Иногда в парламенте делались запросы, даже возбуждалась агитация

против министерства околичностей со стороны низких и невежественных демагогов, воображавших, будто истинный принцип управления: как это сделать. Тогда благородный лорд или высокоуважаемый джентльмен, на обязанности которого лежит защита министерства околичностей, кладет в карман апельсин, бросает перчатку и выступает на арену. Он входит на трибуну, ударяет рукой по столу и встречает почтенного джентльмена лицом к лицу. Он говорит почтенному джентльмену, что министерство околичностей не только безупречно, но может служить образцом в этом отношении и заслуживает величайшей похвалы в этом отношении. Он заявляет почтенному джентльмену, что хотя министерство околичностей всегда право и во всех отношениях право, но никогда еще оно не было так право, как в этом случае. Он смеет уверить почтенного джентльмена, что гораздо достойнее, гораздо умнее, гораздо разумнее и гораздо полезнее было бы со стороны почтенного джентльмена оставить в покое министерство околичностей и совсем не касаться этого предмета. Он уничтожит почтенного джентльмена отчетом министерства околичностей. И так как всегда оказывается одно из двух: или министерство околичностей ничего

не имеет сказать и заявляет об этом, или оно имеет сказать нечто, но благородный лорд или высокоуважаемый джентльмен одну половину «нечто» перепутал, а другую забыл, то безупречная репутация министерства околичностей восстанавливается подавляющим большинством голосов.

Семья Полип уже довольно давно помогала управлять министерством околичностей. Та ветвь семьи, к которой принадлежал Тит Полип, считала эту функцию своим прирожденным правом и отнеслась бы с негодованием ко всякой другой семье, если бы та вздумала оспаривать это право. Семья Полип была очень родовитая и распространенная. Она была рассеяна по всем государственным учреждениям и занимала всевозможные государственные места. Одно из двух: или нация была обязана Полипам, или Полипы были обязаны нации. Вопрос этот не был решен единогласно: у Полипов было свое мнение, у нации — свое.

Мистер Тит Полип, которому в эпоху нашего рассказа приходилось обыкновенно подсаживать и поддерживать государственного мужа, стоявшего во главе министерства околичностей, когда этот благородный или высокоуважаемый

джентльмен начинал ерзать на своем седле вследствие удара, нанесенного в какой-нибудь газете каким-нибудь бродягой, — мистер Тит Полип обладал скорее избытком благородной крови, чем избытком денег. Как Полип, он занимал довольно теплое местечко в министерстве и, разумеется, пристроил там же своего сына, Полипа-младшего. Но он женился на представительнице древней фамилии Пузырь, тоже богато наделенной благородной кровью, но довольно скудно — реальными житейскими благами, и от этого союза явились отпрыски: Полип-младший и три молодые девицы. При аристократических привычках Полипа-младшего, трех девиц, миссис Полип, урожденной Пузырь, и самого мистера Тита Полипа, сроки между получками жалованья казались последнему длиннее, чем ему хотелось бы, что он приписывал скаредности страны.

Мистер Артур Кленнэм в пятый раз явился к мистеру Титу Полипу в министерство околичностей. При прежних посещениях ему приходилось дожидаться последовательно: в зале, в прихожей, в приемной, в коридоре, где, казалось, разгуливали ветры со всего света. На этот раз мистер Полип отсутствовал. Но посетителю сообщили, что другое, меньшее светило, Полип-младший,

еще сияет на официальном горизонте.

Он выразил желание побеседовать с мистером Полипом-младшим и был допущен к нему в кабинет. Этот юный джентльмен стоял перед камином, опираясь позвоночником о каминную доску и подогревая икры перед отеческим огнем. Комната была очень удобна и прекрасно меблирована в официальном стиле. Все в ней напоминало об отсутствовавшем Полипе. Толстый ковер, обитая кожей конторка, за которой можно было заниматься сидя, другая обитая кожей конторка, за которой можно было заниматься стоя, чудовищных размеров кресло и каминный ковер, экран, вороха бумаг, запах кожи и красного дерева и общий обманчивый вид, напоминавший, как не делать этого.

Присутствовавший Полип, который в настоящую минуту держал в руке карточку мистера Кленнэма, обладал младенческой наружностью и деликатнейшим пушком, заменявшим бакенбарды. Глядя на его подбородок, вы бы, пожалуй, приняли его за неоперившегося птенчика, который непременно погиб бы от холода, если бы не поджаривал свои икры у камина. На шее у него болтался огромный монокль, но, к несчастью, орбиты его глаз были настолько плоски и веки

так слабы, что монокль постоянно выскакивал и стукался о пуговицы жилета, к крайнему смущению своего владельца.

— О, послушайте, постойте! Мой отец ушел и не будет сегодня, — сказал Полип-младший. — Может быть, я могу заменить его?

(«Клик!» Монокль вылетел. Полип-младший в ужасе разыскивает его по всему телу и не может найти.)

— Вы очень любезны, — ответил Артур Кленнэм. — Но я бы желал видеть мистера Полипа.

— Но послушайте, постойте! Вам ведь не назначено свидание? — возразил Полип-младший.

(Он успел поймать монокль и вставить в глаз.)

— Нет, — сказал Артур Кленнэм. — Именно этого я бы и желал.

— Но послушайте, постойте! Это официальное дело? — спросил Полип-младший.

(«Клик!» Монокль снова вылетел. Полип-младший так занят поисками, что мистер Кленнэм считает бесполезным отвечать.)

— Это, — сказал Полип-младший, обратив внимание на загорелое лицо посетителя, — это не насчет грузовых пошлин или чего-нибудь подобного?

(В ожидании ответа он раздвигает рукой пра-

вый глаз и запихивает туда монокль с таким усердием, что глаз начинает страшно слезиться.)

— Нет, — сказал Артур, — это не насчет грузовых пошлин.

— Так постойте. Это частное дело?

— Право, не знаю, как вам сказать. Оно имеет отношение к мистеру Дорриту.

— Постойте, послушайте! Если так, вам лучше зайти к нам на дом. Двадцать четыре, Мьюс-стрит, Гросвенор-сквер. У моего отца легкий приступ подагры, так что вы застанете его дома.

(Несчастный юный Полип, очевидно, совсем ослеп на правый глаз, но ему было совестно вынуть монокль.)

— Благодарю вас. Я отправлюсь к нему. До свидания.

Юный Полип, по-видимому, не ожидал, что он так скоро уйдет.

— Вы совершенно уверены, — крикнул он, очевидно не желая расставаться со своей блестящей догадкой и останавливая гостя, когда тот уже выходил за дверь, — вы совершенно уверены, что это не имеет отношения к грузовым пошлинам?

— Совершенно уверен.

С этой уверенностью и искренним недоумением, что же случилось бы, если бы его дело имело

отношение к грузовым пошлинам, мистер Кленнэм ушел продолжать свои поиски.

Мьюс-стрит на Гросвенор-сквер, собственно говоря, находилась не совсем на Гросвенор-сквер, но очень близко от него. Это была даже не улица, а скорее отвратительный глухой переулок, заваленный навозными кучами, застроенный конюшнями и каретными сараями; над ними, на чердаках, ютились кучерские семьи, одержимые страстью сушить белье, вывешивая его из окон. Главный трубочист этого фешенебельного квартала жил на глухом конце переулка, тут же находилось заведение, усердно посещавшееся по утрам и в сумерки, тут же был сборный пункт местных собак. Но у входа на Мьюс-стрит стояли два-три домика, сдававшиеся за огромную цену ввиду своей близости к фешенебельному кварталу, и если какой-нибудь из этих жалких курятников пустовал (что, впрочем, редко случалось, так как они разбирались нарасхват), то агент по продаже домов немедленно печатал объявление о сдаче внаем барского дома в самой аристократической части города, населенной сливками высшего света.

Если бы благородная кровь Полипов не требовала барского дома именно в этом тесном уголке,

для них представился бы огромный выбор среди десятка тысяч домов, где за треть той же платы они нашли бы в пятьдесят раз более удобств. Как бы там ни было, мистер Полип, находя свое барское помещение страшно неудобным и страшно дорогим, винил в этом нацию и усматривал в этом обстоятельстве новое доказательство ее скаредности.

Артур Кленнэм подошел к ветхому домику с покосившимся обшарпанным фасадом, маленькими слепыми окнами и крошечным подъездом, напоминавшим жилетный карман, и убедился, что это и есть номер двадцать четвертый Мьюс-стрит, Гросвенор-сквер. По запаху, исходившему от него, дом напоминал бутылку, наполненную крепким запахом конюшни, и, когда лакей отворил дверь, Кленнэму показалось, будто он откупорил эту бутылку.

Лакей так же относился к гросвенорским лакеям, как дом — к гросвенорским домам. Он был прекрасен в своем роде, но сам по себе этот род был далеко не из лучших. К его великолепию примешивалось некоторое количество грязи, и вид у него был довольно чахлый, вялый и неопрятный, когда он откупорил бутылку и подставил ее к носу мистера Кленнэма.

— Будьте добры передать эту карточку мистеру Титу Полипу и сообщить, что я сейчас виделся с молодым мистером Полипом, который направил меня сюда.

Лакей (у которого была такая масса пуговиц с гербом Полипов, словно он представлял собой ларчик с фамильными драгоценностями, закрытыми наглухо) подумал немного над карточкой и сказал:

— Пожалуйте.

Это было не так-то просто: посетителю грозила опасность натолкнуться на внутреннюю дверь передней и затем, в душевном смятении и абсолютной темноте, слететь с лестницы в кухню. Как бы то ни было, Кленнэм благополучно пробрался по коридору.

Лакей повторил» «Пожалуйте!» — и Кленнэм последовал за ним. У кухонной двери их обдало новыми ароматами, точно откупорили другую бутылку. В этом втором фиале заключался, повидимому, экстракт из помойного ведра. После небольшой суматохи в тесном проходе, происшедшей из-за того, что лакей храбро распахнул дверь в темную столовую, но, увидев там кого-то, в ужасе отпрянул на посетителя, который оказался запертым в тесной задней комнате. Тут он мог

наслаждаться ароматами обеих бутылок разом, любоваться на глухую стену, видневшуюся в трех шагах от окна, и соображать, много ли семейств Полип населяют такие же дыры по собственному странному выбору.

Мистер Полип желает его видеть. Угодно ли ему подняться наверх? Ему было угодно, и он поднялся, и наконец в гостиной узрел самого мистера Полипа с вытянутой на стуле больной ногой — истое воплощение и олицетворение принципа «как не делать этого».

Мистер Полип помнил еще то время, когда страна была не так скаредна и министерство околичностей не подвергалось таким нападкам. Много лет он обматывал свою шею белым галстуком, а шею страны — петлей бумажного делопроизводства. Его манжеты и воротничок, его манеры и голос дышали непреклонностью. На нем была массивная цепочка со связкой печаток, сюртук, застегнутый до крайних пределов, брюки без единой складки и несгибающиеся сапоги. Он был великолепен, массивен, несокрушим и неприступен. Казалось, он всю жизнь позировал для портрета перед сэром Томасом Лоуренсом

[17].

— Мистер Кленнэм, — сказал мистер Полип, — садитесь.

Мистер Кленнэм сел.

— Вы, кажется, заходили ко мне в министерство околичностей? — продолжал мистер Полип, произнося это последнее слово, как будто бы в нем было двадцать пять слогов.

— Я позволил себе эту смелость.

Мистер Полип торжественно кивнул, точно хотел сказать: «Я не отрицаю, что это смелость, можете позволить себе другую и изложить мне, что вам нужно».

— Прежде всего позвольте мне заметить, что я провел много лет в Китае, почти чужестранец в Англии и не имею никаких личных интересов или целей в том деле, по поводу которого я решился вас беспокоить.

Мистер Полип постучал пальцами по столу с таким выражением, словно позировал перед новым и странным художником и хотел сказать ему: «Если вы потрудитесь изобразить меня с моим теперешним величественным выражением, я буду вам очень обязан».

---

[17] Сноски: 17

Лоуренс Томас (1769–1830) — известный английский художник-портретист.

— Я встретил в Маршалси должника по имени Доррит, который провел там много лет. Я хотел бы выяснить его запутанные дела и узнать, нельзя ли хоть теперь улучшить его положение. Мне называли мистера Тита Полипа как представителя весьма влиятельной группы его кредиторов. Правильно ли меня информировали?

Так как одним из принципов министерства околичностей было никогда, ни в каком случае не давать прямого ответа, то мистер Полип сказал только:

— Возможно.

— Могу я спросить, со стороны правительства или частных лиц?

— Возможно, сэр, — ответил мистер Полип, — возможно, я не говорю утвердительно, что министерству околичностей было заявлено публичное обвинение в несостоятельности против фирмы или компании, к которой мог принадлежать этот господин, с целью дать ход этому обвинению. Возможно, что этот вопрос был официальным порядком представлен на рассмотрение министерства околичностей. Министерство могло дать ход этому представлению или утвердить его.

— Я полагаю, так и было в действительности.

— Министерство околичностей не отвечает за

предположения частных лиц, — сказал мистер Полип.

— Могу ли я получить официальную справку о положении этого дела?

— Каждому представителю публики, — ответил мистер Полип, с видимой неохотой упоминая об этом темном существе как о своем естественном враге, — предоставлено право наводить справки в министерстве околичностей. Требуемые при этом формальности должны быть выполнены при обращении в соответственный отдел министерства.

— Какой же именно отдел?

— Я должен направить вас, — сказал мистер Полип и позвонил, — в министерство околичностей, где вы можете получить формальный ответ на этот вопрос.

— Простите мою настойчивость…

— Министерство околичностей доступно для… публики, — мистер Полип всегда немного запинался, произнося это отвратительное слово, — если… публика обращается к нему с соблюдением официально установленных правил; если же… публика обращается к нему без соблюдения официально установленных правил, то ответственность ложится на самое… публику.

Мистер Полип поклонился ледяным поклоном, как оскорбленный отец семейства и как оскорбленный хозяин джентльменской резиденции; мистер Кленнэм тоже поклонился и был выпровожден на улицу замызганным лакеем.

Он решился испытать свое терпение и попробовать добиться толку в министерстве околичностей. Итак, он еще раз отправился в министерство околичностей и послал свою карточку мистеру Полипу-младшему через курьера, который угощался тертым картофелем с подливкой за перегородкой приемной и с большой неохотой оторвался от своей еды.

Кленнэм снова был допущен к Полипу-младшему, который по-прежнему сидел у камина, но теперь подогревал колени.

— Послушайте, постойте! Вы чертовски пристаете к нам, — сказал мистер Полип-младший, оглянувшись на посетителя через плечо.

— Я желал бы знать…

— Постойте! Знаете, вам бы вовсе не следовало являться к нам и говорить, что вы желали бы знать, — возразил Полип-младший, вставляя стеклышко в глаз.

— Я желал бы знать, — сказал Артур Кленнэм, решившийся повторять один и тот же вопрос,

пока не получит ответа, — в чем заключается иск правительства к несостоятельному должнику Дорриту.

— Послушайте, постойте! Вы ужасно настойчивы. Ведь вы не получили разрешения, — сказал Полип-младший, видя, что дело принимает серьезный оборот.

— Я желал бы знать… — сказал Артур и повторил ту же фразу.

Полип-младший уставился на него и смотрел, пока стеклышко не вылетело из глаза, затем вставил его и снова уставился, пока оно не вылетело вторично.

— Вы не имеете никакого права так поступать, — сказал он беспомощным тоном. — Постойте, что вы хотите сказать? Вы говорите мне, что сами не знаете, официальное ли это дело или частное.

— Теперь я удостоверился, что это официальное дело, — возразил посетитель, — и желал бы знать… — Он повторил свой вопрос.

Действие его на юного Полипа выразилось в беспомощном повторении фразы:

— Постойте! Ей-богу, вы не имеете никакого права приходить сюда и говорить, что вы желали бы знать!

Действие этой фразы на Артура Кленнэма выразилось в повторении им того же вопроса в той же самой форме, тем же самым тоном. В результате все это привело юного Полипа в состояние полной беспомощности и растерянности.

— Ну послушайте же! Постойте! Вам лучше обратиться к секретарю, к мистеру Уобблеру, — вымолвил он наконец, потянувшись к колокольчику и дернув шнурок. — Дженкинсон!

Артур Кленнэм, сознавая, что теперь он захвачен водоворотом министерства околичностей и должен отдаться течению, последовал за курьером через двор в другую часть здания, где его провожатый указал ему кабинет мистера Уобблера. Он вошел в это помещение и застал в нем двух джентльменов, сидевших друг против друга за большим и удобным письменным столом. Один из них чистил ружейный ствол носовым платком, другой намазывал мармелад на хлеб ножом для разрезания бумаги.

— Мистер Уобблер? — сказал посетитель.

Оба джентльмена взглянули на него, казалось, удивленные его самоуверенностью.

— Так вот и отправился он, — сказал джентльмен с ружейным дулом, рассказчик весьма неторопливый, — к своему двоюродному брату

и собаку повез с собой по железной дороге. Бесценный пес. Вцепился в носильщика, когда его сажали в собачий вагон, вцепился в сторожа, когда выпускали. Вот он взял с собой человек шесть, взял изрядный запас крыс и стал испытывать пса в сарае. Оказалось, чудо-собака. Тогда он устроил состязание и держал за собаку огромные пари. Что же бы вы думали, сэр, — подкупили какую-то каналью, напоили собаку пьяной, и ее хозяина обобрали начисто.

— Мистер Уобблер? — сказал посетитель.

Джентльмен, намазывавший мармелад, возразил, не отрываясь от своего занятия:

— Как звали собаку?

— Звали ее Милка, — ответил другой джентльмен. — Владелец уверяет, что она как две капли воды похожа на его старую тетку, от которой он ожидает наследства. В особенности когда ворчит.

— Мистер Уобблер? — сказал посетитель.

Оба джентльмена засмеялись разом.

Джентльмен с ружейным дулом, найдя, что оно вычищено как следует, передал его другому и, когда тот согласился с ним, уложил его в ящик, достал оттуда ложе и принялся полировать его носовым платком, слегка насвистывая.

— Мистер Уобблер? — сказал посетитель.

— В чем дело? — отозвался наконец мистер Уобблер с набитым ртом.

— Я желал бы знать… — И Артур Кленнэм опять механически повторил свой вопрос.

— Не имею понятия, — ответил мистер Уобблер, обращаясь, по-видимому, к своему завтраку. — Никогда не слыхал об этом. Не имею никакого отношения к этому. Справьтесь лучше у мистера Клайва, вторая дверь налево в следующем коридоре.

— Может быть, и от него я получу такой же ответ?

— Очень может быть. Ничего не знаю об этом, — сказал мистер Уобблер.

Посетитель повернулся и вышел из комнаты, когда джентльмен с ружейным дулом крикнул ему:

— Мистер!.. Эй!..

Он вернулся обратно.

— Затворяйте за собой дверь. Вы устроили дьявольский сквозняк.

Сделав несколько шагов, он очутился перед второй дверью налево в коридоре.

В этой комнате оказалось трое джентльменов: один из них не делал ничего особенного, другой

тоже не делал ничего особенного, третий тоже не делал ничего особенного. Тем не менее они, по-видимому, стояли ближе, чем другие, к осуществлению великого принципа министерства, так как сидели перед зловещим внутренним помещением с двойной дверью, за которой, по-видимому, собрались мудрецы министерства околичностей. Оттуда почти непрерывным потоком извергались бумаги и таким же потоком стремились обратно — этим орудовал джентльмен номер четыре.

— Я желал бы знать, — сказал Артур Кленнэм и повторил, точно шарманка, свою вечную фразу. Так как номер первый направил его к номеру второму, а номер второй — к номеру третьему, то ему пришлось повторить ее три раза. После этого его направили к номеру четвертому. Он и ему повторил ту же фразу.

Номер четвертый был живой, красивый, хорошо одетый, симпатичный молодой человек — тоже Полип, но из более жизнерадостной линии этой фамилии. Он отвечал благодушным тоном:

— О, охота вам возиться с этим делом?

— Охота мне возиться?

— Ну да! Советую вам бросить его.

Это была настолько новая точка зрения, что Артур Кленнэм не нашелся сразу, что ответить.

— Конечно, это ваше дело. Если хотите, я дам вам целую кучу бланков для заявлений. Здесь их сколько угодно. Возьмите хоть дюжину. Но из этого ничего не выйдет, — продолжил номер четвертый.

— Неужели это такое безнадежное дело? Извините меня: я давно не был в Англии.

— Я не говорю, что оно безнадежное, — возразил номер четвертый с чистосердечной улыбкой. — Я не высказываю своего мнения на этот счет; я только высказываю мнение насчет вас самих. Я не думаю, что вы добьетесь чего-нибудь. Но во всяком случае вы можете действовать, как вам заблагорассудится. По всей вероятности, речь идет о каком-либо невыполненном контракте или что-нибудь в этом роде, не так ли?

— Право, не знаю.

— Хорошо! Это вы можете выяснить. В таком случае вам нужно узнать, с каким департаментом заключен контракт, а затем навести справки в этом департаменте насчет самого контракта…

— Виноват. Как же мне узнать об этом?

— Как? Вы будете… будете спрашивать, пока вам не ответят. Затем вы подадите заявление в

тот департамент (согласно установленной форме, о которой можете разузнать), с тем чтобы получить разрешение подать заявление в этот департамент. Когда вы его получите (для этого потребуется время), ваше заявление поступит в тот департамент, откуда перейдет в этот департамент для занесения во входящие дела, будет отослано обратно для подписи в тот департамент и передано для удостоверения подписи в этот департамент, а затем уже пойдет в обычном порядке делопроизводства в том департаменте. Вы же, пока ваше дело будет ходить по этим инстанциям, наводите о нем справки, осведомляйтесь, пока не получите ответа.

— Но ведь таким путем невозможно добиться толку, — вырвалось у Кленнэма.

Легкомысленный молодой Полип мог только подивиться простодушию человека, вообразившего, что тут можно добиться толку. Скоропалительный молодой Полип очень хорошо знал, что тут невозможно добиться толку. Беззаботный молодой Полип поступил в департамент для того, чтобы быть поближе к пирогу, и очень хорошо понимал, что цель и назначение департамента — оберегать пирог от непризванных. Словом, великолепный молодой Полип был совершенно

готов для роли государственного деятеля.

— Когда дело, каково бы оно ни было, попадет в тот департамент, — продолжил лучезарный молодой Полип, — вы будете время от времени наведываться в тот департамент. Когда дело попадет в этот департамент, вы будете время от времени наведываться в этот департамент. Мы будем передавать его то направо, то налево, а вы следите за этим и справляйтесь, куда оно передано. Если оно вернется к нам обратно, обратитесь лучше к нам. Если оно завязнет где-нибудь, попытайтесь дать ему толчок. Если вы напишете о нем в тот департамент, а затем напишете о нем в этот департамент и не получите удовлетворительного ответа, ну, тогда… тогда пишите снова…

Артур Кленнэм выглядел крайне смущенным.

— Во всяком случае, — сказал он, — я очень благодарен вам за любезность.

— Не за что! — возразил обаятельный молодой Полип. — Попытайтесь и посмотрите, придется ли вам по вкусу. Если не придется по вкусу, всегда можно будет бросить. Вам лучше захватить с собой пачку бланков… Дайте ему пачку бланков! — Сказав это номеру второму, блестящий молодой Полип принял от номеров первого и третьего груду бумаг и понес их в святилище в виде

жертвы идолам министерства околичностей.

Артур Кленнэм довольно уныло сунул пачку бланков в карман и направился к выходу по длинному каменному коридору и длинной каменной лестнице. Он подошел уже к вертящейся двери, ведшей на улицу, и нетерпеливо дожидался, пока выйдут два человека, загораживавшие ему путь, когда услышал голос одного из них, показавшийся ему знакомым. Он взглянул на говорившего и узнал мистера Мигльса. Мистер Мигльс был очень красен, краснее, чем во время путешествия; он держал за шиворот какого-то коротенького человечка, приговаривая: «Пойдем, пойдем, мошенник, пойдем».

Это было такое неожиданное зрелище, что Артур Кленнэм остановился в недоумении и с изумлением взглянул на швейцара, который отвечал ему таким же взглядом. Тем временем мистер Мигльс вытащил человечка — с виду совершенно безобидного — на улицу. Опомнившись, Кленнэм поспешил за ними и увидел, что мистер Мигльс и его враг идут рядышком по улице. Кленнэм живо догнал своего старого товарища по путешествию и тронул за плечо. Мистер Мигльс повернулся к нему со свирепым видом, но, признав знакомого, смягчился и дружески

пожал ему руку.

— Как поживаете? — спросил мистер Мигльс. — Как дела? Я только что вернулся из путешествия. Рад вас видеть.

— И я очень рад, что встретился с вами.

— Спасибо, спасибо.

— Миссис Мигльс и ваша дочь…

— Здоровы, здоровехоньки, — сказал мистер Мигльс. — Жаль только, что вы встретили меня в состоянии, отнюдь не располагающем к хладнокровию.

Несмотря на холодный день, мистер Мигльс был в таком горячем настроении, что возбуждал внимание прохожих, особенно в ту минуту, когда прислонился к стене, снял шляпу и галстук и принялся усердно вытирать потные шею и голову, раскрасневшиеся лицо и уши, очевидно не придавая никакого значения общественному мнению.

— Уф! — сказал мистер Мигльс, снова облачившись. — Славно! Теперь я охладился.

— Вы взволнованы, мистер Мигльс. Что случилось?

— Подождите минутку, сейчас расскажу. Есть у вас время пройтись со мной по парку?

— Сколько угодно.

— Идемте же. Да-да, полюбуйтесь на него! — Мистер Кленнэм случайно взглянул на обидчика, которого мистер Мигльс так свирепо тащил за ворот. — На него стоит полюбоваться, на этого молодца!

Сказать правду, любоваться-то было нечем — ни в отношении размеров, ни в отношении костюма. Это был коротенький, коренастый, делового вида человек с седеющими волосами и с возникшими от глубоких размышлений складками на лбу, точно вырезанными на твердом дереве. Он был в приличном, хотя несколько поношенном черном костюме и с виду казался толковым ремесленником. Он держал в руке футляр от очков и вертел им туда и сюда с тем особенным движением большого пальца, которое свойственно только людям, привыкшим к работе с инструментами.

— Вы отправитесь с нами, — сказал мистер Мигльс угрожающим тоном, — и я вас сейчас познакомлю. Ну, трогай!

Кленнэм спрашивал себя мысленно, направляясь по кратчайшей дороге в парк, что такое мог сделать этот человек (беспрекословно повиновавшийся мистеру Мигльсу). Судя по наружности, он не мог покуситься на носовой платок мистера

Мигльса и ничуть не походил на буяна или нахала. Вид у него был спокойный, благодушный и открытый; он не делал попытки к бегству, и, хотя казался несколько грустным, не обнаруживал ни малейших признаков стыда или раскаяния. Если это был преступник и обидчик, то, очевидно, неисправимый лицемер, а если он не был преступником, то почему же мистер Мигльс тащил его за шиворот из министерства околичностей? Он заметил, что человек этот смущал не только его, но и самого мистера Мигльса, так как разговор по дороге в парк решительно не клеился, и глаза мистера Мигльса постоянно обращались к незнакомцу, хотя бы он говорил о чем-нибудь совершенно другом.

Наконец, когда они вошли в аллею, мистер Мигльс остановился и сказал:

— Мистер Кленнэм, будьте добры, взгляните на этого человека. Его имя Дойс, Даниэль Дойс. Вам, конечно, и в голову не приходит, что этот человек — отъявленный мошенник?

— Разумеется, нет, — ответил Кленнэм.

Вопрос был действительно щекотливый.

— Нет, не приходит? Я знаю, что нет. Вам и в голову не приходит, что он преступник?

— Нет.

— Нет? А между тем это так. Он преступник. Какое же преступление он совершил? Убийство, разбой, поджог, подлог, мошенничество, грабеж на большой дороге, кражу, заговор, обман? Что вы на это ответите, а?

— Я отвечу, — возразил Артур Кленнэм, заметив слабую улыбку на лице преступника. — Ни одного из этих преступлений.

— Вы правы, — сказал мистер Мигльс. — Но он изобретатель и вздумал употребить свою изобретательность на пользу страны, а потому явный преступник, сэр.

Артур взглянул на Дойса, который покачал головой.

— Дойс, — сказал мистер Мигльс, — кузнец и механик. Он не ведет больших дел, но известен как очень способный изобретатель. Двенадцать лет назад он придумал изобретение, которое может принести большую пользу стране и его коллегам. Я не стану говорить, сколько денег он на него затратил, сколько лет работал над ним, но он закончил его двенадцать лет назад. Так ведь, двенадцать? — прибавил мистер Мигльс, обращаясь к Дойсу. — Это самый несносный человек в мире: он никогда не жалуется.

— Да. Пожалуй, двенадцать с хвостиком.

— С хвостиком, — повторил мистер Мигльс. — Тем хуже для вас. Ну-с, мистер Кленнэм. Он обращается к правительству. С того момента, как обратился к правительству, он становится преступником! Сэр, — продолжил мистер Мигльс, которому угрожала очевидная опасность снова разгорячиться, — он перестает быть невинным гражданином и становится злодеем. С этого момента к нему относятся как к человеку, совершившему адское преступление. Он становится человеком, которого нужно водить за нос, выпроваживать, осмеивать, окидывать суровым взглядом, направлять от одного высокопоставленного молодого или старого джентльмена к другому высокопоставленному молодому или старому джентльмену — и обратно; человеком, который не имеет права распоряжаться своим временем или своей собственностью, бродягой, от которого нужно отделаться во что бы то ни стало, которого нужно извести всеми возможными средствами.

После утреннего опыта Кленнэм мог легче поверить этому, чем думал мистер Мигльс.

— Полно вам вертеть футляром, Дойс! — воскликнул мистер Мигльс. — Расскажите лучше мистеру Кленнэму то, что вы рассказывали мне.

— Я действительно испытал такое чувство, — сказал изобретатель, — словно совершил преступление. Когда обивал пороги в различных министерствах, со мной обращались так, как будто я сделал что-нибудь очень скверное. Мне не раз приходилось убеждать самого себя, что я не сделал ничего такого, за что меня можно занести в Ньюгейтский календарь [18], а только стремился к общей пользе.

— Вот, — сказал мистер Мигльс, — как видите, я не преувеличиваю. Теперь вы поверите мне, если я доскажу остальное.

После этого предисловия мистер Мигльс приступил к рассказу — рассказу, известному нам наизусть и давно набившему оскомину, рассказу о том, как после бесконечных проволочек и переписки, бесчисленных грубостей, оскорблений, невежественных замечаний милорды составили отношение за номером 3472, разрешавшее преступнику произвести некоторые предварительные опыты со своим изобретением за собственный счет. Как эти опыты были произведены в присутствии комитета из шести членов, причем двое из этих почтенных членов

---

[18] Сноски: 18

Издание, в котором собраны биографии выдающихся преступников, заключенных в тюрьму Ньюгейт в Лондоне.

были слишком слепы, чтобы увидеть что-нибудь; двое из почтенных членов слишком глухи, чтобы услышать что-нибудь; один из почтенных членов слишком хром, чтобы подойти поближе, и один из почтенных членов слишком глуп, чтобы понять что-нибудь; как прошли еще годы, с новыми грубостями, оскорблениями и невежественными замечаниями; как после этого милорды составили отношение за номером 5103, в силу которого вопрос передавался на рассмотрение министерства околичностей; как министерство околичностей с течением времени отнеслось к этому вопросу так, как будто бы он был поставлен вчера и решительно никому не известен до сих пор; как изобретение было передано на рассмотрение трем Полипам и одному Пузырю, которые ничего не понимали в этом деле, ничего не могли понять в этом деле, ничего не хотели понять в этом деле и объявили, что это дело невозможное и неосуществимое; как министерство околичностей в отношении за номером 8740 «не усмотрело поводов отменять решение, к которому пришли милорды»; как министерство околичностей, вспомнив, что милорды не пришли ни к какому решению, поставило дело на полку в архив; как произошло окончательное объяснение с главой

министерства околичностей сегодня утром и как этот медный лоб, имея в виду дело вообще, и рассматривая его при данных обстоятельствах, и разбирая его с различных точек зрения, высказал мнение, что в отношении этого вопроса могут быть намечены только два пути: или оставить его раз и навсегда, или начать все с самого начала.

— После этого, — заключил мистер Мигльс, — я, как практический человек, схватил Дойса за шиворот, объявил ему, что он, очевидно, гнусный злодей, дерзкий нарушитель общественного спокойствия, и вытащил его оттуда. Я вытащил его за шиворот из министерства, чтобы даже швейцар мог видеть, какой я практический человек и как хорошо понимаю официальную оценку подобных личностей. И вот мы здесь.

Если бы жизнерадостный молодой Полип находился здесь, то чистосердечно объявил бы им, что министерство околичностей исполнило свою функцию; что дело Полипов — цепляться за национальный корабль, пока только есть возможность; облегчать этот корабль, очищать этот корабль — значило бы сбросить их с него; что они готовы на все, лишь бы остаться на нем, и что если он пойдет ко дну вместе с ними, то это его дело, а не их.

— Теперь, — сказал мистер Мигльс, — вы знаете все о Дойсе. Кроме разве того — это вовсе не улучшает моего настроения, — что он даже теперь не жалуется.

— Вы, должно быть, очень терпеливы, — сказал Артур Кленнэм, взглянув на Дойса с некоторым удивлением, — и очень снисходительны.

— Нет, — ответил тот, — настолько же, насколько всякий другой.

— Но больше, чем я, готов побожиться! — воскликнул мистер Мигльс.

Дойс улыбнулся и сказал Кленнэму:

— Видите ли, я знаком с этими вещами не только по собственному опыту. Мне и раньше случалось их видеть. Мой случай не представляет ничего особенного. Со мной поступили не хуже, чем с сотней других, поставивших себя в такое же положение, не хуже, чем со всеми другими, хотел я сказать.

— Не думаю, чтобы подобное соображение утешило меня, если бы я очутился в таком же положении, но очень рад, что оно утешает вас.

— Поймите меня. Я не хочу сказать, — ответил Дойс со своей ясной простодушной манерой, устремив взгляд в пространство и как бы измеряя его своими серыми глазами, — я не хочу сказать,

что это может вознаградить человека за его труды и надежды, но мысль, что это можно было предвидеть заранее, доставляет некоторое утешение.

Он говорил тем спокойным, рассудительным тоном, какой часто замечается у механиков, привыкших разбирать и соразмерять все как можно точнее. Этот тон был так же характерен для него, как гибкость большого пальца или манера время от времени сдвигать шляпу на затылок, точно рассматривая недоконченную работу и раздумывая над ней.

— Разочарован? — продолжил он, между тем как они шли в тени деревьев. — Нет, не думайте, что я разочарован. Оскорблен? Нет, не думайте, что я оскорблен. Все это совершенно естественно. Но когда я говорю, что люди, которые ставят себя в такое положение, всегда подвергаются такому же обращению…

— В Англии, — заметил мистер Мигльс.

— О, конечно, я говорю об Англии. Когда они отправляются со своими изобретениями в чужие страны, получается совершенно другое. Оттого-то столько народа и отправляется туда.

Мистер Мигльс снова разгорячается.

— Я хочу сказать, что это обычный, нормальный образ действий нашего правительства.

Слыхали ли вы хоть об одном авторе проекта или изобретателе, который нашел бы к нему доступ, не встретив пренебрежения и отказа?

— Не слыхал.

— Слыхали ли вы, чтобы оно когда-нибудь одобрило какую-нибудь полезную вещь, возглавило какое-нибудь полезное мероприятие?

— Я гораздо старше моего друга, — сказал мистер Мигльс, — и отвечу на ваш вопрос: никогда!

— Но я полагаю, всем нам известно множество случаев, — продолжил изобретатель, — когда оно упорно цеплялось за вещи, давно устаревшие и замененные другими, гораздо более полезными.

Все согласились с этим.

— Ну вот, — со вздохом сказал Дойс, — как я знаю, что будет с таким-то металлом при такой-то температуре и с таким-то телом при таком-то давлении, так же точно я знаю, что сделают эти великие лорды и джентльмены в случае, подобном моему. Я не вправе удивляться, если только у меня есть голова на плечах и память в голове, что мне пришлось очутиться в таком же положении, как моим предшественникам. Конечно, я мог предвидеть это заранее.

Тут он спрятал в карман свой футляр и сказал Артуру:

— Если я не жалуюсь, мистер Кленнэм, то умею чувствовать благодарность и чувствую ее к нашему общему другу. Немало времени и хлопот потратил он ради меня.

— Вздор и чепуха, — сказал мистер Мигльс.

Артур пристально взглянул на Даниэля Дойса. Хотя и ясно было, что этот человек не станет терять времени на бесплодное нытье, но не менее ясно было, что годы испытаний тяжело отозвались на нем, что за это время он постарел, стал угрюмее, беднее. Хорошо бы было для этого человека, если бы он воспользовался примером джентльменов, так любезно взявших на себя дело нации, и научился от них, как не делать этого.

Мистер Мигльс оставался разгоряченным и смущенным в течение нескольких минут, потом начал охлаждаться и обретать ясность духа.

— Полно, полно, — сказал он. — Не стоит сердиться, этим ничему не поможешь. Куда вы теперь, Дойс?

— В мастерскую.

— Ладно, мы все пойдем в мастерскую, — подхватил мистер Мигльс. — Мистер Кленнэм, это на подворье «Разбитые сердца».

— На подворье «Разбитые сердца»? — сказал Кленнэм. — Мне туда и нужно.

— Тем лучше! — воскликнул мистер Мигльс. — Идемте же!

По пути один из них, а может быть, и двое, не могли отделаться от мысли, что подворье «Разбитые сердца» — самое подходящее место-жительство для человека, которому пришлось вступить в официальные сношения с милордами и Полипами, и что, пожалуй, самой Британии придется искать квартиру на подворье «Разбитые сердца», когда ее доконает министерство околичностей.

Глава XI. Выпущен на волю

Угрюмая осенняя ночь опускалась над рекой Соной. Река, подобно мутному зеркалу, отражала тяжелые массы облаков, и береговые обрывы, там и сям наклонявшиеся над ней, не то с любопытством, не то со страхом смотрелись в мрачные воды. Далеко вокруг Шалона раскинулась плоская равнина, однообразие которой нарушалось только рядами тополей, выделявшимися на багровом фоне заката. На берегах Соны было сыро, мрачно и пустынно, и тьма быстро сгущалась.

Только одна человеческая фигура, медленно подвигавшаяся к Шалону, виднелась среди этого унылого ландшафта. Каин, по всей вероятности, выглядел таким же отверженным и заброшенным. С сумкой за плечами, с грубой суковатой палкой в руке, грязный, хромой, в стоптанных сапогах, в изношенном дырявом промокшем платье, с растрепанными волосами и бородой, он с трудом плелся по дороге, и казалось, будто тучи мчались прочь от него, ветер завывал, трава шелестела, волны глухо роптали на него, и темная осенняя ночь была смущена его присутствием.

Он угрюмо, но боязливо оглядывался по сто-

ронам и время от времени останавливался и окидывал взглядом местность, потом плелся дальше, прихрамывая и ворча:

— Черт бы побрал эту бесконечную равнину! Черт бы побрал эти камни, острые как нож! Черт бы побрал эту подлую холодную ночь! Ненавижу я вас!

Он готов был на деле доказать свою ненависть ко всему окружающему, если бы мог. Кинув вокруг себя мрачный взгляд, он поплелся дальше, но, пройдя немного, снова остановился.

— Я голоден, я хочу пить, я устал. Вы, глупцы, едите, и пьете, и греетесь у огня! Хотел бы я захватить в свои лапы ваш город; уж я бы показал вам себя, мои милые!

Но город не приближался оттого, что он скалил на него зубы и грозил ему кулаком, и к тому времени, как он добрался до него и вступил на неровную мостовую, его усталость, голод, жажда еще усилились.

Перед ним была гостиница с заманчивым запахом кухни; было кафе со светлыми окнами, из-за которых доносился стук костей домино; был магазин золотых дел мастера с серьгами и другими драгоценностями в витринах; была табачная лавка с живописной группой солдат-по-

сетителей, выходивших с трубками во рту; были тут и городские миазмы, и дождь, и слякоть, и сточные трубы, и тускло мерцавшие уличные фонари, и громадный дилижанс с целой горой багажа, запряженный шестеркой серых лошадей с подвязанными хвостами. Не было только дешевого кабачка для бедного путника. Его пришлось разыскивать за углом, где капустные листья валялись грудами вокруг общественного водоема, из которого женщины еще черпали воду. Наконец путник отыскал подходящий приют в глухом переулке. Название кабачка было «Рассвет». Этот «Рассвет» скрывался за занавешенными окнами, но казалось, что там было тепло и светло; надпись на вывеске, иллюстрированная художественным изображением бильярдного кия и шара, извещала, что в «Рассвете» можно играть на бильярде, что там путешественник, конный или пеший, может найти пищу, питье и помещение и что там имеется богатый запас вин, водок и других напитков. Путник повернул ручку двери «Рассвета» и проскользнул внутрь.

При входе он коснулся своей ветхой, утратившей первоначальный цвет шляпы, приветствуя немногих посетителей.

Двое играли в домино за маленьким столом;

трое или четверо сидели около очага, покуривая и болтая. Бильярд посреди комнаты в этот час был свободен. Хозяйка, сидя за своим маленьким прилавком посреди груды бутылок с сиропом, корзинок с печеньем и оловянной полоскательницы для стаканов, что-то шила.

Пробравшись к свободному столику подле камина, он положил на пол сумку и плащ. Когда он поднялся, перед ним стояла хозяйка.

— Можно здесь переночевать, сударыня?

— Сделайте одолжение, — ответила хозяйка высоким звонким веселым голосом.

— Хорошо. А пообедать или поужинать — называйте как хотите.

— Ах, сделайте одолжение! — сказала хозяйка.

— В таком случае будьте добры распорядиться насчет ужина, сударыня: что-нибудь поесть, только поскорее! И бутылку вина. Я страшно голоден и устал.

— Скверная погода, сударь? — сказала хозяйка.

— Проклятая погода!

— И утомительная дорога?

— Проклятая дорога!

Его хриплый голос оборвался. Опустив голову на руки, он сидел так, пока не подали вино. Выпив залпом два стаканчика и отломив кусок

от ломтя хлеба, который положили перед ним вместе со скатертью и салфеткой, тарелкой, солонкой, перечницей, он прислонился к стене, развалившись на скамейке, и принялся жевать корку в ожидании ужина.

Как это обыкновенно бывает при появлении незнакомца, посетители, сгруппировавшиеся у камина, на мгновение прервали разговор, поглядывая на пришельца. Впрочем, пауза длилась недолго, и разговор вскоре возобновился.

— Вот почему, — сказал один из посетителей, очевидно заканчивая прерванный разговор, — вот почему говорят, что дьявол выпущен на волю.

Сказавший это был рослый швейцарец духовного звания. Он говорил авторитетным тоном, особенно когда речь зашла о дьяволе.

Хозяйка, сообщив все, что было нужно, насчет нового посетителя своему супругу, исправлявшему обязанности повара в «Рассвете», уселась за прилавком и взялась за шитье. Это была бойкая опрятная веселая женщина с огромным чепчиком и в ярких чулках; она принимала участие в разговоре, улыбаясь и кивая, но не отрываясь от шитья.

— Ах ты, господи! — сказала она. — Когда ли-

онский пароход привез известие, что дьявол выпущен на волю в Марселе, некоторые приняли это как должное. Но не я, не я!

— Сударыня, вы всегда правы, — ответил рослый швейцарец. — Без сомнения, вы страшно негодуете на этого человека, сударыня!

— Еще бы, — воскликнула хозяйка, оторвавшись от работы, сделав большие глаза и нагнув голову набок. — Само собой разумеется!

— Он скверный человек.

— Отвратительный негодяй, — сказала хозяйка, — и вполне заслужил то, от чего так счастливо увернулся. И очень жаль, что увернулся.

— Позвольте, сударыня! Обсудим это дело, — возразил швейцарец, очень убедительно крутя сигару во рту. — Быть может, виновна его злая судьба. Быть может, он жертва обстоятельств. Быть может, в нем было и есть доброе начало, только никто не мог его открыть. Философская филантропия говорит…

Остальная компания у печки отвечала глухим ропотом на эти слова. Даже двое игроков в домино подняли головы, как бы протестуя против философской филантропии, затесавшейся в «Рассвет».

— Подите вы со своей филантропией! — вос-

кликнула улыбающаяся хозяйка, кивнув сильнее, чем обычно. — Послушайте. Я женщина, да. Я ничего не знаю о философской филантропии. Но я знаю то, что я видела, видела своими глазами на белом свете. И говорю вам, друг мой, что есть люди (не только мужчины, но, к несчастью, и женщины), в которых вовсе нет доброго начала. Есть люди, которые заслуживают только ненависти без всякого снисхождения. Есть люди, которых надо клеймить, как врагов человечества. Есть люди, лишенные всякого человеческого чувства, которых следует истреблять, как диких зверей. Я надеюсь, что их немного, но я видела таких людей в этом мире и даже в этом маленьком «Рассвете». И я не сомневаюсь, что этот человек, как бы его ни называли — я забыла его фамилию, — один из таких людей.

Полная воодушевления речь хозяйки была встречена общим сочувствием со стороны посетителей «Рассвета».

— Да, если ваша философическая филантропия, — продолжила хозяйка, откладывая работу и вставая, чтобы принять от мужа суп для пришельца, — церемонится с такими людьми на словах или на деле, то пусть она убирается из «Рассвета», потому что цена ей грош!

Когда она поставила суп перед посетителем, последний взглянул ей прямо в глаза, причем усы его приподнялись под носом, а нос опустился над усами.

— Хорошо, — сказал швейцарец, — вернемся к предмету нашего разговора. Так вот, джентльмены, когда этот человек был оправдан судом, марсельцы стали говорить, что дьявол выпущен на волю. Так и пошла в ход эта фраза, и только это она и означает — больше ничего.

— Как его фамилия? — спросила хозяйка. — Биро, если не ошибаюсь?

— Риго, сударыня, — возразил рослый швейцарец.

— Да-да, Риго!

После супа путешественнику подали мясное блюдо и зелень. Он съел все, что было перед ним поставлено; допил вино, потребовал стакан рома и закурил папиросу за чашкой кофе. Подкрепив силы, он воспрянул духом и принял участие в разговоре с довольно покровительственным видом, как будто его общественное положение было гораздо выше, чем казалось.

Потому ли, что посетителям было некогда, или потому, что они почувствовали свое ничтожество, только все они разошлись один за другим, и

так как никто не явился им на смену, то их новый Глава остался полным обладателем «Рассвета». Хозяин бренчал посудой в кухне, хозяйка сидела за работой, а путешественник курил и грелся у камина.

— Виноват, сударыня, этот Биро…

— Риго, сударь.

— Виноват, Риго… Он чем-нибудь заслужил вашу немилость, сударыня?

Хозяйка, которой новый посетитель казался то красивым мужчиной, то уродом, заметив его поднявшиеся усы и опустившийся нос, решительно склонилась к последнему мнению.

— Риго — злодей, — сказала она, — убивший свою жену.

— А, а! Да, черт побери, это злодейство! Но как вы узнали об этом?

— Все это знают.

— Ага, и тем не менее он ускользнул от наказания?

— Сударь, закон не мог доказать вполне точно его преступление. Так говорит закон. Тем не менее всем известно, что он совершил его. Народ был так уверен в этом, что хотел разорвать его на куски.

— Тем более что сам этот народ живет в мире и

согласии со своими женами? — спросил посетитель. — Ха-ха!

Хозяйка «Рассвета» снова взглянула на него и почти утвердилась в своем последнем решении. Впрочем, у него были очень красивые руки, и он заметно щеголял ими. Ей снова показалось, что посетитель — красивый мужчина.

— Вы, сударыня, или кто-то из этих господ, кажется, упомянули о том, что сделалось с этим человеком?

Хозяйка покачала головой, в первый раз в течение разговора перестав кивать в такт своим мыслям.

— Посетители «Рассвета», — заметила она, — передавали со слов газет, будто его пришлось продержать некоторое время в тюрьме ради его собственной безопасности. Так или иначе, но он ускользнул от заслуженной казни, и это самое скверное.

Гость взглянул на нее, докуривая папиросу, и если бы она подняла голову, то этот взгляд разрешил бы ее сомнение насчет его наружности. Но, когда она подняла голову, выражение его лица уже изменилось. Он поглаживал рукой свои взъерошенные усы.

— Могу я попросить указать мне постель, су-

дарыня?

— К вашим услугам, сударь. Эй, муженек!

Муженек должен был отвести его наверх, в спальню.

Там уже спал один путешественник, который улегся очень рано, так как страшно устал, но комната была большая, с двумя кроватями, а места хватило бы и на двадцать. Все это прощебетала хозяйка «Рассвета» в промежутках между восклицаниями: «Эй, муженек!»

Муженек отозвался наконец: «Иду, женушка!» — и, появившись в поварском колпаке, повел гостя по узкой крутой лестнице. Гость захватил сумку и плащ и простился с хозяйкой, прибавив, что надеется увидеть ее завтра. Спальня была большая, с грубым некрашеным полом, нештукатуреным потолком и двумя кроватями на противоположных концах. Муженек поставил свечку на стол, искоса взглянул на путешественника и, проворчав: «Кровать направо!» удалился.

Хозяин, был ли он плохой физиономист или хороший, с первого взгляда решил, что у этого молодца отталкивающая физиономия.

Гость окинул презрительным взглядом убогую спальню, уселся на плетеный стул подле кровати и, достав из кармана деньги, встряхнул их на

ладони.

— Человеку нужно есть, — проворчал он, — но, ей-богу, мне придется есть завтра за чужой счет.

Меж тем как он сидел в задумчивости, машинально взвешивая деньги на ладони, ровное дыхание спящего заставило его наконец взглянуть на соседа. Последний закутался в одеяло с головой и задернул занавеску, так что его можно было только слышать, но не видеть. Но глубокое ровное дыхание, раздававшееся все время, пока новый гость снимал свои стоптанные сапоги, рваные брюки, поношенный сюртук и галстук, раззадорило его любопытство так, что ему захотелось взглянуть на спящего.

Он подкрался поближе, потом еще ближе, потом еще ближе, пока не подошел к самой кровати спящего. Но и тут он не мог заглянуть ему в лицо, так как оно было закрыто одеялом. Ровное дыхание не прекращалось. Он протянул свою гладкую белую руку (какой предательской она казалась в своем змеином движении!) и отогнул конец одеяла.

— Черт меня побери! — прошептал он, отшатнувшись. — Кавалетто!

Маленький итальянец, разбуженный шорохом около своей кровати, с глубоким вздохом открыл

глаза, но еще не проснулся. В течение нескольких секунд он спокойно смотрел на своего тюремного товарища и вдруг, очнувшись, с криком удивления и тревоги вскочил с постели.

— Тсс!.. Чего ты? Успокойся, это я! Ты узнаешь меня? — прошептал пришелец.

Но Жан Батист вытаращил глаза, бормоча какие-то бессвязные заклинания и восклицания, забился дрожа в уголок, натянул брюки, накинул пальто, обвязав его рукавами вокруг шеи, и обнаружил очевидное намерение удрать, не возобновляя знакомства. Заметив это, его старый тюремный товарищ прислонился к двери, загородив ему выход.

— Кавалетто, проснись же, дружок, протри глаза и взгляни на меня. Только не называй меня прежним именем: меня зовут Ланье, слышишь — Ланье.

Жан Батист, попрежнему вытаращив глаза, замахал указательным пальцем, точно заранее решился отрицать все, что его товарищ вздумал бы утверждать в течение всей жизни.

— Кавалетто, дай мне твою руку. Ты знаешь Ланье-джентльмена? Можешь пожать руку джентльмену!

Подчиняясь знакомому тону снисходительного

авторитета, Жан Батист не совсем твердыми шагами подошел к своему патрону и подал ему руку. Господин Ланье засмеялся и, стиснув его руку, встряхнул ее и выпустил.

— Так вас не… — пролепетал Жан Батист.

— Не обрили? Нет. Посмотри, — сказал Ланье, тряхнув головой, — так же крепко сидит, как твоя.

Жан Батист, слегка вздрогнув, обвел взглядом комнату, точно стараясь вспомнить, где находится. Его патрон запер дверь на ключ и уселся на кровати.

— Посмотри, — сказал он, указывая на свое платье. — Плохой костюм для джентльмена. Ничего. Вот увидишь, как скоро я заменю его хорошим. Поди сюда и сядь. Садись на прежнее место.

Жан Батист с самым жалким выражением лица подошел к кровати и уселся на полу, не сводя глаз со своего патрона.

— Отлично! — воскликнул Ланье. — Теперь мы точно опять очутились в той проклятой старой дыре, а? Давно ли тебя выпустили?

— На третий день после вашего ухода, господин.

— Как же ты попал сюда?

— Мне посоветовали оставить город, вот я и

ушел и скитался по разным местам. Был я в Авиньоне, в Пон-Эспри, в Лионе, на Роне, на Соне.

Говоря это, он быстро чертил своим загорелым пальцем карту этих местностей на полу.

— А теперь куда ты идешь?

— Куда иду, господин?

— Ну да!

Жан Батист, по-видимому, хотел уклониться от ответа, но не знал, как это сделать.

— Клянусь Вакхом [19], — сказал он наконец, как будто из него вытягивали слова, — я подумывал иногда пробраться в Париж, а может быть, и в Англию.

— Кавалетто, это решено. Я тоже отправляюсь в Париж, а может быть, и в Англию. Мы отправимся вместе.

Итальянец кивнул и оскалил зубы, хотя, по-видимому, был не особенно обрадован этим решением.

— Мы отправимся вместе, — повторил Ланье. — Ты увидишь, что я скоро заставлю всех признать меня джентльменом, и тебе это будет на руку. Итак, решено? Мы действуем заодно.

— О конечно, конечно! — сказал итальянец.

---

[19] Сноски: 19

Вакх *(греч.),* Бахус *(лат.)* — в античной мифологии одно из имен бога виноградарства Диониса, бог вина и веселья.

— В таком случае ты должен узнать, прежде чем я лягу спать, и в немногих словах, потому что я страшно хочу спать, как я попал сюда, — я, Ланье. Запомни это: Ланье.

— Altro, altro! Не Ри…

Прежде чем итальянец успел выговорить это слово, Ланье схватил его за подбородок и зажал ему рот.

— Дьявол, что ты делаешь? Или ты хочешь, чтобы меня растерзали и побили камнями? Хочешь, чтобы тебя растерзали и побили камнями? Тебя тоже растерзают. Не думай, что они укокошат меня и не тронут моего тюремного товарища. Не воображай этого!

По выражению его лица, когда он выпустил челюсть своего друга, этот друг догадался, что в случае, если дело дойдет до камней и пинков, Ланье отрекомендует его так, что и на его долю придется достаточно. Он вспомнил, что господин Ланье — джентльмен-космополит, и в подобных случаях не будет особенно стесняться.

— Я человек, — сказал Ланье, — которому общество нанесло тяжелую обиду. Ты знаешь, что я чувствителен и смел и что у меня властный характер. Отнеслось ли общество с уважением к этим моим качествам? Меня провожали воплями

по всем улицам. Конвой должен был охранять меня от мужчин, а в особенности от женщин, которые кидались на меня, вооружившись чем попало. Меня оставили в тюрьме ради моей безопасности, сохранив в секрете место моего заключения, так как иначе толпа вытащила бы меня оттуда и разорвала на тысячу кусков. Меня вывезли из Марселя в глухую полночь, спрятанного в соломе, и отвезли на много миль от города. Я не мог вернуться домой, я должен был брести в слякоть и непогоду, почти без денег, пока не захромал; посмотри на мои ноги! Вот что я вытерпел от общества — я, обладающий теми качествами, о которых упоминал, — но общество заплатит мне за это!

Все это он прошептал товарищу на ухо, придерживая рукой его рот.

— Даже здесь, — продолжил он, — даже в этом грязном кабачке общество преследует меня. Хозяйка поносит меня, ее гости поносят меня. Я, джентльмен с утонченными манерами и высшим образованием, внушаю им отвращение. Но оскорбления, которыми общество осыпало меня, хранятся в этой груди!

На все это Жан Батист, внимательно прислушиваясь к тихому хриплому голосу, отвечал:

«Конечно, конечно!», тряс головой и закрывал глаза, как будто вина общества была доказана самым ясным образом.

— Поставь мои сапоги сюда, — продолжил Ланье. — Повесь сюртук на двери, пусть подсохнет. Положи сюда шляпу. — Кавалетто беспрекословно исполнял эти приказания. — Так вот какую постель приготовило мне общество, так! Ха, очень хорошо!

Он растянулся на постели, повязав платком свою преступную голову. И, глядя на эту голову, Жан Батист невольно вспомнил, как счастливо она ускользнула от операции, после которой ее усы перестали бы подниматься кверху, а нос опускаться книзу.

— Так значит, судьба опять связала нас, а? Ей-богу! Тем лучше для тебя. Ты выиграешь от этого. Я недолго буду в нужде. Не буди меня до утра.

Жан Батист ответил, что вовсе не намерен его будить, пожелал ему спокойной ночи и задул свечку. Можно бы было ожидать, что теперь он станет раздеваться, но он поступил как раз наоборот: оделся с головы до ног, не надел только сапог. После этого он улегся на постель и накрылся одеялом, оставив и платок завязанным вокруг шеи.

Когда он проснулся, небесный рассвет озарял

своего земного тезку. Итальянец встал, взял свои сапоги, осторожно повернул ключ в двери и прокрался вниз. Никто еще не вставал, и прилавок выглядел довольно уныло в пустой комнате, в атмосфере, напоенной запахом кофе, водки и табака. Но он расплатился еще накануне, не хотел никого видеть, а хотел только поскорей надеть сапоги, захватить свою сумку, выбраться на улицу и удрать.

Это ему удалось. Отворяя дверь, он не слышал никакого движения или голоса; преступная голова, повязанная изорванным платком, не высунулась из верхнего окна. Когда солнце поднялось над горизонтом, обливая потоками огня грязную мостовую и скучные ряды тополей, какое-то черное пятно двигалось по дороге, мелькая среди луж, блиставших на солнце. Это черное пятно был Жан-Батист Кавалетто, улепетывавший от своего патрона.

Глава XII. Подворье «Разбитые сердца»

Подворье «Разбитые сердца» находилось в Лондоне, в черте города, правда — на очень глухой улице, поблизости от одного знаменитого предместья, где во времена Уильяма Шекспира, драматурга и актера, была королевская охотничья стоянка. С тех пор местность сильно изменилась, сохранив, впрочем, кое-какие следы былого величия. Две или три громадных трубы и несколько огромных темных зданий, случайно оставшихся неперестроенными и неперегороженными, придавали подворью своеобразный вид. Тут жили бедняки, ютившиеся среди остатков древнего великолепия, как арабы пустыни раскидывают свои шатры среди разрушающихся пирамид, но, по общему мнению обитателей подворья, оно имело своеобразный вид.

Казалось, что этот честолюбивый город топорщился и раздувался, — по крайней мере, землю вокруг него выперло так высоко, что попасть в подворье можно было, только спустившись по лестнице куда-то вниз и затем уже пройдя через настоящий вход в лабиринт грязных кривых улиц, мало-помалу поднимавшихся на поверх-

ность земли. В конце подворья, под воротами, помещалась мастерская Даниэля Дойса. Она стучала, как железное сердце, исходящее кровью, звоном и скрежетом металла о металл.

Даниэль Дойс, мистер Мигльс и Кленнэм спустились по лестнице в подворье. Минуя множество открытых дверей, перед которыми возились ребятишки постарше, нянчившие ребятишек помладше, они пробрались к противоположному концу двора. Тут Артур Кленнэм остановился, желая отыскать квартиру Плорниша, штукатура, имя которого, по обыкновению всех лондонцев, Дойс ни разу в жизни не слышал и не видел до сих пор. Однако оно было написано четкими буквами над запачканной известью дверью, за которой ютился Плорниш в крайнем доме подворья, как и сказала Крошка Доррит. Дом был большой, переполненный жильцами, но Плорниш весьма остроумно указывал посетителям, что он живет в гостиной: с помощью руки, намалеванной под его именем, указательный палец которой (художник украсил его кольцом и весьма тщательно выписанным ногтем изящнейшей формы) был вытянут по направлению к этому помещению.

Простившись со своими спутниками и условившись встретиться еще раз у мистера Миглься,

Кленнэм вошел в дом и постучал в дверь гостиной. Ему тотчас отворила женщина с ребенком на руках, торопливо застегивавшая свободной рукой верхнюю часть платья. Это была миссис Плорниш, только что исполнявшая свои материнские обязанности, которые занимали большую часть ее существования.

— Дома мистер Плорниш?

— Нет, сэр, — сказала миссис Плорниш, женщина очень учтивая, — чтоб не солгать вам, он ушел по делу.

Чтоб не солгать вам — было главной заботой миссис Плорниш. Она ни под каким видом не желала солгать вам даже в пустяках и всегда предупреждала об этом.

— Вы не знаете, скоро ли он вернется? Я бы подождал.

— Я жду его с минуты на минуту, — сказала миссис Плорниш. — Войдите, сэр!

Артур вошел в довольно темную и тесную (хотя высокую) гостиную и сел на стул, который миссис Плорниш ему предложила.

— Чтоб не солгать вам, сэр, — сказала миссис Плорниш, — я очень благодарна вам за любезность.

Он решительно не мог понять, за что она его

благодарит. Заметив его удивленный взгляд, она пояснила свои слова:

— Придя в такую лачугу, мало кто даже шляпу снимает, но некоторые ценят это больше, чем думают люди.

Кленнэм, несколько смущенный тем, что такая элементарная вежливость считается необычайной, пробормотал:

— И это все? — Нагнувшись, чтобы потрепать по щеке другого ребенка, который сидел на полу, уставившись на гостя, спросил: — Сколько лет этому хорошенькому мальчику?

— Только что исполнилось четыре, сэр, — сказала миссис Плорниш. — Да, он хорошенький мальчик, правда, сэр? А вот этот слабоват здоровьем. — Говоря это, она нежно прижала к груди младенца, которого держала на руках. — Может быть, сэр, у вас есть работа для мужа? Я бы могла ему передать, — прибавила миссис Плорниш.

Она спрашивала с таким беспокойством, что, будь у него какая-нибудь постройка, он скорее согласился бы покрыть ее слоем извести в фут толщиной, чем ответить «нет», но пришлось ответить «нет». Тень разочарования пробежала по ее лицу; она вздохнула и взглянула на потухшую печь. Тут он заметил, что миссис Плорниш еще

молодая, но бедность приучила ее к некоторой неряшливости, а нужда и дети покрыли лицо сетью морщин.

— Работа точно провалилась сквозь землю, право, — заметила миссис Плорниш (это замечание относилось собственно к штукатурной работе и не имело никакого отношения к министерству околичностей и фамилии Полип).

— Неужели так трудно достать работу? — спросил Артур Кленнэм.

— Плорнишу трудно, — ответила она. — Не везет ему, да и только. Совсем не везет!

Действительно, ему не везло. Он был одним из тех многочисленных странников на жизненном пути, которых судьба точно наделила какими-то сверхъестественными мозолями, не позволявшими им угнаться даже за хромыми соперниками. Усердный, работящий, добродушный и неглупый малый, он благодушно относился к судьбе, но судьба относилась к нему совсем не благодушно. Он решительно не мог понять, почему его услуги так редко требуются. Как бы то ни было, он покорялся судьбе, боролся, как умел, с жизнью, и в конце концов жизнь здорово его потрепала.

— Не то чтобы он плохо искал работы, — продолжила миссис Плорниш, поднимая глаза и

отыскивая решение загадки между прутьями решетки, — или ленился работать. Нет, никогда еще мой муж не отлынивал от работы.

Так или иначе, та же судьба тяготела над всеми обитателями подворья «Разбитые сердца». Время от времени раздавались публичные жалобы на недостаток работы — жалобы, патетически изложенные, — но подворье «Разбитые сердца», работавшее не менее всякого другого подворья в Британии, ничего не выигрывало от этого. Знаменитая древняя фамилия Полип была слишком занята осуществлением своего великого принципа, чтобы обратить внимание на это обстоятельство, да и обстоятельство это не имело никакого отношения к ее вечному стремлению превзойти все другие знаменитые древние фамилии, кроме Пузырь.

Пока миссис Плорниш рассказывала о своем отсутствующем повелителе, он вернулся. Это был краснощекий малый лет тридцати, с волосами песочного цвета, долговязый, с подогнутыми коленями, простодушным лицом, во фланелевой фуфайке, перепачканной известью.

— Вот Плорниш, сэр.

— Я желал бы, — сказал Кленнэм, вставая, — поговорить с вами насчет семейства Доррит.

Плорниш взглянул на него подозрительно, по-видимому, почуял кредитора и сказал:

— А, да. Так. Но что же я могу сообщить джентльмену об этом семействе? В чем дело?

— Я знаю вас лучше, — сказал Кленнэм улыбаясь, — чем вы думаете.

Плорниш оставался серьезным. Он заметил, что не имел раньше удовольствия встречаться с джентльменом.

— Нет, — сказал Артур, — я знаю о ваших дружеских услугах из вторых рук, но из самого надежного источника — от Крошки Доррит… я хочу сказать — от мисс Доррит.

— Мистер Кленнэм, да? О, я слышал о вас, сэр.

— И я о вас, — сказал Артур.

— Садитесь, пожалуйста, сэр, милости просим. Ну да, — продолжил Плорниш, усевшись и взяв на колени старшего ребенка, чтобы иметь моральную поддержку в разговоре с незнакомцем, — я сам попал однажды под замок и там познакомился с мисс Доррит. Я и жена, мы оба хорошо знаем мисс Доррит.

— Мы друзья! — воскликнула миссис Плорниш, которая так гордилась этим знакомством, что возбудила завистливое чувство среди обитателей подворья, преувеличив до чудовищных размеров

сумму, за которую мистер Доррит-отец попал в долговую тюрьму. «Разбитые сердца» завидовали ее знакомству с такими знаменитыми особами.

— Сначала я познакомился с ее отцом, а познакомившись, понимаете, познакомился и с ней, — сказал Плорниш, повторяя одно и то же слово.

— Понимаю.

— Ах, какие манеры! Какая учтивость! И такой джентльмен угодил в тюрьму Маршалси! Да вы, может, не знаете, — продолжил Плорниш, понизив голос, с почтительным удивлением к тому, что должно было бы возбуждать негодование или сожаление, — вы, может, не знаете, что мисс Доррит и ее сестра не решаются говорить ему, что им приходится самим зарабатывать свой хлеб. Да, — прибавил он, бросая комически-торжествующий взгляд на жену, потом на окружающую обстановку, — не решаются говорить ему об этом, не решаются!

— Не могу сказать, чтоб это усиливало мое уважение к нему, — спокойно ответил Кленнэм, — но во всяком случае мне очень жаль его.

Это замечание, по-видимому, в первый раз навело Плорниша на мысль, что тут открывается черта характера, в конце концов, довольно

некрасивая. Он подумал об этом с минуту, но, очевидно, ни до чего не додумался.

— Что касается меня, — заключил он, — то мистер Доррит всегда любезен со мной, больше, чем я мог бы ожидать, особенно если принять в расчет разницу лет и положений между нами. Но мы говорили о мисс Доррит.

— Именно. Скажите, каким образом вы познакомили ее с моей матерью?

Мистер Плорниш вытащил из собственной бороды кусочек извести, положил в рот, пожевал, словно засахаренную сливу, подумал и, убедившись в своем бессилии рассказать толково, обратился к жене:

— Салли, ты можешь рассказать, как это было, старушка?

— Мисс Доррит, — сказала Салли, перекидывая младенца с одной руки на другую и отстраняя подбородком его ручонку, старавшуюся расстегнуть ей платье, — пришла к нам однажды с листочком бумаги и сказала, что желала бы найти работу по части шитья, и спросила, не будет ли неудобно, если она оставит свой адрес здесь. (Плорниш повторил вполголоса, как в церкви: «свой адрес здесь») Я и Плорниш говорим: «Нет, мисс Доррит, тут нет ничего неудобного» (Плорниш повторил:

«ничего неудобного»), и она написала адрес. Тогда я и Плорниш говорим: «Послушайте, мисс Доррит (Плорниш повторил: «послушайте, мисс Доррит»), почему вы не написали три или четыре таких листочка, чтобы распространить их в разных местах?» — «Нет, — говорит мисс Доррит, — не написала, но напишу». Она написала их на этом самом столе очень быстро, а Плорниш отнес их туда, где работал, так как у него в то время случилась работа (Плорниш повторил: «в то время случилась работа»), а также хозяину подворья; через него миссис Кленнэм и узнала о мисс Доррит и дала ей работу (Плорниш повторил: «дала ей работу»).

Миссис Плорниш, окончив свой рассказ, поцеловала младенцу ручку, делая вид, что хочет укусить ее.

— Хозяин подворья… — сказал Артур Кленнэм.

— Мистер Кесби, его зовут мистер Кесби, — ответил Плорниш, — а Панкс — тот собирает квартирную плату… То есть, — прибавил мистер Плорниш с глубокомысленным видом, — это я вам говорю, верьте или нет, как вам угодно.

— А, — отозвался Кленнэм, который тоже задумался. — Так это мистер Кесби? Тоже мой старый, давнишний знакомый.

Мистер Плорниш, по-видимому, не знал, что сказать по поводу этого обстоятельства, и не сказал ничего. Так как ему и в действительности не было никакой причины интересоваться этим обстоятельством, то Артур Кленнэм перешел к непосредственной цели своего посещения: сделать Плорниша орудием освобождения Типа, пощадив, насколько возможно, самолюбие и достоинство молодого человека, предполагая, что у него сохранились хоть остатки этих качеств, что, впрочем, было весьма сомнительно. Плорниш, знавший об этом деле от самого ответчика, сообщил Кленнэму, что истец — барышник, и что десяти шиллингов за фунт будет за глаза довольно, а платить больше — значит бросать деньги попусту. Итак, мистер Кленнэм со своим помощником отправились на конный двор в верхнем Холборне, где в то время происходил оживленный торг: продавался великолепнейший серый мерин, стоивший самое меньшее семьдесят пять гиней (не принимая в расчет стоимость овса, которым его подкармливали, чтобы придать ему красивый вид), — а уступали его за двадцать пять фунтов, потому что капитан Бербери из Челтнема, ездивший на нем в последний раз, не умел справиться с такой лошадью и только с досады

настаивал на продаже за эту ничтожную сумму, то есть, в сущности, отдавал коня даром. Оставив своего спутника на улице, Плорниш отправился на конный двор один и нашел здесь господина в узких драповых брюках, довольно поношенной шляпе, с крючковатой палкой и синим носовым платком (капитан Мерун из Глостершира, приятель капитана Бербери). Господин любезно сообщил ему все вышеизложенные подробности насчет великолепнейшего серого мерина. Он же оказался кредитором Типа, но заявил, что мистер Плорниш может обратиться к его поверенному, и наотрез отказался говорить с мистером Плорнишем об этом деле или даже выносить его присутствие на конном дворе, пока мистер Плорниш не принесет билет в двадцать фунтов: тогда видно будет, что у него серьезные намерения, стало быть, и разговор другой пойдет.

После этого мистер Плорниш отправился к своему спутнику и тотчас вернулся с требуемыми верительными грамотами.

Тогда капитан Мерун сказал:

— Ладно, когда же вы намерены внести остальные двадцать фунтов? Ладно, я дам вам месяц сроку. — Когда же это предложение не было принято, капитан Мерун сказал: — Ладно, я вам

скажу, как мы сделаем. Вы дадите мне вексель на четыре месяца на какой-нибудь банк. — Когда и это предложение было отклонено, капитан Мерун сказал: — Ладно, коли так! Вот мое последнее слово: давайте еще десять фунтов — и будем в расчете. — Когда же и это предложение было отклонено, капитан Мерун сказал: — Ладно, я вам скажу решительно и окончательно: он меня надул, но я, так и быть, выпущу его, если вы прибавите пять фунтов и бутылку вина. Согласны — так кончайте дело, нет — так убирайтесь! — И наконец, когда и это предложение было отклонено, капитан Мерун сказал: — Ну, коли так, по рукам! — Затем выдал расписку в получении долга полностью и освободил узника.

— Мистер Плорниш, — сказал Кленнэм, — я надеюсь, что вы сохраните мою тайну. Если вы возьметесь сообщить этому молодому человеку, что он освобожден, но что вы не имеете права назвать имя его освободителя, то окажете этим большую услугу не только мне, но и ему самому и его сестре.

— Последнего совершенно достаточно, сэр, — сказал Плорниш. — Ваше желание будет исполнено.

— Вы можете, если угодно, сказать, что за него

заплатил друг — друг, который надеется, что он хорошо использует свою свободу, если не ради себя самого, то хоть ради сестры.

— Ваше желание, сэр, будет исполнено.

— И если вы, будучи хорошо знакомы с положением семьи, станете откровенно указывать мне, когда, по вашему мнению, я могу оказать услугу Крошке Доррит, то я буду вам очень обязан.

— Не говорите этого, сэр, — возразил Плорниш, — это будет для меня истинное удовольствие и... — Не зная, чем заключить свою фразу, мистер Плорниш после двукратных усилий благоразумно оборвал ее, затем получил от Кленнэма карточку и соответственное денежное вознаграждение.

Он желал немедленно окончить свое поручение, и Кленнэм желал того же. Ввиду этого Кленнэм решил подвезти его к Маршалси, и они поехали через Блэкфрайерский мост. По пути новый приятель Артура познакомил последнего в довольно бестолковом рассказе с домашней жизнью подворья «Разбитые сердца». По словам мистера Плорниша, его обитателям приходилось туго, очень туго. Он не мог объяснить, почему это так выходило, и полагал, что никто не объяснит, почему так выходило, но знал одно: что выходило

именно так. Когда человек чувствует на своей спине и на своем хребте, что он беден, тогда этот человек (мистер Плорниш был глубоко убежден в этом) очень хорошо знает, что он беден по той или другой причине, и уж этого убеждения вы из него не выбьете. Видите ли, люди, которым живется лучше, часто говорят, что обитатели подворья непредусмотрительны (самое любимое у них словечко). Если, например, они видят, что человек отправляется с семьей в Хэмптон-корт — быть может, один-единственный раз в году, — то говорят ему: «Эге, а ведь я думал, что вы бедняк, мой непредусмотрительный друг». Господи боже мой, да чего же вы хотите от человека? Что же, по-вашему, делать человеку? Взбеситься с тоски? Да если же он взбесится, вы не похвалите его за это. По мнению мистера Плорниша, вы скорей разнесете его за это. А между тем вы точно хотите, чтобы человек взбесился с тоски. Вы всегда добиваетесь этого не тем, так другим путем. Что они делали в подворье? Да вот загляните сами, увидите. Тут были девушки и их матери, которые занимались шитьем, или починкой башмаков, или вязанием, или починкой платья, днем и ночью, ночью и днем, и все-таки не могли свести концы с концами. Были тут всевозможные ремес-

ленники, все нуждавшиеся в работе, но работы не находилось. Были тут старики и старухи, которые, проработав всю жизнь, попадали в работные дома, где их кормили, содержали и помещали хуже, чем промышленников (мистер Плорниш хотел сказать: злоумышленников). Что же поделаешь, когда человеку негде достать корку хлеба. А кто в этом виноват?.. Мистер Плорниш не знал, кто в этом виноват. Он мог только указать людей, которым приходилось страдать, но не мог объяснить, по чьей вине им приходилось страдать. Да если б и мог объяснить, так никто бы его не стал слушать. Он только знал, что это объясняется неправильно теми, кто берется объяснять. В конце концов он приходил к совершенно нелогичному выводу, что если вы не можете ничего сделать для него, то нечего и соваться к нему. Так рассуждал он: многоречиво, туманно, бестолково, стараясь распутать клубок своего существования, как слепой, который не может найти ни конца ни начала, — пока они не подъехали к воротам тюрьмы. Тут он простился со своим спутником, предоставляя ему соображать на досуге, сколько тысяч Плорнишей в двух шагах от министерства околичностей распевают в бесконечных вариациях ту же арию, никогда не достигающую слуха

этого достославного учреждения.

Глава XIII. Семейство патриарха

Имя мистера Кесби заставило ярче вспыхнуть в памяти Кленнэма едва тлевший огонек участия и интереса, который старалась раздуть миссис Флинтуинч вечером в день его приезда. Флора Кесби была его первая любовь, а Флора Кесби была дочь и единственное дитя старого твердолобого Кристофера (как величали его до сих пор некоторые непочтительные люди, которым приходилось иметь с ним дело), который, как говорили, нажился, сдавая углы беднякам.

Потратив несколько дней на розыски и справки, Артур Кленнэм убедился, что дело Отца Маршалси действительно безнадежное. Он с грустью отказался от мысли помочь ему вернуться на свободу.

В сущности, не было смысла наводить дальнейшие справки относительно Крошки Доррит, но он старался уверить себя, что для бедного ребенка может оказаться полезным, если он возобновит старинное знакомство. Вряд ли нужно прибавить, что он зашел бы к мистеру Кесби и в том случае, если бы никакой Крошки Доррит не существовало на свете; все мы, то есть все люди,

если не брать в расчет самых глубин нашего «я», склонны обманывать себя насчет побудительных причин наших поступков.

С приятным и совершенно искренним убеждением, что он действует на пользу Крошки Доррит, Кленнэм отправился однажды вечером к мистеру Кесби.

Мистер Кесби обитал в квартале Грейс-Инн, в конце улицы, которая, по-видимому, собиралась спуститься в долину и взбежать на вершину Пентонвильского холма, но, пробежав двадцать ярдов, выбилась из сил и остановилась. Теперь ее уже нет на том месте, но она оставалась там долгие годы, смущенно поглядывая на пустырь, испещренный, словно прыщами, запущенными садами и точно из-под земли выскочившими дачами, обогнать которые она не успела.

«Дом, — подумал Кленнэм, подходя к подъезду, — так же мало изменился, как дом моей матери, и выглядит столь же угрюмо. Но сходство ограничивается внешностью. Я знаю, что тут уютно внутри. Мне кажется, я отсюда ощущаю запах роз и лаванды».

Когда он постучал блестящим медным молотком старинной формы, горничная отворила дверь, и слабый аромат действительно повеял на

него, как зимний ветерок, в котором слышится еще слабое дыхание минувшей весны. Он вошел в скромный, строгий, тихий дом, и, казалось, дверь затворилась за ним без шума и движения. Обстановка была строгая, суровая, квакерская [20], но хорошего стиля. Большие часы тикали где-то на лестнице, и молчаливая птица долбила свою клетку, точно аккомпанируя часам. Огонь мигал в камине гостиной. Перед камином сидел господин, в кармане которого явственно тикали часы.

Горничная протикала два слова: «Мистер Кленнэм» — так тихо, что господин не слыхал их, и удалилась, притворив за собой дверь. Человек преклонного возраста, с пушистыми седыми бровями, которые, казалось, тоже тикали в ответ на вспышки огня, сидел в кресле, опустив ноги в мягких туфлях на каминный коврик, и вертел большими пальцами рук. Это был старый Кристофер Кесби, так же мало изменившийся за двадцать лет, как его прочная мебель, так же мало подвергавшийся влиянию изменчивых времен года, как старые розы и лаванды в своих фарфоровых горшках.

---

[20] Сноски: 20

Квакер — член распространенной в Англии христианской религиозной секты, которая проповедовала скромный и воздержанный образ жизни.

Быть может, не нашлось бы другого человека в этом тревожном мире, которого так трудно было бы представить себе мальчиком. А между тем он почти не менялся в течение всей своей жизни. Против него, в той же комнате, висел портрет мальчика, в котором всякий признал бы с первого взгляда мистера Кристофера Кесби в десятилетнем возрасте, хотя он держал в руках грабли, к которым в действительности так же мало питал пристрастия, как к водолазному колоколу, и сидел (поджав под себя одну ногу) на клумбе фиалок, погруженный в глубокие не по летам размышления при виде шпиля деревенской церкви. То же гладкое лицо и лоб, те же спокойные голубые глаза, тот же ясный вид. Сияющая лысая голова, казавшаяся такой огромной, потому что ярко светилась, и длинные седые шелковистые кудри, обрамлявшие ее с боков и сзади и казавшиеся такими благосклонными, потому что никогда не подстригались, разумеется, не были заметны у мальчика. Тем не менее в херувимчике с граблями нетрудно было различить в зачаточном состоянии все черты патриарха в мягких туфлях.

Патриархом называли его многие. Соседние старушки отзывались о нем как о последнем из

патриархов. Он был такой седовласый, такой важный, такой спокойный, такой бесстрастный — истый патриарх. Художники и скульпторы почтительно обращались к нему на улице с просьбами послужить моделью для патриарха.

Филантропы обоих полов справлялись, кто это такой, и, получив в ответ: «Старый Кристофер Кесби, бывший управляющий лорда Децимуса Тита Полипа», восклицали в припадке разочарования: «О, с такой головой — ужели он не благодетель рода человеческого! О, с такой головой — ужели он не отец сиротам, не защитник беззащитным!»

Но с такой головой он оставался старым Кристофером Кесби, которого молва считала богатым домовладельцем, и с такой головой он сидел теперь в тиши гостиной. Впрочем, было бы совершенно неразумно ожидать, что он вздумает сидеть в ней без головы.

Артур Кленнэм пошевелился, чтобы привлечь его внимание, и седые брови обратились к нему.

— Виноват, — сказал Кленнэм, — кажется, вы не слышали, когда вам доложили обо мне?

— Нет, сэр, не слышал. Вы ко мне по делу, сэр?

— Я желал засвидетельствовать вам свое почтение.

По-видимому, мистер Кесби был несколько

разочарован этими словами и приготовился к тому, что посетитель предложит ему нечто более существенное.

— С кем имею честь, сэр? — продолжил он. — Не угодно ли вам присесть?.. С кем имею честь, сэр?.. А, да, кажется, я знаю, с кем! Кажется, я узнаю эти черты. Мистер Флинтуинч известил меня о возвращении на родину джентльмена…

— Который находится перед вами в настоящую минуту.

— Неужели? Мистер Кленнэм?

— Он самый, сэр!

— Мистер Кленнэм, я рад вас видеть. Как вы поживаете с тех пор, как мы виделись в последний раз?

Не считая нужным объяснять, что за четверть столетия с ним произошли кое-какие перемены в духовном и физическом отношениях, Кленнэм отвечал в общих выражениях, что он чувствует себя превосходно, и пожал руку владельцу «такой головы», озарявшей его своим патриархальным сиянием.

— Мы постарели, мистер Кленнэм, — сказал Кристофер Кесби.

— Мы не помолодели, — ответил Кленнэм. Высказав это мудрое замечание, он заметил, что

не блещет остроумием, и почувствовал себя не в своей тарелке.

— А ваш почтенный отец, — сказал мистер Кесби, — приказал долго жить. Мне было весьма прискорбно узнать об этом, мистер Кленнэм, весьма прискорбно.

Артур отвечал какой-то шаблонной фразой, выражавшей его глубокую признательность.

— Было время, — сказал мистер Кесби, — когда я и ваши родители не совсем ладили. Между нами возникали кое-какие семейные недоразумения. Ваша почтенная матушка довольно ревниво относилась к своему сыну — я разумею вас, уважаемый мистер Кленнэм.

Его гладкая физиономия своим цветущим видом напоминала спелый персик. Это цветущее лицо, эта голова, эти голубые глаза производили впечатление редкой мудрости и добродетели. Равным образом лицо его дышало благосклонностью. Никто не мог бы определить, где именно обреталась эта мудрость, или добродетель, или благосклонность, но все эти качества, казалось, витали где-то около него.

— Как бы то ни было, — продолжил мистер Кесби, — время это прошло и миновало, прошло и миновало. Мне случается иногда навещать

вашу уважаемую матушку, и я всегда удивляюсь мужеству и энергии, с которыми она переносит свои испытания, переносит свои испытания.

Он повторял одну и ту же фразу, скрестив перед собою руки и слегка нагнув голову набок, с ласковой улыбкой, как будто в душе его таилось нечто слишком нежное и глубокое, чтобы быть выраженным в словах. Казалось, он не хотел высказать этого, чтобы не воспарить слишком высоко, и предпочитал скрыть свои нежные чувства.

— Я слыхал, что в одно из своих посещений, — сказал Кленнэм, пользуясь удобным случаем, — вы рекомендовали моей матери Крошку Доррит.

— Крошку Доррит?.. Белошвейка, которую рекомендовал мне один из моих жильцов. Да-да, Доррит ее фамилия. Так-так, вы называете ее «Крошка Доррит».

«Нет, здесь ничего не добьешься. Тут ничего не выжмешь. Не стоит и продолжать».

— Моя дочь Флора, — сказал мистер Кесби, — вышла замуж и обзавелась своим домиком несколько лет назад, как вы, вероятно, слышали, мистер Кленнэм. Она имела несчастие потерять мужа через несколько месяцев после свадьбы. Теперь она снова живет со мной. Она будет рада

увидеть вас, если вы позволите мне сообщить ей о вашем посещении.

— Конечно, — сказал Кленнэм, — я бы сам попросил вас об этом, если бы ваша любезность не предупредила меня.

В ответ на это мистер Кесби встал в своих мягких туфлях и направился к двери медленной тяжелой походкой (у него была слоновая фигура). На нем был длиннополый, бутылочного цвета сюртук с широкими рукавами, бутылочного цвета панталоны и бутылочного цвета жилет. Патриархи не носили тонкого сукна бутылочного цвета, тем не менее сукно выглядело патриархальным.

Лишь только он вышел из комнаты, чья-то быстрая рука отодвинула задвижку наружной двери, открыла ее и снова затворила. Секунду спустя какой-то проворный и вертлявый коротенький смуглый человек влетел в комнату так стремительно, что едва-едва успел остановиться, не наскочив на Кленнэма.

— Хэлло! — сказал он.

Кленнэм не видел причины, почему бы тоже не ответить:

— Хэлло!

— В чем дело? — спросил смуглый человек.

— Я не слыхал ни о каком деле, — ответил Кленнэм.

— Где мистер Кесби? — спросил смуглый человек, осматривая комнату.

— Он сейчас будет здесь, если вы желаете его видеть…

— Я желаю его видеть? — повторил смуглый человечек. — А вы не желаете?

Кленнэм в немногих словах объяснил, куда девался Кесби. Тем временем смуглый человечек отдувался и пристально смотрел на него.

Одежда его была частью черная, частью цвета ржавчины с серым оттенком; он обладал черными глазками, в виде бисеринок, крошечным черным подбородком, жесткими черными волосами, которые торчали на его голове пучками во все стороны, придавая ей вид проволочной щетки. Цвет лица у него был темный вследствие природной смуглости, или искусственной грязи, или совместного влияния природы и искусства. Руки — грязные, с грязными обкусанными ногтями. Казалось, он только что возился с углем. Он отдувался, пыхтел, хрипел, сопел и сморкался, как небольшой паровоз.

— О, — сказал он, когда Артур рассказал о своем посещении, — очень хорошо! Превосходно! Если

он спросит о Панксе, будьте добры, скажите ему, что Панкс пришел. — С этими словами он, пыхтя и отдуваясь, выкатился в другую дверь.

Давнишние, слышанные еще в старые дни, сомнительного свойства слухи насчет последнего из патриархов, носившиеся в воздухе, каким-то неведомым путем всплыли в памяти Артура. Еще тогда, в атмосфере тогдашнего времени, носились какие-то странные толки и намеки, в силу которых выходило, что Кристофер Кесби — только вывеска гостиницы без самой гостиницы, приглашение отдохнуть и быть благодарным, когда на самом деле отдыхать негде и благодарить не за что. Он знал, что некоторые из этих намеков изображали мистера Кесби человеком, способным таить хищнические замыслы в «такой голове», и попросту хитрым обманщиком.

Были и другого рода слухи, изображавшие его тяжелым себялюбивым неповоротливым олухом, который, ковыляя по жизненному пути и сталкиваясь с другими людьми, набрел случайно на открытие, что для житейского успеха и благополучия совершенно достаточно держать язык на привязи, лысину в опрятности и кудри до плеч, и имел настолько смекалки, чтобы ухватиться за это открытие и воспользоваться им. Говорили,

будто он попал в управляющие к лорду Децимусу Титу Полипу не столько за свои деловые способности, сколько за свой величаво-благосклонный вид, заставлявший предполагать, что у такого человека не пропадет ни копейки; что в силу той же причины он и из своих жалких притонов извлекал большие выгоды, чем извлек бы другой, с менее внушительной и блестящей лысиной. Одним словом, говорили (все это Кленнэм припоминал, сидя один в комнате), будто многие люди выбирают то, что им нравится, так же, как упомянутые выше скульпторы и художники — свои модели; и как на выставке в Королевской академии [21] какой-нибудь гнуснейший проходимец ежегодно фигурирует в качестве воплощения всех добродетелей за свои ресницы, подбородок, ноги (насаждая таким образом шипы сомнений в груди более проницательных наблюдателей природы), так и на великой социальной выставке наружные качества часто принимаются за внутренний характер.

Вспоминая все эти вещи и связывая их с появлением Панкса, Артур Кленнэм склонялся в сторону мнения (не решая этого вопроса окончательно),

[21] Сноски: 21

Королевская академия — академия художеств в Лондоне, основанная в 1768 г.

что последний из патриархов, действительно неповоротливый олух, все достоинство которого заключается в хорошо отполированной лысине. И как на Темзе видишь иногда неповоротливый корабль, который тяжело спускается по течению, пока не вынырнет откуда ни возьмись черный грязный пароходик, заберет его на буксир и потащит куда следует, так точно и в данном случае громоздкий патриарх тащился на буксире за маленьким, грязным, пыхтящим Панксом.

Возвращение мистера Кесби с его дочерью Флорой положило конец этим размышлениям. Стоило только Кленнэму взглянуть на предмет своей давнишней страсти, чтобы вся его былая любовь разлетелась вдребезги.

Большинство людей настолько верны самим себе, что упорно держатся за старую идею. И если идея не выдержит сравнения с действительностью и в результате явится разочарование, это отнюдь не будет доказательством непостоянства — скорее наоборот. Так было и с Кленнэмом. В дни своей юности он пламенно любил эту женщину, посвящая ей скрытые сокровища своего чувства и воображения. В его безотрадном доме это сокровище лежало, как деньги у Робинзона, бесплодно ржавея в темноте, пока он не излил его перед

ней. И хотя с момента разлуки он никогда не соединял представления о ней с настоящим или будущим, как будто она умерла (что и в действительности могло случиться), но фантастический образ прошлого сохранялся неприкосновенным в святая святых его души. И вот теперь, после всего этого, последний из патриархов спокойно вошел в гостиную, говоря: «Будьте добры бросить его и распинать ногами».

Бот Флора.

Флора всегда была высокого роста, а теперь раздалась в ширину и страдала одышкой, но это бы еще ничего; Флора, которую он оставил лилией, превратилась в пион, но и это бы еще ничего; Флора, которая казалась ему очаровательной в каждом слове и каждой мысли, оказалась теперь болтливой и глупой — и вот это было уже слишком. Флора, которая много лет назад была избалованной и наивной, решилась и теперь быть избалованной и наивной. Это было роковым ударом.

Это Флора!

— Я боюсь, — захихикала Флора, тряхнув головкой, — мне просто стыдно встретиться с мистером Кленнэмом, — я знаю, что страшно изменилась и теперь совсем старуха, — ужасно сознавать это,

просто ужасно!

Он поспешил уверить ее, что она именно такова, какой он ожидал ее встретить, а вот его самого время не пощадило.

— О, но вы мужчина, это совсем другое дело, и притом вы выглядите таким молодцом, что не имеете права жаловаться на судьбу, а я... О! — воскликнула Флора, чуть взвизгнув. — Я ужасна!

Патриарх, видимо, еще не определивший своей роли в этом представлении, сиял благодушием.

— Но если кто не изменился, — продолжила Флора, которая, раз начав говорить, никогда не могла добраться до точки, — вот он. Посмотрите на папу: не правда ли, папа совершенно такой, каким был, когда вы его видели в последний раз; и как это жестоко и противоестественно со стороны папы оставаться живым упреком для своей дочери; если так пойдет дальше, то скоро люди начнут думать, что я папина мама!

— До этого еще далеко, — заметил Артур.

— О мистер Кленнэм, вы самое неискреннее создание, — сказала Флора, — я вижу, что вы не бросили своей старой привычки любезничать — своей старой привычки, когда, помните, уверяли, будто ваше сердце... Впрочем, я не хочу сказать, что... Ах, сама не знаю, что говорю. — Тут Флора

снова сконфуженно хихикнула и метнула в него один из своих прежних взглядов.

Патриарх, по-видимому начинавший соображать, что его роль в этом представлении сводится к тому, чтобы уйти как можно скорее со сцены, встал и отправился в ту дверь, куда выплыл Панкс, окликая этот буксир по имени. Буксир отозвался из какого-то отдаленного дока, и патриарх исчез в этом направлении.

— И думать не смейте уходить, — сказала Флора (Артур, чувствуя себя в самом дурацком положении, взялся было за шляпу), — не может быть, чтобы вы были такой нелюбезный, Артур… я хочу сказать — мистер Артур, или я подумаю, что мистер Кленнэм совершенно забыл… Ах, право, я сама не знаю, что говорю… но когда подумаю о милом старом времени, которое минуло навсегда, мне начинает казаться, что лучше бы вовсе не вспоминать о нем, и, по всей вероятности, вы нашли гораздо более приятный предмет и уж, конечно, забыли и думать обо мне, а между тем было время… Но я опять говорю бог знает что…

Неужели Флора была такой же болтушкой в те старые дни, о которых вспоминала? Неужели чары, околдовавшие его, были таким же бессвязным лепетаньем!

— Право, я подозреваю, — продолжила Флора с той же изумительной быстротой, разделяя свою речь только запятыми, да и то изредка, — что вы женились на какой-нибудь китайской леди, вы так долго жили в Китае и, конечно, хотели расширить и укрепить свои деловые знакомства и связи, что же мудреного, что вы решились сделать предложение какой-нибудь китайской леди, и конечно, я уверена в этом, китайская леди приняла ваше предложение и была ему очень рада, я надеюсь только, что она не принадлежит к какой-нибудь языческой секте.

— Я не женат ни на какой леди, Флора, — сказал Артур, невольно улыбаясь.

— О боже милостивый, я надеюсь, вы не из-за меня остались холостяком! — прощебетала Флора. — Прошу вас, не отвечайте мне, я сама не знаю, что говорю. Скажите, правда ли, что у китайских леди такие длинные и узкие глаза, как их рисуют, и правда ли, что они заплетают волосы в косу, или это делают только мужчины?.. А когда они так туго натягивают волосы надо лбом, разве им не больно, и зачем они вешают колокольчики на мостах, на храмах, и на шляпах, и на разных других вещах, или все это выдумка? — Флора снова метнула в него прежний взгляд и продолжила,

точно он успел ответить на все ее вопросы: — Так это все верно, и они действительно так делают, милый Артур! Простите, старая привычка; мистер Кленнэм — гораздо приличнее. Как подумаешь, прожить так долго в подобной стране, и какая там масса фонарей и зонтиков; должно быть, там очень темно и постоянно идут дожди, да и наверно идут, но какая там обширная торговля этими предметами, ведь в Китае каждый ходит с фонарем и зонтиком и вешает их где попало; вот тоже и маленькие туфли, и этот ужасный обычай искривлять ногу с самого детства. Ах какой вы путешественник!

В своем комическом смущении Кленнэм снова получил один из прежних взглядов, решительно не зная, что с ним делать.

— Боже, боже! — продолжила Флора. — Как подумаешь, сколько перемен нашли им на родине. Артур (не могу отделаться от старой привычки — кажется, так естественно; мистер Кленнэм гораздо приличнее), после того как вы так хорошо освоились с китайскими обычаями и языком, которым вы наверно владеете не хуже китайца, если не лучше, вы всегда были такой способный и понятливый, хотя он, конечно, страшно трудный, я умерла бы от одних ящиков с чаем, такие

перемены, Артур (ах, опять я, кажется, — так естественно, но совершенно неприлично), просто представить себе нельзя, кто бы мог представить себе миссис Финчинг, когда и сама не могу этого представить себе.

— Это ваша теперешняя фамилия? — спросил Артур, тронутый теплым чувством, пробивавшимся в ее бессвязном лепете, когда она вспоминала об их прежних отношениях. — Финчинг?

— Финчинг, о да, не правда ли, ужасная фамилия, но, как говорил мистер Финчинг, делая мне предложение, которое он повторял семь раз в течение тех двенадцати месяцев, когда он, по его выражению, ухаживал за мной, он не был виноват в этом и не мог помочь этому, не так ли? Прекрасный человек! Не такой, как вы, но прекрасный человек!

Ей пришлось наконец остановиться на мгновение, чтобы перевести дух. Только на мгновение, так как, едва она успела перевести дух, поднеся к глазам кончик носового платка — дань скорби покойному супругу, — как начала снова:

— Никто не станет отрицать, Артур… мистер Кленнэм… что при таких изменившихся обстоятельствах вы не могли сохранить прежнего чувства ко мне, но я все-таки не могу не вспо-

минать о старых временах, когда было совсем, совсем другое!

— Милая миссис Финчинг… — начал Артур, вторично тронутый ее задушевным тоном.

— О, зачем это гадкое, безобразное имя, скажите — Флора.

— Флора, уверяю вас, Флора, я счастлив, что вижу вас снова и что вы, как и я, не забыли безумных грез старых дней, когда мы видели все в свете нашей юности и надежды.

— Не похоже, чтоб вы их помнили, — заметила Флора, надув губки, — вы кажетесь таким холодным; я вижу, что вы разочаровались во мне. Вероятно, причиной этому китайские леди, мандаринки (кажется, они так называются), а может быть, я сама причиной… впрочем, это решительно все равно.

— Нет-нет, — перебил Кленнэм, — не говорите этого.

— О, я очень хорошо знаю, — возразила Флора решительным тоном, — что я совсем не такая, какой вы ожидали меня найти, очень хорошо знаю.

При всей своей поверхностности она, однако, заметила это с быстротой понимания, которая сделала бы честь более умной женщине. Но ее

бестолковые и нелепые попытки переплетать давно минувшие детские отношения с настоящим разговором произвели на Кленнэма такое впечатление, что ему показалось, будто он бредит.

— Я сделаю только одно замечание, — продолжила Флора, незаметно придавая разговору характер любовной ссоры, к великому ужасу Кленнэма, — скажу только одно слово: когда ваша мама пришла и сделала сцену моему папе и когда меня позвали вниз, в маленькую столовую, где они сидели на стульях, а между ними зонтик вашей мамы, и смотрели друг на друга, как два бешеных быка, что же мне было делать?

— Милая миссис Финчинг, — сказал Кленнэм, — все это было так давно и кончилось так давно, что стоит ли серьезно…

— Я не могу, Артур, — возразила Флора, — когда все китайское общество называет меня бессердечной, не воспользоваться случаем оправдаться, и вы должны очень хорошо знать, что были Павел и Виргиния [22], которая должна была вернуться и действительно вернулась без всяких разговоров. Я не хочу сказать, что вы должны были мне

[22] Сноски: 22

Герои одноименного романа французского писателя Б. де Сен-Пьера (1737–1814).

написать, но если бы только получила конверт с красной облаткой, знаю, что решилась бы идти в Пекин, Нанкин и… как называется третий город… босиком.

— Милая миссис Финчинг, никто не осуждает вас, и я никогда не осуждал вас. Мы оба были слишком молоды, слишком зависимы, слишком беспомощны, нам оставалось только покориться судьбе. Умоляю вас, вспомните, как давно это было, — ласково уговаривал Кленнэм.

— Я сделаю еще одно замечание, — продолжила Флора с необузданным многословием, — я скажу еще одно слово: у меня пять дней болела голова от плача, и я провела их безвыходно в маленькой гостиной, она и теперь цела на первом этаже и до сих пор осталась маленькой и может подтвердить мои слова, а когда это ужасное время прошло, и потянулись годы за годами, и мистер Финчинг познакомился со мной у нашего общего друга, он был ужасно любезен и зашел к нам на следующий день и стал заходить по три раза в неделю и присылать разные вкусные вещи к ужину, это была не любовь, а просто обожание со стороны мистера Финчинга, и когда мистер Финчинг сделал предложение с ведома и одобрения папы, что же я могла поделать?

— Разумеется, ничего, — поспешно ответил Кленнэм, — кроме того, что вы сделали. Позвольте вашему старому другу уверить вас, что вы поступили совершенно правильно.

— Я хочу сделать одно последнее замечание, — продолжила Флора, отталкивая житейскую прозу мановением руки, — я хочу сказать одно последнее слово: было время, когда мистер Финчинг еще не делал заявлений, в смысле которых невозможно было ошибиться, но оно прошло и не вернется; милый мистер Кленнэм, вы уже не носите золотой цепи, вы свободны, я надеюсь — вы будете счастливы; вот папа — он невыносим: всегда сует свой нос всюду, где его не спрашивают!

С этими словами и торопливым жестом робкого предостережения — жестом, к которому привыкли глаза Кленнэма в старые дни, — бедная Флора простилась с далеким-далеким восемнадцатилетним возрастом и, вернувшись к действительности, наконец умолкла или, скорее, оставила половину своего «я» восемнадцатилетней девушкой, а другую — вдовой покойного мистера Финчинга, возбуждая в Кленнэме странное чувство жалости и смеха.

Вот пример. Как будто между ней и Кленнэмом существовали тайные отношения самого роман-

тического свойства, как будто целая вереница почтовых карет поджидала их за углом с тем, чтобы везти в Шотландию, и как будто она не могла (и не хотела) отправиться с ним в ближайшую церковь, под сенью семейного зонтика, напутствуемая благословениями патриарха и сочувствием всего человечества. Флора облегчала свое сердце таинственными намеками, трепеща, как бы он не выдал их тайны Кленнэму; все более и более казалось, что он бредит, глядя, как вдова покойного мистера Финчинга навязывала себе и ему старые роли и разыгрывала старое представление — теперь, когда сцена запылилась, и декорации выцвели, и молодые актеры умерли, и оркестр опустел, и лампы угасли. И вместе с тем в этом карикатурном воспроизведении того, что когда-то было в ней так мило и естественно, пробивалась струя нежного чувства, вызванного его появлением.

Патриарх пригласил его обедать, и Флора сделала знак, говоривший: «Останьтесь!» Кленнэму так хотелось сделать что-нибудь большее, чем остаться обедать; так хотелось найти прежнюю Флору (или Флору, которой никогда не было); так совестно было своего разочарования, что он считал обязанностью исполнить семейное желание,

видя в этом хоть слабое искупление своей вины. Итак, он остался обедать.

Панкс обедал вместе с ними. Панкс выплыл из своего отдаленного дока без четверти шесть и тотчас пустился на выручку патриарха, который совсем было сел на мель, завязнув в бессодержательном рассказе о подворье «Разбитые сердца». Панкс немедленно подцепил его на буксир и стащил с мели.

— «Разбитые сердца», — сказал Панкс, фыркнув и высморкавшись, — хлопотливая собственность. Плата хорошая, но собирать ее беда! С этим одним местом больше хлопот, чем со всеми остальными, что у вас есть, вместе.

Как огромный корабль на буксире кажется большинству зрителей настоящим источником движения, так и патриарх, казалось, высказывал все, что Панкс говорил за него.

— В самом деле? — возразил Кленнэм, который под влиянием сияющей лысины испытывал именно это впечатление, так что даже обращался к кораблю, а не к буксиру. — Неужели тамошние жильцы так бедны?

— Кто их знает, — пропыхтел Панкс, доставая грязную руку из кармана цвета ржавчины с серым оттенком и пытаясь грызть ногти, кото-

рых не было, — бедны они или нет. Они говорят — бедны, но ведь это все говорят. Когда человек говорит, что он богат, можно почти наверняка сказать, что он не богат. К тому же, если они действительно бедны, то вы ведь не можете этому помочь. Вы сами сделаетесь бедным, если перестанете собирать вашу ренту.

— Пожалуй, что так, — заметил Артур.

— Вы не можете открыть свой дом для всех бедняков Лондона, — продолжил Панкс. — Вы не можете отвести им всем даровые квартиры. Вы не раскроете им ворота: пожалуйте, мол, будьте как дома!

Мистер Кесби покачал головой с видом ясной и благодушной неопределенности.

— Если человек нанимает у вас комнату за полкроны в неделю, а когда пройдет неделя, не уплатит вам полкроны, вы спросите его: «Зачем же ты нанимал комнату? Если ты не можешь добыть денег, зачем ты нанимал комнату? Что ты сделал со своими деньгами? Куда ты девал их? Что это значит? Что ты вообразил себе?» Вот что вы скажете этому человеку, а не скажете — тем хуже для вас!

Тут мистер Панкс произвел странный шумный звук, как будто попробовал высморкаться, но без

всякого результата, кроме акустического.

— У вас, кажется, обширные владения в этом роде в восточной и северо-восточной части города? — сказал Кленнэм, не зная, к кому обратиться.

— О да, порядочные, — ответил Панкс. — Но вы не особенно заботитесь о восточной или северо-восточной части, все румбы компаса для вас безразличны. Вам нужно хорошо поместить капитал, чтобы аккуратно получать проценты — получать везде, где только можно получить. Вы не станете особенно заботиться о местоположении, нет, не станете!

В шатре патриарха оказалась четвертая и в высшей степени оригинальная особа, тоже явившаяся к обеду. Это была курьезная старушка с лицом деревянной куклы, слишком дешевой, чтобы иметь выражение, в желтом парике, приютившемся у нее на маковке, как будто ребенок, которому принадлежала кукла, приколотил ее гвоздиком, так что он держался только в одной точке. Другая замечательная черта этой старушки заключалась в рытвинах на лице, в особенности на кончике носа, как будто ребенок, которому принадлежала кукла, расковырял ей физиономию каким-нибудь тупым орудием вроде ложки.

Третья замечательная черта старушки заключалась в том, что у нее не было собственного имени — ее звали теткой мистера Финчинга.

Она явилась перед посетителем при следующих обстоятельствах: когда первое блюдо было подано на стол, Флора спросила, известно ли мистеру Кленнэму, что мистер Финчинг оставил ей наследство. В ответ на это Кленнэм выразил надежду, что мистер Финчинг завещал своей обожаемой супруге большую часть своего состояния, если не все. Флора сказала: о да, она не это имела в виду, мистер Финчинг составил превосходное завещание, но оставил ей в качестве особой статьи наследства свою тетку. Затем она вышла из комнаты и, вернувшись с наследством, довольно торжественно отрекомендовала: «Тетка мистера Финчинга!»

Главной чертой характера, замеченной посетителем в тетке мистера Финчинга, была крайняя суровость и мрачная молчаливость, прерываемая иногда замечаниями, которые произносились мрачным гробовым тоном и, не имея ни малейшей связи с тем, что говорилось за столом, наводили смущение и страх на окружающих. Возможно, эти замечания были связаны с какой-нибудь внутренней работой мысли, были даже

очень остроумны, но ключа к ним не имелось.

Обед был хорош и прекрасно сервирован (в патриархальном хозяйстве придавалось большое значение пищеварению) и начался супом, жареной камбалой, соусом из креветок и блюдом картофеля. Разговор зашел о собирании квартирной платы. Тетка мистера Финчинга, минут десять весьма недоброжелательно посмотрев на компанию, изрекла зловещее замечание:

— Когда мы жили в Хэнли, медник украл гусака у Барнса!

Мистер Панкс храбро кивнул и заметил одобрительным тоном:

— Как же, как же, сударыня!

Но Кленнэм был положительно испуган этим загадочным сообщением. Еще одно обстоятельство усиливало страх, внушаемый этой старушкой: хоть она всегда пристально смотрела на соседа, но не показывала и виду, что узнает или замечает кого-нибудь. Положим, какой-нибудь любезный и внимательный гость захотел бы узнать ее намерения относительно картофеля. Его выразительный жест пропадал даром, и что ему оставалось делать? Не мог же он сказать: «Тетка мистера Финчинга, хотите картофеля?» Всякий бросал ложку, и Кленнэм сделал то же,

сконфуженный и испуганный.

Подавали баранину, котлеты, яблочный пирог: блюда, не имевшие хотя бы самой отдаленной связи с гусаком, и обед шел своим порядком, но для Кленнэма он уже не был пиршеством в волшебном замке, как в иные времена. Когда-то он сиживал за этим самым столом и не видел никого и ничего, кроме Флоры; теперь, глядя на Флору, видел, против своей воли, что она очень любила портер, что избыток чувства не мешал ей поглощать в избытке херес, что ее полнота развилась на солидном фундаменте. Последний из патриархов всегда был отличным едоком и уписывал чудовищные количества твердой пищи с благосклонным видом доброго человека, который кормит своего ближнего. Мистер Панкс, который всегда торопился и время от времени заглядывал в грязную записную книжку, лежавшую подле него на столе (быть может, в ней был список имен неплательщиков и он хотел просмотреть его за десертом), расправлялся с едой как со спешной работой, шумел, пыхтел, иногда сопел и фыркал, точно собирался отчаливать.

В течение всего обеда Флора переплетала свое теперешнее пристрастие к еде и напиткам со своим прежним пристрастием к романтической

любви, так что Кленнэм не решался поднять глаза от тарелки, тем более что всякий раз встречал ее значительный и таинственный взгляд, как будто и впрямь между ними был какой-то заговор. Тетка мистера Финчинга сидела молча и мерила его вызывающим взглядом, с выражением глубочайшего презрения, до самого конца обеда; тут, когда уже убрали приборы, она совершенно неожиданно вмешалась в разговор.

Флора только что сказала:

— Мистер Кленнэм, налейте, пожалуйста, портвейна тетке мистера Финчинга.

— Памятник у Лондонского моста, — тотчас же объявила эта леди, — поставлен после большого пожара тысяча шестьсот шестьдесят шестого года, уничтожившего значительную часть города, но это вовсе не тот пожар, когда сгорели лавки вашего дяди Джоржа.

Мистер Панкс с прежним мужеством заметил:

— В самом деле, сударыня. Как же, как же!

Но тетка мистера Финчинга, по-видимому, усмотрела тут какое-то противоречие или оскорбление, так как вместо того, чтобы погрузиться в безмолвие, с бешенством присовокупила:

— Ненавижу дурака!

Она придала этому заявлению — и без того

достаточно сильному — такой несомненно оскорбительный и личный характер, бросив его прямо в лицо гостю, что пришлось удалить тетку мистера Финчинга из столовой. Это и сделала Флора очень спокойно, причем тетка мистера Финчинга не оказала ни малейшего сопротивления, заметив только мимоходом, с неутолимой ненавистью: коли так, зачем же он приходит сюда?

Вернувшись, Флора сообщила, что ее наследство — очень умная женщина, но со странностями и «неожиданными антипатиями» — особенности характера, которыми Флора, по-видимому, гордилась. Так как при этом обнаружилось ее добродушие, то Кленнэм ничуть не сердился на тетку мистера Финчинга теперь, когда избавился от ее зловещего присутствия и мог выпить стаканчик вина на свободе. Заметив, что Панкс намерен сняться с якоря, а патриарх не прочь соснуть, он сказал, что ему нужно навестить мать, и спросил Панкса, в какую сторону тот направляется.

— К Сити, — ответил Панкс.

— Не пойти ли нам вместе? — спросил Артур.

— С удовольствием, — сказал Панкс.

Тем временем Флора успела пролепетать ему на ухо, что было время когда-то, что прошлое поглощено пучиной времени, что золотая цепь уже

не связывает ее, что она чтит память покойного мистера Финчинга, что она будет завтра дома в половине второго, что решения судьбы неизменны, что она вовсе не ожидает встретить его на северо-восточной стороне садов Грейс-Инн в четыре часа пополудни. На прощание он попытался пожать руку настоящей, теперешней Флоре, но она не хотела, и не могла, и была совершенно неспособна разделить их прошлое и настоящее. Он ушел от нее в довольно плачевном состоянии и с таким расстройством в мыслях, что, не случись у него буксира, наверняка проплутал бы добрую четверть часа без толку.

Опомнившись наконец на свежем воздухе, он увидел, что буксир спешит во все лопатки, обкусывая последние остатки ногтей и фыркая в промежутках.

— Холодный вечер, — заметил Артур.

— Да, свежо, — согласился Панкс. — Вы, как приезжий, вероятно, чувствительнее к климату, чем я. Мне, признаться, некогда замечать его.

— Неужели вы всегда так заняты?

— Да, всегда найдется какое-нибудь дельце. Но я люблю дела, — сказал Панкс, ускоряя шаги. — Для чего же и создан человек?

— Только для этого?

— Для чего же еще? — спросил Панкс вместо ответа.

Этот вопрос выражал в самой краткой форме то, что мучило Кленнэма. Он ничего не ответил.

— Я всегда предлагаю этот вопрос жильцам, — продолжил Панкс. — Некоторые из них делают жалобные лица и говорят мне: «Мы бедны, сударь, но вечно бьемся, хлопочем, трудимся, не знаем минутки покоя». Я говорю им: «Для чего же вы и созданы?» Этот вопрос затыкает им глотки. Они не знают, что ответить. Для чего вы созданы? Этим все сказано.

— О боже мой, боже мой, — вздохнул Артур.

— Вот хоть я, например, — продолжил Панкс. — Для чего я создан, как вы думаете? Только для дела. Поднимите меня как можно раньше с постели, дайте мне как можно меньше времени на еду и гоните меня на работу. Гоните меня на работу, я буду гнать вас на работу, вы будете гнать кого-нибудь на работу… И таким путем все мы исполним человеческий долг в промышленной стране.

Некоторое время они шли молча. Наконец Кленнэм спросил:

— Разве у вас нет пристрастия к чему-нибудь, Панкс?

— Какого пристрастия? — сухо переспросил

Панкс.

— Ну, какой-нибудь наклонности…

— У меня есть наклонность зашибать деньгу, сэр, — ответил Панкс, — если вы мне укажете, как это сделать.

Тут он снова произвел носом звук, точно высморкался, и Кленнэм в первый раз заметил, что это была его манера смеяться. Он был странный человек во всех отношениях: может быть, говорил не вполне серьезно, но резкая, точная, грубая манера, с которой он выпаливал эти сентенции, по-видимому, не вязалась с шуткой.

— Вы, должно быть, не особенный охотник до чтения? — спросил Кленнэм.

— Ничего не читаю, кроме писем и счетов. Ничего не собираю, кроме объявлений о вызове родственников. Если это пристрастие, так вот вам — у меня оно есть. Вы не из корнуолльских Кленнэмов, мистер Кленнэм?

— Насколько мне известно, нет.

— Я знаю, что нет. Я спрашивал миссис Кленнэм. У нее не такой характер, чтоб пропустить что-нибудь мимо рук.

— А если б я был из корнуолльских Кленнэмов?

— Вы бы услышали приятную весть.

— В самом деле? Я слышал мало приятных вестей в последнее время.

— Есть в Корнуолле имение, оставшееся без владельцев, сэр, и нет корнуолльского Кленнэма, который предъявил бы на него права, — сказал Панкс, вытащив из жилетного кармана записную книжку и уложив обратно. — Мне налево. Покойной ночи!

— Покойной ночи, — ответил Кленнэм. Но пароходик, внезапно облегченный и не имея на буксире нового судна, уже пыхтел вдали.

Они вместе прошли Смитфилд и расстались на углу Барбикана. Он вовсе не собирался провести вечер в угрюмой комнате матери и вряд ли бы чувствовал себя более угнетенным и одиноким, если б находился в дикой пустыне. Он повернул на Олдерсгейт-стрит и медленно пошел к собору Святого Павла, чтобы выйти на какую-нибудь людную и шумную улицу, когда толпа народа набежала на него, и он посторонился, чтобы пропустить ее. Он заметил человеческую фигуру на носилках, устроенных наскоро из ставни или чего-то в этом роде, и по обрывкам разговора, по грязному узлу в руках одного из толпы, по грязной шляпе в руках другого догадался, что случилось какое-то несчастье. Носилки остановились подле

фонаря: понадобилось что-то поправить, и толпа тоже остановилась.

— Что это? С кем-нибудь случилось несчастье и его несут в госпиталь? — спросил Кленнэм какого-то старика, который стоял, покачивая головой.

— Да, — ответил тот, — все эти дилижансы! Стоило бы их притянуть к суду и хорошенько разделаться с ними! Они отмахивают по двенадцать-четырнадцать миль в час, эти дилижансы. Как они не убивают людей еще чаще, дилижансы-то эти!

— Надеюсь, что этот человек не убит.

— Не знаю, — сказал старик, — может быть, и не убит, но не потому, чтобы дилижансы не хотели этого. — Старик говорил, скрестив руки на груди и обращаясь со своей гневной речью против дилижансов ко всем, кто захочет слушать. Несколько голосов подтвердило это.

— Эти дилижансы, сэр, просто общественное зло, — сказал Кленнэму один голос.

— Я видел, как один из них чуть не задавил мальчишку вчера вечером, — сказал другой.

— Я видел, как один переехал кошку, а ведь это могла бы быть ваша родная мать, — сказал третий.

Смысл этих замечаний ясно показал, что если бы авторы их пользовались весом в обществе, то употребили бы его против дилижансов.

— Да, англичанин рискует каждый вечер лишиться жизни по милости дилижансов, — снова начал старик, — а ведь он знает, что они всегда готовы раздавить его в лепешку. Чего же ожидать бедняге иностранцу, который ничего о них не знает?

— Это иностранец? — сказал Кленнэм, наклоняясь ближе к носилкам. Среди сыпавшихся со всех сторон ответов вроде: «Португалец, сэр», «Голландец, сэр», «Пруссак, сэр» — он различил слабый голос, просивший воды то по-итальянски, то по-французски. В ответ на это послышался общий говор: «Ах, бедняга, он говорит, что ему уже не встать, и немудрено!» Кленнэм попросил пропустить его к бедняге, сказав, что понимает его речь. Его немедленно пропустили к носилкам.

— Во-первых, он просит воды, — сказал он, оглядываясь. (Дюжина молодцов сейчас же кинулась за ней.) — Вы сильно ушиблены, друг мой? — спросил он по-итальянски.

— Да, сэр, да, да, да. Моя нога, сэр, моя нога. Но мне приятно слышать родной язык, хотя мне очень скверно.

— Вы путешественник? Постойте! Вот вода! Я вас напою.

Носилки были положены на груду камней. Приподнявшись на локте, раненый мог поднести стакан к губам другой рукой. Это был маленький мускулистый смуглый человек с черными волосами и белыми зубами. Живое лицо. В ушах серьги.

— Хорошо… Вы путешественник?

— Конечно, сэр.

— Совершенно чужой в этом городе?

— Конечно, конечно, совершенно. Я приехал в этот несчастный день.

— Откуда?

— Марсель.

— Вот оно что! Я тоже. Я почти такой же чужестранец здесь, как вы, хотя родился в этом городе. Я тоже недавно приехал из Марселя. Не унывайте. — Чужестранец жалобно взглянул на него, когда Кленнэм приподнялся и осторожно поправил пальто, прикрывавшее раненого. — Я не оставлю вас, пока вы не устроитесь. Смелее. Через полчаса вам будет гораздо лучше.

— А! Altro, altro! — воскликнул бедняга слегка недоверчивым тоном и, когда его подняли, свесил руку с носилок и помахал указательным

пальцем.

Артур Кленнэм пошел рядом с носилками, ободряя незнакомца, которого снесли в соседний госпиталь Святого Варфоломея. В госпиталь впустили только Кленнэма да носильщиков, раненого осторожно положили на стол, и хирург явился, откуда ни возьмись, так же быстро, как само несчастье.

— Он, кажется, не знает ни слова по-английски, — сказал Кленнэм. — Сильно он изувечен?

— А вот посмотрим сначала, — ответил хирург, продолжая осмотр с профессиональным увлечением, — а потом скажем.

Ощупав ногу пальцем, потом двумя пальцами, рукой, потом обеими руками, сверху и снизу, вверху и внизу, по всем направлениям, и указав на какие-то интересные подробности другому джентльмену, своему товарищу, хирург потрепал пациента по плечу и сказал:

— Пустяки. Будет здоров! Случай трудный, но мы не отнимем ему ноги.

Кленнэм объяснил это пациенту, который очень обрадовался и в порыве благодарности несколько раз поцеловал руки переводчику и хирургу.

— Все-таки серьезное повреждение? — спросил

Кленнэм у хирурга.

— Да-а, — ответил хирург довольным тоном художника, который заранее любуется своей работой. — Да, довольно серьезное. Сложный перелом выше колена и вывих ниже. Превосходные увечья.

Он снова хлопнул пациента по плечу, как будто хотел выразить свое одобрение этому славному парню, переломившему ногу таким интересным для науки способом.

— Он говорит по-французски? — спросил хирург.

— О да, он говорит по-французски.

— Ну, так его здесь поймут. Вам придется потерпеть, друг мой, и постараться перенести маленькую боль молодцом, — прибавил он на французском языке, — но не беспокойтесь, мы живо поставим вас на ноги. Теперь посмотрим, нет ли еще какого-нибудь повреждeньица и целы ли наши ребра.

Еще повреждeньица не оказалось, и наши ребра были целы.

Кленнэм оставался, пока все необходимые меры не были приняты: бедняк, заброшенный в чужую незнакомую сторону, трогательно умолял его не уходить, — и сидел у постели больного,

пока тот не забылся сном. Тогда он написал несколько слов на своей карточке, обещая зайти завтра, и попросил передать ее больному, когда тот проснется.

Все это заняло столько времени, что, когда он уходил из госпиталя, было уже одиннадцать часов вечера. Артур снимал квартиру в Ковент-Гардене, и теперь он отправился в этот квартал ближайшим путем, через Сноу-хилл и Холборн.

Оставшись наедине после всех тревог этого вечера, он, естественно, погрузился в задумчивость. Естественно также, что не прошло и десяти минут, как ему вспомнилась Флора. Она напомнила ему всю его жизнь, так печально сложившуюся и столь бедную счастьем.

Добравшись до своей квартиры, он сел перед угасающим камином и мысленно перенесся к окну своей старой комнаты, где стоял он когда-то, глядя на лес закопченных труб. Перед ним развертывалась унылая перспектива его существования до нынешнего вечера. Как долго, как пусто, как безотрадно! Ни детства, ни юности — одно-единственное воспоминание, и то оказалось бредом.

Это было жестоким ударом для него, хотя для другого могло показаться пустяками. Все, что рисовалось в его памяти мрачным и суровым,

оказалось таким же в действительности и ничуть не смягчило своей неукротимой свирепости при ближайшем испытании, а единственное светлое воспоминание не выдержало того же испытания и рассеялось как туман. Он предвидел это в прошлую ночь, когда грезил с открытыми глазами, но тогда он не чувствовал этого, теперь же чувствовал.

Он был мечтатель, потому что в нем глубоко укоренилась вера в доброе и светлое — в то, чего недоставало в его жизни. Воспитанный в атмосфере низменных расчетов и скаредности, он остался благодаря этой вере отзывчивым и честным человеком. Воспитанный в холодной и суровой обстановке, он сохранил благодаря этой вере горячее и сострадательное сердце. Воспитанный в правилах религии, он научился не осуждать, в унижении быть благодарным, верить и жалеть.

Эта же вера спасла его от плаксивого нытья и злобного эгоизма, который, не встречая счастья и добра на своем пути, не признает их вообще, видит в них только мираж и старается свести их к самым низменным побуждениям. Личное разочарование не привело его к таким болезненным взглядам. Оставаясь в темноте, он мог

подняться к свету, видеть, что он светит другим, и благословлять его.

Итак, он сидел перед умирающим огнем, с горечью вспоминая о жизненном пути, который привел его к этой ночи, но не разливая яда на пути других людей. Оглядываясь назад, он не видел никого, кто помог бы ему идти по этому пути, и это было горько. Он глядел на рдевшие уголья, которые мало-помалу угасали, подергивались пеплом, распадались в пыль, и думал: «Скоро и со мной будет то же, и я превращусь в пыль».

Всматриваясь в свою жизнь, он точно приближался к зеленому дереву, увешанному плодами, на котором ветки увядали и обламывались одна за другой, по мере того как он подходил к нему.

«Тяжелое детство, суровая, строгая семья, отъезд, долгое изгнание, возвращение, встреча с матерью — все, вплоть до сегодняшнего свидания с бедной Флорой, — вот моя жизнь; что же она дала мне? Что остается для меня?» — подумал Кленнэм.

Дверь тихонько отворилась, и как будто в ответ на его вопрос раздались два слова, заставившие его вздрогнуть:

— Крошка Доррит.

Глава XIV. Общество Крошки Доррит

Артур Кленнэм поспешно вскочил и увидел ее в дверях. Автор этого рассказа должен иногда смотреть глазами Крошки Доррит, что и сделает в этой главе.

Крошка Доррит заглянула в полутемную комнату, которая показалась ей большой и хорошо меблированной. Изящные представления о Ковент-Гардене как о месте бесчисленных кофеен, где кавалеры в расшитых золотом плащах и со шпагами на боку ссорились и дрались на дуэлях; роскошные представления о Ковент-Гардене как о месте, где продаются зимой цветы по гинее за штуку, ананасы — по гинее за фунт, горох — по гинее за мерку; живописные представления о Ковент-Гардене как о месте, где в роскошном театре разыгрываются великолепные представления для нарядных леди и джентльменов — представления, о которых и подумать не смела бедная Фанни и ее дядя; безотрадные представления о Ковент-Гардене как о месте притонов, где несчастные оборванные дети, подобные тем, мимо которых она сейчас проходила, прячутся украдкой, точно мышата (подумайте о мышатах

и мышах вы, Полипы, потому что они подтачивают уже фундамент здания и обрушат кровлю на ваши головы), питаясь объедками и прижимаясь друг к другу, чтобы согреться; смутные представления о Ковент-Гардене как о месте прошлых и нынешних тайн, романтики, роскоши, нищеты, красоты, безобразия, цветущих садов и отвратительных сточных канав сделали то, что Крошке Доррит, когда она робко заглянула в дверь, комната показалась более мрачной, чем была на самом деле.

На кресле перед угасающим камином сидел джентльмен, которого она искала, вставший при ее появлении. Это был загорелый серьезный человек с ласковой улыбкой, со свободными, открытыми манерами, при всем том напоминавший мать своей серьезностью, с той разницей, что его серьезность дышала добротой, а не злобой, как у его матери. Он смотрел на нее тем пристальным и пытливым взглядом, перед которым она всегда опускала глаза, как опустила и теперь.

— Бедное дитя! Вы здесь в полночь?

— Я, — сказала Крошка Доррит, — хотела предупредить вас, сэр. Я знала, что вы будете очень удивлены.

— Вы одна?

— Нет, сэр, я взяла с собой Мэгги.

Услыхав свое имя и решив, что о ней доложено, Мэгги появилась в дверях и ухмыльнулась во весь рот, но сейчас же снова приняла торжественный вид.

— А у меня совсем погас огонь, — сказал Кленнэм, — вы же... — Он хотел сказать «так легко одеты», но остановился, подумав, что это может показаться намеком на ее бедность, и сказал: — А погода такая холодная.

Подвинув кресло поближе к каминной решетке, он усадил ее, принес дров и угля и затопил камин.

— Ваши ноги совсем закоченели, дитя! — сказал он, случайно дотронувшись до них, в то время как стоял на коленях и раздувал огонь. — Придвиньте их поближе к огню.

Крошка Доррит торопливо поблагодарила его:

— Теперь тепло, очень тепло.

У него защемило сердце, когда она прятала свои худые изношенные башмаки.

Крошка Доррит не стыдилась своих изношенных башмаков. Он знал ее положение, и ей нечего было стыдиться. Крошке Доррит пришло в голову, что он может осудить ее отца, если увидит их, может подумать: «Как мог он обедать сегодня — и

отпустить это маленькое создание почти босым на холодную улицу?» Она не считала подобные мысли справедливыми, но знала по опыту, что они приходят иногда в голову людям. В ее глазах они усугубляли несчастье отца.

— Прежде всего, — начала Крошка Доррит, сидя перед огнем и снова устремив взор на лицо Кленнэма, взгляд которого, полный участия, сострадания и покровительства, скрывал в себе какую-то тайну, решительно недоступную для нее, — могу я сказать вам несколько слов, сэр?

— Да, дитя мое!

Легкая тень промелькнула по ее лицу: она несколько огорчилась, что он так часто называет ее дитем. К ее удивлению, он не только заметил это, но и обратил внимание на ее грусть, так как сказал совершенно откровенно:

— Я не мог придумать другого ласкового слова. Так как вы только что назвали себя тем именем, которым вас называют у моей матери, и так как оно всегда приходит мне в голову, когда я думаю о вас, то позвольте мне называть вас Крошкой Доррит.

— Благодарю вас, сэр, это имя нравится мне больше всякого другого.

— Крошка Доррит.

— Маленькая мама, — повторила Мэгги (которая совсем было заснула).

— Это одно и то же, Мэгги, — возразила Доррит, — совершенно одно и то же.

— Одно и то же, мама?

— Одно и то же.

Мэгги засмеялась и тотчас затем захрапела. Для глаз и ушей Крошки Доррит эта неуклюжая фигура и неизящные звуки казались очень милыми. Лицо ее светилось гордостью, когда она снова встретилась глазами с серьезным загорелым человеком. Она спросила себя, что он думал, когда глядел на нее и на Мэгги. Ей пришло в голову, каким бы он был добрым отцом с таким взглядом, как бы он ласкал и лелеял свою дочь.

— Я хотела сказать вам, сэр, — сказала Крошка Доррит, — что мой брат выпущен на свободу.

Артур был очень рад слышать это и выразил надежду, что освобождение послужит ему на пользу.

— И я хотела сказать вам, сэр, — продолжала Крошка Доррит дрожащим голосом и сотрясаясь всем телом, — что я не знаю, чье великодушие освободило его, и никогда не буду спрашивать, и никогда не узнаю, и никогда не поблагодарю от всего моего сердца этого джентльмена.

— Вероятно, ему не нужно благодарности, — сказал Кленнэм. — Весьма возможно, что он сам благодарен судьбе (и вполне основательно) за то, что она дала ему возможность оказать маленькую услугу той, которая заслуживает гораздо большего.

— И я хотела еще сказать вам, сэр, — продолжила Крошка Доррит, дрожа все сильнее и сильнее, — что если б я знала его и если б могла говорить, то сказала бы ему, что он никогда, никогда не узнает, как глубоко я чувствую его доброту и как глубоко почувствовал бы ее мой отец. И еще я хотела сказать, сэр, если бы знала его — а я очень хотела бы знать его, но не знаю его и не должна знать, — что я никогда не лягу спать, не помолившись за него. И если бы я знала его и могла это сделать, то стала бы перед ним на колени, и целовала бы его руку, и умоляла бы его не отнимать ее, чтобы я могла оросить ее моими благодарными слезами, потому что ничем другим я не могу отблагодарить его.

Крошка Доррит прижала его руку к своим губам и опустилась бы перед ним на колени, но он ласково поднял ее и усадил на кресло. Ее глаза, звук ее голоса благодарили его больше, чем она думала. Он едва мог произнести далеко не тем

спокойным тоном, каким говорил обыкновенно:

— Полно, Крошка Доррит, полно, полно, полно! Предположим, что вы узнали, кто этот человек, что вы могли все это сделать и что все это сделано. А теперь скажите мне, совершенно другому лицу, просто вашему другу, который просит вас положиться на него, почему вы не дома и что привело вас сюда в такой поздний час, мое милое («дитя», хотел он сказать)… моя милая, нежная Крошка Доррит?

— Мэгги и я, — сказала она, — были сегодня в театре, где работает Фанни.

— Что за райское место! — неожиданно воскликнула Мэгги, обладавшая, по-видимому, способностью спать и бодрствовать в одно и то же время. — Там почти так же хорошо, как в госпитале. Только там нет цыплят.

Тут она встряхнулась и снова заснула.

— Мы пошли туда, — сказала Крошка Доррит, — потому что мне хочется иногда видеть своими глазами, что делает моя сестра, так, чтобы ни она, ни дядя не знали этого. Но мне редко случается бывать там, потому что, когда у меня нет работы в городе, я остаюсь с отцом, а когда есть работа, спешу вернуться к отцу. Сегодня я сказала, что буду в гостях.

Высказав эти признания нерешительным тоном, она взглянула на него и так ясно разгадала выражение его лица, что прибавила:

— О нет, мне еще никогда не случалось бывать в гостях.

Она помолчала немного под его внимательным взглядом и сказала:

— Я думаю, что это ничего. Я не могла бы быть им полезной, если б не была скрытной.

Она боялась, что он осуждает ее в душе за то, что она беспокоится о них, думает о них и следит за ними без их ведома и благодарности, быть может, даже выслушивая с их стороны упреки. Но в действительности он думал только об этой хрупкой фигурке с такой сильной волей, об изношенных башмаках, бедном платьице и этом вымышленном увеселении и развлечении. Он спросил, куда же она собралась в гости. «В тот дом, где работала», — ответила Крошка Доррит, краснея.

Она сказала всего несколько слов, чтобы успокоить отца. Отец и не думал, что это какой-нибудь большой вечер. Она взглянула на свое платье.

— Это первый раз, — продолжила она, — что я не ночую дома. А этот Лондон такой огромный, такой угрюмый, такой пустынный.

В глазах Крошки Доррит его размеры под черным небом были чудовищны; дрожь пробежала по ее телу, когда она говорила эти слова.

— Но я не потому решилась беспокоить вас, сэр, — сказала она, снова овладев собой. — Моя сестра подружилась с какой-то леди, и я несколько беспокоилась на этот счет — ради этого и ушла сегодня из дому, — а проходя мимо вашего дома, увидела свет в окне.

Не в первый раз. Нет, не в первый раз. В глазах Крошки Доррит это окно светилось отдаленной звездочкой и в прежние вечера. Не раз, возвращаясь домой усталой, она делала крюк, чтобы взглянуть на это окно и подумать о серьезном загорелом человеке из чужой далекой страны, который говорил с ней как друг и покровитель.

— Я подумала, что мне нужно сказать вам три вещи, если вы одни дома. Во-первых, то, что я пыталась сказать, — никогда… никогда…

— Полно, полно! Это уже сказано, и кончено. Перейдем ко второму, — перебил Кленнэм, улыбаясь ее волнению, поправляя дрова в камине, чтобы лучше осветить ее лицо, и подвигая к ней вино, печенье и фрукты, стоявшие на столе.

— Кажется, это будет второе, сэр, кажется, миссис Кленнэм узнала мою тайну — узнала, откуда

я прихожу и куда возвращаюсь. Словом, где я живу.

— В самом деле! — быстро возразил Кленнэм. И, немного подумав, спросил, почему ей это кажется.

— Кажется, — сказала Крошка Доррит, — мистер Флинтуинч выследил меня.

Кленнэм повернулся к огню, нахмурив брови, подумал немного и спросил, почему же ей это кажется.

— Я встретилась с ним два раза. Оба раза около дома. Оба раза вечером, когда я возвращалась домой. Оба раза я подумала (хотя, конечно, могла ошибиться), что это вряд ли было случайно: такой у него был вид.

— Говорил он что-нибудь?

— Нет, он только кивнул и склонил голову набок.

— Черт бы побрал его голову, — проворчал Кленнэм, все еще глядя на огонь, — она у него всегда набок.

Он стал уговаривать ее выпить вина и съесть что-нибудь: это было очень трудно — она такая робкая и застенчивая, — а затем прибавил:

— Моя мать стала иначе относиться к вам?

— О нет. Она такая же, как всегда. Я думала,

не рассказать ли ей мою историю. Думала, что вы, может быть, желаете, чтобы я рассказала. Думала, — продолжила она, бросив на него умоляющий взгляд и опуская глаза, — что вы, может быть, посоветуете, как мне поступить.

— Крошка Доррит, — сказал Кленнэм, — не предпринимайте ничего. Я поговорю с моим старым другом, миссис Эффри. Не предпринимайте ничего, Крошка Доррит, а теперь скушайте что-нибудь, подкрепите свои силы. Вот что я вам посоветую.

— Благодарю вас, мне не хочется есть… и, — прибавила она, когда он тихонько подвинул к ней стакан, — и не хочется пить. Может быть, Мэгги съест что-нибудь.

— Мы уложим ей в карманы все, что тут имеется, — сказал Кленнэм, — но сначала скажите: что же третье? Вы говорили, что вам нужно сказать три вещи.

— Да. А вы не обидитесь, сэр?

— Нет. Обещаю вам это без всяких оговорок.

— Это покажется странным. Я не знаю, как и сказать. Не считайте меня капризной или неблагодарной, — сказала Крошка Доррит, к которой вернулось прежнее волнение.

— Нет, нет, нет. Я уверен, что это будет вполне

естественно и справедливо. Я не истолкую ваших слов неверно, не думайте.

— Благодарю вас. Вы хотите навестить моего отца?

— Да.

— Вы были так добры и внимательны, что предупредили его запиской, обещая зайти завтра.

— О, это пустяки! Да.

— Догадываетесь ли вы, — спросила Крошка Доррит, складывая свои маленькие ручки и глядя ему в глаза глубоким, серьезным взглядом, — что я хочу попросить вас не делать?

— Кажется, догадываюсь. Но я могу ошибаться.

— Нет, вы не ошибаетесь, — сказала Крошка Доррит, покачав головой. — Если уж мы пали так низко, что приходится говорить об этом, то позвольте мне просить вас не делать этого.

— Хорошо, хорошо.

— Не поощряйте его просьб, не понимайте его, когда он будет просить, не давайте ему денег. Спасите его, избавьте его от этого, и вы будете лучше думать о нем!

Заметив слезы, блиставшие в ее тревожных глазах, Кленнэм ответил, что ее желание будет священно для него.

— Вы не знаете его, — продолжила она, — вы

не знаете, какой он в действительности. Вы не можете знать этого, потому что увидели его сразу таким, каков он теперь, тогда как я видела его с самого начала! Вы были так добры к нам, так деликатны и поистине добры, что ваше мнение о нем мне дороже мнения всех других, и мне слишком тяжело думать, — воскликнула Крошка Доррит, закрывая глаза руками, чтобы скрыть слезы, — мне слишком тяжело думать, что вы, именно вы, видите его только в минуты его унижения!

— Прошу вас, — сказал Кленнэм, — не огорчайтесь так. Пожалуйста, пожалуйста, Крошка Доррит! Я вполне понимаю вас!

— Благодарю вас, сэр, благодарю вас! Я ни за что не хотела говорить этого; я думала об этом дни и ночи, но когда узнала, что вы собираетесь навестить отца, то решилась сказать вам. Не потому, что стыдилась его, — она быстро отерла слезы, — а потому, что знаю его лучше, чем кто бы то ни было, и люблю его, и горжусь им.

Сняв с души это бремя, Крошка Доррит заторопилась уходить. Заметив, что Мэгги совершенно проснулась и пожирает глазами фрукты и пирожное, Кленнэм налил ей стакан вина, которое она выпила, громко причмокивая, останавли-

ваясь после каждого глотка, хватаясь за горло и приговаривая: «О, как вкусно, точно в госпитале!» — причем глаза ее, казалось, готовы были выскочить от удовольствия. Когда она допила вино, он заставил ее уложить в корзинку (она никогда не разлучалась с корзинкой) все, что было съестного на столе, советуя обратить особое внимание на то, чтобы не оставить ни крошки. Удовольствие ее маленькой мамы при виде удовольствия Мэгги было наилучшим заключением предыдущего разговора, какое только было возможно при данных обстоятельствах.

— Но ведь ворота давно заперты, — сказал Кленнэм, внезапно вспомнив об этом обстоятельстве. — Куда же вы пойдете?

— Я пойду к Мэгги, — ответила Крошка Доррит. — Не беспокойтесь, мне будет у нее хорошо.

— Я провожу вас, — сказал Кленнэм. — Я не могу отпустить вас одних.

— Нет, мы дойдем одни; пожалуйста, не беспокойтесь, — сказала Крошка Доррит.

Она говорила так серьезно, что Кленнэм счел неделикатным настаивать, хорошо понимая, что квартира Мэгги должна представлять собой нечто невообразимое.

— Идем, Мэгги, — весело сказала Крошка Дор-

рит, — мы доберемся благополучно, мы знаем дорогу, Мэгги!

— Да, да, маленькая мама, мы знаем дорогу, — прокудахтала Мэгги.

Затем они ушли. Крошка Доррит повернулась в дверях и сказала:

— Да благословит вас Бог!

Она сказала эти слова едва слышно, но, кто знает, быть может, они прозвучали на небе громче, чем целый соборный хор.

Артур Кленнэм дал им повернуть за угол и последовал за ними на некотором расстоянии. Он не хотел еще раз вторгаться в жилище Крошки Доррит, ему хотелось только удостовериться, что она благополучно доберется до знакомого квартала. Она была так миниатюрна и хрупка, казалась такой беспомощной и беззащитной, что ему, привыкшему смотреть на нее как на ребенка, хотелось взять ее на руки и отнести домой.

Они добрались наконец до той улицы, где находилась Маршалси, пошли потише и свернули в переулок. Он остановился, чувствуя, что не имеет права идти за ними, и неохотно пошел назад. Но он и не подозревал, что они рискуют остаться на улице до утра, и только долгое время спустя узнал об этом.

Остановившись подле жалкой темной лачуги, где жила Мэгги, Крошка Доррит сказала:

— Здесь у тебя хорошая квартира, Мэгги, не будем же поднимать шума. Постучим два раза, но не очень сильно, а если нам не отворят, придется подождать утра на улице.

Крошка Доррит осторожно постучалась и прислушалась. Все было тихо.

— Мэгги, ничего не поделаешь, милочка, нужно потерпеть и подождать до утра.

Ночь была холодная, темная, с порывистым ветром. Они вернулись на большую улицу и услышали, как часы пробили половину второго.

— Через пять с половиной часов нам можно будет попасть домой, — сказала Крошка Доррит.

Упомянув о доме, естественно было отправиться посмотреть на него. Они подошли к запертым воротам и заглянули в щелку.

— Надеюсь, что он крепко спит, — сказала Крошка Доррит, целуя решетку, — и не скучает по мне.

Ворота были так хорошо знакомы им и выглядели так дружелюбно, что они поставили корзинку Мэгги в углу, уселись на ней и, прижавшись друг к другу, просидели тут несколько времени. Пока улица была пуста и безмолвна, Крошка Доррит

не боялась, но, услышав шаги или заметив тень, скользившую в тусклом свете уличных фонарей, вздрагивала и шептала:

— Мэгги, кто-то идет. Уйдем отсюда.

Мэгги просыпалась в более или менее сердитом настроении, они отходили от ворот и, пройдя немного, возвращались обратно.

Пока съестное было новинкой и развлекало Мэгги, она вела себя сносно, но потом стала ворчать на холод, дрожать и хныкать.

— Ночь скоро пройдет, милочка, — успокаивала ее Крошка Доррит.

— О, вам-то ничего, маленькая мама, — говорила Мэгги, — а ведь мне только десять лет!

Наконец, когда улица окончательно опустела, Крошке Доррит удалось успокоить ее, и Мэгги заснула, прижавшись головой к ее груди. Так сидела она у ворот, точно была одна, глядя на звезды и на облака, бешено мчавшиеся над ней, — таковы были танцы на вечере Крошки Доррит.

«Хорошо бы в самом деле быть теперь на вечере, — думала она. — Чтобы было светло, и тепло, и красиво, и было бы это в нашем доме, и папа был бы его хозяином и никогда не сидел за этими стенами. А мистер Кленнэм был бы у нас в гостях, и мы танцевали бы под чудесную музыку,

и все были бы веселы и довольны. Я желала бы знать...» Но ей хотелось знать так много вещей, что она почти забылась, глядя на звезды, пока Мэгги не захныкала снова, выразив желание встать и пройтись.

Пробило три, потом половину четвертого. Они шли по Лондонскому мосту. До них доносился плеск воды, они вглядывались в зловещий, мрачный туман, заволакивавший реку, видели светлые пятна на воде от фонарей, сверкавших, точно глаза демонов, заманивавших к себе порок и нищету. Они обходили бездомных бродяг, спавших, прикорнув где-нибудь в уголке. Они убегали от пьяниц. Они вздрагивали при виде фигур, притаившихся на перекрестках, которые пересвистывались и перекликались друг с другом, или удирали во все лопатки. Хотя Крошка Доррит вела и оберегала свою подругу, но со стороны казалось, будто она держится за Мэгги. И не раз в толпе пьяных бродяг, попадавшихся им навстречу, раздавался голос: «Пропустите женщину с ребенком!»

И женщина с ребенком проходила и шла дальше. Пробило пять, они плелись потихоньку в восточном направлении и вскоре увидели первую бледную полосу зари.

День еще не проглянул на небе, но уже сказывался в грохоте мостовой, в дребезжании вагонов, телег и экипажей, в толпах рабочего люда, спешивших на фабрики, в открывающихся лавках, в оживлении на рынке, в движении на реке. Наступающий день сказывался в побледневших огнях уличных фонарей, в холодном утреннем воздухе, в исчезающей ночи.

Они вернулись к воротам и хотели было дождаться здесь, пока их не откроют, но холод пронизывал до костей, и Крошка Доррит стала ходить взад-вперед и таскать за собой спавшую на ходу Мэгги. Проходя мимо церкви, она заметила в ней свет и, поднявшись по ступенькам, решилась заглянуть в отворенную дверь.

— Что нужно? — крикнул какой-то плотный пожилой человек в ночном колпаке, словно ночевал в церкви.

— Ничего, сэр, я так, — сказала Крошка Доррит.

— Стоп! — крикнул человек — Дайте взглянуть на вас.

Этот окрик заставил ее остановиться и обернуться к нему.

— Так я и думал, — сказал он. — Я узнал вас.

— Мы часто видим друг друга, сэр, — ответила Крошка Доррит, узнавая дьячка, или пономаря,

или сторожа, или кто бы он ни был, — когда я бываю в церкви.

— Мало того, ваше рождение записано в нашей книге: вы одна из наших редкостей.

— В самом деле? — спросила Крошка Доррит.

— Конечно. Ведь вы дитя… Кстати, как это вы выбрались из дому так рано?

— Мы опоздали вчера вечером, и теперь ждем, когда можно будет войти.

— Не может быть! А еще осталось не меньше часа. Пойдемте в ризницу. В ризнице есть огонь, потому что мы ожидаем маляров. Если бы не маляры, меня бы не было здесь, будьте уверены. Одна из наших редкостей не должна мерзнуть, когда мы можем поместить ее в тепле. Идем!

Это был добрый простодушный старик. Устроив ее в ризнице и раздув огонь в печке, он достал с полки какую-то книгу.

— Вот вы где, — сказал он, переворачивая листы. — Тут вы у нас как живая. Вот: «Эми, дочь Уильяма и Фанни Доррит, родилась в Маршалси, приход Святого Георгия». Мы говорим посетителям, что вы провели там всю жизнь, не отлучившись ни на один день, ни на одну ночь. Верно это?

— Совершенно верно, сэр, до вчерашнего ве-

чера.

— Господи! — Но, посмотрев на нее с удивлением, он, по-видимому, был чем-то поражен и сказал: — Жалко смотреть, какая вы усталая и бледная. Постойте-ка, я принесу подушки из церкви. Отдохните тут у огня с вашей подругой. Не бойтесь проспать, я разбужу вас, когда отворят ворота и вам можно будет вернуться к отцу.

Он принес подушки и разложил на полу.

— Да, вот вы где у нас как живая. О, не благодарите, не за что. У меня самого есть дочери, и хотя они родились не в Маршалси, но могли бы там родиться, если бы я попал туда, как ваш отец. Постойте, подложу что-нибудь под подушку, в изголовье. Да вот хоть книгу покойников. Вот она. Тут у нас и миссис Бангем записана. Но в этих книгах для большинства людей интересно не то, кто в них записан, а кто не записан, кто еще будет записан и когда. Вот интересный вопрос!

Окинув довольным взглядом подушки, он ушел. Мэгги уже храпела, и Крошка Доррит скоро заснула, положив голову на запечатанную книгу судьбы и не смущаясь ее таинственными белыми листами.

Крошка Доррит вернулась из гостей. Позор, нищета, несчастья и безобразие огромной сто-

лицы, сырость, холод, бесконечно тянувшиеся часы и быстро мчавшиеся тучи — вот из какой компании Крошка Доррит вернулась усталая в сером тумане дождливого утра.

Глава XV. Миссис Флинтуинч снова видит сон

Ветхий старый дом в Сити, одетый, точно мантией, слоем копоти, грузно опиравшийся на костыли, которые ветшали и разрушались вместе с ним, никогда, ни при каких обстоятельствах не знал ни одной веселой и светлой минуты. Солнечный луч, случайно падавший на него, исчезал очень быстро; если луна освещала его, то его траурная одежда казалась еще печальнее. Конечно, звезды озаряли его своим холодным блеском в ясные ночи, когда туман и дым расходились, а непогода с редким постоянством держалась за него. Вы бы нашли здесь лужи, иней, изморозь и росу, когда их не было нигде по соседству, а снег лежал здесь целые недели, грязный, почерневший, медленно расставаясь со своей угрюмой жизнью. Кругом не было построек, не слышно было уличного шума, звук колес проникал в этот мрачный дом только тогда, когда экипаж проезжал мимо самых ворот, и тотчас замирал, так что миссис Эффри казалось, будто она оглохла и лишь по временам к ней на мгновение возвраща-

ется слух. То же было с человеческими голосами, говором, смехом, свистом, пением. Эти звуки залетали на мгновение в мрачную ограду дома и тотчас исчезали.

Мертвенное однообразие этого дома больше всего нарушалось сменой огней камина и свечи в комнате миссис Кленнэм. И днем и ночью в узеньких окнах уныло мерцал огонь. Редко-редко он вспыхивал ярким светом, как и она сама; большей частью горел тускло и ровно, медленно пожирая самого себя, так же как она. В короткие зимние дни, когда рано темнело, уродливые тени ее самой в катающемся кресле, мистера Флинтуинча с его кривой шеей, миссис Эффри, скользившей по дому, мелькали по стене, окружавшей дом, как тени от огромного волшебного фонаря. Когда больная ложилась в постель, они мало-помалу исчезали. Огромная тень миссис Эффри дольше всех мелькала на стене, но, наконец, и она испарялась в воздухе. Тогда лишь один-единственный огонек мерцал неизменно, пока не начинал бледнеть в полусвете наступающего утра и, наконец, угасал.

Уж не служил ли этот огонь в комнате больной сигнальным огнем для какого-нибудь путника, которому суждено было явиться в этот дом? Уж

не был ли этот свет в комнате больной маяком, зажигавшимся каждую ночь в ожидании события, которое рано или поздно должно было произойти? Кому из бесчисленных путешественников, странствующих при солнце и при звездах, переплывая моря и переезжая материки, взбираясь на холмы и плетясь по равнине, встречаясь, сталкиваясь и разлучаясь так неожиданно и странно, — кому из них суждено было явиться в этот дом, не подозревая, что здесь окончится его странствие?

Время покажет нам это. Почетное место и позорный столб, звание генерала и звание барабанщика, статуя пэра в Вестминстерском аббатстве и зашитая койка матроса на дне морском, митра и работный дом, шерстяная подушка лорд-канцлера и виселица, трон и эшафот, — ко всем этим целям стремятся путники, но дорога извивается, путается, и только время покажет, куда придет каждый из них.

Однажды зимой, в сумерки, миссис Флинтуинч, весь день чувствовавшая какую-то сонливость, увидела следующий сон.

Ей казалось, что она находилась в кухне, кипятила воду для чая и грелась у слабого огонька, подобрав подол платья и поставив ноги на ре-

шетку. Ей казалось, что, когда она сидела таким образом, раздумывая над жизнью человеческой и находя, что для некоторой части людей это довольно печальное изобретение, ее испугал какой-то шум. Ей казалось, что точно такой же шум испугал ее на прошлой неделе, загадочный шум: шорох платья и быстрые, торопливые шаги, затем толчок, от которого у нее замерло сердце, точно пол затрясся от этих шагов или даже чья-то холодная рука дотронулась до нее. Ей казалось, что этот шум оживил ее давнишние страхи насчет привидений, посещающих дом, и она, сама не зная как, выбежала из кухни, чтобы быть поближе к людям. Миссис Эффри казалось, что, добравшись до зала, она нашла комнату своего господина и повелителя пустой; что она подошла к окошку маленькой комнатки, примыкавшей к наружной двери, в надежде увидеть живых людей на улице и тем облегчить свое сердце; что она увидела на стене, окружавшей дом, тени двух умников, очевидно, занятых разговором; что она поднялась наверх, с башмаками в руках отчасти для того, чтобы быть поближе к умникам, которые не боялись духов, отчасти для того, чтобы подслушать их разговор.

— Слышать не хочу вашего вздора, — говорил

мистер Флинтуинч. — Не желаю!

Миссис Флинтуинч снилось, что она стоит за полуотворенной дверью и совершенно явственно слышит эти смелые слова своего супруга.

— Флинтуинч, — возразила миссис Кленнэм своим обычным тихим строгим голосом, — в вас сидит демон гнева. Берегитесь его!

— Хоть бы дюжина, мне решительно все равно, — сказал мистер Флинтуинч, по тону которого можно было заключить, что их, пожалуй, и больше, — хоть бы пятьдесят; все они скажут: «Слышать не хочу этот вздор, не желаю». Я заставлю их сказать это, хоть бы они не хотели.

— Что же я вам сделала, злобный человек? — спросила строго миссис Флинтуинч.

— Что сделали? — ответил Флинтуинч. — Накинулись на меня.

— Вы хотите сказать: упрекнула вас…

— Не навязывайте мне слов, которых я вовсе не хотел сказать, — возразил Иеремия, цепляясь за своеобразное выражение с непонятным упорством. — Я сказал: накинулись на меня.

— Я упрекнула вас, — начала она снова, — в том…

— Слышать не хочу! — крикнул Иеремия. — Накинулись на меня.

— Ну хорошо, я накинулась на вас, нелепый человек, — Иеремия хихикнул от удовольствия, заставив ее повторить это выражение, — за то, что вы без нужды были откровенны с Артуром сегодня утром. Я вправе считать это почти обманом доверия. Вы не хотели этого…

— Не принимаю! — перебил несговорчивый Иеремия. — Я хотел этого.

— Кажется, мне придется предоставить вам одному говорить, — возразила она после непродолжительного молчания, в котором чувствовалась гроза. — Бесполезно обращаться к грубому упрямому старику, который задался мыслью не слушать меня.

— И этого не принимаю, — сказал Иеремия. — Я не задавался такой мыслью. Я сказал, что хотел этого. Желаете вы знать, почему я хотел этого, вы, грубая и упрямая старуха?

— В конце концов, вы только повторяете мои слова, — сказала она, подавляя негодование. — Да!

— Вот почему. Потому что вы не оправдали отца в глазах сына, а вы должны были сделать это; потому что, прежде чем рассердиться за себя, за себя, которая…

— Остановитесь, Флинтуинч, — воскликнула

она изменившимся голосом, — или можете зайти слишком далеко!

Старик, по-видимому, и сам сообразил это. Снова наступило молчание; наконец он заговорил уже гораздо мягче:

— Я начал объяснять вам почему. Прежде чем вступиться за себя, вы должны были вступиться за отца Артура. За отца Артура! Я служил дяде отца Артура в этом доме, когда отец Артура значил не многим больше меня, когда его карман был беднее моего, а дядино наследство было так же далеко от него, как от меня. Он голодал в гостиной, я голодал на кухне — вот главная разница в нашем тогдашнем положении; несколько крутых ступенек, и только. Я никогда не был привязан к нему — ни в те времена, ни позднее. Это была овца, нерешительная, бесхарактерная овца, запуганная с детства своей сиротской жизнью. И когда он ввел в этот дом вас, свою жену, выбранную для него дядей, я с первого взгляда увидел (вы тогда были очень красивой женщиной), кто из вас будет господином. С тех пор вы стояли на своих ногах. Стойте и теперь на своих ногах. Не опирайтесь на покойника!

— Я не опираюсь, как вы выражаетесь, на покойника.

— Но вы хотите сделать это, если я покорюсь, — проворчал Иеремия, — и вот почему вы накинулись на меня. Вы не можете забыть того, что я не покорился. Вы, должно быть, удивляетесь, с чего я вздумал вступаться за отца Артура, да? Все равно, ответите вы или нет, я знаю, что это так, и вы знаете, что это так. Ладно, я вам скажу, с чего мне вздумалось. Быть может, это недостаток характера, но таков уж мой характер: я не могу предоставить всякому идти только его собственным путем. Вы решительная женщина и умная женщина, и когда вы видите перед собой цель, ничто не отклонит вас от нее. Вы знаете это не хуже, чем я.

— Ничто не отклонит меня от нее, Флинтуинч, если эта цель оправдана в моих глазах. Прибавьте это.

— Оправдана в ваших глазах? Я сказал, что вы самая решительная женщина, какая есть на свете (или хотел сказать это), и если вы решились оправдать что-нибудь, что вас интересует, то, разумеется, оправдаете.

— Человек! Я оправдываю себя авторитетом этой книги! — воскликнула она с суровым пафосом и, судя по раздавшемуся звуку, ударила рукой по столу.

— Не сомневаюсь в том, — спокойно возразил Иеремия, — но мы не будем теперь обсуждать этот вопрос. Так или иначе вы составляете свои планы и заставляете все склониться перед ними. Ну а я не согнусь перед ними. Я был верен вам, я был полезен вам, и я привязан к вам. Но я не могу согласиться, никогда не соглашался и никогда не соглашусь быть уничтоженным вами. Глотайте кого угодно, на здоровье! Особенность моего характера в том, сударыня, что я не соглашусь быть проглоченным заживо!

Может, это и было основой их взаимопонимания.

Быть может, миссис Кленнэм, заметив большую силу характера в мистере Флинтуинче, сочла возможным заключить с ним союз.

— Довольно и более чем довольно об этом предмете, — сказала она угрюмо.

— Пока вы не накинетесь на меня вторично, — ответил упрямый Флинтуинч. — Тогда снова услышите.

Миссис Флинтуинч снилось, что ее супруг, как бы желая успокоить свою желчь, стал расхаживать взад и вперед по комнате, а сама она убежала. Но так как он не выходил на лестницу, то она остановилась в зале, прислушалась, дро-

жа всем телом, а затем взобралась обратно по лестнице, побуждаемая отчасти привидениями, отчасти любопытством, и снова спряталась за дверью. — Пожалуйста, зажгите свечу, Флинтуинч, — сказала миссис Кленнэм, очевидно желая вернуться к их обычному тону. — Пора пить чай. Крошка Доррит сейчас придет и застанет меня в темноте.

Мистер Флинтуинч быстро зажег свечу и, поставив ее на стол, сказал:

— Что вы намерены делать с Крошкой Доррит? Неужели она вечно будет ходить сюда работать, вечно будет приходить сюда пить чай, вечно будет торчать здесь?

— Как можете вы говорить «вечно» такому полуживому существу, как я? Разве мы не будем все скошены, как трава в поле, и разве я не была подрезана косой много лет назад и не лежу с тех пор в ожидании той минуты, когда меня уберут в житницу?

— Так, так! Но с тех пор, как вы лежите — не мертвая, о, вовсе нет, — много детей, и юношей, и цветущих женщин, и крепких мужчин были срезаны косой и унесены, а вы вот лежите себе да полеживаете и даже ничуть не изменились. Наше с вами время, может быть, настанет еще

не скоро. Говоря «вечно» (хотя я вовсе не поэтичен), я подразумевал: пока мы живы. — Мистер Флинтуинч, высказав все это самым спокойным тоном, спокойно ждал ответа.

— Пока Крошка Доррит тиха и прилежна и нуждается в той маленькой помощи, которую я могу оказать ей, и заслуживает ее, до тех пор, если сама не откажется, она будет приходить сюда.

— И это все? — спросил Иеремия, поглаживая свой рот и подбородок.

— Что же еще? Что же может быть еще? — проговорила она суровым тоном.

Миссис Флинтуинч снилось, что в течение минуты или двух они смотрели друг на друга через свечу, и, как показалось ей, смотрели пристально.

— Знаете ли вы, миссис Кленнэм, где она живет? — спросил супруг и повелитель Эффри, понизив голос и с выражением, вовсе не соответствовавшим содержанию его слов.

— Нет.

— Желаете ли вы, да, желаете ли вы знать? — спросил Иеремия с таким хищным выражением, словно собирался броситься на нее.

— Если бы я желала знать, то давно бы уже знала. Не могла я разве спросить у нее?

— Так вы не желаете знать?

— Не желаю.

Мистер Флинтуинч, испустив долгий значительный вздох, сказал с прежним пафосом:

— Дело в том, что я — случайно, заметьте, — узнал об этом.

— Где бы ни жила, — ответила миссис Кленнэм холодным мерным тоном, разделяя слова, точно читала их одно за другим на металлических пластинках, — она желает сохранить это в тайне, и ее тайна всегда останется при ней.

— В конце концов, может быть, вам просто не хочется признавать этот факт? — сказал Иеремия, и сказал скороговоркой, как будто слова сами собой вырвались из его рта.

— Флинтуинч, — сказала миссис Кленнэм с такой вспышкой энергии, что Эффри вздрогнула, — зачем вы терзаете меня? Взгляните на эту комнату. Если за мое долгое заключение в этих стенах, на которое я не жалуюсь — вы сами знаете, что я не жалуюсь, — или в награду за мое долгое заключение в этой комнате, я, которой недоступны никакие развлечения, утешаюсь тем, что мне недоступно и знание о некоторых вещах, то почему вы, именно вы, хотите отнять у меня это утешение?

— Я не хочу отнимать, — возразил Иеремия.

— Так ни слова более. Ни слова более. Пусть Крошка Доррит скрывает от меня свою тайну, скрывайте и вы. Пусть она приходит и уходит, не подвергаясь выслеживанию и допросам. Предоставьте мне страдать и находить облегчение, возможное при моих обстоятельствах. Неужели оно так велико, что вы мучите меня, как дьявол?

— Я предложил вам вопрос, вот и все.

— Я ответила на него. Итак, ни слова более, ни слова более. Тут послышался звук катящегося кресла, и зазвенел колокольчик, вызывавший Эффри.

Эффри, боявшаяся в эту минуту мужа гораздо более, чем загадочных звуков в кухне, как можно скорее и неслышнее спустилась с лестницы, сбежала по ступенькам в кухню, уселась на прежнее место перед огнем, подобрала подол платья и в заключение накрыла лицо и голову передником. Колокольчик прозвенел еще раз, и еще, наконец стал звонить без перерыва, но Эффри все сидела, накрывшись передником и собираясь с силами.

Наконец, мистер Флинтуинч, шаркая, спустился с лестницы в зал, бормоча и выкрикивая:

— Эффри, женщина!

Эффри по-прежнему сидела, закрывшись пе-

редником. Он, спотыкаясь, вбежал в кухню со свечкой в руке, подбежал к ней, сдернул передник и разбудил ее.

— О Иеремия, — воскликнула Эффри, просыпаясь, — как ты испугал меня!

— Что с тобой, женщина? — спросил Иеремия. — Тебе звонили раз пятьдесят.

— О Иеремия, — сказала миссис Эффри, — я видела сон.

Вспомнив о недавнем приключении в том же роде, мистер Флинтуинч поднес свечку к ее голове, как будто собирался поджечь ее для освещения кухни.

— Разве ты не знаешь, что пора пить чай? — спросил он со злобной улыбкой, толкнув ножку стула миссис Эффри.

— Иеремия, пить чай? Я не знаю, что такое случилось со мной. Но, должно быть, это то самое, что было перед тем, как я… как я проснулась.

— У, соня, — сказал Флинтуинч, — что ты такое мелешь?

— Такой странный шум, Иеремия, и такое странное движение. Здесь, здесь в кухне!

Иеремия поднял свечку и осмотрел закоптелый потолок, потом опустил свечку и осветил сырой каменный пол, потом грязные облупленные

стены.

— Крысы, кошки, вода, трубы? — спросил Иеремия.

Миссис Эффри только качала головой в ответ на эти вопросы.

— Нет, Иеремия, я слышала это раньше. Я слышала это наверху и потом на лестнице, когда шла однажды ночью из ее комнаты в нашу, — какой-то шорох и точно кто-то дотрагивается до тебя.

— Эффри, жена моя, — сказал мистер Флинтуинч свирепо, приблизив свой нос к ее губам, чтобы выяснить, не пахнет ли от нее спиртными напитками, — если ты не скоро подашь чай, старуха, то услышишь шорох и почувствуешь, что до тебя дотронулись, когда отлетишь на другой конец комнаты!

Это предсказание заставило миссис Эффри засуетиться и поспешить наверх, в комнату миссис Кленнэм. Тем не менее у нее осталось твердое убеждение, что в этом угрюмом доме творится что-то неладное. С тех пор она никогда не чувствовала себя спокойной с наступлением ночи, и если ей случалось идти по лестнице в темноте, накрывалась передником, чтобы не увидеть кого-нибудь.

По милости этих зловещих страхов и этих

необычайных снов миссис Эффри впала с этого вечера в решительно ненормальное душевное состояние, от которого вряд ли ей суждено оправиться в течение нашего рассказа. В хаосе и тумане своих новых впечатлений и ощущений, когда все казалось ей загадочным, она сама сделалась загадкой для других, настолько же необъяснимой, насколько дом и все, что в нем находилось, казались ей самой необъяснимыми.

Она еще готовила чай для миссис Кленнэм, когда легкий стук в дверь возвестил о появлении Крошки Доррит. Миссис Эффри смотрела на Крошку Доррит, пока та снимала в передней свою скромную шляпку, и на мистера Флинтуинча, который скреб свои челюсти и молча рассматривал девушку, точно ожидал какого-то необыкновенного происшествия, которое напугает ее до полусмерти или разнесет всех троих вдребезги.

После чая послышался новый стук в дверь, возвещавший о появлении Артура. Миссис Эффри пошла отворить ему.

— Эффри, я рад вас видеть, — сказал он, — мне нужно спросить вас кое о чем.

Эффри тотчас ответила:

— Ради бога, не спрашивайте меня ни о чем, Артур! У меня вышибло половину ума от страха, а

другую — от снов. Не спрашивайте меня ни о чем! Я теперь не знаю, что к чему! — И она тотчас убежала от него и больше уже не подходила к нему.

Не будучи охотницей до чтения и не занимаясь шитьем, так как ее комната была слишком темна для этого — предполагая даже, что у нее имелась такая наклонность, — миссис Эффри проводила вечера в том смутном полузабытьи, от которого очнулась на мгновение в день возвращения Артура Кленнэма, осаждаемая роем диких размышлений и подозрений относительно своей госпожи, своего супруга и странных звуков, раздававшихся в доме. Когда обитатели дома были заняты исполнением религиозных обязанностей, эти подозрения заставляли миссис Эффри поглядывать на дверь, как будто она ожидала, что вот-вот явится какая-нибудь черная фигура и, воспользовавшись благоприятной минутой, присоединится к их обществу.

Вообще же Эффри не делала и не говорила ничего, что могло бы привлечь внимание двух хитрецов; лишь изредка, обыкновенно в спокойные часы вечера, она вздрагивала в своем углу и шептала мистеру Флинтуинчу, читавшему газету около маленького столика миссис Кленнэм:

— Опять, Иеремия! Слушай, что за шум?

Затем шум, если только был какой-нибудь шум, прекращался, а Иеремия, повернувшись к ней, хрипел:

— Эффри, старуха, смотри, ты получишь такую порцию, старуха, такую порцию!.. Ты опять видела сон!

Глава XVI. Ничья слабость

Когда наступило время возобновить знакомство с семьей Мигльса, Кленнэм, согласно условию, заключенному между ним и мистером Мигльсом в подворье «Разбитые сердца», в одну из суббот направился к Туикнему, где у мистера Мигльса имелась собственная дача. Погода была сухая и хорошая, и так как для него, столько времени прожившего за границей, всякая дорога в Англии представляла глубокий интерес, то он отправил свой чемодан с почтовой каретой, а сам пошел пешком. Прогулка пешком сама по себе была удовольствием, которым он редко пользовался в прежнее время.

Он пошел через Фулхем и Пьютней ради удовольствия пройтись по лугу. Трудно идти по деревенской дороге и не задуматься о чем-нибудь. А ему было над чем поразмыслить. Во-первых, его занимал вопрос, о котором он никогда не переставал думать: чем теперь заняться, какой цели посвятить свои силы и где ее искать?

Он совсем не был богачом, и каждый день промедления и нерешительности усиливал затруднения и тревоги, связанные с наследством.

Он часто думал, каким образом увеличить это наследство или сохранить его в целости, но тут всякий раз возвращалось к нему подозрение, что на его обязанности лежит вознаградить обиженного. Этой одной темы было довольно, чтобы доставить материал для размышления в течение самой длинной прогулки; затем — его отношение к матери, которое имело теперь мирный и спокойный характер, но без взаимного доверия; Крошка Доррит постоянно и неизменно занимала его; обстоятельства его жизни в связи с ее историей сложились так, что она оказалась единственным существом, которое соединило с ним узы невинной привязанности, с одной стороны, и нежного покровительства — с другой; узы сострадания, уважения, бескорыстного участия, благодарности и жалости. Думая о ней и о возможности освобождения ее отца из тюрьмы, сокрушающей все затворы рукой смерти (единственная перемена, как ему казалось, которая дала бы ему возможность сделаться для нее настоящим другом: изменить весь образ ее жизни, облегчить ее трудный путь, создать ей домашний очаг), он видел в ней свою приемную дочь, свое бедное дитя Маршалси, которому пора дать отдых.

Оставив за собой поляну, он нагнал какого-то пешехода, давно уже видневшегося впереди, который показался ему знакомым. Что-то знакомое было в его манере держать голову и в твердой походке. Когда же пешеход, сдвинул шляпу на затылок и остановился, рассматривая какой-то предмет, Артур узнал Даниэля Дойса.

— Как поживаете, мистер Дойс? — спросил он, нагоняя его. — Рад вас видеть, и к тому же в более здоровом месте, чем министерство околичностей.

— А, приятель мистера Мигльса! — воскликнул государственный преступник, очнувшись от задумчивости и протягивая руку. — Рад вас видеть, сэр. Простите, забыл вашу фамилию.

— Ничего, фамилия не знаменитая. Не то что Полип.

— Нет, нет! — сказал Дой, смеясь. — Теперь вспомнил: Кленнэм. Как поживаете, мистер Кленнэм?

— Мне кажется, — сказал Кленнэм, когда они отправились дальше, — что мы идем в одно и то же место.

— То есть в Туикнем? — ответил Дойс. — Приятно слышать.

Они скоро разговорились как старые знакомые.

Преступный изобретатель оказался человеком очень скромным и толковым. Несмотря на свое простодушие, он слишком привык комбинировать оригинальность и смелость замысла с терпеливым и тщательным исполнением, чтобы быть обыкновенным человеком. Сначала нелегко было заставить его говорить о себе, и на все попытки Артура в этом направлении он отвечал только: о да, это он сделал, и то он сделал, и такая-то вещь — дело его рук, а такая-то — его изобретение, но ведь это его ремесло, видите ли, его ремесло. Наконец, убедившись, что Артур действительно интересуется его историей, он стал откровеннее. Тут выяснилось, что он родом с севера, сын кузнеца, что его мать, овдовев, отдала его в учение к слесарю, что у слесаря он придумал «кое-какие штучки», что эти штучки дали ему возможность развязаться с контрактом, получив притом вознаграждение, а вознаграждение дало возможность исполнить его заветное желание: поступить к инженеру-механику, под руководством которого он учился и работал семь лет. По окончании этого курса он работал в мастерской за еженедельную плату еще семь или восемь лет,

и затем получил место на Клайде [23], где работал, пилил, ковал и пополнял свои теоретические знания еще шесть или семь лет. Затем его пригласили в Лион, и он принял это приглашение; из Лиона перебрался в Германию, из Германии — в Петербург, где устроился очень хорошо, лучше, чем где-либо. Но, весьма естественно, ему хотелось вернуться на родину и там добиться успеха и принести посильную пользу. Итак, он вернулся, устроил мастерскую, изобретал, строил машины, работал и, наконец, после двенадцатилетних трудов и усилий попал-таки в великий британский почетный легион отвергнутых министерством околичностей и был награжден великим британским орденом за заслуги — орденом беспорядка Полипов и Пузырей.

— Очень жаль, — сказал Кленнэм, — что вы пошли по этой дороге, мистер Дойс.

— Правда, сэр, правда до известной степени. Но что же прикажете делать человеку? Если он имел несчастье изобрести что-нибудь полезное для страны, то должен идти этой дорогой, куда бы она ни привела его.

— Не лучше ли махнуть рукой? — спросил

---

[23] Сноски: 23
Клайд — река в Шотландии.

Кленнэм.

— Это невозможно, — сказал Дойс, покачивая головой с задумчивой улыбкой. — Мысль не для того является, чтобы быть похороненной в голове человека. Она является, чтобы послужить на пользу другим. Зачем и жить, если не бороться до конца? Всякий, кто сделал открытие, будет так рассуждать.

— Иными словами, — сказал Артур, все более и более удивляясь своему спутнику, — вы еще и теперь не теряете бодрости?

— Я не имею права на это, — возразил Дойс. — Ведь мысль остается такой же верной, как и была.

Пройдя еще немного, Кленнэм, желая не слишком резко переменить тему разговора, спросил мистера Дойса, есть ли у него компаньон или он один несет на себе все заботы.

— Теперь нет, — ответил тот. — Был у меня компаньон, очень хороший человек, но умер несколько лет назад. А так как я не мог найти другого, то купил его долю и с тех пор веду дело один. Тут есть еще одно обстоятельство, — прибавил он с добродушной улыбкой. — Изобретатель, как известно, не может быть деловым человеком.

— Не может? — спросил Кленнэм.

— Так, по крайней мере, говорят деловые люди. Я не знаю, почему принято думать, что у нас, злополучных, совсем нет здравого смысла, но это считается бесспорным. Даже мой лучший друг, наш превосходный приятель, — продолжил он, указывая по направлению к Туикнему, — относится, как вы, без сомнения, заметили, ко мне несколько покровительственно — как к человеку, который не может сам позаботиться о себе.

Артур Кленнэм не мог не присоединиться к его добродушному смеху, сознавая справедливость этого замечания.

— Вот я и ищу в компаньоны делового человека, не повинного ни в каком изобретении, — продолжил Даниэль Дойс, снимая шляпу и проводя рукой по лбу, — хотя бы из уважения к установившемуся мнению и для того, чтобы поднять кредит предприятия. Я полагаю, он не найдет упущений или ошибок с моей стороны; впрочем, это ему решать, кто бы он ни был, а не мне.

— Но вы еще не нашли его?

— Нет, сэр, нет. Я только недавно решил искать компаньона. Дело в том, что тут много работы, а я уже старею, с меня довольно и мастерской. Для ведения счетных книг, для переписки, для поездок за границу необходим компаньон: мне

одному не справиться. Я намерен потолковать об этом, если улучу свободные полчаса, с моим… моим пестуном и покровителем, — сказал Дойс, снова улыбаясь глазами. — Он толковый человек в делах и с большим опытом.

После этого они разговаривали о различных предметах, пока не добрались до цели своего путешествия. В Даниэле Дойсе чувствовалось спокойное и скромное сознание своих сил, уверенность в том, что истина останется истиной, несмотря на целый океан Полипов, и даже в том случае, если этот океан высохнет, — уверенность, не лишенная величия, хотя и не официального.

Зная хорошо дачу мистера Мигльса, Дойс провел своего спутника по самой живописной дороге. Это было очаровательное местечко (некоторая оригинальность отнюдь не портила его) на берегу реки; местечко было именно такое, каким должна была быть резиденция семьи мистера Мигльса. Дача помещалась в саду, без сомнения, таком же прекрасном и цветущем в мае, как Милочка в мае ее жизни, под защитой высоких деревьев и ветвистых вечнозеленых кустарников, как Милочка под защитой мистера и миссис Мигльс. Дача была перестроена из старого кирпичного дома, часть которого снесли совсем, а часть

переделали, так что тут было и старое, крепкое здание, соответствовавшее мистеру и миссис Мигльс, и новая, живописная, очень хорошенькая постройка, соответствовавшая Милочке. К ней примыкала оранжерея, выстроенная позднее, с неопределенного цвета мутными стеклами, местами же сверкавшая на солнце, напоминая то огонь, то безобидные водяные капли, — она могла сойти за Тэттикорэм. Из дома виднелась тихая речка, а на ней паром.

Не успел прозвонить колокольчик, как мистер Мигльс вышел навстречу гостям. Не успел выйти мистер Мигльс, как вышла миссис Мигльс. Не успела выйти миссис Мигльс, как вышла Милочка. Не успела выйти Милочка, как вышла Тэттикорэм. Никогда гости не встречали более радушного приема.

— Вот мы и втиснуты в свои домашние границы, мистер Кленнэм, — сказал мистер Мигльс, — как будто никогда не выползали из них; я хочу сказать — не путешествовали. Не похоже на Марсель, а? Здесь не поют аллонов и маршонов?

— В самом деле, совершенно другой тип красоты, — сказал Кленнэм осматриваясь.

— Но, ей-богу, — воскликнул мистер Мигльс, потирая руки от удовольствия, — как славно

было в карантине, помните? Знаете, мне что-то хочется снова попасть туда! Такая веселая компания подобралась!

Это была неизменная привычка мистера Мигльса: ворчать на все во время путешествия — и мечтать о том же, сидя дома.

— Если бы теперь было лето, — продолжил мистер Мигльс, — (жаль, что оно прошло, и вы не можете видеть это место в полном блеске), нас бы не было слышно — столько здесь птиц. Как люди практические, мы не позволяем обижать птиц; и птицы, тоже народ практический, слетаются к нам целыми стаями. Мы ужасно рады вам, Кленнэм (если позволите, без слова «мистер»), от души вам говорю: ужасно рады.

— У меня еще не было такой приятной встречи, — сказал Кленнэм, но, вспомнив Крошку Доррит, откровенно прибавил: — За исключением одной — с тех пор как мы в последний раз прогуливались по террасе, любуясь Средиземным морем.

— Ага! — подхватил мистер Мигльс. — Точно стража, помните? Я не люблю военных порядков, но, пожалуй, немножко аллонов и маршонов — так, крошечку — не помешало бы и здесь. Очень уж у нас тихо, чертовски тихо!

Подкрепив это похвальное слово сомнительным покачиванием головы, мистер Мигльс повел гостей в дом. Он был в меру просторен, но не более, так же красив внутри, как снаружи, и устроен вполне уютно и удобно. Можно было заметить кое-какие следы семейной привычки странствовать — в виде завешанных картин и мебели, но сразу было видно, что одной из причуд мистера Мигльса было поддерживать коттедж во время отлучек в таком виде, как будто хозяева должны вернуться послезавтра.

Вещи, вывезенные из различных путешествий, представляли такую пеструю смесь, что комнаты смахивали на жилище какого-нибудь добродушного корсара. Тут были древности из средней Италии (произведения лучших современных фирм в этой отрасли промышленности), частицы мумий из Египта (а может быть, из Бирмингема), модели венецианских гондол, модели швейцарских деревень, кусочки мозаичной мостовой из Геркуланума и Помпеи, напоминавшие окаменелую рубленую телятину, пепел из гробниц и лава из Везувия, испанские веера, соломенные шляпы из Специи, мавританские туфли, тосканские шпильки, каррарские статуэтки, траставеринские шарфы, генуэзский бархат и

филигранные вещицы, неаполитанский коралл, римские камеи, женевские драгоценности, арабские фонарики, четки, освященные самим папой, и куча разнообразнейшего хлама. Были тут и виды, похожие и непохожие, разных местностей; была комната, отведенная специально для старинных святых, с мускулами в виде веревок, волосами, как у Нептуна, с морщинами, похожими на татуировку, и лакированными одеждами, превращающими святого в ловушку для мух. Об этих приобретениях мистер Мигльс говорил то же, что все обычно говорят: он не знаток, он покупает то, что ему нравится; он купил эти вещи за бесценок, и многие находили их недурными. Во всяком случае, один сведущий господин уверял, будто «Мудрец за книгой» (чрезвычайно жирный старый джентльмен, завернутый в одеяло, с горжеткой из лебяжьего пуха вместо бороды, весь покрытый сетью трещин, как пирожная корка) — настоящий Гверчино [24]. А о том Себастьяно дель Пьомбо [25] вы сами можете судить; если это не

[24] Сноски: 24

Гверчино (1591–1666) — итальянский художник, представитель болонской школы живописи.

[25] Сноски: 25

Дель Пьомбо Себастьяно (1485–1547) — итальянский художник эпохи Возрождения.

его позднейшая манера, то вопрос: чья же? Конечно, может статься, Тициан [26] приложил к ней руку. Даниэль Дойс заметил, что, может статься, Тициан не прикладывал к ней руки, но мистер Мигльс не расслышал этого замечания.

Показав свои приобретения, мистер Мигльс повел гостей в свой уютный кабинет, выходивший окнами на луг и меблированный частью на манер гостиной, частью — на манер кабинета. В нем находился стол вроде прилавка, на котором помещались медные весы для взвешивания золота и лопаточка [27].

— Вот они, видите, — сказал мистер Мигльс. — Я простоял за ними ровно тридцать пять лет в те времена, когда еще так же мало рассчитывал шататься по свету, как теперь… сидеть дома. Оставляя банк, я выпросил их и унес с собой. Я упоминаю об этом, а то вы, пожалуй, подумаете, что сижу я в своей конторе (как уверяет Милочка) и пересчитываю деньги, как король в стихотво-

---

[26] Сноски: 26

Тициан (1485–1576) — знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, глава венецианской школы живописи.

[27] Сноски: 27

Необходимые принадлежности служащего банка времен Диккенса: лопаточкой золото загребали, а затем взвешивали на весах.

рении о двадцати четырех черных дроздах[28].

Глаза Кленнэма остановились на картинке, висевшей на стене и изображавшей двух обнявшихся маленьких девочек.

— Да, Кленнэм, — сказал мистер Мигльс, понизив голос, — это они семнадцать лет назад. Как я часто говорю матери, они были тогда еще младенцами.

— Как же их звали? — спросил Артур.

— А, да, в самом деле, ведь вы не слышали другого имени, кроме Милочки. Настоящее имя Милочки — Минни, а другой — Лилли.

— Могли вы догадаться, мистер Кленнэм, что одна из них изображает меня? — спросила сама Милочка, появившаяся в эту минуту в дверях комнаты.

— Я бы принял их обеих за ваш портрет, обе до сих пор так похожи на вас, — ответил Кленнэм. — Право, — прибавил он, поглядывая то на прекрасный оригинал, то на рисунок, — я не могу решить, которая из них не ваш портрет.

— Слышишь ты это, мать? — крикнул мистер Мигльс жене, явившейся вслед за дочкой. — Со

---

[28] Сноски: 28

Речь идет о песенке «Пою за грош», вошедшей в популярнейший в Англии детский стихотворный сборник «Матушка Гусыня» (издается с XVIII века).

всеми то же самое, Кленнэм, никто не может решить. Ребенок налево от вас — Милочка.

Рисунок случайно висел подле зеркала. Взглянув на него вторично, Кленнэм заметил по отражению в зеркале, что Тэттикорэм остановилась, проходя мимо двери, прислушалась к разговору и прошла мимо с гневной и презрительной усмешкой, превратившей ее хорошенькое личико в некрасивое.

— Довольно, однако, — сказал мистер Мигльс. — Вы отмахали порядочный путь и, я думаю, не прочь заменить свои сапоги туфлями. Впрочем, Даниэлю вряд ли придет когда-нибудь в голову снять сапоги, разве если показать ему машинку для снимания.

— Отчего так? — спросил Даниэль, многозначительно улыбнувшись Кленнэму.

— О, вам приходится думать о таких разнообразных вещах, — ответил мистер Мигльс, хлопнув его по плечу. — И чертежи, и колеса, и шестерни, и рычаги, и винты, и цилиндры, и тысячи всевозможных штук!

— В моей профессии, — сказал Дойс, посмеиваясь, — мелочи так же важны, как и общий план. Впрочем, это ничего не значит, ничего не значит! Будь по-вашему, будь по-вашему!

Сидя перед огнем в отведенной для него комнате, Кленнэм невольно спросил себя, не затаилось ли в груди честного, доброго и сердечного мистера Мигльса микроскопической частицы того горчичного зерна, из которого выросло громадное древо министерства околичностей. Его курьезное отношение, несколько свысока, к Даниэлю Дойсу, вызванное не какими-либо недостатками последнего, а единственно тем обстоятельством, что Дойс был человек, одаренный творческим умом и не любивший ходить избитыми путями, по-видимому, оправдывало это предположение. Кленнэм обдумывал бы его до самого обеда, к которому он явился час спустя, если б у него не было другого вопроса, явившегося еще во время их пребывания в Марселе, — вопроса очень существенного, а именно: влюбиться ли ему в Милочку?

Он был вдвое старше ее. (Он переменил позу, переложил ногу на ногу и попробовал снова подсчитать — вышло то же самое.) Он был вдвое старше ее. Хорошо! Он был молод для своих лет, молод здоровьем и силой, молод сердцем. В сорок лет мужчина еще не старик, и очень многим просто обстоятельства не позволили (или сами не захотели) жениться раньше этого возраста. С

другой стороны, вопрос был не в том, что он думает об этом обстоятельстве, а в том, что думает она. Он думал, что мистер Мигльс питает к нему расположение, и знал, что, со своей стороны, питает искреннее расположение к мистеру Мигльсу и его доброй жене. Он понимал, что отдать единственную, так нежно любимую дочь мужу было бы для них испытанием, о котором, быть может, они до сих пор не решались и думать. Чем она красивее, милее и очаровательнее, тем скорее придется решить этот вопрос. И почему же не решить в его пользу, как и в пользу всякого другого?

Но тут ему снова пришло в голову, что вопрос не в том, что они думают об этом, а в том, что думает она. Артур Кленнэм был скромный человек, признававший за собой много недостатков, и так преувеличивал достоинства прекрасной Минни, так умалял свои, что, добравшись до этого пункта, стал терять надежду. Одевшись к обеду, он пришел к окончательному решению, что ему не следует влюбляться в Милочку.

Вся компания, собравшаяся за круглым столом, состояла из пяти человек. Было очень весело. Вспоминали приключения и встречи во время путешествия, смеялись, шутили (Даниэль Дойс

частью оставался зрителем, как при игре в карты, иногда же вставлял словечко от себя, когда представлялся случай) и чувствовали себя так свободно и непринужденно, точно век были знакомы.

— А мисс Уэд, — сказал мистер Мигльс, когда вспомнили о товарищах по путешествию. — Видел кто-нибудь мисс Уэд?

— Я видела, — сказала Тэттикорэм.

Она принесла накидку, за которой ее послала Милочка. Склонившись над Милочкой, она помогала ей надеть накидку. Подняв свои темные глаза, Тэттикорэм сделала это неожиданное замечание.

— Тэтти! — воскликнула ее барышня. — Ты видела мисс Уэд? Где?

— Здесь, мисс, — ответила Тэттикорэм.

— Каким образом?

Нетерпеливый взгляд Тэтти ответил, как показалось Кленнэму: «Глазами!», но на словах она ответила:

— Я встретилась с ней около церкви.

— Что она делала, желал бы я знать! — сказал мистер Мигльс. — Не ради церкви же она туда явилась?

— Она сначала написала мне, — сказала Тэт-

тикорэм.

— О Тэтти, — сказала вполголоса ее барышня, — оставь, не трогай меня. Мне кажется, точно кто-то чужой дотронулся до меня.

Она сказала это скороговоркой, полушутя, чуть-чуть капризно, как балованое дитя, которое минуту тому назад смеялось. Тэттикорэм стиснула свои полные красные губы и скрестила руки на груди.

— Хотите вы знать, сэр, — сказала она, взглянув на мистера Мигльса, — что писала мисс Уэд?

— Что ж, Тэттикорэм, — ответил мистер Мигльс, — так как ты предлагаешь этот вопрос и так как мы все здесь друзья, то, пожалуй, расскажи, если хочешь.

— Она узнала во время путешествия ваш адрес, — сказала Тэттикорэм, — и видела меня не… не совсем…

— Не совсем в хорошем расположении духа, Тэттикорэм, — подсказал мистер Мигльс, покачивая головой в ответ на ее мрачный взгляд. — Подожди немного… сосчитай до двадцати пяти, Тэтти.

Она снова стиснула губы и тяжело перевела дух.

— Вот она и написала мне, что если меня будут обижать, — она взглянула на свою барышню, —

или если мне самой надоест здесь, — она снова взглянула на нее, — чтобы я переходила к ней, а она обещает хорошо обращаться со мной. Она советовала мне подумать об этом и назначила свидание у церкви. Вот я и пошла поблагодарить ее.

— Тэтти, — сказала барышня, положив ей на плечо руку, — мисс Уэд почти напугала меня, когда мы расставались, и мне не хотелось бы думать, что она так близко от меня, а я и не знаю об этом. Тэтти, милочка!

Тэтти стояла с минуту не шевелясь.

— А? — воскликнул мистер Мигльс. — Сосчитай еще раз до двадцати пяти, Тэттикорэм!

Сосчитав примерно до двенадцати, она наклонила голову и прижала губы к руке, ласкавшей ее. Рука потрепала ее по щеке, и Тэттикорэм ушла.

— Вот-с, видите, — сказал мистер Мигльс, доставая сахар с вертящегося столика, находившегося по правую руку от него. — Вот девушка, которая могла бы пропасть и погибнуть, если бы не жила среди практических людей. Мать и я знаем только потому, что мы практические люди, что бывают минуты, когда эта девушка всем своим существом возмущается против нашей привязанности к Милочке. У нее, бедняжки, не было отца

и матери, которые были бы привязаны к ней. Я воображаю, с каким чувством этот несчастный ребенок, при его страстной и порывистой натуре, слушает по воскресеньям пятую заповедь [29]. Мне всегда хочется сказать ей: «Ты в церкви, сосчитай до двадцати пяти, Тэттикорэм».

За обедом прислуживали две горничные с розовыми щеками и блестящими глазами, служившие немалым украшением столовой.

— А почему нет? — сказал по этому поводу мистер Мигльс. — Я всегда говорю матери: если уж заводить что-нибудь, так лучше такое, чтобы было приятно смотреть.

Кроме перечисленных лиц в доме мистера Мигльса проживала некая миссис Тиккит, исполнявшая обязанности кухарки и экономки, когда семья была дома, и только экономки — в отсутствие семьи. Мистер Мигльс сожалел, что обязанности миссис Тиккит не позволяли ей познакомиться с гостем сегодня, но надеялся представить ее Кленнэму завтра.

По его словам, она была важным лицом в коттедже, и все его друзья знали ее. Ее портрет висел в углу. Когда они уезжали, она облачалась в

---

[29] Сноски: 29

Одна из десяти заповедей Библии, которая гласит: «Чти отца своего и мать свою...».

шелковое платье, украшала голову роскошными черными кудрями (ее собственные волосы были рыжеватые, с проседью), водружала на нос очки, садилась в столовой, развернув, всегда на одной и той же странице, «Домашний лечебник» доктора Бухана, и просиживала тут целые дни, поглядывая в окошечко, пока не возвращалась семья. По общему мнению, нечего было и думать убедить ее покинуть свой пост у окна или отказаться от помощи доктора Бухана, хотя мистер Мигльс был твердо убежден, что она еще ни разу не воспользовалась каким бы то ни было советом этого ученого практика.

Вечером они играли в карты, причем Милочка либо сидела подле отца, либо напевала и наигрывала на рояле. Она была избалованное дитя; да и как могло быть иначе? Кто, находясь в ее обществе, не подчинился бы влиянию такого милого и прекрасного существа? Кто, проведя хоть один вечер в этом доме, не полюбил бы ее за одно ее присутствие, за ее чарующую грацию? Так думал Кленнэм, несмотря на окончательное решение, принятое перед обедом.

Размышляя об этом, он сделал ошибку в игре.

— Эге, что это с вами, почтеннейший? — с удивлением спросил мистер Мигльс, бывший его

партнером.

— Виноват, ничего, — ответил Кленнэм.

— Задумались о чем-то? Это не годится, — добавил мистер Мигльс.

Милочка, смеясь, заметила, что он, вероятно, задумался о мисс Уэд.

— С какой стати о мисс Уэд, Милочка? — спросил отец.

— В самом деле, с какой стати о мисс Уэд! — сказал Кленнэм.

Милочка слегка покраснела и убежала к фортепиано.

Когда стали расходиться спать, Кленнэм услышал, как Дойс просил хозяина уделить ему полчаса завтра утром, до завтрака. Хозяин обещал, а Артур остановился на минуту, желая сказать несколько слов по этому поводу.

— Мистер Мигльс, — произнес он, когда они остались одни, — помните, как вы советовали мне ехать прямо в Лондон?

— Очень хорошо помню.

— А помните, как вы дали мне другой хороший совет, который был мне очень кстати в то время?

— Не помню хорошенько, в чем дело, — ответил мистер Мигльс, — помню только, что мы говорили по душе.

— Я последовал вашему совету, развязался с делом, которое было для меня неприятно во многих отношениях, и хочу теперь посвятить свои силы и средства какому-нибудь другому предприятию.

— Отлично! Чем скорее, тем лучше, — сказал мистер Мигльс.

— Сегодня я узнал, что ваш приятель, мистер Дойс, ищет компаньона: не сотрудника по разработке научной стороны своих изобретений, а человека, который помог бы ему лучше вести предприятие в деловом и денежном отношениях.

— Именно так, — сказал мистер Мигльс, засунув руки в карманы и приняв деловое выражение, напоминавшее о весах и лопаточке.

— Мистер Дойс в разговоре со мной упомянул о своем намерении посоветоваться с вами на этот счет. Если вы находите, что мы можем сойтись, то, может быть, найдете возможным указать ему на меня. Конечно, я не знаю деталей, а они могут оказаться неподходящими для нас обоих.

— Без сомнения, без сомнения, — заметил мистер Мигльс, обнаруживая осторожность, неразлучную с весами и лопаточкой.

— Но тут вопрос в цифрах и расчетах…

— Именно так, именно так, — перебил мистер

Мигльс с математической деловитостью, свойственной весам и лопаточке.

— И я буду рад заняться этим предметом, если мистер Дойс найдет это возможным. Итак, вы меня очень обяжете, если возьмете на себя это дело.

— Кленнэм, я охотно возьмусь за него, — сказал мистер Мигльс, — и замечу теперь же, не предваряя, конечно, тех пунктов, относительно которых вы как деловой человек не считаете пока возможным высказаться, что, по моему мнению, из этого может что-нибудь выйти. В одном вы можете быть совершенно уверены: Даниэль — честный человек.

— Я так уверен в этом, что, не колеблясь, решился переговорить с вами.

— Вам придется руководить им, вести его, направлять его; он ведь чудаковат, — сказал мистер Мигльс, очевидно, подразумевая под этим способность делать открытия и пролагать новые пути, — но он честен, как солнце. Итак, покойной ночи!

Кленнэм вернулся в свою комнату, снова уселся перед огнем и стал убеждать себя, что он очень рад своему решению не влюбляться в Милочку. Она была так хороша собой, так мила, так

способна сделать счастливейшим из смертных человека, которому удалось бы произвести впечатление на ее невинное сердце, что он был очень рад своему решению.

Чувствуя, однако, что тут могли оказаться какие-нибудь основания для совершенно противоположного решения, он продолжал думать об этом вопросе, быть может для того, чтобы оправдаться.

«Допустим, — говорил он себе, — что человек старше ее двадцатью годами, застенчивый в силу обстоятельств своей молодости, довольно угрюмый вследствие общих условий своей жизни, сознающий, что у него, вследствие продолжительного одиночества и жизни в чужой стране, не хватает некоторых небольших достоинств, которые нравятся людям; человек, у которого нет любящей сестры, родного дома, куда бы он мог ввести ее, почти иностранец, не обладающий богатством, которое могло бы возместить до некоторой степени эти недостатки; человек, все достоинства которого заключаются в искренней любви и желании поступать справедливо, — предположим, что такой человек явился бы в этот дом, поддался очарованию этой прелестной девушки и убедил себя, что может питать надеж-

ду на взаимность, — какая бы это была слабость с его стороны!»

Он тихонько отворил окно и стал смотреть на тихую речку. Из года в год на одно и то же расстояние относит лодку; одно и то же количество миль в час пробегает река; на одних и тех же местах растут камыши и цветут водяные лилии: никаких перемен, никаких тревог.

Почему же у него так горько и так тяжко на сердце? Ведь он не поддался этой слабости. И никто из известных ему людей не поддавался ей. Что же так томит его? И ему пришло в голову, что, пожалуй, лучше бы было двигаться пассивно, как эта река, не чувствуя ни радости, ни страдания.

Глава XVII. Ничей соперник

Утром, до завтрака, Артур отправился побродить около дачи. Так как погода была хорошая, а времени у него было довольно — час с лишним, — то он переправился через реку на лодке и пошел по дорожке через луга. Когда он вернулся, лодка оказалась у противоположного берега, а у перевоза дожидался какой-то господин.

Этому господину было не более тридцати лет. Он был хорошо одет, хорошо сложен, с веселым, оживленным смуглым лицом. Когда Артур подошел к берегу, господин взглянул на него мельком и продолжил свое занятие: сбрасывать в реку камешки носком сапога. В его манере выковыривать камешки каблуком и помещать их в надлежащее положение Кленнэм уловил что-то жестокое. Большинству из нас случалось испытывать подобное же впечатление при виде самых незначительных действий иного человека — например, глядя, как он срывает цветок, отталкивает препятствие или даже уничтожает какой-нибудь неодушевленный предмет.

Господин, по-видимому, задумался о чем-то и не обратил внимания на прекрасного ньюфа-

ундленда, который внимательно следил за ним, готовый броситься в воду по первому знаку. Но господин не подавал знака, а когда лодка причалила, взял собаку за ошейник и усадил в лодку.

— Сегодня нельзя, — сказал он собаке. — Хорош ты будешь, явившись к дамам мокрым. Лежи смирно!

Кленнэм вошел в лодку вслед за господином с собакой и уселся. Собака повиновалась приказанию. Господин остался на ногах, засунув руки в карманы и заслонив Кленнэму вид. Как только лодка подошла к берегу, и он и собака выскочили и ушли, Кленнэм был очень рад, что избавился от этого общества.

Часы на колокольне возвестили ему, что время идти завтракать, и он пошел по лужайке к воротам садика. В ту минуту, как он дернул звонок, громкий лай раздался из-за ограды.

«Вчера вечером я не слышал собак», — подумал Кленнэм. Одна из румяных девушек отворила ворота, а на лужайке появился господин с ньюфаундлендом.

— Мисс Минни еще не выходила, господа, — сказала, краснея, хорошенькая привратница, когда все трое вошли в сад. Затем, обратившись к хозяину собаки, прибавила: — Мистер Кленнэм,

сэр, — и убежала.

— Довольно странно, мистер Кленнэм, что мы только что встретились, — сказал господин. Собака промолчала. — Позвольте мне отрекомендоваться самому: Генри Гоуэн. Хорошенькое местечко и очень мило выглядит нынче утром!

Манеры у него были свободные, голос приятный, но Кленнэм все-таки подумал, что если бы не его решение не влюбляться в Милочку, то этот Генри Гоуэн был бы ему не по душе.

— Вам оно незнакомо, если не ошибаюсь? — спросил Гоуэн, когда Кленнэм подтвердил его одобрительный отзыв.

— Совершенно незнакомо. Я не бывал здесь до вчерашнего вечера.

— Ага! Конечно, теперь оно не в самом своем чудесном виде. Весною, перед их отъездом, оно было очаровательно. Вот бы вам тогда побывать здесь.

Если бы не решение, о котором так часто упоминалось, Кленнэм пожелал бы ему очутиться в кратере Этны в ответ на его любезность.

— Я часто бывал здесь в течение трех последних лет — это рай!

С его стороны было просто дерзостью и бесстыдством (то есть, по крайней мере, было бы, если

бы не то мудрое решение) называть это место раем. Ведь он только потому назвал его раем, что увидел ее, подходившую к ним, иными словами — намекнул ей, что считает ее ангелом, черт бы его побрал.

Но боже мой, как она сияла, как она была рада! Как она ласкала собаку, и как ластилась к ней собака! Как красноречиво говорила эта краска в лице, эти порывистые движения, эти опущенные глаза, это робкое счастье! Когда же Кленнэму случалось видеть ее такой! Не то чтобы были какие-нибудь причины, в силу которых он мог, рассчитывал, желал видеть ее такой; не то чтобы когда-нибудь надеялся видеть ее такой, но все-таки мог ли он даже заподозрить когда-нибудь, что она бывает такой?

Он стоял поодаль от них и смотрел. Этот Гоуэн, толковавший о рае, подошел к ней и взял за руку. Собака поставила свои мохнатые лапы к ней на колени. Она смеялась, и здоровалась с ним, и гладила собаку слишком, слишком ласково, то есть если бы на эту сцену смотрел кто-нибудь третий и если бы этот третий был влюблен в нее.

Вот она подошла к Кленнэму, поздоровалась, пожелала доброго утра и сделала вид, будто хочет предложить ему руку, чтобы он отвел ее домой.

Гоуэн не обратил на это ни малейшего внимания. Нет, он знал, что ему нечего бояться.

Благодушная физиономия мистера Мигльса слегка затуманилась, когда все трое (четверо, если считать собаку) явились к завтраку. Это обстоятельство, равно как и легкое беспокойство, мелькнувшее в глазах миссис Мигльс, когда она взглянула на них, не ускользнули от Кленнэма.

— Ну-с, Гоуэн, — сказал мистер Мигльс, почти подавляя вздох, — как дела?

— Идут своим порядком, сэр. Мы со Львом встали сегодня пораньше, чтоб не опоздать, и явились сюда из Кингстона, моего теперешнего местожительства, где я сделал два-три наброска.

Затем он рассказал, как они встретились с Кленнэмом и вместе переправились через реку.

— Здорова ли миссис Гоуэн, Генри? — спросила миссис Мигльс. (Кленнэм прислушался.)

— Матушка совершенно здорова, благодарю вас. — (Кленнэм перестал слушать.) — Я взял на себя смелость пригласить к вам сегодня одного моего знакомого — надеюсь, что это не будет неприятно вам и мистеру Мигльсу. Я не мог отделаться от него, — прибавил он, обращаясь к последнему. — Молодой человек написал мне, что собирается приехать, и так как у него хоро-

шие связи, то я полагал, что вы не будете иметь ничего против, если я затащу его к вам.

— Кто этот молодой человек? — спросил мистер Мигльс.

— Один из Полипов, сын Тита Полипа, Кларенс Полип, служит в департаменте отца. Ручаюсь, во всяком случае, что он не взорвет ваш дом, так как не выдумает пороха.

— Так-так, — сказал мистер Мигльс. — Мы немножко знакомы с этой семейкой, а, Дан? Клянусь Георгом, это вершина древа. Постойте. Кем приходится этот молодой человек лорду Децимусу? Его светлость женился в семьсот девяносто седьмом году на леди Джемиме Бильберри, второй дочери от третьего брака… Нет, что я! То была леди Серафина, а леди Джемима — первая дочь от второго брака пятнадцатого графа Пузыря на достопочтенной Клементине Тузеллем. Очень хорошо. Отец этого молодого человека женился на леди Пузырь, а его отец — на своей кузине из семьи Полип. Отец того отца, который был женат на урожденной Полип, женился на Джоддльби. Я забрался слишком далеко, Гоуэн, потому что желал выяснить, кем приходится этот молодой человек лорду Децимусу.

— Это легко. Его отец — племянник лорда Де-

цимуса.

— Племянник… лорда… Децимуса! — проговорил мистер Мигльс, зажмурившись, чтобы просмаковать без помехи эту блистательную родословную. — Вы правы, Гоуэн: именно племянник.

— Следовательно, лорд Децимус — его двоюродный дед.

— Постойте, — сказал мистер Мигльс, открывая глаза, как бы пораженный новым открытием. — Стало быть, леди Пузырь — его двоюродная бабка по матери!

— Разумеется.

— Ого-го! — произнес мистер Мигльс с большим чувством. — Так-так! Мы будем рады ему. Мы примем его, как умеем, в нашем скромном домике, ну… и во всяком случае, надеюсь, не уморим его голодом!

В начале этого диалога Кленнэм ожидал какого-нибудь безобидного взрыва со стороны мистера Мигльса вроде выходки в министерстве околичностей — тогда, когда он тащил за шиворот Дойса. Но его добрый друг, как оказалось, не был чужд слабости, которую каждому из нас случалось наблюдать и от которой не могли его отучить никакие приключения в министерстве околич-

ностей. Кленнэм взглянул на Дойса, но Дойс уже давно знал об этом и сидел, уткнувшись в тарелку, не показывая вида и не говоря ни слова.

— Очень вам обязан, сэр, — сказал Гоуэн, желая покончить с этим разговором. — Кларенс осел, но милейший и добрейший парень!

Во время завтрака выяснилось, что все знакомые Генри Гоуэна были более или менее ослами или более или менее мошенниками, но при всем том достойнейшими, самыми обходительнейшими, обязательнейшими, вернейшими, простейшими, милейшими, добрейшими людьми в мире. Ход рассуждений Гоуэна, приводивший к такому выводу, можно бы передать примерно в такой форме: «Я всегда для каждого человека веду приходорасходную книгу, в которой отмечаю самым тщательным образом все его достоинства и недостатки. Я делаю это так добросовестно, что в итоге прихожу к утешительному выводу: самый последний прохвост обыкновенно милейший парень. С другой стороны, я с удовольствием могу сказать, что между честным человеком и мошенником гораздо меньше различия, чем вы склонны предполагать». Результатом этого утешительного вывода было то, что, добросовестно отыскивая в большинстве людей что-нибудь хо-

рошее, он в действительности не замечал его там, где оно было, и находил там, где его не было, но это была единственная неприятная или опасная черта его характера.

Как бы то ни было, она, по-видимому, не доставляла мистеру Мигльсу такого удовольствия, как генеалогия Полипов. Облако, которого Кленнэм до сих пор никогда не замечал на его лице, часто отуманивало его, и такая же тень беспокойного наблюдения мелькала на добродушном лице его жены. Не раз и не два, когда Милочка ласкала собаку, Кленнэму казалось, что ее отец огорчается этим, а однажды, когда Гоуэн, стоявший по другую сторону собаки, случайно наклонился как раз в эту минуту, Артур заметил даже слезы на глазах миссис Мигльс, которая поспешно вышла из комнаты. Далее ему показалось, что сама Милочка замечала это, что она старалась с большим, чем обыкновенно, приливом нежности выразить свою любовь к отцу и с этой целью все время шла с ним под руку на пути в церковь и обратно. Он бы поклялся, что несколько времени спустя, гуляя в саду, случайно заглянул в окно к мистеру Мигльсу и увидел, как нежно она ластилась к обоим родителям и плакала на плече отца.

Погода испортилась, пошел дождь, так что

остальную часть дня пришлось сидеть дома, рассматривая коллекции мистера Мигльса и коротая время в разговорах. Этот Гоуэн охотно рассказывал о себе с большой откровенностью и юмором. По-видимому, он был художник по профессии и прожил несколько лет в Риме, но относился к своему призванию и к искусству вообще с какой-то поверхностной, любительской точки зрения, которой Кленнэм решительно не мог понять.

Он обратился за помощью к Дойсу, когда они стояли у окна, поодаль от остальных.

— Вы знаете мистера Гоуэна? — спросил он вполголоса.

— Я встречал его здесь. Бывает каждое воскресенье, когда они дома.

— Он художник, судя по его словам?

— Нечто вроде, — ответил мистер Дойс угрюмым тоном.

— Как это — нечто вроде? — с улыбкой спросил Кленнэм.

— Он прогуливается в области искусства, как на Пэлл-Мэллском бульваре, — ответил Дойс, — а оно вряд ли любит такое отношение к себе.

Продолжая расспросы, Кленнэм узнал, что Гоуэны — дальние родственники Полипов и что

Гоуэн-отец состоял при каком-то заграничном посольстве, а вернувшись на родину, получал солидный оклад в качестве чиновника по тем или другим, а вообще никаким особенным поручениям и умер на своем посту, ратуя до последней минуты за свое жалованье. Принимая в соображение эти важные государственные заслуги, Полипы, стоявшие в то время у кормила правления, выхлопотали для его вдовы пенсию в двести или триста фунтов, к которой ближайший по времени Полип добавил укромное и покойное помещение в Хэмптон-корте, где старушка обитала до сих пор, оплакивая развращенность времени с другими старичками обоего пола. Его сын, мистер Генри Гоуэн, унаследовав от отца весьма сомнительные средства к жизни, никак не мог пристроиться, так как, во-первых, общественная кормежка в то время несколько сократилась, а во-вторых, он с юности обнаруживал чисто технические дарования, а именно — большую способность гранить мостовую. Наконец, он объявил о своем намерении сделаться художником, частью потому, что всегда проявлял охоту к этому занятию, частью в отместку главному Полипу, который не позаботился о нем своевременно. Отсюда получились следующие результаты: во-

первых, многие высокопоставленные дамы были страшно шокированы; далее, его произведения переходили из рук в руки на вечерах, вызывая восторженные уверения, будто это настоящий Клод [30], настоящий Кейп [31], настоящее чудо искусства; наконец лорд Децимус купил его картину, пригласил на обед президента и членов совета и сказал со свойственной ему великолепной важностью: «Знаете, мне кажется, картина действительно имеет огромные достоинства». Словом, люди с весом и значением решительно из кожи лезли, стараясь пустить его в ход, но из этого ничего не выходило. Предубежденная публика упорно отказывалась признавать его, отказывалась восхищаться картиной лорда Децимуса, вбив себе в голову, что во всякой профессии за исключением ее собственной можно отличиться только работая день и ночь, непрерывно и неустанно, влагая всю душу в дело. И вот мистер Гоуэн, подобно тому старому ветхому гробу,

[30] Сноски: 30
Клод Лоррен (1600–1682) — французский художник-пейзажист.

[31] Сноски: 31
Кейп Альберт (1620–1691) — голландский художник.

который никогда не был ни Магометовым [32], ни чьим-нибудь другим, висел в пространстве между двумя точками, злобствуя и негодуя на тех, от кого отстал, злобствуя и негодуя на тех, к кому не мог пристать.

Вот сущность сведений, полученных Кленнэмом о Гоуэне в это дождливое воскресенье и позднее.

Наконец, опоздав примерно на час к обеду, явился и юный Полип с моноклем. Из почтения к его высоким связям мистер Мигльс упрятал куда-то хорошеньких горничных, заместив их невзрачными официантами. Юный Полип был невыразимо смущен и изумлен, увидев Кленнэма, и пробормотал, прежде чем пришел в себя: «Постойте, ведь, ей-богу, знаете!»

Даже после этого он воспользовался первым удобным случаем, чтобы отвести своего приятеля к окну и промямлить расслабленным, как и все его ухватки, гнусавым голосом:

— На пару слов, Гоуэн. Постойте, послушайте. Кто этот молодец?

— Друг нашего хозяина, но не мой.

— Знаете, это отъявленный радикал, — сказал

---

[32] Сноски: 32

Магомет (571–632 н. э.) — основатель мусульманской религии (ислама). Гроб Магомета находится в городе Мекке.

юный Полип.

— В самом деле? Откуда вы знаете?

— Ей-богу, сэр, он недавно впился в нас самым ужаснейшим образом. Явился к нам и впился в моего отца, так что пришлось выпроводить его вон. Вернулся в департамент и впился в меня. Послушайте, вы представить себе не можете, что это за человек!

— Что же ему понадобилось?

— Ей-богу, Гоуэн, — ответил юный Полип, — он, знаете, заявил, что желает знать! Нагрянул в департамент без приглашения и заявил, что желает знать!

Он так широко раскрывал глаза от негодующего изумления, что наверняка испортил бы себе зрение, если бы обед не явился на помощь. Мистер Мигльс (который крайне беспокоился насчет здоровья его дедушки и бабушки) предложил ему вести в столовую миссис Мигльс. И когда он уселся по правую руку миссис Мигльс, мистер Мигльс выглядел таким довольным, как будто вся семья его собралась здесь.

Вчерашнего непринужденного веселья и в помине не было. Обедающие, как и самый обед, были какие-то холодные, тяжелые, сухие. И все это по милости злополучного расслабленного

юного Полипа. Некрасноречивый от природы, он к тому же был пришиблен присутствием Кленнэма. Он решительно не мог отвести от него глаз, и в результате то и дело терял монокль, который попадал ему в тарелку, в стакан с вином, в тарелку миссис Мигльс или повисал наподобие шнурка от звонка за его спиной, так что невзрачному официанту приходилось водворять его на место, на грудь. Утрачивая все душевные способности вследствие частых потерь этого инструмента и его упорного нежелания держаться в глазу, он все более и более ослабевал умом при каждом взгляде на таинственного Кленнэма, совал себе в глаза ложки, вилки и другие посторонние предметы, смущался еще более, замечая эти промахи, и тем не менее не сводил глаз с Кленнэма. Когда же Кленнэм говорил что-нибудь, злополучный молодой человек просто дрожал от ужаса, ожидая, что вот-вот он объявит, знаете, что желал бы знать.

Таким образом, вряд ли кому было весело за столом, кроме мистера Мигльса. Зато мистер Мигльс был в восторге от юного Полипа. Как фляжка воды в сказке превратилась в целый поток, когда из нее начали выливать воду, так мистеру Мигльсу казалось, что этот отпрыск Полипов принес с собой все родословное древо. В присутствии

последнего его лучшие качества как-то поблекли: он не был так прост, так непринужден, он тянулся за тем, что ему не принадлежало, он не был самим собой. Какая странная черта характера, найдем ли мы где-нибудь что-нибудь подобное!

Наконец мокрый воскресный день закончился мокрой ночью, и юный Полип уехал в карете, а подозрительный Гоуэн ушел пешком с подозрительной собакой. Милочка целый день старалась быть особенно любезной с Кленнэмом, но Кленнэм относился к ней с некоторой холодностью — то есть относился бы, если бы был влюблен в нее.

Когда он удалился в свою комнату и снова бросился в кресло перед огнем, мистер Дойс постучал в дверь и вошел со свечой в руке, спрашивая, в котором часу и каким способом он думает отправиться обратно. Ответив на этот вопрос, Кленнэм закинул словечко насчет этого Гоуэна, который не выходил бы из его головы, если бы был его соперником.

— Вряд ли из него выйдет настоящий художник, — сказал Кленнэм.

— Вряд ли, — подтвердил Дойс.

Мистер Дойс стоял с подсвечником в одной руке, а другую засунув в карман и уставившись

на пламя свечи, причем на лице его выражалась спокойная уверенность в том, что разговор на этом не кончится.

— Мне показалось, что наш добрый друг немножко изменился и был не в духе после его прихода, — сказал Кленнэм.

— Да, — ответил Дойс.

— Только он, но не его дочь, — продолжил Кленнэм.

— Нет, — сказал Дойс.

Последовала пауза. Мистер Дойс, продолжая смотреть на пламя свечи, медленно проговорил:

— Правду сказать, он два раза увозил дочь за границу в надежде, что она забудет мистера Гоуэна. Он склонен думать, что она расположена к Гоуэну, но сильно сомневается (признаюсь, я разделяю его сомнение), что этот брак будет счастливым.

— Я… — Кленнэм поперхнулся, закашлялся и умолк.

— Да вы простудились, — сказал Даниэль Дойс, не глядя на Кленнэма.

— Я думаю, они обручились? — спросил Кленнэм беззаботным тоном.

— Нет, насколько я знаю, до этого еще не дошло. Он-то добивался этого, но тщетно. Со времени их

возвращения наш друг согласился на еженедельные посещения, но не более того. Минни не станет обманывать отца и мать. Вы путешествовали вместе с ними, и, вероятно, знаете, какая между ними тесная связь — связь, простирающаяся даже за пределы здешней жизни. Мы видели все, что есть между ними, я не сомневаюсь в этом.

— О, мы видели довольно! — воскликнул Артур.

Мистер Дойс пожелал ему спокойной ночи тоном человека, который услышал скорбное, чтоб не сказать, отчаянное, восклицание и вознамерился пролить утешение и надежду в душу того, кто испустил это восклицание. По всей вероятности, этот тон принадлежал к числу его странностей как «чудаковатого малого»; если б он услышал что-нибудь подобное, то и Кленнэм должен был бы услышать.

Дождь угрюмо уныло стучал в крышу, хлестал по земле, шуршал в вечнозеленых кустарниках и голых сучьях. Это была ночь слез.

Хорошо, что Кленнэм решил не влюбляться в Милочку, хорошо, что он не поддался этой слабости, не убедил себя мало-помалу поставить на карту всю серьезность своей натуры, всю силу своей надежды, все богатство своего зрелого ха-

рактера и не убедился, что все погибло, иначе он провел бы очень горькую ночь. Теперь же…

Теперь же дождь стучал угрюмо и уныло.

Глава XVIII. Обожатель Крошки Доррит

Дожив до двадцать второго дня рождения, Крошка Доррит не осталась без обожателей. Даже в унылой Маршалси вечно юный стрелок [33] спускает иногда неоперенные стрелы со своего покрытого плесенью лука, поражая того или другого члена общежития.

Впрочем, обожатель Крошки Доррит не принадлежал к числу членов общежития. Это был чувствительный сын тюремщика. Его отец надеялся со временем оставить ему в наследство незапятнанный ключ и с детства знакомил его с обязанностями тюремщика, внушая честолюбивую мечту сохранить в их семье заведование тюремными дверями.

В ожидании наследства он помогал матери, державшей табачную лавочку на Конной улице (его отец не жил в тюрьме).

В былые годы, когда предмет его страсти сиживал на креслице перед камином привратницкой,

---

[33] Сноски: 33

В античной мифологии бог любви Амур, сын богини Венеры, который обычно изображался в виде крылатого мальчика с луком и стрелами.

юный Джон (фамилия его была Чивери), бывший годом старше ее, смотрел на нее восхищенными глазами. Когда они играли на дворе, его любимой игрой было запирать ее в ненастоящую тюрьму, где-нибудь в уголке, и выпускать из ненастоящего заключения за настоящий поцелуй. Когда он подрос настолько, что мог заглядывать в скважину большого замка входной двери, то не раз опрокидывал на пол обед или ужин отца, останавливаясь с наружной стороны, чтобы посмотреть на нее в это отверстие.

Если во времена легкомысленного детства юный Джон забывал иногда о своей любви, то, возмужав, был верен ей неизменно. Девятнадцати лет он написал мелом на стене, против комнаты Крошки Доррит, в день ее рождения: «Привет тебе, нежная любимица фей!» Двадцати трех лет он трепетной рукой преподносил по воскресеньям сигары Отцу Маршалси, отцу владычицы его сердца!

Юный Джон был маленького роста, с тощими ногами и с довольно жидкими светлыми волосами. Один глаз у него (быть может, именно тот, что заглядывал в замочную скважину) был слабее другого и казался больше, точно не мог сосредоточиться. Юный Джон был смирный малый

с великой душой — поэтической, откровенной, верной.

Смиряясь перед владычицей своего сердца, юный Джон не мог, конечно, предаваться излишнему оптимизму, но все-таки ясно видел ее достоинства и недостатки. Без излишнего самообольщения он усматривал известное соответствие в их взаимном положении. Допустим, что дело пойдет на лад и они обвенчаются. Она — дитя Маршалси, он — тюремщик. В этом есть соответствие. Допустим, что он будет жить в тюрьме. Ей достанется комната, за которую она должна теперь платить. А комната была хоть куда. Став на цыпочки, из нее можно было заглянуть через ограду. Если завести в ней канарейку или две и увить окно пунцовым горошком, это будет настоящий рай. Обольстительная мечта! Замкнутая жизнь за тюремным замком тоже имела свою прелесть. Удаленные от мира (исключая той части его, которая попадала под замок), не участвуя в его суете и тревогах, о которых они будут знать только по рассказам паломников, являющихся на поклон в храм несостоятельности — с раем наверху, с привратницкой внизу, — они будут мирно скользить по течению времени, убаюканные идиллическим семейным счастьем.

Слезы покатились из глаз юного Джона, когда в заключение этой картины он представил себе на соседнем кладбище надгробную плиту с надписью: «Памяти Джона Чивери, бывшего тюремщиком в течение шестидесяти лет, старшим тюремщиком в течение пятидесяти лет в соседней тюрьме Маршалси, который скончался, всеми оплаканный, 31 декабря 1886 года, в возрасте 83 лет, и его нежно любимой жены Эми, урожденной Доррит, которая пережила свою потерю не долее 48 часов и испустила последний вздох в вышеназванной Маршалси. Там она родилась, там она жила, там она умерла».

Родители Чивери знали о привязанности своего сына: бывали случаи, когда под влиянием растрепанных чувств он в ущерб торговле раздражительно относился к покупателям, — и со своей стороны вполне сочувствовали его планам. Миссис Чивери, женщина рассудительная, желала обратить внимание своего супруга на то обстоятельство, что виды юного Джона на тюремные ключи, без сомнения, найдут опору в союзе с мисс Доррит, которая пользовалась в тюрьме своего рода влиянием и большим почетом. Миссис Чивери желала обратить внимание своего супруга и на то обстоятельство, что если, с

одной стороны, у Джона есть средства и солидное положение, то, с другой стороны, у мисс Доррит есть семья, а, по ее (миссис Чивери) мнению, две половины составляют целое. Далее, рассуждая как мать, а не как дипломатка, миссис Чивери желала, с различных точек зрения, обратить внимание своего супруга на то обстоятельство, что их Джон никогда не отличался здоровьем, а любовь подтачивала и терзала его, и хотя он еще не сделал над собой ничего дурного, но, пожалуй, может решиться на это, если стать ему поперек дороги. Эти аргументы произвели такое сильное впечатление на ум мистера Чивери, человека неразговорчивого, что он нередко в ясное солнечное воскресное утро значительно подмигивал юному Джону, давая понять, что пора бы ему объясниться и возвратиться с торжеством. Но у юного Джона никогда не хватало духу объясниться, и вот в эти-то дни он возвращался в табачную лавку в расстроенных чувствах и набрасывался на посетителей.

В этом случае, как и во всех, меньше всего думали о самой Крошке Доррит. Ее брат и сестра знали об ухаживании юного Джона и пользовались им как вешалкой для проветривания изодранной, изношенной старой фикции семейного благо-

родства. Ее сестра демонстрировала семейное благородство, насмехаясь над бедным малым, когда тот слонялся по тюрьме, поджидая случая взглянуть на свою милую. Тип демонстрировал семейное благородство и свое собственное, разыгрывая роль братца-аристократа. Не одни они в семействе Доррит приняли к сведению это обстоятельство. Нет, нет. Само собой разумеется, предполагалось, что Отец Маршалси ничего не знает о нем: его бедное достоинство не могло спускаться так низко, но он охотно принимал сигары по воскресеньям, иногда даже простирал свою снисходительность до того, что прогуливался по двору с жертвователем (в такие минуты последний был горд и полон надежды) и благосклонно выкуривал в его обществе одну из поднесенных им сигар. С неменьшей благосклонностью и снисхождением относился он к Чивери-старшему, который всегда предлагал ему свое кресло и газету, когда Отец Маршалси заходил в сторожку и даже намекал, что если ему вздумается как-нибудь вечерком выйти на передний двор и заглянуть на улицу, то никто не станет ему препятствовать. Отец Маршалси не пользовался этой последней любезностью только потому, что она не соблазняла его, но при-

нимал все прочие знаки уважения и говаривал иногда: «Очень вежливый человек этот Чивери, весьма внимательный и весьма почтительный. Молодой Чивери тоже; право, он обнаруживает даже истинную деликатность и сознание своего положения. Право, благовоспитанная семья. Их поведение очень нравится мне».

Преданный юный Джон глубоко уважал все семейство. Ему и в голову не приходило оспаривать их претензии: напротив, он почтительно относился к их жалкой пародии на знатность. Что касается оскорблений со стороны ее брата, то он всегда чувствовал, даже когда находился в не особенно миролюбивом настроении духа, что сказать грубость этому джентльмену или поднять на него руку было бы нечестивым поступком. Он сожалел, что такой благородный дух унижается до оскорблений, но чувствовал, что этот факт может быть объяснен именно избытком благородства, и старался умиротворить и умаслить эту возвышенную душу. Ее отца, джентльмена с тонким умом и изящными манерами, всегда относившегося к нему благосклонно, он уважал глубоко. Ее сестру он считал немножко тщеславной и гордой, но зато она обладала, по его мнению, всевозможными совершенствами и не могла ведь забыть

прошлого. Бедняга инстинктивно оказывал предпочтение Крошке Доррит и отличал ее от всех остальных тем, что любил и уважал просто за то, чем она была на самом деле.

Табачная лавочка на углу Конной улицы помещалась в одноэтажном домике, обитатели которого могли наслаждаться воздухом конного двора и уединенными прогулками под стенами этого приятного здания. Лавочка была слишком мала, чтобы выдержать тяжесть горца в натуральную величину, но на дощечке, прибитой к дверям, помещался маленький шотландец, напоминавший херувима, которому вздумалось надеть юбочку [34].

Из этого-то подъезда юный Джон вышел однажды утром в воскресенье на свою обычную воскресную прогулку, закусив наскоро тушеной говядиной, — вышел не с пустыми руками, а с обычным приношением в виде сигар. На нем был приличный сюртук цвета чернослива с таким широким бархатным воротником, какой только мог уместиться на его фигуре, шелковый жилет с золотыми цветочками, скромный галстук, изображавший по тогдашней моде выводок ли-

---

[34] Сноски: 34

Вывеска табачных лавок в Лондоне, изображавшая шотландского горца в национальном костюме.

ловых фазанов на светло-желтом фоне, брюки с таким обилием лампасов, что ноги его казались трехструнными лютнями, и парадный цилиндр, высокий и жесткий. Когда благоразумная миссис Чивери заметила, что ее Джон запасся в дополнение ко всему этому убранству парой белых замшевых перчаток и тросточкой с набалдашником слоновой кости в виде руки, указывавшей ему путь, когда увидела, что, шествуя так важно, он свернул за угол направо, — она обратилась к мистеру Чивери, случившемуся дома в это утро, и сказала, что, кажется, понимает, откуда дует ветер.

В этот день члены общежития ожидали многих посетителей, и их отец приготовил свою комнату для приема. Пройдя по двору, обожатель Крошки Доррит с трепетом в сердце поднялся наверх и постучал пальцем в дверь отца.

— Войдите, войдите! — послышался ласковый голос, голос отца, ее отца, Отца Маршалси. Он сидел за столом в своей черной бархатной шапочке, с газетой в руках; на столе валялась как бы случайно забытая монета в полкроны, подле стола стояли два стула. Все было готово для торжественного приема.

— А, юный Джон! Как поживаете, как пожи-

ваете?

— Очень хорошо, благодарю вас, сэр. Надеюсь, что и вы в добром здравии?

— Да, Джон Чивери, да. Не могу пожаловаться.

— Я взял на себя смелость, сэр, если позволите…

— А… — Отец Маршалси всегда приподнимал брови в таких случаях и принимал любезно-рассеянный вид.

— Ящичек сигар, сэр.

— О (с глубоким изумлением), благодарю вас, Джон Чивери, благодарю. Но, право, я боюсь, что вы слишком… Нет? В таком случае не буду спорить. Будьте добры, положите их на полку, Джон Чивери, и садитесь. Ведь вы свой человек.

— Благодарю вас, сэр; надеюсь, мисс, — тут юный Джон начал вертеть свой цилиндр вокруг левой руки, — мисс Эми в добром здравии, сэр?

— Да, Джон Чивери, да, совершенно здорова. Ее нет дома.

— Нет дома, сэр?

— Да, Джон. Мисс Эми пошла гулять. Мои дети часто уходят гулять. Впрочем, в их возрасте это так естественно, Джон.

— Именно так, конечно, сэр.

— Прогулка, прогулка, да! — Он тихонько посту-

чал пальцами по столу и взглянул на окно. — Эми хотела пройтись по Железному мосту. В последнее время она пристрастилась к нему. — Сказав это, он переменил разговор. — Ваш отец не на службе, кажется, сегодня, Джон?

— Нет, сэр, он придет позднее, к вечеру. — Повертев еще немного шляпой, юный Джон встал. — Я должен проститься с вами, сэр.

— Так скоро? До свидания, юный Джон. Нет-нет (самым снисходительным тоном), не снимайте перчатки. Можете и так пожать мне руку. Вы ведь свой человек!

Обрадованный этим ласковым приемом, юный Джон спустился с лестницы. По дороге ему встретились члены общежития с гостями, направлявшиеся к мистеру Дорриту. В эту минуту последний громко крикнул, нагнувшись над перилами лестницы:

— Очень вам обязан за подарок, Джон!

Очень скоро обожатель Крошки Доррит уплатил свое пенни на Железном мосту и пошел тише, высматривая знакомую и милую фигурку. Сначала он боялся, что она ушла, но, направляясь к Миддлсексу, увидел ее. Она стояла у перил, глядя на воду в глубокой задумчивости. Он недоумевал, о чем она так задумалась. Отсюда виден был це-

лый лес городских крыш и труб, виднелись вдали мачты и шпили. Не о них ли она думала?

Крошка Доррит задумалась так глубоко и была так поглощена своими мыслями, что, хотя ее обожатель ждал, как ему казалось, очень долго и раза два или три отходил и опять возвращался, ни разу не пошевелилась. Наконец он решил пройти мимо нее, сделать вид, что заметил ее случайно, и заговорить с ней. Место было удобное, и теперь или никогда надлежало переговорить с ней.

Он направился к ней, но она не слыхала его шагов, пока он не подошел вплотную. Когда он сказал: «Мисс Доррит», она вздрогнула и отшатнулась от него с выражением испуга и даже отвращения, которое страшно смутило его. Она часто избегала его, сказать правду — даже всегда, в течение последних лет. Заметив его приближение, она убегала, и это бывало так часто, что злополучный юный Джон не мог не видеть здесь умысла. Но он приписывал это ее застенчивости, ее скромному характеру, тому обстоятельству, что она догадывается о его чувствах, — чему угодно, только не отвращению. Теперь же ее быстрый взгляд, казалось, говорил: «Как, это вы? Лучше бы мне встретиться с кем угодно, только не с вами».

Это длилось всего мгновение; она тотчас опу-

стила глаза и сказала своим нежным голоском:

— О мистер Джон, это вы? — Но она знала, что случилось, так же, как и он знал, что случилось, и они стояли друг против друга одинаково смущенные.

— Мисс Эми, я боюсь, что обеспокоил вас…

— Да, немножко. Я… я хотела остаться одна и думала, что одна.

— Мисс Эми, я взял на себя смелость прийти сюда, потому что мистер Доррит, у которого я был сейчас, случайно упомянул, что вы…

Он еще сильнее смутился, когда она прошептала тоном упрека:

— Отец, отец!.. — и отвернулась.

— Мисс Эми, я надеюсь, что не обидел вас, упомянув о мистере Доррите. Уверяю вас, что он совершенно здоров, и в самом лучшем расположении духа, и отнесся ко мне даже любезнее, чем обыкновенно: был так добр, что назвал меня своим человеком и во всех отношениях обласкал.

К невыразимому изумлению своего обожателя, Крошка Доррит, закрыв руками лицо и содрогнувшись, точно от сильной боли, пробормотала:

— О отец, как ты мог! О милый, милый отец, как ты мог так поступить!

Бедняга смотрел на нее, надрываясь от состра-

дания и не зная, что предпринять, пока она не достала платок и, прижав к лицу, не бросилась прочь. Сначала он остолбенел, потом кинулся за ней.

— Мисс Эми, ради бога! Пожалуйста, остановитесь на минутку. Мисс Эми, если уж дошло до этого, позвольте мне высказаться. Я с ума сойду, если буду думать, что это я довел вас до такого состояния!

Его дрожащий голос и непритворное волнение заставили Крошку Доррит остановиться.

— О, я сама не знаю, что делать! — воскликнула она. — Не знаю, что делать!

Юный Джон, с детства привыкший видеть ее спокойной и сдержанной, был потрясен от цилиндра до каблуков при виде ее огорчения, тем более что причиной его оказывался он сам. Он сознавал, что объяснение необходимо. Может быть, она не поняла его, приписав ему какие-нибудь поступки и намерения, которые ему и во сне не снились. Он просил его выслушать, оказать такую милость.

— Мисс Эми, я очень хорошо понимаю, что ваша семья гораздо знатнее моей. Об этом не может быть и речи. Ни один Чивери, насколько мне известно, никогда не был джентльменом, и

я считал бы низостью со своей стороны скрывать это. Мисс Эми, я очень хорошо понимаю, что ваш благородный брат и ваша остроумная сестра относятся ко мне свысока. Я могу только уважать их, желать, чтобы они удостоили меня своей дружбой, сознавать разницу между их высоким и моим низким положением — потому что мое положение, конечно, низкое, смотреть ли на него с точки зрения табачной лавочки или с точки зрения ключей, — и желать им всякого счастья и благополучия.

Наивность этого бедного малого и контраст между его жесткой шляпой и мягким сердцем были положительно трогательны. Крошка Доррит просила его не унижать самого себя и своего звания, а главное — оставить нелепую мысль об их будто бы высоком положении. Это несколько облегчило его.

— Мисс Эми, — пролепетал он, — я уже давно, целый век — как мне кажется, бесконечные века, — лелеял в сердце желание сказать вам кое-что. Могу ли я сказать?

Крошка Доррит невольно отшатнулась от него снова, что-то вроде прежнего выражения мелькнуло в ее глазах, но она тотчас овладела собой и быстро пошла через мост.

— Могу я, мисс Эми… я только спрашиваю: могу я сказать? Я уже был так несчастлив, что причинил вам огорчение, без всякого намерения с моей стороны, клянусь небом, и теперь ничего не скажу без вашего позволения. Я могу быть несчастен один, могу терзаться один, но делать несчастной и терзать ту, ради которой готов броситься через эти перила, чтобы доставить ей минуту счастья!.. Хотя, конечно, это немногого стоит, потому что я сделал бы то же за два пенса.

Контраст между его унылым видом и пышным облачением мог бы возбудить насмешку, но его деликатность возбуждала уважение. Крошка Доррит угадала его чувства и поняла, что ей надо сделать.

— Пожалуйста, Джон Чивери, — сказала она дрожащим голосом, но спокойно, — если уж вы так любезны, что спрашиваете меня, можно ли вам сказать, — пожалуйста, не говорите.

— Никогда, мисс Эми?

— Нет, пожалуйста. Никогда.

— О боже мой! — простонал юный Джон.

— Но, может быть, вы позволите мне сказать несколько слов. Я буду говорить серьезно и так ясно, как только могу. Когда вы вспоминаете о нас, Джон — я подразумеваю моего брата, мою

сестру и меня, — не думайте, что мы отличаемся от остальных. Чем бы мы ни были прежде (я не знаю, чем мы были), это уже давно прошло и никогда не вернется. Гораздо лучше будет, если вы и все остальные станете относиться к нам так, как я говорю, а не так, как теперь относитесь.

Юный Джон ответил жалобным тоном, что он постарается запомнить ее слова и с радостью сделает все, что ей угодно.

— Что касается меня, — продолжила Крошка Доррит, — то чем меньше вы будете думать обо мне, тем лучше. Когда же вам случится вспомнить обо мне, думайте обо мне как о ребенке, с которым вы вместе росли в тюрьме, как о слабой, робкой, беззащитной девушке, у которой одна забота — исполнять свои обязанности. В особенности прошу вас помнить, что, когда выхожу за ворота тюрьмы, я становлюсь одинокой и беззащитной.

Он постарается исполнить все ее желания. Но почему же мисс Эми желает, чтобы он помнил в особенности об этом?

— Тогда, — ответила Крошка Доррит, — тогда я буду уверена, что вы не забудете о сегодняшнем дне и не возобновите этого разговора. Вы так великодушны, что я могу положиться на вас,

уверена в этом и всегда буду уверена. Я сейчас же докажу вам, что полагаюсь на вас. Я люблю это место, где мы с вами разговариваем, больше, чем какое-либо другое. — Юный Джон заметил, что лицо ее слегка заалело при этих словах. — И часто бываю здесь. Я знаю, что достаточно сказать вам это, чтобы быть уверенной, что вы никогда не будете приходить сюда. И я… я совершенно уверена в этом.

Она может положиться на него, сказал юный Джон.

Он несчастнейший человек, но ее слово более чем закон для него.

— Ну, прощайте, Джон, — сказала Крошка Доррит. — Я надеюсь, что вы найдете хорошую жену, Джон, и будете счастливы. Я знаю, что вы заслуживаете счастья и будете счастливы.

Когда она протянула ему руку, сердце, бившееся под жилетом с золотыми цветочками — ужасной дрянью, надо сказать правду, — переполнилось не хуже, чем у любого джентльмена, и бедный малый, не умея совладать с ним по своему простому званию, залился слезами.

— О, не плачьте! — жалобно сказала Крошка Доррит. — Не плачьте, не плачьте! Прощайте, Джон. Господь с вами!

— Прощайте, мисс Эми, прощайте!

С этими словами он ушел, заметив, что она опустилась на край скамейки и не только оперлась рукой о стену, но и прижалась к ней лицом, как будто на душе у нее было горько и сердце давила тяжесть.

Поразительное зрелище бренности человеческих надежд представлял собой этот влюбленный в высоком цилиндре, нахлобученном на глаза, с завороченным вверх, как при сильном дожде, бархатным воротником, в сюртуке цвета чернослива, застегнутом на все пуговицы, чтобы не видно было шелкового жилета с золотыми цветочками, с тросточкой, неумолимо увлекавшей его домой, куда он пробирался по самым глухим переулкам, сочиняя новую эпитафию следующего содержания для надгробной плиты на кладбище Святого Георга: «Здесь лежат бренные останки Джона Чивери, который, не совершив ничего, достойного упоминания, умер в конце 1826 года с разбитым сердцем, умоляя при последнем издыхании, чтобы над его прахом начертали имя Эми, что и было исполнено его огорченными родителями».

Глава XIX. Поучения Отца Маршалси

Любопытное зрелище представляли собой братья Уильям и Фредерик Дорриты, когда они вместе прогуливались по двору Маршалси. Ходили они, конечно, по стороне аристократической, так как Отец Маршалси очень редко показывался у своих детей, на стороне бедных; это случалось по воскресным, праздничным дням и вообще в торжественных случаях, которые он знал с удивительной точностью: в эти дни он обыкновенно возлагал руки на головы детей и благословлял этих юных несостоятельных должников с особенной торжественностью.

Фредерик, свободный, был так дряхл, сгорблен, вял и изможден, Уильям, заключенный, был так изящен, учтив, снисходителен и полон сознания важности своего положения, что уже в этом одном отношении братья представляли достопримечательное зрелище.

Они прогуливались по двору вечером в то самое воскресенье, когда Крошка Доррит объяснялась со своим обожателем на Железном мосту. Дела государственные были покончены, прием прошел благополучно, несколько новых посе-

тителей были представлены, три с половиной шиллинга, случайно забытые на столе, случайно превратились в двенадцать шиллингов, и Отец Маршалси мирно покуривал сигару. Стоило поглядеть на него, когда он прогуливался взад и вперед, приноровляя свои шаги к медлительной походке брата, но отнюдь не гордясь своим превосходством: напротив, в каждом колечке дыма, вылетавшего из его уст, сказывалось внимание, снисходительность, участие к этому жалкому дряхлому существу.

Его брат Фредерик, сгорбленный, с мутным взглядом, трясущимися руками, послушно плелся рядом с ним, принимая его покровительство, как принимал он все, что случалось с ним — путником, заблудившимся в лабиринте этого мира. По обыкновению он держал в руке пакетик из серой бумаги, откуда по временам доставал маленькую понюшку табаку. Расправившись кое-как с ней, он не без удивления бросал взгляд на брата, опираясь на его руку, и снова плелся, до следующей понюшки, останавливаясь иногда и оглядываясь растерянно, точно недоумевая, куда девался его кларнет.

С наступлением вечера посетители стали исчезать, но все-таки на дворе было еще много народу,

так как члены общества провожали своих гостей до привратницкой. Прогуливаясь по двору, Уильям, заключенный, грациозно приподнимал шляпу в ответ на поклоны и с заботливым видом предостерегал Фредерика, свободного, когда тому грозила опасность столкнуться с кем-нибудь или наткнуться на стену. В общем, члены общежития не отличались чувствительностью, но даже они находили зрелище двух братьев достойным удивления.

— Ты сегодня немножко того, Фредерик? — заметил Отец Маршалси. — Что с тобой?

— Что со мной? — Он на мгновение встрепенулся, затем снова опустил глаза и понурил голову. — Нет, Уильям, нет, ничего!

— Если бы ты немножко прифрантился, Фредерик.

— Да-да! — торопливо ответил тот. — Но я не могу, не могу. Что говорить об этом. Все это прошло.

Отец Маршалси взглянул на проходившего мимо члена коллегии, с которым был на дружеской ноге, точно хотел сказать: «Совсем опустился старик; но это мой брат, сэр, мой брат, а голос природы могуч!», и избавил брата от столкновения с насосом, потянув его за изношенный рукав.

Он был бы идеалом братской любви, дружбы и философии, если бы избавил брата от разорения — вместо того чтобы навлечь на него это бедствие.

— Я, кажется, устал, Уильям, — сказал предмет его нежных попечений, — пойду-ка спать.

— Милый Фредерик, — ответил тот, — я не стану удерживать тебя: не хочу, чтобы ты жертвовал ради меня своими привычками.

— Должно быть, поздний час, духота и годы обессиливают меня, — сказал Фредерик.

— Дорогой Фредерик, — возразил Отец Маршалси, — достаточно ли ты заботишься о себе? Ведешь ли ты такой правильный, регулярный образ жизни, как я, например? Не говоря о той маленькой странности, на которую я сейчас намекал, пользуешься ли ты как следует моционом и свежим воздухом? Здесь, например, очень удобное место для прогулок. Почему бы тебе не пользоваться им более регулярно?

— Ах-ха, — вздохнул Фредерик. — Да, да, да, да.

— Какая польза от того, что ты говоришь «да», милый Фредерик, — продолжил Отец Маршалси с кроткой настойчивостью, — а поступаешь по-старому? Посмотри на меня, Фредерик. Я могу служить примером. Нужда и время научили ме-

ня. В определенные часы дня ты найдешь меня на прогулке, у себя, в сторожке, за газетой, за обедом, с гостями. Я много лет старался внушить Эми, что мне необходимо обедать, завтракать, ужинать (беру это для примера) пунктуально в известные часы. Эми выросла с сознанием важности подобных правил, и ты сам знаешь, какая она добрая девочка.

Брат только вздохнул, промямлив:

— Ах-ха! Да, да, да, да.

— Дорогой мой, — сказал Отец Маршалси, осторожно потрепав его по плечу (осторожно, потому что ведь он, бедняга, такой слабенький), — ты говорил то же самое раньше, но ведь из этого ничего не выходит, Фредерик. Я бы желал, чтобы ты подтянулся немножко, милый Фредерик, тебе нужно подтянуться.

— Да, Уильям, да, без сомнения, — ответил тот, устремляя на него свой мутный взор. — Но я не то, что ты.

Отец Маршалси возразил со скромным самоуничижением:

— О, ты можешь сделаться таким же, как и я, милый Фредерик, можешь сделаться таким же, если захочешь! — и с великодушием избавил своего опустившегося брата от дальнейших на-

ставлений.

Как всегда по воскресным вечерам, тут происходили сцены прощания, там и сям где-нибудь в темном уголке бедная мать и жена плакали, расставаясь с новым членом общежития. Было время, когда сам Отец Маршалси плакал в тени этого двора, плакала и его бедняжка жена. Но это было много лет назад, а теперь он, как пассажир на корабле дальнего плавания, оправившийся от морской болезни, только удивлялся слабости новых пассажиров, севших в последнем порту. Он был готов протестовать и находил, что людям, которые не могут удержаться от слез, здесь не место. Если не словами, то внешним видом он всегда выражал свое неудовольствие по поводу этих нарушений общей гармонии — и настолько ясно, что провинившиеся обыкновенно стушевывались, заметив его приближение.

В этот воскресный вечер, провожая брата до ворот, он всем своим видом выражал сострадание и терпение, так как был в благодушном настроении и милостиво соглашался смотреть сквозь пальцы на плачущих. В освещенной газом привратницкой собралась толпа членов общежития: иные прощались с гостями, иные, у которых не было гостей, смотрели, как отворялась и запиралась

дверь, и беседовали друг с другом и с мистером Чивери.

Появление Отца Маршалси, как водится, произвело сенсацию, и мистер Чивери, прикоснувшись к шляпе ключом (впрочем, очень беглым жестом), выразил надежду, что он в добром здоровье.

— Благодарю вас, Чивери, я совершенно здоров. А вы?

Мистер Чивери проворчал вполголоса, что чувствует себя как нельзя лучше, — обычная манера мистера Чивери отвечать на вопросы о здоровье, когда он был в дурном настроении духа.

— Сегодня меня навестил юный Джон Чивери. Он, право, выглядел настоящим франтом.

Мистер Чивери слышал об этом. Впрочем, мистер Чивери должен сознаться, что, по его мнению, мальчик напрасно тратит деньги на подобные вещи. Какая ему польза от этого? Одно огорчение, больше ничего! А огорчения и даром найдешь сколько хочешь.

— Какое же огорчение, Чивери? — спросил благосклонный Отец Маршалси.

— Так, пустяки, — ответил мистер Чивери, — не стоит говорить. Мистер Фредерик собирается уходить?

— Да, Чивери, мой брат намерен идти домой

спать. Он устал и не совсем здоров… Осторожнее. Покойной ночи, милый Фредерик!

Пожав руку брату и дотронувшись до своей засаленной шляпы, Фредерик медленно выбрался за дверь, которую отворил для него мистер Чивери. Отец Маршалси выразил заботливое беспокойство, как бы с ним не случилось чего-нибудь.

— Будьте любезны, оставьте дверь открытой на минутку, Чивери, я хочу посмотреть, как он сойдет по ступенькам. Осторожнее, Фредерик (он такой дряхлый). Не забудь о ступеньках (он такой рассеянный). Будь осторожнее, когда станешь переходить через улицу! Мне, право, подумать страшно, как это он ходит один: того и гляди попадет под лошадь.

С этими словами и выражением крайнего беспокойства и тревожного сомнения на лице он взглянул на компанию, собравшуюся в привратницкой, причем глаза его так ясно говорили, что, по его мнению, Фредерику гораздо лучше было бы сидеть под замком внутри этих стен, что присутствующие невольно подтвердили это мнение одобрительным ропотом.

Но он не вполне согласился с этим. Напротив, он сказал:

— Нет, джентльмены, нет! Вы неправильно его поняли.

Правда, его брат Фредерик сильно опустился, и для него (Отца Маршалси) было бы гораздо приятнее сознавать, что он находится в этих стенах. Но не следует забывать, что для того, чтобы прожить здесь в течение многих лет, требуются известные качества: он не говорит «высокие» качества, а качества… ну, скажем, моральные. Спрашивается: обладает ли этими качествами его брат Фредерик? Джентльмены, он превосходный человек, в высшей степени милый, кроткий и достойный, простодушный, как дитя, но подходящий ли для Маршалси? Нет, говорит он с уверенностью, нет! И дай бог, говорит он, Фредерику никогда не попасть сюда иначе как по доброй воле. Джентльмены, тот, кому придется провести в этом общежитии много лет, должен обладать значительной силой характера, чтобы бороться с обстоятельствами и выйти победителем. Такой ли человек его возлюбленный брат Фредерик? Нет. Все видят, как он опустился даже при своих теперешних обстоятельствах. Неудачи раздавили его. У него не хватит самообладания, не хватит гибкости, чтобы, прожив долгое время в подобном месте, сохранить чув-

ство собственного достоинства и сознавать себя джентльменом. У Фредерика не хватит (если можно употребить такое выражение) умения видеть в деликатных маленьких знаках внимания и… и… приношениях, которые ему случится получать, свидетельство добрых сторон человеческой природы, проявление прекрасных товарищеских чувств, одушевляющих общежитие, и в то же время не усматривать в этом никакого унижения для него самого, никакого посягательства на его достоинство джентльмена. Джентльмены, всего хорошего!

Выяснив и подчеркнув в этом кратком поучении все, что требовалось, он проследовал со своим жалким обшарпанным достоинством мимо члена общежития в халате, оставшегося без сюртука, мимо члена общежития в туфлях, оставшегося без сапог, мимо плотного зеленщика, члена общежития, оставшегося без забот, мимо тощего клерка, члена общежития, оставшегося без надежд, — по жалкой обшарпанной лестнице в свою жалкую обшарпанную комнату.

Там уже был накрыт стол для ужина и старый серый халат висел на спинке кресла перед камином. Крошка Доррит спрятала в карман молитвенник — не молилась ли она за всех узников

и пленных? — и встала навстречу отцу.

— Значит, дядя ушел домой? — спросила она, пока он надевал халат и черную бархатную шапочку.

— Да, дядя ушел домой.

Она надеется, что прогулка доставила удовольствие отцу.

— Нет, не особенно, Эми, не особенно. Нет? Разве он не совсем здоров?

Она стояла за спинкой стула, так ласково наклонившись к нему, а он сидел, устремив глаза на огонь. Легкое смущение, как будто выражение стыда, мелькнуло на его лице, и он заговорил как-то бестолково и бессвязно:

— Что такое… хм!.. не знаю, что случилось с Чивери. Сегодня он не так… кха!.. не так учтив и внимателен, как обыкновенно. Это… кха… хм!.. конечно, пустяки, но все-таки несколько расстроило меня, милочка. Надо помнить, — продолжил он, перебирая руками и упорно глядя на них, — что… кха… хм!.. в силу обстоятельств моей жизни я, к несчастью, нахожусь в постоянной, ежечасной зависимости от этих людей.

Рука ее лежала на его плече, но она не смотрела ему в лицо, пока он говорил. Опустив голову, она смотрела в сторону.

— Я… кха… хм… я решительно не понимаю, Эми, на что мог обидеться Чивери. Обыкновенно он такой… такой внимательный и почтительный. Сегодня же он был положительно… положительно сух со мной. И остальные тоже! Боже мой, если я лишусь поддержки со стороны Чивери и других служащих, то могу просто умереть здесь с голоду.

Говоря это, он все время раздвигал и закрывал ладони наподобие створок. Он чувствовал смущение и так ясно понимал его причину, что умышленно закрывал глаза на нее.

— Я… кха!.. я решительно не понимаю, что с ним случилось. Я не могу представить себе, что за причина его поведения. Тут был одно время некто Джексон, тюремщик по фамилии Джексон (ты вряд ли помнишь его, милочка, ты была тогда очень мала), и… хм!.. у него был… брат… и этот брат… этот молодой человек ухаживал… то есть он не решался ухаживать… а восхищался… почтительно восхищался до… не дочерью, нет, сестрой… одного из нас… весьма уважаемого члена общежития, да, смею сказать, весьма уважаемого. Его звали капитан Мартин. И однажды он спрашивал меня, следует ли его дочери… сестре… рисковать обидеть тюремщика, объяс-

нившись слишком… кха!.. слишком откровенно с его братом. Капитан Мартин был джентльмен и благородный человек, и я прежде всего спросил, что он… что он сам думает об этом. Капитан Мартин (он пользовался большим уважением в армии) ответил без колебаний, что, по его мнению, его… хм!.. сестре не следует объясняться с молодым человеком слишком откровенно, а лучше водить его… нет, капитан Мартин не употреблял этого выражения, он сказал: «выносить его» ради его отца… я хочу сказать — брата. Не понимаю, почему мне вспомнилась эта история: может потому, что я затрудняюсь объяснить себе поведение Чивери, — но я не вижу, имеет ли она какое-нибудь отношение к данному случаю…

Он умолк, как будто она зажала ему рот рукой, будучи не в силах больше выносить его речь. В течение нескольких минут царило гробовое молчание; он сидел, понурившись, в своем кресле; она стояла, обвив рукой его шею и опустив голову к нему на плечо.

Наконец она отошла от него, достала из печки ужин и поставила на стол. Он сел на свое всегдашнее место, она — на свое. Он принялся за еду. До сих пор они ни разу не взглянули друг на друга. Мало-помалу он начал обнаруживать

признаки волнения, с шумом бросая вилку и ножик, толкая вещи, стоявшие на столе, кусая хлеб, точно вымещал на нем оскорбление. Наконец он оттолкнул тарелку и заговорил со странной непоследовательностью:

— Не все ли равно, есть мне или умирать с голоду! Не все ли равно, сегодня, через неделю, через год оборвется моя жалкая жизнь! Кому я нужен! Жалкий арестант, живущий подачками и объедками, — дряхлый, никуда не годный презренный нищий!

— Отец, отец! — Она встала и опустилась на колени, протягивая к нему руки.

— Эми, — продолжил он сдавленным голосом, дрожа всем телом и глядя на нее безумными глазами, — если бы ты могла увидеть меня таким, каким видела твоя мать, ты бы не поверила, что это то же самое существо, которое ты видишь теперь, за решеткой этой тюрьмы… Я был молод, хорошо воспитан, красив, независим (клянусь Небом, дитя, я был независим!), и люди искали моего знакомства, завидовали, завидовали мне!

— Милый отец! — Она пыталась овладеть его дрожащими руками, но он оттолкнул ее.

— Если бы я сохранил свой портрет того времени, хоть бы самый плохой, ты бы гордилась им.

Но у меня его нет. Пусть это послужит предостережением для других. Пусть всякий, — воскликнул он, обводя комнату блуждающим взором, — пусть всякий сохранит хоть это немногое от времен своего счастья и благополучия! Пусть его дети узнают, каким он был. Разве только после моей смерти лицо мое примет давно утраченное выражение (говорят, будто это случается, — я не знаю); если же нет, то мои дети никогда не видали меня!

— Отец, отец!

— О, презирай меня, презирай меня! Отворачивайся от меня, не слушай меня, красней за меня, плачь за меня — даже ты, Эми. Презирай, презирай меня. Я сам презираю себя! Я окаменел, я упал так низко, что вынесу и это!

— Отец, милый, любимый отец, сокровище моего сердца! — Она обняла его, усадила в кресло, схватила его поднятую руку и обвила ее вокруг своей шеи. — Оставьте ее так, отец. Взгляните на меня, отец. Поцелуйте меня. Подумайте обо мне, отец, вспомните обо мне хоть на мгновение!

Но бурное волнение его не улеглось, хоть малопомалу превратилось в жалкое хныканье.

— И все-таки я пользуюсь здесь некоторым уважением. Я боролся с судьбой, я не совсем раз-

давлен ею. Спроси, кто здесь самое уважаемое лицо. Тебе назовут твоего отца. Спроси, над кем никогда не смеются, к кому относятся с некоторой деликатностью. Тебе назовут твоего отца. Спроси, чья кончина (я знаю, что она случится здесь) вызовет здесь больше разговоров и, быть может, больше сожаления, чем чья бы то ни была кончина, случавшаяся в этих стенах. Тебе назовут твоего отца. Что же это значит? Эми, Эми, неужто все презирают твоего отца? Неужто нет для него оправдания? Неужто, вспоминая о нем, ты не припомнишь ничего, кроме его падения и унижения? Не пожалеешь о нем, когда он, жалкий и отверженный, расстанется с этим миром?

Он залился слезами, малодушными слезами сожаления к самому себе, и наконец-то позволил ей обнять его, приласкать его, прижал к ее щеке свою седую голову и излил свою скорбь на ее плече. Потом он переменил тему своих жалоб и, стиснув в объятиях дочь, воскликнул:

— О Эми, бедная сиротка, лишенная матери! О, как ты внимательна и заботлива ко мне!

Затем снова вернулся к самому себе и плаксиво рассказывал, как бы она любила его, если бы знала таким, каким он был прежде, и как бы он выдал ее за джентльмена, который бы гордился таким

родством, и как (тут он снова расплакался) она поехала бы кататься рядом с отцом в собственном экипаже, между тем как толпа (под словом «толпа» он подразумевал людей, подаривших ему двенадцать шиллингов) плелась бы по пыльной дороге, почтительно расступаясь перед ними.

Так, переходя от хвастливости к отчаянию, но и в том и в другом случае оставаясь арестантом, душу которого изъела тюремная ржавчина, он открывал всю глубину своего падения перед любящей дочерью. Никто еще не видел его в таком глубоком унижении. Беззаботные члены общежития, подсмеивавшиеся в своих комнатах над его последней речью в привратницкой, не подозревали, какое серьезное зрелище открылось бы им в темном коридоре Маршалси в этот воскресный вечер.

В классической древности была дочь, которая кормила своего отца в темнице так, как ее самое кормила мать [35]. Крошка Доррит, хотя и принадлежала к современному негероическому обществу, делала больше, прижимая истерзанное

[35] Сноски: 35

«Дочь, кормившая отца грудью» — легенда о девушке, которая собственной грудью кормила в тюрьме своего умирающего от голода отца. Этот сюжет использован в одной из картин Рубенса, хранящейся в Эрмитаже («Отцелюбие римлянки»).

сердце отца к своей невинной груди, утоляя его душевный голод источником любви и верности, не иссякавшим в течение многих, многих лет.

Она утешала его; просила простить ей, если нарушила чем-нибудь свой долг, говорила — видит бог, искренно, — что уважает его не меньше, чем уважала бы, если бы он был любимцем судьбы, признанным всем светом. Когда его слезы высохли, когда он перестал всхлипывать и терзаться стыдом, когда к нему вернулось обычное настроение духа, она разогрела остатки ужина и, усевшись подле него, радовалась, глядя, как он ест и пьет. Теперь он снова выглядел величественным, в своей черной бархатной шапочке и старом сером халате, и отнесся бы ко всякому члену коллегии, который заглянул бы к нему попросить совета, как великий лорд Честерфилд [36] или великий мастер этических церемоний Маршалси.

Стараясь поддержать его в этом настроении, она завела речь о его гардеробе, и он благосклонно согласился, что рубашки, которые она собирается сшить, были бы весьма желательны, так как старые совсем износились, да и всегда

---

[36] Сноски: 36

Честерфилд Филип Стенхоуп (1694–1773) — британский государственный деятель, дипломат, писатель, автор «Писем к сыну».

были плохого качества. Разговорившись и будучи в благоразумном настроении духа, он обратил ее внимание на сюртук, висевший у двери, заметив, что Отцу Маршалси не следовало бы подавать дурной пример своим детям, и без того склонным к неряшливости, являясь к ним с протертыми локтями. Он пошутил также насчет своих сапог, но, говоря о галстуке, принял серьезный вид и благосклонно разрешил ей купить новый, как только у нее заведутся деньги.

Пока он курил сигару, она сделала ему постель и прибрала комнату. Чувствуя усталость вследствие позднего времени и недавнего волнения, он встал с кресла, благословил ее и пожелал спокойной ночи. За все это время он ни разу не вспомнил о ее платье, ее башмаках, ее нуждах. Никто, кроме нее самой, не мог быть таким беззаботным в отношении себя.

Он несколько раз поцеловал ее, приговаривая:

— Господь с тобой, милочка! Покойной ночи, голубка!

Но ее нежное сердце было так потрясено предыдущей сценой, что она не решалась оставить его одного, опасаясь нового припадка уныния и отчаяния.

— Милый отец, я не устала; можно мне вер-

нуться, когда вы ляжете, и посидеть около вас?

Он спросил с покровительственным видом: разве ей скучно одной?

— Да, отец.

— Ну так приходи, дорогая моя.

— Я буду сидеть тихонько, отец.

— Не беспокойся обо мне, милочка, — сказал он с безграничным великодушием. — Возвращайся, возвращайся.

Когда она вернулась, он, по-видимому, уже заснул. Она тихонько поправила огонь, чтобы не разбудить его, но он услышал и спросил, кто тут.

— Это я, Эми.

— Эми, дитя мое, поди сюда. Я хочу сказать тебе несколько слов.

Он слегка приподнялся на постели. Она опустилась подле него на колени, чтобы быть поближе к его лицу, и взяла его руки в свои. О, отец просто и Отец Маршалси — оба сказывались в нем в эту минуту.

— Дорогая моя, тебе досталась на долю тяжелая жизнь: ни подруг, ни развлечений, вечные заботы…

— Не думайте об этом, милый. Я сама не думаю.

— Тебе известно мое положение, Эми. Я не мно-

го мог сделать для тебя, но все, что мог, я сделал.

— Да, дорогой, — подтвердила она, целуя его. — Я знаю, знаю.

— Я живу здесь уже двадцать третий год, — продолжил он с невольным вздохом, в котором оказывалась не столько грусть, сколько самодовольство. — Все, что я мог сделать для своих детей, я сделал. Эми, милочка, ты мое любимое дитя, о тебе я думал больше всех, и все, что делал для тебя, я делал охотно и без ропота.

Только та мудрость, которой доступны ключи от всех сердец и всех тайн, может представить себе, до какого самообмана способен доходить человек, особенно упавший так низко, как этот. Вот он лежал теперь, с влажными ресницами, спокойный, величественный, выкладывая свою позорную жизнь, точно какое-то приданое верной дочери, на которую так тяжко обрушились его несчастья и чья любовь спасла его от окончательного падения.

Эта дочь не сомневалась, не опрашивала: ей слишком хотелось видеть его в ореоле. «Бедный», «милый», «голубчик», «любимый», «ненаглядный» — только эти слова она и находила для него, уговаривая успокоиться.

Она оставалась при нем всю ночь. Точно же-

лая загладить тяжелую обиду, она сидела подле него, нежно целуя время от времени и шепотом называя ласковыми именами. По временам она отодвигалась так, чтобы свет от камина падал на его лицо, и спрашивала себя, не похож ли он теперь на того, каким был в дни своего счастья и благополучия, — так подействовали на ее воображение его слова о том, что утраченное выражение может вернуться к нему в минуту смерти. И при мысли об этой ужасной минуте она опускалась на колени подле его кровати и молилась:

— О, пощади его жизнь! О, сохрани его для меня! О, снизойди к моему милому, исстрадавшемуся, измученному, изменившемуся, милому, милому отцу!

Только с наступлением утра она поцеловала его в последний раз и оставила его комнату. Когда она проскользнула вниз по лестнице, потом по тюремному двору и поднялась в свою каморку на чердаке, в ясном утреннем воздухе можно было различить верхушки загородных домов. Когда она отворила окно и выглянула на тюремный двор, железные зубцы на стене порозовели, потом вспыхнули пурпуром на огненном диске восходящего солнца. Никогда эти зубцы не казались ей такими острыми и жесткими, решетки

— такими тяжелыми, тюрьма — такой мрачной и тесной, как в это утро. Она подумала о восходе солнца над шумящими реками, о восходе солнца над безбрежными морями, о восходе солнца над цветущими полями, о восходе солнца над дремучими лесами, где шелестят деревья и щебечут птицы, и, взглянув вниз, на это кладбище заживо погребенных, где двадцать три года томился ее отец, воскликнула в порыве жалости и скорби:

— Нет, нет, я не видала его ни разу в жизни!

Глава XX. В свете

Если бы у юного Джона Чивери явилась охота и нашлось умение написать сатиру на фамильную гордость, ему не пришлось бы далеко ходить за примерами. В семействе своей возлюбленной он нашел бы яркие образчики в лице ее благородного братца и изящной сестры, гордых сознанием фамильного достоинства и всегда готовых выпрашивать или занимать у последнего нищего, есть чужой хлеб, тратить чужие деньги, пить из чужой посуды и разбивать ее. Юный Джон сделался бы первостепенным сатириком, если бы сумел изобразить их грязную жизнь и это вечное пугало фамильного достоинства, которым они допекали тех, чьим добром пользовались.

Выйдя на волю, Тип облюбовал богатую надеждами профессию биллиардного маркера. Он мало интересовался узнать, кому обязан своим освобождением (Кленнэм напрасно беспокоился на этот счет в разговоре с Плорнишем). Кто бы ни оказал ему эту любезность, он принял бы ее так же любезно и больше бы не думал об этом предмете.

Выйдя за ворота тюрьмы, он поступил в марке-

ры и время от времени заглядывал в маленький кегельбан Маршалси в зеленой нью-маркетской куртке (с чужого плеча) со светлым воротником и блестящими пуговицами (новыми) и угощался пивом за счет членов общежития.

Единственным прочным и неизменным пунктом в распущенном характере этого джентльмена были любовь и уважение к сестре Эми. Это чувство не заставляло его хоть сколько-нибудь облегчать ее положение или стеснять и ограничивать себя самого ради нее, но, хотя любовь его носила печать Маршалси, он любил Эми. Та же печать Маршалси сказывалась в том обстоятельстве, что он отлично понимал ее самопожертвование ради отца и не замечал его по отношению к себе самому.

С каких пор этот остроумный джентльмен и его сестра начали систематически запугивать обитателей Маршалси призраком фамильного достоинства — мы не можем сказать с точностью. По всей вероятности, с того самого времени, как они стали обедать за счет членов общежития. Несомненно одно: чем мизернее и плачевнее становилось их положение, тем величественнее возникал призрак из гроба, а когда им приходилось особенно круто, призрак выступал с

особенно зловещим видом.

Крошка Доррит засиделась в тюрьме в понедельник утром, потому что отец ее встал поздно, а ей нужно было приготовить для него завтрак и прибрать комнату. Впрочем, в этот день у нее не было работы в городе, так что она оставалась у него: привела все в порядок с помощью Мэгги, сопровождала его на утренней прогулке (ярдов двадцать) по двору и, наконец, отвела в кофейню читать газеты. Затем она надела шляпку и поспешила уйти, так как боялась опоздать по одному делу. По обыкновению при ее появлении в привратницкой разговоры на мгновение прекратились, и один старый член общежития толкнул другого, новичка, поступившего в субботу вечером, локтем в бок, шепнув:

— Смотрите, вот она.

Ей нужно было повидать сестру, но когда она явилась к мистеру Криппльсу, то узнала, что сестра и дядя ушли в свой театр. Она заранее имела в виду возможность этого и решилась отправиться за ними в театр, который находился недалеко, по ту сторону реки.

Крошка Доррит была почти так же мало знакома с театральными закоулками, как с золотыми рудниками, и когда ей указали на странную,

подозрительного вида дверь, которая точно стыдилась самой себя и пряталась в коридоре, она не сразу решилась войти. К тому же ее напугала толпа гладко выбритых джентльменов, слонявшихся подле этой двери и не особенно резко отличавшихся от членов общежития. Заметив это сходство, она несколько ободрилась и спросила у них, где найти мисс Доррит. Ее провели в какой-то темный зал, напоминавший огромный мрачный потухший фонарь, откуда она услышала отдаленные звуки музыки и топот танцующих. Какой-то господин, подернутый синей плесенью — вероятно, от недостатка чистого воздуха, — сидевший, как паук, в углу комнаты, объяснил, что она может уведомить мисс Доррит о своем приходе через первого попавшегося джентльмена или леди. Первая попавшаяся леди со свертком нот, засунутым до половины в муфту, имела такой помятый вид, что, по-видимому, было бы актом гуманности выгладить ее утюгом. Впрочем, она оказалась очень добродушной и сказала:

— Пойдемте со мной, проведу вас к мисс Доррит. Сестра мисс Доррит последовала за ней, с каждым шагом различая все яснее звуки музыки и топот танцующих.

Наконец они вошли в какой-то пыльный ла-

биринт балок, брусьев, перегородок, канатов, воротов, который при фантастическом свете газовых рожков и дневных лучей можно было принять за изнанку Вселенной. Крошка Доррит, предоставленная самой себе и ежеминутно получавшая толчки от людей, толпившихся в этом лабиринте, совершенно растерялась, как вдруг услышала голос сестры:

— Господи, это ты, Эми, как ты сюда попала?

— Мне нужно было повидаться с тобой, Фанни, дорогая, а так как меня завтра целый день не будет дома и я знала, что ты сегодня весь день занята здесь, вот и решилась.

— Но как это тебе вздумалось, Эми, забраться с заднего хода? Я бы никогда не решилась! — не особенно дружелюбным тоном сказала сестра и провела ее в более свободный уголок лабиринта, где было поставлено множество позолоченных стульев и столов и где собралось множество молодых леди, сидевших где попало. Все эти дамы тоже нуждались в услугах утюга и трещали не переставая, глазея в то же время по сторонам.

В ту самую минуту как сестры подошли к ним, из-за перекладины слева показалась голова какого-то флегматичного юнца в шотландской шапочке, произнесла: «Потише, барышни!» — и

исчезла. Тотчас затем из-за перегородки справа показалась голова какого-то веселого джентльмена с шапкой густых черных волос, произнесла: «Потише, душечки!» — и исчезла.

— Вот уж никак не ожидала видеть тебя в этой компании, Эми, — сказала ее сестра. — Да как ты сюда добралась?

— Не знаю. Дама, которая сообщила тебе о моем приходе, была так любезна, что провела меня сюда.

— Ишь ты, тихоня!.. Ты, я думаю, везде пробе-решься. Я бы не сумела, Эми, хотя гораздо опытнее тебя в житейских делах.

Ее семья почему-то решила, что Эми — простушка, созданная для домашней жизни и совершенно лишенная житейской опытности и мудрости. Эта семейная фикция служила своего рода семейной защитой от ее услуг, давая возможность не ставить их ни во что.

— Ну, что же у тебя на уме, Эми? Уж, верно, есть что-нибудь против меня? — сказала Фанни. Она говорила с сестрой, которая была моложе ее двумя-тремя годами, точно со старой ворчливой бабушкой.

— Ничего особенного; ты мне рассказывала, Фанни, про даму, которая подарила тебе браслет.

Флегматичный юнец, снова высунув голову из-за перегородки слева, сказал: «Приготовьтесь, барышни!» — и исчез. Веселый джентльмен с черными волосами также внезапно высунул голову из-за перегородки справа и сказал: «Приготовьтесь, душечки!» — и исчез. Барышни тотчас вскочили и принялись отряхивать свои юбки.

— Ну, Эми, — сказала Фанни, делая то же, что остальные, — что ты хотела сказать?

— С тех пор как ты рассказала про даму, которая подарила тебе браслет, Фанни, я все беспокоилась о тебе и желала бы узнать об этом подробнее.

— Ну, барышни, — сказал юнец в шотландской шапочке.

— Ну, душечки! — сказал джентльмен с черными волосами.

Моментально все барышни исчезли, и снова послышались звуки музыки и топот танцующих ног.

Крошка Доррит опустилась на позолоченный стул, совсем ошеломленная этими неожиданными перерывами. Ее сестра и остальные барышни долго не возвращались, и все это время ей слышался сквозь звуки музыки голос (кажется, принадлежавший джентльмену с черными волосами), считавший: «Раз, два, три, четыре, пять,

шесть — вперед! Живей, душечки! Раз, два, три, четыре, пять, шесть — назад!» Наконец голос умолк, и все вернулись, кутаясь в шали и, очевидно, собираясь уходить.

— Подождем минутку, Эми, пусть они уйдут сначала, — шепнула Фанни.

За это время не случилось ничего особенного. Только юнец снова выглянул из-за своей перегородки и сказал: «Завтра в одиннадцать часов, барышни!» — а черноволосый джентльмен выглянул из-за своей и сказал: «Завтра в одиннадцать часов, душечки!»

Когда они остались одни, что-то вдруг было поднято вверх или другим способом убрано с их дороги, и перед ними открылся глубокий колодец. Заглянув в него, Фанни сказала:

— Вот дядя!

Крошка Доррит, когда глаза ее привыкли к темноте, заметила его на дне колодца, в уголке; инструмент в старом футляре лежал подле него.

Глядя на этого старика, можно было подумать, что он постепенно спускался в этот колодец, пока не очутился на самом дне. В течение многих лет он проводил в этом углу по шесть вечеров в неделю, никогда не поднимал глаз от своих нот и, как говорили, ни разу не взглянул на представление.

Рассказывали, будто он до сих пор не знает в лицо главных героев и героинь, а комик побился однажды об заклад, что будет передразнивать его пятьдесят вечеров подряд и он не заметит этого, что и оправдалось на деле. Плотники уверяли, что он давно умер, только сам не заметил этого, а посетители театра думали, что он проводит в оркестре всю свою жизнь, днем и ночью, в будни и праздники. Иногда к нему через барьер обращались зрители с предложением понюхать табаку, и в манере, с которой он отвечал, встрепенувшись, на эту любезность, пробуждалась как бы бледная тень бывшего джентльмена, но за исключением этих случаев он оставался глух и безучастен ко всему окружающему. Он знал только свою партию на кларнете, остальное не касалось его. Иные считали его бедняком, иные — богатым скрягой, но он ничего не говорил, никогда не поднимал своей понурой головы, никогда не изменял своей шаркающей походки. Хотя он ожидал, что племянница позовет его, но услышал ее не прежде, чем она окликнула его три или четыре раза. Увидев вместо одной обеих племянниц, он ничуть не удивился и только пробормотал дрожащим голосом:

— Иду, иду! — и выбрался из своего угла ка-

ким-то подземным ходом, откуда так и несло погребом.

— Так ты, Эми, — сказала ее сестра, когда все трое вышли на улицу через знакомую читателям дверь, стыдившуюся своей странной наружности, причем дядя инстинктивно опирался на руку Эми, — так ты беспокоишься обо мне?

Она была хороша собой и, зная об этом, одевалась довольно нарядно. Снисходительность, с которой она разговаривала с сестрой как с равной, несмотря на свою красоту и житейскую опытность, тоже носила отпечаток ее семьи.

— Я интересуюсь всем, что касается тебя, Фанни.

— Знаю, знаю, ты лучше всех, Эми. Если я иногда немножко резка, то ты, я уверена, сама поймешь, каково мне чувствовать себя в этом низком положении. Я бы не огорчалась им, если бы мои подруги не были так вульгарны. Ни одна из них, — продолжила эта дочь Отца Маршалси, — не испытала того, что мы. Они на своем месте.

Крошка Доррит кротко взглянула на сестру, но ничего не ответила. Фанни довольно сердито отерла глаза носовым платком.

— Я родилась не там, где ты, Эми; может быть,

отсюда и разница между нами. Милое дитя, как только мы избавимся от дяди, ты узнаешь обо всем. Мы оставим его в ресторане, где он всегда обедает.

Они дошли до грязного ресторана в грязном переулке, окна которого сделались почти матовыми от испарений горячих кушаний, овощей и пудингов. Впрочем, сквозь окна можно было рассмотреть жареную свиную ногу, заправленную луком и чесноком, обильно орошенную подливкой, в металлическом резервуаре; сочный ростбиф и горячий пухлый йоркширский пудинг, плававший в таком же вместилище; фаршированную телятину, нарезанную ломтями; окорок, от которого пар так и валил; мелкую миску с аппетитным жареным рассыпчатым картофелем и прочие деликатесы. В ресторане имелись перегородки, за которыми посетители, находившие более удобным уносить свой обед в желудках, чем в руках, могли в одиночестве отправить приобретенные яства по назначению.

Поравнявшись с рестораном, Фанни развязала свой кошелек, достала из него шиллинг и вручила дяде. Дядя не сразу понял, в чем дело, но наконец пробормотал:

— Обед? Ха. Да, да, да, да! — и медленно скрылся

в тумане испарений.

— Теперь, Эми, — сказала ее сестра, — если ты не слишком устала, пойдем со мной на Харли-стрит, Кавендиш-сквер.

Выражение, с которым она назвала этот аристократический адрес, и жест, с которым поправила свою новую шляпку (более воздушную, чем удобную), несколько удивили ее сестру; как бы то ни было, она выразила готовность идти на Харли-стрит, куда они и направились.

Достигнув этой великой цели, Фанни остановилась у прекраснейшего дома и, постучав в дверь, справилась, дома ли миссис Мердль. Дверь отворил лакей с напудренной головой, у которого было двое помощников, тоже с напудренными головами; несмотря на такую пышность, он не только объявил, что миссис Мердль дома, но и попросил Фанни войти. Фанни вошла, захватив с собой сестру, затем они поднялись по лестнице, причем пудра выступала перед ними и пудра же конвоировала их сзади, и вошли в большую полукруглую гостиную, где висела золотая клетка с попугаем, который, цепляясь лапой за брусья, принимал самые странные позы, то и дело опрокидываясь вниз головой. Эта особенность, впрочем, часто замечается у птиц совершенно

иного полета, когда они карабкаются вверх по золотой лестнице.

Комната превосходила пышностью все, что могла представить себе Крошка Доррит, и показалась бы роскошной и великолепной всякому другому. Крошка Доррит, с изумлением взглянув на сестру, хотела что-то оказать, но Фанни повела бровями, указывая на завешенную портьерой дверь в соседнюю комнату. В ту же минуту портьера заколебалась, рука, унизанная кольцами, приподняла ее, и в комнату вошла дама.

Дама уже утратила природную юность и свежесть, зато приобрела юность и свежесть искусственную. У нее были огромные бесчувственные прекрасные глаза, и черные бесчувственные прекрасные волосы, и роскошный бесчувственный прекрасный бюст, и все прочее самого совершенного образца. Оттого ли, что ей было холодно, или оттого, что это шло к ней, она носила роскошную белую косынку, подвязанную под подбородком. И если был когда-нибудь прекрасный бесчувственный подбородок, которого, без сомнения, ни разу не «трепала», выражаясь фамильярно, мужская рука, то именно этот туго-натуго затянутый кружевной уздечкой подбородок.

— Миссис Мердль, — сказала Фанни. — Моя

сестра, сударыня.

— Рада видеть вашу сестру, мисс Доррит. Я не знала, что у вас есть сестра.

— Я не говорила вам о ней, — сказала Фанни.

— Ага. — Тут миссис Мердль согнула мизинец левой руки, как будто хотела сказать: «Я поймала вас, — я знала, что вы не говорили». Она жестикулировала исключительно левой рукой, так как руки ее не были одинаковы: левая была гораздо белее и пухлее правой. Затем она прибавила: — Садитесь. — Уютно примостившись в гнездышке из малиновых, вышитых золотом подушек на оттоманке подле попугая, дама спросила, рассматривая Крошку Доррит в лорнет: — Той же профессии?

Фанни ответила:

— Нет.

— Нет, — повторила миссис Мердль, опуская лорнет. — У нее и вид не такой. Очень мила, но вид не такой.

— Моя сестра, сударыня, — сказала Фанни, манеры которой представляли странную смесь почтительности и развязности, — просила меня объяснить ей, как сестре, каким образом случилось, что я имею честь пользоваться вашим знакомством. И так как вы пригласили меня на-

вестить вас еще раз, то я и взяла на себя смелость привести ее с собой в надежде, что вы, может быть, расскажете ей. Мне хотелось бы, чтоб она услышала об этом от вас самих.

— Но разве вы думаете, что в возрасте вашей сестры… — заметила миссис Мердль.

— Она гораздо старше, чем кажется с виду, — сказала Фанни, — мы с ней почти одних лет.

— Общество, — сказала миссис Мердль, снова согнув левый мизинец, — вещь настолько непостижимая для юных особ (даже для большинства особ всякого возраста), что мне очень приятно слышать это. Я бы желала, чтоб общество не было так условно, так требовательно… Птица, успокойся!

Попугай заорал самым пронзительным голосом, как будто имя его было «общество» и он защищал свое право быть требовательным.

— Но, — продолжила миссис Мердль, — мы должны принимать его таким, каким находим. Мы знаем, что оно пусто, пошло, суетно и крайне гадко, но если только мы не дикари в тропических морях (я с восторгом превратилась бы в дикаря… райская жизнь и чудный климат, как я слышала!), то должны приспособляться к нему. Мистер Мердль — один из крупнейших

коммерсантов, он ведет обширнейшие торговые операции, его богатство и значение громадны, но даже он… Птица, успокойся!

Попугай снова заорал, и на этот раз так выразительно, что миссис Мердль не нужно было заканчивать фразу.

— Так как сестра ваша, — продолжила она, обращаясь к Крошке Доррит, — просит меня сообщить, при каких обстоятельствах (делающих ей большую честь) возникло наше личное знакомство, то я не считаю возможным отвергнуть ее законную просьбу. У меня (я вышла за первого мужа в очень молодых годах) есть сын двадцати двух или двадцати трех лет.

Фанни поджала губы и бросила торжествующий взгляд на сестру.

— Сын двадцати двух или двадцати трех лет. Он немножко легкомыслен — общество мирится с этим в молодых людях — и крайне впечатлителен. Быть может, он унаследовал этот недостаток. Я сама крайне впечатлительна от природы. Самое нежное создание. Мои чувства могут вспыхнуть почти мгновенно. — Все это она говорила ледяным тоном, совсем забыв о сестрах, а вращаясь, по-видимому, в какой-то абстракции общества. Для этого же собеседника она время от времени

поправляла платье или изменяла позу на оттоманке.

— Итак, он крайне впечатлителен. Это не было бы несчастьем, если бы мы находились в естественном состоянии, но мы не находимся в естественном состоянии. Я первая скорблю об этом, и более, чем кто-либо, потому что я дитя природы, хотя принуждена скрывать это. Общество давит нас, повелевает нами… Птица, успокойся!

Попугай разразился неистовым хохотом, подергав своим крючковатым носом прутья клетки и полизав их своим черным языком.

— Вряд ли нужно напоминать особе с таким здравым умом, с такой обширной опытностью, с такими утонченными чувствами, как вы, — продолжала миссис Мердль из своего малинового с золотом гнездышка, приставляя к глазам лорнет, чтобы освежить в своей памяти представление о той, к которой обращалась, — что сцена нередко оказывает чарующее влияние на молодых людей с таким характером. Говоря «сцена», я подразумеваю подвизающихся на ней особ женского пола. Итак, когда я услышала, будто мой сын очарован танцовщицей, я предположила, что речь идет о танцовщице из оперы, — обычное место очарова-

ния для молодых людей из общества.

Она погладила свои белые руки, теперь уже внимательно наблюдая за обеими сестрами, причем кольца звякнули с сухим резким звуком.

— Как известно вашей сестре, узнав, о каком театре идет речь, я была очень удивлена и огорчена. Но когда я узнала, что ваша сестра, отвергнув искательства моего сына (должна прибавить: самым неожиданным образом), довела его до того, что он предложил ей руку, моими чувствами овладело глубочайшее отчаяние… горькое.

Осторожным движением пальца она привела в порядок левую бровь.

— В этом расстроенном состоянии, которое может быть понятно только матери, принадлежащей к обществу, я решилась сама идти в театр и лично объясниться с этой танцовщицей. Я познакомилась с вашей сестрой. Я убедилась, к своему удивлению, что она во многих отношениях не соответствует моим ожиданиям; в особенности поразило меня известное — как бы это сказать? — известное чувство семейной гордости, с которым она меня встретила. — Миссис Мердль улыбнулась.

— Я сказала вам, сударыня, — заметила Фанни покраснев, — что, несмотря на свое низкое

положение, смею думать, что моя семья ничуть не уступает вашей, и полагаю, что мой брат согласится со мной и не найдет ничего особенно лестного в предполагаемом вашим сыном браке.

— Мисс Доррит, — сказала миссис Мердль, окинув ее в лорнет ледяным взглядом, — исполняя вашу просьбу, я только что хотела сказать то же самое вашей сестре. Очень вам обязана за то, что вы так хорошо запомнили свои слова и предупредили меня. Я, — продолжила она, обращаясь к Крошке Доррит, — в ту же минуту (я крайне впечатлительное существо) сняла с руки браслет и попросила вашу сестру позволить мне надеть его на ее руку, в порыве восхищения убедившись, что наши мнения с ней до такой степени сходятся. (Действительно, эта дама купила по дороге дешевый блестящий браслет, имея в виду подкуп.)

— И я сказала вам, миссис Мердль, — продолжила Фанни, — что мы можем быть несчастны, но не вульгарны.

— Кажется, эти самые слова, мисс Доррит, — согласилась миссис Мердль.

— И я сказала вам, миссис Мердль, — продолжила Фанни, — что если вы вздумаете говорить мне о высоком положении вашего сына в обществе, то я отвечу, что вы, по всей вероятности,

заблуждаетесь насчет моего происхождения и что положение моего отца даже в том обществе, где он теперь вращается (каком именно, про то я знаю), гораздо выше обычного уровня и признано всеми.

— Совершенно верно, — подтвердила миссис Мердль. — Изумительная память.

— Благодарю вас, сударыня. Не будете ли вы добры досказать моей сестре остальное?

— Досказать остается немного, — ответила миссис Мердль, обозревая всю ширину своей груди, необходимую для вмещения всей бесчувственности, — но это немногое делает честь вашей сестре. Я изложила вашей сестре обстоятельства данного случая: невозможность признания обществом, в котором вращаемся мы, общества, в котором вращается она (хотя, без сомнения, очаровательного в своем роде), и как результат этого — крайне двусмысленное положение семьи, которую она ставит так высоко и к которой мы принуждены будем относиться свысока, с пренебрежением и отвращением. Словом, я обращалась к похвальной гордости вашей сестры.

— Пожалуйста, скажите моей сестре, миссис Мердль, — сказала Фанни обиженным тоном, тряхнув своей легкой воздушной шляпкой, — что

я уже имела честь заявить вашему сыну, что мне не о чем разговаривать с ним.

— Да, мисс Доррит, — согласилась миссис Мердль, — мне, может быть, следовало упомянуть об этом раньше. Но я была слишком поглощена воспоминанием о тех жестоких минутах, когда боялась, что он будет упорствовать и вы, пожалуй, найдете, о чем с ним разговаривать. Я также сообщила вашей сестре (я обращаюсь опять к непрофессиональной мисс Доррит), что мой сын не получит ничего в случае такого брака, останется нищим (я упоминаю об этом только как о факте, для полноты рассказа, но отнюдь не предполагала, что он может повлиять на вашу сестру, если не говорить о том законном и разумном влиянии, которое в нашем искусственном обществе на всех нас оказывают подобные соображения). Наконец, после многих возвышенных заявлений со стороны вашей сестры, мы убедились, что никакой опасности нет, и ваша сестра была так любезна, что позволила мне вручить ей в знак признательности записочку к моей портнихе.

Крошка Доррит, видимо, огорчилась и смущенно взглянула на Фанни.

— А также, — продолжила миссис Мердль, — обещала доставить мне удовольствие видеть ее

у меня, после чего мы расстались в наилучших отношениях. Затем, — прибавила миссис Мердль, оставляя свое гнездышко и положив что-то в руку Фанни, — мисс Доррит позволит мне пожелать ей всего хорошего и выразить, как умею, мою благодарность.

Сестры встали и очутились перед клеткой с попугаем, который, откусив от сухаря, выплюнул его и, точно издеваясь над ними, пустился в пляс, изгибаясь всем телом, и, держась за жердочку ногами, внезапно перевернулся вниз головой и высунул из золотой клетки свой крепкий клюв и черный язык.

— Прощайте, мисс Доррит, всего хорошего, — сказала миссис Мердль. — Если бы только мыслимо было создать золотой век или что-нибудь в этом роде, я первая порадовалась бы возможности водить знакомство со многими очаровательными и талантливыми особами, которые ныне остаются чуждыми для меня. Более примитивное состояние общества было бы отрадой для меня. Когда я была маленькой, то, помню, мы учили стихотворение, что-то о бедном индейце, именно что-то такое! О, если бы несколько тысяч человек, составляющих общество, могли превратиться в индейцев! Я бы первая пошла на

это, так как, живя в обществе, мы, к несчастью, не можем превратиться в индейцев… До свидания!

Сестры спустились по лестнице, с пудрой впереди, пудрой позади, старшая надменно, младшая робко, и, наконец, выбрались на ненапудренную Харли-стрит, недалеко от Кавендиш-сквер.

— Ну? — сказала Фанни, когда они прошли несколько шагов молча. — Что же ты скажешь, Эми?

— О, я не знаю, что сказать, — ответила та печальным тоном. — Так ты не любишь этого молодого человека, Фанни?

— Любить его? Да он почти идиот!

— Мне так грустно, — не обижайся, но ты спрашивала, что я скажу, — мне так грустно, Фанни, что ты приняла от нее подарки.

— Вот дурочка, — возразила сестра, сердито дернув ее за руку, — да у тебя нет ни капли самоуважения, нет законной гордости. Ты позволяешь ухаживать за тобой какой-нибудь дряни вроде Чивери, — прибавила она с презрением, — и только роняешь и топчешь в грязь свою семью.

— Не говори этого, милая Фанни. Я делаю для нее что могу.

— Ты делаешь для нее что можешь, — повторила Фанни, ускоряя шаг. — А ты бы позволила

этой женщине — самой лицемерной и нахальной женщине, какую тебе случалось видеть, если ты хоть сколько-нибудь понимаешь людей, — ты позволила бы ей топтать семью и поблагодарила бы ее за это?

— Нет, Фанни! Конечно, нет.

— Так и заставь ее поплатиться, нелепая ты девочка. Что же еще с нее возьмешь? Заставь ее поплатиться, дурочка, и на эти деньги старайся возвысить достоинство твоей семьи.

Остальную часть пути они шли молча, пока не добрались до квартиры, где жила Фанни с дядей. Старик оказался дома: сидя в уголке, извлекал жалостные звуки из своего кларнета. Фанни принялась готовить закуску, состоявшую из котлет, портера и чая, и с негодованием заявляла, что сделает все сама, хотя на самом деле все сделала ее сестра. Когда наконец уселись за еду, Фанни швыряла все, что было на столе, и злилась на свой хлеб, так же как ее отец накануне.

— Если ты презираешь меня, — сказала она неожиданно, залившись потоком горьких слез, — за то, что я танцовщица, то зачем же толкнула меня на этот путь? Это твоих рук дело. Тебе бы хотелось смешать меня с грязью перед этой миссис Мердль и предоставить ей говорить все, что

ей вздумается, и делать все, что ей вздумается, презирать всех нас и говорить это мне в лицо, потому что я танцовщица.

— О Фанни!

— И Тип тоже, бедняжка! Она может унижать его, как ей вздумается, потому, должно быть, что он был в конторе адвоката, и в доках, и в разных других местах. Но ведь и это дело твоих рук, Эми. Ты бы могла по крайней мере позволить другим защищать его.

Все это время дядя извлекал заунывные звуки из своего кларнета, по временам отнимая его от губ и глядя на присутствующих со смутным сознанием, что кто-то что-то сказал.

— А твой отец, твой бедный отец, Эми! Оттого, что он не может явиться сам и постоять за себя, ты позволяешь этим людям оскорблять его безнаказанно. Если ты сама не чувствуешь неволи, потому что можешь выходить на работу, то могла бы, кажется, чувствовать за него, зная, что он вынес.

Эта стрела задела за живое бедную Крошку Доррит. Воспоминание о вчерашнем вечере заострило ее жало. Она ничего не ответила, но отвернулась со своим стулом к огню. Дядя остановился на минуту, а затем заиграл еще жалостнее.

Фанни продолжала воевать с блюдечками и хлебом, пока длилось ее воинственное настроение, а затем объявила, что она самая несчастная девушка в мире и лучше бы ей умереть. Затем ее жалобы приняли покаянный характер; она бросилась к сестре и обвила ее руками. Крошка Доррит пыталась успокоить ее, но она сказала, что хочет говорить и будет говорить. Затем принялась повторять: «Не сердись, Эми!» и «Прости, Эми!» — так же страстно, как раньше говорила то, о чем теперь сожалела.

— Но, право, право, Эми, — прибавила она в заключение, когда обе уселись рядышком в мире и согласии, — я думаю и надеюсь, что ты иначе бы смотрела на это, если бы была больше знакома с обществом.

— Может быть, Фанни, — сказала уступчивая Крошка Доррит.

— Видишь ли, пока ты смирно сидела дома в своем уголке, Эми, — продолжила сестра, постепенно возвращаясь к покровительственному тону, — я вращалась в обществе и сделалась гордой и утонченной — может быть, больше, чем следует.

Крошка Доррит ответила:

— Да! О да!

— И пока ты думала о белье да об обеде, я, видишь ли, могла думать о семейном достоинстве. Разве это не правда, Эми?

Крошка Доррит снова утвердительно кивнула с веселым лицом, хотя на сердце у нее было невесело.

— Тем более, — продолжила Фанни, — что, как нам известно, в том месте, которому ты была так верна, господствует свой особый тон, совсем не такой, как в других слоях общества. Поцелуй же меня еще раз, Эми, милочка, и согласимся, что мы обе правы и что ты тихая добрая девочка, милая моя домоседка.

В течение этого диалога кларнет издавал самые патетические стоны, которые были прерваны заявлением Фанни, что им пора идти. Она растолковала это дяде очень просто, взяв у него ноты и вытащив кларнет изо рта.

Крошка Доррит простилась с ними на улице и поспешила домой, в Маршалси. Там темнело раньше, чем где бы то ни было, так что Крошке Доррит показалось, будто она вошла в какой-то глубокий ров. Тень от стены падала на все предметы. Падала она и на фигуру старика в черной бархатной шапочке и поношенном сером халате, которая повернулась к ней, когда она отворила

дверь полутемной комнаты.

«Почему же ей не падать и на меня? — подумала Крошка Доррит, держась за ручку двери. — Право же, Фанни рассуждала довольно здраво».

Глава XXI. Недуг мистера Мердля

На пышные чертоги — чертоги Мердля на Харли-стрит, недалеко от Кавендиш-сквер — падала тень не простых домов, а таких же пышных чертогов с противоположной стороны улицы. Подобно безукоризненному обществу противоположные ряды домов на Харли-стрит смотрели друг на друга очень угрюмо. В самом деле, дома и их обитатели были так сходны в этом отношении, что нередко люди, сидевшие на противоположных сторонах обеденных столов в тени собственного высокомерия, посматривали на ту сторону с угрюмым выражением домов.

Харли-стрит, неподалеку от Кавендиш-сквер очень хорошо знала мистера и миссис Мердль. Были на Харли-стрит самозваные пришельцы, которых он знать не хотел, но к мистеру и миссис Мердль Харли-стрит относилась с полным почтением. Общество знало мистера и миссис Мердль. Общество сказало: «Допустим их в нашу среду; познакомимся с ними».

Мистер Мердль, невероятно богатый, он был изумительно предприимчивый, Мидас без ослиных ушей, превращавший в золото все, к чему

прикасался. Он участвовал во всевозможных предприятиях — от биржевых операций до постройки домов. Конечно, он заседал в парламенте. Само собой разумеется, он играл важную роль в Сити. Он председательствовал в одном месте, попечительствовал в другом, состоял почетным президентом в третьем. Самые влиятельные люди говорили: «А кто во главе предприятия? Удалось вам заполучить Мердля?» — и, получив отрицательный ответ, прибавляли: «Ну, так можете убираться прочь».

Этот великий счастливый человек приобрел бесчувственный пышный бюст в малиновом гнездышке с золотым шитьем лет пятнадцать назад. На этой груди нельзя было отдохнуть, зато она оказалась превосходной грудью для развешивания драгоценностей; мистер Мердль нередко находил полезным развешивать напоказ драгоценности и с этой целью приобрел себе этот бюст.

Эта спекуляция, как и все остальные, оказалась удачной и успешной. Драгоценности произвели блестящий эффект. Бюст, увешанный драгоценностями, привлекал внимание общества. Общество одобряло, мистер Мердль был доволен. Он был бескорыстнейший человек в мире, делал все для

общества и не получал ничего для себя из всех своих хлопот и прибылей.

То есть можно, пожалуй, сказать, что он получал все, что ему требовалось, так как в противном случае не замедлил бы получить это при своем безмерном богатстве. Но его заветным желанием было угождать во всем обществу (чем бы оно ни было) и в награду брать на себя все обязательства. Он не блистал в компании, не отличался разговорчивостью; это был замкнутый в себе человек с большой тяжелой головой, беспокойными глазами, тусклым красноватым оттенком кожи, скорее перезрелым, чем свежим, и с манжетами, которые выглядели как-то сконфуженно, точно старались спрятать руки своего хозяина. В разговоре, хотя и немногословном, он был довольно приятен, прост, с одушевлением говорил об общественном и личном доверии и с неизменной почтительностью относился ко всему, что касалось общества. В этом самом обществе (предполагая, что оно-то и являлось на его обеды, на вечера и концерты его жены) он чувствовал себя не в своей тарелке, жался к стенке и прятался по углам. Равным образом, когда он появлялся в обществе, вместо того чтобы принимать его у себя, он казался утомленным, как будто ему хотелось

поскорее убраться в постель. Тем не менее он почитал общество, вращался в обществе и тратил деньги на общество с величайшей щедростью.

Первый муж миссис Мердль был полковником, под покровительством которого бюст вступил в соперничество со снегами Северной Америки, и хотя не мог поравняться с ними белизной, но ничуть не уступал им в отношении холода. Сын полковника был единственный ребенок миссис Мердль. Это был малый тупоумного вида и нескладного сложения, скорее напоминавший распухшего ребенка, чем молодого человека. Он обнаруживал такие слабые признаки ума, что его приятели уверяли, будто мозги его замерзли в морозную ночь, когда он родился, да так и не могли оттаять. Другие уверяли, будто по неосторожности кормилицы он упал в детстве из окна, и достоверные свидетели уверяли, что при этом у него треснул череп. Но весьма вероятно, что оба эти рассказа явились ex post facto [37]. У этого юного джентльмена, который носил

[37] Сноски: 37
Задним числом, после совершившегося события *(лат.)*.

весьма выразительное имя — Спарклер [38], была мания предлагать свою руку всевозможным неподходящим барышням, причем каждая новая барышня, которой он делал предложение, была, по его словам, «чертовски славная девка и такая воспитанная, без всяких этаких глупостей». Пасынок с такими ограниченными талантами был бы для иного наказанием, но мистер Мердль не нуждался в пасынке для самого себя, он нуждался в пасынке для общества. Так как мистер Спарклер служил в гвардии, посещал все скачки и состязания, участвовал во всех забавах и развлечениях, то общество было довольно этим пасынком. Мистер Мердль, со своей стороны, был доволен этим результатом, хотя мистер Спарклер обходился ему недешево.

В то время как Крошка Доррит, сидя подле отца, шила ему новые рубашки, в чертогах на Харли-стрит давали обед. К обеду собрались вельможи двора и Сити, вельможи палаты общин и палаты лордов, вельможи суда и адвокатуры, вельможи церкви, вельможи казначейства, вельможи конной гвардии, вельможи адмиралтейства, словом

---

[38] Сноски: 38

От *англ.* sparkle — сверкающий умом. Диккенс иронически подчеркивает здесь несоответствие имени умственным способностям его обладателя.

— все те вельможи, которые ведут нас на поводу и время от времени подставляют нам ножку.

— Я слышал, — сказал церковный вельможа вельможе конной гвардии, — будто мистер Мердль заполучил еще изрядный куш. Сто тысяч фунтов, говорят.

Конная гвардия слышала — двести. Казначейство слышало — триста. Адвокатура, поигрывая своим внушительным лорнетом, заметила, что, насколько ей известно, едва ли не четыреста. Это было одно из тех счастливых совпадений расчета и случая, результаты которых трудно определить. Редкий в нашем веке образчик ловкой расчетливости, соединенной с удачей и смелостью. Но вот коллега Беллоуз, который участвовал в большом банковском процессе, вероятно, может сообщить побольше. Не знает ли коллега Беллоуз, сколько дала последняя операция?

Коллега Беллоуз спешил засвидетельствовать свое почтение бюсту и мог только сказать мимоходом, что, насколько ему известно, из весьма, впрочем, достоверных источников, — полмиллиона фунтов.

Адмиралтейство объявило, что мистер Мердль — замечательный человек. Казначейство сказало, что это новая владетельная особа в стране,

которая могла бы купить всю палату общин. Церковь выразила свое удовольствие по поводу того, что богатство стекается в сундуки джентльмена, который всегда готов поддерживать важнейшие интересы общества.

Мистер Мердль обыкновенно запаздывал на такие собрания, как человек, занятый гигантскими предприятиями, в то время как все остальные уже покончили со своими делишками. В данном случае он явился последним. Казначейство заметило, что дела изрядно портят жизнь мистеру Мердлю. Церковь выразила свое удовольствие по поводу того, что богатство стекается в сундуки джентльмена, который принимает его с кротостью.

Пудра! Столько пудры было в волосах лакеев, прислуживавших за столом, что весь обед пропах ею. Частицы пудры падали в тарелки в виде приправы к кушаньям общества. Мистер Мердль повел к столу какую-то графиню, которая скрывалась в недрах пышнейшего платья, как кочерыжка в кочне капусты.

За обедом общество имело все, что ему требовалось, и все, чего не требовалось. Было на что смотреть, было что есть, было что пить. Надо надеяться, что оно наслаждалось всем этим, так

как доля самого мистера Мердля в пиршестве могла быть оценена в восемнадцать пенсов.

Миссис Мердль была великолепна. Другим великолепным зрелищем был новый дворецкий: самый видный мужчина из всей компании. Он ничего не делал, зато смотрел так, как немногие умеют смотреть. Это был последний подарок мистера Мердля обществу. Мистер Мердль не нуждался в нем: взоры этого величественного существа смущали мистера Мердля, но неумолимое общество требовало его и получило.

Адвокатура вступила с конной гвардией в спор о военных судах. Коллега Беллоуз и вельможа суда вмешались в спор. Остальные вельможи беседовали попарно.

Мистер Мердль сидел молча и смотрел на скатерть. Время от времени какой-нибудь вельможа обращался к нему и устремлял на него поток своих аргументов, но мистер Мердль обыкновенно не замечал этого или, самое большее, отрывался на минутку от своих вычислений и передавал вино.

После обеда столько вельмож пожелали сказать мистеру Мердлю несколько слов, что он принимал их поодиночке подле буфета.

Казначейство выразило надежду, что оно

может поздравить всемирно знаменитого английского капиталиста и властителя биржи (оно уже несколько раз произносило в доме Мердля эту оригинальную фразу, и она удавалась совсем легко) с новым успехом. Торжество подобных людей — торжество и обогащение нации, и казначейство дало понять мистеру Мердлю, что оно разделяет патриотические чувства на этот счет.

— Благодарю вас, милорд, — сказал мистер Мердль, — благодарю вас! Я с гордостью принимаю ваше поздравление и радуюсь вашему одобрению.

— Ну да ведь я одобряю с оговоркой, дорогой мистер Мердль, потому что... — Тут казначейство с улыбкой повернуло его за руку к буфету и проговорило шутливым тоном: — Вы никогда не снисходили до того, чтобы присоединиться к нам и помочь.

Мистер Мердль крайне польщен...

— Нет-нет, — перебило казначейство, — не так должен относиться к этому предмету человек, прославившийся своими деловыми способностями и глубокой проницательностью. Если бы нам представилась в силу какого-либо счастливого случая возможность предложить такому человеку войти в нашу среду и поддержать нас своим

громадным влиянием, опытностью, характером, мы могли бы только предложить ему исполнить этот священный долг. Да, именно долг, которого требует от него общество.

Мистер Мердль поспешил заверить, что общество — зеница его ока и что требования общества господствуют над всеми другими его соображениями. Казначейство удалилось, а на его место явилась адвокатура. Адвокатура, поигрывая своим убедительным лорнетом и сопровождая этот жест тонким юридическим поклоном, заявила, что вряд ли ей будет поставлено в вину, если она позволит себе сообщить знаменитейшему из тех, которые корень всего зла обращают в корень добра и озаряют столь ярким, даже для нашей коммерческой страны, блеском летописи этой последней, — да, так если она позволит себе сообщить, не из личных целей, а просто в качестве amicus curiae [39], как выражаемся мы, законники, на нашем педантическом языке, — об одном факте, случайно дошедшем до ее сведения. Адвокатуре пришлось недавно проверить документы весьма крупного имения, находящегося в одном из восточных графств, или, точнее (ми-

---

[39] Сноски: 39
Друг сената *(лат.).*

стер Мердль знает, что мы, законники, любим точность), на границе двух восточных графств. Документы оказались в порядке, и имение было куплено одним из лиц, владычествующих над деньгами (юридический поклон и убедительный лорнет), на весьма выгодных условиях. Адвокатура узнала об этом только сегодня, и ей тотчас пришло в голову: «Я обедаю сегодня у моего уважаемого друга мистера Мердля, и не премину воспользоваться, сохраняя это между нами, удобным случаем». Подобная покупка приносит с собой не только значительное политическое влияние, но и право распоряжения пятью или шестью церковными должностями со значительным годовым доходом. Адвокатуре очень хорошо известно, что мистер Мердль никогда не затрудняется найти приложение для своего капитала, равно как и для своего деятельного и мощного ума; тем не менее она позволит себе заметить, что в уме ее возник вопрос, не обязан ли — не будем говорить: перед самим собой, а скажем: перед обществом — человек, достигший такого высокого положения и европейской репутации, употребить это влияние и эти права — не будем говорить: в свою пользу или в пользу своей партии, а скажем: в пользу общества.

Мистер Мердль снова заявил, что он всецело предан этому предмету своих вечных забот, и адвокатура понесла убедительный лорнет вверх по большой лестнице. Ее заместил лорд-епископ, случайно очутившийся подле буфета.

Конечно, блага мира сего, заметил мимоходом епископ, вряд ли могут найти лучшее назначение, нежели стекаясь в руки мудрых и разумных людей, которые, зная истинную цену богатству (при этом епископ попытался сделать вид, будто он сам принадлежит к числу бедных), могут понять их значение при разумном употреблении и распределении для благосостояния наших братьев вообще.

Мистер Мердль смиренно высказал убеждение, что, конечно, церковь не может иметь в виду его, и затем весьма непоследовательно выразил свою глубокую благодарность за доброе мнение церкви.

Тогда епископ, грациозно отставив весьма изящную правую ногу, как бы говоря: «Не обращайте внимания на рясу — это только форма!», предложил своему доброму другу следующий вопрос: не приходило ли доброму другу в голову, что общество не без основания может ожидать от человека, столь счастливого в своих предпри-

ятиях и стоящего на таком видном пьедестале, небольшой затраты на снаряжение миссии в Африку?

Когда мистер Мердль выразил готовность серьезно заняться этой идеей, епископ предложил другой вопрос: интересовался ли когда-нибудь его добрый друг деятельностью объединенного комитета по вопросу об увеличении окладов высшему духовенству и приходило ли ему в голову, что затратить небольшую сумму в этом направлении было бы весьма счастливой мыслью?

Мистер Мердль ответил в том же духе, и епископ объяснил, почему ему вздумалось предложить эти вопросы.

Общество ожидает, чтобы люди, подобные его доброму другу, делали такие затраты. Не он ожидает этого, а общество. Не наш комитет нуждается в дополнительном количестве духовных лиц с высоким окладом, а общество мучительно страждет вследствие недостатка последних. Он считает долгом уверить своего доброго друга, что его крайне трогает внимание доброго друга к интересам общества, и полагает, что он выскажется в духе этих интересов и вместе с тем выразит чувства общества, пожелав ему и в дальнейшем будущем прочных успехов, прочного благополу-

чия и вообще всего лучшего.

После этого лорд-епископ проследовал наверх, а другие вельможи потянулись за ним, пока, наконец, внизу не остался только мистер Мердль. Этот джентльмен уставился на скатерть и глазел на нее до тех пор, пока душа главного дворецкого не воспылала благородным негодованием, а затем потащился вслед за остальными и затерялся в толпе на лестнице. Миссис Мердль была дома, лучшие драгоценности были вывешены, общество получило то, за чем явилось, мистер Мердль выпил в уголке на два пенса чаю и получил больше, чем ему требовалось.

В числе собравшихся вельмож был знаменитый врач, которого все знали и который всех знал. Он подошел к мистеру Мердлю, пившему свой чай в уголке, и тронул за плечо.

Мистер Мердль вздрогнул:

— О, это вы?

— Лучше ли вам сегодня?

— Нет, — ответил мистер Мердль, — нисколько не лучше.

— Жаль, что я не посмотрел вас сегодня. Заезжайте ко мне завтра утром или я сам к вам заеду.

— Хорошо, — сказал мистер Мердль. — Я заеду

к вам завтра.

Адвокатура и епископ слышали этот коротенький диалог и, когда толпа оттеснила мистера Мердля, заговорили по этому поводу с доктором. Адвокатура заметила, что есть известная степень умственного напряжения, за пределы которой никто не может переходить, что степень эта различна в зависимости от различного строения и особенностей организации мозга. Адвокатура имела случай убедиться в этом, наблюдая своих ученых коллег, но, во всяком случае, достаточно на волосок перейти эту ступень, чтобы в результате явилась меланхолия и диспепсия. Отнюдь не желая нарушать святость медицинской тайны (юридический поклон и убедительный лорнет), она, однако, полагает, что нездоровье мистера Мердля именно такого рода. Епископ сообщил, что, будучи еще молодым человеком, он одно время привык откладывать составление воскресных проповедей до субботы — привычка, которой должны тщательно избегать все юные сыны церкви, — и вот тогда-то ему часто случалось испытывать припадки угнетенного состояния духа, происходившие, как он думает, вследствие умственного переутомления. В таких случаях свежие желтки, сбитые доброй женщиной, у которой

он квартировал, со стаканом хереса, мускатным орехом и мелким сахаром, производили поистине чудесное действие. Не рискуя предлагать такое простое средство на рассмотрение столь глубокого знатока великого врачебного искусства, он позволит себе спросить, нельзя ли в случае чрезмерного умственного напряжения, вызванного сложными расчетами, восстановить упавшие силы (говоря попросту) каким-нибудь легким, но действительно возбуждающим средством.

— Да, — сказал врач, — да, вы оба правы! Но я должен сказать вам, что не нахожу решительно ничего у мистера Мердля. У него сложение носорога, пищеварение страуса, сосредоточенность устрицы. Что касается нервов, то мистер Мердль человек холодного темперамента, не из чувствительных: в этом отношении он, можно сказать, неуязвим, как Ахиллес.

Вам покажется странным, как мог такой человек вообразить себя больным без причины. Тем не менее я не нахожу у него решительно никакой болезни. Быть может, в нем таится какой-нибудь скрытый недуг. Не знаю. Во всяком случае, в настоящее время я не могу его найти.

Недуг мистера Мердля не омрачал тенью пышного бюста, увешанного драгоценностями и

соперничавшего с другими такими же витринами драгоценностей; не омрачал юного Спарклера, который слонялся по комнатам, в припадке своей мономании [40], разыскивая в достаточной степени неподходящую молодую леди «без всяких этаких глупостей»; не омрачал Полипов и Пузырей, целые выводки которых присутствовали на обеде; не омрачал никого. Даже на нем самом едва замечалась тень этого недуга в то время как он бродил в толпе гостей, принимая поздравления.

Недуг мистера Мердля. Мистер Мердль и общество были так тесно связаны во всех отношениях, что вряд ли можно допустить, чтобы этот недуг был исключительно его личным делом. Точно ли был у него этот застарелый, скрытый недуг и нашел ли его доктор? Терпение.

Пока что тень стены Маршалси продолжала оказывать свое зловещее влияние, и ее можно было заметить на семействе Доррит в любую пору дня.

---

[40] Сноски: 40

Вид фобии — зацикленность на чем-то одном: предмете, идее и т. п.

Глава XXII. Загадка

При своих дальнейших посещениях мистер Кленнэм ничего не выиграл в мнении Отца Маршалси. Его бестолковость в отношении великого вопроса о приношениях отнюдь не возбуждала восторга в отеческой груди, напротив, скорее оскорбляла эту чувствительную сферу и принималась как положительное доказательство недостатка истинно джентльменских чувств. Разочарование — результат сознания, что мистер Кленнэм не обладает той деликатностью чувств, которую приписывала ему доверчивая натура Отца Маршалси, — начинало омрачать отцовские отношения к этому джентльмену. Отец даже высказал однажды, в частном семейном кругу, что мистер Кленнэм, кажется, не отличается благородными чувствами. В качестве главы и представителя общежития он, Отец Маршалси, охотно принимает мистера Кленнэма, когда тот является засвидетельствовать свое почтение, но вряд ли они сойдутся на личной почве. Мистеру Кленнэму как будто чего-то недостает (чего именно — он не может определить). Тем не менее Отец Маршалси не только соблюдал в отноше-

нии его внешнюю вежливость, но и относился к нему с особенным вниманием. Быть может, он лелеял надежду, что, не обладая умом достаточно быстрым и блестящим для того, чтобы повторить свое приношение без напоминания, Кленнэм исполнит эту обязанность джентльмена, получив письмо соответствующего содержания.

В качестве постороннего джентльмена, который был случайно заперт в тюрьме при своем первом посещении, в качестве постороннего джентльмена, который занялся делами Отца Маршалси с невероятной целью добиться в них толку, в качестве постороннего джентльмена, принимавшего участие в Крошке Доррит, Кленнэм не мог не возбудить толков в тюрьме. Он не удивлялся вниманию, которое оказывал ему мистер Чивери, так как не замечал разницы между отношением к нему мистера Чивери и других тюремщиков. Но однажды вечером мистер Чивери не на шутку удивил его и разом выделился в его глазах из группы собратьев.

Подметая свою сторожку, мистер Чивери ухитрился вымести из нее всех случайно заглянувших туда членов общежития, так что Кленнэм, уходя из тюрьмы, застал его одного.

— Простите, сэр, — сказал мистер Чивери таин-

ственным тоном, — но вам куда теперь? В каком направлении?

— Мне? Я пойду через мост. — Кленнэм с удивлением взглянул на мистера Чивери, который — истинная статуя молчания — стоял, приложив ключ к губам.

— Еще раз простите, — сказал мистер Чивери, — но не можете ли вы завернуть на Конную улицу? Не найдется ли у вас свободной минутки, чтобы зайти по этому адресу? — Тут он протянул Кленнэму карточку, отпечатанную для знакомых Чивери и К°, поставщиков настоящих гаванских сигар, лучших бенгальских, ароматических кубинских и так далее и тому подобное.

— Видите ли, это не касается табачной торговли, — сказал мистер Чивери, — это касается моей жены. Она желала бы сказать вам словечко, сэр, насчет одного пункта, который имеет отношение… Да, — прибавил мистер Чивери, отвечая кивком на недоумевающий взгляд Кленнэма, — имеет отношение к ней.

— Я повидаюсь с вашей женой.

— Благодарю вас, сэр. Очень вам обязан. Небольшой крюк, каких-нибудь десять минут ходьбы. Потрудитесь спросить миссис Чивери. — Мистер Чивери, уже выпустивший гостя, осторожно

выкрикивал эти инструкции сквозь маленькое окошечко в наружной двери, которое он мог открывать изнутри, когда хотел взглянуть на посетителя.

Артур Кленнэм с карточкой в руках отправился по указанному на ней адресу и скоро добрался до табачной лавки. Это была маленькая лавчонка, в которой сидела за прилавком прилично одетая женщина, занятая шитьем. Маленькие коробки с табаком, маленькие пачки сигар, маленький ассортимент трубок, две-три маленькие коробки с нюхательным табаком и при них маленькие инструменты вроде рожка для надевания сапог составляли склад товаров в этой лавке.

Артур назвал свою фамилию и сказал, что его просил зайти сюда мистер Чивери — кажется, по поводу мисс Доррит.

Миссис Чивери тотчас отложила работу, встала из-за прилавка и, сокрушенно покачав головой сказала:

— Вы можете видеть его хоть сейчас, если потрудитесь заглянуть в окошечко.

С этими таинственными словами она провела посетителя в заднюю комнату лавки с маленьким окошечком, выходившим на темный грязный дворик. На дворе были развешаны на верев-

ках мокрые простыни и скатерти, пытавшиеся (безуспешно вследствие недостатка воздуха) высохнуть, а среди этих развевающихся предметов сидел на стуле, точно последний матрос, оставшийся на палубе тонущего корабля и бессильный закрепить паруса, убитый горем молодой человек.

— Наш Джон, — сказала миссис Чивери.

Желая выразить как-нибудь свое участие, Кленнэм спросил, что же он там делает.

— Это его единственное развлечение, — ответила миссис Чивери, снова тряхнув головой. — Он никогда не выходит, даже на этот двор, когда там нет белья. Но когда развешано белье, которое может заслонить его от глаз соседей, он просиживает там по целым часам. По целым часам просиживает. Говорит, будто оно напоминает ему рощу.

Миссис Чивери еще раз тряхнула головой, провела передником по глазам в знак материнской скорби и отвела посетителя обратно в деловую область.

— Садитесь, пожалуйста, сэр. Наш Джон пропадает из-за мисс Доррит, сэр; из-за нее он разбил свое сердце, и я позволю себе спросить: какая польза от этого его родственникам?

Миссис Чивери, женщина благодушная и пользовавшаяся большим уважением на Конной улице за свою чувствительность и словоохотливость, произнесла эту речь очень спокойно и затем снова принялась качать головой и утирать глаза.

— Сэр, — продолжила она, — вы знакомы с их семьей, интересуетесь их семьей, имеете влияние в их семье. Если вам представится возможность оказать содействие планам, которые могут доставить счастье двум молодым людям, то ради нашего Джона, ради их обоих, умоляю вас оказать это содействие.

— Я так привык, — возразил Артур, несколько ошеломленный этим заявлением, — в течение нашего непродолжительного знакомства представлять себе Крошку… то есть мисс Доррит в совершенно ином свете, чем вы мне ее представляете, что, признаюсь, крайне удивлен вашими словами. Она знает вашего сына?

— Вместе росли, сэр, — сказала миссис Чивери. — Вместе играли!

— Знает она о любви вашего сына?

— О, господь с вами, сэр! — ответила миссис Чивери с какой-то торжествующей дрожью в голосе. — Да когда он приходит к ней всякое

воскресенье, она не может не знать об этом. По одной его тросточке, если не по чему другому, она бы узнала об этом. Разве станут молодые люди вроде Джона заводить попусту тросточку с набалдашником из настоящей слоновой кости? Как я сама узнала? Именно по этому признаку.

— Может быть, мисс Доррит не так догадлива, как вы?

— В таком случае, сэр, — сказала миссис Чивери, — она знает об этом из собственных его уст.

— Вы уверены в этом?

— Сэр, так же твердо уверена, как в том, что нахожусь в этом доме. Я собственными глазами видела, как мой сын ушел, когда я была в этом доме, и собственными глазами видела, как мой сын вернулся, когда я была в этом доме, и знаю, что он сделал это.

Миссис Чивери произнесла эти слова с удивительным пафосом, которому обстоятельность речи и повторение одних и тех же слов придавали особую силу.

— Могу я спросить, каким образом он впал в угнетенное настроение, причиняющее вам столько беспокойства?

— Это случилось, — сказала миссис Чивери, — в тот самый день, когда я собственными глазами

увидела, как наш Джон возвращался сюда, в этот дом. С того дня он не был самим собой в этом доме. С того дня не похож он на самого себя — на такого, каким был он за прошлые семь лет, с той минуты, как, наняв этот дом поквартально, я и его отец здесь водворились.

Особенная конструкция этой речи придавала ей убедительность показания под присягой.

— Могу ли я спросить, как же вы объясняете это превращение?

— Можете, — ответила миссис Чивери, — и я дам вам ответ так же верно и истинно, как то, что я стою в этой лавке. Нашего Джона все хвалят, все желают ему добра. Он играл с ней ребенком, когда на том самом дворе играла она ребенком. С тех пор продолжается их знакомство. Он ушел в воскресенье, пообедав в этой самой комнате, и встретил ее, сговорившись заранее или не сговорившись, этого я сказать не могу. Он сделал ей предложение. Ее брат и сестра высокомерны, и они против нашего Джона. Ее отец думает только о себе, и он против того, чтобы уступить ее кому-нибудь. При таких обстоятельствах она отвечала нашему Джону: «Нет, Джон, я не могу быть вашей женой, я не могу быть ничьей женой, мое намерение вовсе не выходить замуж, мое намерение

всегда остаться жертвой, прощайте, найдите себе другую, достойную вас, и забудьте обо мне!» Вот каким образом она осудила себя на вечное рабство у людей, которые вовсе недостойны того, чтобы в вечном рабстве у них была она. Вот каким образом наш Джон дошел до того, что одно ему осталось утешение: прохлаждаться среди мокрых простынь и являться на том дворе — как я сама показала его вам — в виде унылой развалины, вернувшейся домой, к сердцу матери.

Тут добрая женщина указала на окошечко, сквозь которое можно было видеть ее сына, уныло сидевшего в своей безмолвной тоске, снова покачала головой и утерла глаза, умоляя Кленнэма, ради блага обоих молодых людей, употребить все свое влияние, дабы эти печальные события увенчались радостным концом.

Она говорила с такой уверенностью, и ее замечания (поскольку они касались родных Крошки Доррит) казались настолько основательными, что Кленнэм не знал, что и думать. Он привык относиться к Крошке Доррит с тем особенным участием, которое стремилось отделить ее от окружающей грубой и вульгарной обстановки, вот почему ему была неприятна, горька, почти тягостна мысль о ее любви к юному мистеру Чи-

вери или другому такому же субъекту. С другой стороны, он старался доказать себе, что, влюбленная или невлюбленная, она остается одинаково доброй и преданной, что видеть в ней род домашней феи, застрахованной от всякого сердечного увлечения, было бы чистой фантазией с его стороны и притом вовсе не гуманной. И, несмотря на это, ее детская воздушная наружность, ее робкие манеры, очарование ее кроткого голоса и глаз, так же как и интерес, возбуждаемый ею независимо от ее личности, и резкое различие между ней и окружавшими ее никак не вязались и, очевидно, не могли вязаться с новым представлением о ней.

Все эти мысли пронеслись в его голове, пока достойная миссис Чивери еще продолжала говорить. Он отвечал, что она может положиться на него, что он сделает все возможное для мисс Доррит и окажет со своей стороны всяческое содействие осуществлению ее сердечных желаний, если убедится, что они действительно таковы. Вместе с тем он предостерегал миссис Чивери против произвольных заключений и предположений, просил сохранить дело в строжайшей тайне, чтобы не огорчить мисс Доррит, а в частности? советовал ей поговорить с сыном и узнать,

если возможно, от него самого, справедливы ли ее предположения. Миссис Чивери считала этот последний совет излишним, но тем не менее обещала исполнить его. Она покачала головой, как будто ожидала большего от беседы с Кленнэмом, но все же считала долгом поблагодарить его за беспокойство. Затем они простились, как добрые друзья, и Артур ушел.

Толпа на улице мешала толпе его мыслей, и, чтобы избежать суматохи, он не пошел на Лондонский мост, а направился по более спокойным кварталам, через Железный мост. Выйдя на него, он увидел перед собой Крошку Доррит. Был теплый день с легким ветерком, и, по-видимому, она только что явилась сюда подышать чистым воздухом. Час назад он оставил ее в комнате отца.

Ему представлялся удобный случай исполнить свое желание взглянуть на нее, когда никого подле нее не было. Он ускорил шаги, но, прежде чем догнал ее, она уже повернула голову.

— Я испугал вас? — спросил он.

— Мне послышались знакомые шаги, — ответила она нерешительно.

— Но оказались не те, Крошка Доррит? Вряд ли вы могли ожидать меня?

— Я никого не ожидала, но, когда услышала ша-

ги, мне показалось, что они… похожи на ваши.

— Вы куда-нибудь идете?

— Нет, я вышла сюда погулять немножко.

Они пошли вместе. Вскоре она вернулась к своей доверчивой манере общения и, взглянув на него, сказала:

— Как это странно. Вам, пожалуй, кажется непонятным. Мне приходит иногда в голову, что с моей стороны почти бесчеловечно гулять здесь.

— Бесчеловечно?

— Видеть эту реку, и ясное небо, и такое множество разных предметов, столько движения и оживления, а потом возвращаться к нему и находить его в той же тесной конуре.

— Ах да! Но вы должны помнить, что, возвращаясь туда под впечатлением и влиянием всего виденного, вы и его можете лучше развлечь и утешить.

— Да? Хорошо, если бы так. Я боюсь, сэр, что вы считаете меня слишком сильной. Если бы вы были в тюрьме, могла бы я доставить вам утешение таким путем?

— Да, Крошка Доррит, я уверен в этом.

Он догадался по дрожанию ее губ, по мимолетной тени глубокого волнения, омрачившей ее лицо, что вся душа ее была с отцом. В течение

нескольких минут он молчал, чтобы дать ей оправиться. Теперь Крошка Доррит, опиравшаяся дрожащей рукой на его руку, менее, чем когда-либо, гармонировала с теорией миссис Чивери, но не противоречила внезапно мелькнувшей в его мозгу мысли, что, может быть, найдется кто-нибудь другой в безнадежно далеком, но все же не в фантастическом и недосягаемом будущем.

Они повернули назад, и Кленнэм сказал:

— Вот Мэгги!

Крошка Доррит с удивлением подняла глаза и увидела Мэгги, которая остановилась перед ними как вкопанная. Она спешила куда-то, настолько погруженная в свои мысли, что узнала их, только когда они повернулись к ней, и мгновенно так смутилась, что ее корзина, казалось, сконфузилась вместе с ней.

— Мэгги, ты обещала остаться с отцом!

— Я и хотела остаться, маленькая мама, только он не захотел. Когда он посылает меня, должна же я идти. Когда он говорит: «Мэгги, отнеси поскорее это письмо, и если ответ будет хороший, то я дам тебе шесть пенсов», должна же я нести. Господи, маленькая мама, что же делать бедной десятилетней девочке? И когда мистер Тип… когда он приходит в ту самую минуту, как

я ухожу, и говорит: «Куда ты собралась, Мэгги?», а я говорю: «Я иду к такому-то», а он говорит: «Я тоже попытаюсь», и пишет письмо, и отдает мне, и говорит: «Снеси его туда же, и если ответ будет хороший, то я дам тебе шиллинг», так чем же я тут виновата, мама!

Артур прочел в опущенных глазах Крошки Доррит, что она догадалась, кому адресованы письма.

— Я и пошла к такому-то. Вот! Вот куда я пошла, — сказала Мэгги. — Я пошла к такому-то. Вы тут ни при чем, маленькая мама, это вам, знаете, — продолжала она, обращаясь к Артуру. — Пойдемте лучше к вам, к такому-то, и там я отдам их вам.

— Можно сделать проще, Мэгги. Отдайте мне их здесь, — сказал Кленнэм вполголоса.

— Так перейдемте на ту сторону, — ответила Мэгги громким шепотом. — Маленькой маме не следовало бы знать об этом, и она бы не узнала, если бы вы прямо пошли к такому-то вместо того, чтобы мешкать и раздумывать. Я не виновата в этом! Я должна сделать то, что велено. Они сами виноваты, что велели.

Кленнэм перешел на другую сторону и поспешно открыл письма. В письме отца сообщалось,

что совершенно неожиданное затруднение по получению перевода из Сити, на который он рассчитывал, побуждает его обратиться к мистеру Кленнэму — к сожалению, не лично, так как двадцатитрехлетнее (дважды подчеркнуто) заключение делает это невозможным, — с просьбой ссудить ему три фунта десять шиллингов, которые он просит прислать вместе с этим письмом. В письме сына последний сообщал, что ему удалось наконец получить очень хорошее место, с самыми широкими перспективами в будущем, о чем мистеру Кленнэму, по всей вероятности, приятно будет услышать, но случайная задержка жалованья хозяином (который выразил при этом надежду, что он отнесется снисходительно к затруднительному положению собрата) в связи с недобросовестным поведением одного ложного друга приведет его на край гибели, если только он не достанет сегодня к шести часам без четверти сумму в восемь фунтов. Мистер Кленнэм, без сомнения, рад будет услышать, что ему удалось собрать почти всю эту сумму благодаря верным друзьям, полагающимся на его честность; не хватает только одного фунта семнадцати шиллингов четырех пенсов, каковую сумму он просит ссудить ему взаймы на один месяц под обычные

проценты.

Кленнэм тут же ответил на оба письма с помощью карандаша и записной книжки, удовлетворив просьбу отца и учтиво отклонив просьбу сына. Затем он отправил Мэгги с ответом, дав ей шиллинг, обещанный Типом в случае удовлетворительного ответа.

Когда он вернулся к Крошке Доррит и они прошли некоторое время вдвоем, она неожиданно сказала:

— Я думаю, мне лучше уйти. Лучше мне уйти домой.

— Не огорчайтесь, — сказал Кленнэм, — я ответил на оба письма. Вы знаете их содержание. В них нет ничего особенного.

— Но я боюсь, — возразила она, — оставлять его, боюсь оставлять их всех. Когда меня нет, они развращают, сами не сознавая этого, даже Мэгги.

— Она, бедняжка, взяла на себя самое невинное, в сущности, поручение. Если же хотела скрыть его от вас, то, без сомнения, только для того, чтобы избавить вас от огорчения.

— Надеюсь, что так, надеюсь. Но лучше мне идти домой. На днях еще сестра сказала мне, будто я так привыкла к тюрьме, что приобрела ее отпечаток и тон. Так и должно быть. Мне самой

кажется, что так должно быть, когда я гляжу на все эти вещи. Мое место там. Мне лучше быть там. С моей стороны жестоко быть здесь, когда я могу сделать хоть что-нибудь там. Покойной ночи. Я пойду домой.

Все это вырвалось из глубины ее истерзанного сердца с таким мучительным выражением, что Кленнэм едва мог удержаться от слез.

— Не называйте тюрьму вашим домом, дитя мое, — сказал он. — Мне больно слышать, когда вы называете ее домом.

— Но это и есть мой дом. Где же еще я бываю дома? Могу ли я забыть о ней хоть на минуту?

— Вы никогда не забываете, милая Крошка Доррит, если представляется возможность сделать что-нибудь хорошее и полезное.

— Надеюсь, что нет. О, надеюсь, что нет! Но лучше мне оставаться там, гораздо лучше, гораздо достойнее. Пожалуйста, не провожайте меня — я дойду одна. Покойной ночи, господь с вами. Благодарю, благодарю вас!

Он чувствовал, что должен отнестись с уважением к ее просьбе, и стоял неподвижно, пока ее легкая фигурка удалялась от него. Когда она исчезла из виду, он повернулся лицом к реке и задумался.

Она во всяком случае, при всяких обстоятельствах огорчилась бы, узнав о письмах, но так ли глубоко, так ли неудержимо, как теперь?

Нет!

Когда она видела отца, выпрашивавшего подачку, прикрываясь своей изношенной мантией достоинства, когда просила не давать отцу денег, она огорчалась, но иначе, чем теперь. Что-то случилось именно теперь, что обострило и усилило обиду. Не замешался ли здесь тот, кто являлся в безнадежной, недосягаемой дали? Или это подозрение явилось у него просто в силу невольного сравнения мутной реки, бежавшей под мостом, с той же самой рекой выше по течению, где она так мирно струится мимо лодки, мимо камышей и водяных лилий, где все так спокойно и ясно?

Долго он думал о бедном ребенке, о своей Крошке Доррит: думал о ней, пока шел домой, думал о ней ночью, думал о ней, когда снова забрезжило утро. И его бедное дитя, Крошка Доррит, думала о нем — слишком много, ах, слишком много! — над тенью стен Маршалси.

Глава XXIII. Машина в ходу

Мистер Мигльс так ретиво принялся за переговоры с Даниэлем Дойсом от имени Кленнэма, что вскоре поставил их на деловую почву и однажды утром, в девять часов, зашел к Артуру сообщить о результате.

— Дойс очень благодарен нам за ваше доброе мнение о нем, — начал он деловой разговор, — и желает только одного: чтобы вы рассмотрели дела мастерской и как следует ознакомились с ними. Он дал мне ключи от всех своих книг и бумаг: вот они побрякивают у меня в кармане, и — сказал вот что: «Пусть мистер Кленнэм ознакомится с делом не хуже меня. Если из этого ничего не выйдет, он во всяком случае не обманет моего доверия. Не будь я уверен в этом заранее, я не стал бы и начинать с ним дела». Тут, как видите, — прибавил мистер Мигльс, — весь Даниэль Дойс перед вами.

— Он очень достойный человек.

— О да, конечно, без всякого сомнения. Странный, но достойный, хотя очень странный. Поверите ли, Кленнэм, — продолжил мистер Мигльс с добродушной усмешкой над чудачествами своего

приятеля, — что я провел целое утро в подворье, как его там…

— Подворье «Разбитые сердца».

— …целое утро в подворье «Разбитые сердца», прежде чем убедил его приступить к обсуждению самого дела.

— Как так?

— Как так, друг мой? А вот как: лишь только я упомянул ваше имя, он отказался начисто.

— Отказался… иметь со мной дело?

— Лишь только я упомянул ваше имя, Кленнэм, он объявил: «Об этом не может быть и речи». — «Что вы хотите сказать?» — спросил я. «Ничего, Мигльс, только об этом не может быть и речи». — «Почему же об этом не может быть речи?..» Поверите ли, Кленнэм, — продолжил мистер Мигльс посмеиваясь, — оказалось, что об этом не может быть и речи, потому что на пути в Туикнем в дружеском разговоре с вами он упомянул о своем намерении найти компаньона. Он думал в то время, что вы заняты своими предприятиями и ваше положение является столь же незыблемым и прочным, как собор Святого Павла. «После этого, — говорит, — мистер Кленнэм может подумать, что я хотел забросить удочку под видом откровенной дружеской бесе-

ды. А этого, — говорит, — я не могу вынести, для этого я слишком горд».

— Я бы скорей заподозрил…

— Разумеется, разумеется, — перебил мистер Мигльс, — так я и говорил ему. Но мне целое утро пришлось урезонивать его, и вряд ли кто-нибудь, кроме меня (мы давнишние друзья), мог бы добиться толку. Да, Кленнэм, когда наконец это деловое препятствие было устранено, он стал доказывать, что я должен просмотреть книги, составить собственное мнение о деле, прежде чем толковать с вами. Я просмотрел книги и составил собственное мнение о деле. «За или против?» — спросил он. «За», — ответил я. «В таком случае, — сказал он, — теперь вы можете, дорогой друг, доставить мистеру Кленнэму возможность составить собственное мнение. А для того, чтобы он мог разобраться без всяких стеснений, совершенно свободно, я уеду на неделю из города». И он уехал, — заключил мистер Мигльс. — Таковы значительные результаты наших переговоров.

— Которые внушают мне, — сказал Кленнэм, — высокое мнение о его чистоте и…

— Чудачестве, — подхватил мистер Мигльс, — я думаю!

Это было не то выражение, которое хотел упо-

требить Кленнэм, однако он не стал спорить со своим добродушным другом.

— Теперь, — сказал мистер Мигльс, — вы можете начать знакомиться с делом, когда вам вздумается. В случае надобности я могу дать вам то или другое объяснение, но постараюсь быть беспристрастным.

В то же утро они начали свои занятия в подворье «Разбитые сердца». Опытный глаз легко мог заметить кое-какие особенности в способе ведения дел мистером Дойсом, но почти все они сводились к каким-либо остроумным упрощениям и давали возможность достигнуть желанной цели более прямым путем. Что его отчетность запаздывала и что ему требовался помощник для расширения операций — было очевидно, но результаты всех его предприятий за много лет отмечались точно и без труда могли быть подвергнуты проверке. Не было ничего показного, рассчитанного на неожиданную ревизию, все имело строго деловой, честный, неприкрашенный вид. Расчеты и поступления, записанные его собственной рукой, не отличались щепетильной мелочной точностью, но всегда были ясны и толковы. Артуру пришло в голову, что более тщательно разработанная показная сторона бух-

галтерской деловитости, как, например, в книгах министерства околичностей, только затруднила бы понимание дела.

Три-четыре дня усердной работы ознакомили его со всеми существенными фактами. Мистер Мигльс все время был к его услугам, всегда готовый осветить темное место яркой предохранительной лампочкой, относившейся к области весов и лопаточки. Они столковались относительно суммы, которую можно было заплатить за половинное участие в деле, а затем распечатали бумагу, в которой Даниэль Дойс обозначил стоимость по собственной оценке: она оказалась даже несколько меньше. Таким образом, когда Дойс вернулся в Лондон, дело было уже решено.

— Теперь я могу сознаться, мистер Кленнэм, — сказал он, дружески пожав ему руку, — что, сколько бы я ни искал компаньона, вряд ли нашел бы такого, который был бы мне больше по сердцу.

— Я могу сказать то же самое, — ответил Кленнэм.

— А я скажу о вас обоих, — прибавил мистер Мигльс, — что вы вполне подходите друг к другу. Вы будете сдерживать его, Кленнэм, с вашим здравым смыслом, а вы займитесь делом, Дик,

с вашим.

— Нездравым смыслом, — подхватил Дойс со своей спокойной улыбкой.

Условие было заключено окончательно в течение месяца. В результате у Кленнэма осталось собственного личного капитала не более нескольких сот фунтов, зато перед ним открывалось деятельное и многообещающее поприще. Трое друзей отпраздновали это событие обедом; рабочие мастерской со своими женами и детьми получили отпуск и тоже обед; даже подворье «Разбитые сердца» пообедало, причем наелось до отвала. Впрочем, через каких-нибудь два месяца оно снова привыкло к недоеданию настолько, что угощение было забыто. Новой оставалась только вывеска на дверях мастерской «Дойс и Кленнэм», и самому Кленнэму казалось, что он уже бог знает сколько лет занимается делами фирмы.

Его комнатка помещалась в конце длинной узкой мастерской, наполненной верстаками, инструментами, шестернями, колесами, блоками, которые, когда их соединяли с паровой машиной, поднимали такой шум и грохот, точно задались самоубийственной целью растереть в порошок все дело и раздробить на куски мастерскую. Сквозь подъемные двери в полу и потолке,

сообщавшиеся с верхней и нижней мастерскими, врывались снопы света, напоминавшие Кленнэму картинку из священной истории для детей, где такие же лучи были свидетелями убийства Авеля [41]. Контора была настолько удалена от мастерских, что шум доносился до нее только в виде глухого жужжания, которое прерывалось иногда отдельными ударами и лязганьем. Терпеливые фигуры рабочих были совсем черными от стальных и железных опилок, осыпавших скамьи и пробивавшихся сквозь щели обшивок. Со двора в мастерскую вела лестница, под которой помещалось точило для инструментов. Все имело какой-то фантастический и в то же время деловой вид, новый для Кленнэма, который всякий раз с удовольствием смотрел на эту картину, отрываясь от документов и счетных книг.

Однажды, подняв таким образом глаза, он заметил женскую шляпку, взбиравшуюся по лестнице. За этим необычайным явлением показалась другая шляпка. Вскоре он убедился, что первая находилась на голове тетки мистера Финчинга, а вторая — на голове Флоры, которая, по-видимому, с большим трудом подталкивала

[41] Сноски: 41

По библейскому мифу сын Адама и Евы, убитый из зависти своим братом Каином.

свое наследство по крутой лестнице.

Артур, хотя и не особенно восхищенный при виде этих посетительниц, выскочил из конторы и помог им пробраться по мастерской. Это было тем более кстати, что тетка мистера Финчинга, уже споткнувшись о какой-то механизм, угрожала паровой машине своим окаменелым ридикюлем.

— Господи, Артур… мне следовало сказать — мистер Кленнэм, это гораздо приличнее, мы насилу добрались сюда, и я просто не понимаю, как мы спустимся обратно без спасательной лестницы: тетка мистера Финчинга все время скользит и все себе переломает, а вы думаете только о ваших машинах и литье, и ничего нам не сказали.

Флора выпалила это, задыхаясь. Тем временем тетка мистера Финчинга потирала зонтиком свои почтенные лодыжки и бросала кругом мстительные взоры.

— Как это нелюбезно — ни разу не зайти к нам с того дня, хотя, конечно, в нашем доме нет ничего привлекательного для вас и вы были в гораздо более приятном обществе; хотелось бы мне знать, хороша ли она и черные у нее глаза или голубые, хотя я не сомневаюсь, что она представляет полнейший контраст со мной; мне очень хорошо известно, как я подурнела, и понятно, что вы

преданы ей; ах, не обращайте внимания на мои слова, Артур, я сама не знаю, что говорю.

Тем временем он придвинул к ним два стула, стоявших в конторе. Опустившись на свой, Флора одарила его своим прежним взглядом.

— Подумать только: Дойс и Кленнэм, — продолжила Флора. — Кто такой этот Дойс? Без сомнения, восхитительный человек, быть может, женатый, и, может быть, у него есть дочь, — правда, есть? Тогда все объясняется: понятно, почему вы вступили с ним в компанию, не говорите ни слова. Я знаю, что не вправе заводить речь о золотых цепях, которые когда-то были выкованы, а теперь разбиты.

Флора нежно дотронулась до его руки и проговорила:

— Дорогой Артур… сила привычки; мистер Кленнэм — гораздо деликатнее и более подходит к существующим обстоятельствам… Я должна извиниться за это вторжение, но я думала, что память о прежних временах, давно минувших и невозвратимых, дает мне право явиться с теткой мистера Финчинга поздравить вас и пожелать вам всего хорошего. Здесь гораздо лучше, чем в Китае, и гораздо ближе, хотя и несколько выше.

— Я очень рад видеть вас, — сказал Кленнэм, —

и душевно благодарен вам, Флора, за память обо мне.

— Не могу сказать того же о себе, — ответила Флора, — я бы могла двадцать раз умереть и быть похороненной, прежде чем вы вспомнили бы обо мне, но все-таки хочу сделать одно последнее замечание, одно последнее объяснение…

— Дорогая миссис Финчинг… — с тревогой перебил Артур.

— О, зачем это неприятное имя? Говорите — Флора!

— Флора, к чему расстраивать себя объяснениями? Уверяю вас, никаких объяснений не нужно. Я удовлетворен, совершенно удовлетворен.

Тут произошло небольшое отклонение от хода событий благодаря тетке мистера Финчинга, изрекшей следующее неумолимое и зловещее заявление:

— На Дуврской дороге есть столбы, указывающие мили!

Она выпалила этот снаряд с такой неумолимой ненавистью ко всему роду человеческому, что Кленнэм решительно не знал, как ему защищаться, тем более что и без того был смущен визитом этой почтенной леди, очевидно питавшей к нему крайнее отвращение. Он только растерянно

смотрел на нее, между тем как она сидела, пылая злобой и негодованием и уставившись куда-то вдаль. Впрочем, Флора приняла ее замечание как нечто вполне уместное и громко заметила, что тетка мистера Финчинга очень остроумна. Поощренная ли комплиментом или своим пламенным негодованием, эта знаменитая женщина прибавила: «Пусть-ка он попробует» — и резким движением окаменелого ридикюля (вещь обширных размеров и ископаемого вида) дала понять, что Кленнэм — именно та злополучная личность, к которой обращен этот вызов.

— Я хотела сказать, — продолжила Флора, — что хочу сделать одно последнее замечание, хочу дать одно последнее объяснение, что я и тетка мистера Финчинга никогда бы не решились беспокоить мистера Финчинга, когда он занимался делом в деловые часы; конечно, у вас не виноторговля, но дело — всегда дело, как бы его ни называли, и деловые привычки всегда одни и те же; пример — сам мистер Финчинг, который всегда надевал свои туфли, стоявшие на половике, аккуратно без десяти шесть вечера, а сапоги, стоявшие за каминной решеткой, — без десяти восемь утра в хорошую и дурную погоду; который, вероятно, покажется достаточным и

Артуру (мистеру Кленнэму — гораздо приличнее, даже Дойсу и Кленнэму — гораздо деловитее).

— Пожалуйста, не оправдывайтесь, — сказал Артур, — я всегда рад вам.

— Очень любезно с вашей стороны, Артур… мистер Кленнэм, — всякий раз вспоминаю, когда уже поздно, вот что значит привычка навеки минувших дней, и, как справедливо замечено, что в тиши ночной, когда сон тяготеет над человеком, нежное воспоминание озаряет человека блеском прошлого; очень любезно, но боюсь — более любезно, чем искренно, потому что вступить в компанию по машинной части и не написать ни строчки, не послать карточку папе… не говорю — мне, потому что было время, но оно прошло, и суровая действительность… не обращайте внимания, я говорю бог знает что… это уж совсем не любезно, сами сознайтесь.

Флора, по-видимому, окончательно рассталась с запятыми, ее речь была еще бессвязнее и торопливее, чем в прошлый раз.

— Хотя, конечно, — тараторила она, — ничего другого и ожидать нельзя, да и нет причины ожидать, а если нет причины ожидать, то зачем и ожидать, и я вовсе не упрекаю вас или кого бы то ни было. Когда ваша мама и мой папа нанесли

нам смертельный удар и разбили золотую чашу — я хочу сказать, а если не знаете, то ничего не потеряли, — когда они разбили золотую цепь, соединявшую нас, и повергли нас в пароксизмы слез, по крайней мере я чуть не задохнулась на диване; впрочем, все изменилось, и, отдавая руку мистеру Финчингу, я знала, что делаю, но ведь он был в таком отчаянии и унынии, намекал даже на реку, если только бальзам или что-то такое из аптеки и я не утешим его.

— Милая Флора, ведь мы уже решили этот вопрос! Вы совершенно правы.

— Понятно, что вы так думаете, — возразила Флора, — вы так холодно относитесь к этому… если б я не знала, что вы были в Китае, я бы подумала — на Северном полюсе. Дорогой мистер Кленнэм, вы во всяком случае правы, и я не могу вас упрекать, но относительно Дойса и Кленнэма мы услыхали только от Панкса, потому что здесь папина собственность, а не будь Панкса, мы так бы и не узнали никогда, я уверена.

— Нет-нет, не говорите этого.

— Что за глупости — не говорить этого, Артур («Дойс и Кленнэм» — это проще и не так трудно для меня, как «мистер Кленнэм»), — когда я это знаю и вы знаете и не можете отрицать.

— Но я отрицаю это, Флора. Я намеревался вскоре навестить вас.

— Ах, — сказала Флора, тряхнув головой, — полноте! — И снова одарила его прежним взглядом. — Как бы то ни было, когда Панкс сообщил нам об этом, я решила, что тетка мистера Финчинга и я должны пойти навестить вас, потому что, когда папа сказал мне о ней — это случилось раньше — и прибавил, что вы заинтересованы ею, то я сейчас же подумала, отчего же не пригласить ее вместо того, чтобы сдавать работу посторонним.

— Вы говорите о ней — перебил Артур, сбитый с толку, — то есть о тетке мистера Финчинга?..

— Господи, Артур («Дойс и Кленнэм» гораздо легче для меня), кто же слыхал когда-нибудь, чтоб тетка мистера Финчинга занималась шитьем и брала работу поденно!

— Брала работу поденно? Так вы говорите о Крошке Доррит?

— Ну конечно, о ней, — подхватила Флора, — и из всех странных имен, какие мне приходилось слышать, это самое странное, точно какая-нибудь дача с турникетом, или любимый пони, или щенок, или птица, или что-нибудь из семенной лавки, что сажают в саду или в цветочном

горшке.

— Стало быть, Флора, — сказал Кленнэм, внезапно заинтересовавшийся разговором, — мистер Кесби был так любезен, что сообщил вам о Крошке Доррит, не правда ли? Что же он говорил о ней?

— О, вы знаете, что такое папа, — ответила Флора — когда он сидит с таким убийственно-великолепным видом и вертит одним большим пальцем вокруг другого, пока у вас не закружится голова, глядя на него. Он сказал, когда мы говорили о вас… я, право, не знаю, кто начал этот разговор, Артур («Дойс и Кленнэм»), но уверена, что не я — по крайней мере, надеюсь, что не я, — вы меня извините за эти подробности.

— Конечно, — сказал Артур, — разумеется.

— Вы очень любезны, — пролепетала Флора, замявшись в припадке обворожительной застенчивости. — Папа сказал, что вы говорили о ней очень серьезно, а я сказала то же, что говорила вам, вот и все.

— Вот и все? — повторил Артур, несколько разочарованный.

— За исключением того, что, когда Панкс сказал нам о ваших теперешних занятиях и насилу убедил нас, что это действительно вы, я предло-

жила тетке мистера Финчинга навестить вас и спросить, не будет ли приятно для всех, если я приглашу ее к нам и дам ей работу, я ведь знаю, что она часто ходит к вашей маме, а у вашей мамы суровый характер, Артур («Дойс и Кленнэм»), иначе я никогда бы не вышла за мистера Финчинга и была бы теперь… Ах какой вздор я говорю!

— С вашей стороны, Флора, было очень любезно подумать об этом.

Бедная Флора отвечала чистосердечным тоном, который гораздо больше шел к ней, чем самые обольстительные девические взгляды, что ей приятно слышать это от него. Она высказала это так сердечно, что Артур много бы дал, лишь бы видеть всегда перед собой эту простую и добрую женщину, похоронив навек восемнадцатилетнюю Флору вместе с постаревшей сиреной.

— Я думаю, Флора, — сказал Кленнэм, — доставив Крошке Доррит занятия и обласкав ее…

— Непременно, я так и сделаю, — живо подхватила Флора.

— Я уверен в этом… вы окажете ей большую поддержку и помощь. Я не считаю себя вправе рассказывать вам все, что знаю о ней, так как эти сведения я получил по секрету и при обстоятельствах, обязывающих меня к молчанию. Но

я принимаю участие в этом бедном создании и питаю к ней глубокое уважение. Ее жизнь была сплошным самоотвержением и подвигом. Я не могу думать о ней, а тем более говорить без волнения. Пусть это волнение заменит то, что я бы мог сказать вам о ней, и позвольте мне с благодарностью поручить ее вашей доброте.

Он просто протянул руку бедной Флоре, но бедная Флора не могла принять ее просто, без таинственных ужимок и кривляний. Она как бы случайно покрыла ее концом своей шали, затем взглянула в окно и, заметив две приближающиеся фигуры, воскликнула с бесконечным восхищением:

— Папа! Молчите, Артур, ради бога! — и опустилась на стул, с поразительным искусством приняв вид барышни, близкой к обмороку от неожиданности и волнения чувств.

Между тем патриарх, сияя лысиной, тащился к конторе в кильватере Панкса. Панкс отворил перед ним дверь, прибуксировал его и сам стал на якорь в уголке.

— Я слышал от Флоры, — сказал патриарх с благосклонной улыбкой, — что она собирается навестить вас, собирается навестить вас. Вот я и вздумал тоже зайти, вздумал тоже зайти.

Благодушная мудрость, которой дышали эти слова (сами по себе незначительные), благодаря его голубым глазам, сияющей лысине, длинным белым кудрям производила сильное впечатление, точно в них сказывалось благороднейшее чувство, какое когда-либо воодушевляло лучшего из людей. Когда же он уселся в кресло, подставленное Кленнэмом, и сказал:

— Так вы взялись за новое дело, мистер Кленнэм? Желаю успеха, сэр, желаю успеха, — каждое слово его казалось подвигом добродетели.

— Миссис Финчинг сообщила мне, сэр, — сказал Артур, поблагодарив за любезное пожелание (вдова покойного мистера Финчинга протестовала жестом против употребления этой почтенной фамилии), — что она надеется доставить работу молодой белошвейке, которую вы рекомендовали моей матери. Я душевно благодарен ей за это.

Патриарх беспомощно повернул голову к Панксу, который тотчас оторвался от записной книжки и принял его на буксир.

— Вы вовсе не рекомендовали ее, — сказал Панкс. — Как могли вы рекомендовать, ведь вы ничего не знали о ней. Вам сообщили о ней, а вы передали другим, вот и все, что вы сделали.

— Да! — сказал Кленнэм. — Но это безразлично,

так как она оправдала бы всякую рекомендацию.

— Вы очень рады, что она оказалась хорошей девушкой, — сказал Панкс, — но если бы она оказалась плохой, это была бы не ваша вина. Благодарить вас не за что и порицать было бы не за что. Вы не ручались за нее. Вы ничего не знали о ней.

— Так вы не знакомы ни с кем из ее родных? — спросил Артур, решив предложить вопрос наудачу.

— Не знаком ни с кем из ее родных? — повторил Панкс. — Как вы можете быть знакомы с кем-либо из ее родных? Вы никогда не слыхали о них. Как же вы можете быть знакомы с людьми, о которых никогда не слыхали, а? Разве это возможно?

Все это время патриарх ясно улыбался, благосклонно кивая или покачивая головой — смотря по тому, что требовалось.

— Что касается ручательства, — продолжил Панкс, — то вы ведь знаете, что такое ручательство. Лучшее ручательство — свой глаз. Возьмите хоть жильцов здешнего подворья. Они все готовы поручиться друг за друга, только позвольте им это. Но с какой стати позволять? Что за радость быть обманутым двумя людьми вместо одного! И одного довольно! Субъект, который не может

уплатить, ручается за другого субъекта, который тоже не может уплатить, что тот может уплатить. Все равно как если бы субъект с деревянными ногами поручился за другого субъекта с деревянными ногами, что у того ноги настоящие. Из-за этого ни один ни другой не сделаются хорошими ходоками, а возни с четырьмя деревянными ногами гораздо больше, чем с двумя, когда вам не нужно ни одной. — Выпустив весь свой пар, мистер Панкс закончил свою речь.

Минутная пауза, наступившая за его словами, была прервана теткой мистера Финчинга, которая со времени своего последнего заявления сидела, выпрямившись, в состоянии каталепсии [42]. Теперь она заерзала в судороге, способной произвести потрясающее впечатление на нервы непосвященного, и в смертельном негодовании объявила:

— Вы не можете сделать головы с мозгом из медного набалдашника. Не могли бы сделать, когда был жив дядя Джордж, а когда умер — и подавно!

Мистер Панкс тотчас ответил со своим обычным хладнокровием:

---

[42] Сноски: 42

Судорожное сокращение мышц, сопровождаемое оцепенением и расстройством сознания.

— В самом деле, сударыня? Ей-богу, вы удивляете меня!

Несмотря на такое присутствие духа, заявление тетки мистера Финчинга произвело удручающее впечатление на всю компанию, так как, во-первых, слишком очевидно было, что под медным набалдашником подразумевалась злополучная голова Кленнэма, во-вторых, никто не знал, что это за дядя Джордж, кому он приходится дядей или какой зловещий призрак вызывается из могилы под этим именем.

Ввиду этого Флора заметила — впрочем, не без торжества и гордости своим наследством, — что тетка мистера Финчинга очень оживлена сегодня и что им пора уходить. Но тетка мистера Финчинга оказалась настолько оживленной, что приняла это заявление с неожиданным гневом и отказалась уходить, прибавив со многими оскорбительными выражениями, что если он (очевидно, подразумевая Кленнэма) намерен ее выгнать, то пусть вышвырнет ее за окно, и выразила настойчивое желание посмотреть, как он исполнит эту церемонию.

В этом затруднительном положении Панкс, ресурсы которого, по-видимому, были неистощимы, украдкой надел шляпу, украдкой выскользнул за

дверь и украдкой вернулся обратно с искусственным румянцем на лице, точно несколько недель провел в деревне.

— Кого я вижу, — воскликнул он, ероша себе волосы от удивления, — вы ли это, сударыня? Как вы поживаете, сударыня? У вас прекрасный вид. Как я рад вас видеть! Позвольте вашу руку, сударыня, не угодно ли вам пройтись со мной, прогулятья немножко?

Таким манером он галантно и успешно выпроводил вон тетку мистера Финчинга. За ними последовал патриархальный мистер Кесби, делая вид, что поступает по собственной инициативе, а за ним и Флора, которая (к своему крайнему удовольствию) успела заметить томным шепотом своему бывшему обожателю, что они выпили до дна кубок жизни, и закинуть таинственный намек, из которого можно было заключить, что на дне оказался покойный мистер Финчинг.

Оставшись один, Кленнэм почувствовал, что все прежние подозрения и сомнения насчет отношений его матери к Крошке Доррит вернулись к нему. Все они разом всплыли в его уме, перепутываясь с деловыми расчетами, которыми он продолжал заниматься механически, как вдруг тень, упавшая на бумаги, заставила его поднять

голову. Причиной этого явления оказался мистер Панкс. Со шляпой на затылке, точно его жесткие, как проволока, волосы подняли ее, как на пружинах, и сдвинули назад, с инквизиторским взглядом черных бисеринок-глаз, засунув пальцы правой руки в рот для обгрызания ногтей, а левую держа наготове в кармане, мистер Панкс бросал тень на бумаги Кленнэма через стеклянную дверь.

Мистер Панкс осведомился вопросительным движением головы, можно ли войти. Кленнэм ответил утвердительным кивком. Мистер Панкс вплыл в комнату, пролавировал к столу, стал на якорь, ухватившись руками за конторку, и начал разговор с того, что запыхтел и фыркнул.

— Тетка мистера Финчинга успокоилась, надеюсь? — спросил Кленнэм.

— Совершенно, сэр, — сказал Панкс.

— Я имел несчастье возбудить сильнейшую ненависть этой леди, — заметил Кленнэм. — Вы не знаете почему?

— А она знает почему? — ответил Панкс.

— Не думаю.

— Я тоже не думаю, — сказал Панкс.

Он вытащил записную книжку, открыл ее, закрыл, сунул в шляпу, которую поставил подле

себя на столе, заглянул в шляпу — все это с самым глубокомысленным видом.

— Мистер Кленнэм, — начал он, — я желал бы получить справку, сэр.

— Насчет фирмы? — спросил Кленнэм.

— Нет, — сказал Панкс.

— В таком случае о чем же, мистер Панкс? То есть, если вы желаете получить справку от меня.

— Да, сэр, да, от вас, — сказал Панкс, — если только вы согласитесь дать мне ее. А, Б, В, Г, Д, Да, Де, Ди, До. Алфавитный порядок Доррит. Эта самая фамилия, сэр.

Мистер Панкс снова издал свой характерный звук и принялся за ногти правой руки. Артур пытливо посмотрел на него; он ответил таким же взглядом.

— Я не понимаю вас, мистер Панкс.

— Это фамилия, насчет которой мне нужна справка.

— Что же вы хотите знать о ней?

— Все, что вы можете и захотите сказать мне. — Этот краткий конспект желаний был высказан мистером Панксом не без тяжелой работы его паровика.

— Ваше посещение несколько удивляет меня, мистер Панкс. Я нахожу довольно необычайным

ваше требование.

— Пусть оно будет вполне необычайным, — возразил Панкс. — Оно может выходить из сферы обычных явлений и все-таки оставаться делом. Короче говоря, у меня есть дело. Я деловой человек. Для какого еще дела живу я на этом свете, как не для того, чтобы делать дело?

У Кленнэма снова мелькнуло подозрение, что этот сухой и черствый человек говорит несерьезно. Он пристально взглянул ему в лицо. Оно было такое же небритое и грязное, как всегда, такое же подвижное и оживленное, но Кленнэм не заметил в нем ничего похожего на скрытую насмешку, которая послышалась ему в голосе Панкса.

— А теперь, чтобы не было недоразумений, — продолжал Панкс, — скажу, что это дело не моего хозяина.

— Вы называете своим хозяином мистера Кесби?

Панкс кивнул.

— Мой хозяин. Возьмите такой случай. Положим, я слышу у моего хозяина фамилию, фамилию молодой особы, которой мистер Кленнэм желает помочь. Положим, о ней сказал моему хозяину Плорниш из подворья. Положим, я иду

к Плорнишу. Положим, спрашиваю у Плорниша с деловой целью. Положим, Плорниш, хоть и задолжал за шесть недель, не желает отвечать. Положим, миссис Плорниш не желает отвечать. Положим, оба направляют меня к мистеру Кленнэму. Представьте себе такой случай.

— Ну?

— Ну, сэр, положим, я иду к нему. Положим, я пришел.

Сказав это, деловой Панкс, с волосами торчком, отдуваясь и пыхтя, отступил на шаг (на языке буксирных пароходов — дал задний ход), как будто для того, чтобы показать весь свой грязный корпус, затем снова приблизился, заглянув своими быстрыми глазами в шляпу с записной книжкой, потом в лицо Кленнэму.

— Мистер Панкс, не желая вмешиваться в ваши тайны, я хотел бы, однако, объясниться с вами по возможности откровенно. Позвольте мне предложить вам два вопроса. Во-первых…

— Отлично, — перебил Панкс, выставив вперед указательный палец с обгрызанным ногтем. — Знаю: «Какая у вас цель?»

— Именно.

— Цель, — сказал Панкс, — хорошая. Ничего общего с моим хозяином; нельзя объяснять те-

перь, было бы просто смешно, но цель хорошая. На пользу молодой особы по фамилии Доррит, — прибавил Панкс, снова выставляя указательный палец в виде предостережения. — Допустите, что цель хорошая!

— Во-вторых и последних, что именно вы желаете знать?

Мистер Панкс выудил свою записную книжку из шляпы, сунул в карман, тщательно застегнул сюртук, все время глядя прямо в глаза Кленнэму, и ответил, подумав и фыркнув:

— Мне нужны дополнительные сведения всякого рода.

Кленнэм не мог удержаться от улыбки, глядя, как буксирный пароходик, столь полезный для неповоротливого корабля, наблюдал, следил за ним, точно поджидая случая вырваться и утащить все, что ему нужно, прежде чем он успеет оправиться с его маневрами. Впрочем, в ожидании Панкса было что-то особенное, наводившее его на странные мысли. После продолжительного размышления он решил сообщить мистеру Панксу все, что было известно ему самому, так как не сомневался, что мистер Панкс во всяком случае получит требуемые справки, если не от него, то каким-нибудь другим путем.

Итак, напомнив мистеру Панксу, что, по его собственным словам, хозяин не причастен к этому делу, а намерения его, Панкса, хорошие (два заявления, которые этот холодный человек подтвердил с величайшим жаром), он сообщил, что происхождение и прежнее место жительства Доррит ему неизвестны, что в настоящее время семья состоит из пяти человек, а именно: двух братьев, холостого и вдовца с тремя детьми. Далее он рассказал мистеру Панксу все, что мог узнать о возрасте каждого члена семьи и о настоящем положении Отца Маршалси. Все это мистер Панкс выслушал с величайшим вниманием и интересом, пыхтя и фыркая все громогласнее и громогласнее и, по-видимому, находя особенное удовольствие в наиболее печальных подробностях рассказа. Сообщение же о долговременном заключении Доррита привело его прямо в восторг.

— В заключение, мистер Панкс, — сказал Артур, — я могу прибавить только одно. У меня есть причины независимо от всяких личных соображений, говорить как можно меньше о семействе Доррит, особенно в доме моей матери, — мистер Панкс кивнул, — и разузнавать о нем как можно больше. Такой до мозга костей деловой человек,

как вы…

Мистер Панкс неожиданно фыркнул с необычайной энергией.

— Что с вами?

— Ничего, — сказал Панкс.

— Такой до мозга костей деловой человек, как вы, вполне понимает, что такое честный договор. Я хочу заключить с вами честный договор: просить вас сообщать мне все, что удастся узнать о семействе Доррит, так же как я сообщил вам все, что известно мне. Конечно, вы будете не особенно лестного мнения о моих деловых способностях, видя, что я не поставил этих условий раньше, но я предпочитаю сделать из этого вопрос чести. Я видел столько дел, основанных на принципе выгоды, что, сказать вам правду, мистер Панкс, немного устал от них.

Панкс засмеялся.

— Договор заключен, сэр, — сказал он. — Я исполню его в точности!

После этого он постоял немного, глядя на Кленнэма и обгрызая все десять ногтей разом: очевидно, обдумывал свои слова и старался запечатлеть их в собственной памяти.

— Отлично, — сказал он наконец, — и позвольте проститься с вами, так как сегодня день уплаты

за квартиры в подворье. Кстати, изувеченный иностранец с костылем.

— А, а! Вы, я вижу, допускаете иногда поручителей.

— Когда они могут уплатить сэр, — возразил Панкс. — Берите все, что можете взять, и не выпускайте из рук того, чего из вас не могут извлечь. Вот вся суть дела. Изувеченный иностранец с костылем желает занять комнату на чердаке в подворье. Подходящий он человек?

— Я за него ручаюсь, — ответил Кленнэм.

— Этого достаточно, — сказал Панкс, делая отметку в своей записной книжке. — Мои отношения к подворью «Разбитые сердца» очень просты. Я должен исполнить свое обязательство. «Платите или отвечайте вашей собственностью!» — вот девиз подворья. Изувеченный иностранец с костылем уверяет, будто вы прислали его сюда, но он мог бы точно так же уверять, будто его прислал Великий Могол [43]. Кажется, он был в госпитале?

— Да, вследствие несчастного случая. Он только что выписался.

---

[43] Сноски: 43

Представитель династии правителей в так называемой Могольской империи в 1526–1858 гг. (Индия); в 1858 г. упразднена, и Индия перешла под прямое управление английской короны.

— Меня уверяли, сэр, будто помещать человека в госпиталь — значит доводить его до нищенской сумы, — сказал Панкс и снова произвел свой замечательный звук.

— Меня тоже уверяли, — холодно ответил Кленнэм.

Мистер Панкс, приготовившийся тем временем к отплытию, моментально развел пары и, не теряя времени на церемонии, пропыхтел вниз по лестнице и очутился в подворье «Разбитые сердца» с такой быстротой, что, казалось, не успел еще выйти из комнаты, как уже пропал из виду.

В течение остальной части дня подворье «Разбитые сердца» находилось в смятении и ужасе. Свирепый Панкс крейсировал по всем направлениям, набрасываясь на жильцов, требуя уплаты, угрожая исполнительными листами, изгоняя неплательщиков, распространяя страх и ужас. Толпы народа, повинуясь какому-то роковому влечению, подкрадывались к дому, где он, по слухам, находился, ловили обрывки его разговоров с жильцами и часто, услыхав, что он сходит по лестнице, не успевали разбежаться, так что он ловил их на месте, требовал плату и пригвождал к месту в ужасе и смятении. В течение всей остальной части дня по всему подворью только

и раздавалось: «Да что это значит? Да что вы выдумали?» — мистера Панкса. Мистер Панкс слышать не хотел об извинениях, слышать не хотел об отговорках, слышать не хотел об отсрочках, требовал деньги на стол без всяких разговоров. Пыхтя, отдуваясь, кидаясь во все стороны, он взвихрил и, наконец, совершенно замутил тихие воды подворья. Спустя два часа после того как он исчез на горизонте, поднявшись на вершину лестницы, они все еще волновались.

В этот вечер группы жильцов подворья «Разбитые сердца», собиравшиеся в излюбленных уголках, единодушно решили, что мистер Панкс — человек черствый и поладить с ним трудно.

— Весьма прискорбно, — говорили они, — что джентльмен, подобный мистеру Кесби, уступил ему ренту с подворья, очевидно не зная, что это за птица, потому что если бы джентльмен с такими волосами и глазами получал свою ренту в свои собственные руки, сударыня, то уж, конечно, не было бы такого беспокойства и сквалыжничества, и все бы пошло иначе.

В тот же вечер, в тот же час и в ту же минуту патриарх, который незадолго до начала суматохи проследовал по подворью, сияя благодушием и стараясь возбудить доверие к своей блестящей

лысине и шелковым кудрям, в тот же час и в ту же минуту, когда высказывались вышеприведенные мнения, этот перворазрядный тысячепушечный жулик грузно колыхался в маленьком доке своего истомленного усталостью буксира и говорил, поигрывая большими пальцами:

— Очень плохой день, Панкс, очень плохой день. Мне кажется, сэр, — и я должен настойчиво указать вам на это, — что вы должны были принести гораздо больше денег, гораздо больше денег.

Глава XXIV. Предсказание судьбы

В тот же вечер мистер Плорниш явился с визитом к Крошке Доррит и дал понять, что ему нужно переговорить с ней по секрету. Его покашливания и намеки были так выразительны, что их не заметил отец ее, который мог бы служить живой иллюстрацией поговорки: «Самые слепые люди те, что не хотят видеть». Они переговорили на лестнице, за дверью.

— К нам сегодня заходила леди, мисс Доррит, — промычал Плорниш, — а с ней другая, как есть старая колдунья. Кажется, вот-вот голову оторвет человеку!

Кроткий Плорниш, очевидно, находился под впечатлением, произведенным на него теткой мистера Финчинга, и не мог от него отделаться.

— Потому что, — прибавил он в виде извинения, — эта дама просто уксус, ей-богу!

Наконец с большим усилием он оставил эту тему и сообщил:

— Тут, впрочем, она ни при чем. Другая леди — дочь мистера Кесби, а если мистер Кесби не богатеет, то не по вине Панкса. Панкс — тот действует, по-настоящему действует, лихо дей-

ствует.

Мистер Плорниш по обыкновению выражался убедительно, но неясно.

— А пришла она вот с чем: сказать, что если мисс Доррит пожелает отправиться по этому адресу — здесь показано, где дом мистера Кесби, и у Панкса там контора, и в ней он действует, ух как действует, — то она рада будет доставить ей работу. Она старинный и преданный друг — так она сама сказала — мистера Кленнэма и надеется, что будет полезным другом его другу. Это все ее слова. Она хотела бы знать, может ли мисс Доррит прийти завтра утром, а я сказал, что повидаюсь с вами, мисс, и спрошу, и зайду к ней сегодня же скажу, будете ли вы завтра, или, если вам завтра нельзя, то когда будете.

— Я могу зайти завтра, благодарствуйте, — сказала Крошка Доррит. — Это очень любезно с вашей стороны, вы всегда так любезны.

Мистер Плорниш, скромно отрицая свои заслуги, отворил дверь перед Крошкой Доррит и последовал за ней, так явно подчеркивая всей своей фигурой, будто он и не думал оставлять комнату, что отец мог бы заметить это, если бы даже ничего не подозревал. Как бы то ни было, он в своем блаженном неведении ничего не заметил.

После непродолжительного разговора Плорниш откланялся и ушел, обойдя предварительно тюрьму и заглянув в кегельбан со сложным чувством бывшего жильца, у которого есть особенные причины думать, что ему придется, чего доброго, снова занять здесь квартиру.

Рано утром Крошка Доррит, оставив Мэгги в качестве домоправительницы, отправилась в шатер патриарха. Она пошла через Железный мост, хотя за это удовольствие пришлось заплатить пенни, и на мосту несколько замедлила шаги. Было без пяти минут восемь, когда она взялась за молоток, находившийся как раз на такой высоте, до которой она могла достать рукой.

Она подала карточку миссис Финчинг молодой женщине, отворившей дверь, и та объявила, что «мисс Флора» (вернувшись под родительскую кровлю, Флора приняла свое прежнее наименование) еще не выходила из спальни, но пригласила ее войти в приемную мисс Флоры. Она вошла в приемную мисс Флоры и увидела там стол, накрытый для завтрака на два прибора; третий стоял на подносе. Молодая женщина исчезла на минуту, затем вернулась и предложила ей снять шляпку, расположиться у камина и быть как дома. Но Крошка Доррит, застенчивая и не

привыкшая быть как дома при подобных обстоятельствах, не знала, как это сделать, и когда полчаса спустя Флора влетела в комнату, она все еще сидела у двери в шляпке.

Флора так сожалела, что заставила ее дожидаться. И — боже мой! — зачем же она сидит у двери, вместо того чтобы греться у камина и читать газеты, неужели эта нелепая девушка не передала ее просьбы, и как это она все время сидит в шляпке, ради бога, позвольте Флоре ее снять. Исполнив это добродушнейшим образом, Флора была так поражена лицом, оказавшимся под шляпкой, что нежно погладила его руками и воскликнула:

— Ах какая милая Крошка!

Все это произошло в одно мгновение. Крошка Доррит не успела еще оценить любезность Флоры, как та ринулась к столу, засуетилась и затараторила:

— Ужасно жалею, что я так поздно встала именно сегодня, мне так хотелось вас встретить и сказать вам, что всякий, кто интересует Артура Кленнэма, интересует меня и что я ужасно вам рада, а вместо того меня не разбудили, и вот я проспала, и не знаю, любите ли вы холодную дичь и вареную ветчину, так как ее многие не любят.

Крошка Доррит поблагодарила и робко заметила, что она обыкновенно ничего, кроме чая и хлеба с маслом…

— О, пустяки, милое дитя, и слышать не хочу об этом, — перебила Флора, хватаясь за чайник и зажмурившись, когда пар от кипящей воды обжег ей лицо, — я считаю вас своей гостьей и другом, если вы позволите мне эту вольность, и я стыдилась бы относиться к вам иначе, тем более что Артур Кленнэм отзывался о вас в таких выражениях… Вы устали, милочка?

— Нет, сударыня.

— Как вы побледнели, это оттого, что вы так много прошли до завтрака, вы, верно, далеко живете, следовало бы приехать… что бы такого вам дать, дорогая?

— Нет, я совершенно здорова, сударыня. Благодарю вас, но я совершенно здорова.

— Пейте же чай, пожалуйста, — сказала Флора, — и вот возьмите крылышко и кусочек ветчины и, пожалуйста, не дожидайтесь меня, потому что я всегда отношу этот поднос тетке мистера Финчинга, которая завтракает в постели… прелестная старушка и очень умная… портрет мистера Финчинга за дверью очень похож, хотя лоб слишком велик, а мраморных колонн и балю-

страды и гор никогда не было, и они не относятся к винной торговле… превосходный человек, но совсем в другом роде.

Крошка Доррит взглянула на портрет, с трудом улавливая смысл комментариев Флоры.

— Мистер Финчинг был такой преданный муж, что решительно не мог расставаться со мной, — продолжала Флора, — хотя, конечно, я не могу сказать, долго ли бы это тянулось, потому что он умер вскоре после свадьбы; прекрасный человек, но не романтический, проза, а не поэзия.

Крошка Доррит снова взглянула на портрет. Художник изобразил его с таким лбом, до которого, с точки зрения умственных способностей, было бы далеко самому Шекспиру.

— Поэзия… — продолжала Флора, хлопотливо собирая завтрак для тетки мистера Финчинга. — Как я откровенно сказала мистеру Финчингу, когда он делал предложение; вы не поверите, он делал его семь раз — раз в карете, раз на лодке, раз в церкви, раз на осле в Танбридж-Уэллсе, а остальные на коленях… поэзия улетела с молодыми годами Артура Кленнэма, наши родители разлучили нас, и мы окаменели, и воцарилась суровая проза, мистер Финчинг сказал, что он знает об этом и даже предпочитает такое положение

вещей, и слово было сказано, и жребий брошен, что делать, милочка, такова жизнь, она не ломает нас, а сгибает. Пожалуйста, кушайте на здоровье, пока я отнесу поднос.

Она исчезла, предоставив Крошке Доррит обдумывать ее бессвязные речи. Вскоре она вернулась и наконец сама принялась за завтрак, не переставая говорить.

— Видите ли, милочка, — сказала Флора, вливая себе в чай ложки две какой-то темной жидкости с запахом спирта, — я должна исполнять предписания моего врача, хотя запах вовсе не приятный, но я никогда не могла оправиться после удара, полученного в молодости, когда я так плакала в той комнате вследствие разлуки с Кленнэмом. Вы давно его знаете?

Поняв, что этот вопрос обращен к ней — для чего потребовалось время, так как она не поспевала за быстрым полетом мыслей своей новой покровительницы, — Крошка Доррит ответила, что знает Кленнэма со времени его возвращения в Англию.

— Конечно, вы не могли знать его раньше, если только не жили в Китае или не вели с ним переписки; то и другое, впрочем, кажется мне невероятным, — ответила Флора, — так как путе-

шественники обыкновенно приобретают такой вид, словно они сделаны из красного дерева, а вы вовсе не такая... Переписываться? О чем же, разве о чае? Так вы познакомились с ним у его матери? Очень умная и твердая женщина, но ужасно суровая: ей следовало бы быть матерью Железной Маски [44].

— Миссис Кленнэм была очень любезна со мной, — сказала Крошка Доррит.

— В самом деле? Конечно, я рада слышать об этом, так как она мать Артура и мне приятно иметь о ней лучшее мнение, чем я имела раньше, хотя я не могу представить себе, что она думает обо мне, когда я бываю у нее, и она сидит и сверкает на меня глазами, точно сама Судьба в больничном кресле. (Нелепое сравнение, конечно: больная женщина, чем же она виновата?)

— Где же моя работа, сударыня? — спросила Крошка Доррит, робко осматриваясь. — Можно мне приняться за нее?

— О трудолюбивая маленькая фея, — возразила Флора, вливая в другую чашку чая новую порцию

---

[44] Сноски: 44

Прозвище узника, заточенного в 1698 г. в парижскую тюрьму Бастилию и умершего там в 1703 г. Его лицо всегда закрывала железная маска, имя его осталось неизвестным. А. С. Пушкин упоминает о нем в статье «Железная Маска».

снадобья, предписанного врачом, — торопиться совершенно нет надобности, лучше познакомимся поближе и потолкуем о нашем взаимном друге… слишком холодное выражение для меня, а впрочем, вполне приличное выражение, наш взаимный друг, чем терзать себя различными формальностями и напоминать того спартанского мальчика, которого грызла лисица [45]; вы, надеюсь, извините, что я упоминаю о нем, потому что из всех несносных мальчишек, которые вечно лезут и всем надоедают, этот мальчик самый несносный.

Крошка Доррит, очень бледная, снова уселась слушать и спросила:

— Нельзя ли мне все-таки приняться за работу? Я могу работать и слушать — если можно.

Она так очевидно томилась без работы, что Флора достала ей корзинку с носовыми платками и сказала:

— Ну, как хотите, милочка.

Крошка Доррит радостно поставила ее подле себя, достала из кармана рабочий мешочек, вдела нитку в иглу и принялась подрубать платки.

---

[45] Сноски: 45

Герой греческой легенды о мальчике, который украл лисицу и спрятал ее под свою одежду; несмотря на то что лисица грызла его внутренности, он не издал ни одного стона и не признался в своем поступке.

— Какие у вас проворные пальцы, — заметила Флора, — но вы действительно совсем здоровы?

— О да, правда!

Флора поставила ноги на каминную решетку и начала самое романтическое повествование. Она содрогалась в подходящих местах, трясла головой, вздыхала необыкновенно выразительно, поводила бровями и время от времени (впрочем, не особенно часто) поглядывала на спокойное лицо, наклонившееся над работой.

— Вы должны знать, милочка, — говорила Флора, — да вы, наверно, уже знаете — не только потому, что я уже высказала, но и потому, что на моем лице, как это говорится, выжжено огненными буквами, — что до знакомства с мистером Финчингом я была невестой Артура Кленнэма (мистер Кленнэм — в обществе, где необходимо соблюдение приличий, а здесь — просто Артур), мы были всем друг для друга, это было утро жизни, это было блаженство, это был безумный восторг, это было все, что угодно, в этом роде в высшей степени, но разлука превратила нас в камень, и в таком виде Артур отправился в Китай, а я сделалась окаменелой невестой покойного мистера Финчинга.

Флора произнесла эти слова гробовым голосом,

но с истинным наслаждением.

— Не пытаюсь изобразить, — продолжала Флора, — волнение того утра, когда все было камень внутри и тетка мистера Финчинга следовала за нами в наемной карете, которая, очевидно, нуждалась в ремонте, иначе никогда бы не сломалась за две улицы до дома, так что тетку мистера Финчинга пришлось нести в плетеном кресле; достаточно сказать, что мрачное подобие завтрака было сервировано в нижней столовой, а папа объелся маринованной лососиной до того, что был болен несколько недель, а мистер Финчинг и я предприняли свадебную поездку в Кале, где толпа на пристани совсем затискала нас и даже разлучила, хотя не навеки, что случилось позднее.

Окаменелая невеста наскоро перевела дух и продолжила свой бессвязный рассказ:

— Наброшу покров на эту тусклую жизнь; мистер Финчинг был в хорошем настроении духа, у него был отличный аппетит, он был доволен кухней, находил вина слабыми, но вкусными, и все шло хорошо; мы вернулись, поселились по соседству с номером тридцатым на Гослинг-стрит у Лондонских доков, и прежде чем мы успели уличить горничную в продаже перьев из запас-

ной перины, мистер Финчинг воспарил в иной мир на крыльях подагры.

Неутешная вдова взглянула на портрет, покачала головой и отерла слезы:

— Я чту память мистера Финчинга как почтенного человека и самого снисходительного из супругов. Стоило мне только вспомнить о спарже, и она моментально появлялась, или только намекнуть на какое-нибудь тонкое вино, и оно появлялось как по мановению волшебного жезла, это было не блаженство, нет, это было блаженное спокойствие. А потом я вернулась к папе, и жила если не счастливой, то спокойной жизнью, как вдруг однажды папа приходит ко мне и говорит, что Артур Кленнэм дожидается внизу; я бросилась вниз — и не спрашивайте, каким я его нашла, только убедилась, что он не женился и не изменился!

Мрачная тайна, в которую облеклась Флора при этих словах, остановила бы всякие пальцы, кроме проворных пальчиков, работавших над платками. Они двигались без перерыва, и внимательное личико, наклонившееся над ними, следило за шитьем.

— Не спрашивайте, — продолжила Флора, — люблю ли я его и любит ли он меня, и чем это

кончится, и когда за нами следят зоркие глаза, и, может быть, нам придется исчахнуть в разлуке, может быть, не суждено соединиться… ни слова, ни звука, ни взгляда: они могут выдать нас! Нужно быть немым как могила, не удивляйтесь же, если я буду казаться иногда холодной или Артур покажется холодным, есть роковые причины для этого. Довольно, молчание!

Все это Флора высказала с таким страстным неистовством, точно сама верила своим словам. Впрочем, она и действительно верила всему, что напускала на себя.

— Молчание! — повторила Флора. — Теперь я сказала вам все, я доверилась вам. Молчание ради Артура, а я всегда буду вашим другом, милое дитя, и именем Артура прошу вас положиться на меня.

Проворные пальчики отложили работу, и маленькая фигурка поднялась и поцеловала ей руку.

— Как вы похолодели, — сказала Флора, возвращаясь к своей обычной добродушной манере и сильно выигрывая от этого. — Не работайте сегодня, я уверена, что вы нездоровы, я уверена, что вы слишком слабы.

— Я только немножко взволнована вашей

добротой и добротой мистера Кленнэма, рекомендовавшего меня той, которую он знал и любил так долго.

— Право, милочка, — сказала Флора, имевшая решительную склонность быть правдивой, когда успевала обдумать свои слова, — пока оставим этот вопрос, и лучше вам отдохнуть немножко.

— У меня всегда было довольно силы, чтобы работать, и я сейчас справлюсь, — возразила Крошка Доррит со слабой улыбкой. — Я только взволнована вашим участием, вот и все. Если бы мне посидеть минутку у окна, я бы сейчас же почувствовала себя лучше.

Флора отворила окно, усадив подле него Крошку Доррит, и благоразумно удалилась на свое прежнее место. День был ветреный, и лицо Крошки Доррит скоро оживилось под влиянием свежего воздуха. Через несколько минут она вернулась к своей корзинке, и ее проворные пальцы забегали так же проворно, как всегда.

Спокойно продолжая свою работу, она спросила у Флоры, сообщил ли ей мистер Кленнэм, где она живет. Получив отрицательный ответ, она сказала, что понимает его деликатность, но чувствует, что он одобрит ее, если она расскажет свою тайну Флоре, и поэтому просит позволения

рассказать. Получив позволение, она рассказала в немногих словах историю своей жизни, едва упоминая о себе, распространившись в горячих похвалах отцу, и Флора отнеслась ко всему с участием и нежностью, в которых не было ничего напускного и бессвязного. Когда наступил час обеда, Флора взяла под руку свою новую подругу, повела вниз и представила отцу и мистеру Панксу, которые уже сидели в столовой, (тетка мистера Финчинга обедала на этот раз в своей комнате.) Эти джентльмены встретили ее соответственно своим характерам. Патриарх с благочестивым видом, как будто оказывал неоценимую услугу, заметил, что он рад ее видеть, а мистер Панкс фыркнул в знак приветствия.

В присутствии этих новых лиц она во всяком случае чувствовала себя неловко, тем более что Флора заставила ее съесть лучшие блюда и выпить стакан вина, но ее смущение еще усилилось по милости мистера Панкса. Сначала поведение этого господина внушило ей мысль, не художник ли он, набрасывающий эскизы для картины: так пристально смотрел он на нее и так часто заглядывал в свою записную книжку, но так как он не делал эскиза и толковал исключительно о делах, у нее мелькнуло подозрение, что это один

из кредиторов ее отца и в книжке у него записан долг. Его пыхтение выражало негодование и нетерпение, а громкое фырканье казалось требованием уплаты.

Но тут опять ее сбило с толку загадочное и нелепое поведение мистера Панкса. Она сидела одна за работой после обеда. Флора ушла полежать в соседнюю комнату, откуда немедленно распространился запах чего-то спиртного. Патриарх дремал в столовой, разинув свой филантропический рот и прикрыв его желтым носовым платком. В эту минуту затишья мистер Панкс появился перед ней, дружелюбно кивая.

— Скучновато, мисс Доррит? — спросил он вполголоса.

— Нет, благодарю вас, сэр, — ответила Крошка Доррит.

— За работой, как я вижу, — продолжил Панкс, пробираясь шаг за шагом в комнату. — Это что же такое, мисс Доррит?

— Носовые платки.

— В самом деле? — заметил Панкс. — Я и не знал. — И, не глядя на платки, но не спуская глаз с Крошки Доррит, прибавил: — Может быть, вам любопытно знать, кто я такой. Хотите — скажу? Я предсказатель судьбы.

Крошка Доррит теперь начала думать, что это помешанный.

— Я душой и телом принадлежу моему хозяину, — сказал Панкс, — вы видели моего хозяина за обедом. Но иногда я занимаюсь и другими делишками, частным образом, совершенно частным образом, мисс Доррит.

Крошка Доррит смотрела на него не без тревоги.

— Покажите-ка мне вашу ладонь, — продолжал Панкс, — мне хочется взглянуть на нее.

Она отложила на минутку работу и протянула ему руку с наперстком.

— Трудовая жизнь, э! — сказал Панкс ласково, дотронувшись до ее ладони своим коротким толстым пальцем. — Но для чего же мы и созданы? Ни для чего другого. Ага! — Он сделал вид, что рассматривает линии руки. — Что это за здание с решетками? Это общежитие. А кто это в сером халате и черной бархатной шапочке? Это отец. А кто это с кларнетом? Это дядя. А это кто в балетных туфельках? Это сестра. А это что за шалопай? Это брат. А кто заботится и думает о всех о них? Ага! Это вы, мисс Доррит.

Она вопросительно посмотрела на него и, встретившись взглядом с его глазами, подумала,

что они смотрят гораздо добрее и ласковее, чем ей показалось за обедом. Но он тотчас же устремил их взор на ее ладонь, так что она не могла проверить свое впечатление.

— Теперь вот в чем вопрос, — продолжил Панкс, проводя своим неуклюжим пальцем по ее руке, — не я ли здесь притаился в уголке? Чего мне тут надо? Что за мной скрывается?

Он медленно довел палец до запястья, обвел им вокруг руки и повернул ее, как будто хотел посмотреть, что скрывается за ней.

— Что-нибудь неприятное? — спросила Крошка Доррит с улыбкой.

— Постойте, постойте, — сказал Панкс. — Как вы думаете — что?

— Об этом нужно у вас спросить. Я не умею предсказывать судьбу.

— Верно, — сказал Панкс. — Что же это такое? Вы узнаете об этом, мисс Доррит.

Тихонько выпустив руку, он провел пальцем по своим жестким волосам, отчего они поднялись дыбом, и медленно повторил:

— Запомните мои слова, мисс Доррит. Вы узнаете об этом.

Она не могла выразить своего удивления хотя бы по поводу того, что он знает о ней так много.

— Ага, вот оно что! — сказал Панкс, указывая на нее пальцем. — Мисс Доррит, не делайте этого никогда!

Она еще более удивилась, даже испугалась, и взглянула на него, ожидая объяснений.

— Не делайте этого, — повторил Панкс, с серьезным видом передразнивая ее удивленный взгляд и жесты. — Не делайте этого никогда, где бы и когда бы вы меня ни встретили. Я ничто. Не думайте обо мне. Не обращайте на меня внимания. Не замечайте меня. Согласны, мисс Доррит?

— Я не знаю, что и сказать, — ответила Крошка Доррит, совершенно ошеломленная. — Почему же?

— Потому что я предсказатель судьбы, цыган Панкс. Я еще не много сказал вам о вашей судьбе, мисс Доррит: не сказал, что скрывается за мной на этой ручке. Я сказал, что вы узнаете об этом. Решено, мисс Доррит?

— Решено, что я… не буду…

— Обращать на меня внимания, пока я не подойду к вам первый, не будете замечать меня. Это нетрудно. Я неинтересен, некрасив, плохой собеседник, я только орудие моего хозяина. Вы только скажите себе, когда меня увидите: «А, цыган Панкс, он предсказывает судьбу; когда-ни-

будь он доскажет мне остальное, я узнаю все». Решено, мисс Доррит?

— Да-а, — протянула Крошка Доррит, смущенная его словами.

— Ладно! — Мистер Панкс взглянул на стену соседней комнаты и сделал шаг вперед.

— Честное создание, превосходная женщина во многих отношениях, но бестолковая и язык без костей, мисс Доррит.

Сказав это, он потер себе руки, как будто был очень доволен результатами разговора, и, учтиво кивая, скрылся за дверью.

Смущение Крошки Доррит, вызванное странным поведением ее нового знакомого и содержанием разговора, ничуть не уменьшилось в последующие дни. Не только в доме мистера Кесби Панкс подмигивал ей и значительно фыркал при каждом удобном случае, но начал попадаться ей на каждом шагу. Она постоянно встречала его на улице. Всякий раз, как она являлась к Кесби, он оказывался там. Не прошло и недели, как она с удивлением встретила его однажды вечером в сторожке, где он дружески беседовал с тюремщиком. Не меньшим сюрпризом для нее было убедиться, что он сделался своим человеком в тюрьме, побывав у ее отца на воскресном приеме,

и, как уверяла молва, блистательно отличился на собрании в зале, обратившись к членам общежития с речью, пропев застольную песню и поставив компании пять галлонов [46] пива, — молва даже прибавляла к ним целый бушель [47] креветок, но это, конечно, было преувеличением. Действие этих происшествий на мистера Плорниша, который был их очевидцем, могло только усилить впечатление, произведенное на Крошку Доррит самими происшествиями: они ошеломили и оглушили его. Он мог только таращить глаза и по временам бормотал слабым голосом, что подворье «Разбитые сердца» не поверило бы, что это Панкс, но к этому он не прибавлял ни слова и не пускался ни в какие комментарии, даже говоря с Крошкой Доррит. Мистер Панкс увенчал все свои таинственные поступки тем, что познакомился с Типом и однажды в воскресенье явился в общежитие под ручку с этим джентльменом. При этом он не обращал ни малейшего внимания на Крошку Доррит и только раз или два, когда никого не было поблизости, кинул ей мимоходом

---

[46] Сноски: 46

Около 22,5 л; галлон — единица объема в системе английских мер, равная 4,5 дм.

[47] Сноски: 47

Около 36 кг.

слова, сопровождавшиеся ласковым взглядом и дружелюбным фырканьем: «Цыган Панкс, предсказатель судьбы».

Крошка Доррит работала и боролась с жизнью, по-прежнему удивляясь всему этому, но скрывая удивление в своем сердце, так как с ранних лет привыкла скрывать и более тяжелые чувства. Перемена прокралась, однако, и в ее терпеливое сердце. Она с каждым днем становилась застенчивее. Выходить из тюрьмы и возвращаться никем не замеченной, оставаться везде и всюду неприметной и забытой сделалось ее главным желанием. Равным образом она всегда стремилась при первой возможности уединиться в своей комнате, совершенно неподходящей для ее нежной юности и характера. Случалось, под вечер к ее отцу заглядывали посетители перекинуться в картишки: тогда ее услуг не требовалось, и ей можно было уйти. Она проскальзывала на двор, поднималась в свою комнату и садилась у окна. Какие разнообразные очертания принимали зубцы тюремной ограды, какими воздушными узорами сплеталось железо, какими золотыми искрами светилась ржавчина, пока она сидела так и думала. Новые острые беспощадные зубцы чудились ей среди старых, на которые она

смотрела сквозь слезы. Но в розовом ли, черном ли свете видела она перед собой решетку, она любила смотреть на нее, сидя в одиночестве, и на все, что рисовалось ее воображению, падала эта неизгладимая тень.

Комнатой Крошки Доррит был чердак, настоящий чердак, да еще чердак Маршалси. Безобразие ее комнаты не скрывалось ничем, кроме опрятности, так как всякое украшение, которое Крошке Доррит случалось купить, отправлялось в комнату отца. Тем не менее ее пристрастие к этой жалкой комнате постоянно усиливалось, и сидеть в ней одной стало ее любимым отдыхом до такой степени, что однажды под вечер, в период таинственных поступков Панкса, она просто испугалась, услышав знакомые шаги Мэгги на лестнице. Убедившись, что шаги приближаются, она вздрогнула и смутилась до того, что почти не могла говорить, когда Мэгги наконец вошла в комнату.

— Пожалуйте, маленькая мама, — сказала Мэгги, переводя дух, — сойдите вниз, повидайтесь с ним. Он там.

— Кто, Мэгги?

— Кто? Конечно, мистер Кленнэм. Он у вашего отца и говорит мне: «Мэгги, будь добра, сходи и

скажи ей, что это только я».

— Я не совсем здорова, Мэгги. Я лучше не пойду. Я хочу лечь спать. Смотри, я уже ложусь! Пожалуйста, скажи, что я уже легла, а то бы пришла.

— А ведь это неучтиво, маленькая мама, — сказала изумленная Мэгги, — так отворачиваться от меня совсем неучтиво! — Мэгги была очень чувствительна к мелким личным обидам и очень изобретательна в этом отношении. — И еще закрывать лицо обеими руками. Если вам противно смотреть на бедную девочку, так лучше прямо сказать ей это, а не отворачиваться от нее, и не оскорблять ее чувства, и не разбивать сердца бедной десятилетней крошки!

— Это чтоб облегчить головную боль, Мэгги.

— Да, и если вы плачете тоже для того, чтобы облегчить головную боль, маленькая мама, так и я буду плакать. Вы хотите, чтобы все слезы достались вам, а это просто жадность, — пожаловалась Мэгги и немедленно принялась хныкать.

Не без труда удалось Крошке Доррит уговорить ее вернуться к гостю с извинением; только обещание рассказать сказку — давнишнее и любимое удовольствие Мэгги — с условием, что она сосредоточит все свои умственные способности на поручении и оставит свою маленькую хозяйку

на часок в покое, подействовали наконец. Она ушла, бормоча себе под нос свое поручение, и вернулась в назначенное время.

— Он очень огорчился, — объявила она, — и хотел послать за доктором. И он придет завтра утром, и, я думаю, будет плохо спать в эту ночь из-за вашей головы, маленькая мама. О господи, вы плакали!

— Да, кажется, немножко, Мэгги.

— Немножко, о!

— Но теперь все прошло, все прошло, Мэгги. И голова не так болит, и мне гораздо лучше. Я очень рада, что не пошла.

Ее придурковатое большое дитя нежно обняло ее, погладило волосы, намочило лоб и глаза холодной водой (операция, которую неуклюжие руки Мэгги исполняли очень ловко), снова приласкалось к ней, порадовалось ее выздоровлению и усадило на стуле подле окна. Затем Мэгги с судорожными усилиями, которых вовсе не требовалось, притащила поближе к стулу сундук, свое обычное сиденье при рассказывании сказок, обняла свои колени и сказала с выражением жадного любопытства, широко раскрыв глаза:

— Ну, маленькая мама, какую-нибудь хорошенькую?

— О чем же, Мэгги?

— О принцессе, — сказала Мэгги, — о настоящей принцессе, о самой настоящей!

Крошка Доррит подумала с минуту и с довольно грустной улыбкой на лице, порозовевшем в лучах заката, начала:

— Когда-то давно, Мэгги, жил-был прекрасный король, и было у него все, чего только ему хотелось, и даже гораздо больше. Было у него золото, серебро, алмазы и рубины и всякие, всякие богатства. Были у него дворцы и…

— Госпитали, — вставила Мэгги, продолжая обнимать свои колени. — Пусть у него будут госпитали: там так хорошо. Госпитали с целыми кучами цыплят.

— Да, у него было их много, и всего было много.

— Много печеного картофеля, — сказала Мэгги.

— Всего было много.

— Господи, — продолжала Мэгги, стискивая колени, — какой счастливец!

— У короля была дочь, самая умная и самая прекрасная из всех принцесс. Когда она была маленькой, то выучивала все свои уроки раньше, чем учителя успевали объяснить их, а когда выросла, то ей удивлялся весь свет. Подле двор-

ца принцессы стояла хижина, в которой жила бедная маленькая женщина, и жила она одна-одинешенька.

— Старуха, — сказала Мэгги, чмокнув губами.

— Нет, не старуха. Совсем молоденькая.

— Как же она не боялась? — заметила Мэгги. — Продолжайте, пожалуйста.

— Принцесса каждый день проезжала мимо хижины в своей великолепной карете и всякий раз видела крошечную женщину за прялкой и глядела на нее, а крошечная женщина глядела на принцессу. И вот однажды принцесса велела кучеру остановиться недалеко от хижины и вышла из кареты, и пошла, и постучалась в двери хижины, и по обыкновению застала крошечную женщину за веретеном. И она взглянула на принцессу, а принцесса взглянула на нее.

— Кто кого переглядит? — вставила Мэгги. — Пожалуйста, продолжайте, маленькая мама.

— Принцесса была такая удивительная принцесса, что умела отгадывать все тайны. Она спросила у крошечной женщины: «Зачем ты ее прячешь здесь?» Тогда крошечная женщина поняла, что принцесса знает, почему она живет одна-одинешенька со своей прялкой, и стала на колени перед принцессой и просила не выдавать

ее. Принцесса же отвечала: «Я никогда не выдам вас. Позвольте мне взглянуть на нее». Тогда крошечная женщина закрыла ставни, заперла дверь и, дрожа с головы до ног от страха, как бы кто не подглядел, открыла тайник и показала принцессе тень.

— Господи! — сказала Мэгги.

— Это была тень кого-то, кто ушел навсегда, кого-то, кто ушел далеко — с тем чтобы никогда, никогда не возвращаться. Она была прекрасна, и крошечная женщина гордилась ею как великим, великим сокровищем. Посмотрев на нее, принцесса сказала крошечной женщине: «Итак, вы стережете ее каждый день?» А она опустила глаза и ответила: «Да». Тогда принцесса сказала: «Растолкуйте мне почему». На это она ответила, что никого не встречала добрее и ласковее. Кроме того, прибавила она, от этого никому нет обиды или неприятности, и он ушел к тем, которые ожидали его…

— Значит, это был мужчина? — спросила Мэгги.

Крошка Доррит робко ответила:

— Да, кажется, — и продолжала: — Ушел к тем, которые ожидали его, так что эта тень, это воспоминание не отнято, не украдено ни у кого.

Принцесса отвечала: «А! Но когда вы умрете, ее найдут в хижине». Крошечная женщина возразила ей: «Нет, когда наступит это время, она ляжет со мной в могилу, и никто не найдет ее».

— Ну конечно! — сказала Мэгги. — Пожалуйста, продолжайте.

— Принцесса была очень удивлена, услышав это, как ты сама можешь представить себе, Мэгги.

— Понятно, она могла удивиться, — заметила Мэгги.

— И потому решилась понаблюдать за крошечной женщиной и посмотреть, чем это все кончится. Каждый день она проезжала мимо хижины в своей прекрасной карете и всякий раз видела крошечную женщину одну-одинешеньку за прялкой и смотрела на нее, и крошечная женщина смотрела на принцессу. Наконец однажды прялка остановилась, и крошечная женщина исчезла. Когда принцесса стала разузнавать, почему остановилась прялка и куда девалась крошечная женщина, ей отвечали, что прялка остановилась, так как некому было прясть на ней: крошечная женщина умерла.

— Ее следовало поместить в госпиталь, — заметила Мэгги, — тогда бы она осталась жива.

— Принцесса, поплакав немножко о крошечной женщине, вытерла глаза, вышла из кареты на том же месте, где выходила раньше, пошла к хижине и заглянула в дверь. Но ей не на кого было смотреть и на нее некому было смотреть в хижине, и вот она пошла отыскивать драгоценную тень. Но ее нигде не оказалось, и принцесса убедилась, что крошечная женщина сказала ей правду, и что тень никому не причинила вреда и улеглась вместе с ней в могилу на вечный покой… Это все, Мэгги.

Заходящее солнце так ярко озаряло лицо Крошки Доррит, что она заслонилась от него рукой.

— Она состарилась? — спросила Мэгги.

— Крошечная женщина?

— Ага!

— Не знаю, — ответила Крошка Доррит. — Но было бы совершенно то же самое, если бы даже она была совсем, совсем старой.

— Оживет ли она? — поинтересовалась Мэгги. — Я думаю, что оживет. — Сказав это, она задумалась, уставившись в пространство.

Она так долго сидела с широко раскрытыми глазами, что Крошка Доррит, желая оторвать ее от сундука, встала и выглянула в окно. На дворе она увидела Панкса, который подмигнул ей,

проходя мимо.

— Кто это, маленькая мама? — спросила Мэгги, которая тоже встала и прижалась к плечу Крошки Доррит. — Он часто приходит сюда.

— Я слышала, что его называют предсказателем судьбы, — ответила Крошка Доррит. — Но вряд ли он может угадать даже прошлую или настоящую судьбу человека.

— Могла принцесса предсказать свою судьбу? — спросила Мэгги.

Крошка Доррит, задумчиво глядя на темное ущелье тюрьмы, покачала головой.

— А крошечная женщина?

— Нет, — сказала Крошка Доррит, лицо которой так и вспыхнуло в лучах заката. — Но отойдем от окна.

Глава XXV. Заговорщики и другие люди

Частная резиденция мистера Панкса находилась в Пентонвиле, где он нанимал квартиру на втором этаже у одного ходатая по делам. У этого господина была контора вроде ловушки с дверью на пружинах, отворявшейся посредством особого механизма, и надпись на стекле полукруглого окна: «Рогг, ходатай по делам, счетовод, взыскивает долги».

Эта вывеска, величественная в своей суровой простоте, господствовала над крошечным палисадником, примыкавшим к большой дороге, на которую свешивались в безысходной тоске донельзя пыльные листья. На первом этаже помещался учитель чистописания, немало способствовавший украшению садика тем, что развешивал на изгороди, в рамках за стеклом, образчики почерка своих питомцев до начала учения и после шести уроков. Квартира мистера Панкса состояла из одной просторной комнаты; он заключил с мистером Роггом, своим хозяином, условие, в силу которого за известное вознагра-

дение пользовался правом делить с мистером и мисс Рогг (хозяйской дочкой) воскресный завтрак, обед, чай или ужин или все эти угощения по собственному усмотрению.

Мисс Рогг обладала небольшим состоянием, приобретенным, вместе с великим уважением всех соседей, благодаря жившему поблизости булочнику, мужчине средних лет, который безжалостно растерзал ее сердце и растоптал ее чувства и против которого она возбудила с помощью мистера Рогга иск о неисполненном обещании жениться. Булочник, присужденный к уплате вознаграждения в размере двадцати гиней, до сих пор продолжал подвергаться травле со стороны пентонвильских мальчишек. Зато мисс Рогг, огражденная святостью закона и выгодно поместившая присужденную ей сумму, пользовалась общим уважением.

В обществе мистера Рогга, у которого было круглое, белое, точно полинявшее лицо и косматая, с желтыми волосами голова, напоминавшая старое помело, и в обществе мисс Рогг, девицы с жидкими желтыми кудрями и мелкими крапинками вроде пуговиц по всему лицу, мистер Панкс обедал по воскресеньям и дважды в неделю по вечерам угощался голландским сыром и портером.

Мистер Панкс был одним из немногих мужчин, которым мисс Рогг не внушала ужаса. Он успокаивал себя двумя аргументами: во-первых, тем, что эту штуку нельзя проделать дважды, во-вторых, тем, что на него не позарятся. Защищенный этим двойным панцирем, он благодушно пофыркивал на мисс Рогг.

До сих пор мистер Панкс почти ничем, кроме сна, не занимался на своей пентонвильской квартире, теперь же, сделавшись предсказателем судьбы, он начал часто запираться до полуночи с мистером Роггом в его маленьком кабинете и даже после этого жечь свечи в своей спальне. Хотя его деятельность в интересах хозяина ничуть не уменьшилась и хотя эта деятельность напоминала ложе из роз разве только своими шипами, тем не менее он ретиво принялся за какие-то новые дела. Отцепившись вечером от патриарха, он принимал на буксир неведомый корабль и пускался в новые воды.

Знакомство с мистером Чивери-старшим, естественно, привело к знакомству с его любезной супругой и безутешным сыном. По крайней мере, мистер Панкс скоро познакомился с ними. Неделю или две спустя после своего появления в Маршалси он уже свил себе гнездышко в нед-

рах табачной лавки и постарался сблизиться с юным Джоном, в чем и преуспел настолько, что вскоре отвлек огорченного пастушка от рощи и завел с ним какие-то таинственные дела. В результате юный Джон стал исчезать из дому на два-три дня. Благоразумная миссис Чивери, крайне удивленная этой переменой, не преминула бы протестовать против этих исчезновений с точки зрения коммерческих интересов, олицетворявшихся фигурой шотландца на вывеске, но воздержалась по двум причинам: во-первых, Джон относился с живейшим интересом к делу, ради которого предпринимались эти поездки, а это она считала полезным для его здоровья; во-вторых, мистер Панкс в конфиденциальном разговоре предложил ей довольно щедрую плату за время, потраченное Джоном на его дело, именно семь шиллингов шесть пенсов за день. Предложение это было высказано Панксом в весьма разумной форме: «Если ваш сын, сударыня, стесняется брать плату за свой труд, то к чему же вам потакать его слабости. Дело есть дело, сударыня, а потому извольте получить, и пусть это останется между нами!»

Как относился к этому мистер Чивери и знал ли обо всем этом — осталось неизвестным. Как выше

замечено, он был человеком неразговорчивым, и профессия тюремщика привила ему привычку держать все на запоре. Он держал свои мысли под замком, как должников Маршалси. Если он открывал рот за обедом, то, кажется, лишь для того, чтобы поскорее отправить кушанье под замок; во всех же других случаях относился к своему рту как к дверям Маршалси, никогда не открывая его без надобности. Когда необходимо было что-нибудь выпустить из него, он приоткрывал его чуть-чуть, держал открытым ровно столько времени, сколько требовалось, и затем тотчас же закрывал. Мало того: как в тюрьме, когда нужно было выпустить какого-нибудь посетителя, а другой в это время подходил к воротам, он дожидался последнего и тогда уже повертывал ключ и выпускал обоих разом, так и в разговоре он часто воздерживался от замечания, если чувствовал, что наклевывается другое на ту же тему, чтобы выпустить оба разом. Искать же разгадку его внутреннего мира в выражении его лица было бы так же бесполезно, как спрашивать у ключа от ворот Маршалси о характерах и историях тех, кого он замыкал.

Не было еще случая, чтобы мистер Панкс пригласил кого-нибудь обедать к себе в Пентонвиль,

однако юного Джона пригласил и даже доставил ему случай испытать на себе опасные (по своей дороговизне) чары мисс Рогг.

Обед был назначен на воскресенье, и мисс Рогг собственными руками изготовила фаршированную баранью ногу с устрицами и отправила жариться к булочнику — не тому булочнику, а другому, напротив него. Были также припасены апельсины, яблоки и орехи для десерта. В субботу вечером мистер Панкс притащил домой рому, чтобы повеселить сердце гостя.

Но обед отличался не только изобилием телесной пищи. Характерную черту его составляла чисто семейная задушевность и простота. Когда юный Джон появился в половине второго без трости с набалдашником слоновой кости и без жилета с золотыми цветочками, ибо солнце было закрыто зловещими облаками, — мистер Панкс представил его желтоволосым Роггам в качестве молодого человека, влюбленного в мисс Доррит, о котором он часто упоминал.

— Радуюсь, — сказал мистер Рогг, напирая именно на это обстоятельство, — радуюсь высокой чести познакомиться с вами, сэр. Ваше чувство делает вам честь. Вы молоды, дай бог вам никогда не пережить ваших чувств! Если

б я пережил мои чувства, — продолжил мистер Рогг, человек разговорчивый и славившийся своим красноречием, — то завещал бы пятьдесят фунтов человеку, который отправил бы меня на тот свет.

Мисс Рогг тяжело вздохнула.

— Моя дочь, сэр, — сказал мистер Рогг. — Анастасия, тебе не чужды терзания этого молодого человека. Моя дочь тоже подверглась испытаниям, сэр, — мистер Рогг выразился бы правильнее, употребив это слово в единственном числе, — и может понять ваши чувства.

Юный Джон, почти ошеломленный этим трогательным приемом, всей своей фигурой выражал растерянность.

— Чему я завидую, сэр… — сказал мистер Рогг. — Позвольте вашу шляпу: у нас очень маленькая вешалка, и я положу ее в уголок, тут никто не тронет… Чему я завидую, так это именно вашим чувствам. Для людей нашей профессии это, по мнению некоторых, недоступная роскошь.

Юный Джон, поблагодарив за любезность, ответил, что желал бы поступить справедливо и доказать свою глубокую преданность мисс Доррит, и надеялся, что это ему удалось. Он не хотел быть эгоистом и надеялся, что не был им.

Он хотел оказать посильную услугу мисс Доррит с тем, чтобы самому остаться в тени, и надеялся, что преуспел в этом. Он мог сделать немногое, но надеялся, что сделал это немногое.

— Сэр, — сказал мистер Рогг, взяв его за руку, — с таким молодым человеком, как вы, полезно познакомиться всякому. Я бы охотно посадил на свидетельскую скамью такого молодого человека, как вы, в целях нравственного воздействия на лиц судебного звания. Надеюсь, что вы захватили с собой ваш аппетит и окажете честь нашим блюдам.

— Благодарствуйте, сэр, — возразил юный Джон, — теперь я вообще мало ем.

Мистер Рогг отвел его в сторонку и сказал:

— То же самое случилось с моей дочерью в то время, когда, явившись мстительницей за свои оскорбленные чувства и свой пол, она возбудила иск, предъявленный от ее имени Роггом и Хокинсом. Полагаю, я мог бы доказать, мистер Чивери, если б считал это нужным, что количество твердой пищи, принимаемой моей дочерью в тот период, не превосходило десяти унций [48] в неделю.

---

[48] Сноски: 48
Около 300 г; 1 унция = 28,35 г (весовая).

— Я, кажется, принимаю больше, сэр, — заметил юный Джон с некоторым смущением, как бы признаваясь в постыдном факте.

— Но в вашем случае нет врага в человеческом образе, — возразил мистер Рогг с убедительным жестом и улыбкой. — Заметьте, мистер Чивери, нет врага в человеческом образе!

— Конечно, нет, сэр, — ответил юный Джон простодушно. — Мне было бы очень прискорбно, если б был.

— Именно таких чувств, — сказал мистер Рогг, — я и ожидал от человека с вашими принципами. Моя дочь была бы глубоко взволнована, если б услышала нас. Я рад, что она не слышала. Баранина на столе. Мистер Панкс, не угодно ли вам занять место против меня? Милочка, садись против мистера Чивери. Будем (мы и мисс Доррит) благодарны за приемлемую пищу.

Если б не оттенок важной игривости в манерах мистера Рогга, можно было бы подумать, что Крошка Доррит ожидалась к обеду. Панкс ответил на приглашение своим обычным способом и принялся за угощение своим обычным манером. Мисс Рогг, быть может желая наверстать упущенное время, отнеслась к баранине весьма благосклонно, так что вскоре на блюде осталась

только кость. Пудинг исчез без остатка, значительное количество сыра и редиски испытало ту же участь. После этого явился десерт.

В то же время, еще до появления пунша, на сцену выступила записная книжка мистера Панкса. Последовавший деловой разговор был краток, но загадочен, и смахивал на заговор. Мистер Панкс тщательно просматривал книжку, делая выписки на отдельных листочках бумаги; мистер Рогг смотрел на него, не спуская глаз, блуждающий взор юного Джона терялся в тумане размышлений. Окончив свои выписки, мистер Панкс — по-видимому, глава заговорщиков — просмотрел их еще раз, исправил, спрятав записную книжку, и собрал листочки в виде колоды карт.

— Ну-с, кладбище в Бедфордшире, — сказал он. — Кто возьмет?

— Я возьму, сэр, — ответил мистер Рогг, — если никто не возражает.

Мистер Панкс протянул ему одну из карт и взглянул на колоду.

— Затем расследование дела в Йорке, — сказал он. — Кто возьмет?

— Я не гожусь для Йорка, — заметил мистер Рогг.

— Так не возьметесь ли вы, Джон Чивери? —

спросил Панкс.

Юный Джон согласился, Панкс вручил ему карту и снова взглянул на колоду.

— Церковь в Лондоне — это я могу взять на себя. Семейная Библия — тоже. Стало быть, на мою долю два дела, — повторил Панкс, пыхтя над своей колодой. — Тут еще дурхемский клерк для вас, Джон, и старый моряк в Дунстебле на мою долю, — не так ли? Да, на мою долю два. Вот еще надгробный памятник: три на мою долю. Мертворожденный младенец: четыре на мою долю. Ну, пока все.

Распорядившись таким манером со своими картами (все это он проделывал очень спокойно и говорил вполголоса), мистер Панкс пырнул в боковой карман и вытащил оттуда холщовый кошелек, а из кошелька достал деньги на путевые издержки и разложил их двумя стопками.

— Деньги так и плывут, — заметил он с беспокойством, вручая их своим собеседникам, — так и плывут.

— Я одно скажу, мистер Панкс, — сказал юный Джон. — Глубоко сожалею, что мои обстоятельства не позволяют мне ездить за свой счет, а в видах экономии времени нельзя предпринимать путешествия пешком, потому что я ничего бы так

не хотел, как ходить, пока не отнимутся ноги, без всякой платы или вознаграждения.

Бескорыстие молодого человека показалось мисс Рогг таким нелепым, что она должна была как можно скорее оставить комнату и сидела на лестнице, пока не нахохоталась досыта. Тем временем мистер Панкс, посмотрев не без сожаления на юного Джона, медленно и хладнокровно завязал свой холщовый кошелек, точно затягивал ему шею петлей. Хозяйка вернулась, когда он спрятал его в карман, соорудила пунш для гостей, не забыв при этом себя, и протянула каждому по стакану. Мистер Рогг встал и молча протянул свой стакан над столом, приглашая этим жестом остальных заговорщиков соединиться в общем чоканье. Церемония совершилась не без эффекта и была бы еще эффектнее, если б мисс Рогг, поднеся стакан к губам, не взглянула на юного Джона; тут ею снова овладел припадок веселости при воспоминании о его смехотворном бескорыстии, и пунш брызнул фонтаном на скатерть, а мисс Рогг убежала в смятении.

Таков был первый званый обед Панкса в Пентонвиле, и таков был деятельный и загадочный образ жизни Панкса. По-видимому, он забывал о делах и отвлекался от предмета своих забот лишь

в те минуты, когда заходил в подворье «Разбитые сердца» к изувеченному иностранцу с костылем.

Иностранец, заинтересовавший почему-то Панкса, по имени Жан Батист Кавалетто — в подворье его называли «мистер Батист» — был такой веселый, довольный, жизнерадостный малый, что, по всей вероятности, заинтересовал мистера Панкса именно в силу контраста. Одинокий, слабый, знакомый лишь с самыми необходимыми словами единственного языка, на котором он мог объясняться с окружающими, он отдавался судьбе с благодушным весельем, новым для этих мест. Мало ел, еще меньше пил; весь его гардероб заключался в том, что было на нем и что он принес с собой в крохотнейшем узелке, но это не мешало ему с сияющей физиономией — точно дела его находились в самом цветущем состоянии — ковылять по подворью в первый же день своего появления, смиренно стараясь заслужить расположение соседей своими белыми зубами.

Заслужить расположение «Разбитых сердец» было нелегкой задачей для иностранца, будь он болен или здоров. Во-первых, среди них господствовало смутное убеждение, что у каждого иностранца припрятан нож за пазухой; во-вто-

рых, они придерживались мнения, считавшегося здравой национальной аксиомой, что каждому иностранцу следовало бы вернуться на родину. Им и в голову не приходило справиться, какой массе их соотечественников пришлось бы убраться в Англию из разных частей света, если б этот принцип был признан повсеместно; они считали его практическим и специально британским принципом. В-третьих, они были убеждены, что иностранец не создан англичанином лишь в наказание за свои грехи, а страна его подвергается всевозможным бедствиям за то, что поступает не так, как Англия, или не поступает так, как Англия. В этой вере воспитали их Полипы и Пузыри, издавна проповедовавшие официально и неофициально, что страна, не покорившаяся этим двум великим семьям, не может рассчитывать на милость Провидения. А когда эти люди верили им, они втихомолку между собой смеялись над ними как над самыми невежественными людьми в мире.

Таковы были политические взгляды «Разбитых сердец», но и помимо этого они могли бы возразить многое против допущения иностранцев в подворье. Они считали всех иностранцев нищими, и хотя сами жили в такой нищете, хуже

которой и желать нельзя, это обстоятельство ничуть не уменьшало силы аргумента. Они считали всех иностранцев бунтовщиками, которых усмиряли штыками и пулями, и хотя им самим разбивали головы при первой попытке выразить неудовольствие, это делалось холодным оружием и потому не шло в счет. Они считали всех иностранцев безнравственными, и хотя сами нередко попадали под суд или разводились с женами, этому не придавалось значения. Они считали всех иностранцев рабами, не способными к свободе, потому что их, иностранцев, лорд Децимус Тит Полип никогда не водил целым стадом в избирательный участок, с развевающимися знаменами, под звуки «Правь, Британия!». Много было и других убеждений в том же роде, которых мы не станем перечислять, чтобы не надоесть читателю.

Против этих предвзятых мнений увечный иностранец с костылем боролся как умел — впрочем, не оставаясь вполне одиноким, так как Артур Кленнэм рекомендовал его Плорнишам (он жил в том же доме, на чердаке), — но все-таки не без приключений. Как бы то ни было, «Разбитые сердца» были, в сущности, добрыми сердцами. Убедившись, что неунывающий иностранец,

весело ковылявший по подворью, никому не делает вреда, не хватается за нож, не совершает гнусных и безнравственных поступков, питается преимущественно хлебом и молоком; увидев, как он возился с детьми мистера Плорниша, они решили, что хоть ему и не суждено сделаться англичанином, ставить бедняге в вину это несчастье нельзя. Они стали приспособляться к его уровню, величать его мистером Батистом, обращаться с ним как с младенцем и хохотать над его оживленной жестикуляцией и ломаным английским языком тем охотнее, что он не видел в этом обиды и сам хохотал вместе с ними. Разговаривая с ним, они кричали как можно громче, точно он был глухой, а для лучшего вразумления употребляли такие же обороты, как дикари, беседовавшие с капитаном Куком, или Пятница в разговоре с Робинзоном. В этом отношении особенной изобретательностью отличалась миссис Плорниш, фраза которой: «Мой иметь надежда ваш нога скоро здоров» — приобрела положительную славу и считалась почти итальянской. Даже сама миссис Плорниш начинала думать, что у нее прирожденный дар к этому языку. Когда он приобрел некоторую популярность, обитатели подворья с целью обучения его английскому

языку пустили в ход всевозможные предметы домашней утвари. Стоило ему показаться на дворе, как хозяйки высовывались из дверей с криком: «Мистер Батист, чайник! Мистер Батист, веник! Мистер Батист, кофейник!», выставляя в то же время эти предметы и заставляя его ужасаться необычайным трудностям английского языка.

В этой стадии его существования, спустя примерно три недели после водворения в обществе «Разбитых сердец», маленький иностранец успел привлечь к себе внимание мистера Панкса. Взобравшись к нему на вышку с миссис Плорниш в качестве переводчицы, он узрел мистера Батиста в самой скудной обстановке, состоявшей из постели на полу, стола и грубой работы стула, но в лучезарнейшем настроении духа.

— Ну, старина, — сказал мистер Панкс, — расплачивайтесь!

Деньги были уже приготовлены, завернуты в клочок бумаги; иностранец подал их смеясь, затем оттопырил на правой руке столько пальцев, сколько было шиллингов, и сделал крестообразное движение в воздухе, означавшее добавочные шесть пенсов.

— О, — произнес мистер Панкс, глядя на него с удивлением. — Так вот оно как, так-то? Да вы

исправный жилец. Право, не ожидал!

Тут вмешалась миссис Плорниш и очень снисходительно объяснила иностранцу:

— Ему доволен. Ему рад получить деньги.

Маленький человек улыбнулся и кивнул. Его сияющая физиономия показалась необыкновенно привлекательной мистеру Панксу.

— Как его нога? — спросил он миссис Плорниш.

— О, гораздо лучше! Мы думаем, что еще неделька — и ему можно будет ходить без костыля. — Случай был слишком удобный, чтобы пропустить его, и миссис Плорниш не преминула обнаружить свои способности, объяснив с вполне извинительной гордостью мистеру Батисту: — Ему иметь надежда ваш нога скоро здоров.

— И какой весельчак, — заметил мистер Панкс, рассматривая его, точно механическую игрушку. — На какие средства он живет?

— Вырезает цветы, видите.

Мистер Батист, следивший за выражением их лиц, поднял свою работу. Миссис Плорниш тотчас объяснила ему на своем итальянском диалекте:

— Ему доволен. Вдвое доволен.

— И ему хватает на жизнь? — спросил мистер Панкс.

— Ему очень немного нужно, сэр, так что со временем, когда поправится, он, наверное, заживет недурно. Эту работу доставил ему мистер Кленнэм, он же доставляет ему и другую мелкую работу на дом и в мастерской тут рядом, говоря попросту — придумывает ему занятия, когда видит, что тот нуждается.

— Ну а в свободное время что он делает? — спросил мистер Панкс.

— Ничего особенного, сэр, должно быть потому, что не может много ходить. Гуляет по двору, болтает с соседями, хоть и не вполне понимает их, да и его не понимают, играет с детьми, сидит и греется на солнышке — садится он всюду, где придется, и сидит точно в кресле, — поет, смеется.

— Смеется, — сказал мистер Панкс. — Да у него каждый зуб смеется!

— А то заберется на другой конец подворья, поднимется по лестнице и так занятно выглядывает наружу! — продолжала миссис Плорниш. — Многие из нас думают, что это он смотрит туда, где находится его родная страна, а другие думают, что он высматривает кого-то, с кем боится встретиться, а иные не знают, что и думать.

По-видимому, мистер Батист уловил общий смысл их разговора или заметил и понял ее жест,

когда она рассказывала, как он выглядывает наружу. Во всяком случае, он закрыл глаза и покачал головой, как будто желал показать, что у него есть достаточные причины поступать таким образом, затем прибавил на родном языке:

— Altro!

— Что значит «Altro»? — спросил мистер Панкс.

— Хм… Это такой общий способ выражения, сэр, — ответила миссис Плорниш.

— Да? — сказал Панкс. Ну, altro вам, старина! Прощайте, altro!

Мистер Батист со свойственной ему живостью несколько раз повторил это слово; мистер Панкс повторил его еще раз со своим обычным пасмурным видом. С этого времени цыган Панкс стал частенько заглядывать на подворье «Разбитые сердца» по вечерам, возвращаясь домой. Он спокойно взбирался по лестнице, просовывал голову в дверь мистера Батиста и, убедившись, что он дома, говорил:

— Эй, старина! Altro!

На это мистер Батист с бесчисленными радостными кивками и улыбками отвечал:

— Altro, синьор. Altro! Altro! Altro!

После этого весьма лаконичного разговора

мистер Панкс отправлялся своим путем с видом человека, который освежился и у которого стало легко на душе.

Глава XXVI. Ничье состояние духа

Если бы Артур Кленнэм не пришел к твердому решению не влюбляться в Милочку, его жизнь была бы исполнена терзаний и жестокой борьбы с собственным сердцем. Не последнюю роль играла бы при этом борьба между антипатией к мистеру Генри Гоуэну, доходившей почти до отвращения, и угрызениями совести, подсказывавшей, что подобное отношение к человеку является недостойным. Великодушная натура не склонна к сильным антипатиям и поддается им не без долгих колебаний, даже когда в них не участвует личное чувство; если же она замечает в основе своего недоброжелательства чисто личное раздражение, то чувствует себя несчастной.

Итак, мистер Гоуэн тревожил бы сердце Кленнэма и вспоминался бы ему чаще, чем другие, более приятные лица, если бы не вышеупомянутое весьма благоразумное решение. При данных же обстоятельствах мистер Гоуэн донимал главным образом Даниэля Дойса; по крайней мере, как-то так случалось, что мистер Дойс первый заводил о нем речь в дружеских беседах с Кленнэмом. Беседы происходили теперь довольно часто, так как

компаньоны нанимали сообща часть обширного дома в одной из тихих старинных улиц Сити, близ Английского банка.

Мистер Дойс отправился на денек в Туикнем, Кленнэм остался дома. Мистер Дойс только что вернулся. Он заглянул в комнату Кленнэма, чтобы пожелать ему спокойной ночи.

— Войдите, войдите, — сказал Кленнэм.

— Я увидал, что вы заняты чтением, — произнес Дойс входя, — и не хотел вас беспокоить.

Если бы не решение, о котором столько раз упоминалось, Кленнэм не сумел бы рассказать, что такое он читает, ни разу не заглянув в книгу в течение целого часа, хотя она лежала перед ним открытой. Он быстро захлопнул ее.

— Здоровы ли они? — спросил он.

— Да, — ответил Дойс, — здоровы. Все здоровы.

У него была старая привычка, распространенная среди ремесленников, держать носовой платок в шляпе. Он достал его, отер лоб, медленно повторяя:

— Все здоровы. Мисс Минни выглядит лучше, чем когда-либо.

— Были еще какие-нибудь гости?

— Нет, никого.

— Как же вы проводили время вчетвером? —

спросил Кленнэм весело.

— Нас было пятеро, — возразил его компаньон. — Был еще… как бишь его… он тоже был.

— Кто такой?

— Мистер Генри Гоуэн.

— А, да, конечно! — воскликнул Кленнэм с необычайной живостью. — Я и забыл о нем.

— Помните, — сказал Даниэль Дойс, — я говорил вам, что он бывает каждое воскресенье?

— Да, да, — подтвердил Кленнэм, — теперь я вспомнил.

Даниэль Дойс, продолжая вытирать лоб, упорно повторял:

— Да, он был там, он был там. О да, он был там. И его пес — он тоже был там.

— Мисс Мигльс очень привязана к… к его собаке, — заметил Кленнэм.

— Совершенно верно, — согласился Дойс. — Более привязана к собаке, чем я к человеку.

— Вы подразумеваете мистера?..

— Я подразумеваю Гоуэна, именно его, — сказал Дойс.

Наступила минутная пауза, которой Кленнэм воспользовался, чтобы завести часы.

— Может быть, вы слишком поспешны в своих суждениях, — сказал он. — Наши суждения, я

говорю вообще…

— Конечно, — заметил Дойс.

— …зависят от самых разнообразных побуждений, которые почти без нашего ведома могут оказаться несправедливыми. Поэтому нужно быть крайне осторожным в своих приговорах. Например, мистер…

— Гоуэн, — спокойно вставил Дойс, которому почти всегда приходилось первому произносить это имя.

— …молод и хорош собой, общителен и боек, талантлив, видал свет. Трудно себе представить какую-нибудь объективную причину нерасположения к такому человеку.

— Для меня не трудно, Кленнэм, — возразил Дойс. — Он вносит тревогу, а в будущем, опасаюсь, внесет и горе в семью моего старого друга. Я вижу, что морщины на лице моего старого друга становятся тем резче, чем ближе он подходит к его дочери, чем чаще на нее смотрит. Словом, я вижу, что он ловит в свои сети милое и нежное создание, которое он никогда не сделает счастливым.

— Как можем мы знать, — спросил Кленнэм почти страдальческим тоном, — что он не сделает ее счастливой?

— Как можем мы знать, — возразил его компаньон, — что мир простоит еще сто лет? А между тем мы считаем это в высшей степени вероятным.

— Ну-ну, — сказал Кленнэм, — мы должны надеяться на лучшее и стараться быть если не великодушными (в данном случае это и не требуется), то справедливыми. Нельзя же осуждать его за то, что он пользуется успехом у той, кого поставил целью своих домогательств, как и от нее нельзя требовать, чтобы она не любила того, кто кажется ей достойным любви.

— Может быть, дорогой мой, — сказал Дойс, — что она слишком молода и избалованна, слишком доверчива и неопытна, чтобы разбираться в людях.

— Этому мы не в силах помочь, — заметил Кленнэм.

Даниэль Дойс с важностью покачал головой и сказал:

— Боюсь, что так.

— Стало быть, остается одно: помнить, что с нашей стороны неблаговидно осуждать его. Отзываться о нем дурно — жалкий способ отводить себе душу. Я, со своей стороны, решил воздержаться от этого.

— Я не так уверен в себе, — заметил Дойс, — и сохраняю за собой право бранить его. Но если я не уверен в себе, то уверен в вас, Кленнэм: знаю, какой вы беспристрастный и честный человек. Покойной ночи, друг и компаньон.

Они обменялись рукопожатиями, как будто в основе их разговора таилось что-то очень серьезное, затем расстались.

После этого они не раз навещали семью друга, и всегда при самом беглом напоминании о мистере Генри Гоуэне туча омрачала обыкновенно смеющееся лицо мистера Мигльса, как это было в день первой встречи Гоуэна с Кленнэмом, когда оба они появились в столовой. Если бы Кленнэм питал запретную страсть в своем сердце, этот период был бы для него истинной пыткой; при данных же обстоятельствах он, конечно, ничего особенного не чувствовал, ничего.

Равным образом, если б он укрывал в своем сердце эту запретную гостью, его молчаливая борьба с самим собой могла бы считаться до некоторой степени заслугой. Постоянные усилия не поддаться греху эгоистического преследования личных целей низкими и недостойными средствами, а действовать во имя высокого принципа чести и великодушия могли бы считаться неко-

торой заслугой. Решение посещать дом Мигльса, чтобы не доставить даже легкого огорчения его дочери, знавшей, что отец дорожит своим новым знакомством, могло бы считаться некоторой заслугой. Скромное сознание большего равенства лет и значительно больших личных преимуществ мистера Гоуэна могло бы считаться некоторой заслугой. Мужественная и спокойная твердость, проявлявшаяся во всем этом и многом другом, наружное спокойствие, несмотря на тяжкую душевную пытку, свидетельствовали бы о некоторой силе характера. Но после принятого им решения он, конечно, не испытывал ничего подобного, и описанное состояние духа не имело никакого значения.

Мистер Гоуэн, во всяком случае, не имел никакого отношения к этому состоянию, было ли оно чьим-либо или ничьим. Он сохранял обычную ясность духа, как будто сама мысль о возможности каких-либо претензий со стороны Кленнэма казалась ему смешной и невозможной. Он относился к нему очень любезно и беседовал с ним очень дружелюбно, что само по себе (то есть в том случае, если б Кленнэм не вооружился благоразумным решением) могло доставить тому много неприятных минут.

— Жаль, что вас не было с нами вчера, — сказал мистер Генри Гоуэн, заглянув к Кленнэму на следующее утро. — Мы очень приятно провели время.

Кленнэм ответил, что слышал об этом.

— От вашего компаньона? — спросил Генри Гоуэн. — Какой милый человек!

— Я глубоко уважаю его, — заметил Кленнэм.

— Клянусь Юпитером, чудеснейший малый! — сказал Гоуэн. — Такой наивный, невинный, верит таким странным вещам!

Эти слова несколько покоробили Кленнэма, но он только повторил, что относится с глубоким уважением к мистеру Дойсу.

— Он прелестен. Приятно смотреть на человека, который прошел такой долгий жизненный путь, ничего не обронив, ничего не подобрав на дороге. Как-то тепло становится на душе. Такой неиспорченный, такая простая добрая душа. Ей-богу, мистер Кленнэм, в сравнении с таким невинным существом чувствуешь себя ужасно суетным и развращенным. Я говорю о себе, конечно, не включая вас. Вы тоже искренни.

— Благодарю за комплимент, — сказал Кленнэм, чувствуя, что ему становится не по себе. — Надеюсь, и вы такой же?

— Положим, положим, — ответил Гоуэн. — Так себе, если сказать правду. Не могу назваться настоящим обманщиком. Попробуйте купить мою картину — я скажу вам по секрету, что она не стоит ваших денег. Попробуйте купить у другого, у какого-нибудь знаменитого профессора, — и наверное, чем больше вы дадите, тем сильнее он надует вас. Они все так делают.

— Все художники?

— Художники, писатели, патриоты — все, кто торгует на рынке. Дайте десять фунтов любому из моих знакомых — он надует вас в соответственной степени; тысячу фунтов — в соответственной степени; десять тысяч фунтов — в соответственной степени. Чем больше успех, тем больше обман. А народ чудесный! — воскликнул Гоуэн с жаром. — Славный, прекрасный, милейший народ!

— Я думал, — сказал Кленнэм, — что принцип, о котором вы говорите, проводится преимущественно…

— Полипами? — перебил Гоуэн смеясь.

— Государственными мужами, которые удостоили взять на свое попечение министерство околичностей.

— Не будьте жестоки к Полипам, — сказал

Гоуэн, снова рассмеявшись, — это премилые ребята. Даже бедняжка Кларенс, прирожденный идиот, самый приятный и любезный олух, и, ей-богу, у него тоже есть смекалка своего рода, которая поразила бы вас.

— Поразила бы, и очень, — ответил Кленнэм сухо.

— И в конце концов, — воскликнул Гоуэн с характерной для него развязностью, не признававшей ничего серьезного на свете, — хоть я и не могу отрицать, что министерство околичностей может добиться общего краха, но, по всей вероятности, это не при нас случится, а пока что оно останется школой джентльменов!

— Слишком опасной, неудовлетворительной и разорительной школой для народа, который оплачивает содержание ее питомцев, — заметил Кленнэм, покачивая головой.

— Э, да вы ужасный человек, Кленнэм, — весело сказал Гоуэн. — Я понимаю, что вы запугали до полусмерти этого осленка Кларенса, милейшего из дураков (я искренно люблю его). Но довольно о нем и о них вообще. Я желал бы познакомить вас с моей матушкой, мистер Кленнэм. Будьте любезны, доставьте мне эту возможность.

Если бы Кленнэм не пребывал в безразличном

настроении, то меньше всего желал бы этого и больше всего затруднялся бы, как этого избежать.

— Моя матушка ведет самый простой образ жизни в Хэмптон-корте, в угрюмой кирпичной башне, знаете, — продолжил Гоуэн. — Решите, когда вам будет удобно, назначьте сами день, и отправимся к ней обедать. Вы поскучаете немножко, а она будет в восторге.

Что мог ответить на это Кленнэм? Его скромный характер отличался в значительной степени тем, что можно назвать простотой в лучшем смысле слова, и в своей простоте и скромности он мог только ответить, что всегда готов к услугам мистера Гоуэна. Так он и ответил. Назначили день, тяжелый день, о котором он думал со страхом и которому он совсем не был рад, но этот день наконец наступил, и они отправились вместе в Хэмптон-корт.

Служитель миссис Гоуэн, семейный человек, состоявший в этой должности уже несколько лет, имел против общества зуб из-за места в почтовой конторе, которого ожидал и никак не мог получить. Он очень хорошо знал, что общество не может посадить его на это место, но находил какое-то злобное удовольствие в мысли, что об-

щество мешает ему получить его. Под влиянием этой обиды (а может, также скудных размеров и неаккуратной уплаты жалованья) он стал пренебрегать своей внешностью и был всегда мрачен. Усмотрев в Кленнэме одного из гнусной толпы своих угнетателей, он принял его презрительно.

Зато миссис Гоуэн приняла его снисходительно. Это была изящная старая леди, когда-то красавица, до сих пор сохранившаяся настолько, чтобы обходиться без пудры на носу и искусственного румянца на щеках. Она отнеслась к нему немножко свысока, так же как и другая старая леди, чернобровая, с орлиным носом, у которой, без сомнения, было хоть что-нибудь натуральное, иначе она не могла бы существовать, — только не волосы, не зубы, не фигура и не цвет лица; так же как и старый седой джентльмен величественной и мрачной наружности. Дама и джентльмен были приглашены на обед. Но так как все они бывали в различных частях света в качестве представителей британского дипломатического корпуса и так как британский дипломатический корпус не может придумать ничего лучшего для поддержания хороших отношений с министерством околичностей, как относиться с безграничным презрением к своим

соотечественникам (иначе он уподобился бы дипломатическим корпусам других стран), то Кленнэм чувствовал, что в общем они относятся к нему еще довольно милостиво.

Величественный старый джентльмен оказался лордом Ланкастером Пузырем, который в течение многих лет служил представителем ее британского величества за границей по поручению министерства околичностей. Этот благородный холодильник леденил в свое время иностранные дворы с таким успехом, что и теперь, четверть века спустя, самое имя англичанина бросало в холод иностранцев, удостоившихся когда-то чести иметь с ним дело.

Теперь он был в отставке, и потому соблаговолил явиться на обед (в массивном белом галстуке, напоминавшем снежный сугроб). Присутствие благородного холодильника способствовало торжественности обеда. Он бросал тень на присутствующих, охлаждал вина, заставлял стынуть соус, замораживал зелень.

Кроме хозяев и гостей в столовой присутствовало только одно лицо: микроскопический мальчик-лакей, помощник недоброжелательного господина, не попавшего в почтовую контору. Даже этот юнец, считая себя в некотором роде

членом семьи Полип, лелеял надежду поступить на государственную службу, в чем легко было бы убедиться, расстегнув его куртку и заглянув в его сердце.

Миссис Гоуэн с печатью изящной меланхолии на челе, вызванной сожалением, что ее сын принужден заискивать у этой свинской публики в низком звании художника, вместо того чтобы получить заслуженное в качестве признанного Полипа, запела речь о нашем печальном времени. Тут Кленнэм впервые увидел, на каких маленьких пружинах вертится этот огромный мир.

— Если бы Джон Полип, — сказала миссис Гоуэн после того, как развращенность нашей эпохи была признана и засвидетельствована, — если бы Джон Полип только оставил свою несчастнейшую мысль угождать толпе, все пошло бы исправно, и, я думаю, страна была бы спасена.

Старая леди с орлиным носом согласилась, но прибавила, что если бы Август Пузырь приказал кавалерии пустить в дело оружие, то страна, по ее мнению, была бы спасена.

Благородный холодильник согласился, но прибавил, что если бы Уильям Полип и Тюдор Пузырь, заключая свою достопамятную коали-

цию, согласились надеть намордник на газеты и запретить редакторам, под страхом уголовной ответственности, подвергать критике действия каких бы то ни было законных властей дома и за границей, то, по его мнению, страна была бы спасена.

Все согласились, что страну (под этим термином опять-таки подразумевались Полипы и Пузыри) надо спасти, но как ее спасти — оставалось не совсем ясно. Ясно было только, что вопрос сводится к Джону Полипу, Августу Пузырю, Уильяму Полипу и Тюдору Пузырю, Тому, Дику или Гарри Полипам или Пузырям, потому что кроме них существует только толпа.

Эта именно особенность их разговора произвела неприятное впечатление на Кленнэма, не привыкшего к таким мнениям, даже возбудила в нем сомнение, хорошо ли он делает, что сидит и слушает молча, как великую нацию втискивают в такие узкие пределы. Припомнив, однако, что в парламентских дебатах, ведутся ли они о материальных или духовных нуждах нации, вопрос обыкновенно исчерпывается Джоном Полипом, Августом Пузырем, Уильямом Полипом и Тюдором Пузырем, Томом, Диком или Гарри Полипами или Пузырями, он не счел нужным

заявить что-либо от имени толпы, решив про себя, что толпа привыкла к этому.

Мистер Генри Гоуэн, по-видимому, находил какое-то злобное удовольствие в натравливании собеседников друг на друга. Его забавляло недоумение Кленнэма, пораженного их разговором. Он одинаково презирал тот класс, от которого отстал, и тот, к которому не пристал, так что происходившее за столом ничуть не задевало его. Он даже забавлялся неловким положением и одиночеством Артура в этой компании, и если бы Кленнэм не принял известного нам решения и не испытывал внутренней борьбы, то стал бы подозревать дурные намерения в Генри Гоуэне и старался бороться с подозрением как с низостью, недостойной его.

Спустя два часа благородный холодильник, всегда отставaвший от своей эпохи на столетие, попятился разом на пять веков назад и произнес торжественную политическую речь, соответствовавшую той эпохе. Окончив ее, он заморозил поданную ему чашку чая и уехал домой на самом низком градусе температуры.

Тогда миссис Гоуэн, привыкшая в дни своего величия иметь подле себя свободное кресло, на котором усаживались один за другим ее

преданные рабы, удостоившиеся коротенькой аудиенции в знак особой милости, движением веера пригласила Кленнэма приблизиться. Он повиновался и занял треножник, только что покинутый лордом Ланкастером Пузырем.

— Мистер Кленнэм, — сказала миссис Гоуэн, — независимо от удовольствия познакомиться с вами — хотя бы в этой отвратительной и неприличной казарме, — я желала бы побеседовать с вами о предмете, глубоко меня интересующем. Он находится в связи с обстоятельствами, при которых мой сын имел удовольствие впервые познакомиться с вами.

Кленнэм наклонил голову, считая это самым подходящим ответом на заявление, смысл которого был ему не вполне ясен.

— Во-первых, — сказала миссис Гоуэн, — что, она действительно хороша собой?

Если бы он пребывал в безразличном настроении, то затруднился бы ответить на этот вопрос; с большим трудом принудил он себя улыбнуться и спросил:

— Кто?

— О, вы знаете: предмет любви Генри. Его несчастная страсть. Вот! Неужели помнить фамилию… мисс Мигльс… Мигльс.

— Мисс Мигльс, — сказал Кленнэм, — очень хороша собой.

— Мужчины так часто ошибаются в этом отношении, — возразила миссис Гоуэн, покачивая головой, — что, откровенно признаюсь вам, и даже теперь отнюдь не чувствую себя убежденной, хотя, конечно, не без причины же Генри отзывается о ней с таким воодушевлением. Он подобрал их в Риме, если не ошибаюсь?

Этот вопрос показался бы смертельным оскорблением тому, кто не принял бы известного уже решения. Кленнэм ответил:

— Извините меня, я не понимаю, что вы хотите сказать.

— Где он их подобрал? — повторила миссис Гоуэн, постукивая своим большим зеленым веером по столу. — Встретился с ними? Нашел их? Наткнулся на них?

— На них?

— Да, на Мигльсов.

— Я не знаю, — сказал Кленнэм, — где мой друг мистер Мигльс впервые представил мистера Генри Гоуэна своей дочери.

— Я почти уверена, что он подобрал их в Риме; впрочем, не в этом дело. Все равно где. Теперь (это между нами), ее манеры очень плебейские?

— Право, сударыня, — возразил Кленнэм, — будучи сам плебеем, я не могу судить об этом.

— Очень ловкий ответ, — сказала миссис Гоуэн, спокойно развертывая веер. — Очень удачный. Я заключаю из него, что, по вашему мнению, ее манеры соответствуют ее наружности.

Кленнэм после минутного холодного молчания поклонился.

— Это очень утешительно, и я надеюсь, что вы правы. Генри, помнится, говорил мне, что вы путешествовали вместе с ними.

— Я путешествовал вместе с моим другом мистером Мигльсом, его женой и дочерью в течение нескольких месяцев. — Не будь известного решения, сердце Артура, быть может, дрогнуло бы при этом воспоминании.

— Очень утешительно; значит, вы имели случай хорошо познакомиться с ними. Видите ли, мистер Кленнэм, это тянется уже давно, и я не замечаю перемены к лучшему, поэтому для меня большое утешение поговорить с человеком, знакомым со всеми обстоятельствами дела. Необыкновенная удача. Истинное счастье.

— Извините меня, — возразил Кленнэм, — но я не пользуюсь доверием мистера Генри Гоуэна. Я вовсе не так близко знаком с обстоятельствами

этого дела, как вы думаете. Ваша ошибка делает мое положение очень щекотливым. Ни единого слова об этом предмете не было сказано в наших беседах с мистером Генри Гоуэном.

Миссис Гоуэн взглянула в другой конец комнаты, где ее сын играл в экарте со старой леди, желавшей, чтобы кавалерия пустила в ход оружие.

— Не пользуетесь его доверием? Нет, — сказала миссис Гоуэн. — Ни единого слова не было сказано? Нет. Я могу себе представить это. Но бывают невысказанные признания, мистер Кленнэм, и так как вы оба бывали запросто у этих людей, то я не сомневаюсь, что этого рода признания имеются налицо и в настоящем случае. Быть может, вам известно, что я испытала жестокое разочарование, убедившись, что Генри избрал карьеру… да!.. — Дама пожала плечами. — Карьеру весьма почтенную, конечно… и многие художники, без сомнения, превосходные люди, но в нашей семье никогда не заходили далее любителя, и мне простительно чувствовать некоторое…

Миссис Гоуэн остановилась и тяжко вздохнула, но Кленнэм, хотя и решившийся быть великодушным, не мог не подумать, что их семье вряд ли угрожала опасность зайти дальше любителя

даже в настоящем случае.

— Генри, — продолжила его мать, — своеволен и решителен, и так как эти люди, естественно, из кожи лезут, чтобы поймать его, я питаю мало надежды, мистер Кленнэм, на благополучное окончание этого дела. Боюсь, что у этой девушки очень маленькое состояние: Генри мог бы найти гораздо лучшую партию; впрочем, он действует самостоятельно, и если я не замечу перемены к лучшему в самом непродолжительном времени, то принуждена буду покориться судьбе и, как умею, ладить с этими людьми. Я бесконечно обязана вам за сообщение.

Она пожала плечами, а Кленнэм сухо поклонился, затем, с краской на лице и видимым волнением, сказал еще более тихим голосом, чем прежде:

— Миссис Гоуэн, я не знаю, как и приняться за то, что считаю своим долгом высказать, но тем не менее прошу вашего любезного внимания. Тут есть недоразумение с вашей стороны, огромное недоразумение, смею сказать, которое нужно устранить. Вы полагаете, что мистер Мигльс и его семья из кожи лезут… так, кажется, вы выразились…

— Из кожи лезут, — повторила миссис Гоуэн,

глядя на него с холодным упорством и защищая лицо от огня зеленым веером.

— Чтобы поймать мистера Генри Гоуэна?

Леди спокойно согласилась.

— Ваше предположение совершенно расходится с действительностью, — сказал Кленнэм. — Мне известно, что мистер Мигльс крайне огорчен этим обстоятельством и изыскивает всевозможные препятствия в надежде положить конец этому делу.

Миссис Гоуэн свернула свой большой зеленый веер, слегка ударила Кленнэма по руке, а себя по улыбающимся губам и сказала:

— Ну да, конечно. Я так и думала.

Артур вопросительно посмотрел на нее, ожидая объяснения этих слов.

— Вы серьезно говорите, мистер Кленнэм? Неужели вы не понимаете, в чем дело?

Артур не понимал, о чем и заявил.

— Видите, я-то ведь знаю моего сына и знаю, что это лучший способ поймать его, — сказала миссис Гоуэн презрительно. — И Мигльсы это знают не хуже меня. О, ловкий народ, мистер Кленнэм, очевидно, деловые люди! Кажется, Мигльс служил в банке и, должно быть, хорошо пользовался этим банком. Как видно, он умеет

обделывать дела!

Слышать эти высокомерные слова, видеть, как она постукивает себя веером по губам, складывающимся в презрительную усмешку, было так оскорбительно для него, что он сказал очень серьезным тоном:

— Поверьте, сударыня, это несправедливое и совершенно лишенное оснований подозрение.

— Подозрение? — повторила миссис Гоуэн. — Не подозрение, мистер Кленнэм, а уверенность. Дело обделано мастерски, и, по-видимому, вы тоже попались на эту удочку. — Она засмеялась и, по-прежнему постукивая себя веером по губам и качая головой, прибавила: — Не говорите. Я знаю, что подобные люди на все готовы ради такого почетного родства.

В эту минуту игра весьма кстати кончилась, и мистер Генри Гоуэн подошел к матери с просьбой:

— Матушка, не отпустите ли вы мистера Кленнэма? Нам далеко идти, а время уже позднее.

Мистер Кленнэм встал, так как ничего другого ему не оставалось, а миссис Гоуэн отпустила его с тем же презрительным взглядом и постукиванием веера по губам.

— Вы имели чудовищно длинную беседу с

моей матерью, — сказал Гоуэн, когда дверь затворилась за ними. — Надеюсь, что она не очень надоела вам?

— Нисколько, — сказал Кленнэм.

Они уселись в маленький открытый фаэтон и покатили домой. Гоуэн, правивший лошадьми, закурил сигару. Кленнэм отказался. Как бы то ни было, он был так рассеян, что Гоуэн снова заметил:

— Я боюсь, что матушка надоела вам.

Кленнэм встрепенулся:

— Нисколько. Вскоре он опять погрузился в задумчивость. Мысли его обращались к человеку, сидевшему рядом. Он вспоминал то утро, когда впервые встретил его на реке, вспоминал, как тот сбрасывал камешки ногой, и спрашивал себя: «Неужели он и меня сбрасывает с дороги с той же беззаботной жестокостью?» Не потому ли Гоуэн познакомил его со своей матерью, думал Кленнэм, что знал наперед, о чем она будет говорить с ним, и хотел таким способом предупредить и предостеречь соперника, не снисходя до личного объяснения? Или, если у него не было такого умысла, не хотел ли он позабавиться его волнением, помучить его? По временам нить этих размышлений прерывалась упреками совести,

подсказывавшей ему, что питать такие подозрения, хотя бы мимолетные, не значит держаться того прямого, честного пути, который он наметил для себя. В такие минуты его внутренняя борьба достигала крайнего напряжения, и, случайно встречаясь глазами с Гоуэном, он вздрагивал, точно нанес ему обиду.

Потом, глядя на темную дорогу и предметы, терявшиеся вдали, он снова предавался своим мыслям: «Куда мы стремимся, он и я, по темному жизненному пути? Что будет с нами и с ней в туманном будущем?» При мысли о ней в нем снова пробуждались укоры совести, и ему приходило в голову, что с ее стороны было бы даже нехорошо разлюбить Гоуэна и что, осуждая последнего так легко, он, Кленнэм, тем менее заслуживал ее расположения.

— Вы, очевидно, не в духе, — сказал Гоуэн. — Право, я боюсь, что матушка самым ужасным образом надоела вам.

— Нисколько, уверяю вас, — ответил Кленнэм. — Это ничего, ничего!

Глава XXVII. Двадцать пять

В последнее время Кленнэма постоянно мучило сомнение, не находится ли желание мистера Панкса собрать справки о семье Доррит в какой-либо связи с опасениями, которые Артур высказал при свидании с матерью. Что именно известно мистеру Панксу насчет семьи Доррит, что еще нужно ему знать и зачем он отягощает свою деловую голову этим предметом — вот вопросы, которые часто донимали Кленнэма. Мистер Панкс был не такой человек, чтобы тратить время и труд на поиски ради простого любопытства. Кленнэм не сомневался, что у него есть какая-то специальная цель. Могло ли достижение этой цели бросить свет, хотя бы и слишком поздно, на тайные мотивы, побуждавшие его мать покровительствовать Крошке Доррит?

Его желание и решимость исправить зло, нанесенное отцом, если только оно выяснится и окажется исправимым, отнюдь не поколебались. Тень предполагаемой несправедливости, нависшая над ним со времени смерти отца, была так бесформенна и туманна, что действительность могла совершенно разойтись с его

предположениями. Но во всяком случае, если бы его подозрения оправдались, он готов был отдать все свое имущество и начать жизнь сызнова.

Жестокая мрачная мораль, которой учился он в детстве, не запала в его сердце, и основным пунктом его нравственного кодекса было начинать со смирения на деле, а не на словах — идти по земле и смотреть себе под ноги, не пытаясь взлететь на небо на крыльях фраз. Исполнение долга на земле, возмещение несправедливостей на земле, деятельность на земле: это прежде всего, это первые крутые ступеньки вверх. Тесны были врата, и узок был путь — гораздо теснее и уже, чем просторная большая дорога, вымощенная суетными поучениями и суетными разглагольствованиями, пересчитыванием сучков в глазах ближних и всегдашней готовностью осудить ближнего, — дешевые вещи, решительно ничего не стоящие.

Нет, не эгоистический страх тревожил его, а сомнение, исполнит ли Панкс свою часть обязательства и в случае какого-нибудь открытия сообщит ли о нем Кленнэму? С другой стороны, вспоминая свой разговор с Панксом и соображая, как мало оснований предполагать, что у этой странной личности могли явиться такие же подозрения, как у него, он удивлялся иногда,

что придает всему этому такое значение. В этом море сомнений он носился туда и сюда, не находя пристани.

Удаление Крошки Доррит от ее обычной компании не улучшило положения. Она так часто уходила из дому и так часто запиралась в своей комнате, что Кленнэм начинал чувствовать ее отсутствие. Ему положительно недоставало ее. Он написал ей, спрашивая, как ее здоровье, и получил в ответ очень искреннее и серьезное письмо, в котором она благодарила его и просила не беспокоиться, так как совершенно поправилась. Но он не видел ее в течение долгого времени.

Однажды Кленнэм вернулся домой от отца Крошки Доррит, который сообщил, что дочь ушла в гости — так он всегда выражался, когда она уходила на работу, чтобы заработать ему на ужин, — и застал у себя мистера Мигльса, шагавшего взад и вперед по комнате в возбужденном состоянии. Когда Кленнэм отворил дверь, мистер Мигльс остановился, повернулся к нему и сказал:

— Кленнэм! Тэттикорэм…

— В чем дело? — спросил Кленнэм.

— Пропала!

— Господи боже мой! — с изумлением восклик-

нул Кленнэм. — Что вы хотите сказать?

— Не хотела сосчитать до двадцати пяти, сэр, отказалась наотрез, остановилась на восьми и ушла.

— Оставила ваш дом?

— С тем, чтобы никогда не возвращаться, — сказал мистер Мигльс, покачивая головой. — Вы не знаете, какой страстный и гордый характер у этой девушки. Упряжка лошадей не притащила бы ее обратно: решетки и затворы старой Бастилии не удержали бы ее.

— Как это случилось? Пожалуйста, присядьте и расскажите.

— Как это случилось — нелегко объяснить, и нужно обладать несчастным темпераментом этой бедной пылкой девушки, чтобы вполне уразуметь это. Приблизительно все произошло таким образом: мы, то есть мать, я и Милочка, в последнее время часто вели разговоры между собой. Не скрою от вас, Кленнэм, что эти разговоры не всегда имели веселый характер. Темой их служила новая поездка за границу. Проектируя эту поездку, я на деле имел особую цель…

Сердце Кленнэма забилось бы тревожно, если бы не было известного решения.

— …цель, — продолжал мистер Мигльс, — ко-

торую я тоже не стану скрывать от вас, Кленнэм. Мое милое дитя питает склонность, которая крайне огорчает меня. Вы, может быть, знаете, о ком я говорю? Это Генри Гоуэн.

— Я был готов услышать это.

— Да, — сказал мистер Мигльс с тяжелым вздохом, — желал бы я, чтобы вам никогда не приходилось слышать об этом. Как бы то ни было, факт остается фактом. Мы с матерью сделали все, что было в нашей власти, Кленнэм. Нежные советы, время, отъезд до сих пор не принесли никакой пользы. В последний раз мы толковали о путешествии за границу по крайней мере на год. Из-за этого Милочка чувствует себя несчастной, а потому чувствуем себя несчастными и мы.

Кленнэм заметил, что вполне понимает это.

— Ну, — продолжил мистер Мигльс тоном оправдания, — я, как практический человек, готов согласиться, и думаю, что мать, как практическая женщина, тоже согласится, что мы, семейные люди, склонны преувеличивать наши огорчения и делать из мухи слона, так что постороннему человеку это может показаться несносным. Но ведь счастье или несчастье Милочки — вопрос жизни и смерти для нас, так что, надеюсь, нам извинительно придавать ему

большое значение. Во всяком случае Тэттикорэм могла бы примириться с этим. А как вы думаете?

— Совершенно согласен с вами, — ответил Кленнэм, от души соглашаясь с этим скромным требованием.

— Нет, сэр, — сказал мистер Мигльс, сокрушенно покачивая головой. — Она не могла вынести этого. Страстность и пылкость этой девушки, терзания и муки в ее груди доходили до того, что я не раз говорил ей при встречах: «Двадцать пять, Тэттикорэм, двадцать пять!» Я от души желал бы, чтобы она день и ночь считала до двадцати пяти: тогда бы ничего не случилось.

Мистер Мигльс с унылым видом, благодаря которому его сердечная доброта сказывалась еще сильней, чем в минуты веселья и оживления, провел рукой по лицу и снова покачал головой.

— Я сказал матери (хотя она и сама думала об этом): «Мы практические люди, голубушка, и знаем ее историю; мы видим в этой несчастной девушке отражение того, что бушевало в сердце ее матери, прежде чем родилась эта бедная крошка; отнесемся снисходительно к ее темпераменту, мать, не будем ничего замечать, мы возьмем свое потом, со временем, когда она будет в лучшем настроении». Итак, мы ничего не говорили. Но,

видно, чему быть, тому не миновать: однажды вечером она не выдержала.

— Каким образом и почему?

— Если вы спрашиваете почему, — сказал мистер Мигльс, несколько смущенный этим вопросом, — то я могу только напомнить вам слова, которые сказал матери. На вопрос: каким образом? — вот: мы простились с Милочкой в ее присутствии (очень ласково, я должен согласиться), и она пошла с ней наверх, — вы знаете, она горничная Милочки. Может, Милочка, которая была немножко расстроена, отнеслась к ней более требовательно, чем обыкновенно, хотя не знаю, имею ли я право говорить это: она всегда внимательна и кротка.

— Самая кроткая госпожа в мире.

— Благодарю вас, Кленнэм, — сказал мистер Мигльс, пожимая ему руку, — вы часто видели их вместе. Хорошо. Вдруг мы услышали сердитые крики Тэттикорэм, и не успели опомниться, как Милочка возвращается, вся дрожащая, и говорит, что ей страшно. Тотчас за ней является Тэттикорэм, вне себя от бешенства, и кричит, топая ногами: «Я ненавижу вас всех! Ненавижу весь дом!»

— На это вы…

— Я велел: сосчитай до двадцати пяти, Тэттикорэм, — сказал мистер Мигльс с таким чистосердечием, которое подействовало бы на самое миссис Гоуэн.

Мистер Мигльс снова провел рукой по лицу и покачал головой с выражением глубокого сожаления.

— Она так привыкла к этому, Кленнэм, что даже теперь, в таком припадке ярости, какого вы никогда не видывали, остановилась, взглянула мне в лицо и сосчитала (я проверял ее) до восьми, но не могла принудить себя считать дальше. Закусила удила и пустила на ветер остальные семнадцать. И пошла, и пошла! Она ненавидит нас, она несчастна с нами, она не может выносить этого, она не хочет выносить этого, она решила уйти. Она моложе, чем ее молодая госпожа, и не намерена оставаться и видеть, как ее одну считают молодой и интересной, ласкают и любят. Нет, она не хочет, не хочет, не хочет! Как мы думаем, какой бы она, Тэттикорэм, вышла, если б ее с самого детства так же баловали и лелеяли? Такой же доброй, как ее молодая госпожа? Ага! Может быть, в пятьдесят раз добрее! С той мы носились, а над ней смеялись; да, да, смеялись и стыдили ее! И весь дом делал то же самое. Все они толковали о

своих отцах и матерях, о своих братьях и сестрах, нарочно, чтобы подразнить ее. Еще вчера миссис Тиккит хохотала, когда ее маленькая внучка старалась произнести проклятое имя, которое они ей (Тэттикорэм) дали, и потешалась над ним. Как мы смели дать ей кличку, точно собаке или кошке? Но она знать ничего не хочет. Она не станет больше принимать от нас благодеяния: бросит нам назад эту кличку и уйдет. Уйдет сию же минуту, никто ее не удержит, и мы больше не услышим о ней.

Мистер Мигльс так живо воспроизводил эту сцену, что раскраснелся и разгорячился не хуже самой Тэттикорэм.

— Да, вот оно как! — сказал он, вытирая лицо. — Рассуждать с этим буйным, неистовым созданием (бог знает, какова была жизнь ее матери) не было никакой возможности, поэтому я спокойно сказал ей, что она не может уйти так поздно ночью, взял за руку, отвел в ее комнату и замкнул дверь дома. Но сегодня утром она ушла.

— И вы ничего больше не узнали о ней?

— Ничего, — ответил мистер Мигльс. — Разыскивали ее целый день. Должно быть, она ушла очень рано и потихоньку. Там, у нас, мне не удалось напасть на след.

— Постойте! — сказал Кленнэм после минутного размышления. — Вам хотелось бы видеть ее. Не так ли?

— Да, разумеется, я попытался бы уговорить ее, то есть мать и Милочка попытались бы уговорить ее, вот! Вы сами, — прибавил мистер Мигльс убедительным тоном, — попытались бы уговорить эту бедную пылкую девушку: я знаю, Кленнэм.

— Странно и жестоко было бы с моей стороны, — ответил Кленнэм, — отнестись к ней иначе, раз вы все ей прощаете. Но я хотел спросить вас, думали ли вы о мисс Уэд.

— Думал. Я вспомнил о ней, когда уже обегал всех соседей, да, пожалуй, и тогда бы не вспомнил, но, когда я вернулся домой, мать и Милочка выразили уверенность, что Тэттикорэм ушла к ней. Тут я вспомнил ее слова за обедом в день вашего первого посещения.

— Имеете ли вы представление о том, где искать мисс Уэд?

— Сказать по правде, — возразил мистер Мигльс, — я потому и дожидался вас, что у меня самое смутное представление на этот счет. У меня в доме почему-то существует убеждение — одно из тех смутных и странных впечатлений, которые возникают неизвестно каким образом,

неизвестно из каких источников и тем не менее держатся как факт, — что она живет или жила в тех местах. — С этими словами мистер Мигльс протянул Кленнэму клочок бумаги, на котором было написано название одного из глухих переулков по соседству с Гросвенор-сквер, вблизи парка.

— Тут не указано номера, — сказал Кленнэм, взглянув на бумажку.

— Не указано номера, дорогой мой Кленнэм? — возразил мистер Мигльс. — Тут ничего не указано. Во всяком случае, надо попытаться, и так как удобнее было бы пуститься на поиски вдвоем, а вы к тому же путешествовали вместе с этой невозмутимой женщиной, то я и думал… — Кленнэм перебил его речь, надев шляпу и объявив, что готов идти.

Погода стояла летняя; был пасмурный, душный, пыльный вечер. Они дошли до конца Оксфорд-стрит, а отсюда направились по угрюмым в своей пышности улицам и лабиринту переулков.

Все поиски наших друзей остались тщетными. Никто ничего не слыхал о мисс Уэд на той улице, где они искали. Это был один из переулков, присосавшихся к главной улице в виде паразитов, — длинный, прямой, узкий, темный

и мрачный, точно погребальная процессия кирпичных построек. Они справлялись в разных дворах, везде, где только замечали какого-нибудь унылого юношу, торчавшего на верхушке крутой деревянной лестницы, но безуспешно. Прошли до самого конца улицы по одной стороне, вернулись по другой, но ничего из этого не вышло. Наконец, они остановились на том же углу, с которого начали. Было уже совсем темно, а они еще ничего не узнали.

Им несколько раз случилось пройти мимо грязного дома, по-видимому пустого, с билетиками на окнах. Эти билетики казались почти украшением, нарушавшим монотонный характер погребальной процессии. Потому ли, что каждый из них заметил этот дом, или потому, что оба они два раза прошли мимо него, решив, что она, очевидно, не может жить здесь, Кленнэм предложил вернуться и попытать счастья в этом доме, прежде чем уйти окончательно. Мистер Мигльс согласился, и они вернулись: постучали, потом позвонили — ответа не было.

— Пустой, — сказал мистер Мигльс, прислушиваясь.

— Попробуем еще, — сказал Кленнэм и постучал вторично.

Послышалось какое-то движение и чьи-то шаркающие шаги, приближавшиеся к двери.

Тесная прихожая была так темна, что они не могли рассмотреть, кто отворил дверь: по-видимому, какая-то старуха.

— Извините, что мы беспокоим вас, — сказал Кленнэм. — Скажите, пожалуйста, не здесь ли живет мисс Уэд?

Голос из темноты неожиданно ответил:

— Живет здесь.

— Дома она?

Ответа не было, и мистер Мигльс повторил вопрос:

— Скажите, пожалуйста, она дома?

После вторичной паузы голос отрывисто ответил:

— Кажется, дома; лучше войдите, а я спрошу.

Они вступили в тесный темный дом, а фигура, отворившая дверь, крикнула им откуда-то сверху:

— Пройдите наверх, тут ни на что не наткнетесь.

Они взобрались наверх, направились туда, где мерцал слабый свет, проникавший, как оказалось, с улицы, в окно. Фигура исчезла, заперев их в душной комнате.

— Странно это, Кленнэм, — сказал мистер Мигльс шепотом.

— Довольно странно, — ответил Кленнэм так же тихо, — но мы разыскали ее, это главное. Вот и свет.

Свет исходил от лампы, которую принесла старуха, очень грязная, очень морщинистая и костлявая.

— Дома, — сказала она тем же голосом, — сейчас придет.

Поставив лампу на стол, старуха вытерла руки о передник (от этого они не стали бы чище, хотя бы она вытирала их целый век), взглянула на посетителей своими тусклыми глазами и удалилась.

Леди, которую они хотели видеть, расположилась в этом доме, точно в каком-нибудь восточном караван-сарае. Маленький квадратный коврик посреди комнаты, скудная мебель — очевидно, сборная, — груда чемоданов и других дорожных вещей представляли собой всю обстановку комнаты. Кто-то из прежних обитателей украсил это душное помещение позолоченным столом и трюмо, но позолота поблекла, как прошлогодние цветы, а зеркало так потускнело, как будто вобрало в себя все туманы и непогоды, которые ему случалось отражать. Посетители рассматривали

комнату минуты две, затем дверь отворилась и вошла мисс Уэд.

Она ничуть не изменилась с тех пор, как они виделись в последний раз. Такая же прекрасная, такая же гневная, такая же сдержанная. Она не выразила ни удивления, ни вообще какого бы то ни было волнения при виде посетителей. Она попросила их сесть, но сама осталась стоять, и с первых слов сделала излишними всякие предисловия.

— Кажется, — сказала мисс Уэд, — я знаю, почему вы удостоили меня посещением. Будем говорить прямо.

— Итак, сударыня, — сказал мистер Мигльс, — причина нашего посещения — Тэттикорэм.

— Так я и думала.

— Мисс Уэд, — сказал мистер Мигльс, — скажите, пожалуйста, известно ли вам о ней что-нибудь?

— Конечно, известно, ведь она находится у меня.

— В таком случае, сударыня, — сказал мистер Мигльс, — позвольте мне сообщить вам, что я был бы рад, если бы она вернулась к нам, и что моя жена и дочь были бы рады, если бы она вернулась к нам. Она жила с нами много лет, мы признаем

ее права и, надеюсь, умеем прощать ей.

— Надеетесь, что умеете прощать, — повторила мисс Уэд ровным, мерным голосом. — Что прощать?

— По всей вероятности, мисс Уэд, — сказал Кленнэм, видя, что мистер Мигльс несколько опешил, — мой друг имеет в виду пылкий характер этой девушки, который побуждает ее иногда к необузданным выходкам.

Леди усмехнулась, переведя взгляд на него, и сказала:

— В самом деле?

Она стояла подле стола такая спокойная и невозмутимая, что мистер Мигльс смотрел на нее точно очарованный. Подождав немного, Артур спросил:

— Нельзя ли мистеру Мигльсу повидаться с ней, мисс Уэд?

— Нет ничего легче! Подите сюда, дитя мое!

Мисс Уэд отворила дверь в соседнюю комнату и вывела за руку Тэттикорэм. Любопытное зрелище представляли они вдвоем: девушка, перебиравшая пальцами складки своего платья с полусмущенным-полусердитым видом, мисс Уэд со своим спокойным лицом, внимательно наблюдавшая за ней, но самое спокойствие

ее изобличило бы для проницательного наблюдателя (как занавеска — форму предмета) необузданную страстность натуры.

— Взгляните, — сказала она тем же ровным голосом, — вот ваш покровитель, ваш господин. Он хочет взять вас обратно, если вы согласитесь принять эту милость и вернуться к нему. Вы можете опять сделаться рамкой для его хорошенькой дочери, игрушкой ее милых капризов, вывеской доброты этих господ. Вы можете снова получить смешную кличку, которая под видом шутки выделяет вас из их среды и напоминает вам, чтобы вы знали свое место (ваше происхождение — помните, вы не должны забывать о своем происхождении). Вас опять приставят к дочери этого джентльмена, Гарриет, как живое свидетельство ее превосходства и милостивой снисходительности. Вы можете вернуть себе все эти преимущества и многие другие, которые, наверно, всплывают в вашей памяти, по мере того как я говорю, и которых вы лишитесь, оставаясь со мной; вы можете вернуть их все, заявив этим господам о своем глубоком раскаянии и смирении, о своей готовности вернуться и получить прощение. Что же вы скажете, Гарриет? Хотите вернуться?

Девушка, возбуждение и гнев которой видимо росли под влиянием этих слов, подняла на мгновение свои блестящие черные глаза и ответила, стиснув в руках складки платья:

— Лучше умереть!

Мисс Уэд, по-прежнему стоявшая подле нее, не выпуская руки, спокойно взглянула на посетителей и сказала с улыбкой:

— Что вы теперь предпримете, господа?

Бедный мистер Мигльс был до того ошеломлен, услыхав такое истолкование его мотивов и действий, что до сих пор не мог выговорить ни слова, но теперь к нему вернулась способность речи.

— Тэттикорэм, позволь, я все-таки буду называть тебя этим именем, моя добрая девочка, так как знаю, что ничего, кроме любви и участия, не было у меня на уме, когда я дал его тебе, и ты сама знаешь это.

— Нет, не знаю! — возразила она, снова взглянув на него и продолжая терзать свое платье.

— Да, теперь, пожалуй, не знаешь, — подхватил мистер Мигльс, — теперь, когда глаза этой леди следят за тобой, когда ты находишься под ее влиянием, которое очевидно для нас; теперь, пожалуй, не знаешь, но в ее отсутствие не можешь не знать. Тэттикорэм, я не стану спрашивать у этой леди,

верит ли она сама тому, что говорит, даже теперь, в злобе и раздражении, тоже очевидных для меня и моего друга, хотя она умеет владеть собой — с этим согласится всякий, кто хоть раз ее видел. Не стану спрашивать и тебя — тебя, которая помнит мой дом и мою семью, — веришь ли ты ей. Скажу только, что тебе незачем давать обещания или просить прощения: ни я, ни мои домашние не требуют этого. Я прошу тебя только об одном: сосчитай до двадцати пяти, Тэттикорэм.

Она взглянула на него и сказала нахмурившись:

— Не хочу! Мисс Уэд, уведите меня, пожалуйста.

Дух сопротивления, овладевший ею, вытеснил все другие чувства; тут было столько же упрямства, сколько раздражения. Раскрасневшееся лицо, вздувшиеся жилки, прерывистое дыхание показывали, что она уже не в силах уступить.

— Не хочу, не хочу! — повторяла она глухим прерывающимся голосом. — Пусть меня на куски разорвут, не вернусь! Сама себя на куски разорву, а не вернусь!

Мисс Уэд, выпустив ее руку, обняла девушку, точно защищая, а затем повернулась к гостям и сказала с прежней улыбкой, прежним тоном:

— Что вы теперь предпримете, господа?

— О Тэттикорэм, Тэттикорэм! — воскликнул мистер Мигльс, протягивая к ней руки. — Вслушайся в этот голос, взгляни на это лицо, пойми, что таится в этом сердце, и подумай, какая будущность грозит тебе. Дитя мое, что бы ты ни думала, но влияние этой леди на тебя — влияние, которое поражает и, скажу более, ужасает нас, — коренится в необузданной злобе, в неукротимом характере, до которых и тебе далеко. Что вы будете делать вместе? Что из этого выйдет?

— Я здесь одинока, господа, — заметила мисс Уэд, не изменяя тона и позы, — вы можете говорить все, что вам вздумается.

— Вежливость должна отступить на задний план, сударыня, — сказал мистер Мигльс, — когда дело касается девушки, которую толкают на подобный шаг, хотя я буду вежлив, насколько возможно, несмотря на весь вред, что вы на моих глазах наносите ей. Простите, если я вам напомню в ее присутствии (я должен это сделать), что вы всегда были загадкой для всех нас и не имели ничего общего с нами, когда злая судьба толкнула ее на ваш путь. Я не знаю, кто вы такая, но вы не скроете, не можете скрыть, какой демон гнездится в вашем сердце. Если вы принадлежите к

числу тех женщин, которые, по каким бы то ни было причинам, находят жестокое наслаждение в том, чтобы делать других женщин такими же несчастными, как они сами (я настолько стар, что не могу не знать о существовании подобных женщин), то я предостерегаю ее против вас и вас против вас самих.

— Господа, — холодно сказала мисс Уэд, — когда вы закончите… мистер Кленнэм, быть может, вы убедите своего друга…

— Не прежде, чем я сделаю еще попытку, — настойчиво заявил мистер Мигльс, — Тэттикорэм, моя бедная девочка, сосчитай до двадцати пяти!

— Не отталкивайте этого доброго человека, — сказал Кленнэм тихим взволнованным голосом. — Вернитесь к друзьям, о которых вы не могли забыть. Одумайтесь.

— Не хочу, мисс Уэд, — сказала девушка, грудь которой тяжело вздымалась, а рука судорожно сжимала горло, — уведите меня.

— Тэттикорэм, — сказал мистер Мигльс, — еще раз прошу тебя, прошу об одном, только об одном, дитя мое: сосчитай до двадцати пяти!

Она зажала уши резким движением, от которого ее блестящие черные волосы рассыпались по плечам, и решительно повернулась к стене. Мисс

Уэд, следившая за ней до этой последней выходки с той же странной внимательной улыбкой и так же прижимая руку к груди, как в Марселе, теперь обняла ее за талию, как будто завладевая ею навсегда.

Когда она повернулась к посетителям, лицо ее дышало торжеством:

— Так как я в последний раз имею честь беседовать с вами и так как вы заявили, что не знаете, кто я такая, и упомянули о моем влиянии на эту девушку, я, пожалуй, объясню вам причину этого влияния. Оно коренится в нашей общей судьбе. Мое происхождение такое же, как ее, вашей разбитой игрушки. У нее нет имени, у меня нет имени. Ее обиды — мои обиды. Вот все, что я могу вам сказать!

Эти слова были обращены к мистеру Мигльсу, который грустно пошел к выходу. Когда Кленнэм последовал за ним, она обратилась к нему тем же ровным голосом, с тем же наружным спокойствием, но с улыбкой, встречающейся у жестоких людей: бледной улыбкой, которая слегка приподнимает ноздри, чуть трогает губы и исчезает не постепенно, а сразу.

— Надеюсь, — сказала она, — что жена вашего дорогого друга, мистера Гоуэна, будет счастлива,

сознавая разницу между своим происхождением, происхождением этой девушки и моим и наслаждаясь высоким положением, которое ее ожидает.

Глава XXVIII. Исчезновение

Не ограничившись этими попытками вернуть свою воспитанницу, мистер Мигльс написал ей письмо, дышавшее добротой, написал и мисс Уэд. Ответа на эти письма не последовало, так же как и на третье, посланное упрямице ее молодой госпожой (если что-нибудь могло смягчить ее, то, конечно, это письмо). Все три письма были возвращены несколько недель спустя, так как адресаты отказались их принять. Тогда мистер Мигльс отрядил свою супругу самолично попытать счастья. Эта достойная леди не могла добиться свидания, и тогда мистер Мигльс прибегнул к помощи Артура.

Единственным результатом этой новой попытки было открытие, что дом оставлен на попечение старухи, что мисс Уэд уехала, что чемоданы и дорожные вещи увезены и что старуха охотно принимает полукроны в каком угодно количестве, но не дает в обмен никаких полезных сведений, кроме предложения прочесть опись вещей, находившихся при доме, оставленную в передней помощником управляющего.

Несмотря на все эти неудачи, мистер Мигльс

не хотел отступиться от неблагодарной девушки и махнуть на нее рукой, так как надеялся, что лучшие черты ее характера еще возьмут верх над темными. В течение шести дней подряд он помещал в газетах объявление, в котором говорилось, что если молодая особа, необдуманно покинувшая дом своих воспитателей, вздумает когда-либо вернуться в Туикнем по приложенному адресу, то будет принята по-старому и не услышит никаких упреков. Объявление привело к самым неожиданным последствиям: оказалось, к великому смущению мистера Мигльса, что молодые особы ежедневно сотнями покидают родительские дома; во сяком случае, целые вереницы легкомысленных молодых особ стали являться в Туикнем и, не встретив восторженного приема, требовали вознаграждения за потерянное время и сверх того на карету туда и обратно. Но объявление привлекло не только этих непрошеных гостей. Градом посыпались письма благородных просителей, готовых, по-видимому, уцепиться за самый отдаленный предлог к попрошайничеству, — письма с просьбами о вспомоществовании в размере от десяти шиллингов до пятидесяти фунтов. Авторы этих посланий не могли сообщить никаких сведений относительно молодой особы,

но выражали уверенность, что пожертвование облегчит душу мистера Мигльса. Всевозможные прожектеры тоже не упустили случая завести переписку с мистером Мигльсом. Ему писали, например, что, прочитав его объявление, указанное автору письма приятелем, не преминут доводить до его сведения все, что удастся узнать насчет молодой особы, а пока будут весьма обязаны, если он согласится ссудить средства, необходимые для окончательного усовершенствования насоса новейшей системы, применение которого будет иметь самые счастливые последствия для всего человечества.

Под влиянием всех этих разочарований мистер Мигльс и его семья начинали, пусть и неохотно, мириться с мыслью, что Тэттикорэм пропала для них навсегда. В это самое время в одну из суббот новая и деятельная фирма «Дойс и Кленнэм» надумала посетить Туикнем, рассчитывая остаться там до понедельника. Старший компаньон взял карету, младший — свою палку и отправился пешком.

Тихий летний закат озарял его, когда он приближался к концу своего путешествия и проходил лугами вдоль реки. Он испытывал чувство покоя и облегчения, которое деревенская тишина

пробуждает в горожанах. Все кругом было так красиво и отрадно. Богатая листва деревьев, роскошная зелень лугов, пестревшая цветами, зеленые островки на реке, заросли камыша, водяные лилии, колыхавшиеся над водой, отдаленные голоса гребцов, гармонически сливавшиеся с журчанием волн и шорохом ветерка в листве, — все дышало покоем. Случайный всплеск рыбы или весла, щебетание запоздавшей птички, отдаленный лай собаки или мычание коровы — все эти звуки говорили о мире, о тишине, которую навевали ароматы, наполнявшие воздух. Длинные, красные и золотые полосы на небе, пышный ореол заходящего солнца были божественно спокойны. Пурпурные верхушки отдаленных деревьев, зеленый склон холма, по которому тихо ползли вечерние тени, тоже дышали покоем; ландшафт и его отражение в реке были почти неразличимы, одинаково безмятежны и ясны и сияли такой нежной, такой благодатной красотой, что вливали надежду и бодрость в умиротворенную душу зрителя, хотя мистическая тайна жизни и смерти реяла над ними.

Артур в сотый раз остановился посмотреть на окружающий ландшафт и запечатлеть в своей душе все, что видел, между тем как вечерние

тени все глубже и глубже опускались на воду. Снова тронувшись в путь, он увидел впереди на тропинке фигуру женщины, образ которой, быть может, уже не раз являлся его душе в связи с впечатлениями этого вечера.

Минни была одна. Она держала в руке букет роз и, по-видимому, поджидала Кленнэма. Лицо ее было обращено к нему: кажется, она пришла с противоположной стороны и остановилась, увидев его. Какая-то тревога, которой раньше Артур не замечал, сквозила в ее позе, и ему пришло в голову, что она нарочно вышла к нему навстречу поговорить.

Она подала ему руку и сказала:

— Вы удивляетесь, встретив меня здесь. Но вечер такой чудесный, что я незаметно зашла дальше, чем думала. Я вспомнила также, что могу встретиться с вами, и это придало мне храбрости. Ведь вы всегда приходите этой дорогой, не правда ли?

Кленнэм сказал, что это его любимая дорога, и вдруг почувствовал, что ручка, опиравшаяся на его руку, дрогнула и розы затрепетали.

— Хотите розу, мистер Кленнэм? Я нарвала их в саду. Собственно говоря, я нарвала их для вас, так как рассчитывала встретиться с вами. Мистер

Дойс приехал час назад и сказал, что вы пошли пешком.

Его рука тоже задрожала, когда он брал розы и благодарил ее. В эту минуту они подошли к аллее. Кто первый свернул с нее: он или она — трудно сказать. Кленнэм никогда не мог припомнить, как это случилось.

— Как здесь мрачно, — сказал Кленнэм, — а все-таки хорошо. Пройдя под этим темным сводом со светлой аркой на конце, мы выйдем к переправе и увидим вашу дачу с самой выгодной стороны.

В простой соломенной шляпе и легком летнем платье, с роскошными темными вьющимися волосами и удивительными глазами, на мгновение остановившимися на его лице с выражением, в котором уважение и доверие к нему сливались с робкой грустью за него, она сияла такой красотой, что для его спокойствия было очень хорошо (или очень дурно — он сам не знал наверно), что он принял мужественное решение, о котором так часто думал.

Она прервала минутное молчание, спросив, известно ли ему, что папа уже подумывал о новой поездке за границу. Он сказал, что слышал об этом. Снова наступило молчание, и снова она прервала его, заметив после некоторого колеба-

ния, что папа отказался от этой мысли.

«Они женятся!» — подумал он в ту же минуту.

— Мистер Кленнэм, — сказала она еще нерешительнее и боязливее, и так тихо, что ему пришлось наклонить голову, чтобы расслышать ее. — Мне бы очень хотелось поговорить с вами откровенно, если только моя откровенность не покажется вам навязчивой. Мне уже давно хочется поговорить с вами, потому что я чувствовала, что вы наш друг.

— Я могу только гордиться вашим доверием. Прошу вас, будьте со мной откровенны. Не бойтесь довериться мне.

— Я никогда не боялась довериться вам, — ответила она, подняв на него свой чистосердечный взгляд. — Я бы давно сделала это, если бы знала как, но я и теперь не знаю, с чего начать.

— Мистер Гоуэн, — сказал Артур Кленнэм, — должен считать себя счастливым человеком. Да благословит Бог его и жену его.

Она заплакала и попыталась поблагодарить его. Он успокаивал ее, он взял ее ручку, опиравшуюся на его руку, забрал из нее розы и поднес ее к губам. И ему показалось, что только теперь окончательно угасает надежда, тлевшая в его сердце и терзавшая его так жестоко, и с этого времени

он стал казаться себе человеком, для которого романтическая пора жизни уже закончилась.

Он спрятал розы на груди, и они шли несколько времени медленно и в молчании под тенью развесистых деревьев. Потом он спросил ее веселым, шутливым тоном, нет ли еще чего-нибудь, что она хотела бы сказать ему, как другу своего отца и своему другу, который на много лет старше ее; нет ли услуги или какого-нибудь одолжения, которое он мог бы оказать ей и чувствовать себя счастливым, что мог хоть немного содействовать ее счастью.

Она хотела ответить, но вдруг, под влиянием какой-то тайной грусти или сострадания к нему — кто мог бы определить это чувство? — снова залилась слезами и сказала:

— О мистер Кленнэм! Добрый, великодушный мистер Кленнэм, скажите, что вы не осуждаете меня!

— Мне осуждать вас? — воскликнул Кленнэм. — Милое дитя! Мне осуждать вас? Никогда!

Схватив обеими руками его руку и доверчиво глядя ему в лицо, она застенчиво старалась объяснить, что благодарна ему от всего сердца (что и было на самом деле источником ее волнения), и мало-помалу успокоилась. Время от времени он

ободрял ее ласковым словом, пока они тихонько шли под медленно темневшими деревьями.

— Что ж, Минни Гоуэн, — сказал, наконец, Кленнэм с улыбкой, — у вас, значит, нет ко мне никакой просьбы?

— О, очень большая!

— Очень рад. Я надеялся на это, и не обманулся в своей надежде.

— Вы знаете, как меня любят в семье и как я люблю свою семью. Вы, может быть, не поверите этому, дорогой мистер Кленнэм, — прибавила она взволнованно, — видя, что я добровольно и сознательно расстаюсь с ней, но я так люблю ее!

— Я уверен в этом, — сказал Кленнэм. — Неужели вы думаете, что я сомневаюсь в этом?

— Нет-нет! Но мне самой странно, что я решилась расстаться с теми, кого так люблю и кто меня так любит. Это должно казаться такой неблагодарностью.

— Милое дитя, — сказал Кленнэм, — это совершенно естественно и неизбежно. Во всех семьях бывает то же самое.

— Да, я знаю, но не во всех семьях остается такая пустота, какая останется в моей, когда я уйду. Конечно, есть много девушек гораздо лучше, милее и совершеннее меня, конечно, я не много значу

сама по себе, но для них-то я значу так много.

Любящее сердце Милочки переполнилось, и она зарыдала.

— Я знаю, как тяжело будет для папы мое отсутствие в первое время, и знаю, что я не буду для него в первое время тем, чем была так много лет. И я прошу и умоляю вас, мистер Кленнэм, именно в это время не забывать о нем и навещать его в свободное время, и говорить ему, что никогда во всю свою жизнь я не любила его больше, чем в минуту разлуки, потому что нет человека — он сам мне говорил это не далее как сегодня, — к которому бы он питал такое уважение и доверие, как к вам.

Кленнэм догадался, что произошло между отцом и дочерью, и эта догадка тяжким камнем легла ему на сердце; глаза его наполнились слезами. Он сказал веселым тоном, хотя не таким веселым, как ему бы хотелось, что ее просьба будет исполнена, что он дает ей честное слово.

— Если я не говорю о маме, — продолжила Милочка, еще более взволнованная и такая прелестная в своей тихой печали, что Кленнэм даже теперь не решался смотреть на нее и принялся отсчитывать деревья, остававшиеся до слабого света при выходе из аллеи, — то это потому, что

она лучше поймет меня, будет иначе чувствовать мое отсутствие и иначе смотреть на будущее. Но вы знаете, какая она нежная любящая мать, и не забудете ее тоже, не правда ли?

Он сделает все, он сделает все, что угодно Минни, сказал Кленнэм.

— И еще, дорогой мистер Кленнэм, — сказала Минни, — так как папа и один человек, которого мне не нужно называть, до сих пор не могли понять и оценить друг друга, как поймут и оценят со временем, и так как обязанностью, гордостью и счастьем моей новой жизни будет сделать все, чтобы они узнали друг друга, гордились друг другом, любили друг друга — они, которые оба так любят меня, — то я буду просить вас — вы такой добрый, такой справедливый! — в первое время нашей разлуки (я уеду далеко отсюда) попытайтесь примирить с ним папу, употребите все ваше влияние, чтобы представить его таким, каков он есть. Сделайте это для меня, как великодушный друг.

«Бедная Милочка! Легковерное наивное дитя! Когда же случались такие перемены в естественных отношениях между людьми? Когда же сглаживалась такая глубокая внутренняя рознь? Другие дочери не раз добивались того же, Минни,

но всегда безуспешно, никогда ничего не выходило из таких попыток».

Так думал Кленнэм. Он не сказал этого: поздно было говорить. Он обещал исполнить все ее желания, и она знала, что он исполнит их.

Они дошли до крайнего дерева аллеи. Минни остановилась и освободила свою руку. Подняв на него глаза и дотрагиваясь дрожащей рукой до его руки, она сказала:

— Дорогой мистер Кленнэм, я так счастлива, да, я счастлива, хотя вы и видели меня в слезах, что не могу перенести мысли, что между нами останется хоть легкое облачко. Если у вас есть что простить мне (не сознательную вину, а какое-нибудь огорчение, которое я могла нанести вам без умысла или потому, что не в моей власти было предотвратить его), то простите мне сегодня от всего вашего великодушного сердца!

Он наклонился к невинному личику, которое спокойно поднялось к нему навстречу, поцеловал его и сказал:

— Видит бог, мне нечего прощать.

Когда он нагнулся, чтобы еще раз взглянуть в это невинное личико, она шепнула ему:

— Прощайте!

Он ответил тем же. Он простился со своими

старыми надеждами, с мучительными сомнениями, терзавшими ничье сердце, и они вышли из аллеи рука об руку так же, как вошли в нее, и деревья сомкнулись за ними в темноте подобно их прошлому.

Голоса мистера и миссис Мигльс и Дойса явственно раздавались в саду близ калитки. Услышав, что они упоминают Милочку, Кленнэм крикнул:

— Она здесь, со мной!

Послышались удивленные голоса и смех, но когда все сошлись, наступило молчание, и Милочка незаметно скрылась.

В течение нескольких минут мистер Мигльс, Дойс и Кленнэм молча прохаживались взад и вперед по берегу реки при свете восходящей луны; потом Дойс отстал и ушел в дом. Еще несколько минут мистер Мигльс и Кленнэм прохаживались молча; наконец мистер Мигльс нарушил молчание.

— Артур, — сказал он, впервые за все время их знакомства обращаясь к нему так фамильярно, — помните ли вы, как мы прогуливались в то знойное утро в Марселе на карантинной стене, и я сказал вам, что мне и матери всегда казалось, будто покойная сестра Милочки растет вместе с

ней и изменяется вместе с ней?

— Помню.

— Помните, я говорил вам, что мы в своих мыслях никогда не могли разделить обеих сестер и что в нашем воображении она всегда сливается с Милочкой?

— Да, помню.

— Артур, — сказал мистер Мигльс с глубокой грустью, — сегодня я зашел еще дальше в моем воображении. Сегодня мне кажется, мой дорогой друг, что вы нежно любили мое покойное дитя и потеряли ее, когда она стала такой же, как теперь Милочка.

— Благодарю вас, — пробормотал Кленнэм, и крепко пожал ему руку.

— Пойдемте в дом? — предложил мистер Мигльс.

— Сейчас приду.

Мистер Мигльс ушел, и он остался один. Проходив еще полчаса по берегу реки, озаренной кротким светом луны, он поднес руку к груди и осторожно достал покоившиеся на ней розы. Быть может он прижал их к сердцу, быть может, прижал к губам, но во всяком случае наклонился над рекой и тихонько опустил их в воду, и река унесла их, бледные и призрачные при свете

месяца.

Когда он вернулся, в доме горели огни, и вскоре лица всех присутствующих, не исключая и его лица, приняли выражение мирного веселья. Они толковали о разных разностях (компаньон Кленнэма был просто неистощим по части всевозможных историй), пока не наступило время идти спать. А розы, бледные и призрачные при лунном свете, уплывали все дальше и дальше по реке. Так наши великие надежды и радости, когда-то волновавшие наше сердце, уплывают и исчезают в океане вечности.

Глава XXIX. Миссис Флинтуинч продолжает видеть сны

В течение всех вышеописанных происшествий старый дом в Сити сохранял свой мрачный вид, а его больная обитательница вела неизменно все тот же образ жизни. Утро, полдень и вечер, утро, полдень и вечер чередовались механически с унылым однообразием однажды заведенной машины.

Надо полагать, что кресло на колесах, как и всякая вещь, долгое время служившая человеческому существу, имело свои воспоминания и грезы. Картины уничтоженных улиц и перестроенных домов, какими они были в то время, когда владетельница кресла видела их; человеческие лица, рисовавшиеся в ее памяти такими, какими она видела их в последний раз, — множество таких образов должно было пройти перед ней в бесконечном однообразии ее мрачного существования. Останавливать часы деятельного существования на том часе, когда мы сами покончили с ним; воображать, что все человечество поражено параличом с той поры, как

мы сами перестали двигаться; не иметь другого мерила для оценки перемен, происходящих вне нашего кругозора, кроме нашего однообразного и бесцветного прозябания, — слабость многих больных и душевная болезнь почти всех затворников.

Какие сцены и какие лица воскресали в памяти этой суровой женщины в долгие годы затворничества, проведенные в этой темной комнате, — никому, кроме нее, не было известно. Мистер Флинтуинч, со своим умением сверлить человека, точно винт, и благодаря своему постоянному присутствию, быть может, и выжал бы что-нибудь из нее, если бы сопротивление было слабее, но эта женщина была слишком сильна для него. Что касается миссис Эффри, то ей достаточно было бессмысленно таращить глаза на своего законного повелителя и увечную госпожу, шмыгать по дому, накрыв голову передником, чтобы спрятаться от темноты, вечно прислушиваться к загадочным звукам и шорохам и по временам слышать их и никогда не выходить из болезненного, сонного, лунатического состояния.

Миссис Эффри догадывалась, что дела фирмы двинулись вперед, так как ее супруг усиленно занимался в своей маленькой конторе и при-

нимал больше посетителей, чем когда-либо за последние годы. Этим, впрочем, еще не много сказано, так как в последние годы дом был совершенно покинут клиентами, но теперь мистер Флинтуинч то и дело получал письма, принимал посетителей, вел книги и деловую корреспонденцию. Мало того, он посещал другие конторы, верфи, доки, таможню, Гарравейскую кофейню, Иерусалимскую кофейню, биржу, так что постоянно уходил со двора. По вечерам, когда миссис Кленнэм не выражала желания пользоваться его обществом, он уходил иногда в соседнюю таверну, где просматривал списки прибывших и уходящих судов и биржевую хронику в вечерних газетах и дружески беседовал со шкиперами торговых кораблей, посещавшими это заведение. Каждый день, в одно и то же время, он и миссис Кленнэм вели деловую беседу, и вечно подслушивавшей и подсматривавшей Эффри начинало казаться, что хитрецы не на шутку принялись заколачивать деньгу.

Странное состояние духа супруги мистера Флинтуинча начинало так резко проявляться в ее поступках и взглядах, что хитрецы почти махнули на нее рукой, решив, что она никогда не блистала умом, а теперь окончательно рех-

нулась. Потому ли, что в ее наружности не было ничего коммерческого, или опасаясь, как бы клиенты не усомнились в его рассудке, узнав, что он выбрал себе такую жену, — только мистер Флинтуинч запретил ей упоминать об их супружеских отношениях и называть его Иеремией при посторонних. Рассеянность, благодаря которой она часто забывала об этом приказании, усиливала ее ошалелый вид, так как мистер Флинтуинч в отместку за эти упущения набрасывался на нее на лестнице и встряхивал за плечи, окончательно расстраивая ее нервы вечным ожиданием новой встряски.

Крошка Доррит, закончив свою дневную работу в комнате миссис Кленнэм, прибирала остатки и обрывки материи перед уходом. Мистер Панкс, которого Эффри только что ввела в комнату, осведомлялся о здоровье миссис Кленнэм, заметив, что, так как ему случилось заглянуть в эти края, он и зашел спросить от имени своего хозяина, как она себя чувствует. Миссис Кленнэм посмотрела на него, сурово нахмурив брови, сказала:

— Мистер Кесби знает, что для меня не существует перемен. Единственная перемена, которой я ожидаю, — великая перемена.

— В самом деле, сударыня? — спросил Панкс,

посматривая как бы мимоходом на маленькую швею, подбиравшую лоскутки и нитки с ковра. — У вас, однако, чудесный вид, сударыня.

— Я несу бремя, которое на меня возложено, — ответила она. — А вы исполняйте обязанности, которые на вас возложены.

— Благодарствуйте, сударыня, — сказал мистер Панкс, — я стараюсь по мере сил.

— Вы часто бываете в этих краях? — спросила миссис Кленнэм.

— Да, сударыня, — сказал Панкс, — последнее время довольно часто, даже очень часто, по разным делам.

— Попросите от моего имени мистера Кесби и его дочь не утруждать себя, посылая ко мне разных людей. Если они пожелают меня видеть, то я, как им известно, всегда дома. Незачем посылать ко мне. Да и вам незачем трудиться заходить.

— Какой же это труд, сударыня, — возразил мистер Панкс. — Право, у вас удивительно свежий вид, сударыня.

— Благодарю вас. Прощайте!

Это последнее заявление, сопровождавшееся указанием на дверь, было настолько коротко и ясно, что мистеру Панксу оставалось только убраться подобру-поздорову. Он взъерошил воло-

сы с самым молодецким видом, снова взглянул на маленькую фигурку и сказал:

— Прощайте, сударыня, не провожайте меня, миссис Эффри, я сам найду дорогу.

Он запыхтел прочь, а миссис Кленнэм, опираясь подбородком на руку, проводила его пристальным и крайне недоверчивым взором, в то время как Эффри смотрела на нее точно очарованная.

Медленно и неохотно обратились глаза миссис Кленнэм от двери, за которой исчез мистер Панкс, к Крошке Доррит, вставшей с ковра. Еще тяжелее опираясь подбородком на руку, больная следила за ней своими зоркими, пронизывающими глазами, пока девушка не взглянула на нее. Крошка Доррит слегка покраснела под ее взглядом и опустила глаза. Миссис Кленнэм попрежнему смотрела на нее.

— Крошка Доррит, — сказала она наконец, — что вы знаете об этом человеке?

— Очень мало, сударыня; я встречалась с ним несколько раз, и он говорил со мной.

— Что же он говорил?

— Я не могла понять... что-то такое странное, но ничего грубого или неприятного.

— Зачем он явился сюда посмотреть на вас?

— Не знаю, сударыня, — чистосердечно ответи-

ла Крошка Доррит.

— Но вы знаете, что он явился сюда для того, чтобы видеть вас?

— Мне самой так показалось, — сказала Крошка Доррит. — Но зачем ему видеть меня здесь или где бы то ни было, я не знаю, сударыня.

Миссис Кленнэм опустила глаза и задумалась с тем же суровым каменным лицом, как будто следила за предметом своих мыслей так же пристально, как раньше за девушкой, о которой, казалось, забыла. Прошло несколько минут, прежде чем она очнулась от задумчивости и приняла свой обычный невозмутимый вид.

Крошка Доррит собиралась уходить, но не решалась тревожить ее. Наконец, она решилась сойти с места, на котором стояла с тех пор, как встала с ковра, тихонько подошла к креслу и сказала:

— Покойной ночи, сударыня.

Миссис Кленнэм подняла руку и положила ей на плечо. Крошка Доррит, смущенная этим прикосновением, слегка вздрогнула. Быть может, она вспомнила сказку о принцессе.

— Скажите, Крошка Доррит, теперь у вас много друзей? — спросила миссис Кленнэм.

— Очень мало, сударыня. Кроме вас только

мисс Флора и… еще один.

— Этот самый? — сказала миссис Кленнэм, указывая на дверь своим несгибающимся пальцем.

— О нет, сударыня.

— Может быть, кто-нибудь из его друзей?

— Нет, сударыня. — Крошка Доррит серьезно покачала головой. — О нет. Мой друг совсем не похож на него и не имеет с ним ничего общего.

— Ну хорошо, — сказала миссис Кленнэм, почти улыбаясь. — Это не мое дело. Я спрашиваю потому, что принимаю в вас участие и думаю, что была вашим другом, когда других друзей у вас не было. Так ли это?

— Да, сударыня, совершенно верно. Было время, когда нам пришлось бы очень плохо, не будь вас и работы, которую вы мне давали.

— Нам, — повторила миссис Кленнэм, взглянув на часы, когда-то принадлежавшие ее покойному мужу и постоянно находившиеся перед ней на столе. — Сколько же вас?

— Только мой отец и я, сударыня. Я хочу сказать, что только мой отец и я постоянно существуем на те средства, которые я зарабатываю.

— Вам пришлось испытать много лишений? Вам, и вашему отцу, и остальным, сколько вас есть? — спросила миссис Кленнэм, задумчиво

поворачивая в руках часы.

— Иногда приходилось довольно трудно, — ответила Крошка Доррит своим тихим голосом и со своей робкой, но спокойной манерой, — но я думаю, не труднее, чем… большинству людей.

— Хорошо сказано! — живо подхватила миссис Кленнэм. — Это правда. Вы добрая, рассудительная и благодарная девушка, если только я умею разбираться в людях.

— Как же мне не быть благодарной? Тут нет никакой заслуги, — сказала Крошка Доррит. — Да, я очень благодарна вам.

Миссис Кленнэм с нежностью, какой вечно грозившая миссис Эффри не предположила бы в своей госпоже даже в своих самых смелых грезах, наклонилась к маленькой швее и поцеловала ее в лоб.

— Ну, идите, Крошка Доррит, а то опоздаете, дитя мое!

С тех пор, как сны наяву стали одолевать миссис Эффри, ей ни разу не приходилось видеть такого поразительного сна. Голова у нее пошла кругом при мысли, что теперь остается только другому хитрецу поцеловать Крошку Доррит, а затем обоим хитрецам кинуться друг другу в объятия и залиться слезами сострадания к человечеству.

Эта мысль, совершенно ошеломительная, донимала ее все время, пока спускалась по лестнице, чтобы затворить дверь за девушкой.

Отворив ее для Крошки Доррит, миссис Эффри убедилась, что мистер Панкс не ушел, как можно было бы ожидать в менее странном месте и при менее странных обстоятельствах, а шмыгал взад и вперед по двору. Увидев Крошку Доррит, он быстро прошмыгнул мимо нее, буркнув на ходу (миссис Эффри явственно слышала его слова), приставив палец к носу:

— Панкс-цыган, предсказатель будущего!

— Господи помилуй, ну вот еще какие-то цыгане и предсказатели завелись! — воскликнула миссис Эффри. — Что же дальше будет?

Она стояла у дверей в бурный дождливый вечер, ломая голову над этой загадкой. Облака неслись по небу, ветер налетал порывами, хлопал ставнями соседних домов, вертел флюгера и ржавые колпаки на трубах и бушевал на соседнем кладбище, как будто хотел выгнать покойников из могил. Гром, глухо раскатываясь по всему небу, казалось, грозил местью за такое святотатство и бормотал: «Оставь их в покое, оставь их в покое».

Миссис Эффри, боявшаяся грома и молнии не меньше, чем зловещего дома с его таинственны-

ми шорохами и темнотой, стояла в нерешительности: вернуться ей домой или нет, — пока вопрос этот не был решен ветром, который захлопнул двери перед ее носом, оставив ее на дворе.

— Что теперь делать, что теперь делать? — воскликнула миссис Эффри, ломая руки в этом последнем и самом мучительном сне наяву. — Она сидит там одна, и ей так же невозможно спуститься и отворить мне, как тем мертвецам на кладбище!

В этом безвыходном положении миссис Эффри, накрыв голову передником от дождя, с плачем бегала по двору, потом остановилась и заглянула в замочную скважину, как будто ее глаз был ключом, который мог отворить дверь. Зачем она это сделала, трудно сказать; впрочем, многие в ее положении сделали бы то же самое.

Вдруг она выпрямилась с глухим криком, почувствовав что-то тяжелое на своем плече. Это была рука — рука мужчины.

Мужчина был одет по-дорожному, в шапке с меховой оторочкой и длинном плаще, и выглядел иностранцем.

У него были густые волосы и усы — черные как смоль и только на концах с рыжеватым оттенком, — ястребиный нос. Он засмеялся, когда

миссис Эффри испугалась и вскрикнула, и когда он засмеялся, его усы поднялись кверху, а нос опустился над усами.

— В чем дело? — спросил он на чистейшем английском языке. — Чего вы испугались?

— Вас, — пролепетала Эффри.

— Меня, сударыня?

— И этого ужасного вечера и всего, — сказала Эффри. — А тут еще, посмотрите, ветер захлопнул дверь, и я не могу попасть в дом.

— Ага, — сказал незнакомец, отнесясь к этому заявлению очень хладнокровно. — В самом деле? А не случалось ли вам слышать в этих местах фамилию Кленнэм?

— Господи помилуй, еще бы не случалось, еще бы не случалось! — завопила Эффри в новом припадке отчаяния.

— Где она живет?

— Где? — воскликнула Эффри, снова прильнув к замочной скважине. — Где же ей жить, как не в этом доме? И вот она сидит одна-одинешенька в своей комнате, не владея ногами, не может двинуться, чтобы помочь себе или мне, а другой хитрец ушел. Господи, прости меня грешную! — вопила Эффри, пускаясь в какую-то бешеную пляску под влиянием всех этих соображений. — Я

с ума сойду сегодня.

Незнакомец, заинтересовавшийся этим положением вещей, когда оказалось, что оно касается и его, отступил шага на два, чтобы окинуть взглядом дом, и глаза его вскоре остановились на высоком узком окне маленькой комнатки подле передней.

— Где же комната дамы, которая не владеет ногами, сударыня? — спросил он со своей характерной усмешкой, которая так поразила миссис Эффри, что та уставилась на него во все глаза.

— Наверху! — ответила она. — Вон те два окна.

— Ага! Мне, хоть я и высок ростом, не представиться ей без помощи лестницы. Ну-с, сударыня, говоря откровенно — откровенность в моем характере, — отворить вам дверь?

— Да, пожалуйста, сэр, будьте так любезны, и поскорее, — воскликнула Эффри, — потому что она, пожалуй, зовет меня в эту самую минуту, или, может быть, на ней загорелось от камина платье, и она горит заживо, да и мало ли что может случиться, подумать только — с ума сойдешь!

— Постойте, добрейшая моя! — Он остановил ее своей белой гладкой рукой. — Я полагаю, дела на сегодня уже закончены.

— Да, да, да, — воскликнула Эффри, — давным-давно!

— Позвольте же мне сделать вам одно честное предложение. Честность — тоже черта моего характера. Я, как вы сами можете догадаться, прямо с парохода. — Он указал ей на свои мокрые сапоги и плащ, хоть она уже успела заметить, что он забрызган грязью, растрепан и стучит зубами от холода. — Я прямо с парохода, сударыня, меня задержала погода, адская погода! Вследствие этого одно важное дело (важное, потому что денежное), которое я должен был сделать здесь в положенный час, до сих пор остается несделанным. А покончить с ним необходимо. Итак, если вы найдете мне подходящего субъекта, который бы устроил мне это дело, я вам отворю. Если же это условие не подходит вам... — И с той же усмешкой он сделал вид, что уходит.

Миссис Эффри сердечно обрадовалась предложенному компромиссу и выразила свое согласие. Незнакомец попросил ее подержать его плащ, разбежался, вскочил на подоконник узкого окна и моментально поднял раму. Когда он заносил ногу, чтобы вскочить в комнату, и оглянулся на миссис Эффри, глаза его сверкнули таким зловещим огнем, что она вся похолодела. «Что, если

он пойдет теперь прямо к больной, да и убьет ее? — подумала она. — Как я ему помешаю?»

К счастью, у него не было таких планов, так как в ту же минуту он явился на пороге дома.

— Ну-с, добрейшая моя, — сказал он, взяв у нее плащ и снова накинув на плечи, — теперь будьте так любезны… Что за чертовщина?

Это был самый странный шум, очевидно раздавшийся поблизости, так как даже воздух заколебался, и в то же время глухой, как будто шел издалека.

Шелест, шорох, падение какого-то легкого сухого вещества.

— Что за чертовщина?

— Не знаю, что это такое, но я слышу его постоянно, — сказала Эффри, уцепившись за его руку.

Кажется, он был не храброго десятка — она заметила это, несмотря на свой ужас и бред наяву, потому что его дрожащие губы побелели. В течение нескольких минут он прислушивался, потом успокоился.

— Ба! Пустяки! Ну-с, дорогая, вы, помнится, говорили о каком-то хитреце. Не будете ли добры познакомить меня с этим гением?

Он держался за дверь, как будто готовился захлопнуть ее снова, если Эффри откажется.

— Вы ничего не скажете о случае с дверью? — прошептала она.

— Ни слова.

— И не тронетесь с места, и не откликнетесь, если она будет звать, пока я сбегаю за ним?

— Сударыня, я превращусь в статую!

Эффри так боялась, что он проберется наверх, как только она повернется к нему спиной, что, выбежав на улицу, вернулась к воротам и украдкой взглянула на него. Видя, что он стоит на пороге, скорее вне дома, чем внутри, как будто боится темноты, и не имеет ни малейшего желания исследовать тайны этого жилища, она сломя голову помчалась на соседнюю улицу и, добежав до таверны, послала вызвать мистера Флинтуинча, который и вышел немедленно. Когда супруги подбежали к дому: жена впереди, а мистер Флинтуинч за ней, одушевленный надеждой задать ей встряску, прежде чем она улепетнет в дом, — им бросилась в глаза фигура незнакомца, стоявшего на пороге. В то же время они услышали резкий голос миссис Кленнэм, кричавшей из своей комнаты:

— Кто там? Что случилось? Отчего никто не отворяет? Кто там внизу?

Глава XXX. Слово джентльмена

Когда супруги, задыхаясь от бега, появились у дверей старого дома, незнакомец, увидев в полумраке лицо Иеремии, следовавшего по пятам за Эффри, вздрогнул и отмахнулся.

— Черт побери! — воскликнул он. — Вы как сюда попали?

Мистер Флинтуинч, к которому относились эти слова, изумился не меньше самого незнакомца. Он вытаращил на него глаза в полном недоумении, оглянулся, как будто ожидая увидеть кого-нибудь за своей спиной, снова уставился на незнакомца, не понимая, что тот хотел сказать, взглянул на жену, ожидая объяснения, и, не получив его, набросился на нее и принялся трясти с таким усердием, что чепчик слетел с ее головы. Он приговаривал сквозь зубы со злобной насмешкой:

— Эффри, жена моя, тебе нужна порция, жена моя! Ты опять за свои штуки! Ты опять видела сон, сударыня! Это что такое? Это кто такой? Это что значит? Говори, или задушу! Выбирай любое!

Предполагая, что миссис Эффри обладала способностью выбирать в эту минуту, пришлось бы

прийти к заключению, что она выбрала удушение, так как не отвечала ни слова на требование мужа, а покорно подчинялась встряске, от которой голова ее болталась из стороны в сторону. Незнакомец, однако, вступился за нее, вежливо подняв с пола чепчик.

— Позвольте, — сказал он, положив руку на плечо Иеремии, который тотчас выпустил свою жертву. — Благодарю вас. Виноват. Муж и жена, конечно, судя по вашей игривости. Ха-ха! Приятно видеть такие отношения между супругами. Послушайте, могу ли я обратить ваше внимание на то, что какая-то особа наверху, в темноте, крайне энергично выражает желание узнать, что здесь происходит?

Это напоминание заставило мистера Флинтуинча войти в переднюю и крикнуть наверх:

— Не беспокойтесь, я здесь! Эффри сейчас принесет вам свет! — Затем он крикнул своей ошеломленной супруге, которая тем временем надела чепчик — Убирайся, пошла наверх! — и, обратившись к незнакомцу, спросил: — Ну, сэр, что вам угодно от меня?

— Боюсь показаться навязчивым, — ответил тот, — однако попросил бы вас зажечь свечу.

— Правда, — согласился Иеремия, — я и сам

собирался сделать это. Постойте, пожалуйста, здесь, пока я не раздобуду огня…

Посетитель остался у порога, но повернулся лицом к темной передней, чтобы видеть мистера Флинтуинча, пока тот разыскивал спички в соседней комнате. Когда наконец нашел, оказалось, что они отсырели или просто попортились от какой-нибудь причины: спичка за спичкой вспыхивали, озаряя бледным светом его лицо, но не разгорались настолько, чтобы зажечь свечу. Незнакомец, пользуясь этим мерцающим светом, пристально и пытливо всматривался в его лицо. Иеремия, которому удалось наконец зажечь свечу, заметил это, уловив выражение на его лице — выражение напряженного внимания, — сменившееся двусмысленной улыбкой, характерной для его физиономии.

— Будьте так добры, — сказал Иеремия, запирая наружную дверь и в свою очередь пристально вглядываясь в улыбавшегося незнакомца, — войдите в контору… Говорят вам, не беспокойтесь! — сердито крикнул он в ответ на голос, все еще раздававшийся сверху, хотя Эффри была уже там и что-то говорила убедительным тоном. — Сказано вам: все обстоит благополучно!.. Нелепая женщина, никакого сладу с ней нет!

— Трусиха? — заметил незнакомец.

— Трусиха? — повторил мистер Флинтуинч, повернув к нему голову. — Из сотни мужчин девяносто не поравняются с ней храбростью, позвольте вам сказать.

— Хотя и калека?

— Много лет. Миссис Кленнэм, единственный представитель фирмы из этой фамилии. Мой компаньон.

Пробормотав в виде извинения несколько слов по поводу того, что в это время дня они не принимают по делам и запираются на ночь, мистер Флинтуинч провел гостя в свою контору, имевшую довольно деловой вид. Тут он поставил свечу на стол и, скрючившись сильнее, чем когда-либо, сказал незнакомцу:

— К вашим услугам.

— Мое имя Бландуа.

— Бландуа! В первый раз слышу, — сказал Иеремия.

— Я полагал, — возразил тот, — что вы, быть может, уже получили извещение из Парижа…

— Мы не получали никакого извещения из Парижа относительно Бландуа, — сказал Иеремия.

— Нет?

— Нет.

Иеремия стоял в своей любимой позе. Улыбающийся мистер Бландуа распахнул свой плащ и засунул руку во внутренний карман, но остановился и с улыбкой в искрящихся глазах, которые показались мистеру Флинтуинчу слишком близко поставленными друг к другу, заметил:

— Как вы похожи на одного моего приятеля! Не точка в точку, положим, как мне показалось в первую минуту, в чем считаю долгом извиниться и извиняюсь, с вашего позволения (готовность признавать свои ошибки — одна из черт моего открытого характера), но все-таки удивительно похожи.

— В самом деле? — буркнул Иеремия довольно нелюбезно. — Но я ниоткуда не получал никакого рекомендательного письма ни о каком Бландуа.

— Так, — сказал незнакомец.

— Так, — подтвердил Иеремия.

Мистер Бландуа, ничуть не обескураженный такой небрежностью со стороны корреспондентов фирмы «Кленнэм и К°», достал из кармана записную книжку, вынул из книжки письмо и подал его мистеру Флинтуинчу.

— Вы, без сомнения, знакомы с этим почерком. Может быть, письмо говорит само за себя и не требует рекомендаций. Вы гораздо более компе-

тентный судья в этих делах, чем я. На мою беду, я не столько деловой человек, сколько джентльмен, как выражаются (произвольно) в свете.

Мистер Флинтуинч взял письмо с парижским штемпелем и прочел: «Рекомендуем вашему вниманию, по рекомендации одного весьма уважаемого корреспондента нашей фирмы, г-на Бландуа из Парижа…» — и прочее и прочее. «Все услуги и внимание, которое вы можете ему оказать…» — и прочее и прочее. «Прибавим в заключение, что, открыв г-ну Бландуа кредит в размере пятидесяти (50) фунтов стерлингов…» — и прочее и прочее.

— Очень хорошо, сэр, — сказал мистер Флинтуинч. — Присядьте. В пределах, доступных нашей фирме (мы ведем дела на старинный лад, без блеска и треска, на прочном основании) мы будем рады оказать вам всяческие услуги. Я вижу по штемпелю письма, что мы еще не могли получить уведомление. Вероятно, оно прибыло с запоздавшим пароходом, на котором прибыли и вы.

— Что прибыл с запоздавшим пароходом, сэр, — ответил мистер Бландуа, проводя белой рукой по своему ястребиному носу, — я знаю по состоянию моей головы и желудка — отвратительная

и невыносимая погода дала себя знать им обоим. Вы встретили меня в том же виде, в каком я сошел с парохода полчаса назад. Я должен был явиться давным-давно, и тогда бы мне не пришлось извиняться; теперь прошу извинения, с вашего позволения, за несвоевременный визит и за то, что напугал — впрочем, нет, вы сказали: не напугал, вторично прошу извинения, — почтенную больную леди, миссис Кленнэм.

Нахальство и самоуверенно-снисходительный тон много значат, так что мистер Флинтуинч уже начинал находить этого господина не на шутку важной особой. Не сделавшись от этого более уступчивым, он поскреб пальцами подбородок и спросил, чем может служить господину Бландуа в настоящее время, когда дела кончены.

— Вот что, — ответил этот джентльмен, пожав плечами, — мне нужно переодеться, закусить, выпить чего-нибудь и поместиться где-нибудь на ночь. Будьте добры указать мне гостиницу. Я совершенно незнаком с Лондоном. Цена не играет для меня роли. Чем ближе, тем лучше. В соседнем доме, если есть.

— Для джентльмена с вашими привычками, — начал мистер Флинтуинч, — не найдется подходящей гостиницы поблизости…

Но мистер Бландуа перебил его, щелкнув пальцами:

— К черту мои привычки, почтеннейший! У гражданина мира нет привычек. Правда, я джентльмен, какой бы там ни было, этого не стану отрицать, но без предрассудков и обхожусь без всяких стеснительных привычек. Чистая комната, горячий обед, бутылка не очень кислого вина — вот все, что мне требуется, но требуется до зарезу, и ради этого я не собираюсь сделать ни одного лишнего шага.

— Тут есть поблизости, — сказал мистер Флинтуинч как-то особенно осторожно, встретившись на мгновение взглядом с беспокойными, сверкающими глазами мистера Бландуа, — тут есть поблизости таверна, которую я могу рекомендовать, но она не отличается хорошим тоном…

— К черту хороший тон! — сказал мистер Бландуа, махнув рукой. — Потрудитесь проводить меня в вашу таверну, если это не слишком затруднит вас, и я буду вам бесконечно обязан.

Мистер Флинтуинч надел шляпу и со свечой проводил гостя в переднюю. Тут, поставив подсвечник, он вспомнил о больной и сказал, что ему нужно предупредить ее о своей отлучке.

— Будьте любезны, — сказал гость, — передать

ей мою карточку и прибавить, что я был бы счастлив лично засвидетельствовать свое почтение миссис Кленнэм и извиниться за беспокойство, которое причинило мое появление в этом мирном убежище, если только она соблаговолит принять меня, после того как я переоденусь и подкреплю свои силы.

Иеремия отправился с этим поручением, а вернувшись, сказал:

— Она будет рада принять вас, сэр, но, сознавая, что комната больной не может представлять ничего привлекательного, просит меня передать вам, что не будет в претензии, если вы предпочтете уклониться от визита.

— Уклониться от визита значило бы проявить невнимание к даме, — возразил галантный Бландуа, — а проявить невнимание к даме значило бы обнаружить нерыцарское отношение к прекрасному полу; рыцарское же отношение к прекрасному полу — одна из черт моего характера.

Высказав свои рыцарские взгляды, он перекинул через плечо запачканную грязью полу своего плаща и последовал за мистером Флинтуинчем в таверну, захватив по дороге своего носильщика с чемоданом, дожидавшегося у ворот.

Таверна оказалась очень скромной, но снисходительность мистера Бландуа не имела границ. Она была слишком объемиста для тесного помещения, в котором приняли его хозяйки: вдова и две дочери, стоявшие за прилавком; не могла уместиться в выбеленной комнатке с этажеркой, куда его пригласили сначала, и совершенно наполнила собой маленькую парадную гостиную, где он поместился наконец. Здесь, переодевшись, причесавшись, в надушенном белье, с большими перстнями на обоих указательных пальцах, мистер Бландуа, поджидавший обеда, развалившись на кушетке под окном, поразительно и зловеще напоминал (несмотря на разницу в обстановке и костюме) некоего г-на Риго, который когда-то точно так же поджидал завтрака, развалившись на выступе окна с железной решеткой в отвратительной марсельской тюрьме.

Его жадность за обедом тоже точь-в-точь напоминала жадность г-на Риго за завтраком. Та же хищная манера придвигать к себе все блюда зараз и, пожирая одно, пожирать глазами остальные. То же грубое себялюбие и полнейшее невнимание к другим, сказывавшееся в бесцеремонном обращении с хозяйскими вещами, с подушками, которые он подкладывал под ноги, с чистыми

чехлами, которые он безжалостно мял своим грузным туловищем и огромной черной головой. Те же мягкие гибкие движения рук, напоминавших руки, цеплявшиеся за решетку тюрьмы. Когда же он наелся до отвала и, облизав свои тонкие пальцы, вытер их салфеткой, для полноты сходства недоставало только виноградных листьев.

Этот человек, с его зловещей улыбкой, щетинистыми усами, ястребиным носом, глазами, которые казались подкрашенными, как его волосы, и потому утратившими способность отражать свет, был отмечен самой природой, правдивой, мудрой природой, наложившей на него клеймо: «Берегитесь!» Не ее вина, если это предостережение оказывалось бесполезным. Природу никогда нельзя винить в этом случае.

Покончив с обедом и вытерев пальцы, мистер Бландуа достал из кармана сигару и, по-прежнему развалившись на кушетке, закурил, выпуская из тонких губ тонкие струйки дыма и время от времени обращаясь к ним с речью:

— Бландуа, голубчик, ты-таки возьмешь свое. Ха-ха! Ей-богу, ты хорошо начал, Бландуа. В случае необходимости — превосходный учитель английского или французского языка, самый подходящий для почтенной семьи! Ты сообра-

зителен, остроумен, свободен в обращении, с обворожительными манерами, с интересной наружностью — джентльмен да и только! Ты проживешь джентльменом, милый мой, и умрешь джентльменом. Ты выиграешь любую игру. Все признают твои заслуги, Бландуа. Твой гордый дух покорит общество, которое так жестоко оскорбило тебя. Черт побери, ты горд по натуре и по праву, мой милый Бландуа! — Утешаясь такими речами, мистер Бландуа выкурил сигару и прикончил бутылку вина, затем присел на кушетку и, воскликнув серьезным тоном: — Теперь держись, Бландуа! Ты находчив, собери же всю свою находчивость! — встал и отправился в дом фирмы «Кленнэм и К°».

Его встретила у дверей миссис Эффри, которая, по приказанию своего супруга, зажгла две свечи в передней, а третью на лестнице и проводила гостя в комнату миссис Кленнэм. Там был приготовлен чай и все, что требуется для приема ожидаемых гостей. Впрочем, приготовления эти в самых торжественных случаях ограничивались тем, что на столе появлялся китайский чайный сервиз, а постель накрывалась чистым темным покрывалом. В остальном изменений не было. Диван в виде катафалка с подушкой, напомина-

ющей плаху, фигура во вдовьем наряде, точно ожидающая казни, уголья, тлеющие в груде золы, решетка, засыпанная золой, чайник над огнем и запах черной краски — все это оставалось неизменным в течение пятнадцати лет.

Мистер Флинтуинч представил джентльмена, рекомендованного вниманию фирмы «Кленнэм и К°». Миссис Кленнэм, перед которой лежало письмо, наклонила голову и предложила гостю садиться. Они пристально взглянули друг на друга. В этом, впрочем, сказывалось только весьма естественное любопытство.

— Благодарю вас, сэр, за любезное внимание к жалкой больной. Немногочисленные посетители, являющиеся в этот дом по делам, редко вспоминают о моем существовании. Да и странно было бы требовать иного. С глаз долой — из сердца вон. Впрочем, хотя я и благодарна за исключение, но не жалуюсь на общее правило.

Мистер Бландуа самым любезным тоном высказал опасение, что обеспокоил ее, явившись так несвоевременно. Он уже имел случай извиниться перед мистером… виноват… он не имеет чести знать…

— Мистер Флинтуинч уже много лет принимает участие в делах фирмы.

Мистер Бландуа — покорнейший слуга мистера Флинтуинча. Он просит его принять уверение в своем совершеннейшем почтении.

— По смерти моего мужа, — сказала миссис Кленнэм, — мой сын избрал для себя другой род деятельности, так что в настоящее время единственный представитель нашей фирмы — мистер Флинтуинч.

— А себя-то забыли? — проворчал мистер Флинтуинч. — Вы стоите двоих.

— Мой пол не позволяет мне, — продолжила она, взглянув мельком на Иеремию, — принимать ответственное участие в делах фирмы, допуская даже, что я обладаю деловыми способностями; ввиду этого мистер Флинтуинч защищает и свои и мои интересы. Наши операции не те, что были, однако некоторые из наших старых друзей (в особенности авторы этого письма) не забывают нас, и мы исполняем их поручения так же усердно, как в прежнее время. Впрочем, это вряд ли интересно для вас. Вы англичанин, сэр?

— Откровенно говоря, сударыня, нет; я родился и воспитывался не в Англии. В сущности, у меня нет родины, — прибавил мистер Бландуа, похлопывая себя по вытянутой ноге, — полдюжины стран можно назвать моей родиной.

— Вы много путешествовали?

— Много. По чести, сударыня, я побывал везде.

— Вероятно, вы ничем не связанный человек? Вы не женаты?

— Сударыня, — ответил мистер Бландуа с отвратительной гримасой, — я обожаю женщин, но не женат и никогда не был.

Миссис Эффри, стоявшая подле стола, наливая чай в своем обычном полусонном состоянии, случайно взглянула на гостя в ту минуту, когда он говорил эти слова, и уловила выражение его глаз, которое почему-то приковало ее внимание. Рука ее, державшая чайник, так и застыла в воздухе, глаза уставились на гостя, что вовсе не доставило удовольствия ни ей самой, ни ему, ни миссис Кленнэм, ни мистеру Флинтуинчу. Так прошло несколько томительных минут, причем все смотрели друг на друга с недоумением, сами не понимая, в чем дело.

— Что с вами, Эффри? — сказала, наконец, миссис Кленнэм.

— Я не знаю, — сказала миссис Эффри, показывая на посетителя свободной левой рукой. — Это не я, это он.

— Что хочет сказать эта добрая женщина? — воскликнул мистер Бландуа, побледнев, потом

побагровев, медленно поднимаясь с места и окидывая Эффри взглядом смертельной ненависти, поразительно противоречившим простому значению его слов. — Решительно не понимаю этой доброй женщины!

— Ее решительно никто не понимает, — подхватил мистер Флинтуинч, направляясь к своей супруге. — Она сама не знает, что хочет сказать. Она идиотка, полоумная! Ей нужно закатить порцию, закатить ха-арошую порцию. Убирайся отсюда, жена, — прибавил он ей на ухо, — проваливай, пока я не вытряхнул из тебя душонку.

Миссис Эффри, сознавая надвигавшуюся опасность, выпустила чайник, но его успел подхватить ее супруг, накрыла голову передником и моментально испарилась. Лицо гостя мало-помалу расплылось в улыбке, и он снова уселся.

— Извините ее, мистер Бландуа, — сказал Иеремия, принимаясь наливать чай. — Она иногда заговаривается — не в своем уме. Вам положить сахару, сэр?

— Благодарю вас, я не пью чаю, виноват… Какие замечательные часы.

Чайный стол стоял подле дивана, так что между ним и рабочим столиком миссис Кленнэм оставался лишь небольшой промежуток. Мистер

Бландуа со своей обычной галантностью передал хозяйке чашку чаю (тарелка с сухариками стояла подле нее), и в это время ему бросились в глаза часы. Миссис Кленнэм быстро взглянула на него.

— Вы позволите? Благодарю вас. Прекрасные старинные часы, — сказал он, взяв их в руку. — Тяжеловатые, зато массивные и неподдельные. Я питаю пристрастие ко всему неподдельному. Я сам такой. А! Мужские часы в двойном футляре, по старинной моде. Можно их вынуть из наружного футляра? Благодарю вас. Ага! Старая шелковая подушечка для часов, шитая бисером. Я часто видывал такие у стариков в Голландии и Бельгии. Очень мило.

— Тоже старомодная, — заметила миссис Кленнэм.

— Да, но не так стара, как часы?

— Кажется.

— Какую причудливую форму придавали они буквам! — заметил мистер Бландуа, взглянув на нее со своей характерной улыбкой. — Это Н. З., если не ошибаюсь? Впрочем, их можно принять за какие угодно другие буквы.

— Нет, вы верно прочли.

Мистер Флинтуинч, следивший за ними так пристально, что забыл о блюдечке с чаем, ко-

торое поднес было ко рту, вдруг спохватился и принялся пить огромными глотками.

— Н. З. — без сомнения, инициалы какой-нибудь прелестной, очаровательной молодой особы, — заметил мистер Бландуа. — Готов преклониться перед ее памятью. К несчастью для моего душевного спокойствия, я слишком склонен к преклонению. Не знаю, считать ли это пороком или добродетелью, но преклонение перед женской красотой и достоинствами составляет три четверти моей натуры, сударыня.

Тем временем мистер Флинтуинч налил себе вторую чашку чаю и стал пить ее по-прежнему большими глотками, не спуская глаз с больной.

— Вы можете быть спокойны, сэр, — возразила она мистеру Бландуа, — это не инициалы, насколько мне известно.

— Может быть, девиз, — заметил мистер Бландуа вскользь.

— Нет, насколько мне известно, эти буквы всегда означали: «не забывай!»

— И, конечно, — сказал мистер Бландуа, положив часы на место и усаживаясь по-прежнему на свой стул, — вы не забываете.

Мистер Флинтуинч, допивая чай, не только сделал глоток больше обыкновенного, но и при-

остановился после глотка особенным образом, закинув голову, продолжая держать чашку у рта и не сводя глаз с больной. Она отвечала своим обычным резким размеренным голосом, с тем особенным выражением сосредоточенной твердости или упрямства, которое заменяло у нее жесты:

— Нет, сэр, не забываю. Такая монотонная жизнь, какую я веду уже много лет, не располагает к забвению. Жизнь, посвященная самоисправлению, не располагает к забвению. Сознание грехов (все и каждый из нас, детей Адама, не свободны от грехов), которые нужно искупить, не вызывает желания забыть. И я не забываю и не желаю забыть.

Мистер Флинтуинч, взбалтывавший остатки чая на блюдечке, разом опрокинул его в рот и, поставив чашку на поднос, взглянул на мистера Бландуа, точно хотел спросить, что он думает об этом.

— Все это, сударыня, — сказал мистер Бландуа с изящнейшим поклоном, прижав к сердцу свою белую руку, — выражено в слове «конечно», и я горжусь, что обнаружил столько догадливости и проницательности (впрочем, без проницательности я не был бы Бландуа), употребив именно

это слово.

— Простите, сэр, — возразила она, — если я позволю себе усомниться, чтобы джентльмен, привыкший к развлечениям, удовольствиям, разнообразию, привыкший ухаживать, служить предметом ухаживания…

— О сударыня! Пощадите!

— …чтобы такой джентльмен мог понять то, что связано с моим образом жизни. Не имея ни малейшего желания поучать вас, — она взглянула на груду книг в жестких выцветших переплетах, — потому что вы идете своим путем и сами отвечаете за последствия, скажу одно: я на своем пути руковожусь указаниями кормчих, опытных и испытанных кормчих, под руководством которых не могу потерпеть кораблекрушения, не могу. И если бы я забывала о том, что напоминают мне эти буквы, я не была бы и вполовину так наказана, как теперь.

Любопытно было видеть, как она пользовалась всяким случаем вступить в спор с каким-то невидимым противником, быть может — со своей же совестью, всегда восставшей против ее самообольщения.

— Если бы я забыла грехи, совершенные в то время, когда я была здорова и свободна, я, быть

может, роптала бы на жизнь, которую мне приходится вести теперь. Я никогда не ропщу и никогда не роптала. Если бы я забыла, что арена здешней жизни, земля, для того и сотворена, чтобы быть ареной скорби, труда и жестоких испытаний для существ, созданных из ее праха, я могла бы питать пристрастие к ее суете. Но у меня нет этого пристрастия. Если бы я не знала, что каждый из нас — жертва гнева небесного (справедливого гнева), который должен быть утолен и против которого мы бессильны, я могла бы возмущаться разницей между мной, прикованной к этому креслу, и людьми, живущими вне этих стен. Но я вижу милость и снисхождение в том, что Небо избрало меня искупительной жертвой здесь, в этом мире, предназначило мне испытать то, что я испытываю, познать то, что я познала, загладить то, что я заглаживаю. Иначе мое испытание не имело бы смысла в моих же глазах. И вот почему я ничего не забываю и не хочу забывать. Вот почему я довольна и утверждаю, что моя участь лучше участи миллионов людей.

Сказав это, она взяла часы, положила их на то самое место, где они всегда лежали, и, отнимая от них руки, смотрела на них в течение нескольких минут пристальным, почти вызывающим

взглядом.

Мистер Бландуа все это время внимательно слушал, не спуская глаз с хозяйки и задумчиво поглаживая усы обеими руками. Мистер Флинтуинч чувствовал себя не в своей тарелке и, наконец, вмешался в разговор.

— Полно, полно, — сказал он. — Все это совершенно справедливо, миссис Кленнэм, ваша речь разумна и благочестива. Но мистер Бландуа вряд ли отличается по части благочестия.

— Напротив, сэр! — возразил этот последний, щелкнув пальцами. — Прошу извинить, это одна из черт моего характера. Я чувствителен, пылок, совестлив и впечатлителен. А чувствительный, пылкий, совестливый и впечатлительный человек — если это не маска, а действительные его качества, — не может не быть благочестивым, мистер Флинтуинч.

На лице мистера Флинтуинча мелькнуло подозрение, что это, пожалуй, и есть маска, между тем как гость (характерным свойством этого человека, как и всех ему подобных людей, было то, что он всегда пересаливал, хоть на волосок) поднялся со стула и подошел к миссис Кленнэм проститься.

— Вам, пожалуй, покажется эгоизмом больной

старухи, — сказала она, — что я так распространилась о себе и своих недугах, хотя поводом к тому послужил ваш случайный намек. Вы были так любезны, что навестили меня, и, надеюсь, будете так любезны, что отнесетесь ко мне снисходительно. Без комплиментов, прошу вас. — Он, очевидно, собирался отпустить какую-то любезность. — Мистер Флинтуинч рад будет оказать вам всяческое содействие, и я надеюсь, что пребывание в этом городе оставит у вас хорошее впечатление.

Мистер Бландуа поблагодарил ее, несколько раз поцеловав кончики своих пальцев.

— Какая старинная комната, — заметил он вдруг, уже подойдя к двери. — Я так заинтересовался нашей беседой, что и не заметил этого. Настоящая старинная комната.

— Весь дом настоящий старинный, — заметила миссис Кленнэм со своей ледяной улыбкой. — Без претензий, но старинный.

— Неужели! — воскликнул гость. — Я был бы крайне обязан мистеру Флинтуинчу, если бы он показал мне остальные комнаты. Старинные дома — моя слабость. Я люблю и изучаю оригинальное во всех его проявлениях. Меня самого называли оригиналом. В этом нет заслуги — на-

деюсь, у меня найдутся заслуги поважнее, — но я, пожалуй, действительно оригинален. Отнеситесь к этому с сочувствием.

— Предупреждаю вас, мистер Бландуа, дом очень мрачный и унылый, — сказал Иеремия, взявшись за свечу. — Не стоит и смотреть.

Но мистер Бландуа, дружески хлопнув его по спине, только рассмеялся, снова поцеловал кончики пальцев, раскланиваясь с миссисс Кленнэм, и оба вышли из комнаты.

— Вы не пойдете наверх? — сказал Иеремия, когда они вышли на лестницу.

— Напротив, мистер Флинтуинч: если это не затруднит вас, я буду в восторге.

Мистер Флинтуинч пополз по лестнице, а мистер Бландуа следовал за ним по пятам. Они поднялись в большую спальню на верхнем этаже, где ночевал Артур в день своего приезда.

— Вот полюбуйтесь, мистер Бландуа, — сказал Иеремия, освещая комнату. — Как по-вашему, стоило забираться на этот чердак? По-моему, не стоило.

Мистер Бландуа, однако, был в восторге, так что они обошли все закоулки и чуланы верхнего этажа, а затем снова спустились вниз. Во время осмотра мистер Флинтуинч заметил, что

гость не столько осматривал комнаты, сколько наблюдал за ним: по крайней мере их глаза встречались каждый раз, как он взглядывал на мистера Бландуа. Чтобы окончательно убедиться в этом, мистер Флинтуинч внезапно обернулся на лестнице, и взоры их встретились, и в ту же минуту на лице гостя появилась безмолвная дьявольская усмешка (которая появлялась каждый раз, как они встречались глазами во время обхода), сопровождавшаяся характерным движением усов и носа.

Мистер Флинтуинч находился в невыгодном положении, так как был гораздо ниже ростом. Это неудобство еще усиливалось тем, что он шел впереди и, следовательно, постоянно находился ступеньки на две ниже. Он решил не оглядываться на гостя, пока это случайное неравенство не сгладится, и только когда они вошли в комнату покойного мистера Кленнэма, внезапно повернулся — и встретил тот же пристальный взгляд.

— В высшей степени замечательный старый дом, — усмехнулся мистер Бландуа, — такой таинственный. Вы никогда не слышите здесь каких-нибудь сверхъестественных звуков?

— Звуков? — повторил мистер Флинтуинч. — Нет.

— И чертей не видите?

— Нет, — возразил мистер Флинтуинч, угрюмо скрючившись при этом вопросе. — По крайней мере, они не являются под этим именем и в этом звании.

— Ха-ха! Это портрет? — Говоря это, он не спускал глаз с мистера Флинтуинча, как будто последний и был портрет.

— Да, сэр, портрет.

— Чей, смею спросить, мистер Флинтуинч?

— Покойного мистера Кленнэма. Ее мужа.

— Бывшего собственника замечательных часов, не так ли?

Мистер Флинтуинч, смотревший на портрет, повернулся, весь извиваясь, и опять встретил тот же пристальный взгляд и усмешку.

— Да, мистер Бландуа, — ответил он резко, — часы принадлежали ему, а раньше его дяде, а еще раньше бог знает кому — вот все, что я могу вам сообщить об их родословной!

— Замечательно сильный характер, мистер Флинтуинч, — я говорю об уважаемой леди там, наверху.

— Да, сэр, — ответил мистер Флинтуинч, снова скрючиваясь и подвигаясь к гостю, точно винт, которому никак не удается попасть в точку,

ибо гость оставался неподвижным, а мистеру Флинтуинчу каждый раз приходилось отступать. — Замечательная женщина, сильный характер, сильный ум.

— Должно быть, счастливо жили, — заметил Бландуа.

— Кто? — спросил мистер Флинтуинч, снова подбираясь к нему с такими же извивами.

Мистер Бландуа вытянул правый указательный палец по направлению к комнате наверху, а левый — по направлению к портрету, затем подбоченился, расставил ноги и, улыбаясь, посмотрел на мистера Флинтуинча, опуская нос и поднимая усы.

— Как большинство супругов, я полагаю, — сказал мистер Флинтуинч. — Наверно не скажу. Не знаю. В каждой семье есть свои тайны.

— Тайны! — воскликнул мистер Бландуа. — Вы сказали «тайны», сыночек?

— Ну да, — ответил мистер Флинтуинч, на которого гость налетел так неожиданно, что чуть не задел его по лицу своей выпяченной грудью. — Я сказал, что в каждой семье есть свои тайны.

— Именно, — воскликнул гость, ухватив его за плечи и принимаясь трясти. — Ха-ха, вы совершенно правы! Тайны! Они самые! Помилуй бог,

чертовские тайны бывают в некоторых семьях, мистер Флинтуинч!

Сказав это, он наградил мистера Флинтуинча еще несколькими легкими ударами по плечам, точно восхищался его остроумием, и, расставив ноги, закинув голову и обхватив его руками, разразился хохотом. Мистер Флинтуинч даже не пытался подъехать к нему шипом, чувствуя бесполезность этой попытки.

— Позвольте на минутку свечу, — сказал мистер Бландуа, успокоившись. — Посмотрим поближе на супруга этой замечательной леди, — прибавил он, поднося свечу к портрету. — Ха! То же решительное выражение лица, только в другом роде. Точно говорит… как это… «Не забывай!» Правда говорит, мистер Флинтуинч. Ей-богу, говорит, сэр.

Возвратив свечу, он снова уставился на мистера Флинтуинча, затем не торопясь направился вместе с ним в переднюю, повторяя, что это прелестнейший старинный дом, что осмотр доставил ему истинное удовольствие и что он не отказался бы от этого удовольствия за сто фунтов.

Эта странная фамильярность мистера Бландуа, заметно отразившаяся на его манерах, которые стали гораздо грубее, резче, нахальнее и

задорнее, представляла резкий контраст с невозмутимостью мистера Флинтуинча, пергаментное лицо которого вообще не обладало способностью изменяться. Пожалуй, можно было подумать, глядя на него теперь, что дружеская рука, обрезавшая веревку, на которой он висел, немножко запоздала с этой услугой, но в общем он оставался совершенно спокойным. Они закончили осмотр комнаткой, которая примыкала к передней, и остановились в ней. Мистер Флинтуинч пристально взглянув на Бландуа, спокойно произнес:

— Очень рад, что вы остались довольны, сэр. Не ожидал этого. Вы, кажется, в отличном расположении духа?

— В чудеснейшем, — ответил Бландуа. — Честное слово, я так освежился! Бывают у вас предчувствия, мистер Флинтуинч?

— Не знаю, правильно ли я вас понял, сэр. Что вы разумеете под этим словом?

— Ну, скажем, смутное ожидание предстоящего удовольствия.

— Не могу сказать, чтобы я чувствовал что-нибудь подобное в настоящую минуту, — заметил мистер Флинтуинч серьезнейшим тоном. — Если почувствую, то скажу вам.

— А я, сынок, предчувствую, что мы с вами будем друзьями, — заявил Бландуа. — У вас нет такого предчувствия?

— Н… нет, — проговорил мистер Флинтуинч после некоторого размышления. — Нет, не могу сказать, чтоб было.

— Я положительно предчувствую, что мы будем закадычными друзьями. Что же, вы и теперь этого не чувствуете?

— И теперь не чувствую, — сказал мистер Флинтуинч.

Мистер Бландуа схватил его за плечи, встряхнул вторично в припадке веселости, затем подхватил под руку и, шутливо заметив, что он прехитрая старая бестия, предложил отправиться вместе распить бутылочку вина.

Мистер Флинтуинч принял это приглашение без всяких колебаний, и они отправились под дождем, который не переставая барабанил по крышам, стеклам и мостовой с самого наступления ночи. Гроза давно прошла, но ливень был страшный. Когда они добрались до квартиры мистера Бландуа, этот галантный джентльмен приказал подать бутылку портвейна и развалился на кушетке (примостив под свою фигуру все подушки, какие только были в комнате), а

мистер Флинтуинч уселся против него на стуле, по другую сторону стола. Мистер Бландуа предложил потребовать самые большие стаканы, мистер Флинтуинч охотно согласился. Наполнив стаканы, мистер Бландуа с шумным весельем чокнулся с мистером Флинтуинчем — сначала верхним краем своего стакана о нижний край его стакана, потом наоборот — и выпил за процветание дружбы, которую он предчувствовал. Мистер Флинтуинч важно принимал тосты, осушал стакан за стаканом и не говорил ни слова. Всякий раз как мистер Бландуа чокался (это повторялось при каждом наполнении стаканов), мистер Флинтуинч флегматично отвечал на его чоканье, флегматично опрокидывал стакан в свою глотку и так же флегматично проглотил бы порцию своего собеседника, так как, не обладая тонким вкусом, мистер Флинтуинч был настоящей бочкой в отношении напитков.

Короче говоря, мистер Бландуа убедился, что, сколько ни вливай портвейна в молчаливого Флинтуинча, его уста не только не разверзнутся, а будут замыкаться еще плотнее. Мало того, по всему было видно, что он способен пить всю ночь напролет, а в случае чего и весь следующий день и следующую ночь, тогда как мистер Бландуа

уже начал завираться и сам почувствовал это, хотя смутно. Итак, он решил окончить беседу с окончанием третьей бутылки.

— Так вы зайдете к нам завтра, сэр? — спросил мистер Флинтуинч деловым тоном.

— Огурчик мой! — воскликнул тот, хватая его за ворот обеими руками. — Зайду, не бойтесь! Адье, Флинтуинчик! Вот вам на прощанье! — Тут он обнял его и звонко чмокнул в обе щеки. — Разрази меня гром, если не приду! Слово джентльмена!

На следующий день он, однако, не пришел, хотя рекомендательное письмо было получено. Зайдя к нему вечером, мистер Флинтуинч, к удивлению своему, узнал, что он расплатился по счету и уехал обратно на материк, в Кале. Тем не менее Иеремия, почесав хорошенько свою физиономию, выскреб твердое убеждение, что мистер Бландуа не преминет сдержать свое слово и еще раз явится к ним.

Глава XXXI. Благородная гордость

Каждому случалось встречать на шумных улицах столицы худого сморщенного желтого старичка (можно было подумать, что он с неба свалился, если б хоть одна звезда на небе могла отбрасывать такие жалкие и тусклые искры), плетущегося с растерянным видом, точно оглушенного и напуганного шумом и суматохой. Такой старичок — всегда маленький старичок. Если он был когда-нибудь большим стариком, то съежился и превратился в маленького старичка, если же он был маленьким, то превратился в крошечного. Его пальто такого цвета и покроя, которые никогда и нигде не были в моде. Очевидно, оно было сшито не на него и ни на кого из смертных. Какой-то благодетельный поставщик отпустил судьбе пять тысяч таких пальто, судьба же подарила одно из них этому старичку, одному из бесконечной вереницы таких же старичков. На этом пальто большие тусклые металлические пуговицы, не похожие ни на какие другие пуговицы. Старичок носит измятую и вытертую, но жесткую шляпу, которая никак не может приспособиться к его бедной голове. Его грубая рубашка

и грубый галстук так же лишены индивидуальности, как пальто и шляпа; они тоже как будто не его и ничьи. Тем не менее старичок имеет в этом костюме вид человека, прифрантившегося перед тем, как выйти на улицу, точно он ходит обыкновенно в ночном колпаке и халате. И вот плетется по улицам такой старичок, точно полевая мышь, которая собралась в голодный год навестить городскую и боязливо пробирается к ее квартире через город котов.

Иногда по вечерам, в праздник, вы замечаете, что старичок плетется более неуверенной, чем когда-либо, походкой, и старческие глаза его светятся мутным и водянистым блеском. Это значит, что старичок пьян. Ему не много нужно: его слабые ноги начинают заплетаться от одной полупинты [49]. Какой-нибудь сердобольный знакомый, часто случайный, угостил его кружкой пива для подкрепления старческих сил, и в результате он исчезает и долго не появляется на улицах. Дело в том, что живет он в работном доме, и оттуда его редко выпускают на прогулку даже в случае хорошего поведения (хотя, кажется, могли бы пускать чаще, приняв во внимание, как

[49] Сноски: 49
Около 0,3 л.

мало ему осталось гулять). В случае же какой-нибудь проказы запирают в обществе нескольких дюжин таких же маленьких старичков.

Отец миссис Плорниш, бедный маленький хилый обшарпанный старичок, напоминавший ощипанного цыпленка, в свое время «переплетал музыку», по его выражению, то есть был переплетчиком нот, испытал большие невзгоды и никак не мог попасть на твердый путь: ни отыскать его, ни идти по нему, так что в конце концов сам попросился в работный дом, исполнявший, по предписанию закона, обязанности милосердного самаритянина в его округе (без денежного подаяния, которое не допускается принципами здравой политической экономии), в то самое время, когда мистер Плорниш угодил в Маршалси. До этой катастрофы, обрушившейся на голову его зятя, старый Нэнди (так называли его в работном доме; но для «Разбитых сердец» он был дедушка Нэнди или даже почтенный мистер Нэнди) имел свой уголок у семейного очага Плорнишей и свое местечко за семейным столом Плорнишей. Он не утратил надежды вернуться в семью, когда фортуна улыбнется наконец его зятю, а пока она хмурилась по-прежнему, решил оставаться в обществе маленьких старичков.

Однако ни бедность, ни одежда фантастического покроя, ни жизнь в приюте не повлияли на восторженное отношение к нему дочери. Будь он самим лорд-канцлером, миссис Плорниш не могла бы сильнее гордиться талантами своего отца. Будь он лорд-камергером двора, она не могла бы тверже верить в образцовое изящество его манер. Бедный старикашка знал несколько старинных, забытых приторных романсов о Хлое, о Филлиде, о Стрефоне, пораженном стрелой сына Венеры; и для миссис Плорниш никакая опера не сравнилась бы с этими песенками, которые выводил он слабым дребезжащим голоском, точно старая испорченная шарманка, которую заводит ребенок. В дни его «отпусков» — редкие лучи света в пустыне его существования, где взор встречал только таких же подстриженных по форме старичков, — когда он садился в своем уголке, насытившись мясом и угостившись кружкой портера в полпенни, миссис Плорниш со смешанным чувством грусти и восхищения говорила ему: «Теперь спой нам песенку, отец». И он пел им о Хлое, а когда был в ударе — то и о Филлиде; на Стрефона у него не хватало духа со времени переселения в работный дом, и миссис Плорниш, утирая слезы, объявляла, что нет и не

было на свете другого такого певца, как ее отец.

Если бы он был придворным, явившимся прямо из дворца, то и тогда миссис Плорниш не могла бы с большей гордостью водить его по подворью «Разбитые сердца».

— Вот отец, — говорила она, представляя его соседу. — Отец скоро вернется к нам на житье. А ведь правда, он выглядит молодцом? А поет еще лучше прежнего; вы бы никогда не забыли его песню, если бы слышали, как он пел сейчас.

Что касается мистера Плорниша, то, соединившись с дочерью мистера Нэнди брачными узами, он присоединился и к ее символу веры и только удивлялся, как такой одаренный джентльмен не сделал карьеры. По зрелом размышлении он решил, что вся беда в том, что мистер Нэнди пренебрегал в молодости систематическим развитием своего музыкального гения. «Потому что, — рассуждал он, — с какой стати переплетать музыку, когда она сидит в вас самих? Так это обстоит, по моему разумению».

У дедушки Нэнди был покровитель, один-единственный покровитель, который относился к нему несколько свысока, точно оправдываясь перед удивленной публикой в том, что относится слишком запросто к этому старику ввиду его

бедности и простоты, но тем не менее с бесконечной добротой. Дедушка Нэнди несколько раз заходил в Маршалси навестить зятя во время его непродолжительного заключения и имел счастье заслужить расположение отца этого национального учреждения — расположение, превратившееся с течением времени в покровительство.

Мистер Доррит принимал этого старика, как феодальный барон — своего вассала: отдавал приказание угостить его и напоить чаем, как будто тот явился из отдаленного округа, где вассалы находятся еще в первобытном состоянии. Кажется, случались минуты, когда он готов был поклясться, что этот старик — его верный, заслуженный подданный. Случайно упоминая о нем в разговоре, он называл его своим старым протеже. Он с каким-то особенным удовольствием принимал его, а когда старик уходил, распространялся о его дряхлости. По-видимому, его поражало, что бедняга еще скрипит кое-как. «В работном доме, сэр; ни комнаты, ни гостей, ни общественного положения. Жалкое существование!»

Был день рождения дедушки Нэнди, и его отпустили погулять. Он, впрочем, не упоминал об этом событии, а то бы, пожалуй, не пустили:

таким старикам вовсе не следовало родиться. Он, как всегда, приплелся в подворье «Разбитые сердца», пообедал с зятем и дочкой и спел им про Филлиду. Едва он закончил, явилась Крошка Доррит навестить их.

— Мисс Доррит! — сказала миссис Плорниш. — А у нас отец. Не правда ли, у него вид хоть куда? А как он пел!

Крошка Доррит подала ему руку, улыбнулась и заметила, что они давно не виделись.

— Да, обижают бедного отца, — сказала миссис Плорниш с вытянутым лицом, — не дают ему подышать чистым воздухом и развлечься как следует. Но он скоро вернется к нам на житье. Правда, отец?

— Да, душенька, надеюсь. Как только, с Божьей помощью, дела поправятся.

Тут мистер Плорниш произнес речь, которую он всегда повторял слово в слово в подобных случаях:

— Джон Эдвард Нэнди, сэр, пока есть под этой самой крышей хоть крошка еды и хоть глоток питья, просим вас разделить их с нами. Пока есть под этой самой крышей хоть охапка дров и хоть плохонькая постель, просим вас разделить их с нами. А если, например, под этой самой крышей

ничего не останется, мы и тогда попросим вас разделить с нами все, как если бы оно было. Вот что я скажу вам по совести, без обмана, а коли так, то почему, например, вам не вернуться домой, когда мы вас просим, то почему, значит, не вернуться к нам?

На это вразумительное воззвание, которое мистер Плорниш произносил всегда так, как будто сочинил его с величайшим трудом (что, впрочем, и было в действительности), отец миссис Плорниш отвечал своим слабым голосом:

— Душевно благодарю тебя, Томас, я знаю, что у тебя хорошие намерения, за то и благодарю. Только никак это невозможно, Томас. Не такое теперь время, чтобы вырывать кусок у твоих детей, а оно и выйдет — вырывать кусок; что ты там ни говори и как ни называй — оно самое и выйдет. Пока не наступят хорошие времена, и, даст бог, скоро наступят, до тех пор и думать нечего, нет, Томас, нет!

Миссис Плорниш, которая сидела, слегка отвернув голову, и держала в руках уголок передника, вмешалась в разговор и сказала Крошке Доррит, что отец собирался засвидетельствовать свое почтение мистеру Дорриту, если только его посещение не будет стеснительным.

— Я сейчас иду домой, и, если он захочет пойти со мной, я охотно провожу… мне будет веселее идти с ним вместе, — поправилась Крошка Доррит, всегда внимательная к чувствам слабых.

— Слышишь, отец? — воскликнула миссис Плорниш. — Разве ты не молоденький кавалер? Иди гулять с мисс Доррит! Дай я повяжу тебе галстук; лицом-то ты у меня и без того хоть куда.

С этой дочерней шуткой миссис Плорниш принарядила старика, нежно расцеловала и, взяв больного ребенка на руки, тогда как здоровый ковылял за ней как умел, вышла на крылечко проводить своего маленького старичка, который поплелся под руку с Крошкой Доррит.

Они шли потихоньку. Крошка Доррит повела его через Железный мост, усадила там отдохнуть, и они смотрели на реку, толковали о кораблях, и старичок рассказывал ей, что бы стал делать, если бы у него был полный корабль золота (он нанял бы для Плорнишей и для себя прекрасную квартиру в Ти-Гарденс, где бы они дожили свой век припеваючи, имея собственного лакея), и этот день рождения был для него истинным праздником. Они были уже в пяти минутах ходьбы от Маршалси, когда на углу улицы встретили Фанни, которая направлялась в новой шляпке на

ту же самую пристань.

— Боже милостивый, Эми! — воскликнула эта юная леди. — Это еще что значит?

— Что такое, Фанни?

— Ну, признаюсь, я многому бы поверила о тебе, — ответила юная леди, пылая негодованием, — но этого, этого я даже от тебя не могла бы ожидать!

— Фанни! — воскликнула Крошка Доррит, удивленная и обиженная.

— О, я знаю, что я Фанни, незачем о повторять мое имя! Гулять по улицам среди бела дня под руку с нищим! — Последнее слово вылетело из ее уст, точно пуля из духового ружья.

— О Фанни!

— Говорят тебе, я сама знаю, что я Фанни, этим ты меня не разжалобишь! Просто глазам не верю. Тот способ, которым ты решилась во что бы то ни стало нас опозорить, просто отвратителен. Дрянная девчонка!

— Неужели я позорю кого-нибудь, — возразила Крошка Доррит очень кротко, — тем, что забочусь о бедном старике?

— Да, сударыня, вы и сами должны знать это. Да вы и знаете как нельзя лучше, потому и делаете, что знаете. Ваше главное удовольствие

— колоть глаза семье ее несчастьями. А другое ваше удовольствие — водиться с самой низкой компанией. Но если у вас нет чувства приличия, то у меня есть. С вашего позволения, я перейду на другую сторону улицы, чтобы не конфузить себя.

С этими словами она опрометью бросилась через улицу. Преступный старичок, который почтительно отошел на несколько шагов (Крошка Доррит выпустила его руку от удивления при внезапной атаке сестры) и стоял в виде мишени для толчков и окриков нетерпеливых прохожих, снова подошел к своей спутнице, несколько ошеломленный, и спросил:

— Надеюсь, что ничего не случилось с вашим почтенным батюшкой, мисс? Надеюсь, ничего не случилось с вашим почтенным семейством?

— Нет-нет! — ответила Крошка Доррит. — Нет, не беспокойтесь. Дайте мне вашу руку, мистер Нэнди. Сейчас мы придем!

Возобновив прерванный разговор, они пришли наконец в сторожку, где застали мистера Чивери, который впустил их. Случайно Отец Маршалси направлялся к сторожке в ту самую минуту, когда они выходили из нее под руку. Увидев их, он обнаружил все признаки крайнего волнения и расстройства и, не обращая внима-

ния на дедушку Нэнди (который отвесил поклон и стоял со шляпой в руках, как всегда делал в его всемилостивейшем присутствии), повернулся к ним спиной и пустился почти бегом назад в свою комнату.

Оставив на дворе злополучного старика, которого она в недобрый час взяла под свое покровительство, и пообещав ему вернуться сейчас же, Крошка Доррит поспешила за отцом. На лестнице ее догнала Фанни с видом оскорбленного достоинства. Все трое вместе вошли в комнату, где Отец Маршалси опустился на стул, закрыл лицо руками и громко застонал.

— Конечно, — сказала Фанни. — Я так и думала. Бедный, несчастный папа! Надеюсь, теперь вы мне поверите, сударыня!

— Что с вами, отец? — воскликнула Крошка Доррит, наклоняясь над ним. — Неужели это я огорчила вас? Надеюсь, нет!

— Ты надеешься, ну конечно! Что и говорить! Ах ты… — Фанни не сразу отыскала подходящий эпитет: — Вульгарная маленькая Эми. Вот уж настоящее дитя тюрьмы!

Он остановил этот поток упреков движением руки и, печально покачивая головой, проговорил сквозь слезы:

— Эми, я знаю, что у тебя не было дурного умысла. Но ты вонзила мне нож в сердце.

— Не было дурного умысла! — подхватила неумолимая сестра. — Злостный умысел! Низкий умысел! Сознательное желание унизить семью!

— Отец, — воскликнула Крошка Доррит, бледная и дрожащая, — мне ужасно жаль! Простите меня. Скажите, в чем дело, и я буду вперед осторожнее.

— В чем дело, лицемерное создание! — закричала Фанни. — Ты знаешь, в чем дело. Я уже объяснила тебе, в чем дело, не лги же перед лицом Провидения, уверяя, будто не знаешь.

— Тсс, Эми! — сказал отец, несколько раз проведя платком по лицу и затем судорожно стиснув его в руке, бессильно упавшей на колени. — Я сделал все, что мог, для того чтобы создать тебе почетное положение, избавить тебя от унижений. Может быть, мне удалось это, может быть — нет. Может быть, ты признаешь это, может быть — нет. Своего мнения я не высказываю. Я испытал здесь все, кроме унижения. От унижения я, к счастью, был избавлен до этого дня.

Тут его судорожно сжатая рука зашевелилась, и он снова поднес платок к глазам. Крошка Доррит, стоя на коленях перед ним, с мольбой схватила

его руку и посмотрела на него с глубоким раскаянием. Оправившись от припадка скорби, он снова стиснул платок.

— К счастью, я был избавлен от унижения до настоящего дня. Среди всех моих бедствий я сохранил… гордость духа, которой подчинялись, если можно употребить такое выражение, все окружающие, что и спасло меня от… кха… унижения. Но сегодня, теперь, в эту самую минуту, я почувствовал его горечь.

— Еще бы, как не почувствовать! — воскликнула неукротимая Фанни. — Разгуливать под ручку с нищим! — Это опять прозвучало как ружейный выстрел.

— Но, дорогой отец, я вовсе не оправдываюсь в том, что огорчила вас так жестоко, нет, видит бог, не оправдываюсь. — Крошка Доррит всплеснула руками в мучительном отчаянии. — Я только прошу и умоляю вас успокоиться и забыть об этом. Но если бы я не знала, что вы всегда относились очень ласково и внимательно к этому старику и всегда бывали рады ему, я бы не привела его сюда, отец, право, не привела бы. Я не думала, что это огорчит вас. Я не довела бы вас до слез нарочно, голубчик, ни за что на свете.

Фанни тоже расплакалась: не то от злости, не то

от раскаяния, повторяя, что желала бы умереть (всегдашнее желание этой девицы в те минуты, когда волнения страсти начинали в ней затихать и она не знала, на себя ли сердиться или на других).

Тем временем Отец Маршалси прижал младшую дочь к своей груди и погладил по головке.

— Полно, полно! Довольно об этом, Эми, довольно об этом, дитя мое. Я постараюсь забыть об этом. Я скоро утешусь. Совершенно верно, милочка, я всегда рад видеть моего старого протеже, и я... кха... отношусь с возможными при моих обстоятельствах лаской и снисходительностью к этому... хм... обломку — кажется, к нему подходит это выражение. Все это совершенно верно, мое милое дитя. Но, делая это, я тем не менее сохраняю... кха... если можно употребить такое выражение... гордость духа, законную гордость. Но есть вещи, которые не мирятся с ней и наносят ей раны... глубокие раны. Не то оскорбляет меня, что моя добрая Эми относится внимательно и... кха... снисходительно к моему старому протеже. Меня оскорбляет — чтобы покончить с этим тягостным предметом, — что мое дитя, мое родное дитя, моя родная дочь является в нашу коллегию с улыбкой — с улыбкой! — рука об руку... Боже

милостивый!.. с нищенской ливреей.

Злополучный джентльмен сделал этот намек на одежду небывалого покроя и образца, задыхаясь, чуть слышным голосом и потрясая в воздухе судорожно стиснутым платком. Быть может, его взволнованные чувства продолжали бы изливаться в скорбных сетованиях, но в эту самую минуту постучали в дверь уже вторично, и Фанни (которая по-прежнему выражала желание умереть и даже более того — быть погребенной) крикнула:

— Войдите!

— А, юный Джон! — сказал Отец Маршалси совершенно другим, спокойным голосом. — Что это у вас, юный Джон?

— Письмо для вас, сэр, было сейчас передано в сторожку, а так как мне случилось там быть и, кроме того, у меня есть к вам поручение, сэр, то я и вызвался отнести его вам.

Молодой человек был взволнован плачевным зрелищем Крошки Доррит, стоявшей на коленях перед креслом отца и закрывшей лицо руками.

— Вот как, Джон? Благодарю вас.

— Письмо от мистера Кленнэма, сэр, — это ответ, а поручение тоже от мистера Кленнэма: он просил передать вам поклон и сообщить, что

будет иметь удовольствие зайти к вам сегодня и надеется увидеть вас и мисс Эми, — почему-то взволнованно сообщил юный Джон.

— О! — Развернув письмо, в котором оказался банковый билет, Отец Маршалси слегка покраснел и снова погладил Эми по головке. — Благодарю вас, юный Джон. Очень хорошо. Крайне обязан вам за внимание. Ответа не ждут?

— Нет, сэр, никто не ждет.

— Благодарю вас, Джон. Как поживает ваша матушка, юноша?

— Благодарствуйте, сэр, она не так уж хорошо себя чувствует: по правде сказать, все мы не так уж хорошо себя чувствуем, кроме отца, а впрочем, ничего, сэр.

— Передайте ей наш привет, да! Наш сердечный привет, прошу вас, Джон!

— Благодарю вас, я передам.

И юный Джон удалился, сочинив тут же, на месте, совершенно новую эпитафию для своей будущей могилы: «Здесь покоится тело Джона Чивери, который (такого-то числа) увидел кумира своего сердца в слезах и горести и, не будучи в силах перенести это мучительное зрелище, немедленно отправился в жилище своих неутешных родителей и своей собственной рукой

положил конец своему существованию».

— Полно, полно, Эми, — сказал отец, когда юный Джон ушел, — не будем больше говорить об этом.

За последние минуты его настроение заметно улучшилось: он почти сиял.

— Где же, однако, мой старый протеже? Надо его пригласить сюда, а то он подумает, что я не хочу его видеть. Мне было бы это очень неприятно. Сходишь за ним, дитя, или мне сходить?

— Если вас не затруднит, отец, — сказала Крошка Доррит, с трудом удерживаясь от рыданий.

— Конечно, нет, милочка, я схожу. Я и забыл, что твои глазки… Полно, развеселись, Эми. Не огорчайся из-за меня. Я совершенно успокоился, душенька, совершенно успокоился. Сходи к себе, оправься и приведи в порядок свое личико к приходу мистера Кленнэма.

— Лучше я останусь у себя, — сказала Крошка Доррит, чувствуя, что ей теперь еще труднее успокоиться. — Мне бы не хотелось встретиться теперь с мистером Кленнэмом.

— О, полно, полно, милочка, что за пустяки. Мистер Кленнэм — весьма порядочный человек, весьма порядочный. Несколько сдержанный, иногда слишком сдержанный, но, смею сказать, в

высшей степени порядочный. Непременно будь здесь, когда придет мистер Кленнэм, я требую этого, именно сегодня, милочка. Поди же умойся и освежись, Эми, поди, будь хорошей девочкой.

Исполняя это требование, Крошка Доррит послушно встала и ушла, остановившись на минутку, чтобы поцеловать сестру в знак примирения. Эта последняя, все еще пребывавшая в расстроенных чувствах, но уставшая повторять свое любимое желание, высказала теперь пришедшую ей в голову блестящую мысль, что умереть следовало бы старикашке Нэнди, — да, гораздо лучше было бы умереть этому противному, несносному, поганому нищему, чем приходить сюда и ссорить сестер.

Отец Маршалси, мурлыкая какую-то песенку и надвинув черную бархатную шапочку немного набекрень — до того улучшилось его настроение, — отправился во двор и нашел своего старого протеже у ворот, со шляпой в руках, на том самом месте и в той самой позе, как оставила его Крошка Доррит.

— Идем, Нэнди! — сказал Отец Маршалси благодушнейшим тоном. — Идем наверх, Нэнди. Вы ведь знаете дорогу, что ж не пришли? — Он простер свою снисходительность до того, что пожал

старику руку и благосклонно осведомился: — Как поживаете, Нэнди? Здоровы ли вы?

На что певец ответил:

— Благодарю вас, почтенный сэр, совершенно здоров и еще лучше себя чувствую, когда увидел вашу честь.

Проходя по двору, Отец Маршалси представил его новому члену общежития:

— Мой давнишний знакомый, сэр, мой старый протеже. Накройтесь, добрейший Нэнди, наденьте вашу шляпу, — прибавил он, выказывая большую заботливость о старике.

Его внимание не ограничилось этим. Он велел Мэгги заварить чай и отправил ее за сухарями, маслом, яйцами, ветчиной и креветками, а на покупку этого угощения вручил ей банковый билет в десять фунтов, строго-настрого приказав не потерять сдачу. Эти приготовления к приему были в полном ходу, и Эми уже вернулась в комнату отца со своей работой, когда явился мистер Кленнэм. Хозяин принял его очень милостиво и пригласил разделить с ними угощение.

— Эми, душенька, ты знаешь мистера Кленнэма лучше, чем я. Фанни, милочка, ты тоже знакома с мистером Кленнэмом.

Фанни отвечала небрежным кивком. Во всех

таких случаях она молча занимала оборонительную позицию, как будто существовал обширный заговор с целью оскорбления их фамильного достоинства и один из заговорщиков был налицо.

— Это мой старый протеже, мистер Кленнэм, дедушка Нэнди, славный, преданный старичок. — Он всегда отзывался о Нэнди как о необычайно древнем старце, хотя сам был старше двумя или тремя годами. — Позвольте, вы, кажется, знаете Плорниша? Помнится, моя дочь Эми говорила, что вы знаете беднягу Плорниша.

— О да! — сказал Артур Кленнэм.

— Так вот, сэр: это отец миссис Плорниш.

— В самом деле? Я очень рад его видеть.

— Вам было бы еще приятнее с ним познакомиться, если б знали его достоинства, мистер Кленнэм.

— Я надеюсь, что узнаю их, познакомившись с ним поближе, — сказал Артур, душевно жалея этого смиренного сгорбленного старика.

— Сегодня у него праздник, вот он и зашел навестить своих старых друзей, которые всегда рады его видеть, — заметил Отец Маршалси и прибавил вполголоса, закрыв рот ладонью: — В работном доме, бедняга. Отпустили на один день.

Тем временем Мэгги с помощью своей маленькой мамы накрыла стол и поставила угощение. Погода стояла жаркая, в тюрьме было душно, и потому окно открыли настежь.

— Пусть Мэгги постелит газету на подоконнике, милочка, — заметил Отец Маршалси вполголоса самым снисходительным тоном, обращаясь к дочери, — и напоит чаем моего старого протеже, пока мы будем пить за столом.

Таким образом, отец миссис Плорниш, отделенный от остальной компании пространством примерно в фут шириной, получил свою долю угощения. Кленнэм никогда еще не видывал ничего подобного великодушному покровительству, которое Отец Маршалси оказывал отцу миссис Плорниш, и только дивился его поразительным выходкам.

Самой поразительной из них было самодовольство, с которым он распространялся о дряхлости и недугах своего протеже, точно любезный содержатель зверинца, рассказывающий посетителям о болезни какого-нибудь из своих зверьков.

«Никак не справитесь с ветчиной, Нэнди? Что это вы так копаетесь?.. Совсем беззубый старикашка», — пояснял он гостям. Или: «Хотите креветок, Нэнди?» И когда старик не сразу от-

вечал, говорил: «Очень плохо слышит. Скоро совсем оглохнет». Или: «Вы часто гуляете, Нэнди, по двору, там где живете?» — «Нет, сэр, нет. Я не люблю гулять». — «Ну конечно, — соглашался отец. — Весьма естественно». И конфиденциально сообщал гостям: Совсем без ног».

Однажды он спросил, со своей обычной благосклонностью, желая выразить чем-нибудь свое внимание к старику, сколько лет его младшему внуку.

— Джону Эдварду? — сказал тот, медленно опуская вилку и ножик и задумываясь. — Сколько лет, сэр? Сейчас, дай бог память…

Отец Маршалси постучал себя пальцем по лбу: память, мол, ослабела.

— Джону Эдварду, сэр? Ведь вот не могу припомнить: два года два месяца или два года пять месяцев. Что-то одно из двух.

— Ничего, Нэнди, не трудитесь вспоминать, не утомляйтесь, — ответил покровитель с бесконечной снисходительностью. («Выживает из ума, да и понятно: такая ужасная обстановка!»)

Чем больше немощей открывал он в своем протеже, тем больше, по-видимому, чувствовал к нему симпатии, и когда, наконец, после чая поднялся с кресла, чтобы проститься с гостем,

который заметил, что «мне, кажется, пора, почтенный сэр», то держался как-то особенно прямо и бодро.

— Не будем говорить, что это шиллинг, Нэнди, — сказал он, опуская монету в его руку. — Скажем, что это табак.

— Покорнейше благодарю вас, почтенный сэр. Я куплю табаку. Покорнейше благодарю, мисс Эми и мисс Фанни. Покойной ночи, мистер Кленнэм.

— Не забывайте ж нас, Нэнди, — сказал отец. — Заходите, когда вас отпустят. Всякий раз заходите, а то мы обидимся. Прощайте, Нэнди. Осторожнее на лестнице, Нэнди, она очень крутая и неровная. — Он постоял у дверей, провожая взглядом старика, и, вернувшись в комнату, сказал с самодовольной важностью: — Грустное зрелище, мистер Кленнэм, хоть и утешительно сознавать, что он сам, бедняга, не чувствует этого. Бедный жалкий старикашка совсем опустился: достоинство, гордость — все разбито… раздавлено… окончательно, сэр, окончательно!

Кленнэм, посещение которого имело свою цель, отвечал как умел на это сообщение, пока Мэгги и маленькая мама мыли и прибирали посуду. Но от его внимания не ускользнуло то, что его собеседник стоял у окна с видом благосклонного

и милостивого повелителя, отвечая на поклоны своих подданных, прогуливавшихся по двору, легким жестом, смахивавшим на благословение.

Когда Крошка Доррит прибрала стол, а Мэгги постлала постель, Фанни принялась завязывать ленты своей шляпки, собираясь уходить. Артур, еще не достигший цели своего посещения, по-видимому, не собирался уходить. Неожиданно отворилась дверь, и вошел мистер Тип, не постучавшись.

Он поцеловал Эми, которая вскочила ему навстречу, кивнул Фанни, кивнул отцу, бросил мрачный взгляд на гостя и, не удостоив его поклоном, уселся.

— Тип, голубчик, — кротко сказала Крошка Доррит, сконфуженная этой выходкой, — разве ты не видишь…

— Вижу, Эми. Если ты намекаешь на вашего посетителя… словом, если ты намекаешь на этого, — ответил Тип, сердито мотнув головой на Кленнэма, — то вижу!

— И это все, что ты имеешь сказать?

— Все, что я имею сказать. И смею думать, — прибавил высокомерный молодой человек после непродолжительной паузы. — Ваш посетитель понимает, почему это все, что я имею сказать.

Ваш посетитель, смею думать, понимает, что он отнесся ко мне не по-джентльменски.

— Нет, не понимаю, — спокойно заметил объект этих обвинений.

— Нет? Так позвольте же вам заметить, сэр, что когда я обращаюсь к известному лицу с прилично написанной просьбой, с настоятельной просьбой, с деликатной просьбой о временной ссуде, которая по своим размерам не представляет для него ни малейшего затруднения — заметьте это, ни малейшего затруднения, — и когда в ответ на эту просьбу это лицо присылает мне вежливый отказ, то, по моему мнению, оно относится ко мне не по-джентльменски.

Отец Маршалси, молча слушавший сына, воскликнул сердитым тоном:

— Как ты смеешь!

Но сын перебил его:

— Не спрашивайте меня, как я смею, отец, это нелепо! Вы должны гордиться моим отношением к этому лицу. Во мне говорит благородная гордость.

— Разумеется! — воскликнула Фанни.

— Благородная гордость? — повторил отец. — Да! Ты сказал — благородная гордость. Так вот до чего дошло: мой сын учит меня — меня! — благо-

родной гордости!

— Пожалуйста, не придирайтесь и не заводите ссоры, отец. Я заявил, что присутствующее здесь лицо отнеслось ко мне не по-джентльменски. Ну и довольно об этом.

— Нет, не довольно, сэр, — возразил отец. — Нет, вовсе не довольно. Ты заявил! Он заявил!

— Да, я заявил. Почему же нет? Что вы так расходились?

— Потому что, — возразил отец с жаром, — ты не имеешь права делать такие чудовищные, такие… хм… безнравственные, такие… хм… противоестественные заявления. Нет, мистер Кленнэм, прошу вас, сэр, не останавливайте меня. Тут затронут… хм… общий принцип, которому должны уступить даже обязанности… кха… гостеприимства. Я протестую против заявления моего сына. Я… кха… я лично отвергаю его!

— Да вам-то какое дело, отец? — небрежно заметил сын.

— Какое мне дело, сэр? Моя гордость… хм… не может допустить этого. Я… — Он снова достал из кармана платок и принялся вытирать им лицо. — Я оскорблен и задет этим заявлением. Представим себе, что мне самому случилось обратиться или… кха… обращаться к известному

лицу… хм… с просьбой, с хорошо написанной просьбой, с деликатной просьбой, с настоятельной просьбой о небольшой временной ссуде. Представим себе, что ссуда легко могла быть увеличена, но не была увеличена, и что это лицо отделалось вежливым извинением. И что же, мой сын скажет мне, что со мной обращались не как с джентльменом, а я… кха… я допустил это.

Эми ласково попыталась успокоить его, но он ни под каким видом не собирался успокаиваться. Он объявил, что его гордость возмущена и что он не допустит этого.

Как, его сын будет говорить ему в глаза такие вещи в его доме! Его собственная плоть и кровь будет унижать его!

— Никто вас не унижает, сами вы выдумываете какие-то унижения, — проворчал сын. — Мое заявление решительно не касается вас. Что вы путаетесь не в свое дело?

— Повторяю, оно как нельзя более касается меня, — возразил отец. — Да, сэр, я должен с негодованием заметить вам, что… хм… если не что другое, так… кха… щекотливое и деликатное положение вашего отца должно было бы удержать вас от высказывания… кха… таких противоестественных принципов. И, наконец, если уж вы

не признаете семейных уз, если вы отвергаете сыновние обязанности, то по крайней мере признаете же вы… хм… обязанности христианина? Или вы сделались… кха… атеистом? А если вы христианин, то прилично ли, позвольте вас спросить, христианину порицать и клеймить лицо, которое отделалось извинением сегодня, когда то же самое лицо может… кха… удовлетворить вашу просьбу завтра? Достойно ли христианина… хм… ограничиваться одной попыткой?

Он разжег себя почти до религиозного экстаза.

— Ну, от вас, как я вижу, не дождешься сегодня путного слова, — сказал Тип. — Видно, лучше мне уйти. Прощай, Эми! Мне очень жаль, что это случилось при тебе, ей-богу, жаль, но я не могу пожертвовать своей гордостью даже ради тебя, старушка.

С этими словами он нахлобучил шляпу и ушел в сопровождении мисс Фанни, которая сочла долгом со своей стороны выразить Кленнэму негодование холодным взглядом, говорившим как нельзя яснее, что она всегда считала его одним из многочисленной клики заговорщиков.

Когда они ушли, Отец Маршалси приуныл было и совсем уж раскис, но, к счастью, какой-то джентльмен явился на помощь с приглашением

в буфетную. Это был тот самый джентльмен, которого Кленнэм видел при первом посещении Маршалси, — джентльмен, обвинявший начальство в присвоении арестантских денег. Он явился в качестве депутата от членов общежития, которым отец еще раньше обещал занять председательское место на вечеринке, которая должна была состояться сегодня.

— Вот, мистер Кленнэм, — сказал отец, — неудобство моего положения. Общественный долг, ничего не поделаешь. Но я уверен, что вы из тех людей, которые признают святость общественного долга.

Кленнэм просил его не стесняться.

— Эми, дорогая, если ты убедишь мистера Кленнэма остаться, я могу спокойно доверить тебе обязанности хозяйки нашего скромного жилища, и, может быть, тебе удастся изгладить из памяти мистера Кленнэма… кха… неловкое и неприятное происшествие, случившееся после чая.

Кленнэм поспешил уверить его, что это происшествие не произвело на него никакого впечатления, и, следовательно, нет никакой надобности что-нибудь изглаживать.

— Дорогой сэр, — сказал отец, приподнимая свою черную шапочку и крепким рукопожатием

давая ему понять, что кредитный билет дошел по назначению, — да благословит вас Бог!

Наконец-то Кленнэм достиг цели своего посещения и мог поговорить с Крошкой Доррит наедине, так как Мэгги не шла в счет.

Глава XXXII. Опять предсказание будущего

Мэгги сидела за шитьем у окна, в своем огромном белом чепце со множеством оборок, скрывавших ее и без того незаметный профиль, устремив зрячий глаз на работу. Оборки и незрячий глаз отделяли ее как бы стеной от маленькой мамы, сидевшей на другом конце комнаты. Топот и шарканье ног на дворе в значительной мере стихли после того, как отец отправился занять председательское место: члены общежития потоком хлынули в пиршественный зал. Те, у кого не было музыкальной жилки в душе или денег в кармане, бродили по двору, да кое-где разыгрывались обычные сцены прощания новичка-мужа с плачущей женой. Эти подавленные своим позором создания прятались по темным углам, как пауки и тому подобная нечисть в других зданиях. Наступило самое спокойное время в общежитии за исключением ночи, когда обитатели предаются сну. Время от времени взрыв аплодисментов, доносившийся из буфетной, возвещал об успешном окончании какого-нибудь номера

программы или об единодушном одобрении детьми какого-нибудь тоста, предложенного их отцом. По временам особенно звучная вокальная фраза, выделявшаяся над общим гулом, сообщала слушателю, что какой-нибудь хвастливый бас плывет в настоящую минуту по синему морю, или охотится в лесу, или преследует оленя, или бродит по горам, или скитается в пустыне. Но директор Маршалси распорядился иначе и держал певца под крепким замком.

Когда Артур Кленнэм подошел к Крошке Доррит и уселся подле нее, она задрожала так, что не могла попасть ниткой в иглу. Кленнэм тихонько положил руку на ее работу и сказал:

— Милая Крошка Доррит, позвольте мне отложить это в сторонку.

Она не противилась, и он положил работу рядом. Она нервно стиснула руки, но он взял одну из них.

— Как редко я вас вижу в последнее время, Крошка Доррит!

— Я была очень занята, сэр.

— Однако я узнал, совершенно случайно, что вы навестили сегодня моих соседей. Почему же вы не заглянули ко мне?

— Не… знаю. То есть я думала, что вы заняты.

Теперь у вас много работы, не правда ли?

Он смотрел на ее дрожащую фигурку, грустное личико, глаза, которые опускались всякий раз, как его взгляд встречался с ними, — смотрел с глубокой нежностью и почти такой же глубокой жалостью.

— Дитя мое, вы так изменились!

Она не в силах была справиться со своим волнением. Тихонько освободив свою руку, она сидела перед ним, опустив голову и дрожа всем телом.

— Родная моя Крошка Доррит! — сказал он с глубокой нежностью.

Она залилась слезами. Мэгги быстро обернулась и посмотрела на нее, но ничего не сказала. Кленнэм подождал немного, прежде чем заговорил:

— Мне тяжело видеть ваши слезы, но я надеюсь, что это только случайное огорчение.

— Да, да, сэр. Это пустяки.

— Я так и думал, что вы придадите слишком большое значение тому, что здесь случилось. Не стоит волноваться из-за таких пустяков, право не стоит. Жаль только, что я подвернулся не вовремя. Пусть все это пройдет с вашими слезами. Вся эта история не стоит ваших слез. Не стоит одной вашей слезинки. Я с радостью готов выслушивать

такие вздорные заявления пятьдесят раз в сутки, лишь бы избавить вас от минутного огорчения, Крошка Доррит.

Она немного оправилась и ответила гораздо спокойнее:

— Вы очень добры. Но, как ни вздорно это происшествие, нельзя не возмущаться и не стыдиться неблагодарности…

— Тсс! — сказал Кленнэм, улыбаясь и дотрагиваясь рукой до ее губ. — Забывчивость в вас, которая помнит обо всех, удивила бы меня. Неужели я должен напоминать вам, что я для вас был и есть только друг, которому вы обещали доверять? Нет, вы помните об этом, правда?

— Стараюсь помнить, иначе я нарушила бы это обещание сегодня, когда мой брат держал себя так грубо. Я знаю, что вы примете во внимание его воспитание в тюрьме и не будете судить бедняжку слишком строго. — Подняв глаза при этих словах, она первый раз посмотрела ему в лицо и сказала с живостью, совершенно другим тоном:

— Вы были больны, мистер Кленнэм?

— Нет.

— И не испытали неприятностей, огорчений?

Теперь Кленнэм в свою очередь не знал, что ответить.

— Говоря по правде, — сказал он наконец, — у меня было маленькое огорчение, но оно уже прошло. Неужели это так заметно? Я думал, что у меня больше твердости и самообладания. Мне следует поучиться у вас. Лучшего учителя не найдешь.

Ему и в голову не приходило, что она видит в нем многое, чего не видят другие, что в целом мире не было другой пары глаз, проникавших так глубоко в его душу.

— Но я и без того хотел рассказать вам об этом, — продолжил он, — и потому не сержусь на свое лицо за то, что оно выдает и изобличает меня. Мне так приятно и отрадно довериться моей Крошке Доррит! Итак, сознаюсь вам, что, забыв о своем серьезном характере, о своем возрасте, о том, что все это давно миновало с долгими годами моей безотрадной и одинокой жизни за границей, забыв обо всем этом, я вообразил себе, что люблю одну женщину.

— Я знаю ее, сэр? — спросила Крошка Доррит.

— Нет, дитя мое.

— Значит, это не та дама, которая отнеслась ко мне так ласково ради вас?

— Флора? Нет-нет. Как могли вы подумать…

— Я никогда не верила этому вполне, — сказала

Крошка Доррит, обращаясь более к себе самой, чем к нему. — Мне всегда казалось это немножко странным.

— Ну, — продолжил Артур, возвращаясь к тому настроению, которое овладело им в достопамятный вечер с розами в аллее, когда он почувствовал себя стариком, пережившим романтический период жизни, — я понял свою ошибку и немножко подумал, то есть много думал над ней, и стал умнее. Сделавшись умнее, я сосчитал свои годы, сообразил, что собой представляю, оглянулся назад, посмотрел вперед и увидел, что скоро буду седым. Мне ясно стало, что я уже взобрался на верхушку лестницы и что теперь мне предстоит спускаться.

Если бы он знал, какой мучительной болью отзывались его слова в этом терпеливом сердце. А ведь он думал успокоить и утешить ее.

— Я понял, что день, когда подобное чувство могло бы быть мне к лицу, могло бы соединиться с надеждой для меня, могло бы сделать счастливым меня или кого бы то ни было, я понял, что день этот миновал навсегда!

О, если бы он знал, если бы он знал! Если бы он мог видеть кинжал в своей руке и жестокие кровавые раны, которые наносил верному сердцу

своей Крошки Доррит!

— Все это прошло, и я отвернулся от всего этого. Зачем же я говорю об этом Крошке Доррит? Зачем я показываю вам, дитя мое, какая вереница лет разделяет нас, зачем напоминаю вам, что я пережил за весь период вашей жизни, ваш теперешний возраст?

— Потому что вы верите мне, потому что вы знаете, что все, что касается вас, касается меня, все, что делает счастливым или несчастным вас, делает счастливой или несчастной меня, которая так благодарна вам.

Он слышал ее дрожащий голос, видел ее серьезное лицо, видел ее чистые ясные глаза, видел ее трепещущую грудь, которая радостно приняла бы за него смертельный удар с предсмертным криком: «Я люблю его!» — и даже самое отдаленное предчувствие истины не шевельнулось в душе его. Нет, он видел верное, преданное существо в бедном платье, в стоптанных башмаках (в тюрьме, служившей для нее домом) — хрупкого ребенка телом, героиню душой, и ее семейная история вставала перед ним в таком ярком свете, который затмевал все остальное.

— Конечно, поэтому, Крошка Доррит, но также и по другим причинам. Чем больше между нами

разницы в летах и житейской опытности, тем более я гожусь вам в друзья и советники. Я хочу сказать — тем легче вам довериться мне, и всякое стеснение, которое вы могли бы испытывать, имея дело с другим, должно исчезнуть со мной. Почему же вы стали избегать меня, скажите?

— Мне лучше оставаться здесь. Мое место и обязанности здесь. Мне лучше здесь, — сказала Крошка Доррит чуть слышно.

— То же самое вы говорили мне в тот раз на мосту. Я много думал об этом. Нет ли у вас тайны, которую вы могли бы доверить мне?

— Тайны? У меня нет никаких тайн, — сказала Крошка Доррит с некоторым смущением.

Они говорили вполголоса, но не столько из-за Мэгги, которая сидела за работой, сколько потому, что это подходило к характеру разговора. Вдруг Мэгги встрепенулась и сказала:

— Послушайте, маленькая мама!

— Ну, Мэгги?

— Если у вас нет своей тайны, расскажите ему тайну принцессы; у нее была тайна, вы знаете.

— У принцессы была тайна? — с удивлением спросил Кленнэм. — У какой принцессы, Мэгги?

— Господи, как вам не стыдно взводить напраслину на бедную десятилетнюю девочку, — ска-

зала Мэгги. — Кто вам сказал, что у принцессы была тайна? Я этого не говорила.

— Извините. Мне послышалось, вы сказали.

— И не думала. Она сама хотела узнать ее. У маленькой женщины была тайна, и она всегда сидела за прялкой. А она ей говорит: «Зачем вы ее прячете?» А та говорит: «Нет, я не прячу». А та говорит: «Нет, прячете». Тогда они открыли шкаф, и там она оказалась. А потом она не захотела пойти в госпиталь и умерла. Вы знаете, маленькая мама. Расскажите ему. Ведь это была настоящая, хорошая тайна! — воскликнула Мэгги, обнимая свои колени.

Артур вопросительно взглянул на Крошку Доррит и с удивлением заметил, что она покраснела и смутилась. Но когда она рассказала ему, что это только сказка, которую она сочинила для Мэгги, и что рассказывать ее снова решительно не стоит, да она и забыла к тому же ее содержание, он оставил эту тему.

Но он вернулся к своей прежней теме и попросил Крошку Доррит навещать его почаще и помнить, что вряд ли кто-нибудь ближе, чем он, принимает к сердцу ее интересы. Когда она горячо ответила, что знает это и никогда не забудет, он перешел к другому и более щекотливому

пункту — к подозрению, которое у него возникло на ее счет.

— Крошка Доррит, — сказал он, снова взяв ее за руку и еще более понизив голос, так что даже Мэгги не могла расслышать его, — еще одно слово. Мне давно хотелось поговорить с вами об этом, только не представлялось удобного случая. Не стесняйтесь меня, который по годам мог бы быть вам отцом или дядей, всегда смотрите на меня как на старика. Я знаю, что все ваши привязанности сосредоточены в этой комнате, и ничто не заставит вас забыть о своем долге. Не будь я уверен в этом, я давно уже попросил бы вас и вашего отца позволить мне поискать для вас более подходящее жилище. Но у вас может явиться привязанность, я не говорю — теперь, хотя и это вполне возможно, может явиться когда-нибудь привязанность к какому-нибудь другому лицу, вполне совместимая с дочерней любовью.

Она страшно побледнела и молча покачала головой.

— Это может случиться, милая Крошка Доррит.

— Нет, нет, нет. — Она качала головой, медленно повторяя это слово, с выражением покорного отчаяния, которое он вспомнил много времени спустя. Наступил день, когда он вспомнил ее в

этих стенах, в этой самой комнате.

— Но если это когда-нибудь случится, скажите мне, милое дитя. Доверьтесь мне, укажите предмет вашей привязанности, и я постараюсь со всем усердием, честностью, искренностью моей дружбы и уважения оказать вам нужную услугу.

— О, благодарю, благодарю! Но нет, нет, нет!

Она сказала это, скрестив с мольбой огрубевшие от работы руки, тем же покорным тоном, как раньше.

— Я не требую откровенности теперь, я только прошу вас не сомневаться во мне.

— Могу ли я сомневаться, зная вашу доброту?

— Так вы будете откровенны со мной? Если у вас случится неприятность или горе, вы ничего не утаите от меня?

— Почти ничего.

— А теперь у вас нет никакого горя?

Она покачала головой, но по-прежнему была бледна.

— Значит, когда я лягу спать и мои мысли перенесутся в эту грустную комнату — это бывает всегда, даже в те дни, когда я не вижу вас, — я могу быть уверен, что никакая печаль (кроме той всегдашней печали, которая неразлучно связана с этой комнатой и ее обитателями) не тревожит

сердца моей Крошки Доррит?

Она как будто ухватилась за эти слова — он тоже припомнил это впоследствии — и сказала более веселым тоном:

— Да, мистер Кленнэм, да, вы можете быть покойны!

В эту минуту ветхая лестница, всегда возвещавшая скрипом о появлении посетителя, затрещала под быстрыми шагами, за которыми последовали странные звуки, точно пыхтение пароходика, у которого было столько пара, что он не знает, что ему с этим паром делать. Пароходик быстро приближался, работая с возрастающей энергией, и, остановившись у дверей, как будто запыхтел в замочную скважину. В то же время кто-то постучался.

Пока Мэгги собиралась отворить, дверь распахнулась, и Панкс, без шляпы, взъерошенный более, чем когда-либо, появился перед Кленнэмом и Крошкой Доррит. С зажженной сигарой в руке, он принес с собой крепкий запах эля и табачного дыма.

— Панкс, цыган, предсказатель будущего, — выпалил он, не успев перевести дух.

Он стоял перед ними с улыбкой на грязном лице и пыхтел с самым курьезным видом, точно

был уже не орудием своего хозяина, а торжествующим властелином Маршалси с ее директором, сторожами и арестантами. В порыве восторга он сунул сигару в рот (очевидно, не будучи курильщиком) и, зажмурив правый глаз, затянулся так отчаянно, что чуть не задохся. Но даже в припадке кашля он силился повторить свою любимую фразу, которую он произносил, когда представлялся людям:

— Па-анкс, цы-ган, пред-сказатель. Я провел с ними вечер. Пел с ними. Подтягивал в хоре. Что такое пели? Не знаю. Наплевать! Отчего не подтягивать? Было бы громко. Что-нибудь да выйдет!

Сначала Кленнэму показалось, что он пьян. Но вскоре он убедился, что хотя эль действительно немного ухудшил (или улучшил) его настроение, однако главный источник его возбуждения проистекал не от продуктов, сделанных из солода, хлебных зерен или ягод.

— Как поживаете, мисс Доррит? — спросил Панкс. — Надеюсь, вы не рассердитесь, что я завернул на минутку. Я узнал от мистера Доррита, что мистер Кленнэм здесь. Как поживаете, сэр?

Кленнэм поблагодарил и сказал, что рад видеть его таким веселым.

— Веселым! — повторил Панкс. — Я нынче в

ударе, сэр. Надо бежать, а то меня могут хватиться, а я не хочу, чтобы меня хватились. А, мисс Доррит?

Он поглядывал на нее и обращался к ней с каким-то беспредельным наслаждением, причем отчаянно ерошил волосы, точно какой-то черный попугай.

— Я пришел сюда каких-нибудь полчаса назад. Услыхал, что мистер Доррит председательствует, и говорю себе: «Пойду-ка туда поднять его настроение!» По-настоящему мне следовало бы быть на подворье «Разбитые сердца», но я успею выжать их завтра. А мисс Доррит?

Его черные глазки искрились электрическим светом. Даже волосы искрились, когда он ерошил свою щетину. Он был так заряжен, что, казалось, при малейшем прикосновении должен был сыпать искрами.

— У вас тут славная компания, а, мисс Доррит?

Она немножко боялась его и не знала, что сказать. Он засмеялся, кивая на Кленнэма.

— Не стесняйтесь его, мисс Доррит. Он один из наших. Помните, мы решили, что вы не будете замечать меня при посторонних, но это не относится к мистеру Кленнэму. Он тут тоже замешан. Правда, мистер Кленнэм? А, мисс Доррит?

Возбуждение этого странного создания быстро сообщилось Кленнэму. Крошка Доррит с изумлением убедилась в этом и заметила, что они обменялись быстрыми взглядами.

— Я хотел что-то сказать, — продолжил Панкс, — но забыл, что именно. А, да, помню! Славная у вас компания. Я сегодня угощаю всех. А, мисс Доррит?

— Вы очень щедры, — ответила она, заметив, что они снова обменялись взглядами.

— Ничуть, — возразил Панкс. — Это для нас ничего не значит. Я вступаю во владение своей собственностью, вот в чем дело! Тут можно расщедриться. Задам пир на весь мир. Весь двор уставим столами. Горы булок. Целый лес трубок. Копны табаку. Ростбиф и плумпудинг [50] для всех! По кварте крепкого портера на брата. По пинте вина тем, кто любит, — конечно, с разрешения начальства! А, мисс Доррит?

Она была до того смущена его поведением — или, вернее сказать, очевидным сочувствием Кленнэма (на которого она взглядывала после каждого нового заявления, сопровождавшегося взъерошиванием щетины), который, по-видимо-

---

[50] Сноски: 50

Рождественский пирог с изюмом и пряностями — английское национальное блюдо.

му, понимал смысл этих ухваток, — что только пошевелила губами, не сказав ни слова.

— Да, да, да, кстати! — продолжил Панкс. — Помните? «Вы узнаете в свое время, что скрывается на этой маленькой ручке»? И узнаете, и узнаете, голубушка. А, мисс Доррит?

Он внезапно умолк. Непостижимо, откуда у него вдруг взялась добавочная щетина, только целый лес ее вырос на его голове и торчал во все стороны, точно мириады проволок, рассыпающих разноцветные искры.

— Однако меня хватятся, — опомнился он, — а я вовсе не желаю, чтобы меня хватились! Мистер Кленнэм, мы с вами заключили условие. Я сказал, что исполню его точка в точку. Вы увидите, что я исполнил его точка в точку, если выйдете со мной на минутку. Мисс Доррит, покойной ночи! Мисс Доррит, всего хорошего!

Он быстро пожал ей обе руки и запыхтел вниз по лестнице. Артур последовал за ним так поспешно, что чуть не сбил его с ног на последней ступеньке.

— Ради бога, что это значит? — спросил он, когда они чуть не кубарем вылетели на двор.

— Постойте минутку, сэр. Мистер Рогг, позвольте познакомить.

С этими словами он представил Кленнэму господина, тоже без шляпы, тоже с сигарой и тоже в ореоле эля и табачного дыма… Этот господин хотя и не был так взволнован, однако находился в состоянии, которое можно было бы принять за помешательство, если бы оно не казалось нормальным в сравнении с исступлением мистера Панкса.

— Мистер Кленнэм, мистер Рогг, — сказал Панкс. — Постойте минуточку. Идем к насосу!

Они подошли к насосу. Мистер Панкс немедленно сунул голову под желоб и попросил мистера Рогга качать во всю мочь. Мистер Рогг исполнил просьбу буквально, и мистер Панкс, посопев и пофыркав, вытер голову носовым платком.

— Надо освежиться, — пояснил он изумленному Кленнэму. — А то подумайте только: видеть ее отца председателем в буфетной, зная то, что мы знаем, а ее самое — в этой комнатке, в этом платье, зная то, что мы знаем, нет… Мистер Рогг, дайте-ка вашу спину… чуточку повыше… вот так.

И тут же, на дворе Маршалси, в вечернем сумраке мистер Панкс перелетел через голову мистера Рогга из Пентонвиля, ходатая по делам, счетовода и прочее. Встав на ноги, он схватил Кленнэма за

пуговицу, отвел его к насосу и, отдуваясь, вытащил из кармана связку бумаг.

Мистер Рогг, тоже отдуваясь, вытащил из кармана связку бумаг.

— Постойте, — спросил Кленнэм шепотом, — вы сделали открытие?

— Кажется, что так, — ответил мистер Панкс с неподражаемой ужимкой.

— Тут замешан кто-нибудь?

— Как это замешан, сэр?

— Кто-нибудь оказался виновным в обмане доверия или в другом беззаконном поступке?

— Ничего подобного.

«Слава богу!» — подумал Кленнэм.

Покажите, что у вас там.

— Надо вам сказать… — пыхтел Панкс, лихорадочно перебирая бумаги и выбрасывая слова коротенькими фразами, точно пар под высоким давлением. — Где же родословная? Где же запись номер четыре, мистер Рогг? Ага, все цело! Вот! Надо вам сказать, что фактически мы сегодня кончили дело. Юридически оно будет оформлено через день, через два, не раньше. Скажем на всякий случай: через неделю. Мы работали днем и ночью уж не знаю, сколько времени. Сколько времени, мистер Рогг? Наплевать, молчите! Вы

только сбиваете меня. Вы ей скажете, мистер Кленнэм, но не прежде, чем мы вам позволим. Где же примерная смета, Рогг? О, вот она! Так-то, сэр. Вот что вы ей преподнесете. Этот человек — Отец Маршалси.

Глава XXXIII. Болезнь миссис Мердль

Покорившись неизбежной судьбе, примирившись, насколько она умела, с «этими Мигльсами» и подчинив свою философию этой программе, вероятность чего она уже предвидела в разговоре с Артуром, миссис Гоуэн милостиво согласилась не препятствовать браку своего сына. Возможно, что это счастливое решение было принято ею не только под влиянием материнских чувств, но и в силу соображений политического порядка, которых было три.

Первым могло быть то, что сын никогда не обнаруживал ни малейшего намерения спрашивать ее согласия и не выказывал недоверия к своей способности обойтись без такового; вторым — что пенсия, назначенная ей благодарным отечеством (и одним из Полипов), будет избавлена от маленьких сыновних набегов, если Генри женится на любимой и единственной дочери человека с весьма солидными средствами; третьим — что долги Генри, очевидно, будут уплачены тестем перед венцом. Если к этим трем благоразумным соображениям прибавить то обстоятельство, что миссис Гоуэн дала свое

согласие, лишь только узнала о согласии мистера Мигльса, и что нежелание этого последнего было до сих пор единственным препятствием к браку, то будет весьма вероятным, что вдова покойного уполномоченного по пустяковым делам давно уже лелеяла эти мысли в своей мудрой голове.

Как бы то ни было, но для поддержания своего личного и фамильного достоинства среди друзей и знакомых она делала вид, что считает этот брак величайшим несчастьем, что вся эта история нанесла ей жестокий удар, что Генри совершенно околдован, что она долго боролась, но что же может сделать мать, и тому подобное. Она уже приглашала Артура Кленнэма в качестве приятеля Мигльсов засвидетельствовать справедливость этой басни, а теперь попыталась внушить то же убеждение самим Мигльсам. При первом же свидании с мистером Мигльсом она ухитрилась поставить себя в положение огорченной, но любящей матери, уступившей неотступным настояниям сына. С самой утонченной вежливостью и благовоспитанностью она сделала вид, будто она, а не мистер Мигльс, противилась этому браку и наконец уступила; будто с ее стороны, а не с его, была принесена жертва. Ту же фикцию, с той же учтивой ловкостью, она

навязала и миссис Мигльс, совершенно так, как фокусник подсунул бы карту этой невинной леди. Когда же сын представил ей будущую невестку, она сказала, целуя ее: «Как это, милочка, вы ухитрились так околдовать моего Генри?», причем выронила две-три слезинки, скатившиеся по носу в виде белых душистых шариков пудры и явившиеся деликатным, но трогательным свидетельством жестоких внутренних страданий под маской наружного спокойствия.

Среди друзей миссис Гоуэн (которая гордилась тем, что сама принадлежит к обществу и поддерживает постоянную и тесную связь с этой могущественной державой) первое место занимала миссис Мердль. Правда, хэмптон-кортские жители, все без исключения, задирали носы перед Мердлями-выскочками, но тут же и опускали их перед Мердлями-богачами. В этом движении носов по двум противоположным направлениям они следовали примеру казначейства, адвокатуры, епископа и всей остальной клики.

Даровав вышеупомянутое милостивое согласие, миссис Гоуэн вознамерилась сделать визит миссис Мердль в надежде отвести душу. С этой целью она отправилась в город в одноконной карете, носившей в тот период английской исто-

рии непочтительное прозвище коробки из-под пилюль. Она принадлежала мелкому барышнику, который сам исправлял обязанности кучера и возил поденно или по часам почти всех старушек Хэмптон-корта, дворца; но в этом таборе с незапамятных времен установилась в качестве незыблемого правила этикета фикция, в силу которой коробка с лошадьми и кучером считалась частной собственностью того, кто нанимал ее в данную минуту, а барышник делал вид, что никогда не знал других хозяев. Так ведь и Полипы министерства околичностей, эти величайшие в мире барышники, притворяются, будто понятия не имеют о какой-нибудь сделке, кроме той, которой заняты в данную минуту.

Миссис Мердль была дома и сидела в своем малиновом с золотыми узорами гнездышке, подле попугая, который посматривал на нее со своей жердочки, склонив головку набок, точно принимал ее за другого великолепного попугая более крупной породы. Миссис Гоуэн предстала перед ними со своим любимым зеленым веером, который смягчал яркость ее румянца.

— Душа моя, — сказала миссис Гоуэн, слегка ударив веером по руке своей приятельницы после того, как они обменялись обычными всту-

пительными фразами, — вы одна можете меня утешить. История с Генри, о которой я вам рассказывала, близится к развязке. Свадьба состоится в скором времени. Что вы на это скажете? Я сгораю от нетерпения услышать ваш отзыв, так как вы олицетворяете собой общество.

Миссис Мердль осмотрела свой бюст, на который обращались обыкновенно взоры общества, и, убедившись, что выставка Мердля и лондонских ювелиров в порядке, ответила:

— Дорогая моя, когда речь идет о мужчине, вступающем в брак, общество требует, чтобы он поправил этим браком свои средства. Общество требует, чтобы он получил выгоду от этого брака. Общество требует, чтобы он хорошо устроился благодаря этому браку. Если это условие не исполнено, общество не понимает, зачем ему понадобилось вступать в брак. Птица, успокойся!..

Дело в том, что попугай, следивший за их беседой с высоты своей жердочки с важным видом судьи (он и смахивал на судью в эту минуту), закончил эту тираду криком.

— Бывают случаи, — продолжила миссис Мердль, изящно согнув мизинец любимой руки и подчеркивая этим жестом свое замечание, — бывают случаи, когда мужчина немолод и некрасив,

но богат и уже обладает солидным положением. Это другое дело. В таких случаях…

Миссис Мердль пожала белоснежными плечами и, приложив руку к своей выставке драгоценностей, слегка кашлянула, как будто хотела сказать: «Вот чего ищет мужчина в таких случаях!» Попугай снова крикнул, и она, взглянув на него в лорнет, сказала:

— Птица, да успокойся же!

— Но молодые люди, — продолжила миссис Мердль, — вы знаете, дорогая моя, кого я подразумеваю под молодыми людьми: сыновья лиц, принадлежащих к обществу, имеющие в виду карьеру, — должны более сообразоваться с требованиями общества в вопросе о браке и не выводить его из терпения своими глупостями… Конечно, все это так суетно, — прибавила миссис Мердль, откидываясь в свое гнездышко и снова приставляя к глазам лорнет, — не правда ли?

— Но тем не менее верно, — изрекла миссис Гоуэн поучительным тоном.

— Милочка, об этом и спорить нечего, — ответила миссис Мердль. — Общество высказалось на этот счет категорически. Если бы мы находились в первобытном состоянии, жили под сенью деревьев и пасли коров и овец вместо того, чтобы

заниматься банкирскими счетами (это было бы восхитительно, дорогая моя, я рождена для сельской тишины), тогда — прекрасно, отлично. Но мы не живем под сенью деревьев и не пасем коров и овец. Я иногда из сил выбиваюсь, стараясь объяснить эту разницу Эдмунду Спарклеру.

Услыхав это имя, миссис Гоуэн выглянула из-за своего зеленого веера и возразила:

— Душа моя, вам известно жалкое положение страны, эти несчастные уступки Джона Полипа — следовательно, известно также, почему я бедна как…

— …церковная мышь, — с улыбкой подсказала миссис Мердль.

— Я имела в виду другую церковную личность, вошедшую в пословицу, — Иова [51], — сказала миссис Гоуэн. — Впрочем, все равно. Итак, бесполезно было бы пытаться скрыть огромную разницу в положении наших сыновей. Я могу прибавить к этому, что Генри обладает талантом.

— Которым Эдмунд вовсе не обладает, — вставила миссис Мердль самым приятным тоном.

— И что этот талант в связи с разочарования-

---

[51] Сноски: 51

Библейский персонаж, впавший в нищету из-за своего благочестия и терпения.

ми, — продолжала миссис Гоуэн, — побудил его избрать карьеру… Ах, милочка, вы знаете какую! Имея в виду эту разницу положений, спрашивается, на какой партии могу я примириться?

Миссис Мердль до того погрузилась в созерцание своих рук (прекрасных рук, точно созданных для браслетов), что не сразу ответила. Выведенная, наконец, из задумчивости внезапно наступившим молчанием, она скрестила руки на груди и, взглянув с изумительным присутствием духа прямо в глаза своей подруге, спросила:

— Да-а? Ну и что же?

— То, дорогая моя, — сказала миссис Гоуэн не таким сладким тоном, как раньше, — что я была бы рада услышать ваше мнение об этом предмете.

Тут попугай, стоявший на одной ноге со времени своего последнего крика, разразился хохотом, принялся насмешливо приседать и в заключение снова выпрямился на одной ноге в ожидании ответа, согнув голову набок до того, что рисковал свихнуть шею.

— Спрашивать, сколько джентльмен берет за своей невестой, быть может, слишком корыстно, — сказала миссис Мердль, — но ведь и общество не совсем чуждо корысти. Не правда ли, дорогая?

— Насколько мне известно, — сказала миссис Гоуэн, — долги Генри будут уплачены…

— А много долгов? — спросила миссис Мердль, поглядывая в лорнет.

— Кажется, порядочно, — сказала миссис Гоуэн.

— Как водится, понятно, так и должно быть, — заметила миссис Мердль успокоительным тоном.

— Кроме того, отец будет выдавать им по триста фунтов в год или немного больше. А в Италии…

— Они едут в Италию? — перебила миссис Мердль.

— Для занятий Генри. Вам нечего спрашивать — зачем, милочка. Это ужасное искусство…

Правда, миссис Мердль поспешила пощадить чувства своей огорченной подруги. Она понимает. Не нужно говорить более.

— Вот и все! — сказала миссис Гоуэн, сокрушенно покачивая головой. — Вот и все, — повторила она, свертывая зеленый веер и похлопывая им себя по подбородку (который обещал вскоре сделаться двойным; пока его можно было назвать полуторным). — По смерти стариков они, вероятно, получат больше, но на каких условиях — не знаю. К тому же они могут прожить сто лет. Это

именно такого сорта люди, дорогая моя.

Миссис Мердль, которая очень хорошо знала своего друга — общество, знала, что такое в обществе мать и что такое дочь, и как вершатся сделки, и как ловят и перебивают друг у друга хороших женихов, и какие при этом устраиваются подвохи и фокусы, — миссис Мердль подумала, что молодой человек заключил весьма недурную сделку. Но, зная, чего от нее ожидают, и уразумев истинную сущность фикции, которую ей преподносили, она деликатно приняла ее в свои руки и покрыла требуемым количеством лака.

— Так это все, дорогая моя? — сказала она с сочувственным вздохом. — Так-так. Во всяком случае, это не ваша вина. Вам не в чем упрекнуть себя. Вы должны вооружиться мужеством, которым так славитесь, и примириться с судьбой.

— Семья этой девушки, — заметила миссис Гоуэн, — разумеется, напрягала все свои силы, чтобы поймать в свои сети Генри.

— Понятное дело, милочка, — сказала миссис Мердль.

— Я пыталась бороться против этого, но все было напрасно. Все мои усилия кончились неудачей. Теперь скажите откровенно, душа моя, права ли я была, согласившись наконец, хотя и с край-

ним отвращением, на этот неравный брак, или выказала непростительную слабость?

В ответ на этот прямой вопрос миссис Мердль поспешила уверить миссис Гоуэн (тоном признанной жрицы общества), что ее образ действий заслуживает величайшей похвалы, а ее положение — величайшего сочувствия, что она избрала наиболее достойный исход и вышла очищенной из горнила испытаний. И миссис Гоуэн, которая, разумеется, отлично видела прорехи в своей мантии и знала, что миссис Мердль отлично увидит их, тем не менее продолжала кутаться в нее с невыразимой важностью и самодовольством.

Беседа происходила около четырех или пяти часов пополудни, когда Харли-стрит и Кавендиш-сквер оглашаются неумолчным грохотом экипажей и дверных молотков. В ту самую минуту, когда она достигла упомянутого пункта, мистер Мердль вернулся домой после дневных трудов, имевших целью все возрастающее прославление британского имени во всех концах цивилизованного мира, способного оценить коммерческие предприятия мирового размаха и гигантские комбинации творческого ума и капитала. Хотя никто не знал в точности, в чем, собственно, заключаются предприятия мистера

Мердля (знали только, что он фабрикует деньги), но именно этими терминами характеризовалась его деятельность во всех торжественных случаях и такова была новая вежливая редакция притчи о верблюде и игольном ушке, принятая всеми без споров.

Для человека, вершившего такие великие дела, мистер Мердль выглядел довольно вульгарным господином, как будто в суете своих обширных торговых сделок он поменялся головой с каким-нибудь более низким по своему умственному уровню человеком. Он забрел к дамам случайно, слоняясь по дому, невидимому без всякой определенной цели, кроме стремления укрыться от глаз главного дворецкого.

— Виноват, — сказал он, останавливаясь в смущении, — я думал, что здесь нет никого, кроме попугая.

Но миссис Мердль предложила ему войти, а миссис Гоуэн заметила, что ей пора, и встала, собираясь уезжать. Ввиду этого он вошел и остановился у окна, подальше, скрестив руки под неудобными манжетами и уцепившись одной за другую так крепко, как будто старался заключить самого себя под стражу. Затем он немедленно впал в забытье, от которого пробудил его только

голос жены, раздавшийся с оттоманки четверть часа спустя.

— А, что? — сказал мистер Мердль, оборачиваясь к ней. — Что такое?

— Что такое? — повторила миссис Мердль. — Вы, кажется, пропустили мимо ушей все, на что я жаловалась.

— Вы жаловались, миссис Мердль? — спросил мистер Мердль. — Я не знал, что вы расстроены. Что же вас расстроило?

— Вы меня расстроили, — ответила миссис Мердль.

— О, я вас расстроил! — сказал мистер Мердль. — Что же я такое… Как же я… Чем же я мог расстроить вас, миссис Мердль?

В своем рассеянном, не от мира сего состоянии он не сразу нашел подходящее выражение.

В виде слабой попытки убедить себя, что он хозяин дома, мистер Мердль заключил свою речь, подставив указательный палец попугаю, который не преминул выразить свое мнение об этом предмете, вонзив в него клюв.

— Вы сказали, миссис Мердль, — продолжил он, засунув в рот укушенный палец, — что я расстроил вас.

— Довольно того, что я должна повторять это

дважды, — сказала миссис Мердль. — Я могла бы с таким же успехом обращаться к стене, с большим успехом — к попугаю. Он по крайней мере хоть крикнул бы в ответ.

— Надеюсь, вы не хотите, чтобы я кричал, миссис Мердль, — сказал мистер Мердль, опускаясь на стул.

— Право, не знаю, — ответила миссис Мердль. — Пожалуй, хоть кричите, только не будьте таким угрюмым и рассеянным. По крайней мере, тогда будет видно, что вы замечаете то, что происходит вокруг вас.

— Можно кричать и все-таки не замечать, что происходит вокруг вас, — угрюмо проговорил мистер Мердль.

— И можно быть упрямым, как вы теперь, и все-таки не кричать, — возразила миссис Мердль. — Совершенно верно. Если вы хотите знать, чем я расстроена, так вот я растолкую вам коротко и ясно: вы не должны являться в общество, пока к нему не приспособитесь.

Мистер Мердль, засунув пальцы в остатки своих волос так неистово, что, казалось, сам себя поднял со стула, вскочил и завопил:

— Как, во имя всех адских сил, миссис Мердль, да кто же делает для общества больше, чем я?

Взгляните на эту квартиру, миссис Мердль! Взгляните на эту обстановку, миссис Мердль! Взгляните в зеркало, полюбуйтесь на самое себя, миссис Мердль! Известно вам, каких денег все это стоит и для кого все это добывалось? И вы говорите, что я не должен являться в общество?! Я, осыпающий его золотым дождем! Я, который работает как ломовая лошадь у… у… у… можно сказать, у насоса с деньгами, накачивая их для этого ненасытного общества денно и нощно!

— Пожалуйста, не горячитесь, мистер Мердль.

— Не горячиться? — воскликнул мистер Мердль. — Да вы меня доведете до исступления! Вы не знаете и половины того, что я делаю ради общества. Вы не знаете, какие жертвы я приношу для него.

— Я знаю, — ответила миссис Мердль, — что в нашем доме собирается цвет нации. Я знаю, что вы вращаетесь в лучшем кругу общества, и, кажется, я знаю (да, не напуская на себя лицемерной скромности, могу сказать, что знаю), кому вы этим обязаны, мистер Мердль.

— Миссис Мердль, — произнес этот джентльмен, вытирая свое красно-бурое лицо, — я знаю это не хуже вас. Если бы вы не были украшением общества, а я благодетелем общества, мы бы

никогда не сошлись. Под благодетелем я подразумеваю человека, который не жалеет денег, чтобы доставить обществу все, что есть лучшего, по части еды, питья или для увеселения взоров. Но говорить мне, что я не гожусь для общества, после всего, что я сделал для него… после всего, что я для него сделал, — повторил мистер Мердль с диким пафосом, заставившим его супругу приподнять брови, — после всего, всего этого говорить мне, будто я не должен являться в общество, это достойная награда!

— Я говорю, — спокойно ответила миссис Мердль, — что вы должны являться в общество менее озабоченным, более degage [52]. Таскать за собой свои дела, как вы это делаете, положительно вульгарно.

— Как это так: я таскаю их за собой, миссис Мердль? — спросил мистер Мердль.

— Как вы таскаете? Взгляните на себя в зеркало.

Мистер Мердль машинально посмотрел в ближайшее зеркало и спросил, еще более потемнев от медленно прихлынувшей к вискам крови: неужели можно осуждать человека за его пище-

---

[52] Сноски: 52
Непринужденный, свободный в обращении *(фр.)*.

варение?

— У вас есть доктор, — сказала миссис Мердль.

— Он не помогает мне, — ответил мистер Мердль.

Миссис Мердль переменила тему:

— Ваше пищеварение тут ни при чем. Я не о пищеварении говорю. Я говорю о ваших манерах.

— Миссис Мердль, это ваше дело. Вы даете манеры, я даю деньги.

— Я не требую от вас, — сказала миссис Мердль, разваливаясь на подушках, — чарующего обращения с людьми. Я не заставляю вас заботиться о своих манерах. Напротив, я прошу вас ни о чем не заботиться или делать вид, что вы ни о чем не заботитесь, как это делают все.

— Разве я говорю кому-нибудь о своих заботах?

— Говорите? Нет! Да никто бы и слушать не стал. Но вы показываете их.

— Как так, что я показываю? — взвился мистер Мердль.

— Я уже говорила: у вас такой вид, как будто вы всюду таскаете за собой свои деловые заботы и проекты, вместо того чтобы оставлять их в Сити или где там им следует оставаться, — сказала миссис Мердль. — Хоть бы вы делали вид, что оставляете их, только делали вид: ничего больше

я не требую. А то вы вечно погружены в расчеты и соображения, точно вы какой-нибудь плотник.

— Плотник! — повторил мистер Мердль с глухим стоном. — Желал бы я быть плотником, миссис Мердль.

— И я утверждаю, — продолжила миссис Мердль, пропустив мимо ушей грубое заявление супруга, — что это неприлично, не одобряется обществом, и потому вы должны исправиться. Если мне не верите, спросите Эдмунда Спарклера. — Миссис Мердль заметила через лорнет голову сына, который в эту минуту приотворил дверь. — Эдмунд, мне нужно с тобой поговорить!

Мистер Спарклер, который, только просунув голову в дверь, осматривал комнату, оставаясь снаружи (как будто отыскивал барышню «без всяких этаких глупостей»), услышав слова матери, просунул вслед за головой и туловище и вошел в комнату. Миссис Мердль объяснила ему, в чем дело, в выражениях, доступных его пониманию.

Молодой человек с беспокойством пощупал воротничок, как будто хотел проверить пульс (а он страдал ипохондрией), и объявил, что «слышал об этом от ребят».

— Эдмунд Спарклер слышал об этом! — с торжеством проговорила миссис Мердль. — Очевидно,

все слышали об этом.

Замечание это было не лишено основания, так как, по всей вероятности, мистер Спарклер в каком угодно собрании человеческих существ последний бы заметил, что происходит перед его носом.

— Эдмунд Спарклер, конечно, сообщит вам, — прибавила миссис Мердль, показывая своей любимой рукой в сторону супруга, — что именно слышал об этом.

— Не знаю, — сказал Спарклер, снова пощупав свой пульс, — не знаю, как это началось, такая проклятая память. Тут еще был брат этой барышни, чертовски славная девка, и хорошо воспитанная, и без всяких этаких глупостей.

— Бог с ней! — перебила миссис Мердль с некоторым нетерпением. — Что же он сказал?

— Он ничего не сказал, ни словечка, — ответил мистер Спарклер. — Такой же молчаливый парень, как я сам, тоже слова не выжмешь.

— Сказал же кто-нибудь что-нибудь? — возразила миссис Мердль. — Все равно кто, не старайся вспомнить.

— Я вовсе не стараюсь, — заметил мистер Спарклер.

— Скажи нам, что именно говорилось.

Мистер Спарклер снова обратился к своему пульсу и после напряженного размышления сообщил:

— Ребята говорили о родителе (это не мое выражение), говорили о родителе, ну и расхваливали его за богатство и ум, называли светилом банкирского и промышленного мира и так далее, но говорили, будто дела его совсем доконали. Он, говорят, вечно таскает их с собой, точно старьевщик узел тряпья.

— Слово в слово моя жалоба, — сказала миссис Мердль, вставая и отряхивая свое пышное платье. — Эдмунд, дай мне руку и проводи меня наверх.

Предоставленный самому себе и размышлениям о приспособлении своей особы к обществу, мистер Мердль последовательно выглянул из девяти окон, но, кажется, увидел только девять пустых мест. Доставив себе это развлечение, он потащился вниз и тщательно осмотрел все ковры на первом этаже, потом поднялся обратно и осмотрел все ковры на втором этаже, точно это были мрачные пропасти, гармонировавшие с его угнетенной душой. Как всегда, он бродил по комнатам с видом человека, совершенно чужого в этом доме. Как бы внушительно ни оповещала

миссис Мердль своих знакомых, что она бывает дома по таким-то дням, мистер Мердль еще внушительнее заявлял всей своей фигурой, что он никогда не бывает дома.

Наконец он встретился с главным дворецким, пышная фигура которого всегда добивала его окончательно. Уничтоженный этим великим человеком, он прополз в свою спальню, заперся и сидел там, пока миссис Мердль не явилась к нему и не увезла его на обед. На обеде ему завидовали и льстили как могущественному существу, за ним ухаживало казначейство, ему кадила церковь, перед ним рассыпалась адвокатура, а в час пополуночи он вернулся домой и, под взглядом главного дворецкого моментально угаснув в собственной передней, точно нагоревшая свечка, улегся, вздыхая, спать.

Глава XXXIV. Полипняк

Мистер Генри Гоуэн с собакой сделался постоянным посетителем коттеджа, и день свадьбы был назначен. По этому случаю было приглашено целое собрание Полипов, так что могущественная и обширная семья обещала озарить свадьбу таким блеском, какой только могло выдержать это ничтожное событие.

Собрать всю семью Полипов было бы невозможно по двум причинам. Во-первых, не нашлось бы постройки, достаточно обширной, чтобы вместить всех членов и родственников этого знаменитого дома. Где только под солнцем или луной ни имелся клочок британской территории хотя бы в квадратный ярд и хоть какой-нибудь официальный пост на этом клочке, там обязательно сидел Полип. Стоило какому-нибудь смелому мореплавателю водрузить флаг в любом уголке земли и объявить этот уголок британским владением, министерство околичностей немедленно отправляло туда Полипа с портфелем. Таким образом Полипы распространились по всему свету, по всем румбам компаса.

Но хотя сам могучий Просперо [53] не сумел бы собрать Полипов со всех пунктов океана и суши, где не было никакого дела (кроме чепухи), но имелось какое-нибудь жалованье, все-таки представлялась полная возможность собрать значительное количество Полипов. За это взялась миссис Гоуэн, которая часто заезжала к мистеру Мигльсу с новыми прибавлениями к списку приглашенных и толковала с ним по этому поводу, если только он не был занят подсчитыванием и уплатой долгов своего будущего зятя (его обыкновенное занятие в этот период).

В числе приглашенных на свадьбу был человек, присутствием которого мистер Мигльс дорожил больше, чем присутствием знатнейших Полипов, хотя он отнюдь не был равнодушен к чести принимать у себя таких именитых гостей. Этот человек был Кленнэм. Кленнэм считал священным обещание, которое он дал несколько времени назад, летним вечером, в аллее, и в своем рыцарском сердце решил исполнить все связанные с ним обязательства. Забывать о себе и служить ей было ему приятно, и в данном случае он весело отвечал на приглашение мистера

---

[53] Сноски: 53

Герой драмы У. Шекспира (1564–1616) «Буря», мудрый и могучий волшебник.

Мигльса:

— Разумеется, буду!

Его компаньон, Даниэль Дойс, был своего рода камнем преткновения для мистера Мигльса; достойный джентльмен чувствовал, что свести Дойса с Полипами значило бы образовать довольно опасную взрывчатую смесь. Впрочем, государственный преступник сам избавил мистера Мигльса от затруднения, явившись в Туикнем и попросив, с откровенностью старого друга, чтобы его не приглашали на свадьбу.

— Дело в том, — объяснил он, — что в моих сношениях с этими господами я стремился исполнить свою обязанность перед обществом, которому думал оказать услугу; они же стремились не допустить меня до этого, вымотав из меня душу. При таких обстоятельствах вряд ли удобно нам есть и пить за одним столом и делать вид, будто мы единомышленники.

Мистер Мигльс посмеялся чудачеству своего приятеля и ответил более чем когда-либо покровительственным тоном:

— Ладно, ладно, Дан, что с вами поделаешь, вы всегда чудите.

Тем временем Кленнэм спокойно пытался убедить мистера Гоуэна в своей готовности быть

его другом. Мистер Гоуэн отвечал на это со своей обычной развязностью и со своей обычной кажущейся доверчивостью, в которой, в сущности, доверчивости вовсе не было.

— Видите ли, Кленнэм, — сказал он однажды за неделю до свадьбы, когда они прогуливались подле коттеджа, — я разочарованный человек, вы уже знаете это.

— Право, я не совсем понимаю почему, — заметил Кленнэм, несколько смущенный.

— Потому что, — возразил Гоуэн, — я принадлежу к клану, или клике, или семье, или роду, или как вы там его назовете, который мог бы устроить мне какую угодно карьеру, но решительно не желает беспокоиться обо мне. И вот в результате я бедняк художник.

— Но с другой стороны… — начал было Кленнэм, но Гоуэн перебил его:

— Да, да, я знаю. С другой стороны, я имею счастье быть любимым прелестной и очаровательной девушкой, которую, со своей стороны, люблю всем сердцем…

«Да есть ли у тебя еще сердце?» — подумал Кленнэм, подумал и устыдился самого себя.

— И буду иметь тестем отличного человека, добрейшего и щедрого старика. Но у меня еще в

детстве были кое-какие мечты и планы, которые я лелеял и позднее, в школе, а теперь потерял, и вот почему я разочарованный человек.

Кленнэм подумал (и, подумав, снова устыдился своей мысли), не считает ли он эту разочарованность каким-нибудь сокровищем, которое намеревается внести в семью своей невесты, как уж внес в свою профессию, к немалому ущербу для последней? Да и где подобное сокровище могло бы оказаться уместным и желанным?

— Надеюсь, ваше разочарование не мрачного свойства? — заметил он вслух.

— Разумеется, нет, — засмеялся Гоуэн. — Мои родичи не стоят этого, хоть они и милейшие ребята и я сердечно люблю их. Кроме того, мне приятно показать им, что я могу обойтись без их помощи и послать их всех к черту. А затем большинству людей пришлось так или иначе разочароваться в жизни. Но все-таки этот мир — прекрасный мир, и я душевно люблю его!

— Он открыт перед вами, — заметил Артур.

— Прекрасный, как эта летняя река, — подхватил Гоуэн с жаром, — и, клянусь Юпитером, я в восторге от него и сгораю нетерпением попытать свои силы. Лучший из миров! А моя профессия! Лучшая из профессий, не правда ли?

— Заманчивая и сама по себе, и как поприще для честолюбия, — сказал Артур.

— И для надувательства, — засмеялся Гоуэн, — не забудьте: надувательства. Надеюсь, что и в этом отношении не ударю лицом в грязь, но, чего доброго, разочарованный человек скажется и здесь. Пожалуй, у меня не хватит храбрости. Между нами, сдается мне, что я слишком озлоблен для этого.

— То есть для чего? — спросил Кленнэм.

— Для того, чтобы показывать товар лицом, выводить самого себя в люди, как делают мои ближние, представляться тружеником, который всецело предан своему искусству, посвящает ему все свое время, жертвует для него удовольствиями, только им и живет, и так далее, и так далее, словом, пускать пыль в глаза по общему шаблону.

— Но вполне естественно уважать свое призвание, каково бы оно ни было, — возразил Кленнэм, — считать себя обязанным способствовать его расцвету, добиваться, чтобы и другие относились к нему с уважением. Разве не правда? А ваша профессия, Гоуэн, стоит труда и усердия. Я думаю, впрочем, что вообще искусство стоит этого.

— Какой вы славный малый, Кленнэм! — воскликнул Гоуэн, останавливаясь и глядя на него с выражением неудержимого восторга. — Какой вы чудесный малый! Вам не приходилось разочаровываться, это сразу видно.

Было бы слишком жестоко с его стороны сказать это с умыслом, и Кленнэм предпочел думать, что никакого умысла у него не было. Гоуэн, положив руки ему на плечо, продолжал с прежним беззаботным смехом:

— Кленнэм, мне жалко разочаровывать вас, и я бы дорого дал (если б у меня было что дать) за такие розовые очки. Но моя профессия должна приносить мне деньги, и всем нам требуется то же самое. Если б мы не рассчитывали продавать наши картины как можно дороже, то не стали бы писать их. Работать нужно, конечно, но работа не самое главное. Главное — пустить пыль в глаза. Вот одна из выгод или невыгод беседы с разочарованным человеком: вы услышали правду.

Правду или неправду услышал Кленнэм, во всяком случае, то, что ему пришлось услышать, запало в его душу, запало так глубоко, что он с большим смущением вспоминал о Гоуэне. Он боялся, что ничего не выиграл, расставшись с мучившими его тревогами, противоречиями и

сомнениями, и что Генри Гоуэн всегда будет его больным местом. Он не знал, как ему примирить свое обещание выставлять Гоуэна в хорошем свете перед мистером Мигльсом со своими наблюдениями, рисовавшими художника в свете, далеко не столь благоприятном. Не мог он также отделаться от сомнений, возмущавших его чувство совести, — сомнений в своем беспристрастии. Напрасно он уверял себя, что никогда не стремился отыскивать дурные стороны в Гоуэне, но все-таки не мог забыть, что сразу невзлюбил его только за то, что тот стал ему поперек дороги.

Терзаясь этими мыслями, он начинал теперь желать, чтобы свадьба поскорей состоялась и Гоуэн с женой уехал, предоставив ему исполнить на свободе свое великодушное обещание. Впрочем, последняя неделя была тяжела для всей семьи. В присутствии Милочки и Гоуэна мистер Мигльс неизменно сиял, но Кленнэм не раз заставал его наедине очень грустным и не раз замечал, как затуманивалось его лицо, когда он следил за влюбленными незаметно для них. Во время уборки дома к великому событию приходилось часто перекладывать с места на место вещицы, вывезенные из путешествий, и эти немые свиде-

тели совместной жизни втроем вызывали слезы на глазах самой Милочки. Миссис Мигльс, нежнейшая и заботливейшая из матерей, суетилась и хлопотала, смеясь и напевая, но бедняжка часто исчезала в кладовой и возвращалась с заплаканными глазами, уверяя, что это у нее от лука и перца, и снова принималась распевать веселее, чем когда-либо. Миссис Тиккит, не находя лекарства для душевных ран в «Домашней медицине» Бухана, несколько приуныла, вспоминая детство Милочки. Когда эти воспоминания одолевали ее, она посылала сказать ей по секрету, что сама не может выйти в гостиную в кухонном облачении и потому просит дитя зайти к ней в кухню, и тут она прижимала дитя к сердцу и осыпала его ласками и поцелуями, среди слез и поздравлений, кастрюль, мисок и пирогов, со всей нежностью преданной старой служанки, а эта нежность бывает очень глубока.

Но день, которому суждено наступить, всегда в конце концов наступает. Наступил и день свадьбы, а с ним явились и Полипы.

Был тут мистер Тит Полип из министерства околичностей на Гросвенор-сквер с дорого стоившей миссис Тит Полип, урожденной Пузырь, из-за которой промежутки между получками жа-

лованья казались супругу такими длинными, и с тремя дорого стоившими девицами Тит Полип, исполненными всякого рода совершенств и давно созревшими для венца, но почему-то засидевшимися дома. Был тут и Полип-младший, тоже из министерства околичностей, оставивший на произвол судьбы грузовые пошлины, которые почему-то считал себе подведомственными и которые ничего не потеряли, выйдя ненадолго из его ведомства. Был тут и симпатичный молодой Полип, представитель более живой ветви этого дома, тоже из министерства околичностей, относившийся к предстоящему торжеству с веселой и милой развязностью, точно к какой-нибудь официальной церемонии церковного департамента в его ведомстве. Было еще трое молодых Полипов из трех других министерств, вялых и пресных донельзя, так и просивших, чтобы их приправили солью и перцем, и хлопавших глазами на свадьбе так же, как хлопали бы на Ниле, в Вечном городе, в театре, слушая нового певца, или в Иерусалиме.

Но были особы и покрупнее. Был лорд Децимус Тит Полип собственной персоной, с букетом министерства околичностей и крепким запахом портфелей. Да, лорд Децимус Тит Полип,

воспаривший на официальные высоты на крыльях одной-единственной негодующей тирады следующего содержания: «Милорды, для меня еще вопрос, приличествует ли министру этой свободной страны стеснять филантропию, сужать поприще частной благотворительности, сковывать дух самодеятельности, тормозить предприимчивость, подавлять стремление к независимости и чувство уверенности в себе в этом народе». Иными словами, для этого великого государственного мужа всегда было еще вопросом, должен ли кормчий корабля заботиться о чем-либо, кроме процветания собственных своих делишек на берегу, имея в виду, что экипаж и без его забот сумеет откачать воду, если корабль даст течь. Это блистательное открытие в великом искусстве «Как не делать этого» доставило лорду Децимусу величайшую славу и сделало его гордостью дома Полипов. И если какой-нибудь злонамеренный член вносил соответственный билль, тот моментально и бесповоротно проваливался, лишь только лорд Децимус Тит Полип вставал с места и торжественно, с величественным негодованием, среди грома аплодисментов негодующих членов министерства околичностей провозглашал: «Милорды, для меня еще вопрос,

приличествует ли министру этой свободной страны стеснять филантропию, суживать поприще частной благотворительности, сковывать дух самодеятельности, тормозить предприимчивость, подавлять стремление к независимости и сознание собственной силы в этом народе». Открытие этого соответствующего механизма было открытием политического perpetuum mobile. Он никогда не изнашивался, хотя его вечно пускали в ход во всех министерствах.

Вместе со своим благородным другом и родственником лордом Децимусом явился Уильям Полип, стяжавший бессмертную славу своей коалицией с Тюдором Пузырем и всегда готовый восстать на защиту принципа «Как не делать этого». Он то обращался к спикеру с убийственным заявлением: «Прежде всего я просил бы вас, сэр, сообщить палате, на каком прецеденте основывается почтенный джентльмен, желающий низвергнуть нас в бездну рискованных предприятий», то просил самого почтенного джентльмена сделать одолжение и истолковать ему этот прецедент, то объявлял почтенному джентльмену, что он сам (Уильям Полип) постарается найти прецедент, а чаще всего разом прихлопывал почтенного джентльмена, заявив,

что никакого прецедента не существует. Во всяком случае «прецедент» и «низвергнуть» были двумя испытанными боевыми конями этого даровитого мужа из министерства околичностей, вывозившими его при всевозможных обстоятельствах. Нужды нет, что несчастный почтенный джентльмен уже добрую четверть века пытался низвергнуть Уильяма Полипа: Уильям Полип по-прежнему спрашивал палату и страну (последнюю, впрочем, только ради приличия), с какой стати ему низвергаться. Нужды нет, что злополучный почтенный джентльмен никоим образом не мог указать прецедента, несовместимого с самой сущностью дела и ходом событий, — Уильям Полип тем не менее считал своим долгом поблагодарить почтенного джентльмена за его иронический ответ и раз и навсегда объявить ему во всеуслышание, что никакого прецедента не существует. Можно бы, пожалуй, возразить на это, что мудрость Уильяма Полипа невысокой пробы, иначе мир, в котором он орудует, не был бы создан, а если б и явился по нечаянности, то навсегда остался бы в состоянии хаоса. Но «прецедент» и «низвергнуть» запугивали большинство членов до потери способности возражать.

Был тут и другой Полип, весьма деятельный,

успевший перепробовать должностей двадцать, всегда по две, по три сразу, и заслуживший почетную известность изобретением одного приема, возбуждавшего общий восторг всего Полипняка. Сущность изобретения была крайне проста: если Полипу предлагали в парламенте вопрос, он отвечал на другой вопрос. Этот прием оказал огромные услуги и доставил изобретателю почетное положение в министерстве околичностей.

Был тут еще целый выводок менее известных парламентских Полипов, которые не успели еще присосаться к пирогу и ожидали случая выказать свои таланты. Эти Полипы зевали на лестнице или шмыгали по коридорам, готовые явиться в палату по первому зову, кричать «слушайте», перебивать оратора, аплодировать, галдеть и лаять по указаниям руководителей семейства, тормозить нелепыми предложениями предложения противной партии, оттягивать неприятные вопросы до поздней ночи и до конца сессии, а затем с патриотическим мужеством вопить, что вопрос внесен слишком поздно, разъезжать по стране и клясться, что лорд Децимус пробудил промышленность от летаргического сна, а торговлю — от столбняка, удвоил урожаи хлебов, учетверил урожаи сена и спас банк от утечки

золота. Далее, эти Полипы являлись по приказанию руководителей на публичные собрания и обеды, где распинались за своих благородных и почтенных родственников и провозглашали в честь их тосты. С такими же целями являлись они на всевозможные выборы, были на побегушках, носили поноску, льстили, надували, подкупали, увязали по уши в грязи — словом, без устали трудились на поприще общественной службы. И вряд ли в течение последних пятидесяти лет освободилось хоть одно место, находившееся в распоряжении министерства околичностей: от лорда казначейства до китайского консула и от китайского консула до генерал-губернатора Ост-Индии, на которое уже не были бы записаны заранее кандидатами десятки этих голодных и цепких Полипов.

Разумеется, на свадьбе был только небольшой выводок Полипов, всего дюжины три из легиона, но для туикнемского коттеджа и этот выводок оказался целым роем, едва уместившимся в доме. Один Полип совершал обряд бракосочетания, другой Полип помогал при совершении обряда, и сам лорд Децимус Тит Полип нашел, что ему приличествует вести к столу миссис Мигльс.

Обед не отличался таким весельем и непри-

нужденностью, как можно было ожидать. Мистер Мигльс, при всем своем почтении к именитым гостям, был не в своей тарелке. Миссис Гоуэн была в своей тарелке, но это ничуть не облегчало состояния мистера Мигльса. Фиктивная версия, согласно которой не мистер Мигльс ставил препятствия, а фамильное достоинство, и не мистер Мигльс уступил, а фамильное достоинство, носилась в воздухе, хотя и не высказывалась вслух. К тому же Полипы чувствовали, что им, в сущности, наплевать на этих Мигльсов, с которыми они расстанутся, сыграв роль покровителей, а эти чувствовали то же самое в отношении Полипов. Далее: Гоуэн на правах разочарованного человека не стеснялся подпускать шпильки своим родичам и, может быть, потому и позволил матери пригласить этих важных гостей, что надеялся подразнить их, распространяясь об участи бедного художника, выражая надежду заработать кусок хлеба и сыра для себя и жены и упрашивая своих родственников (более награжденных милостями фортуны) не оставлять его своей поддержкой и покупать его картины. Лорд Децимус из оракула, каким являлся на своем парламентском пьедестале, превратился в какого-то легкомысленного мотылька: то и дело поздравлял новобрачных,

отпуская при этом такие пошлости, от которых у самого рьяного из его поклонников волосы стали бы дыбом, топтался с благодушием слона, впавшего в идиотизм, в лабиринте бессмысленных фраз, казавшемся ему прямой дорогой, и никак не мог из него выбраться. Мистер Тит Полип чувствовал, что среди присутствующих находится лицо, готовое прервать его пожизненное позирование перед сэром Томасом Лоуренсом, если бы это было возможно, а Полип-младший с негодованием сообщал двум бесцветным молодым джентльменам, своим родственникам, что тут находится господин — вот он, видите, — который явился без приглашения в департамент и объявил, что он желал бы знать. И, послушайте, что, если он сейчас сорвется, знаете, с места (ведь никогда нельзя знать, что может выкинуть такой неблагородный радикал) и объявит, понимаете, что желал бы знать, сейчас, сию минуту, вот-то будет штука, послушайте, а, правда?

Самая задушевная часть торжества была самой мучительной для Кленнэма. Когда мистер и миссис Мигльс в последний раз обнимали Милочку в комнате с двумя портретами (куда гости не вошли) перед тем, как отпустить ее из дому, в который она уже не вернется прежней Милочкой

и прежним утешением семьи, ничего не могло быть естественнее и проще этих троих людей. Даже Гоуэн был тронут и на восклицание мистера Мигльса: «О Гоуэн, берегите ее, берегите!» — ответил вполне искренне: «Не убивайтесь так, сэр. Видит бог, я буду беречь ее!»

И вот, после прощальных слез и нежных слов, обращенных к отцу и матери, в последний раз бросив доверчивый взгляд на Кленнэма, напоминавший ему об обещании, Милочка уселась в карету, ее муж махнул рукой, и экипаж покатил в Дувр. Но верная миссис Тиккит с черными локонами и в шелковом платье, успела-таки выскочить из какого-то закоулка и бросить вслед отъезжающим свои башмаки, повергнув в изумление знатное общество, столпившееся у окон.

Теперь вышеозначенное общество могло отправиться восвояси, и главные Полипы, торопившиеся по делам (им предстояло много возни с почтой, которая в их отсутствие могла бы отправиться прямо по назначению, вместо того чтобы скитаться по морям наподобие «Летучего голландца» [54], и с разными неотложными делами,

[54] Сноски: 54

По средневековой легенде — призрачный корабль, обреченный никогда не приставать к берегу; среди моряков было распространено поверье, что встреча с ним предвещает гибель в море.

которые, чего доброго, могли бы быть приведены в исполнение, если б они не постарались их затормозить), разошлись кто куда, не преминув вежливо дать понять мистеру и миссис Мигльс, какую жертву они, Полипы, принесли ради них. Они всегда давали понять это Джону Булю [55], как снисходительно относится к этому жалкому существу. Печальная пустота водворилась в доме и в сердцах отца, матери и Кленнэма. У мистера Мигльса было только одно утешение.

— А ведь все-таки приятно вспомнить, Артур?

— О прошлом?

— Да… но я говорю о гостях. — Гости угнетали и стесняли его все время, но теперь он вспоминал о них с искренним удовольствием. — Очень приятно! — повторил он несколько раз в течение вечера. — Такое избранное общество!

[55] Сноски: 55

Шуточное прозвище англичан, характеризующее их тяжеловесность и упрямство; употребляется как символ Англии.

Глава XXXV. Что скрывалось на руке Крошки Доррит

Мистер Панкс согласно уговору рассказал Кленнэму во всех подробностях свою цыганскую историю, касавшуюся Крошки Доррит. Ее отец оказался наследником огромного состояния, на которое никто не предъявлял прав в течение многих лет. Теперь его права выяснились, все препятствия были устранены, ворота Маршалси открылись, стены Маршалси рухнули перед ним. Ему оставалось только подписать кое-какие бумаги — и он будет богачом.

В своих хлопотах по этому делу мистер Панкс обнаружил неслыханную проницательность, неутомимое терпение, непобедимую скрытность.

— Мне и в голову не приходило, сэр, — сказал он Кленнэму, — когда, помните, мы шли вечером в Смитсфилде и я говорил вам, какого рода сведения собираю, что из этого выйдет что-нибудь подобное. Мне и в голову не приходило, сэр, когда я спрашивал, не из корнуолльских ли вы Кленнэмов, что когда-нибудь я сообщу вам о Дорритах

из Дорсетшира.

При этом он подробно рассказал, как сначала его поразило имя Крошки Доррит, так как фамилия Доррит была уже отмечена в его записной книжке. Но так как ему не раз приходилось убеждаться, что две одинаковые фамилии, даже из одной и той же местности, могут вовсе не состоять в родстве — ни в близком, ни в отдаленном, — то он и не придавал значения этому совпадению. Ему только пришло в голову, как поразительно изменилась бы жизнь маленькой швеи, если бы оказалось, что у нее есть права на это наследство. Он несколько раз возвращался к этой мысли, потому что в тихой маленькой швее было что-то особенное, что нравилось ему и возбуждало его любопытство. Мало-помалу он напал на след, ощупью, шаг за шагом — рылся как крот! В начале этой кротовьей работы (произнося эти слова, мистер Панкс для пущей выразительности жмурился и ерошил волосы) он часто переходил от внезапных проблесков света и надежды к непроглядной тьме и безнадежности, и обратно. Он сделался своим человеком в тюрьме, познакомился с мистером Дорритом, познакомился с его сыном, разговаривал с ними о том о сем (но всегда прокапывая кротовьи ходы, добавил

мистер Панкс) и узнал кое-какие подробности их биографии, послужившие для него путеводной нитью. Наконец для мистера Панкса стало ясно, что он действительно нашел законного наследника огромного состояния и что это открытие нужно только оформить юридически и укрепить на легальном основании. Тогда он пригласил в компаньоны по своей кротовьей работе мистера Рогга, взяв с него клятвенное обещание хранить дело в тайне. В помощники к себе они взяли Джона Чивери, зная, кому он был предан всей душой. И до самой последней минуты, когда авторитеты банка и юриспруденции объявили, что их работа увенчалась полным успехом, они не заикнулись о ней ни одной душе в мире.

— Так что если бы все это дело провалилось, сэр, — прибавил в заключение Панкс, — в самую последнюю минуту, хотя бы накануне того дня, когда я показывал вам в тюрьме бумаги, или хотя бы в этот самый день, никто, кроме нас троих, не потерпел бы горького разочарования и убытков.

Кленнэм, который то и дело пожимал ему руку во время рассказа, вспомнил при этих словах о денежной стороне вопроса и спросил с удивлением, которого не могла пересилить даже неожиданность известия:

— Дорогой мистер Панкс, но ведь эти розыски должны были обойтись вам недешево?

— Недешево, сэр, — сказал торжествующий Панкс. — Пришлось-таки поиздержаться, хоть мы и старались вести дело как можно экономнее. Расходы были главным затруднением, вот что я вам скажу.

— Затруднением! — повторил Кленнэм. — Да все это дело состоит из затруднений, которые вы так победоносно преодолели, — прибавил он, сопровождая свои слова новым рукопожатием.

— Я вам скажу, как я вел дело, — продолжал сияющий Панкс, еще пуще взъерошивая свои волосы. — Прежде всего я истратил собственные деньги. Ну, их было немного.

— Жалею об этом, — заметил Кленнэм, — хотя теперь это не имеет значения. Что же вы сделали потом?

— Потом, — ответил Панкс, — я выжал некоторую сумму у хозяина.

— У мистера Кесби? Добрый человек!

— Благороднейший старикашка, не правда ли? — подхватил мистер Панкс, испустив целый залп фырканья. — Щедрый старый козел! Доверчивый старикашка! Двадцать процентов! Я согласился, сэр! В нашей лавочке меньше не

берут!

Кленнэм почувствовал с некоторым конфузом, что в своем восторженном настроении он несколько поторопился с заключением.

— Я сказал этому… старому лицемерному ханже, — продолжил Панкс, находя очевидное облегчение в этих определениях, — что у меня имеется в виду один проект, который может оказаться выгодным (так и сказал: «может оказаться выгодным»), но требует затраты некоторого капитала. Я предложил ему ссудить меня деньгами под вексель. Он и ссудил: за двадцать процентов, которые приписал к капиталу, — деловой человек. Если бы дело не выгорело, мне пришлось бы отслужить ему еще семь лет на половинном жалованье. Правда, ведь он истый патриарх — такому лестно служить и за половинную, и за какую угодно плату.

Артур ни за что на свете не мог бы решить с уверенностью, серьезно ли так думает Панкс или нет.

— Когда и эти деньги вышли, сэр, — продолжил Панкс, — а они тоже вышли, хоть я и дрожал над каждым пенни, как над каплей собственной крови, я обратился к мистеру Роггу. Я решил занять у мистера Рогга (или у мисс Рогг — это одно и то же;

она заполучила изрядный куш благодаря удачной спекуляции в королевском суде). Он дал за десять процентов, находя это весьма выгодным. Но ведь мистер Рогг — рыжий, косматый, носит шляпу с узкими полями, а благодушия в нем не больше, чем в кегле.

— Вы должны получить щедрое вознаграждение за ваши труды, мистер Панкс, — сказал Кленнэм.

— Я и надеюсь получить его, — ответил Панкс. — Я не заключал условия. Заключил только с вами и выполнил. Если я получу, сверх издержек по делу, тысячу фунтов, то буду считать себя богачом. Поручаю это дело вам. Вас же уполномочиваю сообщить обо всем семье. Мисс Эми Доррит будет сегодня у миссис Финчинг. Чем скорее обделать это, тем лучше. Нечего терять время.

Этот разговор происходил в спальне Кленнэма, когда тот лежал еще в постели. Дело в том, что мистер Панкс явился ни свет ни заря, ворвался в дом чуть не силой и, не дожидаясь, пока хозяин встанет, тут же у постели выложил в один присест всю историю (иллюстрируя ее различными документами). Затем он сообщил о своем намерении забежать к мистеру Роггу (с тем, должно

быть, чтобы еще раз перескочить через его голову и облегчить этим свою взволнованную душу), собрал бумаги и, еще раз обменявшись с Кленнэмом крепкими рукопожатиями, запыхтел на всех парах вниз по лестнице.

Кленнэм, разумеется, решил немедленно отправиться к мистеру Кесби. Он так быстро собрался, что был на углу улицы, где жил патриарх, почти за час до того времени, когда обыкновенно приходила Крошка Доррит. Впрочем, он был рад пройтись и успокоиться.

Когда он постучал блестящим медным молотком, ему сообщили, что Крошка Доррит уже здесь и находится наверху, в комнате Флоры. Крошки Доррит, однако, там не было, а была Флора, которую его приход поверг в неописуемое изумление.

— Боже милостивый, Артур, «Дойс и Кленнэм», — воскликнула она, — кто бы мог ожидать такого посещения! Ради бога, извините мой капот, потому что я, право, никогда не думала, что вы придете… и к тому же, это полинявший капот, что еще хуже, но наш маленький друг еще не кончил юбки; конечно, мне не следовало бы называть вам, но ведь вы сами знаете, что на свете бывают юбки, и мы решили ее примерить после

завтрака, и вот почему я в капоте, хотя, конечно, жаль, что он не накрахмален.

— Я сам должен извиниться, — возразил Кленнэм, — за такой ранний и неожиданный визит, но вы, наверное, извините меня, когда узнаете его причину.

— Во времена, навеки минувшие, Артур, — ответила миссис Финчинг, — пожалуйста, извините, «Дойс и Кленнэм» — бесконечно приличнее, — и хотя, конечно, далекие, но ведь именно даль чарует наши взоры, хотя я не думаю этого и во всяком случае полагаю, что тут многое зависит от самого вида, но я совсем запуталась и сбилась с толку. — Она нежно взглянула на него и продолжила: — Я хотела сказать, что в те давно минувшие времена странно было бы слышать от Артура Кленнэма — от Дойса и Кленнэма, разумеется, совсем другое дело — извинения в каком угодно раннем визите, но это прошло, а что прошло, то никогда не вернется.

Она заваривала чай, когда вошел Кленнэм, и теперь поспешила окончить эту операцию.

— Папа, — прошептала она с таинственным видом, закрывая чайник крышкой, — сидит теперь в задней гостиной и самым прозаическим образом кушает яйца, уткнувшись носом в биржевую

хронику, точно дятел, и ему совершенно незачем знать, что вы пришли, а нашему маленькому другу можно вполне довериться, когда она закончит кройку и сойдет к нам.

Артур сообщил ей в самых кратких словах, что ему нужно видеть их маленького друга, объяснив при этом, какую новость он намерен сообщить их маленькому другу. При этом поразительном известии Флора всплеснула руками, задрожала и залилась слезами радости и сочувствия, как простое доброе существо, каким она и была в действительности.

— Ради бога, позвольте мне сначала уйти, — сказала она, затыкая уши и кидаясь к двери, — или я упаду в обморок, закричу и напугаю всех; подумать только, еще утром эта милая крошка, такая чистенькая, проворная, добрая и такая бедная, и вдруг состояние, и, конечно, она заслуживает! Можно мне сообщить об этом тетке мистера Финчинга, Артур, — не «Дойс и Кленнэм», в виде исключения, если вы позволите.

Артур кивнул в знак согласия, так как Флора не услыхала бы его слов. Флора кивнула ему в знак благодарности и бросилась вон из комнаты.

Шаги Крошки Доррит уже слышались на лестнице, и минуту спустя она стояла в дверях. Как ни

старался Кленнэм придать своему лицу обыкновенное выражение, это настолько ему не удалось, что Крошка Доррит при виде его выронила из рук работу и воскликнула:

— Мистер Кленнэм, что случилось?

— Ничего, ничего. То есть ничего неприятного. Я пришел сообщить вам новость, очень хорошую.

— Очень хорошую?

— Самую лучшую!

Они стояли у окна, и ее светло-карие глаза не отрывались от его лица. Он обнял ее за талию, заметив, что она того и гляди лишится чувств. Она схватилась за его руку, отчасти для того, чтобы опереться на нее, отчасти для того, чтобы видеть его лицо. Ее губы, казалось, повторяли: «Самую лучшую!»

Он сказал громко:

— Милая Крошка Доррит, ваш отец…

Ее застывшее бледное личико точно оттаяло при этих словах и оживилось разнообразными оттенками. Это были всевозможные оттенки страдания и боли. Она слабо и часто дышала. Сердце ее так и стучало. Он хотел крепче обнять ее маленькую фигурку, но остановился, встретив ее умоляющие глаза.

— Ваш отец может получить свободу на этой неделе. Он не знает этого; нам нужно сходить к нему и уведомить. Он будет свободен через несколько дней и несколько часов. Помните, что мы должны сейчас же отправиться к нему с этой вестью!

Эти слова привели ее в себя. Ее глаза были закрыты, но теперь она снова открыла их.

— Это еще не все, это еще далеко не все, милая Крошка Доррит. Говорить ли мне дальше?

Ее губы прошептали:

— Да.

— Ваш отец не будет бедняком, когда выйдет из тюрьмы. Он не будет нуждаться. Говорить ли мне дальше? Помните, мы должны отправиться к нему немедленно с этой вестью.

Она, по-видимому, хотела сказать ему что-то. Он обнял ее, подождал немного и наклонился, чтобы расслышать ее слова.

— Вы просите меня продолжать?

— Да.

— Он будет богатый человек. Он теперь уже богатый человек. Он получил в наследство огромную сумму. Вы все теперь богаты! Милое, верное и любящее дитя, лучшая из дочерей, как я рад, что Небо наконец вознаградило вас.

Он поцеловал ее, а она прижала голову к его плечу и, охватив рукой его шею, воскликнула: «Отец, отец, отец!»

В следующее мгновение Крошка Доррит лишилась чувств. Тут вернулась Флора и принялась порхать над ней, осыпая ласками и бессвязными обрывками фраз в такой невозможной смеси, что вряд ли какой-нибудь рассудительный человек взялся бы решить: просит ли она долговую тюрьму принять ложку наследства, потому что это, наверное, поможет ей, или поздравляет отца Крошки Доррит с получением ста тысяч флакончиков с нашатырным спиртом, или объясняет, что она накапала семьдесят пять тысяч лавровишневых капель на пятьдесят тысяч фунтов сахара и просит Крошку Доррит принять это укрепляющее средство, или смачивает виски «Дойса и Кленнэма» уксусом и желает отворить форточку для покойного мистера Финчинга. В довершение всего из соседней спальни изливался второй поток чепухи из уст тетки мистера Финчинга, которая, по-видимому, находилась еще в горизонтальном положении, ожидая завтрака. Неумолимая старая леди стреляла коротенькими сентенциями вроде: «Он тут во всяком случае ни при чем!», или: «Небось сам-то и пальцем не

пошевелил!», или: «Как же, даст он свои деньги, дожидайтесь!» — очевидно, клонившимися к умалению роли Кленнэма в этом открытии и дававшими исход закоренелой ненависти, которую питала к нему тетка мистера Финчинга.

Но забота об отце, желание поскорее сообщить ему радостную весть и не оставлять его ни минуты лишней в неведении оживили Крошку Доррит быстрее всяких ухаживаний и возбуждающих средств.

— Пойдемте к отцу! Пожалуйста, пойдемте и скажем отцу! — принялась она просить, едва очнувшись. Ее отец, ее отец. Она думала только о нем, говорила только о нем. Упав на колени, она изливала в молитве свою благодарность за отца.

Чувствительная Флора не могла выдержать такого зрелища и разразилась новым потоком слез и слов:

— Никогда, никогда я не была так потрясена с тех пор, как ваша мама и мой папа, не «Дойс и Кленнэм», только для этого случая, дайте же бедной милой Крошке чашку чаю и заставьте ее выпить, пожалуйста, Артур, даже во время последней болезни мистера Финчинга, потому что там было совершенно другое, и подагра вовсе не то, что чувство ребенка, хотя и очень тяжело для

всех окружающих, а сам мистер Финчинг — истинный мученик со своей ногой, но ведь винная торговля сама по себе предрасполагает к воспалительным процессам, так как все они более или менее выпивают, нет, положительно точно сон какой-то, сегодня утром я ничего не подозревала, и вдруг горы золота, но знаете, моя милочка, вы еще слишком слабы, чтобы рассказать ему, хоть ложечку еще необходимо, еще лучше — примите лекарство, которое я пью по предписанию моего доктора, хотя запах его не из приятных, но я все-таки принуждаю себя и нахожу пользу, не хотите, я бы тоже не стала пить, но принимаю по обязанности, все будут поздравлять вас, иные искренно, иные нет, но многие будут поздравлять от чистого сердца, хотя никто так искренно, как я, потому что я говорю, рада всей душой, хоть и болтаю часто вздор и говорю глупости, вот и теперь, Артур — не Дойс и Кленнэм, только для этого случая — будет бранить меня, прощайте же, милочка, господь с вами, будьте счастливы, и, надеюсь, вы не рассердитесь, если я никому не отдам закончить платье, а сохраню его в таком виде, как оно теперь, и буду называть Крошкой Доррит, хотя это самое странное имя, какое мне только приходилось и придется слышать!

Так Флора простилась со своей любимицей. Крошка Доррит поблагодарила ее, осыпала поцелуями и, наконец, ушла с Кленнэмом и отправилась в карете в тюрьму Маршалси.

Это была странная фантастическая поездка по старинным грязным улицам, с которых она уносилась в сказочный мир богатства и пышности. Когда Кленнэм сказал ей, что скоро она будет ездить в собственной карете и видеть совершенно другие сцены, что все ее прежние воспоминания должны поблекнуть и исчезнуть, она как будто испугалась. Но когда он заговорил о ее отце и сказал ей, как он будет ездить в собственной карете и каким он будет важным и величественным, слезы невинной гордости брызнули из ее глаз. Видя, что все счастье, которое она могла чувствовать, было связано с отцом, Артур постоянно напоминал ей о нем, и они весело ехали по бедным улицам, смежным с тюрьмой, спеша сообщить ему радостную весть.

Когда мистер Чивери, который был дежурным, впустил их в сторожку, его поразило до глубины души выражение их лиц. Он провожал их глазами, пока они торопливо шли в тюрьму, точно они явились в обществе какого-нибудь привидения. Два или три члена общежития, повстречавшиеся

им по пути, тоже проводили их глазами, а затем, присоединившись к мистеру Чивери, образовали маленькую группу, среди которой неведомо откуда, как-то сам собой, возник слух, будто Отца Маршалси освобождают. Через несколько минут этот слух повторился в самых отдаленных углах Маршалси. Крошка Доррит отворила дверь, и оба вошли. Он сидел в своем старом сером халате, в черной бархатной шапочке на солнышке у окна и читал газету. Он держал очки в руках и в эту самую минуту оглянулся, удивленный, без сомнения, шагами на лестнице, так как не ждал дочери так рано. Удивление его возросло, когда он увидел Артура Кленнэма. Когда они вошли в комнату, то же странное выражение их лиц, которое уже привлекло внимание встречных, поразило его. Он не встал, не заговорил, но, положив очки и газету на стол, уставился на вошедших с полуоткрытым ртом и дрожащими губами. Когда Артур протянул ему руку, он прикоснулся к ней, но не так, как всегда, и, повернувшись к дочери, которая села рядом с ним и положила руку ему на плечо, стал пристально вглядываться в ее лицо.

— Отец, я была так обрадована сегодня утром!

— Ты была обрадована сегодня утром?

— Благодаря мистеру Кленнэму. Он сообщил

мне такую удивительную и радостную для тебя новость. Если бы он не подготовил меня к ней со своей обычной добротой и деликатностью, отец, если бы он не подготовил меня к ней, я бы, кажется, не вынесла ее.

Волнение ее росло, и слезы катились из глаз. Отец схватился за сердце и взглянул на Кленнэма.

— Успокойтесь, сэр, — сказал Кленнэм, — соберитесь с духом и подумайте, какое событие в жизни было бы для вас самым светлым и радостным. Кто не слыхал о случаях неожиданного, почти чудесного счастья, выпадающего на долю людей? Подобные случаи и теперь повторяются — редко, но повторяются.

— Мистер Кленнэм? Повторяются? И могут повториться для… — Он дотронулся до своей груди вместо того, чтобы сказать «меня».

— Да, — ответил Кленнэм.

— Какой же счастливый случай?.. — спросил он, прижимая левую руку к сердцу, и вдруг остановился и принялся двигать очки по столу правой рукой. — Какой же счастливый случай послала мне судьба?

— Я отвечу вам вопросом. Скажите, мистер Доррит, какой случай был бы для вас самым

неожиданным и самым желаемым? Высказывайте смело ваше желание, не бойтесь, что оно окажется чрезмерным.

Он упорно смотрел на Кленнэма и как-то вдруг постарел и осунулся. Солнце озаряло стену за окном, играя на железных зубцах. Он медленно вытянул руку и указал на стену.

— Она рухнула, — сказал Кленнэм, — ее нет!

Мистер Доррит сидел в той же позе, не сводя глаз с Кленнэма.

— А на ее место, — продолжал Кленнэм, — явилась возможность наслаждаться всем, чего вы так долго были лишены. Мистер Доррит, через несколько дней вы будете свободны и богаты — это факт, не подлежащий сомнению. Поздравляю вас от всего сердца со счастливым будущим, которое ожидает вас и ту, которая сидит подле вас и которая сама есть лучшее, драгоценнейшее сокровище из всех, какие только могут выпасть на вашу долю.

С этими словами Кленнэм пожал ему руку. И как в долгие годы его печального заключения верная дочь прижималась к сердцу старика, окружая его заботами, любовью и ласками, так и в этот счастливый час она обвила его шею руками и прижалась к нему, изливая свое переполнен-

ное сердце в словах благодарности, надежды, восторженного блаженства и радости за него, только за него.

— Я увижу его таким, каким никогда не видела раньше. Я увижу, как исчезнет туча, окутывавшая моего милого отца. Я увижу его таким, каким видела его моя бедная мать. О милый отец! Милый отец! Слава богу, слава богу!

Он отдавался ее ласкам и поцелуям, но сам не отвечал на них, только обнял ее. Он не говорил ни слова. Его пристальный взгляд переходил теперь с Кленнэма на нее, и он начал дрожать, точно от озноба. Сказав Крошке Доррит, что он сходит за вином, Артур поспешил в буфет. Пока вино принесли из погреба, взволнованные арестанты засыпали его вопросами, и он второпях сообщил им, что мистер Доррит получил наследство.

Когда он вернулся с вином, отец сидел в кресле, а дочь развязывала ему галстук и расстегивала рубашку. Она налила стакан вина и поднесла к его губам. Отхлебнув немного, он взял стакан и осушил его до дна, потом откинулся на спинку кресла и заплакал, закрыв лицо носовым платком.

Дав ему немного опомниться, Артур принялся рассказывать подробности дела, чтобы хоть

несколько отвлечь его внимание. Медленно, спокойным тоном он передал все, что ему было известно, объяснив, какую роль сыграл во всем этом Панкс.

— Он будет… кха… он будет награжден по заслугам, сэр, — сказал отец, вскакивая с кресла и принимаясь быстро ходить взад и вперед по комнате. — Будьте уверены, мистер Кленнэм, что всякий оказавший услуги в этом деле будет… кха… будет щедро награжден. Никто не скажет, дорогой сэр, что я не удовлетворил его законных требований. И я… хм… я с особенным удовольствием возвращу те деньги, которые вы мне одолжили, сэр. Попрошу вас также сообщить мне, сколько вам должен мой сын.

Ему совершенно незачем было бегать по комнате, но он не останавливался ни на минуту.

— Никто не будет забыт! Я не выйду отсюда, не расплатившись со всеми. Всякий, кто был… кха… кто хорошо относился ко мне и моему семейству, будет вознагражден. Чивери будет вознагражден. Юный Джон будет вознагражден. Я в особенности желаю и твердо намерен быть щедрым, мистер Кленнэм.

— Вы мне позволите, — сказал Артур, положив на стол кошелек, — предложить вам небольшую

сумму на первое время, мистер Доррит? Я захватил с собой деньги, так как думал, что они могут вам понадобиться.

— Благодарю вас, сэр, благодарю вас. Охотно принимаю в настоящую минуту одолжение, от которого должен был бы отказаться час назад. Весьма обязан нам за эту временную ссуду, кратковременную и вместе с тем своевременную, в высшей степени своевременную. — Он зажал деньги в руке и взял их со стола. — Будьте любезны, сэр, прибавить эти деньги к вашим прежним ссудам, о которых я уже упоминал, и, пожалуйста, не забудьте долг моего сына. Простого словесного заявления об общем итоге долга совершенно… кха… совершенно достаточно.

В эту минуту глаза его упали на дочь; он остановился, поцеловал ее и погладил по головке:

— Необходимо, милочка, поскорее отыскать портниху и сшить тебе приличное платье. Надо также сделать что-нибудь для Мэгги: сейчас у нее решительно неприличный вид. Затем твоя сестра, Эми, твой брат… И мой брат, твой дядя; надеюсь, что это заставит его, беднягу, немного встряхнуться… надо поскорее известить его. Надо их всех известить. Конечно, мы должны сделать это осторожно, но немедленно. Наша обязанность

перед ними и перед самими собой — как можно скорее избавить их… хм… избавить их от работы.

Это был первый намек с его стороны, показывавший, что ему была известна их работа из-за куска хлеба.

Он все еще расхаживал по комнате, стиснув в руке кошелек, когда на дворе послышался громкий гул голосов.

— Известие распространилось, — сказал Кленнэм, выглянув в окно. — Вы покажетесь им, мистер Доррит? Они искренне радуются и, очевидно, желают вас видеть.

— Я… хм… кха… признаюсь, Эми, душа моя, я желал бы сначала переменить это платье, — сказал он, еще лихорадочнее засуетившись по комнате, — и приобрести… хм… часы с цепочкой. Но приходится покориться… кха… покориться обстоятельствам. Застегни воротничок, душа моя. Мистер Кленнэм, будьте любезны… хм… достать из комода подле вас синий галстук. Застегни сюртук наглухо, душа моя. Застегнутый он выглядит… кха… выглядит внушительнее.

Дрожащей рукой он пригладил свои седые волосы и, взяв под руки дочь и Кленнэма, появился у окна. Члены общежития приветствовали его радостными криками, а он отвечал им воздушными

поцелуями с самым учтивым и покровительственным видом.

Отойдя от окна, он сказал: «Бедняги!» — тоном глубокого сожаления об их печальном положении.

Крошка Доррит упрашивала его прилечь и отдохнуть. Артур сказал ей, что теперь он отправится к Панксу и сообщит ему, что он может прийти хоть сейчас закончить дело с формальной стороны, но она шепотом просила его остаться, пока отец не успокоится. Ей не нужно было повторять просьбу, и она тотчас же постлала отцу постель и уговорила его лечь. С полчаса или более он не хотел ничего слышать и только бегал по комнате, обсуждая вопрос, разрешит ли директор всем заключенным в полном составе собраться у окон официальной приемной, выходившей на улицу, и полюбоваться его отъездом в карете, что, по его мнению, было бы для них поистине праздничным зрелищем, но мало-помалу утомился и лег в постель.

Она села подле него, обвевая его платком и охлаждая его потный лоб. Он, казалось, задремал (не выпуская из рук денег), как вдруг поднялся и сел на кровати.

— Извините, мистер Кленнэм, — сказал он. —

Как вы думаете, дорогой сэр, могу я… кха… выйти на улицу сейчас же и немножко пройтись?

— Я думаю, что нет, мистер Доррит, — ответил тот скрепя сердце. — Надо исполнить некоторые формальности, и хотя ваше заключение здесь в настоящую минуту — уже простая формальность, тем не менее придется соблюдать ее еще несколько времени.

Старик заплакал.

— Всего несколько часов, сэр, — сказал Кленнэм, стараясь ободрить его.

— Несколько часов, сэр, — возразил тот с неожиданным раздражением. — Вам легко говорить: «Несколько часов, сэр»! Понимаете ли вы, что значит лишний час для человека, который задыхается без воздуха!

Это была его последняя вспышка. Поплакав еще немного и пожаловавшись капризным тоном, что ему нечем дышать, он мало-помалу задремал. Кленнэму было над чем поразмыслить, пока он сидел в этой комнатке подле спящего отца и дочери, обмахивавшей его лицо.

Крошка Доррит тоже задумалась над чем-то. Осторожно поправив его полосы и прикоснувшись губами к его лбу, она оглянулась на Кленнэма, который подошел поближе, и сказа-

ла шепотом, очевидно продолжая нить своих мыслей:

— Мистер Кленнэм, он уплатит все свои долги перед освобождением?

— Без сомнения, уплатит все.

— Все долги, за которые он просидел здесь столько лет, — больше, чем я живу на свете?

— Без сомнения.

В глазах ее мелькнуло что-то вроде упрека, но во всяком случае не радость. Он спросил с удивлением:

— Разве вы не рады, что он уплатит все долги?

— А вы? — нерешительно спросила Крошка Доррит.

— Я? Сердечно рад!

— Значит, и я должна радоваться.

— А разве вы не радуетесь?

— Мне кажется несправедливостью, — сказала Крошка Доррит, — что, потеряв столько лет жизни, испытав столько страданий, он все-таки должен платить долги. Мне кажется несправедливостью, что он должен заплатить их вдвойне: жизнью и деньгами.

— Дитя мое… — начал Кленнэм.

— Да, я знаю, что не следует так рассуждать, — перебила она робко. — Не думайте обо мне

слишком дурно, это выросло со мной здесь.

Тюрьма, которая так растлевает все, только в этом одном затронула душу Крошки Доррит. Порожденное состраданием к бедному узнику, ее отцу, это пятно было первым и последним отпечатком тюремной атмосферы, который заметил в ней Кленнэм.

Он подумал это и не сказал ни слова более. Эта мысль только ярче оживила в его воображении ее чистоту и кротость; они казались еще прекраснее вследствие контраста с этой легкой тенью.

Утомленная волнением, убаюканная тишиной, она медленно уронила руки и опустилась головой на подушку подле отца. Кленнэм тихонько встал, без шума отворил и затворил дверь и ушел из тюрьмы на шумные улицы, унося в своем сердце чувство мира.

Глава XXXVI. Маршалси – сирота

Наступил день, когда мистер Доррит с семьей должен был навеки проститься с тюрьмой и камнями, которые они так часто попирали.

Времени прошло немного, но старик горько жаловался на медлительность и жестоко упрекал за это мистера Рогга. Он высокомерно обращался с мистером Роггом и угрожал взять другого поверенного. Он советовал мистеру Роггу не смотреть на то, что его клиент оказался в таком месте, а исполнять «свои обязанности, сэр, и как можно скорее». Он сказал мистеру Роггу, что ему известно, что за народ законники и поверенные, но что его не надуют. На смиренное заявление этого джентльмена, что он делает все возможное, мисс Фанни ответила довольно резко, заметив, что желала бы знать, как мог бы он делать меньше, когда ему сказано, что за деньгами дело не станет, и выразила подозрение, что он не знает, с кем говорит.

К директору тюрьмы, который состоял в этой должности уже много лет и с которым у мистера Доррита не случалось до сих пор никаких столкновений, этот последний отнесся очень сурово.

Директор лично явился с поздравлением и предложил мистеру Дорриту воспользоваться двумя или тремя свободными комнатами в его квартире. Мистер Доррит поблагодарил его и сказал, что подумает об этом, но, как только директор вышел за дверь, уселся к столу и написал ему очень сухое письмо, в котором извещал, что, так как никогда раньше не удостаивался чести получать от него поздравления (что было совершенно справедливо, хотя, правду сказать, поздравлять его было решительно не с чем), то считает своим долгом отклонить от имени своего и своей семьи предложение директора, со всей благодарностью, какой оно заслуживает по своему бескорыстному характеру и независимости от всяких светских соображений.

Хотя его брат отнесся к этому обороту судьбы так безучастно, что можно было усомниться, понял ли он, в чем дело, тем не менее мистер Доррит поручил его особу портным, сапожникам, шляпникам и чулочникам под своим личным наблюдением, а старое платье приказал отобрать и сжечь.

Мисс Фанни и мистер Тип не нуждались ни в каких указаниях по части мод и изящных костюмов. Все трое поместились в лучшей из соседних

гостиниц, хотя, по справедливому замечанию мисс Фанни, эта лучшая гостиница была порядочной дрянью. Мистер Тип нанял кабриолет с лошадью и грумом и с большим шиком разъезжал по Боро-Хай-стрит — улице, примыкавшей к Маршалси. Тут же нередко появлялся скромный маленький фаэтон парой, из которого выпархивала мисс Фанни, ослепляя директорских дочерей роскошью своих феноменальных шляпок.

Масса дел была сделана в самое короткое время. Между прочими делами гг. Педль и Пуль, адвокаты, по поручению своего клиента, мистера Эдуарда Доррита, эсквайра, передали мистеру Артуру Кленнэму письмо со вложением двадцати четырех фунтов девяти шиллингов восьми пенсов — суммы, представлявшей долг (считая капитал и проценты по пяти на год) означенного клиента мистеру Кленнэму. Независимо от этого поручения гг. Педль и Пуль получили дополнительную инструкцию от своего клиента: напомнить мистеру Кленнэму, что возвращаемую ныне ссуду у него не просили, и сообщить ему, что ее бы не приняли, если бы она открыто была предложена от его имени. В заключение его просили доставить расписку в получении и оставались его покорнейшими слугами.

Немало дел пришлось также проделать в Маршалси, которой предстояло в скором времени осиротеть, лишившись своего Отца. Дела эти главным образом заключались в удовлетворении мелких денежных просьб со стороны членов общежития. На эти просьбы мистер Доррит отвечал с величайшею щедростью и со строгим формализмом, всякий раз уведомлял просителя, когда тот может застать его, затем принимал его за столом, заваленным документами, и присовокуплял к подарку (он каждый раз говорил: «Это подарок, а не ссуда») ряд полезных советов, сущность которых заключалась в том, что его, отбывшего свой срок Отца Маршалси, будут долго помнить как человека, сумевшего сохранить собственное достоинство и заслужить уважение окружающих даже в такой обстановке.

Члены общежития не были завистливы. Независимо от личного и традиционного уважения, которое они питали к старожилу Маршалси, это событие подняло фонды коллегии, прославив ее имя в газетах. Быть может, оно также внушило некоторым из них надежду, почти бессознательную, что колесо фортуны может при случае повернуться и для них. Словом, они приняли эту весть радостно. Нашлись и такие, которые

обижались на то, что им приходится оставаться в нищете, но даже они не злились на семью за ее блистательную удачу. В более приличных местах наверняка проявилось бы больше зависти. Кажется, умеренное состояние более располагает к зависти, чем полная нищета обитателей Маршалси, перебивавшихся со дня на день, закладывавших последние вещи, чтобы добыть дневное пропитание.

Они поднесли ему адрес в изящной рамке под стеклом (однако он не был впоследствии повешен в его гостиной и даже не найден в бумагах, оставшихся после его смерти), на который он отвечал милостивой запиской. В этом документе он заверял их тоном царствующей особы, что принимает выражение их преданности с полным убеждением в его искренности, и снова советовал им следовать его примеру, что они исполнили бы с большим удовольствием, по крайней мере в отношении получения наследства.

Тут же он приглашал их на обед, который должен был состояться на дворе для всех членов общежития и на котором он будет иметь честь поднять прощальный бокал за здоровье и благоденствие тех, с кем расстается.

Он не принимал участия в этом пиршестве

(оно состоялось в два часа пополудни, а ему приносили обед из гостиницы в шесть), но его сын любезно согласился занять председательское место за главным столом и держал себя очень мило и непринужденно. Сам виновник торжества ходил между столами, заговаривал то с тем, то с другим, смотрел, чтобы всего было вдоволь и все было в порядке, вообще держал себя бароном старых времен и был в самом благодушном настроении.

В заключение пиршества мистер Доррит выпил за здоровье гостей стакан старой мадеры, выразил надежду, что они веселились за обедом и будут веселиться вечером, и пожелал им всего хорошего. Когда гости ответили на его тост восторженными криками, его баронское достоинство не выдержало, и он заплакал, как простой вассал с простым человеческим сердцем. После этого великого успеха, бывшего в его глазах позорной слабостью, он предложил тост «за мистера Чивери и его товарищей по службе», которым еще раньше подарил по десяти фунтов каждому и которые присутствовали за обедом в полном составе.

Мистер Чивери на этот тост сказал между прочим:

— Кого нужно запереть — запри, но помни, что он человек и брат твой, как сказал один африканец, попавший в неволю.

Покончив со всеми тостами, мистер Доррит любезно сыграл партию в кегли со старейшим после себя членом общежития и удалился, предоставив своим вассалам развлекаться как угодно.

Все это происходило до наступления торжественного дня. Но вот настал день, когда он со своей семьей должен был навеки распроститься с тюрьмой и камнями, которые они попирали столько лет.

Отъезд был назначен в полдень. С приближением этого часа все члены общежития вышли во двор, все тюремщики были в сборе. Эти последние явились в парадных мундирах, да и большинство членов общежития надели все, что было лучшего. Появились даже два-три флага, а дети украсились обрывками лент. Сам мистер Доррит в эту торжественную минуту сохранял важную, но благосклонную осанку. Больше всего он беспокоился за брата, опасаясь, что тот не сумеет вести себя прилично в эту торжественную минуту.

— Дорогой Фредерик, — сказал он, — дай мне твою руку, мы вместе пройдем среди наших друзей. Я полагаю, что нам следует идти рука об руку,

дорогой Фредерик.

— Ха! — сказал Фредерик. — Да, да, да, да.

— И если бы ты мог, милый Фредерик, если бы ты мог, не делая над собой особенного усилия, придать немного (пожалуйста, извини меня, Фредерик), немного лоску своим обычным манерам…

— Уильям, Уильям, — ответил тот, качая головой, — ведь это твое дело. Я не умею. Все забыто, все забыто.

— Но, дорогой мой, — возразил Уильям, — вот поэтому-то ты и должен встряхнуться. Ты должен попытаться вспомнить то, что забыл, дорогой Фредерик. Твое положение…

— А? — сказал Фредерик.

— Твое положение, дорогой Фредерик…

— Мое? — Он взглянул сначала на свою фигуру, потом на брата и, наконец, сказал с глубоким вздохом: — Ха, конечно. Да, да, да.

— Твое положение, дорогой Фредерик, в настоящее время очень высокое. Твое положение как моего брата — высокое положение. И я знаю, что ты со своей обычной добросовестностью постараешься быть достойным этого положения, дорогой Фредерик, постараешься еще возвысить его. Не уронить его, а возвысить.

— Уильям, — ответил тот со вздохом, — я сделаю все, что тебе угодно, дорогой брат, лишь бы у меня хватило уменья. Пожалуйста, будь добр, не забывай, какой я слабый. Что мне нужно делать сегодня? Скажи, что именно?

— Милейший Фредерик, ничего. Я не хочу тревожить твое доброе сердце.

— Пожалуйста, не стесняйся, — возразил тот. — Я рад сделать для тебя все, что могу.

Уильям провел рукой по глазам и прошептал с чувством царственного благоволения:

— Да благословит тебя Бог за твою привязанность, мой бедный милый друг! — затем, громче, прибавил: — Дорогой Фредерик, попытайся, когда мы будем выходить, показать, что ты сознаешь свое положение, думаешь о нем…

— Что же ты посоветуешь мне думать о нем? — спросил покорный брат.

— О дорогой Фредерик, как могу я ответить на такой вопрос? Я могу только сказать тебе, что я сам думаю, расставаясь с этими добрыми людьми.

— Именно! — воскликнул брат. — Это поможет мне.

— Итак, дорогой Фредерик, я думаю — со сложным чувством, в котором особенно выделяется

нежное сострадание, — что они будут делать без меня.

— Правда, — подхватил брат. — Да, да, да, да. Я буду думать об этом. Я буду думать, что они станут делать без моего брата! Бедняги, что они будут делать без него?

В эту минуту часы начали бить двенадцать, и мистеру Дорриту сообщили, что карета дожидается у ворот. Братья под руку спустились с лестницы. Мистер Эдуард Доррит, эсквайр (бывший Тип), и его сестра Фанни следовали за ними тоже под руку; мистер Плорниш и Мэгги, которым было поручено нести вещи, стоившие того, чтобы их увозить, замыкали шествие с узлами и корзинами.

На дворе собрались все члены общежития и тюремщики. На дворе были мистер Панкс и мистер Рогг, явившиеся полюбоваться финалом своей работы. На дворе был и юный Джон, сочинявший новую эпитафию для собственной могилы по случаю своей смерти от разрыва сердца. На дворе был патриарх Кесби, сиявший таким ангельским благодушием, что многие восторженные члены общежития с жаром пожимали его руку, а их жены и родственницы даже целовали эту руку в уверенности, что он, а не кто другой, устроил все

это. На дворе было сборище народа, обычное в таких случаях. На дворе был человек с туманной жалобой насчет фонда, незаконно присвоенного начальством; он встал сегодня в пять часов утра, чтобы составить бестолковейшую записку об истории этого мошенничества, которую он и вручил мистеру Дорриту как документ первостепенной важности, долженствующий произвести переполох в высших сферах и уничтожить директора. На дворе был неоплатный должник, который напрягал все свои силы, чтобы влезть в долги, и так же рьяно добивался попасть в тюрьму, как другие добиваются выйти из нее; должник, которого постоянно выкупали и поздравляли, а рядом с ним другой неоплатный должник — простой, смирный, жалкий торговец, выбивавшийся из сил, стараясь расплатиться с долгами, но не находивший дельца, который помог бы ему чем-нибудь, кроме упреков и брани. На дворе был человек, обремененный многочисленным семейством и многочисленными заботами, падение которого поразило всех; на дворе был человек без семьи и с большими доходами, падение которого никого не удивило. Были тут люди, которые непременно выйдут из тюрьмы завтра, но почему-то не выходят; были тут люди, попавшие сюда вчера и

еще не примирившиеся со своей участью. Были тут люди, готовые ползать и пресмыкаться перед разбогатевшим узником и его семьей только по низости душевной; были тут люди, готовые ползать и пресмыкаться, потому что глаза их, привыкшие к тюремному убожеству, не могли вынести такого яркого блеска. Были тут многие из тех, чьи шиллинги попадали в его карманы на покупку мяса и вина, но никто из них не решился бы теперь обращаться с ним запанибрата, напоминая о своей помощи. Напротив, эти пленные птицы как будто побаивались птицы, которая с таким торжеством вылетала на волю, робко жались к решеткам и съеживались, когда он проходил мимо.

Среди этих зрителей небольшая процессия с двумя братьями во главе медленно двигалась к воротам. Мистер Доррит, предаваясь глубоким размышлениям об участи этих бедных созданий, которым придется обходиться без него, был величествен, грустен, но не рассеян. Он гладил по головкам детей, точно сэр Роджер де Коверлей [56], шествующий в церковь, называл по именам

[56] Сноски: 56

Один из литературных персонажей нравоучительного журнала «Зритель», издававшегося в 1711–1712 гг. английскими писателями Джозефом Аддисоном и Ричардом Стилом.

тех, кто жался в задних рядах, был воплощенной снисходительностью, и, казалось, над ним сияла для их утешения надпись золотыми буквами: «Утешьтесь, дети мои! Несите свой крест!»

Наконец троекратное «ура!» возвестило, что он вышел за ворота и что Маршалси осиротела. Не успели замереть отголоски криков в стенах тюрьмы, как семья уже уселась в карету и лакей готовился захлопнуть дверцу.

Тут только мисс Фанни воскликнула:

— Господи, где же Эми?

Ее отец думал, что она с сестрой. Ее сестра думала, что она где-нибудь поблизости. Все они думали по старой привычке, что она делает свое дело на своем месте. Этот торжественный выход был, может быть, первым случаем в их жизни, когда они обошлись без ее помощи.

Этот переполох длился с минуту, как вдруг мисс Фанни, которая со своего места в карете могла видеть длинный узкий коридор, примыкавший к сторожке, вспыхнула от негодования и воскликнула:

— Послушай, папа, это просто неприлично!

— Что неприлично, Фанни?

— Это просто позорно! Право, одного этого довольно, чтобы пожелать умереть даже в такую

минуту. Вот эта дурочка Эми в своем старом безобразном платье, которого она ни за что не хотела снять, папа; я ее просила, молила — ничего не помогает, ни за что не хотела, обещала переодеть сегодня, говоря, что хочет носить его, пока остается здесь с вами, просто романтическая чепуха самого низкого сорта, и вот она позорит нас до последней минуты, и в последнюю минуту… смотрите, ее несут на руках в этом самом платье — и кто же? Этот Кленнэм!

Обвинение подтвердилось, как только было высказано. Кленнэм появился у каретной дверцы с маленькой бесчувственной фигуркой на руках.

— Ее забыли, — сказал он с состраданием, не лишенным упрека. — Я прибежал в ее комнату (мистер Чивери показал мне дорогу) и нашел дверь открытой, а ее, бедняжку, без чувств на полу. Кажется, она хотела переодеться, но лишилась чувств от волнения. Может быть, ее испугали крики, а может, это случилось раньше. Поддержите эту бледную холодную ручку, мисс Доррит, а то она сейчас упадет.

— Благодарю вас, сэр, я, кажется, сама знаю, что делать, с вашего позволения… — возразила мисс Доррит, разражаясь слезами, — Эми, милочка, открой глазки, душенька! О Эми, Эми, как мне

горько и стыдно! Очнись же, милочка! О, что же они не едут! Пожалуйста, папа, вели ехать!

Лакей с отрывистым: «Позвольте, сэр!» — протянул руку между Кленнэмом и дверцей кареты, закинул подножку, и лошади тронулись.

Книга вторая «Богатство»

Глава I. Попутчики

Была осень. Тьма и ночь медленно всползали на высочайшие вершины Альп.

Было время уборки винограда в долинах на швейцарской стороне Большого Сен-Бернарского прохода и по берегам Женевского озера. Воздух был напоен ароматом спелых гроздьев. Корзины, корыта и ведра с виноградом стояли в дверях деревенских домиков, загораживали крутые и узкие деревенские улицы и целый день двигались по дорогам и тропинкам. То и дело попадались случайно просыпанные и раздавленные ягоды. Плачущим ребятишкам на руках у матерей, возвращавшихся домой с тяжелой ношей на спине, затыкали рты ягодами, кретин, гревший на солнышке свой огромный зоб под навесом деревянного шале по дороге к водопаду, жевал виноград; дыхание коров и коз отзывалось виноградными листьями и стеблями; в каждом кабачке ели виноград, говорили о винограде, пили виноградное вино. Правда, вино было грубое, терпкое, жесткое!

Воздух был чист и прозрачен весь день. Шпили и купола церквей, разбросанные там и сям, горе-

ли на солнце, снежные вершины рисовались так отчетливо, что неопытный путешественник обманывался насчет расстояния и, воображая, что до них рукой подать, начинал считать баснями рассказы о колоссальной высоте этих гор. Знаменитые пики, которых по месяцам не было видно из этих долин, с самого утра отчетливо вырисовывались на голубом небе. И теперь, когда долины оделись мглой и последний румянец заката угас на вершинах, эти белые громады, отступавшие подобно призракам, готовым исчезнуть, все еще возвышались над туманом и мглой.

С этих одиноких высот и с Большого Сен-Бернара, принадлежавшего к их числу, ночь, взбиравшаяся на высоты, казалась подступающим морским приливом. Когда, наконец, она добралась до стен монастыря Святого Бернара, его древняя постройка точно поплыла по темным волнам.

Темнота, обогнавшая партию туристов на мулах, подобралась к монастырским стенам, когда путешественники еще поднимались на гору. Как теплота знойного дня, заставлявшая их утолять жажду из ледяных ключей, уступила место пронизывающему холоду разреженного горного воздуха, так и веселая прелесть долины

сменилась угрюмым и пустынным ландшафтом. Теперь они шли по обрывистой тропинке, где мулы, вытянувшись длинной вереницей, взбирались с камня на камень, точно по разрушенной лестнице какой-то гигантской руины. Ни деревьев, ни других растений, кроме мелкого бурого мха, мерзнувшего в трещинах скал, не было видно. Почерневшие столбы на дороге указывали своими деревянными руками путь к монастырю, точно призраки прежних путешественников, занесенных снегом и вздумавших посетить места своей гибели. Оледенелые пещеры и ниши, вырубленные в скалах для путников, застигнутых неожиданной метелью, точно нашептывали об опасности; не знающие покоя волны тумана мчались, гонимые воющим ветром, и снег, страшнейшая опасность гор, поднимался и летел вниз сухой пылью.

Вереница мулов, утомленных долгим путешествием, медленно извивалась по крутому склону. Переднего вел под уздцы проводник в широкополой шляпе и короткой куртке, с горной палкой на плече, разговаривавший с другим проводником. Путешественники ехали молча. Пронизывающий холод, усталость и новое ощущение, когда захватывает дыхание, напоминавшее отчасти

ощущение, которое испытываешь, вынырнув из холодной воды, или же судорожное сжатие горла при всхлипывании, отбивали охоту разговаривать.

Наконец сквозь туман и снег мелькнул огонек на вершине скалистой лестницы. Проводники закричали на мулов, мулы подняли опущенные головы, у путешественников развязались языки, и среди внезапного оживления — криков, звона колокольчиков, топота, говора — они добрались до монастырских ворот.

Незадолго до них явилась другая партия мулов, частью с седоками-крестьянами, частью с поклажей, и превратила снег на площадке у ворот в грязную лужу. Седла и уздечки, вьюки и бубенчики, мулы и люди, фонари, факелы, мешки, вязанки сена, бочонки, круги сыра, кадочки с медом и маслом, всевозможная поклажа скопились в беспорядке среди этого тающего болота и на ступеньках. Под покровом тумана все исчезло, и все расплылось в этом тумане. Дыхание людей и животных превращалось в туман, огни были окружены туманным ореолом, говоривший за два шага от вас исчезал в тумане, хотя голоса и все другие звуки раздавались поразительно ясно. В туманной линии мулов, которых торопливо

привязывали к кольцам в стенах, происходил иногда переполох: один мул кусал или лягал другого, и тогда вся эта туманная масса начинала волноваться; мелькали фигуры людей, нырявших в тумане, слышались голоса людей и животных, и никто не мог разобрать, что тут такое творится. В довершение всей этой суматохи большая монастырская конюшня, устроенная на первом этаже, со своей стороны выпускала клубы тумана, как будто во всем этом ветхом здании не было ничего другого, так что, выпустив весь туман, она должна была рассыпаться в прах, оставив после себя лишь голую снежную вершину.

Пока весь этот шум и суматоха происходили среди живых путешественников, в нескольких шагах от них, в домике с решетками, тоже утопавшем в тумане и осыпаемом снежными хлопьями, безмолвно стояли мертвые путешественники, найденные в горах. Мать, погибшая в метель несколько лет назад, до сих пор стояла в углу с ребенком на руках; человек, замерзший, стиснув рукой рот от страха или голода, до сих пор, после многих-многих лет, прижимал руку к окоченевшим губам. Зловещая компания, сведенная вместе таинственной судьбой! Могла ли эта мать предвидеть свою страшную участь, могла ли она

сказать себе: «Окруженные толпой товарищей, которых мы никогда не видели и никогда не увидим, мы с моим ребенком будем стоять вместе и неразлучно на Сен-Бернаре, переживая поколения, которые будут смотреть на нас, но никогда не узнают наших имен, никогда ничего не узнают из нашей истории, кроме ее последней главы».

Живым путешественникам было теперь не до мертвых. Они думали только, как бы поскорее пробраться в монастырские двери и погреться у монастырского огня. Выбравшись из суматохи, которая, впрочем, начинала стихать, так как большая часть мулов была поставлена в конюшню, они спешили, дрожа от холода, по лестнице в монастырскую гостиницу. В гостинице стоял запах конюшни, поднимавшийся из нижнего этажа и напоминавший запах зверинца. Здесь были крепкие сводчатые коридоры, массивные каменные столбы, большие лестницы и толстые стены, прорезанные маленькими окошечками, — укрепления против горных бурь, точно против вражеских армий. Здесь были мрачные сводчатые спальни, холодные, но чистые и прибранные в ожидании гостей. Здесь была, наконец, приемная, она же и столовая для гостей, где уже был накрыт стол и пылал яркий огонь в камине.

В этой комнате вокруг камина собрались путешественники, после того как два молодых монаха показали им отведенные для них комнаты. Всего оказалось три партии; первую, самую многочисленную и потому самую медлительную, перегнала по дороге одна из двух остальных. Эта первая партия состояла из пожилой леди, двух седовласых джентльменов, двух молодых девушек и их брата. Их сопровождали пять проводников, два лакея и две горничные; всю эту неудобную свиту пришлось поместить под той же кровлей. Перегнавшая их партия состояла всего только из одной дамы и двух джентльменов. Третья, с итальянской стороны прохода, явилась раньше всех и состояла из четырех человек: полнокровного, голодного и молчаливого немца-гувернера в очках и трех молодых людей, его питомцев, тоже полнокровных, голодных и в очках.

Эти три группы расселись вокруг камина, недоброжелательно поглядывая друг на друга, в ожидании ужина. Только один джентльмен, принадлежавший к партии из трех лиц, сделал попытку завести разговор. Закидывая удочку руководителю главной партии, но делая вид, что обращается к своим спутникам, он заметил тоном, который показывал, что его замечание

относится ко всему обществу, если оно пожелает принять его на свой счет, что денек выдался трудный и что он сочувствует дамам. Он опасается, что одна из молодых леди слишком слаба или непривычна к путешествиям и чересчур утомилась. Он заметил, когда ехал позади нее, что она едва держалась в седле от усталости. Он два или три раза справлялся потом у проводника, как она себя чувствует, и с восторгом узнал, что молодая леди оправилась и что недомогание было временное. Он надеется (в эту минуту он поймал взгляд руководителя и обратился к нему), что с его стороны не будет дерзостью выразить надежду, что она теперь чувствует себя хорошо и не раскаивается в своей поездке.

— Благодарю вас, сэр, — ответил руководитель, — моя дочь совершенно оправилась и чрезвычайно интересуется этим путешествием.

— Быть может, впервые в горах? — спросил вкрадчивый путешественник.

— Впервые… кха… в горах, — подтвердил руководитель.

— Но вы хорошо знакомы с ними, сэр? — продолжил вкрадчивый путешественник.

— Да… хм… довольно хорошо. Не в последние годы, не в последние годы, — ответил руководи-

тель, сопровождая свои слова величественным мановением руки.

Вкрадчивый путешественник, ответив на этот жест наклоном головы, перешел от руководителя к другой девушке, к которой до сих пор обращался лишь в общем замечании о своем сочувствии дамам.

Он выразил надежду, что путешествие не показалось ей слишком неудобным и утомительным.

— Неудобным — да, — ответила она, — но вовсе не утомительным.

Вкрадчивый путешественник восхитился меткостью ее ответа. Он именно это самое хотел сказать. Без сомнения, дамы должны находить неудобным путешествие на муле.

— Пришлось оставить экипажи и фургон в Мартиньи, — продолжила девушка, державшая себя довольно надменно и сдержанно, — и, разумеется, невозможность захватить с собой все необходимое в это неприступное место представляет большое неудобство.

— Да, дикое место, — заметил вкрадчивый путешественник.

Пожилая дама, представлявшая собой образец приличного туалета и манер, вставила со своей стороны замечание мягким ровным голосом:

— Но его следует посетить, как и многие другие неудобные места, — сказала она. — Место, о котором столько говорят, необходимо посетить.

— О, я ничего не имею против посещения, могу вас уверить, миссис Дженераль, — отвечала барышня небрежным тоном.

— Вы уже бывали здесь, сударыня? — спросил вкрадчивый путешественник.

— Да, — ответила миссис Дженераль, — я уже бывала здесь раньше… Позвольте мне посоветовать вам, душа моя, — прибавила она, обращаясь к барышне, — заслониться, защитить ваше лицо от огня: после холодного горного воздуха и снега жар может вредно отозваться на коже. Я и вам посоветую то же, душа моя, — сказала она другой барышне, помоложе, которая тотчас же исполнила ее совет. Напротив, старшая ограничилась ответом:

— Благодарю вас, миссис Дженераль, я удобно устроилась и предпочитаю оставаться в той же позе.

Ее брат встал со стула, открыл фортепиано, стоявшее в комнате, свистнул в него и снова закрыл, затем подошел к камину и расположился спиной к огню, вставив в глаз стеклышко. Он был одет в полный дорожный костюм. Казалось, в мире не

хватит места для путешествий в таком количестве, какого требует этот костюм.

— Однако эти молодцы ужасно копаются с ужином, — промямлил он. — Любопытно знать, чем они угостят нас. Никто не знает, господа?

— Надеюсь, не жареной человечиной, — ответил джентльмен из второй партии.

— Разумеется, нет. Что вы хотели этим сказать? — вскинулся первый.

— Если вы не хотите быть поданным к общему ужину, то, может, соблаговолите не поджаривать себя у огня.

Молодой человек, расположившийся в очень удобной позе, спиной к огню, поглядывая на компанию в монокль и подобрав фалды сюртука, действительно напоминал ощипанного цыпленка. При этом замечании он рассердился и хотел было потребовать дальнейших объяснений, но вдруг обнаружилось, так как глаза всех присутствующих обратились на джентльмена из второй партии, что его спутница, молодая красивая дама, лишилась чувств, опустив голову на его плечо.

— Я отнесу ее в комнату, — сказал он вполголоса и, обращаясь к своему спутнику, заметил: — Будьте добры, позовите кого-нибудь посветить и проводить нас. Я боюсь заблудиться в этой тру-

щобе.

— Позвольте, я позову мою горничную! — воскликнула одна из барышень, повыше ростом.

— Позвольте, я дам ей воды, — сказала барышня поменьше, до сих пор не открывавшая рта.

Обе поспешили привести в исполнение свои слова, так что в помощи не было недостатка. Когда же явились две горничные (в сопровождении проводника, дабы никто не поставил их в затруднение, обратившись к ним на иностранном языке), помощников оказалось даже слишком много. Заметив это и сказав по этому поводу несколько слов младшей и меньшей ростом барышне, муж дамы, лишившейся чувств, закинул ее руки себе на шею, поднял ее и унес из общего зала.

Его друг, оставшийся с другими путешественниками, принялся расхаживать взад и вперед по комнате, задумчиво покручивая свои усы и как будто сознавая себя участником недавнего столкновения. Между тем как жертва этого столкновения кипела негодованием в уголке, руководитель большой группы высокомерно обратился к оставшемуся джентльмену.

— Ваш друг, сэр, — сказал он, — немножко, кха… нетерпелив; и в своем нетерпении, быть

может, несколько забывает обязанности… хм… по отношению… Впрочем, оставим это, оставим это. Ваш друг немножко нетерпелив, сэр.

— Может быть, сэр, — ответил тот. — Но, имев честь познакомиться с моим другом в Женеве, где мы жили в одном отеле, и продолжив это знакомство в дальнейших экскурсиях, я не считаю себя вправе выслушивать даже от человека вашей наружности и вашего положения, сэр, что-либо, клонящееся к осуждению этого джентльмена.

— Вам не придется выслушивать от меня, сэр, ничего подобного. Заметив, что ваш друг проявил некоторое нетерпение, я не высказал ничего подобного. Я сделал это замечание, так как не сомневаюсь, что мой сын, будучи по рождению и по… кха… воспитанию… хм… джентльменом, охотно подчинился бы всякому деликатно выраженному желанию насчет камина, которым все члены настоящего кружка, без сомнения, вправе пользоваться в одинаковой степени. В принципе я совершенно… кха… согласен с этим, так как все здесь… хм… равноправны.

— Прекрасно! — ответил тот. — На этом можно и покончить. Я покорнейший слуга вашего сына. Прошу вашего сына принять уверение в моем глубоком уважении. Вместе с тем я соглашаюсь,

охотно соглашаюсь, что мой друг бывает иногда несколько саркастичен.

— Молодая дама — жена вашего друга?

— Молодая дама — жена моего друга.

— Она очень хороша собой.

— Сэр, несравненно хороша! Они только недавно обвенчались. Это их свадебная поездка, отчасти, впрочем, и с художественными целями.

— Ваш друг художник, сэр?

Джентльмен вместо ответа поцеловал кончики пальцев и поднял руку, посылая поцелуй к небу, точно хотел сказать: «Поручаю силам небесным этого бессмертного художника!»

— Но он из хорошей семьи, с большими связями. Он более чем художник: с большими связями. Он может отрекаться от этих связей — гордо, нетерпеливо, саркастично (допуская эти выражения), но он их имеет. Я убедился в этом по искрам скрытого огня в его разговоре.

— Да-а! Надеюсь, — сказал высокомерный джентльмен, давая понять всем своим видом, что считает этот вопрос исчерпанным, — что нездоровье молодой леди не представляет серьезной опасности.

— Я тоже надеюсь, сэр.

— Простая усталость, полагаю.

— Не совсем простая усталость, сэр: ее мул споткнулся, и она свалилась с седла. Она поднялась и вскочила в седло без посторонней помощи, но к вечеру стала жаловаться на легкую боль в боку. Она несколько раз говорила о ней, пока мы поднимались в гору вслед за вами.

Предводитель большой партии, державший себя милостиво, но без фамильярности, нашел, по-видимому, что слишком далеко простер свою снисходительность. Он не сказал ни слова больше, и в течение четверти часа, пока не подали ужин, молчание не нарушалось.

К ужину явился молодой монах (тут, кажется, вовсе не было старых монахов) и занял хозяйское место. Ужин ничем не отличался от обыкновенного ужина в швейцарских гостиницах, и не было недостатка в хорошем красном вине из монастырских виноградников, находившихся в более мягком климате. Художник явился, когда все уселись за стол, и спокойно занял свое место, по-видимому, совершенно забыв о недавнем столкновении с господином в полном дорожном костюме.

— Скажите, — спросил он хозяина, принимаясь за суп, — много у вас осталось знаменитых собак?

— Три штуки, сударь.

— Я видел внизу трех собак, вероятно тех самых.

Хозяин, стройный смуглый монах с блестящими глазами и учтивыми манерами, в черной рясе с белыми нашивками от пояса до плеч, не более походил на условный тип сен-бернарского монаха, чем на условный тип сен-бернарской собаки. Он отвечал, что, без сомнения, мсье видел тех самых собак.

— Мне кажется, — продолжил художник, — будто я уже видел одну из них раньше.

— Весьма возможно. Это известная собака. Мсье мог видеть ее в долине или где-нибудь на берегу озера, когда она ходила с кем-нибудь из братьев собирать пожертвования на монастырь.

— Это делается регулярно в известное время года, если не ошибаюсь?

— Мсье не ошибается.

— И эти сборы никогда не производятся без собаки. Собака играет очень важную роль.

— И в этом отношении мсье совершенно прав. Собака играет очень важную роль. Все интересуются этой собакой. Она пользуется громкой славой; быть может, и вы, мадемуазель, слышали о ней?

Мадемуазель не торопилась ответить на этот вопрос, как будто еще не вполне освоилась с французским языком. Впрочем, миссис Дженераль ответила за нее утвердительно.

— Спросите, много ли людей она спасла, — сказал ей по-английски молодой человек, имевший столкновение с художником.

Монах не нуждался в переводе и тотчас ответил по-французски:

— Ни одного.

— Почему? — спросил тот же молодой человек.

— Что прикажете делать, — ответил хозяин спокойно. — Доставьте ей случай, и она, без сомнения, им воспользуется. Например, я убежден, — прибавил он с улыбкой, передавая гостям нарезанную телятину, — что, если бы вы доставили ей случай, она с величайшей охотой исполнила бы свой долг.

Художник засмеялся. Вкрадчивый путешественник (который обнаружил очень предусмотрительную заботливость о размерах своей порции ужина), отерев кусочком хлеба капли вина, повисшие на его усах, вмешался в разговор:

— Для туристов теперь уже позднее время года, не правда ли, отец мой?

— Да, позднее. Еще две-три недели — и мы оста-

немся одни с зимними вьюгами.

— И тогда, — продолжил вкрадчивый путешественник, — наступит время для откапывания собаками занесенных снегом детей, как это рисуют на картинках?

— Виноват, — сказал хозяин, не поняв намека, — как это — для откапывания собаками занесенных снегом детей, как это рисуют на картинках?

Художник вмешался в разговор, не дав ответить своему спутнику.

— Разве вы не знаете, — холодно спросил он, обращаясь к нему через стол, — что зимой сюда заглядывают только контрабандисты?

— Святые небеса! Нет, в первый раз слышу.

— Я полагаю, что это так. А так как они хорошо знают признаки погоды, то доставляют очень мало работы собакам, которые постепенно вымирают, хотя у них здесь хороший приют. Детей же своих контрабандисты, насколько мне известно, оставляют дома. Но какая грандиозная идея! — воскликнул он с неожиданным пафосом. — Великолепная идея! Прекраснейшая идея в мире, способная вызвать слезы на глаза человека, клянусь Юпитером!

Сказав это, он спокойно принялся за свою

телятину. Какая-то насмешливая непоследовательность этой речи производила довольно неприятное впечатление, хотя манеры путешественника отличались изяществом, наружность — привлекательностью, а ирония была замаскирована так ловко и голос звучал так просто и непринужденно, что человеку, не вполне освоившемуся с английским языком, трудно было понять насмешку или, даже поняв, найти повод к обиде. Покончив с телятиной среди общего молчания, оратор снова обратился к своему другу.

— Взгляните, — сказал он тем же тоном, — на этого джентльмена, нашего хозяина, который так юн и тем не менее так изящен и с таким скромным достоинством, с такой чисто придворной вежливостью выполняет обязанности хозяина. Просто королевские манеры! Поезжайте на обед к лорд-мэру в Лондоне (если удастся получить приглашение) — вы не встретите там ничего подобного. Этот милый человек с прекраснейшими чертами лица, какие мне только случалось видеть — истинной находкой для художника, — бросает свою трудовую жизнь и забирается не знаю на сколько футов высоты над уровнем моря с единственной целью (исключая удовольствие, которое может доставить ему самому роскошная

трапеза) угощать таких праздных бедняков, как мы с вами, предоставляя плату на нашу совесть. Какая высокая жертва! Неужели она не тронет нас? Неужели мы станем говорить с пренебрежением об этом месте только потому, что умнейшие из собак с деревянными фляжками на шее не приносят в течение восьми или девяти месяцев в году интересных путников, спасенных от гибели? Нет. Благословим это учреждение! Великое учреждение, славное учреждение!

Грудь седовласого господина, предводителя большой партии, вздымалась, точно протестуя против причисления ее обладателя к праздным беднякам. Как только художник замолчал, он заговорил с большим достоинством, как человек, привыкший руководить обществом и только на минуту забывший о своей обязанности.

Он с важностью заметил хозяину, что зимой, должно быть, скучно жить в этом месте.

Хозяин ответил, что действительно жизнь здесь страдает некоторым однообразием. Трудно дышать разреженным воздухом, холод жестокий. Нужно быть молодым и здоровым, чтобы выносить эту жизнь, но, обладая молодостью и здоровьем, он с Божьей помощью…

— Да-да, конечно. Но жизнь в заточении? —

сказал седовласый господин.

— Очень часто выдаются дни даже при дурной погоде, когда можно выходить на прогулку. Зимой монахи прокапывают тропинки в снегу и пользуются ими для прогулок.

— Но пространство? — настаивал седовласый джентльмен. — Такое тесное, такое… кха… ограниченное пространство!

— Мсье, быть может, не знает, что мы посещаем зимой убежища и прокладываем к ним дорожки.

Мсье все-таки настаивал, что, с другой стороны, пространство так… кха… хм… ограничено. Мало того — вечно одно и то же, вечно одно и то же.

Хозяин, слегка улыбнувшись и пожав плечами, заметил:

— Это правда, но почти всякую вещь можно рассматривать с различных точек зрения. Он и мсье, очевидно, смотрят на эту однообразную жизнь не с одинаковой точки зрения. Мсье не привык жить в заточении.

— Я… кха… да, разумеется, — ответил седовласый господин. Казалось, этот аргумент поразил его как обухом по голове.

— Мсье в качестве англичанина-туриста пользуется всеми средствами, которые могут сделать путешествие приятным; без сомнения, обладает

состоянием, экипажами, слугами…

— Конечно, конечно, без сомнения, — подтвердил седовласый господин.

— Мсье, конечно, не может представить себя в положении человека, для которого нет выбора, который не может сказать себе: завтра я отправлюсь туда-то, а послезавтра — туда-то, перейду эту преграду, расширю эти пределы. Мсье вряд ли может представить себе, до чего дух способен приспособляться к обстоятельствам в силу необходимости.

— Вы правы, — сказал мсье. — Мы… кха… оставим эту тему. Вы… хм… без сомнения, совершенно правы. Не будем больше говорить об этом.

Ужин в это время кончился; мсье встал из-за стола и вернулся к своему прежнему месту у огня. Так как было холодно, то и другие гости вернулись на прежние места перед камином, чтобы хорошенько погреться, прежде чем лечь спать. Хозяин поклонился гостям, пожелал спокойной ночи и ушел. Но сначала вкрадчивый путешественник спросил его, нельзя ли им получить теплого вина, и, когда хозяин ответил утвердительно и вскоре затем прислал вино, путешественник, сидевший как раз перед камином, в центре группы, принялся угощать остальных.

В это время младшая из двух девушек, молчаливо сидевшая в своем темном уголке (комната освещалась главным образом камином, потому что лампа дымила и чуть мерцала), незаметно выскользнула из комнаты. Тихонько затворив за собой дверь, она остановилась в нерешительности, но после некоторого колебания, какую дорогу выбрать в лабиринте коридоров, пробралась в угловую комнату главной галлереи, где собрались за ужином слуги. Тут ей дали лампу и указали, как пройти в комнату заболевшей леди.

Комната выходила на большую лестницу на верхнем этаже. В голых белых стенах виднелись местами железные решетки, так что в общем здание производило на нее впечатление тюрьмы. Полукруглая дверь в комнату или келью больной была приотворена. Постучав раза два или три и не получив ответа, она тихонько отворила ее и заглянула в комнату.

Леди лежала с закрытыми глазами на постели, укутанная одеялами и пледами, которыми накрыли ее, когда она очнулась от обморока. Тусклый ночник в глубокой нише окна слабо освещал комнату. Посетительница робко подошла к кровати и шепнула чуть слышно:

— Как вы себя чувствуете?

Леди спала, и едва слышный шепот не разбудил ее. Посетительница внимательно посмотрела на нее и тихо, почти про себя, заметила:

— Очень хороша. Я еще не встречала такого прекрасного лица. О, совсем не похожа на меня!

В этих странных словах был какой-то скрытый смысл, потому что глаза ее наполнились слезами.

— Я знаю, что это она. Я знаю, что он говорил о ней в тот вечер. Я могла бы ошибиться во всем остальном, но не в этом, не в этом.

Она тихонько и нежно поправила разметавшиеся волосы спавшей и прикоснулась к руке, лежавшей на одеяле.

— Мне приятно смотреть на нее, — продолжила она едва слышно. — Мне приятно смотреть на ту, которая так поразила его сердце.

Она не отняла руки, когда больная открыла глаза и слегка вздрогнула.

— Пожалуйста, не тревожьтесь. Я одна из ваших спутниц по путешествию, вот и зашла спросить, как вы себя чувствуете и не могу ли что-нибудь сделать для вас.

— Вы, кажется, уже были так любезны, что прислали мне свою горничную.

— Нет, это моя сестра. Лучше ли вам?

— Гораздо лучше. Я только слегка ушиблась, но теперь почти оправилась. У меня как-то сразу закружилась голова. Сначала я переносила боль легко, но потом сразу лишилась чувств.

— Могу я остаться с вами, пока кто-нибудь не придет? Хотите?

— Я была бы очень рада, так как чувствую себя здесь одинокой, но вы озябнете.

— Я не боюсь холода. Я гораздо выносливее, чем кажусь.

Она быстро пододвинула к кровати стул и села. Больная так же быстро накинула на нее плед и, придерживая его, обвила рукой ее шею.

— Вы так похожи на добрую ласковую няню, — сказала она с улыбкой, — что мне все кажется, будто вы приехали со мной из дома.

— Мне очень приятно слышать это.

— Я сейчас видела во сне мой дом, старый дом, где жила до замужества.

— И откуда раньше не уезжали так далеко?

— Мне случалось уезжать из него гораздо дальше, чем теперь, но со мной были мои родные. Теперь, лежа здесь, я чувствовала себя одинокой и, когда заснула, перенеслась к ним.

Голос ее звучал какой-то грустной нежностью и раскаянием, так что гостья старалась не смотреть

на нее в эту минуту.

— Странно, что судьба свела нас вместе, да еще так тесно, под одним пледом, — сказала она, помолчав, — ведь я уже давно ищу случая увидеть вас.

— Ищете случая увидеть меня?

— Да, у меня есть письмо, которое я должна была передать вам в случае встречи. Вот оно. Или я очень ошибаюсь, или оно адресовано вам. Не правда ли?

Молодая дама взяла его, кивнув, и начала читать. Гостья наблюдала за ней во время чтения. Письмо было очень коротенькое. Прочитав, она слегка покраснела и, прикоснувшись губами к щеке гостьи, пожала ей руку.

— В письме сказано, что милая молодая подруга, которую оно мне рекомендует, может оказаться для меня истинным утешением. Она с первой же встречи оказывается для меня утешением.

— Может быть, вы не знаете, — сказала гостья нерешительно, — может быть, вы не знаете моей истории? Может быть, вам никогда не рассказывали моей истории?

— Нет.

— Конечно, он не рассказывал. Я не знаю, вправе ли сама рассказать ее, так как меня просили

не делать этого. Это очень простая история, но, может, она объяснит вам, почему я буду просить вас не рассказывать здесь об этом письме. Не знаю, обратили ли вы внимание на то, что я здесь с родными. Некоторые из них немножко горды, немножко высокомерны.

— Возьмите его обратно, — сказала дама, — и тогда мой муж, конечно, не увидит его. Иначе оно может попасться ему как-нибудь случайно, и он, пожалуй, проговорится. Возьмите его, спрячьте у себя.

Гостья заботливо спрятала его на груди. Ее маленькая тоненькая рука еще держала письмо, когда за дверью в галерее послышались шаги.

— Я обещала, — сказала гостья вставая, — написать ему, когда увижу вас (я непременно должна была встретиться с вами рано или поздно), и сообщить, здоровы ли вы и счастливы ли. Я напишу, что вы счастливы и здоровы.

— Да, да, да. Напишите, что я совершенно здорова и очень счастлива. И что я благодарю его от души и никогда не забуду.

— Я еще увижусь с вами утром. И мы, наверно, еще будем встречаться. Покойной ночи.

— Покойной ночи. Благодарю, благодарю вас. Покойной ночи, милочка.

Они торопливо простились, и гостья вышла из комнаты. В галерее она ожидала встретить мужа молодой дамы, но вместо него оказался тот самый путешественник, который вытирал капли вина с усов кусочком хлеба. Услышав за собой шаги, он круто повернулся. Изысканная вежливость этого господина заставила его предложить девушке свои услуги. Он взял у нее лампу и, стараясь освещать перед ней ступеньки, проводил до общего зала. Она шла, тщетно стараясь скрыть смущение и робость, так как его наружность производила на нее крайне неприятное впечатление. Перед ужином, сидя в своем темном уголке, она невольно думала о нем, воображая его в своей прежней знакомой обстановке, среди знакомых сцен и людей, и в конце концов почувствовала к нему отвращение, доходившее до ужаса.

Он со своей сладкой улыбкой проводил ее по лестнице в зал и опять уселся на лучшее место, против камина. Догоравшие дрова то озаряли, вспыхивая, его лицо, то снова гасли, между тем как он грелся, вытянув ноги к огню, попивая теплое вино и отбрасывая на стену зловещую черную тень, которая передразнивала все его движения.

Усталая компания разошлась, остались только он да седовласый джентльмен с дочерью.

Последний дремал в кресле у камина. Вкрадчивый путешественник отправился наверх в свою спальню и принес оттуда фляжку с водкой. Вылив ее в вино, он выпил эту смесь с особенным удовольствием.

— Смею спросить, сэр, вы едете в Италию?

Седовласый джентльмен в это время встал, собираясь уходить, и ответил утвердительно.

— Я тоже, — сказал путешественник. — Не теряю надежды, что удостоюсь чести засвидетельствовать вам свое почтение в более приятной местности, чем эта угрюмая гора.

Джентльмен поклонился довольно надменно и поблагодарил за любезность.

— Мы, бедные джентльмены, сэр, — сказал путешественник, вытирая пальцами усы, мокрые от водки и вина, — не можем путешествовать как принцы, но это не мешает нам ценить изящество и утонченность. Ваше здоровье, сэр!

— Сэр, благодарю вас.

— Здоровье вашего почтенного семейства — прекрасных леди, ваших дочерей!

— Сэр, еще раз благодарю вас. Позвольте пожелать вам покойной ночи… Душа моя, дожидаются ли нас наши… кха… наши люди?

— Да, отец.

— Позвольте мне, — сказал путешественник, поднявшись и распахнув дверь перед седовласым джентльменом, который направлялся к ней под руку с дочерью. — Покойной ночи. До приятного свидания. До завтра!

Он поцеловал кончики пальцев, с изящнейшим жестом и сладчайшей улыбкой, а девушка прижалась к отцу, стараясь не прикоснуться мимоходом к незнакомцу.

— Хм… — сказал вкрадчивый путешественник, изящество которого исчезло и голос потерял нежный оттенок, как только он остался один. — Все отправились спать, неужели и мне отправляться? Они чертовски спешат. В этой ледяной мрачной пустыне ночь покажется бесконечной, если даже улечься двумя часами позднее.

Допивая стакан, он запрокинул голову и увидел книгу для записи туристов, лежавшую на фортепиано. Книга была открыта, и около нее стояла чернильница с перьями, как будто путешественники только что расписались.

Взяв книгу, он прочитал следующие имена: Уильям Доррит, эсквайр; Фредерик Доррит, эсквайр; Эдуард Доррит, эсквайр; мисс Фанни Доррит; мисс Эми Доррит с прислугой; миссис Дженераль (из Франции в Италию); мистер и миссис Гоуэн (из

Франции в Италию)».

К этому списку он прибавил мелким витиеватым почерком, с длинным росчерком, который, точно аркан, охватил все остальные имена: «Бландуа Париж (из Франции в Италию)».

Нос его опустился над усами, а усы поднялись под носом, после чего он отправился в свой номер.

Глава II. Миссис Дженераль

Необходимо представить читателям во всех отношениях образцовую леди, которая играла в семействе Доррит достаточно важную роль, чтобы записать свое имя в книге для туристов. Миссис Дженераль была дочерью одной духовной особы в епископальном городе, где фигурировала в качестве законодательницы хорошего тона, пока не приблизилась к сорокапятилетнему возрасту. В это самое время один комиссариатский чиновник, шестидесяти лет, ретивый служака, пленился важностью, с которой она правила четверкой, запряженной в карету общественных приличий, разъезжая по епископальному городу, и просил позволения примоститься на запятках кареты, везомой этой борзой четверкой. Предложение его было принято, комиссариатский чиновник уселся на запятках с великим достоинством, и миссис Дженераль продолжала править до самой его смерти.

Схоронив комиссариатского чиновника с подобающей помпой (полная упряжка в перьях и траурных попонах с гербами покойного везла погребальную колесницу), миссис Дженераль на-

вела справки, много ли праха и пепла отложено покойным в банке. Тут оказалось, что комиссариатский чиновник как нельзя более ловко обошел миссис Дженераль: за несколько лет перед свадьбой он купил пожизненную ренту, но утаил это обстоятельство от супруги, уверив ее, будто живет на проценты с капитала. В результате средства миссис Дженераль уменьшились до такой степени, что только безукоризненно строгий ум не позволил ей усомниться в справедливости того места в заупокойной службе, из которого явствует, что комиссариатский чиновник не может ничего унести с собой в могилу.

При таком положении вещей миссис Дженераль пришло в голову, что она может «образовать ум» и равным образом манеры какой-нибудь девицы хорошей фамилии или запрячь свою четверню в колымагу какой-нибудь сироты — наследницы крупного состояния — или вдовы, дабы благополучно провезти ее сквозь лабиринт общественных приличий в качестве возницы и конвойного. Духовные и комиссариатские родичи миссис Дженераль отнеслись к ее идее так восторженно, что, если б не бесспорные достоинства этой леди, можно было бы заподозрить их в желании отделаться от нее. Рекомендательные

письма со стороны влиятельных лиц, изображавших ее чудом благочестия, образованности, добродетели и изящества, посыпались градом, а один почтенный архидьякон даже прослезился, составляя описание ее совершенств (на основании показаний лиц, заслуживающих доверия), хотя ни разу в жизни не удостоился чести и наслаждения лицезреть миссис Дженераль.

Получив, таким образом, одобрение церкви и государства, миссис Дженераль почувствовала себя в силах сохранить высокое положение, которое всегда занимала, и для начала оценила себя по самой высокой таксе. В течение некоторого времени миссис Дженераль никому не требовалась. В конце концов, однако, нашелся провинциал-вдовец с четырнадцатилетней дочкой, который вступил в переговоры с этой дамой; и так как миссис Дженераль, по своему ли природному достоинству или в силу дипломатических соображений, всегда повертывала дело так, как будто за ней гоняются, а она никого не ищет, то и вдовцу пришлось погоняться за ней довольно долго, пока он не убедил миссис Дженераль заняться образованием ума и манер его дочери.

Исполнению этой обязанности миссис Дже-

нераль посвятила семь лет, в течение которых объездила Европу и пересмотрела почти весь тот винегрет разнообразнейших предметов, которые всем благовоспитанным людям необходимо видеть чужими глазами, а не своими собственными. Когда, наконец, она закончила свою обязанность, состоялись свадьбы не только барышни, но и ее родителя-вдовца. Находя, что при таких обстоятельствах миссис Дженераль является чересчур дорогой обузой, вдовец внезапно почувствовал умиление перед ее достоинствами и принялся расточать такие похвалы ее неслыханным добродетелям всюду, где, по его расчету, могло понадобиться это сокровище, что имя миссис Дженераль прогремело с большим, чем когда-либо, треском.

Когда этот феникс собирался вернуться на свой высокий насест, мистер Доррит, только что получивший огромное наследство, заявил своим банкирам, что ему желательно найти леди, благовоспитанную, образованную, с хорошими связями, привыкшую к порядочному обществу, которая согласилась бы взять на себя завершение образования его дочерей и заменить им мать. Банкиры мистера Доррита, так же как и банкиры провинциала-вдовца, в один голос объявили:

«Миссис Дженераль».

Продолжая так счастливо начатые поиски и убедившись, что рекомендации всех знакомых миссис Дженераль отличаются одинаково патетическим характером, мистер Доррит взял на себя труд съездить к вдовцу посмотреть на миссис Дженераль. Высокие качества этой леди превзошли все его ожидания.

— Вы меня извините, — сказал мистер Доррит, — если я спрошу насчет… кха… вознаграждения…

— Право, — перебила миссис Дженераль, — я предпочла бы обойти этот предмет. Я никогда не говорила об этом с моими друзьями, мистер Доррит, и не могу преодолеть неловкость, которую возбуждает во мне подобная тема. Надеюсь, вам известно, что я не гувернантка…

— О, разумеется! — ответил мистер Доррит. — Пожалуйста, сударыня, не думайте, что я вообразил это.

Он даже покраснел при мысли, что его могли заподозрить в этом.

Миссис Дженераль с важностью наклонила голову.

— Итак, я не могу назначать цену за услуги, оказывать которые безвозмездно для меня было бы

истинным удовольствием, хотя, к сожалению, это невозможно. Не знаю, найдете ли вы еще случай, подобный моему. Он совершенно исключителен.

— Без сомнения. Но как же в таком случае, — заметил мистер Доррит с довольно естественным недоумением, — подойти к этому предмету?

— Я не буду иметь ничего против, — сказала миссис Дженераль, — хотя и это для меня неприятно, но я не буду иметь ничего против того, чтобы мистер Доррит конфиденциально осведомился у моих друзей, какую сумму они имели обыкновение вносить каждую четверть года моим банкирам.

Мистер Доррит поклонился.

— Позвольте прибавить к этому, — продолжила миссис Дженераль, — что я не стану больше возвращаться к этой теме. Далее: я отнюдь не считаю возможным занять второстепенное или низшее положение. Если мистер Доррит предлагает мне честь познакомиться с его семейством — если не ошибаюсь, вы упоминали о двух дочерях…

— О двух дочерях.

— …то я могу принять ее лишь на условиях полного равенства — как товарищ, ментор и друг.

Мистер Доррит, при всем сознании своей важности, чувствовал, что ему положительно

оказывают честь, соглашаясь на такие условия. Приблизительно в этом смысле он и высказался.

— Если не ошибаюсь, — повторила миссис Дженераль, — вы упоминали о двух дочерях.

— О двух дочерях, — повторил мистер Доррит.

— В таком случае, — сказала миссис Дженераль, — необходимо увеличить на одну треть сумму (какова бы она ни была), которую мои друзья привыкли вносить моему банкиру.

Мистер Доррит, не теряя времени, обратился за разрешением этого деликатного вопроса к провинциалу-вдовцу и, узнав, что тот имел обыкновение вносить триста фунтов ежегодно банкиру миссис Дженераль, вычислил без особенного напряжения своих арифметических способностей, что ему придется вносить четыреста. Видя, что миссис Дженераль — сокровище, достойное любой цены, мистер Доррит обратился к ней с формальным предложением оказать ему честь и удовольствие, сделавшись членом его семьи. Миссис Дженераль соблаговолила оказать ему эту высокую честь и сделалась членом его семьи.

По внешности миссис Дженераль, считая и юбки, составлявшие весьма важную часть ее особы, производила внушительное впечатление: важ-

ная, полная, с шуршащими юбками, объемистая — настоящее воплощение приличий. Если б ее занесло на вершину Альп — ее в самом деле туда занесло, — или на дно Геркуланума [57], ни одна складка ее платья не была бы помята, ни одна булавка не потерялась бы. Если ее лицо и волосы были точно посыпаны мукой, как будто она жила на какой-нибудь мельнице изящнейшего тона, то это зависело скорее от ее лимфатической натуры, чем от употребления пудры или от седины. Если глаза ее были лишены всякого выражения, то, по всей вероятности, оттого, что им нечего было выражать. Если у нее было мало морщин, то потому, что никаких душевных движений не отражалось на ее лице. Это была холодная, восковая, угасшая женщина, которая никогда не горела ярко.

У миссис Дженераль не было мнений. Ее метод образовывать ум заключался в том, чтобы не дать ему возможность иметь собственное мнение. Ее мозг был устроен на манер маленьких круглых колей или рельсов, по которым она пускала маленькие поезда чужих мнений, никогда не перегонявшие друг друга и никогда никуда не приезжавшие. Даже ее благоприличие не могло

[57] Сноски: 57

Город в древней Италии, уничтоженный лавой и засыпанный пеплом вместе с Помпеей при извержении Везувия в 79 г. н. э.

отвергать того факта, что на свете не все обстоит благопристойно, но она отделывалась от этого факта тем, что не замечала его и внушала другим, что ничего подобного не существует. Это была другая основная черта ее метода — прятать все затруднительные предметы в шкаф, запирать их под замок и говорить, что они не существуют. Бесспорно, это был самый простой и действенный способ.

С миссис Дженераль нельзя было говорить о чем-либо шокирующем. При ней нельзя было упоминать о несчастных случаях, бедствиях, преступлениях. Страсти должны были засыпать в присутствии миссис Дженераль, а кровь — превращаться в молоко и воду. Все то немногое, что оставалось в мире после такой очистки, миссис Дженераль тщательно лакировала. Для этого она обмакивала самую маленькую кисточку в самый большой горшок и покрывала лаком поверхность каждого предмета, который попадался на глаза. Чем больше на нем было трещин, тем гуще слой накладывала миссис Дженераль.

Лак слышался в голосе миссис Дженераль, лак чувствовался в ее прикосновении, даже атмосфера, окружавшая ее, была пропитана лаком. Наверно, и сны миссис Дженераль были покрыты

лаком, если только она видела сны, почивая под кровом святого Бернара, одетым пеленой пушистого снега.

Глава III. На дороге

Яркое утреннее солнце слепило глаза, метель прекратилась, туман растаял, и горный воздух был так прозрачен и чист, что, казалось, вступаешь в новую жизнь, вдыхая его. В довершение иллюзии твердая почва тоже как будто растаяла, и гора — сверкающая громада гигантских белых вершин и масс — казалась грудой облаков, плавающих между голубым небом и землей.

Черные точки на снегу, точно узелки нити, начинавшейся от монастырских ворот и тянувшейся, извиваясь и иногда прерываясь, вниз по горе, указывали те места, где братья расчищали дорогу. У ворот снег уже начинал утаптываться. Выводили мулов, привязывали к кольцам в стене и навьючивали, привязывали бубенчики, укладывали багаж. Голоса погонщиков и всадников мелодично звучали в чистом воздухе. Некоторые уже тронулись в путь, и на вершине, близ темного пруда, подле монастыря, по склону горы фигуры людей и мулов, казавшиеся миниатюрными в сравнении с окружающими громадами, двигались под ясный звон бубенчиков и гармоничный шум голосов.

В комнате, где накануне ужинали, пылал огонь над вчерашним пеплом, озаряя скромный завтрак из хлеба, масла и молока. Он озарял также проводника семьи Доррит, приготовлявшего чай для своей партии из собственных запасов, служивших главным образом для пропитания многочисленной прислуги — главной обузы путешественников.

Мистер Гоуэн и Бландуа из Парижа, уже позавтракавшие, прогуливались над озером, покуривая сигары.

— А, Гоуэн, — пробормотал Тип, иначе — Эдуард Доррит, эсквайр, перелистывая книгу для записи туристов. — Значит, Гоуэн — имя молокососа, вот все, что я могу сказать. Я бы щелкнул его по носу, если бы стоило руки марать. Да не стоит, к счастью для него. Что его жена, Эми? Ты, верно, знаешь, ты всегда знаешь все такое.

— Ей лучше, Эдуард. Но они не поедут сегодня.

— О, они не поедут сегодня! Счастье для этого молодчика, иначе ему наверняка пришлось бы иметь дело со мной.

— Решено было, что лучше ей остаться и отдохнуть до завтра, чтобы не слишком утомляться ездой.

— На здоровье. Но ты так говоришь, будто нян-

чилась с ней. Надеюсь, ты не вздумала вернуться (миссис Дженераль здесь нет) к своим старым привычкам, Эми?

Он искоса взглянул на мисс Фанни и на отца.

— Я только наведалась узнать, не нужно ли ей чего-нибудь, Тип, — сказала Крошка Доррит.

— Зачем ты называешь меня Типом, Эми? — возразил молодой человек, нахмурившись. — Пора бросить эту старую привычку.

— Я нечаянно, милый Эдуард. Я забылась. Когда-то это было так естественно, что и теперь подвернулось мне само собой.

— О да, — вмешалась мисс Фанни. — Естественно и само собой, когда-то и теперь! Что за бессмыслица! Я-то очень хорошо знаю, почему ты принимаешь такое участие в миссис Гоуэн. Меня не проведешь!

— Я и не собираюсь, Фанни. Не сердись.

— О, «не сердись»! — вспылила мисс Фанни. — Терпения моего не хватает! — Это была совершенная правда.

— Что такое, Фанни? — спросил мистер Доррит, подымая брови. — Что ты хочешь сказать? Объяснись.

— О, пустяки, папа! Не стоит и говорить. Эми понимает меня и так. Она знает эту миссис Гоуэн

или слыхала о ней не со вчерашнего дня.

— Дитя мое, — сказал мистер Доррит, обращаясь к младшей дочери, — имеет твоя сестра какое-нибудь… кха… основание для такого странного заявления?

— Как мы ни сердобольны, — подхватила мисс Фанни, прежде чем та успела ответить, — мы не стали бы забираться в спальню незнакомой дамы на вершине холодной горы и сидеть с этой дамой, дрожа от холода, если бы не слыхали о ней раньше. Нетрудно угадать, с кем дружна эта миссис Гоуэн.

— С кем же? — спросил отец.

— Папа, мне очень прискорбно говорить это, — ответила мисс Фанни, которая тем временем успела войти в роль обиженной и гонимой, — но я уверена, что друг миссис Гоуэн — тот самый неприятный и грубый господин, который с полным отсутствием деликатности, хотя мы в нашем положении имели право ожидать от него деликатности, публично и умышленно оскорбил и задел наши чувства при обстоятельствах, которых не стану напоминать, так как между нами решено как можно меньше говорить об этом.

— Эми, дитя мое, — сказал мистер Доррит снисходительно-суровым тоном, — правда ли это?

Крошка Доррит ответила:

— Да, правда.

— Да, правда! — воскликнула мисс Фанни. — Разумеется, я так и знала! После этого, папа, я должна объявить раз навсегда, — у этой молодой леди была привычка объявлять одно и то же раз навсегда ежедневно или даже по нескольку раз в день, — что это просто позор! Я должна объявить раз навсегда, что этому пора положить предел. Мало того что мы испытали то, что известно нам одним, нам будет еще напоминать об этом упорно и систематически та, которая, более чем кто-либо, должна щадить наши чувства. Неужели нам придется выносить это противоестественное поведение каждую минуту нашей жизни? Неужели нам никогда не позволят забыть о прошлом? Повторяю, это просто бесстыдно.

— Ну, Эми, — сказал ее брат, покачивая головой, — ты знаешь, я всегда стоял за тебя, в большинстве случаев. Но, ей-богу, я должен сказать, что ты довольно странно выражаешь свою сестринскую любовь, продолжая знакомство с господином, который обошелся со мной так неблагородно. Только низкий плут, — прибавил он убедительным тоном, — мог так обойтись со мной!

— И заметьте, — сказала мисс Фанни, — заметьте, что из этого выходит! Можем ли мы рассчитывать на уважение наших слуг? Никогда! Тут две наши горничные, камердинер папы, лакей, проводник, всевозможная прислуга, а она на глазах у всех бросается за стаканом воды, точно простая служанка! Полицейский на улице, если с каким-нибудь бродягой случится припадок, не бросится за водой так поспешно, как бросилась вчера эта самая Эми в этой самой комнате на наших глазах!

— Этому я не придаю особенного значения, — заметил мистер Эдуард, — но ваш Кленнэм, как ему угодно называть себя, — другое дело.

— Решительно то же самое, — возразила мисс Фанни, — все это одно к одному. Во-первых, он втерся к нам по своей охоте. Мы никогда не нуждались в нем. Я всегда давала ему понять, что охотно покину его общество. Затем он наносит жестокое оскорбление нашим чувствам единственно из желания выставить нас на позор. И после этого мы еще будем ухаживать за его друзьями! Не удивляюсь, что эта миссис Гоуэн так относится к нам. Чего же и ждать, когда она потешается над нашими прошлыми несчастьями, потешается над ними в эту самую минуту.

— Отец… Эдуард… неправда! — взмолилась Крошка Доррит. — Ни мистер, ни миссис Гоуэн никогда не слыхали нашего имени. Им совершенно неизвестна наша история.

— Тем хуже, — возразила Фанни, решившись не принимать во внимание никаких смягчающих обстоятельств, — потому что в таком случае для тебя нет никакого извинения. Если бы они знали о нас, тебе бы еще могло прийти в голову попытаться задобрить их. Это была бы жалкая и смешная ошибка, но ошибку я могу простить, а сознательное и обдуманное желание унизить тех, которые должны быть всех ближе и дороже для тебя, — это непростительно. Нет, этого я не могу простить!

— Я никогда не оскорбляю тебя умышленно, Фанни, — сказала Крошка Доррит, — хотя ты так строго относишься ко мне.

— В таком случае нужно быть осмотрительнее, Эми, — ответила сестра. — Если ты делаешь подобные вещи необдуманно, то нужно быть осмотрительнее. Если бы я родилась в особом месте, при особых обстоятельствах, которые могли бы заглушить во мне чувство приличия, я бы, мне кажется, на каждом шагу спрашивала себя: не скомпрометирую ли я бессознательно

кого-нибудь из близких и дорогих родственников? Так бы, мне кажется, поступала я, если бы это случилось со мной.

Мистер Доррит нашел своевременным положить конец этому тяжелому инциденту и вместе с тем подчеркнуть его мораль своим авторитетным и мудрым словом.

— Душа моя, — сказал он младшей дочери, — прошу тебя… кха… ни слова более. Твоя сестра Фанни выражается резко, но в ее словах значительная доля правды. Ты должна стоять на высоте положения, которое… хм… занимаешь теперь. Ты занимаешь это высокое положение не одна, но вместе… кха… со мною и… кха… хм… со всеми нами… со всеми нами! А все, кто занимает высокое положение, в особенности же наше семейство — по причинам, о которых я… кха… не стану распространяться, — должны заботиться о том, чтобы их уважали… неусыпно заботиться о том, чтобы их уважали. Низшие будут уважать нас лишь в том случае, если мы… кха… будем держать их на почтительном расстоянии и… хм… относиться к ним свысока… свысока. Ввиду этого весьма важно, дабы не вызвать непочтительных замечаний со стороны прислуги, не подавать ей повода думать, что мы когда-либо… кха… обходи-

лись без ее услуг и исполняли их сами.

— Кто же может сомневаться в этом? — воскликнула мисс Фанни. — В этом вся суть.

— Фанни, — возразил отец торжественным тоном, — позволь мне говорить, душа моя. Перейду… кха… к мистеру Кленнэму. Скажу откровенно, Эми, что я не разделяю чувств твоей сестры к мистеру Кленнэму… то есть не разделяю их вполне… хм… вполне. На мой взгляд, он… кха… вообще порядочный человек… хм… порядочный человек. Не стану также утверждать, что мистер Кленнэм когда-нибудь втирался… кха… в мое общество. Он знал, что моего общества вообще… хм… искали… кха… и мог считать меня лицом общественным. Но некоторые обстоятельства моего… поверхностного знакомства с мистером Кленнэмом (оно было очень поверхностно) делают, — при этих словах он принял необыкновенно важный вид, — делают в высшей степени неделикатными всякие попытки со стороны мистера Кленнэма… кха… возобновлять знакомство со мной или с каким бы то ни было членом моей семьи при существующих обстоятельствах. Если бы у мистера Кленнэма хватило деликатности понять неприличие подобных попыток, я, как джентльмен, счел бы себя обязанным… кха…

уважать эту деликатность. Если же у мистера Кленнэма не хватает этой деликатности, я не желаю ни минуты… кха… поддерживать отношения с таким… хм… бестактным и грубым человеком. В том и другом случае мистер Кленнэм не имеет с нами ничего общего, и нам до него или ему до нас решительно нет дела… А… миссис Дженераль!

Появление этой леди к завтраку положило конец препирательствам. Вскоре затем проводник объявил, что камердинер, лакей, обе горничные, четыре погонщика и четырнадцать мулов готовы; при этом известии все встали и отправились на монастырский двор присоединиться к кавалькаде.

Мистер Гоуэн стоял в стороне с сигарой в зубах, но мистер Бландуа поспешил засвидетельствовать свое почтение дамам. Когда он галантно поднял свою широкополую шляпу перед Крошкой Доррит, ей показалось, что теперь эта смуглая фигура в плаще, резко выделявшаяся на снегу, имеет еще более зловещий вид, чем вчера при свете камина. Но так как ее отец и сестра отвечали на его поклон довольно благосклонно, то и она постаралась ничем не выразить своей антипатии, чтобы не навлечь на себя новых упреков в неумении отделаться от тюремного воспитания.

Но пока они спускались по крутой извилистой дороге в виду монастыря, она не раз оглядывалась и всякий раз видела фигуру Бландуа на фоне дыма, поднимавшегося из монастырских труб золотистыми клубами. Он стоял на одном месте и следил за ними. И долго еще, когда он превратился уже в черную точку на снегу, ей казалось, что она видит эту улыбку, этот ястребиный нос и эти глаза. Даже позднее, когда монастырь исчез из виду и легкие утренние облака заволокли горный проход, зловещие деревянные руки придорожных столбов, казалось, указывали на него.

Но по мере того как они спускались в более теплые области, Бландуа из Парижа — коварнее, холоднее и безжалостнее горных снегов — малопомалу исчез из ее памяти. Солнце снова стало пригревать, горные потоки, струившиеся из ледников и снежных пещер, так чудесно утоляли жажду; сосны, зеленеющие пригорки и лощины, деревянные шале и грубые изгороди Швейцарии снова замелькали перед путниками. Местами дорога так расширялась, что Крошка Доррит и ее отец могли ехать рядом. И ей так радостно было видеть его в дорогой шубе и щегольской одежде, богатого, свободного, окруженного многочисленными слугами, любующегося чудесным

ландшафтом, которого не загораживает от него мрачная стена с ее зловещей тенью!

Ее дядя настолько отделался от тени прошлого, что носил пальто, которое ему давали, умывался ради семейного достоинства и ехал, куда его везли, с каким-то пассивным животным удовольствием, показывавшим, по-видимому, что чистый воздух и перемена места идут ему на пользу. Во всех других отношениях за исключением одного он как будто не имел собственного света, а заимствовал его от брата. Величие, богатство, свобода, пышность брата радовали его без всякого отношения к себе самому. Молчаливый и застенчивый, он не чувствовал потребности говорить, когда мог слышать брата, не нуждался в слугах, раз слуги ухаживали за братом. В нем можно было заметить только одну перемену — в отношениях к младшей племяннице. С каждым днем он относился к ней все с большей и большей почтительностью, весьма редкой в отношениях старших к младшим и особенно трогательной по своему такту. Всякий раз, когда мисс Фанни объявляла «раз навсегда», он пользовался каждым удобным случаем обнажить свою седую голову перед младшей племянницей, или помочь ей сойти с лестницы, или посадить в экипаж, или

чем-нибудь другим выразить свое внимание, всегда с глубокой почтительностью. Но никогда она не казалась неуместной или вынужденной — напротив, всегда отличалась сердечной простотой и непринужденностью. Никогда он не соглашался, даже по приглашению брата, сесть прежде нее или вообще не оказать ей преимущества. Он так ревниво следил за тем, чтобы и другие оказывали ей почтение, что не далее как при описанном выше отъезде из монастыря страшно рассердился на лакея, который не поддержал ей стремени, хотя стоял подле ее мула, и несказанно изумил всю компанию, направив на него своего упрямого мула, загнав в угол и угрожая раздавить насмерть.

Они представляли собой группу, внушавшую почтение, и содержатели гостиниц чуть ли не молились на них. Куда бы они ни приезжали, всюду их предупреждала слава об их важности в лице проводника, который отправлялся вперед нанять и приготовить лучшее помещение. Он служил герольдом семейной процессии. За ним следовала большая карета, в которой помещались: внутри — мистер Доррит, мисс Фанни Доррит, мисс Эми Доррит, миссис Дженераль; снаружи — несколько служителей и (в хорошую погоду)

Эдуард Доррит, эсквайр, для которого оставлялось место на козлах. За каретой следовала коляска с Фредериком Дорритом, эсквайром, и свободным местом для Эдуарда Доррита, эсквайра, на случай дурной погоды. Последним тащился фургон с прислугой, тяжелым багажом и всей той пылью и грязью, которые доставались ему от передовых экипажей.

Все эти экипажи украшали собой двор отеля в Мартиньи при возвращении семейства из экскурсии в горы. Много тут было и других экипажей, начиная с заплатанной итальянской веттуры [58], напоминавшей ящик от качелей с английской ярмарки, поставленный на деревянный поднос на колесах и накрытый другим деревянным подносом без колес, до шикарной английской коляски. Но в отеле оказалось и другое украшение, которого мистер Доррит вовсе не требовал: двое иностранцев-туристов в одной из его комнат.

Хозяин, стоя на дворе, без шляпы, уверял проводника что он вне себя от огорчения, что он в отчаянии, что он несчастнейшая и злополучнейшая тварь, что у него деревянная башка. Он ни за что бы не согласился, но знатная леди так

---

[58] Сноски: 58
В пер. с *итал.* — карета, повозка.

умоляла его уступить ей эту комнату только для обеда на полчаса, что у него не хватило духу отказать. Полчаса уже прошло, леди и джентльмен кушают десерт и кофе, по счету уплачено, лошади поданы, им бы уже следовало уехать, но такое уж его несчастье: видно, Небо решило покарать его, — они до сих пор не уехали.

Невозможно себе представить негодование мистера Доррита, когда он услышал эти оправдания. Семейная честь была поражена в самое сердце кинжалом убийцы. Чувство собственного достоинства у мистера Доррита было необыкновенно щекотливо. Он способен был видеть злой умысел против него там, где другой не подозревал бы и возможности оскорбления, ибо жизнь превратилась в пытку по милости бесчисленных тончайших скальпелей, которые, как ему казалось, ежесекундно крошили на куски его достоинство.

— Как, сэр! — воскликнул мистер Доррит, побагровев. — Вы… кха… у вас хватило наглости поместить в моей комнате посторонних!

Тысяча извинений! Хозяин страшно огорчен, что согласился на просьбу благородной леди. Он умоляет монсиньора не гневаться. Он униженно просит монсиньора о снисхождении. Если

монсиньор соблаговолит занять другой салон, специально оставленный для него, все будет улажено через пять минут.

— Нет, сэр! — закричал мистер Доррит. — Я не займу никакого салона. Я не стану ни есть, ни пить в вашем доме; нога моя не ступит туда! Как вы смеете делать такие вещи? Кто я такой, что вы… кха… выделяете меня среди остальных джентльменов?

Увы! Хозяин призывает Вселенную в свидетели того, что монсиньор — самый великодушный из всей знати, самый милостивый, самый почтенный, самый достойный. Если он выделяет монсиньора среди остальных, то лишь тем, что считает его более благородным, более уважаемым, более великодушным, более знаменитым.

— Слышать не хочу, сэр, — возразил мистер Доррит в бешенстве. — Вы отнеслись ко мне с неуважением! Вы оскорбили меня! Как вы смеете? Объяснитесь!

О праведное небо, как же он может объясниться, когда ему нечего больше объяснять и остается просить извинения, положившись на всем известное великодушие монсиньора!

— Говорят вам, сэр, — сказал мистер Доррит, задыхаясь от гнева, — что вы выделяете меня…

кха… среди остальных джентльменов, что вы делаете различие между мной и другими богатыми и высокопоставленными джентльменами. Спрашиваю вас: почему? На каком… кха… на каком основании? Отвечайте, сэр! Объяснитесь! Говорите: почему?

— Позвольте мне смиренно разъяснить господину проводнику, что монсиньор, обыкновенно такой милостивый, напрасно гневается. Тут нет никакой причины. Господин проводник будет добр доложить монсиньору, что тот ошибается, подозревая здесь какие-либо причины, кроме той, на которую уже имел честь указать его покорный слуга. Знатная леди…

— Молчать! — крикнул мистер Доррит. — Придержите свой язык. Слышать не хочу о знатной леди; слышать не хочу о вас. Взгляните на это семейство, мое семейство, семейство познатнее всех ваших леди. Вы отнеслись к этому семейству непочтительно; вы были нахальны с этим семейством. Я вас уничтожу. Эй!.. Запрягать, укладываться, нога моя не ступит больше в дом этого человека!

Никто не вмешивался в этот спор, превышавший познания во французском разговорном языке Эдуарда Доррита, эсквайра, а может, и обе-

их молодых леди. Как бы то ни было, мисс Фанни сочла долгом поддержать отца, с горечью заявив на родном языке, что наглость хозяина, очевидно, имеет другую подкладку и что его следовало бы так или иначе принудить к ответу: как он осмелился делать различие между их семьей и другими богатыми семействами. Какие он имел основания для своего дерзкого поступка, она не знает, но основания, очевидно, были, и надо добиться, чтобы он разъяснил их.

Все проводники, погонщики, зеваки, толпившиеся на дворе, собрались вокруг спорящих и были очень поражены, когда проводник семейства Доррит распорядился выкатывать экипажи из сараев. Благодаря добровольным помощникам, налипшим по дюжине на каждое колесо, это было сделано очень скоро среди страшного шума; затем приступили к погрузке в ожидании лошадей с почтовой станции.

Но, видя, что английская коляска знатной леди стоит у подъезда запряженная, хозяин побежал к ней просить помощи в его критическом положении. Это заметили на дворе, потому что хозяин появился на крыльце в сопровождении джентльмена и леди, указывая на оскорбленное величие мистера Доррита выразительным жестом.

— Прошу прощения, — сказал джентльмен, выходя вперед. — Я не мастер говорить и объясняться, но вот эта леди ужасно беспокоится, чтоб не было ссоры. Леди — то есть моя мать, говоря попросту, — просит меня передать, что она надеется, что не будет ссоры.

Мистер Доррит, все еще задыхавшийся от негодования, поклонился джентльмену и леди с самым холодным, сухим и неприступным видом.

— Нет, право же, послушайте, дружище, вы! — воскликнул джентльмен, обращаясь к Эдуарду Дорриту, эсквайру, и уцепившись за него как за якорь спасения. — Давайте попытаемся уладить это дело. Леди ужасно желает, чтоб без ссоры.

Эдуард Доррит, эсквайр, отведенный в сторонку за пуговицу, ответил с дипломатическим выражением на лице:

— Сознайтесь, однако, что, раз вы наняли для себя помещение и оно принадлежит вам, для вас неприятно будет найти в нем посторонних.

— Да, — ответил тот, — я знаю, что это неприятно. Я согласен. Но все-таки попробуем уладить дело без ссоры. Этот малый не виноват: все моя мать. Она замечательная женщина, без всяких этаких благоглупостей, ну и хорошего воспитания… где же ему устоять. Она его живо оседлала!

— Если так… — начал Эдуард Доррит, эсквайр.

— Ей-богу, так! Значит, — ответил джентльмен, возвращаясь к своему главному пункту, — к чему же тут ссоры?

— Эдмунд, надеюсь, ты объяснил или объясняешь, что любезный хозяин не так виноват перед этим господином и его семейством, как им кажется? — спросила леди с крыльца.

— Объясняю, просто из кожи лезу вон, чтобы объяснить, — ответил Эдмунд и, устремив пронзительный взгляд на Эдуарда Доррита, эсквайра, вдруг прибавил в порыве доверия: — Голубчик, значит, все в порядке?

— В конце концов, — сказала леди, приближаясь с любезным видом к мистеру Дорриту, — кажется, лучше будет мне самой объяснить, что я обещала этому доброму человеку взять на себя всю ответственность за вторжение в чужую квартиру. Решившись занять комнату на самое короткое время, только чтобы пообедать, я не думала, что законный владелец вернется так скоро, и не знала, что он уже вернулся, иначе поспешила бы освободить комнату и лично принести мои извинения и объяснения. Говоря это, я надеюсь…

Леди внезапно умолкла и остолбенела, случайно наведя лорнет на обеих мисс Доррит. В

то же мгновение мисс Фанни, находившаяся на переднем плане живописной группы, состоявшей из семейства Доррит, семейных экипажей и прислуги, крепко схватила за руку сестру, чтобы удержать на месте, а другой рукой принялась обмахиваться веером с самым аристократическим видом, небрежно осматривая леди с ног до головы.

Леди, быстро оправившись — это была миссис Мердль, которая не так-то легко терялась, — продолжила свое объяснение. Она надеется, что ее извинения будут приняты и почтенному хозяину возвращена милость, которую он так высоко ценит. Мистер Доррит, на алтаре величия которого курился этот фимиам, ответил очень любезно, что он велит своим людям… кха… отпрячь лошадей и не будет в претензии за то, что… хм… принял сначала за оскорбление, теперь же считает за честь. После этого бюст склонился перед ним, а его обладательница с удивительным присутствием духа послала очаровательную улыбку обеим сестрам как богатым молодым леди, которые внушали ей искреннюю симпатию и с которыми она ни разу еще не имела удовольствия встречаться.

Не то было с мистером Спарклером. Этот джентльмен, застывший на месте в одно время с

леди, своей матерью, решительно не мог вернуть себе способность к движению и стоял, вытаращив глаза на семейную группу с мисс Фанни на переднем плане. На слова своей матери: «Эдмунд, теперь мы можем ехать, дай мне твою руку!» — он пошевелил губами, точно хотел ответить одним из тех замечаний, в которых обнаруживались его блестящие таланты, но язык не повиновался ему. Он так окаменел, что вряд ли бы удалось согнуть его настолько, чтобы втиснуть в каретную дверцу, если бы материнская рука не оказала своевременной помощи изнутри. Лишь только он скрылся за дверью, клапан маленького окошечка позади кареты исчез, а на его месте появился глаз мистера Спарклера. Тут он и оставался, пока можно было его видеть (а вероятно, и дольше), глядя на всех с выражением изумленной трески.

Эта встреча была так приятна для мисс Фанни, что значительно смягчила ее суровость. Когда на другой день процессия снова двинулась в путь, она заняла свое место в самом веселом настроении духа и проявила столько игривого остроумия, что миссис Дженераль была очень изумлена.

Крошка Доррит была рада, что за ней не оказалось новых грехов и что Фанни довольна, но, как всегда, была задумчива и спокойна. Сидя против

отца в карете, она вспоминала старую келью в Маршалси, и теперешнее существование казалось ей каким-то сном. Все, что она видела вокруг себя, было ново и удивительно, но нереально; ей казалось, что эти призраки гор и живописных ландшафтов могут исчезнуть каждую минуту и карета, свернув за угол, подъедет к старым воротам Маршалси. Ей странно было не иметь работы, но еще более странно сидеть в уголке, причем не требовалось думать о ком-нибудь, хлопотать и устраивать, заботиться о других. И еще более странно было сознавать, что расстояние между ней и отцом увеличилось с тех пор, как другие заботились о нем и он не нуждался в ее попечениях. Сначала это было так ново и непохоже на все прежнее, что она не могла подчиниться новым отношениям и пыталась удержать за собой свое прежнее место подле него. Но он поговорил с ней наедине и объяснил, что люди… кха… люди, занимающие высокое положение, душа моя, должны не подавать никакого повода низшим к непочтительному отношению и что именно ввиду этого ей, дочери, мисс Эми Доррит, отпрыску последней ветви Дорритов из Дорсетшира, не подобает… хм… заниматься исполнением обязанностей… кха… хм… лакея. Поэтому он… кха…

обращается к ней с отеческим увещанием, приглашая ее помнить, что она леди и должна вести себя… хм… с подобающей этому званию гордостью, и следовательно, просит ее воздержаться от поступков, которые могут подать повод… кха… к непочтительным и насмешливым замечаниям.

Она безропотно подчинилась. Так и вышло, что она сидела теперь в уголке роскошной кареты, сложив на груди терпеливые руки, совершенно выбитая с последнего пункта своей старой жизненной позиции, на котором думала кое-как удержаться.

С этой именно позиции все казалось ей нереальным, и чем поразительнее были сцены, тем более гармонировали они с ее фантастической внутренней жизнью. Ущелья Симплона, чудовищные пропасти и гремящие водопады, чудесная дорога, опасные крутые повороты, где скользнувшее колесо или оступившаяся лошадь грозили гибелью, спуск в Италию, волшебная панорама этой страны, неожиданно открывшаяся перед их глазами, когда скалистое ущелье раздвинулось и выпустило их из мрачной темницы, — все это был сон. Только унылая старая Маршалси оставалась действительностью. Нет, даже унылая старая Маршалси разрушалась до основания, когда она

пыталась представить ее себе без отца. Ей трудно было поверить, что арестанты до сих пор бродят по тесному двору, что жалкие комнатки до сих пор заняты постояльцами и тюремщик до сих пор сидит в сторожке, впуская и выпуская посетителей, — совершенно так, как было раньше.

Воспоминание о прежней тюремной жизни отца, как неотвязный напев жалобной мелодии, не оставляло ее и в те минуты, когда она пробуждалась от снов прошлого к снам ее настоящей жизни, — пробуждалась в какой-нибудь расписной комнате, часто парадном зале разрушающегося дворца с красными осенними виноградными листьями, свешивавшимися над окном, с апельсиновыми деревьями на потрескавшейся белой террасе, с группами монахов и прохожих на улице внизу, с нищетой и пышностью, так странно переплетавшимися на каждом клочке земного пространства, и вечной борьбой между ними, и вечной победой нищеты над пышностью. Затем следовал лабиринт пустынных коридоров и галерей с колоннами, семейная процессия, собиравшаяся на четырехугольном дворе внизу, экипажи и укладка багажа для предстоящего отъезда. Затем завтрак в другом расписном зале с подернутыми плесенью стенами, наводя-

щим уныние своими колоссальными размерами, затем отъезд — самая неприятная минута для нее, застенчивой и не чувствовавшей в себе достаточно важности для своего места в церемонии. Прежде всего являлся проводник (который сам сошел бы за знатного иностранца в Маршалси) с известием, что все готово; за ним — камердинер отца, с тем чтобы торжественно облачить своего барина в дорожный плащ; за ним — горничная Фанни, ее горничная (вечная тяжесть на душе Крошки Доррит, из-за которой она даже плакала в первое время, так как решительно не знала, что с ней делать) и слуга ее брата; затем ее отец предлагал руку миссис Дженераль, а дядя — ей самой, и в сопровождении хозяина и служителей гостиницы они спускались с лестницы. Собравшаяся на дворе толпа смотрела, как они усаживались в экипажи среди поклонов, просьб, хлопания кнутов, топота и гама, и, наконец, лошади бешено мчали их по узким зловонным улицам и выносили за городские ворота.

Грезы сменялись грезами: дороги, усаженные деревьями, обвитыми ярко-красными гирляндами виноградных листьев, рощи олив; белые деревушки и городки на склонах холмов, миловидные снаружи, но страшные внутри своей

грязью и нищетой; кресты вдоль дороги; глубокие синие озера и на них волшебные островки и лодки с разноцветными тентами и красивыми парусами; громады разрушающихся в прах зданий, висячие сады, где растения впивались в каменные стены и своды, разрушая их своими корнями; каменные террасы, населенные ящерицами, выскакивавшими из каждой щелки; всевозможные нищие повсюду — жалкие, живописные, голодные, веселые, — нищие дети, нищие старики. Часто у почтовых станций и в других местах остановок эти жалкие создания казались ей единственными реальными явлениями из всего, что она видела; и нередко, раздав все свои деньги, она задумчиво смотрела на крошечную девочку, которая вела за руку седого отца, как будто это зрелище напоминало ей что-то знакомое из прошлых дней.

Иногда они останавливались на неделю в великолепных палатах, каждый день устраивали пиры, осматривали всевозможные диковины, бродили по бесконечным анфиладам дворцов, стояли в темных углах громадных церквей, где золотые и серебряные лампады мерцали среди колонн и арок; где толпы молящихся преклоняли колени у исповедален; где расходились

волны голубого дыма от кадильниц и пахло ладаном; где в слабом мягком свете, проникавшем сквозь цветные стекла и массивные драпировки, неясно обрисовывались картины, фантастические образа, роскошные алтари, грандиозные перспективы. Эти города сменялись дорогами с виноградом и оливами, жалкими деревушками, где не было ни одной лачуги без трещин в стенах, ни одного окна с цельным стеклом; где, по-видимому, нечем было поддерживать жизнь, нечего есть, нечего делать, нечему расти, не на что надеяться; где оставалось только умирать.

Снова попадались целые города дворцов, владельцы которых были изгнаны, а сами дворцы превращены в казармы; группы праздных солдат виднелись в великолепных окнах, солдатское платье и белье сушилось на мраморных балконах; казалось, полчища крыс подтачивают (к счастью) основание зданий, укрывающих их, и скоро они рухнут и погребут под собой эти полчища солдат, полчища попов, полчища шпионов — все отвратительное население, кишащее на улицах.

Среди таких сцен семейная процессия двигалась в Венецию. Здесь она на время рассеялась, так как собиралась пробыть в Венеции несколько

месяцев во дворце (вшестеро превосходившем размерами Маршалси) на Гранд-канале.

В этом фантастическом городе, венце ее грез, где улицы вымощены водой и мертвая тишина днем и ночью нарушается только мягким звоном колоколов, ропотом воды и криками гондольеров на поворотах струящихся улиц, Крошка Доррит могла предаваться своим думам.

Семья веселилась, разъезжала по городу, превращала ночь в день, но Крошка Доррит была слишком робка, чтобы принимать участие в их развлечениях, и только просила оставить ее в покое.

Иногда она садилась в одну из гондол, которые всегда стояли возле их дома, принизанные к раскрашенным столбикам, — это случалось лишь в тех случаях, когда ей удавалось отделаться от несносной горничной, превратившейся в ее госпожу, и притом очень требовательную, — и каталась по этому странному городу. Встречная публика в других гондолах спрашивала друг у друга, кто эта одинокая девушка, сидящая в своей лодке, скрестив руки на груди, с таким задумчивым и недоумевающим видом. Но Крошка Доррит, которой и в голову не приходило, что кто-нибудь может обратить внимание на нее

или ее поступки, продолжала кататься по городу, такая же тихая, запуганная и потерянная.

Но больше всего она любила сидеть на балконе своей комнаты над каналом. Балкон был построен из массивного камня, потемневшего от времени, — дикая восточная фантазия в этом городе — собрании диких фантазий. Крошка Доррит действительно казалась крошкой, когда стояла на нем, опираясь на широкие перила. Здесь она проводила почти все вечера и скоро стала обращать на себя внимание: проезжавшие в гондолах часто поглядывали на нее, говоря: «Вот молоденькая англичанка, которая всегда одна».

Но для молоденькой англичанки эти люди не были реальными существами: она их даже не замечала, — наблюдая за солнечным закатом, за его длинными золотыми и багряными лучами и пылающим ореолом, озарявшим городские здания таким ослепительным блеском, что их массивные стены точно светились изнутри и казались прозрачными. Она следила за угасанием этого ореола, а затем, поглядев на черные гондолы, развозившие гостей на музыку и танцы, поднимала взор к сияющим звездам. И ей вспоминалась ее собственная прогулка под теми же звездами. Как странно было думать теперь о тех

старых воротах!

Она думала о старых воротах, вспоминая, как сидела в уголке, прижавшись к ним вместе с Мэгги, положившей голову к ней на колени; думала и о других местах и картинах, связанных с прошлым. Потом наклонялась над балконом и смотрела на темные воды, как будто видела в них все это, и задумчиво прислушивалась к ропоту волн, точно ожидая, что вода вся утечет и ей откроется на дне канала тюрьма, и она сама, и старая комната, и старые жильцы, и старые посетители — вся та действительность, которая и до сих пор казалась ей единственной, неизменной действительностью.

Глава IV. Письмо Крошки Доррит

«Дорогой мистер Кленнэм! Пишу вам из своей комнаты в Венеции, думая, что вам будет приятно получить весть обо мне. Но во всяком случае, вам не так приятно будет получить письмо, как мне писать его: вас окружает все, к чему вы привыкли, — пожалуй, кроме меня, которую вы видели так редко, что мое отсутствие не может быть особенно заметным для вас, тогда как в моей теперешней жизни все так ново, так странно и мне так многого не хватает.

Когда мы были в Швейцарии, — мне кажется, с тех пор прошло уже бог знает сколько лет, хотя на самом деле это было всего несколько недель назад, — я встретилась с молодой миссис Гоуэн на экскурсии в горы. Она сказала мне, что чувствует себя вполне здоровой и счастливой, просила меня передать вам, что благодарит вас от души и никогда не забудет. Она отнеслась ко мне очень дружелюбно, и я полюбила ее с первого взгляда. Но в этом нет ничего удивительного: как не полюбить такое прелестное и очаровательное создание? Не удивляюсь, что и другие ее любят. Ничуть не удивляюсь.

Надеюсь, вы не будете слишком беспокоиться за миссис Гоуэн — я помню, вы говорили, что принимаете в ней самое дружеское участие, — если я скажу, что ее муж кажется мне не совсем подходящим для нее. По-видимому, мистер Гоуэн влюблен в нее, а она, без сомнения, влюблена в него, но мне кажется, он недостаточно серьезный человек — не в этом отношении, нет, а вообще. Мне невольно пришло в голову, что если бы я была миссис Гоуэн (какая невероятная перемена и как бы мне пришлось измениться, чтобы походить на нее), то чувствовала бы себя одинокой и покинутой, чувствовала бы, что рядом со мной нет твердого и надежного человека. Мне показалось даже, что и она чувствует это, сама того не сознавая. Но не огорчайтесь чересчур, потому что она вполне здорова и очень счастлива. И какая красавица!

Я надеюсь встретиться с ней опять и скоро — даже рассчитывала увидеть ее на днях. Я постараюсь быть ей верным другом, ради вас. Дорогой мистер Кленнэм, вы, верно, не придаете значения тому, что были для меня другом, когда других друзей у меня не было (да и теперь нет, я не приобрела новых друзей), но для меня это очень, очень много значит, и я никогда этого не забуду.

Хотелось бы мне знать (но лучше, если никто не будет писать мне), хорошо ли идет дело мистера и миссис Плорниш, которое устроил им мой дорогой отец, с ними ли дедушка Нэнди, счастлив ли он и распевает ли свои песенки. Я едва удерживаюсь от слез, когда вспоминаю о моей бедной Мэгги и думаю, какой одинокой она должна себя чувствовать без своей маленькой мамы, хотя бы все относились к ней ласково. Будьте добры, сходите к ней и передайте под строгим секретом, что я люблю ее и жалею о нашей разлуке не меньше, чем она сама. Скажите им всем, что я вспоминаю о них каждый день и что мое сердце всегда неизменно с ними; о, если бы вы знали, как неизменно, то пожалели бы меня за то, что я так далеко и стала такой важной.

Вам, конечно, будет приятно услышать, что мой дорогой отец здоров, что перемена очень благоприятно отразилась на нем и что он теперь совсем не такой, каким вы его знали. Дядя, как мне кажется, тоже очень поправился, хотя не жаловался прежде и не радуется теперь. Фанни очень мила, жива и остроумна. Она рождена быть леди: удивительно легко освоилась с новым положением. Мне это не дается и, кажется, никогда не дастся. Я неспособна чему-нибудь научиться.

Миссис Дженераль всегда с нами, мы говорим с ней по-французски и по-итальянски, и вообще она очень заботится о нашем образовании. Я сказала: мы говорим по-французски и по-итальянски, — но собственно, говорят они; я так глупа, что вряд ли выучусь. Когда я начинаю думать, соображать, рассчитывать, все мои мысли, соображения, расчеты обращаются к прошлому, я снова погружаюсь в заботы о сегодняшнем дне, о моем дорогом отце, о моей работе и вдруг вспоминаю, что никаких забот у меня теперь нет. И это кажется мне настолько странным и невероятным, что я снова задумываюсь о том же. У меня не хватило бы духу признаться в этом никому, кроме вас.

То же самое со всеми этими новыми странами и чудными видами. Они прекрасны и поражают меня, но я недостаточно сосредоточена, недостаточно освоилась сама с собой — не знаю, поймете ли вы меня, — чтобы наслаждаться всем этим. Все, что я видела и испытывала раньше, так странно переплетается с этими новыми впечатлениями. Например, когда мы были в горах, мне нередко чудилось (я стыжусь писать о таком ребячестве даже вам, дорогой мистер Кленнэм), что за какой-нибудь громадной скалой окажется

Маршалси или за снежной вершиной — комната миссис Кленнэм, где я работала столько времени и где впервые увидела вас. Помните тот вечер, когда мы с Мэгги явились к вам в Ковент-Гарден? Сколько раз мне казалось, что я вижу перед собой эту комнату, когда я смотрела из окна кареты после наступления темноты. В тот вечер мы не попали в тюрьму, так что нам пришлось до самого утра бродить по улицам и сидеть у ворот. Часто, глядя на звезды с балкона здесь, в Венеции, я воображаю себя на улице с Мэгги. То же самое и с другими, кого я оставила на родине.

Катаясь на лодке, я ловлю себя на том, что заглядываю в другие гондолы, точно ищу там знакомые лица. Я бы ужасно обрадовалась, увидев их, но вряд ли бы удивилась — по крайней мере, в первую минуту. По временам — в самые фантастические минуты — мне кажется, что они могут встретиться везде, и я почти ожидаю увидеть их милые лица на мостах или набережных.

Есть у меня другая забота, которая покажется вам очень странной. Она должна показаться странной всякому, кроме меня, и даже мне самой: я часто испытываю прежнюю болезненную жалость к… вы знаете, о ком я говорю… к нему. Хотя он сильно изменился и хотя я невыразимо

благодарна за эту перемену, но прежнее мучительное чувство сострадания охватывает меня подчас с такой силой, что мне хочется обнять его, сказать, как я люблю его, и плакать на его груди. Это облегчило бы меня, и я была бы снова горда и счастлива. Но я знаю, что этого нельзя делать, что он будет недоволен, Фанни рассердится, а миссис Дженераль удивится, и потому сдерживаюсь. А вместе с тем у меня является чувство, которого я не в силах побороть, будто я удаляюсь от него, и он среди всех своих слуг и помощников чувствует себя покинутым и нуждается во мне.

Дорогой мистер Кленнэм, я и без того много написала о себе, но прибавлю еще несколько слов, так как иначе в этом письме не будет упомянуто именно о том, о чем я всего более желала написать. Среди всех этих ребяческих мыслей, в которых я так смело призналась вам, так как знаю, что вы меня поймете скорее, чем кто-либо, и отнесетесь ко мне снисходительнее, чем кто-либо, есть одна, которая никогда не оставляет меня: это надежда, что иногда, в спокойные минуты, вы вспоминаете обо мне… Сознаюсь вам, что с самого отъезда меня томит беспокойство по этому поводу — беспокойство, от которого мне хотелось бы избавиться. Я боюсь, вы думаете, что

я переменилась, стала другая. Не думайте этого, вы не можете себе представить, как огорчит меня такое предположение; я просто не вынесу его. Вы разобьете мне сердце, если будете считать меня другой, если будете думать, что я отношусь к вам иначе, чем прежде, когда вы были так добры ко мне. Прошу и умоляю вас не думать обо мне как о дочери богатого человека, забыть о том, что я лучше одеваюсь и живу в лучшей обстановке, чем при нашем первом знакомстве. Пусть я останусь для вас бедной девушкой, которой вы покровительствовали с таким нежным участием, чье поношенное платье защищали от дождя, чьи мокрые ноги сушили у своего огня. Вспоминайте обо мне (если будете вспоминать) как о вашем бедном, неизменно преданном и благодарном ребенке — Крошке Доррит.

P. S. Помните в особенности, что вам не нужно беспокоиться о миссис Гоуэн. Это ее собственные слова: «Вполне здорова и очень счастлива». И какая она красавица!»

Глава V. Где-то что-то не клеится

Семья провела в Венеции месяц или два, когда мистер Доррит, вращавшийся в обществе графов и маркизов и не имевший ни одной свободной минутки, решился уделить часок для совещания с миссис Дженераль.

Когда наступило время, назначенное для этого совещания, он направил мистера Тинклера, своего камердинера, в апартаменты миссис Дженераль (равные по размерам доброй трети Маршалси) засвидетельствовать этой леди его почтение и передать его покорнейшую просьбу удостоить его аудиенции. Это происходило утром, когда члены семейства пили кофе по своим комнатам, незадолго до завтрака, который подавался в полинявшем зале, когда-то роскошном, теперь же ставшем добычей сырости и вечной меланхолии. Миссис Дженераль была у себя. Камердинер застал ее в кресле, на маленьком квадратном ковре, таком миниатюрном по сравнению с гигантской площадью мраморного пола, точно она разостлала его для примерки новых башмаков или точно это был ковер-самолет, купленный за сорок кошельков с золотыми принцем из «Тыся-

чи и одной ночи» и случайно попавший к миссис Дженераль, только что прилетевшей на нем в эту палату.

Миссис Дженераль, поставив на стол пустую чашку, сказала послу, что она сейчас же отправится к мистеру Дорриту и избавит его от беспокойства приходить к ней (как он предложил по своей любезности). Посол распахнул двери и проводил миссис Дженераль на аудиенцию.

Надо было совершить целое путешествие по таинственным лестницам и коридорам, чтобы добраться из ее комнаты — довольно темной благодаря узкому переулку с низеньким мрачным мостом и противоположным зданиям в виде башен с бесчисленными пятнами и подтеками на стенах, точно они целые столетия проливали свои ржавые слезы в Адриатику, — до комнаты мистера Доррита, со множеством окон, которых хватило бы на целый фасад английского дома. Из комнаты открывался прекрасный вид на купола и шпили церквей, которые, казалось, подымались в голубое небо прямо из воды, отражавшей их очертания; в окна доносилось тихое журчание Гранд-канала, омывавшего подъезд, где гондольеры со своими гондолами стояли наготове, к услугам знатного путешественника.

Мистер Доррит, в роскошном халате и ермолке (из куколки, так долго таившейся в Маршалси, появилась великолепная бабочка), поднялся навстречу миссис Дженераль.

— Кресло миссис Дженераль! Кресло, говорят вам, что вы делаете? О чем вы думаете? Что это значит? Теперь ступайте!

— Миссис Дженераль, — сказал мистер Доррит, — я взял на себя смелость…

— Ничуть, — возразила миссис Дженераль. — Я к вашим услугам. Я кончила пить кофе.

— Я взял на себя смелость, — повторил мистер Доррит с великолепным благодушием человека, который не обращает внимания на мелкие поправки, — обратиться к вам с просьбой уделить мне несколько минут для конфиденциальной беседы. Меня несколько беспокоит моя… кха… моя младшая дочь. Быть может, вы обратили внимание, сударыня, на огромную разницу в характере моих двух дочерей?

Миссис Дженераль, скрестив свои руки в перчатках (она всегда была в перчатках, и никогда на них не было заметно ни единой складки), ответила:

— Между ними огромная разница.

— Могу я спросить, как вы определяете ее? —

спросил мистер Доррит с прежней почтительностью, не лишенной ясного величия.

— Фанни, — ответила миссис Дженераль, — обладает силой характера и самостоятельностью. Эми — нет.

«Нет? О миссис Дженераль, спросите у камней и решеток Маршалси! Спросите у портнихи, которая обучала ее шитью, и у балетмейстера, который обучал ее сестру танцам. О миссис Дженераль, миссис Дженераль, спросите у меня, ее отца, чем я обязан ей, и выслушайте из моих уст историю жизни этого хрупкого маленького существа с первых дней ее детства!»

Мистеру Дорриту и в голову не пришло разразиться такой тирадой. Он посмотрел на миссис Дженераль, восседавшую в окаменелой позе на колеснице приличий, и глубокомысленно заметил:

— Это правда, сударыня.

— Заметьте, — продолжила миссис Дженераль, — я не хочу сказать, что характер Фанни не нуждается в исправлении. Но в ней есть материал, быть может, даже слишком много материала…

— Будьте любезны, сударыня, — сказал мистер Доррит, — потрудитесь… кха… объяснить вашу

мысль. Я не совсем понимаю, как это в моей старшей дочери слишком много материала. Какого материала?

— Фанни высказывает слишком много собственных мнений. Безукоризненное воспитание не допускает высказывания собственных мнений и исключает всякую демонстративность.

Чтобы не обнаружить недостатка безукоризненного воспитания, мистер Доррит поспешил ответить:

— Бесспорно, сударыня, вы правы.

Миссис Дженераль возразила своим бесстрастным и безжизненным тоном:

— Я так полагаю.

— Но вам известно, сударыня, — сказал мистер Доррит, — что мои дочери имели несчастье лишиться своей горько оплакиваемой матери в раннем детстве и с тех пор жили со мной; что я, утвержденный в правах наследства лишь недавно, вел раньше… кха… уединенное существование сравнительно бедного, хотя и гордого джентльмена.

— Я не упускаю из виду этого обстоятельства, — сказала миссис Дженераль.

— Сударыня, — продолжил мистер Доррит, — насчет моей дочери Фанни, пользующейся таким

руководством, видящей перед собой такой пример… — Миссис Дженераль закрыла глаза — …я не питаю никаких опасений. Фанни умеет приспособляться к обстоятельствам. Но моя младшая дочь, миссис Дженераль, смущает и тревожит меня. Должен заметить, что она всегда была моей любимицей.

— Нет никакого основания, — заметила миссис Дженераль, — для таких пристрастий.

— Кха… никакого, — согласился мистер Доррит, — никакого. Теперь, сударыня, я с огорчением замечаю, что Эми, если можно так выразиться, не из нашего круга, она стоит особняком от нас. Она не любит ездить с нами, теряется в обществе наших гостей; наши вкусы, очевидно, не ее вкусы. Иными словами, — заключил мистер Доррит с истинно судейской важностью, — в характере… кха… Эми чего-то не хватает.

— Нельзя ли допустить, — сказала миссис Дженераль, прибегая к своей кисточке с лаком, — что это объясняется новизной ее положения?

— Извините, сударыня, — заметил мистер Доррит с живостью, — для дочери джентльмена, хотя бы… кха… сравнительно небогатого… сравнительно… и хотя бы воспитанной… хм… в уединении, наше положение не может казаться

совершенно новым.

— Вы правы, — сказала миссис Дженераль.

— Итак, сударыня, — продолжил мистер Доррит, — я взял на себя смелость… — Он помолчал и повторил с некоторым пафосом, как будто хотел заметить вежливо, но твердо, что не допускает возражений в этом отношении: — Я взял на себя смелость побеседовать с вами лично, дабы обсудить этот вопрос и просить вашего совета.

— Мистер Доррит, — ответила миссис Дженераль, — со времени нашего приезда сюда я не раз беседовала с Эми об умении держать себя вообще. Она заметила, между прочим, что Венеция поражает ее. Я возразила ей, что лучше было бы не поражаться, и указала, что знаменитый мистер Юстес [59], признанный авторитет среди туристов, невысокого мнения об этом городе, и, сравнивая Риальто с Вестминстерским и Блэкфрайерским мостами, высказывается решительно не в пользу первого. Считаю излишним прибавлять после всего сказанного вами, что мои аргументы до сих пор не произвели желательного действия. Вы делаете мне честь, спрашивая моего совета. Мне всегда казалось (если это не основательное

---

[59] Сноски: 59

Автор современного Диккенсу путеводителя по Италии.

мнение, то, надеюсь, оно не будет поставлено мне в вину), что мистер Доррит привык оказывать влияние на умы окружающих.

— Хм… сударыня, — сказал мистер Доррит, — я стоял во главе… кха… большого общества. Вы не ошиблись, предположив, что я привык занимать… влиятельное положение.

— Я рада, — ответила миссис Дженераль, — что мое предположение подтвердилось. Тем с большей уверенностью я могу рекомендовать следующее: пусть мистер Доррит сам объяснится с Эми и выскажет ей свои замечания и пожелания. Как его любимица, которая, без сомнения, отвечает ему такой же любовью, она тем легче подчинится его влиянию.

— Я предвидел этот совет, сударыня, — сказал мистер Доррит, — но сомневался… кха… могу ли я… хм… вмешиваться…

— В мою область, мистер Доррит? — сказала миссис Дженераль с любезной улыбкой. — Пожалуйста, не стесняйтесь!

— В таком случае, с вашего позволения, сударыня, — заключил мистер Доррит, протягивая руку к колокольчику, — я сейчас же пошлю за ней.

— Угодно ли мистеру Дорриту, чтобы я осталась?

— Если вы свободны, то, может быть, не откажетесь уделить минуты две…

— К вашим услугам.

Итак, мистер Тинклер, камердинер, получил инструкцию отыскать горничную мисс Эми и передать приказ, что мистер Доррит просит дочь к себе. Возлагая это поручение на Тинклера, мистер Доррит сурово взглянул на него и столь же суровым взглядом проводил до дверей, как бы подозревая, нет ли у того на уме чего-нибудь предосудительного для фамильного достоинства, не слыхал ли он чего-нибудь о Маршалси еще до поступления к мистеру Дорриту, или какой-нибудь шуточки тамошнего изобретения и не вспоминает ли о ней с насмешкой в эту самую минуту. Если бы мистер Тинклер улыбнулся, хотя бы самой легкой и невинной улыбкой, мистер Доррит увидел бы в этой улыбке подтверждение своих подозрений и так бы и умер с этим убеждением. Но, к счастью для Тинклера, он был человек серьезный, сдержанный, так что благополучно избежал грозившей ему опасности. Когда же он вернулся (причем мистер Доррит снова уставился на него) и доложил о мисс Эми таким тоном, словно она пришла на похороны, у мистера Доррита даже мелькнула смутная мысль, что его

камердинер — порядочный малый, воспитанный в правилах благочестия вдовицей-матерью.

— Эми, — сказал мистер Доррит, — я только что говорил о тебе с миссис Дженераль. Мы оба пришли к заключению, что ты чувствуешь себя как будто среди чужих людей. Кха… почему это?

Пауза.

— Я думаю, отец, потому, что мне трудно привыкнуть так скоро.

— «Папа» — более подходящая форма обращения, — заметила миссис Дженераль. — «Отец» — это довольно вульгарно, душа моя. Кроме того, слово «папа» придает изящную форму губам. «Папа», «помидор», «птица», «персики» и «призмы» — прекрасные слова для губ, особенно «персики» и «призмы». Было бы очень полезно, в смысле образования хороших манер, если бы вы время от времени, в гостях или, например, входя в комнату, повторяли про себя: «папа», «помидор», «птица», «персики» и «призмы».

— Пожалуйста, дитя мое, — сказал мистер Доррит, — исполняй… хм… наставления миссис Дженераль.

Бедная Крошка Доррит, растерянно взглянув на эту знаменитую лакировщицу, обещала постараться.

— Ты говоришь, Эми, — продолжил мистер Доррит, — что не успела привыкнуть. К чему привыкнуть?

Снова пауза.

— Привыкнуть к новой для меня жизни — я только это хотела сказать, — ответила Крошка Доррит, посмотрев любящими глазами на отца, которого чуть было не назвала птицей, даже персиком и призмой — в своем желании угодить миссис Дженераль ради его удовольствия.

Мистер Доррит нахмурился, не обнаружив никакого удовольствия.

— Эми, — сказал он, — признаюсь, мне кажется, времени у тебя было довольно, чтобы привыкнуть. Кха… ты удивляешь меня, ты огорчаешь меня. Фанни справилась с этими маленькими затруднениями, почему же… хм… ты не можешь справиться?

— Я надеюсь скоро справиться с ними, — сказала Крошка Доррит.

— Я тоже надеюсь, — произнес отец. — Я… кха… от всего сердца надеюсь на это, Эми. Я послал за тобой, имея в виду сказать… хм… серьезно сказать тебе в присутствии миссис Дженераль, которой мы все так много обязаны за ее любезное согласие присутствовать среди нас… кха… как в этом, так

и в других случаях, — миссис Дженераль закрыла глаза, — что я... кха... хм... недоволен тобой. Ты заставляешь миссис Дженераль брать на себя неблагодарную задачу. Ты... кха... ставишь меня в крайне затруднительное положение. Ты всегда была (как я говорил и миссис Дженераль) моей любимицей, я всегда был тебе... хм... другом и товарищем; взамен этого я прошу... я... кха... прошу тебя применяться... хм... к обстоятельствам и поступать соответственно твоему... твоему положению.

Мистер Доррит путался более обыкновенного, так как был крайне взволнован и старался выражаться внушительнее.

— Прошу тебя, — повторил он, — иметь в виду мои слова и сделать над собой серьезное усилие вести себя соответственно своему положению и ожиданиям — моим и миссис Дженераль.

Услышав свою фамилию, эта леди снова закрыла глаза, затем, медленно открывая их и вставая, произнесла:

— Если мисс Доррит приложит старание со своей стороны и примет небольшую помощь с моей во всем, что касается элегантных манер, то у мистера Доррита не будет поводов к дальнейшему беспокойству. Пользуюсь этим случаем,

дабы заметить, в виде примера, относящегося к затронутой нами теме, что молодой девушке вряд ли прилично смотреть на уличных бродяг с тем вниманием, какого удостаивает их мой милый юный друг. Их вовсе не следует замечать. Вообще замечать что-либо неприятное не следует. Помимо того что это несовместимо с изящным видом равнодушия — первым признаком хорошего воспитания, — подобная привычка вряд ли уживается с утонченностью ума. Истинно утонченный ум как бы не подозревает о существовании чего-либо, кроме приличного, благопристойного и приятного.

Высказав эти возвышенные мысли, миссис Дженераль церемонно поклонилась и выплыла из комнаты с выражением губ, напоминавшим о персиках и призмах.

До сих пор, говорила ли она или молчала, лицо Крошки Доррит сохраняло выражение серьезного спокойствия и глаза ее смотрели с любовью. До сих пор лицо ее не омрачалось: разве на мгновение, но теперь, когда она осталась наедине с отцом, пальцы ее задвигались и на лице появилось выражение подавленного волнения.

Не за себя. Быть может, она чувствовала себя оскорбленной, но не заботилась о себе. Ее мысли,

как всегда, обращались к нему. Смутное подозрение, угнетавшее ее с тех пор, как они разбогатели: подозрение — что она не увидит его таким, каким он был до заключения в тюрьму, — приняло теперь определенную форму. Она чувствовала в том, что он сейчас говорил ей, и вообще в его отношении к ней знакомую тень стены Маршалси. Она приняла новую форму, но это была старая мрачная тень тюремной стены. Неохотно, с горьким изумлением, но она должна была сознаться, что не в силах совладать с опасением, превращавшимся в уверенность — уверенность, что никакие годы не сгладят четверти века жизни в тюрьме. Она не порицала, не упрекала его, но безграничная жалость и скорбь охватили ее сердце.

Вот почему, хотя он сидел перед ней на диване, в ярком свете лучезарного итальянского дня, в великолепном дворце волшебного города, она видела его по-прежнему в знакомой сумрачной келье Маршалси, и ей хотелось подсесть поближе к нему, приласкать его, быть по-прежнему его другом и опорой. Если он угадал ее мысли, то, очевидно, они не гармонировали с его взглядами на этот счет. Беспокойно поерзав на диване, он встал и принялся расхаживать по комнате с самым недовольным видом.

— Может быть, вы хотите сказать мне еще что-нибудь, дорогой отец?

— Нет-нет, больше ничего.

— Мне очень грустно, что вы недовольны мной, милый отец. Я надеюсь, что у вас не будет больше причин для недовольства. Я постараюсь примениться к этой обстановке, старалась и раньше, но знаю, что безуспешно.

— Эми, — сказал он, круто повернувшись к ней, — ты… кха… постоянно оскорбляешь меня.

— Оскорбляю вас, отец! Я!?

— Есть… хм… известная тема, — продолжил мистер Доррит, блуждая глазами по комнате, но ни разу не остановив взгляда на внимательном, взволнованном и покорном личике, — мучительная тема, целый ряд событий, которую я желал бы… кха… совершенно вычеркнуть из моей памяти. Твоя сестра, упрекавшая тебя в моем присутствии, понимает это; твой брат понимает это; всякий… кха… хм… деликатный и чуткий человек понимает это, кроме… кха… мне грустно говорить это… кроме тебя, Эми. Ты, Эми… хм… ты одна и только ты… постоянно напоминаешь мне об этом, хотя и не словами.

Она положила свою руку на его руку. Она не сделала ничего больше. Она едва прикоснулась

к нему. Ее рука могла бы сказать: «Вспомни обо мне, вспомни, как я работала, вспомни о моих заботах!»

Сама она ничего не сказала, но в ее прикосновении был упрек, которого она не предвидела, иначе она удержала бы руку. Он начал оправдываться, горячо, бестолково, сердито:

— Я провел там все эти годы. Я был… кха… единодушно признан главой общежития. Я… хм… заставил их уважать тебя, Эми. Я и там… кха… хм… создал для моей семьи положение. Я заслуживаю награды. Я требую награды. Я говорю: сметем это с лица земли и начнем сызнова. Неужели это много? Спрашиваю: неужели это много?

Он ни разу не взглянул на нее во время своей запутанной речи, но жестикулировал и взывал к пустому пространству.

— Я страдал. Кажется, я лучше любого другого знаю, как я страдал… кха… лучше всякого другого! Если я могу отрешиться от прошлого, если я могу вытравить следы моих испытаний и явиться перед светом… незапятнанным, безукоризненным джентльменом, то неужели я требую слишком многого… повторяю, неужели я требую слишком многого, ожидая… что и мои дети… хм… сделают то же самое и сметут с лица земли это проклятое

прошлое?

Несмотря на свое волнение, он говорил вполголоса, чтобы его как-нибудь не услышал камердинер.

— И они делают это. Твоя сестра делает это. Твой брат делает это. Ты одна, мое любимое дитя, мой друг и товарищ с тех пор, как ты была еще… хм… младенцем, не хочешь сделать этого. Ты одна говоришь: «Я не могу сделать этого». Я даю тебе достойную помощницу. Я приглашаю для тебя превосходную, высокообразованную леди… кха… миссис Дженераль, собственно, для того, чтобы она помогла тебе сделать это. И ты удивляешься, что я недоволен? Нужно ли мне оправдываться в том, что я высказал недовольство? Нет!

Тем не менее он продолжал оправдываться с прежним раздражением:

— Прежде чем выразить свое недовольство, я счел нужным поговорить с этой леди. Я… хм… по необходимости должен был лишь слегка коснуться этой темы, так как иначе я… кха… выдал бы этой леди то, что желаю скрыть. Разве я руководился себялюбием? Нет и нет. Я беспокоюсь главным образом за… кха… за тебя, Эми!

Из его последующих слов было ясно, что это соображение только сейчас пришло ему в голову.

— Я сказал, что оскорблен. Да, я оскорблен. Утверждаю, что я… кха… оскорблен, как бы ни старались уверить меня в противном. Я оскорблен тем, что моя дочь, на долю которой выпало… хм… такое счастье, смущается, отнекивается и объявляет, что ей не по плечу это счастье. Я оскорблен тем, что она… кха… систематически воскрешает то, что все мы решили похоронить, и как будто (я чуть не сказал: во что бы то ни стало) желает… хм… сообщить богатому и избранному обществу, что родилась и воспитывалась… кха, хм… в таком месте, которое я, со своей стороны, не желаю называть. Но, Эми, в том, что я чувствую себя оскорбленным и тем не менее беспокоюсь главным образом за тебя, нет ни малейшей непоследовательности. Да, повторяю, я беспокоюсь за тебя. Ради тебя самой я желаю, чтобы ты приобрела под руководством миссис Дженераль… хм… элегантные манеры. Ради тебя самой я желаю, чтобы ты приобрела… истинную утонченность ума и (употребляя меткое выражение миссис Дженераль) не подозревала, что на свете есть что-либо, кроме приличного, пристойного и приятного.

Его речь шла скачками, точно испорченный будильник. Ее рука все еще лежала на его руке. Он

замолчал, посмотрел на потолок, потом взглянул на нее. Она сидела опустив голову, так что он не мог видеть ее лица, но прикосновение ее руки было спокойно и нежно, и во всем ее грустном облике не было порицания, была только любовь. Он начал хныкать, как в ту ночь в тюрьме, когда она сидела до утра у его постели; воскликнул, что он жалкая развалина, жалкий бедняк при всем своем богатстве, и сжал ее в своих объятиях. «Полно, полно, милый, голубчик! Поцелуйте меня!» — вот все, что она ему сказала. Слезы его скоро высохли, — скорее, чем в тот раз, — немного погодя он особенно высокомерно отнесся к лакею, точно желая загладить эту слезливость.

За одним замечательным исключением, о котором будет сообщено в своем месте, это был первый случай со времени получения наследства и свободы, когда он заговорил со своей дочерью Эми о старых днях.

Наступило время завтрака, а к завтраку выползли из своих апартаментов мисс Фанни и мистер Эдуард. Эти молодые и благородные особы несколько утратили свою свежесть вследствие поздних вставаний. Мисс Фанни сделалась жертвой ненасытной мании выезжать в свет и готова была посетить пятьдесят вечеров между закатом

и восходом солнца, если бы только это оказалось возможным. Мистер Эдуард тоже приобрел обширный круг знакомых и каждую ночь был занят (в кружках, где играли в кости, или в других кружках такого же сорта). Этот джентльмен еще до перемены фортуны подготовился к самому избранному обществу, так что ему не приходилось учиться. Особенно полезным оказался для него практический опыт, извлеченный из знакомства с торговцами лошадьми и игрой на бильярде.

Мистер Фредерик Доррит тоже явился к завтраку. Старик жил на самой вышке дворца, где мог бы практиковаться в стрельбе из пистолета, не рискуя потревожить других жильцов; ввиду этого младшая племянница рискнула предложить вернуть ему кларнет, отобранный у него по приказанию мистера Доррита, но сохраненный ею. Несмотря на возражения мисс Фанни, доказывавшей, что это вульгарный инструмент и что она ненавидит его звук, мистер Доррит уступил, но оказалось, что старик уже сыт по горло музыкой и не намерен играть, раз это не нужно для хлеба насущного. Он мало-помалу приобрел новую привычку — бродить по картинным галлереям со своим неизменным пакетиком нюхательного табака (к великому негодованию мисс Фанни,

которая вздумала ради поддержания семейного достоинства купить ему золотую табакерку, но старик наотрез отказался от нее) и проводить целые часы перед портретами знаменитых венецианцев. Что видели в них его тусклые глаза — оставалось тайной: любовался ли он ими как картинами, или они возбуждали в нем смутные представления о славе, угасшей, как и его разум, но он являлся к ним на поклон очень регулярно и, очевидно, находил в этом удовольствие. Спустя несколько дней по прибытии в Венецию Крошке Доррит случилось сопровождать его во время такого паломничества. Он так был обрадован этим, что с тех пор она не раз сопровождала его. Кажется, со времени своего разорения старик не испытывал такого несомненного удовольствия, как во время этих экскурсий. Он ходил от картины к картине со стулом в руках, усаживал свою спутницу, а сам становился за стулом, несмотря ни на какие возражения с ее стороны, и молча представлял ее благородным венецианцам.

За завтраком, о котором идет речь, он случайно упомянул, что видел накануне в галерее джентльмена и леди, с которыми они встретились на Большом Сен-Бернаре.

— Я забыл их фамилию, — прибавил он. — Ты,

верно, помнишь, Уильям? Ты, верно, помнишь, Эдуард?

— Я очень хорошо помню, — ответил последний.

— Я думаю, — сказала мисс Фанни, тряхнув головой и взглянув на сестру. — Но вряд ли бы мы вздумали о них вспоминать, если бы дядя не набрел на эту тему.

— Душа моя, какое странное выражение, — заметила миссис Дженераль. — Не лучше ли сказать: «нечаянно упомянул» или «случайно затронул эту тему».

— Благодарю вас, миссис Дженераль, — возразила молодая леди. — Я этого не думаю. Я предпочитаю свое выражение.

Это была обычная манера мисс Фанни отвечать на замечания миссис Дженераль, но она принимала их к сведению и пускала в ход впоследствии.

— Я бы упомянула о нашей встрече с мистером и миссис Гоуэн, — сказала Крошка Доррит, — если бы этого не сделал дядя. Но я еще не видела вас с тех пор. Я намеревалась упомянуть об этом за завтраком, так как мне хочется сделать визит миссис Гоуэн и познакомиться с ней поближе, если папа и миссис Дженераль ничего не имеют

против.

— Ну, Эми, — сказала Фанни, — я очень рада, что ты наконец выразила желание познакомиться с кем-нибудь в Венеции. Хотя еще вопрос, следует ли знакомиться с мистером и миссис Гоуэн.

— Я говорю о миссис Гоуэн, милочка.

— Без сомнения, — согласилась Фанни. — Но ведь ты не можешь развести ее с мужем без парламентского акта [60].

— Вы имеете что-нибудь против этого визита, папа? — нерешительно спросила Крошка Доррит.

— Право, я… кха… А что думает об этом миссис Дженераль?

Миссис Дженераль думала, что, не имея чести быть знакомой с мистером и миссис Гоуэн, она не может навести лак на этот предмет. Она может только заметить, что с точки зрения, принятой в лакировальном деле, весьма важно знать, пользуется ли означенная леди достаточными связями в обществе, чтобы поддерживать знакомство с семейством, занимающим такое высокое место в общественном храме, какое занимает семья мистера Доррита.

---

[60] Сноски: 60

Во времена Диккенса на развод требовалось специальное разрешение парламента.

При этом заявлении лицо мистера Доррита заметно омрачилось. Он уже хотел (вспомнив по поводу связей в обществе о некоем навязчивом господине по имени Кленнэм, с которым ему, кажется, приходилось встречаться в прежнее время) подать свой голос против Гоуэнов, когда Эдуард Доррит, эсквайр, вмешался в разговор, вставив стеклышко в глаз и крикнув:

— Эй… вы, ступайте вон! — Это восклицание относилось к двум лакеям, прислуживавшим за столом, и вежливо давало им понять, что господа пока обойдутся без их услуг.

Когда те повиновались приказу, Эдуард Доррит, эсквайр, продолжил:

— Может, не лишним будет сообщить вам: хоть я отнюдь не питаю расположения к этим господам, по крайней мере к мистеру Гоуэну, они люди со связями, если это играет какую-нибудь роль.

— Огромную роль, смею сказать, — заметила великолепная лакировщица. — Если вы подразумеваете связи с влиятельными и важными людьми…

— Насчет этого судите сами, — сказал Эдуард Доррит, эсквайр. — Вы, вероятно, слыхали о знаменитом Мердле?

— О великом Мердле? — воскликнула миссис

Дженераль.

— Именно, — сказал Эдуард Доррит, эсквайр. — Они знакомы с ним. Миссис Гоуэн — я разумею вдову, мать моего учтивого друга, — приятельница миссис Мердль, и я знаю, что эти двое тоже знакомы с ней.

— Если так, то более веского ручательства нельзя и придумать, — сказала миссис Дженераль, обращаясь к мистеру Дорриту и в то же время вознося ввысь свои перчатки и наклоняя голову, точно поклоняясь какому-нибудь божеству.

— Я бы желал спросить моего сына из… кха… чистого любопытства, — сказал мистер Доррит совершенно другим тоном, — откуда он получил эти… хм… своевременные сведения.

— Это очень простая история, сэр, — ответил Эдуард Доррит, эсквайр, — сейчас я вам объясню. Во-первых, миссис Мердль — та самая дама, с которой вы объяснялись в… как это место…

— В Мартиньи, — подсказала Фанни с невыразимо томным видом.

— Мартиньи, — подтвердил брат, подмигивая сестре, которая в ответ на это сделала большие глаза, потом засмеялась и покраснела.

— Как же это, Эдуард, — сказал мистер Доррит, — ты говорил мне, что фамилия джентльме-

на, с которым ты объяснялся… кха… Спарклер. Ты еще показывал мне карточку. Хм… Спарклер.

— Без сомнения, отец; но из этого не следует, что его мать носит ту же фамилию. Он ее сын от первого мужа. Теперь она в Риме, где мы, по всей вероятности, познакомимся с ней поближе, так как вы решили провести там зиму. Спарклер только что приехал сюда. Я вчера провел с ним вечер в одной компании. Он, в сущности, славный малый, только слишком уж носится со своей несчастной страстью к одной молодой девице, в которую врезался по уши. — Тут Эдуард Доррит, эсквайр, направил свой монокль на мисс Фанни. — Мы сравнивали вчера наши путевые заметки, и я получил от самого Спарклера те сведения, которые сообщил вам.

Тут он умолк окончательно, продолжая смотреть в монокль на мисс Фанни, с трудом удерживая стеклышко в глазу и пытаясь изобразить необычайно тонкую улыбку, что отнюдь не украшало его физиономии.

— Если обстоятельства таковы, — сказал мистер Доррит, — то я полагаю, что ни миссис Дженераль, ни я не можем иметь ничего против… скорее выскажемся за удовлетворение твоего желания, Эми. Надеюсь, я могу усматривать в

этом… кха… желании, — добавил с видом всепрощения и ободрения, — доброе предзнаменование. С такими людьми следует знакомиться. Мистер Мердль пользуется… кха… всемирной славой. Предприятия мистера Мердля грандиозны. Они приносят ему такие громадные суммы, что считаются… хм… национальными доходами. Мистер Мердль — герой нашего времени, его имя — имя века. Прошу тебя засвидетельствовать от моего имени почтение мистеру и миссис Гоуэн, так как мы… кха… не упустим их из виду.

Эта великолепная резолюция решила вопрос. Никто не заметил, что дядя оттолкнул от себя тарелку и забыл о завтраке, но на него вообще никто не обращал внимания, кроме Крошки Доррит. Лакеев снова позвали, и завтрак кончился своим порядком. Миссис Дженераль встала из-за стола и ушла. Крошка Доррит встала из-за стола и ушла. Эдуард и Фанни перешептывались через стол, мистер Доррит доедал винные ягоды, читая французскую газету, как вдруг дядя привлек внимание всех троих, поднявшись со стула, ударив кулаком по столу и воскликнув:

— Брат, я протестую!

Если б он произнес заклинание на неведомом языке и вызвал духа, его слушатели изумились

бы не более, чем теперь. Газета выпала из рук мистера Доррита; он окаменел с винной ягодой на полдороге ко рту.

— Брат, — продолжил старик, и удивительная энергия звучала в его дрожащем голосе, — я протестую! Я люблю тебя; ты знаешь, как я люблю тебя. В эти долгие годы я ни разу не изменил тебе даже помышлением. Я слаб, но ударил бы человека, который вздумал бы дурно отзываться о тебе. Но, брат, брат, брат, против этого я протестую!

Странно было видеть такой порыв вдохновения в этом дряхлом старике. Глаза его загорелись, седые волосы поднялись дыбом, и на лице отпечатлелись следы воли, покинувшей его четверть века назад, в энергичных жестах руки чувствовалось воодушевление.

— Дорогой Фредерик, — пролепетал мистер Доррит, — что такое? Что случилось?

— Как ты смеешь? — продолжил старик, обращаясь к Фанни. — Или у тебя нет памяти? Или у тебя нет сердца?

— Дядя, — воскликнула испуганная Фанни, заливаясь слезами, — за что вы нападаете на меня так жестоко? Что я сделала?

— Что сделала? — повторил старик, указывая на стул ее сестры. — Где твой нежный бесценный

друг? Где твой верный хранитель? Где та, которая была для тебя больше чем матерью? Как ты смеешь возноситься над той, которая была для тебя всем? Стыдись, неблагодарная девушка, стыдись!

— Я люблю Эми, — сказала Фанни, рыдая и всхлипывая, — как свою жизнь и больше жизни. Я не заслужила такого обращения. Я так благодарна Эми, я так люблю Эми, как только может любить человек. Лучше бы мне умереть. Меня никогда не оскорбляли так жестоко — и только за то, что я дорожу фамильным достоинством.

— К черту фамильное достоинство! — крикнул старик, дрожа от гнева и негодования. — Брат, я протестую против гордости! Я протестую против неблагодарности! Я протестую против каждого из нас, кто, зная все, что мы знаем, и испытав все, что мы испытали, вздумает выступить с претензиями, которые хоть на ноту роняют Эми, хоть на минуту причиняют ей огорчение! Этого довольно, чтоб признать подобные претензии низкими. Они навлекут на нас кару божью. Брат, я протестую против них перед лицом Господа!

Рука его поднялась над головой и опустилась на стол, как молот кузнеца. После молчания, длившегося несколько минут, он снова впал в свое обычное состояние, подошел к брату, едва

волоча ноги, как обычно, положил ему руку на плечо и сказал слабым голосом:

— Уильям, дорогой мой, я должен был высказать это. Прости меня, но я должен был высказать это.

Сгорбившись, как выходил из кельи Маршалси, он вышел из роскошного зала.

Все это время Фанни рыдала и всхлипывала. Эдуард сидел, разинув рот от изумления и вытаращив глаза. Мистер Доррит был крайне поражен и совершенно растерян. Первой нарушила молчание Фанни.

— Никогда, никогда, никогда со мной так не обращались! Так жестоко и несправедливо, так грубо и свирепо! Милая, добрая, ласковая крошка Эми, что бы она почувствовала, если б узнала, что меня так оскорбили из-за нее. Но я никогда не скажу ей об этом. Нет, я не скажу об этом моей доброй девочке!

Эти слова развязали язык мистеру Дорриту:

— Душа моя, я… кха… одобряю твое решение. Лучше… кха… хм… не говорить об этом Эми. Это могло бы… хм… могло бы огорчить ее… кха… без сомнения, это жестоко огорчит ее. Желательно избежать этого. Пусть… кха… все происшедшее останется между нами.

— Но какой жестокий дядя! — воскликнула мисс Фанни. — О, я никогда не прощу ему этой жестокости!

— Душа моя, — сказал мистер Доррит, возвращаясь к своему прежнему тону, хотя лицо его оставалось страшно бледным, — прошу тебя, не говори этого. Ты должна помнить, что твой дядя… кха… не таков, каким был прежде. Ты должна помнить, что состояние дяди требует… хм… большего снисхождения с нашей стороны, большего снисхождения.

— Я уверена, — жалобно сказала Фанни, — что у него что-нибудь не в порядке, иначе он никогда бы не набросился так именно на меня.

— Фанни, — возразил мистер Доррит тоном глубокой братской привязанности, — ты знаешь, какая… хм… развалина твой дядя при всех его достоинствах, и я прошу тебя именем братской привязанности, которую я всегда питал к нему, верности, которую, как тебе известно, я всегда сохранял к нему, прошу тебя выводить какие угодно заключения, но не оскорблять моих братских чувств.

На этом беседа кончилась. Эдуард Доррит, эсквайр, так и не вставил ни словечка со своей стороны, хотя до последней минуты казался

крайне смущенным и взволнованным. Мисс Фанни весь день повергала в смущение свою сестру, осыпая поцелуями и то даря ей брошки, то выражая желание умереть.

Глава VI. Что-то где-то наладилось

Двусмысленное положение мистера Гоуэна — положение человека, который рассорился с одной державой, не сумел устроиться при другой и, проклиная обе, бесцельно слоняется на нейтральной почве, — не благоприятствует душевному спокойствию, и против него бессильно даже время.

Худшие итоги в обыденной жизни достаются на долю тем неудачным математикам, которые привыкли применять правила вычитания к успехам и заслугам ближних и не могут применить правила сложения к своим.

Привычка искать утешения в напускном и хвастливом разочаровании не проходит даром. Результатами ее являются ленивая беспечность и опрометчивая непоследовательность. Унижать достойное, возвышая недостойное, — одно из противоестественных удовольствий, связанных с этой привычкой, а играть с истиной, не стесняясь подтасовок и передержек, значит в любой игре проиграть наверняка.

К художественным произведениям, лишенным всякого достоинства, Гоуэн относился необык-

новенно снисходительно. Он всегда готов был объявить, что у такого-то в мизинце больше таланта (если в действительности у него не было никакого), чем у такого-то во всей его личности (если этот последний обладал крупным талантом). Если ему возражали, что картина эта — просто хлам, он отвечал от имени своего искусства: «Милейший мой, а что же мы еще создаем, кроме хлама? Я — ничего другого, сознаюсь откровенно».

Чваниться своей бедностью было другим проявлением его желчного настроения, хотя, быть может, это делалось с целью дать понять, что ему по праву следовало бы быть богатым, точно так же, как с целью заявить о своем родстве с Полипами он публично расхваливал и поносил их. Как бы то ни было, он часто распространялся на эти две темы — и так искусно, что если бы расхваливал свои достоинства целый месяц без передышки, то и тогда бы не мог выставить себя в более выгодном свете, чем теперь, когда отрицал за собой всякое право на внимание.

С помощью тех же небрежных отзывов о себе самом он умел дать понять везде, где ему случалось быть с женой, что он женился против воли своих высокопоставленных родителей и с боль-

шим трудом убедил их признать его жену. Он презрительно относился к их аристократической гордости, но выходило как-то так, что, при всех стараниях унизить себя, он всегда оказывался высшим существом. С первых дней медового месяца Минни Гоуэн чувствовала, что на нее смотрят как на жену человека, который снизошел до брака с ней, но чья рыцарская любовь не признавала этой разницы положений.

Господин Бландуа из Парижа сопровождал их до Венеции, но и в Венеции постоянно вертелся в обществе Гоуэнов. Когда они познакомились в Женеве с этим галантным джентльменом, Гоуэн был в нерешительности: вытолкать его или обласкать — и целые сутки мучился этим вопросом, так что в конце концов решился было прибегнуть к пятифранковой монете и положиться на решение этого оракула: орел — вытолкать, решка — обласкать, но жена его выразила антипатию к очаровательному Бландуа, и население гостиницы было против него. Убедившись в этом, Гоуэн решился его обласкать.

Чем объяснить это своенравие? Великодушным порывом? Но его не было. Зачем Гоуэн, который был гораздо выше Бландуа из Парижа, мог бы разобрать по косточкам этого любезно-

го джентльмена и понять, из какого теста он слеплен, связался с таким человеком? Во-первых, затем, чтобы поступить наперекор жене, впервые выразившей самостоятельное желание, — поступить наперекор именно потому, что ее отец уплатил его долги, и Гоуэн рад был воспользоваться первым удобным случаем проявить свою независимость. Во-вторых, он шел против господствующего мнения, потому что, не лишенный природных способностей, все же оказался неудачником. Ему доставляло удовольствие объявлять, что кавалер с такими утонченными манерами, как Бландуа, должен занять выдающееся положение во всякой цивилизованной стране. Ему доставляло удовольствие изображать Бландуа образцом изящества и превозносить его за счет тех, кто кичился своими личными достоинствами. Он серьезно уверял, что поклон Бландуа — совершенство грации, что манеры Бландуа неотразимы, что непринужденное изящество Бландуа стоит сотни тысяч франков (если бы можно было продать этот дар природы). То вечное пересаливание, которое так характеризовало манеры Бландуа и так присуще подобным господам, какое бы воспитание они ни получили, служило Гоуэну карикатурой для высмеивания

людей, которые делали то же, что Бландуа, только не хватая при этом через край. Оттого он и связался с ним и мало-помалу, в силу привычки, а отчасти и праздного удовольствия, которое доставляла ему болтовня Бландуа, сошелся с ним по-приятельски. А между тем он догадывался, что Бландуа добывает средства к жизни шулерством и другими плутнями; подозревал его в трусости, будучи сам дерзок и смел; отлично знал, что Минни не любит его, и, в сущности, так мало дорожил им, что, подай он ей хоть малейший осязательный повод к тому, чтобы она почувствовала себя оскорбленной, не задумался бы выбросить его из самого высокого окна в самый глубокий канал Венеции.

Крошка Доррит предпочла бы отправиться к миссис Гоуэн одна, но так как Фанни, еще не оправившаяся после нападения дяди (хотя с тех пор прошла уже целая вечность — двадцать четыре часа), во что бы то ни стало хотела сопровождать ее, то они и отправились в гондоле с проводником, в полном параде. Сказать по правде, они были даже слишком парадны для квартиры Гоуэнов, которая оказалась, по словам Фанни, в ужасном захолустье и до которой пришлось пробираться по лабиринту узких каналов:

«жалких канав», по презрительному выражению той же барышни.

Дом находился на маленьком пустынном островке и производил такое впечатление, точно оторвался откуда-то, приплыл сюда и случайно остановился здесь на якоре вместе с виноградным кустом — по-видимому, таким же заброшенным, как жалкие существа, валявшиеся в его тени. По соседству с ним красовались: церковь, обшарпанная и облупленная, обставленная лесами, по-видимому, лет сто назад, так она была ветха; белье, сушившееся на солнце; куча домов, напиравших друг на друга, покосившихся набок, напоминавших куски сыра доадамовских времен, фантастически искромсанные и переполненные червями, и целый хаос окон с покосившимися решетчатыми ставнями, раскрытыми настежь, и каким-то грязным тряпьем, свисавшим наружу.

На первом этаже дома помещался банк — поразительное открытие для каждого джентльмена, причастного к коммерции и уверенного, что некий британский город предписывает законы всему человечеству, — где два поджарых бородатых клерка в зеленых бархатных шапочках с золотыми кисточками стояли за маленькой конторкой в маленькой комнатке, не заключавшей в

себе никаких видимых предметов, кроме пустого несгораемого шкафа с открытой дверцей, графина с водой и обоев, разрисованных гирляндами роз, что, впрочем, не мешало означенным клеркам по первому законному требованию вытаскивать из какого-то потаенного места горы пятифранковых монет. Под банком находилось три-четыре комнаты с железными решетками на окнах, смахивавших на темницу для преступных крыс. Над банком была резиденция миссис Гоуэн.

Несмотря на стены, испещренные пятнами и походившие вследствие этого на географические карты, несмотря на полинявшую, выцветшую мебель и специфический венецианский запах стоячей воды и гниющих водорослей, квартира выглядела лучше, чем можно было ожидать. Двери отворил улыбающийся человек с наружностью раскаявшегося убийцы и проводил барышень в комнату миссис Гоуэн, доложив, что две прекрасные дамы-англичанки желают ее видеть.

Миссис Гоуэн, сидевшая за шитьем, отложила свою работу при этом известии и поспешила встать навстречу гостям. Мисс Фанни, державшаяся очень любезно, сразу начала болтать всякий вздор с непринужденностью леди, давно враща-

ющейся в светском обществе:

— Папа очень жалел, что не мог навестить вас сегодня (он редко бывает свободен, у нас здесь такая бездна знакомых!), и просил меня непременно передать эту карточку мистеру Гоуэну. Чтобы покончить с этим поручением, о котором он повторял мне раз десять, позвольте теперь положить ее хоть здесь на столе.

Она так и сделала с изяществом леди, давно вращающейся в светском обществе.

— Мы были очень рады, — продолжила мисс Фанни, — узнать, что вы знакомы с Мердлями. Мы надеемся, что это даст нам возможность чаще видеться с вами.

— Мердли дружны с семьей мистера Гоуэна, — сказала миссис Гоуэн. — Я еще не имела удовольствия познакомиться с миссис Мердль; по всей вероятности, мы познакомимся в Риме.

— Да, — сказала Фанни, учтиво стараясь скрыть свое превосходство. — Надеюсь, она вам понравится.

— Вы с ней хорошо знакомы?

— Видите ли, — сказала Фанни, пожимая своими хорошенькими плечиками, — в Лондоне всех обычно знаешь. Мы встретились недавно по пути, и, по правде сказать, папа немного рассер-

дился на нее за то, что она заняла нашу комнату. Впрочем, все скоро выяснилось, и мы снова стали друзьями.

Хотя Крошка Доррит еще не успела обменяться с миссис Гоуэн ни единым словом, между ними установилось полное взаимное понимание. Крошка Доррит вглядывалась в миссис Гоуэн с живым неослабевающим интересом, волнуясь при звуках ее голоса, не упуская ничего, что окружало ее или касалось ее. Она подмечала здесь малейшую деталь быстрее, чем в каком-либо другом случае, кроме одного.

— Вы были совершенно здоровы с того вечера? — спросила она.

— Совершенно, милочка. А вы?

— О, я всегда здорова! — сказала Крошка Доррит застенчиво. — Я… да, благодарю вас.

Ей не было причины смущаться и запинаться, кроме разве той, что миссис Гоуэн дотронулась до ее руки и глаза их встретились. Выражение тревоги в больших кротких задумчивых глазах поразило Крошку Доррит.

— Знаете, мой муж так восхищается вами, что я почти готова ревновать, — сказала миссис Гоуэн.

Крошка Доррит, краснея, покачала головой.

— Если бы он говорил с вами так же откровен-

но, как со мной, то сказал бы, что не знает никого, кто умел бы так быстро и спокойно, как вы, оказать помощь другим незаметно для них самих.

— Он чересчур лестного мнения обо мне, — возразила Крошка Доррит.

— Не думаю, но уверена, что мне пора сообщить ему о вашем посещении. Он никогда не простит мне, если узнает, что вы и мисс Доррит ушли, не повидавшись с ним. Можно ему сказать? Вы извините беспорядок и неуютность студии живописца?

Эти вопросы были обращены к мисс Фанни, которая любезно ответила, что ей напротив будет очень интересно взглянуть на мастерскую. Миссис Гоуэн вышла на минуту в соседнюю комнату и тотчас вернулась.

— Войдите, пожалуйста, — сказала она. — Я знала, что Генри будет рад.

Первое, что встретили глаза Крошки Доррит, когда она вошла в комнату, был Бландуа из Парижа, в плаще и широкополой шляпе, надвинутой на глаза, стоявший в углу на возвышении в той самой позе, в какой он стоял на Большом Сен-Бернаре, когда предостерегающие руки придорожных столбов указывали на него. Она отшатнулась при виде этой фигуры, а он приятно

улыбнулся ей.

— Не тревожьтесь, — сказал Гоуэн, выходя из-за мольберта, — это только Бландуа. Он служит мне моделью. Я набрасываю с него этюд. Это избавляет меня от лишнего расхода. Нам, бедным художникам, приходится соблюдать экономию.

Бландуа из Парижа снял свою широкополую шляпу и поклонился дамам, не сходя с возвышения.

— Тысяча извинений! Но мой профессор неумолим, так что я боюсь пошевелиться.

— И не шевелитесь, — холодно сказал Гоуэн, когда сестры подошли к мольберту. — Пусть леди посмотрят на оригинал моей мазни, чтоб лучше понять, что она изображает. Вот он, изволите видеть, bravo [61], подстерегающий свою добычу, благородный аристократ, обдумывающий, как ему спасти отечество, враг рода человеческого, подстраивающий кому-нибудь пакость, посланец Неба, приносящий кому-нибудь счастье, — на кого он похож, по-вашему?

— Скажите, professore mio [62], на бедного джентльмена, ожидающего случая воздать долж-

---

[61] Сноски: 61
В пер. с *итал.* — наемный убийца.

[62] Сноски: 62
Мой профессор *(итал.).*

ное изяществу и красоте, — заметил Бландуа.

— Или, вернее, cattivo soggeto mio [63], — возразил Гоуэн, дотрагиваясь кистью до нарисованного лица, — на убийцу после преступления. Покажите-ка вашу белую ручку, Бландуа. Выньте ее из-под плаща и покажите.

Рука Бландуа дрожала, по всей вероятности оттого, что он смеялся.

— Он боролся с другим убийцей или с жертвой, замечаете, — продолжил Гоуэн, подмалевывая шрамы на руке быстрыми, нетерпеливыми, неумелыми мазками, — вот следы борьбы. Выньте же руку, Бландуа! Corpo di San Marco [64], что с вами такое сегодня!

Бландуа из Парижа снова засмеялся, отчего рука затряслась еще сильнее; он поднял ее и схватился за усы, потом принял требуемую позу еще развязнее, чем раньше.

Все это время он смотрел на Крошку Доррит, стоявшую около мольберта. Прикованная его странным взглядом, она тоже не могла отвести от него глаз. Вдруг она вздрогнула; Гоуэн заметил

---

[63] Сноски: 63

Мой скверный субъект *(итал.).*

[64] Сноски: 64

Тело святого Марка! *(итал.)* — восклицание наподобие «Да бог с вами!»

это и, думая, что она испугалась огромной собаки, которую гладила и которая заворчала в эту минуту, сказал:

— Не бойтесь, он не укусит, мисс Доррит.

— Я не боюсь, — возразила она, — но взгляните на него.

В ту же минуту Гоуэн бросил кисть и обеими руками схватил собаку за ошейник.

— Бландуа! Что за глупость! Зачем вы его дразните! Клянусь Небом и адом, он разорвет вас на клочки! Смирно, Лев! Тебе говорят, разбойник!

Огромный пес, налегая всей своей тяжестью на душивший его ошейник, рванулся к Бландуа и бросился бы, не схвати его Гоуэн.

— Лев! Лев!

Пес поднялся на задние лапы, вырываясь из рук хозяина.

— Назад! На место, Лев! Уходите, Бландуа! Что за черт вселился в эту собаку!

— Я ничего ей не сделал.

— Уходите с глаз долой, мне не справиться с этим зверем! Уходите из комнаты! Клянусь честью, он растерзает вас!

Собака с бешеным лаем снова рванулась, но, как только Бландуа исчез, успокоилась и покорно подчинилась хозяину, рассвирепевшему не мень-

ше ее самой. Он ударил ее кулаком по голове, повалил на землю и несколько раз ткнул каблуком в морду, так что на ней показалась кровь.

— Ступай в угол и лежи смирно, а не то я застрелю тебя!

Лев послушно исполнил приказание и улегся, облизывая кровь на морде и на груди. Его хозяин перевел дух, а затем, успокоившись, повернулся к испуганной жене и ее гостьям. Все это происшествие длилось не более двух минут.

— Полно, полно, Минни! Ты знаешь, как он всегда смирен и послушен. Бландуа, наверно, дразнил его, строил гримасы. У собак тоже бывают свои симпатии и антипатии. Бландуа не пользуется его расположением, но ты, конечно, подтвердишь, Минни, что такого с ним еще никогда не случалось.

Минни была слишком расстроена этим происшествием, чтобы что-нибудь сказать. Крошка Доррит старалась успокоить ее; Фанни, которая уже раза два или три принималась плакать, ухватилась за руку Гоуэна; Лев, страшно сконфуженный своим скандальным поведением, прополз через комнату и улегся у ног госпожи.

— Ты, бешеный! — сказал Гоуэн, снова ткнув его ногой. — Я тебе задам!

Он ткнул собаку еще и еще.

— Ах, не бейте его больше, — попросила Крошка Доррит. — Не обижайте его. Посмотрите, как он ластится.

Гоуэн исполнил ее просьбу. Собака, впрочем, заслуживала ее заступничества, так как всем своим видом выражала покорность, сожаление и раскаяние.

После этого происшествия трудно было бы чувствовать себя непринужденно, даже при отсутствии мисс Фанни, которая обладала способностью стеснять всех своей болтовней. Из дальнейшего разговора Крошка Доррит вывела заключение, что мистер Гоуэн, при всей своей влюбленности, относится к жене как к хорошенькому ребенку. По-видимому, он не подозревал, какое глубокое чувство таилось под этой внешностью, так что Крошка Доррит усомнилась, есть ли хоть какая-нибудь глубина в его чувстве. Она спрашивала себя, не этим ли объясняется его несерьезное отношение к жене и не происходит ли с людьми то же, что с кораблями, которые не могут отдать якорь в мелководье с каменистым дном, а беспомощно дрейфуют по течению.

Он проводил их до крыльца, шутливо извиняясь за свою жалкую квартиру, которой поневоле

приходится довольствоваться такому бедняку, как он. Когда великие и могущественные Полипы, его родичи, прибавил он, которые сгорели бы со стыда, увидев эту квартиру, наймут ему лучшую, он переедет туда, чтоб не огорчить их. У канала их приветствовал Бландуа, бледный после недавнего приключения, но весело смеявшийся при воспоминании о Льве.

Оставив приятелей под виноградным кустом, с которого Гоуэн лениво обрывал листья, бросая их в воду, в то время как Бландуа покуривал папиросу, сестры отправились домой тем же способом, как и приехали. Спустя несколько минут Крошка Доррит заметила, что Фанни жеманится больше, чем, по-видимому, требуют обстоятельства, и, выглянув в окно, потом в открытую дверь, заметила гондолу, которая, очевидно, поджидала их.

Эта гондола пустилась за ними вслед, совершая самые искусные маневры: то обгоняя их и затем пропуская вперед, то двигаясь рядом, когда путь был достаточно широкий, то следуя за кормой. Так как Фанни не скрывала своих заигрываний с пассажиром этой гондолы, хотя и делала вид, что не замечает его присутствия, Крошка Доррит решилась, наконец, спросить, кто это такой.

На это Фанни ответила лаконично:

— Идиотик!

— Кто? — переспросила Крошка Доррит.

— Милочка! — ответила Фанни таким тоном, по которому можно было заключить, что до протеста дяди она сказала бы «дурочка». — Как ты недогадлива! Молодой Спарклер.

Она опустила стекло со своей стороны и, опершись локтем на окно, принялась небрежно обмахиваться богатым, черным с золотой отделкой испанским веером. Когда провожавшая их гондола снова проскользнула вперед, причем в окне ее мелькнул чей-то глаз, Фанни кокетливо засмеялась и сказала:

— Видала ты когда-нибудь такого болвана, душечка?

— Неужели он будет провожать нас до дому? — спросила Крошка Доррит.

— Бесценная моя девочка, — ответила Фанни, — я не знаю, что может прийти в голову идиоту в растерзанных чувствах, но считаю это весьма вероятным. Расстояние не бог весть как велико. Да ему и вся Венеция не покажется длинной, если он влюбился в меня до смерти.

— Разве он влюбился? — спросила Крошка Доррит с неподражаемой наивностью.

— Ну, душа моя, мне довольно трудно ответить

на этот вопрос, — сказала Фанни. — Кажется, да. Спроси лучше у Эдуарда. Я знаю, что он потешает всех в казино и тому подобных местах своей страстью ко мне. Но лучше расспроси об этом Эдуарда.

— Удивляюсь, отчего он не является с визитом, — заметила Крошка Доррит, немного подумав.

— Эми, милочка, ты скоро перестанешь удивляться, если я получила верные сведения. Я не удивлюсь, если он явится сегодня. Кажется, это жалкое создание до сих пор не могло набраться храбрости.

— Ты выйдешь к нему?

— Радость моя, весьма возможно. Вот он опять, посмотри. Что за олух!

Бесспорно, мистер Спарклер, прильнувший к окну так крепко, что его глаз казался пузырем на стекле, представлял собой довольно жалкую фигуру.

— Зачем ты спросила меня, выйду ли я к нему, милочка? — сказала Фанни, не уступавшая самой миссис Мердль в самоуверенности и грациозной небрежности.

— Я думала… Я хотела спросить, какие у тебя планы, милая Фанни.

Фанни снова засмеялась снисходительным лукавым и ласковым смехом и сказала, шутливо обнимая сестру:

— Послушай, милочка, когда мы встретились с этой женщиной в Мартиньи, как она отнеслась к этой встрече, какое решение приняла в одну минуту? Догадалась ты?

— Нет, Фанни.

— Ну так я скажу тебе, Эми. Она сказала самой себе: «Я никогда не упомяну о нашей встрече при совершенно других обстоятельствах и никогда виду не покажу, что это те самые девушки». Это ее манера выходить из затруднений. Что я говорила тебе, когда мы возвращались с Харли-стрит? Что это самая дерзкая и фальшивая женщина на свете. Но что касается первого качества, найдутся такие, что потягаются и с ней.

Многозначительное движение испанского веера по направлению к груди Фанни весьма наглядно указало, где следует искать одну из таких женщин.

— Мало того, — продолжила Фанни, — она внушила то же самое юному Спарклеру и не пускала его ко мне, пока не вдолбила в его нелепейшую головенку (не называть же ее головой), что он должен делать вид, будто познакомился с нами

только в Мартиньи.

— Зачем? — спросила Крошка Доррит.

— Зачем? Господи, душа моя, — снисходительно заметила Фанни, — как ты можешь спрашивать? Неужели ты не понимаешь, что теперь я могу считаться довольно завидной партией для этого дурачка, и неужели ты не понимаешь, что она старается свалить ответственность со своих плеч (очень красивых, надо сознаться), — прибавила мисс Фанни, бросив взгляд на свои собственные плечи, — и, делая вид, что щадит наши чувства, представить дело так, как будто мы избегаем ее.

— Но ведь мы всегда можем восстановить истину.

— Да, но мы этого не сделаем, — возразила Фанни. — Нет, я не намерена делать это, Эми. Она начала кривляться, пусть же кривляется, пока не надоест.

В своем торжествующем настроении мисс Фанни, продолжая обмахиваться испанским веером, обняла другой рукой талию сестры, стиснув ее так крепко, словно это была миссис Мердль, которую она хотела задушить.

— Нет, — повторила она, — я отплачу ей той же монетой. Она начала, а я буду продолжать, и с помощью фортуны я буду оттягивать окон-

чательное знакомство с ней, пока не подарю ее горничной на ее глазах платье от моей портнихи, вдесятеро лучше и дороже того, что она мне подарила.

Крошка Доррит молчала, зная, что ее мнение не будет принято, раз речь идет о семейной чести, и не желая потерять расположение сестры, так неожиданно вернувшей ей свои милости. Она не могла согласиться с Фанни, но молчала. Фанни очень хорошо знала, о чем она думает, — так хорошо, что даже спросила об этом. Крошка Доррит ответила:

— Ты намерена поощрять мистера Спарклера, Фанни?

— Поощрять его, милочка? — сказала та с презрительной улыбкой. — Это зависит от того, что ты называешь «поощрять». Нет, я не намерена поощрять его, но сделаю из него своего раба.

Крошка Доррит серьезно и с недоумением взглянула на сестру, которая, однако, ничуть не смутилась. Фанни свернула свой черный с золотом веер и слегка хлопнула по носу сестру с видом гордой красавицы и умницы, шутливо наставляющей уму-разуму простодушную подругу.

— Он будет у меня на побегушках, милочка, я возьму его в руки, и если не возьму в руки его

мать, то это будет не моя вина.

— Подумала ли ты — пожалуйста, не обижайся, милая Фанни, я так рада, что мы опять подружились, — подумала ли ты, чем это кончится?

— Не могу сказать, чтобы я серьезно думала об этом, — ответила Фанни с величественным равнодушием, — всему свое время. Так вот какие у меня намерения. Пока я объясняла их, мы успели доехать до дому. А вот и Спарклер у подъезда — спрашивает, дома ли. Чистая случайность, разумеется.

В самом деле, влюбленный пастушок стоял в своей гондоле с визитной карточкой в руке, делая вид, что осведомляется у лакея, дома ли господа. Злая судьба захотела представить его барышням в таком положении, которое в древние времена вряд ли было бы сочтено благоприятным предзнаменованием для его надежд. Гондольеры молодых леди, раздосадованные его погоней, так ловко направили свою лодку на его гондолу, что мистер Спарклер опрокинулся, подобно большой кегле, и показал предмету своих воздыханий подошвы, в то время как благороднейшие части его корпуса барахтались в лодке на руках у гондольера.

Однако, когда мисс Фанни с величайшим уча-

стием поинтересовалась, не ушибся ли джентльмен, мистер Спарклер оправился гораздо быстрее, чем можно было ожидать, и отвечал краснея:

— Нисколько.

Мисс Фанни совершенно забыла его физиономию и прошла было мимо, слегка кивнув, когда он назвал свою фамилию. И тут она не могла его вспомнить, пока он не объяснил, что имел честь видеть ее в Мартиньи. Тогда она вспомнила и осведомилась, как здоровье его матушки.

— Благодарю вас, — пробормотал мистер Спарклер, — она необычайно здорова… то есть ничего, живет кое-как.

— Она в Венеции? — спросила мисс Фанни.

— В Риме, — ответил мистер Спарклер. — Я здесь сам по себе, сам по себе. Я приехал сам по себе с визитом к мистеру Эдуарду Дорриту, то есть и к мистеру Дорриту, то есть ко всему семейству.

Грациозно повернувшись к слугам, мисс Фанни спросила, дома ли ее отец и брат. Так как оказалось, что оба были дома, мистер Спарклер рискнул смиренно предложить ей руку. Она приняла ее, и мистер Спарклер, жестоко ошибавшийся, если еще продолжал думать (в чем нет причины сомневаться), что она «без всяких этаких выдумок», повел ее наверх.

Когда они вошли в разрушавшуюся приемную с полинялыми обоями цвета грязной морской воды, до того истлевшими и выцветшими, что казались сродни водорослям, которые плавали под окнами или взбирались на стены, точно оплакивая своих заточенных родичей, мисс Фанни отправила слугу за отцом и братом. В ожидании их появления она грациозно раскинулась на софе и совсем доконала мистера Спарклера, начав разговор о Данте [65], о котором этому джентльмену известно было лишь то, что он отличался эксцентричностью, украшал голову листьями и сидел — неизвестно зачем — на кресле перед собором во Флоренции.

Мистер Доррит приветствовал гостя с величайшей любезностью и с самыми аристократическими манерами, с особенным участием осведомился о здоровье миссис Мердль. Мистер Спарклер сообщил, или, вернее сказать, выдавил по кусочкам, что миссис Мердль надоело их имение, надоел дом в Брайтоне, а оставаться в Лондоне, когда там нет ни души, сами понимаете, скучно, гостить же у знакомых ей в этом году не хотелось, и вот она надумала съездить в Рим, где

---

[65] Сноски: 65

Данте Алигьери (1265–1321) — великий итальянский поэт, автор поэмы «Божественная комедия».

такая, как она, женщина, невероятно пышной наружности и без всяких этаких выдумок, не может не быть желанным гостем. Что касается мистера Мердля, то он так необходим в Сити и в разных этаких местах, и такое невероятное явление в банковских, торговых и прочих подобных делах, что, по мнению мистера Спарклера, финансовая система страны вряд ли могла бы обойтись без него, хотя мистер Спарклер должен сознаться, что дела совсем доконали его и что небольшой отдых и перемена климата и обстановки были бы ему очень полезны. Что касается самого мистера Спарклера, то он отправляется по своим личным делам туда же, куда едет семейство Доррит.

Этот блестящий разговор потребовал немало времени, но был приведен к благополучному концу. После этого мистер Доррит выразил надежду, что мистер Спарклер не откажется как-нибудь на днях отобедать с ними. Мистер Спарклер с такой готовностью принял это предложение, что мистер Доррит спросил, что он делает сегодня, например. Так как сегодня он ничего не делал (его обычное занятие, к которому он обнаруживал большие способности), то и согласился явиться к обеду, а затем сопровождать дам в Оперу.

С наступлением обеденного времени мистер

Спарклер явился из вод морских подобно сыну Венеры [66], подражавшему своей матери, и, поднявшись по лестнице, предстал перед хозяевами в полном блеске. Утром мисс Фанни была очаровательна, а теперь втрое очаровательнее: ее туалет отличался изяществом, цвета были подобраны как нельзя более к лицу, а небрежная грация ее манер увеличила вдвое тяжесть оков мистера Спарклера.

— Если не ошибаюсь, мистер Спарклер, — заметил хозяин во время обеда, — вы знакомы… кха… с мистером Гоуэном, мистером Генри Гоуэном?

— О да, сэр, — ответил мистер Спарклер. — Его мать и моя мать очень дружны, честное слово.

— Жалею, что не подумал об этом, Эми, — сказал мистер Доррит величаво-покровительственным тоном, который сделал бы честь самому лорду Децимусу, — а то попросил бы тебя написать к ним записку, пригласить обедать сегодня. Кто-нибудь из нашей прислуги мог бы… кха… привезти и отвезти их. Мы могли бы отправить за ними… кха… одну из наших гондол. Жаль, что я забыл об этом. Пожалуйста, напомни мне завтра.

Крошка Доррит не знала, как отнесется ми-

---

[66] Сноски: 66
В древнеримской мифологии Амур, бог любви.

стер Гоуэн к их покровительству, но обещала напомнить.

— Скажите, пожалуйста, рисует ли мистер Генри Гоуэн… кха… портреты? — спросил мистер Доррит.

Мистер Спарклер полагал, что он рисует все, что угодно, если только найдется заказчик.

— Разве у него нет склонности к какому-нибудь особому роду искусства?

Мистер Спарклер, окрыленный любовью, остроумно заметил, что каждый род искусства требует особой обуви: например, охота — охотничьих сапог, танцы — бальных башмаков, а мистер Генри Гоуэн, насколько ему известно, не носит особенной обуви.

— Вы тоже не хотите избрать себе специальность?

Это слово было чересчур длинно для мистера Спарклера, и так как весь его порох был растрачен в предыдущем замечании, то он ответил только:

— Нет, благодарствуйте, я ее не ем.

— Видите ли, — продолжил мистер Доррит, — мне было бы очень приятно доставить джентльмену с такими связями какое-нибудь… кха… вещественное доказательство моего желания способствовать его карьере и развитию… хм… за-

родышей его гения. Я хотел пригласить мистера Гоуэна написать мой портрет. Если обе стороны останутся… кха… довольны результатом, я приглашу его попробовать свои силы, написав портреты и остальных членов моей семьи.

Мистеру Спарклеру пришла в голову необычайно смелая и оригинальная мысль: сказать, что перед некоторыми (некоторыми — с особенным ударением) членами семьи мистера Доррита искусство остановится в бессилии, но у него не хватало слов, чтобы выразить эту мысль, которая так и канула в вечность.

Это было тем более достойно сожаления, что мисс Фанни с восторгом ухватилась за мысль о портрете и попросила отца действовать не откладывая. Она догадывалась, по ее словам, что мистер Гоуэн потерял шансы на блестящую карьеру, женившись на своей хорошенькой жене, и любовь в коттедже, рисующая портреты ради хлеба насущного, казалась ей ужасно романтичной. Ввиду этого она просила папу заказать портреты во всяком случае, как бы он ни нарисовал; впрочем, она и Эми могут подтвердить, что он хорошо рисует, так как видели сегодня портрет его работы, поразительно схожий с оригиналом, который присутствовал тут же. Эти слова окончательно

сбили с толку мистера Спарклера (возможно, для того они и были высказаны), так как, с одной стороны, они свидетельствовали о способности мисс Фанни оценить нежную страсть, с другой же — указывали на такое ангельское неведение о его поклонении, что у него глаза чуть не выскочили на лоб от ревности к неизвестному сопернику.

Спустившись в гондолу после обеда и выйдя на берег у подъезда Оперы в сопровождении одного из гондольеров, шествовавшего впереди наподобие тритона с большим парусиновым фонарем, они вошли в ложу, и для мистера Спарклера начался вечер, полный адской муки. В театре было темно, а в ложе светло; многие из знакомых заходили в ложу во время представления, и Фанни беседовала с ними так любезно, принимала такие очаровательные позы, так дружески спорила о том, кто сидит в отдаленных ложах, что злополучный Спарклер возненавидел все человечество. Впрочем, к концу представления выпали и на его долю отрадные минуты. Во-первых, она дала ему подержать свой веер, пока надевала мантилью; во-вторых, доставила несказанное счастье вести ее под руку с лестницы. Эти крохи поощрения послужили поддержкой его угасавшим надеждам — так, по крайней мере, казалось мистеру

Спарклеру; возможно, что и мисс Доррит была того же мнения.

Тритон с фонарем дожидался у дверей ложи, так же как другие тритоны с фонарями — у других лож. Дорритовский тритон опустил фонарь, освещая ступеньки лестницы, и к прежним оковам мистера Спарклера прибавились новые, пока он следил за ее блистающими ножками, мелькавшими около его ног. В числе посетителей театра оказался Бландуа из Парижа. Он шел рядом с Фанни. Крошка Доррит шла впереди с братом и миссис Дженераль (мистер Доррит остался дома), но у гондолы они сошлись вместе. Она снова вздрогнула, увидев Бландуа, помогавшего Фанни войти в гондолу.

— Гоуэн понес утрату, — сказал он, — сегодня после визита, которым осчастливили его прекрасные леди.

— Утрату? — повторила Фанни, прощаясь со злополучным Спарклером и усаживаясь в гондолу.

— Утрату, — подтвердил Бландуа. — Его собака, Лев.

В эту минуту рука Крошки Доррит была в его руке.

— Околела, — заключил Бландуа.

— Околела? — повторила Крошка Доррит. — Этот славный пес?

— Именно, дорогие леди, — подтвердил Бландуа, улыбаясь и пожимая плечами. — Кто-то отравил этого пса. Он мертв, как венецианские дожи.

Глава VII. Главным образом о персиках и призмах

Миссис Дженераль, неизменно восседавшая на своей колеснице, усердно старалась сообщить внешний лоск своему милому юному другу, а милый юный друг миссис Дженераль усердно старался воспринять этот лоск. Много испытаний досталось на ее долю, но, кажется, еще не доставалось такого тяжкого, как теперь, когда миссис Дженераль наводила на нее лак. Ей было очень не по себе от этой операции, но она подчинялась требованиям семьи теперь, в дни ее величия, как подчинялась им раньше, в дни ее падения, жертвуя своими наклонностями, как жертвовала здоровьем в то время, когда голодала, приберегая свой обед и ужин отцу. Одно утешение помогало ей переносить эту пытку, служило для нее поддержкой и отрадой, что, может быть, показалось бы смешным менее преданному и любящему существу, не привыкшему к борьбе и самопожертвованию. В самом деле, в жизни часто приходится наблюдать, что натуры, подобные Крошке Доррит, рассуждают далеко не

так благоразумно, как люди, которые ими пользуются. Утешением для Крошки Доррит была непрекращавшаяся нежность сестры. Правда, эта нежность принимала форму снисходительного покровительства, но к этому она привыкла. Правда, она ставила ее в подчиненное положение, отводила ей служебную роль при триумфальной колеснице, на которой разъезжала мисс Фанни, принимая поклонение, но Крошка Доррит и не претендовала на лучшее место. Всегда восхищаясь красотой, грацией и бойкостью Фанни, никогда не задавая себе вопроса, насколько ее привязанность к последней зависит от ее собственного любящего сердца и насколько от самой Фанни, она отдавала сестре всю нежность своей великодушной натуры.

Груда персиков и призм, переполнявших семейную жизнь благодаря миссис Дженераль, в связи с беспрестанными выездами в свет Фанни, представляла такую смесь, на дне которой едва можно было найти хоть какой-нибудь естественный осадок. От этого дружба с Фанни была вдвойне драгоценна для Крошки Доррит и доставляла ей тем большее утешение.

— Эми, — сказала ей Фанни однажды вечером, после утомительного дня, вконец истерзавшего

Крошку Доррит, тогда как Фанни хоть сейчас и с величайшим удовольствием готова была снова нырнуть в общество, — я намерена вложить кое-что в твою маленькую головку. Вряд ли ты догадаешься, что именно.

— Вряд ли, милочка, — сказала Крошка Доррит.

— Ну, вот тебе ключ к разгадке, дитя: миссис Дженераль.

Персики и призмы в бесчисленных комбинациях сыпались весь день, лакированная внешность без содержимого то и дело выставлялась напоказ. Понятно, после такого хлопотного дня взгляд Крошки Доррит мог только выразить надежду, что миссис Дженераль благополучно улеглась в постель несколько часов назад.

— Теперь догадалась, Эми? — спросила Фанни.

— Нет, милочка. Разве, быть может, я что-нибудь наделала, — ответила Крошка Доррит с беспокойством, опасаясь, не поцарапала ли как-нибудь ненароком лак.

Фанни так развеселилась от этой догадки, что схватила свой любимый веер, лежавший на ее туалетном столике с целым арсеналом других смертоносных орудий, большей частью дымившихся кровью сердца мистера Спарклера, и

несколько раз хлопнула сестру по носу, заливаясь смехом.

— Ах, Эми, Эми! — воскликнула она. — Что за трусиха наша Эми! Но тут нет ничего смешного — напротив, я страшно зла, милочка.

— Если не на меня, Фанни, то я не беспокоюсь, — возразила сестра с улыбкой.

— Да я-то беспокоюсь, — сказала Фанни, — и ты будешь беспокоиться, когда узнаешь, в чем дело. Эми, неужели ты не замечала, что один человек чудовищно вежлив с миссис Дженераль?

— Все вежливы с миссис Дженераль, — сказала Крошка Доррит, — потому что…

— Потому что она всех замораживает, — подхватила Фанни. — Я не об этом говорю, не об этой вежливости. Послушай, неужели тебя никогда не поражало, что папа так чудовищно вежлив с миссис Дженераль?

Эми смутилась и пробормотала:

— Нет.

— Нет. Конечно, нет. А между тем это верно. Это верно, Эми. И заметь мои слова. Миссис Дженераль имеет виды на папу!

— Фанни, милочка, неужели ты считаешь возможным, что миссис Дженераль имеет виды на кого-нибудь?

— Считаю возможным? — возразила Фанни. — Душа моя, я знаю это. Уверяю тебя, она имеет виды на папу. Мало того, папа считает ее таким чудом, таким образцом совершенства, таким приобретением для нашей семьи, что готов влюбиться в нее по уши. Подумай только, какая приятная перспектива ожидает нас. Представь себе миссис Дженераль в качестве моей маменьки!

Крошка Доррит не ответила: «Представь себе миссис Дженераль в качестве моей маменьки», но встревожилась и серьезно спросила, что привело Фанни к подобному заключению.

— Господи, милочка! — ответила Фанни нетерпеливо. — Ты бы еще спросила, почему я знаю, что человек влюблен в меня. А между тем я знаю. Это случается довольно часто, и я всегда знаю. По всей вероятности, и здесь я узнала таким же путем. Но не в этом дело, а в том, что я знаю.

— Может быть, папа что-нибудь говорил тебе?

— Говорил? — повторила Фанни. — Милое, бесценное дитя, с какой стати папа будет мне говорить об этом теперь?

— А миссис Дженераль?

— Помилуй, Эми, — ответила Фанни, — такая ли она женщина, чтобы проговориться? Разве не ясно и не очевидно, что пока ей самое лучшее

сидеть как будто она проглотила аршин, поправлять свои несносные перчатки и расхаживать павой. Проговориться? Если ей придет козырный туз в висте, разве она об этом скажет, дитя мое? Кончится игра, тогда все узнают.

— Но, может быть, ты ошибаешься, Фанни? Разве ты не можешь ошибиться?

— О да, может быть, но я не ошибаюсь. Я, впрочем, рада, что ты можешь утешаться этим предположением, милочка, и потому отнестись хладнокровно к моему сообщению. Это заставляет меня надеяться, что ты примиришься с новой маменькой, а я не примирюсь и пробовать не стану. Лучше выйду за Спарклера.

— О Фанни, ты никогда не выйдешь за него, ни в каком случае!

— Честное слово, милочка, — проговорила та с изумительным равнодушием, — я не поручусь за это. Бог знает что может случиться. Тем более что это доставит мне возможность рассчитаться с его маменькой ее же монетой. А я решилась не упустить этого случая, Эми.

На этом и кончился разговор между сестрами, но он заставил Крошку Доррит обратить особое внимание на миссис Дженераль и мистера Спарклера, и с этого времени она постоянно думала о

них обоих.

Миссис Дженераль давно уже отлакировала свою внешность так основательно, что для посторонних глаз она была непроницаема, если даже под ней таилось что-нибудь. Мистер Доррит, бесспорно, относился к ней очень вежливо и был о ней самого высокого мнения, но Фанни, всегда порывистая, могла истолковать это неправильно. Напротив, вопрос о Спарклере был совершенно ясен: всякий мог видеть, в каком положении дело, и Крошка Доррит видела и думала о том, что видела, с беспокойством и удивлением.

Преданность мистера Спарклера могла сравниться разве только со своенравием и жестокостью его владычицы. Иногда она обращалась с ним так ласково, что он только кудахтал от радости, а день или час спустя относилась к нему с таким полным пренебрежением, что он низвергался в мрачную бездну отчаяния и громко стонал, делая вид, будто кашляет. Его постоянство нисколько не трогало Фанни, хотя он так прилип к Эдуарду, что тот, желая отделаться от его общества, должен был удирать боковыми коридорами и черным ходом и ездить заговорщиком в крытых гондолах; хотя он так интересовался здоровьем мистера Доррита, что заходил осве-

домиться каждый день, точно мистер Доррит страдал перемежающейся лихорадкой; хотя он разъезжал под окнами своей владычицы с таким усердием, словно побился об заклад, что сделает тысячу миль в тысячу часов; хотя он являлся откуда ни возьмись всюду, где показывалась ее гондола, и пускался за ней в погоню, точно его возлюбленная была прекрасная контрабандистка, а он — таможенный стражник. Вероятно, благодаря этому постоянному пребыванию на чистом воздухе и влиянию морской воды в связи с его природным здоровьем, мистер Спарклер, судя по наружности, вовсе не отощал, напротив, вместо того чтобы тронуть сердце возлюбленной истомленным видом, он толстел со дня на день, и та особая черта его внешности, которая делала его похожим скорее на распухшего мальчика, чем на молодого человека, выступала все резче и резче.

Когда Бландуа явился с визитом, мистер Доррит принял его очень милостиво, как друга мистера Гоуэна, и сообщил ему о своем намерении предложить последнему увековечить его черты для потомства. Бландуа был в восторге, и мистеру Дорриту пришло в голову, что ему, возможно, будет приятно передать другу об этом милостивом предложении. Бландуа взял на себя это пору-

чение со свойственной ему непринужденной грацией и поклялся исполнить его прежде, чем состарится на один час.

Когда он сообщил об этом Гоуэну, последний с величайшей готовностью послал мистера Доррита к черту раз десять подряд (маэстро ненавидел протекцию почти так же, как и отсутствие ее) и чуть не поссорился с приятелем за то, что тот взялся передать ему это поручение.

— Может быть, это выше моего ума, Бландуа, — сказал он, — но убей меня бог, если я понимаю, какое вам дело до этого.

— Клянусь жизнью, я так же мало понимаю. Никакого, кроме желания услужить другу.

— Доставив ему случай поживиться насчет выскочки, — заметил Гоуэн, нахмурившись. — Вы это хотели сказать? Пусть ваш новый друг закажет какому-нибудь маляру намалевать его голову для трактирной вывески. Кто он и кто я?

— Professore, — возразил посол, — а кто таков Бландуа?

Не интересуясь, по-видимому, этим вопросом, мистер Гоуэн сердито свистнул, на чем и кончился разговор, однако на другой день вернулся к этой теме, сказав своим обычным небрежным тоном, с легкой усмешкой:

— Ну, Бландуа, когда же мы отправимся к вашему меценату? Нам, поденщикам, не приходится отказываться от работы. Когда мы пойдем взглянуть на заказчика?

— Когда вам угодно, — сказал обиженный Бландуа. — Какое мне дело до этого? При чем тут я?

— Я скажу вам, какое мне дело до него, — ответил Гоуэн. — Это кусок хлеба. Надо есть. Итак, милейший Бландуа, идем!

Мистер Доррит принял их в присутствии дочерей и мистера Спарклера, который забрел к ним совершенно случайно.

— Как дела, Спарклер? — небрежно спросил Гоуэн. — Если вам придется жить умом вашей матушки, старина, то вы, наверно, устроитесь лучше, чем я.

Мистер Доррит объяснил свои намерения.

— Сэр, — сказал Гоуэн с усмешкой, довольно любезно приняв его предложение, — я новичок в этом ремесле и еще не успел ознакомиться со всеми его тайнами. Кажется, мне следует взглянуть на вас несколько раз при различном освещении, заявить, что вы превосходная натура, и сообразить, когда я буду свободен настолько, чтобы посвятить себя великому произведению с должным энтузиазмом. Уверяю вас: я чувствую

себя почти изменником милым, одаренным, славным, благородным ребятам, собратьям-художникам, отказываясь от этих фокусов. Но я не подготовлен к ним воспитанием, а теперь поздно учиться. Ну-с, по правде сказать, я плохой живописец, хотя и не хуже большинства. Если вам пришла фантазия выбросить сотню гиней, то я, бедный родственник богатых людей, буду очень рад, если вы бросите их мне. За эти деньги я сделаю лучшее, что могу, и если это лучшее окажется плохим, то… то у вас будет плохой портрет с неизвестным именем вместо плохого портрета с известным именем.

Этот тон понравился мистеру Дорриту, хотя и показался ему несколько неожиданным. Во всяком случае, из слов мистера Гоуэна было ясно, что джентльмен с хорошими связями, а не простой ремесленник, считает себя обязанным мистеру Дорриту. Последний выразил свое удовольствие, предоставив себя в распоряжение мистера Гоуэна, и прибавил, что надеется продолжать с ним знакомство независимо от заказов.

— Вы очень добры, — сказал Гоуэн, — я не отрекся от общества, приписавшись к братству вольных художников (превосходнейшие ребята!), и не прочь иногда понюхать старого пороху, хоть

он и взорвал меня на воздух. Вы не подумайте, мистер Доррит, — тут он снова засмеялся самым непринужденным образом, — что я прибегаю к нашим профессиональным фокусам (это будет ошибкой: я, напротив, всегда выдаю их, хотя люблю и уважаю нашу профессию от всей души), обращаясь к вам с вопросом насчет времени и места?

Кха! Мистер Доррит нимало… хм… не сомневается в искренности мистера Гоуэна.

— Еще раз скажу: вы очень добры. Мистер Доррит, я слышал, что вы едете в Рим. Я тоже еду в Рим, где у меня друзья. Позвольте же привести в исполнение мой преступный замысел относительно вас там, а не здесь. Здесь мы все будем более или менее суетиться перед отъездом, и хотя вряд ли найдется в Венеции оборванец беднее меня, но все же во мне еще сидит любитель — к ущербу для ремесла, как видите, — и я не стану приниматься за работу второпях, единственно из-за денег.

Эти замечания были приняты мистером Доррито м так же милостиво, как предыдущие. Они послужили прелюдией к приглашению мистера и миссис Гоуэн на обед и очень искусно поставили мистера Гоуэна на привычное для него место

в кружке новых знакомых.

Миссис Гоуэн они тоже поставили на привычное для нее место. Мисс Фанни поняла как нельзя яснее, что хорошенькие глазки миссис Гоуэн обошлись ее супругу очень дорого, что из-за нее произошел великий раздор в семье Полип и что вдовствующая миссис Гоуэн, огорченная до глубины души, решительно противилась этому браку, пока ее материнские чувства не взяли верх. Миссис Дженераль также очень хорошо поняла, что любовь мистера Гоуэна послужила причиной семейного горя и неурядиц. О честном мистере Мигльсе почти не говорили, замечали только мимоходом, что с его стороны было очень естественно желать возвышения дочери, и, конечно, никто не осудит его за усилия в этом направлении.

Участие Крошки Доррит, проявленное к прекрасному объекту этой принятой на веру басни, было так глубоко и серьезно, что не замедлило открыть ей глаза. Она поняла, что эти россказни играют не последнюю роль в печали, омрачившей жизнь Милочки, и инстинктивно чувствовала, что в них нет ни слова правды. Но препятствием к их сближению явилась школа персиков и призм, предписывавшая крайнюю учтивость, но отнюдь

не дружбу с миссис Гоуэн, и Крошка Доррит, как невольная воспитанница этой школы, должна была подчиниться ее предписаниям.

Тем не менее между ними уже установились симпатия и взаимопонимание, которые преодолели бы и более трудные препятствия и привели к дружбе даже при совсем редких встречах. Казалось, даже простые случайности были за эту дружбу: так, они сошлись в отвращении к Бландуа из Парижа — отвращении, доходившем до ужаса и омерзения вследствие инстинктивной антипатии к этому отвратительному человеку.

Независимо от этого активного сродства душ было между ними и пассивное. К ним обеим Бландуа относился одинаково, и обе они замечали в его отношении к ним что-то особенное, чего не было в его отношении к другим лицам. Разница эта была слишком тонка, чтобы броситься в глаза другим, но они ее видели. Едва заметное подмигивание его злых глаз, едва заметный жест его гладкой белой руки, едва заметное усиление его характерной гримасы, поднимавшей усы и опускавшей нос, не могли ускользнуть от их внимания. Казалось, он говорил: «Здесь у меня тайная власть; я знаю то, что знаю».

Никогда они не чувствовали этого в такой силь-

ной степени и никогда не сознавали так ясно, что чувствуют это обе, как в тот день, когда он явился с прощальным визитом перед отъездом из Венеции. Миссис Гоуэн зашла с той же целью, и он застал их двоих; остальных членов семьи не было дома. Они не пробыли вместе и пяти минут, а его странные манеры, казалось, говорили: «Вы собирались побеседовать обо мне! Ха! Позвольте помешать этому».

— Гоуэн будет здесь? — спросил Бландуа со своей характерной улыбкой.

Миссис Гоуэн ответила, что он не будет.

— Не будет! — сказал Бландуа. — В таком случае позвольте вашему преданному слуге проводить вас, когда вы отправитесь домой.

— Благодарю вас; я не поеду отсюда домой.

— Не поедете домой! — воскликнул Бландуа. — Как это грустно!

Может быть, ему и было грустно, но это не заставило его уйти и оставить их вдвоем. Он сел и принялся занимать дам своими отборнейшими комплиментами и изящнейшими остротами, но все время его манера говорила им: «Нет, нет, нет, дорогие леди. Незачем вам беседовать обо мне».

Он внушал им это так убедительно и с такой дьявольской настойчивостью, что миссис Гоуэн

решилась наконец уйти. Он было предложил ей руку, чтобы проводить с лестницы, но она притянула к себе Крошку Доррит и, тихонько пожав ей руку, сказала:

— Нет, благодарю вас. Но если вы будете любезны узнать, на месте ли мой гондольер, я буду вам обязана.

Ему не оставалось ничего другого, как идти вперед. Когда он ушел со шляпой в руке, миссис Гоуэн прошептала:

— Это он убил собаку.

— Мистер Гоуэн знает об этом? — спросила Крошка Доррит тоже шепотом.

— Об этом никто не знает. Не глядите на меня, глядите на него. Он сейчас повернет голову. Никто не знает, но я уверена, что это он. Вы тоже?

— Я… да, я тоже так думаю.

— Генри любит его и не подозревает за ним ничего дурного; он сам так благороден и искренен. Но мы с вами уверены, что оценили его по достоинству. Он уверял Генри, будто собака была уже отравлена, когда так неожиданно пришла в бешенство и кинулась на него. Генри верит этому, но я не верю. Я вижу: он подслушивает, только ничего не слышит. Прощайте, милочка! Прощайте!

Последние слова она произнесла громко, так как бдительный Бландуа, остановившись внизу лестницы, смотрел на них, пока они спускались. Взгляд его был сладчайшим, но если бы какой-нибудь настоящий филантроп увидел его в эту минуту, то не задумался бы привязать ему камень на шею и бросить в воду за темной аркой подъезда, в котором тот стоял. Но так как такого благодетеля рода человеческого не оказалось налицо, то, усадив миссис Гоуэн в лодку, он наблюдал за ней до тех пор, пока она не исчезла из виду, а затем уселся в свою гондолу и отправился куда ему надо.

Крошке Доррит не раз приходило в голову, и теперь пришло снова, что этот господин слишком легко втерся в дом ее отца. Но то же можно было сказать о многих других господах, с тех пор как ее отец разделял пристрастие Фанни к выездам в свет, так что этот случай не представлял ничего исключительного. Стремление заводить новые знакомства, чтобы хвастать перед ними своим богатством и важностью, доходило в их семье просто до горячки.

Крошке Доррит казалось, что общество, в котором они вращались, очень смахивало на аристократию Маршалси. По-видимому, многие

попадали за границу почти так же, как другие в тюрьму: из-за долгов, лености, родства, праздного любопытства, вообще неумения устроиться дома. Они являлись в иностранные города под конвоем проводников и местных обывателей, как должники в тюрьму. Они шлялись по церквам и картинным галереям с вялым, сонным, безжизненным видом, как и арестанты по тюремному двору. Они вечно собирались уехать завтра или на будущей неделе, сами не знали своих намерений, редко исполняли то, что намеревались исполнить, и редко отправлялись туда, куда собирались ехать, совершенно так же, как должники в Маршалси. Они дорого платили за ничтожные удобства, и, делая вид, что расхваливают ту или другую местность, всячески поносили ее: привычка обитателей Маршалси. Когда они уезжали, то им завидовали те, которые оставались, и притворялись, что не хотят уехать, — и это тоже была черта, свойственная Маршалси. Условные фразы и термины, неразлучные с туристом (такие, как «коллегия» или «буфетная», с тюрьмой Маршалси), вечно были у них на языке. Они отличались той же неспособностью довести до конца начатое дело и так же портили друг друга, как арестанты: носили нелепые костюмы и вели беспорядочный

образ жизни, совершенно как в Маршалси.

Срок, определенный для пребывания в Венеции, кончился, и семейство со всей свитой двинулось в Рим. Минуя уже знакомые итальянские картины, принимавшие все более грязный и нищенский характер, пока наконец самый воздух не сделался зараженным, они добрались в конце концов до места назначения. Для них было приготовлено прекрасное помещение на Корсо, и вот они поселились в городе, где все имело такой вид, словно решилось вечно стоять на развалинах чего-то другого, — все, кроме воды, которая, повинуясь вечным законам природы, рвалась и струилась из бесчисленных фонтанов.

Здесь Крошке Доррит показалось, что дух Маршалси, тяготевший над их компанией, в значительной степени уступил место персикам и призмам. Все разгуливали по собору Святого Петра и Ватикану на чужих ходулях, рассматривая все, что попадалось, через чужие очки. Никто не выражал своего мнения о данном предмете, а всякий повторял мнение миссис Дженераль, мистера Юстеса или кого-нибудь другого. Туристы казались сборищем добровольных человеческих жертв, связанных по рукам и ногам и отданных в распоряжение мистера Юстеса и компании,

по вкусу которых наполнялись идеями их мозги. Развалины храмов, гробниц, дворцов, залов римского сената, театров и амфитеатров были переполнены туристами, вереницы которых, с завязанными глазами и языками, осторожно пробирались, повторяя «персики» и «призмы», чтобы придать губам надлежащий вид. Миссис Дженераль чувствовала себя как рыба в воде. Никто не имел никакого мнения. Лакированная внешность так и сияла вокруг нее, и ни единое честное и откровенное слово не возмущало ее ушей.

Другой вариант персиков и призм появился перед Крошкой Доррит вскоре после их приезда. Однажды утром им сделала визит миссис Мердль, задававшая в эту зиму тон в Вечном городе, и как она, так и Фанни обнаружили такое искусство в фехтовании, что робкая Крошка Доррит только ежилась, следя за сверкающими рапирами.

— Я в восторге, — сказала миссис Мердль, — возобновить знакомство, так неожиданно начавшееся в Мартиньи.

— Да, в Мартиньи, — сказала Фанни. — Я тоже очень рада.

— Я слышала от моего сына, Эдмунда Спарклера, — продолжила миссис Мердль, — что он уже

воспользовался этим счастливым случаем. Он вернулся из Венеции в восторге.

— В самом деле? — небрежно заметила Фанни. — Он долго там пробыл?

— Я могла бы предложить этот вопрос мистеру Дорриту, — ответила миссис Мердль, обращая свой бюст к этому джентльмену. — Эдмунд обязан ему тем, что его пребывание в Венеции было приятным.

— О, не стоит и говорить об этом, — возразила Фанни. — Папа имел удовольствие пригласить мистера Спарклера раза два или три, но это пустяки. У нас там была бездна знакомых; мы держали такой широко открытый дом, что папа не придавал никакого значения этой пустой любезности.

— За исключением того, душа моя, — вмешался мистер Доррит, — за исключением того, что я… кха… имел несказанное удовольствие… хм… выразить хотя бы пустой и незначащей любезностью… кха… хм… то высокое уважение, которое я… кха… питаю со всем остальным светом к моему знаменитому и благородному соотечественнику, мистеру Мердлю.

Бюст принял эту дань очень милостиво.

— Папа просто помешан на мистере Мердле, только о нем и толкует, — заметила мисс Фанни,

этим самым отодвигая мистера Спарклера на задний план.

— Я был очень… кха… неприятно поражен, сударыня, — продолжил мистер Доррит, — узнав от мистера Спарклера, что мистер Мердль вряд ли… хм… поедет за границу.

— Да, — сказала миссис Мердль, — он так занят и так необходим в Лондоне, что, я боюсь, ему не удастся вырваться. Он уже бог знает сколько лет не выезжал за границу. Вы, мисс Доррит, я полагаю, давно уже проводите за границей большую часть года?

— О да, — протянула Фанни с удивительной храбростью, — уже много лет.

— Я так и думала, — сказала миссис Мердль.

— Вы не ошиблись, — подтвердила Фанни.

— Во всяком случае, — продолжил мистер Доррит, — если мне не удалось познакомиться с мистером Мердлем по эту сторону Альп, то я надеюсь удостоиться этой чести по возвращении в Англию. Это честь, которая имеет в моих глазах особенно высокую цену.

— Мистер Мердль, — сказала миссис Мердль, с удивлением рассматривая Фанни в лорнет, — без сомнения, будет не меньше ценить честь знакомства с вами.

Крошка Доррит, по-прежнему задумчивая и одинокая среди окружавших ее лиц, приняла все это за чистые персики и призмы. Но когда ее отец после блестящего вечера у миссис Мердль завел речь за семейным завтраком о своем желании познакомиться с мистером Мердлем и посоветоваться с этим удивительным человеком насчет помещения своих капиталов, она начала думать, что слова отца имеют более серьезное значение, и с любопытством ожидала появления на горизонте этой яркой звезды.

Глава VIII. Вдовствующая миссис Гоуэн приходит к убеждению, что эти людишки ей не компания

В то время как воды Венеции и развалины Рима сияли на солнце для удовольствия семейства Доррит и воспроизводились во всех масштабах, стилях и степенях сходства карандашами бесчисленных туристов, фирма «Дойс и Кленнэм» действовала на подворье «Разбитые сердца», и громкий лязг железа раздавался там в течение долгих рабочих часов.

Младший компаньон тем временем поставил всю деловую часть на твердую почву, а старший, получив возможность заняться исключительно технической стороной, значительно поднял качество работы в мастерской. Как человек изобретательный, он, разумеется, должен был бороться со всевозможными препятствиями, испокон веку воздвигаемыми со стороны властей для этого рода государственных преступников, но ведь это только законная самозащита со стороны властей, так как принцип «как сделать дело» неизбежно является смертельным и непримири-

мым врагом принципа «как не сделать дела». На этом и основывается мудрая система, за которую зубами держится министерство околичностей, приглашая каждого изобретательного британского подданного изобретать на свою голову, мешая ему, ставя преграды, предоставляя мошенникам грабить его, затрудняя и обставляя ненужными формальностями и расходами практическое осуществление его мысли и в лучшем случае конфискуя его собственность после непродолжительного пользования, как будто изобретение равносильно уголовному преступлению. Эта система пользуется большой популярностью у Полипов и весьма резонно: изобретатель, если это действительно изобретатель, должен быть серьезным человеком, а Полипы ничего в мире так не боятся, как серьезных людей. И опять-таки весьма резонно: ведь если бы страна стала совершенно серьезно относиться к делу, ни один Полип, чего доброго, не усидел бы на месте.

Даниэль Дойс трезво относился к своему положению со всеми его тягостями и разочарованиями и спокойно работал ради самого дела. Кленнэм, разделяя его труды и заботы, был для него моральной поддержкой независимо от материальной помощи, и вскоре они сделались

друзьями.

Но Даниэль Дойс не мог забыть своего главного изобретения, разработке которого посвятил столько лет. Да и нельзя было бы ожидать этого: если бы он мог так легко забыть его, то никогда бы его не сделал и не мог бы работать над ним так усердно и настойчиво. Так думал Кленнэм, видя иногда по вечерам, как он перебирал модели и чертежи и со вздохом откладывал их в сторону, бормоча себе в утешение, что мысль все-таки остается верной.

Не выразить сочувствия такому терпению и таким разочарованиям значило бы, по мнению Кленнэма, не исполнить обязанности компаньона. Мимолетный интерес к этому предмету, случайно пробудившийся у него благодаря сцене в дверях министерства околичностей, ожил теперь с новой силой. Он просил своего компаньона объяснить суть изобретения, приняв в соображение, что он не техник.

— Не техник? — удивился Дойс. — Вы были бы отличным техником, если бы захотели. У вас самая подходящая голова для этого.

— Но совершенно неподготовленная, к сожалению, — сказал Кленнэм.

— Не знаю, — возразил Дойс, — я бы так не

сказал. Толковый человек, получивший общее образование и пополнявший его собственными усилиями, не может быть назван неподготовленным к чему бы то ни было. Я не люблю превращать науку в священнодействие. Я готов представить свою идею на суд всякому специалисту и неспециалисту, лишь бы он обладал теми качествами, на которые я указал.

— Во всяком случае, — сказал Кленнэм, — я получу (мы как будто расточаем друг другу комплименты, но ведь этого нет на самом деле) такое толковое объяснение, какое только можно желать.

— Ну, — сказал Дойс своим спокойным ровным голосом, — я постараюсь оправдать ваши надежды.

Он обладал способностью, которая часто встречается у таких людей, излагать свои мысли так же отчетливо и рельефно, как они рисовались в его уме. Его способ доказательства был так ясен, прост и последователен, что не мог привести ни к каким недоразумениям. Общее представление о нем как о мечтателе до смешного не вязалось с его точной, толковой манерой объяснять, осторожно водя пальцем по чертежу, терпеливо растолковывая затруднительные

пункты, возвращаясь в случае надобности к уже объясненным и не подвигаясь дальше ни на шаг, пока слушатель не овладеет предыдущим. Скромность, с какой он умалчивал о себе самом, была так же замечательна. Он никогда не говорил: «Я открыл это приспособление», или: «Я изобрел эту комбинацию», а излагал так, как будто бы все изобретение создано божественным механиком, а он только нашел его. Столько в нем было скромности, спокойного убеждения в непреложности и неизменности вечных законов, на которых основывалось изобретение, и глубокого уважения к этим законам.

Не только в этот вечер, но и в течение нескольких последующих вечеров Кленнэм с восхищением следил за объяснениями Дойса. Чем больше он вникал в них, чем чаще взглядывал на седую голову, наклонившуюся над чертежами, на проницательные глаза, с любовью и удовольствием созерцавшие свое любимое детище, тем меньше молодая энергия Кленнэма мирилась с решением отказаться от всяких дальнейших попыток. Наконец он сказал:

— Дойс, в конце концов вы пришли к тому, что дело нужно похоронить вместе с другими такими же несчастными или начать все сызнова.

— Да, — ответил Дойс, — это все, чего я добился от лордов и джентльменов после двенадцатилетних хлопот.

— Хороши господа, нечего сказать! — с горечью заметил Кленнэм.

— Обыкновенная история! — заметил Дойс. — Я не могу считать себя мучеником, когда нас такая многочисленная компания.

— Бросить — или начать все сызнова? — пробормотал Кленнэм.

— Да, так обстоит дело, — подтвердил Дойс.

— В таком случае, друг мой, — воскликнул Кленнэм, вскакивая и хватая его огрубевшую от работы руку, — мы начнем все сызнова!

Дойс бросил на него тревожный взгляд и торопливо ответил:

— Нет-нет! Лучше бросить. Гораздо лучше бросить. Когда-нибудь моя идея осуществится. Я могу бросить дело. Вы забываете, добрейший Кленнэм, что я уже бросил его. Тут все кончено.

— Да, Дойс, — сказал Кленнэм, — кончено, поскольку это зависит от ваших усилий, но не от моих. Я моложе вас, я только мимоходом заглянул в это неоценимое учреждение и могу начать борьбу со свежими силами. Ладно, я попытаюсь. Вы можете заниматься своим делом. Я же при-

бавлю (это ничуть не затруднит меня) к моим занятиям хлопоты насчет вашего изобретения, и, пока не добьюсь чего-нибудь путного, вы не услышите от меня ни слова.

Даниэль Дойс долго не мог согласиться и всячески пытался убедить Кленнэма бросить это дело. Но, весьма естественно, он уступил наконец настояниям своего компаньона и сдался. Итак, Артур взялся за долгую и безнадежную работу: добиться толку от министерства околичностей.

Приемные министерства скоро освоились с фигурой Кленнэма, и служители докладывали о нем, как в полицейском участке докладывают о приводе карманного вора, с той лишь разницей, что в полицейском участке стараются всячески задержать вора, тогда как министерство околичностей старалось всячески отделаться от Кленнэма. Как бы то ни было, он решился не отставать, и вот началась работа по заполнению бланков, составлению прошений, занесению во входящее дело, передаче в другое отделение, подписыванию, скреплению, возвращению обратно — словом, путешествие бумаг вперед, назад, вправо, влево, наискосок и зигзагами по всем румбам компаса.

Здесь уместно остановиться на одной особенности министерства околичностей, о которой

не было упомянуто раньше. В затруднительных случаях, когда это великое учреждение подвергалось нападкам какого-нибудь разъяренного члена парламента (которого младшие Полипы считали просто бесноватым) не по поводу какого-нибудь частного случая, а с общей точки зрения, как учреждение безусловно чудовищное и близкое к Бедламу [67], — во всех подобных случаях благородный или достопочтенный Полип, представлявший в палате интересы министерства, уничтожал и сокрушал противника указанием на чудовищную массу дел (цель которых была не дать сделать дело), проделанных министерством околичностей. В таких случаях благородный или достопочтенный Полип доставал бумагу, испещренную цифрами, и просил позволения представить ее вниманию палаты. Затем младшие Полипы начинали вопить: «Слушайте! Слушайте!» и «Читайте!». Затем благородный или достопочтенный Полип позволял себе заметить, основываясь на этом небольшом документе, который, он полагает, мог бы убедить самых упрямых (иронический смех и возгласы мелких Полипов), что за короткий промежуток

[67] Сноски: 67
Психиатрическая больница в Лондоне.

последнего года это столь жестоко подвергающееся нападкам министерство (рукоплескания) написало и получило пятнадцать тысяч писем (громкие рукоплескания) и тридцать две тысячи пятьсот семнадцать предписаний (бурные рукоплескания). Один остроумный джентльмен, состоящий при министерстве и сам по себе почтенный общественный деятель, сделал весьма любопытное вычисление насчет количества канцелярских принадлежностей, истребленных за тот же промежуток времени. Его данные приложены к тому же документу, и из них явствует, что бумагой, изведенной министерством ради общественной пользы, можно бы было выложить всю Оксфорд-стрит, из конца в конец, и еще осталось бы четверть мили для парка (оглушительные рукоплескания и смех), а тесьмы, красной тесьмы, истрачено столько, что ее можно было бы протянуть изящными фестонами от угла Гайд-парка до Главного почтамта. Затем среди взрыва аплодисментов благородный или достопочтенный Полип садился, оставив на поле битвы изувеченный труп дерзкого противника. Никто после такой жестокой казни не осмеливался намекнуть, что чем больше министерство околичностей делало, тем меньше выходило дела, и что истинным

благодеянием для публики было бы, если бы оно решилось ничего не делать.

Теперь, когда у Кленнэма прибавилась новая задача — задача, которая уже много хороших людей свела преждевременно в могилу, — он был так завален делами, что вел очень однообразную жизнь. Регулярные визиты к матери и не менее регулярные визиты к Мигльсам, в Туикнем, были его единственным развлечением в течение многих месяцев.

Он сильно скучал без Крошки Доррит. Он предвидел это, но не думал, что почувствует ее отсутствие так сильно. Только теперь он узнал по опыту, какое место в его жизни занимала эта милая маленькая фигурка. Он чувствовал также, что бесполезно надеяться на ее возвращение, так как понимал, что ее семья не допустит их сближения. Участие, которое он принимал в ней, ее нежная доверчивость вспоминались ему с грустью — так быстро миновало все это, так быстро отошло в прошлое вместе с другими нежными чувствами, которые приходилось ему испытывать.

Письмо Крошки Доррит тронуло и взволновало его, но не уничтожило сознания, что он отделен от нее не одним только расстоянием. Оно еще отчетливее и резче уяснило отношение ее се-

мьи к нему. Он понял, что она с благодарностью вспоминает о нем, но вспоминает втайне, так как остальные члены семьи недолюбливают его, помня, что он познакомился с ними в тюрьме.

Почти ежедневно предаваясь этим размышлениям, он видел ее в прежнем свете. Она оставалась его невинной подругой, его нежным ребенком, его милой Крошкой Доррит. Сама перемена обстоятельств как-то странно гармонировала с его привычкой считать себя гораздо старше своих лет — привычкой, укрепившейся в нем с той ночи, когда розы уплыли вдаль. Он не подозревал, как мучительно горько для нее подобное отношение с его стороны, несмотря на всю его нежность. Он раздумывал о ее будущей судьбе, о ее будущем муже с нежностью, которая разбила бы ее сердце, уничтожив ее самые заветные надежды.

Все вокруг него укрепляло в нем этот взгляд на себя как на старика, навеки простившегося с грезами, с которыми он боролся в истории с Минни Гоуэн (хотя это было вовсе не так давно, если считать годы и месяцы). Он относился к ее отцу и матери как овдовевший зять. Если бы другая сестра, умершая с детства, дожила до цветущего возраста и сделалась его женой, мистер и миссис

Мигльс, по всей вероятности, относились бы к нему именно так, как теперь. Это незаметно укрепляло в нем сознание, что он отжил романтический период своей жизни.

Он постоянно слышал от них о Минни, которая писала им, как она счастлива и как любит своего мужа, но так же постоянно и неизменно видел облако печали на лице мистера Мигльса. Со времени свадьбы мистер Мигльс ни разу не был в таком светлом настроении, как раньше. Он не мог привыкнуть к разлуке с Милочкой. Он оставался тем же открытым добродушным человеком, но на лице его неизменно сохранялось выражение печали об утрате.

Однажды в субботу, зимой, когда Кленнэм был в Туикнеме, вдовствующая миссис Гоуэн подкатила к коттеджу в хэмптон-кортском экипаже — том самом, который выдавал себя за исключительную собственность стольких владельцев. Она снисходительно явилась с визитом к мистеру и миссис Мигльс под сенью своего зеленого веера.

— Как вы поживаете, папа и мама Мигльс? — спросила она, ободряя своих скромных родственников. — Есть у вас известия о моем бедном мальчике?

«Мой бедный мальчик» был ее сын; этот способ

выражения вежливо, без оскорбительных слов, давал понять, что она считает его жертвой интриги Мигльсов.

— А наша милая красавица? — продолжила миссис Гоуэн. — Вы получали о ней известия после меня?

Это был такой же деликатный намек на то, что ее сын пленился только хорошеньким личиком и пожертвовал ради него более существенными мирскими благами.

— Конечно, — продолжила миссис Гоуэн, не дожидаясь ответа на свои вопросы, — несказанное утешение знать, что они живут счастливо. Мой бедный мальчик такой неугомонный, непостоянный, так избалован общим вниманием, что для меня, право, утешительно это слышать. Я полагаю, они вечно нуждаются в деньгах, папа Мигльс?

Мистер Мигльс, которого покоробило при этом вопросе, возразил:

— Надеюсь, что нет, сударыня. Надеюсь, что они экономно распоряжаются своими маленькими средствами.

— О добрейший мой Мигльс! — воскликнула леди, хлопнув его по руке своим зеленым веером и затем искусно прикрыв им зевок. — Как

можете вы, такой опытный и деловой человек (ведь вы настоящий деловой человек, не нам, грешным, чета) говорить об их экономности? Бедный мой мальчик! Ему экономить! Да и ваша Милочка! Говорить об ее экономности! Полноте, папа Мигльс.

— Ну, сударыня, — серьезно сказал мистер Мигльс, — если так, то я с сожалением должен заметить, что Генри действительно живет не по средствам.

— Добрейший мой, я говорю с вами запросто, потому что мы ведь в некотором роде родственники (положительно, мама Мигльс)! — весело воскликнула миссис Гоуэн, как будто нелепость этих отношений впервые ясно представилась ее уму. — Добрейший мой, в этом мире никто из нас не может рассчитывать, чтобы все делалось по его вкусу.

Это опять-таки клонилось к прежней цели: намекнуть благовоспитаннейшим образом, что до сих пор все его замыслы увенчались блестящим успехом. Миссис Гоуэн так понравился этот намек, что она остановилась на нем подольше, повторив:

— Да, всего не получишь. Нет-нет, в этом мире мы не должны ожидать всего, папа Мигльс.

— А могу я спросить, сударыня, — сказал мистер Мигльс, слегка покраснев, — кто же ожидает всего?

— О, никто, никто! — подхватила миссис Гоуэн. — Я хотела сказать… но вы меня перебили. Что такое я хотела сказать, нетерпеливый папа Мигльс?

Опустив зеленый веер, она рассеянно взглянула на мистера Мигльса, стараясь припомнить что-то, — маневр, отнюдь не способствовавший охлаждению взволнованных чувств этого джентльмена.

— А, да-да… — вспомнила миссис Гоуэн. — Вы должны помнить, что мой мальчик привык иметь известные виды на будущее. Они могли осуществиться, могли не осуществиться…

— Скажем лучше: могли не осуществиться, — заметил мистер Мигльс.

Вдова взглянула на него с гневом, но тотчас заглушила эту вспышку движением головы и веера и продолжила прежним тоном:

— Это безразлично. Мой мальчик привык к этому, и вы, разумеется, знали это и могли приготовиться к последствиям. Я сама ясно видела последствия, и теперь ничуть не удивляюсь. Вы тоже не должны удивляться: не можете удивлять-

ся, — вы должны были приготовиться к этому.

Мистер Мигльс посмотрел на жену, посмотрел на Кленнэма, закусил губу и кашлянул.

— И вот мой бедный мальчик, — продолжила миссис Гоуэн, — узнает, что ему нужно положиться на самого себя в ожидании ребенка и расходов, неизбежно связанных с приращением семейства! Бедный Генри! Но теперь уже поздно, теперь не поможешь! Только не говорите о том, что он живет не по средствам, как о каком-то неожиданном открытии, папа Мигльс, это уж слишком!

— Слишком, сударыня? — с недоумением спросил мистер Мигльс.

— Полноте, полноте! — ответила миссис Гоуэн с выразительным жестом, говорившим: знай свое место. — Слишком много для матери бедного мальчика. Они обвенчались и не могут быть разведены. Да-да, я знаю это. Вам незачем говорить мне об этом. Я знаю это очень хорошо… Что я сейчас сказала? Очень утешительно знать, что они счастливы. Будем надеяться, что они до сих пор счастливы. Будем надеяться, что красавица сделает все от нее зависящее, чтобы доставить счастье моему бедному мальчику. Папа и мама Мигльс, нам лучше не говорить об этом. Мы всегда смотрели на этот предмет с различных точек

зрения и теперь смотрим так же. Будет, будет. Я не сержусь больше.

Действительно, высказав все, что было можно, для поддержания своего мифического положения и напомнив мистеру Мигльсу, что ему недешево обойдется почетное родство, миссис Гоуэн готова была простить все остальное. Если бы мистер Мигльс покорился умоляющему взгляду миссис Мигльс и выразительному жесту Кленнэма, то предоставил бы миссис Гоуэн безмятежно наслаждаться сознанием своего величия. Но Милочка была его радость и гордость, и если он когда-нибудь ратовал за нее сильнее и любил нежнее, чем в те дни, когда она озаряла своим присутствием его дом, так это именно теперь, когда он так сильно чувствовал ее отсутствие.

— Миссис Гоуэн, сударыня, — сказал он, — я всегда, всю мою жизнь, был прямой человек. Если бы я вздумал пуститься в тонкие мистификации: все равно — с самим собой или с кем-нибудь другим, или с обоими разом, — то, по всей вероятности, потерпел бы неудачу.

— По всей вероятности, папа Мигльс, — заметила вдова с любезной улыбкой, хотя розы на ее щеках стали чуть-чуть алее, а соседние места — чуть-чуть бледнее.

— Поэтому, сударыня, — продолжил мистер Мигльс, с трудом сдерживая свое негодование, — без обиды будь сказано, я надеюсь, что и других могу просить не разыгрывать со мной мистификаций.

— Мама Мигльс, — заметила миссис Гоуэн, — ваш муженек говорит загадками.

Это обращение к миссис Мигльс было военной хитростью: миссис Гоуэн хотела завлечь достойную леди в спор, поссориться с ней и победить ее. Но мистер Мигльс помешал исполнению этого плана.

— Мать, — сказал он, — ты неопытна и непривычна к спорам, душа моя. Прошу тебя, не вмешивайся!.. Полноте, миссис Гоуэн, полноте; постараемся рассуждать здраво, без злобы, честно. Не горюйте о Генри, и я не буду горевать о Милочке. Не будем односторонни, сударыня: это нехорошо, это негуманно. Не будем выражать надежду, что Милочка сделает Генри счастливым или даже, что Генри сделает Милочку счастливой. — Мистер Мигльс сам далеко не выглядел счастливым, говоря это. — Будем надеяться, что оба они сделают счастливыми друг друга.

— Ну конечно, и довольно об этом, отец, — сказала добродушная и мягкосердечная миссис Мигльс.

— Нет, мать, — возразил мистер Мигльс, — не довольно. Я не могу остановиться на этом. Я должен прибавить еще несколько слов. Миссис Гоуэн, надеюсь, я не особенно обидчив, не выгляжу особенно обидчивым?

— Ничуть, — с пафосом заметила миссис Гоуэн, покачивая головой и большим зеленым веером.

— Благодарю вас, сударыня, очень рад слышать. Тем не менее я чувствую себя несколько… не хочу употреблять резкого выражения… скажу — задетым, — ответил мистер Мигльс чистосердечным, сдержанным и примирительным тоном.

— Говорите что угодно, — сказала миссис Гоуэн, — мне решительно все равно.

— Нет-нет, не говорите этого, — возразил мистер Мигльс, — это не дружеский ответ. Я чувствую себя задетым, когда слышу рассуждения о каких-то последствиях, которые должно было предвидеть, о том, что теперь уж поздно, и тому подобное.

— Чувствуете себя задетым, папа Мигльс? — спросила миссис Гоуэн. — Не удивляюсь этому.

— Ну, сударыня, — отозвался мистер Мигльс, — я надеялся, что вы по крайней мере удивитесь, потому что задевать умышленно за такие деликатные струны невеликодушно.

— Ну, знаете, — возразила миссис Гоуэн, — я ведь не ответственна за вашу совесть.

Бедный мистер Мигльс взглянул на нее с изумлением.

— Если мне, к несчастью, приходится вместе с вами расхлебывать кашу, которую вы заварили по своему вкусу, — продолжила миссис Гоуэн, — не браните же меня за то, что она оказалась невкусной, папа Мигльс.

— Послушайте, сударыня, — произнес мистер Мигльс, — стало быть, вы утверждаете…

— Папа Мигльс, папа Мигльс, — перебила миссис Гоуэн, которая становилась тем хладнокровнее и спокойнее, чем больше он горячился, — чтоб не вышло путаницы, я лучше буду говорить сама и избавлю вас от труда объясняться за меня. Вы сказали «стало быть, вы утверждаете…» С вашего позволения я докончу эту фразу. Я утверждала — не для того, чтобы упрекать вас или колоть вам глаза: теперь это бесполезно, — мне же нужно только выяснить существующие обстоятельства что с начала до конца я была против ваших планов и уступила только с большой неохотой.

— Мать, — воскликнул мистер Мигльс, — ты слышишь? Артур, вы слышите?

— Так как эта комната обыкновенных разме-

ров, — сказала миссис Гоуэн, осматривая ее и обмахиваясь веером, — и как нельзя лучше приспособлена для беседы, то я полагаю, что меня слышат все находящиеся в ней.

Несколько минут прошло в молчании, прежде чем мистер Мигльс успел овладеть собой настолько, чтобы не разразиться вспышкой гнева при первом же слове. Наконец он сказал:

— Сударыня, мне неприятно говорить о прошлом, но я должен напомнить вам мои мнения и мой образ действий во всей этой несчастной истории.

— О милейший мой, — сказала миссис Гоуэн, улыбаясь и покачивая головой, — я их отлично понимала, могу вас уверить.

— Никогда, сударыня, никогда до этого времени не знал я горя и тревоги. Но это время было для меня таким горьким, что... — Мистер Мигльс не мог продолжать от волнения и провел платком по лицу.

— Я очень хорошо понимала, в чем дело, — ответила миссис Гоуэн, спокойно поглядывая поверх веера. — Так как вы обратились к посредничеству мистера Кленнэма, то и я обращусь к нему же. Он знает, понимала я или нет.

— Мне очень неприятно, — сказал Кленнэм,

видя, что все взоры обратились на него, — принимать участие в этом споре, тем более что я хотел бы сохранить добрые отношения с мистером Гоуэном. У меня есть весьма веские причины для такого желания. В разговоре со мной миссис Гоуэн приписывала моему другу, мистеру Мигльсу, известные виды на этот брак; я же старался разуверить ее. Я говорил, что мне известно (и мне действительно известно), как упорно мистер Мигльс противился этому браку.

— Видите! — сказала миссис Гоуэн, обращая ладони к мистеру Мигльсу, точно само правосудие, советующее преступнику сознаться, так как улики очевидны. — Видите? Очень хорошо! Теперь, папа и мама Мигльс, — при этих словах она встала, — позвольте мне положить конец этому чудовищному препирательству. Я не скажу о нем ни слова. Замечу только, что оно может служить лишним доказательством того, что всем нам известно по опыту: такие вещи никогда не удаются, «не вытанцовываются», как выразился бы мой бедный мальчик, — одним словом, что из этого ничего не выйдет.

— Какие вещи? — спросил мистер Мигльс.

— Бесполезны всякие попытки к сближению, — продолжила миссис Гоуэн, — между людьми,

прошлое которых так различно, которых свел вместе случайный брак и которые не могут смотреть с одинаковой точки зрения на обстоятельства, послужившие их сближению. Из этого ничего не выйдет.

— Позвольте вам сказать, сударыня… — начал мистер Мигльс.

— Нет, не нужно! — возразила миссис Гоуэн. — К чему? Это факт, не подлежащий сомнению. Ничего не выйдет. И потому, с вашего позволения, я пойду своей дорогой, предоставив вам идти своей. Я всегда буду рада принять у себя хорошенькую жену моего бедного мальчика и всегда буду относиться к ней ласково. Но такие отношения — полусвои, получужие, полуродня, полузнакомые — нелепы до смешного. Уверяю вас, из этого ничего не выйдет.

С этими словами вдова любезно улыбнулась, сделала общий поклон — скорее комнате, чем присутствующим, и распростилась навсегда с папой и мамой Мигльс. Кленнэм проводил ее до экипажа, похожего на коробку для пилюль, она уселась в него, сохраняя безмятежно-ясный вид, и укатила.

С этого времени вдова нередко рассказывала с легким и беззаботным юмором, как после тяжких

разочарований нашла невозможным продолжать знакомство с этими людьми, родными жены Генри, которые так отчаянно старались поймать его. Не решила ли она заблаговременно, что отделаться от них для нее выгодно, так как это придаст более убедительный вид ее излюбленной выдумке, избавит от мелких стеснений и решительно ничем не грозит ей (обвенчанных не разведешь, а мистер Мигльс обожает свою дочку)? Об этом знала она одна. Впрочем, и автор этой истории может ответить на этот вопрос вполне утвердительно.

Глава IX. Появление и исчезновение

— Артур, дорогой мой, — сказал мистер Мигльс на другой день вечером, — мы потолковали с матерью и решили, что так оставлять нельзя. Наша элегантная родственница, вчерашняя почтенная леди…

— Понимаю, — сказал Артур.

— Мы боимся, — продолжил мистер Мигльс, — что это украшение общества, эта образцовая и снисходительная дама может набросить на нас тень. Мы многое можем вынести ради Милочки, но не считаем нужным, так как не видим в этом пользы для нее.

— Так, — сказал Артур, — продолжайте.

— Изволите видеть, — произнес мистер Мигльс, — она может поссорить нас даже с зятем, может поссорить нас с дочерью, может создать семейную неурядицу. Не правда ли?

— Да, в ваших словах много справедливого, — сказал Артур.

Он взглянул на миссис Мигльс, которая всегда была на стороне доброго и справедливого, и прочел на ее честном лице просьбу поддержать мистера Мигльса.

— И вот, нас так и подмывает, меня и мать, упаковать наши чемоданы и махнуть в сторону Allons и Marchons. Я хочу оказать, нам пришло в голову съездить через Францию в Италию повидать нашу Милочку.

— И прекрасно сделаете, — сказал Артур, тронутый выражением материнской нежности на открытом лице миссис Мигльс (она, по всей вероятности, в свое время очень походила на дочь), — ничего лучше не придумать. И если вы спросите моего совета, так вот он: поезжайте завтра.

— Право! — воскликнул мистер Мигльс. — Мать, а ведь это идея!

Мать, бросив на Кленнэма благодарный взгляд, крайне тронувший его, выразила свое согласие.

— К тому же, Артур, — сказал мистер Мигльс, и старое облако затуманило его лицо, — мой зять снова влез в долги, и похоже на то, что я снова должен выручать его. Пожалуй, ради этого одного мне следует съездить к нему и дружески поговорить с ним. Да вот еще и мать волнуется (оно и естественно) насчет здоровья Милочки и боится, не чувствует ли она себя одинокой. Ведь и в самом деле это далекий край, и во всяком случае для нее чужбина, не то что в своем гнезде.

— Все это верно, — сказал Артур, — и все это только лишние поводы ехать.

— Очень рад, что вы так думаете: это заставляет меня решиться. Мать, дорогая моя, собирайся! Теперь мы лишились нашего милого переводчика (она чудесно говорила на трех языках, Артур, да вы сами слышали), теперь уж придется тебе вывозить меня, мать. Один бы я совсем пропал, Артур, один я и шага не сделаю Мне и не выговорить ничего, кроме имен существительных, да и то которые попроще.

— Что бы вам взять с собой Кавалетто? — предложил Артур. — Он охотно отправится с вами. Мне было бы жаль потерять его, но ведь вы доставите его обратно в целости.

— Очень вам благодарен, дружище, — ответил мистер Мигльс, — но я думаю, что лучше обойтись без него. Пусть уж лучше меня вывозит мать. Кавальлюро (вот уж я и запнулся на его имени: оно звучит точно припев комической песни) так нужен вам, что я не хочу его увозить. Да и бог его знает, когда еще мы вернемся; нельзя же брать его на неопределенное время. Наш дом теперь не то, что прежде. В нем не хватает только двух жильцов: Милочки и бедняжки Тэттикорэм, а выглядит он совсем пустым. Кто знает, когда

мы вернемся сюда. Нет, Артур, пусть уж меня вывозит мать.

«Пожалуй, им в самом деле лучше будет одним», — подумал Кленнэм и решил не настаивать на своем предложении.

— Если вам вздумается побывать здесь в свободную минуту, — прибавил мистер Мигльс, — мне будет приятно думать и матери тоже… я знаю, что вы оживляете этот уголок частицей его прежней жизни и что дружеские глаза смотрят на портрет малюток на стене. Вы так сроднились с этим местом и с нами, Артур, и все мы были бы так счастливы, если бы судьба решила… Но позвольте: надо посмотреть, хороша ли погода для отъезда!

Мистер Мигльс поперхнулся, откашлялся и взглянул в окно.

Погода, по общему мнению, оказалась вполне благоприятной, и Кленнэм поддерживал разговор в этом безопасном направлении, пока все снова не почувствовали себя легко и свободно; затем он незаметно перешел к мистеру Гоуэну, распространился о его быстром уме и приятных качествах, которые выступают особенно ярко, если с ним обращаться осторожно; сказал несколько слов о его несомненной привязанности к жене. Он

достиг своей цели: добрейший мистер Мигльс развеселился и попросил мать засвидетельствовать, что его искреннее и сердечное желание — сойтись с зятем на почве взаимного доверия и дружбы. Спустя несколько часов мебель была одета в чехлы, или, как выразился мистер Мигльс, дом завернул свои волосы в папильотки, а через несколько дней отец и мать уехали, миссис Тиккит и доктор Бухан поместились на своем посту у окошка, и одинокие шаги Артура шуршали по сухой опавшей листве садовых аллей.

Он любил это место и навещал его почти каждую неделю. Иногда он оставался в коттедже с субботы до понедельника один, иногда вместе со своим компаньоном; иногда являлся только побродить часок-другой по дому и саду и, убедившись, что все в порядке, возвращался в Лондон. Но всегда, при всяких обстоятельствах, миссис Тиккит с ее черными локонами и доктор Бухан находились у окна гостиной, поджидая возвращения хозяев.

В одно из посещений Кленнэма миссис Тиккит встретила его словами:

— Мне нужно сообщить вам, мистер Кленнэм, удивительную вещь.

Должно быть, вещь была в самом деле удиви-

тельной, если заставила миссис Тиккит оторваться от окна и выйти в сад навстречу Кленнэму.

— В чем дело, миссис Тиккит? — спросил он.

— Сэр, — ответила верная домоправительница, уводя его в гостиную и затворяя за собой дверь, — если я видела когда-нибудь бедную обманутую беглянку, так видела вчера в сумерки под вечер.

— Неужели вы говорите о Тэтти…

— …корэм, да, о ней! — объявила миссис Тиккит, разом выкладывая свою удивительную новость.

— Где?

— Мистер Кленнэм, — ответила миссис Тиккит, — у меня немножко слипались глаза, потому что мне пришлось очень долго ждать, пока Мэри Джейн приготовит чай. Я не спала и, если выразиться правильно, не дремала. Я, если выразиться строго, бодрствовала с закрытыми глазами.

Не расспрашивая подробно об этом любопытном состоянии, Кленнэм сказал:

— Именно. Ну и что же?

— Ну, сэр, — продолжила миссис Тиккит, — я думала о том о сем: так точно, как могли бы и вы думать, так точно, как мог бы думать и всякий другой.

— Именно, — подтвердил Артур. — Что же

дальше?

— И когда я думала о том о сем, — продолжила миссис Тиккит, — то, как вы сами понимаете, мистер Кленнэм, думала о семействе. Ведь в самом деле, — прибавила миссис Тиккит убедительным и философским тоном, — как бы ни разбегались человеческие мысли, они всегда будут более или менее вертеться на том, что у человека в голове. Будут, сэр, и ничего вы против этого не поделаете.

Артур подтвердил это открытие кивком.

— Смею сказать, сэр, вы можете сами убедиться в этом, — продолжила миссис Тиккит, — и все мы можем сами убедиться в этом. Разница в общественном положении тут ничего не значит, мистер Кленнэм, мысли свободны! Так вот: как я уже сказала, я думала о том о сем и думала о семействе — не только о семействе в настоящее время, но и о семействе в прошлые времена, — потому что, когда человек думает о том о сем, так что все перепутывается, то все времена являются разом и человеку нужно опомниться да хорошенько подумать, чтобы решить, которое из них настоящее, которое прошлое.

Артур снова кивнул, опасаясь вымолвить слово, чтобы не открыть как-нибудь новый шлюз

для красноречия миссис Тиккит.

— Вследствие этого, — продолжила миссис Тиккит, — когда я открыла глаза и увидела, что она самолично, собственной своей особой, стоит у калитки, я даже ничуть не удивилась и снова закрыла глаза, потому что в моих мыслях ее фигура была неотделима от этого дома так же, как моя или ваша, и мне даже в голову не приходило, что она ушла. Но, сэр, когда я снова открыла глаза и увидела, что ее нет, тут я разом все вспомнила, испугалась и вскочила.

— И сейчас же выбежали из дома? — спросил Кленнэм.

— Выбежала из дома, — подтвердила миссис Тиккит, — со всех ног; и верьте не верьте, мистер Кленнэм, ничего не нашла, да, ничего, то есть вот ни мизинца этой девушки не осталось на всем небосклоне!

Обойдя молчанием отсутствие этого нового созвездия на небосклоне, Кленнэм спросил миссис Тиккит, выходила ли она за ворота.

— Выходила и бегала туда и сюда, взад и вперед, — сказала миссис Тиккит, — и ничего не нашла, никаких следов!

Тогда он спросил миссис Тиккит, много ли времени прошло, по ее расчету, между первым

и вторым открыванием глаз. Миссис Тиккит распространилась на эту тему очень подробно, но все-таки не могла решить — пять секунд или десять минут. Очевидно было, что она не может сообщить об этом ничего путного, да и состояние, о котором она рассказывала, до такой степени смахивало на сон, что Кленнэм готов был считать ее видение грезой. Не желая оскорблять миссис Тиккит столь прозаическим объяснением ее тайны, он унес его с собой из коттеджа и, вероятно, остался бы при нем навсегда, если бы случайная встреча не заставила его вскоре изменить свое мнение.

Однажды под вечер он шел по Стрэнду, а перед ним шел ламповщик, под рукой которого уличные фонари вспыхивали один за другим в туманном воздухе, точно внезапно расцветающие подсолнечники, как вдруг вереница нагруженных углем телег, пересекавших улицу по пути от пристани в город, заставила его остановиться. Он шел быстро, задумавшись, и внезапная остановка, прервавшая нить его мыслей, заставила его осмотреться, как делают люди в подобных обстоятельствах.

В ту же минуту он увидел перед собой, на таком близком расстоянии, что мог бы достать до них

рукой, хотя их разделяли двое-трое прохожих, Тэттикорэм и незнакомого господина замечательной наружности: с нахальной физиономией, ястребиным носом и черными усами, которые казались такими же фальшивыми, как и взгляд его глаз, в тяжелом дорожном плаще. Одежда и общий вид его напоминали путешественника — по-видимому, он встретился с девушкой недавно. Наклоняясь к ней (он был гораздо выше ее ростом) и слушая ее слова, он бросал через ее плечо подозрительные взгляды человека, у которого есть основания опасаться, что за ним следят. При этом Кленнэму удалось рассмотреть его лицо. Взгляд его скользил по прохожим, не остановившись на лице Кленнэма.

Не успел он отвернуться, все еще продолжая прислушиваться к словам девушки, как телеги проехали и толпа хлынула дальше. По-прежнему наклонив голову и слушая девушку, он пошел с ней рядом, а Кленнэм последовал за ними, решив воспользоваться этим неожиданным случаем и узнать, куда они идут.

Не успел он принять это решение (хотя для этого потребовалось немного времени), как ему снова пришлось остановиться. Они свернули в Адельфи — девушка, очевидно, указывала путь

— и направились прямо, по-видимому, на набережную.

Эта местность до сих пор поражает своей тишиной после гула и грохота большой улицы. Звуки внезапно замирают, точно вам заткнули уши ватой или накинули мешок на голову. В те времена контраст был еще сильнее: тогда на реке не было пароходов, не было пристаней, а только скользкие деревянные лестницы, не было ни железной дороги на противоположном берегу, ни висячего моста и рыбного рынка по соседству, ни суеты на ближайшем каменном мосту, никаких судов, кроме яликов и угольных барж. Длинные черные неподвижные ряды этих барж, стоявших на якоре в прибрежном иле, из которого, казалось, им уже не выбраться, придавали вечером погребальный унылый вид реке, заставляя и то небольшое движение, которое оставалось на ней, сосредоточиваться на середине. В любое время после захода солнца или даже после того часа, когда люди, у которых есть что-нибудь на ужин, уходят домой ужинать, а те, у которых нет ничего, выползают на улицу нищенствовать или воровать, эта местность выглядит настоящей пустыней.

В такой именно час Кленнэм остановился на

углу, следя глазами за девушкой и странным незнакомцем, которые шли по улице. Шаги незнакомца отдавались так гулко в этой каменной пустыне, что Артур не решался усиливать этот шум и стоял неподвижно. Но когда они миновали арку и очутились в темном проходе, выходившем на набережную, он пошел за ними с равнодушным видом случайного прохожего.

Когда он миновал темный проход, они шли по набережной, направляясь к какой-то женщине, которая шла им навстречу. Он бы, пожалуй, не узнал ее, если бы встретил одну на таком расстоянии, в тумане, при тусклом свете фонарей, но фигура девушки пробудила в нем воспоминания и он с первого взгляда узнал мисс Уэд.

Он остановился на углу, лицом к улице, как будто поджидал кого-нибудь, но продолжал следить за всеми тремя. Когда они сошлись, незнакомец снял шляпу и поклонился мисс Уэд. По-видимому, девушка сказала несколько слов, как будто представляла его или объясняла, почему он запоздал или явился слишком рано, потом отошла. Мисс Уэд с незнакомцем принялись расхаживать взад и вперед; незнакомец, насколько можно было судить издали, держал себя с изысканной учтивостью и любезностью, мисс Уэд — крайне

высокомерно.

Когда они дошли до угла и повернули обратно, она заявила:

— Интересуюсь я этим или нет, сэр, мое дело. Занимайтесь своим и не спрашивайте меня.

— Клянусь Небом, сударыня, — ответил он с поклоном, — этот вопрос вызван моим глубоким уважением к вашему сильному характеру и моим восхищением вашей красотой!

— Я не требую ни того ни другого ни от кого, — возразила она, — а от вас в особенности. Продолжайте.

— Прощаете ли вы меня? — спросил он с видом смущенной любезности.

— Вам уплачены деньги, — ответила она, — больше вам ничего не требуется.

Между тем девушка шла сзади, потому ли, что не интересовалась их разговором, или потому, что знала в чем дело, Кленнэм не мог решить. Когда они повернулись, повернулась и она. Она смотрела на реку и шла, скрестив руки на груди, — это все, что он мог видеть, не поворачиваясь к ним. К счастью, тут случился человек, который действительно поджидал кого-то: он то облокачивался на перила набережной и смотрел в воду, то подходил к углу и окидывал взглядом

улицу, и благодаря ему фигура Кленнэма не так бросалась в глаза.

Когда мисс Уэд и незнакомец снова вернулись к углу, она сказала:

— Вы должны подождать до завтра.

— Тысяча извинений, — возразил он, — ей-богу, нельзя ли сегодня?

— Нет! Говорят вам: я могу передать их вам, только когда достану.

Она остановилась, видимо желая положить конец разговору. Он, разумеется, тоже остановился. Девушка тоже.

— Это не совсем удобно для меня, — сказал незнакомец, — не совсем удобно. Но, бог мой, чтобы услужить вам, можно перенести маленькое неудобство. Сегодня мне придется обойтись без денег. Правда, у меня есть хороший банкир в этом городе, но я не намерен являться к нему в контору, пока не придет время получить кругленькую сумму.

— Гарриет, — сказала мисс Уэд, — условьтесь с ним, с этим джентльменом, насчет денег: он получит их завтра.

Она произнесла слово «джентльмен» с запинкой, в которой чувствовалось больше презрения, чем могло бы быть в умышленной резкости, и

медленно ушла от них.

Незнакомец снова наклонил голову, вслушиваясь в слова девушки, и оба последовали за мисс Уэд. Кленнэм решился взглянуть на Тэтти и заметил, что глаза ее подозрительно следили за незнакомцем и что держалась она от него на некотором расстоянии, пока они шли рядом по набережной.

Не успел он еще разглядеть, чем кончились их переговоры, как громкий и резкий звук шагов по мостовой известил его, что незнакомец возвращается обратно один. Кленнэм отошел от угла к перилам, и незнакомец быстро прошел мимо него, закинув через плечо конец плаща и напевая легкомысленную французскую песенку.

Никого не было видно на набережной, кроме него. Прохожий, поджидавший кого-то, ушел, мисс Уэд и Тэттикорэм исчезли. Кленнэм осторожно дошел до конца набережной, осматриваясь по сторонам, не увидит ли их где-нибудь, так как ему хотелось сообщить о них побольше своему другу, мистеру Мигльсу. Он справедливо рассудил, что сначала они пойдут в противоположную сторону от своего недавнего спутника. Вскоре он увидел их в соседнем переулке, очевидно поджидавших, чтобы незнакомец ушел подальше.

Они тихонько шли рука об руку по одной стороне переулка, затем вернулись по другой. Выйдя на улицу, они ускорили шаги, как люди, идущие с определенной целью. Кленнэм упорно следовал за ними, не теряя их из виду. Они миновали Стрэнд, прошли через Ковент-Гарден (под окнами того дома, где жил он когда-то и где была у него в гостях Крошка Доррит), отсюда продолжили путь в северо-восточном направлении, прошли мимо дома, от которого Тэттикорэм получила свое имя, и свернули в Грейс-Инн-роуд. В этой местности Кленнэм был как дома, так как здесь обитали Флора, патриарх, Панкс, и поэтому мог следить за женщинами без труда. Он недоумевал, куда они направляются, но это недоумение превратилось в удивление, когда они свернули на улицу, где жил патриарх. Удивление, в свою очередь, сменилось изумлением, когда они остановились у его двери. Негромкий двойной удар блестящим медным молотком, полоса света, упавшая на улицу из отворившейся двери, непродолжительные переговоры, и они исчезли за дверью.

Оглянувшись кругом, чтобы удостовериться, что это не сон, и пройдясь взад и вперед мимо дома, Кленнэм тоже постучал в дверь.

Знакомая девушка отворила дверь и сразу

провела его в приемную Флоры. У Флоры не было никого, кроме тетки мистера Финчинга. Эта почтенная леди восседала среди благовонных испарений чая и гренков, в удобном кресле у камина, подле маленького столика; на коленях у нее был чистый белый платок, а на нем два гренка, ожидавших своей очереди. Наклонившись над чашкой, она дула на горячий чай, окруженная облаками пара, точно злая китайская волшебница за своими нечестивыми обрядами, но, увидев Кленнэма, поставила чашку и воскликнула:

— Черт побери, опять он здесь!

Судя по этому восклицанию, непримиримая родственница оплакиваемого мистера Финчинга, измерявшая время живостью своих ощущений, а не часами, вообразила, будто Кленнэм только что был у них, тогда как на самом деле уже три месяца прошло с тех пор, как он имел дерзость явиться перед ней.

— Господи, Артур! — воскликнула Флора, радостно вскакивая ему навстречу. — «Дойс и Кленнэм», какая неожиданность и сюрприз, хотя недалеко от мастерской и литейной, и, конечно, можно было бы заходить хоть около полудня, когда стакан хереса и скромный бутерброд с каким-нибудь мясом из погреба всегда готовы и

ничуть не хуже оттого, что от души, ведь вы же покупаете его где-нибудь, и где бы вы ни покупали, торговец должен продать с барышом, а вас все-таки не видно, и мы уж перестали вас ожидать, так как сам мистер Финчинг говорил, если видеть — значит верить, то не видеть — значит тоже верить, и когда вы не видите, вы вполне можете верить, что вас не помнят, хотя я вовсе не ожидала, Дойс и Кленнэм, что вы помните меня, с какой стати, те дни давно миновали, но возьмите чашку и гренок и садитесь поближе к огню!

Артуру очень хотелось объяснить поскорее цель своего прихода, но упрек, звучавший в этих словах, и ее искренняя радость остановили его.

— А теперь, пожалуйста, расскажите мне, — продолжила Флора, подвигаясь поближе к нему, — все, что вы знаете о бедной милой тихой крошке и обо всех переменах ее судьбы: разумеется, карета и собственные лошади без числа и, конечно, герб и дикие звери на задних лапах показывают его, точно свое собственное сочинение, разинув рот до ушей. Боже милостивый, но прежде всего, как ее здоровье? Потому что без здоровья и богатство не радость, сам мистер Финчинг говорил, когда у него наступал припадок, что лучше шесть пенсов в день без подагры, хотя

он, конечно, не прожил бы на такую сумму, да и милая крошка, хотя это слишком фамильярное выражение, конечно, не имеет предрасположения к подагре, но она выглядела такой хрупкой. Да благословит ее Господь!

Тут тетка мистера Финчинга, скушавшая тем временем весь гренок, оставив только корочку, торжественно протянула эту корочку Флоре, которая съела ее как ни в чем не бывало. Затем тетка мистера Финчинга послюнила один за другим все десять пальцев, вытерла их платком и принялась за другой гренок. Проделав все это, она взглянула на Кленнэма с выражением такой лютой ненависти, что он также против воли не мог отвести от нее глаз.

— Она в Италии со всем своим семейством, Флора, — сказал он, когда ужасная леди снова занялась гренком.

— Неужто в Италии, — подхватила Флора, — где всюду растут фиги и виноград, и ожерелья, и браслеты из лавы, в поэтической стране с огнедышащими горами, живописными до невероятия, хотя нет ничего удивительного, что маленькие шарманщики не хотят сгореть живьем в таком юном возрасте и бегут оттуда и уносят с собой белых мышей, что в высшей степени гуманно с их

стороны; так она в этой чудной стране, где только и видишь голубое небо, умирающих гладиаторов и Аполлонов Бельведерских, хотя мистер Финчинг не верил этому и говорил, когда был в духе, что статуи сделаны неправильно, так как не может быть таких крайностей, чтобы прежде ходили совсем без белья, а теперь надевали такую кучу, и еще плохо выглаженного и в складках, да и в самом деле это невероятно, хотя, быть может, объясняется крайностями нищеты и богатства.

Артур пытался было вставить слово, но Флора снова закусила удила:

— И сохраненная Венеция, вы, наверно, там были, хорошо ли она сохранилась, и макароны, правда ли, что они глотают их как фокусники, лучше бы резать на кусочки, а вы знакомы, Артур — милый «Дойс и Кленнэм», впрочем, не милый и во всяком случае не милый Дойс, потому что я не имею чести знать, но, пожалуйста, извините меня, вы, верно, знакомы с Мантуей, скажите, что общего между ней и мантильями, я никогда не могла понять?

— Насколько мне известно, между ними нет ничего общего, Флора, — начал было Кленнэм, но она опять перебила его:

— Ну конечно, нет, и я сама не верила, но со

мной всегда так: заберу в голову какую-нибудь идею и ношусь с ней; увы, было время, милый Артур — то есть, конечно, не милый и не Артур, но вы меня понимаете, — когда одна лучезарная идея озарила — как его? — горизонт и прочее, но он оделся тучей, и все прошло.

Возрастающее нетерпение так ясно отразилось на лице Артура, что Флора остановилась и, бросив на него нежный взгляд, спросила, что с ним такое.

— Мне бы очень хотелось, Флора, поговорить с одной особой, которая теперь у вас в доме, у мистера Кесби, без сомнения. Я видел, как она вошла. Она убежала из дома одного моего друга вследствие плачевного недоразумения и дурного влияния со стороны.

— У папы бывает такое множество народа и такие странные люди, — сказала Флора вставая, — что я не решилась бы спуститься к нему ни для кого, кроме вас, Артур, но для вас я готова спуститься хоть в водолазный колокол, а тем более в столовую, если вы присмотрите за теткой мистера Финчинга и в то же время не будете смотреть на нее.

С этими словами Флора выпорхнула из комнаты, оставив Кленнэма под гнетом самых

зловещих опасений относительно возложенной на него ужасной обязанности.

Первым проявлением опасного настроения в тетке мистера Финчинга, когда она доела свой гренок, было продолжительное и громкое фырканье. Убедившись, что ошибиться во враждебном смысле этой демонстрации невозможно, так как ее грозное значение было очевидно, Кленнэм жалобно взглянул на превосходную, но зараженную предубеждением леди в надежде обезоружить ее кроткой покорностью.

— Не пялить на меня глаз! — объявила тетка мистера Финчинга, дрожа от негодования. — Получи!

«Получить» приходилось корочку от гренка. Кленнэм принял этот дар с благодарным взглядом и зажал его в руке с некоторым смущением, которое ничуть не уменьшилось, когда тетка мистера Финчинга внезапно заорала зычным голосом:

— Какой, подумаешь, гордый желудок у этого молодца! Гнушается, не хочет есть!

Вскочив с кресла, она подступила к нему, потрясая своим почтенным кулаком под самым его носом. Если бы не своевременное появление Флоры, это критическое положение могло бы

окончиться самыми неожиданными последствиями. Флора без малейшего смущения и удивления поздравила старушку, заметив одобрительным тоном, что она сегодня в ударе, и усадила ее обратно в кресло.

— У этого молодца гордый желудок, — сказала родственница мистера Финчинга, усевшись на место. — Дай ему мякины!

— О, вряд ли ему понравится мякина, тетушка, — возразила Флора.

— Дай ему мякины, говорят тебе! — настаивала тетка мистера Финчинга, грозно поглядывая из-за Флоры на своего врага. — Для такого гордого желудка самое подходящее кушанье. Пусть слопает все без остатка. Черт его дери, дай ему мякины!

Делая вид, что желает угостить его этим блюдом, Флора увела Кленнэма на лестницу, но даже и тогда тетка мистера Финчинга продолжала с невыразимой горечью называть его молодцом и утверждать, что у него гордый желудок, и требовать, чтоб его накормили лошадиным кушаньем, которое она так настойчиво предлагала.

— Такая неудобная лестница и столько поворотов, Артур, — прошептала Флора, — не поддержите ли вы меня за талию?

Чувствуя, что он представляет собой в высшей

степени комическую фигуру, Кленнэм спустился вниз по лестнице в требуемом положении и опустил свою прекрасную ношу только у двери столовой, хотя и тут она никак не могла высвободиться из его объятий, повторяя: «Артур, ради бога, ни слова папе!»

Она провела Артура в комнату, где патриарх сидел у камина, поставив на решетку свои мягкие туфли и вращая пальцами с таким видом, как будто никогда не прекращал этого занятия. Юный десятилетний патриарх глядел из своей рамки с таким же невозмутимым видом. Обе головы были одинаково благодушны, бессмысленны и пухлы.

— Рад вас видеть, мистер Кленнэм. Надеюсь, вы здоровы, сэр, надеюсь, вы здоровы. Присядьте, пожалуйста, присядьте, пожалуйста.

— Я надеялся, сэр, — сказал Кленнэм, садясь и оглядывая комнату с очевидным разочарованием, — застать вас не одного.

— А, в самом деле? — сказал патриарх кротко. — А, в самом деле?

— Ведь вы сами знаете, папа, я вам говорила, — воскликнула Флора.

— О да, конечно! — ответил патриарх. — Да, именно так. О да, конечно!

— Скажите, пожалуйста, сэр, — спросил Клен-

нэм с беспокойством, — мисс Уэд ушла?

— Мисс?.. О, вы называете ее «мисс Уэд», — произнес мистер Кесби. — Очень милое имя.

— А как же вы называете ее? — с живостью спросил Артур.

— Уэд, — сказал мистер Кесби. — О, всегда Уэд.

Посмотрев несколько секунд на благодушное лицо и шелковистые седые кудри, между тем как мистер Кесби вертел пальцами, ласково улыбаясь огню, точно желая, чтобы тот сжег его, дабы он мог простить ему эту вину, Артур начал:

— Извините, мистер Кесби…

— Полноте, полноте, — перебил патриарх, — полноте.

— …но с мисс Уэд была спутница, молодая девушка, выросшая в доме одного из моих друзей, на которую мисс Уэд имеет дурное влияние. Я хотел воспользоваться случаем уверить эту девушку, что ее покровители относятся к ней с прежним участием.

— Так-так, — произнес патриарх.

— Поэтому будьте добры сообщить мне адрес мисс Уэд.

— Жаль, жаль, жаль, — сказал патриарх, — какая досада! Что бы вам уведомить меня, пока они еще не ушли. Я заметил эту девушку, мистер

Кленнэм. Красивая смуглая девушка, мистер Кленнэм, с черными волосами и черными глазами, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь.

Артур заметил, что он не ошибается, и повторил с особенным выражением:

— Будьте добры сообщить мне ее адрес.

— Жаль, жаль, жаль! — воскликнул патриарх с кротким сожалением. — Какая жалость, какая жалость! У меня нет адреса, сэр. Мисс Уэд живет большей частью за границей, мистер Кленнэм. Она переселилась туда несколько лет назад, и (если можно так выразиться о своем ближнем, тем более о леди) капризна и беспокойна до крайности, мистер Кленнэм. Может быть, я не увижу ее долго, очень долго. Может быть, я совсем не увижу ее. Какая жалость, какая жалость!

Кленнэм убедился, что с одинаковым успехом может обращаться за помощью к портрету и к патриарху, но тем не менее прибавил:

— Мистер Кесби, можете ли вы, ради моих друзей и с обязательством с моей стороны, хранить молчание обо всем, что вы считаете своей обязанностью сохранить в тайне, сообщить мне все, что вам известно о мисс Уэд? Я встречался с ней за границей, встречался на родине, но ничего о ней не знаю. Можете вы сообщить мне что-нибудь?

— Ничего, — ответил патриарх, покачивая головой с невыразимо благодушным видом, — решительно ничего. Жаль, жаль, жаль, ужасно жаль, что она была здесь так недолго и вы не успели застать ее. В качестве доверенного лица, в качестве доверенного лица я передавал иногда этой леди деньги. Но много ли вы извлечете, сэр, из этого сообщения?

— Решительно ничего, — сказал Артур.

— Решительно ничего, — подтвердил патриарх, сияя и умильно улыбаясь огню, — решительно ничего, сэр. Очень меткий ответ. Решительно ничего, сэр.

Его манера вертеть свои пухлые пальцы один вокруг другого была так типична, так наглядно указывала, как он будет вертеть любую тему, не подвигая ее ни на шаг вперед, что Кленнэм потерял всякую надежду добиться толку. Он мог сколько угодно раздумывать об этом, так как мистер Кесби, привыкший рассчитывать на свою лысину и седые волосы, знал, что его сила в молчании.

И вот он сидел, играя пальцами и предоставляя своей гладко отполированной лысине и лбу озарять благосклонностью все окружающее.

Налюбовавшись этим зрелищем, Кленнэм

встал, собираясь уходить, когда из внутренних доков, где обыкновенно стоял на якоре пароходик Панкса, послышался шум, возвещавший о приближении этого судна.

Мистер Панкс пожал гостю руку и подал своему хозяину какие-то бумаги для подписи. Пожимая руку Кленнэму, мистер Панкс ничего не сказал, а только фыркнул и почесал бровь указательным пальцем левой руки, но Кленнэм, понимавший его теперь лучше, чем прежде, догадался, что он сейчас будет свободен и хочет поговорить с ним на улице. Итак, простившись с мистером Кесби и с Флорой (что было гораздо труднее), он вышел из дома и остановился неподалеку, дожидаясь Панкса.

Последний не заставил себя долго ждать. Он вторично пожал Кленнэму руку, фыркнул еще выразительнее, снял шляпу и взъерошил волосы. Из всего этого Кленнэм заключил, что он знает обо всем и приглашает его говорить прямо, поэтому спросил без всяких предисловий:

— Полагаю, что они действительно ушли, Панкс?

— Да, они действительно ушли.

— Известен ему адрес этой леди?

— Не знаю. Думаю, что известен.

— А вам что-нибудь известно о ней, мистер Панкс?

— Полагаю, — ответил этот достойный джентльмен, — что знаю о ней столько же, сколько она сама знает о себе. Она чья-то дочь… чья угодно… ничья. Приведите ее в любую комнату, где есть полдюжины людей, достаточно старых, чтобы быть ее родителями, и, может быть, среди них действительно окажутся ее родители — вот все, что ей известно на этот счет. Они могут оказаться в каждом доме, мимо которого она проходит, на каждом кладбище, которое попадется ей по пути; она может встретиться с ними на любой улице, может познакомиться с ними в любую минуту и не будет знать, что это они. Она ничего не знает о них. Она ничего не знает о своих родственниках, никогда не знала и никогда не будет знать.

— Быть может, мистер Кесби мог бы что-нибудь сообщить ей об этом?

— Может быть, — согласился Панкс, — я думаю, что мог бы, но не знаю точно. У него издавна хранится сумма (не слишком большая, насколько мне известно), из которой он обязан выдавать ей деньги в случае крайности. Она так горда, что подолгу не приходит за ними, но иногда заставляет нужда. Ей нелегко живется. Такой злобной,

страстной, смелой и мстительной женщины еще не было на свете. Сегодня она приходила за деньгами: сказала, что они ей необходимы.

— Кажется, — заметил Артур в раздумье, — я знаю, зачем… то есть в чей карман попадут эти деньги.

— В самом деле? — сказал Панкс. — Если это условие, я советовал бы другой стороне исполнить его как следует. Я бы не доверился этой женщине, хотя она молода и прекрасна, если бы оскорбил ее чем-нибудь… нет, даже за два таких состояния, как у моего хозяина, разве только если бы впал в меланхолию и задумал покончить с жизнью.

Припомнив свои встречи с ней, Артур нашел, что его впечатление довольно близко сходится с мнением Панкса.

— Удивляюсь, — продолжил Панкс, — что она до сих пор не расправилась с моим хозяином, единственным человеком, который, как ей известно, замешан в ее истории. Кстати, между нами будь сказано, меня по временам так и подмывает расправиться с ним самому.

Артур вздрогнул:

— Полноте, Панкс, что вы говорите!

— Поймите меня, — сказал Панкс, дотрагиваясь

до его плеча своей рукой с обгрызанными ногтями. — Я не собираюсь перерезать ему глотку, но, клянусь всем, что есть на свете хорошего: если он зайдет слишком далеко, я обрежу ему кудри.

Высказав эту чудовищную угрозу, рисовавшую его в совершенно новом свете, мистер Панкс значительно фыркнул и запыхтел прочь.

Глава X. Сны миссис Флинтуинч запутываются

Сумрачные приемные министерства околичностей, где Кленнэм проводил значительную часть своего времени в обществе других таких же преступников, приговоренных к колесованию на этом колесе, давали ему в течение трех или четырех следующих дней достаточно досуга, чтобы обдумать свою последнюю встречу с Тэттикорэм и мисс Уэд. Он, однако, не мог выжать из нее никакого заключения, так что в конце концов решил не думать о ней вовсе.

В течение этого времени он не посещал угрюмого дома своей матери. Когда же наступил вечер, назначенный им для этого визита, он оставил свою квартиру и своего компаньона около девяти часов и медленно направился в угрюмое жилище своей юности.

Оно всегда рисовалось его воображению мрачным, зловещим, унылым и, мало того, набрасывавшим мрачную тень на всю окрестность. Когда в этот пасмурный вечер он шел по темным улицам, они казались ему хранилищами злове-

щих тайн. Тайны торговых контор с их книгами и документами в несгораемых сундуках и шкафах; тайны банкирских контор с их крепкими подвалами и потайными комнатами, ключи от которых хранятся в немногих таинственных карманах и немногих таинственных сердцах; тайны рассеянных по всему свету работников этой громадной мельницы, среди которых столько грабителей, обманщиков и мошенников, со дня на день ожидающих разоблачения, — все эти тайны, казалось ему, усиливали тяжесть атмосферы. Тень сгущалась и сгущалась, по мере того как он приближался к ее источнику, и он думал о тайнах уединенных церковных склепов, где люди, когда-то прятавшие и замыкавшие награбленное добро в железных сундуках, были, в свою очередь, запрятаны и замкнуты накрепко, хотя дела их еще продолжают вредить живым; думал о тайнах реки, катившей свои мутные волны среди таинственных зданий, раскинувшихся мрачным лабиринтом на много миль кругом, оттесняя чистый воздух и простор полей, где гуляет вольный ветер и носятся вольные птицы.

Тень сгущалась, по мере того как он приближался к дому, и ему представилась печальная комната, в которой жил когда-то его отец, и лицо

с умоляющим взглядом, угасавшим на его глазах, когда он один сидел у постели умирающего. Спертый воздух комнаты был напоен тайной. Весь дом с его мраком, плесенью и пылью дышал тайной, и посреди этого мрака его мать, с неумолимым лицом, неукротимой волей, сурово хранила тайны своей жизни и жизни его отца, готовая встретить лицом к лицу великую последнюю тайну человеческой жизни.

Он свернул в узкую крутую улицу, примыкавшую к ограде или двору, на котором находился дом, как вдруг услышал за собой шаги, и кто-то прошел мимо него так близко, что толкнул к стене. Пока он собирался с мыслями, прохожий, развязно проговорив: «Pardon! Но это не моя вина!», опередил его, прежде чем он успел вернуться к действительности.

Опомнившись, он узнал в этом господине того самого человека, о котором столько думал в последние дни. Это не было случайное сходство: это был тот самый человек, который шел с Тэттикорэм и разговаривал с мисс Уэд.

Улица была извилиста и крута, и незнакомец, который хотя и не был пьян, но казался навеселе, шел так быстро, что Кленнэм почти в ту же минуту потерял его из виду. Повинуясь скорее

инстинктивному желанию взглянуть на него поближе, чем сознательному намерению выследить его, он ускорил шаги, чтобы миновать поскорее поворот, за которым скрылся прохожий, однако, свернув за угол, никого не увидел.

Остановившись у ворот дома матери, он окинул взглядом улицу, но она была пуста. На ней не было темных углов или поворотов, за которыми мог бы скрыться прохожий; не слышно было также, чтобы где-нибудь отворилась или захлопнулась дверь. Тем не менее Кленнэм решил, что у незнакомца, по всей вероятности, был с собой ключ, с помощью которого он вошел в какой-нибудь из соседних домов.

Раздумывая об этой странной встрече и странном исчезновении, он прошел в калитку и, взглянув по привычке на слабо освещенные окна в комнате матери, заметил фигуру человека, который только что исчез. Незнакомец стоял, прислонившись к железной решетке двора, и глядел на те же окна, посмеиваясь себе под нос.

Несколько бродячих кошек, по-видимому бросившихся прочь при его появлении, но остановившихся, когда он остановился, поглядывали на него своими горящими глазами, напоминавшими его собственные, с подоконников, карнизов

и других безопасных пунктов. Он остановился только на минуту, а затем пошел дальше, перекинув через плечо конец плаща, поднялся по неровным, покривившимся ступенькам и громко постучал в дверь.

При всем своем удивлении Кленнэм не колебался ни минуты. Он тоже подошел к крыльцу и поднялся по ступенькам. Незнакомец окинул его нахальным взглядом и запел:

Кто так поздно здесь проходит?
Это спутник Мажолэн.
Кто так поздно здесь проходит?
Смел и весел он всегда!

Затем он постучал вторично.

— Вы нетерпеливы, сэр, — сказал Артур.

— Да, сэр. Черт побери, сэр, — возразил незнакомец, — я действительно нетерпелив — это особенность моего характера!

Шум за дверью, показывавший, что миссис Эффри осторожно закладывала цепочку, прежде чем отворить дверь, привлек их внимание. Эффри, со свечой в руках, приотворила дверь и спросила, кто стучится так сильно в столь поздний час.

— Артур, — прибавила она с удивлением, увидев его первого, — не вы же так стучали? О

господи помилуй, опять он! — воскликнула она, увидев другого гостя.

— Именно, опять он, милейшая миссис Флинтуинч! — крикнул незнакомец. — Отворите дверь, дайте мне обнять моего милейшего дружка Иеремию. Отворите дверь, дайте мне прижать к сердцу моего Флинтуинча.

— Его нет дома, — сказала Эффри.

— Разыщите его, — воскликнул незнакомец, — разыщите моего Флинтуинча, скажите ему, что его старый друг Бландуа вернулся в Англию; скажите ему, что пришел его любимчик, его огурчик! Отворите дверь, прекрасная миссис Флинтуинч, и пропустите меня наверх засвидетельствовать мое почтение, почтение Бландуа, ее милости. Жива ли она? Здорова ли она? Отворяйте же!

Удивление Артура возросло, когда миссис Флинтуинч, глядя на него широко раскрытыми глазами, точно советуя ему не связываться с этим господином, сняла цепочку и открыла дверь. Незнакомец вошел без всяких церемоний, не дожидаясь Артура.

— Торопитесь! Шевелитесь! Подайте мне Флинтуинча! Доложите обо мне миледи, — кричал он, топая ногой о каменный пол.

— Скажите, пожалуйста, Эффри, — сказал Клен-

нэм громко и строго, окидывая его негодующим взором, — кто этот господин?

— Скажите, пожалуйста, Эффри, — повторил незнакомец, — кто — ха-ха-ха!.. — кто этот господин?

В эту минуту весьма кстати раздался голос миссис Кленнэм:

— Эффри, ведите обоих. Артур, поди ко мне!

— Артур! — воскликнул незнакомец, взмахнув шляпой и расшаркиваясь с преувеличенной любезностью. — Сын ее милости! Рад служить сыну ее милости!

Артур поглядел на него ничуть не любезнее, чем прежде, и, повернувшись к нему спиной, пошел наверх. Посетитель последовал за ним. Миссис Эффри выбежала из дома, заперла дверь на ключ снаружи и пустилась за своим повелителем.

Посторонний свидетель, присутствовавший при первом посещении господина Бландуа, мог бы заметить, что миссис Кленнэм приняла его теперь иначе, чем в тот раз. Выражение ее лица, сдержанные манеры, суровый тон голоса были те же и ни на минуту не изменили ей. Разница состояла лишь в том, что с первой минуты его появления она не отрывала глаз от его лица и

раза два или три, когда он начинал чересчур возвышать голос, слегка подавалась вперед на своем кресле, не изменяя положения рук, как будто давала понять, что выслушает все, что он скажет. Артур не мог не заметить этого, хотя и не присутствовал при первом посещении незнакомца.

— Сударыня, — сказал Бландуа, — окажите мне честь, познакомьте с вашим сыном. Мне кажется, сударыня, ваш сын в претензии на меня. Он не особенно любезен со мной.

— Сэр, — быстро произнес Артур, — кто бы вы ни были и зачем бы ни явились сюда, но, будь я хозяином этого дома, не теряя ни минуты, вышвырнул бы вас вон!

— Но ты не хозяин, — сказала миссис Кленнэм, не глядя на него. — К несчастью для твоего дикого порыва, ты здесь не хозяин, Артур.

— Я и не претендую на это, матушка. Если я негодую на поведение этого господина — и негодую настолько, что, будь моя воля, он не остался бы здесь ни минуты, — то негодую ради вас.

— Я бы сама сумела выразить свое негодование, — возразила она, — если бы это было нужно. Не беспокойся об этом.

Виновник их спора тем временем уселся и громко рассмеялся, похлопывая ладонями по

коленям.

— Ты не имеешь права, — продолжила миссис Кленнэм, упорно глядя на Бландуа, хотя обращалась к сыну, — осуждать джентльмена (тем более иностранца) за то, что его манеры тебе не нравятся или его поведение не согласуется с твоими правилами. Возможно, что джентльмен на том же самом основании осудит тебя.

— Надеюсь, — сказал Артур.

— Этот джентльмен, — продолжила миссис Кленнэм, — уже являлся к нам с рекомендательным письмом от весьма почтенных и уважаемых нами лиц. Мне совершенно неизвестна цель настоящего посещения этого джентльмена. Я не имею о ней никакого понятия и решительно не могу представить себе, в чем она заключается, — ее характерная морщинка на лбу стала еще резче, когда она с особенным ударением и весом произнесла эти слова, — но этот джентльмен объяснит цель своего посещения мне и Флинтуинчу, и я не сомневаюсь, что она окажется в связи с обычными делами нашего дома, заниматься которыми наша обязанность и наше удовольствие. У него не может быть другой цели, кроме деловой.

— Это мы увидим, сударыня, — произнес деловой человек.

— Увидим, — подтвердила она. — Этот джентльмен знаком с Флинтуинчем, и когда этот джентльмен был в последний раз в Лондоне, мне говорили, я помню, что он и Флинтуинч долго и дружески беседовали. Я мало знаю о том, что происходит за пределами этой комнаты, и мирская суета не интересует меня, но помню, что слышала об этом.

— Именно, сударыня. Совершенно верно. — Он снова засмеялся и стал насвистывать мотив песенки, которую напевал на крыльце.

— Итак, Артур, — сказала миссис Кленнэм, — этот джентльмен является сюда в качестве знакомого, и очень жаль, что ты так безрассудно считаешь себя оскорбленным. Весьма сожалею об этом. Заявляю о своем сожалении этому джентльмену. Ты, я знаю, не скажешь этого; итак, я заявляю от имени своего и Флинтуинча, потому что дело этого джентльмена относится только к нам обоим.

В эту минуту в наружной двери щелкнул ключ, и слышно было, как она отворилась. Вскоре затем явился мистер Флинтуинч, и при его появлении посетитель, с хохотом вскочив и стиснув его в своих объятиях, воскликнул:

— Как дела, мой любезный друг? Как делишки, Флинтуинчик? Процветают? Тем лучше, тем

лучше! Да какой у вас чудесный вид! Помолодел, похорошел — совсем бутончик! Ах, шалунишка! Молодец, молодец!

Осыпая мистера Флинтуинча этими комплиментами, он тряс его за плечи до того, что судорожные движения этого джентльмена стали походить на подергивание волчка, готового остановиться.

— Я предчувствовал в последнее время, что мы сойдемся еще ближе, еще короче. А вы, Флинтуинч? Явилось наконец у вас это предчувствие?

— Нет, сэр, — возразил мистер Флинтуинч. — Ни малейшего. Не лучше ли, однако, вам сесть? Вы, верно, угощались сегодня портвейном, сэр?

— Ах, шутник! Ах, поросеночек! — воскликнул гость. — Ха-ха-ха-ха! — И, отбросив мистера Флинтуинча в виде заключительной любезности, он уселся по-прежнему.

Изумление, подозрение, негодование и стыд сковали язык Артуру. Мистер Флинтуинч, отлетевший шага на два или на три, оправился и вернулся на прежнее место, ничуть не утратив своего хладнокровия, только дышал тяжело и пристально смотрел на Кленнэма. В остальном его деревянная фигура ничуть не изменилась, только узел галстука, приходившийся обыкно-

венно под ухом, теперь оказался на затылке, напоминал косичку парика, придавая мистеру Флинтуинчу почти придворный вид.

Как миссис Кленнэм не сводила глаз с Бландуа (на которого они действовали, как действует пристальный человеческий взгляд на собаку), так Иеремия не сводил глаз с Артура. Казалось, они молча разделили между собой наблюдение. В течение последовавшей паузы Иеремия скреб себе подбородок, впиваясь глазами в Артура, как будто хотел вывинтить из него все мысли.

Подождав немного, посетитель, которого, по-видимому, раздражало молчание, встал и нетерпеливо повернулся спиной к священному огню, столько лет пылавшему в этой комнате. Тогда миссис Кленнэм сказала, впервые пошевелив рукой и сделав легкий прощальный жест:

— Пожалуйста, оставь нас, Артур, нам нужно переговорить о деле.

— Матушка, я повинуюсь вам очень неохотно.

— Охотно или неохотно, — возразила она, — это все равно. Пожалуйста, оставь нас. Зайди в другое время, если сочтешь обязанностью проскучать здесь полчаса. Покойной ночи.

Она протянула ему свои пальцы, чтобы он мог прикоснуться к ним по обыкновению, и, накло-

нившись над креслом, он дотронулся губами до ее щеки. Ему показалось, что кожа ее холоднее, чем обыкновенно. Следуя за направлением ее глаз, он взглянул на Бландуа, который презрительно щелкнул пальцами.

— Я оставляю вашего делового знакомого в комнате моей матери, Флинтуинч, — сказал Кленнэм, — с большим удивлением и неохотой.

Знакомый, о котором шла речь, снова щелкнул пальцами.

— Покойной ночи, матушка.

— Покойной ночи.

— Был у меня один приятель, дружище Флинтуинч, — сказал Бландуа, продолжая греться у камина и так явно предназначая свои слова для Кленнэма, что тот приостановился у двери, — который наслышался так много дурного об этом городе и его обычаях, что ни за какие коврижки не согласился бы остаться — даже в таком почтенном доме, как этот, — наедине с двумя особами, которым было бы выгодно от него избавиться, если бы не знал, что они физически слабее его. Какой трус, Флинтуинч! А?

— Последний трус, сэр.

— Согласен, последний трус! Но все-таки он не остался бы с ними, Флинтуинч, если бы не

знал, что они и хотели бы заткнуть ему глотку, да не могут. Он не выпил бы стакана воды — даже в таком почтенном доме, как этот, Флинтуинчик, — пока кто-нибудь из хозяев не отпил бы и не проглотил этой воды.

Считая бесполезным отвечать — да и вряд ли бы он мог ответить, так как задыхался от бешенства, — Артур только посмотрел на гостя и вышел из комнаты. Гость на прощание снова щелкнул пальцами и улыбнулся зловещей отвратительной улыбкой, причем нос его опустился над усами, а усы поднялись под носом.

— Ради бога, Эффри, что тут у вас творится? — шепотом спросил Артур, когда она отворила ему дверь в темной передней и он ощупью выбрался наружу по отблеску ночного неба.

У нее самой был довольно зловещий вид, когда она стояла в темноте, закинув на голову передник, и говорила из-под него тихим глухим голосом:

— Не спрашивайте меня ни о чем, Артур. Я все время как во сне. Уходите!

Он ушел, и она затворила за ним дверь. Он посмотрел на окна в комнате матери, и тусклый свет, пробивавшийся сквозь желтые шторы, казалось, повторял ответ Эффри: «Не спрашивайте

меня ни о чем! Уходите!»

Глава XI. Письмо Крошки Доррит

«Дорогой мистер Кленнэм! Так как я уже говорила в прошлом письме, что ко мне лучше не писать, и так как, следовательно, получив это письмо, вам нужно будет потратить время только на чтение (может быть, у вас и для этого нет времени, но, я надеюсь, вы улучите свободную минуту), то вот я и решилась написать вам вторично. На этот раз я пишу из Рима.

Мы уехали из Венеции раньше мистера и миссис Гоуэн, но они отправились по другой дороге и ехали скорее, так что, прибыв в Рим, мы уже застали их там. Они наняли квартиру в местности под названием «Via Gregoriana» [68]. Вы, наверно, ее знаете.

Я сообщу вам все, что мне известно о них, так как знаю, что вы интересуетесь ими. Квартира у них не особенно удобная, но, может быть, она не произвела бы такого впечатления на вас, бывавшего в разных странах и знакомого с разными обычаями. Конечно, она несравненно — в миллион раз — лучше тех, к которым я привыкла, но я

---

[68] Сноски: 68
Дорога Григория *(итал.).*

смотрю на нее скорее глазами миссис Гоуэн, чем моими. Не трудно догадаться, что она воспитана в достатке, любящей семьей, если бы даже она не вспоминала о ней с такой любовью.

Итак, квартира у них довольно неуютная, с темной лестницей, и почти вся состоит из большой унылой комнаты, в которой рисует мистер Гоуэн. Окна замазаны внизу, стены испачканы мелом и углем прежними жильцами. Комната разделена занавеской скорее пыльного, чем красного цвета; за занавеской у них гостиная. Когда я в первый раз зашла к ним, она была одна, работа выпала из ее рук, и она смотрела на небо сквозь верхние стекла окон. Пожалуйста, не тревожьтесь слишком, но я должна сознаться, что она была не такая веселая, радостная, счастливая, юная, какой бы мне хотелось ее видеть.

Так как мистер Гоуэн пишет портрет папы — я не вполне уверена, что догадалась бы, чей это портрет, если бы не знала наверно, — я имею возможность видеться с ней чаще, чем могла бы без этого случая. Она очень часто бывает одна. Очень часто.

Рассказать ли вам о моем втором посещении? Я зашла к ней около четырех или пяти часов пополудни. Она обедала одна, и этот обед был

принесен откуда-то на жаровне с горящими угольями, и у нее не было другого общества, кроме старика, принесшего обед. Он рассказал ей длинную историю (о разбойниках, задержанных статуей какого-то святого), чтобы позабавить ее, потому что — как он сказал мне, когда я уходила, — у него тоже есть дочь, хоть и не такая красавица.

Я должна теперь сказать несколько слов о мистере Гоуэне. Конечно, он восхищается ее красотой; конечно, гордится ею, потому что все от нее в восторге; конечно, любит ее, я не сомневаюсь в этом, но по-своему. Вы знаете его, и если вам он кажется таким же беззаботным и непостоянным, как мне, то, значит, я не ошибаюсь, думая, что он мог бы относиться к ней внимательнее. Если вы не согласны с этим, то я, несомненно, ошибаюсь, потому что ваша неизменная Крошка Доррит верит в вашу проницательность и доброту больше, чем могла бы выразить это на словах, если бы попыталась. Но не пугайтесь, я не стану пытаться.

Благодаря своему непостоянству и недовольству (так я думаю, если вы думаете то же), мистер Гоуэн мало успевает в своей профессии. Он не работает упорно и терпеливо, а начинает и бросает, оставляет картины недоконченными. Слушая

его разговоры с папой во время сеансов, я часто думала, не потому ли он не верит в других, что не верит в себя. Так ли это? Мне бы хотелось знать, что скажете вы, когда дойдете до этого места. Я точно вижу ваше лицо и слышу ваш голос, каким вы говорили со мной на Железный мосте.

Мистер Гоуэн часто бывает в так называемом лучшем обществе, хотя, по-видимому, недолюбливает его и не находит в нем ничего хорошего, и жена по временам сопровождает его, хотя в последнее время очень редко. Я заметила, что ее знакомые отзываются о ней как-то странно, точно она вышла за мистера Гоуэна из личных расчетов ради блестящей партии, хотя ни одна из них не пошла бы за него и не выдала бы за него дочь. Он часто бывает за городом для зарисовки эскизов и хорошо известен всюду, куда стекается много посетителей. Кроме того, у него есть приятель, который почти неразлучен с ним дома и в гостях, хотя он относится к этому приятелю холодно и обращается с ним очень неровно. Я совершенно уверена (да она и сама говорила), что не любит этого приятеля. Мне он до такой степени противен, что теперь, после его отъезда, я как-то легче дышу. Воображаю, насколько легче ей!

Но вот что мне в особенности хотелось сказать

вам и почему я говорила обо всем предыдущем, рискуя даже огорчить вас. Она так верна и предана ему, так всецело и навеки отдала ему свою любовь и верность, что будет любить его, восхищаться им, хвалить его и скрывать его недостатки до могилы. Вы можете быть уверены в этом.

Я думаю, что она скрывает его недостатки и всегда будет скрывать их даже от себя самой. Она отдала ему сердце и никогда не возьмет его обратно, и любовь ее выдержит все испытания. Вы знаете, что это так, вы все знаете лучше меня, но я не могу не сказать вам, какое это золотое сердце и как она заслуживает вашего участия.

Я еще не назвала ее в этом письме, но мы так подружились, что, когда остаемся с глазу на глаз, я часто называю ее по имени, а она меня… то есть не моим христианским именем, а тем, которое вы мне дали. Когда она в первый раз назвала меня Эми, я рассказала ей вкратце свою историю и о том, что вы всегда звали меня Крошкой Доррит. Я сказала, что это имя для меня дороже всякого другого, и с тех пор она тоже зовет меня Крошкой Доррит.

Может быть, вы еще не получили письма от ее отца или матери и не знаете, что у нее родился сын, родился два дня назад, спустя неделю после

их приезда. Они были ужасно рады. Как бы то ни было, я должна сказать вам, так как ничего не скрываю от вас, что они, как мне кажется, в натянутых отношениях с мистером Гоуэном и что их оскорбляет, не столько за себя, сколько за дочь, его насмешливый тон. Не далее как вчера на моих глазах мистер Мигльс во время разговора с зятем покраснел, встал и ушел, точно боялся, что не совладает с собой. А между тем они такие внимательные, добродушные и рассудительные люди, что можно было бы обращаться с ними более бережно. Жестоко с его стороны относиться к ним так невнимательно.

Я остановилась, чтобы перечесть все написанное. Сначала мне показалось, что я слишком много беру на себя, пытаясь все понять и объяснить, и я было решила не посылать письма, но, подумав, успокоилась в надежде на вашу снисходительность; ведь вы поймете, что я наблюдала и замечала все это ради вас, так как знаю, что вы принимаете в ней участие. Поверьте, что я говорю искренно.

Теперь я покончила с предметом настоящего письма, и мне остается сказать лишь немногое.

Мы все здоровы, и Фанни расцветает с каждым днем. Вы не можете себе представить, как она лас-

кова и как возится со мной. У нее есть поклонник, который следует за ней от самой Швейцарии и недавно сообщил мне, что намерен следовать за ней повсюду. Я очень смутилась, выслушивая его признание, но пришлось выслушать. Я не знала, что ответить, но наконец сказала, что, по-моему, лучше будет, если он откажется от своего намерения, потому что Фанни (этого я не говорила ему) слишком умна и остроумна для него, но он продолжал твердить свое. У меня, разумеется, нет поклонника.

Если вы дочитаете до этого места мое длинное письмо, то, наверное, скажете: «Конечно, Крошка Доррит расскажет мне о своих путешествиях, и пора ей это сделать». Я сама думаю, что пора, но не знаю, о чем рассказывать. После Венеции мы посетили много удивительных городов, между прочими — Геную и Флоренцию, и видели столько удивительных вещей, что у меня голова идет кругом. Но ведь вы можете рассказать мне о них гораздо больше, чем я; зачем же я буду утомлять вас своими рассказами и описаниями.

Дорогой мистер Кленнэм, так как у меня хватило смелости сообщить вам о моих впечатлениях и огорчениях, то не буду трусихой и теперь. Меня постоянно преследует мысль: как ни древни эти

города, но меня интересует в них не древность, а то, что они стояли на своих местах все время, когда я даже не знала об их существовании, исключая два-три главных, когда я не знала почти ничего вне тюремных стен. Не знаю почему, но в этой мысли есть что-то грустное. Когда мы ездили смотреть знаменитую «Падающую башню» [69] в Пизе, был светлый солнечный день, и здание казалось таким ветхим, небо и земля — такими юными, тень от башни — такой отрадной. В первую минуту я не думала, как это прекрасно или как это удивительно; я думала: «Сколько раз в то время, как тень от тюремной стены падала на нашу комнату и монотонный гул шагов раздавался на дворе, сколько раз это место выглядело так же красиво и отрадно, как сегодня!» Эта мысль взволновала меня. Сердце мое переполнилось, и слезы брызнули из глаз, хотя я всеми силами старалась удержать их. И то же чувство появляется у меня часто, очень часто.

Знаете, со времени перемены в нашей судьбе я часто вижу сны и всегда оказываюсь во сне маленькой девочкой. Вы скажете, что я еще не стара. Да, но я не об этом говорю. Я вижу себя

---

[69] Сноски: 69

Знаменитое архитектурное сооружение, построенное в XII—XIV вв. в Пизе, небольшом городе в Центральной Италии.

ребенком, который учится шить. Часто вижу себя там, на нашем старом дворе, вижу старые лица, даже малознакомые, которые, казалось мне, я совсем забыла; вижу себя и здесь, за границей, во Франции, в Швейцарии, в Италии, но всегда маленькой девочкой. Мне снилось, например, что я иду вниз к миссис Дженераль в старом платье с заплатками, том самом, в котором начинаю себя помнить. Снилось, и много раз, что я за обедом в Венеции, где у нас бывало много гостей, в том самом траурном платьице, которое я носила после смерти матери, когда мне было восемь лет, носила так долго, что оно все истерлось и превратилось почти в лохмотья, и будто бы меня ужасно мучила мысль, что скажут гости, увидев меня в таком странном костюме, и как рассердятся отец, Фанни и Эдуард за то, что я выдаю то, что им хочется скрыть. Но при всем том я оставалась маленькой девочкой и продолжала сидеть за столом и с беспокойством высчитывать, во что обойдется этот обед и как мы сведем концы с концами. Я никогда не видела во сне ни нашего внезапного обогащения, ни того достопамятного утра, когда вы явились к нам с этим известием, ни вас самих.

Дорогой мистер Кленнэм, может быть, это зави-

сит от того, что днем мои мысли вечно с вами и с другими оставшимися на родине, так что во сне уже не является никаких мыслей. Сознаюсь, что я ужасно тоскую по родине, давно и горько тоскую, так что порой дохожу до слез, когда никто меня не видит. Я почти не в силах выносить разлуку с ней. Мне становится легче, когда мы приближаемся к ней хотя бы на несколько миль, — так милы и дороги мне места, где я жила в бедности и пользовалась вашей добротой. О, как дороги, как дороги!

Бог знает, когда ваше бедное дитя снова увидит Англию. Все (кроме меня) в восторге от здешней жизни и не думают о возвращении. Мой дорогой отец намерен съездить в Лондон весной по делам, но я не надеюсь, чтобы он взял меня с собой.

Я пытаюсь улучшить свои манеры под руководством миссис Дженераль, и, кажется, уже не такая неотесанная, как прежде. Я начинаю объясняться почти свободно на трудных языках, о которых писала вам. Тогда мне не пришло в голову, что вы знаете их, но потом я вспомнила об этом и это мне помогло.

Будьте счастливы, дорогой мистер Кленнэм. Не забывайте вашу признательную и любящую Крошку Доррит.

P. S. Главное, помните, что Минни Гоуэн заслуживает самого глубокого уважения, самой нежной привязанности. Как бы высоко ни ставили вы ее, это не будет преувеличением. Прошлый раз я забыла о мистере Панксе. Пожалуйста, если увидите его, передайте ему сердечный привет от вашей Крошки Доррит. Он был очень добр к Крошке Д.»

Глава XII. Важное патриотическое совещание

Славное имя Мердля с каждым днем приобретало все большую славу. Никто не слышал, чтобы этот пресловутый Мердль когда-нибудь сделал добро кому бы то ни было, живому или мертвому; никто не слышал, чтобы он проявил какое-нибудь дарование, способное осветить хоть бледным лучом чью-нибудь тропинку долга или развлечения, страдания или удовольствия, труда или покоя, действительности или фантазии в лабиринте бесчисленных тропинок, протоптанных сынами Адама; никто не имел ни малейшего основания думать, что глина, из которой слеплен этот кумир, чем-либо отличается от самой обыкновенной глины. Все знали (или верили), что он богат несметно, и только потому пресмыкались перед ним с подобострастием более унизительным и менее извинительным, чем подобострастие грубейшего дикаря, падающего в прах перед чурбаном или змеей, в которых его земной ум видит божество.

Мало того, верховные жрецы этого идолослу-

жения имели перед глазами своего кумира как живой протест против их низости. Толпа поклонялась ему на веру, но жрецы видели своего идола лицом к лицу. Они сидели за его столом, и он сидел за их столом. С ним всюду являлась тень, которая говорила им: «Так вот ваш идеал, вот его признаки: эта голова, эти глаза, эта речь, этот тон, эти манеры. Вы — рычаги министерства околичностей и владыки мира. Не будь вас, мир остался бы без правителей. Не в высшем ли понимании людей ваше достоинство и не оно ли заставляет вас принимать, превозносить, прославлять этого человека? Или, если вы можете верно оценить признаки, на которые я неустанно указываю вам всякий раз, как он появляется в вашей среде, не в высшей ли честности ваше достоинство?» Два довольно щекотливых вопроса, всюду сопутствовавших мистеру Мердлю и всегда замалчивавшихся в силу тайного соглашения!

В отсутствие миссис Мердль мистер Мердль по-прежнему держал дом открытым для беспрерывного потока гостей. Некоторые из них любезно завладели его домом. Три-четыре знатные и остроумные дамы говорили друг другу: «Обедаем в четверг у нашего милого Мердля. Кого бы нам пригласить?» «Наш милый Мердль»

получал соответственные инструкции, а затем сидел истуканом среди гостей за обедом или тоскливо слонялся по гостиным, не проявляя ничего замечательного, кроме своей очевидной неуместности в этом доме.

Главный дворецкий, этот злой гений, отравлявший жизнь великого человека, ничуть не утратил своей суровости. Он следил за обедами в отсутствие бюста так же, как следил и в его присутствии, и его взгляд был взглядом василиска [70] для мистера Мердля. Это был суровый человек, который ни за что не поступился бы ни единой тарелкой, ни единой бутылкой вина. Он не допустил бы обеда, если бы обед не соответствовал его требованиям. Он накрывал стол, имея в виду только собственное достоинство. Он не препятствовал гостям кушать то, что им подавалось, но все подавалось, собственно, для того, чтобы поддержать его звание. Стоя у буфета, он, казалось, говорил: «Я принял на себя обязанность смотреть на то, что находится передо мной, но отнюдь не на что-нибудь низшее». Если ему недоставало бюста, восседающего за столом, то лишь потому, что он видел в нем частицу соб-

[70] Сноски: 70

Сказочное чудовище с телом петуха и хвостом змеи, обладавшее способностью убивать одним взглядом.

ственного величия, которой временно лишился в силу непреодолимого стечения обстоятельств. Так же точно ему недоставало бы какой-нибудь вазы или изящного ледника для вина.

Мистер Мердль давал обед для Полипов. На обеде должен был присутствовать лорд Децимус, мистер Тит Полип, приятный молодой Полип, вся свора парламентских Полипов, которые разъезжали по стране перед выборами, расточая хвалы своему командиру. Все понимали, что этот обед будет событием. Мистер Мердль намеревался завоевать Полипов. Между ним и благородным Децимусом шли деликатного свойства переговоры, и юный Полип с приятными манерами служил посредником, и мистер Мердль решил бросить на весы Полипов всю тяжесть своей великой честности и великого богатства. Злые языки намекали на темные дела (насколько справедливо — неизвестно), но бесспорно, если бы Полипы могли приобрести помощь врага рода человеческого, вступив с ним в сделку, они приобрели бы ее для блага страны… для блага страны.

Миссис Мердль написала своему великолепному супругу — только еретик мог бы сомневаться, что в его лице воплощались все британские ком-

мерсанты со времен Уиттингтона [71], да еще под слоем позолоты фута в три толщиной, — миссис Мердль написала своему супругу несколько писем из Рима, одно за другим, доказывая ему, что теперь или никогда следует подумать об Эдмунде Спарклере. Миссис Мердль объясняла супругу, что дело Эдмунда не терпит отсрочки и что нельзя даже учесть всех благих последствий, которые проистекут оттого, что он именно теперь получит теплое местечко. В грамматике миссис Мердль, когда заводила речь об этом важном предмете, глаголы имели только одно наклонение — повелительное, и одно время — настоящее. Миссис Мердль так настойчиво заставляла мистера Мердля спрягать свои глаголы, что его застоявшаяся кровь и длинные обшлага заволновались не на шутку.

В этом взволнованном состоянии мистер Мердль, трусливо блуждая глазами по сапогам главного дворецкого и не решаясь поднять их к зеркалу души этого страшного существа, сообщил ему о своем намерении дать особенный обед — небольшой, но особенный. Главный дворецкий, со своей стороны, дал понять, что не прочь

---

[71] Сноски: 71
Уиттингтон Джек — по преданию, первый лорд-мэр Лондона.

посмотреть на самое изысканное явление в этом роде. И в свое время день обеда наступил.

Мистер Мердль стоял в гостиной, спиной к огню, в ожидании именитых гостей. Он никогда не грелся у камина, если не был совершенно один. Даже в присутствии главного дворецкого он не мог решиться на такой поступок. Если бы этот угнетатель появился в комнате в подобную минуту, тотчас уцепился бы за собственные руки и принялся расхаживать взад и вперед перед камином или бродить крадучись среди роскошной мебели. Только легкие тени, выползавшие из темных углов, когда огонь вспыхивал, и скрывавшиеся — когда угасал, могли видеть это у камина. Но и этих свидетелей было более чем достаточно, и на них он поглядывал с беспокойством.

Правая рука мистера Мердля была занята вечерней газетой, а вечерняя газета была занята мистером Мердлем. Его удивительная предприимчивость, его удивительное богатство, его удивительный банк были главной темой вечерней газеты. Удивительный банк, инициатором, учредителем и директором которого являлся мистер Мердль, был последним из бесчисленных мердлевских чудес. Но мистер Мердль был до того скромен среди всех своих ослепительных

подвигов, что казался скорее владельцем дома, на который наложен арест за долги, чем финансовым колоссом, возвышающимся у собственного очага, в то время как маленькие кораблики стекаются к нему на обед.

Но вот корабли вступают в гавань. Обязательный юный Полип явился первым, но на лестнице его обогнала адвокатура. Адвокатура, по обыкновению вооруженная своим неизменным лорнетом, выразила восторг при виде обязательного юного Полипа и заметила, что нам, по всей вероятности, предстоит заседать in banco [72], как выражаемся мы, юристы, и разбирать специальный вопрос.

— В самом деле, — спросил бойкий юный Полип, которого звали Фердинандом, — как это так?

— Полноте, — улыбнулась адвокатура. — Если вы не знаете, могу ли я знать? Вы стоите в святая святых храма, я же в толпе на паперти.

Адвокатура умела быть легкой или тяжелой, смотря по тому, с кем ей приходилось иметь дело. С Фердинандом Полипом она была легка как паутинка. Адвокатура, кроме того, всегда

---

[72] Сноски: 72
В суде *(итал.).*

отличалась скромностью и готовностью к самоумалению — на свой лад. Вообще адвокатура была крайне разнообразна, хотя одна и та же нить пробегала сквозь все ее узоры. Каждый, с кем ей приходилось иметь дело, казался ей присяжным заседателем, а присяжного следовало объехать, если представлялась возможность.

— Наш знаменитый хозяин и друг, — сказала адвокатура, — наше ослепительное коммерческое светило пускается в политику.

— Пускается? Он уже давно в парламенте, разве вы не знаете? — возразил обязательный юный Полип.

— Правда, — согласилась адвокатура со смехом из легкой комедии, предназначенным для избранных присяжных, совершенно отличным от смеха грубого фарса для каких-нибудь лавочников, — он уже давно в парламенте. Но до сих пор наша звезда была блуждающей и мерцающей звездочкой? А?

Обыкновенный смертный соблазнился бы этим «А?» и дал бы утвердительный ответ, но Фердинанд Полип только лукаво взглянул на адвокатуру и не дал никакого ответа.

— Именно, именно, — продолжила адвокатура кивая, так как ее нелегко было выбить из сед-

ла, — вот потому-то я и сказал, что нам предстоит экстренное заседание in banco, подразумевая под этим торжественное и важное собрание, когда, как сказал капитан Мэкхит [73], «Судьи собрались! Ужасное зрелище!». Мы, юристы, как видите, настолько либеральны, что цитируем капитана, хотя капитан весьма суров с нами. Впрочем, — прибавила адвокатура, шутливо покачивая головой, так как даже в официальных речах всегда принимала вид добродушной насмешки над самой собой, — даже капитан допускает, что закон — в общем, по крайней мере стремится быть беспристрастным. Вот что говорит капитан, если память не обманывает меня, если же обманывает, — тут он с веселым видом дотронулся лорнетом до плеча своего спутника, — то мой ученый друг меня поправит:

Законы были созданы для всех,
Чтоб обуздать везде порок и грех.
Не лучше мы, что там ни говори,
Тех, кто на Тайберн-Три [74].

---

[73] Сноски: 73

Один из персонажей комедии «Опера нищих» английского драматурга Джона Гея (1685–1732).

[74] Сноски: 74

Место казней в Лондоне.

С этими словами они вошли в гостиную, где мистер Мердль грелся у камина. Мистер Мердль был так ошеломлен появлением адвокатуры с цитатой на устах, что той пришлось объяснять, откуда взята цитата.

— Это из Гея. Конечно, он не считается авторитетом у нас, в Вестминстер-холле, но все же заслуживает внимания со стороны человека с таким обширным знанием света, как мистер Мердль.

Мистер Мердль взглянул на него так, как будто хотел сказать что-то, но тотчас затем взглянул так, как будто ничего не хотел сказать. Тем временем доложили об епископе.

Епископ вошел с кротостью во взоре, но твердой и быстрой поступью, как будто собирался надеть семимильные сапоги и пуститься в обход вокруг света, дабы посмотреть, все ли в порядке. Епископу и в голову не приходило, что данное торжество представляет собой нечто особенное. Это была самая замечательная черта в его поведении. Он был свеж, весел, мил, кроток, но изумительно невинен, как дитя.

Адвокатура с учтивейшим поклоном поспешила осведомиться о здоровье супруги епископа, которая слегка простудилась на последней

конфирмации [75], но вообще чувствовала себя превосходно. Молодой мистер епископ тоже здоров и уехал вместе с молодой женой и малолетними детьми для отправления пастырских обязанностей.

Затем появились представители хора Полипов и доктор мистера Мердля. Адвокатура, умудрившаяся замечать одним глазком и одним стеклышком лорнета каждого, кто входил в комнату, где бы сама ни стояла и с кем бы ни разговаривала, с изумительным искусством лавировала среди гостей, ухитряясь каждому сказать что-нибудь приятное. С некоторыми из хора она посмеялась над сонным депутатом, который подал голос за своего противника, не разобрав спросонок, в чем дело; с другими поплакала над духом времени, доходившим до того, что публика обнаруживает совершенно противоестественный интерес к общественной деятельности и к общественным суммам; с доктором поговорила о болезнях вообще и, кроме того, пожелала узнать его мнение об одном медике, человеке с несомненной эрудицией и утонченными манерами, хотя и другие

[75] Сноски: 75

У католиков и протестантов — обряд приобщения к церкви, совершаемый над юношами и девушками, достигшими церковного совершеннолетия (14–16 лет).

представители врачебного искусства (юридическая улыбка) обладают этими качествами в их высшем проявлении, — да, так его мнение насчет этого джентльмена, с которым адвокатура встретилась третьего дня в суде, причем из перекрестного допроса выяснилось, что он сторонник нового метода лечения, по мнению адвокатуры… да!.. впрочем, это только личное мнение адвокатуры; личное мнение, с которым, она надеется, будет согласен и доктор. Отнюдь не дерзая решать вопрос, относительно которого расходятся авторитеты, она, адвокатура, рассуждая с точки зрения здравого смысла, а не так называемого научного исследования, склонна думать, что эта новая система, если можно употребить такое смелое выражение в присутствии столь высокого авторитета, попросту шарлатанство? А? Ну, имея за собой такую поддержку, адвокатура, уже с легким сердцем, может повторять: шарлатанство!

В эту минуту явился мистер Тит Полип, у которого, как у знаменитого приятеля доктора Джонсона [76], была только одна идея в голове, да и та глупая. Этот блестящий джентльмен и мистер Мердль, сидя друг против друга в раз-

[76] Сноски: 76

Джонсон Сэмюэль (1709–1784) — английский писатель и языковед, представитель литературы эпохи Просвещения.

ных углах желтой оттоманки, около камина, и сохраняя гробовое молчание, как нельзя более напоминали двух коров на пейзаже Кёйпа [77], висевшем на противоположной стене.

Но вот прибыл и лорд Децимус. Главный дворецкий, до сих пор ограничивавшийся тем, что осматривал гостей при входе (и притом скорее с недоверием, чем с благосклонностью), простер свою снисходительность до того, что поднялся вместе с ним по лестнице и доложил о нем. Лорд Децимус был до того величествен, что один скромный молодой член палаты общин — последняя рыбка, пойманная Полипами и приглашенная, собственно, для того, чтобы отпраздновать свою поимку, — зажмурил глаза при входе его светлости.

Тем не менее лорд Децимус был рад видеть этого члена. Он был также рад видеть мистера Мердля, рад видеть епископа, рад видеть адвокатуру, рад видеть доктора, рад видеть Тита Полипа, рад видеть хор, рад видеть Фердинанда, своего личного секретаря. Лорд Децимус, хотя и величайший из великих мира сего, не отличался светскими манерами, и Фердинанд водил его от

---

[77] Сноски: 77
Кёйп Альберт (1620–1691) — голландский художник.

одного гостя к другому, для того чтобы все присутствующие узнали, что он рад их видеть. После этого его светлость включился в композицию картины Кейпа, изобразив третью корову в группе.

Адвокатура, чувствуя, что присяжные на ее стороне и что остается только заполучить старшину, направилась к нему бочком, поигрывая лорнетом. Адвокатура поставила вопрос о погоде как не требующий официальной сдержанности. Адвокатура заметила, что ей говорили (как всем говорят, хотя кто говорит и зачем — остается неразрешимой тайной), будто в нынешнем году нельзя ожидать хорошего урожая шпалерных плодов. Лорд Децимус не слыхал ничего дурного насчет персиков, но, кажется, если верить словам его садовника, он останется без яблок. Без яблок? Адвокатура совсем опешила от удивления и сочувствия. В сущности, ей было решительно все равно, останется ли хоть одно яблочко на земле, но ее участие к этому яблочному вопросу было просто трогательно. Чем же, однако, лорд Децимус, — мы, несносные юристы, любим собирать всякого рода сведения, хоть и не знаем, для чего они могут нам пригодиться, — чем же, лорд Децимус, вы объясните это явление? Лорд Децимус ничем не мог объяснить этого явления.

Этот ответ мог бы смутить всякого другого, но адвокатура, не утратив бодрости духа, спросила: «А груши, как они нынче?»

Долгое время после того, как адвокатура сделалась генеральным прокурором, эта фраза цитировалась как образец ее ловкости. Лорд Децимус очень хорошо помнил об одном грушевом дереве в Итонском саду, на котором расцвела первая и единственная острота в его жизни. Острота была весьма нехитрого свойства и коротенькая, построенная на разнице между плодами Итона и плодами парламентской деятельности, но лорду Децимусу казалось, что публика не поймет ее без всестороннего и основательного знакомства с деревом. Поэтому началась длинная история, которая сначала даже не упоминала о дереве, потом застала его среди зимы, проследила за ним дальше, видела его в бутонах, в цвету, дождалась плодов, дождалась, пока созрели плоды, словом — так старательно холила и воспитывала дерево, прежде чем добралась до той минуты, когда лорд Децимус вылез из окна своей спальни с целью нарвать плодов, что изнемогавшие слушатели благодарили Бога за то, что дерево было посажено и привито до поступления рассказчика в Итон. Адвокатура с таким захватывающим интересом

следила за судьбой этих груш от того момента, как лорд Децимус торжественно заявил: «Упомянув о грушах, вы напомнили мне одно грушевое дерево», до глубокомысленного заключения: «Так-то мы переходим, после многих превратностей человеческой жизни, от плодов Итона к плодам парламентской деятельности», что провожала лорда Децимуса вниз в столовую и даже уселась рядом с ним за обедом, чтобы дослушать рассказ до конца. После этого она почувствовала, что старшина на ее стороне и что она может с аппетитом приняться за обед.

А обед действительно мог возбудить аппетит: тончайшие блюда, великолепно изготовленные и великолепно сервированные, отборные фрукты и редкие вина; чудеса искусства по части золотых и серебряных изделий, фарфора и хрусталя; бесчисленные услады для вкуса, обоняния и зрения. О, какой удивительный человек этот Мердль, какой великий человек, какой одаренный человек, какой гениальный человек, одним словом — какой богатый человек!

Он проглотил по обыкновению на восемнадцать пенсов пищи, не замечая ее вкуса, и проявил так мало способности к членораздельным звукам, что вряд ли какой-нибудь великий

человек мог проявить ее меньше. К счастью, лорд Децимус был из тех светил, которых не нужно занимать разговорами, потому что они вечно заняты созерцанием собственного величия. Это обстоятельство придало духу застенчивому молодому депутату: он решился открыть глаза, насколько это было необходимо для обеда, но всякий раз, когда заговаривал, лорд Децимус снова зажмуривался.

Приятный молодой Полип и адвокатура занимали общество разговорами. Епископ тоже мог бы быть приятен, если бы не его невинность. Он скоро отстал. При малейшем намеке на какое-нибудь сенсационное происшествие он совершенно терялся. Политика была ему не по силам, он ничего не понимал в ней.

Это бросилось в глаза, когда адвокатура случайно заметила, как приятно ей было услышать, что партия порядка вскоре усилится здравым и ясным умом, не показным и напыщенным, а именно здравым и ясным умом нашего друга, мистера Спарклера.

Фердинанд Полип засмеялся и сказал:

— О да, наверно.

Лишний голос всегда кстати.

Адвокатура выразила сожаление, что нашего

друга, мистера Спарклера, нет за обедом, мистер Мердль.

— Он за границей с миссис Мердль, — ответил хозяин, медленно пробуждаясь от припадка задумчивости, в течение которого старался засунуть ложку в рукав. — Ему незачем присутствовать здесь лично.

— Магического имени Мердля, без сомнения, достаточно, — сказала адвокатура с тонкой юридической улыбкой.

— И… да… я то же думаю, — согласился мистер Мердль, оставив в покое ложку и засовывая руки в рукава. — Думаю, что избиратели не станут создавать затруднений.

— Образцовые избиратели! — заметила адвокатура.

— Я рад, что вы одобряете их, — отозвался мистер Мердль.

— А избиратели двух других местечек? — продолжала адвокатура, поблескивая своими острыми глазами в сторону великолепного соседа. — Мы, юристы, всегда любопытны, всюду суем свой нос, всюду запасаемся материалом; нам ведь все может пригодиться при случае. Да, так избиратели двух других местечек! Как они? Так же послушны, так же способны подчиниться

могучему и плодотворному влиянию столь славного имени, столь грандиозных предприятий? Эти мелкие ручейки, вливаются ли они в величественный поток, оплодотворяющий на своем пути окружающие земли, вливаются ли они в него, так легко, так свободно, так прекрасно повинуясь естественным законам, что их дальнейшее направление может быть точно вычислено и предсказано?

Мистер Мердль, смущенный красноречием адвокатуры, с недоумением уставился на ближайшую солонку и после некоторого размышления пробормотал:

— Они сознают свои обязанности перед обществом, сэр. Они выберут любого, кого я им укажу.

— Приятно слышать, — заметила адвокатура. — Приятно слышать!

Три местечка, о которых шла речь, были три жалкие деревушки на нашем острове с невежественным, пьяным, ленивым, грязным населением, попавшим в карман мистера Мердля. Фердинанд Полип засмеялся своим откровенным смехом и шутливо заметил, что это превосходная компания. Епископ, мысленно блуждавший в заоблачных сферах, окончательно отрешился от мира.

— Скажите, — спросил лорд Децимус, озирая собрание, — что это за историю я слышал о господине, сидевшем в долговой тюрьме и оказавшемся богачом, наследником огромного состояния? Я несколько раз слышал о нем. Знаете вы эту историю, Фердинанд?

— Я знаю только, — сказал Фердинанд, — что этот господин доставил департаменту, к которому я имею честь принадлежать, целую кучу хлопот и совсем доконал нас. — Эту фразу блестящий молодой Полип произнес таким небрежным тоном, как будто хотел сказать: «Это обычная манера выражаться, но мы должны стоять за нее, нам это выгодно».

— Доконал? — повторил лорд Децимус так внушительно и строго, что застенчивый депутат зажмурил глаза как можно плотнее. — Доконал?

— Да, очень хлопотливое дело, — заметил мистер Тит Полип мрачным тоном.

— В чем же, — спросил лорд Децимус, — в чем же, собственно, заключается это дело, какого рода эти… э… хлопоты, Фердинанд?

— О, это любопытная история, — ответил этот джентльмен, — очень любопытная история. Этот мистер Доррит (его фамилия Доррит) состоял нашим должником задолго до появления благо-

детельной феи, наделившей его богатством. Он поставил свою подпись на контракте, который не был выполнен. Он был пайщиком фирмы, которая вела обширную торговлю спиртом, или пуговицами, или вином, или ваксой, или овсяной мукой, или шерстью, или свининой, или крючками и петлями, или железным товаром, или патокой, или сапогами, или чем-нибудь другим, что требуется для войск, или для моряков, или для покупателей вообще. Фирма лопнула, мы оказались в числе ее кредиторов, должники были выдворены обычным порядком на казенную квартиру и так далее. Когда явилась благодетельная фея и он пожелал уплатить нам, нам пришлось столько считать и подсчитывать, скреплять и подписывать, что прошло ровно полгода, пока мы ухитрились получить с него деньги и выдать квитанцию. Это было истинное торжество официальной деятельности, — прибавил милый молодой Полип, смеясь от всего сердца. — Вряд ли кому-нибудь случалось видеть такую груду бумаг. «Знаете, — сказал мне его поверенный, — если бы мне приходилось получить от вашего министерства две или три тысячи фунтов, а не платить их ему, я, наверно, не встретил бы столько затруднений». — «Вы правы, дружи-

ще, — ответил я, — теперь вы не скажете, что мы сидим без дела». — Приятный молодой Полип снова рассмеялся. Он в самом деле был приятный славный человек с подкупающими манерами.

Мистер Тит Полип относился к этому делу не столь добродушно. По его мнению, со стороны мистера Доррита было положительно неприлично затруднять департамент уплатой долга, просрочив столько лет. Но мистер Тит Полип застегивался на все пуговицы и, следовательно, был человеком с весом. Люди, застегнутые на все пуговицы, всегда люди с весом. Люди, застегнутые на все пуговицы, внушают почтение. Потому ли, что возможность расстегиваться, не применяемая на деле, импонирует людям, или потому, что мудрость сгущается и усиливается, когда ее застегнули на все пуговицы, и испаряется, когда ее расстегивают, — но во всяком случае человек, пользующийся авторитетом, всегда застегнут на все пуговицы. Мистер Тит Полип не пользовался бы своей громкой репутацией, если б его сюртук не был всегда застегнут вплоть до белого галстука.

— Скажите, пожалуйста, — спросил лорд Децимус, — у этого мистера Даррита… или Доррита есть семья?

Так как гости молчали, хозяин ответил:

— У него две дочери, милорд.

— О, вы знакомы с ними? — спросил лорд Децимус.

— Миссис Мердль знакома, и мистер Спарклер. Кажется, — прибавил мистер Мердль, — одна из этих юных леди произвела впечатление на Эдмунда Спарклера. Он впечатлителен, и… я… мне кажется… победа… — Тут мистер Мердль замолчал и уставился на скатерть, как всегда делал, если замечал, что на него смотрят.

Адвокатура пришла в восторг, узнав, что семейство Мердль познакомилось с этим семейством. Она шепнула через стол епископу, что тут можно видеть яркую иллюстрацию тех естественных законов, в силу которых подобное стремится к подобному. Она усматривала в этом тяготении богатства к богатству нечто в высшей степени замечательное и любопытное, нечто аналогичное закону всемирного тяготения и магнетизму. Епископ, свалившийся на землю, когда был поднят этот вопрос, согласился. Он заметил, что для общества в самом деле весьма выгодно, если человек, столь неожиданно получивший соблазнительную возможность творить по произволу добро и зло для общества, прильнет, так сказать, к

более законной и более гигантской силе, которая (подобно нашему общему другу, принимающему нас за своим столом) издавна действует в гармонии с высшими интересами общества. Таким образом, вместо двух враждебных и соперничающих огней, большего и меньшего, светящихся неровным и зловещим светом, мы получаем яркое и ровное пламя, благотворные лучи которого разливают равномерную теплоту по всей земле. Вообще епископ, по-видимому, остался доволен своей точкой зрения на этот вопрос и распространился о нем довольно обстоятельно, причем адвокатура (не желая потерять лишнего присяжного) делала вид, что сидит у его ног и вкушает плоды его наставлений.

Обед и десерт длились три часа, так что застенчивый депутат совсем замерз в тени лорда Децимуса: даже напитки и кушанья не могли отогреть его.

Лорд Децимус, как башня на равнине, бросал тень через весь стол, заслонял свет от почтенного члена палаты, леденил кровь в жилах почтенного члена палаты и внушал ему самое безотрадное представление об окружающем. Когда лорд Децимус предложил чокнуться этому злополучному страннику, его окутала самая зловещая тень,

а когда сказал: «Ваше здоровье, сэр!» — все вокруг него превратилось в голую, безотрадную пустыню.

Наконец лорд Децимус, с чашкой кофе в руке, принялся ходить по залу, осматривая картины, возбудив в умах всех присутствующих вопрос: когда он направит свои благородные крылья в гостиную и позволит мелким пташкам упорхнуть туда же? После нескольких бесплодных взмахов крыльями он наконец воспарил и перелетел в гостиную.

Тут возникло затруднение, которое всегда возникает, если два человека, которым нужно переговорить, сходятся для этой цели за обедом. Каждому (за исключением епископа, который ничего не подозревал) было очень хорошо известно, что все эти яства и напитки были съедены и выпиты, собственно, для того, чтобы дать возможность лорду Децимусу и мистеру Мердлю поговорить минут пять. Теперь наступила эта столь заботливо подготовленная минута, и тут-то оказалось, что требуется необычайная изобретательность, чтобы загнать этих великих мужей в одну комнату. Мистер Мердль и его благородный гость, по-видимому, решились топтаться на противоположных концах зала. Напрасно обяза-

тельный Фердинанд притащил лорда Децимуса полюбоваться на бронзовых коней около мистера Мердля. Мистер Мердль ускользнул и очутился далеко. Напрасно притащил он мистера Мердля к лорду Децимусу рассказать историю драгоценной вазы из саксонского фарфора. И когда дело совсем уж было наладилось, лорд Децимус ускользнул и очутился далеко.

— Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное? — спросил Фердинанд адвокатуре после двадцати неудачных попыток в том же роде.

— Часто, — сказала адвокатура.

— Слушайте, я загоню в угол одного, а вы — другого, — сказал Фердинанд, — иначе у нас ничего не получится.

— Ладно, — сказала адвокатура. — Если хотите, я попытаюсь загнать Мердля, но не милорда.

Фердинанд расхохотался, несмотря на свою досаду, и сказал, взглянув на часы:

— Черт бы побрал их обоих! Мне нужно уходить. И чего они упираются! Ведь знают, что им нужно поговорить. Вот, посмотрите на них.

Они по-прежнему торчали на противоположных концах зала, притворяясь, будто им никакого дела нет друг до друга, хотя нелепость этого притворства не могла бы быть очевиднее и смешнее,

если бы даже их мысли были написаны мелом на их спинах. Епископ, который только что разговаривал с Фердинандом и адвокатурой, но по своей невинности и святости не понял, в чем дело, подошел к лорду Децимусу и вступил с ним в разговор.

— Попросить разве доктора изловить и задержать мистера Мердля, — сказал Фердинанд, — а затем я попытаюсь заманить — нет, так притащить — моего знатного родича.

— Если вы делаете мне честь, — сказала адвокатура с тончайшей из своих улыбок, — просить моей слабой помощи, то я душевно рад служить вам. Я не думаю, чтобы один человек мог справиться с такой задачей. Постарайтесь задержать милорда в той крайней комнате, где он теперь, по-видимому, поглощен интересной беседой, а я попытаюсь загнать туда нашего милого Мердля и отрезать все пути к отступлению.

— Идет! — сказал Фердинанд.

— Идет! — сказала адвокатура.

Стоило, очень стоило, посмотреть на адвокатуру, когда, помахивая лорнетом на ленте и улыбаясь присяжным всего света, она — совершенно случайно — очутилась около мистера Мердля и воспользовалась этим случаем, чтобы

посоветоваться с ним насчет одного пункта. (Тут она взяла мистера Мердля под руку и незаметно потянула за собой.) Один банкир, которого мы назовем А. Б., ссудил значительную сумму, скажем — пятнадцать тысяч фунтов, клиентке или доверительнице адвокатуры, которую мы назовем В. Г. (Так как они приближались к лорду Децимусу, адвокатура крепче стиснула мистера Мердля.) В обеспечение этой ссуды В. Г. — допустим, вдова — передала А. Б. документы на имение, которое мы назовем «Блинкайтер-Додльс». Теперь возникает следующий вопрос. Ограниченное право пользования лесами Блинкайтер-Додльс принадлежит по завещанию сыну В. Г., в настоящее время достигшему совершеннолетия, которого мы назовем Д. Е. Однако это слишком дерзко — в присутствии лорда Децимуса занимать хозяина такой сухой материей. В другой раз! Адвокатура решительно сконфузилась и отказалась продолжать. Не может ли епископ уделить ей несколько минуток? (Она усадила мистера Мердля рядом с лордом Децимусом — и теперь или никогда они должны были столковаться.)

Вся остальная компания, крайне заинтересованная и возбужденная (исключая епископа, который не подозревал, что здесь что-то проис-

ходит), собралась у камина в соседней гостиной, делая вид, что болтает о том о сем, тогда как в действительности глаза и мысли всех были устремлены на уединившуюся пару. Хор был особенно взволнован, быть может благодаря смутному подозрению, что какой-то лакомый кусочек ускользает от него. Один епископ говорил просто и без задней мысли. Он беседовал с великим медиком о расслаблении горловых связок, которым часто страдают молодые священники, и о средствах против этой болезни духовных лиц. Доктор высказал мнение, что вернейший способ избежать этого недуга — научиться читать проповеди, прежде чем сделать из этого свою профессию. Епископ спросил с некоторым сомнением, неужели таково мнение доктора. Доктор решительно ответил: «Да».

Между тем Фердинанд, один из всей компании, егозил где-то на полдороге между ней и двумя собеседниками, как будто лорд Децимус производил какую-то хирургическую операцию над мистером Мердлем, или, наоборот, мистер Мердль — над лордом Децимусом, причем ежеминутно могли потребоваться услуги ассистента. В самом деле, не прошло и четверти часа, как лорд Децимус крикнул: «Фердинанд!», и тот поспешил

на зов, чтобы принять участие в конференции, продолжавшейся еще пять минут. Затем хор заволновался: лорд Децимус собрался уезжать. Фердинанд, заботившийся о его популярности, снова потащил его на поводу, и он любезнейшим образом пожал руки всем присутствующим и даже заметил адвокатуре:

— Надеюсь, вам не слишком надоели мои плоды?

Адвокатура, весьма тонко давая понять, что оценила остроту милорда и будет помнить ее по гроб жизни, ответила на это:

— Итонские, милорд, или парламентские?

Вскоре затем удалилась важная государственная личность, застегнутая на все пуговицы, в лице мистера Тита Полипа, а за ней Фердинанд, спешивший в Оперу. Из остальных кое-кто оставался, прихлебывая ликер из золотых стаканчиков и размазывая липкие кружки по булевским столикам в тщетной надежде услышать что-нибудь от мистера Мердля. Но мистер Мердль по обыкновению лениво и вяло бродил по гостиным, не произнося ни слова.

День или два спустя весь город узнал, что Эдмунд Спарклер, эсквайр, пасынок всемирно знаменитого мистера Мердля, сделался одним

из столпов министерства околичностей, и всем верным сторонникам было объявлено, что это удивительное назначение — благосклонный и милостивый знак внимания, оказанный благосклонным и милостивым Децимусом торговому сословию, интересы которого в великой коммерческой стране должны всегда… и прочая, прочая, прочая, — все с подобающей помпой и трубными звуками. Поощренный этим официальным знаком внимания, удивительный банк и другие удивительные предприятия разом двинулись в гору, и толпы зевак собирались на Харли-стрит, Кавендиш-сквер, чтобы только взглянуть на жилище золотого мешка.

И когда главный дворецкий в добрую минуту выглядывал из дверей подъезда, зеваки дивились его пышной особе и спрашивали друг друга, сколько денег лежит у него в удивительном банке. Но если б они знали поближе эту респектабельную Немезиду [78], то не стали бы предлагать таких вопросов и могли бы с величайшей точностью определить интересующую их сумму.

---

[78] Сноски: 78

В греческой мифологии богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и моральных норм.

Глава XIII. Эпидемия распространяется

Что с моральной эпидемией так же трудно бороться, как и с физической, что этого рода болезнь распространяется с быстротой и опустошительностью чумы, что моральная зараза, раз утвердившись, одолевает все преграды, поражает совершенно здоровый организм и развивается при самых неподходящих условиях — это факт, установленный так же незыблемо, как то, что мы, люди, дышим воздухом. Неоценимым благодеянием для человечества была бы возможность арестовать зачумленного, в чьей слабости и пороках развились первые семена заразы, и запереть его в одиночное заключение (если не убить), прежде чем зараза распространится.

Как большой пожар наполняет своим гулом воздух на огромном расстоянии, так священное пламя, разведенное могущественными Полипами на алтаре великого Мердля, все дальше и дальше оглашало воздух звуком этого имени. Оно звучало на всех устах, раздавалось во всех ушах.

Не было, нет и не будет другого такого человека, как мистер Мердль.

Как уже сказано, никто не знал, какие подвиги

он совершил, но всякий знал, что он величайший из смертных.

На подворье «Разбитые сердца», где ни у кого не было лишнего пенни в кармане, интересовались этим восьмым чудом света ничуть не меньше, чем на бирже. Миссис Плорниш, которая вела теперь мелочную и галантерейную торговлю в очень милой лавочке, в углу подворья, подле лестницы, причем ей помогали в качестве приказчиков старичок отец и Мэгги, постоянно беседовала об этом со своими посетителями. Мистер Плорниш, имевший небольшую долю в предприятиях одного мелкого подрядчика по соседству, стоя со своей лопаточкой где-нибудь на верхушке лесов, со слов добрых людей рассказывал, что мистер Мердль — настоящий человек, понимаете, который может научить нас всех вести дела. Мистер Батист, единственный жилец мистера и миссис Плорниш, откладывал, по слухам, все свои сбережения, результат скромной и умеренной жизни, имея в виду поместить их в одно из предприятий мистера Мердля. «Разбитые сердца» прекрасного пола, являясь в лавочку купить чаю на два пенса и наговорить на две гинеи, сообщали миссис Плорниш, что их родственница Мэри Анна — она ведь у них работала портнихой,

сударыня, — так вот эта самая Мэри Анна уверяет, будто у миссис Мердль столько платьев, что и на трех возах не увезешь. А уж какая красавица эта леди: хоть весь свет обойди, другой такой не сыщешь, сударыня; шея — чистый мрамор. А насчет ее сына, которого сделали министром, говорят, будто это ее сын от первого мужа, сударыня (тот вроде был генералом, командовал армией и одерживал победы, если только не врут люди). И еще говорят, будто сам мистер Мердль сказал: «Я бы, — говорит, — все правительство купил и за барышом бы не погнался; только не стоит, тут, — говорит, — кроме убытков, ничего не очистится, — так что мне за расчет?» Да что ему убытки, такому богачу, ведь у него, говорят, золота — хоть улицы мости! А хорошо, кабы он взял в свои руки правительство, он-то небось знает, как поднялись цены на хлеб и мясо, и, кроме него, вряд ли кто сумеет и захочет понизить их.

Эта лихорадка так охватила подворье «Разбитые сердца», что приступы ее не прекращались даже в дни посещений мистера Панкса. В эти дни болезнь только принимала особую форму и выражалась в том, что пациенты с какой-то неизреченной радостью и утешением ссылались на магическое имя.

— Ну, живо! — говорил мистер Панкс неисправному жильцу. — Деньги на стол!

— У меня нет денег, мистер Панкс, — отвечал неплательщик. — Право, сэр, нет ничего, шести пенсов не найдется.

— Это ведь не поможет, — возражал мистер Панкс. — Вы ведь знаете, что это не поможет, а?

— Знаю, сэр! — уныло отвечал неплательщик.

— Мой хозяин знать не хочет таких отговорок, — продолжал мистер Панкс. — Он не затем меня посылает сюда. Живо! Деньги!

Неплательщик отвечал:

— Ах, мистер Панкс, если б я был тот джентльмен, о котором все трубят, если б меня звали Мердлем, сэр, я бы живо заплатил, с радостью заплатил бы!

Эти диалоги происходили обыкновенно у дверей квартир или в коридорах, в присутствии целой толпы «Разбитых сердец», глубоко заинтересованных предметом разговора. Они всегда встречали подобные ссылки глухим ропотом одобрения, как решительные аргументы, и сам неплательщик, как бы он ни был смущен и уныл, всегда несколько ободрялся после такой ссылки.

— Будь я мистер Мердль, вам не пришлось бы пенять на меня, сэр. Нет, поверьте мне, — продол-

жал неплательщик, покачивая головой, — я бы не заставил вас беспокоиться: не успели бы вы слова молвить, а деньги уж тут, мистер Панкс!

Это заявление встречалось прежним одобрительным ропотом как аргумент, лучше которого не придумаешь, стоящий самой уплаты денег.

Мистер Панкс заносил имя жильца в записную книжку и говорил:

— Ладно! Ваше имущество опишут, а вас выгонят из дому, больше ничего не добьетесь. Что вы мне толкуете о мистере Мердле? Вы не мистер Мердль, как и я.

— Нет, сэр, — отвечал неплательщик. — Я только желал бы, чтобы вы им были, сэр.

Толпа одобрительно подхватывала:

— Желал бы, чтоб вы им были, сэр!

— Вы бы обращались с нами снисходительнее, если б были мистером Мердлем, сэр, — продолжал неплательщик, воспрянув духом, — и было бы лучше для обеих сторон: лучше для нас. Лучше и для вас, сэр. Тогда бы вы никого не беспокоили, сэр. Не беспокоили бы нас, не беспокоили бы самого себя. Вам бы было легче на душе, сэр, и нам бы было легче, да, если б вы были мистером Мердлем, сэр.

Мистер Панкс, которого эти косвенные упреки

совершенно сбивали с толку, не мог оправиться после такого залпа. Он кусал себе ногти и устремлялся затем к другому неплательщику. Разбитые же сердца окружали того, с которым он только что расстался, и утешались самыми фантастическими вычислениями наличного капитала мистера Мердля.

Потерпев целый ряд таких поражений в один из дней, назначенных для сбора, и окончив свой обход, мистер Панкс, с записной книжкой под мышкой, направился в уголок миссис Плорниш, не с официальной целью, а просто так, с визитом. День выдался трудный, и ему хотелось немножко отвести душу. В это время он был на дружеской ноге с Плорнишами, частенько заглядывал к ним и принимал участие в общих воспоминаниях о мисс Доррит.

Гостиная миссис Плорниш была отделана под ее личным наблюдением, и стена, примыкавшая к лавке, была украшена живописью, доставлявшей хозяйке несказанное наслаждение. Она изображала передний фасад коттеджа с соломенной крышей, нарисованного так, что дверью и окном ему служили настоящие дверь и окно (насколько это позволяли совершенно непропорциональные размеры). Скромный подсолнечник

и мальва роскошно цвели перед этой хижиной, а густой столб дыма, поднимавшийся над кровлей, свидетельствовал о довольстве внутри и, может быть, также о давно не чищенной трубе. Верный пес бросался навстречу дружественному посетителю, а круглая голубятня, окруженная тучей голубей, возвышалась над изгородью сада. На двери (когда она была заперта) виднелась медная дощечка с надписью: «Счастливый», коттедж Т. и М. Плорниш» (инициалы обозначали мужа и жену). Вряд ли поэзия или какое бы то ни было искусство пленяли кого-нибудь так сильно, как соединение этих двух имен на дверях нарисованного коттеджа пленяло миссис Плорниш. Ничего, что мистер Плорниш, вернувшись с работы, выкуривал трубочку, прислонившись к этой двери, причем его шляпа закрывала голубятню со всеми голубями, спина поглощала все жилище, а засунутые в карманы руки с корнем вырывали цветущий сад и превращали всю местность в пустыню. Для миссис Плорниш коттедж все-таки оставался прекраснейшим, восхитительной иллюзией, и она ничуть не смущалась тем, что глаза мистера Плорниша приходились на несколько дюймов выше конька соломенной крыши. Сидеть в лавке и слушать, как отец распевает в

коттедже, было для миссис Плорниш настоящей пасторалью, возвращением золотого века. И в самом деле, если б этот век когда-либо вернулся или если бы он был когда-либо на земле, то вряд ли он мог бы породить более нежную и любящую дочь, чем эта бедная женщина.

Услышав звонок, миссис Плорниш вышла из коттеджа «Счастливый» посмотреть, кто звонит.

— Я так и думала, что это вы, мистер Панкс, — сказала она, — ведь сегодня ваш день, правда? Взгляните на отца: как он выскочил на звонок, совсем молодой приказчик. Правда, ведь он выглядит молодцом? Он рад вам больше, чем покупателю: ведь он-таки любит поболтать, особенно когда речь зайдет о мисс Доррит. А как поет, до чего в голосе! — прибавила миссис Плорниш, и ее собственный голос задрожал от гордости и удовольствия. — Вчера вечером он спел нам Стрефона, да так, что сам Плорниш встал и сказал ему через стол: «Джон Эдвард Нэнди, я еще не слыхал от вас таких трелей, таких то есть трелей, какими вы угостили нас сегодня». А ведь это приятно слышать, мистер Панкс, правда?

Мистер Панкс дружелюбно фыркнул старику и ответил утвердительно, а затем спросил, вернулся ли весельчак Альтро. Миссис Плорниш

ответила:

— Нет, еще не вернулся, хотя он только понес работу в Уэст-Энд и обещал вернуться к чаю.

Затем мистер Панкс был приглашен в коттедж «Счастливый», где застал старшего сына Плорниша, только что вернувшегося из школы, и, расспросив его о сегодняшних занятиях в школе, узнал, что старшие ученики писали примеры на букву М: «Мердль», «миллионы»…

— А как ваши делишки, миссис Плорниш, — спросил Панкс, — благо зашла речь о миллионах?

— Слава богу, сэр, — ответила миссис Плорниш. — Отец, голубчик, не сходите ли в лавку? Надо привести в порядок выставку на окне, а у вас столько вкуса.

Джон Эдвард Нэнди, крайне польщенный, побежал рысцой в лавку исполнить просьбу дочери. Миссис Плорниш, смертельно боявшаяся заводить речь о денежных обстоятельствах в присутствии старика, который, узнав о каком-нибудь затруднении, мог, чего доброго, снова удрать в работный дом, могла теперь откровенно поговорить с мистером Панксом.

— Торговля-то идет отлично, — сказала она, понизив голос, — покупатели не переводятся.

Одна беда, сэр, — кредит.

Эта беда, которую приходится чувствовать всем, кто вступает в коммерческие сношения с обитателями подворья «Разбитые сердца», была огромным камнем преткновения для торговли миссис Плорниш. Когда мистер Доррит помог ей открыть лавочку, «Разбитые сердца» проявили живейшее участие и готовность поддержать ее коммерцию, делавшие честь человеческой природе. Признавая, что миссис Плорниш, давний член их общины, имеет бесспорное право на их участие, они с величайшей готовностью предложили ей свое содействие в качестве покупателей преимущественно перед всеми другими лавками. Под влиянием этих великодушных чувств они даже стали позволять себе маленькие излишества по части бакалеи, масла и других продуктов, замечая друг другу, что если они и тратят лишнее, так ведь это для соседки и друга. Таким образом, торговля пошла очень ходко, и товары исчезали из лавки очень быстро. Словом, если бы «Разбитые сердца» платили за товар, то успех предприятия можно было бы назвать блестящим, но так как они забирали исключительно в долг, то реализованные барыши еще не начинали появляться в приходорасходной книге лавки.

Мистер Панкс, размышляя об этом положении дел, только ерошил волосы до того, что превратился в настоящего дикобраза, когда старый Нэнди, вернувшись в коттедж с таинственным видом, попросил их выйти и взглянуть на мистера Батиста, который ведет себя очень странно, точно с ним что-то случилось.

Все трое вышли в лавку и, взглянув в окно, увидели мистера Батиста, бледного и взволнованного, который проделывал следующие необычайные штуки. Во-первых, он притаился на верхней ступеньке лестницы, спускавшейся на подворье, и осматривал улицу, прижавшись к лавке. После очень тщательного осмотра он выскочил из своего убежища и побежал по улице, точно решил уйти совсем, но вдруг рвзвернулся и помчался в противоположную сторону, потом перебежал через улицу и исчез. Цель этого маневра выяснилась только после того, как он неожиданно влетел в лавку с другой стороны. Оказалось, что он сделал огромный крюк, вошел на подворье с противоположной стороны — со стороны «Дойса и Кленнэма», — пробежал все подворье и таким путем добрался до лавки. Он едва дышал, а сердце его билось быстрее маленького колокольчика в лавке, который задребезжал,

когда он второпях захлопнул за собой дверь.

— Эй, старина! — воскликнул Панкс. — Альтро, дружище, что случилось?

Мистер Батист, или синьор Кавалетто, к этому времени понимал английский язык не хуже самого мистера Панкса и мог объясняться на нем весьма удовлетворительно. Тем не менее миссис Плорниш с простительным тщеславием женщины, справедливо гордившейся своими лингвистическими способностями, выступила в качестве переводчика.

— Ему спрашивать, — сказала миссис Плорниш, — что не ладно.

— Пойдемте в «Счастливый», padrona [79], — ответил мистер Батист, особенно выразительно потрясая указательным пальцем правой руки. — Пойдемте!

Миссис Плорниш гордилась титулом padrona, означавшим, по ее мнению, не столько хозяйку дома, сколько знатока итальянского языка. Она тотчас согласилась на просьбу мистера Батиста, и все вместе отправились в коттедж.

— Ему надеяться, вы не боялся, — продолжила миссис Плорниш, переводя слова мистера

---

[79] Сноски: 79
Хозяйка, госпожа *(итал.).*

Панкса на новый лад со своей обычной находчивостью. — Что случилось? Скажите падроне.

— Я встретил одного человека, — ответил Батист. — Я его rincontrato [80].

— Его? Кто его? — спросила миссис Плорниш.

— Скверного человека. Самого скверного человека. Я надеялся, что никогда больше не встречу его.

— Как вы знал ему скверный? — спросила миссис Плорниш.

— Не все ли равно как, padrona. Знаю, хорошо знаю.

— Ему видеть вы? — спросила миссис Плорниш.

— Нет. Надеюсь, что нет. Думаю, что нет.

— Он говорит, — сказала миссис Плорниш, снисходительно переводя его речь отцу и мистеру Панксу, — что встретил скверного человека, но надеется, что он не заметил его. Почему, — спросила она, возвращаясь к итальянскому языку, — почему надеяться скверный человек не видел?

— Padrona, голубушка, — взмолился иностранец, которому она так заботливо покрови-

---

[80] Сноски: 80
Встретил *(итал.).*

тельствовала, — пожалуйста, не спрашивайте. Повторяю, не в этом дело: я боюсь этого человека. Я не хочу видеть его, не хочу встречаться с ним никогда. Довольно, прекрасная padrona. Оставим это!

Тема была так неприятна ему и так убивала его обычную веселость, что она не настаивала, тем более что чай давно уже был готов. Тем не менее она была очень удивлена и заинтригована, равно как и мистер Панкс, пыхтевший со времени появления итальянца, точно локомотив с тяжелым составом, взбирающийся по крутому склону. Мэгги, одетая гораздо лучше, чем в прежние времена, хотя все еще не изменившая своим чудовищным чепцам, стояла все время на заднем фоне сцены разинув рот и вытаращив глаза в безмолвном удивлении, от которого не опомнилась даже теперь, когда интересный разговор внезапно оборвался. Как бы то ни было, ни слова более не было сказано на эту тему, хотя, по-видимому, она занимала всех, не исключая двух юных Плорнишей, уписывавших свои порции хлеба с маслом с таким видом, точно эта операция была совершенно излишней, так как каждую минуту мог явиться самый скверный человек и съесть их. Мало-помалу, однако, мистер Батист немножко

развеселился, но все-таки не покидал места за дверью у окна, хотя обыкновенно сидел не здесь. Как только раздавался звонок, он вздрагивал и украдкой заглядывал в лавку, придерживая в руках конец занавески, закрывавшей его лицо; очевидно, он отнюдь не был уверен, что человек, которого он боялся, не выследил его, несмотря на все обходы и повороты, с ловкостью страшной ищейки.

Двое или трое покупателей, заглядывавших в разное время в лавку, поддерживали его в этом настроении и возбуждали внимание остальных. Кончили пить чай, дети улеглись в постель, и миссис Плорниш собиралась попросить отца спеть им песенку про Хлою, когда снова зазвонил колокольчик и вошел мистер Кленнэм.

Кленнэм поздно засиделся над книгами и письмами, так как приемные министерства околичностей отнимали у него массу времени по утрам. Кроме того, он был расстроен недавней встречей в доме матери. Он выглядел утомленным и грустным. Тем не менее, возвращаясь домой из конторы, он зашел к Плорнишам сообщить им, что получил второе письмо от мисс Доррит.

Это известие произвело в коттедже общую сенсацию и заставило забыть о мистере Батисте.

Мэгги, тотчас же пробравшись поближе, слушала вести о своей маленькой маме не только ушами, но, кажется, и ртом и глазами, которым, впрочем, мешали слезы. Она была в восторге, когда Кленнэм сообщил ей, что в Риме есть госпитали, очень хорошо устроенные. Мистер Панкс сильно вырос в общем мнении, когда узнали, что о нем специально упоминалось в письме. Словом, все обрадовались письму, так что Кленнэм был вполне вознагражден за свое беспокойство.

— Но вы устали, сэр. Позвольте предложить вам чашку чаю, — сказала миссис Плорниш, — если вы не побрезгуете нашим скромным угощением, и позвольте от души поблагодарить вас за то, что вспомнили о нас.

Мистер Плорниш, чувствуя, что на нем лежит обязанность присовокупить что-нибудь к этому заявлению в качестве хозяина, выразил свои чувства в форме, соединявшей, по его мнению, учтивость с искренностью.

— Джон Эдвард Нэнди, — сказал мистер Плорниш, обращаясь к старику. — Сэр, не слишком-то часто приходится видеть скромные поступки без искры гордости, и значит, когда их видишь, надо кланяться и благодарить, потому что если не будешь благодарен, то тебе же будет хуже.

На это мистер Нэнди ответил:

— Я совершенно согласен с вашим мнением, Томас, и ваше мнение совершенно такое, как мое, а значит, ни к чему тратить слова, и не может быть никаких оговорок, потому что наше мнение говорит «да», Томас, «да», и в этом мнении мы единодушны, а где есть единодушие, там не может быть разницы в мнениях, а где нет разницы, там может быть только одно мнение, а никак не два, нет, Томас, нет!

Артур, хотя и не так торжественно, поблагодарил их за такую высокую оценку его ничтожной услуги, а по поводу чая объяснил, что он еще не обедал и спешит домой подкрепиться после дневных трудов, иначе, конечно, не отказался бы от их радушного приглашения. Так как мистер Панкс в это время начал как будто разводить пары, готовясь к отплытию, то Кленнэм в заключение спросил этого джентльмена, не отправится ли он вместе с ним. Мистер Панкс выразил свою полнейшую готовность, и оба простились с коттеджем «Счастливый».

— Если вы зайдете ко мне, Панкс, — сказал Артур, когда они вышли на улицу, — разделить со мной обед или ужин, это будет почти что благодеянием с вашей стороны. Я так устал и в ужасном

настроении сегодня!

— Я готов оказать вам и большую услугу, если понадобится, только скажите, — ответил мистер Панкс.

Между этим странным господином и Кленнэмом установилось взаимное понимание и согласие с той поры, как мистер Панкс упражнялся в чехарде, прыгая через мистера Рогга на дворе Маршалси. Когда карета двинулась прочь в достопамятный день отъезда семьи, оба проводили ее глазами и вместе ушли из тюрьмы. Когда пришло первое письмо от Крошки Доррит, никто не заинтересовался им так сильно, как мистер Панкс. Во втором письме, которое лежало теперь в кармане Кленнэма, упоминалось его имя. Хотя он никогда не высказывал своих чувств к Кленнэму и то, что он сейчас сказал, могло сойти за самую обыкновенную любезность, Кленнэм чувствовал, что Панкс по-своему привязался к нему. Все эти нити, переплетаясь между собой, делали для него Панкса в этот вечер настоящим якорем спасения.

— Я теперь совсем одинок, — сказал он. — Мой компаньон уехал по делу, и вы можете располагаться у нас как дома.

— Благодарю вас. Вы не обратили внимания на

нашего Альтро, нет? — спросил Панкс.

— Нет. А что?

— Он веселый малый, и я люблю его, — сказал Панкс. — Но сегодня с ним случилось что-то неладное. Вы не знаете никакой причины, которая могла бы его расстроить?

— Вы удивляете меня. Нет, никакой.

Мистер Панкс объяснил, почему он предложил этот вопрос. Артур ничего не знал и ничего не мог объяснить.

— Вы бы расспросили его, — сказал Панкс, — так как он иностранец.

— О чем расспросить?

— Чем он так взволнован.

— Сначала мне нужно убедиться самому, что он взволнован, — возразил Кленнэм. — Он так усерден, так благодарен мне (хотя и благодарить-то не за что), так добросовестен, что несправедливо было бы выразить недоверие к нему, а в моих расспросах он может увидеть недоверие.

— Верно, — сказал Панкс. — Но, послушайте, вам нельзя быть хозяином, мистер Кленнэм, вы слишком деликатны.

— Ну, мои отношения с Кавалетто, — ответил Кленнэм засмеявшись, — нельзя назвать отношениями хозяина с подчиненным. Он зарабатывает

себе на хлеб резьбой. Он хранит ключи от мастерской, сторожит ее через ночь и вообще состоит у нас кем-то вроде привратника, но у нас редко бывает работа по его части. Нет, я скорее его советник, чем хозяин. Его советник и банкир — так будет вернее. Кстати, Панкс, не странно ли, что страсть к спекуляциям, заразившая теперь столько народа, заразила даже маленького Кавалетто?

— К спекуляциям? — спросил Панкс, фыркнув. — Каким спекуляциям?

— Я говорю о предприятиях Мердля.

— О, помещение капиталов, — сказал Панкс. — Да-да. Я не знал, что вы говорите о помещении капиталов.

Оживление, с которым были сказаны эти слова, заставило Кленнэма взглянуть на Панкса в ожидании, что тот прибавит еще что-нибудь. Но так как он ускорил шаги и машина его заработала сильнее, чем обыкновенно, Кленнэм не стал расспрашивать дальше, и вскоре они пришли к нему домой.

Обед, состоявший из супа и пирога с голубями, был подан на круглом столике около камина и, увенчанный бутылкой хорошего вина, как нельзя лучше смазал маслом машину мистера Панкса, так что, когда Кленнэм закурил трубку

с длинным чубуком, предложив другую гостю, этот последний пришел в самое благодушное настроение.

Сначала они курили молча, причем мистер Панкс напоминал паровое судно при попутном ветре, ясной погоде, спокойном море — словом благоприятнейших для плавания условиях. Наконец он первый нарушил молчание:

— Да. Помещение капиталов — вот как это называется.

Кленнэм бросил на него прежний взгляд и ответил:

— А!

— Я возвращаюсь к этому предмету, как видите, — сказал Панкс.

— Да, я вижу, что вы к нему возвращаетесь, — ответил Кленнэм, недоумевая, зачем это делает.

— Не странно ли, что эта страсть заразила даже маленького Альтро? А? — продолжил Панкс затягиваясь. — Вы это спросили?

— Да, я сказал это.

— Да. Но ведь все подворье заражено. Что вы думаете! Все до единого, кто платит и кто не платит, на всех квартирах, на всех углах встречают меня тем же: Мердль, Мердль, Мердль и только Мердль.

— Странно, что подобная зараза всегда распространяется так неудержимо, — заметил Кленнэм.

— Не правда ли? — возразил Панкс. Покурив с минуту менее спокойно, чем можно было бы ожидать, он добавил: — А все потому, что этот народ не понимает сути дела.

— Совершенно не понимает, — согласился Кленнэм.

— Совершенно не понимает! — воскликнул Панкс. — Ничего не смыслит в цифрах. Ничего не смыслит в денежных вопросах. Никогда не умел рассчитывать. Никогда не занимался этим, сэр.

— Да, если бы они занимались этим… — начал было Кленнэм, но мистер Панкс, не меняя выражения лица, произвел звук, до того превосходивший его обычные упражнения в этом роде, носовые и легочные, что Кленнэм замолчал.

— Если бы они занимались? — повторил Панкс вопросительным тоном.

— Мне показалось, вы что-то… сказали, — проговорил Кленнэм, не зная, как назвать его неожиданный звук.

— И не думал, — возразил Панкс. — Пока ничего. Может быть, скажу немного погодя. Если бы они занимались?..

— Если бы они занимались этого рода дела-

ми, — сказал Кленнэм, несколько удивленный странным поведением своего друга, — то, вероятно, смотрели бы на вещи правильнее.

— Как так, мистер Кленнэм? — спросил мистер Панкс с живостью и прибавил, точно сбрасывая тяжесть, которая угнетала его в течение всего разговора. — Они правы, вот что. Бессознательно, сами не понимая того, что говорят, они правы.

— Правы в том отношении, что разделяют стремления Кавалетто спекулировать вместе с мистером Мердлем?

— Именно, сэр, — ответил Панкс. — Я вник в это дело. Я рассчитывал. Я занимался. Они смотрят на вещи правильно и здраво.

Облегчив душу от бремени, мистер Панкс затянулся из своей турецкой трубки, насколько позволяли ему легкие, и пристально посмотрел на Кленнэма, который тоже затянулся и выпустил дым.

С этой минуты мистер Панкс начал распространять опасную заразу, которая уже укоренилась в нем. Так распространяются эти болезни, таким незаметным путем.

— Неужели вы хотите сказать, добрейший мой Панкс, — спросил Кленнэм, подчеркивая свои слова, — что вы согласились бы поместить, ска-

жем для примера, вашу тысячу фунтов в подобное предприятие?

— Разумеется, — ответил Панкс. — Уже поместил, сэр.

Мистер Панкс снова затянулся, снова выпустил струю дыма, снова пристально взглянул на Кленнэма.

— Да, мистер Кленнэм, уже поместил, — сказал он. — Это человек с неистощимыми ресурсами, громадным капиталом, громадным влиянием. Его предприятия безусловно надежны, прочны, верны.

— Ну, — сказал Кленнэм, серьезно посмотрев сначала на него, потом на огонь, — удивили вы меня!

— Ба! — возразил Панкс. — Не говорите этого, сэр. Вам следовало бы сделать то же. Почему вы не сделали того же, что я?

От кого мистер Панкс схватил заразу, он так же мало мог объяснить, как если бы заболел лихорадкой. Порожденные, подобно многим физическим болезням, людской испорченностью, распространившись затем среди невежд, эти эпидемии с течением времени заражают и таких людей, которых нельзя назвать ни испорченными, ни невеждами. От кого бы ни заразился

мистер Панкс, но сам он принадлежал в глазах Кленнэма к последней категории, и тем опаснее была гнездившаяся в нем зараза.

— Так вы в самом деле поместили, — Кленнэм уже допускал это выражение, — вашу тысячу фунтов, Панкс?

— Конечно, сэр! — бодро ответил Панкс, выпуская клуб дыма. — Жалею, что не мог поместить десяти тысяч.

У Кленнэма было две заботы, одолевавших его в этот вечер: во-первых, дело его компаньона, откладывавшееся в долгий ящик; во-вторых, то, что он видел и слышал в доме матери. Желая отвести душу и чувствуя, что может довериться своему гостю, он начал рассказывать ему о том и о другом, и то и другое привело его к исходному пункту их разговора.

Случилось это очень просто. Оставив вопрос о помещении капиталов, Кленнэм после довольно продолжительной паузы, в течение которой оба курили и смотрели на огонь, рассказал своему гостю, как и почему вступил в непосредственные сношения с великим национальным учреждением — с министерством околичностей.

— Туго приходилось и туго приходится Дойсу, — прибавил он в заключение, со всем тем

чувством, которое возбуждала в нем эта история.

— Действительно туго, — согласился Панкс. — Но теперь ведь вы распоряжаетесь за него, мистер Кленнэм?

— Что вы хотите сказать?

— Вы распоряжаетесь денежными делами фирмы?

— Да, как умею.

— Ведите их лучше, сэр, — сказал Панкс. — Вознаградите его за труды и разочарования. Не давайте ему пропустить удобный случай. Он не сумеет нажиться сам, терпеливый, заваленный работой труженик. Он надеется на вас, сэр.

— Я делаю все, что могу, Панкс, — сказал Кленнэм с некоторым замешательством. — Но обдумать и взвесить новые предприятия, с которыми я так мало знаком, вряд ли мне под силу. Я тоже становлюсь стар.

— Стар! — воскликнул Панкс. — Ха-ха!

Этот неожиданный смех и последовавший за ним залп фырканий, вызванные глубоким удивлением и полнейшим несогласием Панкса с этой нелепой мыслью, звучали так чистосердечно, что невозможно было усомниться в его искренности.

— Он старится! — воскликнул Панкс. — Послушайте его, люди добрые. Старится! Нет, вы только

послушайте его!

Решительное несогласие, выражавшееся в этих восклицаниях и новом залпе фырканий, заставило Артура удержаться от возражений. Он не на шутку боялся, что с мистером Панксом случится что-нибудь неладное, если тот будет так отчаянно выдувать воздух, втягивая в то же время дым. Итак, оставив эту вторую тему, он перешел к третьей.

— Молодой, старый или средних лет, Панкс, — сказал он, дождавшись паузы, — я во всяком случае нахожусь в двусмысленном и сомнительном положении. Я даже сомневаюсь, имею ли право распоряжаться тем, что считал до сих пор своим. Рассказать вам, в чем дело? Могу я доверить вам тайну?

— Можете, если полагаетесь на мое слово, сэр, — ответил Панкс.

— Полагаюсь.

— Говорите. — Это лаконичное приглашение, высказывая которое он протянул Кленнэму свою грязную руку, было крайне выразительно и убедительно.

Кленнэм горячо пожал эту руку, затем, смягчая по возможности характер своих опасений и ни единым словом не намекая на мать, но

упоминая только о своей родственнице, передал в общих чертах сущность своих подозрений и подробности свидания, при котором ему недавно пришлось присутствовать. Мистер Панкс слушал с таким интересом, что совсем забыл о турецкой трубке и, сунув ее к щипцам на каминную решетку, до того взъерошил свои лохматые волосы, что к концу рассказа походил на современного Гамлета, беседующего с тенью отца.

— Вернемтесь, сэр, — воскликнул он, ударив Кленнэма по колену, — вернемтесь, сэр, к вопросу о помещении капитала! Вы хотите отдать свое имущество, разориться для того, чтобы исправить зло, в котором вы неповинны. Не стану возражать. Это на вас похоже. Человек должен быть самим собой. Но вот что я скажу. Вы боитесь, что вам понадобятся деньги, дабы избавить от позора и унижения ваших родных. Если так, постарайтесь нажить как можно больше денег.

Артур покачал головой, задумчиво глядя на Панкса.

— Будьте как можно богаче, сэр, — продолжил Панкс, вкладывая всю свою энергию в этот совет. — Будьте как можно богаче, насколько это достижимо честным путем. Это ваша обязанность. Не ради вас, ради других. Не упускайте

случая. Бедный мистер Дойс (который действительно становится стар) зависит от вас. Судьба ваших родственников зависит от вас. Вы сами не знаете, как много зависит от вас.

— Ну-ну-ну, — возразил Артур. — Довольно на сегодня.

— Еще одно слово, мистер Кленнэм, и тогда довольно. Зачем оставлять все барыши хищникам, пройдохам и мошенникам? Зачем оставлять все барыши субъектам вроде моего хозяина? А вы именно так поступаете. Говоря «вы», я подразумеваю людей, подобных вам. Вы сами знаете, что это так. Я вижу это каждый день. Я ничего другого не вижу. Моя профессия — видеть это. Так вот я и говорю, — заключил Панкс, — решайтесь и выигрывайте!

— А если я решусь и проиграю? — спросил Артур.

— Не может быть, сэр, — возразил Панкс. — Я вник в это дело. Имя всемирной известности, ресурсы неистощимые, капитал громадный, положение высокое, связи обширнейшие, и правительство за него. Не может быть проигрыша!

После этого заключительного слова мистер Панкс мало-помалу успокоился, позволил своим лохматым волосам опуститься, насколько они

вообще способны были опуститься, достал с решетки трубку, набил табаком и снова закурил. После этого они почти ничего не говорили, а сидели молча, обдумывая все тот же вопрос, и расстались только в полночь. На прощание, пожав руку Кленнэму, мистер Панкс обошел вокруг него и затем уже направился к двери. Кленнэм понял это в смысле приглашения положиться на мистера Панкса, если когда-нибудь потребуется его помощь в тех делах, о которых они говорили в этот вечер, или в каких угодно других.

На другой день он то и дело вспоминал, даже в такие минуты, когда был занят чем-нибудь другим, о помещении капиталов и о том, что Панкс вник в это дело. Он вспоминал, с каким пылом Панкс отнесся к этому вопросу, хотя вообще не был пылким человеком. Он вспоминал о великом национальном учреждении и о том, как было бы приятно улучшить дела Дойса. Он вспоминал о зловещем доме, который был его родным домом, и о новых мрачных тенях, которые делали его еще более зловещим. Он обратил особенное внимание на то, что везде и всюду, в каждом разговоре и при каждой встрече упоминалось имя Мердля; он не мог просидеть двух часов за письменным столом, чтобы это имя не представилось ему так

или иначе, не представилось какому-нибудь из его внешних чувств. Он начал думать, что это, однако, очень любопытно и что, по-видимому, никто, кроме него, не выражает недоверия к этому вездесущему имени. Тут ему пришло в голову, что ведь и он, в сущности, не выражает недоверия и не имеет основания выражать недоверие, а только случайно не обращал на него внимания.

Такие симптомы, когда подобная болезнь распространилась, являются обыкновенно признаками заражения.

Глава XIV. Совещание

Когда британцы на берегу желтого Тибра узнали, что их даровитый соотечественник мистер Спарклер попал в число лордов министерства околичностей, они отнеслись к этой новости так же легко, как ко всякой другой, как к любому уличному происшествию или скандалу, появляющемуся в английских газетах. Иные смеялись, иные говорили, оправдывая это назначение, что пост мистера Спарклера — чистая синекура [81], так что занимать его может всякий дурак, лишь бы он умел подписать свое имя; иные, более важные политические оракулы, утверждали, что лорд Децимус поступил очень умно, усилив свою партию, и что единственное назначение всех вообще мест, находящихся в ведении Децимуса, — усиливать партию Децимуса. Нашлось несколько желчных бриттов, не желавших подписать этот символ веры, но их возражения были чисто теоретические. С практической точки зрения они относились к этому назначению

[81] Сноски: 81

От *лат.* sine cura — без заботы — должность, дающая хороший доход, но не требующая особенного труда.

совершенно безразлично, считая его делом каких-то других неведомых бриттов, скрывавшихся где-то там, в пространстве. Подобным же образом на родине множество бриттов в течение целых суток доказывали, что эти невидимые анонимные бритты должны были бы «вмешаться в это дело», если же они относятся к нему спокойно, то, значит, так им и нужно.

Но к какому классу принадлежали эти отсутствующие бритты, и где спрятались эти несчастные создания, и зачем они спрятались, и почему они так систематически пренебрегают своими интересами, когда другие бритты решительно не знают, чем объяснить подобное пренебрежение, — все это оставалось неизвестным как на берегах желтого Тибра, так и на берегах черной Темзы.

Миссис Мердль распространяла новость и принимала поздравления с небрежной грацией, придававшей известию особенный блеск, как оправа алмазу.

Да, говорила она, Эдмунд согласился занять это место. Мистер Мердль пожелал, чтобы он занял его, и он занял. Она надеется, что место придется по вкусу Эдмунду, но не уверена в этом. Ему придется проводить большую часть времени в

городе, а он любит деревню. Во всяком случае, это положение, и положение недурное. Конечно, все это сделано из любезности к мистеру Мердлю, но и для Эдмунда будет кстати, если придется ему по вкусу. По крайней мере, у него будет занятие, за которое платят жалованье. Вопрос только, не предпочтет ли он военную службу.

Так говорил бюст, в совершенстве владевший искусством делать вид, что не придает никакого значения тому, чего в действительности добивался всеми правдами и неправдами. Тем временем Генри Гоуэн, отвергнутый Децимусом, рыскал по знакомым от Порта-дель-Пополо до Альбано, уверяя почти (если не буквально) со слезами на глазах, что Спарклер — милейший и простодушнейший из ослов, какие только паслись когда-либо на общественном пастбище, и что только одно обстоятельство обрадовало бы его (Гоуэна) больше, чем назначение этого милейшего осла, — именно его (Гоуэна) собственное назначение. Он утверждал, что место как раз для Спарклера. Ничего не делать и получать кругленькое жалованье — то и другое он исполнит как нельзя лучше. Словом, это прекрасное, разумное, самое подходящее назначение, и он готов простить Децимусу свои обиды за то, что тот от-

вел ослу, которого он так душевно любит, такой чудесный хлев. Его сочувствие не ограничилось этими заявлениями. Он пользовался всяким удобным случаем выставить Спарклера напоказ перед обществом, и хотя этот юный джентльмен во всех подобных случаях представлял жалкое и комичное зрелище, дружеские намерения Гоуэна были несомненны.

Сомневался в них только предмет нежной страсти мистера Спарклера. Мисс Фанни находилась теперь в затруднительном положении; ухаживания мистера Спарклера были всем известны, и как ни капризно она относилась к нему, но все же не отвергала окончательно. При таких отношениях к этому джентльмену она не могла не чувствовать себя скомпрометированной, когда он оказывался в более смешном положении, чем обыкновенно. Так как бойкости у нее было достаточно, то она являлась иногда к нему на выручку и успешно защищала от Гоуэна. Но, делая это, она стыдилась за него, тяготилась своим двусмысленным положением, не решаясь ни прогнать его, ни поощрять, чувствуя со страхом, что каждый день оно запутывается все больше и больше, и терзаясь подозрениями, что миссис Мердль торжествует при виде ее затруднитель-

ного положения.

При таком душевном состоянии нет ничего удивительного, что мисс Фанни вернулась однажды с концерта и бала у миссис Мердль крайне взволнованной и в ответ на попытки сестры успокоить ее сердито оттолкнула ее от туалетного столика, за которым сидела, стараясь заплакать, и объявила, что ненавидит весь свет и желала бы умереть.

— Милая Фанни, что случилось? Расскажи мне.

— Что случилось, кротенок? — спросила Фанни. — Если б ты не была самой слепой из слепых, то не спрашивала бы меня. И еще воображает, что у нее тоже есть глаза!

— Мистер Спарклер, милочка?

— Мис-тер Спарк-лер! — повторила Фанни с невыразимым презрением, как будто это было последнее существо во всей Солнечной системе, о котором она могла бы подумать. — Нет, мисс летучая мышь, не он.

Вслед за тем она почувствовала угрызения совести за то, что дурно обращалась с сестрой, и, всхлипывая, объявила, что сама знает, как она отвратительна, но не виновата, что ее доводят до этого.

— Ты, верно, нездорова, милая Фанни.

— Вздор и чепуха! — возразила молодая леди, снова рассердившись. — Я так же здорова, как ты. Может быть, еще здоровей, хоть и не хвастаюсь своим здоровьем.

Бедная Крошка Доррит, не зная, что сказать ей в утешение, и видя, что ее слова только раздражают сестру, решила, что лучше молчать. Сначала Фанни и это приняла за обиду и принялась жаловаться своему зеркалу, что из всех несносных сестер, какие только могут быть на свете, самая несносная сестра — тихоня. Что она сама знает, какой у нее по временам тяжелый характер, сама знает, как она бывает по временам отвратительна, но когда она отвратительна, то лучше всего прямо сказать ей об этом, а так как у нее сестра — тихоня, то ей никогда прямо не говорят об этом, и оттого она еще больше раздражается и злится. Кроме того (сердито заявила она зеркалу), она вовсе не нуждается в том, чтобы ее прощали. С какой стати ей постоянно просить прощения у младшей сестры? Конечно, ее всегда стараются ставить в положение виноватой — нравится ей это или нет. В заключение она залилась слезами, а когда Эми подсела к ней и принялась утешать, заявила успокоенная ласками сестры:

— Эми, ты ангел!.. Но вот что я тебе скажу, ми-

лочка — так продолжаться не может, надо так или иначе положить ему конец.

Так как это заявление было довольно неопределенно, хотя и высказано очень решительным тоном, Крошка Доррит предложила:

— Поговорим об этом.

— Именно, душа моя, — согласилась Фанни, вытирая глаза. — Поговорим об этом. Я успокоилась, и ты можешь дать мне совет. Посоветуешь что-нибудь, моя кроткая девочка?

Даже Эми улыбнулась, услышав такую просьбу, но все-таки ответила:

— Охотно, Фанни, если только сумею.

— Спасибо тебе, Эми, милочка, — сказала Фанни, целуя ее. — Ты мой якорь спасения.

Нежно обняв этот якорь, Фанни взяла с туалетного столика флакон с одеколоном, велела горничной подать чистый платок и, отпустив потом ее спать, приготовилась слушать совет, время от времени смачивая лоб и веки одеколоном.

— Душа моя, — начала она, — наши характеры и взгляды довольно несходны (поцелуй меня, крошка!), так что тебя, по всей вероятности, удивят мои слова. Я хочу сказать, что при всем нашем богатстве мы занимаем довольно двусмысленное положение в обществе. Ты не понимаешь, что я

хочу сказать, Эми?

— Я, наверно, пойму, — кротко ответила та, — продолжай.

— Ну, милочка, я хочу сказать, что мы все-таки новички, чужие в светском обществе.

— Я уверена, Фанни, — возразила Крошка Доррит, восхищаясь сестрой, — что никто не скажет этого о тебе.

— Может быть, моя милая девочка, — сказала Фанни, — хотя во всяком случае это очень мило и любезно с твоей стороны. — Тут она приложила платок к ее лбу и немного подула на него. — Но всем известно, что ты самая милая крошка, какие только когда-нибудь бывали! Слушай же, дитя. Папа держит себя настоящим, хорошо воспитанным джентльменом, но все-таки отличается в кое-каких мелочах от других джентльменов с таким же состоянием, отчасти оттого, что ему, бедняжке, пришлось столько вытерпеть, отчасти же оттого, что не может отделаться от мысли, будто другие вспоминают об этом, когда он говорит с ними. Дядя — тот совсем непредставителен. Он милый, я его очень люблю, но в обществе он положительно может шокировать. Эдуард — страшный мот и кутила. Я не хочу сказать, что это дурно само по себе, вовсе нет, но он не умеет

вести себя, не умеет бросать деньги так, чтобы приобрести славу настоящего светского кутилы.

— Бедный Эдуард! — вздохнула Крошка Доррит, и вся история ее семьи вылилась в этом вздохе.

— Да. Но и мы с тобой бедные, — произнесла Фанни довольно резко. — Да, именно. Вдобавок ко всему у нас нет матери, а вместо нее миссис Дженераль. А я опять-таки скажу, радость моя, что миссис Дженераль — кошка в перчатках, и что она поймает-таки мышку. Вот попомни мое слово: эта женщина будет нашей мачехой.

— Полно, Фанни… — начала было Крошка Доррит.

— Нет, уж не спорь со мной об этом, Эми, — перебила Фанни, — я лучше тебя знаю. — Сознавая резкость своего тона, она снова провела платком по лбу сестры и подула на него. — Вернемся к главному, душа моя. Так вот, у меня и является вопрос (я ведь горда и самолюбива, Эми, как тебе известно, даже слишком горда), хватит ли у меня решимости доставить семье надлежащее положение в обществе.

— Как так? — с беспокойством спросила сестра.

— Я не хочу, — продолжила Фанни, не отвечая на вопрос, — быть под командой у миссис Дженераль; я не хочу, чтобы мне покровительствовала

или меня мучила миссис Мердль.

Крошка Доррит взяла ее за руку с еще более беспокойным взглядом. Фанни, жестоко наказывая свой собственный лоб беспощадными ударами платка, продолжила точно в лихорадке:

— Никто не может отрицать, что так или иначе, каким бы то ни было путем, он во всяком случае достиг видного положения. Никто не может отрицать, что он хорошая партия. А что касается ума, так, право, я думаю, что умный муж не годится для меня. Я не могу подчиняться.

— О милая Фанни! — воскликнула Крошка Доррит, почти с ужасом начиная понимать, что хочет сказать сестра. — Если бы ты полюбила кого-нибудь, ты относилась бы к этому совершенно иначе. Если бы ты полюбила кого-нибудь, ты бы не думала о себе, ты бы думала только о нем, жила бы только для него. Если бы ты любила его…

Но тут Фанни опустила руку с платком и, пристально взглянув на сестру, воскликнула:

— Право? В самом деле? Бог мой, как много иные люди знают об иных вещах! Говорят, у каждого есть своя слабость, и сдается мне, я открыла твою, Эми! Ну-ну, крошка, я пошутила, — прибавила она, смачивая лоб сестры одеколоном, — не будь такой глупой кошечкой и не трать красноречие

на такие невозможные нелепости. Полно, вернемся к моему делу.

— Милая Фанни, позволь мне сказать, что я предпочла бы вернуться к нашей прежней жизни, чем видеть тебя богатой и замужем за мистером Спарклером.

— Позволить тебе сказать, милочка? — возразила Фанни. — Ну, разумеется, я позволю тебе сказать все, что угодно. Надеюсь, я не стесняю тебя. Мы решили потолковать обо всем этом вдвоем. Что касается мистера Спарклера, то я не собираюсь обвенчаться с ним сегодня вечером или завтра утром.

— Но со временем?

— Пока не собираюсь, — ответила Фанни равнодушно, потом, внезапно переходя от равнодушия к волнению, прибавила: — Ты толкуешь об умных людях, крошка! Очень легко и приятно толковать об умных людях, но где они? Я их не вижу вокруг себя.

— Милая Фанни, мы так недавно…

— Давно или недавно, — перебила Фанни, — но мне надоело наше положение, мне не нравится наше положение, и я намерена изменить его. Другие девушки, иначе воспитанные, выросшие в других условиях, могут сколько угодно дивить-

ся на мои слова или действия. Пусть себе дивятся. Они идут своей дорогой, как ведут их жизнь и характер, я — своей.

— Фанни, милая Фанни, ты знаешь, что по своим достоинствам можешь быть женой человека гораздо выше мистера Спарклера.

— Эми, милая Эми, — передразнила Фанни, — я знаю, что мне хочется приобрести более определенное и видное положение, которое дало бы мне возможность показать себя этой наглой женщине.

— Неужели, прости мне этот вопрос, Фанни, неужели ты выйдешь из-за этого за ее сына?

— Что ж, может статься, — ответила Фанни с торжествующей улыбкой. — Это еще не самый неприятный путь для достижения моей цели, милочка. Эта наглая тварь, пожалуй, не желает ничего лучшего, как сбыть поскорее своего сынка и прибрать меня к рукам. Но она, видно, не догадывается, какой отпор я ей дам, когда сделаюсь женой ее сына. Я буду противоречить ей на каждом шагу, буду стараться превзойти ее во всем. Я сделаю это целью своей жизни.

Сказав это, Фанни поставила флакон и принялась ходить по комнате, останавливаясь всякий раз, как начинала говорить.

— Одна вещь, несомненно, в моих руках, дитя: я могу сделать ее старухой — и сделаю!

Она снова прошлась по комнате:

— Я буду говорить о ней как о старухе. Я буду делать вид, что знаю ее годы (хотя бы и не знала их, но, наверно, узнаю от ее сына). Я буду говорить ей, Эми, ласково говорить, самым покорным и ласковым тоном, как хорошо она сохранилась для своих лет. Она будет казаться старше в моем обществе. Может быть, я не так хороша собой, как она, об этом не мне судить, но во всяком случае настолько хороша, чтобы быть для нее бельмом на глазу, — и буду!

— Сестра, милочка, неужели ради этого ты готова обречь себя на несчастную жизнь?

— Какую несчастную жизнь, Эми? Это будет жизнь как раз по мне. По натуре или в силу обстоятельств — все равно, но такая жизнь более по мне, чем всякая другая!

В этих словах прозвучало что-то горькое, но она тотчас же гордо усмехнулась, прошлась по комнате и, бросив взгляд в зеркало, сказала:

— Фигура! Фигура, Эми! Да. У этой женщины хорошая фигура — отдаю ей должное, и не стану отрицать этого. Но неужели она так хороша, что другим и тягаться нельзя? Пусть-ка другая жен-

щина, помоложе, начнет одеваться, как она, и мы еще посмотрим!

Должно быть, в этой мысли было что-то утешительное и приятное, так как она уселась на прежнее место с более веселым лицом. Взяв руки сестры в свои и похлопывая ими над головой, она засмеялась, глядя в глаза сестре:

— А танцовщица, Эми, которую она совсем забыла, — танцовщица, которая ничуть не похожа на меня и о которой я никогда не напоминаю ей, о нет, никогда. Но эта танцовщица будет танцевать перед ней всю жизнь такой танец, который чуть-чуть смутит ее наглое спокойствие. Чуть-чуть, моя милая Эми, самую чуточку!

Встретив серьезный и умоляющий взгляд Эми, она опустила руки и, зажав ей рот, сказала более суровым тоном:

— Нет, не спорь со мной, дитя, это бесполезно. Я смыслю в этих вещах больше, чем ты. Я еще не решилась окончательно, но, может быть, решусь. Теперь мы все обсудили и можем лечь спать. Покойной ночи, самая милая, самая лучшая маленькая мышка! — С такими словами Фанни отпустила свой якорь, находя, очевидно, что на этот раз наслышалась достаточно советов.

С этих пор Эми стала еще внимательнее наблю-

дать за мистером Спарклером и его владычицей, имея основание придавать особенную важность всему, что между ними происходило. По временам Фанни, по-видимому, решительно неспособна была перенести его умственное убожество и была с ним так резка и нетерпелива, что, казалось, вот-вот прогонит его. Иногда же, обращаясь с ним гораздо лучше, забавлялась его глупостью и, по-видимому, находила утешение в сознании собственного превосходства. Если бы мистер Спарклер не был вернейшим и покорнейшим из вздыхателей, он давно бы убежал от такой пытки и не остановился бы, пока не создал бы между собой и своей волшебницей расстояния, равного по крайней мере расстоянию от Лондона до Рима. Но у него было не больше собственной воли, чем у лодки, буксируемой пароходом, и он покорно следовал за своей жестокой повелительницей в бурю и в затишье.

Все время миссис Мердль мало говорила с Фанни, но много говорила о ней. Она поглядывала на нее в лорнет и восхищалась ее красотой как бы против воли, не будучи в силах устоять перед ее прелестью. Вызывающее выражение на лице Фанни, когда она слышала эти излияния (а почти всегда случалось так, что она их слышала),

показывало, что беспристрастному бюсту не дождаться уступок с ее стороны, но самая сильная месть, которую позволял себе бюст, заключалась в словах, произносимых довольно громко: «Избалованная красавица, но с таким личиком и фигурой это вполне естественно».

Через два месяца после совещания Крошка Доррит подметила нечто новое в отношениях мистера Спарклера и Фанни. Мистер Спарклер, точно по какому-то тайному уговору, рта не раскрывал, не взглянув сначала на Фанни, точно спрашивая, можно ли ему говорить. Эта молодая леди была слишком осторожна, чтобы ответить ему взглядом, но если говорить ему разрешалось, она молчала, если нет, то сама начинала говорить. Мало того, всякий раз, когда мистер Генри Гоуэн пытался со свойственным ему дружеским участием выставить мистера Спарклера в наилучшем свете, последний решительно на это не шел. И это еще не все: каждый раз при этом Фанни, совершенно случайно и без всякого умысла, пускала какое-нибудь замечание, такое ядовитое, что мистер Гоуэн сразу отшатывался, точно нечаянно попадал рукой в улей.

Было и еще одно обстоятельство, подтверждавшее опасения Крошки Доррит, хоть и не важное

само по себе. Поведение мистера Спарклера по отношению к ней самой изменилось. Оно приняло родственный характер. Иногда на вечере — дома, или у миссис Мердль, или у других знакомых — рука мистера Спарклера нежно поддерживала ее за талию. Мистер Спарклер никогда не объяснял этого внимания, но улыбался глупейшей и добродушнейшей улыбкой собственника, которая на лице такого тяжеловесного джентльмена была необычайно красноречива.

Однажды Крошка Доррит сидела дома, с грустью думая о Фанни. Анфилада гостиных в их доме заканчивалась комнатой в виде окна-фонаря с выступом над улицей; отсюда открывался живописный и оживленный вид на Корсо. Около трех-четырех часов пополудни по английскому времени вид был особенно живописным, и Крошка Доррит любила в это время сидеть и думать о своих делах, как сиживала на балконе в Венеции. Чья-то рука тихонько дотронулась до ее плеча, и Фанни, сказав: «Ах, Эми, милочка», уселась рядом с ней. Сиденьем для них служило окно: когда какая-нибудь процессия двигалась по улице, они вывешивали кусок яркой материи и, наклонившись над ним, смотрели из окна. Но в этот день не было никакой процессии, и Крошка

Доррит удивилась, увидев Фанни, которая в это время обычно каталась верхом.

— Ну, Эми, — сказала Фанни, — о чем ты задумалась?

— Я думала о тебе, Фанни.

— Неужели? Вот странное совпадение! Надо тебе сказать, что я не одна, со мной кое-кто пришел. Уж не думала ли ты и об этом человеке, Эми?

Эми думала об этом человеке, так как это был мистер Спарклер. Впрочем, она не сказала об этом, а молча пожала ему руку. Мистер Спарклер подошел и сел рядом с ней, и она почувствовала, что братская рука обхватывает ее талию, видимо стараясь прихватить и Фанни.

— Ну, сестренка, — сказала Фанни со вздохом, — надеюсь, ты понимаешь, что это значит.

— Она прекрасна и безумно любима, — залепетал мистер Спарклер, — и без всяких этаких глупостей, и вот мы решили…

— Можете не объяснять, Эдмунд, — сказала Фанни.

— Да, радость моя, — ответил мистер Спарклер.

— Одним словом, милочка, — продолжила Фанни, — мы обручились. Надо сообщить об этом папе, сегодня или завтра, при первом удобном

случае. Затем дело кончено, и разговаривать больше не о чем.

— Милая Фанни, — почтительно заметил мистер Спарклер, — я бы желал сказать несколько слов Эми.

— Ну-ну, говорите, только живей, — ответила молодая леди.

— Я уверен, моя дорогая Эми, — начал мистер Спарклер, — что если есть девица, кроме вашей прелестной и умной сестры, без всяких этаких глупостей…

— Мы уже знаем это, Эдмунд, — перебила мисс Фанни. — Довольно об этом. Говорите, в чем дело, и оставьте в покое «всякие этакие глупости».

— Да, радость моя, — согласился мистер Спарклер. — И я уверяю вас, Эми, что для меня не может быть большего счастья, кроме счастья удостоиться выбора такой чудесной девушки, у которой нет и в помине всяких этаких…

— Эдмунд, ради бога! — перебила Фанни, топнув своей хорошенькой ножкой.

— Радость моя, вы совершенно правы, — произнес мистер Спарклер, — я знаю, что у меня есть эта привычка. Я хотел только сказать, что для меня не может быть большего счастья, для меня лично, кроме счастья соединиться узами

брака с превосходнейшей и чудеснейшей из девиц, да, не может быть большего счастья, чем питать нежную дружбу к Эми. Я, может быть, не особенно смышлен, — мужественно продолжил мистер Спарклер, — и я даже думаю, что если вы вздумаете проголосовать этот вопрос в обществе, то общество скажет, что у меня не много смысла, но, чтобы оценить Эми, у меня смысла хватает.

Тут он поцеловал ее в подтверждение своих слов.

— Ножик, вилка и комната, — продолжил мистер Спарклер, становясь положительно красноречивым для такого жалкого оратора, — всегда найдутся для Эми в нашем доме. Мой родитель, наверно, с радостью примет ту, которую я так уважаю. А моя мать, женщина замечательно видная и без…

— Эдмунд, Эдмунд! — крикнула мисс Фанни.

— Бесспорно, душа моя, виноват, — спохватился мистер Спарклер. — Я знаю, что у меня есть эта привычка, и очень вам благодарен, мое божество, что вы берете на себя труд исправлять мои недостатки, но все говорят, что моя мать замечательно видная женщина и в самом деле без всяких этаких…

— Может быть, «без этаких», может быть, «с

этакими», — перебила Фанни, — но, прошу вас, довольно об этом.

— Хорошо, радость моя, — согласился мистер Спарклер.

— Ну, кажется, вы все сказали, Эдмунд, не правда ли? — спросила Фанни.

— Да, мое божество, — ответил мистер Спарклер, — и прошу извинения, что наговорил так много.

Мистер Спарклер догадался по какому-то наитию свыше, что вопрос его повелительницы означал: не пора ли вам уйти? Ввиду этого он убрал братскую руку и скромно заметил, что, кажется, ему пора уходить. Перед уходом Эми поздравила его, насколько позволяли ей смущение и грусть.

Когда он ушел, она, прижавшись к груди сестры, заплакала и сказала:

— О Фанни, Фанни!

Фанни засмеялась было, но потом прижалась лицом к лицу Эми и тоже всплакнула… немножко. В первый и последний раз она обнаружила скрытое, подавленное, затаенное чувство раскаяния в своем поступке. С этой минуты она вступила на твердый путь и пошла по нему с обычной самоуверенностью и решимостью.

Глава XV. Нет никаких препятствий к браку

Услышав от своей старшей дочери, что она приняла предложение мистера Спарклера, мистер Доррит отнесся к этому сообщению с величественным достоинством и вместе с тем с родительской гордостью. Достоинству его льстила возможность выгодного расширения связей и знакомств, для родительской гордости было приятно сознавать, что мисс Фанни так сочувственно относилась к этой великой цели его существования. Он дал ей понять, что ее благородное честолюбие находит гармонический отзвук в его сердце, и благословлял как дитя, преданное своему долгу и хорошим принципам, самоотверженное и готовое поддержать фамильное достоинство. К мистеру Спарклеру, когда тот, с разрешения мисс Фанни, явился к нему с визитом, он отнесся весьма благосклонно. Он объявил, что предложение, коим почтил его мистер Спарклер, приходится ему по сердцу, так как, во-первых, гармонирует с чувствами его дочери, во-вторых, дает возможность его семье вступить

в родственную связь с величайшим умом нашего века, мистером Мердлем. Он упомянул также в самых лестных выражениях о миссис Мердль как о блестящей леди, занимающей одно из первых мест в обществе по своему изяществу, грации и красоте. Он счел своим долгом заметить (будучи уверен, что джентльмен с возвышенными чувствами мистера Спарклера сумеет понять его слова как должно), что не может считать этот вопрос окончательно решенным, пока не спишется с мистером Мердлем и не удостоверится, что предложение мистера Спарклера согласуется с желаниями этого достойного джентльмена и что его (мистера Доррита) дочь встретит в новой семье прием, какого может ожидать по своему положению в свете, приданому и личным дарованиям и который она сумеет оправдать в глазах мира, если можно так выразиться, не будучи заподозренной в каких-либо низменных денежных расчетах. Высказывая это в качестве джентльмена с независимым положением и в качестве отца, он, однако, скажет откровенно, без всяких дипломатических тонкостей, что надеется на благополучное окончание этого дела, считает предложение условно принятым и благодарит мистера Спарклера за честь. В заключение он

присовокупил несколько замечаний более общего характера насчет своего... кха... независимого положения и... хм... отеческих чувств, которые, быть может, делают его пристрастным. Словом, он принял предложение мистера Спарклера так же, как принял бы от него три или четыре полукроны в былые дни.

Мистер Спарклер, ошеломленный этим потоком слов, низвергшимся на его неповинную голову, отвечал кратко, но убедительно, что мисс Фанни без всяких этаких глупостей, и уверен, что от родителя помехи не будет. На этом месте предмет его нежной страсти захлопнул его, как ящик с пружинкой, и выпроводил вон.

Явившись немного погодя засвидетельствовать свое почтение бюсту, мистер Доррит был принят с отменным вниманием. Миссис Мердль слышала от Эдмунда о его предложении. В первую минуту она удивилась, так как не могла себе представить Эдмунда женатым человеком. Общество не может представить себе Эдмунда женатым человеком. Но, разумеется, она догадалась («Мы, женщины, инстинктивно догадываемся о подобных вещах, мистер Доррит»), что Эдмунд без ума от мисс Доррит, и считает долгом откровенно заметить мистеру Дорриту, что с его стороны

грешно вывозить за границу очаровательную девушку, которая кружит головы своим соотечественникам.

— Должен ли я заключить, сударыня, — сказал мистер Доррит, — что выбор мистера Спарклера… кха… одобряется вами?

— Будьте уверены, мистер Доррит, — ответила эта леди, — что я лично в восторге.

Мистеру Дорриту было очень лестно слышать это.

— Я лично в восторге, — повторила миссис Мердль.

Случайное повторение этого «лично» побудило мистера Доррита выразить надежду, что согласие мистера Мердля также не заставит себя ждать.

— Я не могу, — сказала миссис Мердль, — взять на себя смелость ответить положительно за мистера Мердля: джентльмены, в особенности те джентльмены, которых общество называет капиталистами, имеют свои взгляды на вопросы этого рода, но я думаю (это только мое мнение, мистер Доррит), что мистер Мердль… — Она оглядела свою пышную фигуру и докончила не торопясь: — …будет в восторге.

При упоминании о джентльменах, которых общество называет капиталистами, мистер Доррит

кашлянул, как будто это выражение возбудило в нем какое-то внутреннее сомнение. Миссис Мердль заметила это и продолжила, стараясь уяснить себе причину этого:

— Хотя, правду сказать, мистер Доррит, я могла бы обойтись без этого замечания и высказала его только для того, чтобы быть вполне откровенной с человеком, которого я так высоко уважаю и с которым надеюсь вступить в еще более тесные и приятные отношения, так как весьма вероятно, что вы и мистер Мердль смотрите на эти вещи с одинаковой точки зрения, с той разницей, что обстоятельства, счастливые или несчастные, заставили мистера Мердля отдаться торговым операциям, которые, как бы ни были они обширны, всегда более или менее суживают кругозор человека. Я, конечно, совершенное дитя в деловых вопросах, — прибавила миссис Мердль, — но мне кажется, что торговые операции должны суживать кругозор.

Это искусное сопоставление мистера Доррита с мистером Мердлем так, что каждый из них уравновешивал другого и никому не отдавалось предпочтения, подействовало как успокоительное средство на кашель мистера Доррита.

Он заметил с изысканной учтивостью, что при

всем своем уважении к такой утонченной и образцовой леди, как миссис Мердль (она отвечала поклоном на этот комплимент), позволит себе протестовать против высказанного ею мнения, будто операции мистера Мердля, имеющие так мало общего с обыкновенными людскими делишками, могут оказать какое-либо вредное влияние на породивший их гений: напротив, они окрыляют его и дают ему больший простор.

— Вы само великодушие, — ответила миссис Мердль с приятнейшей из своих улыбок. — Будем надеяться, что вы правы, но, признаюсь, я питаю какой-то суеверный ужас к делам.

Тут мистер Доррит разрешился новым комплиментом в том смысле, что дела, как и время, которое играет в них такую огромную роль, созданы для рабов, а миссис Мердль, которая так невозбранно царит над сердцами, незачем и знать о них. Миссис Мердль засмеялась и сделала вид, что краснеет: один из лучших эффектов бюста.

— Я высказала все это, — заметила она, — только потому, что мистер Мердль всегда принимал живейшее участие в Эдмунде и горячо желал оказать ему всяческое содействие. Общественное положение Эдмунда вам известно. Его личное

состояние всецело зависит от мистера Мердля. При своей младенческой неопытности в делах я не могу сказать ничего больше.

Мистер Доррит снова дал понять, со свойственной ему любезностью, что дела — вещь слишком низкая для волшебниц и очаровательниц. Затем он заявил о своем намерении написать, в качестве джентльмена и родителя, мистеру Мердлю. Миссис Мердль одобрила это намерение от всего сердца или от всего притворства, что было одно и то же, и сама написала восьмому чуду света с ближайшей почтой.

В своем послании, как и в своих разговорах и диалогах, мистер Доррит излагал этот великий вопрос со всевозможными украшениями вроде тех завитушек и росчерков, какими каллиграфы украшают тетради и прописи, где заголовки четырех правил арифметики превращаются в лебедей, орлов, грифов, а прописные буквы сходят с ума в чернильном экстазе. Тем не менее содержание письма было настолько ясно, что мистер Мердль разобрал, в чем дело. Мистер Мердль отвечал в соответственном смысле. Мистер Доррит отвечал мистеру Мердлю. Мистер Мердль отвечал мистеру Дорриту, и вскоре сделалось известным, что письменные переговоры этих великих людей

привели к удовлетворительному результату.

Только теперь выступила на сцепу Фанни, вполне подготовленная для своей новой роли. Только теперь она окончательно затмила мистера Спарклера и стала сиять за обоих, вдесятеро ярче. Не чувствуя более неясности и двусмысленности положения, так тяготивших ее раньше, этот благородный корабль развернул паруса и поплыл полным ходом, не отклоняясь от курса и выказывая в полном блеске свои превосходные качества.

— Так как предварительные объяснения привели к благоприятному результату, — сказал мистер Доррит, — то, я полагаю, душа моя, пора… кха… формально объявить о твоей помолвке миссис Дженераль…

— Папа, — возразила Фанни, услышав это имя, — я не понимаю, какое дело до этого миссис Дженераль.

— Душа моя, — сказал мистер Доррит, — этого требует простая вежливость по отношению к леди… хм… столь благовоспитанной и утонченной…

— О, меня просто тошнит от благовоспитанности и утонченности миссис Дженераль, папа, — сказала Фанни, — мне надоела миссис

Дженераль!

— Надоела, — повторил мистер Доррит с изумлением и негодованием, — тебе… кха… надоела миссис Дженераль!

— До смерти надоела, папа, — сказала Фанни. — И я, право, не знаю, какое ей дело до моей свадьбы. Пусть занимается собственными брачными проектами, если они у нее есть.

— Фанни, — возразил мистер Доррит веским и внушительным тоном, резко противоречившим легкомысленному тону дочери, — прошу тебя объяснить… кха… что ты хочешь сказать.

— Я хочу сказать, папа, — ответила Фанни, — что если у миссис Дженераль имеется какой-нибудь брачный проект, то он, без сомнения, может заполнить все ее свободное время. Если не имеется, тем лучше, но в том и другом случае я желала бы избежать чести оповещать ее о моей помолвке.

— Позволь тебя спросить, Фанни, — сказал мистер Доррит, — почему.

— Потому что она и сама знает о моей помолвке, папа, — возразила Фанни. — Она очень наблюдательна, смею сказать. Я заметила это. Пусть же догадывается сама. А если не догадается, то узнает, когда мы обвенчаемся. Надеюсь, вы не

сочтете недостатком дочерней почтительности, если я скажу, что это самое подходящее время для миссис Дженераль.

— Фанни, — возразил мистер Доррит, — я поражен, я возмущен этим… хм… капризным и непонятным проявлением ненависти… кха… к миссис Дженераль.

— Пожалуйста, не говорите о ненависти, папа, — не унималась Фанни, — так как, уверяю вас, я не считаю миссис Дженераль достойной моей ненависти.

В ответ на эти слова мистер Доррит поднялся со стула и величественно остановился перед дочерью, устремив на нее взгляд, полный строгого упрека. Его дочь, повертывая браслет на руке и посматривая то на браслет, то на отца, сказала:

— Как вам угодно, папа. Мне очень жаль, что я не угодила вам, но это не моя вина. Я не дитя, я не Эми, и я не намерена молчать.

— Фанни, — произнес мистер Доррит, задыхаясь после величественной паузы, — если я попрошу тебя остаться здесь, пока я формально не сообщу миссис Дженераль как образцовой леди и… хм… доверенному члену семьи о… кха… предполагаемой перемене, если я… кха… не только попрошу, но и… хм… потребую этого…

— О папа, — перебила Фанни выразительным тоном, — если вы придаете этому такое значение, то мне остается только повиноваться. Надеюсь, впрочем, что я могу иметь свое мнение об этом предмете, так как оно не зависит от моей воли.

С этими словами Фанни уселась, приняв вид воплощенной кротости, которая, впрочем, в силу крайности, казалась вызовом, а ее отец, не удостоивая ее ответом или не зная, что ответить, позвонил мистеру Тинклеру.

— Миссис Дженераль.

Мистер Тинклер, не привыкший к таким лаконичным приказаниям, когда речь шла о прекрасной лакировщице, стоял в недоумении. Мистер Доррит, усмотрев в этом недоумении всю Маршалси со всеми приношениями, моментально рассвирепел:

— Как вы смеете? Это что значит?

— Виноват, сэр, — оправдывался мистер Тинклер. — Я не знаю…

— Вы отлично знаете, сэр, — крикнул мистер Доррит, побагровев. — Не говорите вздора… кха… отлично знаете. Вы смеетесь надо мной, сэр.

— Уверяю вас, сэр… — начал было мистер Тинклер.

— Не уверяйте меня, — возразил мистер Дор-

рит. — Я не желаю, чтобы слуга уверял меня. Вы смеетесь надо мной. Вы получите расчет… хм… вся прислуга получит расчет. Чего же вы ждете?

— Ваших приказаний, сэр.

— Вздор, — возразил мистер Доррит, — вы слышали мое приказание. Кха… хм… передайте миссис Дженераль мое почтение и просьбу пожаловать сюда, если это ее не затруднит. Вот мое приказание.

Исполняя эту просьбу, мистер Тинклер, по всей вероятности, сообщил, что мистер Доррит в жестоком гневе: по крайней мере, юбки миссис Дженераль что-то очень скоро зашелестели в коридоре, как будто даже мчались к комнате мистера Доррита, — однако за дверью приостановились и вплыли в комнату с обычной величавостью.

— Миссис Дженераль, — сказал мистер Доррит, — садитесь, пожалуйста.

Миссис Дженераль с грациозным поклоном опустилась на стул, предложенный мистером Дорритом.

— Сударыня, — продолжил этот джентльмен, — так как вы были столь любезны, что взяли на себя труд… хм… довершить образование моих дочерей, и так как я убежден, что все близко ка-

сающееся их интересует и вас…

— О конечно, — заметила миссис Дженераль самым деревянным тоном.

— То я считаю приятным для себя долгом сообщить вам, что моя дочь, здесь присутствующая…

Миссис Дженераль слегка наклонила голову в сторону Фанни. Та отвечала низким поклоном, затем высокомерно выпрямилась.

— …что моя дочь Фанни… кха… помолвлена с известным вам мистером Спарклером. Отныне, сударыня, вы освобождаетесь от половины ваших трудных обязанностей… кха… трудных обязанностей, — повторил мистер Доррит, бросив сердитый взгляд на Фанни. — Но это обстоятельство… хм… конечно, не отразится ни в каком отношении, ни прямо, ни косвенно, на положении, которое вы столь любезно согласились занять в моей семье.

— Мистер Доррит, — ответила миссис Дженераль, не нарушая безмятежного покоя своих перчаток, — всегда снисходителен и слишком высоко ценит мои дружеские услуги.

Мисс Фанни кашлянула, как будто говоря: «Вы правы».

— Мисс Доррит, без сомнения, позволит мне принести ей мое искреннее поздравление. По-

добные события, когда они свободны от порывов страсти… — Миссис Дженераль закрыла глаза, как будто не решалась взглянуть на своих собеседников, произнося это ужасное слово. — …когда происходят с одобрения близких родственников и скрепляют основы благородного семейного здания, могут считаться счастливыми событиями. Надеюсь, мисс Доррит позволит мне принести ей мои искреннейшие поздравления.

Тут миссис Дженераль остановилась и мысленно произнесла для придания надлежащей формы губам: «Папа, помидор, птица, персики и призмы».

— Мистер Доррит, — прибавила она вслух, — всегда любезен, и я прошу позволения принести мою искреннюю признательность за то внимание, скажу больше — за ту честь, которую он и мисс Доррит оказывают мне, удостоив меня таким доверием. Моя признательность и мои поздравления относятся как к мистеру Дорриту, так и к мисс Доррит.

— Мне чрезвычайно, невыразимо приятно слышать это, — заметила мисс Фанни. — Утешительное сознание, что вы ничего не имеете против моего брака, снимает тяжесть с моей души. Я просто не знаю, что бы стала делать, если б

вы не согласились, миссис Дженераль.

Миссис Дженераль с улыбкой, в которой сказывались персики и призмы, переложила перчатки, так что правая оказалась сверху, а левая — снизу.

— Сохранить ваше одобрение, миссис Дженераль, — продолжила Фанни, также отвечая улыбкой, в которой, однако, не замечалось и следа упомянутых выше ингредиентов, — будет, без сомнения, главной задачей моей жизни в замужестве; утратить его было бы, без сомнения, величайшим несчастьем. Тем не менее я уверена, что вы, со свойственной вам снисходительностью, позволите мне, и папа позволит мне исправить одно маленькое недоразумение, маленькую ошибку, которую я заметила в ваших словах. Лучшие из нас так часто впадают в ошибки, что даже вы, миссис Дженераль, не можете быть вполне свободны от них. Внимание и честь, о которых вы так выразительно упоминали, миссис Дженераль, исходят не от меня. Обратиться к вам за советом было бы такой великой заслугой с моей стороны, что я считаю недобросовестным приписывать ее себе, раз этого не было в действительности. Она целиком принадлежит папе. Я глубоко признательна вам

за одобрение и поощрение, но просил их папа, а не я. Я очень благодарна вам, миссис Дженераль, за то, что вы облегчили мое сердце от бремени, любезно согласившись на мой брак, но вам не за что благодарить меня. Надеюсь, что и в будущем мои действия удостоятся вашего одобрения и что моя сестра еще долго будет предметом ваших попечений, миссис Дженераль.

Произнеся эту речь самым учтивым тоном, Фанни грациозно и весело выпорхнула из комнаты и, взбежав наверх, принялась рвать и метать, накинулась на сестру, назвала ее слепым мышонком, стала увещевать ее пошире открыть глаза, рассказала обо всем, что произошло внизу, и спросила, что она думает теперь об отношениях папы и миссис Дженераль.

К миссис Мердль молодая леди относилась с величайшей независимостью и самообладанием, но пока еще не открывала явно враждебных действий. Время от времени происходили случайные стычки, когда Фанни казалось, что миссис Мердль начинает относиться к ней чересчур фамильярно или когда миссис Мердль выглядела особенно молодой и прекрасной, но миссис Мердль всегда умела прекратить эти поединки, откинувшись на подушки с грациозно-равнодушным видом

и заведя речь о чем-нибудь другом. Общество (это таинственное существо оказалось и на семи холмах) находило, что мисс Фанни значительно изменилась к лучшему после помолвки: сделалась гораздо доступнее, гораздо проще и любезнее, гораздо менее требовательной, так что теперь ее постоянно окружала толпа поклонников и вздыхателей, к великому негодованию маменек, обремененных дочками на выданье, решительно возмутившихся и поднявших знамя восстания против мисс Фанни. Наслаждаясь этой суматохой, мисс Фанни надменно шествовала среди них, выставляя напоказ не только собственную особу, но и мистера Спарклера, точно говорила: «Если я нахожу уместным влачить за собой в моем триумфальном шествии этого жалкого невольника в оковах, а не кого-нибудь посильнее, так это мое дело. Довольно того, что мне так вздумалось». Мистер Спарклер, со своей стороны, не требовал объяснений: шел, куда его вели, делал, что ему приказывали, чувствовал, что его успех зависит от успехов его невесты, и был очень благодарен за то, что пользуется таким широким признанием.

С наступлением весны мистеру Спарклеру пришлось отправиться в Англию, дабы занять

предназначенное для него место в ряду лиц, руководивших гением, знанием, торговлей, духом и смыслом этой страны. Страна Шекспира, Мильтона [82], Бэкона [83], Ньютона [84], Уатта [85], родина философов, естествоиспытателей, властителей природы и искусства в их бесчисленных проявлениях взывала к мистеру Спарклеру, умоляя его прийти и спасти ее от гибели. Мистер Спарклер не устоял против этого отчаянного вопля родины и объявил, что ему нужно ехать.

Возникал вопрос, где, когда и каким образом мистер Спарклер обвенчается с первейшей девицей в мире, «без всяких этаких глупостей». Решение этого вопроса, обсуждавшегося втайне и под секретом, мисс Фанни сама сообщила сестре.

— Ну, дитя мое, — сказала она ей однажды, —

---

[82] Сноски: 82

Мильтон Джон (1608–1674) — английский поэт, автор поэмы «Потерянный рай».

[83] Сноски: 83

Бэкон Фрэнсис (1561–1626) — английский философ-материалист.

[84] Сноски: 84

Ньютон Исаак (1642–1727) — великий английский физик, открывший закон всемирного тяготения.

[85] Сноски: 85

Уатт Джеймс (1736–1819) — известный шотландский механик-изобретатель, который усовершенствовал принципы паровой машины, изобретенной гениальным русским механиком И. И. Ползуновым (1729–1766).

я намерена сообщить тебе кое-что. Это сейчас только было решено, и, разумеется, я тотчас поспешила к тебе.

— Твоя свадьба, Фанни?

— Сокровище мое, — ответила Фанни, — не забегай вперед. Позволь мне самой сообщить тебе обо всем. Что до твоего вопроса, то если понимать его буквально, так придется ответить «нет». Речь идет не столько о моей свадьбе, сколько о свадьбе Эдмунда.

Крошка Доррит взглянула на нее, не совсем понимая это тонкое различие.

— Мне незачем торопиться, — объяснила Фанни. — Меня не требуют на службу или в парламент. Эдмунда же требуют. А Эдмунд приходит в ужас при мысли, что ему придется ехать одному, да и я думаю, что его не следует отпускать одного, потому что, если только представится возможность (а это легко может случиться) наделать глупостей, то он, конечно, их наделает.

Закончив эту беспристрастную оценку способностей своего будущего супруга, она с деловым видом сняла шляпку и принялась размахивать ею.

— Как видишь, этот вопрос касается больше Эдмунда, чем меня. Впрочем, довольно об этом.

Дело понятно само собой. Да, моя бесценная Эми. А раз возникает вопрос, отпустить его одного или нет, то вместе с тем возникает и другой: обвенчаться ли нам здесь же на днях или в Лондоне через несколько месяцев.

— Видно, мы скоро расстанемся, Фанни.

— Ах какая несносная! — воскликнула Фанни, полушутя-полусердясь. — Ну, что ты забегаешь вперед! Пожалуйста, милочка, слушай, что я говорю. Эта женщина, — без сомнения, она говорила о миссис Мердль, — остается здесь на Пасху, так что если мы обвенчаемся и поедем в Англию с Эдмундом, то я опережу ее. А это что-нибудь да значит. Дальше, Эми. Раз этой женщины не будет, я, вероятно, приму предложение мистера Мердля, чтобы мы с Эдмундом остановились… в том самом доме, помнишь, куда ты приходила с танцовщицей, пока не будет выбран и отделан наш дом. Это еще не все, Эми. Папа собирается в Лондон, и если мы с Эдмундом обвенчаемся здесь, то можем отправиться во Флоренцию, где к нам присоединится папа, а оттуда мы все трое отправимся в Лондон. Мистер Мердль приглашал папу остановиться в том самом доме, и я думаю, что он примет его приглашение. Впрочем, он сделает как ему заблагорассудится, да это и несу-

щественно.

Различие между папой, который поступает как ему заблагорассудится, и Эдмундом, который представлял собой нечто совершенно противоположное, довольно рельефно выступило в объяснениях Фанни. Впрочем, ее сестра не обратила на это внимания, томимая печалью о предстоящей разлуке и страстным желанием попасть в число возвращающихся в Англию.

— Так вот твои планы, милая Фанни?

— Планы, — повторила Фанни. — Право, дитя, с тобой потеряешь терпение. Разве я говорила что-нибудь подобное? Принимала какое-нибудь решение? Я сказала: сами собой возникают известные вопросы — и перечислила эти вопросы.

Задумчивые глаза Крошки Доррит взглянули на нее спокойно и нежно.

— Ну, моя милая крошечка, — сказала Фанни, нетерпеливо размахивая шляпой, — нечего таращить глаза, как маленькая сова. Я жду от тебя совета, Эми. Что ты мне посоветуешь?

— Ты не думаешь, Фанни, — спросила Крошка Доррит после непродолжительного колебания, — ты не думаешь, что лучше было бы отложить свадьбу на несколько месяцев?

— Нет, маленькая черепаха, — возразила Фан-

ни очень резко, — я не думаю ничего подобного.

Тут она бросила шляпку и кинулась в кресло, но тотчас почувствовала прилив нежности, вскочила и, опустившись на колени, обняла сестру вместе со стулом.

— Не думай, что я сердита и зла, милочка, право, нет. Но ты такая странная! Ведь я же говорила тебе, дитя, что Эдмунда нельзя пустить одного. И сама ты знаешь, что нельзя.

— Да, да, Фанни. Ты говорила это, правда.

— И ты сама знаешь это, — возразила Фанни. — Ну так как же, мое сокровище? Если его нельзя отпустить одного, то приходится ехать с ним и мне, кажется, ясно?

— Да… кажется, милочка, — сказала Крошка Доррит.

— Значит, милая Эми, приняв в соображение все обстоятельства, о которых я упомянула, ты посоветуешь мне поступить сообразно с ними?

— Да… кажется, милочка, — повторила Крошка Доррит.

— Очень хорошо, — сказала Фанни с видом покорности судьбе, — в таком случае надо покориться. Я обратилась к тебе, голубка, так как меня мучили сомнения и я никак не могла решиться. Теперь я решилась, и будь что будет.

Покорившись, таким образом, настояниям сестры и силе обстоятельств, Фанни преисполнилась необыкновенной кротостью, как человек, который пожертвовал своими личными склонностями ради желания друга и чувствует сладость этой жертвы.

— В конце концов, Эми, — сказала она сестре, — ты самая милая маленькая сестренка и такая умница! Право, не знаю, что я буду делать без тебя.

Говоря это, она стиснула ее в объятиях с непритворной нежностью.

— Это не значит, что я рассчитываю обходиться без тебя, Эми, напротив: надеюсь, что мы всегда будем неразлучны. А теперь, милочка, я дам тебе полезный совет. Когда ты останешься одна с миссис Дженераль…

— Так я останусь одна с миссис Дженераль? — спросила Крошка Доррит беспокойным тоном.

— Конечно, мое сокровище, пока не вернется папа! Нельзя же считать за общество Эдуарда, даже когда он здесь, и тем более, когда уезжает в Неаполь или на Сицилию. Так я говорила, но ты всегда собьешь с толку, плутовка, когда останешься с миссис Дженераль, Эми, не допускай ее до каких-нибудь тонких намеков насчет того,

что она имеет виды на папу или папа на нее. Она, наверно, попробует подъехать к тебе. Я знаю ее манеру нащупывать почву своими перчатками. Но ты делай вид, что не понимаешь. И если папа объявит тебе по возвращении, что он намерен сделать миссис Дженераль твоей мамой (что весьма возможно, так как меня здесь не будет), то я советую тебе ответить тут же напрямик: «Папа, извини меня, но я решительно против этого. Фанни предупреждала меня об этом — она тоже против». Я не думаю, что твое возражение, Эми, произведет какое-нибудь действие, да и вряд ли у тебя хватит духу высказать его с твердостью. Но тут затронут принцип, семейный принцип, и я умоляю тебя протестовать против такой мачехи, как миссис Дженераль, и дать понять всем окружающим, что ты протестуешь. Смело можешь рассчитывать, милочка, на поддержку с моей стороны. Все влияние, которое может иметь замужняя женщина, не лишенная привлекательности, я постараюсь обратить против миссис Дженераль, ее фальшивых волос (я уверена, что они фальшивые при всем их безобразии, хоть и может показаться невероятным, чтобы человек в здравом уме согласился платить деньги за такую гадость).

Крошка Доррит выслушала этот совет, ничего не возражая, но и не давая повода думать, что примет его к сведению.

Решив, таким образом, формально распроститься с девической жизнью и устроив свои земные дела, Фанни со свойственным ей жаром принялась готовиться к предстоявшей ей важной перемене.

Приготовления состояли в отправке горничной в Париж, под охраной проводника, для покупки разных принадлежностей гардероба невесты, которым в английском языке не находится достаточно изысканных наименований, а называть же их по-французски автор считает неуместным (так как намерен, как это ни вульгарно, держаться того языка, на котором написан роман). Богатый и роскошный гардероб, закупленный этими агентами, в течение нескольких недель путешествовал из Франции в Италию, увязая в каждой таможне и осаждаемый целой армией жалких оборванцев в мундирах, беспрерывно повторявших просьбу Велизария [86], как будто каждый из воителей был этим византийским полководцем. Они являлись

[86] Сноски: 86

Велизарий (ок. 505–565) — византийский полководец эпохи императора Юстиниана. По преданию, попал в опалу и, обеднев, вынужден был просить милостыню.

такими легионами, что, если бы проводник не извел ровно полтора бушеля серебряной монеты на эту жадную ораву, от гардероба доехали бы только клочья вследствие беспрестанного ощупывания и переворачивания. Как бы то ни было, он благополучно избежал всех этих опасностей и, подвигаясь дюйм за дюймом, явился на место назначения в лучшем виде. Тут он был выставлен напоказ для избранных представительниц прекрасного пола и, надо сознаться, возбудил в их нежных сердцах жестокие чувства. Вместе с тем шли деятельные приготовления к торжественному дню, когда некоторые из этих сокровищ должны были явиться перед публикой. Карточки с приглашениями на завтрак были разосланы половине английского населения в городе Ромула, остальная половина готовилась явиться в качестве критиков-добровольцев в такие моменты торжества, когда его можно будет наблюдать с различных наружных пунктов. Благородный и знаменитый английский синьор Эдуард Доррит прискакал, невзирая на грязь и бездорожье, из Неаполя (где шлифовал свои манеры в обществе неаполитанской знати), дабы участвовать в семейном празднике. Лучший отель, со всей своей кулинарной лабораторией,

деятельно готовился к торжеству. Чеки мистера Доррита чуть не довели до краха банк Торлония. Британский консул не видел такой свадьбы за все время своего консульства.

Наступил давно ожидаемый день, и волчица в Капитолии чуть не завыла от зависти, глядя, как дикие островитяне [87] устраивают эти дела в наши дни.

Статуи развратников-императоров Претори-анской эпохи [88] с их разбойничьими лицами, которым даже тогдашние скульпторы не ре-шились польстить, чуть не соскочили со своих пьедесталов вслед за невестой. Полуразвалив-шийся фонтан, в котором, вероятно, мылись еще гладиаторы, чуть не ожил, чтобы почтить тор-жество. Храм Весты чуть не возродился из своих развалин специально для этого случая. Все это могло бы произойти, но не произошло. Разве не происходит то же самое и с живыми существами, например со знатными лордами и леди, кото-рые могли бы многое сделать, но не сделали?

---

[87] Сноски: 87

Так Диккенс называет англичан.

[88] Сноски: 88

Диккенс подразумевает период в древнеримской истории начиная с царствования императора Октавиана Августа (30 г. до н. э. — 14 г. н. э.), когда была учреждена специальная гвардия римских императоров — преторианцы.

Бракосочетание совершалось необыкновенно торжественно: монахи в белых рясах, в черных рясах, в рыжих рясах останавливались и провожали глазами экипажи; бродячие крестьяне в овечьих шкурах играли на дудках и просили милостыню под окнами; англичане-добровольцы маршировали; день кончился; праздник кончился; тысячи церковных колоколов звонили без всякого отношения к этому событию, и святой Петр всем своим видом утверждал, что ничего не хочет о нем знать.

Но в это время невеста уже заканчивала свой первый этап пути по направлению к Флоренции. Особенностью этой свадьбы было то, что она вся воплощалась в невесте. Никто не заметил жениха. Никто не заметил первой подружки невесты. Немногие могли бы заметить Крошку Доррит (которая исполняла эту роль) среди ослепительного блеска, предположив даже, что многие искали ее глазами. Итак, молодая уселась в изящную коляску, случайно сопровождаемая молодым, и, прокатившись по гладкой мостовой, пошла трястись по Долине отчаяния [89] среди развалин и грязи. Говорят, что другие брачные экипажи и

[89] Сноски: 89

Одно из мест, куда попадает паломник-путешественник, герой романа «Путь паломника» английского писателя Джона Беньяна (1628–1688).

до и после этого отправлялись той же дорогой.

В этот вечер Крошка Доррит чувствовала себя немножко одинокой и грустной, и ничто бы так не облегчило ее, как возможность посидеть по-старому с работой около отца, прислуживать ему за ужином и укладывать его спать. Но это было немыслимо теперь, когда они сидели в экипаже приличий с миссис Дженераль на козлах. А ужин! Если бы мистер Доррит пожелал ужинать, к его услугам был итальянец-повар и швейцарец-кондитер, которые не замедлили бы надеть колпаки величиной с папскую тиару и приняться за алхимические таинства в своей кастрюлечной лаборатории внизу.

В этот вечер мистер Доррит был глубокомыслен и назидателен. Будь он просто ласков, ей было бы гораздо отраднее, но она принимала его таким, каким он был. Когда вообще она не принимала его таким, каким он был? И ей в голову бы не пришло упрекнуть его. Наконец миссис Дженераль удалилась. Ее удаление всегда бывало самой ледяной из ее церемоний, как будто она считала необходимым превратить в камень человеческое воображение, чтобы оно не вздумало последовать за ней. Проделав все, что требовалось, с четкостью взвода солдат, совершающих военные упражне-

ния, она удалилась. Тогда Крошка Доррит обняла отца и пожелала ему спокойной ночи.

— Эми, милочка, — сказал мистер Доррит, взяв ее за руку, — этот день… кха… произвел на меня глубокое и радостное впечатление.

— Но и немножко утомил вас, дорогой мой?

— Нет, — возразил мистер Доррит, — нет, я не чувствую усталости, порожденной событием, которое… хм… исполнено чистейшей радости.

Крошка Доррит была рада видеть его в таком настроении и улыбнулась от всего сердца.

— Душа моя, — продолжил он, — это событие… кха… может послужить хорошим примером. Хорошим примером, мое любимое и нежное дитя, для… хм… для тебя.

Смущенная этими словами, Крошка Доррит не знала, что сказать, хотя он остановился, как бы ожидая ответа.

— Эми, — продолжил он, — твоя милая сестра, наша Фанни вступила… кха… хм… в брак, который чрезвычайно расширит наши… кха… связи и… хм… упрочит наше общественное положение. Душа моя, я надеюсь, что недалеко то время, когда и для тебя найдется… кха… подходящая партия.

— О нет! Позвольте мне остаться с вами. Прошу и умоляю, позвольте мне остаться с вами. Я хочу

одного: остаться с вами и заботиться о вас.

Она проговорила это с какой-то внезапной тревогой.

— Полно, Эми, Эми, — сказал мистер Доррит. — Это слабость и ребячество, слабость и ребячество. Твое положение… кха… возлагает на тебя известную ответственность. Ты обязана упрочить это положение и… хм… быть достойной этого положения. Что касается заботы обо мне… Я могу… кха… сам позаботиться о себе. Если же, — прибавил он после непродолжительной паузы, — если мне понадобятся чьи-либо заботы, то… хм… обо мне… кха… слава богу, есть кому позаботиться. Я… кха… хм… не могу допустить, дорогое дитя, чтобы ты… кха… погубила свою молодость ради меня.

О, нашел же он время говорить о самоотверженности: выставлять ее напоказ и уверять, что ею только и руководствуется.

— Полно, Эми. Я положительно не могу допустить этого. Я… кха… не должен допускать этого. Моя… хм… совесть не допустит этого. Итак, моя радость, я пользуюсь этим радостным и значительным событием, дабы… кха… торжественно заметить, что отныне мое заветное желание и цель моей жизни — видеть тебя… кха… прилично (повторяю: прилично) устроенной.

— О нет, милый, пожалуйста!

— Эми, — сказал мистер Доррит, — я совершенно убежден, что если бы по этому вопросу посоветоваться с лицом, обладающим высшим знанием света, с утонченными чувствами и умом… скажем, для примера… кха… с миссис Дженераль, то она ни на минуту не усомнилась бы в том, что я руковожусь искренней любовью и нежностью к тебе. Но, зная твою любящую и преданную душу по… хм… по опыту, я уверен, что мне не нужно ничего прибавлять. Я ведь… хм… не предлагаю тебе выйти замуж сейчас же и даже не имею в виду никого, кто годился бы тебе в мужья. Я только желаю, чтобы мы… кха… поняли друг друга. Хм!.. Покойной ночи, милая, единственная оставшаяся у меня дочь. Покойной ночи. Господь с тобой!

Если в эту ночь у Крошки Доррит и мелькнула мысль, как охотно готов он сбыть ее с рук теперь, в богатстве и счастье, собираясь заменить второй женой, то она отогнала эту мысль. Оставаясь ему верной и теперь, как в худшие времена, когда была его единственной поддержкой, она только с горечью думала в эту мучительную бессонную ночь, что он теперь смотрит на все глазами богатого человека, который считает сво-

ей обязанностью заботиться лишь об умножении богатства.

Они просидели в парадной колеснице, с миссис Дженераль на козлах, три недели, а затем он уехал во Флоренцию к Фанни. Крошка Доррит была бы рада отправиться вместе с ним хоть до Флоренции, а потом вернуться, опять вспоминая о своей милой Англии. Но хотя проводник уехал с молодой, оставался еще камердинер, и пока можно было нанять кого-нибудь за деньги, очередь не могла дойти до нее.

Миссис Дженераль оказалась довольно покладистой, насколько она могла быть покладистой, когда они остались вдвоем, и Крошка Доррит часто выезжала в наемном экипаже, который был оставлен для них, или блуждала одна среди развалин Древнего Рима. Развалины гигантского древнего амфитеатра, древних храмов, древних триумфальных арок, древних дорог, древних гробниц были для нее — независимо от того, чем они были в действительности, — развалинами старой Маршалси, развалинами ее собственной старой жизни, развалинами фигур и лиц, когда-то окружавших ее, развалинами ее чувств, надежд, забот и радостей. Два мира развалин человеческой жизни и страданий вставали пе-

ред одинокой девушкой, когда она сидела на каком-нибудь обломке древнего памятника под голубым небом, и она не могла отделить их один от другого.

Но являлась миссис Дженераль, обесцвечивая все окружающее, как обесцветили ее самое природа и искусство, налагая клеймо персиков и призм на все, к чему она ни прикасалась, усматривая везде мистера Юстеса и К° и не замечая ничего другого, выцарапывая отовсюду высохшие остатки античности и глотая их целиком, не прожевывая, как настоящий вампир в перчатках.

Глава XVI. Успехи

По прибытии на Харли-стрит, Кавендиш-сквер, Лондон, молодая парочка была принята главным дворецким. Этот великий человек не интересовался молодыми, но во всяком случае выносил их. Если люди не будут жениться и выходить замуж, то, пожалуй, упадет спрос на главных дворецких. Как нации созданы для того, чтобы было кого облагать налогами, так семьи созданы для того, чтобы содержать дворецких. Главный дворецкий, без сомнения, понимал, что природа заботится о приращении богатого населения собственно ради его интересов.

Итак, он весьма снисходительно спустился с парадной лестницы взглянуть на карету молодых и не только не хмурился, но даже сказал благодушным тоном одному из своих подчиненных: «Томас, помоги перенести вещи». Он даже проводил молодую наверх, к мистеру Мердлю, но это уже было данью поклонения прекрасному полу (главный дворецкий был его ревностным обожателем и, как все знали, вздыхал по одной герцогине), а не исполнением служебной обязанности.

Мистер Мердль ежился около камина, готовясь приветствовать миссис Спарклер. Рука его так далеко запряталась в рукав, когда он выступил навстречу гостье, что последней пришлось пожать только болтавшийся обшлаг, точно ее приветствовало чучело Гая Фокса. Прикоснувшись губами к ее губам, он забился в кучу оттоманок, столов и стульев и судорожно ухватил себя за руки, точно собирался вести самого себя в полицию, приговаривая: «Ага, любезный, попался, пойдем-ка, пойдем на расправу!»

Миссис Спарклер, расположившись в парадных покоях, в святилище из пуха, шелка и тонкого полотна, почувствовала, что до сих пор победа за ней и дела ее понемножку подвигаются вперед. Накануне свадьбы она с небрежной грацией подарила горничной миссис Мердль (в присутствии самой дамы) несколько безделушек: браслет, шляпку и два платья (все совершенно новое), стоивших вчетверо дороже подарка, полученного когда-то от миссис Мердль ею самой. Теперь она водворилась в собственных покоях миссис Мердль, украшенных еще кое-какими предметами роскоши, дабы достойно принять новую гостью. Блуждая по этим апартаментам, окруженная всеми ухищрениями роскоши, какие

только может купить богатство или выдумать изобретательность, она видела в мечтах прекрасную грудь, бившуюся в унисон с ее радостными думами, вступающую в состязание с другим прекрасным бюстом, так долго царившим здесь, затмевала его и свергала с трона. Счастье? Должно быть, Фанни была счастлива. Теперь она не выражала желания умереть.

Проводник не одобрил намерения мистера Доррита остановиться в доме его нового родственника, а предпочел поместить его в отеле на Брук-стрит, Гросвенор-сквер. Мистер Мердль распорядился, чтобы карета была готова с утра, намереваясь отправиться к мистеру Дорриту тотчас же после завтрака.

Карета выглядела красивой, лошади выглядели глянцевитыми, сбруя выглядела сверкающей, ливреи выглядели роскошными и долговечными. Богатый и внушительный выезд. Выезд мистера Мердля. Ранние прохожие провожали глазами экипаж, почтительно говоря: «Вон он едет!»

Он ехал до отеля на Брук-стрит. Тут из этого великолепного футляра появился хранившийся в нем алмаз, не особенно блестящий с виду — скорее совсем наоборот.

В отеле поднялась суматоха. Мердль! Хозяин,

весьма важный господин, только что выезжавший в город на паре собственных породистых лошадей, вышел самолично проводить великого человека наверх. Клерки и слуги выскакивали из боковых коридоров, толпились в дверях и проходах, чтобы взглянуть на него. Мердль! О вы, солнце, луна и звезды, это великий человек!

Богач, опровергнувший Новый Завет и уже вошедший в Царство Небесное. Человек, который мог пригласить на обед кого угодно, человек, который чеканил деньги! Пока он поднимался по лестнице, люди стремились за ним по нижним ступенькам, чтобы хоть тень великого человека осенила их. Так когда-то больных приносили и клали на пути великого учителя, который не принадлежал к высшему обществу и не чеканил денег.

Мистер Доррит в халате и с газетой сидел за завтраком. Проводник взволнованным голосом доложил: «Мистер Мердль!» У мистера Доррита сердце чуть не выскочило.

— Мистер Мердль, вот уж истинно… кха… высокая честь. Позвольте мне выразить… хм… мою признательность, мою глубокую признательность… кха… за этот лестный знак внимания. Мне очень хорошо известно, сэр, как… кха…

драгоценно ваше время. — От волнения мистер Доррит не мог произнести слово «драгоценно» так выразительно, как бы ему хотелось. — Подарить мне… кха… минуту вашего драгоценного времени — это… кха… такая любезность, которую невозможно оценить достаточно высоко.

Мистер Доррит положительно дрожал, обращаясь к великому человеку.

Мистер Мердль пробормотал глухим, сдавленным, нерешительным голосом что-то нечленораздельное, прибавив в заключение:

— Рад вас видеть, сэр.

— Вы очень любезны, — сказал мистер Доррит, — истинно любезны.

Тем временем гость уселся и провел рукой по своему утомленному лбу.

— Надеюсь, вы здоровы, мистер Мердль?

— Я здоров… да… здоров… как всегда, — сказал мистер Мердль.

— Вы, должно быть, страшно заняты делами?

— Порядком. Но… о нет, это ничего не значит, — сказал мистер Мердль, блуждая глазами по комнате.

— Легкая диспепсия? — заметил мистер Доррит.

— Должно быть. Но я… О, я почти здоров, — ска-

зал мистер Мердль.

В углах его губ виднелись темные полоски, точно следы пороха: казалось, что, будь у него темперамент поживее, он был бы в это утро в лихорадочном состоянии. Именно это обстоятельство и усталый вид, с каким он проводил рукой по лбу, вызвали со стороны мистера Доррита беспокойные вопросы о его здоровье.

— Я оставил миссис Мердль, — вкрадчиво продолжил мистер Доррит, — предметом… кха… всеобщего внимания… хм… всеобщего поклонения… красой и очарованием римского общества. Она наслаждалась цветущим здоровьем, когда мы расставались.

— Миссис Мердль, — сказал мистер Мердль, — вообще считается весьма привлекательной женщиной, и, без сомнения, справедливо. Я очень рад этому.

— Может ли быть иначе, — отозвался мистер Доррит.

Мистер Мердль пошевелил языком, не раскрывая рта — кажется, язык был довольно жесткий и неповоротливый, — полизал губы, снова провел рукой по лбу и обвел глазами комнату, стараясь главным образом заглянуть под стулья.

— Но, — сказал он, в первый раз подняв глаза на

мистера Доррита и тотчас затем устремив их на жилетные пуговицы мистера Доррита, — если уж говорить о привлекательности, то надо говорить о вашей дочери. Она чрезвычайно хороша собой. Лицом и фигурой она выше всякого описания. Когда они приехали вчера вечером, я был просто поражен ее красотой.

Признательность мистера Доррита была так велика, что он не мог не высказать… кха… на словах, как уже высказывал письменно, что считает подобное родство счастьем и честью для себя. При этом он протянул руку. Мистер Мердль поглядел на нее в недоумении, потом подставил под нее свою, точно поднос или нож для рыбы, и, наконец, возвратил ее мистеру Дорриту.

— Я нарочно заехал к вам пораньше, — сказал мистер Мердль, — предложить вам свои услуги, на случай если я могу быть вам чем-нибудь полезным. Я надеюсь, что вы пообедаете со мной сегодня, а также в те дни, в течение вашего пребывания в Лондоне, когда вы не будете иметь в виду ничего лучшего.

Мистер Доррит был в восторге.

— Вы долго пробудете здесь, сэр?

— Пока я думаю остаться… кха… недели на две, не больше, — ответил мистер Доррит.

— Это очень кратковременное пребывание после такого продолжительного путешествия, — заметил мистер Мердль.

— Хм… да, — сказал мистер Доррит. — Но изволите видеть… кха… дорогой мистер Мердль, заграничная жизнь так полезна моему здоровью и так нравится мне, что я… хм… приехал в Лондон только ради двух целей. Первая… кха… то редкое счастье и… кха… преимущество, которым я пользуюсь и наслаждаюсь в настоящую минуту; вторая — устройство… хм… помещение, то есть наивыгоднейшее помещение… кха… хм… моих денег.

— Что же, сэр, — сказал мистер Мердль, снова пошевелив языком, — если я могу быть вам полезен в каком-нибудь отношении, располагайте мною.

Речь мистера Доррита сделалась еще бессвязнее, когда он коснулся этой щекотливой темы, так как он не знал хорошенько, как такой могущественный человек примет его слова. Он боялся, что вопрос о капитале или состоянии частного лица покажется слишком ничтожным пустяком для такого финансового колосса. Успокоенный любезным предложением мистера Мердля, он сразу уцепился за него.

— Уверяю вас, — сказал мистер Доррит, — я… кха… не смел и надеяться на такое… хм… огромное преимущество, как ваш личный совет и помощь. Хотя, конечно, я во всяком случае рассчитывал, подобно… кха… хм… всему цивилизованному миру, следовать по стопам мистера Мердля.

— Ведь мы, знаете, почти родственники, сэр, — сказал мистер Мердль, необычайно заинтересовавшись узором ковра, — следовательно, вы всегда можете рассчитывать на меня.

— Кха… это очень любезно с вашей стороны! — воскликнул мистер Доррит. — Кха… в высшей степени любезно.

— В настоящее время, — продолжил мистер Мердль, — не так-то легко постороннему человеку получить долю в выгодном предприятии… разумеется, я говорю о своих собственных предприятиях…

— Конечно, конечно! — воскликнул мистер Доррит таким тоном, как будто само собой подразумевалось, что нет выгодных предприятий, кроме предприятий мистера Мердля.

— Разве за высокую цену или, как у нас выражаются, за длинную цифру.

Мистер Доррит пришел в восторг от такого остроумия.

— Ха-ха-ха, за длинную цифру! Очень хорошо… кха… очень выразительно.

— Как бы то ни было, — продолжил мистер Мердль, — я сохраняю за собой право оказывать известное преимущество, или протекцию, как выражаются многие, известным мне лицам, — в виде награды за мои заботы и хлопоты.

— За предприимчивость и гений, — добавил мистер Доррит.

Мистер Мердль пошевелил горлом, точно глотая эти качества, как пилюли, и прибавил:

— В виде вознаграждения. Если вам угодно, я постараюсь употребить эту ограниченную власть (она ограниченна, так как люди завистливы) в вашу пользу.

— Вы очень добры, — ответил мистер Доррит. — Вы очень добры.

— Конечно, — заметил мистер Мердль, — главным условием этого рода сделок являются безупречная честность и откровенность, полное, неограниченное доверие друг к другу; без этого не стоит и начинать дело.

Мистер Доррит с жаром одобрил эти благородные чувства.

— Итак, — сказал мистер Мердль, — я могу доставить вам преимущество лишь в известных

размерах.

— Понимаю, в определенных размерах, — заметил мистер Доррит.

— В определенных размерах и совершенно открыто. Что касается моего совета, то это, конечно, совершенно другое дело. Быть может, он немногого стоит…

— О, немногого стоит! — Мистер Доррит не мог допустить и тени сомнения в его достоинстве даже со стороны самого мистера Мердля.

— …но во всяком случае самая щепетильная честность не может упрекнуть меня за то, что я даю его по своему усмотрению, и мой совет, — заключил мистер Мердль, уставившись с глубоким вниманием на телегу с мусором, проезжавшую мимо окна, — к вашим услугам в любое время, когда вы найдете нужным им воспользоваться.

Мистер Доррит снова рассыпается в благодарностях. Мистер Мердль снова проводит рукой по лбу. Тишина и молчание. Мистер Мердль рассматривает жилетные пуговицы мистера Доррита.

— Я тороплюсь, — сказал мистер Мердль, внезапно вскакивая, точно во время предшествующей паузы он дожидался прибытия своих ног, которые, наконец явились, — мне нужно в Сити.

Не могу ли я подвезти вас куда-нибудь, сэр? Я буду рад подвезти вас. Мой экипаж к вашим услугам.

Мистер Доррит вспомнил, что у него есть дело к его банкиру. Контора его банкира в Сити. Чудесно, мистер Мердль подвезет его в Сити. Но он задержит мистера Мердля: ему нужно одеться. О нет, нисколько, мистер Мердль просит его не стесняться. Итак, мистер Доррит, удалившись в соседнюю комнату, отдался в руки камердинера и через пять минут вышел в полном блеске.

Затем мистер Мердль сказал:

— Прошу вас, сэр, возьмите мою руку!

Затем мистер Доррит, опираясь на его руку, спустился с лестницы среди поклонников, столпившихся на ступеньках, чувствуя, что свет, исходящий от мистера Мердля, окружает сиянием и его самого. Затем экипаж мистера Мердля, поездка в Сити, прохожие, провожающие их глазами, шляпы, слетающие с седых голов, общее поклонение и падение ниц перед удивительным человеком — раболепие, равного которому еще не было видано, клянусь небом, нет! Стоило бы подумать об этом льстецам всех наименований, собирающимся каждое воскресенье в Вестминстерском аббатстве или соборе Святого Павла. Для мистера Доррита эта поездка в триумфальной

колеснице, торжественно катившейся в обетованную землю — золотую улицу банков, — была каким-то волшебным сном.

Тут мистер Мердль заявил, что он выйдет и пойдет пешком, оставив свой скромный экипаж в распоряжении мистера Доррита. И волшебный сон казался ему еще волшебнее, когда народ смотрел на него, за неимением мистера Мердля, и ему чудились восклицания: «Этот удивительный человек — друг мистера Мердля!»

За обедом, хотя приезда молодых не ждали и никаких приготовлений не было сделано, собралась блестящая компания людей, сотворенных не из глины, а из какого-то более ценного материала, которая озаряла лучами своего благоволения брак мистера Спарклера. А дочь мистера Доррита, не теряя времени, начала борьбу с этой женщиной, и так хорошо начала, что мистер Доррит мог бы дать присягу, что она всю жизнь прожила в неге и роскоши и никогда не слыхала такого грубого английского слова, как «Маршалси».

На другой день, и на третий день, и во все последующие дни, неизменно сопровождавшиеся обедами в избранном обществе, визитные карточки сыпались на мистера Доррита точно бумажный снег в театре. Адвокатура, церковь,

казначейство, хор Полипов — все желали познакомиться с другом и родственником знаменитого Мердля. Каждый раз, когда мистер Доррит являлся в одну из бесчисленных контор мистера Мердля в Сити (а он заглядывал туда часто, так как его дело двигалось вперед быстро), ему достаточно было назвать свое имя, чтобы получить доступ к Мердлю. И волшебный сон с каждой минутой становился волшебнее, и мистер Доррит чувствовал, что новое родство действительно двинуло его вперед.

Одна только вещь выступала в этих грезах ярким, но далеко не радужным пятном. Это был главный дворецкий. Мистеру Дорриту казалось, что этот подавляющий своим величием человек посматривает на него за обедом вопросительно. На лестнице и в прихожей он следил за ним пристальным взглядом, который вовсе не нравился мистеру Дорриту. За столом, прихлебывая вино, мистер Доррит видел сквозь стакан все тот же ледяной зловещий взгляд. У него являлось подозрение, что главный дворецкий был знаком с каким-нибудь членом общежития, а может, сам был в общежитии и даже представлялся ему. Он всматривался в главного дворецкого, насколько это было возможно, но решительно не мог при-

помнить, чтобы видел его когда-нибудь. В конце концов он начинал приходить к убеждению, что у этого человека нет ни капли почтительности, никакого уважения к высшим. Но от этого ему не было легче, потому что надменный взор главного дворецкого следил за ним даже тогда, когда, по-видимому, был устремлен на приборы и столовую посуду, следил неотступно и непрестанно. Намекнуть ему, что подобные наблюдения могут быть неприятны, или спросить, что ему нужно, было бы слишком рискованно: он относился к своим господам и их гостям с неумолимой суровостью и не допускал с их стороны ни малейшей вольности.

Глава XVII. Исчез

До отъезда мистера Доррита оставалось всего два дня. Он одевался, готовясь отправиться на смотр к главному дворецкому (жертвы которого всегда одевались, собственно, для него), когда один из лакеев отеля подал ему визитную карточку. Мистер Доррит взял ее и прочел: «Миссис Финчинг».

Слуга безмолвно и почтительно ожидал приказаний.

— Человек... э... человек, — сказал мистер Доррит, поворачиваясь к нему с негодующим изумлением, — с какой стати вы принесли мне карточку с этой нелепой фамилией? Я в первый раз слышу ее. Финчинг, сэр, — продолжил он, быть может срывая на лакее свой гнев на главного дворецкого. — Кха... что вы хотите сказать вашей Финчинг?

По-видимому, «человек... э... человек» решительно ничего не хотел сказать своей Финчинг, так как попятился, встретив суровый взгляд мистера Доррита, и произнес:

— Дама, сэр.

— Я не знаю такой дамы, сэр, — возразил ми-

стер Доррит. — Возьмите эту карточку. Я не знаю никаких Финчингов — ни мужского, ни женского пола.

— Прошу прощения, сэр. Дама сказала, что вы, по всей вероятности, не знаете ее фамилии, но просила меня передать вам, сэр, что была раньше знакома с мисс Доррит. Она сказала, сэр, с младшей мисс Доррит.

Мистер Доррит нахмурил брови и, помолчав немного, сказал:

— Попросите миссис Финчинг войти, — с таким ударением на «Финчинг», как будто ответственность за нее падала на ни в чем не повинного лакея.

Ему пришло в голову, что если он не примет эту даму, то она, пожалуй, оставит какое-нибудь поручение или скажет что-нибудь насчет его прежней жизни. Вот почему он снизошел, и вот почему Флора явилась в сопровождении человека.

— Я не имею удовольствия, — сказал мистер Доррит, стоя с карточкой в руке и с выражением, заставлявшим думать, что он и не особенно гонится за этим удовольствием, — быть знакомым с вами, ни даже с вашей фамилией, сударыня… Дайте стул, сэр!

Злополучный человек поспешил исполнить приказание и затем на цыпочках вышел из комнаты. Флора с застенчивой робостью откинула вуаль и приступила к объяснению цели своего посещения. Вместе с тем по комнате распространился какой-то странный смешанный аромат, точно кто-нибудь по ошибке подлил водки в бутылку с лавандовой водой или лавандовой воды — в бутылку с водкой.

— Тысячу раз прошу извинения у мистера Доррита, хотя, конечно, это не оправдывает вторжения, которое, я знаю, должно показаться смелым со стороны дамы, к тому же явившейся в одиночестве, но все-таки я решила, что так будет лучше, несмотря на кажущуюся неловкость, хотя тетка мистера Финчинга охотно согласилась бы сопровождать меня и, без сомнения, поразила бы вас своим сильным характером и умом как человека, испытавшего столько превратностей и, следовательно, знающего свет, потому что сам мистер Финчинг говорил не раз, что, несмотря на хорошее воспитание в окрестностях Блэкхита по восьмидесяти гиней в год, не считая собственного прибора, который не был возвращен родителям, тут, разумеется, дело не в деньгах, а в низости начальства, так он говорил, что больше научился

за один год жизни в качестве странствующего приказчика одной фирмы, торговавшей какими-то предметами, о которых никто не хотел и слышать, не то что покупать, задолго до винной торговли, больше научился, чем за шесть лет пребывания в школе, несмотря на то что директором ее был холостяк, хотя почему холостяк [90] должен быть умнее женатого — я решительно не понимаю и никогда не могла понять, но, пожалуйста, извините мою болтовню.

Мистер Доррит точно прирос к ковру в виде статуи изумления.

— Откровенно признаюсь, — продолжала Флора, — что у меня нет ни малейшего права являться к вам, но так как я знала милую Крошку, хотя это название при изменившихся обстоятельствах может показаться фамильярным, но сказано без всякого умысла, и, видит бог, полкроны в день — ничтожная плата за такое чудесное шитье, совершенно напротив, и видеть в этом что-нибудь унизительное смешно, ведь земледелец достоин своей заработной платы, и я только желала бы, чтобы он получал ее чаще, ел побольше мяса и не страдал ревматизмом в спине и в ногах, бедняга.

---

[90] Сноски: 90

Непереводимая игра слов у Диккенса: в пер. с англ. bachelor одновременно «холостяк» и «бакалавр».

— Сударыня, — сказал мистер Доррит, собравшись кое-как с духом и покраснев как рак, когда она остановилась чтобы в свою очередь перевести дух, — если вы намекаете… кха… на какое-нибудь обстоятельство в прежней жизни… хм… моей дочери, связанное… кха… хм… с получением поденной платы, сударыня, то я прошу заметить, что этот… кха… факт оставался мне совершенно неизвестным. Хм… Я бы никогда не допустил его… кха… Никогда, никогда!

— Бесполезно продолжать разговор об этом предмете, — возразила Флора, — и я бы не упомянула о нем, если бы он не заменял мне рекомендательного письма, но это несомненный факт, и вы можете сами удостовериться, взглянув на мое платье, которое доказывает его наглядно и так прекрасно сшито, но, без сомнения, сидело бы лучше на более изящной фигуре, так как моя слишком полна, хотя я решительно не знаю, как отделаться от полноты, но я опять увлеклась, простите.

Мистер Доррит попятился и опустился на стул в почти бесчувственном состоянии, меж тем как Флора, бросив на него успокоительный взгляд, продолжила, играя зонтиком:

— Милая Крошка так страшно побледнела,

похолодела и почти лишилась чувств в моем собственном доме, или, по крайней мере, в доме папы, хотя он не собственный, но все равно нанят по долгосрочному контракту и за ничтожную плату, в то утро, когда Артур — безумная привычка юности, и, конечно, «мистер Кленнэм» гораздо приличнее при существующих обстоятельствах, тем более перед посторонним человеком, к тому же занимающим такое высокое положение в свете, — сообщил эту радостную весть по поручению некоего мистера Панкса, вот я и расхрабрилась.

Услышав эти имена, мистер Доррит нахмурился, взглянул на нее, снова нахмурился, нерешительно поиграл пальцами около губ, как делал это много лет назад, и сказал:

— Сделайте милость, кха… объясните мне цель вашего посещения, сударыня.

— Мистер Доррит, с вашей стороны очень любезно позволить мне это, и меня нисколько не удивляет такая любезность, потому что я замечаю сходство — конечно, вы гораздо важнее и полнее, — но все-таки сходство, цель моего вторжения ни одной душе не известна, тем более Артуру, — пожалуйста, извините, «Дойсу и Кленнэму», то есть, собственно говоря, мистеру Кленнэму, — так как для того, чтобы избавить

этого человека, прикованного золотыми цепями к той розовой эпохе, когда все передо мной плавало в небесном эфире, от малейшей неприятности, я не пожалею и королевского выкупа, то есть, положим, я и понятия не имею, сколько составляет такой выкуп, но во всяком случае отдам все, что у меня есть, и даже более.

Мистер Доррит, очевидно не придавая особенного значения искренности этого последнего заявления, повторил:

— Объясните цель вашего посещения, сударыня!

— Конечно, — продолжала Флора, — это не совсем вероятно, но все-таки возможно, и так как это возможно, то, прочитав в газетах, что вы приехали из Италии и возвращаетесь туда же, я и решила попытаться, так как вы можете встретить его или услыхать о нем, а это было бы истинное благодеяние и облегчение для всех.

— Позвольте вас спросить, сударыня, — воскликнул мистер Доррит, у которого в голове все перепуталось, теряя терпение, — о ком… кха… о ком говорите вы в настоящую минуту?

— Об иностранце из Италии, который внезапно исчез из Сити, о чем вы, конечно, читали в газетах, как и я, не говоря об известиях из частного

источника по имени Панкс, которые показывают, на какую чудовищную и возмутительную клевету способны иные люди, вероятно судящие о других по себе, и в каком негодовании Артур… вечно забываюсь, «Дойс и Кленнэм».

К счастью, так как это дало возможность добиться хоть какого-нибудь толку, мистер Доррит ничего не читал об этом происшествии. Это побудило миссис Финчинг, рассыпаясь в извинениях по поводу трудности найти свой собственный карман в складках платья, вытащить полицейское объявление, извещавшее, что джентльмен, иностранец по имени Бландуа, недавно приехавший из Венеции, исчез необъяснимым образом вечером такого-то числа, в такой-то части Лондона; что его видели в последний раз, когда он входил в один дом в таком-то часу вечера; что, по словам обитателей этого дома, он оставил его за столько-то минут до полуночи и что с тех пор его не видали больше.

Все это, равно как и подробное описание наружности джентльмена, скрывшегося так таинственно, мистер Доррит прочел от доски до доски.

— Бландуа! — сказал он. — Венеция! И это описание! Я знаю этого джентльмена. Он был в моем

доме. Он близкий приятель одного джентльмена хорошей фамилии (это, впрочем, неважно), которому я… хм… протежирую.

— В таком случае я обращусь к вам с покорнейшей и убедительнейшей просьбой, — сказала Флора. — Когда будете ехать обратно, пожалуйста, высматривайте этого джентльмена по всем дорогам и по всем закоулкам и расспрашивайте о нем во всех гостиницах, и виноградниках, и вулканах, и апельсинных плантациях, и всяких других местах, потому что он должен же где-нибудь находиться, и узнайте, отчего он не приедет и не скажет, где он находится, и не успокоит всех.

— Скажите, пожалуйста, сударыня, — спросил мистер Доррит, взглянув на объявление, — кто такой «Кленнэм и К°»? Здесь упомянуто это имя при описании дома, где видели в последний раз господина Бландуа. Кто это такой? Неужели это тот самый господин, с которым я, хм, имел когда-то… кха… весьма поверхностные и непродолжительные отношения и о котором вы, если не ошибаюсь, упоминали? Это… кха… то самое лицо?

— О нет, это совсем другое лицо, — ответила Флора, — безногое и на колесиках, и самая суро-

вая из женщин, хотя она его мать.

— У «Кленнэма и К°» есть… хм… мать? — воскликнул мистер Доррит.

— И кроме того, старик…

Мистер Доррит имел такой вид, точно вот-вот сойдет с ума, и, очевидно, не почувствовал облегчения оттого, что миссис Финчинг со свойственной ей живостью принялась описывать галстук мистера Флинтуинча и, не отделяя личности этого джентльмена от личности миссис Кленнэм, назвала его ржавым винтом в гетрах. Этот винегрет из матери, старика, безногой, колесиков, ржавого винта, суровости и гетр до того ошеломляюще подействовал на мистера Доррита, что он представлял собой совершенно жалкое зрелище.

— Но я не задержу вас ни минутки дольше, — пообещала миссис Финчинг, заметив его состояние, хотя решительно не подозревая его причин, — если вы дадите мне слово джентльмена, что на обратном пути в Италию и в самой Италии будете высматривать этого мистера Бландуа во всех углах, и если найдете или услышите о нем, то заставите его вернуться и вывести всех из недоумения.

Пока она говорила, мистер Доррит собрался

с духом настолько, что мог ответить довольно связно, что сочтет это своим долгом. Обрадованная успехом своего посещения, Флора стала прощаться.

— Миллион благодарностей и карточка с моим адресом, — сказала она, — если понадобится сообщить что-нибудь лично. Я не посылаю моего привета милой Крошке, потому что это может показаться неуместным. Какая же, в самом деле, милая Крошка после таких превращений, но только передайте ей, что я и тетка мистера Финчинга желаем ей здоровья и вовсе не думаем, что с нашей стороны есть какая-нибудь заслуга, а совершенно напротив, потому что она делала все, за что бралась, а многие ли из нас поступают так же, не говоря уж о том, что она делала так хорошо, как нельзя лучше, и меня самое можно упрекнуть в том же, потому что, оправившись от удара, причиненного смертью мистера Финчинга, я начала учиться играть на органе, который люблю до безумия, и, стыдно сказать, до сих пор не могу взять верно ни одной ноты. Прощайте!

Когда, проводив гостью до дверей комнаты, мистер Доррит остался один и несколько привел в порядок свои мысли, то убедился, что это посещение пробудило в нем целый рой бессвязных

воспоминаний, решительно не гармонировавших с обедом у мистера Мердля. Поэтому он написал и отправил коротенькую записку с извинением по поводу того, что не будет у него, и велел подать обед к себе в номер. Была у него и другая побудительная причина. Ему оставалось уже недолго пробыть в Лондоне; все его время было распределено между визитами, все приготовления к отъезду закончены, а между тем он полагал, что положение обязывает его навести справки об исчезновении Бландуа и сообщить мистеру Генри Гоуэну результат своих личных розысков. Итак, он решил воспользоваться свободным вечером и съездить к «Кленнэму и К°», адрес которых был указан в полицейском объявлении.

Пообедав настолько просто, насколько могли допустить отель и проводник, и вздремнув немножко перед камином, чтобы окончательно оправиться от посещения миссис Финчинг, он отправился один в наемном кабриолете. Колокол Святого Павла прозвонил десять, когда он проезжал в тени Темпл-бара, утратившего свои украшения из человеческих голов в нашу выродившуюся эпоху.

Когда он приближался к месту своего назна-

чения по глухим переулкам и набережным, эта часть Лондона показалась ему еще безобразнее, чем рисовалась в его воспоминаниях. Много лет прошло с тех пор, как он видел ее в последний раз; он никогда не знал хорошо этой местности, и она показалась ему какой-то зловещей и таинственной. Впечатление было до того тягостно, что, когда кучер после многократных расспросов остановился перед воротами, мистер Доррит долго стоял в нерешительности, придерживаясь рукой за дверцу экипажа, почти напуганный мрачным видом здания.

Действительно, в эту ночь оно выглядело еще мрачнее обыкновенного. На стене по обеим сторонам двери было приклеено по объявлению, и, когда лампа, коптившая у подъезда, вспыхивала, по ним пробегали тени, точно тени пальцев, водивших по строчкам. У дома, очевидно, был поставлен караул. Пока мистер Доррит стоял и раздумывал, какой-то человек перешел улицу, а другой вышел откуда-то из темного угла; оба взглянули на него, проходя мимо, и остановились неподалеку.

Так как во дворе находился только один дом, то колебаться было нечего. Мистер Доррит подошел к подъезду и постучал. В двух окнах первого

этажа виднелся слабый свет. Удары молотка раздались глухо и гулко, точно дом был пуст, но свет и шаги, послышавшиеся почти в ту же минуту, доказывали противное. Свет и шаги приближались к дверям, загремела цепочка, дверь приотворилась, и появившаяся на пороге женщина с закинутым на голову передником спросила:

— Кто там?

Мистер Доррит, изумленный этим явлением, ответил, что он приехал из Италии и желает разузнать об исчезнувшем господине, с которым знаком.

— Ай! — крикнула женщина хриплым голосом. — Иеремия!

На этот крик появился сухой старик, в котором мистер Доррит узнал по гетрам «ржавый винт». Женщина, очевидно, боялась этого старика, так как при его приближении сдернула с головы передник и открыла бледное испуганное лицо.

— Отвори же дверь, дура, — сказал старик, — и впусти джентльмена.

Мистер Доррит, бросив нерешительный взгляд через плечо на своего кучера и кабриолет, вошел в темную прихожую.

— Ну, сэр, — сказал мистер Флинтуинч, — можете спрашивать о чем угодно, у нас нет секретов,

сэр.

Не успел мистер Доррит ответить, как сверху раздался суровый и громкий, хотя очевидно женский голос:

— Кто там?

— Кто там? — повторил Иеремия. — Опять за справками. Джентльмен из Италии.

— Приведите его сюда.

Мистер Флинтуинч что-то пробормотал, по-видимому, не одобряя ее требования, но все-таки сказал, повернувшись к мистеру Дорриту:

— Миссис Кленнэм. Если захочет, она все сделает по-своему. Я вас провожу.

Он пошел вперед по закоптелой лестнице, а мистер Доррит последовал за ним, беспокойно оглядываясь на женщину, которая тоже отправилась с ними, опять закинув передник на голову.

Миссис Кленнэм сидела перед раскрытой книгой за маленьким столиком.

— О, — сказала она отрывисто, устремив на посетителя пристальный взгляд. — Вы из Италии, сэр, да? Ну и что же?

Мистер Доррит не нашелся что сказать, поэтому повторил:

— Кха… Ну и что же?

— Где этот пропавший человек? Вы пришли

сообщить нам, где он находится? Надеюсь, да.

— Напротив, я… пришел за справками.

— К несчастью, мы ничего не знаем о нем. Флинтуинч, покажите этому джентльмену объявление. Дайте ему несколько экземпляров с собой. Посветите ему, пусть прочтет.

Мистер Флинтуинч повиновался, и мистер Доррит снова прочел объявление, как будто не читал его раньше, радуясь случаю собраться с духом и оправиться несколько от смущения, в которое привел его этот дом со своими странными обитателями. Читая, он чувствовал, что глаза миссис Кленнэм и мистера Флинтуинча устремлены на него. Кончив чтение, он убедился, что это чувство не было воображаемым.

— Ну-с, теперь вы знаете столько же, сколько и мы, сэр, — сказала миссис Кленнэм. — Мистер Бландуа — ваш друг?

— Нет… хм… просто знакомый, — ответил мистер Доррит.

— Может быть, вы явились от него с каким-нибудь поручением?

— Я… кха… Вовсе нет.

Ее пытливый взгляд мало-помалу опустился к полу, скользнув по лицу мистера Флинтуинча. Мистер Доррит, несколько смущенный тем, что

ему пришлось оказаться в роли допрашиваемого вместо того, чтобы спрашивать самому, изменил это неожиданное распределение ролей:

— Я… кха… джентльмен с независимым состоянием и в настоящее время проживаю в Италии с моим семейством, моей прислугой, моим… хм… довольно обширным домом. Приехав в Лондон на короткое время… кха… по делам и услышав об этом странном исчезновении, я решился разузнать обстоятельства дела из первых рук, так как… кха… хм… у меня есть знакомый в Италии, английский джентльмен, с которым я, без сомнения, увижусь по возвращении в эту страну и который находился в близких и тесных отношениях с господином Бландуа. Мистер Генри Гоуэн. Вы, может быть, слышали эту фамилию?

— Никогда не слыхала.

Мистер Флинтуинч повторил те же слова вслед за миссис Кленнэм.

— Желая сообщить ему… кха… по возможности точные и обстоятельные сведения об этом господине, — продолжил мистер Доррит, — я попрошу позволения предложить вам… три вопроса.

— Тридцать, если угодно.

— Вы давно знакомы с господином Бландуа?

— Не более года. Мистер Флинтуинч справит-

ся в книгах и сообщит вам, когда и от кого он явился к нам из Парижа, если вы можете извлечь что-нибудь из этих сведений. Нам они ничего не говорят.

— Вы часто виделись с ним?

— Нет. Дважды. Один раз раньше и…

— Один раз потом, — подсказал мистер Флинтуинч.

— Могу я спросить, сударыня, — продолжил мистер Доррит, понемногу возвращаясь к своей внушительности и проникаясь сознанием своей важной роли чуть ли не охранителя общественного спокойствия, — могу я спросить, сударыня, в интересах джентльмена, которому я имею честь… кха… оказывать поддержку, или протежировать, или, скажем просто, с которым я… хм… знаком… господин Бландуа был здесь по делу в день, указанный в этом печатном листке?

— По делу, то есть он называл это делом, — ответила миссис Кленнэм.

— Вы можете… кха… виноват… сообщить мне, в чем оно заключалось?

— Нет.

Очевидно, этот ответ был барьером, за который не следовало переходить.

— Нам уже предлагали этот вопрос, — продол-

жила миссис Кленнэм, — и мы ответили: «Нет». Мы не желаем разглашать на весь город наши торговые операции, как бы они ни были ничтожны. Мы сказали: «Нет».

— Я, собственно, хотел спросить, не получил ли он каких-нибудь денег, — сказал мистер Доррит.

— От нас он ничего не получил, сэр, и нам ничего не оставил.

— Я полагаю, — сказал мистер Доррит, переводя взгляд с миссис Кленнэм на мистера Флинтуинча и с мистера Флинтуинча на миссис Кленнэм, — что вы не можете объяснить себе это таинственное исчезновение?

— Почему вы так полагаете? — возразила миссис Кленнэм.

Озадаченный холодным и резким тоном этого ответа, мистер Доррит не мог объяснить, почему он так полагал.

— Я объясняю это, сэр, — продолжила она после неловкого молчания со стороны мистера Доррита, — тем, что он отправился в путешествие или нашел нужным скрыться где-нибудь.

— Вы не знаете… кха… какая причина могла заставить его скрыться?

— Нет.

Это «нет» было сказано таким же тоном, как

первое, и являлось новым барьером.

— Вы спросили меня, как я объясняю себе это исчезновение, — продолжила миссис Кленнэм, — себе, а не вам. Я не берусь объяснить его вам, сэр. Я полагаю, что с моей стороны так же неосновательно навязывать вам мои объяснения, как с вашей — требовать их.

Мистер Доррит наклонил голову в знак извинения. Отступив немного и собираясь заявить, что не имеет более вопросов, он не мог не заметить, как угрюмо и неподвижно она сидела, устремив глаза в пол и как будто выжидая чего-то. Точь-в-точь такое же выражение заметил он у мистера Флинтуинча, который стоял около ее кресла, тоже уставившись на пол и почесывая подбородок правой рукой.

В эту минуту миссис Эффри уронила подсвечник и воскликнула:

— Опять, боже мой, опять! Слушай, Иеремия, вот!

Может, и был какой-нибудь легкий звук, который она расслышала по своей привычке прислушиваться ко всяким звукам. Впрочем, и мистеру Дорриту послышался как бы шум падающих листьев. Испуг женщины, по-видимому, на мгновение сообщился и им, так как все трое

прислушались.

Мистер Флинтуинч первый опомнился.

— Эффри, жена, — сказал он, пододвигаясь к ней, стиснув кулаки, дрожавшие от нетерпеливого желания вцепиться в нее, — ты опять за свои штуки. Опять ты бредишь наяву и разыгрываешь старые комедии. Тебе нужно лекарство! Дай только проводить этого джентльмена, и тогда я закачу тебе порцию, ха-арошую порцию!

По-видимому, это обещание вовсе не утешило миссис Флинтуинч, но Иеремия, не упоминая больше о своем лекарстве, взял другую свечку со столика миссис Кленнэм и сказал:

— Я вам посвечу, сэр.

Мистер Доррит поблагодарил и отправился вниз. Мистер Флинтуинч выпроводил его и заложил цепочку, не теряя ни минуты. На улице мистер Доррит снова заметил двух человек, которые прошли мимо него навстречу друг другу, уселся в экипаж и уехал.

Отъехав немного, кучер сообщил ему, что, по требованию караульных, сказал им свое имя, номер и адрес, а также, где и когда его наняли и по какой дороге он ехал. Это обстоятельство только усилило тягостное впечатление, произведенное на мистера Доррита всем этим приключением, —

впечатление, от которого он не мог отделаться ни сидя перед камином в своем номере, ни позднее, когда улегся спать. Всю ночь он блуждал по мрачному дому, видел его хозяев, застывших в угрюмом ожидании, слышал крик женщины, закрывавшей лицо передником и пугавшейся каких-то звуков, и натыкался на труп исчезнувшего Бландуа, то зарытый в погребе, то замурованный в стене.

Глава XVIII. Воздушный замок

Богатство связано с самыми разнообразными заботами. Удовольствие мистера Доррита при мысли, что ему не пришлось называть себя у «Кленнэма и К°» или упоминать о своем знакомстве с одним назойливым господином, носившим ту же фамилию, быстро испарилось вследствие внутренней борьбы, которая возникла в нем на обратном пути. Он спрашивал себя, следует ли ему проехать мимо Маршалси и взглянуть на старые ворота. Наконец он решил, что не поедет, и удивил кучера, набросившись на него с бранью за предложение ехать через Лондонский мост, а потом через мост Ватерлоо, потому что пришлось бы проехать мимо самой тюрьмы. Как бы то ни было, эта внутренняя борьба не унялась, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Даже за обедом у Мердля, на другой день, он никак не мог отделаться от этого мучительного вопроса и часто задумывался над ним, что было совершенно неприлично ввиду окружавшего его блестящего общества. Его бросало в жар при мысли, что бы подумал главный дворецкий, если бы тяжелые взоры этой великолепной персоны могли про-

никнуть в водоворот его мыслей.

Прощальный банкет отличался пышностью и завершал пребывание мистера Доррита в Лондоне самым блистательным образом. Фанни соединяла с чарами юности и красоты такое внушительное самообладание, точно уже лет двадцать была замужем. Мистер Доррит чувствовал, что может положиться на нее, что она будет достойно занимать свое высокое положение, и желал только, чтобы младшая сестра походила на нее, не забывая, впрочем, о скромных достоинствах своей любимицы.

— Душа моя, — сказал он, прощаясь с Фанни, — наша семья надеется, что ты поддержишь… кха… ее достоинство и… хм… не уронишь ее значения. Я знаю, что нам не придется разочароваться в этих надеждах.

— Нет, папа, — ответила Фанни, — вы можете положиться на меня. Передайте Эми мой сердечный привет и скажите, что я вскоре напишу ей.

— Быть может, ты дашь мне поручение… кха… еще к кому-нибудь? — спросил мистер Доррит вкрадчивым тоном.

— Нет, папа, — ответила Фанни, которой сейчас же вспомнилась миссис Дженераль, — благодарю вас. Вы очень любезны, папа, но извините меня.

У меня нет никакого другого поручения, дорогой папа, которое вам приятно было бы передать.

Они прощались в гостиной около передней; единственным свидетелем этого прощания был мистер Спарклер, терпеливо поджидавший своей очереди пожать руку тестю. Когда мистер Спарклер был допущен к этой прощальной церемонии, в комнату пробрался мистер Мердль, руки которого совершенно исчезли в рукавах, и объявил, что намерен проводить мистера Доррита вниз.

Несмотря на все протесты мистера Доррита, великий человек оказал ему эту высокую честь и проводил его до самого подъезда, где они и простились, причем мистер Доррит заявил, что он буквально подавлен вниманием и любезностью мистера Мердля. Затем он уселся в карету, в полном восторге и ничуть не сожалея о том, что проводник, тоже прощавшийся где-то в более низких сферах, был свидетелем его величественного отъезда.

Он еще находился под впечатлением этого величия, когда карета остановилась у подъезда отеля. Проводник и полдюжины лакеев помогли ему выйти; с величаво-благодушным видом вступил он в переднюю и вдруг… замер на месте, немой и неподвижный. Перед ним стоял Джон

Чивери, в своей парадной паре, с цилиндром под мышкой, со знаменитой тросточкой, изящно стеснявшей его движения, и с пачкой сигар в руке.

— Ну-с, молодой человек, — сказал швейцар, — вот и джентльмен. Этот молодой человек во что бы то ни стало хотел дождаться вас, сэр, уверяя, что вы будете рады его видеть.

Мистер Доррит грозно взглянул на молодого человека, поперхнулся и сказал самым кротким тоном:

— А, юный Джон! Кажется, я не ошибаюсь, это юный Джон?

— Да, сэр, — ответил Джон.

— Я так и думал, что это юный Джон! — сказал мистер Доррит. — Этот молодой человек может войти, — прибавил он, обращаясь к своей свите, — о да, может войти. Пропустите юного Джона, я хочу поговорить с ним.

Джон последовал за ним с сияющей улыбкой. Они вошли в номер мистера Доррита. Слуги зажгли свечи и удалились.

— Ну-с, сэр, — сказал мистер Доррит, внезапно поворачиваясь к нему и ухватив его за шиворот, — это что значит?

Изумление и ужас на лице злополучного Джона, который ожидал скорее объятий, были так

выразительны, что мистер Доррит отнял руку и только посмотрел на него гневными глазами.

— Как вы смеете? Как вы осмелились прийти сюда? Как вы смеете оскорблять меня?

— Я — оскорблять вас, сэр? — взмолился юный Джон. — О!

— Да, сэр, — подтвердил мистер Доррит, — оскорблять меня. Ваше посещение — оскорбление, дерзость, наглость. Вас здесь не требуется. Кто вас прислал сюда? За каким… кха… чертом вы явились сюда?

— Я думал, сэр, — пролепетал юный Джон с таким бледным и расстроенным лицом, какого мистеру Дорриту еще не приходилось видеть даже в коллегии, — я думал, сэр, что вы, может быть, не откажетесь принять пачку…

— Черт бы побрал вашу пачку, сэр! — крикнул мистер Доррит с неудержимым бешенством. — Я… кха… не курю.

— Простите, пожалуйста, сэр. Прежде вы курили.

— Скажите это еще раз, — крикнул мистер Доррит вне себя, — и я огрею вас кочергой!

Юный Джон попятился к двери.

— Стойте, сэр! — закричал мистер Доррит. — Стойте! Садитесь! Садитесь же, черт вас побери!

Юный Джон опустился на ближайший к двери стул, а мистер Доррит прошелся взад и вперед по комнате: сначала быстро, потом тише, затем он подошел к окну и прижался лицом к стеклу, а потом, внезапно обернувшись, спросил:

— С какой целью вы явились сюда, сэр?

— Без всякой цели, сэр! Боже мой! Я только хотел узнать, сэр, здоровы ли вы и здорова ли мисс Эми.

— Какое вам дело до этого, сэр? — воскликнул мистер Доррит.

— Никакого, сэр, вы совершенно правы. Я никогда не забывал, какое огромное расстояние между нами. Я знаю, что это вольность с моей стороны, сэр, но никак не думал, что вы так ее примете. Честное слово, сэр, — проговорил юный Джон с глубоким волнением, — я беден, но настолько горд, что не пришел бы сюда, если бы мог это предвидеть.

Мистер Доррит, явно пристыженный, повернулся к окну и простоял несколько минут, прижавшись лбом к стеклу, а когда обернулся, в руках у него был платок, которым он вытирал глаза, и выглядел он усталым и больным.

— Юный Джон, мне очень жаль, что я так вспылил, но… кха… бывают тяжелые воспоминания

и… хм… вам не следовало приходить.

— Я и сам это вижу, сэр, — кивнул Джон Чиверри, — но я не сообразил раньше и, видит бог, не хотел оскорбить вас, сэр.

— Нет-нет, — сказал мистер Доррит, — я… хм… уверен в этом. Кха… дайте мне вашу руку, юный Джон, дайте мне вашу руку!

Юный Джон подал свою руку, но мистер Доррит поразил его в самое сердце, и лицо его оставалось бледным и расстроенным.

— Так! — сказал мистер Доррит, пожав ему руку. — Садитесь, юный Джон.

— Благодарю вас, сэр, я лучше постою.

Мистер Доррит сел вместо него, схватился за голову, словно она болела и, помолчав немного, сказал, стараясь быть любезным:

— Как поживает ваш отец, юный Джон? Как… кха… как они все там поживают, юный Джон?

— Благодарю вас, сэр. Ничего, помаленьку, сэр. Никто не жалуется.

— Хм… вы, как я вижу, по-прежнему занимаетесь… кха… торговлей, Джон? — продолжил мистер Доррит, взглянув на оскорбительную пачку, которую только что посылал к черту.

— Отчасти, сэр. Я тоже, — Джон слегка запнулся, — помогаю отцу.

— О, в самом деле? — сказал мистер Доррит. — Значит, вы… кха… состоите при… кха…

— При сторожке, сэр? Да, сэр.

— Много работы, Джон?

— Да, сэр, порядочно. Не знаю почему, но у нас вообще порядочно работы.

— В это время года, юный Джон?

— Во все времена года, сэр. Я не замечал разницы. Прощайте, сэр.

— Постойте минутку, Джон… кха… постойте минутку… кха… оставьте мне сигары, Джон… кха… прошу вас.

— Охотно, сэр.

Джон положил их на стол дрожащей рукой.

— Постойте минутку, Джон, постойте еще минутку. Мне… кха… было бы приятно переслать небольшой… хм… подарок через такого надежного посредника, с тем чтобы он был разделен… кха… хм… между ними… между ними… сообразно их нуждам. Вы не откажетесь исполнить это поручение, Джон?

— Конечно, сэр. Я знаю, что многие из них очень нуждаются.

— Благодарю вас, Джон. Я… кха… сейчас напишу, Джон.

Руки его так дрожали, что он долго не мог ни-

чего написать, наконец кое-как нацарапал. Это был чек на сто фунтов. Он сложил его, вложил в ладонь юного Джона и пожал ему руку.

— Надеюсь, вы… кха… забудете… хм… о том, что здесь произошло, Джон?

— Не говорите об этом, сэр. Я ничуть не в претензии, сэр.

Однако ничто не могло вернуть физиономии юного Джона ее естественный цвет и выражение.

— Надеюсь также, Джон, — прибавил мистер Доррит, в последний раз пожимая ему руку и выпуская ее, — надеюсь, что… кха… все это останется между нами и что, уходя отсюда, вы не скажете никому из здешних… хм… где я… кха… в прежнее время…

— О, будьте покойны, сэр, — заверил его Джон Чивери. — Я жалкий бедняк, сэр, но слишком горд и честен, чтобы дойти до этого, сэр.

Мистер Доррит не был настолько горд и честен, чтобы не подслушивать у дверей, действительно ли Джон ушел немедленно или остановился поговорить с кем-нибудь. Сомнения не было: он быстрыми шагами спустился по лестнице и вышел на улицу. Примерно через час мистер Доррит позвал проводника, который застал его в кресле

перед камином, лицом к огню.

— Можете взять себе эту пачку сигар, — сказал мистер Доррит, указывая на нее небрежным жестом и не оборачиваясь. — Это принес мне… кха… в подарок… хм… сын одного из моих старых арендаторов.

Солнце следующего дня застало экипаж мистера Доррита на Дуврской дороге, где каждый почтальон в красной куртке являлся вестником жестокого учреждения, основанного в целях беспощадного грабежа путешественников. Так как этот грабеж составляет единственное занятие населения между Лондоном и Дувром, мистер Доррит был ограблен в Дортфорде, обобран в Грейвзенде, обворован в Рочестере, ощипан в Ситтингборне и острижен в Кентербери.

Как бы то ни было, проводник, обязанный выручать его из рук бандитов, выкупал мистера Доррита при каждой остановке, и красные куртки отправлялись вперед, выделяясь яркими пятнами на фоне весеннего ландшафта, между мистером Дорритом в его уютном уголке и ближайшим меловым холмом на пыльной дороге.

Солнце следующего дня застало его в Кале. Теперь, оставив Ла-Манш между собой и Джоном Чивери, он начал собираться с духом и находить,

что заграничным воздухом дышать гораздо легче, чем английским.

Снова потянулись тяжелые французские дороги по направлению к Парижу. Совершенно оправившись, мистер Доррит, сидя в своем уютном углу, принялся строить воздушный замок. По его лицу было видно, что он воздвигает громадное здание. Целый день он строил башни, разрушал их, здесь пристраивал флигель, там выводил зубцы, исправлял стены, укреплял бойницы, украшал внутренние покои — словом, воздвигал нечто во всех отношениях великолепное. Его озабоченное лицо так ясно выдавало внутреннюю работу мысли, что каждый калека на почтовой станции, исключая слепых, совавший в окно кареты жестяную кружку с просьбой о милостыне во имя Богородицы и во имя всех святых, очень хорошо знал, о чем он думает, как узнал бы это их соотечественник Лебрен [91], если бы сделал этого английского путешественника предметом специального физиономического исследования.

Приехав в Париж и остановившись здесь на трое суток, мистер Доррит часто бродил один по улицам, рассматривая витрины лавок, особенно

---

[91] Сноски: 91

Лебрен Шарль (1619–1690) — французский художник классического направления, автор картин на исторические темы.

ювелирных. В конце концов он зашел в магазин самого знаменитого ювелира и сказал, что желает купить маленький подарок для дамы.

Он сказал это очаровательной маленькой женщине, веселой, как день, одетой с безукоризненным вкусом, появившейся из зеленой бархатной ниши с изящной маленькой книжечкой, о которой никто бы не подумал, что в ней можно записывать какие-нибудь коммерческие счета, кроме разве счета поцелуев. Эту книжечку она положила на изящнейшую маленькую конторку вроде бонбоньерки.

— Какого рода подарок желает сделать мсье? — спросила она. — Быть может, любовный подарок?

Мистер Доррит усмехнулся и сказал:

— Что ж, может быть! Как знать? Это всегда возможно: прекрасный пол так очарователен. Не можете ли показать что-нибудь в этом роде?

— С величайшим удовольствием, — сказала маленькая женщина. — Мне очень приятно показать вам все, что у нас есть. Но, pardon! Прежде всего я прошу мсье заметить, что есть любовные подарки и есть подарки свадебные. Вот, например, эти восхитительные серьги и это пышное ожерелье могут быть названы любов-

ным подарком, а эти брошки и эти кольца такой изысканной, небесной красоты — это, с позволения мсье, подарки свадебные.

— Не лучше ли, — заметил мистер Доррит улыбаясь, — купить и то и другое, чтобы начать с любовного подарка, а закончить свадебным?

— О небо! — воскликнула маленькая женщина, складывая свои маленькие ручки. — Вот истинно рыцарская любезность! Без сомнения, дама, осыпанная такими подарками, найдет их неотразимыми.

Мистер Доррит не был уверен в этом. Но веселая маленькая женщина была совершенно уверена. Итак, мистер Доррит купил подарки обоих родов и заплатил за них кругленькую сумму.

Затем он отправился в отель, гордо подняв голову; без сомнения, к этому времени его воздушный замок далеко превзошел по высоте две квадратные башни собора Парижской Богоматери.

Продолжая свою постройку, но сохраняя в тайниках души ее план, мистер Доррит выехал в Марсель. Он строил и строил изо всех сил, с утра до ночи. Засыпая, он оставлял огромные глыбы строительного материала висящими в воздухе; пробуждаясь, принимался за работу и размещал их на места. Тем временем проводник, сидя на

заднем сиденье, покуривал лучшие сигары Джона Чивери, оставляя за собой легкую струйку дыма, и, быть может, тоже строил свои маленькие замки на деньги мистера Доррита.

Ни одна крепость, попавшаяся им на пути, не была так крепка, ни один собор так высок, как замок мистера Доррита. Воды Соны и Роны струились не так быстро, как подвигалась вперед его постройка; Средиземное море было не так глубоко, как фундамент этого замка; холмы и залив пышной Генуи не могли сравняться с ним красотой. Мистер Доррит и его несравненный замок высадились с парохода среди грязных белых домов и еще грязнейших жуликов Чивитавеккьи, а отсюда потащились в Рим по самой грязной из дорог.

Глава XIX. Крушение воздушного замка

Прошло уже добрых четыре часа после захода солнца, и редкий путешественник согласился бы очутиться в такую позднюю пору за пределами Рима, когда карета мистера Доррита, еще не окончившая своего последнего утомительного переезда, катилась по пустынной Кампанье. Полудикие пастухи и угрюмые крестьяне, оживлявшие дорогу днем, исчезли с наступлением ночи, и кругом не было видно ни души. Иногда на поворотах мелькало на горизонте бледное зарево, точно испарение этой усеянной развалинами пустыни, показывавшее, что город еще далеко, но оно появлялось лишь изредка и на самое короткое время. Карета снова погружалась в мрачное каменное море, и ничего не было видно, кроме его окаменевших волн и хмурого неба.

Мистер Доррит, хотя и занятый постройкой замка, чувствовал себя довольно скверно в этой пустыне. При каждом толчке, при каждом крике кучера он тревожился сильнее, чем за весь путь с момента отъезда из Лондона. Слуга на козлах,

очевидно, трусил. Проводник на запятках был не в своей тарелке. Всякий раз, когда мистер Доррит опускал стекло и смотрел на проводника (что случалось очень часто), он видел, что тот хоть и покуривает с беззаботным видом сигару Джона Чивери, но в то же время зорко оглядывается по сторонам, как человек, подозревающий недоброе. Мистер Доррит поднимал окно и думал, что у возниц самые разбойничьи физиономии и что лучше бы ему было переночевать в Чивитавеккье, а утром тронуться дальше. Но при всем том он продолжал заниматься постройкой своего замка.

Наконец развалившиеся изгороди, зияющие отверстия окон, ветхие стены, заброшенные дома, пересохшие колодцы, изломанные водоемы, кипарисы, подобные призракам, группы перепутанных виноградных кустов, дорога, превратившаяся в узкую извилистую неправильную улицу — где все от невзрачных построек до тряской мостовой грозило разрушением, — возвестили о близости Рима. Внезапный толчок и остановка экипажа внушили мистеру Дорриту мысль, что разбойники решились, наконец, ограбить его и выбросить в ров, но, опустив окно и выглянув наружу, он убедился, что карета попро-

сту задержана похоронной процессией, которая переходила улицу с монотонным пением. Тускло мерцавшие факелы озаряли неясным светом грязные облачения, раскачивавшиеся кадила и большой крест перед священником. Странно выглядел этот священник при свете факелов: угрюмый, с нахмуренным лбом, он встретился глазами с мистером Дорритом, и губы его, продолжавшие тянуть псалом, точно угрожали важному путешественнику, а движение руки, которым он ответил на поклон мистера Доррита, подчеркивало эту угрозу. Так, по крайней мере, казалось мистеру Дорриту, воображение которого разыгралось под влиянием путешествия и постройки замка. Между тем священник прошел мимо, и процессия удалилась своим путем, унося с собой своего мертвеца. Компания мистера Доррита тоже двинулась своим путем, увозя с собой предметы роскоши из двух великих столиц Европы, и вскоре вступила в ворота Рима.

Мистера Доррита не ожидали в эту ночь. Его ждали, но только завтра, так как не думали, что он решится выехать в такую позднюю пору, поэтому, когда экипаж остановился у ворот, никто, кроме привратника, не вышел навстречу.

— Разве мисс Доррит нет дома? — спросил он.

— Как же! Она дома.

— Хорошо, — сказал мистер Доррит собравшимся слугам, — не нужно меня провожать: лучше помогите разгрузить карету, я сам пройду к мисс Доррит.

Он тихонько поднялся по большой лестнице, заглядывая в пустые комнаты, пока не заметил в одной из них свет. Это была комнатенка, задрапированная занавесками в виде палатки, меж двух больших залов. Она казалась ему такой теплой и уютной, пока он приближался к ней по темному коридору.

Здесь не было двери, только занавески. Он остановился перед ней, и что-то кольнуло его в сердце. Странное чувство, вроде ревности. Но, конечно, не ревность. С какой стати — ревность? Там были только его дочь и его брат: он грелся у камина, в кресле, она вышивала за маленьким столиком. При громадном различии в обстановке картины фигуры оставались прежними: братья так походили друг на друга, что мистер Фредерик мог сойти за Уильяма. Так он сам сиживал когда-то по вечерам перед тлеющими углями; так сидела она, ухаживая за ним.

Но, конечно, ничего завидного не могло быть в старой гнусной нищете. Откуда же в таком случае

эта боль в сердце?

— Знаете, дядя, вы, право, помолодели.

Дядя покачал головой и сказал:

— С каких это пор, милочка, с каких это пор?

— По-моему, — возразила Крошка Доррит, работая иголкой, — вы положительно молодеете в последнее время. Вы стали такой веселый, бодрый, деятельный.

— Все ты, милое дитя!

— Все я, дядя?

— Да-да. Ты так балуешь меня. Так внимательна ко мне, так ласкова со мной, так деликатно стараешься скрыть свои заботы, что я… ну-ну-ну! Это тебе зачтется, милочка, зачтется!

— Все это только ваша фантазия, дядя, — сказала Крошка Доррит, смеясь.

— Ну-ну-ну, — пробормотал старик. — Слава богу!

Она на минутку оторвалась от работы, чтобы взглянуть на него, и этот взгляд растравил боль в сердце ее отца, в бедном слабом сердце, полном противоречий, колебаний, несообразностей, мелких ребяческих тревог, тумана, который мог рассеяться только с наступлением вечного утра.

— Мне так легко с тобой, голубка, — сказал старик, — с тех пор как мы остались одни. Я говорю

— одни, так как миссис Дженераль не идет в счет: мне до нее, а ей до меня нет дела. Но Фанни была недовольна мной. Я не удивляюсь этому и не жалуюсь; я сам чувствую, что должен раздражать ее, хоть и стараюсь всегда держаться где-нибудь подальше. Я не под стать общей компании. Мой брат Уильям, — прибавил старик тоном восторженного удивления, — мог бы вести знакомство с монархами, но не твой дядя, милочка: Фредерик Доррит может только компрометировать Уильяма Доррита и отлично понимает это.

Повернув голову во время разговора, он увидел брата, стоявшего в дверях.

— Ах да: здесь твой отец, Эми! Милый Уильям, добро пожаловать! Я рад тебя видеть, дорогой брат!

Крошка Доррит с радостным криком обвила руками шею отца и осыпала его поцелуями. Отец был немножко не в духе и немножко сварлив.

— Я рад, что нашел тебя наконец, Эми. Кха… право, рад, что нашел… хм… хоть кого-нибудь наконец. Кажется, меня… кха… вовсе не ждали, и, право, я начинаю… хм… начинаю думать, что мне следует извиниться… кха… что я позволил себе приехать.

— Мы не ждали тебя так поздно, дорогой Уи-

льям, — сказал его брат, — мы думали, что ты приедешь завтра.

— Я покрепче тебя, милый Фредерик, — возразил приезжий, скрывая суровость под видом братской нежности, — и, кажется, могу путешествовать без вреда для здоровья в какой угодно час дня.

— Конечно, конечно, — подхватил Фредерик со смутным сознанием, что чем-то обидел брата. — Конечно, Уильям.

— Благодарю, Эми, — продолжал мистер Доррит, в то время как она помогала ему снять пальто, — я бы и сам разделся. Я… кха… не хочу утруждать тебя, Эми. Могу я получить кусок хлеба и стакан вина, или… хм… это слишком хлопотливо?

— Дорогой отец, вам сейчас подадут ужин.

— Благодарю, милочка, — сказал мистер Доррит, всей своей фигурой изображая упрек, — я… кха… боюсь, что причиняю слишком много хлопот. Хм… как здоровье миссис Дженераль?

— Миссис Дженераль жаловалась на головную боль и усталость, и потому, когда мы решили, что вы не приедете сегодня, ушла спать.

Может, мистеру Дорриту было приятно, что огорчение по случаю его отсутствия так подей-

ствовало на миссис Дженераль. Во всяком случае, лицо его просветлело, и он сказал с очевидным удовольствием:

— Крайне грустно слышать, что миссис Дженераль нездорова.

В течение этого непродолжительного разговора дочь всматривалась в него с необычайным вниманием. По-видимому, он заметил это и рассердился, так как сказал с новым приливом старческой брюзгливости:

— Что ты так смотришь на меня, Эми? Что такое в моей наружности заставляет тебя так странно… кха… сосредоточивать на мне свое внимание?

— Ничего, отец, простите. Я рада вас видеть, вот и все.

— Не говори «вот и все», потому что… кха… это не все. Тебе… хм… тебе кажется, — продолжал мистер Доррит обличительным тоном, — что у меня болезненный вид?

— Мне кажется, вы немножко утомлены, милый.

— Ты ошибаешься, — возразил мистер Доррит. — Кха… я не утомлен. Кха… хм… я гораздо бодрее, чем был при отъезде.

Видя, что он в раздражительном настроении, она ничего не сказала в свою защиту, но спокой-

но оставалась около него, взяв за руку. Внезапно он впал в тяжелое забытье, но спустя минуту вздрогнул и очнулся.

— Фредерик, — сказал он, обращаясь к брату, — советую тебе идти спать.

— Нет, Уильям, я посижу, пока ты будешь ужинать.

— Фредерик, — повторил мистер Доррит, — я прошу тебя идти спать. Я… кха… лично требую, чтобы ты шел спать. Тебе давно следовало лечь спать, ты такой слабый.

— Ну да! — сказал тот, готовый на все, только бы угодить брату. — Ну-ну-ну, правда, я очень слаб.

— Милый Фредерик, — продолжил мистер Доррит тоном подавляющего превосходства, вызванного упадком сил брата, — в этом не может быть сомнения. Мне грустно видеть тебя таким слабым. Кха… это ужасно огорчает меня. Хм… ты очень нехорошо выглядишь. Подобные вещи тебе не по силам. Ты должен остерегаться, очень остерегаться.

— Так я пойду спать? — спросил Фредерик.

— Да, милый Фредерик, — сказал мистер Доррит, — умоляю тебя! Покойной ночи, брат. Надеюсь, ты будешь бодрее завтра. Мне очень не нравится твой вид. Покойной ночи, дорогой мой.

Отпустив так любезно брата, он снова впал в забытье, прежде чем тот успел выйти из комнаты, и упал бы прямо лицом в камин, если бы дочь не поддержала его.

— Твой дядя впадает в детство, Эми, — сказал он, очнувшись. — Его разговор… кха… несвязен, и язык… хм… заплетается, как… хм… как никогда. Он не был болен в мое отсутствие?

— Нет, отец.

— Ты… кха… замечаешь в нем перемену, Эми?

— Я ничего не заметила, милый.

— Ужасно одряхлел, — сказал мистер Доррит, — ужасно одряхлел. Мой бедный, слабый, чувствительный Фредерик! Кха… Даже в сравнении с тем, чем он был раньше, он… хм… ужасно одряхлел.

Ужин, который подали в эту минуту, отвлек его внимание. Дочь села рядом с ним, как сиживала в былые дни. Она накладывала ему кушанье, наливала вино, как делала это в тюрьме. С тех пор как они получили богатство, это случилось в первый раз. Она старалась не смотреть на него, опасаясь, что он опять рассердится, но заметила, что раза два в течение ужина он взглядывал на нее, а потом озирался по сторонам, как будто хотел увериться, точно ли они не в тюрьме. Оба

раза он хватался за голову, точно ему недоставало старой черной шапочки, хотя она была с презрением брошена в Маршалси и украшала теперь голову его преемника.

Он мало ел, но долго сидел за ужином, то и дело возвращаясь к плачевному состоянию брата. Высказывая глубокое сожаление, он, однако, отзывался о нем почти резко. Он говорил, что бедняга Фредерик… кха… хм… выжил из ума. Да, именно, другого выражения не подберешь: выжил из ума. Бедняжка! Грустно подумать, что Эми должна томиться в его обществе, слушать его несносный лепет; да, бедный, бедный старикашка, несносный лепет! Хорошо еще, что она может отдохнуть в обществе миссис Дженераль.

— Ужасно жаль, — прибавил он с прежним удовольствием, — что эта… кха… превосходная женщина больна.

Крошка Доррит в своей заботливой любви запомнила бы каждое его слово, каждый его жест, если бы даже у нее не было повода вспоминать этот вечер впоследствии. Она помнила, как он озирался кругом под влиянием старых воспоминаний и тотчас же старался отогнать от нее, а может быть, и от себя это впечатление, распространялся о богатом и блестящем обществе,

которое окружало его в Лондоне, и о высоком положении его семьи. Она помнила также, что в его речах, в его рассказах беспрерывно пробивались две противоречивые мысли: с одной стороны, он как будто старался дать ей понять, как отлично обходился без нее; с другой — бессвязно и непоследовательно жаловался на недостаток заботливости с ее стороны.

Рассказывая о пышности мистера Мердля, окруженного целым двором поклонников, он, естественно, вспомнил о миссис Мердль. Настолько естественно, что, хотя его разговор в этот вечер отличался особенной непоследовательностью, к ней он перешел прямо от мистера Мердля и спросил, как она поживает.

— Она здорова. Уезжает на будущей неделе.

— На родину? — спросил мистер Доррит.

— Да, но не прямо, она пробудет в дороге несколько недель.

— Ее отсутствие будет огромной потерей здесь, — сказал мистер Доррит, — а ее присутствие… кха… огромным приобретением на родине. Для Фанни и для… хм… всего… кха… светского общества.

Крошка Доррит подумала о войне, которая начнется по возвращении миссис Мердль на родину,

и очень нерешительно выразила свое согласие.

— Миссис Мердль устраивает большой прощальный обед и вечер. Она очень беспокоилась, вернетесь ли вы вовремя. Она приглашала к обеду нас обоих.

— Она… кха… очень любезна. Когда же?

— Послезавтра.

— Напиши ей утром, что я вернулся и… хм… весьма польщен приглашением.

— Я провожу вас наверх, милый?

— Нет! — ответил он, сердито оглянувшись и тут только заметив, что уходит, не простившись с ней. — Не нужно, Эми. Мне не надо помощи. Я твой отец, а не дядя. Ты забыла поцеловать меня, Эми. Покойной ночи, дорогая моя. Теперь остается только сыграть свадьбу… кха… твою свадьбу.

С этими словами он ушел, медленно и с трудом поднялся в свою комнату и тотчас же отпустил камердинера. Затем он достал свои парижские покупки, открыл футляры, полюбовался на драгоценности и снова закрыл их и спрятал под замок. После этого он забылся не то в дремоте, не то в постройке воздушного замка, и утро уже забрезжило над пустынной Кампаньей, когда он улегся в постель.

На другой день к нему явился в надлежащее

время слуга от миссис Дженераль, которая свидетельствовала мистеру Дорриту свое почтение и выражала надежду, что он хорошо отдохнул после утомительного путешествия. Мистер Доррит, со своей стороны, поручил передать ей поклон и сообщить, что он вполне отдохнул и чувствует себя как нельзя лучше. Тем не менее он не выходил из своих апартаментов до самого обеда, а когда вышел в полном блеске и отдал распоряжение насчет прогулки в экипаже с дочерью и миссис Дженераль, то вид у него был далеко не соответствовавший его словам.

Так как гостей в этот день не было, то они обедали вчетвером. Он подвел миссис Дженераль к ее месту, по правую руку от него, с самым церемонным видом, и Крошка Доррит, следовавшая за ними с дядей, не могла не заметить, что отец был одет очень тщательно и что в его обращении с миссис Дженераль было нечто совсем особенное. Безукоризненная внешность этой образцовой леди не изменилась ни на атом, но Крошке Доррит все-таки показалось, что в глубине ее ледяных глаз сверкают оттаявшие росинки торжества.

Несмотря на персиковый и призмовый, если можно так выразиться, характер этого семейного банкета, мистер Доррит в течение его засыпал

несколько раз. Эти приступы дремоты были так же неожиданны, как и накануне, и так же кратковременны и глубоки. Когда случился первый приступ, миссис Дженераль взглянула почти с удивлением, но при каждом последующем произносила мысленно свое всегдашнее заклинание: «папа, помидор, птица, персики и призмы» и после непродолжительного упражнения научилась произносить эту формулу так медленно, что заканчивала ее как раз в ту минуту, когда он просыпался.

Он снова выразил сожаление по поводу сонливости Фредерика (существовавшей только в его воображении) и после обеда, когда Фредерик удалился, извинился перед миссис Дженераль за этого беднягу.

— Достойнейший человек, любящий брат, — сказал он, — но… кха… хм… совсем опустился. Совсем одряхлел, и как рано!

— Мистер Фредерик, сэр, — согласилась миссис Дженераль, — всегда несколько рассеян и вял, но, будем надеяться, не так плох, как можно думать.

Но мистер Доррит не хотел отпускать его так легко.

— Дряхлеет, сударыня: развалина, руина. Разрушается на наших глазах… Хм… Добрый

Фредерик!

— Надеюсь, миссис Спарклер здорова и счастлива? — спросила миссис Дженераль, испустив равнодушный вздох о мистере Фредерике.

— Она окружена, — ответил мистер Доррит, — кха… всем, что может очаровать чувства и… хм… облагородить ум. Она счастлива, дорогая миссис Дженераль… хм… любовью своего мужа.

Миссис Дженераль слегка смутилась и деликатно отмахнулась перчаткой, как бы отгоняя слово, которое могло завести бог знает куда.

— Фанни, — продолжил мистер Доррит, — Фанни, миссис Дженераль, обладает высокими качествами… кха… честолюбием… хм… сознанием… кха… своего положения, решимостью оставаться на высоте этого положения… кха… хм… грацией, красотой и прирожденным благородством.

— Без сомнения, — заметила миссис Дженераль весьма сухо.

— Наряду с этими качествами, сударыня, — продолжил мистер Доррит, — у Фанни оказался… кха… крупный недостаток, который… хм… огорчил и… кха… должен прибавить, рассердил меня. Но я надеюсь, что теперь этот недостаток не будет проявляться и уж во всяком случае не будет

иметь значения… кха… для других.

— Что вы хотите сказать, мистер Доррит? — спросила миссис Дженераль, перчатки которой снова обнаружили некоторое волнение. — Я, право, не понимаю, на что…

— Не говорите этого, дорогая миссис Дженераль, — перебил мистер Доррит.

— На что вы намекаете? — закончила миссис Дженераль едва слышным голосом. В это время мистер Доррит опять на минуту задремал, но сейчас же очнулся и заговорил с каким-то судорожным оживлением:

— Я намекаю, миссис Дженераль, на… кха… дух противоречия или… хм… смею сказать… кха… ревности со стороны Фанни, проявлявшийся по временам и направленный против… кха… тех чувств, какие я питаю в отношении… хм… достойной… кха… леди, с которой имею честь беседовать в настоящую минуту.

— Мистер Доррит, — возразила миссис Дженераль, — всегда слишком любезен, слишком снисходителен. Если и бывали минуты, когда мне казалось, что мисс Доррит относится с раздражением к благосклонному мнению, которое мистеру Дорриту угодно было составить себе о моих услугах, то я всегда находила утешение и

вознаграждение в этом, конечно, слишком высоком мнении.

— Высоком мнении о ваших услугах, сударыня? — спросил мистер Доррит.

— О моих услугах, — повторила миссис Дженераль с выразительной грацией.

— Только о ваших услугах, дорогая миссис Дженераль? — настаивал мистер Доррит.

— Я полагаю, — возразила миссис Дженераль тем же выразительным тоном, — только о моих услугах. Так чему же другому, — продолжила она с легким вопросительным движением перчаток, — могла бы я приписать…

— Вам… кха… вам самим, миссис Дженераль… кха… хм… вам и вашим достоинствам, — ответил мистер Доррит.

— Мистер Доррит извинит меня, — сказала миссис Дженераль, — если я замечу, что время и место не допускают продолжения настоящего разговора. Мистер Доррит не осудит меня, если я замечу, что мисс Доррит находится в соседней комнате и я вижу ее в настоящую минуту. Мистер Доррит не рассердится на меня, если я замечу, что чувствую себя взволнованной и что бывают минуты, когда человеческие слабости, от которых я уже считала себя застрахованной, овладевают

мной с удвоенной силой. Мистер Доррит позволит мне удалиться.

— Хм… быть может, мы возобновим этот… кха… интересный разговор в другое время, — сказал мистер Доррит, — если только, как я надеюсь, он не… хм… не неприятен для… кха… для миссис Дженераль.

— Мистер Доррит, — ответила миссис Дженераль, вставая и опуская глаза, — может рассчитывать на мою преданность и уважение.

Затем миссис Дженераль удалилась с обычной величавостью и не обнаруживая волнения, какого можно было бы ожидать при подобных обстоятельствах от менее замечательной женщины. Мистер Доррит, который держал себя во время этого разговора с величественной снисходительностью, не лишенной, впрочем, оттенка благоговения — совершенно так, как многие держат себя в церкви, — остался, по-видимому, очень доволен собой и миссис Дженераль. К вечернему чаю эта леди появилась припудренной и напомаженной и сверх того обнаружила известный подъем духа, проявившийся в ласково-покровительственном обращении с Крошкой Доррит и в нежной заботливости о мистере Доррите, насколько то и другое было совместимо со

строгими приличиями. В конце вечера, когда она собралась уходить, мистер Доррит предложил ей руку, точно намеревался отправиться с ней на Пьяцца-дель-Пополо протанцевать менуэт при свете луны, и необыкновенно торжественно проводил ее до дверей комнаты, где галантно поднес к губам кончики ее пальцев. Приложившись к этой довольно костлявой, но надушенной ручке, он милостиво простился с дочерью. И, дав таким образом понять, что готовится нечто замечательное, ушел спать.

На другое утро он не выходил из своей комнаты, но послал мистера Тинклера засвидетельствовать свое глубочайшее почтение миссис Дженераль и передать ей, что он просит ее отправиться на прогулку с мисс Доррит без него. Его дочь уже оделась к обеду у миссис Мердль, а он еще не выходил. Наконец появился и он в безукоризненном костюме, но как-то странно опустившийся и дряхлый. Как бы то ни было, зная, что выразить беспокойство по поводу его здоровья значило бы рассердить его, она только поцеловала его в щеку и отправилась вместе с ним к миссис Мердль, затаив тревогу в душе.

Им нужно было проехать незначительное расстояние, но он уже успел погрузиться в постройку

своего замка, прежде чем они проехали полдороги. Миссис Мердль приняла их с отменной любезностью, бюст оказался в лучшем виде и был вполне доволен собой; обед отличался изысканностью; общество собралось избранное.

Оно состояло главным образом из англичан, исключая французского графа и итальянского маркиза — неизбежных украшений общества, которые всегда оказываются в известных местах и всегда бывают на одно лицо. Стол был длинный, обед тоже длинный, и Крошка Доррит, затерявшаяся в тени огромных черных бакенбард и белого галстука, совсем не видела отца, как вдруг лакей подал ей записочку и шепотом сообщил, что миссис Мердль просит прочитать ее немедленно. Миссис Мердль написала наскоро карандашом: «Пожалуйста, подойдите к мистеру Дорриту. Кажется, ему нехорошо».

Она поспешила к нему, как вдруг он поднялся со стула и, наклонившись над столом, крикнул, думая, что она все еще сидит на своем месте:

— Эми, Эми, дитя мое!

Этот поступок был так неожидан, не говоря уже о странной, взволнованной наружности и странном, взволнованном голосе старика, что за столом моментально воцарилась глубокая

тишина.

— Эми, милочка, — повторил он. — Сходи в сторожку, узнай, не Боб ли сегодня дежурный!

Она стояла рядом с ним и прикасалась к нему рукой, но он упорно думал, что она все еще сидит на своем месте, и звал ее, наклонившись над столом:

— Эми, Эми! Мне что-то не по себе… кха. Не понимаю, что со мной делается. Мне бы хотелось видеть Боба… кха… Из всех тюремщиков он наиболее расположен к нам обоим. Посмотри, в сторожке ли Боб, и попроси его зайти ко мне!

Гости поднялись в смятении.

— Дорогой отец, я здесь, я здесь, подле тебя.

— О, ты здесь, Эми, хорошо… хм… кха… Позови Боба; если его нет в сторожке, пошли за ним миссис Бангем.

Она пыталась увести его, но он сопротивлялся и не хотел уходить.

— Говорят тебе, дитя, — сказал он раздражительно, — я не могу подняться по этой узкой лестнице без его помощи… кха. Пошли за Бобом… хм… пошли за Бобом… лучший из всех тюремщиков… пошли за Бобом!

Он обвел гостей смутным взглядом и, видя вокруг себя множество лиц, обратился к ним:

— Леди и джентльмены, на мне… кха… лежит обязанность… хм… приветствовать вас в Маршалси. Милости просим в Маршалси! Пространство здесь… кха… ограничено… ограничено: желательно бы больше простора, но оно покажется вам обширнее со временем, со временем, леди и джентльмены, а воздух здесь, принимая во внимание местные условия, весьма хороший. Он веет к нам… кха… с Серрейских высот, веет с Сэррейских холмов. Эта буфетная… хм… содержится на средства… кха… членов общежития, собираемые по подписке. За это они пользуются горячей водой, общей кухней, мелкими домашними удобствами. Обитатели… кха… Маршалси называют меня ее Отцом. Посетители относятся ко мне как к Отцу Маршалси. Конечно, если многолетнее пребывание дает право на такой… кха… почетный титул, я могу принять это… хм… звание. Мое дитя, леди и джентльмены, моя дочь… родилась здесь.

Она не стыдилась его слов или его самого. Она была бледна и испугана, но единственной ее заботой было успокоить и увести его, ради него самого. Она стояла между ним и изумленными гостями, подняв к нему лицо. Он обнял ее левой рукой, и время от времени слышался ее нежный

голос, умолявший его уйти с ней.

— Родилась здесь, — повторял он сквозь слезы. — Здесь воспитывалась. Леди и джентльмены, моя дочь… дочь несчастного отца, но… кха… джентльмена… бедняка, без сомнения, но… хм… гордого… всегда сохранявшего гордость. Среди моих почитателей, только моих личных почитателей, вошло… хм… вошло в обычай выражать свое уважение к моему… кха… полуофициальному положению здесь… кха… небольшими знаками внимания, которые принимают обыкновенно форму… кха… приношений… денежных приношений. Принимая эти… кха… добровольные изъявления уважения к моим скромным усилиям… хм… поддержать достоинство… достоинство этого учреждения… я, прошу заметить, отнюдь не считаю себя скомпрометированным… кха… нимало!.. Хм… я не нищий! Нет, я отвергаю это название! При всем том я отнюдь не хочу сказать… хм… что деликатные чувства моих друзей, побуждающих их к таким приношениям, встречают с моей стороны… кха… высокомерное отношение. Напротив, они принимаются с благодарностью. От имени моей дочери, если не от своего собственного, я принимаю их, вполне сохраняя вместе с тем… кха… мое личное досто-

инство. Леди и джентльмены, да благословит вас бог!

Тем временем большинство гостей разошлись по соседним комнатам из уважения к бюсту, который был страшно скандализован. Немногие дождавшиеся окончания речи последовали за ними, и Крошка Доррит с отцом были предоставлены самим себе и слугам. Милый, дорогой, теперь он пойдет с ней, пойдет? Он отвечал на ее горячие мольбы, что ему не подняться по крутой лестнице без помощи Боба… Где же Боб?.. Почему никто не сходит за Бобом? Под тем предлогом, что они посмотрят, где Боб, она свела его с лестницы, по которой уже поднимался шумный поток гостей, съезжавшихся на вечер, усадила в экипаж и отвезла домой.

Широкая лестница римского палаццо сузилась в его помутившихся глазах в тесную лестницу лондонской тюрьмы, и он никому не позволял дотрагиваться до себя, кроме дочери и брата. Они отвели его в спальню и уложили в постель. С этого момента его бедный поврежденный дух, сохранивший память лишь о том месте, которое подрезало его крылья, расстался с грезами, охватившими его в последнее время, и не признавал ничего, кроме Маршалси. Шаги на улице каза-

лись ему шагами арестантов, слоняющихся по тюремному двору. Когда наступал час запирать ворота, он думал, что посторонним пора уходить. Когда же наступало время отворять их, он так настойчиво требовал Боба, что домашние должны были уговаривать его, говоря, что Боб (много лет назад умерший) простудился, но придет завтра, или послезавтра, или в самом непродолжительном времени.

Он так ослабел, что не мог поднять руки, тем не менее по старой привычке относился покровительственно к брату и говорил ему снисходительным тоном раз пятьдесят в день, когда замечал его стоящим около кровати:

— Мой добрый Фредерик, присядь, ты такой слабый.

Попробовали привести миссис Дженераль, но оказалось, что он не сохранил о ней ни малейшего воспоминания. Мало того, у него почему-то появилось оскорбительное подозрение, что она рассчитывает заместить миссис Бангем и предается пороку пьянства. Он накинулся на нее в таких неумеренных выражениях и так настойчиво требовал, чтобы дочь отправилась к директору и попросила его выгнать ее, что эта попытка после первой неудачи, уже не повторялась.

Только раз он спросил случайно, дома ли Тип, но воспоминание о двух отсутствовавших детях, по-видимому, вообще покинуло его, а дочь, которая сделала для него так много и была так плохо вознаграждена, ни на минуту не выходила из его головы. Не то чтобы он жалел ее или боялся, что она захворает от усталости и хлопот: на этот счет он беспокоился так же мало, как прежде, — нет, он любил ее на свой лад, по-старому. Они снова были вместе в тюрьме, и она ухаживала за ним, и он не мог обойтись, не мог шагу ступить без нее и даже говорил ей не раз, как приятно ему сознавать, что он так много перенес ради нее. А она сидела подле кровати, наклоняя к нему свое спокойное лицо и готовая отдать за него свою жизнь.

Он провел в этом состоянии два или три дня; на третий день она заметила, что его беспокоит тиканье часов, великолепных золотых часов, которые так шумно заявляли о своей деятельности, точно во всем свете только время двигалось вперед. Она остановила их, но он не успокоился, показывая жестами, что ему требуется вовсе не то. Наконец она догадалась, что он просит заложить их или продать. Он весь просиял, когда она сделала вид, что уносит их с этой целью, и после

этого с удовольствием выпил вина и поел желе, к которым не прикасался раньше.

Вскоре оказалось, что это его главная забота: на следующий день он точно так же распорядился с запонками, потом с перстнями. Он с видимым удовольствием давал ей эти поручения, очевидно считая их крайне благоразумными и предусмотрительными. После того как все безделушки — по крайней мере, все, которые попадались на глаза, — были унесены, он принялся за гардероб и, может быть, протянул несколько лишних дней благодаря удовольствию, которое находил в отправке вещей, штука за штукой, к воображаемому закладчику.

Десять дней провела Крошка Доррит около постели, прижавшись щекой к его щеке. Иногда, истомленная усталостью, она засыпала на несколько минут, потом пробуждалась, вспоминала с безмолвными слезами, чье лицо покоится рядом с ее лицом на подушке, и видела, как на него спускается тень более глубокая, чем тень стены Маршалси.

Тихо-тихо расплывались и таяли в воздухе очертания громадного замка. Тихо-тихо светлело его изборожденное морщинами лицо. Тихо-тихо исчезали с него следы тюремной решетки и зуб-

цов на верхушке стены. Тихо-тихо лицо молодело и становилось похожим на ее собственное лицо, пока не застыло в вечном покое.

В первые минуты дядя был безутешен.

— О брат мой! О Уильям, Уильям! Уйти раньше меня, уйти одному, уйти, когда я остаюсь! Ты такой благородный, такой одаренный, такой умный, а я жалкое бесполезное существо, никуда не годное, никому не нужное!

Она старалась утешить его и в этом находила облегчение:

— Дядя, милый дядя, пожалейте себя, пожалейте меня!

Старик не был глух к этим последним словам: пытался овладеть собой, чтобы не огорчать ее, не заботился о себе, но всеми оставшимися силами своего честного сердца, так долго бывшего окоченелым, а теперь ожившего, чтобы разбиться, благословлял ее и молился за нее.

— Боже, — воскликнул он, скрестив над ней свои морщинистые руки, — ты видишь дочь моего дорогого умершего брата! Все, что я заметил моими полуслепыми грешными глазами, ясно и светло для тебя. Волосок с ее головы не упадет без твоей воли. Ты поддержишь ее до последнего часа. И я знаю, что ты наградишь ее потом!

Они оставались в потемневшей комнате почти до полуночи. Иногда его скорбь изливалась бурным порывом, как в первые минуты, но помимо того, что его слабые силы истощились в этих порывах, он каждый раз старался овладеть собой, упрекал себя и успокаивался.

Одно лишь он твердил постоянно: что его брат ушел один, один, что они оба находились на склоне жизни, что они вместе пережили обрушившееся на них несчастье, вместе терпели бедность, оставались вместе до этого дня, а теперь его брат ушел один, один!

Они расстались грустные, подавленные печалью. Крошка Доррит не хотела оставлять старика одного, пока не довела до спальни, где он улегся одетый, а она прикрыла его одеялом.

Потом она ушла к себе, упала на постель и заснула глубоким сном, сном истощения и усталости, спокойным, хоть и не заглушившим вполне сознания горя. Спи, дорогая Крошка Доррит! Спи спокойно!

Была лунная ночь, но луна поднялась поздно, так как была на ущербе. Когда она поднялась высоко на мирном небосклоне, лучи ее проникли сквозь полузакрытые ставни в комнату, где так недавно закончились ошибки и скитания одной

человеческой жизни. Две спокойные фигуры виднелись в этой комнате, одинаково безмолвные и бесстрастные, удаленные на неизмеримое расстояние от этой грешной земли с ее суетой.

Одна из них лежала на кровати. Другая, стоявшая на коленях, опустилась головой на кровать, прильнув губами к руке, над которой склонилась, испуская последний вздох. Оба брата были теперь перед своим отцом, далеко от здешнего суда, высоко над туманом и тьмой этого мира.

Глава XX. Служит введением к следующей

Пассажиры высаживались на пристань в Кале с парохода. Вода убывала с отливом, и Кале выглядел каким-то плоским и унылым. Воды оставалось как раз настолько, чтобы можно было подойти пароходу, и отмель, просвечивавшая сквозь мелкую воду, казалась каким-то неповоротливым морским чудовищем, дремавшим у самой поверхности моря. Тонкий белый маяк виднелся на берегу бледным призраком, точно дух здания, когда-то имевшего цвет и округлость, печально роняя слезы вслед удаляющимся волнам. Длинные ряды ветхих черных свай, мокрых, скользких, изъеденных непогодой, с погребальными гирляндами водорослей, нанесенных последним приливом, могли бы сойти за старое заброшенное кладбище. Все, каждый предмет, источенный волнами, истерзанный бурями, казалось таким невзрачным и мизерным под этим бесконечным свинцовым небом, под шумом ветра и моря, в раскатах пенистых валов прибоя, что можно было только удивляться, как еще не

исчез Кале, как могли устоять его низенькие стены и низенькие ворота, низенькие крыши и низенькие валы, низенькие песчаные холмы, низенькие укрепления, плоские улицы, — как могли они устоять против неодолимого моря и как оно не смыло их подобно тем крепостям, которые ребятишки строят из прибрежного песка.

Скользя по грязным мосткам, спотыкаясь на мокрых ступеньках, пассажиры кое-как перебрались на набережную, где на них тотчас же набросились, не давая опомниться, французские оборванцы и английские бродяги — подонки городского населения, составлявшие его добрую половину. Подвергшись подробнейшему осмотру со стороны англичан, возбудив бесконечные споры, перебранки и потасовки среди французов, отнимавших друг у друга добычу на протяжении добрых трех четвертей мили, они вырвались, наконец, на свободу и разбрелись в разные стороны, преследуемые по пятам гостеприимными туземцами.

Кленнэм, удрученный самыми разнообразными заботами, был в толпе этих жертв. Выручив наиболее беспомощных соотечественников из критического положения, он, наконец, пошел своим путем один — или почти один, — так как

какой-то туземный джентльмен в пальто, сшитом, по-видимому, из одной грязи, и в фуражке из того же материала, гнался за ним, неумолчно взывая: «Эй, па-а-слушьте, господин! Па-а-слушьте! Лучший отель!»

В конце концов, однако, этот гостеприимный субъект отстал, и Кленнэм продолжал свой путь без всякой помехи. После шума и суматохи на пароходе и на набережной город казался очень тихим, и его безлюдье было приятно в силу этого контраста. Кленнэму попадались новые группы соотечественников, которые все имели какой-то странный вид, точно едва распустившиеся, но уже увядшие и превратившиеся в простую сорную траву цветы. Кроме того, у всех был такой вид, словно они изо дня в день топтались на одном месте, так что ему невольно вспомнилась Маршалси. Впрочем, он не обратил на них особого внимания, разыскивая улицу и номер, которые ему были нужны.

— Так уверял Панкс, — пробормотал он, остановившись перед домом мрачного вида. — Я думаю, что его сведения точны и что открытие, сделанное им среди старых бумаг мистера Кесби, неоспоримо, но если бы не это, я бы никак не подумал, что она живет здесь.

Дом был глухой, в глухом углу, с глухой стеной на улицу, с глухой калиткой, с висячим звонком, глухо дребезжавшим, когда его дергали, и с молотком, глухие удары которого, казалось, не проникали за ветхую дверь. Как бы то ни было, калитка распахнулась с глухим звуком и пропустила его в полутемный дворик, упиравшийся тоже в глухую стену и украшенный засохшими кустиками, заглохшим фонтаном в гроте и свалившейся статуей.

Подъезд находился с левой стороны дома и был украшен — так же, как калитка, — двумя объявлениями на французском и английском языках о меблированных комнатах. Веселая плотная крестьянка в пестрой юбке, чулках и белом чепчике появилась в темном проходе и сказала, сверкнув белыми зубами:

— Послушайте, господин, вам кого?

Кленнэм ответил по-французски, что ему нужно видеть английскую леди.

— Войдите, пожалуйста, наверх, — предложила крестьянка на том же языке.

Он последовал за ней по темной лестнице в приемную первого этажа. Отсюда открывался вид на унылый дворик, на засохшие кустики, на заглохший фонтан и на пьедестал свалившейся

статуи.

— Доложите: господин Бландуа, — сказал Кленнэм.

— Очень хорошо, сударь.

Женщина ушла, оставив его одного. Он оглядел комнату, которая не отличалась от обычного типа комнат в подобных домах. Холодная, угрюмая, темная, со скользким вощеным полом, недостаточно обширная для катания на коньках и не пригодная ни для какого другого занятия; окна с красными и белыми занавесками, узенькая соломенная дорожка, маленький круглый стол с целой коллекцией ножек, неуклюжие стулья с плетеными сиденьями, два больших кресла, обитых красным бархатом, в которых можно было расположиться с достаточным неудобством, письменный стол, каминное зеркало из нескольких кусков, делавшее вид, будто состоит из одного, две пестрые вазы с искусственными цветами, а между ними греческий воин со шлемом в руке, приносящий часы в жертву гению Франции.

После непродолжительного ожидания дверь соседней комнаты отворилась, и в приемную вышла леди. Она очень удивилась при виде Кленнэма и обвела взглядом комнату, по-видимому,

отыскивая кого-то другого.

— Простите, мисс Уэд, я один.

— Мне назвали не вашу фамилию.

— Да, я знаю. Извините меня. Мне известно по опыту, что моя фамилия вряд ли внушила бы вам желание принять меня, и потому я позволил себе назваться именем человека, которого разыскиваю.

— Скажите, пожалуйста, — возразила она, приглашая его сесть таким холодным жестом, что он остался на ногах, — какое имя вы назвали?

— Бландуа.

— Бландуа?

— Вам оно знакомо?

— Странно, — сказала она, нахмурившись, — что вы продолжаете относиться с таким непрошеным участием ко мне и моим знакомым, ко мне и моим делам, мистер Кленнэм. Не понимаю, чего вы добиваетесь?

— Виноват, вам знакомо это имя?

— Какое вам дело до этого имени? Какое мне дело до этого имени? Какое вам дело до того, знакомо ли мне имя или незнакомо? Я знаю много имен, я забыла много имен. Может быть, я знаю и это, может быть — знала и забыла, может быть — никогда не знала. Решительно не вижу при-

чины спрашивать себя об этом или подвергаться допросу по этому поводу.

— Если позволите, — сказал Кленнэм, — я объясню вам причину, побуждающую меня к такой назойливости. Я согласен, что это назойливость, и искренно прошу у вас извинения, но у меня чисто личные побуждения. Я отнюдь не желаю вмешиваться в ваши дела.

— Хорошо, сэр, — ответила она, снова приглашая его садиться менее высокомерным жестом, чем раньше. Видя, что она уселась сама, он последовал ее примеру. — Я рада и тому, что вы не заводите речь о какой-нибудь новой рабыне какого-нибудь из ваших друзей, которая лишена права свободного выбора и которую я сманила. Говорите, я готова слушать.

— Во-первых, для удостоверения личности человека, о котором мы говорим, — начал Кленнэм, — позвольте мне заметить, что это то самое лицо, с которым вы встретились в Лондоне несколько времени тому назад, — встретились, если помните, на набережной в Адельфи.

— Вы, однако, вмешиваетесь в мои дела с самым непостижимым упорством, — возразила она, бросив на него недовольный взгляд. — Как вы узнали это?

— Прошу вас не приписывать мне ничего дурного. Совершенно случайно.

— А именно?

— Вас видели с этим господином на улице.

— Вы сами видели или кто-нибудь другой?

— Я сам видел.

— Правда, это было на улице, — сказала она не так сердито. — Пятьдесят человек могли это видеть. Это ничего не значит.

— Я и не придаю значения этому обстоятельству и упомянул о нем только для объяснения своего визита и просьбы, с которой я намерен к вам обратиться.

— О, у вас есть просьба! То-то мне показалось, — ее красивое лицо искривилось насмешкой, — что ваши манеры сделались как будто мягче, мистер Кленнэм.

Он ничего не возразил, ограничившись легким отрицательным жестом, и перешел к исчезновению Бландуа. Возможно, она слышала об этом исчезновении? Нет. Хотя он считал это возможным, она ничего не слыхала. Пусть он взглянет кругом (прибавила она) и спросит себя, можно ли думать, что известия из внешнего мира достигают ушей женщины, которая заперлась здесь наедине с собственным сердцем. Высказав это

тоном, который убедил его в ее искренности, она спросила, что он подразумевает под исчезновением. Он рассказал подробно об обстоятельствах дела, прибавив, что ему хочется разъяснить эту загадку и уничтожить темные подозрения, нависшие над домом его матери. Она выслушала его с очевидным удивлением и, по-видимому, заинтересовалась происшествием, но все-таки старалась скрыть это, не изменяя своей сдержанной, гордой, замкнутой манере. Когда он окончил свой рассказ, она заметила:

— Вы еще не сообщили мне, сэр, какое мне дело до всего этого и в чем заключается ваша просьба. Потрудитесь объяснить.

— Я полагаю, — сказал Кленнэм, упорствуя в своей попытке смягчить ее гнев, — что, находясь в отношениях (кажется, могу даже сказать: в близких отношениях) с этим человеком…

— Вы, разумеется, можете говорить что вам вздумается, — заметила она, — но я не ручаюсь за верность ваших или чьих бы то ни было предположений, мистер Кленнэм.

— Находясь, во всяком случае, в личных отношениях с ним, — продолжил Кленнэм, изменяя форму своего заявления в надежде сделать его более приемлемым, — вы можете сообщить мне

что-нибудь о его прошлом, о его стремлениях и привычках, постоянном месте жительства. Можете дать хоть какие-нибудь указания, с помощью которых я отыщу его или узнаю, что с ним сталось. Вот моя просьба, и я обращаюсь к вам в крайне тяжелом душевном состоянии, к которому, надеюсь, вы не отнесетесь безучастно. Если вы найдете необходимым поставить мне какие-нибудь условия, я заранее принимаю их.

— Вы случайно встретили меня на улице с этим человеком, — заметила она, очевидно, к его огорчению, более занятая своими собственными размышлениями об этом предмете, чем его просьбой. — Стало быть, вы видали его раньше?

— Не раньше, потом. Я никогда не видал его раньше, но встретился с ним в тот же вечер, после которого он исчез, встретился в доме моей матери. Там я и оставил его. Вы прочтете в этом объявлении все, что известно о нем.

Он подал ей печатное объявление, которое она прочла, по-видимому, с большим вниманием.

— Это больше, чем я знаю о нем, — сказала она, возвращая листок.

В глазах Кленнэма отразилось горькое разочарование, может быть даже недоверие, потому что она прибавила тем же враждебным тоном:

— Вы не верите? Я же сказала правду. Что касается отношений, то они существовали, по-видимому, между ним и вашей матерью. А между тем вы поверили ее заявлению, будто она ничего не знает о нем.

Двусмысленный тон этих слов и улыбка, которой они сопровождались, вызвали краску на лице Кленнэма.

— Видите ли, сэр, — продолжила она с каким-то жестоким удовольствием, — я буду с вами откровенна, как вы того желаете. Сознаюсь, что если бы я заботилась о мнении других (я о нем не забочусь), о сохранении доброго имени (мне решительно все равно, доброе у меня имя или нет), то я сочла бы себя в высшей степени скомпрометированной близкими отношениями с подобным субъектом. Но он никогда не входил в мою комнату, никогда не засиживался у меня за полночь.

Она вымещала на нем свою злобу, обратив против него его же сообщение. Не в ее натуре было щадить человека; совесть ее не мучила.

— Не считаю нужным скрывать от вас, что это низкий продажный негодяй, которого я встретила в Италии (я была там недавно) и которым воспользовалась как подходящим орудием для

моих целей. Скажу вкратце: мне требовался для моей прихоти, для удовлетворения сильного желания шпион, готовый на все ради денег. Я наняла эту тварь. Могу вас уверить, что, если бы требовалось зарезать кого-нибудь и у меня хватило бы денег заплатить ему (а он мог совершить убийство в темноте без всякого риска), он ни на минуту не остановился бы перед ним. По крайней мере, таково мое мнение о нем, и, кажется, оно не слишком расходится с вашим. Полагаю (следуя вашему примеру), что мнение о нем вашей матушки совершенно иного рода.

— Позвольте вам напомнить, — сказал Кленнэм, — что мою мать свели с этим человеком торговые дела.

— По-видимому, весьма настоятельные, — заметила мисс Уэд, — в довольно поздний для деловых переговоров час.

— Вы хотите сказать, — возразил Артур, чувствуя почти физическую боль от этих хладнокровных уколов, силу которых он уже раньше почувствовал, — что тут есть что-нибудь…

— Мистер Кленнэм, — спокойно перебила она, — вспомните, что я говорила об этом человеке. Повторяю, это подлый, продажный негодяй. Такая тварь не пойдет туда, где не ожидает для

себя выгоды. Если бы он не рассчитывал на выгоду, вы бы не увидели нас вместе.

Утомленный этим настойчивым подчеркиванием темной стороны дела, возбуждавшего глухие подозрения в нем самом, Кленнэм молчал.

— Я говорю о нем, как будто бы он был жив, — прибавила она, — но, может быть, его уже прикончил кто-нибудь. Почем я знаю? Мне он больше не нужен.

Артур Кленнэм медленно поднялся с тяжелым вздохом и печальным лицом. Она не встала, но, бросив на него подозрительный взгляд и гневно сжав губы, сказала:

— Ведь он, кажется, приятель вашего дорогого друга, мистера Гоуэна? Отчего бы вам не обратиться к вашему другу?

Артур хотел было ответить, что Гоуэн вовсе не друг ему, но, вспомнив свою старую борьбу и решение, к которому она привела его, удержался и сказал:

— Во-первых, он не видал Бландуа с тех пор, как тот уехал в Англию; во-вторых, ничего о нем не знает. Бландуа — всего лишь его случайный знакомый, с которым они встретились за границей.

— Случайный знакомый, за границей! Да,

вашему другу остается только развлекаться со знакомыми, какие подвернутся под руку, имея такую жену. Я ненавижу его жену, сэр.

Она сказала это с такой сосредоточенной подавленной злобой, что Кленнэм невольно остановился. Злоба сверкала в ее темных глазах, дрожала в ее ноздрях, воспламеняла даже ее дыхание, но лицо ее оставалось спокойным и ясным, а поза — непринужденной и высокомерно-изящной, как будто она находилась в самом равнодушном настроении.

— Не может быть, чтобы вам подали повод к такому чувству, которого, я уверен, никто не разделяет с вами, — вот все, что я могу сказать вам, — заметил Кленнэм.

— Вы можете, если угодно, спросить у вашего дорогого друга, что он думает об этом, — возразила она.

— Я не в таких близких отношениях с моим дорогим другом, — сказал Кленнэм, не выдержав характера, — чтобы разговаривать с ним об этом предмете, мисс Уэд.

— Я ненавижу его, — ответила она, — еще сильнее, чем его жену, потому что была так глупа одно время и так неверна самой себе, что почти влюбилась в него. Вы встречались со мной, сэр,

только при обычных обстоятельствах и, наверно, приняли меня за обыкновенную женщину — быть может, несколько более своенравную, чем другие. Если так, то вы не знаете, что такое моя ненависть, да и не можете знать, не зная, как тщательно я изучала самое себя и окружающих. Потому-то мне и хотелось рассказать вам свою жизнь: не ради вашего участия, которым я не дорожу, а для того, чтобы, вспоминая о вашем дорогом друге и его жене, вы вспоминали и о том, что такое моя ненависть. Дать вам то, что я написала для вас, или не нужно?

Артур попросил дать ему эти записки. Она подошла к столу, открыла его и достала из ящика несколько листков бумаги. Протянув их Кленнэму, она сказала, ничуть не смягчившись, почти не обращаясь к нему, а точно разговаривая со своим собственным отражением в зеркале и стараясь оправдать перед ним свою злобу:

— Теперь вы узнаете, что такое моя ненависть. Довольно об этом. Сэр, в Лондоне ли, во время моей случайной остановки в дешевой квартире заброшенного дома, или в Кале — вы везде найдете со мною Гарриет. Быть может, вам желательно ее увидеть? Гарриет, подите сюда!

Она позвала вторично. Вошла Гарриет, бывшая

Тэттикорэм.

— Здесь мистер Кленнэм, — сказала мисс Уэд, — он явился не за вами; он отказался от мысли вернуть вас… Я полагаю, вы отказались?

— Не имея ни власти, ни влияния — да, — ответил Кленнэм.

— Как видите, он явился не за вами, но все-таки ищет одного человека. Ему нужен Бландуа.

— С которым я видел вас на Стрэнде, — напомнил Кленнэм.

— Если вы знаете о нем что-нибудь, Гарриет, кроме того, что он приехал из Венеции (это мы все знаем), скажите мистеру Кленнэму.

— Я ничего больше не знаю о нем, — сказала девушка.

— Довольно с вас? — спросила мисс Уэд у Кленнэма.

Он не имел причины не верить им: манеры девушки были так естественны и голос звучал так искренно, что его последние сомнения рассеялись и он ответил:

— Мне приходится разузнавать повсюду.

Кленнэм еще не собирался уходить, но, видя, что он встал, девушка подумала, что он уходит. Она быстро взглянула на него и спросила:

— Здоровы ли они, сэр?

— Кто?

Она хотела было сказать «да все они», но передумала, взглянула на мисс Уэд и сказала:

— Мистер и миссис Мигльс.

— Они были здоровы, когда я в последний раз получил о них известие. Они за границей. Кстати, позвольте мне предложить вам один вопрос. Правда ли, что вас видели там?

— Где? Где меня видели? — спросила девушка, угрюмо опуская глаза.

— В коттедже, у садовой калитки.

— Нет, — сказала мисс Уэд. — Она там и близко не была.

— Вы ошибаетесь, — сказала девушка. — Я была там в последний раз, когда мы посещали Лондон. Я ездила туда вечером, когда вас не было дома, и смотрела в калитку.

— Малодушная девочка, — сказала мисс Уэд с бесконечным презрением. — Так вся наша дружба, все наши разговоры, все ваши прежние жалобы привели к такому результату?

— Нет ничего дурного в том, что я заглянула в калитку, — возразила девушка. — Я видела по окнам, что хозяев нет дома.

— Зачем вы туда отправились?

— Потому что мне хотелось видеть это место,

взглянуть еще раз на старый дом.

При виде двух красивых лиц, смотревших друг на друга, Кленнэм понял, как должны были терзать друг друга эти две женщины.

— О, — сказала мисс Уэд с холодным спокойствием, отводя взгляд от лица Гарриет, — если вам приятно видеть то место, где вы вели жизнь, от которой я избавила вас, потому что вы поняли, что это за жизнь, тогда другое дело. Но где же ваша откровенность со мной? Где же ваша верность? Где наше общее дело? Вы недостойны участия, с которым я отнеслась к вам. Вы не лучше комнатной собачонки и хорошо сделаете, если вернетесь к людям, которые обращались с вами хуже, чем с собачонкой.

— Если вы будете так говорить о них при посторонних, то заставите меня принять их сторону, — сказала девушка.

— Ступайте к ним, — возразила мисс Уэд. — Ступайте к ним!

— Вы очень хорошо знаете, — возразила Гарриет в свою очередь, — что я не пойду к ним. Вы очень хорошо знаете, что я бросила их и не могу, не хочу, не соглашусь вернуться к ним. Не трогайте же их, мисс Уэд.

— Вы предпочитаете обеспеченную жизнь у

них стесненному существованию со мной, — ответила та. — Вы превозносите их и унижаете меня. Но я должна была приготовиться к этому. Я не могла и ждать ничего другого!

— Неправда, — ответила девушка, вспыхнув, — вы совсем не думаете то, что говорите. Вы укоряете меня тем, что я живу на ваш счет, потому что мне некуда деваться; вы считаете себя вправе помыкать мной и оскорблять меня как угодно. Вы ничуть не лучше их, ни капли. Но я не намерена терпеть обиды молча. Опять-таки скажу: я была там, чтобы взглянуть на старый дом, я давно думала, что мне следует побывать там. Я хочу знать, как они поживают, потому что я любила их когда-то, а они всегда были ласковы со мной.

Кленнэм заметил, что они наверно и теперь примут ее ласково, если она вернется.

— Никогда! — воскликнула девушка страстно. — Никогда я не вернусь к ним. Мисс Уэд знает это лучше любого другого и терзает меня только потому, что я живу за ее счет. Я и сама знаю это, но она всегда рада колоть мне глаза.

— Ловкие увертки, — сказала мисс Уэд с прежним гневом, высокомерием и горечью, — но я вижу ясно, что под ними скрывается. Моя бед-

ность не то, что их богатство. Ступайте же к ним, ступайте к ним — и кончим это дело!

Они стояли друг против друга в тесной темной комнате, разжигая свой гнев, не уступая друг другу, терзаясь и терзая. Кленнэм пробормотал несколько прощальных слов, но мисс Уэд ответила только холодным кивком, а Гарриет, с преувеличенным смирением униженной и бесправной рабы (в котором, однако, сквозил ясный вызов), сделала вид, что она слишком ничтожна, чтобы принять на свой счет его слова.

Он спустился по темной извилистой лестнице во двор, еще более подавленный унылым видом этой глухой стены, засохших кустиков, заглохшего фонтана, исчезнувшей статуи. Раздумывая о том, что он видел и слышал в этом доме, и о своей неудачной попытке разыскать этого подозрительного человека, он возвратился в Лондон с тем же пароходом, который доставил его в Кале. По дороге он развернул листки, полученные от мисс Уэд, и прочел в них то, что изложено в следующей главе.

Глава XXI. История самоистязания

К несчастью, я родилась неглупой. С самого раннего детства я видела то, что окружающие пытались скрыть от меня. Если бы я поддавалась обману вместо того, чтобы доискиваться истины, то могла бы прожить так же спокойно, как большинство глупцов.

Детство я провела с бабушкой, то есть с дамой, которая играла роль моей бабушки. Она не имела никаких прав на этот титул, но я, в то время еще глупая девчонка, верила ей. У нее жили несколько детей, и ее родных, и посторонних — все девочки, десять человек, считая меня. Мы жили вместе и вместе воспитывались.

Мне было лет двенадцать, когда я впервые начала замечать, как покровительственно относились ко мне эти девочки. Я слышала, что меня называли сироткой. Кроме меня, среди нас не было сироты, и я заметила (первая неприятность, которую я испытала от недостатка глупости), что все они относятся ко мне с нахальным состраданием, в котором сказывалось, в сущности, их сознание превосходства. Я не сразу поверила этому открытию. Я часто испытывала их. Я убе-

дилась, что не могу заставить их поссориться со мной. Если это и удавалось, то через час, через два они прибегали ко мне мириться. Я испытывала их снова и снова — и ни разу не могла заставить дожидаться, пока я приду первая. Они всегда прощали меня в своем снисходительном тщеславии. Миниатюрные копии взрослых!

Одна из них была моей любимой подругой. Я любила эту дурочку так страстно, что мне стыдно и вспоминать об этом, хотя была еще мала. У нее был, как говорится, кроткий нежный характер. Она могла расточать — и расточала — ласковые улыбки и взгляды всем нам, и, разумеется, ни одна душа в нашем доме, кроме меня самой, не догадывалась, что она делает это нарочно для того, чтобы терзать и злить меня.

Тем не менее я так любила это недостойное существо, что моя любовь стала мучением моей жизни. Мне читали нотации, меня бранили за то, что я будто бы дразню ее, то есть уличаю в коварстве и довожу до слез тем, что читаю в ее сердце. И все-таки я любила ее и однажды даже поехала с ней на праздники к ее родителям.

Дома она вела себя еще хуже, чем в школе. У нее была целая толпа двоюродных братьев и просто знакомых, в их доме часто устраивались танцы;

кроме того, мы бывали и в других домах, и тут она испытывала мою любовь свыше всякой меры. Ее цель была очаровать всех — и таким образом свести меня с ума от ревности, быть со всеми доброй и ласковой — и таким образом заставить меня завидовать. Когда мы оставались одни вечером в нашей спальне, я изобличала всю ее низость, но она принималась плакать — плакать и упрекать меня в жестокости, и я обнимала ее и не выпускала из своих объятий до утра, изнывая от любви, и часто думала, что лучше, чем терпеть эту муку, броситься вот так, обнявшись, в реку, чтобы не выпускать ее и после смерти.

Наконец это кончилось, и мне стало легче. В их семье была тетка, которая невзлюбила меня. Кажется, и остальные члены семьи не любили меня, но я не нуждалась в их любви, так как не хотела знать никого, кроме моей подруги. Тетка была молодая женщина с серьезным лицом, которая очень внимательно следила за мной. Она отличалась дерзостью и не скрывала своего чувства жалости ко мне. Как-то раз после одной из тех ночей, о которых говорила выше, я пошла перед завтраком в оранжерею. Шарлотта (моя коварная подруга) спустилась туда прежде меня, и, входя, я услышала ее голос. Она разговаривала с теткой.

Я спряталась среди растений и прислушалась.

Тетка говорила:

— Шарлотта, мисс Уэд замучит тебя до смерти, так не может дальше продолжаться.

Я повторяю слово в слово то, что слышала.

Что же отвечала Шарлотта? Сказала ли она: «Это я замучу ее до смерти — я, которая пытает ее с утра до вечера, я, ее палач, которую она любит, несмотря ни на что, хоть и видит все насквозь»? Нет, я не ошиблась в ней, она оказалась тем, что я думала. Она принялась плакать и всхлипывать (чтобы разжалобить тетку) и сказала:

— Милая тетя, у нее ужасный характер: другие девочки тоже стараются смягчить ее — но все напрасно.

Тетка принялась ее ласкать, точно она сказала что-то благородное, а не фальшивое и лицемерное, и ответила ей так же лицемерно:

— Но, дитя мое, всему есть границы. Эта несчастная жалкая девочка доставляет тебе столько ненужного и постоянного горя, что все твои усилия, очевидно, останутся бесплодными.

Как вы можете легко себе представить, «несчастная жалкая девочка» вышла из своей засады и сказала: «Отошлите меня домой». Больше я ничего не сказала им, а твердила только:

«Отошлите меня домой — или я уйду пешком, днем или ночью, все равно». Вернувшись домой, я сказала своей названной бабушке, что если она не отправит меня заканчивать образование куда-нибудь в другое место, прежде чем та девочка или кто бы то ни было из них вернется, то я скорее выжгу себе глаза, чем соглашусь взглянуть на их фальшивые лица.

После этого я попала в кружок взрослых девушек и убедилась, что они нисколько не лучше. Красивые слова и отговорки, но я различала под ними желание похвастать своими добродетелями и унизить меня. Нет, они были нисколько не лучше. Прежде чем рассталась с ними, я узнала, что у меня нет бабушки и никаких родственников вообще. Это осветило мне многое в моей прошлой и дальнейшей жизни и указало на другие случаи, когда люди торжествовали, делая вид, будто относятся ко мне с уважением или оказывают мне услугу.

У меня имелось немного денег, которые я отдала на хранение одному дельцу. Я поступила в семью небогатого лорда, у которого было две дочери, еще маленьких, и родителям хотелось воспитать их, если возможно, под руководством одной наставницы. Мать была молода и хороша

собой. С первых же дней она принялась выставлять мне на вид свою крайнюю деликатность. Я затаила на нее злобу, но была совершенно уверена: это только ее манера напоминать мне, что она моя госпожа и могла бы обращаться со мной совершенно иначе, если бы ей вздумалось.

Я затаила злобу, отвергала все ее любезности, тем самым показывая, что отлично понимаю ее. Когда она предлагала мне выпить вина, я пила воду. Когда за обедом было что-нибудь особенно вкусное, она всегда предлагала мне, а я всегда отказывалась и ела самые невкусные кушанья. Так, отвергая на каждом шагу ее покровительство, я чувствовала себя независимой.

Я любила детей. Они были застенчивы, но все-таки могли бы привязаться ко мне. Но в доме жила нянька, краснощекая женщина, вечно напускавшая на себя веселый и добродушный вид, которая вынянчила обеих девочек и ухитрилась привязать их к себе, прежде чем я с ними встретилась. Не будь этой женщины, я бы, пожалуй, примирилась со своей судьбой. Уловки, к которым она прибегала, чтобы вечно торчать на глазах у детей, могли бы обмануть многих на моем месте, но я с самого начала раскусила ее. Она вечно мозолила мне глаза под тем предло-

гом, что убирает мою комнату или прислуживает мне или приводит в порядок мои платья (все это она делала очень усердно), но самым ловким ее маневром было делать вид, будто она старается внушить детям любовь ко мне. Она приводила их ко мне, гнала их ко мне: «Ступайте к мисс Уэд, к доброй мисс Уэд, к милой мисс Уэд. Она вас так любит. Мисс Уэд — умная барышня, она прочла целую кучу книг; она расскажет вам разные истории, намного лучше и интереснее, чем мои. Ступайте к мисс Уэд!» Могла ли я завладеть их вниманием, когда мое сердце пылало злобой к этой лукавой женщине? Могла ли я удивляться, видя, что их невинные личики отворачиваются от меня, их руки обвиваются вокруг ее, а не моей шеи? Тогда она отстраняла их локоны от своего лица и говорила, с издевкой глядя на меня: «Они скоро привыкнут к вам, мисс Уэд: они такие милые и простые, сударыня, — не огорчайтесь, сударыня».

Но этим не ограничивались ее проделки. По временам, когда ей удавалось довести меня до полного отчаяния, она старалась обратить внимание детей на мое настроение, чтобы указать им разницу между мной и ею: «Тсс!.. Бедная мисс Уэд нездорова. Не шумите, милочка, у нее голова

болит. Подите утешьте ее. Подите узнайте, лучше ли ей; подите уговорите ее лечь. Надеюсь, с вами не случилось ничего неприятного, сударыня? Не огорчайтесь, сударыня!»

Это становилось невыносимым. Однажды, когда миледи, моя госпожа, зашла ко мне во время такого припадка, я сказала ей, что не могу больше оставаться у них, не могу выносить присутствия этой женщины, Доус.

— Мисс Уэд! Бедняжка Доус так любит вас, так предана вам!

Я знала, что она это скажет, приготовилась к этому, и отвечала только, что не стану противоречить моей госпоже, а просто уйду.

— Надеюсь, мисс Уэд, — сказала она, тотчас же принимая высокомерный тон, которого раньше так ловко избегала, — что я ничем не подавала вам повода употреблять такое слово, как «госпожа». Может быть, я обидела вас как-нибудь неумышленно? Пожалуйста, скажите — чем?

Я ответила, что меня ничем не обидели, что не жалуюсь ни на свою госпожу, ни своей госпоже, а просто должна уйти.

Она колебалась с минуту, потом села рядом со мной и взяла за руку, как будто эта милость должна была изгладить все.

— Мисс Уэд, я боюсь, что вы несчастливы вследствие каких-либо причин, над которыми я не властна.

Я улыбнулась воспоминанию, которое пробудили во мне эти слова, и сказала:

— Должно быть, у меня непростой характер.

— Я не говорила этого.

— Это такой легкий способ объяснить все, что угодно, — сказала я.

— Может быть, но я не говорила этого. Я хотела поговорить с вами совсем о другом. Мы с мужем говорили о вас, так как оба заметили, что вам как будто не по себе в нашем обществе.

— Не по себе! О, вы такие важные люди, миледи!

— К несчастью, я употребила слово, которое можно понять, как вы и поняли, в превратном смысле. — Она не ожидала моего ответа, и ей стало стыдно. — Я хотела сказать: вы как будто не чувствуете себя счастливой у нас. Конечно, это щекотливый вопрос, но, может быть, между двумя молодыми женщинами… словом, мы боимся, что вас угнетает мысль о каких-нибудь семейных обстоятельствах, в которых вы неповинны. Если так, поверьте, что мы не придаем им никакого значения. У моего мужа была сестра, которую он

очень любил и которая, в сущности, не была его законной сестрой, что не мешало ей пользоваться общим уважением и любовью…

Я тотчас поняла, что они взяли меня ради этой покойницы, кто бы она ни была, чтобы похвастаться своим великодушием; я поняла, что кормилица знает об этом и только потому позволяет себе издеваться надо мной, я поняла, что дети отворачиваются от меня под влиянием смутного сознания, что я не такая, как другие, и в тот же день оставила их дом.

После двух или трех таких же опытов, о которых не стоит распространяться, я попала в семью, где была одна-единственная дочь, девушка лет пятнадцати. Родители были пожилые люди, богатые и занимавшие высокое положение в обществе. Их племянник, получивший воспитание за их счет, часто бывал у них в числе других гостей и начал ухаживать за мной. Я упорно отталкивала его, так как, поступая к ним, решила, что никому не позволю жалеть меня или относиться ко мне снисходительно. Но он написал письмо, и оно повело к объяснению и помолвке.

Он был годом моложе меня и к тому же еще и выглядел моложе своих лет. Он служил в Индии и вскоре должен был получить хорошее место,

а в то время находился в отпуске. Через полгода мы должны были обвенчаться и отправиться в Индию, а до тех пор мне надлежало жить в их доме; там же решено было сыграть свадьбу. Все одобрили этот план.

Я должна сказать, он восхищался мной. Я не сказала бы этого, если бы могла. Тщеславие тут ни при чем: его восхищение надоедало мне. Он не скрывал его, и, когда мы находились в кругу его богатых родственников, мне всегда казалось, будто он купил меня за мою красоту и хвастается своей покупкой. Я видела, что они стараются оценить меня, узнать мою настоящую стоимость. Я решила, что они никогда не узнают ее. Я была с ними сдержанна и молчалива и скорее позволила бы любому из них убить меня, чем стала бы добиваться их одобрения.

Он говорил мне, что я недостаточно ценю себя.

Я отвечала, что он ошибается, что я ценю себя достаточно высоко и всегда буду ценить, и именно потому и шагу не сделаю для того, чтобы расположить их в свою пользу. Он был поражен и даже огорчен, когда я прибавила, что прошу его не выставлять напоказ свою любовь, но сказал, что готов пожертвовать своими стремлениями ради моего спокойствия.

Под этим предлогом он начал мстить мне. Когда нам случалось быть вместе в обществе, он по целым часам не подходил ко мне и говорил с кем угодно, только не со мной. Я сидела одна, всеми оставленная, пока он болтал со своей двоюродной сестрой, моей воспитанницей. Я видела по глазам окружающих, что они считают их более подходящей парой. Я сидела, угадывая их мысли, пока не начинала чувствовать себя смешной и злиться на себя за то, что полюбила его.

Да, я любила его одно время. Как ни мало он этого заслуживал, как ни мало думал о муках, которые доставила мне эта любовь и которые должны были бы сделать его моим преданным рабом на всю жизнь, но я любила его. Я выслушивала похвалы, которые расточала ему в моем присутствии его двоюродная сестра, делая вид, что хочет доставить мне удовольствие, но отлично зная, что они только терзали меня; я выслушивала их молча ради него. Сидя подле него, вспоминая свои ошибки и промахи и спрашивая себя, не уйти ли мне сейчас же из дома, я любила его.

Его тетка (моя госпожа) сознательно, обдуманно усиливала мои терзания и мучения. Любимым ее удовольствием было распространяться, как

мы славно заживем в Индии, какой у нас будет богатый дом, какое избранное общество, когда он получит ожидаемое место. Моя гордость возмущалась этой бесцеремонной манерой подчеркивать разницу между моей жизнью в замужестве и моим теперешним зависимым, нищенским положением. Я подавляла свое негодование, но старалась дать ей понять, что ее намерения не тайна для меня, и отвечала на ее приставания притворным смирением. Я говорила ей, что такая блестящая жизнь — слишком высокая честь для меня, что я, пожалуй, не вынесу такой перемены. Подумать только — простая гувернантка, гувернантка ее дочери, займет такое высокое положение. Ей становилось неловко, и всем им становилось неловко. Они видели ясно, что я понимаю ее.

В то время, когда мои терзания дошли до предела и когда я стала почти ненавидеть моего жениха за его равнодушное отношение к бесчисленным оскорблениям и унижениям, которым я подвергалась, ваш дорогой друг, мистер Гоуэн, появился у нас в доме. Он давно уже был знаком с моими хозяевами, но долгое время находился в отлучке за границей. Он с первого взгляда понял наши отношения и понял меня.

Это был первый человек за всю мою жизнь, который понял меня. Он не побывал в доме и трех раз, а уже видел меня насквозь, следил за всеми моими душевными движениями. Я видела это в его холодной непринужденной манере, в его отношении к ним, ко мне, ко всем. Я видела это в его восхищении моим будущим мужем, в энтузиазме, с каким он относился к нашей помолвке и видам на будущее, в поздравлениях, которыми он осыпал нас по поводу нашего будущего богатства, сравнивая его со своей бедностью, — все это шутливым тоном, плохо прикрывавшим иронию и насмешку.

Вы поймете, что, поздравляя меня, ваш дорогой друг, в сущности, сожалел обо мне, утешая меня — обнажал мои раны, называя моего «нежного пастушка» самым влюбленным юношей в мире с нежнейшим сердцем, какое когда-либо билось, и тем самым подчеркивал мое смешное положение.

Услуга небольшая, скажете вы. Но я была признательна за нее, потому что она находила отголосок в моей душе и согласовывалась с моими мыслями. Я вскоре стала предпочитать общество вашего дорогого друга всякому другому.

Заметив (очень скоро), что результатом этого

явилась ревность со стороны моего жениха, я стала еще больше любить это общество. Разве я не мучилась ревностью и разве справедливо было мучиться мне одной? Нет, пусть и он узнает, каково выносить эти муки. Я рада была, что он узнает их, я рада была, что он почувствует всю горечь их, как я надеялась. Но это еще не все. Он был так бесцветен в сравнении с мистером Гоуэном, который умел относиться ко мне как к равной и анатомировать жалких людишек, которые окружали нас.

Это продолжалось некоторое время; наконец тетка моего жениха, моя госпожа, решилась поговорить со мной. Конечно, об этом не стоило говорить: она знала, что я делаю это без всякого намерения, но все-таки решилась мне заметить, зная, что одного намека будет достаточно, не лучше ли мне поменьше бывать в обществе мистера Гоуэна.

Я спросила ее, откуда она знает мои намерения. Она всегда была уверена в том, что я неспособна умышленно сделать что-нибудь дурное. Я поблагодарила ее, но сказала, что предпочитаю отвечать сама за себя и перед собой. Другие ее слуги, по всей вероятности, были бы благодарны за такую хорошую аттестацию, но я в ней не

нуждалась.

За этим последовал другой разговор. Я спросила ее, с чего она взяла, что я послушаюсь ее по первому ее намеку. Что она имела в виду, говоря это: мое рождение или зависимое положение? Я не продаюсь ни телом, ни душой. По-видимому, она думает, что ее знатный племянник купил себе жену на невольничьем рынке.

По всей вероятности, дело кончилось бы рано или поздно именно так, как оно кончилось, но она ускорила развязку. Она сказала мне с притворным состраданием, что у меня непростой характер. Я не выдержала этого гнусного оскорбления вторично и выложила ей все: все, что разгадала и заметила в ней самой, все, что вытерпела с тех пор, как заняла позорное положение невесты ее племянника. Я сказала ей, что мистер Гоуэн был единственным человеком, с которым могла отвести душу, что не намерена больше выносить это унизительное положение, что отрекаюсь от него — к сожалению, слишком поздно, — но больше ноги моей не будет в их доме. И я исполнила свое обещание.

Ваш друг, посетивший меня в моем уединении, очень остроумно шутил по поводу моего разрыва с женихом, хотя в то же время сожалел об этих

прекрасных людях (превосходнейших людях в своем роде). Затем он стал говорить, и совершенно справедливо, как я потом убедилась, что он, конечно, не достоин внимания женщины с таким дарованием и с таким характером, но…

Ваш друг забавлял меня и забавлялся сам, пока ему это нравилось, а затем напомнил мне, что оба мы люди, знающие жизнь, оба понимаем, что в действительной жизни романов не бывает, и оба настолько рассудительны, что можем разойтись по своим дорогам, и если когда-нибудь встретимся, то встретимся наилучшими друзьями. Он говорил это, а я не противоречила.

Незадолго перед тем я узнала, что он ухаживает за своей теперешней женой и что родители увезли ее за границу, желая помешать этому браку. Я тогда же возненавидела ее так же, как ненавижу теперь, и, конечно, могла только желать от души, чтобы их брак состоялся. Но мне ужасно хотелось видеть ее, так хотелось, что, я чувствовала, исполнение этого желания послужит для меня развлечением. Я отправилась за границу и путешествовала, пока не встретилась с нею и с вами. Вы, кажется, еще не были знакомы в то время с вашим дорогим другом, и он еще не наградил вас своей дружбой.

В вашей компании я встретила девушку, судьба которой во многих отношениях представляла разительное сходство с моей судьбой. Она возбудила мое участие, так как я заметила в ней тот же протест против чванливого покровительства и эгоизма, называющих себя нежностью, участием, снисхождением и другими красивыми именами, — протест, который всегда составлял основную черту моей натуры. Я часто слышала, как о ней говорили, будто у нее несчастный характер. Отлично понимая истинный смысл этого условного выражения и чувствуя потребность в подруге, которая могла бы понять меня, я попыталась освободить ее от цепей рабства. Нет надобности прибавлять, что это мне удалось. С тех пор мы живем вместе на мои маленькие средства.

Глава XXII. Кто проходит здесь так поздно?

Артур Кленнэм предпринял свою неудачную поездку в Кале в самое горячее время. Одной варварской державе [92], занимающей порядочное пространство на карте земного шара, понадобились услуги двух-трех инженеров — людей сообразительных и энергичных, умеющих создавать силы и средства из тех материалов, какие окажутся под рукой, применять их к делу и добиваться, по мере возможности, наилучших результатов. Эта держава, в качестве варварской, не знала мудрого обычая прятать великие национальные предприятия под сукно министерства околичностей, как крепкое вино прячут в погреб и держат в темноте, пока оно не выдохнется, пока сами работники, выжимавшие виноград, не обратятся в прах. Напротив, закоренелая в своем невежестве, эта держава решительно и энергично добивалась выполнения дела и не придавала никакого значения великому политическому учению о том, «как не делать этого». Она самым

[92] Сноски: 92
Диккенс имеет в виду одно из государств в Африке или в Аравии.

варварским образом поражала насмерть эту систему в лице каждого своего просвещенного подданного, который пытался пустить ее в ход.

Соответственно этим понятиям, людей, как только они понадобились, стали искать и отыскали, что уже само по себе было в высшей степени неправильным и недостойным цивилизованного государства приемом. Отыскав, отнеслись к ним с доверием (опять-таки признак глубокого политического невежества) и пригласили их явиться немедленно и взяться за дело, которое им было поручено. Словом, к ним отнеслись как к людям, которые должны сделать то, что их доверители считают необходимым сделать.

Даниэль Дойс был в числе приглашенных. Ему пришлось поехать за границу на несколько месяцев, а быть может, и лет. Перед отъездом Артур хотел представить ему подробный отчет о результатах их совместной деятельности и, так как времени оставалось немного, просиживал над ним дни и ночи. При первой возможности он совершил поездку через канал и тотчас же вернулся обратно — проститься с Дойсом.

Артур показал ему отчет об их прибылях и убытках, платежах и получках. Дойс прочел его со своим обычным терпеливым вниманием и

пришел в восторг. Он рассматривал счета, точно какой-нибудь остроумнейший механизм, превосходивший все, что он мог придумать до сих пор, и затем долго любовался отчетом, ухватившись за поля своей шляпы, точно поглощенный созерцанием какой-нибудь удивительной машины.

— Это великолепно, Кленнэм, такая точность и порядок! Ничего не может быть яснее! Ничего не может быть лучше!

— Я рад, что вы одобряете, Дойс. Теперь относительно распоряжения нашим свободным капиталом во время вашего отсутствия…

Дойс перебил его:

— Распоряжайтесь им и вообще денежными делами по собственному усмотрению. Действуйте за себя и за меня, как было до сих пор, и избавьте меня от этой обузы.

— Хотя, как я не раз говорил, — заметил Кленнэм, — вы совершенно напрасно умаляете ваши деловые способности.

— Может быть, вы и правы, — с улыбкой сказал Дойс, — а может быть, и не правы. Во всяком случае, у меня есть профессия, которую я изучил лучше, чем эти дела, и к которой у меня больше способностей. Я вполне доверяю своему компаньону и уверен, что он распорядится наи-

лучшим образом. Если у меня есть какой-нибудь предрассудок, связанный с деньгами и ценными бумагами, так это недоверие к спекуляции. Другого, кажется, нет. Должно быть, я держусь этого предрассудка только потому, что никогда серьезно не размышлял об этом предмете.

— Но это вовсе не предрассудок, — заметил Кленнэм, — это вывод здравого смысла, дорогой мой Дойс.

— Очень рад, что вы так думаете, — ответил Дойс, весело и дружелюбно поглядывая на него своими серыми глазами.

— Не далее как полчаса назад я говорил об этом самом предмете с Панксом, который заглянул к нам на минутку. Мы оба пришли к заключению, что отказываться от верного помещения денег ради рискованных спекуляций — одно из самых опасных и самых распространенных увлечений, граничащих с пороком.

— Панкс? — сказал Дойс, сдвигая шляпу на затылок и одобрительно кивая. — Да-да-да, он осторожный человек.

— Очень осторожный человек, — подхватил Кленнэм. — Идеал осторожности.

По-видимому, осторожность мистера Панкса доставляла им какое-то особенное удовольствие.

— А теперь, — сказал Дойс, — так как время и прилив никого не ждут, мой верный товарищ, и я готов к отъезду, позвольте сказать вам одно словечко на прощание. У меня есть к вам просьба.

— Все, что вам угодно, — быстро проговорил Кленнэм, угадав по лицу Дойса, в чем дело, — кроме одного: я ни за что не соглашусь прекратить хлопоты по поводу вашего изобретения.

— А я именно об этом хотел просить вас, как вы сами догадались, — сказал Дойс.

— В таком случае я отвечаю: нет. Решительно нет! Раз начав, я добьюсь объяснений, ответственного заявления или вообще хотя бы какого-нибудь ответа от этих людей.

— Не добьетесь, — сказал Дойс, качая головой. — Помяните мое слово: не добьетесь.

— По крайней мере попытаюсь, — возразил Кленнэм. — От этого меня не убудет.

— Ну, не скажите, — заметил Дойс, положив руку ему на плечо. — Мне эти попытки принесли много неприятностей, друг мой. Они состарили меня, утомили, измучили, разочаровали. Нельзя безнаказанно испытывать свое терпение, чувствуя себя жертвой несправедливости. Мне кажется, что безуспешные хлопоты, постоянные разочарования уже отразились и на вас: вы вы-

глядите не таким бодрым, как раньше.

— Это зависит, быть может, от личных огорчений, — сказал Кленнэм, — а не от возни с чиновниками. Нет, я еще не сдался.

— Так вы не хотите исполнить мою просьбу?

— Нет и нет, — сказал Кленнэм. — Стыдно было бы мне так скоро сложить оружие, когда человек, гораздо старше меня и гораздо больше заинтересованный в деле, боролся так долго.

Видя, что его не убедишь, Даниэль Дойс пожал ему руку и, бросив прощальный взгляд на окружающие предметы, спустился вместе с Кленнэмом вниз. Он должен был отправиться в Саутгемптон и там присоединиться к своим попутчикам. Карета уже стояла у ворот, нагруженная багажом и готовая к отъезду. Рабочие, гордившиеся своим изобретателем, собрались у ворот проститься с ним.

— Счастливого пути, мистер Дойс! — сказал один из них. — Где бы вы ни были, везде скажут: вот это настоящий человек, который знает свое дело и которого дело знает; человек, который захочет сделать — и сделает; и если уж это не настоящий человек, так мы не знаем, где и искать настоящего.

Эта речь скромного работника, стоявшего в

задних рядах, за которым никто не подозревал ораторских способностей, была встречена оглушительным троекратным «ура!» и доставила оратору неувядаемую славу. Среди оглушительных криков Даниэль обратился к рабочим с сердечным: «Прощайте, ребята!», и карета почти мгновенно исчезла из виду, точно ее выдуло вихрем с подворья «Разбитые сердца».

Мистер Батист, человек, знавший, что такое благодарность, и занимавший ответственную должность, находился среди рабочих и вместе с ними кричал «ура!», насколько это возможно для иностранца. Мистер Батист сразу же выбыл из строя, и когда Кленнэм позвал его наверх прибрать книги и бумаги, едва переводил дух.

В первые минуты после отъезда — тоскливые минуты, которые следуют за разлукой, предвестницей великой последней разлуки, вечно грозящей человеку, — Артур стоял у своего стола, задумчиво глядя на полосу солнечного света. Но вскоре его мысли вернулись к теме, которая больше всего занимала его в последнее время. Он в сотый раз начал припоминать мельчайшие подробности загадочной встречи в доме матери. Он снова видел перед собой человека, который толкнул его плечом на извилистой улице; он

гнался за ним, терял из виду, снова находил во дворе дома и догонял на крыльце.

Кто так поздно здесь проходит?
Это спутник Мажолэн.
Кто так поздно здесь проходит?
Смел и весел он всегда.

Не в первый раз вспоминал он эту детскую песенку, которую напевал незнакомец, стоя на крыльце, но на этот раз бессознательно произнес ее вслух и вздрогнул, услышав следующий стих:

Цвет всех рыцарей придворных —
Это спутник Мажолэн.
Цвет всех рыцарей придворных,
Смел и весел он всегда.

Кавалетто почтительно подсказал эту строфу, думая, что Кленнэм остановился потому, что забыл слова песни.

— А, вы знаете эту песенку, Кавалетто?

— Клянусь Вакхом, да, сэр! Ее все знают во Франции. Я слышал много раз, как ее пели дети. В последний раз, когда ее я слышал, — прибавил мистер Батист, некогда именовавшийся Кавалетто, который всегда возвращался к порядку слов

речи родного языка, когда его мысли обращались к родной стране, — ее пел нежный детский голосок, милый невинный детский голосок. Altro!

— А когда я слышал ее в последний раз, — заметил Артур, — ее пел вовсе не милый и вовсе не невинный голос. — Он сказал это скорее самому себе, чем своему собеседнику, и прибавил, повторяя слова незнакомца: — Черт побери, сэр, да, я нетерпелив, это в моем характере!

— Э! — воскликнул Кавалетто с изумлением, побледнев как полотно.

— В чем дело?

— Сэр, знаете ли вы, где я слышал эту песенку в последний раз?

Со свойственной итальянцам живостью движений он очертил крючковатый нос, сдвинул глаза, взъерошил волосы, выпятил верхнюю губу, изображая густые усы, и перекинул через плечо конец воображаемого плаща. Проделав это с быстротой, невероятной для всякого, кому не случалось видеть итальянских крестьян, он изобразил на своем лице зловещую улыбку и спустя мгновение стоял перед своим другом и покровителем, бледный и испуганный.

— Ради всего святого, — сказал Кленнэм, — что это значит? Вы знаете этого Бландуа?

— Нет! — ответил мистер Батист, качая головой.

— Вы сейчас изобразили человека, который был с вами, когда вы слышали эту песню, не так ли?

— Да! — ответил мистер Батист, кивнув раз пятьдесят подряд.

— Его звали не Бландуа?

— Нет! — сказал мистер Батист. — Altro, altro, altro, altro! — Он даже замахал указательным пальцем правой руки в знак отрицания.

— Постойте, — воскликнул Кленнэм, развернув на столе объявление, — не этот ли? Вы поймете, если я прочту вслух?

— Совершенно. Вполне.

— Но все-таки смотрите и вы. Следите глазами, пока я буду читать.

Мистер Батист подошел к нему поближе, следя за каждым словом своими быстрыми глазами, выслушал все с величайшим нетерпением, хлопнул руками по объявлению, точно хотел прищелкнуть какую-нибудь вредную гадину, и воскликнул, поглядывая на Кленнэма сверкающими глазами:

— Это он! Он самый!

— Это гораздо важнее для меня, — сказал Кленнэм с волнением, — чем вы можете себе

представить. Скажите, где вы познакомились с этим человеком?

Мистер Батист медленно и с очевидным смущением отвел руки от бумаги, отступил шага на два, потер руки, точно стряхивая с них пыль, и ответил очень неохотно:

— В Марсилья… в Марселе.

— Что же он там делал?

— Сидел в тюрьме. Он — altro, это верно! — Мистер Батист подошел поближе к Кленнэму и докончил шепотом: — Убийца!

Кленнэм отшатнулся точно от удара — такой зловещий характер принимали в его глазах отношения его матери с этим человеком. Кавалетто опустился на колени и с самыми бурными жестами стал умолять выслушать, что привело его самого в такое гнусное общество.

Он рассказал Кленнэму, ничего не утаив, как попался в контрабанде, был арестован, встретился в тюрьме с этим человеком и как потом, после освобождения из тюрьмы, ушел из города, надеясь никогда больше с ним не встречаться. Как в гостинице «Рассвет», в Шалоне на Соне, его разбудил ночью тот же самый убийца, принявший фамилию Ланье, хотя его настоящее имя было Риго; как убийца предложил ему вместе искать

счастья; как он убежал на рассвете, гонимый ужасом и отвращением, и с тех пор живет под вечным опасением встречи с этим человеком. Рассказав все это, с особенным ударением и подчеркиванием слова «убийца», свойственным его языку и ничуть не уменьшавшим для Кленнэма страшное значение этого слова, он внезапно вскочил, ринулся на объявление с азартом, который у северянина был бы несомненным признаком помешательства, и воскликнул:

— Вот он! Он самый, убийца!

В своем волнении он забыл о встрече с этим самым убийцей в Лондоне. Когда он вспомнил об этом, у Кленнэма явилась надежда, что эта встреча, быть может, произошла после посещения убийцей дома его матери, но Кавалетто хорошо помнил время и место встречи, и не приходилось сомневаться, что она случилась раньше.

— Слушайте, — заявил Артур очень серьезно, — в объявлении сказано, что этот человек пропал без вести.

— Я очень рад этому! — воскликнул Кавалетто, поднимая глаза с набожным видом. — Слава богу! Проклятый убийца!

— Нет, — сказал Кленнэм, — потому что, пока я не узнаю, что с ним сталось, у меня не будет

минуты покоя.

— Довольно, благодетель, это совсем другое дело. Тысяча извинений!

— Слушайте, Кавалетто, — продолжил Кленнэм, тихонько поворачивая его за руку, так что их глаза встретились. — Я убежден, что вы искренно благодарны мне за те ничтожные услуги, которые я мог вам оказать.

— Клянусь в этом! — воскликнул Кавалетто.

— Я знаю. Если бы вы могли отыскать этого человека, или узнать, что с ним сталось, или вообще раздобыть какие-нибудь сведения о нем, то оказали бы мне величайшую услугу, за которую я был бы благодарен вам так же, как вы мне, и с гораздо большим основанием.

— Я не знаю, куда направиться! — воскликнул итальянец, поцеловав Кленнэму в порыве восторга руку. — Не знаю, с чего начать. Не знаю, к кому обратиться. Но смелей, довольно. Сейчас же примусь за поиски!

— Только никому ни слова, Кавалетто.

— Altro! — крикнул тот и очень быстро куда-то убежал.

Глава XXIII. Миссис Эффри дает условное обещание относительно своих снов

Оставшись один под впечатлением выразительных взглядов и жестов мистера Батиста, иначе Джованни Батиста Кавалетто, Кленнэм вскоре пришел в очень мрачное настроение. Напрасно он старался сосредоточить свои мысли на каком-нибудь деловом вопросе: они неизменно возвращались все к той же мучительной теме. Точно убийца, прикованный к лодке, неподвижно стоящей на глубокой светлой реке, осужденный вечно видеть сквозь струи неустанно бегущего потока тело утопленной им жертвы на дне, неподвижное и только слегка изменяющее свои ужасные очертания, то удлиняясь, то расширяясь по воле прихотливых струй, — так точно Кленнэм сквозь быстрый прозрачный поток мыслей и образов, сменявшихся одни другими, различал все тот же мрачный неподвижный предмет, от которого тщетно пытался отделаться.

Уверенность, что Бландуа, каково бы ни было его настоящее имя, действительно отъявлен-

ный негодяй, усиливала его тревогу. Хотя бы его исчезновение и объяснилось, все же оставался факт отношений его с матерью Кленнэма. Что эти отношения были тайные, что она зависела от него и боялась его, было для него несомненно. Он надеялся, что никто, кроме него, не знает об этом, но, зная это, мог ли он забыть о своих старых подозрениях и поверить, что в этих отношениях не было ничего дурного?

Ее решительный отказ вступать с ним в какие-либо объяснения по этому вопросу заставлял его ясно чувствовать свое бессилие. Он знал ее непреклонный характер. Это был просто кошмар: подозревать, что позор и бесславие угрожают ей и памяти его отца, и быть отрезанным от них точно каменной стеной и не иметь возможности явиться к ним на помощь. Цель, которая привела его домой и которую он постоянно имел в виду, встречала непреодолимое препятствие со стороны его матери в самую решительную минуту. Его опыт, энергия, деньги, кредит — все его ресурсы оказывались бесполезными. Если бы она обладала сказочной способностью превращать в камень тех, на кого глядела, то не могла бы сделать его более беспомощным (так, по крайней мере, ему казалось в его унылом настроении), чем теперь,

когда обращала на него свои непроницаемые глаза в угрюмой комнате.

Однако сведения, полученные им в этот день, побудили его действовать более решительно. Уверенный в правоте своей цели и побуждаемый сознанием грозящей опасности, он решил, если мать категорически откажется от объяснений, приняться за Эффри. Если ему удастся вызвать ее на разговор и выведать от нее все, что она могла сообщить ему по поводу тайны, тяготевшей над их домом, то, может быть, он получит возможность порвать с бездействием, которое с каждой минутой становилось для него все более и более мучительным. Придя к такому решению после всех тревог этого дня, он не стал откладывать его исполнение и в тот же вечер отправился к матери.

Когда он подошел к дому, дверь оказалась открытой и мистер Флинтуинч сидел на пороге, покуривая трубку. Это было первой неудачей. При благоприятных обстоятельствах дверь оказалась бы запертой, как обыкновенно бывало, и ему отворила бы Эффри.

— Добрый вечер, — сказал Артур.

— Добрый вечер, — сказал мистер Флинтуинч.

Дым выходил извилистой струей изо рта ми-

стера Флинтуинча, как будто проходил через всю скрюченную фигуру этого джентльмена и возвращался обратно через его скрюченную глотку, прежде чем смешаться с дымом извилистых труб и с туманами извилистой реки.

— Есть какие-нибудь известия? — спросил Артур.

— Нет никаких известий, — ответил Иеремия.

— Я говорю об иностранце, — пояснил Артур.

— Я говорю об иностранце, — сказал Иеремия.

Его кривая фигура с болтавшимися под ухом концами галстука имела такой зловещий вид, что у Кленнэма мелькнула мысль, — впрочем, уже не в первый раз, — мог ли Флинтуинч отделаться от Бландуа. Уж не его ли тайне грозила опасность быть открытой и не его ли благополучие было поставлено на карту? Он был мал ростом, сутуловат и, вероятно, не особенно силен, но крепок, как старый дуб, и хитер, как старый ворон. Такой человек, подойдя сзади к более молодому и сильному противнику и решившись покончить с ним, не теряя времени, мог бы превосходно обделать это дельце в глухом месте в позднюю пору.

Пока эти мысли, соответствовавшие мрачному настроению Кленнэма, проносились в его голове, не вытесняя другой главной мысли, мистер

Флинтуинч, поглядывая на противоположный дом, скривив шею и зажмурив один глаз, курил трубку с таким видом, как будто старался перекусить мундштук, а отнюдь не наслаждаться ею. Тем не менее он наслаждался по-своему.

— Вы будете в состоянии нарисовать мой портрет, когда придете в следующий раз, — сказал он сухо, выколачивая пепел из трубки.

Артур смутился и извинился за такое бесцеремонное рассматривание.

— Но я так озабочен этим происшествием, — прибавил он, — что голова идет кругом.

— А! Не понимаю, однако, — сказал мистер Флинтуинч самым спокойным тоном, — почему он так заботит вас.

— Нет?

— Нет, — ответил мистер Флинтуинч отрывисто и решительно, точно был представителем собачьей породы, и цапнул Кленнэма за руку.

— Так для меня ничего не значит видеть эти объявления? Знать, что имя и дом моей матери всюду упоминаются в связи с именем подобного субъекта?

— Не вижу, — возразил мистер Флинтуинч, царапая свою жесткую щеку, — почему это должно много значить для вас. Но скажу вам, что вижу

я, Артур, — прибавил он, взглянув вверх, на окна. — Я вижу свет свечи и отблеск огня из камина в комнате вашей матери.

— Что же из этого следует?

— Видите ли, сэр, — сказал мистер Флинтуинч, подвигаясь к нему винтообразным способом, — он напоминает мне, что если спящую собаку следует оставить в покое (как говорит пословица), то и сбежавшую собаку следует оставить в покое. Пусть себе бежит. Прибежит обратно в свое время.

С этими словами мистер Флинтуинч повернулся и вошел в темную переднюю. Кленнэм оставался на месте и следил за ним, пока тот чиркал спичками в маленькой боковой комнате и наконец зажег тусклую настенную лампу. Все это время Кленнэм обдумывал — почти против своей воли, — каким способом мистер Флинтуинч мог совершить свое черное дело и в каких темных углах мог запрятать его следы.

— Ну, сэр, — брюзгливо сказал Иеремия, — угодно ли вам пожаловать наверх?

— Матушка, я полагаю, одна?

— Не одна, — сказал мистер Флинтуинч, — у нее мистер Кесби с дочерью. Я курил, когда они пришли, и остался докуривать трубку.

Вторая неудача. Артур не высказал этого и отправился в комнату матери, где мистер Кесби и Флора угощались чаем, анчоусами и горячими гренками. Следы этого угощения еще виднелись на столе и на раскрасневшемся от огня лице миссис Эффри, которая стояла у камина с вилкой для поджаривания гренков в руке и напоминала аллегорическую фигуру, но выгодно отличалась от обычных изображений в этом роде ясностью аллегории.

Флора положила шляпку и шаль на кровать, очевидно, намереваясь посидеть подольше. Мистер Кесби сиял благодушием, расположившись поближе к камину. Шишки на его лучезарной голове блестели, точно масло гренков просачивалось сквозь патриарший череп, а лицо раскраснелось, как будто красящее вещество анчоусного соуса проступило сквозь патриаршую кожу. Видя, что свободной минуты все равно не улучить, Кленнэм решился поговорить с матерью немедленно.

Издавна вошло в обычай, так как она никогда не покидала этой комнаты, что те, кто хотел поговорить с ней, подкатывали ее кресло к высокому столу: тут она сидела спиной к остальным присутствующим, а ее собеседник усаживался

в уголке на стуле, который всегда стоял здесь для этой цели, — поэтому гости, привыкшие к порядкам этого дома, ничуть не удивились, когда Артур, извинившись, обратился к матери с вопросом, может ли она уделить ему несколько минут, и, получив утвердительный ответ, подкатил ее кресло к столу. Но это могло показаться странным хотя бы потому, что он уже давно не разговаривал с матерью без вмешательства третьего лица.

Итак, когда он это сделал, миссис Финчинг только начала говорить громче и быстрее, в виде деликатного намека на то, что она ничего не слышит, а мистер Кесби с безмятежно-сонливым видом принялся разглаживать свои серебристые кудри.

— Матушка, сегодня я узнал кое-какие подробности, которых вы, наверно, не знаете и о которых я считаю своим долгом сообщить вам, относительно прошлого того человека, которого видел у вас.

— Я ничего не знаю о прошлом человека, которого ты видел у меня, Артур.

Она говорила громко. Он было понизил голос, но она отвергла эту попытку к интимной беседе, как отвергала все другие, и говорила своим обычным тоном, своим обычным резким голосом.

— Я получил эти сведения не косвенным путем, а из первых рук.

Она спросила прежним тоном, намерен ли он передать ей их содержание.

— Я полагал, что вам следует знать его.

— В чем же дело?

— Он сидел в тюрьме во Франции.

Она ответила совершенно спокойно:

— Этого можно было ожидать.

— В тюрьме для уголовных преступников, матушка, по обвинению в убийстве.

Она вздрогнула, и в глазах ее мелькнуло невольное отвращение, однако она спросила, ничуть не понизив голоса:

— Кто тебе сказал это?

— Человек, который был его товарищем по заключению.

— Я полагаю, ты не знал раньше о прошлом этого человека?

— Нет.

— А его самого знал?

— Да.

— Те же отношения, что у меня и Флинтуинча к этому человеку! Сходство окажется еще ближе, если твой знакомый явился к тебе впервые с рекомендательным письмом от твоего кор-

респондента, поручившего выдать ему деньги. Скажи, так ли это было?

Артуру оставалось только сознаться, что их знакомство произошло без всяких рекомендательных писем. Выражение внимания на хмуром лице миссис Кленнэм сменилось выражением сурового торжества.

— Не суди же других так поспешно. Говорю тебе, Артур, для твоего же блага, не суди других так поспешно!

Суровый пафос, которым дышали эти слова, светился в ее взгляде. Она смотрела на него, и если раньше, когда он входил в этот дом, в его сердце таилась надежда смягчить ее, то своим взглядом она погасила всякую надежду.

— Матушка, неужели я ничем не могу помочь вам?

— Ничем.

— И вы не имеете ничего доверить мне, поручить, объяснить? Вы не хотите посоветоваться со мной? Не позволите мне лучше понять вас?

— Как у тебя хватает духу спрашивать меня об этом? Ты сам отказался от участия в моих делах. Это было твое решение, не мое. И после этого ты можешь обращаться ко мне с подобным вопросом? Ты добровольно уступил свое место

Флинтуинчу.

Взглянув на Иеремию, Кленнэм убедился, что даже самые гетры его прислушивались к их разговору, хотя он стоял беззаботно, прислонившись к стене, почесывая щеку и делая вид, что слушает Флору, которая в это время увязла по уши в хаосе разнообразнейших вещей, где макрель и тетка мистера Финчинга переплетались с майскими жуками и торговлей вином.

— Арестант, во французской тюрьме, по обвинению в убийстве, — повторила миссис Кленнэм. — Это все, что ты узнал от его товарища по заключению?

— По существу — все.

— А этот товарищ был его соучастником и тоже обвинялся в убийстве? Впрочем, нет: конечно, он отзывался о себе лучше, чем о своем товарище, об этом и спрашивать незачем. Ну, по крайней мере мне есть о чем рассказать гостям. Кесби, Артур сообщил мне…

— Остановитесь, матушка, остановитесь! — перебил он торопливо, так как в его расчеты вовсе не входило объявлять во всеуслышание то, о чем они говорили.

— Что такое? — спросила она с неудовольствием. — Что еще?

— Извините, пожалуйста, мистер Кесби, и вы, миссис Финчинг… мне нужно сказать матушке еще два слова…

Он положил руку на спинку ее кресла, так как она хотела откатить его от стола, упираясь ногой о пол. Они все еще сидели лицом к лицу. Она взглянула на сына, в то время как он торопливо обдумывал, не приведет ли огласка сведений, доставленных Кавалетто, к каким-нибудь неожиданным и непредвиденным последствиям. Он решил, что лучше избежать огласки, хотя единственным мотивом этого решения была его прежняя уверенность, что мать не сообщит об этом никому, кроме своего компаньона.

— Что же? — спросила она нетерпеливо. — Что такое?

— Я не имел в виду, матушка, что вы будете сообщать другим полученные от меня сведения. Мне кажется, лучше этого не делать.

— Ты ставишь это условием?

— Пожалуй, да.

— Помни же, ты делаешь из этого тайну, — сказала она, поднимая руку, — а не я. Ты, Артур, явился сюда с сомнениями, подозрениями и требованиями объяснений, ты же являешься сюда и с тайнами. Почему ты вообразил, что меня

интересует, где жил или чем был раньше этот человек? Какое мне дело до этого? Пусть целый свет узнает об этом, если ему интересно знать: меня это ничуть не касается. Теперь довольно, позволь мне вернуться к гостям!

Он подчинился ее повелительному взгляду и откатил кресло на прежнее место. При этом он заметил выражение торжества на лице мистера Флинтуинча, без сомнения, вызванное не Флорой. Этот результат, ясно показывавший, что все его планы и намерения обратились против него самого, убедил его сильнее, чем упорство и непреклонность матери, в тщетности его усилий. Оставалось только обратиться к его старому другу, Эффри.

Но даже приступить к исполнению этого сомнительного и малообещающего плана казалось одной из безнадежнейших человеческих задач. Она до того подпала под влияние обоих хитрецов, находилась под таким строгим наблюдением, так боялась ходить одна по дому, что поговорить с ней наедине казалось решительно невозможным.

В довершение всего миссис Эффри (надо полагать, под влиянием энергичных аргументов своего повелителя) до такой степени проник-

лась убеждением в рискованности каких-либо заявлений со своей стороны, что сидела в уголке, защищаясь своим символическим инструментом от всяких попыток подойти к ней. Когда Флора или даже сам патриарх обращались к ней с каким-нибудь вопросом, она только отмахивалась вилкой.

После нескольких неудачных попыток встретиться с ней глазами, пока она мыла и убирала посуду, Артур решил обратиться за помощью к Флоре. С этой целью он шепнул ей:

— Скажите, что вам хотелось бы осмотреть дом.

Бедная Флора, вечно пребывавшая в трепетном ожидании той минуты, когда Кленнэм вернется к годам своей юности и снова обезумеет от любви к ней, отнеслась к этому шепоту с величайшим восторгом не только потому, что радовалась вообще всякой тайне, но и потому, что за ним должно было последовать нежное объяснение, причем он, конечно, признается в своей страсти. Она тотчас начала действовать.

— Ах, эта бедная старая комната, — сказала она, оглядываясь, — всегда одинакова, миссис Кленнэм, даже трогательно видеть, только сильнее закопчена дымом, но это вполне естественно,

и со всеми нами то же будет, приятно ли нам, нет ли, вот и я, например, если не закопчена, то стала гораздо толще, а это то же самое и даже, пожалуй, еще хуже, ведь было же время, когда папа приносил меня сюда крошечной девочкой с отмороженными щеками и сажал на стул с подножкой, и я все смотрела на Артура… пожалуйста, извините, на мистера Кленнэма, тоже крошечного мальчика в курточке с огромнейшим воротником, а мистер Финчинг еще не показывался в туманной дали со своим предложением, как известный призрак в Германии, в местечке, название которого начинается на Б., — нравственный урок, который показывает, что все жизненные пути подобны дорогам в северной Англии, где добывают уголь, делают железо и все покрыто пеплом!

Испустив вздох по поводу непрочности всего земного, Флора продолжила:

— Конечно, даже злейший враг этого дома не скажет, чтобы он выглядел когда-нибудь веселым, да и не для того он был выстроен, но все-таки всегда оставался крайне внушительным, и притом с ним связаны нежные воспоминания, особенно один случай, когда мы были еще совсем глупенькие и Артур… неистребимая привычка

— мистер Кленнэм, — завел меня в старую кухню с удивительным количеством плесени и предложил спрятать меня тут на всю жизнь и кормить тем, что ему удастся спрятать от обеда, а когда будет наказан, что случалось очень часто в те блаженные времена, сухим хлебом, не будет ли неприлично или слишком смело с моей стороны, если я попрошу позволения осмотреть дом и оживить в моей памяти эти сцены.

Миссис Кленнэм, которая к посещению Флоры относилась скрепя сердце, хотя это посещение служило только доказательством доброго сердца гостьи (так как она не могла рассчитывать на встречу с Кленнэмом), сказала, что весь дом к ее услугам. Флора встала и взглянула на Артура.

— Конечно, — сказал он громко, — а Эффри нам посветит.

Эффри хотела было ответить: «Не требуйте от меня ничего, Артур!», но мистер Флинтуинч опередил ее:

— Это почему? Эффри, жена, что с тобой? Почему же нет, кляча?

Повинуясь этому приказанию, она неохотно вышла из своего угла, отдала вилку мужу и взяла от него свечку.

— Ступай вперед, дура! — сказал Иеремия. — Ку-

да вы пойдете, вниз или вверх, миссис Финчинг?

Флора ответила:

— Вниз.

— Ступай же вперед, Эффри, — сказал Иеремия, — да свети хорошенько, а не то я скачусь прямо на тебя по перилам!

Эффри возглавляла исследовательскую экспедицию. Иеремия замыкал шествие. В его намерения не входило оставлять их одних. Кленнэм оглянулся и, убедившись, что он следует за ними шагах в трех со спокойным и методическим видом, шепнул Флоре:

— Неужели нельзя избавиться от него?

Флора поспешила ответить успокоительным тоном:

— Ничего, Артур, конечно, это было бы неприлично перед молодым или чужим человеком, но при нем можете, только не обнимайте меня слишком крепко.

Не решаясь объяснить, что ему вовсе не это нужно, Артур обвил рукой ее талию.

— Какой вы послушный и милый, — сказала она, — это очень благородно с вашей стороны, но если вы обнимете меня покрепче, то я не приму этого за дерзость.

В таком нелепом положении, совершенно не

соответствовавшем его душевному настроению, Кленнэм спустился по лестнице, чувствуя, что в темных местах Флора становилась заметно тяжелее. Так осмотрели они грязную и мрачную кухню, потом бывший кабинет отца Кленнэма и старую столовую, причем миссис Эффри все время шла впереди со свечкой, безмолвная как призрак, не оборачиваясь и не отвечая, когда Артур шептал ей:

— Эффри, мне нужно поговорить с вами!

Когда они были в столовой, у Флоры явилось сентиментальное желание заглянуть в чуланчик, куда Артура часто запирали в детстве. Весьма возможно, что это желание было вызвано темнотой чуланчика, благодаря которой представлялся случай повиснуть еще тяжелее на руке Артура. Последний в полном отчаянии отворил дверь чулана, когда послышался стук в наружную дверь.

Миссис Эффри с глухим криком набросила передник на голову.

— Что такое? Тебе хочется еще порцию? — сказал мистер Флинтуинч. — Ты получишь ее, жена, ты получишь ха-а-рошую порцию! О, я тебя попотчую!

— А пока не пойдет ли кто-нибудь отворить дверь? — спросил Артур.

— А пока я пойду отворить дверь, сэр, — ответил мистер Флинтуинч с такой злобой, что видно было — делает он это только по необходимости. — Подождите меня здесь. Эффри, жена, попробуй сойти с места или пикнуть хоть слово, получишь та-акую порцию!

Как только он ушел, Артур выпустил миссис Финчинг — не без труда, потому что эта леди, совершенно превратно понявшая его намерения, приготовилась было повиснуть на нем еще сильнее.

— Эффри, теперь говорите.

— Не трогайте меня, Артур! — крикнула она отскакивая. — Не подходите ко мне. Он увидит, Иеремия увидит. Не трогайте!

— Он ничего не увидит, если я погашу свечу, — сказал Артур, приводя в исполнение эти слова.

— Он услышит вас! — крикнула Эффри.

— Он ничего не услышит, если я отведу вас в чуланчик, — возразил Артур, исполняя эти слова. — Почему вы закрываете свое лицо?

— Потому что боюсь увидеть что-нибудь!

— Вы не можете ничего увидеть в темноте, Эффри.

— Нет, могу. Еще скорее, чем при свете.

— Да почему же вы боитесь?

— Потому что дом наполнен тайнами и секретами, перешептываниями и совещаниями, потому что в нем то и дело слышатся шорохи. Я думаю, не найдется другого дома, где бы слышалось столько шорохов и шумов. Я умру от страха, если Иеремия не задушит меня раньше. Но он, наверно, задушит.

— Я никогда не слышал тут шумов, о которых стоило бы говорить.

— Ах, если бы вы пожили столько, сколько я в этом доме, так услыхали бы, — возразила Эффри, — и не сказали бы, что о них не стоит говорить. Нет, вы так же, как я, готовы были бы лопнуть из-за того, что вам не позволяют говорить. Вот, Иеремия, вы добьетесь того, что он убьет меня.

— Милая Эффри, уверяю вас, что я вижу свет отворенной двери на полу передней, и вы могли бы видеть его, если бы сняли передник с головы.

— Не смею, — сказала Эффри, — не смею, Артур. Я всегда закрываюсь, когда нет Иеремии, и даже иногда при нем.

— Я увижу, когда он закроет двери, — сказал Артур. — Вы в такой же безопасности, как если бы он был за пятьдесят миль отсюда.

— Желала бы я, чтобы он был за пятьдесят миль! — воскликнула Эффри.

— Эффри, я хочу знать, что тут такое происходит, хочу пролить свет на здешние тайны.

— Говорю же вам Артур, — перебила она, — это шорохи, шумы, шелест и шепот, шаги внизу и шаги над головой.

— Но не в одном же этом тайны?

— Не знаю, — сказала Эффри. — Не спрашивайте меня больше! Ваша прежняя зазноба здесь, а она болтушка.

Его прежняя зазноба, действительно находившаяся здесь, повиснув на его руке под углом в сорок пять градусов, вмешалась в разговор, и если не особенно толково, то горячо принялась уверять миссис Эффри, что она сохранит все в тайне и ничего не разболтает «если не ради других, то ради Артура… нет, это слишком фамильярно, — ради «Дойса и Кленнэма».

— Умоляю вас, Эффри, — вас, одну из тех, которой я обязан немногими светлыми воспоминаниями детства, — расскажите мне все ради моей матери, ради вашего мужа, ради меня самого, ради всех нас. Я уверен, что вы можете сообщить мне что-нибудь об этом человеке, если только захотите.

— Ну, так я вам скажу, Артур… — ответила Эффри. — Иеремия!

— Нет-нет, дверь еще открыта, и он разговаривает с кем-то на крыльце.

— Так я вам скажу, — повторила Эффри, прислушавшись, — что в первый раз, как он явился, он сам слышал эти шорохи и шумы. «Что это такое?» — спросил он. «Я не знаю, что это такое, — ответила я, — но постоянно их слышу». Пока я говорила это, он стоял и смотрел на меня, а сам дрожит, да!

— Часто он бывал здесь?

— Только в ту ночь да еще в последнюю ночь.

— Что же он делал в последний раз, когда я ушел?

— Хитрецы заперлись с ним в ее комнате. Когда я затворила за вами дверь, Иеремия подобрался ко мне бочком (он всегда подбирается ко мне бочком, когда хочет поколотить) и говорит: «Ну, Эффри, пойдем со мной, жена, вот я тебя подбодрю». Потом схватил меня сзади за шею, стиснул, так что я даже рот разинула, да так и проводил до постели и все время душил. Это он называет — подбодрить. О, какой он злющий!

— И больше вы ничего не видали и не слыхали, Эффри?

— Ведь я же сказала, что он меня послал спать, Артур!.. Идет!

— Уверяю вас, он все еще стоит за дверью. Но вы говорили, что тут перешептываются и совещаются. О чем?

— Почем я знаю. Не спрашивайте меня об этом, Артур. Отстаньте!

— Но, дорогая Эффри, я должен узнать об этих тайнах, иначе произойдет несчастье.

— Не спрашивайте меня ни о чем, — повторила Эффри. — Я все время вижу сны наяву. Ступайте, ступайте!

— Вы и раньше говорили это, — сказал Артур. — Вы то же самое сказали в тот вечер, когда я спросил вас, что вы делаете. Что же это за сны наяву?

— Не скажу. Отстаньте. Я не сказала бы, если б мы были одни, а при вашей старой зазнобе и подавно не скажу!

Напрасно Артур уговаривал ее, а Флора протестовала. Эффри, дрожавшая как лист, оставалась глухой ко всем увещеваниям и рвалась вон из чуланчика.

— Я скорей крикну Иеремию, чем скажу хоть слово! Я позову его, Артур, если вы не отстанете. Ну вот вам последнее слово: если вздумаете когда-нибудь расправиться с хитрецами (вам следовало бы сделать это, я вам говорила в первый же день,

когда вы приехали, потому что вы не жили здесь и не запуганы так, как я), тогда сделайте это при мне и скажите мне: «Эффри, расскажите ваши сны!» Может быть, тогда я расскажу.

Стук затворяемой двери помешал Артуру ответить. Они вернулись на то же место, где Иеремия оставил их, и Кленнэм сказал ему, что погасил свечку нечаянно. Мистер Флинтуинч смотрел на него, пока он зажигал ее снова от лампы, и хранил глубокое молчание насчет посетителя, с которым беседовал на крыльце. Быть может, его раздражительный характер требовал возмездия за скуку, доставленную этим гостем, только он страшно разозлился, увидев свою супругу с передником на голове, подскочил к ней и, ущемив ее нос между большим и указательным пальцами, повернул его так, точно собирался вывинтить прочь.

Флора, окончательно отяжелевшая, не хотела отпускать Кленнэма, пока они не осмотрели весь дом, вплоть до его старой спальни на чердаке. Хотя голова его была занята совсем другим, но все-таки он не мог не обратить внимания — и вспомнил об этом впоследствии — на спертый затхлый воздух, на густой слой пыли в верхних этажах, на дверь одной из комнат, отворявшуюся с таким трудом, что Эффри вообразила, будто за

нею кто-то прячется, и осталась при этом убеждении, хотя, осмотрев комнату, они не нашли никого. Когда, наконец, они вернулись в комнату миссис Кленнэм, она вполголоса разговаривала с патриархом, стоявшим у камина. Его голубые глаза, отполированная голова и шелковые кудри придавали необыкновенно глубокое и любвеобильное выражение немногим словам, с которыми он обратился к ним:

— Итак, вы осмотрели постройку, осмотрели постройку… постройку… осмотрели постройку.

Сама по себе эта фраза, конечно, не была перлом мудрости или благосклонности, но в устах патриарха казалась образцом того и другого, так что иному слышавшему захотелось бы даже записать ее.

Глава XXIV. Вечер долгого дня

Знаменитый муж, украшение отечества, мистер Мердль продолжал свое ослепительное шествие. Мало-помалу все начинали понимать, что человек с такими заслугами перед обществом, из которого он выжал такую кучу денег, не должен оставаться простым гражданином. Говорили, что его сделают баронетом, поговаривали и о звании пэра. Молва утверждала, будто мистер Мердль отвратил свой золотой лик от баронетства, будто он объявил лорду Децимусу, что баронетства для него мало, прибавив: «Нет, или пэр, или просто Мердль». Говорили, будто это заявление повергло лорда Децимуса в пучину сомнений, где он увяз бы по самый подбородок, если бы это было возможно для такой высокой особы, потому что Полипы, как совершенно самостоятельная группа существ в мироздании, были твердо уверены, что все подобные отличия принадлежат собственно им, и если какой-нибудь военный, моряк или юрист получал титул лорда, они единственно из снисхождения впускали его в семейную дверь и тотчас же захлопывали ее. Но (говорила молва) не одно это обстоятельство смущало Децимуса:

он знал, что несколько Полипов уже заявили права на тот же титул. Правдивая или, быть может, лживая молва во всяком случае была очень деятельна, и лорд Децимус, размышляя — по крайней мере делая вид, что размышляет, — над своим затруднительным положением, доставлял ей новую пищу, пускаясь при каждом удобном случае ковылять своей слоновой походкой по зарослям шаблонных фраз насчет колоссальных предприятий мистера Мердля, столь важных для национального богатства Англии, ее благосостояния, процветания, кредита, капитала и прочего.

Между тем старый серп времени собирал понемногу свою жатву, и вот прошло полных три месяца с того дня, как тела двух братьев-англичан были опущены в одну могилу на иностранном кладбище в Риме. Мистер и миссис Спарклер водворились на собственной квартире, в небольшом домике во вкусе Тита Полипа, истинном шедевре неудобства, с вечным ароматом позавчерашнего обеда и конюшни, но страшно дорогом, так как именно в этом месте находился центр земного шара. Водворившись в этом завидном приюте (которому действительно завидовали многие), миссис Спарклер решилась немедленно приступить к уничтожению бюста, когда приезд

посланца с печальными вестями заставил ее приостановить активные военные действия. Миссис Спарклер отнюдь не была бесчувственной и встретила печальную весть настоящим взрывом отчаяния, длившимся ровно двенадцать часов, после чего воспрянула духом и принялась обдумывать свой траур, который должен был оказаться не хуже, чем у миссис Мердль. Затем многие аристократические семьи были опечалены прискорбным известием (если верить благороднейшим источникам), и посланец уехал обратно.

Мистер и миссис Спарклер только что пообедали вдвоем в атмосфере скорби, окружавшей их, и миссис Спарклер перешла в гостиную, на кушетку. Был жаркий летний вечер. Резиденция в центре земного шара, всегда отличавшаяся спертым и затхлым воздухом, в этот вечер была особенно убийственна. Церковные колокола отзвонили, сливаясь в нестройное целое с уличным шумом, освещенные церковные окна, казавшиеся желтыми в сером тумане, угасли и потемнели. Миссис Спарклер, лежавшая на кушетке, глядя через горшки с цветами на противоположную сторону улицы, была утомлена этим зрелищем. Миссис Спарклер, поглядывавшая в другое окно,

сквозь которое виднелся на балконе ее муж, была утомлена и этим зрелищем. Миссис Спарклер, окинув взором себя самое в траурном платье, была утомлена даже этим зрелищем, хотя не так, как первыми двумя.

— Точно в колодце лежишь, — сказала миссис Спарклер, сердито меняя позу. — Господи, Эдмунд, если у тебя есть что сказать, отчего ты не говоришь?

Мистер Спарклер мог бы ответить совершенно искренно: «Жизнь моя, мне нечего сказать». Но так как этот ответ не пришел ему в голову, он только перешел с балкона в комнату и остановился подле кушетки.

— Боже милостивый, Эдмунд, — сказала миссис Спарклер, рассердившись еще сильнее, — ты совсем засунул резеду себе в нос. Пожалуйста, не делай этого!

Мистер Спарклер в рассеянности так крепко прижимал к носу веточку резеды, что, пожалуй, оправдывал это замечание. Он улыбнулся и, выбросив веточку за окно, сказал:

— Извини, милочка.

— У меня голова болит, когда я гляжу на тебя, Эдмунд, — сказала миссис Спарклер минуту спустя, поднимая на него глаза. — Ты такой

огромный при этом освещении, когда стоишь. Сядь, пожалуйста!

— Изволь, милочка, — сказал Спарклер и уселся на стул.

— Если бы я не знала, что самый длинный день в году уже прошел, — заметила миссис Спарклер, отчаянно зевая, — то подумала бы, что сегодня самый длинный день. Я не запомню такого дня.

— Это твой веер, радость моя? — спросил мистер Спарклер, поднимая с пола веер.

— Эдмунд, — простонала его супруга, — сделай милость, не задавай глупых вопросов. Чей же он может быть, если не мой?

— Да, я и думал, что это твой, — сказал мистер Спарклер.

— Так незачем было спрашивать, — возразила Фанни, а немного погодя повернулась на кушетке и воскликнула: — Боже мой, боже мой! Никогда еще не бывало такого длинного дня!

После непродолжительной паузы она встала, прошлась по комнате и вернулась на прежнее место.

— Милочка, — сказал мистер Спарклер, внезапно озаренный оригинальной мыслью, — я думаю, что ты немножко расстроена.

— О, расстроена! — сказала миссис Спарклер. —

Не говори глупостей!

— Бесценная моя, понюхай туалетного уксуса. Я часто слышал от моей матери, что он очень освежает. А ведь ты знаешь: она замечательная женщина, без всяких этаких…

— Боже милостивый, — воскликнула Фанни, снова вскакивая с кушетки, — это свыше всякого терпения! Я уверена, что такого скучного дня еще не бывало с начала мира.

Мистер Спарклер жалобно следил за ней глазами, пока она металась по комнате, и казался несколько испуганным. Разбросав во все стороны несколько безделушек и выглянув из всех трех окон на потемневшую улицу, она снова бросилась на кушетку:

— Ну, Эдмунд, поди сюда. Поди ближе, чтобы я могла достать до тебя веером, когда буду говорить, так ты лучше поймешь. Вот так, довольно. О, какой ты громадный!

Мистер Спарклер извинился, оправдываясь тем, что он не в силах исправить этот недостаток, и прибавил, что «наши ребята» (не указывая точнее, кто именно были эти ребята) обыкновенно называли его Куинбусом Флестрином или Чело-

веком-Горой Младшим [93].

— Ты бы должен был сказать мне об этом раньше, Эдмунд, — упрекнула его Фанни.

— Душа моя, — ответил польщенный мистер Спарклер, — я не думал, что это будет интересно для тебя, а то бы непременно сказал.

— Ну, хорошо. Помолчи, ради бога, — произнесла Фанни, — я сама хочу поговорить с тобой, Эдмунд, мы не можем больше жить отшельниками. Надо принять меры, чтобы не повторялись такие невыносимые вечера, как сегодняшний.

— Душа моя, — ответил мистер Спарклер, — конечно, такая чертовски красивая женщина, как ты, без всяких этаких…

— О боже мой! — воскликнула Фанни.

Мистер Спарклер был так смущен энергией этого восклицания, сопровождавшегося прыжком с кушетки и обратно, что прошло минуты две, пока он собрался с духом и объяснил:

— Я хочу сказать, дорогая моя, что твое назначение, как всякий понимает, — блистать в обществе.

— Мое назначение — блистать в обществе, — возразила Фанни с гневом, — да, конечно! А что

---

[93] Сноски: 93

Так называли лилипуты Гулливера в романе английского писателя-сатирика Джонатана Свифта (1667–1745).

же выходит на самом деле? Не успела я оправиться — со светской точки зрения — от удара, нанесенного мне смертью бедного папы и бедного дяди, хотя я не стану скрывать от себя, что смерть дяди была, пожалуй, счастливой случайностью, так как если ты не представителен, то лучше уж умереть…

— Надеюсь, ты это не про меня, душечка? — смиренно перебил мистер Спарклер.

— Эдмунд, Эдмунд, ты святого выведешь из терпения. Ведь ты же слышал, что я говорю о дяде.

— Ты так выразительно посмотрела на меня, моя милая крошечка, — сказал мистер Спарклер, — что мне стало не по себе. Спасибо, радость моя.

— Ну вот, ты сбил меня с толку, — заметила Фанни, тряхнув веером с видом покорности судьбе. — Пойду-ка я лучше спать.

— Нет, не уходи, радость моя, — попросил мистер Спарклер. — Погоди, может быть, вспомнишь.

Фанни вспоминала довольно долго, лежа на спине, закрыв глаза и подняв брови с безнадежным выражением, как будто окончательно отрешилась от всего земного. Наконец совершенно неожиданно она открыла глаза и заговорила

сухим, резким тоном:

— Да, так что же выходит на самом деле? Что выходит на деле? В то самое время, когда я могла бы блистать в обществе и когда мне хотелось бы, по самым основательным причинам, блистать в обществе, я оказываюсь в таком положении, которое до некоторой степени мешает мне являться в обществе. Право, это уж чересчур!

— Душа моя, — сказал мистер Спарклер, — мне кажется, твое положение не обязывает тебя сидеть дома.

— Эдмунд, ты просто смешон, — возразила Фанни с негодованием. — Неужели ты думаешь, что женщина в цвете лет и не лишенная привлекательности может, находясь в таком положении, соперничать в отношении фигуры с другой женщиной, хотя бы та и уступала ей во всех остальных отношениях; если ты действительно так думаешь, ты безгранично глуп.

Мистер Спарклер решился намекнуть, что на ее положение, быть может, не обратят внимания.

— Не обратят внимания! — повторила Фанни с бесконечным презрением.

— Пока, — заметил мистер Спарклер.

Не обратив внимания на эту жалкую поправку, миссис Спарклер с горечью объявила, что это

положительно слишком и что от этого поневоле захочется умереть.

— Во всяком случае, — сказала она, несколько оправившись от обиды, — как это ни возмутительно, как это ни жестоко, но приходится покориться.

— Тем более что этого следовало ожидать, — сказал мистер Спарклер.

— Эдмунд, — возразила его жена, — если ты не находишь более приличного занятия, чем оскорблять женщину, которая сделала тебе честь, выйдя за тебя замуж, женщину, которой и без того тяжело, то, я полагаю, тебе лучше идти спать.

Мистер Спарклер был очень огорчен этим упреком и нежно попросил прощения. Прощение было ему дано, но миссис Спарклер потребовала, чтобы он сел на другую сторону кушетки, у окна за занавеской, и угомонился наконец.

— Слушай же, Эдмунд, — сказала она, дотрагиваясь до него веером, — вот что я хотела сказать тебе, когда ты по обыкновению перебил меня и начал молоть вздор: я не намерена оставаться в одиночестве, и, так как обстоятельства не позволяют мне показываться в свете, я желаю, чтобы гости навещали нас, так как решительно не вынесу другого такого дня, как этот.

По мнению мистера Спарклера, этот план был весьма разумен, без всяких этаких глупостей.

— Кроме того, — прибавил он, — твоя сестра скоро приедет.

— Да, моя бесценная Эми! — воскликнула миссис Спарклер с сочувственным вздохом. — Милая крошка! Но, конечно, одной Эми еще недостаточно.

Мистер Спарклер хотел было спросить: «Да?», но вовремя догадался об опасности и сказал утвердительно:

— Да, конечно, одной Эми недостаточно!

— Нет, Эдмунд. Во-первых, достоинства этого бесценного ребенка, ее тихий кроткий характер требуют контраста, требуют жизни и движения вокруг нее, только тогда они выступят ярко, и всякий оценит их. Во-вторых, ее нужно расшевелить.

— Именно, — сказал мистер Спарклер, — расшевелить.

— Пожалуйста, не перебивай, Эдмунд! Твоя привычка перебивать, когда самому решительно нечего сказать, может хоть кого вывести из терпения. Пора тебе отучиться от этого. Да, так мы начали об Эми… Моя бедная Крошка была так привязана к папе: наверно, плакала и жалела о

нем ужасно. Я тоже горько плакала. Я была жестоко огорчена этой потерей. Но, без сомнения, Эми огорчалась еще сильнее, так как оставалась при нем до последней минуты, а я, бедняжка, даже не могла с ним проститься.

Фанни остановилась, заплакала и сказала:

— Милый, милый папа! Он был истинный джентльмен! Совсем не то, что бедный дядя! — Помолчав, она продолжила: — Мою бедную мышку нужно утешить и развлечь после таких испытаний, и после ухаживания за больным Эдуардом. Да и болезнь его, кажется, еще не кончилась и может затянуться бог знает на сколько времени. И как это неудобно для всех нас: невозможно привести в порядок дела отца. Хорошо еще, что все его бумаги запечатаны и заперты у его агентов, и дела в таком порядке, что можно подождать, пока Эдуард поправится, приедет с Сицилии и утвердится в правах наследства, или оформит завещание, или что там такое нужно сделать.

— Уж лучшей сиделки ему не найти, — осмелился заметить мистер Спарклер.

— К моему удивлению, я могу согласиться с тобой, — ответила жена, лениво обращая на него глаза, — и принять твое выражение: лучшей

сиделки ему не найти. Иногда моя милая девочка может показаться немного скучной для живого человека, но как сиделка она совершенство. Лучшая из всех Эми.

Мистер Спарклер, ободренный своим успехом, заметил, что Эдуарда здорово скрутило.

— Если «скрутило» означает «заболел», Эдмунд, — возразила миссис Спарклер, — то ты прав. Если нет, то я не могу высказать своего мнения, так как не понимаю твоего варварского языка. Что он схватил где-то лихорадку во время переезда в Рим, куда спешил день и ночь, хотя, к несчастью, не застал в живых бедного папу, или при других неблагоприятных обстоятельствах, это несомненно, если только ты это разумеешь. Верно и то, что невоздержная, разгульная жизнь вредно отразилась на нем.

Мистер Спарклер заметил, что подобный же случай произошел с некоторыми из наших ребят, схватившихся Желтого Джека [94] в Вест-Индии. Миссис Спарклер снова закрыла глаза, очевидно, не признавая наших ребят, Вест-Индии и Желтого Джека.

— Да, нужно, чтобы Эми встряхнулась, — про-

---

[94] Сноски: 94
Так называли желтую лихорадку.

должила она, снова открывая глаза, — после стольких тяжелых и скучных недель. Нужно также, чтобы она встряхнулась и рассталась с унизительным чувством, которое, как я знаю, она до сих пор таит в глубине души. Не спрашивай меня, Эдмунд, что это за чувство, я не скажу.

— Я и не собираюсь спрашивать, душа моя, — сказал мистер Спарклер.

— Так что мне придется-таки повозиться с моей кроткой девочкой, — продолжила миссис Спарклер, — и я жду не дождусь ее. Милая, ласковая Крошка! Что же касается устройства дел папы, то я интересуюсь ими не из эгоизма. Папа отнесся ко мне очень щедро, когда я выходила замуж, так что я не жду ничего или очень немногого. Лишь бы он не оставил завещания в пользу миссис Дженераль, больше мне ничего не нужно. Милый, милый папа!

Она снова заплакала, но миссис Дженераль оказалась отличным утешением. Мысль о ней живо заставила Фанни вытереть глаза.

— Одно обстоятельство утешает меня в болезни Эдуарда и заставляет думать, что бедняга не утратил здравого смысла и гордости — по крайней мере до самой смерти бедного папы, — это то, что он тотчас же расплатился с миссис Дженераль

и отправил ее восвояси. Я в восторге от этого. Я готова многое простить ему за то, что он так живо распорядился, и именно так, как распорядилась бы я сама!

Миссис Спарклер находилась еще в полном разгаре своей восторженной благодарности, когда раздался стук в дверь — стук очень странный, тихий, чуть слышный, как будто стучавший боялся нашуметь или обратить на себя внимание, — продолжительный, как будто стучавший задумался и в рассеянности забыл остановиться.

— Эй, — сказал мистер Спарклер, — кто там?

— Не Эми с Эдуардом: они не явились бы пешком и не уведомив нас, — заметила миссис Спарклер. — Посмотри, кто это.

В комнате было темно; на улице светлее благодаря фонарям. Голова мистера Спарклера, свесившаяся через перила балкона, выглядела такой грузной и неуклюжей, что, казалось, вот-вот перевесит его туловище и он шлепнется на посетителя.

— Какой-то субъект… один, — сказал мистер Спарклер. — Не разберу кто… Постой-ка!

Он снова выглянул с балкона и, вернувшись в комнату, объявил, что, кажется, это «родителева покрышка». Он не ошибся, потому что мину-

ту спустя явился его родитель с «покрышкой» в руке.

— Свечей! — приказала миссис Спарклер, извинившись за темноту.

— Для меня достаточно светло, — сказал мистер Мердль.

Когда свечи были поданы, мистер Мердль оказался в уголке, где стоял, кусая губы.

— Мне вздумалось навестить вас, — сказал он. — Я был довольно много занят в последнее время, и так как мне случилось выйти прогуляться, то вот я и решил завернуть к вам.

Видя его во фраке, Фанни спросила, где он обедал.

— Да я, собственно, нигде не обедал, — ответил мистер Мердль.

— То есть обедали же все-таки? — спросила Фанни.

— Да нет, собственно говоря, не обедал, — сказал мистер Мердль.

Он провел рукой по своему бурому лбу, точно соображая, не ошибся ли он. Фанни предложила ему закусить.

— Нет, благодарю вас, — сказал мистер Мердль, — мне не хочется. Я должен был обедать в гостях с миссис Мердль, но мне не хотелось

обедать, и я оставил миссис Мердль, когда мы садились в карету, и решил пройтись.

— Не желаете ли вы чаю или кофе?

— Нет, благодарю вас, — сказал мистер Мердль, — я заходил в клуб и выпил бутылку вина.

Тут он уселся на стул, который давно уже предлагал ему мистер Спарклер и который он тихонько толкал перед собой, точно человек, впервые надевший коньки и не решавшийся разбежаться, затем положил шляпу на соседний стул и, заглянув в нее, как будто в ней было футов двадцать глубины, сказал:

— Да, так вот мне и вздумалось навестить вас.

— Тем более лестно для нас, — сказала Фанни, — что вы не охотник до визитов.

— Н… нет, — ответил мистер Мердль, успевший тем временем арестовать самого себя под обшлагами, — я не охотник до визитов.

— Вы слишком занятой человек для этого, — сказала Фанни. — Но при такой массе занятий потеря аппетита — серьезная вещь, мистер Мердль, и вы не должны пренебрегать этим. Смотрите не заболейте.

— О, я совершенно здоров! — возразил мистер Мердль, подумав. — Я здоров, как всегда. Я почти

вполне здоров. Я здоров, не могу пожаловаться.

Величайший ум нашего века, верный своей репутации человека с малым запасом слов для собственного употребления, снова умолк. Миссис Спарклер спросила себя, долго ли намерен просидеть у них величайший ум нашего века.

— Я вспоминала о бедном папе, когда вы пришли, сэр.

— Да? Удивительное совпадение, — сказал Мердль.

Фанни не видела тут никакого совпадения, но, чувствуя себя обязанной занимать гостя, продолжала:

— Я говорила, что вследствие болезни моего брата затянулось устройство дел папы.

— Да, — сказал мистер Мердль, — да, затянулось.

— Но ведь это ничего не значит?

— Нет, — согласился мистер Мердль, осмотрев карниз комнаты, насколько это было возможно для него, — нет, это ничего не значит.

— Я об одном только хлопочу, — сказала Фанни, — чтобы миссис Дженераль ничего не получила.

— Она ничего не получит, — сказал мистер Мердль.

Фанни была в восторге, что он так думает.

Мистер Мердль снова заглянул в шляпу, точно увидел что-нибудь на дне ее, и, почесав затылок, медленно прибавил:

— О конечно, нет, нет, ничего не получит наверняка.

Так как эта тема, по-видимому, истощилась и мистер Мердль — тоже, то Фанни спросила, чтобы поддержать разговор, намерен ли он зайти за миссис Мердль и вместе с ней вернуться домой.

— Нет, — ответил он, — я возвращусь кратчайшим путем, а миссис Мердль, — он внимательно осмотрел ладони, точно старался угадать собственную судьбу, — вернется одна. Она и одна справится.

— Вероятно, — сказала Фанни.

Наступила продолжительная пауза, в течение которой миссис Спарклер полулежала на кушетке, по-прежнему закрыв глаза и подняв брови с прежним выражением отречения от всего земного.

— Однако я задерживаю вас и себя, — сказал мистер Мердль. — Мне, знаете, вздумалось навестить вас.

— Я очень рада, — отозвалась Фанни.

— Ну, так я пойду, — сказал мистер Мердль. —

Нет ли у вас перочинного ножа?

— Странно, — заметила миссис Спарклер с улыбкой, — что мне, которая редко может заставить себя написать письмо, приходится ссужать перочинным ножом такого делового человека, как мистер Мердль.

— Да? — заметил мистер Мердль. — Но мне понадобился перочинный ножик, а вы, я знаю, получили много свадебных подарков: разных мелких вещиц, ножниц, щипчиков и тому подобных. Он будет возвращен вам завтра.

— Эдмунд, — сказала миссис Спарклер, — открой (только, пожалуйста, осторожнее, ты такой неловкий) перламутровый ящичек на том маленьком столике и дай мистеру Мердлю перламутровый ножичек.

— Благодарю вас, — сказал мистер Мердль, — но нет ли у вас с темным черенком? Я бы предпочел с темным черенком.

— С черепаховым?

— Благодарю вас, да, — сказал мистер Мердль, — позвольте с черепаховым.

Эдмунд получил приказание открыть черепаховый ящичек и передать мистеру Мердлю черепаховый ножичек. Когда он исполнил это приказание, его супруга шутливо сказала вели-

чайшему уму нашего века:

— Можете даже запачкать его чернилами, я заранее вас прощаю.

— Постараюсь не запачкать, — сказал мистер Мердль.

Затем блистательный посетитель протянул свой обшлаг, в котором на мгновение исчезла рука миссис Спарклер со всеми кольцами и браслетами. Куда девалась его рука — осталось невыясненным, но во всяком случае, миссис Спарклер даже не почувствовала ее прикосновения, точно прощалась с каким-нибудь заслуженным калекой.

Чувствуя после его ухода, что длиннейший день, какие только когда-нибудь случались, пришел-таки к концу и что не бывало еще женщины, не лишенной привлекательности, которую бы так мучили олухи и идиоты, как ее, Фанни вышла на балкон подышать свежим воздухом. Слезы досады выступили на ее глазах, и вследствие этого знаменитый мистер Мердль завертелся на улице, выделывая такие прыжки, скачки и пируэты, точно в него вселилась дюжина чертей.

Глава XXV. Главный дворецкий слагает знаки своего достоинства

Великий врач давал званый обед. К обеду явилась адвокатура в полном блеске. Явился Фердинанд Полип, и был милее, чем когда-либо. Немногие из житейских путей были скрыты от доктора, и ему случалось бывать в таких мрачных закоулках, куда не заглядывал даже и епископ. Многие блестящие лондонские леди, положительно влюбленные в этого очаровательного человека, были бы шокированы его присутствием, если бы узнали, на каких картинах останавливались эти задумчивые глаза час или два назад и в каких вертепах, около чьих кроватей стояла эта спокойная фигура. Но доктор был спокойный человек, который не любил ни трубить о себе в трубы, ни заставлять трубить других. Много удивительных вещей довелось ему видеть и слышать, вся жизнь его проходила среди непримиримых нравственных противоречий, но его беспристрастное сострадание было так же невозмутимо, как милосердие божественного врача всех недугов. Он являлся, как дождь небес-

ный, одинаково к праведным и грешным и делал все то добро, которое мог сделать, не возвещая об этом на всех перекрестках.

Человек с такими знаниями и опытом, как бы он ни был сдержан, не может не быть интересным. Даже изящнейшие джентльмены и леди, которые отдаленнейшего понятия не имели о его тайнах и которые, если бы он сказал им: «Пойдемте, посмотрите то, что приходится видеть мне!» — пришли бы в ужас от этого чудовищного предложения, даже они признавали его интересным. Он приносил с собой правду жизни всюду, куда ни являлся. А крупица правды, подобно некоторым другим, не вполне естественным продуктам, придает вкус и цвет огромному количеству раствора безвкусицы.

Вследствие этого на небольших обедах доктора люди являлись всегда в наименее искусственном свете. Сознательно или инстинктивно, у гостей являлась мысль: «Вот человек, который знает нас такими, каковы мы есть, видит многих из нас ежедневно без париков и без румян, читает наши тайные мысли и замечает скрытое выражение наших лиц: нам незачем притворяться перед ним, потому что все равно он раскусит нас». И вот с гостями доктора, когда они попадали за его

круглый стол, совершалось удивительное превращение: они становились почти естественными.

Суждения адвокатуры о скоплении присяжных, называемом человечеством, были остры как бритва, но бритва не всегда удобный инструмент, и простой светлый скальпель доктора, хотя далеко не такой острый, годился для более широких целей. Адвокатура была хорошо знакома с преступностью и подлостью людей, но доктор за одну неделю мог бы лучше ознакомить ее с их добрыми и нежными чувствами, чем Вестминстерская палата [95] и все судебные округа за полстолетия. Адвокатура всегда подозревала это и, может быть, радовалась этому (так как если бы мир действительно представлял огромную судебную палату, то можно было бы пожелать скорейшего наступления великого судного дня), поэтому она любила и уважала доктора, как и все остальные.

За отсутствием мистера Мердля один стул оставался пустым, как стул Банко [96], но так как его

---

[95] Сноски: 95

Здание в Лондоне, где происходят заседания верховного суда.

[96] Сноски: 96

В трагедии Шекспира «Макбет» (1606–1607) во время пира у Макбета стул Банко, убитого Макбетом, оставался пустым, затем на нем появился призрак Банко, видимый одному Макбету.

присутствие было бы равносильно присутствию призрака, то никто о нем не пожалел. Адвокатура, вечно подбиравшая обрывки и клочки новостей из Вестминстерской палаты, как делала бы ворона, если бы была на ее месте, собрала в последний раз несколько соломинок и рассыпала перед гостями, стараясь выведать, куда дует ветер в отношении мистера Мердля. Она решилась поговорить об этом с самой миссис Мердль и проскользнула к ней со своим лорнетом и поклоном присяжным.

— Некая птичка, — начала адвокатура, всем своим видом показывая, что эта птичка была сорокой, — прощебетала нам, юристам, что число титулованных особ в этом королевстве вскоре увеличится.

— В самом деле? — спросила миссис Мердль.

— Да, — сказала адвокатура. — Разве птичка не прощебетала об этом в другое ушко, совсем не похожее на наши, в прелестное ушко? — Она выразительно взглянула на серьгу миссис Мердль.

— Вы подразумеваете мое ухо? — спросила миссис Мердль.

— Говоря — «прелестное», — ответила адвокатура, — я всегда подразумеваю вас.

— Но никогда не думаете этого искренно, —

возразила миссис Мердль (не без удовольствия, впрочем).

— О, какая жестокая несправедливость! — сказала адвокатура. — Так как же насчет птички?

— Я всегда последняя узнаю новости, — заметила миссис Мердль. — О ком вы говорите?

— Какая великолепная свидетельница вышла бы из вас! — воскликнула адвокатура. — Никакой состав присяжных (разве только если бы набрали слепых) не устоял бы против вас, хотя бы вы давали ложные показания, но вы всегда будете стоять за правду.

— Почему это, несносный человек? — спросила миссис Мердль смеясь.

Адвокатура помахала лорнетом между собой и бюстом в виде шутливого ответа и спросила самым вкрадчивым тоном:

— Как мне придется величать самую изящную, совершенную, очаровательную из женщин спустя несколько недель, а может быть, несколько дней?

— Разве ваша птичка не сказала как? — удивилась миссис Мердль. — Спросите ее об этом завтра и сообщите мне, что она скажет, в следующий раз, когда мы увидимся!

Они обменялись еще несколькими шутками

в таком же роде, но, при всей своей тонкости, адвокатура должна была отъехать ни с чем. Со своей стороны, доктор, провожая миссис Мердль в переднюю и помогая ей одеться, сказал с обычной для него спокойной прямотой:

— Могу я спросить, справедливы ли слухи насчет Мердля?

— Милейший доктор, — ответила она, — я сама хотела предложить вам именно этот вопрос.

— Мне? Почему же мне?

— Право, мне кажется, что мистер Мердль доверяет вам более, чем кому бы то ни было.

— Напротив, он мне не сообщает решительно ничего, даже по моей специальности. Вам, разумеется, известны эти слухи?

— Разумеется, известны. Но вы знаете, что за человек мистер Мердль, как он молчалив и сдержан. Уверяю вас, мне неизвестно, на чем основываются эти слухи. Я буду очень рада, если они оправдаются, не стану отрицать, да вы бы и не поверили мне.

— Конечно, — сказал доктор.

— Но верны ли они, верны ли хоть отчасти или совершенно неверны — это я решительно не могу сказать. Досадное положение, нелепое положение, но вы знаете мистера Мердля и не

должны удивляться.

Доктор не удивился, а проводил ее до кареты и пожелал спокойной ночи. С минуту он постоял в подъезде, глядя на удаляющийся элегантный экипаж, затем вернулся к гостям. Вскоре они разошлись, и он остался один. Будучи любителем литературы (слабость, в которой он не считал нужным оправдываться), он уселся за книгу.

Часы на письменном столе показывали без нескольких минут двенадцать, когда у двери раздался звонок. Будучи очень простым и скромным человеком, доктор уже отослал прислугу спать, так что должен был сам спуститься и отворить двери. Там оказался человек без шляпы и пальто, с засученными до самых плеч рукавами. Сначала доктор подумал, что незнакомец участвовал в какой-нибудь драке, тем более что он был очень взволнован и с трудом переводил дух, но, вглядевшись внимательнее, убедился, что одежда на нем в полном порядке за исключением засученных рукавов.

— Я из заведения теплых ванн, сэр, на соседней улице.

— Что там случилось?

— Будьте добры пожаловать туда, сэр. Мы нашли это на столе.

Он протянул доктору клочок бумаги. Доктор взглянул на него и прочел свои имя и адрес, написанные карандашом, ничего больше. Он вгляделся в почерк, посмотрел на человека, взял свою шляпу с вешалки, запер дверь на ключ и, положив ключ в карман, отправился вместе с посланным.

Когда они явились в заведение теплых ванн, все тамошние служащие собрались на крыльце и в коридорах, поджидая доктора.

— Пожалуйста, чтоб не было посторонних, — сказал он громко хозяину и прибавил, обращаясь к посланному: — А вы, мой друг, проводите меня прямо на место.

Посланный поспешил вперед по коридору мимо вереницы маленьких комнат и остановился в дверях одной из них, в самом конце коридора. Доктор последовал за ним.

В этой комнате находилась ванна, из которой только что наскоро выпустили воду. В ванне лежало, точно в гробу или саркофаге, прикрытое второпях простыней и одеялом тело человека неуклюжего сложения, с квадратной головой и грубыми, вульгарными чертами лица. Окно на потолке было открыто, чтобы выпустить пар, но часть пара сгустилась в водяные капли, и те

струились по стенам и выступали на лице покойника.

В комнате было еще жарко, мрамор ванны еще не остыл, но лицо и туловище умершего уже похолодели. Белое мраморное дно ванны было испещрено зловещими красными струйками. На закраине ванны валялся пустой пузырек от лауданума и перочинный нож с черепаховым черенком, запачканный явно не чернилами.

— Разрез яремной вены, быстрая смерть, умер по меньшей мере полчаса назад.

Эти слова доктора быстро облетели все коридоры и номера, прежде чем он успел окончить осмотр тела и вымыть руки, от которых побежали в воде такие же красные струйки, как на мраморном полу ванны.

Он взглянул на одежду, лежавшую на диване, на карманные часы, бумажник и записную книжку на столе. Ему бросился в глаза сложенный листок бумаги, торчавший из записной книжки. Он посмотрел на него, вытянул немного дальше из книжки, сказал спокойно: «Это адресовано мне», развернул и прочел.

Ему не пришлось отдавать распоряжения насчет тела. Служащие при ванных знали, что нужно делать; вскоре явилась полиция, завла-

дела покойником и тем, что было прежде его собственностью, и проделала все, что требуется, так же спокойно, как часовщик заводит часы. Доктор был расстроен и взволнован, но все равно рад выйти на свежий ночной воздух и даже, несмотря на привычку к печальным житейским сценам, посидеть на крыльце.

Адвокатура жила недалеко от него, и, подойдя к ее дому, он увидел свет в комнате, где его друг засиживался до позднего часа за работой. Так как в отсутствие адвокатуры комната всегда была темна, доктор решил, что адвокатура дома и еще не улеглась спать. В самом деле, этой трудолюбивой пчеле предстояло завтра добиться оправдательного приговора, вопреки очевидным уликам, и сейчас она плела сети для господ присяжных.

Стук доктора удивил адвокатуру, но так как ей тотчас пришло в голову, что кто-нибудь пришел к ней заявить о том, что его собираются ограбить или вообще опутать каким-нибудь способом, то она спустилась и отворила дверь, не теряя времени. Перед этим она облила себе голову холодной водой, рассчитывая, что это поможет ей завтра ошпарить присяжных, и расстегнула воротничок рубашки, чтобы свободнее было душить свидетелей противной стороны, так что явилась перед

доктором в довольно растерзанном виде. Увидев доктора, которого отнюдь не ожидала, она изумилась и спросила:

— Что случилось?

— Помните, вы спрашивали меня, что за болезнь у Мердля?

— Странный вопрос. Да, помню.

— Я сказал вам, что не могу определить ее.

— Да, сказали.

— Теперь я знаю, что это за болезнь.

— Бог мой! — воскликнула адвокатура, отшатнувшись и хлопнув доктора по плечу. — И я знаю. Вижу по вашему лицу.

Они вошли в комнату, и доктор вручил адвокатуре записку. Адвокатура прочла ее раз пять подряд. Записка была коротенькая, но, очевидно, требовала серьезного и напряженного внимания. Адвокатура не находила слов, чтобы выразить свое сожаление по поводу того, что ей не удалось найти ключа к этой загадке. Самый маленький ключик, говорила она, помог бы ей овладеть этим делом, а какое дело-то, если бы за него взяться хорошенько!

Доктор взялся сообщить эту новость на Харли-стрит. Адвокатура не могла сразу вернуться к умасливанию самых просвещенных и заме-

чательных присяжных, каких ей когда-либо случалось видеть на этой скамье, присяжных, с которыми, она смеет уверить своего ученого друга, бесполезно прибегать к пошлой софистике и на которых не подействует злоупотребление профессиональным искусством и ловкостью (этой фразой она собиралась начать свою речь), и потому вызвалась идти с доктором, сказав, что подождет его на улице, пока он будет в доме. Они отправились туда пешком, чтобы успокоиться на свежем воздухе, и крылья рассвета уже разгоняли ночную тьму, когда доктор постучал у подъезда.

Лакей всех цветов радуги поджидал своего барина, то есть спал перед двумя свечами и газетой, опровергая тем самым данные теории вероятности о пожарах, происшедших вследствие неосторожности. Когда он проснулся, доктору пришлось еще дожидаться главного дворецкого. Наконец эта благородная личность явилась в столовую во фланелевом халате и туфлях, но в галстуке и со всей важностью главного дворецкого. Было уже утро, и доктор отворил ставни одного из окон, чтобы осветить комнату.

— Позовите горничную миссис Мердль и велите ей разбудить миссис Мердль и сообщить ей как можно осторожнее, что я хочу ее видеть. Я

принес ей ужасную новость.

Так сказал доктор главному дворецкому. Последний, явившийся со свечкой в руке, велел лакею унести ее, затем с достоинством подошел к окну, глядя на доктора с его новостями совершенно так, как глядел на обеды, происходившие в этой комнате.

— Мистер Мердль умер.

— Я желаю получить расчет через месяц, — сказал главный дворецкий.

— Мистер Мердль покончил с собой.

— Сэр, — сказал главный дворецкий, — это очень неприятно для человека в моем положении, так как может повредить моей репутации. Я желаю получить расчет немедленно.

— Неужели вас не только не трогает, но и не удивляет эта новость? — спросил доктор.

Главный дворецкий, невозмутимый и холодный, как всегда, ответил на это следующими достопамятными словами:

— Сэр, мистер Мердль никогда не был джентльменом, и никакой неджентльменский поступок со стороны мистера Мердля не может меня удивить. Прикажете послать вам кого-нибудь или отдать какие-нибудь распоряжения, прежде чем я оставлю этот дом?

Вернувшись к адвокатуре, доктор сообщил ей в двух словах, что не рассказал всего миссис Мердль, а к тому, что рассказал, она отнеслась довольно спокойно. В ожидании доктора адвокатура измыслила остроумнейшую ловушку для присяжных. Покончив с этим делом, она могла заняться недавней катастрофой, и оба тихонько пошли домой, обсуждая ее с разных точек зрения. Прощаясь у докторского подъезда, они взглянули на ясное небо, к которому мирно поднимались струйки дыма из немногих затопленных печей, и голоса рано поднявшихся горожан, затем оглянулись на громадный город и подумали: «Если бы все эти сотни и тысячи спящих людей могли узнать в настоящую минуту о постигшем их разорении, какой ужасный хор проклятий негодяю поднялся бы к небесам!»

Слух о смерти великого человека распространился с изумительной быстротой. Сначала оказалось, что он скончался от всех известных доселе болезней и нескольких новых, изобретенных специально для данного случая. У него с детства была водянка, он унаследовал расположение к ней от деда, ему каждое утро в течение восемнадцати лет делали операцию, у него то и дело происходили разрывы важных сосудов,

лопавшихся как ракеты, его легкие были не в порядке, его сердце было не в порядке, его мозг был не в порядке. Пятьсот человек, которые сели за завтрак, ничего не зная об этом деле, к концу завтрака были уверены, будто сам доктор сообщил им лично в конфиденциальной беседе, как он сказал мистеру Мердлю: «Смотрите, в один прекрасный день вы погаснете разом, как свечка», а мистер Мердль ответил: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!». Часам к одиннадцати гипотеза о какой-то болезни мозга одержала верх над остальными, а в полдень «какая-то болезнь» превратилась в «несомненный паралич».

Паралич мозга до того пришелся по вкусу публике, что, по всей вероятности, продержался бы весь день, если бы адвокатура не рассказала в половине десятого в суде о том, как было дело. Вследствие этого начала передаваться из уст в уста весть о самоубийстве мистера Мердля и к часу пополудни облетела весь город. Теория паралича, однако, не потеряла кредита — напротив, утвердилась прочнее, чем когда-либо. На всех перекрестках морализировали по поводу паралича. Люди, пытавшиеся нажить деньги, но не сумевшие сделать этого, говорили: «Вот оно

как! Вот что значит отдаться наживе, сейчас же схватишь паралич мозга!» Лентяи оборачивали этот случай в свою пользу. «Видите, — говорили они, — вот что значит работать, работать, работать! Заработаешься, переутомишься, хвать — паралич мозга, и был таков!» Эти соображения высказывались в самых разнообразных кругах, но главным образом среди младших клерков и пайщиков, никогда не подвергавшихся именно этого рода опасности. Они все до единого заявляли, что до конца дней своих не забудут этого предостережения и будут вести свои дела так, чтобы избежать паралича мозга и прожить долгие годы на утешение друзьям.

Но ко времени открытия биржи паралич куда-то стушевался и зловещие слухи распространились по всем румбам компаса. Сначала они передавались вполголоса и не шли дальше сомнений, точно ли богатство мистера Мердля так велико, как говорили, не представится ли временного затруднения «реализовать» его, не приостановятся ли даже на короткое время (например, на месяц или около того) платежи удивительного банка. Чем громче раздавались слухи — а они становились громче с каждой минутой, — тем более грозный характер прини-

мали. Откуда взялся мистер Мердль, каким путем поднялся из ничего на такую высоту — этого никто не мог объяснить. Вспомнили, что он был, в сущности, грубый невежда, что он никогда никому не взглянул прямо в глаза, что доверие, которым он пользовался со стороны такой массы людей, было совершенно непостижимо, что у него никогда не было собственного капитала, что предприятия его были страшно рискованны, а расходы колоссальны. Мало-помалу к концу дня слухи приняли определенный характер. Он оставил письмо доктору, доктор получил его, завтра оно будет передано следователю, и громовой удар разразится над множеством людей, им обманутых. Масса людей всевозможных профессий и занятий разорены дотла его банкротством; старики, прожившие весь свой век в довольстве, будут каяться в своем легковерии в работном доме; легионы женщин и детей осуждены на жалкую будущность по милости этого чудовищного негодяя. Каждый, кто пировал за его пышным столом, окажется его соучастником в разорении бесчисленных семейств; каждый раболепный поклонник золотого тельца, помогавший возвести его на пьедестал, должен будет сознаться, что лучше бы ему было служить дьяволу. И слухи,

раздаваясь все громче и громче, подкрепляемые все новыми и новыми данными, подтвержденные в вечерних газетах, превратились к ночи в такой страшный рев, что, казалось, наблюдатель, взобравшийся на колокольню Святого Павла, мог бы видеть оттуда, как воздух содрогается от имени Мердля и сопровождающих его проклятий.

К этому времени узнали, что болезнь покойного мистера Мердля была попросту плутовство и мошенничество. Он, предмет всеобщего и необъяснимого поклонения, почетный гость на пирах великих мира сего, феникс, украшавший собой вечера великосветских дам, победитель сословных предрассудков, укротитель аристократической гордости, патрон из патронов, торговавшийся из-за титула с главой министерства околичностей, получивший за десять-пятнадцать лет больше отличий, чем их досталось за два столетия скромным благодетелям общества — столпам науки и искусства, за которых свидетельствовали их произведения, он, восьмое чудо света, новая звезда, за которой шли с дарами новые волхвы, пока она не остановилась над трупом в мраморной ванне и не погасла, он был попросту величайший плут и величайший мошенник, какой когда-либо ускользал от виселицы.

Глава XXVI. Следы урагана

Возвещая о себе шумным дыханием и громким топотом ног, мистер Панкс ворвался в контору Артура Кленнэма. Следствие было закончено, письмо опубликовано, банк лопнул, другие соломенные сооружения вспыхнули и превратились в дым. Прославленный пиратский корабль взлетел на воздух среди целого флота кораблей и шлюпок всех рангов и размеров, и на море ничего не было видно, кроме пылающих обломков корпуса, пороховых погребов, взлетающих на воздух, пушек, стреляющих без людей и разрывающих на клочки своих и чужих, утопающих пловцов, выбивающихся из сил, трупов и акул.

Обычного порядка в мастерской и в помине не было. Нераспечатанные письма, нерассортированные бумаги валялись грудами на столе. Среди этих явных признаков подорванной энергии и утраченных надежд хозяин конторы сидел на своем обычном месте, скрестив руки на столе и опустив на них голову.

Мистер Панкс ворвался в контору, взглянул на Кленнэма и остановился. Спустя минуту руки мистера Панкса тоже лежали на столе, голова

мистера Панкса также лежала на руках, и так они просидели несколько минут, молча и не двигаясь, разделенные пространством маленькой комнаты.

Мистер Панкс первый поднял голову и заговорил:

— Это я уговорил вас, мистер Кленнэм, я. Говорите что хотите. Вы не можете ругать меня сильнее, чем я сам себя ругаю, не можете выругать сильнее, чем я того заслуживаю.

— О Панкс, Панкс, — возразил Кленнэм, — что вы говорите! А я чего заслуживаю?

— Лучшей участи, — сказал Панкс.

— Я, — продолжил Кленнэм, не обращая внимания на его слова, — я, который разорил своего компаньона! Панкс, Панкс, я разорил Дойса, честного, работящего, неутомимого старика, который всю жизнь пробивал себе дорогу своим трудом, человека, который испытал столько разочарований и сохранил живой и бодрый дух, человека, которому я так сочувствовал, которому надеялся быть верным и полезным помощником; я разорил его, навлек на него стыд и позор, разорил, разорил его!

Душевная мука, изливавшаяся в этих словах, была так ужасна, что Панкс схватился за волосы

и принялся рвать их в совершенном отчаянии.

— Ругайте меня! — восклицал он. — Ругайте меня, сэр, или я что-нибудь сделаю над собой. Говорите: «Дурак, мерзавец!» Говорите: «Осел, как тебя угораздило пойти на такое дело, животное, что ты затеял?» Задайте мне перцу! Скажите мне что-нибудь оскорбительное!

В течение всего этого времени мистер Панкс беспощадно терзал свои жесткие волосы.

— Если бы вы не поддались этой роковой мании, Панкс, — сказал Кленнэм скорее с состраданием, чем с упреком, — было бы гораздо лучше для вас и для меня.

— Еще, сэр! — крикнул Панкс, скрипя зубами в припадке раскаяния. — Задайте мне еще!

— Если бы вы никогда не брались за эти проклятые вычисления и не выводили итогов с такой адской точностью, — простонал Кленнэм, — было бы гораздо лучше для вас, Панкс, и гораздо лучше для меня.

— Еще, сэр, — воскликнул Панкс, слегка отпустив свои волосы, — еще, еще!

Кленнэм, однако, высказал все, что хотел сказать, и, увидев, что Панкс немного успокоился, стиснул ему руку и прибавил:

— Слепые ведут слепых, Панкс! Слепые ведут

слепых! Но Дойс, Дойс, Дойс, мой разоренный компаньон!

Он снова упал головой на стол. Некоторое время длилось молчание, и Панкс опять первый нарушил его:

— Не ложился в постель, сэр, с тех пор как это началось. Где только не был: надеялся, нельзя ли спасти хоть крохи. Все напрасно. Все погибло. Все пошло прахом!

— Знаю, — сказал Кленнэм, — слишком хорошо знаю.

Мистер Панкс ответил на это стоном, исходившим, казалось, из самых недр его души.

— Не далее как вчера, Панкс, — сказал Артур, — не далее как вчера, в понедельник, я окончательно решился продать, реализовать акции.

— Не могу сказать этого о себе, сэр, — ответил Панкс. — Но удивительно, как много людей продали бы акции, по их словам, именно вчера из всех трехсот шестидесяти пяти дней в году, если бы не было поздно.

Его фырканье, обыкновенно казавшееся таким смешным, звучало теперь трагичнее всякого стона, и весь он с головы до ног был такой несчастный, растерзанный, растрепанный, что мог бы сойти за подлинный, но сильно запачканный

эмблематический портрет самого горя.

— Мистер Кленнэм, вы поместили… все состояние?

Он запнулся перед двумя последними словами и выговорил их с большим трудом.

— Все.

Мистер Панкс снова вцепился себе в волосы и дернул их с таким ожесточением, что вырвал несколько клочьев. Посмотрев на них с выражением безумной ненависти, он спрятал их в карман.

— Мой путь ясен, — сказал Кленнэм, утерев несколько слезинок, медленно катившихся по его лицу. — Я должен исправить свои грехи насколько могу. Я должен восстановить репутацию моего несчастного компаньона. Я не должен оставлять для себя ничего. Я должен уступить нашим кредиторам хозяйские права, которыми злоупотребил, и посвятить остаток дней моих исправлению моей ошибки — или моего преступления, — насколько это возможно.

— Нельзя ли как-нибудь обернуться, сэр?

— И думать нечего. Никак не обернешься, Панкс. Чем скорее я передам дело в другие руки, тем лучше. На этой неделе предстоят платежи, которые все равно приведут к катастрофе через

несколько дней, если бы даже мне удалось отсрочить их, сохранив в тайне то, что мне известно. Я всю ночь думал об этом: остается только ликвидировать дело.

— Но вы один не справитесь, — сказал Панкс, лицо которого покрылось потом, как будто все пары, которые он выпускал, тотчас же сгущались в капли. — Возьмите в помощники какого-нибудь юриста.

— Пожалуй, это будет лучше.

— Возьмите Рогга.

— Дело это не особенно сложное. Он исполнит его не хуже всякого другого.

— Так я притащу к вам Рогга, мистер Кленнэм.

— Если вас не затруднит. Я буду вам очень обязан.

Мистер Панкс немедленно нахлобучил шляпу и запыхтел в Пентонвиль. Пока он ходил за Роггом, Артур ни разу не поднимал головы от стола и все время оставался в той же позе. Мистер Панкс привел с собой своего друга и советника по юридическим вопросам, мистера Рогга. По пути мистер Рогг имел немало случаев убедиться, что мистер Панкс пребывает в расстроенных чувствах, и потому решительно отказался приступить к деловому совещанию, пока этот

последний не уберется вон. Мистер Панкс, совершенно убитый и покорный, повиновался.

— В таком же приблизительно состоянии была моя дочь, когда мы предъявили иск Баукинсу о нарушении обещания жениться, в котором она была истицей, — заметил мистер Рогг. — Он слишком сильно и непосредственно заинтересован в этом деле. Он не в силах совладать со своими чувствами. В нашей профессии нельзя иметь дело с человеком, который не в силах совладать со своими чувствами. — Снимая перчатки и укладывая их в шляпу, он раза два взглянул искоса на Кленнэма и заметил сильную перемену в его наружности. — С сожалением замечаю, сэр, — сказал он, — что вы тоже поддаетесь своим чувствам. Пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого. Несчастье, может быть, велико, но следует смотреть ему прямо в лицо.

— Если бы я потерял только свои собственные деньги, мистер Рогг, — ответил Кленнэм, — то был бы гораздо спокойнее.

— В самом деле, сэр? — сказал мистер Рогг, с веселым видом потирая руки. — Вы удивляете меня. Это странно, сэр. Вообще говоря, опыт показал мне, что люди особенно дорожат своими собственными деньгами. Я встречал людей, ко-

торые ухлопывали солидные суммы чужих денег и переносили это несчастье мужественно, очень мужественно.

С этим утешительным замечанием мистер Рогг уселся на стул около стола и приступил к делу.

— Теперь, мистер Кленнэм, с вашего позволения, займемся делом. Посмотрим, как оно обстоит. Вопрос тут очень простой, обыкновенный, прямой, подсказанный здравым смыслом вопрос: что мы можем сделать для себя?

— Этот вопрос не имеет смысла для меня, мистер Рогг, — сказал Артур. — Вы с самого начала впадаете в недоразумение. Мой вопрос, что могу я сделать для моего компаньона, насколько могу я исправить нанесенный ему ущерб.

— Знаете, сэр, — возразил мистер Рогг убедительным тоном, — я боюсь, что вы до сих пор даете слишком много воли своим чувствам. Мне не нравится слово «исправить». Простите меня, но я еще раз позволю себе предостеречь вас: не давайте воли своим чувствам.

— Мистер Рогг, — сказал Кленнэм, не желая отступаться от своего решения, к удивлению мистера Рогга, который не ожидал такого упорства от человека в отчаянном положении, — насколько я могу понять, вы не одобряете принятого мной

решения. Если это обстоятельство отбивает у вас охоту взяться за мое дело, очень жаль, но я буду искать другого помощника. Во всяком случае, я должен предупредить вас, что спорить со мной об этом совершенно бесполезно.

— Очень хорошо, сэр, — ответил мистер Рогг, пожимая плечами. — Очень хорошо, сэр. Раз дело должно быть сделано кем-нибудь, то пусть оно будет сделано мной. Вот принцип, которого я держался в деле против Баукинса. Того же принципа держусь я и в других делах.

После этого Кленнэм объяснил мистеру Роггу свой взгляд на это дело. Он сказал мистеру Роггу, что его компаньон — человек прямодушный и чистосердечный и что во всех своих действиях он, Кленнэм, руководился уважением к характеру и чувствам своего компаньона. Он сообщил, что его компаньон находится за границей по одному важному делу и что это обстоятельство тем более побуждает его, Кленнэма, принять на себя всю ответственность за необдуманный поступок и публично освободить своего компаньона от всякой ответственности, так как малейшее подозрение, набрасывающее тень на его честность и порядочность, может помешать успешному окончанию этого предприятия. Он заявил мистеру

Роггу, что единственное удовлетворение, которое он может дать, — это снять со своего компаньона всякую моральную ответственность и объявить публично и без оговорок, что он, Артур Кленнэм, по собственной воле и вопреки предостережению своего компаньона, поместил оборотный капитал фирмы в дутые предприятия, которые недавно лопнули; что его компаньон более, чем кто-либо, оценит это удовлетворение, и что с этого удовлетворения и нужно начать. С этой целью он намерен напечатать объявление, уже составленное им, и не только распространить его среди тех, кто имел дела с фирмой, но и опубликовать в газетах. Одновременно с этой мерой (слушая о ней, мистер Рогг только ежился и гримасничал, переминаясь, точно у него зудели ноги) он напишет ко всем кредиторам фирмы письма, в которых торжественно снимет ответственность со своего компаньона; сообщит, что дела фирмы приостанавливаются, пока он не уяснит себе, какого удовлетворения требуют кредиторы, и не спишется со своим компаньоном, и в заключение смиренно предоставит себя в их, кредиторов, распоряжение. Если, убедившись в невиновности его компаньона, кредиторы согласятся на сделку, которая даст возможность фирме продолжать

свои операции, то он уступает свой пай в виде вознаграждения за причиненные затруднения и убытки компаньону, а сам будет просить позволения остаться при мастерской в качестве клерка на самом маленьком жалованье.

Мистер Рогг понимал, что всякие увещевания бесполезны, но судороги в лице и зуд в ногах требовали облегчения, и он не мог удержаться от замечания.

— Я не возражаю, сэр, — сказал он, — я не спорю с вами. Я буду сообразоваться с вашими желаниями, сэр, но сделаю одно маленькое замечание.

Затем мистер Рогг изложил, не без многословия, существенные пункты своего замечания. Они заключались в следующем: весь город, даже, можно сказать, вся страна находится под первым впечатлением катастрофы, и озлобление против ее жертв будет очень сильно: те, кто не дался в обман, без сомнения, будут страшно негодовать на них за то, что они оказались такими недогадливыми; те же, кто дался в обман, без сомнения, найдут для себя извинения и оправдания, но только для себя, а не для других пострадавших, не говоря уже о том, что каждый отдельно пострадавший сумеет убедить себя, к своему великому негодованию, что он только следовал примеру

других, и, стало быть, виноваты эти другие. Поэтому заявление Кленнэма, сделанное в такое время, без сомнения, навлечет на него целую бурю негодования и тем самым уничтожит возможность уступок со стороны кредиторов или соглашения между ними. Оно сделает его единственной мишенью ожесточенного перекрестного огня, который, конечно, погубит его.

На все эти соображения Кленнэм отвечал, что, даже признавая их справедливость, он не может и не хочет отказаться от своего решения публично оправдать своего компаньона. Ввиду этого он просил мистера Рогга приняться за дело не откладывая. Мистер Рогг принялся за дело, и Кленнэм, оставив для себя только книги, платье и небольшую сумму денег на расходы, отдал в распоряжение фирмы свой маленький личный капитал, хранившийся у банкира.

Объявление было сделано, и буря разразилась. Тысячи людей искали жертвы, на которую можно было бы наброситься, а эта публикация давала искомую жертву. Если уж посторонние люди были безжалостны в своем негодовании, то от потерпевших убытки вследствие крушения фирмы и вовсе нечего было ждать снисходительности. Негодующие письма, наполненные упреками, по-

сыпались от кредиторов, и мистер Рогг, который ежедневно заседал за столом и читал эти письма, спустя неделю заметил Кленнэму, что опасается предписания об аресте.

— Я должен принять все последствия своих поступков, — сказал Кленнэм. — Предписание найдет меня здесь.

На другое утро, когда он явился на подворье «Разбитые сердца», миссис Плорниш, стоявшая у дверей коттеджа «Счастливый», с таинственным видом попросила его зайти к ним. Он исполнил ее просьбу и нашел в «Счастливом» мистера Рогга.

— Я поджидал вас. Если б я был на вашем месте, сэр, то не пошел бы в контору сегодня утром.

— Почему же, мистер Рогг?

— Их целых пять штук, насколько мне известно.

— Чем скорее, тем лучше, — сказал Кленнэм. — Пусть забирают меня сейчас.

— Да, — возразил мистер Рогг, загораживая ему дорогу к двери, — но послушайте, послушайте! Они заберут вас, мистер Кленнэм, не сомневайтесь, но послушайте. В подобных случаях почти всегда лезут вперед и поднимают шум самые ничтожные кредиторы. Так и тут дело идет о ничтожном долге, простое предписание королев-

ского суда, и я имею основание думать, что вас заберут именно из-за него. Я бы не желал, чтоб меня забрали по такому предписанию.

— Почему же нет? — спросил Кленнэм.

— Я бы предпочел, чтоб меня забрали по серьезному иску, сэр, — сказал мистер Рогг. — Надо соблюдать приличия. Как ваш поверенный, я бы предпочел, чтоб вас забрали по предписанию какой-нибудь высшей судебной инстанции, если вы ничего не имеете против этого. Это гораздо эффектнее!

— Мистер Рогг, — сказал Кленнэм унылым тоном, — я желаю одного: чтобы это поскорей кончилось. Я пойду, и пусть будет что будет.

— Послушайте, сэр, — воскликнул мистер Рогг, — я приведу основательную причину! Все другое — дело вкуса, но это основательная причина. Если вас заберут из-за пустяка, сэр, то попадете в Маршалси. А вы знаете, что такое Маршалси: теснота, духота, тогда как Королевская тюрьма…

Мистер Рогг взмахнул правой рукой, обозначая этим жестом избыток простора.

— Я бы предпочел Маршалси всякой другой тюрьме, — сказал Кленнэм.

— В самом деле, сэр? — возразил мистер Рогг. — Ну, значит, это тоже дело вкуса, и мы можем

отправиться.

Он немножко обиделся, но вскоре успокоился. Они прошли на другой конец подворья «Разбитые сердца». Его обитатели особенно заинтересовались Артуром со времени его разорения, так как считали его теперь своим человеком. Многие смотрели на него из своих дверей и с чувством говорили друг другу, что он «совсем спекся». Миссис Плорниш и ее отец следили за ним со своего крыльца, сокрушенно покачивая головами.

Подходя к конторе, они не заметили никого из посторонних. Но когда они вошли, какой-то пожилой представитель закона, напоминавший заспиртованный препарат, проскользнул вслед за ними и заглянул в стеклянную дверь конторы, прежде чем мистер Рогг успел распечатать письмо.

— О! — сказал мистер Рогг, оглянувшись. — Как поживаете? Войдите! Мистер Кленнэм, это, кажется, тот самый джентльмен, о котором я упоминал.

Джентльмен объяснил, что цель его посещения — сущие пустяки, и затем предъявил предписание.

— Отправиться мне с вами, мистер Кленнэм? — вежливо спросил мистер Рогг, потирая руки.

— Благодарю вас, я лучше пойду один. Будьте добры, пришлите мне смену платья.

Мистер Рогг веселым тоном обещал исполнить его просьбу и пожал руку на прощание. Кленнэм и его провожатый спустились с лестницы, сели в первую попавшуюся карету и вскоре подъехали к старым воротам.

«Вот уж не думал, прости меня бог, что когда-нибудь попаду сюда таким образом», — подумал Кленнэм.

Мистер Чивери был дежурным, и юный Джон находился в сторожке, только что освободившись от дежурства или, наоборот, поджидая своей очереди. Оба так изумились, увидев, кто был новый арестант, как нельзя было ожидать от тюремщиков. Мистер Чивери-старший со сконфуженным видом пожал Кленнэму руку и сказал:

— Не помню, сэр, чтобы я когда-нибудь был так мало рад вас видеть.

Мистер Чивери-младший, более сдержанный, вовсе не пожал ему руки; он стоял и смотрел на него с таким странным нерешительным выражением, что даже Кленнэм не мог не заметить этого, хотя ему было совсем не до того. Спустя мгновение юный Джон скрылся в тюрьме.

Зная, что придется подождать несколько вре-

мени в сторожке, Кленнэм уселся в углу, достал из кармана письма и сделал вид, что читает их. Это не помешало ему заметить с благодарностью, как мистер Чивери выпроводил из сторожки арестантов, как сделал кому-то знак ключом, чтобы тот не входил, как выталкивал локтем других и вообще старался всячески облегчить положение Кленнэма.

Артур сидел потупившись, вспоминая о прошлом, раздумывая о настоящем, не останавливаясь ни на том ни на другом, когда чья-то рука дотронулась до его плеча. Это был юный Джон.

— Теперь мы можем идти, — сказал он.

Когда они вошли за внутреннюю железную решетку, юный Джон повернулся к нему и сказал:

— Вам нужна комната. Я приготовил для вас.

— Сердечно вам благодарен.

Юный Джон снова повернулся и повел его знакомым путем по знакомой лестнице в знакомую комнату. Артур протянул ему руку. Юный Джон взглянул на нее, взглянул на него сердито, надулся, кашлянул и сказал:

— Не знаю, могу ли я. Нет, не могу. Но я думал, что вам приятно будет поместиться в этой комнате, и приготовил ее для вас.

Кленнэм удивился этому странному пове-

дению, но когда юный Джон ушел (он ушел немедленно), удивление уступило место другим чувствам, которые эта пустая комната возбудила в его измученной душе: воспоминаниям о милом, кротком существе, когда-то освещавшем ее своим присутствием. Ему так горько было ее отсутствие в эту тяжкую минуту, так недоставало ее ласкового, любящего лица, что он отвернулся к стене и зарыдал, воскликнув: «О моя Крошка Доррит!»

Глава XXVII. Питомец Маршалси

День выдался ясный, и Маршалси совсем затихла под знойными лучами солнца. Артур Кленнэм опустился в кресло, такое же полинялое, как сами должники, и задумался.

Находясь в состоянии неестественного душевного спокойствия, которое следует обыкновенно за первыми ужасными минутами ареста, — первая перемена настроения, вызываемая тюрьмой, опасное спокойствие, от которого так много людей незаметно доходило до последней степени унижения, — Кленнэм вспомнил о некоторых эпизодах из своей прежней жизни как о событиях жизни какого-то постороннего, чуждого ему существа. Конечно, если иметь в виду место, где он находился, чувство, которое впервые привело его сюда, когда он был на воле, воспоминание о кротком существе, неразлучное с этими стенами и решетками и со всеми впечатлениями последнего периода его жизни, которых никакие стены или решетки не могли удержать, — понятно, что его мысли постоянно возвращались к Крошке Доррит. Но он сам удивлялся не тому, что вспоминает о ней, а тому, что эти воспоминания

показывали ему, какое благотворное влияние она имела на его лучшие поступки.

Никто из нас обыкновенно не дает себе отчета, кому или чему он обязан такими влияниями, пока внезапная остановка быстро летящего вперед колеса жизни не заставит нас одуматься и оглянуться на свою прошлую жизнь. Это бывает в болезни, в горе, в случае утраты любимого существа — вообще это почти всегдашний результат несчастья. То же случилось и с Кленнэмом в его несчастье и пробудило в нем глубокое и нежное чувство.

«Когда я впервые отнесся сознательно к своему существованию, — подумал он, — и наметил себе какое-то подобие цели, кого видел перед собой в неустанной работе ради чужого блага, без поддержки, в неизвестности, в борьбе с низменными препятствиями, которые обратили бы в бегство целую армию признанных героев и героинь? Слабую девушку! Когда я пытался преодолеть мою несчастную любовь и быть великодушным к человеку, который оказался счастливее меня, хотя он ничего не знал об этом великодушии и ни единым словом не выразил своей благодарности, кто служил мне примером терпения, самоотверженности, смирения, милосердия, благороднейшей

и великодушнейшей привязанности? Все та же бедная девушка! Если бы я, мужчина, со всеми преимуществами, возможностями, энергией мужчины, заглушил голос, шептавший в моем сердце, что на мне лежит обязанность исправить несправедливость, допущенную моим отцом, — чья детская фигурка с почти босыми ногами, с худенькими, вечно занятыми работой руками, в бедной одежде, едва защищавшей ее слабое тело от непогоды, встала бы передо мной живым упреком? Крошки Доррит!»

Так думал он, сидя в полинялом кресле. Вечно она, Крошка Доррит! Наконец ему стало казаться, что он терпит заслуженное наказание за то, что мало думал о ней последнее время и допустил, чтобы что-то постороннее встало между ним и светлым воспоминанием о ней.

Дверь приотворилась, и голова мистера Чивери просунулась в комнату.

— Мое дежурство кончилось, мистер Кленнэм, и я сейчас ухожу. Не нужно ли вам чего-нибудь?

— Благодарю вас. Ничего.

— Вы извините, что я отворил дверь, — сказал мистер Чивери, — но я не мог достучаться.

— Разве вы стучали?

— Несколько раз.

Тут только Кленнэм заметил, что тюрьма очнулась от своего полуденного забытья, что ее обитатели бродили по двору и что было уже далеко за полдень. Он просидел в задумчивости несколько часов.

— Ваши вещи присланы, — сказал мистер Чивери, — мой сын принесет их сюда. Я бы прислал их вам, но он хотел сам принести. Право, он хотел принести сам, потому я и не мог прислать. Мистер Кленнэм, могу я сказать словечко?

— Пожалуйста, войдите, — сказал Кленнэм, так как большая часть мистера Чивери до сих пор оставалась за дверью, и только ухо его смотрело на Кленнэма вместо глаз. У мистера Чивери была прирожденная деликатность — истинная вежливость, хотя по внешности он был настоящий тюремщик, а вовсе не джентльмен.

— Благодарю вас, сэр, — сказал мистер Чивери, оставаясь на месте, — мне нет надобности входить. Мистер Кленнэм, будьте добры, не обращайте внимания на моего сына, если вам покажется, что он малость рехнулся. У моего сына есть сердце, и его сердце на своем месте. Я и его мать знаем, что оно на самом настоящем месте, где ему надо быть.

Окончив эту загадочную речь, мистер Чивери

убрал свое ухо и затворил дверь. Минут десять спустя явился его сын.

— Вот ваш портплед, — сказал юный Джон, осторожно опуская названную вещь на пол.

— Вы очень любезны. Мне, право, совестно, что вы так беспокоитесь.

Он ушел, не дослушав, но тотчас вернулся и сказал совершенно так же, как прежде:

— Вот ваш чемодан.

— Я очень тронут вашим вниманием. Надеюсь, мы можем теперь пожать друг другу руки, мистер Джон.

Но юный Джон отступил немного назад и, обхватив запястье правой руки большим и средним пальцами левой в виде футляра, сказал прежним тоном:

— Не знаю, могу ли я. Нет, не могу.

Затем он сурово взглянул на узника, хотя в глазах его проглядывала скорее жалость.

— Почему вы сердитесь на меня, — спросил Кленнэм, — и в то же время оказываете всяческие услуги? Очевидно, между нами какое-то недоразумение. Мне очень жаль, если я нечаянно оскорбил вас чем-нибудь.

— Никакого недоразумения, сэр, — возразил Джон, вертя правую руку в футляре, очевидно,

слишком тесном для нее. — Никакого недоразумения, сэр, в чувствах, с которыми я смотрю на вас! Если бы я мог с вами справиться, мистер Кленнэм (но я не могу), и если бы вы не были в тяжелом положении (но вы в тяжелом положении), и если бы это не было против правил Маршалси (но это против правил), то эти чувства заставили бы меня скорей схватиться с вами в рукопашную тут же, не сходя с места, чем взяться за что-нибудь другое.

Артур посмотрел на него с удивлением и не без досады. «Недоразумение, очевидно, недоразумение!» Он отвернулся и с тяжелым вздохом снова опустился в потертое кресло.

Юный Джон следил за ним глазами и после непродолжительной паузы воскликнул:

— Простите меня!

— Охотно, — сказал Кленнэм, махнув рукой и не поднимая головы. — Не извиняйтесь, я не стою этого!

— Эта мебель, сэр, — сказал юный Джон кротким и мягким тоном, — принадлежит мне. Я обыкновенно даю ее на время жильцам, занимающим эту комнату, если у них нет своей мебели. Она не много стоит, но она к вашим услугам. Даром, разумеется. Я ни за что не соглашусь на

другие условия. Вы можете пользоваться ею даром.

Артур поднял голову, поблагодарил его и сказал, что не может принять такого одолжения. Юный Джон по-прежнему вертел правую руку и стоял в очевидной борьбе с самим собой.

— В чем же заключается наше недоразумение, сэр? — спросил Артур.

— Я не принимаю этого выражения, сэр, — возразил юный Джон, внезапно повышая голос. — Никакого недоразумения.

Артур снова посмотрел на него, тщетно стараясь понять, в чем дело, затем опять опустил голову. Тотчас же после этого юный Джон сказал самым кротким тоном:

— Круглый столик, сэр, который стоит около вас, принадлежал… вы знаете, кому… мне не нужно называть… он умер, настоящий джентльмен. Я купил столик у господина, которому он его подарил и который жил здесь после него. Но этот господин и в подметки ему не годился. Да и не многие господа поравняются с ним.

Артур придвинул столик поближе и облокотился на него.

— Вы, может быть, не знаете, сэр, — сказал юный Джон, — что я явился к нему без пригла-

шения, когда он был здесь, в Лондоне. То есть это он так отнесся к моему визиту, хотя все-таки был так добр, что усадил меня и осведомился о моем отце и других старых друзьях, то есть о прежних знакомых. На мой взгляд, он сильно изменился, и я так и сказал дома. Я спросил его, здорова ли мисс Эми…

— А она была здорова?

— Вы, кажется, и без меня должны бы были знать это, — ответил юный Джон, помолчав минуту с таким видом, точно проглотил огромную невидимую пилюлю. — Но раз вы предлагаете этот вопрос, то я жалею, что не могу ответить. Дело в том, что он нашел этот вопрос слишком фамильярным, и спросил: «А вам какое дело?» Тут-то я совершенно ясно понял, что напрасно затесался к нему, хотя и раньше чувствовал это. Как бы то ни было, он говорил очень хорошо, очень хорошо.

Наступило молчание, которое на минуту прервал своим замечанием юный Джон:

— И говорил и поступил очень хорошо.

Спустя несколько минут юный Джон снова прервал молчание:

— Позвольте вас спросить, сэр, если это не будет дерзостью: долго вы намерены оставаться здесь

без еды и питья?

— Я не хочу ни есть, ни пить, — ответил Кленнэм. — У меня совсем нет аппетита.

— Тем более вам следует подкрепиться, сэр, — возразил юный Джон. — Если вы просидели несколько часов без еды, потому что у вас нет аппетита, так значит, вам следует есть и пить без аппетита. Я сейчас буду пить чай в своей комнате. Не угодно ли вам зайти ко мне? Или я принесу вам сюда?

Чувствуя, что, если он откажется, юный Джон все равно принесет ему чай, и желая показать, что помнит просьбу мистера Чивери-старшего и принимает извинение мистера Чивери-младшего, Артур встал и выразил готовность отправиться пить чай к мистеру Джону. Юный Джон запер дверь его комнаты, очень ловко засунул ключ к нему в карман и повел в свои апартаменты.

Его комната находилась на верхнем этаже ближайшего от ворот здания. Это была та самая комната, куда бросился Кленнэм в день отъезда разбогатевшей семьи и где он нашел Крошку Доррит без чувств на полу. Он догадался, куда они идут, как только вступил на лестницу. Комната была заново оклеена обоями, выкрашена, уставлена удобной мебелью, но он помнил ее такой,

какой она была перед ним в ту минуту, когда он поднимал с пола бесчувственное тело.

Юный Джон сурово смотрел на него, кусая пальцы:

— Я знал, что вы помните эту комнату, мистер Кленнэм.

— Помню очень хорошо, да благословит Бог эту милую девушку.

Забыв о чае, юный Джон кусал свои пальцы и смотрел на гостя все время, пока тот оглядывал комнату. Наконец он встрепенулся, кинулся к чайной посуде, насыпал в чайник целую пригоршню чаю и потащил его заваривать на общую кухню.

Комната так красноречиво говорила Кленнэму о Крошке Доррит, несмотря на изменившиеся обстоятельства его возвращения в жалкую Маршалси, так мучительно напоминала ему о разлуке с ней, что он не мог бы совладать с собой, если бы даже не был один. Но он был один и не пытался овладеть собой. Он дотронулся до бесчувственной стены так нежно, как будто бы прикасался к Крошке Доррит, и тихонько произнес ее имя. Он подошел к окну и взглянул на тюремную стену с ее мрачными зубцами, посылая благословение туда, где жила Крошка Доррит

в богатстве и довольстве.

Юный Джон не возвращался довольно долго. Очевидно, он уходил из тюрьмы, так как, вернувшись, принес с собой масло в капустном листе, несколько тонких ломтиков вареной ветчины в другом капустном листе и корзиночку с салатом. Когда все это было расставлено на столе, они уселись пить чай.

Кленнэм пытался оказать честь угощению, но безуспешно. От ветчины его тошнило, а хлеб казался ватой.

Он насилу проглотил чашку чаю.

— Попробуйте зелени, — сказал юный Джон, подвигая к нему корзиночку.

Он взял веточку салата, но с этой приправой хлеб казался ему еще безвкуснее, а ветчина (хотя недурная сама по себе) внушала отвращение: ему казалось, что вся Маршалси пропитана ее запахом.

— Попробуйте еще зелени, сэр, — сказал юный Джон и снова подвинул к нему корзиночку.

Артуру так живо представилась птица в клетке, которую стараются развеселить, просовывая к ней зелень, намерение юного Джона смягчить этой зеленью впечатление раскаленных камней и кирпичей тюрьмы было так очевидно, что

Кленнэм сказал с улыбкой:

— Вы очень любезны, что стараетесь развеселить птицу в клетке, но мне не хочется даже зелени.

По-видимому, это отсутствие аппетита было заразительно, так как юный Джон тоже оттолкнул свою тарелку и принялся вертеть в руках капустный лист, в котором была завернута ветчина. Сложив его несколько раз так, чтобы лист мог уместиться на его ладони, он принялся мять его между ладонями, не сводя глаз с Кленнэма.

— Я думаю, — сказал он наконец, крепко стискивая свой зеленый сверток, — что если вы не хотите позаботиться о себе ради себя самого, то должны сделать это ради кого-то другого.

— Право, не знаю, кому это нужно, — возразил Артур с грустной улыбкой.

— Мистер Кленнэм, — горячо сказал Джон, — меня удивляет, что джентльмен, такой прямодушный, как вы, способен унизиться до такого ответа. Мистер Кленнэм, меня удивляет, что джентльмен, способный чувствовать глубоко, способен так жестоко относиться к моим чувствам. Уверяю вас честью, я изумлен!

Юный Джон поднялся на ноги, чтобы сильнее подчеркнуть эти слова, но тотчас опустился об-

ратно на стул и принялся катать свой лист на правом колене, не спуская негодующего взора с Кленнэма.

— Я справился с этим чувством, сэр, — сказал юный Джон. — Я победил его, зная, что оно должно быть побеждено, и решился не думать более об этом. И надеюсь, я не вернулся бы к нему, если б в эту тюрьму не явились вы в несчастный для меня час, сегодня!

В своем волнении юный Джон бессознательно перешел к выразительному стилю речей своей матери.

— Когда вы предстали передо мной, сэр, в сторожке, скорее как анчар, попавший под арест, чем как обыкновенный должник, в груди моей снова забушевал такой поток смешанных чувств, что все передо мной закружилось, и в первые минуты я точно попал в водоворот. Я выбрался из водоворота. Я боролся и выбрался из него. Перед лицом гибели всеми силами боролся я с водоворотом и выбрался из него. Я сказал себе, что если я был груб, то должен извиниться, и это извинение я принес, не останавливаясь перед унижением. А теперь, когда я завожу с вами речь о том, что для меня священнее и важнее всего на свете, вы при первом моем намеке уверты-

ваетесь и отталкиваете меня. Да, — прибавил юный Джон, — вы должны сознаться, что хотели увернуться и оттолкнуть меня.

Совершенно ошеломленный, Артур смотрел на него во все глаза, повторяя:

— Что с вами? Что вы хотите сказать, Джон?

Но Джон был в таком состоянии, когда известного рода люди решительно неспособны дать короткий и прямой ответ, и несся, закусив удила.

— Никогда, — объявил он, — нет, никогда не был я дерзок настолько, чтобы верить в успех. Я не питал, нет, не питал — почему бы мне не сознаться, если б я питал, — надежды на такое счастье, даже раньше, чем мы переговорили, даже раньше, чем между нами возникла непреодолимая преграда! Но разве из этого следует, что у меня нет ни воспоминаний, ни мыслей, ни священных чувств — ничего?

— Что вы хотите сказать? — воскликнул Кленнэм.

— Очень легко попирать мои чувства, сэр, — продолжил юный Джон, — если вы решились на это. Очень легко попирать их, но они все-таки останутся. Может быть, их нельзя было бы попирать, если б их не было. Но во всяком случае

неблагородно, нечестно, несправедливо отталкивать человека после того, как он столько боролся и из кожи лез, точно бабочка из куколки. Свет может издеваться над тюремщиком, но тюремщик все-таки человек, все-таки мужчина, кроме тех случаев, когда он женщина, как бывает, вероятно, в женских тюрьмах.

Как ни смешна была эта бессвязная речь, но в простом чувствительном характере юного Джона было столько искренности, в его пылающем лице и взволнованном дрожащем голосе чувствовалась такая глубокая обида, что Артур не мог отнестись к ней равнодушно.

Он припомнил весь предыдущий разговор, стараясь определить источник этой обиды, а юный Джон, свернув в трубочку капустный лист, разрезал его на три части и аккуратно положил на тарелку, точно какой-нибудь редкий деликатес.

— Мне кажется, — сказал Кленнэм, припомнив весь разговор до появления корзиночки с салатом, — вы намекаете на мисс Доррит?

— Именно, сэр, — ответил Джон Чивери.

— Я не понимаю вас. Надеюсь, вы не подумаете, что, говоря это, я хочу оскорбить вас, да я и раньше не хотел оскорбить вас.

— Сэр, — сказал юный Джон, — неужели у вас

хватит вероломства утверждать, будто вы не знаете и раньше не знали о моей… не смею сказать — любви… о моем обожании и поклонении мисс Доррит?

— Право, Джон, я без вероломства могу сказать, что знаю и знал об этом. Решительно не понимаю, почему вы подозреваете меня в вероломстве? Говорила вам миссис Чивери, ваша матушка, что я был у нее однажды?

— Нет, сэр, — ответил юный Джон. — В первый раз слышу об этом.

— Так я вам расскажу. Мне хотелось устроить счастье мисс Доррит, и если бы я мог предположить, что мисс Доррит разделяет ваши чувства…

Бедный Джон Чивери покраснел до кончиков ушей.

— Мисс Доррит никогда не разделяла моих чувств, сэр. Я хочу быть правдивым и честным, насколько это возможно такому ничтожному человеку, и я поступил бы подло, если бы вздумал утверждать, что мисс Доррит разделяла когда-нибудь мои чувства или подавала мне повод вообразить это; нет, никто в здравом уме не вообразил бы этого. Она всегда было гораздо выше меня во всех отношениях, точно так же, — прибавил Джон, — как и ее благородная семья.

Рыцарское чувство по отношению к ней так возвышало его, несмотря на малый рост, слабые ноги, жидкие волосы и поэтический темперамент, что никакой Голиаф [97] на его месте не мог бы внушить Артуру большего уважения.

— Вы говорите, как мужчина, Джон, — сказал он с искренним восхищением.

— Хорошо, сэр, — ответил юный Джон, проводя рукой по глазам. — Отчего же вы не последуете моему примеру?

Этот резкий и неожиданный ответ снова заставил Артура взглянуть на него с удивлением.

— Может быть, — сказал Джон, протягивая руку через чайный поднос, — это слишком резкое замечание… беру его назад. Но почему, почему? Когда я говорю вам, мистер Кленнэм: позаботьтесь о себе ради кого-то другого, почему вы не хотите быть откровенным с тюремщиком? Почему я приготовил для вас комнату, в которой, я знал, вам приятнее будет поселиться, чем в любой другой? Почему я принес ваши вещи? Я не хочу сказать, что они были тяжелы, вовсе нет. Почему я заботился о вас с самого утра? Из-за ваших достоинств? Нет. Они велики, я не сомневаюсь,

[97] Сноски: 97

По библейской легенде, воин-гигант, убитый Давидом ударом камня в лоб из пращи.

но не они побуждали меня заботиться о вас. Тут играли роль достоинства другого лица, которые имеют гораздо больше веса в моих глазах. Почему же не говорить со мной прямо?

— Поверьте, Джон, — сказал Кленнэм, — вы такой хороший малый, и я так уважаю вас, что, если моя недогадливость показалась вам обидной, я готов просить извинения. Действительно, я не сразу догадался, что вы любезно оказываете мне эти услуги как другу мисс Доррит.

— О, почему не говорить откровенно? — повторил Джон с прежним гневом.

— Поверьте же, — возразил Артур, — что я не понимаю вас. Взгляните на меня. Вспомните, в каком я положении. Подумайте, стану ли я прибавлять ко всему, в чем уже упрекаю себя, вероломство и неблагодарность по отношению к вам. Я не понимаю вас!

Мало-помалу выражение недоверия на лице Джона заменилось выражением сомнения. Он встал, подошел к окну, жестом подозвал Артура и пристально посмотрел на него.

— Мистер Кленнэм, так вы действительно не знаете?

— Чего, Джон?

— Боже, — сказал юный Джон, обращаясь к зуб-

цам на тюремной стене, — он спрашивает чего!

Кленнэм взглянул на зубцы, потом на Джона, потом опять на зубцы и опять на Джона.

— Он спрашивает чего! Мало того, — продолжил Джон, глядя на него со скорбным изумлением, — он, кажется, и впрямь не понимает. Видите вы это окно, сэр?

— Разумеется, вижу.

— Видите эту комнату?

— Ну да, разумеется, вижу и комнату.

— И стену напротив нас, и двор внизу? Все они были свидетелями этого изо дня в день, из ночи в ночь, с недели на неделю, из месяца в месяц. Я знаю это, потому что много раз видел мисс Доррит у этого окна, не замечаемый ею.

— Свидетелями чего? — спросил Кленнэм.

— Любви мисс Доррит.

— К кому?

— К вам, — сказал Джон и, дотронувшись рукой до груди Артура, вернулся на место, бросился на стул, бледный, скрестив руки, и покачал головой, глядя на Кленнэма.

Если бы он нанес Кленнэму тяжелый удар, вместо того чтобы слегка коснуться, Артур не был бы поражен сильнее. Он стоял ошеломленный, уставившись на Джона и шевеля губами, как будто

хотел и не мог выговорить: «Ко мне?» Его руки опустились, всем своим видом он напоминал человека, внезапно пробудившегося ото сна и ошеломленного известием, которого он не может сразу осмыслить.

— Ко мне! — сказал он наконец.

— Да, — простонал юный Джон, — к вам!

Кленнэм попытался улыбнуться и сказал:

— Фантазия! Вы глубоко ошибаетесь.

— Ошибаюсь, сэр! — возразил юный Джон. — Я ошибаюсь! Нет, мистер Кленнэм, не говорите этого. В чем другом — пожалуй, так как я вовсе не проницательный человек и очень хорошо знаю свои недостатки. Но мне ошибаться в том, что растерзало мое сердце так, как не растерзала бы его целая туча стрел дикарей! Мне ошибаться в том, что чуть не свело меня в могилу, которой я был бы рад, если бы только могила была совместима с табачной торговлей и чувствами отца и матери! Мне ошибаться в том, что сейчас заставляет меня достать из кармана платок и, как говорится, плакать, точно девушка, хотя я не знаю, почему слово «девушка» считается обидным: все мужчины любят девушек! Не говорите же этого, не говорите!

По-прежнему достойный уважения по своим

внутренним качествам, хотя и смешной в их проявлениях, юный Джон достал из кармана платок и вытер им глаза с тем простодушным отсутствием рисовки и ложного стыда, которое свойственно только хорошим людям. Вытерев глаза и позволив себе в виде маленькой роскоши высморкаться, он снова спрятал платок.

Кленнэм до сих пор не мог оправиться от прикосновения, ошеломившего его подобно тяжелому удару, так что с трудом собрался с мыслями, чтобы как-нибудь закончить этот разговор. Он сказал юному Джону, когда тот уложил платок обратно в карман, что отдает справедливость его великодушию и его преданности мисс Доррит. Что же касается предположения, которое он только что высказал (тут юный Джон перебил его: «Не предположение, уверяю вас»), то они, быть может, поговорят о нем в другое время, но не теперь. Он так расстроен и утомлен, что желал бы вернуться в свою комнату и остаться один. Джон не стал спорить, и Артур под тенью тюремной стены пробрался в свою комнату.

Действие удара до сих пор было так сильно, что, когда ушла грязная женщина, поджидавшая его на лестнице, чтобы постлать ему постель, и объяснившая, что ее послал мистер Чивери, «не

старый, а молодой», он бросился в потертое кресло и стиснул голову руками, точно боялся, что она лопнет. Крошка Доррит любит его. Эта весть подействовала на него сильнее, чем разорение.

Вероятно ли это? Он всегда называл ее «мое дитя», «мое милое дитя» и старался вызвать на откровенность, указывая на разницу в годах между ним и ею и говоря о себе как о старике. Но она могла и не считать его стариком. Он вспомнил, что и сам не думал так, пока розы не уплыли по реке.

У него были в числе других бумаг оба ее письма. Он достал их, перечитал и, казалось, даже услышал ее ласковый голос. Он поражал его слух своей нежностью, которая, по-видимому, согласовалась с тем, что он сейчас услышал. Потом он вспомнил ее: «Нет-нет-нет», произнесенное со спокойствием отчаяния в этой самой комнате в тот вечер, когда он намекнул ей на возможность перемены в ее судьбе и когда между ними было сказано много других слов, которые суждено было вспомнить ему теперь, в унижении, под арестом.

Нет, это невероятно.

Но эта невероятность становилась все слабее по мере того, как он думал о ней. В то же время

другой вопрос, относительно его собственных чувств, поднимался в его душе. В досаде, которую он испытывал при мысли, что она любит кого-то, в его желании выяснить этот вопрос, в смутном сознании, что, помогая их любви, он совершает нечто благородное, — не сказывалось ли во всем этом глухое чувство, которое он угасил, прежде чем оно успело разгореться? Не доказывал ли он самому себе, что не должен и думать о ее любви, не должен пользоваться ее благодарностью, должен видеть в своем неудачном опыте предостережение и упрек, считать подобного рода надежды угасшими для него навсегда, как угасла покойная дочь его друга, непрестанно напоминать себе, что время любви миновало для него, что он для этого слишком угрюм и стар?

Он поцеловал ее, найдя без чувств на полу, в тот день, когда о ней забыли с такой характерной для них небрежностью. А если бы она была в сознании, так ли бы он поцеловал ее, таким же поцелуем?

Вечер застал его за этими мыслями. Вечер застал также мистера и миссис Плорниш стучащимися в его дверь. Они принесли ему корзинку с самыми изысканными продуктами из запасов своей лавки, где так бойко шла торговля и так туго

получались барыши. Миссис Плорниш была огорчена до слез. Мистер Плорниш ласково ворчал со свойственным ему философским, но неясным направлением мыслей, что с людьми, изволите видеть, всегда так бывает: то очутятся наверху, то слетят вниз. Бесполезно и спрашивать, почему — наверху, почему — вниз: так бывает на свете, вот оно что. Ему говорили: как земной шар вертится (а он, разумеется, вертится), так и самый лучший джентльмен может повернуться вверх ногами, так что все его волосы будут, как говорится, трепаться в пространстве. Ну и ладно. Мистер Плорниш только одно может сказать: ну и ладно. Придет время, и джентльмен снова станет на ноги, и волосы его снова пригладятся, так что приятно смотреть будет. Ну и ладно!

Как уже было замечено выше, миссис Плорниш, не отличаясь философским направлением мыслей, плакала. Далее оказалось, что миссис Плорниш, не отличаясь философским направлением мыслей, была очень сообразительна. Было ли причиной этому ее душевное настроение, или ее женская догадливость, или быстрота соображения, свойственная женщинам, или недостаток быстроты соображения, свойственный женщинам, — только в дальнейшем разговоре она очень

ловко коснулась именно того, что занимало Артура.

— Вы себе представить не можете, мистер Кленнэм, — сказала миссис Плорниш, — как горюет о вас отец. Совсем убит. Голос потерял от горя. Вы знаете, как он мило поет, а сегодня за чаем ни одной нотки не мог вытянуть.

Говоря это, миссис Плорниш качала головой, утирала глаза и осматривала комнату.

— А мистер Батист, — продолжила она, — что с ним только будет, когда он узнает об этом, я уж и не знаю и представить себе не могу. Он бы давно прибежал сюда, будьте уверены, но его нет дома: ушел по вашему делу. Уж и хлопочет же он, отдыха не знает, я и то говорю ему: подивляется на вашему падрона, — закончила миссис Плорниш по-итальянски.

Она сама почувствовала изящество этого чисто тосканского оборота, хотя вовсе не была самонадеянной, а мистер Плорниш не мог скрыть своего восхищения по поводу лингвистических способностей супруги.

— Но я вам скажу, мистер Кленнэм, — продолжила добродушная женщина, — всегда найдется, за что поблагодарить судьбу, даже в несчастье, верно? Будучи в этой комнате, недолго сообра-

зить, что это такое. Вот за что, по-моему, нужно благодарить Бога — за то, что мисс Доррит за границей и не знает этого.

Артуру показалось, что она взглянула на него как-то особенно.

— Слава богу, — повторила миссис Плорниш, — что мисс Доррит в чужих краях. Надо надеяться, что она и не услышит об этом. Если бы она была здесь и увидела вас... — Миссис Плорниш повторила: — ...и увидела вас в несчастье и беде, это было бы слишком тяжело для ее любящего сердца. Не знаю, что бы еще могло огорчить ее так, как это!

Да, конечно, миссис Плорниш глядела на него с особенным выражением.

— Да! — продолжила она. — И какой проницательный мой отец, несмотря на свои годы. Сегодня после обеда он говорит мне (весь «Счастливый» может засвидетельствовать, что я ничего не прибавляю): «Мэри, хорошо, что мисс Доррит нет здесь и что она не знает об этом». Я и говорю отцу: «Правда твоя, отец!» Вот, — заключила миссис Плорниш с видом беспристрастного свидетеля, — вот какой разговор у нас был с отцом.

Мистер Плорниш, более привыкший к лаконизму, воспользовался паузой и намекнул, что

пора бы им предоставить мистера Кленнэма самому себе.

— Потому, видишь ли, старуха, я понимаю, в чем тут дело, — сказал он важным тоном и несколько раз повторил это глубокомысленное замечание, очевидно заключавшее в себе какую-то важную моральную тайну. В заключение достойная чета удалилась рука об руку.

Крошка Доррит, Крошка Доррит. Снова и снова она, Крошка Доррит!

К счастью, если это и было когда-нибудь, то прошло. Предположим, что она любила его, и он заметил бы ее любовь, и отвечал на нее любовью, — куда бы это привело ее? Опять в это гнусное место! Хорошо, что все это минуло навсегда, что она вышла или выходит замуж (смутные слухи о проектах ее отца в этом направлении достигли подворья «Разбитые сердца» одновременно с известием о свадьбе ее сестры) и что ворота Маршалси навсегда замкнулись для всяких таких возможностей.

Милая Крошка Доррит!

Оглядываясь на свое бесцветное существование, он видел, что она была в нем точкой, где как бы сливаются и исчезают параллельные линии. Все в этой перспективе вело к ее невинному обли-

ку. Он проехал тысячи миль, чтобы встретиться с ней; все эти прежние тревожные сомнения и надежды рассеялись перед ней; на ней сосредоточивались главные интересы его жизни; все доброе и радостное в этой жизни было связано с ней; вне ее не было ничего, кроме пустынного темного неба.

Томимый тоской, как и в первую ночь, которую ему пришлось провести среди этих угрюмых стен, он не мог сомкнуть глаз, предаваясь своим мыслям. Тем временем юный Джон мирно спал, предварительно сочинив и мысленно написав на подушке следующую эпитафию: «Прохожий, почти могилу Джона Чивери-младшего, скончавшегося в преклонном возрасте (каком именно — не стоит упоминать). Он встретил соперника, постигнутого бедой, и почувствовал охоту расправиться с ним, но ради той, которую любил, подавил эти злобные чувства и поступил великодушно».

Глава XXVIII. Враги в Маршалси

Общественное мнение за стенами Маршалси было против Кленнэма, да и в самой тюрьме он не приобрел друзей. Слишком удрученный своими заботами, чтобы присоединиться к обществу, собиравшемуся на дворе, слишком скромный и подавленный горем, чтобы искать развлечения в буфете, он проводил время, запершись в своей комнате, и возбудил этим недоверие в своих коллегах. Одни называли его гордецом, другие осуждали его угрюмый и нелюдимый характер, третьи презрительно отзывались о нем как о жалком трусе, раскисшем из-за долгов. Все эти обвинения, в особенности последнее, в котором видели своего рода измену принципам Маршалси, заставляли членов общежития сторониться его, и вскоре он так освоился с одиночеством, что даже на прогулку выходил только по вечерам, когда мужское население тюрьмы собиралось в клубе за выпивкой, песнями и беседами, а на дворе оставались только женщины и дети.

Заключение начинало отзываться на нем. Он чувствовал, что становится ленивым и тупым. Знакомый с влиянием тюрьмы по тем наблюде-

ниям, которые ему приходилось делать в этой самой комнате, он начинал не на шутку бояться за себя. Избегая других людей, стараясь спрятаться от самого себя, он заметно изменился. Каждый мог видеть, что тень тюремной стены уже омрачила его.

Однажды, через два с половиной или три месяца после ареста, когда он сидел над книгой, тщетно стараясь углубиться в чтение, чьи-то шаги раздались на лестнице и кто-то постучал в дверь. Он встал, отворил ее и услышал чей-то приятный голос:

— Как поживаете, мистер Кленнэм? Надеюсь, я не обеспокоил вас своим посещением.

Это был жизнерадостный молодой Полип, Фердинанд, сиявший добродушием и любезностью, хотя его веселость и непринужденность не совсем гармонировали с унылой обстановкой.

— Вы удивлены моим посещением, мистер Кленнэм, — сказал он, усаживаясь на стул, который предложил ему Артур.

— Признаюсь, даже очень удивлен.

— Не неприятно, надеюсь?

— Никоим образом.

— Благодарю вас. Право, — сказал обязательный молодой Полип, — мне было очень неприятно

узнать, что вам пришлось временно уединиться в этом помещении, и я надеюсь (говоря между нами, конечно), что наше министерство тут ни при чем.

— Ваше министерство?

— Да, министерство околичностей.

— Я отнюдь не могу обвинять в моих неудачах это замечательное учреждение.

— Клянусь жизнью, — воскликнул бодрый молодой Полип, — я душевно рад это слышать! Вы очень утешили меня. Мне было бы очень грустно, если бы наше министерство оказалось виновником ваших затруднений.

Кленнэм снова подтвердил, что министерство тут ни при чем.

— Отлично! — сказал Фердинанд. — Я очень рад. Я боялся, что это мы посодействовали вашему аресту, так как, к сожалению, это с нами иногда случается. Мы желали бы избегнуть таких вещей, но если люди сами лезут в петлю… ну, тогда мы не в силах помешать этому.

— Не выражая безусловного согласия с вашими словами, — угрюмо ответил Артур, — я все-таки очень благодарен вам за посещение.

— Нет, право! Ведь мы, — продолжил развязный молодой Полип, — в сущности говоря, самый

безобидный народ. Вы называете нас шарлатанами. Пожалуй, но ведь шарлатанство необходимо, без него не обойдешься. Вы сами понимаете это.

— Не понимаю, — сказал Артур.

— Вы смотрите на дело с неправильной точки зрения. Точка зрения — вот самое главное. Смотрите на наше министерство с нашей точки зрения — с точки зрения людей, которые требуют одного: чтобы их оставили в покое, и вы согласитесь, что это превосходнейшее учреждение.

— Значит, ваше министерство существует для того, чтобы оставаться в покое? — спросил Кленнэм.

— Именно, — подхватил Фердинанд. — Оставаться в покое и оставлять все по-старому — вот наше назначение, вот для чего мы созданы, вот для чего мы существуем. Без сомнения, формально мы существуем для других целей, но ведь это именно только форма. Бог мой, да ведь у нас все только форма. Вспомните, какую кучу формальностей вам самим пришлось проделать. А сделали ли вы хоть шаг вперед?

— Ни шагу! — ответил Кленнэм.

— Взгляните на дело с правильной точки зрения, и вы увидите, что мы как нельзя лучше исполняем свою роль. Ведь это игра в крикет.

Публика бросает нам мячи, а мы их отбиваем.

Кленнэм спросил, что же делается с теми, кто бросает. Легкомысленный молодой Полип ответил, что они устают, выбиваются из сил, ломают себе спины, умирают, бросают игру, переходят к другим играм.

— Вот это-то обстоятельство и заставляет меня радоваться, — продолжил он, — что наше министерство неповинно в вашем временном уединении. Легко могло бы случиться обратное, так как, по правде говоря, наше министерство не раз оказывалось весьма злополучным местом для людей, не желавших оставить нас в покое. Мистер Кленнэм, я говорю с вами вполне откровенно. Я думаю, что это вполне возможно между нами. Точно так же я говорил с вами, когда в первый раз убедился, что вы не хотите оставить нас в покое. Я тогда же заметил, что вы человек неопытный, увлекающийся и… довольно наивный, — вы не сердитесь?

— Нисколько.

— Довольно наивный. Я пожалел вас и решился дать вам понять (конечно, это не было официальным заявлением, но я всегда стараюсь избегать официальности, если это возможно), что на вашем месте не стал бы и пробовать. Как бы то ни

было, вы попробовали и с тех пор не переставали пробовать. Не пробуйте еще раз.

— Вряд ли мне представится случай попробовать еще раз, — сказал Кленнэм.

— Представится, представится! Вы выйдете отсюда. Все выходят отсюда. Мало ли способов выйти отсюда. Только не возвращайтесь к нам. Эта просьба — одна из побудительных причин моего визита. Пожалуйста, не возвращайтесь к нам. Честное слово, — продолжил Фердинанд самым дружеским и доверчивым тоном, — я буду ужасно огорчен, если вы не воспользуетесь прошлым опытом и не махнете на нас рукой.

— А изобретение? — сказал Кленнэм.

— Добрейший мой, — возразил Фердинанд, — простите мне вольность выражений, но об этом изобретении никто знать не хочет и никто за него и двух пенсов не даст. Никто в нашем министерстве и вне его. Все потешаются над изобретателями. Вы себе представить не можете, какая масса людей желает оставаться в покое. Вы, я вижу, не знаете, что гений нашей нации (не смущайтесь парламентской формой выражения) желает оставаться в покое. Поверьте, мистер Кленнэм, — прибавил игривый молодой Полип самым ласковым тоном, — наше мини-

стерство не злобный великан, на которого нужно выходить во всеоружии, а попросту ветряная мельница, которая перемалывает чудовищные груды соломы и показывает вам, куда дует ветер общественного мнения.

— Если бы я мог поверить этому, — сказал Кленнэм, — то был бы очень печального мнения о нашей будущности.

— О, зачем так говорить? — возразил Фердинанд. — Все к лучшему. Нам нужно шарлатанство, мы любим шарлатанство, мы не можем обойтись без шарлатанства. Немножко шарлатанства — и все пойдет как по маслу, только оставьте нас в покое. — Высказав этот утешительный взгляд на вещи — символ веры бесчисленных Полипов, прикрываемый самыми разнообразными лозунгами, над которыми они сами смеются, Фердинанд встал. Ничто не могло быть приятнее его чистосердечного и любезного обращения и истинно джентльменского умения приноровиться к обстоятельствам его посещения.

— Позвольте спросить, если это не будет нескромностью, — сказал он, когда Кленнэм пожал ему руку с искренней благодарностью за его откровенность и добродушие, — правда ли, что наш знаменитый, всеми оплакиваемый Мердль

— виновник ваших временных затруднений?

— Да, я один из многих разоренных им людей.

— Умнейший, должно быть, малый, — заметил Фердинанд Полип.

Артур, не чувствуя охоты прославлять память покойного, промолчал.

— Отъявленный мошенник, конечно, — продолжил Фердинанд, — но умница! Нельзя не восхищаться таким молодцом. То-то, должно быть, был мастер по части шарлатанства! Такое знание людей, умение их обойти, выжать из них все, что нужно.

Со свойственной ему непринужденностью он дошел почти до искреннего восхищения.

— Надеюсь, — сказал Кленнэм, — что этот урок послужит на пользу другим.

— Дорогой мистер Кленнэм, — возразил Фердинанд со смехом, — какие у вас лучезарные надежды! Поверьте, что первый аферист с такими же способностями и искусством будет иметь такой же успех. Простите меня, но вы, кажется, не знаете, что люди — те же пчелы, которые слетаются, если начать бить в пустую кастрюльку. В этом весь секрет управления людьми. Уверьте их, что кастрюля из драгоценного металла, и дело в шляпе: на этом и зиждется власть людей, подоб-

ных нашему оплакиваемому покойнику. Бывают, конечно, исключительные случаи, — вежливо прибавил Фердинанд, — когда люди попадаются в ловушку, руководясь гораздо лучшими побуждениями; мне даже незачем ходить далеко за примером, но эти исключения не изменяют правила. Прощайте. Надеюсь, что при следующей нашей встрече эта мимолетная тучка исчезнет с вашего горизонта. Не провожайте меня, я знаю дорогу. До свидания!

С этими словами милейший и умнейший из Полипов спустился по лестнице, пробрался через сторожку, уселся на лошадь, ожидавшую его на переднем дворе, и отправился на свидание с одним благородным родичем, которого нужно было хорошенько подготовить к выступлению, так как ему предстояло разнести в громовой речи кое-каких дерзких снобов, осмелившихся находить недостатки в государственной деятельности Полипов.

Он, без сомнения, встретил на пути мистера Рогга, потому что минуту или две после его ухода этот огненноволосый джентльмен появился в дверях Кленнэма подобно пожилому Фебу [98].

---

[98] Сноски: 98

В пер. с *греч.* — блистающий, второе имя бога Аполлона.

— Как поживаете, сэр? — спросил он. — Могу ли чем служить вам сегодня?

— Нет, благодарствуйте.

Мистер Рогг возился с запутанными делами с таким же наслаждением, как хозяйка — со своими вареньями и соленьями, или прачка — с грудой белья, или мусорщик — с кучей мусора, или как всякий специалист — со своей специальностью.

— Я время от времени захожу узнать, сэр, — сказал мистер Рогг, — не появились ли новые кредиторы со взысканиями. Так и подваливают, сэр, так и подваливают; больше и ожидать нельзя было.

Он говорил об этом так, точно поздравлял Артура по случаю какого-то радостного события, весело потирая руки и потряхивая головой.

— Так подваливают, — повторил он, — как только можно было ожидать. Это просто какой-то ливень взысканий. Я не часто забираюсь к вам, когда бываю здесь, так как знаю, что вы предпочитаете одиночество и что если я понадоблюсь вам, то вы пошлете за мной в сторожку. Но я захожу сюда почти ежедневно. Своевременно ли будет, сэр, — прибавил он заискивающим тоном, — обратиться к вам с одним замечанием?

— Так же своевременно, как и в любое другое время.

— Хм… Общественное мнение, сэр, — сказал мистер Рогг, — очень интересуется вами.

— Не сомневаюсь в этом.

— Не находите ли вы, сэр, что было бы благоразумно, — продолжил мистер Рогг еще более заискивающим тоном, — сделать хоть теперь маленькую уступочку общественному мнению. Так или иначе мы все делаем уступки общественному мнению. Нельзя не делать.

— Я не могу примириться с общественным мнением, мистер Рогг, и не имею оснований думать, что это мне когда-нибудь удастся.

— Полноте, сэр, полноте! Переехать в Королевскую тюрьму почти ничего не стоит, и если общественное мнение находит, что вам следует переселиться туда, то почему бы…

— Ведь вы, помнится, согласились, мистер Рогг, — сказал Артур, — что это дело вкуса.

— Конечно, сэр, конечно. Но хорош ли ваш вкус, хорош ли ваш вкус? Вот в чем вопрос.

Мистер Рогг заговорил почти патетическим тоном:

— Скажу больше: хорошие ли чувства руководят вами? Ваше дело громкое, а вы сидите здесь,

куда человек может попасть за ничтожный долг в один-два фунта. Это все заметили, об этом толкуют — и неодобрительно, неодобрительно. Вчера вечером толковали об этом в одном кружке, который я мог бы назвать, если бы не посещал его сам, в избранной компании юристов, и, признаюсь, мне просто обидно было слушать. Я был оскорблен за вас. Или сегодня утром моя дочь (женщина, скажете вы; да, но женщина с большой сметкой в этих делах и с кое-каким личным опытом, как истица в деле против Баукинса) крайне удивлялась вашему решению, крайне удивлялась. Так вот, имея в виду все эти обстоятельства и принимая в расчет, что никто из нас не может пренебрегать общественным мнением, не сделать ли маленькую уступочку общественному мнению… Право, сэр, я уж не буду много распространяться, скажу — из простой любезности.

Мысли Артура снова унеслись к Крошке Доррит, и заявление мистера Рогга осталось без ответа.

— Что касается меня, сэр, — продолжил мистер Рогг, начиная думать, что его красноречие подействовало, — то мой принцип — подчинять свои склонности склонностям клиента. Но, зная ваш обязательный характер и всегдашнюю готовность сделать приятное другому, я замечу, что

предпочел бы видеть вас в Королевской тюрьме. Ваше дело возбудило сенсацию, принимать в нем участие очень лестно для адвоката, но я чувствовал бы себя более свободно со своими товарищами, если бы вы были в Королевской тюрьме. Конечно, это не может влиять на ваше решение, я просто констатирую факт.

Одиночество и хандра до того приучили Кленнэма к задумчивости и рассеянности, он так привык видеть перед собой в этих мрачных стенах все тот же безмолвный образ, что с трудом мог стряхнуть оцепенение, взглянуть на мистера Рогга, припомнить суть его просьбы и торопливо ответить:

— Я не изменил и не изменю своего решения. Пожалуйста, довольно об этом, довольно об этом.

Мистер Рогг, не скрывая своего раздражения и обиды, ответил:

— О конечно, конечно, сэр! Я знаю, что, обратившись к вам с этим заявлением, я вышел за пределы профессиональных обязанностей, но слыша в различных кругах, и весьма почтенных кругах, рассуждения на тему о том, что недостойно истинного англичанина — хотя, быть может, простительно иностранцу, — оставаться в Маршалси, когда свободные законы его родного

острова дают ему право перейти в Королевскую тюрьму, слыша подобные рассуждения, я подумал, что мне следует выйти из узких профессиональных рамок и сообщить вам об этом; лично я, — заключил мистер Рогг, — не имею мнения об этом предмете.

— Очень рад этому, — сказал Артур.

— О, никакого мнения, сэр! — продолжил мистер Рогг. — А если бы имел, то мне неприятно было бы видеть несколько минут назад, что джентльмен хорошей фамилии, на породистой лошади, посещает моего клиента в таком месте. Но это не мое дело. Если бы я имел свое мнение, то мне было бы приятно заявить другому джентльмену, джентльмену военной наружности, который дожидается теперь в сторожке, что мой клиент никогда не намеревался оставаться здесь и не переезжать в более приличное убежище. Но моя роль, роль юридической машины, очень определенна, и подобные вещи меня не касаются. Угодно вам видеть этого джентльмена, сэр?

— Вы, кажется, сказали, что он дожидается в сторожке?

— Я позволил себе эту вольность, сэр. Узнав, что я ваш поверенный, он настоял на том, что-

бы я шел первый и исполнил свою скромную функцию. К счастью, — прибавил мистер Рогг саркастическим тоном, — я не настолько вышел за пределы своих профессиональных обязанностей, чтобы спросить его фамилию.

— Я полагаю, что мне остается только принять его, — сказал Артур усталым голосом.

— Так вам угодно, сэр? — переспросил Рогг. — Вы сделаете мне честь, поручив сообщить об этом джентльмену? Да? Благодарю вас, сэр. Имею честь кланяться.

И он откланялся с явно возмущенным видом.

Джентльмен военной наружности так мало заинтересовал Кленнэма, что он почти забыл о нем, когда чьи-то тяжелые шаги на лестнице вывели его из задумчивости. Они не были слишком громки или быстры, но их отчетливое постукивание звучало вызывающе. Когда они замолкли на площадке перед дверью, Кленнэм не мог представить себе, что напоминают ему эти шаги. Впрочем, ему недолго пришлось вспоминать. Дверь распахнулась от удара ногой, и на пороге появился без вести пропавший Бландуа, виновник стольких тревог.

— Salve [99], товарищ острожник! — сказал он. — Я вам зачем-то понадобился? Так вот, я здесь.

Прежде чем Артур опомнился от негодующего изумления, в комнату вошел Кавалетто. За ним следовал мистер Панкс. Ни тот ни другой еще не были здесь со времени водворения в этой комнате ее теперешнего жильца. Мистер Панкс, тяжело отдуваясь, пробрался к окну, положил шляпу на пол, взъерошил волосы обеими руками и скрестил руки на груди с видом человека, вознамерившегося отдохнуть после тяжелой работы. Мистер Батист, не спуская глаз с прежнего сотоварища, которого он так боялся, уселся на полу, прислонившись спиной к двери и обхватив колени руками, — в той же самой позе (с той разницей, что теперь он был весь самое пристальное внимание), в какой сидел он когда-то перед этим самым человеком в еще более мрачной тюрьме, в знойное утро, в Марселе.

— Я узнал от этих сумасшедших, — сказал г-н Бландуа, он же Ланье, он же Риго, — что вы хотите меня видеть, товарищ. Вот и я.

Окинув презрительным взглядом комнату, он прислонился к кровати, которая была сложена

---

[99] Сноски: 99
Привет *(лат.).*

на день, и, не снимая шляпы с головы, с вызывающим видом засунул руки в карманы.

— Вы гнусный негодяй! — сказал Артур. — Вы с умыслом набросили подозрение на дом моей матери. Зачем вы это сделали? Что побуждало вас к этой дьявольской выходке?

Г-н Риго нахмурился было, но тотчас же рассмеялся:

— Послушайте-ка этого благородного джентльмена! Послушайте это добродетельное создание! Но берегитесь, берегитесь! Ваш пыл, дружище, может привести к дурным последствиям. К дурным последствиям, черт побери!

— Signore, — вмешался Кавалетто, обращаясь к Артуру, — послушайте меня! Вы поручили мне разыскать его, Риго, — не правда ли?

— Правда.

— Ну вот, соответствовательно с этим поручением (велико было бы смущение миссис Плорниш, если бы она могла убедиться, что это случайное удлинение наречия было его главной погрешностью против английского языка) я отправился сначала к моим соотечественникам. Я стал расспрашивать у них, не слыхали ли они о каких-нибудь иностранцах, недавно прибывших

в Лондра [100]. Затем отправляюсь к французам, затем к немцам; они мне рассказывают все, что знают. Большинство из нас знакомы друг с другом, и они рассказывают мне все, что знают. Но… ни одна душа не может ничего сообщить мне о нем, о Риго. Пятнадцать раз, — продолжил Кавалетто, трижды выпрямив и сжав пальцы левой руки с такой быстротой, что глаз едва мог следить за этим жестом, — пятнадцать раз я спрашиваю о нем во всех местах, где бывают иностранцы, и пятнадцать раз, — он повторил прежний жест, — никто ничего не знает. Но…

Произнося это «но» с особенной итальянской интонацией, он слегка, но выразительно поиграл указательным пальцем правой руки.

— Но после того, как я долго не мог найти его, один человек сказал мне, что здесь, в Лондра, проживает солдат с белыми волосами… э… не такими, как у него теперь… белыми… и живет он уединенно, точно прячется. Но, — он произнес это слово с прежней интонацией, — выходит иногда после обеда погулять и покурить. Нужно иметь терпение, как говорят у нас в Италии (нам, бедным, это известно по опыту). Я имею терпение и

---

[100] Сноски: 100
Так итальянцы называют Лондон.

спрашиваю, где он живет. Один говорит — здесь, другой говорит — там. Что же вы думаете? Он не здесь и не там! Я жду терпеливеющим образом. Наконец отыскиваю это место. Подстерегаю, прячусь, и наконец он выходит погулять и покурить. Он солдат с седыми волосами! Но… — на этот раз он усиленно подчеркнул это слово и энергически помахал пальцем, — он вместе с тем тот самый человек, которого вы видите.

Замечательно, что привычка подчиняться этому человеку заставила его даже теперь слегка поклониться Риго.

— Ну, signore, — воскликнул он в заключение, снова обращаясь к Кленнэму, — я стал поджидать удобного случая! Я написал синьору Панкс (мистер Панкс выразил некоторое изумление, услышав свою фамилию в такой переделке), просил его прийти и помочь мне. Я показал его, Риго, когда он сидел у окна, синьору Панксу, и синьор Панкс согласился караулить его. Ночью я спал у дверей его дома. Наконец мы вошли к нему только сегодня, и вот он перед вами. Так как он не хотел явиться к вам вместе со знаменитым адвокатом, — так величал мистер Батист мистера Ротта, — то мы дожидались вместе внизу, а синьор Панкс караулил выход на улицу.

Выслушав этот рассказ, Артур устремил взгляд на бесстыдную физиономию негодяя. Когда они встретились глазами, нос опустился над усами, а усы поднялись под носом. Когда усы и нос вернулись в прежнее положение, г-н Риго громко щелкнул пальцами раз десять подряд, слегка наклонившись к Кленнэму, точно эти щелчки были снарядами, которые он метал в лицо врагу.

— Ну, философ! — сказал Риго. — Что вам от меня нужно?

— Мне нужно знать, — ответил Кленнэм, не скрывая своего отвращения, — как вы осмелились набросить подозрение в убийстве на дом моей матери.

— Осмелился! — воскликнул Риго. — Хо-хо! Послушайте его! Осмелился? Как я осмелился? Ей-богу, милый мальчик, вы неблагоразумны.

— Я желаю, чтобы это подозрение было снято, — продолжил Кленнэм. — Вас отведут туда публично. Далее, мне нужно знать, зачем вы явились туда в тот день, когда я сгорал от желания спустить вас с лестницы. Нечего хмуриться, негодяй! Я знаю, что вы нахал и трус! Я не настолько опустился, живя в этом проклятом месте, чтобы не сказать вам в лицо этой простой истины, которую вы и сами знаете.

Побелев до самых губ, Риго пробормотал, покручивая усы:

— Ей-богу, милый мальчик, вы рискуете скомпрометировать миледи, вашу матушку.

С минуту он, казалось, находился в нерешительности, как поступить. Но эта нерешительность скоро прошла. Он уселся с наглой и угрожающей развязностью и сказал:

— Дайте мне бутылку вина. Здесь можно достать вина. Пошлите которого-нибудь из ваших полоумных за бутылкой: без вина я не стану говорить. Ну, да или нет?

— Принесите ему, Кавалетто, — сказал Артур с отвращением, доставая деньги.

— Контрабандная бестия, — прибавил Риго, — принеси портвейна. Я пью только Порто-Порто.

Контрабандная бестия дала, однако, понять движением своего выразительного пальца, что она не намерена покидать своего поста у дверей, и синьор Панкс предложил свои услуги. Он скоро вернулся с бутылкой вина, которая, по местному обычаю, объяснявшемуся недостатком пробочников у членов общежития, была уже откупорена.

— Полоумный, большой стакан!

Синьор Панкс поставил перед ним стакан, видимо, не без труда поборов желание запустить

его в голову.

— Ха-ха! — захохотал Риго. — Теперь и всегда джентльмен! Джентльмен с самого начала, джентльмен до конца. Что за черт! Джентльмену должны прислуживать. Мой характер таков, что мне прислуживают.

Он наполнил стакан до половины и выпил, а затем, причмокнув губами, воскликнул:

— Ха! Оно не слишком давно в тюрьме. Я вижу по вашему лицу, мой воинственный сэр, что ваша кровь скорее перебродит в заключении, чем это славное вино. Вы уже раскисаете: побледнели, похудели. Поздравляю!

Он выпил еще полстакана, стараясь выставить свою маленькую белую руку.

— К делу, — продолжил он. — Потолкуем. Вы, однако, храбрее на словах, чем на деле, сэр.

— Не большая храбрость сказать вам, кто вы такой. Вы сами знаете, что вы гораздо хуже нахала и труса.

— Прибавьте: но всегда джентльмен, — и ладно. За исключением этого мы во всем сходны. Вы, например, никогда в жизни не будете джентльменом, а я никогда не буду ничем другим. Огромная разница. Но пойдем дальше. Слова, сэр, не имеют значения ни в картах, ни в костях. Вам это извест-

но? Известно? Я тоже веду игру, и никакие слова не помешают мне выиграть.

Теперь, встретившись с Кавалетто и зная, что его история известна, он сбросил маску и был самим собой, гнусным негодяем.

— Нет, сынок, — продолжил он, щелкнув пальцами. — Я доведу свою игру до конца, несмотря на страшные слова. Черт меня побери вместе с душой и телом, если не доведу! Я намерен выиграть ее. Вам желательно знать, зачем я разыграл эту маленькую комедию? Знайте же, что у меня была и есть, понимаете, есть, одна вещица, которую я рассчитываю продать миледи, вашей матушке. Я объяснил ей, что это за вещица, и назначил цену. Но, когда дело дошло до торга, ваша замечательная матушка оказалась слишком холодной, упрямой, непреклонной, непоколебимой, как статуя. Словом, ваша замечательная матушка задела меня за живое. Ради разнообразия и желая немножко позабавиться, — джентльмен может же позабавиться на чей-нибудь счет! — я вздумал исчезнуть. Ваша весьма своеобразная матушка и мой милый Флинтуинч были бы рады осуществить это на деле. А, ба-ба-ба, не смотрите на меня так высокомерно! Я готов повторить. Были бы рады, были бы в восторге, были бы в восхище-

нии. Не выразиться ли посильнее?

Он выплеснул остаток вина из стакана на пол и чуть не забрызгал Кавалетто. Здесь, по-видимому, Риго вспомнил о нем, и поставив стакан, сказал:

— Не хочу наливать сам. Что? Я рожден для того, чтобы мне служили. Кавалетто, налей!

Маленький итальянец взглянул на Кленнэма, глаза которого были устремлены на Риго, и, не встречая с его стороны запрещения, встал и наполнил стакан. Борьба привычной покорности с каким-то юмористическим чувством, подавленная ярость, готовая каждую минуту вспыхнуть пожаром (прирожденный джентльмен, по-видимому, замечал это, так как следил за ним, не спуская глаз), и преобладающее над всем желание усесться в прежней благодушной, беззаботной позе на пол — все это составляло замечательную комбинацию черт его характера.

— Это была счастливая мысль, мой воинственный сэр, — продолжил Риго, — счастливая мысль во многих отношениях. Ее исполнение позабавило меня, помучило вашу милую мамашу и Флинтуинчика, помучило вас (мое возмездие за урок вежливости джентльмену) и показало всем моим друзьям, заинтересованным в этом деле, что ваш покорнейший слуга — человек, которо-

го нужно бояться. Да, клянусь Небом, человек, которого нужно бояться! Мало того, это могло заставить миледи, вашу матушку, взяться за ум и под давлением неприятного подозрения, о котором упоминала ваша премудрость, оповестить через газеты, не называя имен, что известного рода сделка может уладиться с появлением известного лица, — могло бы побудить ее к этому. Может быть — да, может быть — нет. Но вы помешали. Ну, что же вы скажете? Что вам нужно?

Никогда еще Кленнэм не чувствовал так мучительно своего заключения, как теперь, когда видел перед собой этого человека и не мог отправиться вместе с ним к своей матери. Все его смутные тревоги и опасения готовы были оправдаться, а он не мог сделать и шагу.

— Может быть, друг мой, философ, добродетельный человек, олух или кто бы вы ни были, — сказал Риго, поглядывая на него из-за стакана со своей зловещей улыбкой, — может быть, вы бы лучше сделали, оставив меня в покое.

— Нет! По крайней мере, — сказал Кленнэм, — теперь известно, что вы живы и невредимы. По крайней мере, вы не можете улизнуть от этих двух свидетелей, и они могут передать вас властям или разоблачить перед лицом сотен людей,

перед лицом народа.

— Но не передадут меня никому, — возразил Риго, с торжествующим видом щелкнув пальцами. — К черту ваших свидетелей! К черту ваши сотни людей! К черту вас самих! Что? А мой секрет? А вещица, которую я намерен продать? Ба, несчастный должник, вы помешали моей затее! Пусть так! Что же из этого? Что дальше? Для вас — ничего, для меня — все. Разоблачить меня! Так вот что вам нужно! Я сам разоблачу себя скорее, чем требуют. Контрабандист, перо, чернил, бумаги!

Кавалетто встал и подал ему требуемое. Подумав и отвратительно улыбнувшись, Риго написал, а потом прочел вслух:

— Миссис Кленнэм (подождать ответа). Тюрьма Маршалси. В комнате вашего сына.

Милостивая государыня! Я в отчаянии, узнав от вашего сына (который был так любезен, что разыскал меня, скрывавшегося по политическим причинам, с помощью своих шпионов), что вы беспокоитесь о моей безопасности.

Успокойтесь, дорогая миссис Кленнэм. Я здоров, бодр и постоянен.

Я сгораю от нетерпения увидеть вас и давно бы прилетел в ваш дом, если бы не думал, что вы,

быть может, еще не пришли к окончательному решению насчет предложеньица, с которым я имел честь к вам обратиться. Назначаю неделю, считая с настоящего дня, по истечении которой явлюсь к вам с последним и решительным визитом; тогда вы мне скажете, принимаете ли вы или отвергаете мое предложение со всеми его последствиями.

Подавляю мое пылкое желание расцеловать ваши ручки и покончить с этим интересным дельцем, дабы вы могли на досуге обдумать вопрос во всех деталях и решить его к нашему обоюдному и совершенному удовольствию.

Пока не считаю слишком большим требованием с моей стороны (так как наш узник расстроил мои хозяйственные дела) просить вас оплатить мой счет в гостинице: помещение и стол.

Примите, милостивая государыня, уверение в моем глубочайшем почтении.

Тысячу приветствий милому Флинтуинчу. Целую ручки миссис Флинтуинч. Риго Бландуа.

Кончив читать, Риго сложил письмо и швырнул к ногам Кленнэма.

— Вот вам! Кстати, насчет передачи: пусть кто-нибудь доставит это письмо по назначению и даст нам ответ.

— Кавалетто, — сказал Артур, — не возьметесь ли вы отнести это письмо?

Но красноречивый палец снова дал понять, что Кавалетто, разыскавший Риго с таким трудом, считает своей обязанностью сторожить его, сидя на полу, спиной к стене, обняв колени и не спуская с него глаз. Ввиду этого синьор Панкс снова предложил свои услуги. Когда они были приняты, Кавалетто приотворил дверь настолько, чтобы синьор Панкс мог пролезть, и тотчас же захлопнул снова.

— Дотроньтесь только до меня пальцем, оскорбите меня хоть словом, попробуйте задеть меня, пока я сижу здесь, попивая винцо, — сказал Риго, — и я верну письмо и отменю недельный срок. Вам нужно меня? Вы отыскали меня? Что ж, нравлюсь я вам?

— Вы знаете, — сказал Кленнэм с горьким сознанием своего бессилия, — что я был свободен, когда начал разыскивать вас.

— Черт бы побрал и вас и вашу тюрьму! — возразил Риго, спокойно доставая из кармана портсигар и принимаясь свертывать папиросы своими гибкими пальцами. — Мне на вас наплевать. Контрабандист, огня!

Снова Кавалетто встал и исполнил его тре-

бование. Было что-то страшное в бездушном движении его холодных белых рук с гибкими, как змеи, пальцами. Кленнэм невольно внутренне содрогнулся, точно увидел целый клубок этих гадин.

— Эй, свинья! — крикнул Риго резким пронзительным голосом, точно Кавалетто был итальянский мул или лошадь. — Что? Та проклятая старая тюрьма была все-таки приличнее этой. В тех решетках и стенах было что-то внушительное. То была тюрьма для людей. А это, ба, заведение для идиотов!

Он выкурил папиросу, причем безобразная улыбка не покидала его лица, так что казалось, будто он втягивает дым скорее кончиком носа, чем ртом. Закурив новую папиросу об окурок первой, он сказал Клениэму:

— Надо как-нибудь скоротать время, пока вернется этот сумасшедший. Побеседуем. Жаль, что нельзя пить целый день крепкое вино, а то бы я потребовал другую бутылку. Эта женщина прелестна, сэр. Не совсем в моем вкусе, правда, но, гром и молния, прелестна! Одобряю ваш вкус.

— Я не знаю и знать не хочу, о ком вы говорите, — сказал Кленнэм.

— Delia bella Gowana [101], сэр, как говорят в Италии. О миссис Гоуэн, прекрасной миссис Гоуэн.

— Да, ведь вы, кажется, состояли при муже… прихвостнем.

— Сэр, прихвостнем? Вы дерзки. Другом!

— Так вы продаете ваших друзей?

Риго вынул папироску изо рта и посмотрел на него с некоторым удивлением, но тотчас же вложил обратно и холодно ответил:

— Я продаю все, что имеет цену. А чем же вы живете — вы, юристы, вы, политики, вы, интриганы, вы, биржевики? Чем живете вы — вы лично? Как вы попали сюда? Вы не продали друга? Бог мой, сдается мне, что да!

Кленнэм отвернулся к окну и стал смотреть на тюремную ограду.

— Так-то, сэр, — продолжил Риго, — общество продается и продает меня, а я продаю общество. Вы, как я вижу, знакомы и с той и с другой леди. Тоже хороша собой. Сильный характер. Посмотрим. Как вы ее называете? Уэд?

Он не получил ответа, но ясно видел, что не ошибся.

— Да, эта прелестная леди с сильным характе-

---

[101] Сноски: 101
Красавица Гоуэн *(итал.).*

ром обращается ко мне на улице, и я не остаюсь глухим. Я отвечаю ей. Прелестная леди с сильным характером говорит мне совершенно откровенно: «Мне нужно удовлетворить мое любопытство и мою злобу. Кажется, ваша честность не выше обыкновенной». Я отвечаю: «Сударыня, я родился джентльменом и умру джентльменом, но моя честность не выше обыкновенной. Я презираю такие глупые фантазии». Она отвечает мне на это комплиментом: «Вся разница между вами и другими людьми в том, что вы говорите об этом откровенно». Да, она знает общество. Я принимаю этот комплимент галантно и вежливо. Вежливость и галантность — неотъемлемые черты моего характера. Тогда она объясняет мне, что видела нас вместе; что я, по-видимому, друг дома, любимец семьи; что ей любопытно знать их отношения, их образ жизни, любят ли прекрасную Gowana, ласкают ли прекрасную Gowana и так далее. Она небогата, но может предложить мне маленькое вознаграждение за хлопоты и труды. И вот я грациозно — сохранять грацию во всех поступках тоже в моем характере — выражаю согласие. О да, таков свет! На этом мир вертится.

Хотя Кленнэм сидел спиной к нему, Риго наблюдал за ним своими сверкающими, слишком

близко посаженными глазами и, очевидно, по его позе угадывал, что все, о чем он распространялся с таким хвастливым бесстыдством, было уже известно Кленнэму.

— Ух, прекрасная Gowana, — сказал он, закуривая третью папироску так осторожно, точно она могла улететь от самого легкого дыхания, — очаровательна, но неосторожна! Не следовало прекрасной Gowana прятать письма своих прежних любовников в спальне на вершине горы, чтобы они не могли попасть на глаза мужу. Нет-нет, не следовало. Ух, Gowana немножко промахнулась!

— Надеюсь, — громко сказал Артур, — что Панкс скоро вернется; присутствие этого человека оскверняет комнату.

— А? Но он процветает здесь, как и везде, — сказал Риго, нахально прищелкивая пальцами. — Всегда процветал, всегда будет процветать.

Растянувшись на всех трех стульях, находившихся в комнате (за исключением, конечно, того, на котором сидел Кленнэм), он запел, похлопывая себя по груди, точно и был галантный герой песни:

Кто так поздно здесь проходит?

Это спутник Мажолэн.
Кто так поздно здесь проходит?
Смел и весел он всегда!

— Подтягивай, свинья! Помнишь, ты пел в той тюрьме. Пой припев! Или, клянусь всеми святыми, которых побили камнями, я приму это за обиду и оскорбление, и тогда некоторые люди, которые еще живы, пожалеют, что их не побили камнями!

Цвет всех рыцарей придворных,
Это спутник Мажолэн.
Цвет всех рыцарей придворных,
Смел и весел он всегда!

Отчасти по старой привычке повиноваться, отчасти из опасения повредить своему благодетелю, отчасти потому, что ему было все равно — петь или не петь, Кавалетто подхватил припев. Риго засмеялся, продолжая курить, зажмурив глаза.

Прошло еще четверть часа, и на лестнице послышались шаги мистера Панкса, но Кленнэму этот промежуток времени показался нестерпимо долгим. Его шаги сопровождались чьими-то другими, и когда Кавалетто отворил дверь, в ком-

нату вошли мистер Панкс и мистер Флинтуинч. Увидев этого последнего, Риго кинулся к нему и бурно заключил в объятия.

— Как поживаете, сэр? — спросил мистер Флинтуинч, довольно бесцеремонно освобождаясь от этих объятий. — Благодарю вас, нет, с меня довольно. — Это относилось ко вторичной попытке вновь обретенного друга заключить его в объятия.

— Так-то, Артур, помните, что я говорил вам насчет спящих и сбежавших собак? Я был прав, как видите.

Он оставался невозмутимым, как всегда, и рассудительно покачивал головой, осматривая комнату.

— Так это долговая тюрьма Маршалси! Ха! Вы привели продавать своих поросят на скверный рынок, Артур!

Артур молчал, но у Риго не хватило терпения. Он схватил своего Флинтуинчика за фалды с какой-то злобной игривостью и крикнул:

— Да ну вас к черту с рынком и поросятами! Ответ на мое письмо. Живо!

— Если вы найдете возможным выпустить меня на минутку, — возразил мистер Флинтуинч, — то я сначала отдам мистеру Артуру записочку, адре-

сованную лично ему.

Это был клочок бумаги, на котором миссис Кленнэм набросала:

«Надеюсь, довольно того, что ты разорился сам. Не разоряй же других. Иеремия Флинтуинч — мой посланный и представитель. Любящая тебя М. К.».

Кленнэм молча прочел записку дважды и затем разорвал на клочки. Тем временем Риго вскочил на кресло и уселся на спинку, поставив ноги на сиденье.

— Ну, красавец Флинтуинч, — сказал он, когда записка была разорвана, — ответ на мое письмо.

— Миссис Кленнэм не написала ответа, мистер Бландуа: судороги в пальцах мешают ей писать, — а просила меня передать вам на словах.

Мистер Флинтуинч приостановился и с видимой неохотой вывинтил из себя:

— Она просила передать вам поклон и сообщить, что находит возможным согласиться на ваши условия, но не решая вперед вопроса, который должен разрешиться через неделю.

Г-н Риго расхохотался и, соскочив со своего трона, сказал:

— Ладно! Пойду искать гостиницу! — Но тут он встретился глазами с Кавалетто, который

не оставлял своего поста, и прибавил: — Идем, свинья! Ты ходил за мной против моей воли, теперь пойдешь против своей. Говорю же вам, мои маленькие козявки, я рожден для того, чтобы мне служили. Я требую, чтобы этот контрабандист прислуживал мне до истечения недельного срока.

В ответ на вопросительный взгляд Кавалетто Кленнэм сделал ему утвердительный знак, прибавив громко:

— Если только вы не боитесь его.

Кавалетто замахал пальцем в знак отрицания и сказал:

— Нет, господин, теперь, когда мне не нужно скрывать своего знакомства с ним, я не боюсь.

Риго не отвечал на эти замечания, пока не закурил новой папиросы и не собрался уходить.

— Не боитесь, ха! — сказал он, обводя взглядом присутствующих. — Ух, мои детки, мои пупсики, мои куколки, вы все боитесь его. Вы угощаете его вином; вы даете ему пищу, питье, квартиру, вы не смеете тронуть его даже пальцем или оскорбить словом. Нет, в его характере — торжествовать. Ух!

Цвет всех рыцарей придворных,

Смел и весел он всегда.

С этим припевом, примененным к собственной личности, он вышел из комнаты, а за ним по пятам последовал Кавалетто, которого он, быть может, потому и потребовал к себе в слуги, что не знал, как от него отделаться. Мистер Флинтуинч почесал подбородок, кивнул Артуру и последовал за ними. Мистер Панкс, все еще удрученный раскаянием, тоже отправился, выслушав с величайшим вниманием несколько слов, сказанных ему Кленнэмом по секрету, и шепнув в ответ, что он не упустит из виду этого дела. Узник, чувствуя себя более чем когда-либо униженным, осмеянным и оскорбленным, беспомощным, удрученным и несчастным, остался один.

Глава XXIX. Друзья в Маршалси

Беспокойство и угрызения совести — плохие товарищи для заключенного. Томиться весь день и почти не отдыхать по ночам — плохой способ борьбы с несчастьем. На следующее утро Кленнэм почувствовал, что здоровье его пошатнулось, как уже пошатнулись его душевные силы, и что бремя, тяготевшее над ним, придавило его к земле.

Каждую ночь он вставал около двенадцати или часу, садился у окна и смотрел на тусклые фонари, мерцавшие на дворе, поджидая рассвета. В эту ночь у него даже не хватило сил раздеться.

Какое-то жгучее беспокойство, мучительное нетерпение, уверенность, что ему суждено умереть здесь в отчаянии, терзали его невыразимо. Ужас и отвращение, возбуждаемые этим проклятым местом, не давали ему дышать спокойно. По временам удушье становилось до того невыносимым, что он подходил к окну, хватался за горло и едва переводил дыхание. В то же время тоска по вольному воздуху, стремление выйти за эти глухие мрачные стены доходили до того, что он боялся сойти с ума.

Многие узники испытывали то же самое и до

него, и в конце концов сама интенсивность и непрерывность страдания приводили их к успокоению. То же случилось и с ним. Две ночи и день, проведенные в этом состоянии, совершенно истощили его. Оно возвращалось к нему припадками, но с каждым разом все слабее и с большими промежутками. Оно заменилось спокойствием отчаяния, и в середине недели он впал в оцепенение под гнетом медленной, изнурительной лихорадки.

Кавалетто и Панкс были заняты, так что Кленнэму грозили посещения только со стороны мистера и миссис Плорниш. Он боялся, что эта достойная чета вздумает заглянуть к нему. В том мучительном нервном настроении, какое он испытывал, ему хотелось оставаться одному. Кроме того, он не хотел, чтобы его видели таким унылым и слабым. Он написал миссис Плорниш, что должен всецело посвятить себя делам и на время отказаться от удовольствия видеть ее милое лицо.

Юный Джон, ежедневно заходивший к Кленнэму после дежурства узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, всегда заставал его углубленным в бумаги и слышал один и тот же ответ, произнесенный веселым тоном. Они никогда не

возвращались к предмету своего единственного продолжительного разговора. Как бы то ни было, Кленнэм никогда не забывал о нем, в каком бы настроении ни находился.

Шестой день недели, назначенный Риго, был душный, сырой и туманный. Казалось, нищета, грязь и запущенность тюрьмы росли и созревали в этой затхлой атмосфере. Терзаясь головной болью и сердцебиением, Кленнэм провел ужасную бессонную ночь, прислушиваясь к шуму дождя о мостовую и представляя себе, как мягко звучит он, падая на деревенскую землю. Тусклый, мутно-желтый круг поднялся на небе вместо солнца, и он следил за бледной полосой света, упавшей на стену и казавшейся лоскутом тюремных лохмотьев. Он слышал, как отворились тюремные ворота, как зашлепали стоптанные сапоги людей, дожидавшихся на улице, как началось тюремное утро, поднялась ходьба, послышались звуки насоса, шелест метлы, подметавшей двор. Больной и ослабевший до того, что должен был несколько раз отдыхать, пока умывался, он наконец дотащился до кресла перед окном. Тут он дремал, пока старуха, прислуживавшая ему, убирала комнату.

Ослабев от бессонницы и истощения (у него совсем пропал аппетит и даже вкус), он раза два

или три принимался бредить ночью. Ему слышались в душном воздухе обрывки арий и песен, хотя он знал, что это обман слуха. Теперь, впав от слабости в забытье, он снова услышал их; к ним присоединились голоса, обращавшиеся к нему; он отвечал на них и вздрагивал.

В дремоте и грезе он не давал себе отчета во времени: минута могла показаться ему часом и час — минутой. Мало-помалу одно смутное впечатление овладело им — впечатление сада, цветочного сада. Влажный теплый ветерок доносил до него благоухание цветов. Ему так трудно было поднять голову, чтобы проверить это впечатление, что оно уже начинало надоедать ему, когда он собрался с силами и осмотрелся кругом. Подле стакана с чаем на столе лежал чудесный букет из редких и прелестных цветов.

Ему казалось, что он никогда не видал ничего прекраснее. Он взял букет и, вдыхая его благоухание, прижал к своему горячему лбу, обхватив сухими ладонями. Только насладившись его красотой и благоуханием, он спросил себя, откуда же взялись эти цветы, и, отворив дверь своей комнаты, хотел позвать старуху, которая, без сомнения, принесла их. Но она ушла и, очевидно, давно уже ушла, так как чай, оставленный ею на

столе, успел остыть. Он пытался выпить стакан, но запах чая показался ему невыносимым, и он снова уселся перед открытым окном, положив букет на маленький столик.

Оправившись от утомления, вызванного усилием, которое сделал над собой, когда встал отворить дверь, он впал в прежнее состояние. Опять ему послышались в воздухе обрывки арий; потом дверь тихонько затворилась, чья-то тихая фигурка появилась в комнате, сбросила с себя плащ, и ему показалось, что это его Крошка Доррит в старом поношенном платьице. Ему показалось, что она вздрогнула, всплеснула руками, улыбнулась и залилась слезами.

Он очнулся и вскрикнул. И тут только — в этом милом любящем личике, в этих полных сожаления и скорби глазах — он увидел, точно в зеркале, как изменился. И она подбежала к нему, положила свои руки к нему на грудь, чтобы удержать его в кресле, опустилась на колени к его ногам, подняла свое лицо навстречу его поцелую, и ее слезы падали на него, как дождь на цветы, и он видел перед собой ее, Крошку Доррит, живую и называвшую его по имени.

— О мой лучший друг! Дорогой мистер Кленнэм, не плачьте, я не могу видеть ваших слез.

Если только вы не плачете от радости, что видите меня. Надеюсь, что это так. Ваше бедное дитя опять с вами.

Такая верная, нежная, не испорченная счастьем. В каждом звуке ее голоса, в блеске ее глаз, в прикосновении ее рук — все та же верность и ангельская доброта.

— Я не знала, что вы больны, — когда он обнял ее, сказала она и, нежно охватив рукой за шею, прижала его голову к своей груди, положила другую руку к нему на голову, прижалась к ней щекой и принялась ласкать, утешать его так же нежно и так же невинно, как ласкала в этой самой комнате своего отца, когда сама была еще ребенком, нуждавшимся в ласках и попечении.

Когда способность говорить вернулась к нему, он сказал:

— Ужели это вы? И в этом платье?

— Я думала, что вам приятнее будет видеть меня в этом платье, чем в каком-нибудь другом. Я сберегла его на память о прошлом, хотя и не нуждалась в напоминаниях. Я не одна, со мной моя старая подруга.

Он оглянулся и увидел Мэгги в ее старом огромном чепце, которого она давно уже не надевала, с корзиной в руке, как в прежние дни, и с сияющей

физиономией.

— Я приехала в Лондон только вчера вечером вместе с братом. Тотчас же послала к миссис Плорниш, чтобы узнать о вас и сообщить о моем приезде. Тогда я и узнала, что вы находитесь здесь. Вспоминали вы обо мне в эту ночь? Я почти уверена, что вспоминали. Я думала о вас с таким беспокойством, что едва могла дождаться утра.

— Я вспоминал о вас. — Он остановился, не зная, как назвать ее.

Она сейчас же заметила это:

— Вы еще ни разу не называли меня моим старым именем. Вы помните мое имя?

— Я вспоминал о вас, Крошка Доррит, каждый день, каждый час, каждую минуту с тех пор, как нахожусь здесь.

— Да, да?

Он видел, как ее лицо вспыхнула радостью, и ему стало стыдно. Он — разбитый, нищий, больной, опозоренный арестант.

— Я пришла сюда прежде, чем отперли ворота, но не решилась идти прямо к вам. Я боялась, что скорее расстрою вас, чем обрадую. Тюрьма показалась мне такой спокойной и в то же время такой чужой, воспоминания о моем бедном отце и о вас нахлынули на меня с такой силой, что я

не могла справиться со своим волнением. Но мы зашли сначала к мистеру Чивери, и он проводил нас сюда, и провел в комнату Джона, мою старую комнатку, помните, и мы посидели там, пока я оправилась. Я подходила к вашей двери, когда принесла цветы, но вы не слышали.

Она выглядела более женственной, чем при их разлуке, и итальянское солнце покрыло загаром ее лицо. Но в остальном она не изменилась. Те же застенчивые, серьезные манеры, которых он никогда не мог видеть без волнения. Если они приобрели теперь новое значение, потрясшее его до глубины души, то потому, что изменился его взгляд на нее, а не она сама.

Она сняла свою старую шляпку, повесила ее на старом месте и без шума принялась с помощью Мэгги чистить и приводить в порядок комнату, обрызгивая ее душистой водой. Затем распаковали корзину, в которой оказался виноград и разные фрукты. Разложив их на столе, она что-то шепнула Мэгги, и Мэгги куда-то исчезла с корзиной, но вскоре вернулась с новыми запасами: прохладительным питьем, желе, жареными цыплятами и вином. Управившись со всем этим, она раскрыла свой рабочий ящик и принялась шить занавеску для окна, и вот он снова спокойно

сидел в кресле, а Крошка Доррит работала подле него, и ему казалось, что мир, принесенный ею, разливается по всей тюрьме.

Видеть эту скромную головку, наклонившуюся над шитьем, эти проворные пальчики, занятые работой, от которой ее сострадательные глаза часто отрывались, чтобы взглянуть на него, и всякий раз в них дрожали слезы; наслаждаться этим счастьем и утешением и сознавать, что вся самоотверженность этой великой души, все неистощимое сокровище ее доброты устремлены на него, на облегчение его горя, — всего этого было недостаточно, чтобы поднять его физические силы, уничтожить дрожь его голоса или рук. Но все это внушало ему душевную бодрость, которая росла вместе с его любовью. А как он любил ее теперь! Слова не могли бы передать этого чувства.

Они сидели рядом в тени тюремной стены, и тень эта казалась ему теперь светом. Она не позволяла ему много говорить, и он только смотрел на нее, откинувшись на спинку кресла. Время от времени она вставала, подавала ему стакан или поправляла подушку у него под головой, затем снова садилась и наклонялась над работой.

Тень двигалась вместе с солнцем, но Крошка Доррит оставалась вместе с ним и отходила от

него только в тех случаях, когда нужно было чем-нибудь услужить ему. Солнце село, а она все еще была с ним. Она кончила работу, и ее рука лежала на ручке кресла. Он положил на нее свою руку, и она сжала ее с робкой мольбой.

— Дорогой мистер Кленнэм, мне нужно оказать вам несколько слов, прежде чем я уйду. Я откладывала это с часу на час, но теперь должна сказать.

— Я тоже, милая Крошка Доррит, я тоже откладывал то, что мне нужно вам сказать.

Она с беспокойством поднесла руку к его губам, точно желая остановить его, потом снова уронила ее на прежнее место.

— Я не поеду больше за границу. Мой брат поедет, я же останусь здесь. Он всегда любил меня, а теперь относится ко мне с такой благодарностью только за то, что я ухаживала за ним во время его болезни, что предоставил мне свободу оставаться где хочу и делать что хочу. Он говорит, что хочет только одного: видеть меня счастливой.

Только одна яркая звезда светилась на небе. Она глядела на нее, точно в ней светилось заветное желание ее сердца.

— Вы, я думаю, сами поймете, что мой брат вернулся в Англию только для того, чтобы узнать,

оставил ли мой дорогой отец завещание, и вступить во владение наследством. Он говорит, что если завещание есть, то я, несомненно, получу большое состояние, если же нет, то он сделает меня богатой.

Он хотел было прервать ее, но она снова подняла свою дрожащую руку, и он остановился.

— Мне не нужны деньги, мне нечего с ними делать. Они не имели бы никакой цены в моих глазах, если бы не были нужны для вас. Я не могу жить в богатстве, пока вы живете здесь. Я буду чувствовать себя хуже нищей, зная, что вы несчастны. Позвольте мне отдать вам все, что у меня есть. Позвольте мне доказать вам, что я никогда не забывала и не забуду, как вы покровительствовали мне в то время, когда эта тюрьма была моим домом. Дорогой мистер Кленнэм, сделайте меня счастливейшей девушкой на свете, скажите «да». Или по крайней мере сделайте меня счастливой настолько, насколько я могу быть счастливой, оставляя вас здесь: не отвечайте сегодня, позвольте мне уйти с надеждой, что вы согласитесь ради меня. Не ради вас, а ради меня, только ради меня. Вы доставите мне величайшую радость, какую я могу испытать на земле: сознание, что я была полезна для вас, что я уплатила

хоть отчасти мой долг благодарности и привязанности. Я не могу высказать все, что хотела бы сказать. Видя вас здесь, где я жила так долго, я не могу говорить так спокойно, как бы следовало. Я не могу удержаться от слез. Но умоляю, умоляю, умоляю вас: не отворачивайтесь от вашей Крошки Доррит теперь, когда вы в несчастье. Прошу и умоляю вас от всего сердца, тоскующего сердца, мой друг. Мой милый, возьмите все, что у меня есть, не откажите мне в этой радости.

Звезда все время играла на ее лице, но теперь Крошка Доррит прижалась к его руке.

В комнате уже стемнело, когда он поднял ее и с нежностью сказал:

— Нет, милая Крошка Доррит, нет, дитя мое. Я и слушать не должен о такой жертве. Свобода и надежда, купленные такой ценой, обойдутся так дорого, что я не вынесу их тяжести. Совесть замучит меня. Но бог свидетель, с какой горячей благодарностью и любовью я говорю это.

— И вы все-таки не хотите, чтобы я осталась верной вам в вашем несчастье?

— Скажите лучше, милая Крошка Доррит, что все-таки я хочу остаться верным вам. Если бы в давно минувшие дни, когда эта тюрьма была вашим домом и это платье — вашим единствен-

ным платьем, я лучше понимал самого себя (я говорю только о самом себе) и яснее различал тайны своего сердца; если бы моя сдержанность и недоверие к себе не помешали мне разглядеть свет, который так ярко сияет передо мной теперь, когда он ушел от меня и мои слабые шаги не могут уж догнать его; если бы я сознавал и сказал вам тогда, что люблю и чту в вас не бедное дитя, как я называл вас, а женщину, чья верная рука возвысит меня и сделает лучше и счастливее; если бы я воспользовался случаем, который уже не вернется, — о, если бы я им воспользовался, если бы я им воспользовался! — и если бы что-нибудь разлучило нас тогда, когда у меня было небольшое состояние, а вы были бедны, то, может быть, я иначе ответил бы теперь на ваше великодушное предложение, хотя все-таки мне было бы стыдно принять его. Но теперь я не могу, я не должен принимать его.

Она молчала, но ее дрожащая рука умоляла его красноречивее слов.

— Я и так достаточно опозорен, милая Крошка Доррит. Я не хочу упасть еще ниже и увлечь за собой вас, милую, добрую, великодушную. Бог благословит вас, Бог вознаградит вас. Все это прошло.

Он обнял ее, как будто она была его дочерью.

— И тогда я был гораздо старше, грубее, хуже вас, но мы оба должны забыть, чем я был тогда, и вы должны видеть меня таким, каков я теперь. Примите мой прощальный поцелуй, дитя мое, — вы, которая могла бы быть гораздо ближе мне, но не могла быть милее для меня, примите его от несчастного человека, который навеки удален от вас, навеки разлучен с вами, от человека, чей жизненный путь уже окончен, тогда как ваш только начинается. У меня не хватает духа просить вас, чтобы вы забыли обо мне, но я прошу вас помнить меня только таким, каков я теперь.

Зазвонил звонок, приглашая посетителей удалиться. Он снял со стены ее плащ и нежно укутал ее.

— Еще слово, милая Крошка Доррит, тяжелое для меня, но необходимое. Время, когда между вами и тюрьмой было что-нибудь общее, давно миновало. Вы понимаете меня?

— О, вы не хотите сказать, — воскликнула она, заливаясь слезами и с мольбой сложив руки, — что я не должна больше навещать вас! Нет, вы не хотите расстаться со мной навеки!

— Сказал бы, если бы мог, но у меня не хватает мужества отказаться от надежды видеть ваше

милое личико. Но не приходите сюда слишком часто. Это зараженное место, и я уже чувствую, что зараза коснулась меня. Вы принадлежите к более светлому и счастливому миру. Ваш путь ведет не сюда, Крошка Доррит, он должен вести вас к счастью. Да благословит вас Бог. Да наградит вас Бог.

Тут Мэгги, совсем приунывшая, слушая этот разговор, воскликнула:

— О, отдайте его в госпиталь, отдайте его в госпиталь, мама. Он никогда не поправится, если вы не отдадите его в госпиталь. И тогда маленькая женщина, которая всегда сидела за прялкой, подойдет с принцессой к буфету и скажет: «Куда вы девали цыплят?» И тогда достанут цыплят и дадут ему, и все будут счастливы.

Этот перерыв был весьма своевременным, так как звонок уже перестал звонить. Снова закутав ее в плащ и взяв под руку (хотя перед ее посещением он едва мог ходить от слабости), Артур проводил ее по лестнице. Она вышла после всех посетителей, и ворота захлопнулись за ней с тяжелым и безнадежным звуком.

Он прозвучал в сердце Артура похоронным звоном, и вся его слабость вернулась к нему. С большим трудом добрался он до своей комнаты и

вошел в нее, чувствуя себя глубоко несчастным.

Было уже около полуночи, и тюрьма давно затихла, когда чьи-то осторожные шаги послышались на лестнице и кто-то тихонько постучал в дверь. Это был юный Джон. Он проскользнул в комнату в одних чулках, запер за собой дверь и сказал шепотом:

— Это против правил, но все равно, я решил непременно зайти к вам.

— Что случилось?

— Ничего особенного, сэр. Я дожидался мисс Доррит во дворе, когда она ушла от вас. Я думал, вам приятно будет узнать, что она благополучно вернулась к себе.

— Благодарю вас, благодарю вас. Так вы ее провожали, Джон?

— Проводил до гостиницы. Той самой, где останавливался мистер Доррит. Мисс Доррит шла пешком всю дорогу и говорила со мной так ласково, что я едва выдержал. Как вы думаете, почему она пошла пешком?

— Не знаю, Джон.

— Чтобы поговорить о вас. Она сказала мне: «Джон, вы всегда были честным человеком, и, если вы обещаете мне заботиться о нем и смотреть, чтобы он ни в чем не нуждался, я буду спокойна».

Я обещал. И теперь я ваш навеки.

Кленнэм, тронутый, протянул руку честному юноше.

— Прежде чем я возьму ее, — сказал Джон, не отходя от двери, — угадайте, какое поручение дала мне мисс Доррит.

Кленнэм покачал головой.

— «Скажите ему, — повторил юный Джон ясным, хотя и дрожащим голосом, — что его Крошка Доррит посылает ему свою вечную любовь». Я сказал. Честно ли я поступил, сэр?

— О да, да.

— Скажете ли вы мисс Доррит, что я честно поступил?

— Непременно.

— Вот моя рука, сэр, — сказал Джон, — я ваш навеки.

Обменявшись с Кленнэмом сердечными рукопожатиями, он тихонько выбрался в коридор, прокрался по двору, запер за собой ворота и вышел на передний двор, где оставил свои сапоги. Весьма возможно, что, если бы этот путь был вымощен раскаленными плитами, Джон пробрался бы по нему с тем же самоотвержением ради той же цели.

Глава XXX. К развязке

Последний день недели, назначенный Риго, осветил решетки Маршалси. Черные всю ночь, с той минуты как ворота захлопнулись за Крошкой Доррит, их железные брусья загорелись золотом в лучах солнца. Далеко, через весь город, над хаосом крыш и колоколен протянулись длинные светлые лучи — решетка тюрьмы, называемой землей.

В течение целого дня ни один посетитель не заглянул в старый дом, обнесенный оградой. Но когда солнце склонилось к западу, три человека вошли в калитку и направились к ветхому зданию.

Впереди шел Риго, покуривая папиросу. Мистер Батист плелся за ним по пятам, не спуская с него глаз. Мистер Панкс замыкал шествие со шляпой под мышкой, предоставив свободу своим непокорным волосам, так как было очень жарко. Они подошли к подъезду.

— Вы, пара сумасшедших, — сказал Риго оглядываясь, — пока не уходите.

— Мы не собираемся уходить, — сказал мистер Панкс.

Ответив на эти слова мрачным взглядом, Риго постучал в дверь. Чтобы получше разыграть свою игру, он хватил изрядную дозу спиртного и теперь торопился начать. Не успел замереть отголосок его удара, как он снова принялся за молоток. После второго удара мистер Флинтуинч отворил дверь, и все трое вошли в переднюю. Риго, оттолкнув мистера Флинтуинча, отправился прямо наверх. Оба его спутника последовали за ним, мистер Флинтуинч замыкал шествие, и все четверо ввалились в комнату миссис Кленнэм. Здесь все оставалось по-старому, только одно из окон было открыто, и у этого окна сидела миссис Флинтуинч и штопала чулок. Все те же предметы лежали на столике, тот же умирающий огонь тлел в камине; тем же покрывалом была прикрыта постель, и сама хозяйка дома сидела на черном, похожем на катафалк диване, опираясь на ту же черную жесткую подушку вроде плахи.

И тем не менее в комнате чувствовалось что-то неуловимое, какие-то приготовления, как будто ее прибрали ради особенно торжественного случая. В чем заключались эти приготовления — никто не мог бы объяснить (так как каждый предмет в комнате находился на прежнем месте), не всмотревшись в лицо хозяйки, и то если бы

знал это лицо раньше. Хотя каждая складка ее черного платья оставалась неизменной, хотя она сидела в той же застывшей позе, но легкое изменение в чертах ее лица и морщина на ее суровом лбу были так выразительны, что придавали новый характер всему окружающему.

— Кто это? — спросила она с удивлением, взглянув на спутников Риго. — Что им нужно?

— Вам интересно знать, кто это, милостивая государыня? — сказал Риго. — Черт побери, это друзья вашего сына, арестанта. Вам интересно знать, что им нужно? Убей меня бог, если я знаю. Спросите их самих.

— Вы, однако, сами сказали нам у подъезда, чтобы мы не уходили, — заметил Панкс.

— А вы отвечали, что и не собираетесь уходить, — возразил Риго. — Одним словом, сударыня, позвольте мне представить вам шпионов нашего арестанта, сумасшедших, правда, но шпионов. Если вы желаете, чтобы они присутствовали при нашем разговоре, вам стоит только сказать слово. Мне решительно все равно.

— С какой стати мне желать этого? — сказала миссис Кленнэм. — На что мне они?

— В таком случае, дражайшая миссис Кленнэм, — сказал Риго, бросаясь в кресло так грузно,

что стены задрожали, — отпустите их. Это ваше дело. Это не мои шпионы, не мои негодяи.

— Слушайте, вы, Панкс, — сурово сказала миссис Кленнэм, — вы приказчик Кесби, вот и занимайтесь делами вашего хозяина, а не моими. Ступайте, да и этого тоже заберите с собой.

— Благодарствуйте, сударыня, — ответил мистер Панкс, — с удовольствием могу сказать, что ничего не имею против. Мы сделали все, что взялись сделать для мистера Кленнэма. Он постоянно беспокоился (особенно с тех пор, как попал под арест) насчет того, чтобы возвратить этого приятного джентльмена в то место, откуда он потихоньку удрал. Вот он отыскался. И я скажу этой гнусной роже, — прибавил мистер Панкс, — что, по моему мнению, мир не сделался бы хуже, если бы избавился от нее.

— Вашего мнения не спрашивают, — сказала миссис Кленнэм. — Ступайте.

— Весьма сожалею, что приходится оставлять вас в такой скверной компании, — сказал Панкс, — сожалею и о том, что мистер Кленнэм не может присутствовать здесь. Это моя вина.

— То есть его собственная, — заметила она.

— Нет, моя, сударыня, — возразил Панкс, — так как, к несчастью, это я уговорил его так неудачно

поместить деньги. — Он упорно говорил «поместить». — Хотя я могу доказать цифрами, что имел полное право считать это помещение денег хорошим. Я каждый день со времени краха проверял расчеты, и что касается цифр, то могу сказать: они несокрушимы. Теперь не время — любовно заглядывая в шляпу, где лежали расчеты, продолжил мистер Панкс, — входить в подробности насчет цифр, но цифры неоспоримы. Мистер Кленнэм должен был бы в настоящую минуту разъезжать в карете, запряженной парой лошадей, а у меня было бы от трех до пяти тысяч фунтов.

Мистер Панкс взъерошил волосы с таким уверенным видом, что вряд ли мог бы выглядеть победоноснее, если бы деньги лежали у него в кармане. Эти неоспоримые цифры занимали все его свободное время с того момента, как он потерял деньги, и должны были доставлять ему утешение до конца его дней.

— Впрочем, довольно об этом. Альтро, ведь вы видели цифры, старина, и знаете, что из них получается.

Мистер Батист, который решительно не мог этого знать по совершенному отсутствию математических способностей, кивнул и весело оскалил свои белые зубы.

Мистер Флинтуинч, все время всматривавшийся в него, неожиданно вмешался в разговор:

— О, это вы? То-то я смотрю — знакомое лицо. Но никак не мог вспомнить, пока не увидел ваши зубы. Ну да, конечно. Это тот самый назойливый бродяга, — пояснил он, обращаясь к миссис Кленнэм, — который стучался в тот вечер, когда у нас были Артур и сорока, и засыпал меня вопросами насчет мистера Бландуа.

— Верно, — весело подхватил мистер Батист. — И заметьте, я все-таки разыскал его, padrone, соответствовательно поручению.

— Я бы ничуть не огорчился, — недовольно заметил мистер Флинтуинч, — если бы вы «соответствовательно» сломали себе шею.

— Теперь, — сказал мистер Панкс, взгляд которого не раз украдкой останавливался на окне и на штопавшемся чулке, — мне остается добавить всего пару слов, прежде чем я уйду. Если бы мистер Кленнэм был здесь, но он, к несчастью, болен и в тюрьме, бедняга, хоть и сумел доставить сюда этого превосходного джентльмена против его воли, — да, так если бы он был здесь, — заключил мистер Панкс, сделав шаг к окну и дотронувшись правой рукой до чулка, — то попросил бы: «Эффри, расскажите ваши сны».

Мистер Панкс поднял указательный палец между своим носом и чулком в знак предостережения и запыхтел прочь, потащив за собой на буксире мистера Батиста. Наружная дверь захлопнулась за ними, их шаги глухо прозвучали по двору, а в комнате никто еще не нарушал молчания. Миссис Кленнэм и Иеремия обменялись взглядами, затем оба уставились на Эффри, которая с великим усердием штопала чулок.

— Ну, — сказал наконец мистер Флинтуинч, подвигаясь зигзагами к окну и вытирая ладони о фалды сюртука, точно приготовляясь к какой-то работе, — на чем бы мы ни порешили, чем скорей порешим, тем лучше. Итак, Эффри, жена моя, убирайся.

В одно мгновение Эффри бросила на пол чулок, вскочила, ухватилась правой рукой за косяк, оперлась правым коленом о подоконник и принялась отмахиваться левой рукой, точно ожидая атаки.

— Нет, я не пойду, Иеремия, не пойду, не пойду. Не пойду, останусь здесь. Я услышу все, чего не знаю, и расскажу все, что знаю. Я хочу, наконец, знать все или умру. Хочу, хочу, хочу, хочу.

Мистер Флинтуинч, задыхаясь от негодования и изумления, послюнил пальцы одной руки,

тихонько обвел ими круг на ладони другой, с угрозой оскалив зубы, и продолжал подвигаться зигзагами к своей супруге, бормоча какую-то неясную угрозу, в которой можно было разобрать только: «Та-а-кую порцию…»

— Не подходи, Иеремия, — визжала Эффри, не переставая отмахиваться, — не подходи, или я подыму всех соседей. Выскочу из окна, закричу «караул», мертвых разбужу. Остановись, или я так завизжу, что мертвые встанут.

— Стойте! — произнес твердый голос миссис Кленнэм.

Иеремия остановился.

— Дело близится к развязке, Иеремия. Оставьте ее. Эффри, так вы пойдете против меня — теперь, после стольких лет?

— Да, если узнать то, чего я не знаю, и рассказать то, что знаю, — значит идти против вас. Теперь у меня вырвалось это наружу, и я не могу остановиться. Я решилась на это. Я так хочу, хочу, хочу, хочу. Если это значит идти против вас — пускай. Я иду против вас обоих, хитрецов. Я говорила Артуру, когда он приехал, чтобы он пошел против вас. Я говорила, что если меня запугали насмерть, так ему-то нет причин быть запуганным. С тех пор тут творятся разные темные дела,

и я больше не позволю Иеремии мучить меня: не хочу, чтобы меня дурачили и запугивали, не хочу быть участницей в бог знает каких делах. Не хочу, не хочу, не хочу! Я буду стоять за Артура, когда он разорен, болен, и в тюрьме, и не может сам постоять за себя. Буду, буду, буду, буду.

— Почем вы знаете, нелепая вы женщина, — сурово спросила миссис Кленнэм, — что, поступая таким образом, оказываете услугу Артуру?

— Я ничего не знаю толком, — ответила Эффри, — и если когда-нибудь вы сказали правдивое слово, так именно теперь, когда назвали меня нелепой женщиной, потому что вы оба, хитрецы, сделали меня такой. Вы обвенчали меня насильно, и с тех пор я жила среди таких страхов и снов наяву, что поневоле превратилась в нелепую женщину. Вы этого и добивались, но я больше не стану вам покоряться — не стану, не стану, не стану, не стану.

Она по-прежнему отбивалась от невидимых врагов. Посмотрев на нее некоторое время молча, миссис Кленнэм обратилась к Риго:

— Вы видите и слышите эту полоумную. Имеете вы что-нибудь против ее желания остаться здесь и мешать нам?

— Я, сударыня? С какой стати? Об этом нужно

спросить вас.

— Я не возражаю, — ответила она угрюмо — Теперь все равно. Флинтуинч, дело близится к развязке.

Мистер Флинтуинч бросил свирепый взгляд на свою супругу и, как бы удерживая себя от нападения на нее, засунул руки под жилет, почти упираясь подбородком в локти, остановился в углу, пристально наблюдая за Риго. Последний уселся на стол, болтая ногами. Приняв эту удобную позу, он устремил взгляд на твердое лицо миссис Кленнэм, и усы его поднялись, а нос опустился.

— Сударыня, я джентльмен…

— Который, — перебила она своим суровым тоном, — как я слышала, сидел во французской тюрьме по обвинению в убийстве.

Он ответил ей воздушным поцелуем, с преувеличенной любезностью.

— Совершенно верно. Именно. И притом — в убийстве дамы. Какая нелепость! Как неправдоподобно! Я одержал тогда полную победу; надеюсь одержать и теперь. Целую ваши ручки. Сударыня, я джентльмен (как я только что заметил), который, сказав: «Я покончу с таким-то делом в такой-то день», исполняет свои слова.

Объявляю вам, что это наше последнее совещание о нашем дельце. Вы изволите следить за моими словами и понимать меня?

Она пристально смотрела на него, нахмурив брови.

— Да.

— Далее: я джентльмен, для которого денежные торговые сделки сами по себе не существуют, хотя он принимает деньги как средство жить в свое удовольствие. Вы изволите следить за мной и понимать меня?

— К чему спрашивать? Да.

— Далее: я джентльмен самого мягкого и кроткого нрава, но способен дойти до бешенства, если меня заденут. Благородные натуры всегда способны дойти до бешенства при таких обстоятельствах. Я обладаю благородной натурой. Когда лев проснулся — то есть когда я взбешен, — удовлетворение моего бешенства становится для меня дороже денег. Вы по-прежнему изволите следить за мной и понимать меня?

— Да, — ответила она, несколько повысив голос.

— Я сказал, что это наше последнее совещание. Позвольте мне напомнить вам два предыдущих.

— В этом нет надобности.

— Черт побери, сударыня, — разгорячился он, — это моя прихоть. Кроме того, это проясняет положение. Первое совещание ограничивалось формальностями. Я имел честь познакомиться с вами, представить рекомендательное письмо. Я авантюрист, сударыня, к вашим услугам, но мои изящные манеры доставили мне популярность в качестве преподавателя языков среди ваших соотечественников, которые хоть и выглядят такими же накрахмаленными, как их воротнички, в отношениях друг к другу, но всегда готовы растаять перед иностранным джентльменом с изящными манерами. Тогда же мне удалось подметить в этом почтенном доме, — он с улыбкой огляделся, — кое-какие мелочи, убедившие меня в том, что я имел высокое удовольствие познакомиться с той самой леди, которую искал. Этим я и удовольствовался. Я дал честное слово нашему милому Флинтуинчу, что еще возвращусь, затем милостиво удалился.

Лицо миссис Кленнэм не выражало ни спокойствия, ни тревоги. Молчал ли он или говорил, она смотрела на него все так же спокойно и сурово, с тем же выражением готовности к чему-то необычайному.

— Я говорю «милостиво удалился», так как,

конечно, с моей стороны было очень милостиво уйти, не обеспокоив леди. Милосердие в характере Риго — Бландуа. Это было вместе с тем весьма тонко сделано, так как оставляло вас в неопределенном положении, в ожидании визита, возбуждавшего в вас смутные опасения. Но ваш покорнейший слуга — дипломат. Клянусь Небом, сударыня, он дипломат. Вернемся к делу. Не назначив заранее дня, я являюсь к вам вторично и сообщаю, что у меня есть вещица, которую могу продать, если же она останется непроданной, то жестоко скомпрометирует глубоко уважаемую мной леди. Я излагаю дело в общих чертах. Я требую… кажется, тысячу фунтов. Может быть, вы поправите меня?

Принужденная отвечать, она неохотно сказала:

— Вы требовали тысячу фунтов.

— Теперь я требую две. Таковы невыгоды отсрочки. Но будем продолжать по порядку. Вы не соглашаетесь — мы расходимся. Я подшучиваю, шутливость — в моем характере. Шутя я пропадаю без вести. Да уж только за то, чтобы избавиться от подозрений, возбужденных моим исчезновением, стоило заплатить половину назначенной мной суммы. Случай и шпионы

расстраивают мою шутку и срывают плод, быть может (кто знает? Только вы да Флинтуинч), уже созревший. И вот, сударыня, я снова появляюсь здесь, уже в последний раз. Слышите, в последний раз.

Постучав каблуками о ножку стула и встретив нахальным взглядом ее суровые глаза, он заговорил более грубым тоном:

— Ба! Постойте. Будем действовать по порядку. Не угодно ли уплатить по счету из гостиницы согласно условию? Через пять минут мы, чего доброго, будем на ножах. Я не стану ждать, а то вы меня надуете. Платите. Отсчитывайте мне деньги.

— Возьмите у него счет и заплатите, Флинтуинч, — сказала миссис Кленнэм.

Он швырнул счет в физиономию мистеру Флинтуинчу и, протянув руку, крикнул:

— Платите! Раскошеливайтесь! Чистоганом!

Иеремия взял счет, бросил бешеный взгляд на итог, достал из кармана маленький полотняный кошелек и положил деньги в протянутую руку.

Риго побренчал деньгами, взвесил их на ладони, слегка подбросил кверху, поймал и снова побренчал.

— Этот звук для храброго Риго — Бландуа точно

запах свежего мяса для тигра. Так как же, сударыня? Сколько дадите?

Он неожиданно повернулся к ней с угрожающим жестом руки, в которой зажал деньги, точно собирался нанести удар.

— Я вам скажу то же, что говорила раньше: мы не так богаты, как вы думаете, и ваше требование является чрезмерным. В настоящую минуту я не имею возможности исполнить такое требование, если даже соглашусь на него.

— «Если»! — воскликнул Бландуа. — Послушайте эту леди с ее «если». Так вы, пожалуй, скажете, что не согласны?

— Я скажу то, что сама хочу сказать, а не то, что вы хотите сказать за меня.

— Говорите же, согласны или нет? Живо! Говорите, а не то я знаю, что мне нужно делать.

Она отвечала прежним тоном, не ускоряя и не замедляя своей речи:

— Кажется, вы завладели какой-то бумагой или бумагами, которые мне, конечно, желательно было бы получить обратно.

Риго с хохотом забарабанил каблуками о пол и побренчал деньгами.

— Я думаю! В этом-то я вам верю!

— Быть может, эта бумага стоит того, чтобы я

за нее заплатила, но сколько именно — я не могу сказать.

— Что за черт! — сказал он злобно. — Это после недельной-то отсрочки?

— Да. Я не стану при моих скудных средствах, так как, повторяю, мы скорее бедны, чем богаты, платить за то, что мне доподлинно неизвестно. Вот уже третий раз вы являетесь с какими-то намеками и угрозами. Говорите толком, в чем дело, или убирайтесь куда хотите и делайте что хотите. Пусть лучше меня сразу растерзают на куски, но я не хочу, чтобы со мной играли как кошка с мышью.

Он так пристально посмотрел на нее сдвинутыми глазами, что его зловещие взгляды, казалось, скрещивались над крючковатым носом, и после продолжительной паузы сказал со своей адской усмешкой:

— Вы смелая женщина, сударыня.

— Я решительная женщина.

— И всегда были такой… Что, она всегда была такой, Флинтуинч?

— Не отвечайте ему! Теперь его очередь говорить все, что он может сказать, или убираться и делать все, что он может сделать. Вы помните наше решение? Пусть сам выбирает.

Она не опустила глаз перед его зловещим взглядом и не попыталась его избежать. Он снова уставился на нее, но она не шелохнулась. Он соскочил со стола, пододвинул стул к дивану, уселся и, облокотившись на диван, дотронулся до ее руки. Лицо ее оставалось по-прежнему суровым, внимательным и спокойным.

— Итак, вам угодно, сударыня, чтобы я рассказал вам эпизод из одной семейной истории в этом маленьком семейном кружке, — сказал Риго. — Я немножко знаком с медициной. Позвольте-ка ваш пульс.

Она позволила ему взять ее за руку. Нащупав пульс, он продолжил:

— История одного странного брака, одной странной матери, история мести и тайного гнета. Э-ге-ге! Как странно бьется пульс. Вдвое скорее, чем раньше. Это один из симптомов вашей болезни, сударыня?

Ее рука судорожно дрогнула, но лицо оставалось неподвижным. Она вырвала руку, а он продолжал со своей всегдашней улыбкой:

— Я вел жизнь, полную приключений. Я люблю приключения, это в моем характере. Я знал многих авантюристов: интересный народ, приятное общество! Одному из них я обязан сведениями

и доказательствами — доказательствами, почтенная леди, относительно интереснейшей семейной истории, к которой я и приступаю. Она позабавит вас. Но… постойте, я и забыл. Надо же дать заглавие истории. Назовем ее историей одного дома. Нет… постойте. Домов много. Назовем ее историей этого дома.

Опираясь на диван левым локтем, раскачиваясь на стуле, дотрагиваясь время от времени до ее руки, чтобы сильнее подчеркнуть свои слова, скрестив ноги, то поглаживая волосы, то покручивая усы, то потирая нос, всегда с угрозой, грубый, наглый, хищный, жестокий, сознающий свою силу, он приступил, не торопясь, к рассказу.

— Итак, я намерен поведать историю этого дома. Начинаю. Жили здесь, скажем, дядя и племянник. Дядя — суровый старый джентльмен с железным характером, племянник — робкий, смирный и забитый.

Тут миссис Эффри, внимательно следившая за сюжетом, сидя на подоконнике, кусая скрученный конец передника и дрожа всем телом, внезапно вскрикнула:

— Не трогай меня, Иеремия! Я слышала в своих снах об отце Артура и его дяде. Он о них говорит. Это было еще до меня, но я слышала в своих снах,

что отец Артура был жалкий, нерешительный, запуганный малый, что его, сироту, еще с детства запугали до полусмерти, что и жену ему выбрал дядя, не спрашивая о его желании. Вот она сама сидит здесь. Я слышала это в своих снах, а вы рассказываете это ей самой.

Мистер Флинтуинч погрозил ей кулаком, миссис Кленнэм сурово взглянула на нее, а Риго послал ей воздушный поцелуй.

— Совершенно верно, дорогая миссис Флинтуинч. Вы истинный гений по части снов.

— Я не нуждаюсь в ваших похвалах, — возразила Эффри. — Я не для вас говорю. Но Иеремия уверял, будто это были сны, и я расскажу их.

Тут она снова засунула в рот конец передника, точно хотела заткнуть кому-нибудь глотку — может быть, Иеремии, который трясся от злости, точно от холода.

— Наша милейшая миссис Флинтуинч, — сказал Риго, — обнаруживает поистине чудесную наблюдательность и остроумие. Да. Итак, история продолжается. Дядя приказывает племяннику жениться и говорит: «Племянник, я намерен женить тебя на леди с железным характером, таким же, как у меня, решительной, суровой, с непреклонной волей, на женщине, которая со-

трет в порошок более слабого, безжалостной, не способной любить, неумолимой, мстительной, холодной, как камень, и бешеной, как пламя». Ах какая сила воли! Какая высокая энергия! Какой гордый и благородный характер! Я описываю его предполагаемыми словами дядюшки. Ха-ха-ха! Черт побери, я в восторге от этой милой леди.

Лицо миссис Кленнэм изменилось: как-то потемнело, и лоб нахмурился еще сильнее.

— Сударыня, сударыня, — сказал Риго, похлопывая ее по руке, точно его жесткие пальцы играли на каком-нибудь музыкальном инструменте, — я замечаю, что мой рассказ начинает интересовать вас. Я замечаю, что он возбуждает ваше сочувствие. Будем продолжать.

Но прежде чем продолжить, он прикрыл на минуту своей белой рукой ястребиный нос над вздернутыми усами, наслаждаясь эффектом, который он произвел.

— Так как племянник, по справедливому замечанию миссис Флинтуинч, — жалкий малый, которого запугали до полусмерти, то он только опускает голову и отвечает: «Дядюшка, воля ваша. Как вам угодно». Дядюшка делает как ему угодно. Он всегда так делал. Счастливый союз заключен, молодые поселяются в этом очарова-

тельном замке, молодую принимает, скажем, Флинтуинч. А, старый интриган?

Иеремия, смотревший на свою госпожу, не отвечал.

Риго взглянул на него, потом на нее, потеребил свой безобразный нос и щелкнул языком.

— Вскоре молодая делает страшное и поразительное открытие. Обуреваемая гневом, ревностью, жаждой мести, она придумывает, слышите, сударыня, план возмездия, остроумно взвалив его исполнение на своего мужа, которому приходится уничтожить ее соперницу и самому быть раздавленным под тяжестью мести. Каково остроумие!

— Не тронь, Иеремия! — крикнула трепещущая Эффри, снова выдергивая изо рта передник. — Но он рассказывает мой сон, когда вы ссорились однажды зимой, вечером; она сидела вон там, а ты смотрел на нее. Ты говорил ей, что она не должна допускать, чтобы Артур подозревал только своего отца, что сила и власть были всегда на ее стороне и что она должна вступиться за отца перед Артуром. В этом самом сне ты сказал ей, что она не… Но тут она страшно вспылила и заставила тебя замолчать. Ты знаешь этот сон не хуже меня. Когда ты пришел в кухню со свечкой и сдернул

с моей головы передник. Когда я сказала тебе, что видела сон. Когда ты не хотел верить, что тут слышны шорохи.

После этого взрыва Эффри снова засунула конец передника в рот, по-прежнему держась рукой за косяк и упираясь коленом в подоконник, готовая закричать или выскочить, если ее владыка и повелитель вздумает подойти к ней.

Риго слушал, не пропуская ни слова.

— Ха-ха! — крикнул он, поднимая брови, скрестив руки и откидываясь на спинку стула. — Миссис Флинтуинч — настоящий оракул. Как же мы разъясним изречение этого оракула — вы, я и старый плут? Он сказал, что вы не… А вы вспылили и заставили его замолчать. Вы не… что «не»? Говорите, сударыня.

Она тяжело дышала, и лицо ее исказилось. Губы дрожали и открывались, несмотря на страшное усилие сохранить спокойствие.

— Ну же, сударыня, говорите. Наш старый плут сказал, что вы не… а вы перебили его. Он хотел сказать, что вы не… что? Я уже знаю это, но желал бы, чтобы вы отнеслись ко мне доверчивее. Так как же? Вы не… что?

Она попыталась было овладеть собой, но дико вскрикнула:

— Не мать Артуру!

— Очень хорошо, — сказал Риго, — с вами можно столковаться.

Маска хладнокровия слетела с ее лица от этого взрыва страсти, в каждой черте ее прорывался наружу огонь, так долго тлевший внутри.

— Я сама расскажу! — крикнула она. — Я не хочу слышать эту историю из ваших мерзких уст. Если уж все выходит наружу, то пусть она явится в настоящем свете. Ни слова более. Слушайте меня.

— Если бы вы не были самой упрямой и самовластной женщиной, какую я только знаю, — перебил мистер Флинтуинч, — вы бы предоставили этому мистеру Риго, мистеру Бландуа, мистеру Вельзевулу, рассказывать по-своему. Не все ли равно, раз он все знает.

— Он не все знает.

— Он знает все, что ему нужно, — сердито возразил мистер Флинтуинч.

— Он не знает меня.

— Какое ему дело до вас, тщеславная женщина? — сказал мистер Флинтуинч.

— Говорят вам, Флинтуинч, я сама расскажу. Если уж дело дошло до этого, то я хочу сама рассказать то, что было, как — после того, что я

вытерпела в этой комнате, после всех моих страданий — я должна видеть себя в таком зеркале, как это! Видите вы его? Слышите вы его? Если бы ваша жена была во сто раз неблагодарнее, чем она есть, и если бы я имела в тысячу раз меньше надежды заставить ее молчать, когда куплю молчание этого человека, и тогда я скорее рассказала бы эту историю сама, чем терпеть такую пытку: выслушать ее от него.

Риго немного отодвинул свой стул от дивана, вытянул ноги и, скрестив руки на груди, сидел молча.

— Вы не знаете, — начала она, обращаясь к нему, — что значит быть воспитанной в строгих и твердых правилах. Я была воспитана в строгих правилах. В детстве я не знала легкомысленного веселья и грешных забав. На мою долю достались только спасительная строгость, наказания и страх. Развращенность наших сердец, греховность наших путей, проклятие, которое тяготеет над нами, ужасы, которые окружают нас, — вот на что обращали мое внимание в детстве. Эти впечатления сформировали мой характер и исполнили меня отвращением к грешникам. Когда старый мистер Джильберт Кленнэм предложил моему отцу своего племянника мне в мужья,

отец сообщил мне, что этот молодой человек был, подобно мне, воспитан в правилах строгой дисциплины. Он сказал мне, что независимо от дисциплины ему приходилось жить в одиночестве, вдали от пиров и веселья, в непрестанном труде и испытаниях. Он сказал мне, что это уже взрослый человек и что от школьных дней до настоящей минуты дом его дяди был для него святилищем, сохранявшим его от заразы греха и разврата. Через год после нашей свадьбы, я узнала, что мой муж в то самое время, когда мой отец говорил о нем, согрешил против Бога и оскорбил меня, изменив мне ради распутной женщины, могла ли я сомневаться, что мне предназначено было сделать это открытие и что мне предназначено было наложить карающую руку на это погибшее создание, могла ли я забыть хоть на минуту… не мои обиды — что я такое? — но гнусность греха и войну с грехом, к которой я готовилась с детства?

Она накрыла рукой часы, лежавшие на столе.

— Нет. «Не забудь!» Начальные буквы этих слов здесь, они и тогда были здесь. Мне было предназначено найти старое письмо, которое относилось к этим буквам и объясняло мне, что они значили, кем и для чего были вышиты и почему

лежали в этих часах, в потайном ящике. Не будь этого, я бы ничего не открыла. «Не забудь!» Эти слова звучали в моих ушах как гром небесный. Я не забыла. Но мои ли обиды я помнила? Мои! Я была только слугой и орудием. Какую власть могла бы я иметь над ними, если бы они не были скованы цепями своего греха и переданы мне?

Более сорока лет пронеслось с тех пор над поседевшей головой этой решительной женщины, более сорока лет борьбы с тайным голосом, который шептал, что, какими бы именами она ни называла свою мстительную гордость и бешенство, но вся вечность не изменит их истинной природы. Но теперь, когда эти сорок лет прошли, когда Немезида смотрела ей в лицо, она упорствовала в своей нечестивости, извращала закон творения, пыталась создать творца по своему подобию и вдохнуть в него свой дух. Истиной является то, что путешественники видели много чудовищных идолов во многих странах, но никогда глаза человеческие не видали таких дерзких, грубых и возмутительных образов божества, какие мы, дети праха, создаем по своему подобию, руководясь своими страстями.

— Когда я заставила его открыть мне ее имя и убежище, — продолжила она свое бурное

оправдание, — когда я предстала перед ней и она кинулась к моим ногам, пряча свое лицо, разве о моих обидах я говорила, разве за себя я осыпала ее упреками? Те, кому в древние времена было предназначено обличать порочных царей, разве не были они только слугами и орудиями? И разве я, недостойная, не изобличала грех? Когда она умоляла меня, ссылаясь на свою молодость, на его жалкую тяжелую жизнь (так называла она воспитание в правилах добродетели, которое он получил), на осквернение таинство брака, так как они были обвенчаны тайно, на ужасы лишений и позора, грозивших им обоим, когда я впервые явилась орудием их наказания, на любовь (да, она произнесла это слово, ползая у моих ног), которая заставила ее отказаться от него и уступить его мне, — разве моего врага я попирала, разве слова моего гнева заставили ее дрожать и корчиться? Нет, не своей силой добилась я искупления.

Много лет прошло с тех пор, как миссис Кленнэм перестала владеть даже пальцами, но в течение своей речи она несколько раз ударила кулаком по столу, а при последних словах даже подняла руку вверх, как будто это было самым обыкновенным жестом для нее.

— И в чем состояло искупление, которое я вырвала из ее черствого сердца, из ее черной души? Я мстительна и неумолима? Это может показаться таким, как вы, не знающим справедливости, служителям Сатаны. Смейтесь, но я хочу, чтобы меня знали такой, какой я знаю себя сама, какой знает меня Флинтуинч, хотя бы речь шла только о вас и об этой полоумной женщине.

— Добавьте: и о вас самой, сударыня, — сказал Риго. — Сдается мне, что вам очень хочется оправдаться в своих собственных глазах.

— Это ложь. Это неправда. Я не нуждаюсь в этом! — возразила она со страшной энергией и гневом.

— В самом деле? — заявил Риго. — Ха!

— Я говорю, какого искупления я потребовала от нее? «У вас есть ребенок, у меня нет. Вы любите вашего ребенка. Отдайте его мне. Он будет считать себя моим сыном, и все будут считать его моим сыном. Чтобы избавить вас от позора, его отец даст клятву никогда не видаться и не иметь никаких отношений с вами, а чтобы дядя не лишил его наследства и ваш ребенок не остался нищим, вы поклянетесь мне никогда не видаться и не иметь никаких отношений ни с тем ни с другим. Если вы сделаете это и откаже-

тесь от денег, которые даст вам мой муж, я сама позабочусь о вас. Вы можете даже, поселившись где-нибудь подальше, сохранить доброе имя в глазах других людей». Вот и все. Она должна была пожертвовать своими грешными и позорными привязанностями, и только. Затем она могла нести бремя своего позора в уединении, в одиночестве предаваться своему горю и этими временными страданиями (не особенно тяжелыми для нее, я полагаю) обрести для себя вечное спасение. Если, таким образом, я наказывала ее здесь, то не открывала ли я ей пути к блаженству в той жизни? Она знала, что ей грозит месть неутолимая и огонь неугасимый, но разве от меня они шли? Если я угрожала ей тогда и после всеми карами, которые нависли над ней, то разве я держала их в своей руке?

Она открыла часы и с тем же неумолимым выражением взглянула на вышитые буквы.

— Они не забыли. Так предопределено свыше: виновные в таких проступках не забывают их. Если присутствие Артура было непрерывным упреком для его отца, если отсутствие Артура было непрерывной мукой для его матери, то это было справедливым возмездием Иеговы. Меня ли упрекать в том, что упреки пробудившейся

совести свели ее с ума и что волей Всевышнего она прожила много лет в таком состоянии? Я решилась спасти ребенка, обреченного на гибель, дать ему честное имя, воспитать его в страхе и трепете, приучить к борьбе с грехом, который тяготел над его головой раньше, чем он явился в этот проклятый мир. Где же моя жестокость? Разве я сама не страдала от последствий греха, не мной совершенного? Когда я и отец Артура жили на противоположных концах света, нас отделяло не большее расстояние, чем тогда, когда мы жили в этом доме. Он умер и прислал мне эти часы с их надписью: «Не забудь!» Я не забыла, хотя читаю в них не то, что читал он. Я читаю в них то, что мне предназначено было сделать, все, о чем я говорила. Так я читаю их теперь, когда они лежат передо мной на столе, так я читала их, когда они были за тысячи миль от меня.

Когда она взяла часы, свободно владея своей рукой и, по-видимому, сама не сознавая этого, устремила взор на буквы, Риго воскликнул, громко и презрительно щелкнув пальцами:

— К делу, сударыня, время не ждет! К делу, благочестивая женщина, пора кончить. Вы не сказали мне ничего нового. Рассказывайте об украденных деньгах, или я сам расскажу. Черт

побери, довольно с меня вашей болтовни. Переходите к украденным деньгам.

— Негодяй, — ответила она, сжав ладонями голову, — какая роковая ошибка Флинтуинча, моего единственного помощника и доверенного в этом деле, помогла вам овладеть сгоревшей и возродившейся из пепла бумагой — я не знаю, как не знаю, откуда возникает ваша власть надо мной.

— Тем не менее, — возразил Риго, — таково уж мое случайное счастье. Да-с, у меня сохраняется в укромном месте эта самая бумага: коротенькая приписка к завещанию господина Джильберта Кленнэма, написанная рукой леди и подписанная той же самой леди и нашим старым пройдохой. А, что, старый пройдоха, скрюченная кукла! Сударыня, будем продолжать, время не терпит. Кто доскажет историю: вы или я?

— Я, — ответила она с еще большей энергией. — Я не хочу являться перед кем бы то ни было в вашем гнусном искаженном изображении. Вы, подлый выкидыш иностранных тюрем и галер, объяснили бы мой поступок жадностью к деньгам. Деньги не имели значения для меня.

— Ба-ба-ба! Забываю на минуту свою вежливость и говорю прямо: ложь, ложь, ложь. Вы сами

знаете, что скрыли завещание и прикарманили деньги.

— Не ради денег, негодяй! — Она сделала судорожное усилие, как будто хотела встать, и даже почти поднялась на своих бессильных ногах. — Если Джильберт Кленнэм, впавший в детство перед смертью и вообразивший, будто на нем лежит обязанность вознаградить девушку, которую любил его племянник, — вознаградить за то, что он раздавил эту любовь, за то, что девушка помешалась от отчаяния и жила, всеми покинутая, — если, говорю я, в этом жалком состоянии он продиктовал мне, чья жизнь была омрачена ее грехом, — мне, вырвавшей из ее собственных уст признание в грехе, — приписку к завещанию, цель которой была вознаградить ее за якобы незаслуженные страдания, то неужели, исправив эту несправедливость, я сделала то же самое, что делаете вы и ваши товарищи каторжники, воруя друг у друга деньги?

— Время не терпит, сударыня. Берегитесь.

— Если бы дом был объят пламенем от основания до крыши, — возразила она, — я бы не вышла из него, пока не опровергла бы вас, который не видит разницы между моими справедливыми побуждениями и побуждениями убийц и воров.

Риго презрительно щелкнул пальцами почти у самого ее лица.

— Тысячу гиней красотке, которую вы уморили медленной смертью. Тысячу гиней младшей дочери ее покровителя, если бы у пятидесятилетнего старика родилась дочь, или (если бы не родилась) — младшей дочери его брата, когда она достигнет совершеннолетия, «в память о его бескорыстном покровительстве бедной покинутой девушке». Две тысячи гиней. Что? Вы никак не доберетесь до денег.

— Этот покровитель!.. — воскликнула она в бешенстве.

— Имя! Назовите его Фредериком Дорритом. Без уверток!

— Этот Фредерик Доррит был началом всего. Если бы он не занимался музыкой, если бы в дни его молодости и богатства в его доме не собирались певцы, музыканты и тому подобные дети Сатаны, которые поворачиваются спиной к свету и лицом к тьме, она могла бы остаться в своем низком состоянии и не поднялась бы над ним, чтобы быть низвергнутой. Но нет, Сатана вселился в этого Фредерика Доррита и убедил его, что ему представляется случай помочь бедной девушке, обладающей хорошим голосом. Он

взялся ее учить. Тогда отец Артура, шедший суровым путем добродетели и втайне стремившийся к проклятым сетям, называемым искусством, познакомился с ней. И эта осужденная на гибель сирота, будущая певица, благодаря Фредерику Дорриту овладевает им, и я обманута и унижена… То есть не я, — прибавила она вспыхнув, — а кто-то больший, чем я. Что я такое!..

Иеремия Флинтуинч, который мало-помалу подбирался к ней и теперь стоял у нее под боком, не замеченный ею, скорчил особенно кислую гримасу и поправил свои гетры, как будто от этих слов у него забегали мурашки в ногах.

— Наконец, — продолжила она, — так как я кончаю и больше не буду говорить об этом, да и вы не будете, нам остается только решить, сделается ли эта тайна известной кому-нибудь, кроме нас четверых, наконец, когда я скрыла завещание с ведома отца Артура…

— Но не с согласия, как вам известно, — заметил мистер Флинтуинч.

— Кто говорит о его согласии? — Она вздрогнула, увидев Иеремию так близко от себя, и окинула его недоверчивым взглядом. — Вы так часто служили посредником между нами, когда он хотел предъявить эту бумагу, а я отказывалась,

что, конечно, могли бы уличить меня, если б я сказала: с его согласия. Скрыв эту бумагу, я не уничтожила ее, но сохраняла у себя, в этом доме, в течение многих лет. Так как остальное состояние Джильберта перешло к отцу Артура, я всегда могла сделать вид, что нашла это новое завещание, изменив таким образом назначение этих двух сумм, но, помимо того, что мне пришлось бы при этом решиться на прямую ложь (великий грех), я не видела поводов к такому поступку. Это было возмездие за грех. Я сделала то, что мне предназначено было сделать, и вытерпела в этих четырех стенах то, что мне предназначено было вытерпеть. Когда бумага была наконец уничтожена (так я думала, по крайней мере) на моих глазах, эта девушка давно умерла, а ее покровитель, Фредерик Доррит, потерпел заслуженную кару: разорился и впал в идиотизм. У него не было дочери. Я отыскала его племянницу, и то, что сделала для нее, принесло ей больше пользы, чем деньги.

Помолчав с минуту, она прибавила, как бы обращаясь к часам:

— Она была невинна, и, может быть, я не забыла бы ее в своем завещании.

— Позвольте вам напомнить одну вещь, по-

чтеннейшая, — сказал Риго. — Этот документик находился еще в вашем доме в тот день, когда наш друг арестант, мой товарищ по тюрьме, вернулся на родину из дальних стран. Напомнить вам еще кое-что? Певчая птичка, которую никогда не выпускали на волю, сидела в клетке под надзором нарочно приставленного стража, хорошо известного нашему старому пройдохе. Не расскажет ли наш старый плут, когда он видел его в последний раз?

— Я расскажу вам! — воскликнула Эффри, открывая свой рот. — Я видела это во сне, в первом из всех моих снов. Иеремия, если ты подойдешь ко мне, я завизжу так, что у собора Святого Павла услышат… Сторож, о котором говорит этот человек, был родной брат, близнец Иеремии, и он приходил сюда в тот ужасный вечер, в тот вечер, когда вернулся Артур, и Иеремия своими руками отдал ему эту бумагу и что-то еще, а он унес ее в железном сундуке… Помогите! Режут! Спасите меня от Иеремии!

Мистер Флинтуинч бросился на нее, но Риго перехватил его по дороге. После минутной борьбы Иеремия отступил и засунул руки в карманы.

— Как, — воскликнул Риго с хохотом, отпихивая локтями Иеремию на прежнее место, — нападать

на леди с такими гениальными снами! Ха-ха-ха! Да ведь ее за деньги можно показывать и нажить состояние. Все ее сны оказываются правдой. Ха-ха-ха! Как вы похожи на него, Флинтуинчик. Как две капли воды он, каким я знал его в Антверпене, в кабачке «Три бильярда» (я объяснялся за него по-английски с хозяином). Но какой пьянчуга! Да и курильщик! Он жил в уютной квартирке, меблированной, на пятом этаже, над угольным и дровяным складами, модисткой, столяром и бондарем, тут я и познакомился с ним, и тут он утешался коньяком и табаком, напиваясь до положения риз каждый день, пока один раз не напился до смерти. Ха-ха-ха! Какое вам дело до того, как я овладел документом в железном сундучке? Может быть, он поручил его мне для передачи вам, может быть, сундучок возбудил мое любопытство, и я стянул его. Ха-ха-ха! Не все ли равно, раз он в моих руках? Мы не щепетильны, а, Флинтуинч? Мы не щепетильны, правда, сударыня?

Отступая перед ним и злобно отбиваясь локтями, мистер Флинтуинч был приперт в угол, на прежнее место, где и остановился, засунув руки в карманы, отдуваясь и не опуская глаз перед пристальным взором миссис Кленнэм.

— Ха-ха-ха! Вот оно что! — воскликнул Риго. — Вы, я вижу, еще не знаете друг друга. Позвольте мне, миссис Кленнэм, уничтожающая документы, представить вам мистера Флинтуинча, сберегающего их.

Мистер Флинтуинч, вынув одну руку из кармана, чтобы почесать подбородок, сделал шаг или два вперед, по-прежнему выдерживая взгляд миссис Кленнэм, и обратился к ней со следующими словами:

— Ну-с, я знаю, почему вы так таращите на меня глаза, но это совершенно ни к чему, меня этим не испугаешь. Сколько лет я твердил вам, что вы одна из самых упрямых и своенравных женщин. Такая вы и есть. Вы называете себя смиренной и грешной, а на деле вы самая тщеславная из всего вашего пола. Вот вы какая. Сколько раз я вам говорил, когда, бывало, у нас начиналась размолвка, что вы можете гнуть в дугу других, а меня не согнете, можете глотать живьем других, а меня не проглотите. Почему вы не уничтожили бумагу, как только она попала вам в руки? Я вам советовал, так нет, вы не любите слушать советы. Вам-де нужно сохранить эту бумагу. Может быть, вы еще предъявите ее. Точно я не знал, что этого никогда не будет, что ваша гордость не

позволит вам предъявить бумагу, рискуя быть заподозренной в утайке. Но это ваша обычная манера обманывать самое себя. Вот точно так вы и теперь обманываете себя, стараясь доказать, будто устроили всю эту штуку не потому, что вы жестокая женщина, воплощенное упрямство, самовластие, злопамятность, а потому, что вы слуга и орудие, которому было предназначено свыше сделать это. И кто вы такая, что вам предназначено сделать это? По-вашему — это религия, а по-моему — бахвальство. И сказать вам правду, — продолжил мистер Флинтуинч, скрестив руки и всей своей фигурой изображая ворчливую злость, — вы меня доконали, доконали за эти сорок лет своим высокомерием даже передо мной, который знает все как свои пять пальцев. Вы всегда старались дать мне понять, что я перед вами ничто. Я вам отдаю должное: вы женщина с головой и с талантом, но, будь у вас сильнейшая голова и крупнейший талант, нельзя сорок лет донимать человека. Не пяльте же на меня глаза, меня этим не проймешь. Перехожу к документу. Вы запрятали его и никому не сказали куда. В то время вы еще могли двигаться и достать бумагу в случае надобности. Но что же вышло? Вы очутились в том положении, в каком теперь

находитесь, и уже не могли бы достать бумагу, если бы она вам понадобилась. И вот она лежит целые годы в потаенном месте. Наконец, когда вы со дня на день ожидали Артура, когда он каждый день мог явиться, и неизвестно было, не вздумает ли он шарить по всему дому, я говорил вам и повторял тысячу раз: не можете сами достать бумагу, скажите мне, где она лежит, я ее достану, и мы бросим ее в огонь. Так нет же… никто, кроме вас, не знает, где она лежит, а это все-таки дает вам известную власть, а насчет властолюбия, как бы вы там ни называли себя, вы настоящий Люцифер в юбке. Однажды вечером в воскресенье является Артур. Не пробыл он в этой комнате и десяти минут, как заводит речь об отцовских часах. Вы очень хорошо знаете, что «Не забудь!» в то время, когда его отец поручил передать вам часы и когда вся история была уже покончена, значило только одно: не забудь об утайке завещания, возврати деньги. Поведение Артура напугало вас, и вы все-таки решились сжечь бумагу. Итак, перед тем, как эта дикая кляча и Иезавель [102], — мистер Флинтуинч злобно покосился на свою супругу, — уложила вас спать, вы

[102] Сноски: 102

Царица древнего государства Израиль, упоминаемая в библейской легенде; отличалась своей гордостью и порочностью.

сказали мне, где лежит бумага: в старой счетной книге, в кладовой, куда Артур забрался на следующее же утро. Но ее нельзя сжечь в воскресенье. Нет, вы строго соблюдаете предписания религии. Да, вы должны подождать до двенадцати часов ночи и сжечь бумагу в понедельник. И все это, чтобы донять меня. Ну-с, будучи немножко не в духе и не отличаясь благочестием, я заглянул до двенадцати часов в бумагу, чтобы освежить в своей памяти ее наружный вид, отыскал в погребе другую такую же старую пожелтевшую бумажонку, сложил ее совершенно так же, как ту, и в понедельник утром, когда вы лежали на этом диване, а я с лампой в руке отправился к камину жечь бумагу, подменил потихонечку документ и сжег ненужную бумажонку. Мой брат Эфраим, содержатель сумасшедшего дома (самого бы его посадить на цепь), имел большую практику, с тех пор как вы поручили ему свою пациентку, но дела его шли плохо. Жена его умерла (это, положим, не большая беда, я был бы рад, если бы умерла моя), спекуляции с сумасшедшими не удавались, одного пациента он чуть не зажарил живьем, приводя в разум, и этим навлек на себя неприятности, да к тому же влез в долги. Он решил удрать, забрав сколько мог денег и прихватив

небольшую сумму у меня. В понедельник утром он был здесь, перед отъездом. Отсюда отправился в Антверпен, где (хоть это и возмутит ваше благочестие, а все-таки скажу, будь он проклят!) познакомился с этим джентльменом. Он тогда много прошел пешком и показался мне сонным. Теперь я думаю, что он попросту был пьян. Когда мать Артура находилась под надзором его и его жены, она то и дело писала, беспрестанно писала, все больше покаянные письма к вам с просьбами о прощении. Мой брат передавал мне время от времени эти письма целыми пригоршнями. Я полагал, что могу оставить их у себя, потому что вы проглотили бы их как ни в чем не бывало, и вот я складывал их в шкатулку и время от времени перечитывал, когда приходила охота. Решив, что документ следует отправить куда-нибудь подальше, пока Артур бывает у нас, я уложил его в ту же шкатулку, запер ее двойным замком и поручил брату увезти и беречь ее, пока я не напишу ему. Я писал ему, и не получил ответа. Я не знал, что думать, пока этот джентльмен не осчастливил нас своим первым визитом. Тогда я, конечно, начал подозревать, в чем дело, и теперь вовсе не нуждался в рассказе этого джентльмена, чтобы объяснить себе, как он получил свои сведения

из моих писем, вашего документа и болтовни моего брата за трубкой и коньяком (чтоб ему подавиться). Теперь мне остается сказать только одно, жестокая вы женщина: я и сам не знаю, воспользовался ли бы я этим документом против вас или нет. Думаю, что нет: с меня было довольно сознания, что я держу вас в руках. При настоящих обстоятельствах я не дам вам больше никаких объяснений до завтрашнего вечера. Так вы и знайте, — прибавил мистер Флинтуинч, скрючившись в заключение своей речи, — и пяльте-ка лучше свои глаза на кого-нибудь другого, на меня их пялить нечего.

Она медленно отвела взгляд от его лица и опустила голову на руку. Ее другая рука крепко уцепилась за стол, и снова судорога пробежала по ее телу, точно она собиралась встать.

— За эту шкатулку вам нигде не заплатят столько, сколько здесь. Вы никому не продадите ваши сведения так выгодно, как мне. Но я не могу сейчас собрать всю сумму, которую вы требуете. Я не богата. Сколько вы хотите получить сейчас и сколько в следующий раз и чем гарантируете мне ваше молчание?

— Ангел мой, — возразил Риго, — я уже сказал, сколько хочу получить, и прибавил, что время не

терпит. Перед тем как идти сюда, я оставил копии важнейших из этих бумаг в других руках. Пропустите только то время, когда ворота Маршалси запираются на ночь, и будет поздно. Арестант прочтет бумаги.

Она схватилась обеими руками за голову, вскрикнула и выпрямилась во весь рост. С минуту она шаталась, но потом встала и стояла твердо.

— Что вы хотите сказать? Что вы хотите сказать, несчастный?

Перед этой зловещей фигурой даже Риго отступил и понизил голос. Всем троим показалось, будто мертвая встала из гроба.

— Мисс Доррит, — ответил Риго, — младшая племянница господина Фредерика, с которой я познакомился за границей, очень привязана к узнику. Мисс Доррит, младшая племянница господина Фредерика, ухаживает в настоящую минуту за узником, который заболел. Для нее-то я по пути сюда оставил в тюрьме пакет с записочкой, в которой прошу ее ради него — она сделает все ради него — не распечатывать пакета и возвратить его, если за ним зайдут до закрытия тюрьмы. Если же никто не потребует его до тех пор, пока позвонит звонок, отдать его узнику:

в пакет вложена вторая копия для него, которую он и передаст мисс Доррит. Что? Я не настолько доверяю вам, чтоб не принять своих мер, раз дело зашло так далеко. А насчет того, будто нигде не заплатят за мои документы столько, сколько здесь, почем вы знаете, сударыня, сколько заплатит младшая племянница господина Фредерика ради него, чтоб я только молчал о них? Еще раз повторяю: время не терпит. Если я не потребую пакета обратно до звонка, вы его не купите. Тогда я продаю его девушке.

Снова судорога прошла по телу миссис Кленнэм, и вдруг она бросилась в чулан, отворила дверь, сорвала с вешалки платок и накинула на голову. Эффри, смотревшая на нее в ужасе, кинулась к ней, схватила за платье и упала на колени.

— Стойте, стойте, стойте! Что вы делаете? Куда вы идете? Вы страшная женщина, но теперь я не желаю вам зла. Я вижу, что не могу помочь Артуру, и вам нечего бояться меня. Я сохраню вашу тайну. Не уходите, вы упадете мертвой на улице. Только обещайте, что, если бедняжку прячут в этом доме, вы позаботитесь о ней. Только обещайте это, и вам нечего меня бояться.

Миссис Кленнэм остановилась на мгновение и

сказала с гневным изумлением:

— Прячут! Она умерла больше двадцати лет назад. Спросите Флинтуинча, спросите его. Они оба вам скажут, что она умерла, когда Артур был за границей.

— Тем хуже, — сказала Эффри дрожа, — значит, это ее душа бродит по дому. Кто же другой шуршит здесь, ходит по ночам, делает знаки на пыльном полу, проводит кривые линии на стенках, придерживает двери, когда хочешь их отворить? Не уходите, не уходите, вы умрете на улице.

Миссис Кленнэм вырвала свое платье и, прежде чем выбежать из комнаты, сказала Риго:

— Подождите меня здесь!

Они видели из окна, как она опрометью пробежала по двору и исчезла за калиткой. В течение нескольких минут они не двигались с места. Первая опомнилась Эффри и, ломая руки, кинулась за своей госпожой. Затем Иеремия, засунув одну руку в карман, а другой почесывая подбородок, стал тихонько пятиться к двери и исчез, не сказав ни слова. Риго, оставшись один, уселся на подоконник открытого окна в той же позе, в какой сидел когда-то в старой марсельской тюрьме. Положив подле себя папиросы и спички, он при-

нялся курить, рассуждая сам с собой:

— Ух, почти такое же мрачное место, как проклятая старая тюрьма. Теплее, но такое же унылое. Подождать, пока она вернется? Да, конечно, только куда она побежала и скоро ли вернется? Все равно. Риго — Ланье — Бландуа, голубчик, ты получишь свои денежки. Ты разбогатеешь. Ты жил джентльменом и умрешь джентльменом. Ты восторжествуешь, милый мой, в твоем характере — торжествовать. Ух!

И в этот час торжества усы его поднялись, а нос опустился, когда он с особенными удовольствием взглянул на огромную балку над своей головой.

Глава XXXI. Развязка

Солнце уже село, тусклый полумрак стоял над пыльными улицами, когда на одной из них показалась женщина, так давно отвыкшая от городского шума. Поблизости от дома она не возбудила особенного внимания, так как здесь ее могли заметить только немногочисленные прохожие, но когда она по извилистым переулкам, ведущим от реки к Лондонскому мосту, выбралась на большую улицу, ее странная фигура вызвала общее удивление.

С решительным и диким взглядом, в бросавшемся в глаза траурном платье и небрежно наброшенном на голову платке, худая, бледная как смерть, она стремилась вперед быстрыми, но неверными шагами, не замечая ничего окружающего, точно лунатик. Она так резко отличалась от окружающей толпы, что не могла бы сильнее броситься в глаза, если бы стояла на пьедестале. Зеваки останавливались и с любопытством осматривали ее; занятые люди, встречаясь с ней, замедляли шаги и оглядывались на ее странную фигуру; в группах людей, мимо которых она проходила, перешептывались при виде этого живого

призрака, и, двигаясь среди толпы, она точно создавала водоворот, увлекавший за ней и самых равнодушных, и самых любопытных.

Ошеломленная суматохой и шумом множества людей, так внезапно нарушивших ее многолетнюю отшельническую жизнь, непривычным впечатлением чистого воздуха и еще более непривычным впечатлением ходьбы, неожиданными переменами в полузабытых сценах и предметах, разницей между оглушающим впечатлением действительной жизни и смутными картинами, которые рисовало ее воображение в затворничестве, — ошеломленная всем этим, она стремилась вперед, и ей казалось, будто она движется среди духов и призраков, а не живых людей и реальных предметов. Перейдя мост, она вспомнила, что ей нужно узнать дорогу, и тут только, остановившись и оглянувшись кругом, заметила, что ее окружает толпа любопытных.

— Зачем вы обступили меня? — спросила она, дрожа.

Никто из ближайших к ней людей не ответил, но из дальних рядов послышался резкий голос:

— Потому что вы сумасшедшая.

— Я в таком же здравом уме, как и вы все. Я не знаю, как пройти в тюрьму Маршалси.

Тот же резкий голос ответил:

— Ну, разумеется, сумасшедшая. Ведь Маршалси у вас перед носом.

Толпа захохотала, но в эту минуту молодой человек небольшого роста, с кротким и спокойным лицом протиснулся к ней и сказал:

— Вам нужно в Маршалси? Я туда иду. Пойдемте.

Он взял ее под руку и повел через улицу. Толпа, недовольная тем, что у нее отнимают зрелище, теснилась со всех сторон, советуя отправиться лучше в Бедлам. После минутной толкотни на наружном дворе ворота отворились и захлопнулись за вошедшими. В сторожке, которая казалась убежищем покоя и тишины в сравнении с уличным шумом, желтый свет лампы уже боролся с тюремным мраком.

— А, Джон, — сказал впустивший их тюремщик. — Что это значит?

— Ничего, отец; только эта леди не знала дороги, и к ней пристали уличные зеваки. Вам кого угодно, сударыня?

— Мисс Доррит. Она здесь?

Молодой человек, видимо, заинтересовался:

— Да, она здесь. Как же о вас сказать?

— Миссис Кленнэм.

— Мать мистера Кленнэма? — спросил молодой человек.

Она стиснула губы и ответила не сразу:

— Да. Пожалуйста, скажите, что пришла его мать.

— Изволите видеть, сударыня, — сказал молодой человек, — семейство нашего директора на даче, и он предоставил свою квартиру в распоряжение мисс Доррит. Не угодно ли, я вас проведу туда, а затем схожу за мисс Доррит?

Она согласилась, и он проводил ее по боковой лестнице наверх, в полутемную квартиру, где оставил одну. Комната, в которой она очутилась, выходила окнами на потемневший двор, где бродили арестанты; другие выглядывали из окон, прощались с уходившими друзьями и вообще коротали, как умели, летний вечер. Воздух был тяжелый, знойный, спертый; снаружи доносились нестройные звуки вольной жизни, подобные тем неотвязным звукам и голосам, которые преследуют иногда больного. Она стояла у окна, ошеломленная, глядя вниз, на тюремный двор, точно из своей прежней темницы, как вдруг тихий и удивленный голос заставил ее вздрогнуть. Перед ней стояла Крошка Доррит.

— Возможно ли, миссис Кленнэм? Вы выздоро-

вели? Как счастливо…

Крошка Доррит остановилась, не замечая ни счастья, ни здоровья на лице, обращенном к ней.

— Это не выздоровление, не сила; я не знаю, что это такое. — Миссис Кленнэм сделала жест, как бы давая понять, что дело не в этом. — Вам оставили пакет, с тем чтобы вы передали его Артуру, если никто не потребует его у вас?

— Да.

— Я его требую.

Крошка Доррит достала его и положила в протянутую руку, которая, приняв пакет, осталась в том же положении.

— Имеете вы понятие о его содержимом?

Испуганная ее появлением, странной свободой движений, которая, по ее собственным словам, не была силой, всем ее видом — видом ожившей картины или статуи, — Крошка Доррит ответила:

— Нет.

— Прочтите.

Крошка Доррит взяла пакет из протянутой руки и сломала печать. Миссис Кленнэм отдала ей пакет, лежавший внутри, а другой оставила у себя. Тень от тюремной стены и построек и в полдень не пропускала яркого света в эту комнату, теперь же в ней так стемнело, что читать можно было

только у окна. Крошка Доррит подошла к окну, откуда виднелась полоска яркого летнего неба, и принялась читать. После двух-трех восклицаний удивления и ужаса она замолчала и дочитала молча, а когда закончила и обернулась, ее бывшая госпожа стояла перед ней на коленях.

— Теперь вы знаете, что я сделала?

— Да, кажется. Боюсь, что — да, хотя все это возбудило во мне такой ужас, жалость и горесть, что я не могу дать себе вполне ясного отчета, — сказала Крошка Доррит, дрожа от волнения.

— Я возвращу вам все, что удержала у вас. Простите меня. Можете ли вы простить меня?

— Могу и, видит бог, прощаю. Не целуйте мне платье, не стойте передо мной на коленях, вы слишком стары для этого, я и так, и без этого, прощаю вас.

— У меня есть еще просьба к вам.

— Хорошо, только встаньте, — сказала Крошка Доррит. — Нельзя смотреть равнодушно, как ваша седая голова склоняется передо мной. Встаньте, ради бога; позвольте, я помогу вам.

Она подняла ее и, слегка отшатнувшись, посмотрела на нее с жалостью.

— Моя великая просьба (из нее вытекает и другая), великая мольба, с которой я обращаюсь

к вашему сострадательному и кроткому сердцу: не говорите Артуру ничего, пока я жива. Если, обдумав все это, вы найдете, что для его пользы следует рассказать ему об этом, пока я жива, — тогда расскажите. Но если вы не найдете этого — обещайте мне пощадить меня до моей смерти.

— Я так огорчена, и мои мысли так путаются от всего, что я прочла, — ответила Крошка Доррит, — что мне трудно дать определенный ответ. Если я буду уверена, что мистер Кленнэм не получит никакой пользы от того, что узнает об этом…

— Я знаю, что вы привязаны к нему и прежде всего подумаете о нем. Пусть так, я этого и хочу. Но если, принимая в расчет его интересы, вы найдете возможным предоставить мне прожить в мире остаток моей жизни, сделаете ли вы это?

— Сделаю.

— Да благословит вас Бог.

Она стояла в тени, так что Крошка Доррит не видела ее лица, но в ее голосе, когда она произнесла эти слова, звучало глубокое волнение. В нем чувствовались слезы, столь же странные в ее холодных глазах, как движение в ее окоченевших членах.

— Быть может, вы удивляетесь, — сказала она более твердым голосом, — что мне легче при-

знаться во всем этом вам, которую я обидела, чем сыну той, которая обидела меня. Потому что она обидела меня. Она не только совершила смертный грех перед Господом, но и обидела меня. Из-за нее отец Артура был для меня чужим. С первого дня нашей совместной жизни я была для него ненавистна — в этом виновата она. Я сделалась бичом для них обоих — в этом виновата она. Вы любите Артура (я вижу краску на вашем лице, пусть это будет зарей счастливых дней для вас обоих), и вы, вероятно, думаете, почему я не доверилась ему, хотя он так же сострадателен и добр, как вы? Вы думаете об этом?

— Моему сердцу не может быть чужда никакая мысль, — ответила Крошка Доррит, — которая проистекает из уверенности в доброте, великодушии и сострадательности мистера Кленнэма.

— Я не сомневаюсь в этом. И все-таки Артур — единственный человек в мире, от которого я желала бы скрыть это, пока живу. С детства, с тех пор, как он начал помнить себя, он помнит мою суровую и карающую руку. Я была строга с ним, зная, что пороки родителей передаются детям и что он отмечен грехом уже со дня рождения. Я следила за ним и его отцом, зная, что слабость отца всегда готова проявиться в нежности к

ребенку, и не допуская того, чтобы ребенок мог найти путь к спасению, не воспитавшись в труде и страданиях. Я видела, как он, живой портрет своей матери, с ужасом поглядывает на меня из-за своих книжек и пытается смягчить меня так же, как его мать, только ожесточая меня.

Заметив, что ее слушательница отшатнулась в ужасе, она остановилась на минуту среди этого потока слов, произносимых глухим монотонным голосом.

— Для его же пользы, не ради отмщения за мою обиду. Что значила я и моя обида в сравнении с проклятием Неба? Я видела, что ребенок вырастает не избранником Неба по благочестию (грех матери слишком тяготел над ним), но все-таки правдивым, честным и послушным. Он никогда не любил меня, а я смутно надеялась на это — плотские привязанности одолевают нас, вступая в борьбу с нашим долгом и обязанностями, — но он всегда относился ко мне почтительно и исполнял свой долг относительно меня. Так поступает он до сего дня. Чувствуя в своем сердце пустоту, значения которой он никогда не мог понять, он отвернулся от меня и пошел своим путем, но сделал это почтительно и с уважением. Таковы были его отношения ко мне. С вами у меня более

поверхностные и кратковременные отношения. Когда вы сидели подле меня с шитьем, вы боялись меня, но думали, что я оказываю вам услугу; теперь вы знаете все, знаете, что я обидела вас. Но пусть вы не поймете и осудите цель и мотивы, руководившие мной, мне легче вынести это от вас, чем от него. Ни за какую награду в мире я не соглашусь быть низвергнутой с высоты, на которой он видел меня всю жизнь, и превратиться в его глазах в не достойное уважения, презренное существо. Пусть это случится, если уж суждено этому случиться, когда меня не станет. Но, пока я жива, избавьте меня от этого, не дайте мне почувствовать, что я умерла и погибла для него, точно испепеленная молнией и поглощенная землетрясением.

Ее гордость жестоко страдала, когда она говорила эти слова, и не менее жестоко, когда она прибавила:

— Я вижу, что вы отворачиваетесь от меня даже теперь, точно считаете жестокой.

Крошка Доррит не могла скрыть этого. Она пыталась не показывать своего чувства, но невольно отступила в ужасе перед этой ненавистью, пылавшей так яростно и так долго. Никакая софистика не могла скрыть перед ней истинную природу

этой женщины.

— Я сделала то, — сказала миссис Кленнэм, — что мне предназначено было сделать. Я восстала против зла, а не против добра. Я была орудием, покаравшим грех. Разве такие же грешники, как я, не являлись подобным же орудием во все времена?

— Во все времена? — повторила Крошка Доррит.

— Если даже моя личная обида влияла на меня, если личная месть руководила мной, то неужели мне нет оправдания? Вспомните старые дни, когда невинные погибали вместе с виновными, когда тысячи гибли за одного, когда ненависть к неправедным не утолялась даже кровью и все-таки находила милость перед лицом Господа.

— О миссис Кленнэм, миссис Кленнэм! — воскликнула Крошка Доррит. — Злобные чувства и беспощадные дела не утешение и не пример для нас. Моя жизнь протекла в этой жалкой тюрьме, я мало чему училась, но позвольте мне напомнить вам позднейшие и лучшие дни. Будем руководиться только словами того, кто исцелял больных, воскрешал мертвых, помогал удрученным и гибнущим, — терпеливого учителя, скорбевшего о наших слабостях. Мы не собьемся

с пути, если пойдем за ним и не будем искать никакого другого пути.

В мягком свете вечернего неба, озарявшего место ее испытаний в детстве и юности, она представляла резкий контраст с черной фигурой старухи, стоявшей в тени, но контраст жизни и учения, о которых она говорила, с мрачной историей старухи был еще резче. Эта последняя опустила голову и не отвечала ни слова. Так стояла она, пока не зазвонил первый звонок.

— Слушайте! — воскликнула она, вздрогнув. — Я сказала, что у меня есть еще просьба к вам. Эта просьба не допускает отсрочки. Человек, который оставил вам этот пакет и у которого в руках подлинные документы, дожидается у меня в доме. У него нужно купить документы, иначе Артур узнает обо всем. Он требует большую сумму, которой я сейчас не могу собрать. Но он не соглашается на отсрочку, угрожая сообщить обо всем вам. Пойдете ли вы со мной сказать ему, что уже знаете? Пойдете ли вы со мной помочь мне уговорить его? Не отказывайте мне. Я прошу вас именем Артура, хотя не смею сказать — ради Артура.

Крошка Доррит охотно согласилась. Она на минуту отлучилась в тюрьму и, вернувшись,

сказала, что готова идти. Они спустились по другой лестнице, минуя сторожку, и, пройдя через наружный двор, теперь спокойный и безлюдный, вышли на улицу.

Был один из тех летних вечеров, когда вместо ночи наступают длинные сумерки. Небо было чисто и ясно, улица и мост видны далеко вперед. Люди сидели и стояли в воротах, играя с детьми и наслаждаясь летним вечером. Иные прогуливались на воздухе, дневная суета кончилась, и, кроме них двоих, никто не торопился. Когда они переходили через мост, колокольни и шпили бесчисленных церквей точно выступали из мглы, обычно окружавшей их, и подступали ближе. Дым, поднимавшийся к небу, потерял свой грязный оттенок и казался светлым и ярким. Красота солнечного заката ничего не теряла от длинного светлого пушистого облака, протянувшегося вдоль горизонта. Из лучезарного центра расходились по всей длине и ширине спокойного небосклона снопы света, точно благодатные вестники мира и надежды, превратившие терновый венец в пышную корону.

Миссис Кленнэм, не так бросавшаяся в глаза в сумерках и когда шла не одна, не возбуждала теперь назойливого любопытства. Они оставили

большую улицу и свернули в лабиринт глухих, безлюдных переулков. Калитка была уже близка, когда раздался шум, подобный удару грома.

— Что это? Поспешим! — воскликнула миссис Кленнэм.

На одно мимолетное мгновение перед ними мелькнул старый дом, окно, человек, покуривавший папиросу, лежа на подоконнике; новый раскат грома — и весь дом как-то осел, зазмеился трещинами разом в пятидесяти местах, зашатался и рухнул. Оглушенные грохотом, ослепленные пылью, ошеломленные и задыхающиеся, они стояли, закрыв руками лица. Пыльный вихрь, заслонивший от них ясное небо, рассеялся, и снова мелькнули звезды. Когда, опомнившись, они стали звать на помощь, громадная труба, которая одна стояла неподвижно, как башня среди урагана, покачнулась, треснула и рухнула на кучу обломков, как будто каждый ее осколок стремился похоронить поглубже раздавленного негодяя.

Почерневшие от пыли до неузнаваемости, они с криком и плачем выбежали на улицу. Тут миссис Кленнэм упала на камни мостовой и с этой минуты уже ни разу не могла пошевелить рукой или произнести хоть слово. Три года еще провела она в кресле на колесах, следя внимательным взгля-

дом за окружающими и, по-видимому, понимая тех, кто обращался к ней, но суровое молчание, которое она так долго хранила, снова сковало ее, и только сознательный взгляд и слабые утвердительные или отрицательные движения головы показывали, что она жива.

Эффри прибежала за ней в тюрьму и заметила их на мосту. Она подбежала как раз вовремя, чтобы принять свою госпожу на руки, отнести в соседний дом и начать ухаживать за ней. Таинственные шорохи объяснились; Эффри, как многие великие умы, верно подметила факты, но вывела из них ложную теорию.

Когда пыльный вихрь улегся, толпы народа собрались вокруг развалин, и сформировались партии охотников, принявшихся за раскопку. Говорили, что в доме было сто человек в момент падения, что их было пятьдесят, что их было пятнадцать, что их было двое. В конце концов остановились на двоих: иностранце и мистере Флинтуинче.

Рыли всю короткую летнюю ночь при свете газовых рожков, рыли, когда солнце показалось на горизонте, рыли, когда оно поднялось к зениту, рыли, когда оно склонилось к закату и скрылось, наконец, за горизонтом. Ночью и днем раскопки

шли без перерыва: рыли, увозили и уносили землю, мусор и осколки в тачках, телегах, корзинах, но наступила уже вторая ночь, когда нашли грязную кучу тряпья, которая была иностранцем до тех пор, пока голова его не разлетелась, как стеклянный шар, от удара громадной балки.

Флинтуинча не нашли, и раскопки продолжались ночью и днем. Говорили, что в доме были крепкие погреба, что Флинтуинч находился в одном из них в момент катастрофы и уцелел под его крепкими сводами, что рабочие даже слышали его глухой, задыхающийся голос: «Я здесь». На другом конце города рассказывали даже, будто рабочим удалось установить сообщение с ним по трубе и доставить ему суп и водку, и будто он ободрял их с удивительной твердостью духа, говоря: «Ничего, ребята, все хорошо, только ключица сломана». Но разрыли и убрали всю груду обломков до основания, открыли и погреба, а ни один заступ, ни одна кирка не натыкались на Флинтуинча, живого или мертвого, целого или раздавленного.

Тут только начали соображать, что Флинтуинча не было в доме в момент катастрофы, что его видели в банкирской конторе, где он разменивал векселя на звонкую монету, стараясь набрать

столько денег, сколько было возможно в такой короткий срок, и употребляя исключительно в свою пользу свои полномочия в качестве представителя фирмы. Эффри вспомнила, что хитрец говорил об объяснении, которое он даст ее госпоже завтра вечером. По ее мнению, он просто намеревался удрать, и в этом, собственно, заключалось все объяснение, но она умолчала об этом, искренно радуясь, что отделалась от него. Так как казалось весьма правдоподобным, что человек, который не был погребен, не может быть и откопан, раскопки были прекращены, и рыться дальше в недрах земли сочли излишним.

Многие отнеслись к этому решению с большим неудовольствием и остались при убеждении, что Флинтуинч лежит где-нибудь в недрах геологических формаций Лондона. Убеждение это осталось непоколебимым, хотя с течением времени было получено известие, что в Голландии, на старинных набережных Гааги и в кабачках Амстердама, видели какого-то старика с торчащими под ухом концами галстука, несомненно англичанина, известного среди голландцев под именем мистера ван Флинтевинге.

Глава XXXII. Скоро конец

Перемены в состоянии горячечного больного медленны, а мистер Рогг не видел на юридическом горизонте ни малейшего просвета, сулящего надежду на освобождение, так что мистер Панкс жестоко терзался угрызениями совести. Не будь у него несокрушимых цифр, из которых вытекало как нельзя яснее, что Артур должен бы был разъезжать в карете, запряженной парой лошадей, вместо того чтобы томиться в заключении, а мистер Панкс — располагать суммой от трех до пяти тысяч фунтов, вместо того чтобы сидеть на жалованье клерка, — не будь этих несокрушимых цифр, злополучный математик наверняка слег бы в постель и увеличил собой число жертв, погибших в виде гекатомбы [103] величию покойного мистера Мердля. Находя утешение только в своих непогрешимых расчетах, мистер Панкс вел печальную и беспокойную жизнь, постоянно таская с собой в шляпе свои цифры и не только проверяя их сам при каждом удобном случае, но

---

[103] Сноски: 103

У древних греков — грандиозное жертвоприношение; в переносном смысле — бесполезная гибель огромного количества людей.

и заставляя всякого, кого мог поймать, проверить их вместе с ним и убедиться, как очевидны и верны его расчеты. На подворье «Разбитые сердца» не осталось ни одного сколько-нибудь солидного жильца, которому мистер Панкс не показал бы своих вычислений, и так как цифры заразительны, то по всему подворью распространился род математический кори, окончательно сбивший с толку его обитателей.

Чем беспокойнее становился мистер Панкс, тем труднее было ему переносить присутствие патриарха. В их беседах за последнее время, в его фырканье прорывались раздражительные ноты, не предвещавшие патриарху ничего доброго; кроме того, мистер Панкс поглядывал на патриаршую лысину с выражением совершенно необъяснимым, если иметь в виду, что он не занимался живописью или изготовлением париков и, следовательно, не нуждался в модели. Как бы то ни было, он появлялся в своем маленьком доке и уплывал из него, смотря по тому, нужно или не нужно было его присутствие патриарху, и дело шло своим порядком. Подворье «Разбитые сердца» регулярно подвергалось нашествиям со стороны мистера Панкса и посещениям со стороны мистера Кесби: на долю мистера Панкса

доставались неприятности и черная работа, на долю патриарха — барыши и ореол благодушия; словом, как выражался этот светильник добродетели, просмотрев в субботу вечером отчет своего помощника и вертя своими жирными пальцами, «все устраивалось к удовольствию всех заинтересованных в деле».

Док, в котором помещался буксирный пароходик Панкса, был снабжен свинцовой кровлей, которая, раскалившись на солнце, может, разогрела и пароходик. Как бы то ни было, в один знойный субботний вечер пароходик в ответ на призыв неуклюжей бутылочно-зеленой барки моментально выплыл из дока в самом разгоряченном состоянии.

— Мистер Панкс, — сказал патриарх, — я нахожу у вас упущения, нахожу у вас упущения, сэр.

— Что вы хотите сказать?

Патриарх, всегда спокойный и ясный, в этот вечер сиял невыносимым благодушием. Люди изнывали от жары — патриарх наслаждался прохладой. Люди томились жаждой — патриарх пил. Благоухание лимонов окружало его; он потягивал золотистый херес, искрившийся в большом стакане, с таким видом, точно пил солнечное сияние. Это было плохо, но это не было самое

худшее. Самое худшее было то, что со своими огромными голубыми глазами, отполированной лысиной, серебристыми кудрями, бутылочно-зелеными ногами в мягких туфлях он имел такой лучезарный вид, словно в своем неизреченном милосердии поил весь род человеческий, сам же пробавлялся только млеком своей добродетели.

Итак, мистер Панкс спросил: «Что вы хотите сказать?» — и взъерошил волосы обеими руками с видом грозным и вызывающим.

— Я хочу сказать, мистер Панкс, что вам следует быть строже с этим народом, строже с этим народом, гораздо строже с этим народом, сэр. Вы не выжимаете их, вы не выжимаете их. Вы должны выжимать их, или наши отношения перестанут быть удовлетворительными для всех сторон, для всех сторон.

— Не выжимаю их? — возразил мистер Панкс. — Для чего же я еще существую?

— Ни для чего другого, мистер Панкс. Вы существуете для того, чтобы исполнять свой долг, но вы не исполняете своего долга. Вам платят, чтобы вы выжимали, а вы должны выжимать, чтобы вам платили.

Патриарх так удивился этому остроумному обороту в стиле доктора Джонсона, сказанному

совершенно неумышленно, что громко засмеялся и повторил с великим удовольствием, вертя палец вокруг пальца и поглядывая на свой детский портрет:

— Вам платят, чтобы вы выжимали, а вы должны выжимать, чтобы вам платили.

— О! — сказал Панкс. — Еще есть что-нибудь?

— Да, сэр, да, есть еще кое-что. Потрудитесь, мистер Панкс, выжать подворье еще раз в понедельник утром.

— О, — сказал Панкс, — не слишком ли скоро? Я выжал их досуха сегодня.

— Вздор, сэр. Сбор неполон, сбор неполон.

— О! — сказал Панкс, глядя, как благодушно он прихлебывал свое питье. — Еще что-нибудь?

— Да, сэр, да, кое-что еще. Я, мистер Панкс, не совсем доволен моей дочерью, не совсем доволен. Мало того, что она в последнее время слишком часто наведывается к миссис Кленнэм, обстоятельства которой отнюдь нельзя считать… благоприятными для всех сторон, она еще наведывается, если меня не обманули, мистер Панкс, к мистеру Кленнэму в тюрьму… в тюрьму.

— Он арестован за долги, как вам известно, — сказал Панкс. — Может быть, это только доказывает ее доброту.

— Чушь, чушь, мистер Панкс. Ей там нечего делать, нечего делать. Я не могу допустить этого. Пусть заплатит долги и выйдет из тюрьмы… выйдет из тюрьмы; заплатит долги и выйдет из тюрьмы.

Хотя волосы мистера Панкса и без того стояли ежом, но он еще раз двинул их кверху обеими руками и улыбнулся своему хозяину самым страшным образом.

— Потрудитесь сообщить моей дочери, мистер Панкс, что я не могу дозволить этого, не могу дозволить этого, — ласково сказал патриарх.

— О! — сказал Панкс. — А вы сами не можете сообщить ей об этом?

— Нет, сэр, нет; вам платят, чтобы вы сообщали. — Старый шут не мог устоять против искушения повторить свою остроту. — А вы должны сообщать, чтобы вам платили, сообщать, чтобы вам платили.

— О! — сказал Панкс. — Еще что-нибудь?

— Да, сэр. Мне кажется, мистер Панкс, что и вы слишком часто ходите в этом направлении, в этом направлении. Я советую вам, мистер Панкс, позабыть о своих и чужих потерях, а помнить о своем деле, помнить о своем деле.

Мистер Панкс ответил на этот совет таким

необычайным, резким и громким «о!», что даже невозмутимый патриарх повернул к нему свои голубые глаза с некоторой тревогой. Мистер Панкс фыркнул в соответственном ему стиле и прибавил:

— Еще что-нибудь?

— Пока нет, сэр, пока нет. Я намерен, — сказал патриарх, допивая свою смесь и вставая с дружелюбным видом, — немножко пройтись, немножко пройтись. Может быть, я застану вас здесь, когда вернусь. Если нет, сэр, помните вашу обязанность, вашу обязанность: выжимать, выжимать… в понедельник, в понедельник.

Мистер Панкс еще раз провел обеими руками по волосам и посмотрел на патриарха, надевавшего свою широкополую шляпу, с выражением, в котором нерешительность боролась с обидой. Он разгорячился еще сильнее во время этого разговора, тяжело дышал, но тем не менее не сказал ни слова и, когда мистер Кесби ушел, проводил его взглядом, выглянув в окно из-за зеленой шторы.

— Так я и думал, — сказал он. — Я узнал, куда ты поплетешься. Ладно.

Затем он снова вплыл в свой док, привел там все в порядок, снял шляпу, окинул комнатку взглядом, сказал: «Прощай» — и запыхтел прочь.

Он направился прямым путем на подворье «Разбитые сердца» с той стороны, где находилась лавочка миссис Плорниш, и прибыл туда на всех парах.

Остановившись на ступеньках и упорно отказываясь от приглашений миссис Плорниш зайти посидеть с отцом в коттедж «Счастливый», которые, на его счастье, не были так настоятельны, как в другие дни, потому что в субботу вечером обитатели подворья, так великодушно поддерживавшие торговлю миссис Плорниш всем, кроме денег, буквально осаждали лавочку, — остановившись на ступеньках, мистер Панкс поджидал патриарха, который всегда входил на подворье с противоположной стороны. Наконец он показался, сияющий и окруженный зрителями. Мистер Панкс спустился с лестницы и понесся к нему.

Патриарх, подвигавшийся вперед с обычной благосклонностью, удивился при виде мистера Панкса, но решил, что внушение заставило его приняться за выжимку немедленно, не дожидаясь понедельника. Население подворья было поражено неожиданным зрелищем, так как две эти державы в памяти старейших обывателей никогда не бывали на подворье вместе. Но удивление их превратилось в несказанное

изумление, когда мистер Панкс, подлетев к почтеннейшему из людей и становившись перед его бутылочно-зеленым жилетом, сложил большой и указательный пальцы, приложил их к широкополой шляпе и с удивительной ловкостью сбил ее одним щелчком с полированной головы, точно это был мячик.

Позволив себе эту маленькую вольность с патриаршей особой, мистер Панкс еще более изумил «Разбитые сердца», сказав громким голосом:

— Ну, медоточивый плут, теперь побеседуем.

Мистер Панкс и патриарх мгновенно оказались в центре толпы, превратившейся в слух и зрение; все окна распахнулись, всюду на лестницах толпился народ.

— Что вы из себя корчите? — начал мистер Панкс. — На какой дудке играете? Какую добродетель изображаете? Благодушие, да? Вы — благодушный!

Тут мистер Панкс, очевидно без всякого серьезного намерения, а единственно для того, чтобы облегчить душу и дать исход избытку своей энергии в здоровом упражнении, нацелился кулаком в лучезарную голову, и лучезарная голова нырнула, избегая удара. Этот странный маневр повторялся, к возрастающему восхи-

щению зрителей, после каждого периода речи мистера Панкса.

— Я отказался от службы у вас, — продолжил Панкс, — собственно, для того, чтобы сказать вам, что вы за птица. Вы мошенник худшего сорта из всех существующих мошенников. Мне досталось и от вас, и от Мердля, но я не знаю, какой сорт мошенников хуже. Вы переодетый грабитель, кулак, живодер, пиявка, акула ненасытная, филантропический удав, низкий обманщик.

Повторение прежнего маневра в этом месте было встречено взрывом хохота.

— Спросите у этих добрых людей, кто здесь самый страшный человек. Они скажут: Панкс!

Эти слова были встречены возгласами: «Конечно!» и «Слушайте!»

— А я вам отвечу, добрые люди, — Кесби. Эта ходячая кротость, это воплощенное милосердие, этот бутылочно-зеленый улыбчивый человек — он-то вас и давит. Если вы хотите видеть человека, который готов проглотить вас живьем, так вот он — перед вами. Смотрите не на меня, который получает тридцать шиллингов в неделю, а на него, который загребает не знаю уж сколько в год.

— Верно! — раздались голоса. — Слушайте ми-

стера Панкса.

— Слушайте мистера Панкса, — подхватил этот последний снова проделав свой занятный маневр. — Да, я тоже думаю, что пора вам послушать мистера Панкса. Мистер Панкс для того и явился сегодня на подворье, чтобы вы его послушали. Панкс — только ножницы, а стрижет вас вот кто.

Слушатели давно бы уж перешли на сторону мистера Панкса — все, до последнего мужчины или ребенка, — если бы не длинные седые серебристые кудри и широкополая шляпа.

— Это ключ, который заводит шарманку, — сказал Панкс, — а песня одна и та же: жми, жми, жми. Вот хозяин, и вот его батрак. Да, добрые люди, когда эта благодушная кукла прохаживается вечером по подворью, а вы пристаете к ней с жалобами на батрака, вы не знаете, каков хозяин. Ведь он сегодня вечером распек меня за го, что я не выжимаю вас как следует, как вам это понравится? Сейчас только он строго-настрого приказал мне выжать вас досуха в понедельник. Как вам это понравится?

Послышался ропот: «Стыдно», «Какая подлость».

— Подлость? — фыркнул Панкс. — Да, я тоже так думаю. Сорт мошенников, к которому

принадлежит Кесби, — самый худший из всех сортов. Завести себе батрака за грошовую плату и навалить на него все, что сам стыдишься и не смеешь делать иначе, как чужими руками, а затем тянуть. Да самый последний мошенник в этом городе честнее этой вывески, этой «Головы Кесби».

Послышались возгласы: «Верно!», «Так оно и есть!»

— И посмотрите, как вам втирают очки эти молодцы, — продолжил Панкс, — эти драгоценные волчки, которые вертятся среди вас так ловко, что вы не можете рассмотреть ни их настоящего узора, ни пустоты внутри. Скажу два слова о себе самом. Я ведь не из приятных людей, не так ли?

Мнения слушателей разделились: более прямодушные закричали: «Да, вовсе не из приятных», более вежливые: «Нет, ничего».

— Я, — продолжил мистер Панкс, — сухой, жестокий, черствый, придирчивый батрак. Таков ваш покорнейший слуга. Это его портрет во весь рост, нарисованный им самим и предлагаемый вам с ручательством за сходство. Но чего же и ожидать от человека, у которого на шее сидит такой хозяин. Чего ожидать от него? Ожидает ли кто-нибудь, что баранина под каперсовым соусом

вырастет из кокосового ореха?

Никто из ««Разбитые сердца»» ничего подобного не ожидал: это было очевидно по живости их ответа.

— Отлично, — сказал мистер Панкс, — точно так же вы не можете ожидать приятных качеств от такого батрака, как я, состоящего под командой такого хозяина, как он. Я ведь с детства тяну эту лямку. Чем была моя жизнь? Тяни да потягивай, тяни да потягивай, знай верти колесо. Я самому себе был неприятен, а другим и подавно. Если бы раз в десять лет я принес хозяину шиллингом меньше в неделю, он заплатил бы мне шиллингом меньше за эту неделю, и если бы он нашел другого батрака на шесть пенсов дешевле, то взял бы его на мое место без всяких церемоний. Купля-продажа, вот оно что. Незыблемые принципы. Чудесная вывеска эта «Голова Кесби», — прибавил мистер Панкс, оглядывая ее с чувством, далеко не похожим на восхищение, — только настоящее-то название дома «Вертеп лицемерия», а его девиз: «Выжимай все, что можно, из батрака»… Есть тут кто-нибудь, — спросил мистер Панкс, прерывая свою речь и оглядывая публику, — знакомый с английской грамматикой?

«Разбитые сердца» были слишком скромны,

чтобы заявить притязание на такое знакомство.

— Впрочем, это неважно, — сказал мистер Панкс. — Я хотел заметить, что вся задача, которую возложил на меня этот хозяин, состояла в том, чтобы вечно, без передышки спрягать в повелительном наклонении: выжимай как можно больше. Выжимай как можно больше. Пусть он выжимает как можно больше. Будем выжимать как можно больше. Выжимайте как можно больше. Пусть они выжимают как можно больше. Вот вам благодушный патриарх Кесби, а вот его золотое правило. Вон он какой представительный, не то, что я. Он сладок, как мед, а я — кислый, как уксус. Он заваривает кашу, а я ее расхлебываю, и она прилипает ко мне. Ну-с, — прибавил мистер Панкс, снова подходя вплотную к патриарху, от которого отступил немного, чтобы лучше показать его фигуру подворью, — я не привык говорить публично, и речь моя порядком-таки затянулась; прибавлю одно: пора нам с вами разделаться.

Последний из патриархов был так ошеломлен этой атакой, ему требовалось столько времени, чтобы обдумать все это, что он не нашел ни слова в ответ. По-видимому, он обдумывал, каким бы патриархальным способом выпутаться из это-

го затруднительного положения, когда мистер Панкс снова приложил пальцы к его шляпе и сбил ее одним щелчком с такой же ловкостью. В первый раз кто-то из «Разбитых сердец» поднял шляпу и почтительно подал ее владельцу, но речь мистера Панкса произвела такое впечатление на слушателей, что на этот раз патриарху пришлось нагнуться за ней самому.

С быстротой молнии мистер Панкс, за минуту перед тем опустивший руку в карман, вытащил ножницы, накинулся на патриарха сзади и единым взмахом отрезал священные кудри, ниспадавшие на его плечи. Затем, в пароксизме ярости, мистер Панкс выхватил из рук ошеломленного патриарха шляпу, разом отхватил у нее поля и, превратив ее в настоящую кастрюльку, нахлобучил на патриаршую голову.

Ужасные результаты этого отчаянного поступка заставили самого мистера Панкса отступить в смятении. Перед ним стояло лысое пучеглазое неуклюжее чучело, ничуть не представительное, ничуть не почтенное, точно выскочившее из-под земли, чтобы узнать, что сталось с Кесби. Посмотрев на это привидение с безмолвным ужасом, мистер Панкс бросил ножницы и пустился наутек, думая только о том, куда бы укрыться от

последствий своего преступления. Мистер Панкс мчался как угорелый, хотя его преследовали только раскаты хохота, от которых дрожало и гудело все подворье «Разбитые сердца».

Глава XXXIII. Близок конец!

Перемены в состоянии горячечного больного медленны и неверны, перемены в состоянии этого горячечного мира быстры и бесповоротны.

Крошке Доррит суждено было следить за переменами того и другого рода. Стены Маршалси принимали ее под свою тень, как свое дитя, в те часы дня, когда она заботилась о Кленнэме, ухаживала за ним, смотрела за ним и, даже расставшись с ним, посвящала ему свою любовь и заботы. Жизнь по ту сторону тюремных ворот тоже предъявляла к ней свои требования, и она удовлетворяла их с неистощимым терпением. Тут была Фанни, гордая, капризная, раздражительная, далеко подвинувшаяся в том неприятном положении, которое мешало ей являться в обществе и так бесило ее в тот вечер, когда мистер Мердль явился за ножичком в черепаховой оправе, носившаяся со своими обидами и оскорблявшаяся, если кто-нибудь пробовал ее утешать. Тут был ее брат, расслабленный, тщеславный, пьяный, юноша-старик, с дрожью в теле, с заплетающимся языком — точно деньги, так неожиданно доставшиеся на его долю, застря-

ли у него во рту, — не способный и шагу ступить без посторонней помощи и покровительствовавший сестре, которую всегда любил эгоистической любовью (эта отрицательная заслуга всегда оставалась за злополучным Типом), позволяя ей ухаживать за ним. Тут была миссис Мердль в кружевном трауре (возможно, что первый образчик этого траура был изорван на клочки в припадке горя и заменен наилучшим парижским изделием), боровшаяся с Фанни лицом к лицу, ежечасно вздымая перед ней свой безутешный бюст. Тут был злополучный мистер Спарклер, не знавший, как ему быть между двух огней, и робко советовавший им признать, что обе они чертовски славные женщины, без всяких этаких глупостей, за каковой проект обе с яростью накидывались на него. Тут была и миссис Дженераль, вернувшаяся на родину из дальних стран и присылавшая по персику и призме с каждой почтой, требуя новых рекомендаций, которые помогли бы ей занять то или иное вакантное место. Кстати, чтобы покончить с этой замечательной дамой: вряд ли можно было найти на свете другую даму, столь пригодную для всяких вакантных мест, судя по множеству теплых и убедительных рекомендаций, и вряд ли была другая дама, от которой бы

так шарахались прочь ее пылкие и благородные поклонники.

В первую минуту суматохи, вызванной смертью мистера Мердля, многие высокопоставленные лица не знали, как им быть с его супругой, утешать ли ее или закрыть перед ней двери. Но так как, по здравом обсуждении дела, казалось выгоднее, для оправдания собственного легковерия, признать, что она была жестоко обманута, то они милостиво допустили это и продолжали принимать ее. Словом, миссис Мердль, как женщина светская и благовоспитанная, несчастная жертва грубого варвара (ибо мистер Мердль был признан таковым от головы до пят с той минуты, когда оказалось, что он нищий), была принята под защиту своим кругом, ради выгод этого самого круга. В обмен за эту любезность она давала понять, что относится к вероломной тени покойного с большим негодованием, чем кто бы то ни было, и таким образом вышла из горнила испытаний целой и невредимой, как и можно было ожидать от такой умной женщины.

К счастью для мистера Спарклера, его должность оказалась одной из тех полочек, куда джентльмена помещают на всю жизнь, если только не найдут нужным переставить его повы-

ше. Таким образом этот патриот своего отечества мог крепко ухватиться за свое знамя (знамя дня получения жалованья) и держал его твердо, как настоящий Нельсон [104]. Пользуясь плодами его неустрашимости, миссис Спарклер и миссис Мердль, водворившись в различных этажах изящного маленького храма неудобств, с вечным запахом третьегодняшнего супа и конюшни, выступали на общественной арене в качестве заклятых соперниц. Глядя на всю эту чепуху, Крошка Доррит невольно спрашивала себя, в каком закоулке изящных апартаментов Фанни поместятся ее будущие дети и кто будет заботиться об этих еще не родившихся жертвах.

Артур был слишком серьезно болен, чтобы можно было говорить с ним о каких-либо тревожных и волнующих вещах, и его выздоровление так существенно зависело от покоя, что единственной поддержкой Крошки Доррит в это тяжелое время был мистер Мигльс. Он еще не вернулся в Англию, но она писала ему, при посредстве его дочери, тотчас после своего свидания с Артуром в

---

[104] Сноски: 104

Нельсон Орэйс (1758–1805) — английский адмирал, представитель интересов реакционных кругов английской буржуазии, стремившейся в своей политике к колониальным захватам и подавлению национально-освободительного движения европейских народов; был убит во время морского боя с французским флотом при Трафальгаре.

Маршалси и позднее, и сообщила обо всех своих тревогах, в особенности об одной. Это последнее обстоятельство и заставляло его странствовать за границей вместо того, чтобы явиться в Маршалси.

Не рассказывая содержания документов, попавших в руки Риго, Крошка Доррит в общих чертах сообщила мистеру Мигльсу их историю, упомянув также об участи, постигшей негодяя. Старая деловая опытность, приобретенная во времена лопаточки и весов, сразу подсказала мистеру Мигльсу, как важно найти подлинные документы, ввиду этого он написал Крошке Доррит, что ее беспокойство вполне обоснованно и что он не вернется в Англию, не сделав попытки разыскать их.

Тем временем мистер Генри Гоуэн пришел к убеждению, что ему лучше не знаться с этими Мигльсами. По свойственной ему деликатности он не сказал об этом жене, а заявил лично мистеру Мигльсу, что они, очевидно, не подходят друг другу и что поэтому самое лучшее для них — вежливо, без всяких ссор или неприятных сцен, разойтись и остаться наилучшими друзьями в мире, не поддерживая, однако, личных отношений. Бедный мистер Мигльс, который и сам

чувствовал, что его присутствие не способствует семейному счастью дочери, ответил: «Хорошо, Генри, вы муж Милочки, вы заменили ей меня. Если вы этого желаете, будь по-вашему». Этот разрыв повлек за собой весьма существенную выгоду, которой Генри Гоуэн, быть может, и не предвидел. Мистер и миссис Мигльс стали еще щедрее к своей дочери с тех пор, как поддерживали отношения только с ней и с ее ребенком; таким образом денег у Гоуэна было вволю, но его благородный дух был избавлен от унизительной необходимости знать, откуда они берутся.

При таких обстоятельствах мистер Мигльс, естественно, с жаром ухватился за представлявшееся ему занятие. Он узнал от дочери, в каких городах и гостиницах останавливался Риго во время их путешествия, и решил, не теряя времени и не поднимая шума, посетить эти города и гостиницы, и, если окажется, что Риго оставил где-нибудь неоплаченный счет и забыл шкатулку или ящик, уплатить по счету и взять эту шкатулку или ящик.

Не имея другого спутника, кроме своей жены, мистер Мигльс начал свое паломничество и испытал много приключений. Немаловажным затруднением для него было то, что он совершенно

не понимал людей, с которыми ему приходилось беседовать, а они не понимали его. Тем не менее мистер Мигльс с непоколебимой уверенностью, что английский язык — родной язык для всего мира и не понимать его можно только по глупости, пускался в длинные разглагольствования с содержателями гостиниц, входил в подробные и запутанные объяснения и решительно отказывался принимать ответы на местном языке на том основании, что все это ерунда. Иногда приглашались переводчики, но мистер Мигльс обращался к ним на таком специфическом жаргоне, что они моментально стушевывались и выходило еще хуже. Вряд ли, впрочем, он много потерял от этого, потому что, не найдя никаких оставленных вещей, нашел такую кучу долгов и различных неблаговидных воспоминаний, связанных с фамилией, которая была единственным словом в его речи, понятным для окружающих, что почти всюду его осыпали оскорбительными обвинениями. Не менее четырех раз о мистере Мигльсе давали знать в полицию как об авантюристе, бродяге и мошеннике, но он с величайшим благодушием выслушивал обидные речи (значения которых не понимал) и, направляясь к пароходу или дилижансу под конвоем местных

жителей, желавших выпроводить его как бродягу, весело болтал с ними на английском языке.

Впрочем, в пределах этого языка мистер Мигльс был неглупый, смышленый и настойчивый человек. Добравшись наконец до Парижа после неудачных поисков, он отнюдь не пал духом. «Чем более мы приближаемся к Англии, — рассуждал он, — тем больше шансов найти эти бумаги, — вот что я скажу тебе, мать. По всей вероятности, он припрятал их где-нибудь, в таком месте, чтобы они всегда были под рукой, а вместе с тем в безопасности от всяких покушений со стороны заинтересованных лиц в Англии».

В Париже мистер Мигльс нашел письмо Крошки Доррит, адресованное ему до востребования. Она сообщала, что, по словам мистера Кленнэма, с которым она разговаривала о погибшем иностранце — причем упомянула, что мистеру Мигльсу необходимо разузнать о его прошлом, — Риго был знаком с мисс Уэд, которая живет в Кале, на такой-то улице, о чем мистер Кленнэм просил сообщить мистеру Мигльсу.

— Ого, — сказал мистер Мигльс.

Вскоре после этого (насколько скорость была достижима в эпоху дилижансов) мистер Мигльс позвонил в надтреснутый колокольчик у над-

треснутой калитки, и она отворилась, и в темном проходе появилась крестьянка с вопросом:

— Что такое, сэр? Кого надо?

Услышав родную речь, мистер Мигльс пробормотал себе под нос, что у обитателей Кале все-таки есть кое-какой смысл в голове, и ответил:

— Мисс Уэд, моя милая.

Затем его провели к мисс Уэд.

— Давненько мы не видались, — сказал мистер Мигльс, откашливаясь. — Надеюсь, что вы в добром здравии, мисс Уэд?

Не выразив со своей стороны надежды, что он или кто бы то ни было, тоже обретается в добром здравии, мисс Уэд спросила, чему она обязана честью видеть его еще раз. Тем временем мистер Мигльс окинул взглядом комнату, но не заметил ничего похожего на ящик.

— Дело вот в чем, мисс Уэд, — ответил он дружелюбным, ласковым, чтоб не сказать заискивающим, тоном, — весьма возможно, что вы в состоянии разъяснить одно темное для меня обстоятельство. Надеюсь, что все недоразумения между нами покончены. Теперь уж ничего не поделаешь. Вы помните мою дочь? Как время-то летит. Она уже мать.

При всей своей невинности мистер Мигльс

не мог бы выбрать более неудачной темы. Он подождал, ожидая какого-нибудь сочувственного замечания со стороны мисс Уэд, но ожидания его остались тщетными.

— Вы для того и явились, чтобы побеседовать со мной об этом? — спросила она после непродолжительного холодного молчания.

— Нет-нет, — сказал мистер Мигльс. — Нет. Я думал, что ваша добрая натура…

— Вам, кажется, известно, — перебила она с улыбкой, — что на мою добрую натуру нечего рассчитывать.

— Не говорите этого, — возразил мистер Мигльс, — вы несправедливы к себе. Как бы то ни было, перейдем к делу.

Он сам почувствовал, что его попытки не привели ни к чему доброму.

— Я слыхал от моего друга, мистера Кленнэма, который опасно заболел и до сих пор болен, о чем вам, конечно, неприятно будет услышать…

Он остановился, но она по-прежнему отвечала только молчанием.

— …что вы были знакомы с неким Бландуа, недавно погибшим в Лондоне вследствие несчастного случая. Нет-нет, не истолкуйте мои слова превратно. Я знаю, что это было очень поверх-

ностное знакомство, — сказал мистер Мигльс, ловко предупреждая гневное замечание, с которым, как он видел, она готова была к нему обратиться. — Мне это очень хорошо известно. Самое поверхностное знакомство. Но я бы желал знать, — тут голос мистера Мигльса снова сделался заискивающим, — не оставил ли он у вас, когда в последний раз возвращался в Англию, ящик с бумагами, или пачку бумаг, или вообще бумаги… так не оставил ли он их у вас на время, с просьбой возвратить ему при первом требовании, — вот в чем вопрос.

— Вот в чем вопрос, — повторила она, — чей вопрос?

— Мой, — ответил мистер Мигльс, — и не только мой, но и Кленнэма и некоторых других лиц. Я уверен, — продолжил мистер Мигльс, сердце которого вечно возвращалось к Милочке, — что вы не можете питать неприязненного чувства к моей дочери, это невозможно. Так вот: между прочим, это и ее вопрос, так как дело касается одного из ее друзей, к которому она особенно расположена. Потому-то я и явился к вам и говорю прямо: вот в чем вопрос, и спрашиваю: что же, оставил он?

— Честное слово, — возразила она, — я пре-

вратилась в какую-то мишень для вопросов со стороны всех, кто знал человека, которого я наняла однажды в жизни для своей надобности и затем, расплатившись, отпустила на все четыре стороны.

— Полноте, — сказал мистер Мигльс, — полноте. Не обижайтесь, ведь это самый простой вопрос в мире. Документы, о которых я говорю, не принадлежали ему, были им присвоены незаконно, могут причинить неприятности людям ни в чем не повинным, и потому-то законные владельцы и разыскивают их. Он приехал в Англию через Кале, и есть основание думать, что не взял с собой документов, а вместе с тем желал иметь их под рукой и не решался доверить какому-нибудь субъекту одного с ним пошиба. Не оставил ли он их здесь? Уверяю, что я ни за что в мире не желал бы обидеть вас. Я предлагаю вопрос вам лично, но вовсе не потому, чтобы я относился как-нибудь особенно именно к вам. Я мог бы предложить его всякому другому, да и предлагал уже многим. Оставил он здесь что-нибудь?

— Нет.

— И вы ничего не знаете о них, мисс Уэд?

— Я ничего не знаю. Теперь я ответила на ваш странный вопрос. Он не оставлял здесь бумаг, и я

ничего не знаю о них.

— Так, — сказал мистер Мигльс вставая. — Очень жаль. Надеюсь, я не слишком обеспокоил вас? Тэттикорэм здорова, мисс Уэд?

— Гарриет? О да.

— Я опять обмолвился, — сказал мистер Мигльс. — Ну, от этой привычки я вряд ли отделаюсь. Может быть, если бы хорошенько подумал об этом, то и не дал бы ей шуточного имени. Но когда любишь молодежь, то и шутишь с ней, не подумав. Если вас не затруднит это, мисс Уэд, передайте ей, что ее старый друг желает ей всего хорошего.

Она ничего не ответила на это, и мистер Мигльс оставил мрачную комнату, которую его добродушное лицо озаряло, точно солнце, и, вернувшись в гостиницу к миссис Мигльс, сообщил ей кратко: «Мы разбиты, мать: ничего не вышло». Затем они отправились на лондонский пароход, отплывавший ночью, а затем в Маршалси.

Верный Джон был на дежурстве, когда папа и мама Мигльс явились под вечер в сторожку. Он объявил, что мисс Доррит нет в тюрьме, но что она всегда бывает утром и вечером. Мистер Кленнэм поправляется медленно, и Мэгги, миссис Плорниш и мистер Батист ухаживают за

ним поочередно. Мисс Доррит, наверно, придет вечером до звонка. Директор предоставил ей комнату наверху, где они могут подождать ее, если угодно. Считая неосторожным являться к Артуру без предупреждения, мистер Мигльс принял предложение, и они стали ожидать в комнате Крошки Доррит, поглядывая сквозь решетку на тюремный двор.

Вид этого жилища так подействовал на них, что миссис Мигльс начала плакать, а мистер Мигльс задыхаться. Он ходил взад и вперед по комнате, отдуваясь и тщетно стараясь освежить себя носовым платком, как вдруг дверь отворилась.

— Э, боже милостивый! — воскликнул мистер Мигльс. — Это не мисс Доррит. Смотри-ка, мать! Тэттикорэм!

Она самая. И в руках у нее был железный сундучок. Точно такой же сундучок Эффри видела в своем первом сне под мышкой двойника, который унес его из дому. Тэттикорэм поставила его на пол у ног своего старого господина, и бросилась на колени, восклицая не то в восторге, не то в отчаянии, полуплача-полусмеясь:

— Простите, мой добрый господин, возьмите меня опять, моя добрая госпожа, вот я пришла к вам.

— Тэтти! — воскликнул мистер Мигльс.

— Вы его искали, — сказала Тэттикорэм. — Вот он. Я сидела в соседней комнате и видела вас. Я слышала, как вы спрашивали о нем, слышала, как она отвечала, что у нее ничего нет. Но я была там, когда он оставил этот ящик, и вот взяла его ночью и унесла. Вот он.

— Но, дитя мое! — воскликнул мистер Мигльс, задыхаясь сильнее прежнего. — Как же ты добралась сюда?

— Я приехала на пароходе вместе с вами. Я сидела, закрывшись платком, на другом конце. Когда вы взяли на пристани карету, я взяла другую и поехала за вами. Она бы ни за что не отдала его, раз вы сказали, что он вам нужен: скорее бросила бы в море или сожгла, но вот он здесь.

Это «вот он здесь» звучало невыразимым восторгом.

— Она не хотела, чтобы он оставлял его, это я должна сказать; но он оставил, и я знаю, что раз вы спросили о нем и она отрицала это, то уж ни за что бы не отдала его вам. Но вот он здесь. Дорогой господин, дорогая госпожа, возьмите меня опять к себе и называйте прежним именем. Возьмите меня хоть ради этого ящика. Вот он здесь.

Папа и мама Мигльс никогда так не заслужи-

вали этих названий, как принимая под свое покровительство заблудшую овечку.

— О, я была так несчастна, — воскликнула Тэттикорэм, заливаясь слезами, — так несчастна и так раскаивалась! Я боялась ее с первой нашей встречи. Я знала, что она приобрела власть надо мной только потому, что понимала мои недостатки. Во мне гнездилось безумие, и она всегда умела его вызвать. Когда я приходила в такое состояние, мне казалось, что все против меня за мое рождение, и чем ласковее ко мне относились, тем сильнее я злилась. Мне казалось, что они торжествуют надо мной и нарочно делают так, чтобы я завидовала им, хотя я знаю и даже тогда знала, что у них ничего подобного и в мыслях не было, и моя милая барышня не так счастлива, как бы ей следовало быть, а я ушла от нее. Какой грубой и неблагодарной она должна считать меня! Но вы замолвите ей за меня словечко и попросите ее простить меня, как и вы простили? Потому что теперь я не так дурна, как была прежде. Нет, я и теперь дурна, но, право, не так, как прежде. Я видела мисс Уэд все это время — точно мой портрет постарше. Она все перетолковывает навыворот и в самом лучшем видит только дурное. Она была передо мной все время, и все время старалась

сделать меня такой же несчастной, подозрительной и злобной, как она сама. Я не говорю, что ей нужно было много хлопотать об этом, — воскликнула Тэттикорэм в сильнейшем порыве отчаяния, — потому что я и без того зла! Я хочу только сказать, что после всего, что я испытала, я надеюсь уже быть не такой дурной, как раньше, а сделаться понемногу лучше. Я буду стараться. Я не остановлюсь на двадцати пяти. Я буду считать до двух тысяч пятисот, до двадцати пяти тысяч.

Снова отворилась дверь, и Тэттикорэм замолчала; вошла Крошка Доррит, и мистер Мигльс с гордым удовольствием вручил ей сундучок, и ее кроткое лицо озарилось радостной улыбкой. Теперь тайна была обеспечена. Она сохранит про себя все, что касалось ее самой; он никогда не узнает о ее потере, со временем он узнает все то важное, что касается его самого, но никогда не узнает о том, что касается только ее. Все это прошло, все прощено, все забыто.

— Ну-с, дорогая мисс Доррит, — сказал мистер Мигльс, — я деловой человек или, по крайней мере, был деловым человеком, и в качестве такового намерен, не теряя времени, принять меры. Заходить ли мне к Артуру сегодня?

— Я думаю, лучше не сегодня. Я схожу к нему

и узнаю, как он себя чувствует, но думаю, что лучше отложить ваше посещение до завтра.

— Я думаю так же, дорогая моя, — сказал мистер Мигльс. — Значит, сегодня я не пойду дальше этой неприятной комнаты. В таком случае мы увидимся через несколько дней, не раньше. Но я вам объясню свои планы, когда вы вернетесь.

Она ушла. Мистер Мигльс, выглянув за решетку, увидел, как она выходила из сторожки на тюремный двор, и ласково сказал:

— Тэттикорэм, поди ко мне на минутку, моя добрая девочка.

Она подошла к окну.

— Видишь ты эту молодую девушку, что была сейчас здесь, эту маленькую, хрупкую, тихую фигурку, Тэтти? Посмотри, люди расступаются перед ней, мужчины, бедные, оборванные, снимают перед ней шляпы. Ты ее видишь, Тэттикорэм?

— Да, сэр.

— Я слыхал, Тэтти, что ее называли прежде дочерью тюрьмы. Она родилась здесь и жила здесь много лет, а я здесь дышать не могу. Печальная участь родиться и воспитываться в таком месте, Тэттикорэм.

— Да, конечно, сэр.

— Если бы она постоянно думала о самой себе

и воображала, что каждый, кто приходит сюда, смотрит на нее с презрением и насмешкой, она вела бы жалкое и, вероятно, бесполезное существование. А между тем я слышал, Тэттикорэм, что ее жизнь была подвигом милосердия, доброты и великодушия. Сказать тебе, что, по моему мнению, видели перед собой эти глаза и что придало им такое выражение?

— Скажите, сэр.

— Долг, Тэттикорэм. Исполняй свои долг с ранних лет, и в жизни твоей не будет ничего, что уронило бы тебя в глазах Господа или твоих собственных.

Они остались у окна; мать присоединилась к ним, с жалостью посматривая на узников. Наконец они увидели Крошку Доррит.

Вскоре она вошла в комнату и сообщила, что Артур спокоен и чувствует себя хорошо, но лучше не тревожить его сегодня.

— Хорошо, — весело сказал мистер Мигльс. — Я не сомневаюсь, что это будет лучше. Итак, я поручаю вам, моя милая сиделка, передать ему мой привет: никто не исполнит этого лучше вас. Я опять уезжаю завтра утром.

Крошка Доррит с удивлением спросила куда.

— Дорогая моя, — сказал мистер Мигльс, — я

не могу жить не дыша, а здесь я совсем утратил способность дышать и не верну ее, пока Артур не освободится.

— Какое же отношение это имеет к вашей поездке?

— Сейчас вы поймете, — сказал мистер Мигльс. — Сегодня мы все втроем отправимся в гостиницу. Завтра утром мать и Тэттикорэм вернутся в Туикнем, где миссис Тиккит, которая поджидает нас у окна с доктором Буханом, примет их за привидения, а я отправлюсь за границу за Дойсом. Надо привезти сюда Дойса. Я решил отправиться завтра на рассвете и привезти сюда Дойса. Мне ничего не стоит разыскать его. Я опытный путешественник, все иностранные языки и обычаи для меня одинаковы: я не знаю ни одного. Стало быть, никакие затруднения мне не страшны. Откладывать поездку невозможно: я не могу жить не дыша и не могу дышать свободно, пока Артур сидит в Маршалси. Я и сейчас задыхаюсь: у меня осталось ровно настолько дыхания, чтобы сказать это и снести для вас вниз этот драгоценный сундучок.

Они вышли на улицу в ту минуту, когда зазвонил звонок. Мистер Мигльс нес сундучок. К его удивлению, у Крошки Доррит не оказалось эки-

пажа. Он подозвал карету, усадил ее и поставил сундучок у ее ног. В порыве радостной благодарности она поцеловала ему руку.

— Нет-нет, дорогая моя, — сказал мистер Мигльс. — Мое чувство справедливости возмущается при виде того, как вы целуете руку мне у ворот Маршалси.

Она наклонилась к нему, и он поцеловал ее в щеку.

— Вы напоминаете мне о минувших днях, — произнес мистер Мигльс, внезапно приуныв. — Впрочем, она любит его, скрывает его недостатки, думает, что никто не видит их… ну и, конечно, он хорошей фамилии, с большими связями.

Только этим и мог он утешаться в потере дочери, и кто же осудит его за то, что он находил спокойствие в этом утешении?

Глава XXXIV. Конец

В ясный осенний день узник Маршалси, еще слабый, но уже выздоровевший, сидел в своей комнате, прислушиваясь к тихому голосу, читавшему вслух, в ясный осенний день, когда золотые поля уже сжаты, летние плоды созрели, зеленые плети хмеля пригнуты к земле и обобраны, румяные яблоки пестреют в садах, и гроздья рябины краснеют среди желтеющей листвы. Уже в лесах заметны были признаки наступающей зимы: просветы среди обнаженных сучьев, сквозь которые открывались далекие перспективы полей, резко и отчетливо рисовавшихся в осеннем воздухе, не так, как летом, когда они подернуты мглой, напоминавшей пушок на сливах. И океан уже не покоился в дремоте, усыпленный летним зноем, а сверкал тысячами глаз в радостном оживлении, от холодного песка на берегу до парусов, исчезавших на горизонте, как листья, гонимые осенним ветром.

Неизменная в своей угрюмой нищете и заботе, равнодушная ко всем временам года, тюрьма не принимала участия в этих красотах. Пусть распускаются и увядают цветы, ее камни и решетки

всегда подернуты одинаковой плесенью и ржавчиной. Но Кленнэм, прислушиваясь к тихому голосу, читавшему вслух, слышал в нем все, о чем говорит мать-природа, все утешительные песни, которые она напевает человеку. С первых дней детства он не знал другой матери; она одна пробуждала в нем безотчетные и радостные надежды, светлые мечты, сокровища нежности и смирения, скрытые в тайниках человеческой фантазии; она пробудила к жизни семена, таившиеся в первых детских впечатлениях и разросшиеся в цветущие дубравы, укрывавшие его от иссушающих ветров. И в звуках нежного голоса, читавшего вслух, ему слышались отголоски всех этих впечатлений, нашептывавших о любви и милосердии.

Когда голос умолк, он закрыл рукой лицо, сказав вполголоса, что свет режет ему глаза.

Крошка Доррит отложила в сторону книгу и тихонько задернула занавеску. Мэгги сидела за шитьем на своем старом месте. В комнате стало темнее, и Крошка Доррит пододвинула свой стул поближе к нему.

— Скоро все это кончится, дорогой мистер Кленнэм. Мистер Дойс пишет самые утешительные письма, и, по словам мистера Рогга, эти письма

принесли большую пользу; теперь (когда первое возбуждение улеглось) все отзываются о вас так хорошо, с таким уважением, что, наверно, скоро все уладится.

— Милая девушка, милое сердце, мой добрый ангел!

— Вы совсем захвалите меня; хотя мне так отрадно слышать, когда вы говорите обо мне так ласково и так искренно, — сказала Крошка Доррит, поднимая на него глаза, — что я не в силах просить вас перестать.

Он прижал ее руку к своим губам.

— Вы были здесь много, много раз, когда я не видал вас, Крошка Доррит?

— Да, я заходила сюда иногда, хотя не входила в комнату.

— Очень часто?

— Довольно часто, — робко сказала Крошка Доррит.

— Каждый день?

— Кажется, — ответила Крошка Доррит после некоторого колебания, — я заходила сюда по два раза в день.

Он мог бы выпустить ее руку после того, как еще раз с жаром поцеловал ее, но рука, слегка дрожавшая в его руке, как будто просила, чтобы

ее удержали. Он взял ее обеими руками, и она нежно прижалась к его груди.

— Милая Крошка Доррит, не только мое заключение скоро кончится, вашему самопожертвованию тоже должен прийти конец. Мы должны расстаться и пойти каждый своим путем. Вы помните наш разговор сразу же после вашего приезда из-за границы?

— О да, помню. Но с того времени многое… Вы совсем здоровы?

— Совсем здоров.

Рука, которую он держал, подвинулась ближе к его лицу.

— Вы чувствуете себя достаточно крепким, чтобы выслушать, какое огромное состояние досталось на мою долю?

— О да, я с радостью выслушаю вас. Никакое состояние не может быть слишком велико или хорошо для Крошки Доррит.

— Мне давно хочется рассказать вам. Мне ужасно хочется, ужасно хочется рассказать вам. Вы решительно отказываетесь взять его?

— Никогда.

— Ни даже половины его?

— Никогда, милая Крошка Доррит.

Она молча взглянула на него, и он заметил в

ее любящем взгляде выражение, которого не мог понять: казалось, она готова была залиться слезами, и вместе с тем глаза ее светились гордостью и счастьем.

— Вас огорчит то, что я расскажу о Фанни. Бедняжка Фанни потеряла все свое состояние. Теперь у них остается только жалованье ее мужа. Все, что папа дал ей в приданое, погибло так же, как и ваши деньги. Ее состояние попало в те же руки и погибло все.

Артур был скорее раздосадован, чем удивлен.

— Я не думал, что дело так плохо, — сказал он, — хотя подозревал, что потери должны быть велики, имея в виду родство ее мужа с банкиром.

— Да. Все погибло. Мне очень жаль бедняжку Фанни, очень, очень, очень жаль бедняжку Фанни и моего бедного брата тоже.

— Разве и он доверил свое состояние в те же руки?

— Да. И оно все погибло… Как вы думаете, велико ли теперь мое состояние?

Он взглянул на нее с тревогой, и она отняла руку и прижалась лицом к его груди.

— У меня ничего нет. Я так же бедна, как в то время, когда жила здесь. Папа для того и приезжал

в Англию, чтобы поместить все свое состояние в те же руки, и все оно пропало. О мой дорогой и лучший друг, уверены ли вы теперь, что не захотите разделить со мной мое состояние?

Он обнял ее, прижал к своему сердцу, и, чувствуя его слезы на своей щеке, она обвила его шею нежными руками.

— Никогда не разлучаться, Артур, никогда более, до последнего часа. Я никогда не была богата, никогда не была горда, никогда не была счастлива. Теперь я богата, потому что стану вашей женой, теперь я горда, потому что вы любите меня, теперь я счастлива, потому что нахожусь в этой тюрьме вместе с вами, как была бы счастлива, если бы Бог судил мне вернуться сюда с вами, чтобы поддерживать и утешать вас моей любовью и верностью. Я ваша везде, везде. Я люблю вас глубоко. Я бы хотела лучше остаться здесь с вами и добывать свой хлеб насущный поденной работой, чем получить величайшее состояние и сделаться самой знатной дамой в мире. О, если бы бедный папа мог знать, как ликует мое сердце в той самой комнате, где он страдал столько лет!

Разумеется, Мэгги прежде всего вытаращила на них глаза, а потом залилась горючими слезами. Но теперь она была вне себя от восторга, чуть не

задушила маленькую маму в своих объятиях и кубарем скатилась с лестницы, чтобы поделиться с кем-нибудь своей радостью. Кого же она могла встретить, кроме Флоры и тетки мистера Финчинга? И кто, кроме них, мог поджидать Крошку Доррит, когда она добрых два или три часа спустя сошла с лестницы?

Глаза Флоры были слегка красны, она казалась расстроенной. Тетка мистера Финчинга до того окоченела, что вряд ли какие-нибудь машины могли бы ее согнуть. Шляпка ее грозно торчала на затылке, а ридикюль точно превратился в камень, увидав голову горгоны, которой почему-либо вздумалось поместиться в нем. С этими внушительными атрибутами тетка мистера Финчинга торжественно восседала на ступеньках официальной квартиры директора, возбуждая глубокое любопытство в младших представителях местного населения, юмористические выходки которых отражала концом зонтика с молчаливой, но яростной злобой.

— С горечью сознаю, мисс Доррит, — сказала Флора, — что предлагать особе, занимающей такое высокое положение в свете и пользующейся уважением и почетом со стороны лучшего общества, отправиться со мной, может показаться

фамильярным, если бы даже пирожная лавка не была слишком низкое место для вашего теперешнего круга, тем более что придется сидеть в задней комнате, хотя хозяин — любезный человек, но ради Артура (не могу избавиться от старой привычки, теперь еще неприличнее), ради бывшего «Дойса и Кленнэма», я желала бы сделать последнее замечание, дать последнее объяснение, и если выбрала слишком скромное место для беседы, то, может быть, ваше доброе сердце извинит меня ввиду трех паштетов с почками.

Правильно поняв эту довольно темную речь, Крошка Доррит сказала, что она к услугам Флоры. Ввиду этого Флора повела ее через улицу в пирожную лавку, причем тетка мистера Финчинга замыкала шествие, прилагая все старания, чтобы попасть под экипажи с упорством, достойным лучшего применения.

Когда три паштета с почками, долженствовавшие облегчить беседу, были поставлены перед ними на трех оловянных тарелочках и любезный хозяин налил в дырочки, оказавшиеся на верхушке каждого паштета, горячей подливки из соусника с носиком, точно подливал масла в лампы, Флора достала из кармана носовой платок и начала:

— Если прекрасные грезы фантазии рисовали мне когда-нибудь, что Артур — непобедимая привычка, простите, — получив свободу, не отвергнет даже такой сухой паштет почти без почек, точно он начинен мускатным орехом, предложенный верной рукой, то эти видения навеки отлетели и все забыто, но, узнав, что имеются в виду более нежные узы, я от души желаю вам счастья, и, конечно, не питаю никаких дурных чувств к вам обоим, хотя и грустно сознавать, что если бы рука времени не сделала меня такой толстой и красной после малейшего усилия, особенно после еды, когда мое лицо точно покрывается пылью, и если бы не жестокость родителей и душевное оцепенение, длившееся, пока мистер Финчинг не явился с таинственным ключом, то могло бы быть иначе, но все-таки я не хочу быть невеликодушной и от души желаю вам обоим счастья.

Крошка Доррит взяла ее за руки и поблагодарила за прежнюю доброту.

— Не говорите о моей доброте, — возразила Флора, отвечая ей сердечным поцелуем, — потому что вы всегда были милейшая и добрейшая Крошка в мире, если я могу позволить себе такую вольность, а в денежном отношении — вопло-

щенная совесть, конечно, гораздо более кроткая, чем моя, потому что моя совесть всегда доставляла мне больше мучений, чем радости, хотя я, кажется, не более грешна, чем большинство людей, но не в этом дело: одну надежду я позволю себе выразить, прежде чем наступит развязка, — надеюсь, что ради давно минувших времен и многих искренних чувств. Артур узнает, что я не забывала о нем в его несчастье, а то и дело приходила сюда узнать, не могу ли я что-нибудь сделать для него, и проводила целые часы в этой пирожной лавочке — куда мне любезно приносили стаканчик чего-нибудь согревающего из соседней гостиницы, — мысленно беседуя с ним через улицу, хотя он не знал об этом.

Неподдельные слезы выступили на глаза Флоры и очень ее украсили.

— А главное и самое важное, — продолжила Флора, — я убедительно прошу вас, как милейшую Крошку в мире, если вы позволите такую фамильярность женщине совершенно другого круга, передать Артуру, что я и сама начинаю подозревать, не была ли наша любовь безумием, хотя, конечно, приятным в свое время и вместе с тем мучительным, но во всяком случае со времени мистера Финчинга все изменилось, и

волшебные чары рассеялись, и ничего нельзя было ожидать, не начав сызнова, чему мешали различные обстоятельства, а главным образом, быть может, то, что и не следовало начинать, я, впрочем, не хочу сказать, что если бы это было приятно Артуру и сделалось само собой, то я не была бы рада, ведь я веселого характера и умираю от тоски дома, потому что папа, без сомнения, самый несносный представитель своего пола и ничуть не стал интереснее после того, как этот Поджигатель остриг его и превратил в нечто невообразимое, чего я за всю жизнь свою не видала, но ревность и зависть не в моем характере, хотя в нем много недостатков.

Не поспевая за миссис Финчинг в лабиринте ее бессвязных фраз, Крошка Доррит поняла, однако, общий смысл ее речи и обещала исполнить поручение.

— Увядший венок истлел, дорогая моя, — сказала Флора с величайшим наслаждением, — колонна рухнула, пирамида перевернулась вверх ногами и стоит на своем... как его? Не называйте это безумием, не называйте это слабостью, не называйте это сумасбродством. Я должна теперь удалиться под сень уединения и поплакать над пеплом минувшей радости, позволив себе только

одну вольность — заплатить за паштеты, послужившие скромным предлогом для нашего разговора, и сказав вам навеки…

Тетка мистера Финчинга, уписывавшая свой паштет в торжественном молчании и обдумывавшая план жестокой мести, с тех пор как уселась на ступеньки лестницы директора, воспользовалась наступившим перерывом и обратилась к вдове покойного мистера Финчинга со следующим сакраментальным изречением:

— Давай его сюда, и я вышвырну его за окно.

Тщетно Флора пыталась успокоить эту превосходную женщину, стараясь втолковать ей, что им пора идти домой обедать. Тетка мистера Финчинга упорно повторяла: «Давай его сюда, и я вышвырну его за окно!» Повторив это требование бесчисленное множество раз и не спуская вызывающего взгляда с Крошки Доррит, тетка мистера Финчинга скрестила руки на груди, забилась в угол и решительно отказалась двинуться с места, пока не получит «его» и не исполнит над ним своего мстительного замысла.

При таких обстоятельствах Флора шепнула Крошке Доррит, что она давно уже не видала тетки мистера Финчинга в таком оживленном и бодром настроении, что ей придется посидеть

здесь быть может, несколько часов, пока неумолимая старушка не смягчится, и что поэтому им лучше остаться одним. Итак, они дружески расстались, сохранив наилучшие отношения.

Тетка мистера Финчинга выдерживала все атаки, как какая-то мрачная крепость, и Флора вскоре почувствовала потребность освежиться; ввиду этого слуга был отправлен в соседнюю гостиницу за стаканчиком, о котором она уже упоминала в своей речи. С помощью стаканчика, газеты и кое-каких припасов, оказавшихся в пирожной лавке, Флора провела остаток дня в совершенном благополучии, если не считать неудобных последствий нелепого слуха, распространившегося среди легковерных соседних ребятишек, будто старая леди продала себя в пирожную лавку на начинку для пирогов и сидит теперь в задней комнате, отказываясь исполнить условие. Это привлекло такую массу молодых людей обоего пола и до того мешало торговле, оживившейся с наступлением вечера, что хозяин потребовал удаления тетки мистера Финчинга. Была вызвана карета, в которую и удалось наконец погрузить эту замечательную женщину соединенными усилиями хозяина и Флоры, хотя и тут она не переставала требовать, чтобы ей

«подали его» для упомянутых уже целей. Так как все это время она бросала мрачные взгляды на Маршалси, то явилось предположение, что эта удивительно настойчивая женщина подразумевала под «ним» Артура Кленнэма. Впрочем, это была только гипотеза: кто именно был тот человек, которого следовало «подать» тетке мистера Финчинга и которого так и не подали ей, осталось навеки неразгаданной тайной.

Шли осенние дни, и теперь Крошка Доррит уже ни разу не уходила из Маршалси, не повидавшись с Кленнэмом. Нет, нет, нет.

Однажды утром, когда Артур прислушивался, не раздадутся ли легкие шаги, которые каждое утро окрыляли радостью его сердце, принося блаженство новой любви в эту комнату, где так жестоко страдала старая любовь, — однажды утром он услышал ее шаги и чьи-то еще.

— Милый Артур, — раздался за дверью ее радостный голос, — со мной кто-то пришел. Можно ему войти?

Ему казалось, что с ней было двое. Он ответил «да», и она вошла с мистером Мигльсом. Мистер Мигльс, сияющий и загорелый, горячо обнял Артура.

— Ну, теперь все в порядке, — сказал он минуту

спустя, — все устроилось. Артур, милый мой, сознайтесь, что вы ожидали меня раньше?

— Да, — ответил Артур, — но Эми сказала мне…

— Крошка Доррит. Зачем другое имя? — шепнула ему Крошка Доррит.

— Но Крошка Доррит сказала мне, не давая никаких других объяснений, что я не должен ожидать вас, пока вы не явитесь.

— И вот я явился, милый мой, — сказал мистер Мигльс, крепко пожимая ему руку, — и теперь вы получите все, какие нужно, объяснения. Дело в том, что я был здесь: явился прямо к вам, вернувшись от… и… иначе мне стыдно было бы теперь глядеть вам в глаза, — но вам было не до гостей в ту минуту, а мне необходимо было ехать немедленно отыскивать Дойса.

— Бедный Дойс! — вздохнул Артур.

— Не называйте его именами, которых он вовсе не заслуживает, — возразил мистер Мигльс. — Он вовсе не бедный: его дела очень недурны. Дойс делает чудеса в тех краях. Уверяю вас, что его дела хоть куда. Он стал на ноги, наш Дэн. Там, где хотят, чтоб дело не делалось, и приглашают человека, который делает дело, этот человек, конечно, не держится на ногах, но там где хотят,

чтоб дело делалось, и приглашают человека, который делает дело, этот человек всегда станет на ноги. Вам нет больше надобности смущать министерство околичностей. Могу вам сообщить, что Дэн и без него обойдется.

— Какую тяжесть вы снимаете с моей души! — воскликнул Артур — Какую радость вы мне приносите!

— Радость? — возразил мистер Мигльс. — Не толкуйте о радости, пока не увидите Дэна. Уверяю вас, Дэн наделал таких дел, что у вас голова пошла бы кругом. Он уже больше не государственный преступник. У него медали, и ленты, и звезды, и кресты. Он теперь почетная особа. Но не нужно рассказывать об этом здесь.

— Почему же?

— Да так, — ответил мистер Мигльс, серьезно покачав головой. — Здесь все эти вещи нужно запрятать в сундук и запереть на ключ. Тут они придутся не по вкусу. На этот счет Британия строга: сама не дает своим детям таких знаков отличия и не желает их видеть, если они получены в других странах. Нет-нет, Артур, — прибавил мистер Мигльс, снова покачав головой, — здесь это не подходит.

— Если бы вы привезли мне вдвое больше де-

нег, чем я потерял (исключая, конечно, потерю Дойса), — воскликнул Артур, — вы бы не так обрадовали меня, как этой новостью!

— Ну да, конечно, — согласился мистер Мигльс. — Я знаю это, дружище, и потому-то прежде всего явился к вам. Ну-с, вернемся к делу. Итак, я поехал разыскивать Дойса и разыскал. Я нашел его в толпе грязных темнокожих чертей в женских покрывалах, арабов или как их там зовут, — совершенно нелепые народы. Вы знаете их. Ладно. Он кинулся ко мне, я кинулся к нему, и мы вернулись вместе.

— Дойс в Англии? — воскликнул Артур.

— Эх, — ответил мистер Мигльс, разводя руками, — решительно не умею устраивать толком эти дела. Не знаю, что бы из меня вышло, если бы я пошел по дипломатической части. Ну, говоря попросту, Артур, мы оба вернулись в Англию две недели назад. А если вы спросите, где он находится в настоящую минуту, я отвечу прямо: здесь. Ну, теперь я могу наконец дышать свободно.

Дойс вбежал в комнату, протянул Артуру обе руки и досказал остальное сам.

— Я вам скажу только три вещи, дорогой мой Кленнэм, — объявил Дойс, отмечая их на ладони своими гибкими пальцами, — и скажу кратко.

Во-первых, ни слова более о прошлом. В ваши расчеты вкралась ошибка. Я знаю, что это такое. Одна ошибка портит весь механизм, и в результате — неудача. Вы воспользуетесь своей неудачей и не повторите ошибки. Со мной часто случались подобные вещи при постройке машин. Каждая ошибка учит чему-нибудь человека, если он хочет учиться, а вы слишком толковый человек, чтобы не научиться. Это во-первых. Во-вторых, я жалею, что вы приняли все это так близко к сердцу и так жестоко упрекали себя; я спешил домой, чтобы поправить дело с помощью нашего друга, когда наш друг встретился со мной. В-третьих, мы оба согласились, что после всего, что вы испытали, после вашего отчаяния и болезни, для вас будет приятным сюрпризом, если мы приведем в порядок дела без вашего ведома и явимся вам сообщить, что все уладилось, все обстоит благополучно, дело нуждается в вас сильнее, чем когда-либо, и перед нами, компаньонами, открывается новый и многообещающий путь. Это в-третьих. Но вы знаете, что мы, механики, всегда принимаем в расчет трение: так и я оставил себе место для особого заключения. Дорогой Кленнэм, я безусловно доверяю вам; вы можете быть столь же полезным мне, как и я могу быть полезен вам;

ваше старое место ожидает вас и нуждается в вас, и нет ничего, что бы могло задержать вас здесь хотя бы на полчаса.

Наступило молчание, которое не прерывалось, пока Артур стоял, повернувшись лицом к окну. Наконец его будущая жена подошла к нему, и Дойс сказал:

— Я сейчас сделал замечание, которое, кажется, нужно взять назад. Я сказал, что нет ничего, что могло бы задержать вас здесь хоть на полчаса. Если не ошибаюсь, вы предпочли бы остаться здесь до завтрашнего утра. Догадался ли я, не будучи предсказателем будущего, куда бы вы хотели отправиться прямо из этой комнатки?

— Догадались, — сказал Артур. — Это наше заветное желание.

— Отлично, — сказал Дойс. — Итак, если эта молодая девица сделает мне честь, избрав меня на сутки своим отцом, и согласится ехать со мной в собор Святого Павла, я, кажется, знаю, зачем мы туда отправимся.

Вскоре после этого он ушел с Крошкой Доррит, а мистер Мигльс остался сказать несколько слов своему другу:

— Я думаю, Артур, что вы обойдетесь без меня и матери завтра. Весьма возможно, что мать вспом-

нит о Милочке, она у меня такая чувствительная. Лучше ей остаться в коттедже, а я составлю ей компанию.

На этом они расстались. И прошел день, и прошла ночь, и наступило утро, и Крошка Доррит явилась вместе с рассветом, как всегда в простом платье, в сопровождении одной только Мэгги. Бедная комнатка была счастливой комнаткой в это утро. Была ли в мире другая комната, полная такой тихой радости?

— Радость моя, — сказал Артур. — Зачем Мэгги вздумала топить печь? Ведь мы не вернемся сюда.

— Это я ее попросила. У меня явилась одна фантазия. Мне нужно сжечь кое-что.

— Что именно?

— Только эту сложенную бумагу. Если ты бросишь ее в огонь своими руками, не развертывая, моя мечта исполнится.

— Да ты суеверна, милая Крошка Доррит. Уж не колдовство ли это?

— Все, что ты хочешь, милый, — ответила она смеясь, с блестящими глазами, поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать его, — лишь бы только ты сделал по-моему, когда огонь разгорится.

Они стояли перед огнем; Кленнэм обнял Крош-

ку Доррит за талию, и огонь отражался в ее глазах, как он нередко отражался в этой самой комнате.

— Теперь он достаточно разгорелся? — спросил Артур.

— Совершенно достаточно, — ответила Крошка Доррит.

— Не нужно ли произнести какое-нибудь заклинание для успеха колдовства? — спросил Артур Кленнэм, бросая в огонь бумагу.

— Можешь сказать или подумать: «Я люблю тебя!» — ответила Крошка Доррит.

И он сказал это, и бумага сгорела.

Они спокойно прошли по двору, где никого не было, хотя из многих окон выглядывали головы. Только одно знакомое лицо увидели они в сторожке. Когда они поздоровались с ним и обменялись ласковыми словами, Крошка Доррит в последний раз протянула ему руку, сказав:

— Прощайте, дорогой Джон. Надеюсь, что вы будете счастливы, голубчик.

Затем они поднялись по ступенькам соседней церкви Святого Георга и подошли к алтарю, где Даниэль Дойс ожидал их как посаженый отец. Здесь же был старый приятель Крошки Доррит, тот самый, что приютил ее в ризнице и дал ей книгу умерших вместо подушки; он был в полном

восторге, что она явилась сюда же венчаться.

И они обвенчались, а солнце озаряло их сквозь образ Спасителя, написанный на стекле. Затем, чтобы подписать брачное свидетельство, они отправились в ту самую комнатку, где когда-то ночевала Крошка Доррит. В дверях стоял мистер Панкс (которому предназначено было сделаться старшим клерком, а впоследствии компаньоном фирмы «Дойс и Кленнэм»), превратившийся из Поджигателя в мирного гражданина и галантно поддерживавший под руки Флору и Мэгги, а за ним виднелись Джон Чивери, его отец и другие тюремщики, покинувшие Маршалси, чтобы взглянуть на свадьбу ее счастливой дочери. Флора, казалось, не обнаруживала ни малейших признаков отречения от жизни, о котором недавно заявляла, — напротив, была удивительно весела и как нельзя более наслаждалась церемонией, хотя и казалась несколько взволнованной.

Старый приятель Крошки Доррит подал ей чернильницу, когда она подписывала свое имя, и служка, снимавший облачение с доброго пастора, приостановился, и все свидетели смотрели на нее с особенным интересом.

— Потому что, изволите видеть, — сказал старый приятель Крошки Доррит, — эта молодая

леди — одна из наших редкостей и добралась теперь до третьего тома наших списков. Ее рождение записано в первом томе, она спала в ризнице, положив свою хорошенькую головку на второй том, а теперь вот подписывает свое имя в качестве новобрачной в третьем томе.

Все расступились, когда имена были вписаны, и Крошка Доррит с мужем вышла из церкви. С минуту они постояли на паперти, глядя на веселую перспективу улицы, озаренную яркими лучами утреннего осеннего солнца, а потом пошли вниз, навстречу скромной и полезной жизни, исполненной труда и счастья, навстречу заботам о заброшенных детях Фанни, за которыми ухаживали так же внимательно, как и за своими, предоставив этой леди проводить время в обществе, навстречу попечениям о бедном Типе, который прожил еще несколько лет, ни разу не утруждая себя мыслью, как много он требовал от сестры в обмен за богатство, которым наделил бы ее, если б оно у него было.

Они шли спокойно по шумным улицам, неразлучные и счастливые, в солнечном свете и в тени, меж тем как буйные и дерзкие, наглые и угрюмые, тщеславные, спесивые и злобные люди стремились мимо них вперед своим обычным

шумным путем.